

ВАЛДІАВ
РЖЕЗАЧ







ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

И. БЕРНШТЕИН

О. МАЛЕВИЧ

А. СЕВАСТЬЯНОВА



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1987

ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

СВИДЕТЕЛЬ
РУБЕЖ
РОМАНЫ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
РАССКАЗЫ

СТАТЬИ

Перевод с чешского



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 84.4Че

Р48

VÁCLAV ŘEZÁČ

Составление

И. ИВАНОВОЙ, В. МАРТЕМЬЯНОВОЙ

Рецензенты:

доктор филологических наук

И. А. БЕРНШТЕЙН

доктор филологических наук

Р. Р. КУЗНЕЦОВА

Примечания

О. МАЛЕВИЧА

Оформление художника

В. ХАРЛАМОВА

P 4703000000-340 подписано
028 (01)-87

© Составление, переводы, отмеченные *, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1987 г.

СВИДЕТЕЛЬ

РОМАН

SVĚDEK, PRAHA, 1956

Перевод

Н. ЗАМОШКИНОЙ и В. ПЕТРОВОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛУННАЯ НОЧЬ

На пологой равнине спит озаренная луной Бытень. Сон ее сторожит белая башня католического храма, простая, грубо отштукатуренная квадратная башня под гонтовой крышей. И словно под стать ей ночь тоже кажется белой, ясная ночь, вся, до последнего уголка, пронизанная светом, трепетная и манящая, и только брошенные кое-где обрывки теней укрывают остатки ее тайн. Июнь гуляет по лугам и садам, и от его вздохов веет запахом сена и ночной фиалки.

В такую ночь тратиться на фонари ни к чему, и муниципальный совет уже давно вынес соответствующее распоряжение по этому вопросу. Вот, заложив дубинку за спину, бредет вслед за своей огромной тенью полицейский Тлахач. Такого же великана толкает он по горбатой мостовой. Постепенно перед своим мысленным взором он и сам вырастает в плечистый монумент — стража общественного порядка и безопасности ближних. Но лунная ночь и июнь могут подшутить даже над полицейским, которому перевалило за пятьдесят и который считает себя первым лицом в городе после бургомистра. Они напоминают ему, как в детстве он с мальчишками прыгал, стараясь наступить на голову собственной тени; и полицейский, неторопливо шагающий по пустынной, идущей слегка под уклон площади, оживленной лишь плеском и звоном фонтана, поддается безрассудному порыву. Вскинув руку и взмахнув дубинкой, этим внушительным символом власти, он кидается за своей тенью. Но тень, комично повторяя все его движения, делает рывок вперед, и голова ускользает за пределы досягаемости. Все это столь нелепо, что полицейский тут же прекращает забаву и испуганно озирается вокруг.

На площади гулкая пустота, поет вода в фонтане и ни души — нет свидетеля, который утром мог бы начать:

— Ну, доложу я вам, нынче ночью...

Тем не менее Тлахач совершил сконфужен своим неожиданным покушением на собственное достоинство. Душа его в таком же беспорядке, как и мундир. Он дергивает его, затягивает потуже ремень, пробегает пальцами по пуговицам, чтобы убедиться, все ли застегнуты. Потом поворачивается спиной к своей тени, которая сыграла с ним такую злую шутку, и направляется через площадь к тротуару, лежащему в тени домов, над которыми плывет луна.

Но на полдороге ноги его прирастают к мостовой. Всегда его дурацкая выходка не обошлась без свидетеля. На противоположной стороне, в полумраке, метрах в полутора над землей светится маленький бледно-желтый квадратик, отсюда он кажется не больше ладони. Открытое смотровое оконце в опущенной железной шторе на дверях аптеки. И стройный ствол молодой липки, одной из тех, что обрамляют тротуары на площади, причудливо расширился на высоту человеческого роста. Кто-то прислонился к дереву в ожидании, пока высунется рука провизора, подавая лекарство.

Тлахач в нерешительности. Но на то он и мужчина, чтобы не свернуть с дороги и не убраться потихоньку в надежде, что его игра в догонялки с тенью осталась незамеченной. Впрочем, он должен узнать, кто тут болтается по ночам, пусть даже для того, чтобы получить лекарство. Город как-никак доверен ему, и он давно привык знать всю подноготную его обитателей, а раз этого не всегда добьешься прямо, исподволь послеживал. Но он этим не злоупотреблял и держал язык за зубами, чужие тайны он унесет в могилу, однако сознанье, что весь город вроде бы у него в руках, доставляло ему радость. А если речь зайдет о том, как он махал дубинкой, то разговорчики лучше всего пресечь убедительным объяснением. Да, споткнулся, черт побери, на мостовой, где знает каждый камень, и чуть не упал.

Тлахач с присвистом вздыхает, еще раз дергивает мундир, закладывает за спину руки, в одной из них сжимает дубинку, как бы готовясь к удару, и направляется к аптеке. Теперь он идет решительной походкой, его шаги разносятся по пустой площади, но фигура у дерева даже не шевельнется. Такое безразличие возмущает Тлахача, будто оно относится лично к его особе, хотя человек,

может быть, не в себе и не замечает, что делается вокруг. Но чтобы поддержать свое достоинство, полицейский уже подготовил, что сказать:

— Деревцо молоденькое, зачем наваливаться на него всей тяжестью?

Человек оттолкнулся от ствола, не спеша выпрямился и обернулся. Он выше полицейского, шире в плечах, и, несмотря на полумрак, в его черных волосах виднеется седая прядь. Когда он заговорил, голос его разнесся по пустой площади еще раскатистее, чем голос Тлахача.

— Ты прав, полицейский. Я слишком предался лени. Но деревья уже достаточно окрепли.

Говоря это, он поднимает правую руку к бороде и теребит ее в пальцах так, что слышно потрескивание волос. А Тлахач уже, громко щелкнув каблуками, вытянулся и, приложив руку к козырьку, приветствует своего наивысшего начальника — бургомистра Бытни Рудольфа Нольча.

На бургомистре только шелковый халат в фиолетовую и черную полосы, наброшенный на пижаму, тоже полосатую, но других, более светлых тонов. Домашние туфли — на босу ногу, подмечает Тлахач.

Что там у них стряслось, чего он выскоцил сам, а не послал кого-нибудь из прислуги? Жена у него слабенькая, маленькая, в чем только душа держится, подумать страшно, что ее обнимает такой детина, но вроде бы не слыхать, что она хворает.

— Вольно, полицейский, поберегите силы для другого. Что вас так изумило?

Тлахач опускает руку, он рад бы расслабиться, если бы не любопытство.

— Пан бургомистр, у вас кто-то заболел?

Бургомистр перестает теребить бороду и, усмехнувшись, тяжело кладет правую руку на плечо полицейского.

— Никто, приятель. Вышли порошки, а без них сон меня бежит. Ты не думал, что заботы о благе бытеньских граждан не дают мне уснуть?

Тлахач не знает, что отвечать. Ему всегда кажется, что бургомистр вроде бы подсмеивается надо всем на свете — и над собеседником, и над собой. Говорит ли он о чем-то обыденном или серьезном и важном, говорит ли внушительно и со значением, все равно кажется, будто про себя он над этим смеется и мысленно показывает тебе язык. Не только Тлахач — все, кто имеет дело с Рудольфом Нольчем, теряются перед ним; у человека появляется такое же

чувство, как если бы он сел на собственную шляпу, отчего он впадает в неестественный и высокопарный тон, от которого замешательство только увеличивается и возникает желанье хлопнуть бургомистра по плечу, подмигнуть и сказать: «Ах вы плутишка». Но на такое, конечно, никто не решится.

Для Тлахача не новость, что у бургомистра бессонница, — у Нольчей служит его племянница, так она рассказывает, что хозяин иной раз ночь напролет ходит по дому.

Что-то его мучает, не иначе, думает полицейский, силен ведь, как бык, ему бы дрова колоть, такой и спать должен, как сурок, только голову донесет до подушки. Но Тлахач знает, что каждое утро во дворе бургомистр в спортивных брюках и свитере колет дрова добрый час, пока его не прошибет пот, потом растирается щеткой под холодным душем и все-таки не спит. Либо глотает порошки, либо бродит по дому.

Забота о благе граждан. Опять шуточки. Тлахача не проведешь. Хотя, насколько он помнит, в Бытни не было такого дельного бургомистра, как Нольч, но Бытень, богатая Бытень хоть сейчас могла бы освободить своих граждан от мизерного коммунального налога, который и взимается-то для видимости, да это и не его забота, тем более что у него есть секретарь. А уж богачу-то Нольчу эта должность как цепочка на брюхе, — впрочем, у бургомистра брюха нет, и часы он носит наручные.

— Бессонница, должно быть, скверная штука, — произносит наконец Тлахач. — А вот я уснул бы и стоя, когда хотите.

— Надеюсь, однако, что вы не поддаетесь этому грехному желанию во время ночного обхода, — отвечает бургомистр со всей серьезностью.

— Пан бургомистр, — ужасается Тлахач, — я служу городу тридцать лет, и никогда еще...

— Хорошо, хорошо, — прерывает его Нольч, — мне и в голову не придет подозревать вас в чем-либо подобном. Просто с языка сорвалось.

Он кладет руку на плечо Тлахача, словно хочет успокоить, но не снимает ее сразу, как этого требует подобная демонстрация умиротворения, наоборот, забывает на плече полицейского и даже слегка давит, словно испытывает устойчивость собеседника; черт побери, у него когти как клещи, Тлахач не решается шевельнуться, и постепенно ему начинает казаться, будто он оцепенел, наверное, оттого, что бургомистр, побледнев, смотрит в упор и в уголках

губ у него застыла странная усмешка, а глаза вроде бы остекленели. Озноб растекается от позвоночника по спине и поровит охватить все мускулы. Правая рука бургомистра сжимается крепче и ползет по плечу выше, к горлу. Тяжелая монета колокольной меди падает с башни ратуши, и отзвук ее падения долго бродит по площади. Четверть двенадцатого. Веки у бургомистра дрогнули, рука отпустила плечо, а усмешка смягчилась и стала глуповатой. Но тут же лицо его успокоилось и вся эта промелькнувшая смена выражений кажется мнимой, так, игрой теней, перед Тлахачем снова стоит Рудольф Нольч, богач, презирающий и свое богатство, и кто его знает, что еще, последний в роду, приветливый и неприступный, располагающий и обходительный, но все-таки, по-видимому, считающий все наши дела предметом для насмешек того, кто смотрит со стороны. За железной шторой аптеки скрипнула дверь, освещенное оконечко донесло шарканье шагов, потом затемнилось и высунуло руку в белом рукаве. Брюзгливый, скрипучий голос, при звуке которого хочется откашляться, произнес:

— Пан Нольч! Получите. Я подготовил вам те же порошки, что и в прошлый раз. Хватит до Страшного суда.

В Бытни только одна аптека. Наверное, поэтому аптекарь не считает нужным быть услужливым и любезным.

Но бургомистр, как и все в Бытни, привык к его грубости; он берет коробочку из протянутой руки и благодарит особенно изысканно и вежливо. Рука исчезает, будто ее обожгло, и в освободившееся оконце сипит кислый голос магистра:

— В следующий раз позаботьтесь об этом вовремя. Из-за вашей бессонницы нечего поднимать на ноги весь город.

— Доброй ночи,— невозмутимо отвечает бургомистр.

Оконечко захлопывается, и за шторой раздается трубный звук — аптекарь прочищает нос.

Тлахач наблюдает эту сцену с растущим возмущением. Столбняк прошел, конечности оттали, он уже забыл о том странном, что произошло между ним и бургомистром, а если когда-нибудь впоследствии и вспомнит, то припишет это тем же чарам, которые заставили его ловить свою тень.

Аптекарь его злит. Как-никак Нольч — бургомистр, и все имеет границы. В полицейском оскорблено чувство порядка. Тлахач размахивает дубинкой и чувствует, как от гнева напрягаются мускулы, едва не разрывая швы мундира. Услышав ответ аптекаря на вежливое прощание бургомистра, Тлахач не выдерживает:

— Невежа! Треснуть бы его по лапе!

Но бургомистр в этот момент уже повернулся и, усмехаясь, уходит в темноту. Негодование полицейского его не волнует, мысли его далеко, по-видимому, они навеяны словами аптекаря о Страшном суде.

— Вечный сон. Самый лживый из всех парадоксов. Мертвые не видят снов, и в этом их огромное преимущество перед нами. Вы когда-нибудь видите сны?

Тлахач откашливается, чтобы скрыть растерянность и выиграть время для ответа. Неожиданный поворот разговора сбил его с толку, он не совсем понимает, о чем речь. Что такое парадокс? С бургомистром всегда так. Говорит, не думая о других. Полицейскому кажется, что это ночь все еще играет с ним, сыплет шутку за шуткой. Чтобы сохранить достоинство, он отвечает басом:

— Даже не знаю, пан бургомистр, сплю как сурок.

Нольч останавливается перед своим домом.

— Ваше счастье. Сны бывают и неприятные. Но все-таки они лучше, чем бессонница.

Он замолкает, но явно не в ожидании ответа, а заглядевшись на крышу ратуши напротив, где по черепицам стекает мерцающая лавина света. Потом расправляет свою могучую грудь и делает глубокий вдох и выдох.

— Чувствуете, как пахнет эта ночь? Будь я молод и влюблен, только бы радовался, что не могу спать.

И без дальних слов открывает дверцу в широких въездных воротах дома и исчезает.

— Спокойной ночи,— отвечает Тлахач, продолжая стоять, приложив руку к козырьку, хотя дверца уже захлопнулась и ключ звякнул в замке.

Наконец рука у Тлахача опустилась, из груди вырвался тяжкий вздох, он встражнулся всем телом, передернул плечами, как человек, который старается освободиться от власти сна. Некоторое время он еще стоит на месте и смотрит на окна, ожидая, что какое-нибудь из них засветится. Темный массив дома бургомистра возвышается над ним на высоту трех этажей, в каждом по восемь окон. В городе это самый старый и самый большой дом; в его прочном и солидном ренессансном фасаде ничего не меняли с середины семнадцатого века, когда бургомистр Бытни и заседатель земского суда в Праге Корнелиус Мохна из Менина построил его как символ своего достоинства и богатства. Супруга Рудольфа Нольча была урожденная Мохнова; она сама, этот дом и менинское имение над прудом Борковец, последнее из семи мохновских имений,— все, что осталось

от рода Мохнов и его владений в целости и сохранности благодаря деньгам Нольча.

Тлахач ждет напрасно — ни одно окно не осветилось. Крадется в темноте, как вор, поди, боится разбудить ее. Полицейский с удовольствием вспоминает жену бургомистра. В самом деле муж так ее любит или только прикидывает? Тлахач повторяет вопрос в том виде, как его сформулировало общественное мнение Бытни.

А Нольч тем временем запер дверь и спешит. Задержался, ожидая лекарство, и теперь его гонят нестыдное, исполненное тревоги представление. Никто бы не поверил, что человек его сложения и веса может двигаться так быстро и легко. Он бежит на третий этаж по дубовой лестнице, которая не издает ни звука. Это замечательная лестница, по ней ежедневно из поколения в поколение без малого триста лет ходили господа и прислуга и нисколько не расшатали. Потому что она из дуба, который, прежде чем превратиться в ступени, долго лежал в воде и затвердел, как железо. Корнель Мохна возводил на граните и обшивал дубом из плотин Борковца и менинского леса, строил не дом, а крепость, бастион, который мог бы выдержать самую тяжкую канонаду времени. В доме нет ни одной комнаты без дубовых панелей, коридоры тоже оббиты дубом, дом темный и теплый, пропахший фруктами и тлеющим деревом. Бургомистр как-то в приступе раздражения, которое охватывало его всегда, когда кто-нибудь пытался втереться к нему в доверие или подольститься, провозгласил, что подлинная усыпальница рода Мохнов — здесь, а вовсе не там, возле стены бытеньского храма, и внутренние покой — прекраснейшие и просторнейшие гробы, о каких только могут мечтать самые избалованные покойники. А сказал он так потому, что любил этот дом, любил гладить стены, когда бывал один, и еще потому, что всегда старался заморочить голову тому, кто пытался лезть к нему в душу.

Теперь бургомистр бежит по лестнице на третий этаж быстро и бесшумно, бесшумно оттого, что сразу после свадьбы приказал застлать лестницу и коридоры серыми ковровыми дорожками. Луна освещает эту сторону дома, и тени оконных рам ложатся крестами на ковре, который превратился в серебряный ручей среди черных стен. Кто знает, кого ожидал увидеть здесь Рудольф Нольч и почему у него вырвался такой вздох, когда галерея оказалась пустой. Он забыл запереть дверь спальни и вспомнил об этом, повернув ключ в замке — это его и перепугало. Что

касается окон спальни, то они снабжены особыми запорами, и, чтобы их отпереть, нужно сосредоточенное внимание, и тому же на ночь окна занавешиваются тяжелыми черными шторами, раздвинуть которые весьма трудно. Слава богу, все в порядке, бургомистра огорчает только то, что он забыл об осторожности именно сегодня.

Он подходит к окну, луна стоит высоко в небе прямо против него, круглая и бледная, слегка напоминающая лицо азиата, улыбки которого тебе не понять и ход мыслей которого тебе чужд. Тьма растворилась в ее холодной, разъедающей купели, посеребрила крыши, дымится переливчатым маревом, изливается со стен белым сиянием, кристаллизуется на них, искрится, превращает листья деревьев в прозрачную чеканную фольгу, бросает и чертит тени, трепетные, полные таинственной жизни, обманчивых облазнов и лютой жестокости.

Рудольф Нольч сжимает кулак и грозит луне. Потом отворачивается и начинает теребить бороду большим и указательным пальцами. Это движение и тихонькое потрескивание волос его успокаивают. Лунный нож как бы срезал налет времени с портретов мужчин и женщин из рода Мохнов. Они висят тут по два между дверьми. Иногда смотрят и усмехаются с высоты завершенных жизней, оттуда, где нет смятения и тайн; с них спали маски, и все страсти и тревоги, которые они прятали под ними и унесли с собой, теперь ожидают и выходят наружу из подвалов прошлого, из бездны мертвых личин, вызванные дудочкой лунного света.

Бургомистр загляделся на портрет, висящий слева от дверей супружеской спальни. Это девичье лицо было копией лица его жены в те годы, когда они познакомились. Анежка Мохнова, родившаяся в последний год восемнадцатого столетия, была, наподобие Жозефины Богарне, изображена в воздушной белоснежной ампирной тунике, с поясом под самой грудью, нежно вздывающей драгоценную ткань, правая рука, с такими же выписанными длинными тонкими пальцами, прижата к сердцу, левая — свободно опущена и легко сжимает стебелек пунцовой розы. Продолговатое лицо с фамильными чертами Мохнов, только хищное выражение, свойственное мужским лицам, здесь сильно смягчено и говорит на ином наречье и о другом. От переносицы круто, словно арки, поднимаются дуги бровей, в них — изумление и мечтательность, в глазах — страстный вопрос, грусть и как бы предчувствие того, что придет так скоро, губы на белом

лице рдеют, как роза на снегу. Черные волосы, разделенные коротким пробором, собраны в высокую прическу и кажутся слишком массивными для этой головы и шеи, которые тем не менее несут их гордо и, наперекор усталости, легко. Анежка Мохнова умерла восемнадцати лет, через год после того, как был написан этот портрет: вернувшись из Праги с бального сезона, она заболела скоротечной чахоткой.

Бургомистр Нольч решил еще минуту побыть здесь и выкурить сигарету. Неотрывно глядя на лицо давно умершей свояченицы, он нашарил в кармане портсигар и спички. Когда портсигар был уже в руке и бургомистр собирался его открыть, он вдруг почувствовал, что за дверьми спальни что-то происходит. Повернувшись, он увидел, что ручка двери медленно-медленно поворачивается вниз.

Бургомистр опустил портсигар в карман и шагнул вперед, готовый ко всему и печальный, с одной успокаивающей мыслью: все-таки он вернулся вовремя. Она проснулась, наверное, когда он открыл калитку. Он помнит, что его вдруг словно подтолкнуло. Но что было бы, если бы этот пройдоха аптекарь шевелился еще медленнее или если бы он сам дольше болтал с полицейским? Медленно-медленно отворялась дверь спальни, словно это была игра, рассчитанная на то, чтобы напрячь нервы зрителей.

Катержина Нольчова, жена бургомистра, переступила порог и вышла в полосу лунного света, который сразу схватил ее в свои нетерпеливые объятья. Он просветил тонкую, почти такого же покрова, как ампирное платье Анежки Мохновой, ночную сорочку, присобранную над высоким поясом в два полукруга, в которых свободно лежали маленькие груди; выявил, как в вазе из дымчатого стекла, худенькое тело и зачем-то отдал глазам мужа, застланным бесконечной печалью.

Волнистые, коротко стриженные черные волосы, расстрапанные беспокойным сном, обрамляют бледное лицо, совсем белое в лунном свете, глаза закрыты, и длинные ресницы бросают тени, только губы красны, как на портрете, что возле двери, и, как свойственно всем мужчинам и женщинам из рода Мохнов, — даже сон не сделал их бледнее и не лишил сочной полноты.

Пани Катержина движется к окну медленным, неуверенным шагом, как бы ступая по невидимой черте и не смея с нее сойти, левая рука протянута вперед, будто ее кто-то ведет.

Бургомистр позволяет ей сделать два или три шага, потом глотает душащий его комок жалости, преграждает пани Катержине дорогу и нежно берет за плечи.

— Катя, Катенька,— уговаривает он тихо, как будят ребенка от страшного сна.— Проснись.

Пани Катержина затряслась, широко раскрыла глаза, и в тот же миг колени у нее подломились. Но сильная рука мужа подхватила ее и не позволила упасть.

Она приникает лицом к груди мужа, мелкая дрожь охватывает все ее тело. Дышит часто и тяжело, прижимается, словно хочет вдавиться в него, вцепляется пальцами в ткань халата. Плечи ее вздрогивают от всхлипываний.

— Пойдем ляжем, Катенька,— шепчет муж.— Тебе здесь холодно.

Он наклоняется, подхватывает жену одной рукой под мышки, а другой под колени, легко поднимает и несет. На секунду останавливается в дверях, чтобы прикрыть их плечом и спиной. Потом в кромешной темноте по памяти идет к постели. Жена в его объятьях сотрясается от рыданий. Бургомистр нащупывает коленом постель и осторожно опускает на нее жену, скидывает халат,— портсигар глухо стукается об пол,— и ложится рядом с пани Катержиной, приподымает ее легонько своими сильными руками и подвигает к себе, слегка сгибает ноги, так, что лежа как будто держит ее на коленях, закрывает одеялом и качает и успокаивает, а она омывает слезами его лицо и шею.

— Тише, девочка, тише. Это был просто слишком живой сон.

Пани Катержина немного успокоилась, уже не всхлипывает так, только еще сильнее сжимается в клубочек в широких объятиях мужа. Бургомистр нащупывает на ночном столике носовой платок и вытирает ее мокрое лицо. Темнота вокруг сгустилась и давит на них, осозаемая, непроглядная, непроницаемая. Пани Катержина плотно зажмуригает веки, ей страшно, а он смотрит широко открытыми глазами, хотя в них все сильнее скапливается что-то едкое и жгучее. Порой он пытается облегчить боль и закрывает их, но тогда перед ним снова возникает образ жены, неуверенно ступающей навстречу лунному лучу. А темнота такая абсолютная, трудно поверить, что ты не очутился где-то в ином мире. Это представление настолько ощутимо, что бургомистр, стараясь от него отвлечься, начинает припомнить обстановку спальни. Но

разве это было бы так уж страшно? Нужно жить. Хорошо. А зачем? Почему все так твердо убеждены, что это необходимо? Возможно, потому, что им этого хочется. Если говорить о нем самом, он не жаждет смерти, но жизнь его не увлекает и не убеждает. Такая минута где-нибудь во вселенной могла бы тянуться бесконечно. Она не добрая, проникнутая тоской, но тоска бы в конце концов улеглась, а сознания, что их двое и дышат они один на груди у другого, хватило бы ему на века.

Пани Катержина дышит теперь спокойнее; ему хотелось бы, чтоб она уснула, но он знает, что его еще ожидает разговор, которого он боится.

— Спи, Катя,— говорит он быстро,— завтра расскажешь мне, что тебе привиделось.

Но она не поддается и хочет сказать, что задумала:

— Он уже большой, вырос за год, что мы не виделись. Я так боялась, Рудо, что он не вернется. Маленьким он приходил чаще. Наверное, теперь мать ему уже не так нужна. Ему десять лет, в эти годы мальчики не держатся за материнскую юбку.

Черная гуща темноты жжет все сильнее, вглядись в нее — увидишь пурпурных огненных червячков, которые прорывают ее, то исчезая в своих норах, то опять появляясь, но бургомистр не дает отдыха глазам, ему нужна физическая боль, ему все еще мало.

— Ты же знаешь, Катя, что это только сон.

Пани Катержина успокоилась и дышит ровно, ее голос вливается в темноту, блуждает по ее закоулкам и возвращается, тихий и отдаленный, словно она говорит не возле его уха.

— Ну и что? Разве существует только один этот мир? Почему? Потому, что мы ежедневно просыпаемся в нем и только его воспринимаем? Девять месяцев он жил во мне, но не с нами. Разве ты знаешь, откуда он пришел и куда направлен его путь? И почему он не вышел на этой станции, где все мы ждем, сами не зная чего? Мне его даже не показали, но я чувствовала его ротик у своей груди, которая наливалась только для него. Ты говоришь, что это сон. Ну и пусть, ведь это единственное место, где я могу с ним встретиться.

— Боюсь, это слишком волнует тебя.

— Если бы я не видела тебя целый год и умирала от нетерпения и тоски и ты бы вдруг возвратился, разве я бы не раз волновалась? Не бойся. Если я в силах переносить ожидание, я перенесу и радость встречи, и печаль

расставания. Порой я кажусь себе матерью моряка, я живу только ради его возвращений. Но я могу ждать без страха. Море, по которому плавает мой сын, не поглощает своих пловцов. Время от времени оно выносит их на песчаные отмели, а через некоторое время возвращается за ними и уносит.

Бургомистр терпеливо слушает и молчит. Она убаюкает себя своим голосом и уснет, думает он. Но слова ее западают в его сознание, как искры, и тлеют в нем, становясь представлениями. Разве не плывут они оба, выброшенные из пространства и времени, по морю, о котором говорит Катержина? Какой матерью она была бы! Но кто знает, может, любовь ее так сильна, что, пройдя сквозь стены реальности, погубит дитя так же, как теперь дает ему жизнь? Не поразительно ли это? Никогда не видела она лица своего ребенка, который родился доношенным и сильным, но мертвым, задохнутым пуповиной за какие-то старые грехи неведомых и превратившихся в прах предков. Тем не менее ребенок живет в ее сознании дальше, растет, меняется, взрослеет, словно он существует на самом деле.

— Почему ты не можешь быть со мной, Рудо, когда он приходит? Ты бы на него порадовался. Он крупный для своих лет, а волосы у него все еще светлые. Брови и рот — мои, а нос, подбородок и взгляд — твои, он и Мухна и Нольч, только волосы — таких не было ни у кого ни в твоей, ни в моей семье.

Бургомистр молчит, и жена глубоко вздыхает.

— Ах, Рудо, — говорит она через некоторое время, когда казалось, что она уже задремала, — я так рада, что видела его еще раз. Теперь я усну и, может быть, увижу его во сне, понимаешь, во сне, как я вижу тебя или кого-нибудь другого.

Пани Катержина соскальзывает с его груди и колен, кладет голову на плечо мужа, а руку к нему на грудь и устраивается спать. Бургомистр думает о ее последних словах, он прекрасно понял, что она хотела сказать. «Теперь он будет мне сниться, как всякий другой». А то был не сон. Он знает, что его нольчевский здравый смысл, создавший пирамиду богатства, в которой он сейчас погребен, никогда не позволит ему приобщиться к миру своей жены и встретиться там со своим сыном. Но так как даже вопрос, почему что-то существует на этом свете, ответа не имеет, чудесное появление его мертворожденного сына становится для него все допустимее и понятнее.

Пани Катержина уже пьет сон глубокими и размежеванными глотками, и бургомистр счастлив, что ему есть чем заняться. Надо полагать, скоро уснет и он, хотя нетронутые порошки остались в кармане халата; так бывает всегда, когда он пытается ночью додумать что-то совершенно конкретное.

Мог бы существовать и являться к своей матери светловолосый мальчик, его сынок, если бы у Катержины родился еще ребенок? Но он не родился и не родится никогда. Врачи покачали головами и сказали: «Больше никогда», — и оказались правы. Он и жена — последние в роду. Как это ни горько, бургомистр с этим смирился. Почему, собственно, должны рождаться новые и новые Нольчи, если даже он не знает, что делать с собственной жизнью? Хотелось бы ему жить, не будь Катержины? Они об этом не говорили, но он уверен, что жена чувствует то же, что и он. Странный ответ на вопрос о смысле и цели жизни. Вместе они — содружество во имя жизни, хотя, как только что было показано, каждый из компаний лично в ней не слишком заинтересован. Бургомистр усмехается в темноту. Такие парадоксы в его духе. Но кто знает, может быть, он говорит только за себя, а Катержина относится к жизни по-другому? Почему бы иначе в ее воображении жил и продолжал расти ребенок, который умер? Умер? Может быть, необъяснимым существованием этого мальчика, который ни разу не вдохнул воздуха, сама вечность протягивает руку помощи Можам, а заодно и Нольчам? Если, конечно, вечности вообще есть дело до Можнов и Нольчей и их родовой спеси. Глаза уже не в силах вынести тяжести и жара темноты, веки, прикрывающие их, как влажный успокаивающий компресс, слабеют. Катержина пьет из источника сна все большими глотками, темнота, которая словно перестала бояться, что будут раскрыты ее секреты, начинает яростную перестрелку. Дерево панелей, мебели и полов высыпает друг против друга невидимых стрелков, выстрелы хлопают то по одному, то очередями. Впрочем, кто знает, может, это и не схватка, а просто их телеграфная болтовня о людях, которым они служат и которых переживают.

Тлахач, выполний свой долг. Обход не кончен, а глупая луна, расфуфыренная и чванная, как деревенская красавица, не имеет права вмешиваться в служебные дела. Не стой тут, Тлахач, не мудрствуЙ, ты и всегда-то сообра-

жал того, а об этой ночи не будет официального донесения, из которого ты понял бы, что к чему, и никто не даст тебе сейчас приказания, что делать дальше. Ну, конечно, бе-зобразие, когда улицы, по которым ходишь тридцать лет, вдруг кажутся незнакомым городом, где встречаешь самого себя под видом подозрительного чужестранца. Но кто за все это в ответе? Кто виноват, что башня ратуши, которую видишь ежедневно, кажется сегодня незнакомой, будто она только что появилась? Отчего это тебе вдруг вздумалось гоняться за своей тенью и почему бургомистр ощущал тебя, как мясник быка, которого он покупает на мясо? Ты видел то, что видел, и делал то, что делал? Все совершается в свой час, а потом исчезает, как щепотка табака, которую выкуриваешь в трубке. Дым расплывается, а пепел развеет ветер, останется только желание, но о нем не знаешь, что и сказать, идет оно из прошлого или устремлено к чему-то, что еще будет. Ах ты, ныряльщик в водах таинственного, ты страдаешь одышкой и не достаешь дна, чтобы вытащить оттуда горсть песку, который просыпается между пальцев. Ты отупел от циркуляров, так знай свое место, держись линии, предписанной службой, она тебя никогда не обманет и не даст сбиться с пути.

Тлахач сплевывает далеко за пределы тени, в которой стоит, слюна расплескивается кружочком на одном из камней мостовой, и луна, вечная ростовщица, тут же превращает ее в серебряную монетку, — то ли копит обманы для своего удовольствия, то ли хочет сорвать высокий процент, посмеявшись над тем, кто пройдет здесь позднее. Тлахач смотрит на блестящую монетку с недоверием. Потом резко отворачивается, уязвленный и мрачный. Ну вот. Видел то, что видел?

Хватит баловства, полицейский, хватит ребячества. Одернуть мундир, расправить грудь, руки с дубинкой за спину и — шагом марш.

Площадь едва заметно идет под уклон по направлению к трактиру «У лошадки», здесь шоссе, стремительно прорывающееся своей ровной поверхностью между бульжниками, резко сворачивает влево, чтобы затем вильнуть вправо и мчаться через Худейовицкую улицу прочь из города. «У лошадки» сегодня полная иллюминация. Четверг, идет игра в марьяж. Вид освещенных окон сразу возвращает Тлахачу равновесие. Веселый ветерок закружила в узенькой уличке его мыслей и выдул душное смятие. Свет льется из источника, который известен, свет, при котором люди собираются, работают и читают, свет желто-

ватый, обыкновенный и приятный, как кружка пива, свет, который не сыграет с тобой вероломной шутки. Играют в распивочной и большом зале, и полицейский знает, что будет гостеприимно встречен и тут и там. «А,— скажет кто-нибудь,— пан вахмистр заглянул к нам». И другой: «Привет, служивый!». А кто-нибудь крикнет: «Прячь банк, полиция!» И те, кто в этот момент с головой ушел в расчеты комбинаций, взяток, сотенного марьяжа, семерки, бить или не бить козырем, кивнут головой и что-нибудь пробурчат или просто помашут рукой. Кто-то подвинет ему свою кружку, а кто-то закажет новую. Он примет и то, и это и выпьет в честь и за здоровье всех присутствующих. Здесь можно сколько хочешь стоять и смотреть на игру, он ведь знает, как себя вести и что к чему, и никто ему не скажет, чтобы он катился от стола,— игроки верят, что он приносит счастье; он постоит минуту около одного, минуту около другого, обойдет их всех, и пусть кон идет своим чередом, и всем — удачи. У стойки, недалеко от кухонной двери, будет сидеть трактирщик Пудил — если только он не играет в это время четвертым в карты — с трубкой на длинном чубуке между коленей, повернувшись так, чтобы видеть всех гостей и свою жену. Он подмигнет Тлахачу и: «Мамочка, пан вахмистр пришел». И тут же появится стопочка горькой, тарелочка гуляша или порция холодной свинины да кружка пива. Эта самая стопка горькой ждет Тлахача во всех трактирах на всем его участке, и полицейский жалуется, что у него желудок не варит, хотя на самом деле он у него луженый. Разве плохо быть со всеми в добрых отношениях, всюду, куда ни придешь, желанным гостем, которого хлопают по плечу и дружески приветствуют? Это потому, что ты — на своем месте, знаешь, как с кем себя вести; строг — с отребьем, которое угрожает безопасности и порядку, почтителен — с людьми приличными.

Тлахач зашагал бодрее, горькая наведет в душе порядок, от смятенья и помина не останется. Полицейскому уже видится, как рука трактирщицы, почтительно молчаливой, замученной бесконечной работой, но, несмотря на это, пухленькой, наливает ему стопку. Всего несколько шагов, но перед этим одна остановка, которую он никогда не пропускает во время обходов — ни в дождь, ни в мороз, ни в метель. Самая большая лавка в Бытни, здесь одеваются все деревни в округе, сюда приезжают вот уже целое столетие сын вслед за отцом, внучка вслед за бабкой. Две впечатительные витрины, справа — женская одежда, сле-

ва — мужская, посередине — широкий вход, но в этот час все закрыто мощными шторами из рифленого железа. Ночь за ночью во время обхода полицейский Тлахач останавливается возле лавки Гаразима, пройдет от одной шторы к другой, наклонится у каждой из них, попробует, хорошо ли заперты висячие замки. Видимо, его давно привлекают их размеры и необычная грушевидная форма. Каждый весит килограмма два. Тлахач берет их в руки — сначала один, потом другой, тянет, взвешивает и при этом всегда удивляется, что за все эти годы никто не попытался их открыть. Отпереть их совсем не трудно, Тлахачу-то это прекрасно известно, он ведь учился на слесаря, прежде чем стал городским полицейским, и как раз с этими гаразимовскими, пугающими своей величиной замками сладить было бы куда как просто.

Тридцать лет прошло с того дня, когда во время первого своего обхода он впервые потрогал их и из интереса взвесил в руке. Тлахач забавляется мыслью, что было бы, если бы он отпер замки, он сам, за честность и порядочность которого поручился бы весь город, начиная с бургомистра и кончая вором Калиной. Конечно, он этого не сделает и не вскроет старого несгораемого шкафа в лавке, в котором Гаразим до сих пор хранит от понедельника до воскресенья недельную выручку и, только когда накопится изрядная сумма, относит ее в местную ссудно-сберегательную кассу. Конечно, не вскроет, хотя это была бы ловкая шутка, уж он бы посмеялся досыта, когда на другой день вместе со всеми кричал: «Держите вора!» — и все бы к нему подходили, хлопали по плечу и говорили: «Черт возьми, Тлахач, это дельце как раз для тебя. Покажи, на что способен». Конечно, он этого не сделает, потому что тогда он станет чем-то вроде сторожевого пса, душащего на собственном дворе тех самых кур, которых должен охранять, а такого пса лучше прикончить. Конечно, не сделает этого, потому что иначе ему пришлось бы встать перед самим собой и сказать: «Полицейский Тлахач, вы арестованы за нарушение клятвы, данной при поступлении на службу, и ограбление гражданина, доверенного вашей охране. Следуйте за мной в участок». Этого не случится, хотя ему это раз плюнуть и он знает подходящий час. Ну конечно, нет, хотя — ничего не скажешь — шутка была бы отличная, неслыханная.

Несмотря на удовольствие, которое в нем всегда вызывает это представление, Тлахач со вздохом отпустил замок, выпрямился и продолжил свой путь. Когда он подошел

к олеандрам, украшающим широкий вход в трактир «У лошадки», часы на ратуше закудахтали и снесли три звонких яичка. Без четверти двенадцать. Тлахач снял фуражку, вытер лоб и провел платком за воротом рубашки. Даже пот прошиб черт знает отчего, в таком виде на люди показаться нельзя, а то не избежать ехидных вопросов, истыкают ими, как стрелами, и становишь вроде статуи великомуученика Себастьяна, что стоит на нижней окраине Бытни.

Однако полицейскому, видно, не суждено этой ночью так просто добраться до вожделенной горькой и тарелки гуляша.

Широкая подворотня, как туннель пробивающая старый дом до самого двора, где расположены сараи для извозчиков коней и телег, в последнее время частично переоборудованные под автомобильные гаражи, мутно освещен одной тусклой лампой, свисающей на невидимом проводе со сводчатого потолка. В тот момент, когда Тлахач кончил приводить в порядок свой внешний вид, в том числе и выражение лица, и собирался войти в сумрак подворотни, слева вырвался более яркий луч, у потолка сероватый и клубящийся от табачного дыма, и вынес на деревянные брусья мостков сначала черную тень, плывущую по земле, а за ней фигуру, которая кажется еще чернее. Потом двери захлопнулись, сумрак проглотил и яркий луч, и тень, на долю секунды кажется, что он поглотил и фигуру, но та избегает опасного места и медленно плывет к Тлахачу.

Вахмистр щелкает каблуками, вытягивается и прикладывает руку к козырьку, однако все это чуть менее подчеркнуто, чем перед бургомистром.

— Добрый вечер, преподобный отец.

— Благослови вас бог,— отвечает священник, и в его голосе, на удивление густом и звучном для его роста, звучит деревенская широта и напевность.— Вижу, что нашел себе провожатого.

Декан Бружец, неизменный зритель четверговых марьяжей, всегда допивает последний глоток белого вина без четверти двенадцать, пожимает руки соседям по застолью и уходит. Полночь ему не подвластна, она не должна застать его там, где иной раз и дьяволу захочется сесть за карточный стол. Тем более завтра пятница, а в пятницу он всегда сам служит раннюю мессу, в другие же дни его подменяет капеллан. В этом есть и маленькое покаяние: пображничал — подымайся с постели чем свет.

Они стоят рядом, Бружец едва достает Тлахачу до плеча, и полицейский смотрит поверх своего мундира на его волосы, седые, но до сих пор жесткие и стриженные ежиком. Священник от весны до зимы ходит простоволосый, а свою потасканную, мятую шляпу носит в руке только для того, чтобы не вызвать недовольства паствы. Потому что горе тому, кто сеет возмущение и в малом. Довольно часто случается, что декан Бружец забывает шляпу где-нибудь на меже, в телеге, на ручке плуга, на колу забора — да прости меня, господи, где угодно, а не найдется более подходящего места, так повесит ее и волу на рог, а потом бегает сам не свой, ищет.

Волосы, как уже было сказано, седые, но лицо — не угадаешь, какого возраста,— нет в нем поповской округлости и пухлости, оно загрубело на вольном воздухе, солнце и ветру, стало под бронзу: летом багрового, зимой желтовато-табачного оттенка. Декан Бружец — пасечник, садовод, землепашец и священник, всего поровну, все он делает с одинаковым воодушевлением; к нему можно обратиться, если заболела корова и ты не знаешь, что делать, за ним можно послать, если пчелы начали роиться или если тебе вздумалось отдать богу душу в деревне километрах в десяти от прихода, когда на дворе бушует выюга. Таким его знают все, таким, во всяком случае, он предстает перед нами, а что еще можно знать о человеке, который проповедует другим, выслушивает их секреты, а сам никому не исповедуется и как бы не имеет личной жизни; знают только, что он не скопидом, как многие из его сословия, и с кафедры так умеет открыть людям их подноготную, что женщины плачут, а мужчины в смущении переминаются с ноги на ногу, будто стоят на горячем.

Тлахач, прежде чем ответить, должен откашляться, словно у него ком в горле. Но ему и в голову не приходит отказаться проводить священника. Они, правда, не связаны по службе, как, к примеру, с бургомистром, но священник все же начальство, хотя и в другом роде, и полицейский твердо знает, что власть надо почтить и признавать всюду, где она ни встретится, потому что иначе и сам опустишься ниже свинопаса. К тому же декан — мужик не хуже бытеньского бургомистра, а может, и покрепче. Не ждет божьей помощи, где может справиться сам, благо силушки ему не занимать. Рассказывают, как он управился с Нейтеком, этим пьяницей батраком из богадельни, задирой и драчуном, который, как только его где-нибудь отдубасят и выкинут из трактира, колошматил жену до

полусмерти. За это сго трижды сажали, сначала на две недели, потом на шесть, а в последний раз на три месяца, но он, как только вернется, всякий раз избивает ее, чтобы доказать, что ему никакие суды не указ и со своей женой он будет обходиться, как ему заблагорассудится. Тогда к нему отправился декан Бружеек. Он нашел Нейтека на лавочке перед домом, где тот перочинным ножиком выстругивал что-то из ольхового сучка. Жена его, пользуясь солнечным днем, стирала в корыте, поставленном на скрипучий стул. Ее голые руки были еще в синяках от последней таски. Декан поздоровался. Нейtek, не поднимаясь, буркнул что-то в ответ, а шапку снять даже и не подумал. Вокруг сразу же стал собираться народ, а некоторые смотрели из окон, кто его знает как, но только по улице вмиг разнеслось, что декан Бружеек отправился приводить в чувство Нейтека.

— Нейтек,— сказал декан медленно и внушительно,— я пришел спросить вас, долго ли вы будете издеваться над женой. Дольше этого терпеть не может никто: ни бог, ни люди, ни я.

Драчун, чувствуя себя в центре общественного внимания, решил показать всем, что не поп с ним, а он с попом, да и вообще со всяким другим, расправится по-свойски. Пока священник говорил, он положил ножик на одну сторону лавки, палочку — на другую и начал медленно подниматься. Встал, расставив ноги, сдвинул шапку еще больше набекрень — все знали, что это означает, — вытащил глаза и отрезал:

— В мою личную жизнь всяким долгополым лезть не позволю! Вон калитка, второй раз я ее вам показывать не стану.

— Ну, хорошо, Нейтек,— ответил смиренно отец Бружеек,— возможно, вы и правы. На свете только один господь может вмешиваться во все. Не сердитесь, бог с вами.

И, батюшки мси, чудеса: декан Бружеек мирно протянул Нейтеку правую руку. Драчун минуту недоверчиво смотрел на эту протянутую руку, потом глаза его победно засияли, он протянул руку и посмотрел за забор. Все видели, как он срезал попышку. Сейчас он ему еще добавит.

— Все в порядке, поп,— сказал он громко.— Я не сую носа к вам в костел, а вы не суйтесь в мои дела.

Декан улыбается кротко, но руку Нейтека не отпускает.

— Хорошо, Нейтек,— отвечает,— но не пообещаете ли вы мне, что больше никогда не будете избивать жену?

Забияка рванулся, заметив ловушку, да поздно. Нейтек

рвет руку, а священник держит, не пускает и жмет все сильнее, повторяя:

— Ну, как, Нейтек, пообещаете?

— Пустите, черти вас задери! — орет гуляка, а отец Бружец все сжимает и сжимает ему руку.

Под конец Нейтек грохнулся на колени, ругался, орал, рвался, аж пот его прошиб, потом обмяк, как тряпка, и выкрикнул:

— Обещаю, черт дери, только пустите.

Люди рассказывают об этом, прямо как о чуде. Нейтек жену больше пальцем не тронул. А когда ему хотелось задать ей трепку, он смотрел на свою лапу, помятую попом, и отпускал жену. И всякий раз его кидало в пот, и он уходил из дома, отплевываясь, будто его мутило, и клял все на свете, пока не отводил душу. Но никто не знал, что, прия домой, декан долго молился. И для спокойствия душевного отправился даже к епископу испросить, не посягнул ли он на промысел божий или сам был его орудием.

Декан с Тлахачем идут по Костельной. Перешли Тржную улицу, более широкую, чем сама площадь, и вдвое ее длиннее — здесь устраивали скотный рынок. Улица вся поросла травой, низко оциппанной стадами гусей, по одной стороне улицы течет речушка, достаточно глубокая, чтобы в летнюю жару в ней купалась ребятня; это — гусиное раздолье, охотничьи угодья уток и естественный водопой для скота, пригнанного на продажу. Костельная улица пересекает поток бетонным мостиком, перед которым с обеих сторон стоит круглый знак «22 тонны». Священник переходит тихо, зато полицейский заставляет мостик гудеть под своими тяжелыми шагами. В лунном сиянии лужайка утратила зеленый цвет; под покровом обильной росы она стала серо-серебристой и блестит, будто дно огромной пустой миски. Весовой сарайчик посреди Тржной улицы, обращенный к прохожим своей теневой стороной, выглядит среди этого пустого пространства, озаренного луной, необычно мрачно и таинственно. Полицейский, взглянув на него, чувствует, что в такую ночь, как сегодняшняя, этот домишко может стать приютом для любой мерзости и что не мешало бы его осмотреть. Тлахач привык в самые темные ночи бесстрашно рыскать по самым темным закоулкам, но сегодня он с удовольствием отказался бы от этого, отговорившись необходимостью проводить священника. Однако чувство долга побеждает. Полицейский останавливается и говорит:

- Надо бы заглянуть в весовую.
Декан смотрит на него с улыбкой.
— Зачем?
— А вдруг там кто-нибудь прячется.
— Пошли.

Они свернули с дороги и обошли весовую вокруг. Тлахач попробовал двери и окна, дергая их изо всей силы. Окна простые и ветхие, стекла дребезжат, вот-вот вылетят. У одного из двух окон с освещенной стороны дома стекла нет. Весной его выбили мячом ребятишки, новые вставят, когда весовщик начнет мерзнуть. Паук, прельщенный пустой рамой, заплел дыру паутиной, паутину запорошило пылью, и пылинки поблескивают в лучах луны. Кто знает, может быть, это единственная добыча, которая досталась пауку, если, конечно, над ним не смилиостивилось изобилие ярмарочных дней, когда за скотиной тянутся стаи мух. Декан Бружец не прочь поразмыслить над участью этого ловца, сеть которого никогда не наполнялась. А так как ему свойственно мыслить символами, всегда для него пленительными и волнующими, он тут же вспоминает иных ловцов, ловцов душ и сердец, вспоминает невод Петра, долгое и терпеливое ожидание, которое суть вся жизнь, вспоминает последний и благороднейший улов, который уже не от мира сего. А Тлахач снова обрел уверенность, столько раз потрясенную нынешней ночью, и почувствовал необходимость оправдаться перед деканом.

— И на что сдался здесь этот домишко,— говорит Тлахач.— В нем только прятаться всякому отребью да караулить добычу. Тут человека можно четвертовать, и никто знать не будет.

— А вы когда-нибудь находили здесь кого?

Тлахач смущен и недоумевает, нет ли насмешки в простом вопросе священника.

— Нет, и даже не знаю, кого здесь могут ограбить, но все равно...

— Верно. Если чего-то не случилось, еще не доказательство, что не могло случиться. В этой жизни ни за что поручиться нельзя.

Тлахач неопределенно хмыкнул. Что, ему сегодня не избавиться от таких речей? Сперва кормил ими бургомистр, а теперь вот декан. Полицейский нацелился на вещи надежные и приятные: тарелку гуляша, кружку пива, которые поставят человека прочно на землю и наполнят новой силой, на стопку горькой, которая исправит

настроение и даст почувствовать, что ты мужчина, нацепился на партию в марьяж, в которой, пораскинув умом, можно рассчитать все, даже если не идет карта. А вместо этого с той минуты, как собственная тень сыграла с ним дурацкую шутку, он слушает речи, словно специально придуманные, чтобы возбудить в нем чувство, будто земля, по которой он ходит, не старая добрая земля, а какое-то чертово колесо, которое каждый миг может уйти у него из-под ног. Ему хотелось бы с этим решительно покончить.

— Не знаю,— говорит он угрюмо.— У меня голова на плечах, и я покамест соображаю, что мне делать.

Священник, хоть ему и не до конца известно, что побудило полицейского к такому ответу, понимает, в чем дело, и улыбается. Потом задумывается. Кто знает, не являются ли люди вроде Тлахача истинными избранными божьими? Его уверенность идет от здоровья и телесной силы, а душа, никогда не израненная ни мыслями, ни страданиями, остается гладкой, как лицо ребенка, не изборожденное сомнениями. Если он и согрешил, то разве только слишком рьяно исполняя человеческие законы, которым служит. Или из склонности к эгоизму, потому что такое тело требует своего. Но отец Бружеек знает, что этот бездетный вдовец взял на воспитание дочку своей умершей сестры и заботится о ней лучше, чем иные более обеспеченные о собственных детях.

В то время как они спускаются по отлогому склону Костельной улицы, мысли отца Бружеек витают бесконтрольно и снова возвращаются к весовой с окном, затканным паутиной. И он говорит, будто без всякой связи с предыдущим разговором:

— Отчего все мы считаем, что зло скрывается только во тьме?

Тлахач откликается с неожиданной готовностью:

— Потому что на свету никому не укрыться.

Костельная улица слегка поворачивает и идет по прямой в горку. Они шагают навстречу луне, которая стоит рядом с башней костела. Серебряный поток обрушивается на них, будто хочет унести с собой. Стены, за которыми живут люди, стены, которые терпят жару, холод и дождь, где пишут мальчишки и поднимают ножку собаки, теперь источают свет и искрятся.

— А как бы вы назвали такой свет, Тлахач?

— Это не свет, это обман,— взрывается полицейский.

— Вы правы, — отвечает священник серьезно. — Лучше не видеть, чем видеть ложно. Лучше влачиться в темноте, чем плыть, как снулая рыба, в этом сиянии, которое и не свет вовсе. В темноте можно идти на ощупь, а как себя вести при этом свете, который показывает вещи не такими, какие они на самом деле или какими они не должны быть? Понимаете, почему вы шли к весовой, полный опасений, хотя разум вам говорил, что зло для своих дел не выбирает таких светлых ночей? Посмотрите на башню. Разве вам не кажется, что это не та башня, которую мы знаем? Я чувствую, что должен бы подняться на нее и молиться до тех пор, покуда тьма не поглотит свет — спокойная, ласковая тьма, которая приличествует времени сна и отдыха. Я могу, пожалуй, представить себе всякое зло, крадущееся во тьме, но я становлюсь в тупик, когда думаю о том, что может родиться и скрываться при таком свете.

Полицейскому кажется, что мера сумасбродных речей, которые он должен выслушать этой ночью, исчерпана. Он отвечает ворчливо:

— Хотелось бы мне увидеть кого-нибудь, кому вздумается лезть через забор или сшибать замки при такой иллюминации.

Отец Бружец открывает и снова закрывает рот, так ничего и не сказав. Слова, которые чуть не сорвались с его языка, в последний момент показались ему банальными, книжными, заученными.

В том месте, куда за разговором дошли священник с полицейским, Костельная улица начинает меняться. Внизу, ближе к площади и Тржной улице, ее обрамляют двух- и трехэтажные дома, в их первых этажах, за спущенными ребристыми шторами, отдыхают в эти часы, свободные от торговли и аренды, скобяные товары, мануфактура, галантерея, стекло и фарфор, сладости и кособокий манекен в парике — расставленные сети и западни торговли, которыми по воскресеньям и в ярмарочные дни заманивают сельских жителей.

Чем дальше, тем Костельная улица становится беднее; вместо двух- и трехэтажных домов с витринами поблескивают двумя-тремя окнами общарпанные приземистые домишкы с широкими въездными воротами, впрочем, сюда еще затесалась одна пекарня — и все, здесь ремесленники сдают свои позиции и власть берет в свои руки деревня.

Еще несколько шагов — и Костельная улица непонятным образом исчезает. Мощеная дорога идет дальше,

а тротуары пропали в траве, дома уже не стоят правильным порядком, их всего несколько, вернее — четыре, включая богадельню. Дом, что торчит обособленно справа, сужающийся от фундамента к покоробившейся крыше, с мертвенно синеющей, тут и там облупившейся и прочерченной длинными трещинами штукатуркой, дом без палисадника, окруженный такой затоптанной лужайкой, что даже роса и лунный свет не могут ее принарядить, дом, где вдруг послышавшийся детский плач был тут же оборван злобным мужским окриком,— это приют, или богадельня — как вам больше понравится, в Бытни его называют и так, и эдак. От богадельни вверх к храму тянется высокая, замшелая стена, огибающая кладбище. Соседство это вполне естественно, и пейзаж подобающий, потому что радости жизни не для бедных и убогих. Большое белое двухэтажное здание напротив костела, солидное и приветливое, с барочным фронтом и крышей, крытой гонтом, который поблескивает в лучах луны,— это приходской дом. От него расходится в обе стороны кирпичная ограда, а за ней хлевы, риги и сараи, влажный запах огородов, деревьев, цветников, хозяйства. Остается еще один дом, самый странный из всех, но не сам по себе, а местоположением, которое он для себя избрал, и соседством, в котором оказался. Декан и Тлахач как раз подошли к нему и остались у калитки. Это не деревенская изба, это домик без пристроек, окруженный садиком, приглядный и чистенький, посередине двери, справа и слева — по два оконца за зелеными ставнями. От проволочной решетки забора к дому разбиты цветники, по центру — от калитки к дверям — бежит дорожка, выложенная белым кирпичом. По виду кажется, что живут здесь порядочные, педантичные и робкие старички, которые в этот час уже давно спят. От Костельной улицы домик с обеих сторон огибают две тропинки, чтобы соединиться за ним и пуститься напрямик мимо стены прихода к верхнему шоссе.

Священник остановился, но полицейский заговорил первым:

— Ни за что бы не подумал, что ее там больше нет.

— Что тут могло измениться за три дня? Подождите, посмотрим, как будут выглядеть эти цветники через месяц, если, конечно, ими никто не займется.

— В голове не укладывается, как это — кто-то тут был и вот его нет. И никогда не будет.

— Обычное заблуждение, Тлахач. Самые сильные и здоровые заблуждаются больше других.

Тлахач недовольно засопел.

— Интересно, узнаю ли я заранее, какой мне уготован конец? Это ж какая каверза — помирать и не знать об этом. Ведь это же конец, верно? Человек все-таки на что-то имеет право,— добавляет он сварливо.

Декан улыбнулся, но ничего не ответил, не поддержал его ни профессиональным заверением, ни дружеским утешением. Молча поднял руку к дверям и коснулся чего-то блестящего на верхней их части.

— Тут еще табличка с ее именем. Либуше Била¹. Думаю, только Кази из трех мифических сестер была такой худой, как она. Помнится, имени своего она не любила, оно казалось ей недостаточно христианским.

— Вот уж белой-то она не была, черная, как пекло. Лицо смуглое, как у цыганки, волосы смоляные, и ни единого седого. А ведь по годам вполне могла быть бабушкой. Скорее всего — красилась.

Тлахач вопросительно посмотрел на священника, но тот только пожал плечами. Может статься, он об этом кое-что и знал, да считал, что это относится к тайне исповеди.

— А могли бы вы представить ее маленькой девочкой, которая идет к первому причастию? Или девушкой, которая наряжается на танцы или волнуется, ожидая кого-то, кто должен прийти просить ее руки?

— Такое мне и в голову не приходило,— живо отзывался полицейский, будто защищаясь от обвинения.— Если бы так было можно, я бы сказал, что она и молодой-то никогда не была. Двадцать лет назад, когда она переехала сюда, она уже была такая, как сейчас перед смертью. Не верится даже, что она могла когда-нибудь пригляднуться какому-нибудь мужчине. Вот уж была не из тех, за кем бегают.

— Я причастил ее перед смертью,— отвечал священник серьезно.— На стенах в ее комнате висят фотографии, которые убедили бы вас в обратном. Она там снята и девочкой, и девушкой. Не то чтобы красивая, но, в общем, миловидная. По виду, во всяком случае, не скажешь, что такая останется старой девой.

Тлахача это не убедило; более того, во время разговора он расслабился настолько, что поддался старой профессиональной привычке раскачиваться всем телом, перевалива-

¹ «Била» — по-чешски «Белая».

ясь с носков на пятки и покачивая дубинкой за спиной, словно беседуя с кем-нибудь из бытеньских горожан.

— Может, это ее сестра. Сама-то она походила на почтовую чиновницу на пенсии. У этих бывает такой вид, будто люди им опостыли раз и навсегда и они готовы от них запрятаться в какую ни на есть пору. Правда, никакой пенсии она не получала, иначе бы я знал. И писем она тоже ни от кого не получала, хотя Носек говорил, что она всегда его высматривала, когда он нес в вашу сторону почту. Выходила к калитке и смотрела, как он идет, а потом вслед — пока он не войдет в приходский дом. И никогда не пропустит, хоть дождь, хоть холод, и не спросит, есть для нее что или нет.

Декан молча смотрел на освещенную луной медную табличку, на которой с причудливыми завитушками и росчерками выгравировано чернью имя умершей. Может быть, его тронул рассказ Тлахача, но личность покойной от этого не стала понятней. Теперь, думалось ему, когда она ушла навсегда, он знает о ней так же мало, как и все остальные. Он видел ее в костеле каждое воскресенье, а то и в будний день, но она была не из числа святош, как некоторые женщины ее судьбы и возраста. Никогда не останавливалась, когда он проходил мимо; нередко он сам обращался к ней, увидев ее в садике, склоненной над цветами. Она говорила об овощах, цветах и плодовых деревьях с большим знанием, но без энтузиазма, которого, казалось бы, можно было ожидать от нее,— столько забот уделяла она саду, добиваясь прекрасных результатов. Во время разговора, хотя она смотрела ему в глаза, его охватывало неприятное ощущение, будто она смотрит сквозь него, словно ее взгляд не останавливается на предметах, а проходит через них и устремляется куда-то дальше, ни на чем не задерживаясь. Обычно он сам торопился откланяться, и она никогда не пыталась задерживать его. Исповедовалась она два раза в год. И только тогда, в том настойчиво доверительном интимном шепоте, голос ее обретал страсть и выразительность. Она шептала с таким жаром, словно мстила себе за то, что исповедуется, и с такой безнадежностью, словно хотела показать, что нет покаяния достаточно сильного, чтобы оно растопило острые кристаллики того, что стало самой основой ее существа. Как бесконечно далеко была эта женщина от людей и как хотела бы к ним приблизиться, как трепетала любовью и как холодно должна была ненавидеть, хотя никогда не сделала ничего, в чем проявилась бы эта ненависть.

— Никто о ней ничего толком не знал,— заговорил Тлахач, когда молчание священника чересчур затянулось.— Все, о чем люди болтали, не стоило медного гроша.

— Этого-то они и не могли ей простить,— подхватил священник с виноватой усмешкой, словно сам вдруг почувствовал, что и он, ее духовник, знает о ней так мало.

— Не могли простить, это уж точно,— поддакивает Тлахач, и по его голосу заметно, что он согласен с теми, остальными.— Здесь каждый обо всех знает все. Так и должно быть. Только мерзавцу есть что скрывать.

Священник молчит, размышляя, что в выпаде Тлахача от общественного мнения, а что от профессионального усердия, которое заставляет его выведывать подноготную каждого.

— Не любили ее, что верно, то верно,— продолжает Тлахач,— хоть она была не злая, а просто чудная. Тем, кто на других не похож, всегда не доверяют и даже боятся их.

Увлеченные разговором мужчины не заметили, что луна в это время зашла за колокольню храма и закрыла их тенью.

— Чудная — вот только этим словом нам и остается довольствоваться, хотя оно ничего не объясняет,— говорит священник и заключает: — Она была для нас чужой потому, что мы думаем, будто знаем один о другом, зачем он живет. А о ней мы этого не знали. Мы даже точно не знаем, отчего она умерла. Доктор утверждает, что не нашел у нее никакой определенной болезни. Ее смерть больше всего походила на смерть от старости, хотя и старой-то ее еще нельзя было считать. Никто из нас не явился на этот свет просто так, хотя иной раз только со смертью становится понятным, зачем человек жил. А после ее смерти ничего не прояснилось.

Небесные сферы совершают свое неустанное коловоржение, и месяц движет бесстелесную часовую стрелку тени. Незаметно, сквозь пряжу речей, она передвинулась и уже накрыла цветники, пересекла дорожку от калитки и выползла на освещенную стену дома, гладкую, как циферблат, с которого, для вящего ужаса неизвестности, стерли цифры. Как раз в тот момент, когда священник кончил говорить, она достигла двери, этого последнего, забытого числа, лишенного своего количественного выражения и означающего неизвестный час неведомого времязчисления. Но двери достигала только одна макушка островерхой башни, только шпиль, увенчанный крестом. Тень столба поднялась, перекладина простираясь как раз

посредине. Полицейский первым заметил эту новую игру сегодняшнего полнолуния, игру, которая, наверное, совершилась множество раз со временем существования домика, просто ее никто не наблюдал. Он вскинул руку указующим и одновременно обороняющимся жестом, будто хотел отогнать призрак.

— Господи,— простонал он приглушенно и сдавленно,— преподобный отец, посмотрите.

Священник взглянул и, увидав символ своей веры, возникший и размещененный таким необыкновенным образом, тоже осенил себя крестом.

— Это, наверное, какой-нибудь знак,— прошептал полицейский хрипло.

Священник уже опомнился, и поэтому суеверие Тлахача его раздосадовало.

— Да, конечно,— ответил он резко.— Это по меньшей мере означает, что мы тут разболтались и в наших речах было мало веры и набожности и самое лучшее, что мы можем сделать, это разойтись по домам.

— Ну нет, не так все просто,— упорствует Тлахач, голос которого стал опять обычным,— и хотел бы я знать, что это означает, если появилось как раз в эту минуту.

— Ну,— говорит священник веско и успокоительно,— такое случается здесь, конечно, не первый раз, и сегодня было бы, даже если бы мы тут с вами и не стояли. Однако в этом мире действительно ничего не происходит случайно и вне зависимости. И мы можем из этого извлечь для себя что-то полезное. Во-первых, не нужно будить того, чему предназначено спать, и, во-вторых, пусть это послужит нам поводом для пущей бдительности. Вы спрашивали, что может скрываться на свету, и вот настала минута, когда вы дрожали, как осиновый лист.

Полицейский обиженно заворчал, выпятил грудь и приготовился возразить, священник мягким, но повелительным движением поднял ладонь, чтобы тот замолчал.

— Я знаю, вы храбрый человек, Тлахач, не боитесь воров и буйнов. Но вы только что сказали, что преступник не может скрываться при свете. Какая же бдительность нам нужна? Не знаю. Но знаю, что мы должны быть начеку. Вы и я — мы оба стражи, хотя каждого из нас поставила иная власть и на ином посту. Ступайте, приятель, и сторожите. Доброй ночи.

Священник повернулся и быстро зашагал прочь, а полицейский смотрел ему вслед до тех пор, пока тот не скрылся в дверях приходского дома. И вдруг он ощутил

свое одиночество более остро, чем ему хотелось бы в этом признаться. Тлахач искоса взглянул на двери, которые его так перепугали, но тень колокольни уже закрыла большую часть домика, поднялась до самой крыши, и крест в эту минуту уже продвинулся куда-то за ее гребень. Конечно, это была просто тень, и полицейский сплюнул, вспомнив, как он поддался испугу и какую проповедь прочитал ему отец Бружец. Но и это не помогает ему обрести обычную твердость, он все еще не тот молодец, который не побоялся пригнать к солдатам отстреливающегося взломщика и сталкивал головами трактирных драчунов. Он уже сыт по горло сумасбродствами сегодняшней ночи, тенями, мудреными разговорами. И самое лучшее ему — повернуться задом к этому месту и направиться к приветливым отням трактира «У лошадки». Но в то же время ему не хочется убираться отсюда, как мальчишке, испугавшемуся в темноте огородного пугала или куста, похожего на бродягу; ему необходимо рассчитаться с этим прекрасным уголком Бытни и всем тем, что ему сегодня пришлось испытать, доказать себе просто и веско, что ходит он по обычной земле, сторожит Бытень от воров, а все прочее — ерунда, не достойная внимания. Тяжесть внизу живота дает его мыслям вполне определенное направление.

Он сует дубинку под мышку левой руки и направляет-ся через улицу, расстегиваясь на ходу. Встав у стены богадельни, навещаемой с наследственной привязанностью поколениями мальчишек и собак, он начинает мочиться на нее с превеликим удовольствием, облегчающим и тело, и мысли, в этом как бы выражено его окончательное суждение о всех сегодняшних происшествиях.

В глубокой тишине ночи полицейский с удовольствием вслушивается в звонкое журчание струйки, вместе с которой из него как бы уходит все, что теснило и внушило смятение. Но облегчиться он не успевает — иной звук с быстротой брошенного камня разбивает стеклянный купол тишины и поражает его слух. Это глубокий, звонкий краси-ый удар, но тело полицейского, в котором еще не спало напряжение, все сжимается от испуга и пресекает струйку. За первым следует еще удар, за ними — еще и еще, часы на ратуше бьют полночь. Полицейский вздыхает, слегка раздосадованный, что так перепугался, и заставляет свой мочевой пузырь продолжить деятельность. Струйка снова журчит, полицейский про себя отсчитывает удары и даже улыбается, когда замечает, что звон часов на ратуше и то-ненький звоночек его ручейка звучат в унисон. Но не

успели бытеньские куранты важно, торжественно и неторопливо пробить десять раз, как из глубины сияющей ночной дали донесся другой, долгий, тягучий звук, словно вопль проклятого, и полицейский вздрагивает снова.

— Пражский ночной. Что это я сегодня, как дурак, всего пугаюсь!

Дальнейшее принуждение напрасно. Мочевой пузырь болезненно сжался, будто в судороге. Тлахач застегивается и направляется к площади.

— Это мне может выйти боком,— ворчит он про себя.

Он хочет идти быстрее, но режущая боль внизу живота укорачивает и замедляет его шаг. А так как на его памяти ничего подобного с ним не бывало, Тлахачу кажется, что ему угрожает новая, неизвестная опасность.

— Наверное, отпустит, когда хлебну кружку пива.

Бытеньский вокзал удален от фонтана на площади, — который является, так сказать, геометрическим центром города, — на добрых двадцать пять минут пути. Быстроно-гие мальчишки, наверное, одолевают это расстояние минут за семнадцать, а то и меньше, но ребячья ноги не могут быть мерилом для горожанина, исполненного сознания своего веса и значения в обществе. Однако известен, вспоминается и вызывает удивление рекорд Фердинанда Корца, в прошлом бродяги, затем последовательно ночного, полевого сторожа, лесника и, наконец, городского рассыльного, который в один прекрасный день вместе со своей собачьей упряжкой одолел это расстояние за двадцать три минуты. Он умучился в тот раз и так был изумлен своим рекордом, что не мог опомниться и после трех рюмок худейовицкого. С тех пор, укрощая излишнее рвение своих псов, он преодолевает это расстояние ровно за тридцать минут.

Вокзал расположен слева от шоссе, которое начинается или кончается в Бытни как раз напротив трактира Роубала, последней бытеньской пивной в той стороне. Шоссе пересекает железную дорогу и тянется, взираясь по холмам, в сторону Менина, Палах, Крштина, Розмаровиц и еще дальше, куда не распространяются интересы жителей Бытни и откуда, сколько помнят люди, никто никогда не пригонял коров и не привозил невесты. В стороне от шоссе между Бытнем и железнодорожным полотном находится пруд Деловец, тридцать семь гектаров водной поверхности и добрых сорок пять торфяников, болот и тря-

син, которые местами подходят к самому шоссе и тянутся по другую его сторону достаточно далеко, постепенно переходя в скудные луга. Ну а прямо против этих лугов, через дорогу, которая не ведет никуда дальше, расположились бытеньский вокзал, административное и жилое здание с мезонином, потом склад с платформой, неизменный садик с беседкой, семафор, колодец и, конечно, домик о двух входах.

Бытеньский вокзал знаменит тем, что на перроне перед ним растет восемь кругло подстриженных каштанов и что в нем ничего не изменилось с тех пор, когда он был построен и введен в эксплуатацию. Хотя он и расположен на трассе, по которой проходят международные поезда и менее чем в двухстах метрах от него вздымаются стальные конструкции линии высоковольтных передач, вокзал до сих пор освещается снаружи и изнутри керосиновыми лампами. Естественно, что есть люди, которые возмущаются такой отсталостью, а другим, наоборот, по душе старосветское обаяние и покой вокзальчика. И то сказать, какая необходимость менять что-либо в вокзале, раз сам город за последние сто лет изменился так мало. Испокон веку это был городок сельскохозяйственно-ремесленнический, таким он и остался, и бурный поток предпринимательства конца прошлого и начала этого столетия обошел его стороной.

Ночной поезд, гудок которого вместе с боем курантов на ратуше так неприятно оказались на физических отправлениях полицейского Тлахача, был одной из немногих достопримечательностей города, возникшей вовсе не от потребностей Бытни, а скорее из-за расписания движения поездов. Карел Тершик, грузчик, которому пять раз в неделю выпадало встречать ночной, высматривал его на своем обычном месте между первой и второй колеями, сидя на ручной тележке примерно там, где останавливается почтовый вагон.

Луна, которая устраивала в городе фокусы с башней католического храма, здесь стояла прямо над путями, тянувшимися до самого горизонта, и высекала из рельсов холодный свет. На Тершика он действовал элегически, и тот, поддаваясь его власти, тихо-тихо, чтоб не услыхал дежурный по станции в диспетчерской вокзала, пиликал на маленькой губной гармошке, спрятанной в ладонях. Луна и мелодия, наигрываемая в ладони, поднимали со дна души что-то такое, на что днем не бывает времени. Ну кто такой вокзальный грузчик? Перед людьми можешь

фасонить в фуражке с крылатым колесом, но с глазу на глаз с собой лгать нечего. Сегодня ты здесь, а завтра — катись. Но тот, кто связался с железной дорогой, от нее не отстанет, лучше положит голову на рельсы. Тершик совсем затосковал и дунул в гармошку так, что дежурный по станции наверняка услышал бы его, если бы ему в уши не играли звонки сигнальных устройств, которые перекрыл гудок паровоза: огни его как раз вырвались из-за поворота у леса. Тершик спрятал гармошку в карман, соскочил с тележки и, забыв о своих чувствах, приготовился к исполнению служебных обязанностей.

Ну, конечно, ночной поезд, как по заказу, его колеса притормаживают у бытеньского вокзала в те самые мгновенья, когда кончается один и начинается другой день, в час двенадцатый и нулевой одновременно, на этом рубеже суток, издревле слывшем таинством, которому приписывали силу ключа, открывающего дверь, — единственное связующее звено между тем и этим светом. С этого поезда даже в дни танцуек на мясоед, престольных и храмовых праздников и тому подобное не вылезает больше одного-двух запоздалых пассажиров; поезд не стоит здесь и минуты, и когда Тершик берется за дышло тележки, чтобы отвезти скучный груз, сброшенный ему из почтового вагона, он видит исчезающий за поворотом на Деловец красный огонек последнего вагона. Если бы Тершик был наделен большим воображением или в детстве слышал больше бабушкиных сказок, этот поезд мог бы и вправду показаться ему призраком, но грузчик, к счастью, всегда бывал таким сонным, что думал только о своей конуре.

Сегодня, однако, Тершик как вкопанный стоит над багажом, который очутился на его ручной тележке. Кроме обычных трех связок газет и пяти молочных бидонов, за которыми приезжают по утрам от Нольчей, на тележке оказались еще два огромных, пузатых черных деревянных сундука.

— Багаж, — сказали Тершику из служебного вагона, когда, сопя от напряжения и злости, помогли ему взгромоздить его на тележку. Хотелось бы знать, как теперь он справится с ними один?

Что-то белеет у боковой ручки сундука. Табличка с именем. Может, хоть это объяснит, какой черт разъезжает с такой тяжестью. Тершик поворачивает к себе табличку, наклоняется над ней и читает по складам при свете луны имя, выведенное крупными, ученически четкими округлыми буквами:

ЭМАНУЭЛЬ КВИС
БЫТЕНЬ

— Квис? — вполголоса повторяет Тершик, потому что, как и большинство людей, работающих в одиночку по ночам, он привык иногда разговаривать сам с собой вслух, чтобы услышать какое-нибудь слово и хоть так удостовериться, что он еще жив. — Квис? В Бытни? Сроду не слыхал про такого, видать, не из здешних.

Рассуждая так сам с собой, Тершик вдруг почувствовал, что за спиной кто-то стоит и смотрит на него. Будто что-то мокрое и холодное шлепнуло его сзади по шее, так, во всяком случае, он описывал это потом, когда Бытень уже была полна всевозможных слухов.

— Ни шелеста, ни шагов — ничего не слыхал, а ведь там гравий, и я, слава тебе господи, на слух не жалуюсь, — рассказывал он, и выходило, будто железнодорожникам положен какой-то особый слух, как, скажем, хормейстерам или лесникам. Да ведь Тершику-то только бы похвастать; это был местный шут, пирожок ни с чем, как о нем говорили, и тот, кто правит людскими судьбами, знал, почему держит его на коротком поводке и не дает разгуляться. Тершик похвалялся решительно всем — тем, что дотягивал с грехом пополам до роста, необходимого солдату, тем, что у него не растут усы, что он умеет играть на губной гармошке и сплевывает, как никто другой.

— Наверное, ты не услышал из-за поезда, — сказал ему кто-то, но Тершик только сплюнул.

А в тот миг он стремительно обернулся и увидел перед собой мужчину в серых брюках весьма светлого оттенка и в черных лаковых полуботинках. Жилет у него тоже был светлый, песочного цвета, с глубоким вырезом и двубортный. Черный сюртук с тремя редко поставленными пуговицами в ту минуту был расстегнут и открывал жилет. Такое подробное описание одежды Эмануэля Квиса может показаться излишним, потому что в Бытни ее слишком хорошо помнят, так же как все могут подтвердить, что все то время, пока Квис жил среди них, никто не видел его одетым иначе, чем так, как он предстал перед изумленным Тершиком в момент своего прибытия. Достаточно упомянуть об этом, и вас замучают рассказами о его белой мягкой рубашке с пришивным воротником, который выглядел и старомодно, и экстравагантно, о черной бабочке с концами довольно длинными, но не мягкими, о неизменной крылатке, которую — будь она переброшена через руку или накинута на плечи — Квис ухитрялся

носить совершенно иначе, нежели носят склонные к поэзии отставные учителя; о промятой посредине лодочкой мягкой серой шляпе с черной лентой и обшитыми тесьмой полями, скорее узкими и сильно загнутыми. Не забудут, конечно, упомянуть и о его блестящей черной трости с серебряными инкрустациями, с которой он тоже не расставался, но больше всего наговорят про его сюртук о трех пуговицах, который он носил то расстегнутым, то застегнутым наглухо, так, что воротник рубашки едва был виден, и Квис выглядел в нем то как бодрый приветливый старик, всем как будто знакомый и известный, то как стройный, чопорный иностранец, о возрасте и образе мыслей которого догадаться невозможно. Но спросите, что, собственно, это был за человек, и вам станет ясно, почему так много говорят о том, как он был одет. Растираются, начнут пожимать плечами и плести всякую чушь.

Впрочем, Тершик, который просто не может допустить, что он не знает всего обо всем, этот начнет давать всякие разъяснения.

— Думаю, он был или актер, или что-нибудь в этом роде,— говорил Тершик и всегда добавлял, что ему первому из всей Бытни Квис задал задачу.— И помните, какое у него было лицо — все в морщинах. И всегда они складывались по-разному, никогда нельзя было угадать, как он будет выглядеть, потому что этими морщинами он вроде как играл с вами в прятки.

А в ту, в первую, минуту, будь у Тершика чуть больше воображения, он мог бы подумать, что это птица, прилетевшая с луны. Так свободно падал плащ с его плеч, так выделялись светлым пятном жилет и рубашка под расстегнутым сюртуком и трость была нацелена словно длинный тонкий клюв, что Эмануэль Квис напоминал цаплю или аиста, спустившегося на землю и складывающего крылья. Перрон был пуст, никто, кроме Квиса, не сошел в Бытни. Дежурный по станции, отправив поезд, вернулся в диспетчерскую, чтобы передать сигнал следующей станции. Не было никого, кроме их двоих да восьми братьев — кругло подстриженных каштанов, под которыми месяц разлил колеблющуюся лужу тени, да трех керосиновых фонарей на деревянных столбах, свет которых мерк в лунном сиянии. Тершик имел полное право вздрогнуть, увидев что-то, нацеленное в его грудь и блеснувшее, как клинок шпаги, но Тершик, как всегда, преувеличивает, — в минуту этой мнимой опасности трость миновала его плечо и ткнулась в один из сундуков.

— Мой багаж,— сказал приезжий, и его достаточно сильный голос прозвучал зычно, но без всякого выражения, словно эхо, повторяющее слова отчетливо и громко.

— Дзинь-дзилинь-дзилинь-дзинь,— засмеялись звонки в диспетчерской, когда дежурный по станции кончил разговор со своим коллегой, удаленным на двенадцать с половиной километров.

Приезжий дернулся, черты его лица пришли в движение и сложились в гримасу такой ярости, какой Тершику еще не приходилось видеть. Но приезжий не оглянулся на звук, а только приставил трость к ноге, морщинки опять разбежались, и лицо прояснилось, спокойное и гладкое, как будто это был другой человек.

— Я Эмануэль Квис,— продолжал он.— Багаж останется здесь, пока я за ним не пришлю. Обращайтесь с ним осторожно.

Тершик покраснел и схватился рукой за шею. Губы Квиса задергались, словно он собрался засмеяться, но из них выкатилось только еще несколько пустых словесных шариков.

— Повторяю, обращайтесь с ним поосторожнее, особенно когда будете снимать.

Тершика охватила злость. А она, черт возьми, почище удушья, так его и распирает, так и подбивает огрызнуться.

— Попробуйте,— взрывается он наконец,— попробуйте сами оттащить его, да еще осторожно, на такую тяжесть двух мужиков будет мало.

Тершику хочется заорать, но сознание, что диспетчерская в пределах слышимости, сильнее, поэтому он орет и шепчет одновременно, и кажется, что он судорожно выплевывает слова. От этих двух противоположных усилий у него даже горло перехватило.

Эмануэль Квис наклоняется вперед, вытягивает шею, вылезая из крылатки, как птица из крыльев. И его лицо, как зеркало, отражает каждое движение и дрожь физиономии Тершика. Тершик умолкает и с ужасом прислушивается к отзвукам крика, который он сдержал. Господи, если я так орал, мне конец. Ведь я не хотел ничего такого сделать. Или хотел, но кто на моем месте не разозлился бы тоже! Он смотрит на двери диспетчерской, ожидая появления на их бледно-желтом фоне силуэта дежурного.

Силуэт не появился, но Тершик все равно весь съежился и захныкал:

— Прошу прощения. Другой раз от работы так обалдешь за день, что голова кругом. Одни заботы.

Квис быстро наклонился к нему и спросил с жадным любопытством:

— Скажите мне, какие?

И Тершик, не подумав, начал рассказывать с таким неожиданным доверием, словно этот человек мог уже завтра разрешить все его проблемы.

— Я ведь, пан Квис, не на постоянной. Хотелось бы получить путевую сторожку. Если вы пожалуетесь, мне крышка.

— Сторожку,— повторяет приезжий,— это которые возле путей? Ежедневно обходить свой участок, поднимать шлагбаум, иметь крышу над головой и твердое положение, быть почти что хозяином самому себе и не таскать в полночь чужие чемоданы, так?

— Да, именно так, пан Квис.

— Но с чего начать?— бормочет Квис как бы про себя, а глаза его все так же впиваются в лицо Тершика.

— Есть здесь обходчик на двести шестнадцатом километре,— отвечает Тершик. Какой-то внутренний голос в нем кричит: «Что ты болтаешь, дурак!», но Тершик продолжает: — Дочь у него уродина. А сын выучился на инженера, работает в Праге в управлении.

— Это препятствие,— подхватывает Квис.

Тершик несколько раз слегка сглатывает слюну, но тем не менее выкладывает последнее:

— У меня девушка в деревне. Картинка. Но с ней мне сторожки не получить, а у ней ни кола ни двора.

Лицо Квиса при этих словах опадает, лишенное напряжения и любопытства. Он наклоняется, опираясь на трость, и поднимает свой саквояж, которого Тершик до сих пор не заметил. Этот тугой набитый матерчатый саквояж из клетчатого полотна больше похож на женскую сумку, чем на ручной чемодан.

Выпрямившись, Квис произносит:

— Примитив. Банально и совершенно неинтересно.

— Извините, я вас не понял...— бормочет Тершик растерянно и испуганно.

Но приезжий, не обращая внимания на волнение Тершика, поворачивается и уходит, не попрощавшись. Плащ, с одной стороны оттопыренный саквояжем, а с другой — согнутой рукой с тростью, раскачивается над светлыми штанами, как черный колокол, а серая шляпа, высветленная луной и скрывающая всю голову, как бы плывет

независимо от тела наподобие маленького воздушного шара.

— Доброй ночи,— кричит ему вслед Терщик, но привезший,— ни слова, только взмахнул тростью, и она блеснула возле шляпы.

Первыми залились мордастые и сонливые псы городского рассыльного Корца, прославившиеся в прошлом году на день поминовения усопших тем, что не проснулись, когда воры выводили из хлева, у самой их конуры, откормленную свинью. Собачий лай — как искра, упавшая на соломенную крышу в жарком июне. Залаяла одна — и тут же подхватывают все. Но в эту ночь Корцовы кабыздохи заливались хриплым лаем, будто их резали. Они так надрывались, что подняли с постели Корца, который любил поспать побольше своих собак и за это пристрастие был выгнан из ночных сторожей. Корц влез в шлепанцы и как был — в синих исподних, без рубашки — вылез во двор. Он обнаружил свою упряжку посреди двора. Ощетинившиеся от ужаса псы прижались друг к другу задом и, заливаясь лаем, крутились, словно кто-то их обходил вокруг. Завидев Корца, собаки затихли, подбежали к нему и стали жаться к ногам. Он чувствовал, как они дрожат и как в них еще клокочет лай.

— Ну, что тут у вас стряслось, бродяги? — проворчал Корц недовольно. Ни одним из пяти чувств он не мог уловить причину собачьего беспокойства. Из постели его выгнала скорее женина брань и воспоминание об украденном кабанчике, чем ощущение опасности. Одурманенный сном, он в первый момент вздрогнул от того, что ночь провела холодной лапой по его жирному, потному загривку. Корц сплюнул густую слюну, зевнул и поскреб волосы на груди, оглядывая двор, залитый белесым светом луны.

Он не обнаружил ничего, что внушало бы подозрение. Собаки тем не менее не перестали ворчать и жаться к нему, лай перебрасывался от двора к двору, от одной собачьей конуры к другой. А гвалт стоял такой, словно бы лаяли все бытеньские псы, лаяли дико, взахлеб, бешено, чувствовалось, что шерсть на них встала дыбом. И в то время как одни заливались все яростнее, другие постепенно умолкали, когда их хозяева, так же как Фердинанд Корц, вылезали из постелей взглянуть, почему это так надрывается их барбос. И, не увидев ничего на первый взгляд примечательного, все, как один, принимались осматривать хлевы, закуты, курятники, сараи и амбары. И обнаруживали, что скот обеспокоен, кабанчик похрюки-

вает, куры нахохлились, но нигде — никакого убытка или хищника, короче — ничего примечательного. Все грешили на куницу или хорька, и раз уж вышли наружу, задерживались на минутку послушать, как брешут псы у соседей, полюбоваться лунной ночью, и решили в конце концов, что виновница собачьего сумасшествия — ночь. Потом, пользуясь случаем, закуривали сигарету или трубку и справляли нужду. Загнав ворчащих собак в будки, шли успокаивать жен, в которых испуг и лунный свет по законам странной алхимии преобразились в чувства совсем иные.

Псы этой ночью так и не угомонились, их лай взрывался то тут, то там, словно все новые и новые приезжие входили в Бытень, и так — покуда луна не зашла за горизонт и короткая предутренняя тьма не погрузила мир в милосердное забытье.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БРАТЬЯ

Бьется одна муха, но этого достаточно. Муха влетела в открытое окно, а теперь не может его отыскать. Ей все кажется, что путь назад — через другое, закрытое. Она побывала уже всюду, где только можно, и все прилежно обследовала своим хоботком, не пропустив даже стола судьи. Судья с минуту наблюдал, как она ползает по бумагам, продолжая безнадежные исследования местных условий. Потом взмахнул рукой и согнал ее.

— Кыш, мушка,— сказал и усмехнулся. Так бывало всегда, когда был один и ему случалось отогнать муху. Он усмехался и словам, и движению, которое совершал при этом, и воспоминанию о дедушке по материнской линии, от которого их унаследовал.

Прошло довольно много времени. Муха кружила, заунывно жужжила. Видимо, поняла, что ее ожидает, если не найдется пути назад. Облетев комнату, она нацеливалась на закрытое окно. Сначала ударялась со всего лету о стекло, потом медленно и осторожно садилась. На улице солнце. Муха видела его своими глазищами, занимающими большую часть головы. Но к солнцу ей не выбраться. Может быть, через стекло оно казалось ей более ярким, нежели в пустом прямоугольнике открытого окна. Поэтому открытое окно она избегала и атаковала стекла, ползала по ним, выискивая, где непонятный прозрачный, но

непроницаемый воздух станет просто воздухом и она сможет улететь. Когда она достигала края, где между рамой и стеклом через растрескавшуюся замазку проникал свежий воздух, она начинала жужжать и вибрировать крылышками, летала, скользя по стеклу, пока, измученная, снова не падала вниз на подоконник, и долго стирала передними лапками обман и наваждение с глаз, а задними терла крылья, готовя их к новой борьбе.

Судья Дастьх время от времени переставал писать и задумчиво наблюдал за ней. Постукивал ручкой о зубы — такая у него привычка еще со школьных лет, когда, бывало, не получалось уравнение или согласование в латинском упражнении; теперь во время судебных разбирательств он старался не поддаваться этой привычке. Зубы — предмет гордости судьи, можно сказать, тайной, потому что судья — человек неразговорчивый. Они еще не требовали вмешательства дантиста, хоть судье уже под пятьдесят. Сейчас зубы видны, и кажется, что такими зубами можно разжевать что угодно, хоть камешек-голыш, хоть самое жестокое разочарование. Но по большей части они бывают скрыты за крепко сомкнутыми узкими губами. Этому лицу, — с выдающимся подбородком, двумя морщинами от носа к уголкам губ и перпендикулярной складкой между густыми бровями, такими же цепельными, как и шевелюра над широким морщинистым лбом, — пошли бы и бакенбарды. Но лицо его гладко выбрито, и в таком виде тоже способно в каждом, кто очутился перед ним, возбудить уважение к учреждению, которое судья представляет. В особенности глаза, похожие на два кусочка металла, вправленные в камень. Под их взглядом трудно лгать. Они созданы для того, чтобы читать в сердцах других людей и молчать о себе.

Когда судья смотрит куда-нибудь дальше своих бумаг, разложенных на столе, ему нужно снять очки в тонкой золотой оправе, но с широкими черепаховыми дужками.

Судья кладет очки на стол, слегка протирает глаза и смотрит на муху. Ишь ты, дрянь, тоже трет свои вылупленные гляделки, словно передразнивает меня. Судья улыбнулся. Наедине с собой он охотно улыбался своим открытиям и идеям и делал это, безусловно, чаще, чем на людях. Это не эгоизм — ничто так не чуждо судье Дастьху, это означает лишь, что он сам себе лучший друг и привык развлекаться один. Потому что у него друзей во всей округе нет, и, хотя он бытеньский уроженец, никто не

отваживался быть запросто с судьей Дастьхом, да он был этого и не допустил.

Сидя так и глядя на муху, судья Дастьх представлял себе, что кто-то иной, сложив руки на животе, наблюдает наши метания и ждет, найдем ли мы сами окно, которое он оставил для нас открытым. Он мог бы привстать и указать нам путь или, утомленный и раздосадованный нашим жужжаньем, сделать движение рукой и прихлопнуть. Наша судьба в его власти, так же как участь ничего не подозревающей мухи в руках судьи; иногда он вмешивается, но чаще всего сидит, смотрит и ждет, покуда, измученные и уничтоженные, мы не рухнем к его ногам. Все знают, что это спектакль извечный, но как долго он длится, сказать может только он сам, во всяком случае странно, почему эта забава ему до сих пор не надоела.

Где-то оставлено открытое окно, судья Дастьх. Почему мы его не видим и почему нас влечет к другому, закрытому?

Судья встает, подходит к окну и быстрым взмахом руки ловит муху. С минуту держит ее в легко сжатой ладони и прислушивается к тому, что рассказывает рука о движениях мухи. Судья ненавидит мух, они ему противны. Мальчишкой он бил их хлопушкой или ловил и кидал на раскаленную кухонную плиту в отместку за то, что они попадали в суп или в молоко или не давали спать по утрам. Он потряс муху в кулаке, послушал ее жужжение, потом пошел к открытому окну и выкинул вон. К своему столу он вернулся с улыбкой. Вот так надо бы обойтись и со мной. Но вряд ли этот пример будет принят во внимание.

Он садится за стол, еще ощущая в легких благоуханье уличного воздуха. Словно вдохнул запах букета. Июньское утро, мягкое и тихое, бытеньская площадь — как ванна, в которой готовится благовонное купанье для красавицы, нежащейся на ложе. Оба крана открыты, холодная и горячая струи смешиваются в расслабляющую теплую купель.

От стола судьи видно всю противоположную сторону площади. Она освещена солнцем, и перед трактиром «У лошадки» возле лотков с овощами судачат женщины. Влажное утро обманывает их, напоминая, что сегодня можно не спешить, сегодня все сделается само собой в свое время, хоть ты работай, хоть глазей по сторонам, сложи ручки. В крови у них еще бродит что-то от прошедшей лунной ночи, когда они проснулись, разбуженные собачьим лаем. Все еще растревоженные и несколько томные, они больше обычного ощущают себя лоном и средоточием жизни и поэтому двигаются бережно, словно

несут нечто драгоценное. Время от времени у одной из них пробегает по коже озноб, будто с кончиков нервов капает жгучая капелька — воспоминанье о вчерашнем пробуждении. Женщины выпытывают и выспрашивают одна другую, не умер ли кто сегодня ночью, не был ли кто убит или ограблен, не сунул ли голову в петлю. Б-р-р, как ужасно, если кто-то из бытеньских отдал богу душу или погиб от руки, сжимающей его горло, в двух шагах от вас и в ту самую минуту, когда вы... Но нет, никто ни о чем подобном не слыхал, и собачье сумасшествие объясняется просто полнолунием.

Телега, запряженная парой серых в яблоко и нагруженная травой до краев решетин, въехала на площадь, и женщины, толпящиеся вокруг лотков с овощами, расступились перед ней. На доске, положенной поперек на решетки, сидит мужчина в выцветшей полотняной блузе неопределенного цвета и высоких сапогах. Это крупный и сильный мужчина, но сидит он, упервшись локтями о колени, ссугулившись, втянув голову в плечи. Лицо спрятано под широкими полями зелено-соломенной шляпы. Он не хочет никого видеть, не хочет, чтобы его видели другие. Молодой полицейский, который этим утром топчется возле рыночных лотков, подносит руку к козырьку в знак приветствия. Но Йозеф Дастьх не шевельнется, сидит, уставившись на конские крупы, покачивающееся между ними дышло и убегающую мостовую.

Филип Дастьх, председатель бытеньского суда, смотрит на своего брата, и его тонкие губы сжимаются в твердую ровную черту. Еник Гаразим вышел тихим утром покурить у дверей лавки. Он стоит перед входом, высокий и плечистый, не в отца спортивный, выпятив грудь и подставив солнышку молодое с правильными чертами лицо. Забавляется, выпуская потихоньку колечки дыма, и следит, как они расплываются в лучах солнца. Заметив приближающуюся телегу, он хмурится и, отбросив сигарету, исчезает в лавке. Сжатый рот судьи раскрывается, тихонько причмокнув, и по губам пробегает одна из его сокровенных усмешек.

Судья надевает очки и раскрывает сборник установлений верховного суда. Но сегодняшний день кажется спокойным только на первый взгляд. Судья снимает очки, закладывает ими страницу в книге, полуоборотом сидит в кресле и смотрит на белые, освещенные солнцем стены усадьбы Дастьхов. Потом замечает молодого Гаразима, снова вышедшего на крыльцо и закурившего новую

сигарету. Этот юноша такой беспокойный, его гонят сумерки старой лавки и душит запах фланелей, бумазеи и сукон. Он бежит от них, как только подвернется случай, ему нужно свободное пространство и высокий небосвод, а не почерневший потолок лавки. Ему нужны гектолитры свежего воздуха и бог знает, что еще. Дышит он так, словно хочет одним вдохом опустошить всю поднебесную бочку, а сигарету курит, наверное, для того, чтобы чем-то насытить беспокойство, которое брыкается в нем, как жеребенок. Этот юноша является одним из объектов ежедневных наблюдений судьи и, не ведая о том, входит какой-то частичкой своего бытия в его личную жизнь.

Усадьба Дастьхов — единственная на бытенской площади. Дастьхи в своей гордыне поставили ее тут два столетия назад и не отступили, когда общественные здания вытесняли одного соседа за другим. На площадь выходит фасад двухэтажного дома и глухая стена скотного двора и сеновала. Между этими двумя строениями под барочной сводчатой аркой распахиваются могучие двустворчатые ворота, а возле них, как цыпленок возле квочки, жмется скрипучая калитка.

Этими воротами судья Дастьх прошел в последний раз пятнадцать лет назад за гробом своего отца и, видимо, не пройдет больше никогда в жизни. Тем не менее он приложил все усилия, чтобы попасть в Бытень, и сейчас сидит здесь уже двадцатый год и не желает подать прошение о переводе в краевой суд, чтобы подняться в своей карьере на ступеньку выше, хотя давно имеет на это право. Почему судья Дастьх сидит в Бытни, пренебрегая своим будущим, почему он даже не женился? Неужели он это делает только для того, чтобы иметь перед глазами этот белый дом, чтобы ежедневно прогуливаться вдоль полей, прилежащих к нему? Или он не может смириться с тем, что его послали учиться, а усадьбу отдали младшему сыну от второго брака? Юриспруденция — его ремесло, и он в ней разбирается лучше, нежели можно ожидать, судя по положению, которое он занимает среди ее служителей. Может быть, он нашел какую-нибудь ошибку в решении своей судьбы? Но кто иной может знать лучше, чем он, что нет закона, опираясь на который, он мог бы подать протест, что нет инстанций, к которым он мог бы апеллировать. И тем не менее судья Дастьх сидит здесь, ежедневно обращая взоры к родному дому, прогуливаясь вокруг его владений, не замечает своего сводного брата, если встретит, и ждет — чего? Бог весть.

Семья Дастьхов в Бытни — люди не маленькие. Не будь Нольчей, вряд ли кто в городе мог бы с ними равняться. Когда говорят о земельном наделе, представляют себе земледельца, эти же были настоящими помещиками. К тому же они единственные удержались в центре города, когда все вокруг продали свои дома или так увлеклись торговлей, что более легкая возможность собирать урожай монет изжила в них любовь к земле, убила в них крестьян. Дастьхи упорно держались за свой дом на площади, отвергая все предложения, хотя многие торговцы зарились на столь выгодное местоположение. Но Дастьхи то ли хотели здесь утверждать сельскую основу Бытни, то ли считали, что с этим местом неразлучно соединена целость их богатства.

Когда Йозеф Дастьх въехал во двор, то от хлева приковыляла, торопясь затворить за ним ворота, чумазая скотница, быстро спрятавшая горбушку хлеба в широком кармане фартука. Хозяин, заметив ее вороватое движение, тяжело сглотнул, так что кадык подскочил под коричневой кожей худой шеи, но ничего не сказал. Причмокнул коням и направил воз налево через широкий двор к корморезке, расположенной в дальнем углу хлева.

На противоположной стороне, с каменного приступка перед домом, поднятого на добрых полметра над уровнем двора, хозяйская дочь Лидасыпала птицам зерно из доверху наполненной корзинки. Клянусь, эта группа была словно специально создана для фотографического снимка, являя картинку покоя и радости, которая может расцвести только под июньским солнцем в стране красоты и изобилия.

Девушка такая свежая и румяная, девушка миниатюрная, но с высокой грудью и таким очаровательным лицом, что, глядя на нее, сердце невольно забывается от нежности, девушка с пышными волнами блестящих черных волос, перетянутых надо лбом белой лентой, девушка в синей юбке в складку и белой блузке, укрывающей нечто обольстительное,— такая девушка, что ее скорее представишь дочерью сегодняшнего утра, нежели обычной человеческой четы, боже мой, какая девушка!

А как сыплется с ее ладоней золотой град пшеничных зерен, как кипит и булькает у ее ног птичья живность, штук этак полтораста кур, индеек и цесарок, стремясь пробраться поближе к щедрой струе, толчется, суетится, прыгает, машет крыльями, торопливо клюет, квохчет, а вокруг этого котла ненасытной алчности ходят, раздувая блестящие зобы, сизые голуби.

Как только телега въехала во двор, девушка вздрогнула, словно хотела прекратить свое занятие и исчезнуть. Однако осталась стоять и продолжает сыпать зерно, словно она здесь все еще одна и вокруг ничего не изменилось. Но она больше не улыбается, лицо ее погасло, как у ребенка, который не хочет ответить, где он так долго пропадал. Она бросает зерно с большими промежутками, но более полными пригоршнями и, кажется, не хочет видеть ничего, кроме того, что творится у ее ног.

На грохот телеги отозвался еще кое-кто. Из сумерек конюшни вынырнул маленький, сгорбленный, но юркий стариашка в тяжелом, заплатанном пиджаке, явно с плеча кого-то более высокого и плотного, потому что он ему до колен, а длинные рукава подвернуты. На голове у него прилеплена кепка со сломанным козырьком, из-под которой торчат кольца молочно-белых волос. Из сморщенных губ, придерживаемая двумя последними зубами, свисает прокуренная трубка, раскачиваясь под щетинистым подбородком. Стариашка семенит рядом с телегой, хихикает и цыкает — тц, тц — свободным уголком рта. Видимо, он давно выжил из ума, и мир, как в детстве, кажется ему удивительным и увлекательным зрелищем.

Когда телега останавливается и кони, в последний раз переступив копытами и фыркнув, успокоились, становится слышно стариковское цыканье — тц, тц, потом невнятное:

— Доблое утло, хозяин.

Хозяин, не отвечая, бросает стариашке вожжи и, с кнутом в руке, слезает с другой стороны воза. Старик ловит вожжи на удивление ловко — на лету, радостно хохотнув, и дважды цыкает свободным уголком губ. Пристяжная повернула к нему голову, вытянула губы и запрядала ушами. На секунду двор накрыла тишина, в которой звучит только усердное тюканье куриных клювов. Потом из какого-то окна раздается хрипенье часов, собирающихся бить, но вместо боя разносится звонкое и озорное — куку, ку-ку.

Лицо старика перекаивается, как от боли, губы приоткрываются, словно хотят выкрикнуть, трубка вываливается и падает на землю. Старик выпускает вожжи, приседает на корточки, зажимает ладонями уши, а голову прячет между колен. Хозяин смотрит на него, поднимает кнут, словно хочет хлестнуть его поверх телеги, бормочет:

— Не напусти в штаны, ты, Кукушка! — и отворачивается.

Он стоит посреди двора, расставив ноги в облезлых сапогах, с кнутом в руке, в зеленой соломенной шляпе, надвинутой на глаза. Смотрит на дочь и ждет, когда докукует кукушка. Лида перестает сыпать корм и пытается разглядеть старика, скorchившегося за телегой. Кто знает, если бы здесь никого не было, может, она перебежала бы к нему через двор, обняла за плечи и стала успокаивать:

— Ну, ну, дедушка, успокойся, сейчас это кончится.

Кто знает. Возможно, скотница застигала ее на чем-то подобном и, закусив подол фартука, старалась сдержать хохот. Или Лидина тетка, мадемуазель Элеонора Дастьхова, могла бы кое-что рассказать об этом. Она видит и знает многое, хотя редко выходит из своей комнаты.

Кто знает. Быть может, Лиде уже не раз хотелось заставить замолчать часы-кукушку, хотя сама она их любила. Но до них не доберешься! Они находятся в комнате, именуемой кабинетом. Покойный Лидин дедушка там действительно вел все дела, связанные с хозяйством. Тогда Лиде разрешалось там играть. Сейчас в этой комнате запирается Лидин отец. И запирает комнату, когда из нее уходит. Последние годы он даже не позволяет ей там убираться.

После смерти дедушки часы долго молчали, никто их не заводил, о них почти забыли. Снова ходить они начали после того дня, когда Лида привела старика Балхана домой хныкающего и наполовину задохнувшегося от муки и гнева, и заявила, что он останется здесь, даже если ей придется делиться с ним той едой, которую получает она сама. Девушка заявила об этом за обедом. Отец только поглядел на нее, но не успел ответить, как заговорила мать:

— В самом деле, почему бы ему тут не остаться?

А тетушка Элеонора, сестра хозяина, добавила:

— Здесь для него найдется и место, и еда, а свою порцию ешь сама. Когда тут хозяйничал отец, усадьба кормила человек двадцать, а то и больше. И еще приносila доход.

Йозеф Дастьх слглотнул слюну, так что кадык ушел под воротник рубашки, отодвинул тарелку и встал из-за стола. Кукушка нашел себе угол в конюшне, а назавтра в кабинете начали куковать часы.

Когда кукушка выкрикнула последнее звонкое ку-ку, в часах снова заворчало, и послышалось, как за деревянной птицей захлопнулась дверца.

— Не обращайте внимания, дедушка,— крикнула Лида мягким контральто, которое удивительно гармонировало с ее маленькой фигуркой.— Мы с вами вместе когда-нибудь ее застрелим.

Лида раскрыла ладонь и высыпала еще одну полную горсть золотых зерен птицам, которые уже склевали все на земле и толпились, вытянув шеи.

Отец опустил кнут и дернулся, словно хотел направить-ся к дочери, но только переступил с ноги на ногу. Неужели и у себя во дворе он не может говорить того, что ему хочется? Чтобы обрести голос, он откашлялся.

— Почему ты кормишь их в такое время?

Лида кинула еще одну горсть зерна и посмотрела, как оно падает на пернатые панцири птиц и скользит по ним вниз. Подняла взгляд, ставший вдруг непроницаемым.

— Сегодня их еще не кормили.

— Пока мое слово здесь что-то значит, их не будут кормить раньше вечера.

Лида опускает корзинку с бедра и берет ее в обе руки.

— Как хочешь, папа.

Один из петушков пытается допрыгнуть до плетушки и клевать прямо из нее. Девушка слегка наклоняется, ставит корзинку перед собой на край каменного приступка. Синий колокол юбки трижды колыхнулся вокруг смуглых ног, обутых на босу ногу в теннисные туфельки, и Лида исчезла в доме.

Петушок и несколько курочек пытаются одновременно прыгнуть в корзинку, та опрокидывается и высыпается до дна. При падении с полуметровой высоты зерно летит, и птицы, вначале испуганно раскудахтавшиеся, кидаются на него в новую атаку.

Хозяин на мгновение опешил, но тут же, подняв кнут, с криком врывается в птичью стаю и начинает хлестать по чём попало. Курочки, цесарки, индейки мечутся с диким криком и хлопаньем крыльев. Смотрите-ка, одна курочка свалилась, а когда ей все-таки удалось подняться, захромала на одну ногу, а вон цесарка закачалась, будто от головокружения, упала, дрыгнула несколько раз лапками и затихла.

Йозеф Дастьых ничего этого не замечает или не хочет замечать. Он отшвырнул кнут, опустился на колени возле приступка и сгребает руками рассыпанное зерно.

Анна Дастьыхова, жена хозяина, вышла из дома на крики мужа и птичий гвалт. Рукой, поднятой к вырезу платья, поигрывает на шее медальоном с девой Mariей

и молча наблюдает, как муж продувает в ладонях пшеничные зерна, прежде чем ссыпать их в плетушку.

Анна Дастьхова не похожа на жену земледельца. Она приблизительно того же роста, что и дочь, но полнее в бедрах и в груди. И волосы у нее такие же черные и волнистые, разве что причесаны более гладко и тщательно. Светлое платье с короткими рукавами спито из какой-то дорогой ткани, и только передничек напоминает, что она только что убиралась вместе со служанкой или помогала кухарке готовить обед. На вид она горожанка, каких много, но что-то в ее наружности заставляет предполагать, что она может быть деятельной, предприимчивой и спорядительной. Когда муж начал выбирать в пыли отдельные зерна, пани Дастьхова повернулась и исчезла в доме так же неслышно, как и появилась.

Старик Балхан выпряг вторую кобылу. Он уже опять засунул в угол своего морщинистого рта трубку и цыкает, как ни в чем не бывало.

— Тц, тц, посла, Луцка, посла. Не смотри на это, нас это не касается.

Через оконце в дверях скотного двора за хозяином наблюдает скотница. Временами она вынуждена присесть на корточки, зажав себе живот, и сунуть в рот край фартука, потому что иначе, ой, люди добрые, ну просто лопнешь со смеху. Вы только посмотрите на него, как он гребет в пыли, дева Мария, помоги, а то помру!

Мадемуазель Элеонора Дастьхова возвращается с утренней прогулки. Она входит во двор еще полная впечатлений. Этаких маленьких переживаний, наблюдений, открытий, приводить в порядок и размышлять о которых она будет большую часть дня, потому что эта ежедневная прогулка составляет всю ее связь с миром, что лежит за стенами дома Дастьхов. Но тут же все пустячки, которые она собрала гуляя, забываются, внимание сосредоточивается на открывшейся перед ней картине.

Она одним взглядом увидела и брата, и чумазую скотницу, которая снова превратила круглое оконце хлева в праздничную ватрушку с изюминками глаз посередине.

Мадемуазель Дастьхова подходит к дверям хлева и вскидывает свой короткий массивный зонт таким движением, словно стреляет в ватрушку с изюминками посередине, и мгновенно от нее остается только черная, круглая дыра. Один уголок тонких губ мадемуазель слегка вздрагивает. Она, словно хладнокровный стрелок, улыбается меткому выстрелу. И в самом деле, когда мадемуазель

примерно раз в три месяца на день или два исчезает из Бытни, ее можно встретить в одном из худейовицких кинотеатров, где на экране мчатся на вспененных конях ковбои, паля из огромных кольтов.

Старик Балхан, увидев ее, смешался, хватается за сломанный козырек кепки и только что не лезет кобыле под ноги, шепелявя одним духом:

— Пш, пш, плоклятая скотина, доблоутло, балышня.

Мадемуазель Элеонора махнула ему зонтиком и быстро и неслышно, потому что на ней спортивные туфли на толстой каучуковой подошве, направляется к брату. А тот, кажется, и не подозревает о ее присутствии, хотя она уже стоит над ним.

— Что ты тут делаешь, Пепек?

Помещик выпрямляется так стремительно, что мадемуазель вынуждена отступить на шаг, чтобы он ее нешиб. Теперь становится очевидным, что где-то было решено, чтобы все женщины в семье Дастьыхов были маленького роста. И костлявая Элеонора, тщетно старающаяся скрыть угловатость фигуры спортивным костюмом и худобу лица надвинутой на лоб фетровой шляпой, больше чем на голову ниже брата.

Йозеф избегает взглядом сестру и, несмотря на то что она намного ниже его, глядит куда-то на ее поясницу.

— Лида высыпала птице целую плетушку пшеницы.

— А ты собираешь ее по зернышку. Твой отец посмеялся бы над этим или из форсу сыпал бы еще одну.

Помещик затрясся, у него даже дух перехватило.

— Мой отец, — прошипел он наконец, но мадемуазель Элеонора, подняв зонтик, прервала его:

— Не забывай, что он был и моим отцом.

И не удерживается, чтобы не толкнуть зонтиком край братиной шляпы, сдвинув ее слегка на затылок, так что свет падает на его лицо с висячими рыжими усами, острым подбородком и выступающими скулами, на бегающие, беспокойные глаза. Йозеф Дастьих держит обеими руками корзину и не может ни воспротивиться, ни исправить того, что натворила сестра.

— Носил бы ты шляпу, как все люди, тогда бы в твоей бедной голове, может быть, прояснилось и ты начал бы понимать что к чему.

Мадемуазель Элеонора прыгает на каменный приступок, словно ей еще далеко до пятидесяти, и уходит в дом быстрым, бесшумным и размеренным шагом.

Йозеф Дастьых стоит на месте, где его оставила сестра, и дико озирается. Он поднимает плетушку, видимо намереваясь швырнуть ее в разбежавшуюся стаю. Но на дворе никого нет, стоит только телега с травой, старик Балхан исчез в конюшне, скотница, вспугнутая зонтом мадемуазель Элеоноры, не решается выглянуть.

Согнувшись, как человек, собирающийся сделать что-то украдкой, Йозеф Дастьых подымается на приступок, толкает коленом дверь в кладовую и исчезает в ней. Возвращается он уже без плетушки, в шляпе, надвинутой по-прежнему на глаза, поворачивает ключ в дверях кладовой и прячет его в карман. Потом в нерешительности долго стоит на приступке, а солнце потихоньку передвигает на стене его тень.

Тлахачу не спится. Наверное, ему кажется, что без него ленивый пульс Бытни остановится вовсе. В прошлую ночь ему так и не было покоя. Не успел он опрокинуть стопку горькой и сесть к тарелке вожделенного гуляша, как поднявшийся бешеный собачий лай снова выгнал его из едва обретенного прибежища. До четырех часов утра они с ночным сторожем тщетно пытались установить его причину. Сейчас десять, а он уже снова здесь, кружит вокруг овощных лотков, хотя службу несет его младший коллега.

Из услышанных разговоров он сделал вывод, что сегодня ничего такого, что ускользнуло бы от его внимания, не произошло. Только в трактире «У лошадки» ночью прибыл новый гость, вот и все. И Тлахач, вспоминая, что с ним случилось прошедшей ночью и что ему пришлось выслушать, решил вместе со всеми бытеньскими, что во всем виновата сумасбродная луна. Успокоившись на этом, он поддался истоме утра, встал у края тротуара, сложил руки за спиной, выпятил грудь и поглядывает, прищурясь, на покупающих женщин. Но не будем понапрасну зачислять его в бабники, просто он, при его-то физической силе, овдовел слишком рано, и пышная грудь и крутые бедра женщин пробуждают в нем скорее воспоминания и тосклившую негу, нежели жадное влечение. Время от времени из его могучей груди вырывается вздох, взгляд его ласкает и любит всю эту толпу женщин, хотя ни к одной из них он не притронется. Он и в этом остается стражем порядка, заботе которого поручена безопасность имущества и людей.

Вдруг он замечает, что кучка болтливых женщин за-

молкла и все смотрят в его направлении. Что такое, испугался он, может, по его лицу заметно, о чем он думает, или в одежде какой беспорядок? Но в ту же секунду он оборачивается столь стремительно, словно в нем еще не улеглась тревога прошедшей ночи. Слыханное ли дело, чтобы кто-то позволил себе постучать палкой по плечу старшего полицейского Бытни! Возмущение полицейского, однако, гаснет от изумления. Посмотрите, такого здесь еще не видывали. На рыночные лотки пала внезапная тишина, любопытство сковало языки.

Эмануэль Квис не мог выбрать более подходящей минуты, чтобы представиться Бытни. Он вышел из трактира «У лошадки» на яркое утреннее солнце. И тротуар перед трактиром сразу превратился в театральные подмостки, на которых он и полицейский Тлахач должны были сыграть свой первый выход. Еще не пробьет и полдень, а в Бытни уже не останется человека, который не знал бы всего, что к тому моменту можно было о нем знать: как он выглядел да в чем он был, что сказал Тлахачу и куда пошел. Его серая шляпа с черной лентой, застегнутый длинный черный сюртук, серые брюки, сужающиеся к черным лаковым башмакам, плащ-крылатка, переброшенный через правую руку, и черная трость с серебряной чеканкой — все это сегодня при солнечном свете выглядело куда более впечатляюще, нежели вчера в призрачном лунном свете. И когда после этой первой минуты он исчез из поля зрения и уже не мог услышать, когда у женщин опять развязались языки, первое, на чем все сошлись, было то, что он всем им показался вроде бы знакомым, словно они его уже когда-то видели. Такое же впечатление было и у Тлахача, к которому некоторые бросились узнать, что этот человек сказал, что он ему ответил, а главное, что думает Тлахач о том, кто он и что.

— Какой-нибудь фокусник или артист из погорелого театра,— рассудил полицейский, и все с ним согласились.

— А судью он не спрашивал? — спросил кто-то из окружающих полицейского, хотя все знали, что спрашивал.

Тлахач подтвердил это и добавил:

— И знал ведь, как его зовут. «Не районный ли это суд?» — спросил и показал своей палкой. Видели, — которой постучал меня по плечу. Нахальный. Но как зовут судью — знал. «Пан председатель Дастьих, говорит, сейчас на службе?»

— Может, знакомый его, — предположил кто-то.

— С судьями многие сводят знакомство, только мало кто по доброй воле,— ответил полицейский со знанием дела, и вокруг раздался шум одобрения, и кое-кто засмеялся.

— А я бы такого испугалась,— заявила одна из женщин, совсем юная, вышедшая замуж всего неделю назад. Ее распирала гордость, что теперь и она знает все, что и другие дамы, и может разговаривать с ними, как равная.— Бр-р, посмотрите, у меня гусиная кожа, как только я о нем вспомню.

Женские язычки заработали вовсю. Они разбирают Эмануэля Квиса по косточкам и складывают заново. А Тлахач приходит к выводу, что человек этот подозрительный и, если он здесь задержится, надо будет обратить на него внимание жандармерии, пусть они потихоньку наведут справки, что он за птица; но это заключение он оставляет при себе. Тут ему приходит в голову, что он слишком долго болтает с женщинами и это может произвести дурное впечатление. Он прикладывает руку к козырьку, бормочет приветствие и плется в трактир.

По пути к зданию суда Квис должен пройти через скверик в центре бытеньской площади. Четыре дорожки рассекают скверик по диагонали и одна делит прямоугольник по кратчайшей оси. И все они устремлены к круглой площадке, в центре которой находится барочный фонтан, дар городу от щедрот Мохнов. На одной из глыб песчаника, в бассейне фонтана, обращенном к дому Мохнов, еще можно прочитать латинское посвящение и дату. Но рельеф герба Мохнов стерло время. Это отличный фонтан, в свое время за него не пришлось краснеть ни Мохнам, ни его автору. На скале, выступающей из водной глади, стоит коренастый тритон и поднимает раковину, на которой расположились три пузатые рыбы. Их торчащие кверху хвосты переплетены, а из разинутых пастей бьют в бассейн три сверкающие звонкие струи. Местный поэт, в данном случае как исключение — почтмейстер, а не старший преподаватель, сочиняя стихи в честь какого-то юбилея, сравнил фонтан с сердцем этого старинного, но ничем не примечательного городка. Если мы примем сей поэтический образ, созданный местным поэтом, то можно сказать, что Эмануэль Квис, который сейчас остановился и слушает, склонив голову набок, шум и звон текущей воды, слышит биение сердца Бытни. Но хотя, по нашему суждению, это сердце любящее, ленивое и преисполненное деревенского покоя, лицо Эмануэля Квиса так пусто, словно

его выгладили. Вода? Ну и что? Пусть льется, куда хочет, она как время, убегающее неудержимо и равнодушно. Мы не стояли у его истоков, не увидим и его устья. Касается ли это Эмануэля Квиса так же, как и нас грешных?

Он стоит и слушает, и лицо его стареет, покрывается морщинами, еще минуту назад оно было незавершенным, как эскиз без выражения, теперь время вернулось к нему как к забытому творению и завершает свою работу торопливыми, жесткими, грубыми мазками, трудится наспех, кое-как, словно мстит, лепит лицо старика-старухи, совершенно бесполое, абсолютный средний род, это старость — дальше некуда, дунь — и рассыпается в прах. Никто не видит этой перемены, свидетеля нет. Грудь Квиса опала, спина согнулась, он тяжело опирается на трость и трудно дышит. На кругло подстриженном ясене защебетал попрошайка зяблик. Обычно посетители сквера приносят ему в карманах гостинчик. Вот он и слетел к ногам Квиса, лицо которого передернулось, все морщины его собрались в маску страшного напряжения или гнева, но тут же эта маска прорывается и распадается, как хрупкая скорлупа, и снова появляется то самое знакомое нам лицо, лицо незавершенное и пустое, без выражения и печати лет. Квис выпрямляется, даже расправляет грудь и вздрагивает, словно от порыва леденящего холода. Зяблик, прыгающий у его ног, взлетает с испуганным писком.

Эмануэль Квис поднимает руку с тростью, ударяет по ближайшей струйке, бьющей из рыбьей пасти. Трость рассекает ее, отрывает несколько капель, но неуязвимая струйка течет и звенит дальше. Квис быстрым, деревянным шагом выходит из скверика.

Пока они обсуждали необходимые формальности, судья Дастьых ощущал, не глядя на посетителя, что тот его внимательно изучает. Судья привык к тому, что на него смотрят напряженными, полными ожидания глазами. Хоть он, слава богу, и не решает вопросов жизни и смерти, а просто выносит решения, что правильно, а что нет, кто прав, а кто виноват, но и те, кто ищет правосудия, и те, кто хочет от него увильнуть или обмануть его, — все пытаются угадать по глазам, прежде чем вынесено решение, — как оценивают их тяжбу и к какому концу идет дело. Но за всю свою судебную практику он еще не встречал человека, который вот так смотрел бы на него. Судья не знает, как точнее определить этот взгляд, и это беспокоит его больше,

нежели сам факт, что его разглядывают подобным образом. Не описывая, а одним словом, которое соответствовало бы явлению, как отливка соответствует форме. Он делает вид, что снова углубляется в изучение документов, которые представил ему посетитель, хотя их подлинность и правомочность не вызывают сомнений. Судья ищет связь между своеобразием костюма и невыразительностью лица. Старомодный костюм как будто говорит о степенности и несуетности, хотя в то же время в нем есть что-то эксцентричное и вызывающее.

Судье на какой-то миг начинает казаться, что перед ним переодетая женщина. Потом он отказывается от этого домысла — его ничто не подтверждает. На гладко выбритых щеках посетителя угадывается проседь бороды, а каждый под белым мягким воротником имеет бесспорно мужскую величину. Вот разве что руки, сложенные на серебряном набалдашнике трости, могли бы принадлежать увядшей женщине. Судья скользнул по ним взглядом и вспомнил другие руки, которые вполне могли бы быть двойниками этих, он видел их здесь, точно так же сложенными на тонкой серебряной рукоятке зонтика, вышедшего из моды лет двадцать назад. Это было — в протоколах где-нибудь есть дата, — да, это было второго сентября прошлого года, к нему пришла бытеньская гражданка Либуша Била с завещанием, составленным по всем правилам, и просьбой взять его на хранение в суд. Он не мог не усмехнуться невольно противоречию между ее именем и одеждой, потому что у этой Либуше Билой все, кроме кожи, было черным. Возраст ее привел его в изумление. Он бы дал ей лет сорок пять, а она доживала шестой десяток. Она попросила его прочитать завещание, прежде, чем он его запечатает и уберет. Он задал ей несколько вопросов, она ответила на них сухо и с таким неприкрытым неудовольствием, что это его позабавило.

— Как вижу, — сказал он ей тогда, — вы завещаете все свое имущество одному лицу. Не сможет ли кто-нибудь еще предъявить законных претензий?

— Нет.

— Наследник, видимо, ваш единственный родственник?

Она нахмурилась и нетерпеливо сжала руки на ручке зонта.

— И вы, и нотариус спрашиваете об одном и том же. Разве необходимо, чтобы наследник был связан родством с тем, кто ему что-то оставляет?

— Нет, если, конечно, не существует законных наследников.

— В таком случае все в порядке.

Когда она ушла, судья подошел к окну и подождал, пока посетительница выйдет из здания суда. Он смотрел, как она направляется через площадь к Костельной улице, где был ее домик. Она ушла, но у него осталось какое-то тягостное ощущение, сути которого он не мог понять. Когда она переходила через площадь, судье показалось, что это светлое пространство, залитое чистейшим светом сентябрьского полуденного солнца, разорвалось на две половины, и черная, вдовья, чуждая свету фигура движется вдоль этого разрыва в пустоте. Ему казалось даже, что он видит тянущийся за ней темный след, который тут же снова заполняется безмятежным светом. Близился полдень, рыночные лотки перед трактиром «У лошадки» были уже убраны, и на их месте девочка лет шести играла разбросанными капустными листами. Либуше Била остановилась и что-то сказала ей, открывая ридикюль. Девочка вся сжалась, и хотя судья на расстоянии не мог разглядеть ее лица, ему показалось, что девчушка хочет убежать. Мадемуазель вынула из сумочки узенькую дольку шоколадки, завернутую в станиоль, и протянула девочке. Та взяла, сделала книксен и тут же побежала прочь через площадь. Мадемуазель стояла, глядя ей вслед. Девчушка на бегу оглянулась, споткнулась и шлепнулась. Она еще не успела зареветь, а Либуше Била уже отвернулась, плечи ее ссутулились, словно под тяжким бременем, и пошла, тыча перед собой зонтиком, как слепая. Он как сейчас помнит — у него дух захватило, но тут же нашлось слово, определяющее мысль или ощущение, которое она оставила. *Пустота*. Да, так оно и было. Отчаянная, безнадежная, ничем не заполняемая пустота. Когда его воспоминания дошли до этого момента, он вздрогнул, поняв и почувствовав, как его шея напрягается от усилия, чтобы не поднять головы и не посмотреть в лицо посетителю. И он снова начал листать бумаги, которые ему представил Эмануэль Квис в доказательство своего тождества, и посмотрел на дату его рождения. Она показалась ему почему-то знакомой. Судья посмотрел на свидетельство о смерти Либуше Билой. Даты рождения сходятся. Судья поднял глаза и с удивлением застриг на лице Квиса следы быстро исчезающего напряжения.

— Как вижу, вы и покойница родились в один день.

— Это мне странно,— ответил Квис своим механическим, гулким голосом.— Всегда был уверен, что она гораздо моложе. Женщины, впрочем, умеют скрывать свой возраст.

— Я бы и вам не дал столько.

Эмануэль Квис переменил позу и выпрямился над своей палкой. Лицо его так расплылось в широчайшей улыбке, словно оно было из воска, который кто-то растопил.

— Время было милостиво ко мне.

— Вы часто виделись с покойной в последнее время?

Квис даже не подозревает, что этот вопрос, произнесенный обычным разговорным тоном,— настоящий судебный вопрос.

— Ну, что вы,— отвечает он с наигранной небрежностью,— я не видел ее много лет. Даже не помню, когда говорил с ней в последний раз.

Судья наклоняется над бумагами. И что ему взбрело в голову? Перед ним не подследственный, а человек, которого он вызвал, согласно последней воле, для вступления в права наследства и все документы которого в порядке. Тем не менее ему вспоминается вопрос, который он в свое время задал покойной и на который не получил удовлетворительного ответа. И судья не может удержаться, чтобы не повторить его.

— Покойница была вашей близкой родственницей?

— Я бы этого не сказал. Мое родственное отношение к ней имеет значение для признания наследственных прав?

— Нет, если никто не будет их оспаривать и предъявлять *своих* прав.

Три четверти года тому назад мадемуазель Либуше Била ответила судье на вопрос о родстве столь же неопределенno. Однако спешить некуда, еще будет время и случай разобраться, в чем тут дело. Судья чуть насмешливо подумал, что сегодня он вообще переполнен впечатлениями, как шестнадцатилетняя девица на первом весеннем пикнике. И одно из впечатлений — то, что от этого человека он не избавится, уладив его наследственные дела. И другое, куда более сильное ощущение,— что он ведет не обычное дознание, а позволяет виновному играть с собой, как тому хочется, и своей неспособностью позволяет унижать закон и правосудие. И когда он напоминает себе, что дело, которое он решает, сугубо частное, чем, бесспорно, является притязание на наследство, ему становится особенно смешно. А самое сильное и одновременно самое

смешное в этой путанице впечатлений — желание встать, надеть судейскую шапочку, которой у него даже нет под рукой, и произнести приговор обвиняемому Эмануэлю Квису, частному лицу, рожденному девятого девятого такого-то года. Но почему? Следствие не закончено, жалоба не написана, разбирательство не проведено. Неважно. Промедление опасно, право так спешит, что, пробивая себе путь, выходит из берегов. Хорошо, но во имя чего? Во имя зла, скрытого в нас, рассеянного среди нас, во имя зла как такового. Приговор ясен. Он вытекает из предыдущего. Осуждается на вечное проклятие. Ну и ну, судья Дастьых. Сидел ты здесь, сидел, изводил себя, глядя на родной дом и размыслия об абсолютной справедливости и ее исполнительных органах, да и спятил с ума. Выносить приговор старому холостяку, который с полным правом пришел получить наследство от старой девы, — только из-за своего уязвленного самолюбия, только из-за того, что обманулся в своем знании людей, которым всегда так гордился?

— Разрешите задать вам вопрос, пан советник?

Вопрос прерывает странные размышления, и судья испуганно подымает взгляд. Он должен собраться с мыслями, прежде чем до него доходит смысл вопроса. Наконец судья молча кивает головой.

— Был ли за вашу долгую практику случай, когда вы не могли вынести приговора?

Судья снимает очки и смотрит в упор на Эмануэля Квиса. Почему он спросил его именно об этом? Это случайность, конечно, но разве случайное не бывает неприятнее преднамеренного? Что может знать этот человек, которого он никогда не видел прежде, о его никогда не высказанных вслух мыслях? Кажется, происходит перемена ролями, судья пытается прочитать по лицу Квиса приблизительно так же, как порой тяжущиеся стороны пытаются читать по его собственному. Но с таким же успехом можно было бы положить перед собой чистый лист бумаги. Судья молчит слишком долго, так долго, что это может показаться растяянностью. Потом прикрывается маской профессионала, удивленного наивным вопросом, и отвечает с деланной снисходительностью:

— Бывает, конечно, когда суду не представлят достаточно веских доводов, и тяжба затягивается, но приговор в конце концов все равно должен быть вынесен. Правосудие всегда найдет путь, и нет случая, который не был бы учтен законом. А если появится, то будут приняты

новые законы. Закон идет по пятам за развитием общества, иногда его опережая и предопределяя.

Теперь пришла очередь усмехнуться слушателю этой маленькой лекции, что он и делает, к досаде судьи.

— Ни минуты не сомневаюсь в том, что вы мне сказали, пан советник. И все же я могу представить себе случай, когда право по понятиям законодателей не было нарушено, но если посмотреть на дело несколько иначе, то решение могло бы показаться жестокой несправедливостью.

Судья хмурится и изображает нетерпение. Даже постукивает очками о бумаги.

— Вы имеете в виду точку зрения проигравшего? Но это не имеет значения. Не имеет значения также и чувство удовлетворения у того, кому право оказалось помочь. И хотя право существует, чтобы помогать прибегающим к нему и наказывать тех, кто его нарушает, оно всегда над ними.

Эмануэль Квис засмеялся. Смех, ударившись о стены, упал на пол, раскатился по углам и доносится оттуда в замирающем тремоло, хотя Квис уже закрыл рот. Судья изумлен. Он никогда не замечал, что в этой комнате получается эхо. Ему это кажется фокусом чревовещателя.

— Прошу меня извинить,— говорит Квис, и впервые за весь разговор на его лице появляется определенное выражение — лакейская покорность, которая вызывает у судьи еще большую неприязнь, чем до этого смех.— Прошу прощения,— повторяет Квис,— вы обрисовали мне некое абсолютное право, а я имел в виду отнюдь не позицию пострадавшего, а позицию абсолютной справедливости. Право не абсолютно. Закон — это необходимость, и он осуществляет только такое право, которое из него вытекает или которое с ним согласуется. Справедливости такой подход чужд. Потому что именно при таком подходе она может быть нарушена. Исходная позиция закона подвергается изменениям, тогда как точка зрения справедливости неизменна.

Эмануэль Квис во время своей речи сидит, склонясь над рукоятью трости, о которую он опирается, и смотрит на судью в упор, словно хочет ему внушить свою точку зрения. Но судья старательно протирает очки полоской бумаги, и, как кажется, все его внимание сосредоточено на этом. У судьи такая привычка, он чистит очки много раз на дню и, наверное, даже не знает, как прекрасно потом укрыты его глаза за блестящими стеклами. Впрочем, зачем судье Дастыху прятать глаза, к примеру, в эту минуту?

Вот его брату Пепеку лучше знать, зачем он так надвигает шляпу на лоб. Да, брат судьи Пепек и белые стены усадьбы на площади. Судья видит их постоянно, даже если сидит к ним спиной. Отчего приезжему вздумалось рассуждать о справедливости именно с ним, у которого перед глазами *такая картина?* Отдает ли он себе отчет, сколько чувств пробуждает в судье этот на первый взгляд абстрактный разговор? Но судья не привык обнажать перед дружими свое нутро.

— Кое в чем тут произошло смешение понятий,— рассудительно и неторопливо проговорил судья, надевая очки.— Право не необходимость, право — моральный фактор, вытекающий из закона. Конечно, законы изменяются, но только в той мере, в какой меняется наша жизнь и ее потребности. Справедливость, которую признает правопорядок, заключается единственно в приведении в соответствие с законом прав и обязанностей. Как видите, таким образом, не право, а справедливость является необходимостью. Если это кажется вам условностью, вините в этом жизнь, которая ее породила.

Судья пожал плечами и снисходительно улыбнулся.

— Абсолютная справедливость? Эта ценность от начала и до конца настолько же нереальная, как и абсолют сам по себе. В жизни нет места абсолютному, и мы не можем требовать от правопорядка, который служит реальным потребностям, чтобы он пребывал в сфере философских понятий.

Эмануэль Квис зажал трость коленями, поднял руки и несколько раз легко, почти беззвучно похлопал в ладони, на его лице появилась преувеличенно восторженная улыбка, которая тут же без следа исчезла, как только он заговорил.

— Великолепно, пан советник,— вы преподали урок дерзкому, который, не зная броду, полез в неведомые воды. И все-таки позвольте мне остаться при своем немыслимом предположении и пойти еще дальше. Позвольте мне его расширить и представить себе человека, который все знает о реальном правопорядке так же, как вы, и все же не имеет другой надежды, не перестает верить в эту нереальную абсолютную справедливость. Разве не бывало, что она осуществлялась независимо от правопорядка и его законов?

Эмануэль Квис кончил говорить, но его голос еще как будто бродит по комнате и не сразу замирает в углах. Судья сидит неподвижно, сверкающие стекла очков глядят в упор на посетителя, однако глаз не видно. Может быть,

он благодарит в этот момент свой долгий опыт, позволяющий ему слышать что угодно, не выдавая своих чувств и мыслей. Если бы в один прекрасный день ему пришлось предстать в суде в качестве обвиняемого, он оказался бы твердым орешком для своих коллег. И есть ли хоть какой-нибудь отзвук того, что он думает, в том, что он отвечает Квису?

— Правопорядку безразличны желания и надежды, пока кто-то не попытается их осуществить, преступив при этом уложения закона. Абсолютная справедливость, которую вы имеете в виду, совершается помимо нашей воли. Одними мечтами вы ее не сдвинете, а если попытаетесь помочь ее осуществлению, взяв дело в свои руки, то не сможете уже о ней говорить, как об абсолютной.

Эмануэль Квис склонился к рукам, сложенным на рукояти трости, как будто притаялся, выжидая. Голос его звучит вкрадчиво.

— Вы так убеждены в полном бессилии мысли? Только потому, что мысль не может сделать так, чтобы упала труба с дома напротив или остановился идущий поезд? Но справедливость, о которой вы говорите, не из того рода понятий. И как знать, может быть, в один прекрасный момент, если понадобится, рухнет и труба.

Рука судьи, спокойно лежащая на столе, сжимается в кулак, будто душит что-то невидимое. Через несколько мгновений она разжимается и направляется в карман жилета.

— Любопытный разговор.

Но, прежде чем судья смог начать следующую фразу или вынуть часы из кармана, Квис поспешно встает.

— Прошу меня извинить, пан советник. Я похитил у вас драгоценное время. Когда я разговариваю, не могу остановиться, а тема, как вы сами сказали, была такой любопытной.

Судья не утруждает себя любезностью. Он остается сидеть и даже вынимает часы, смотрит на них и опять аккуратно опускает в карман. Но посетитель словно сам хочет исправить свой промах. Говорит торопливо, преувеличенно почтительно, даже льстиво, спешит скорее оказаться за дверью.

— Если я понял вас правильно, я смогу уже сейчас переселиться в домик. А ключ получу у той женщины из богадельни.

— Фамилия ее Нейткова. Она убирала у вашей... Судья запнулся, словно ища правильного наименования

или желая поймать Квиса на слове, но, не дождавшись, определяет сам: — У вашей предшественницы, приглядывала за домом и после ее смерти.

Посетитель вздрогнул, и вся его фигура как-то сжалась, лицо сморщилось в бесчисленных морщинах, в глазах мелькнул страх и вспыхнул злобный огонек.

— Совершенно излишне, совершенно излишне,— задормотал он сиплым старческим голосом.

Судья поднялся, изумленный этой переменой, и по-видимому, готовился к нему подойти.

— Что — совершенно излишне? — спрашивает он резко.

Но Квис уже опомнился, выпрямился, и лицо его разгладилось, глазам вернулось осторожное, смиренное выражение.

— Прошу меня простить, это недоразумение. Я только хотел сказать, что благодарю вас за внимание и любезность. Надеюсь, что вы позволите мне видеть вас чаще.

— В таком маленьком городе, как наш,— отвечает судья,— люди не могут избежать встреч. Всего доброго.

Пятаясь задом, посетитель достигает дверей, нащупывает ручку, оставаясь все время лицом к судье, и, кланяясь, исчезает за ними.

Председатель бытеньского районного суда подходит к окну, ожидая, когда выйдет Квис. Наблюдает, как он идет по тропинке к фонтану, сворачивает, обходит скверик и исчезает в широком подъезде трактира «У лошадки». Судья некоторое время еще стоит у окна. Он не смотрит на что-нибудь определенное, может быть, даже не замечает ни одной из тех маленьких каждодневных сценок, которые разыгрываются на площади, а только глубоко вдыхает душистый июньский воздух. Из трубы на крыше дома напротив поднимается столбик белого, просвещенного солнцем дыма и быстро расплывается в дрожащем воздухе. «И эта труба рухнет, если понадобится...»

Судья резко отворачивается от окна и подходит к столу. Несколькими быстрыми, почти брезгливыми движениями складывает бумаги, касающиеся наследства Либуше Билой, и засовывает их в шкаф. Потом начинает ходить по комнате большими шагами. Он напоминает сейчас человека, решавшего вопрос,— а не следует ли ему отсюда убраться? Нескольких глотков свежего воздуха из окна ему мало, ему нужно было бы всему искупаться в нем. Судья снова возвращается к столу, берет полоску бумаги и пишет на нем крупными буквами: *абсолютная спра-*

ведливость. Смотрит на свое творение, рвет его на клочки и бросает в корзину для бумаг. Потом опускает голову в ладони и замирает в железных тисках раздумья.

Ему вспоминается дед по материинской линии. Разве это не правда, что он мертв и его безумие умерло вместе с ним? Вот было бы прекрасно, если бы в твоей крови ожил стариk, не смирившийся с судьбой, что выпала на его долю.

Сутяга в крови судьи.

Можно ли себе представить большую иронию судьбы? По сей день в Бытни о нем ходят рассказы, приукрашенные подробностями, которые нам неинтересны. Это был сутяга, о каких пишут в романах, в тяжбе из-за арендной платы он спустил с молотка все. Вернувшись с последнего разбирательства, где было вынесено окончательное решение, он влез на колокольню храма и ударил в колокола. Людям, что сбежались на заупокойный звон, он заявил:

— Хороню справедливость.

Именье его на аукционе купил крестьянин, выигравший тяжбу. Стариk поселился в имении Дастьхов и жил на содержании у детей, молчаливый и полупомешанный. А если открывал рот, то говорил только о справедливости.

— Где-нибудь да она есть,— говорил он, думая о ней, как о дочери, которая запятнала свою честь и честь семьи и сбежала с паршивым голодранцем. Он ждал ее возвращения и покаяния. Дети его боялись. Когда приходили к нему, он хватал их за руки и, склонив голову набок, как бы прислушиваясь к близящимся шагам, шептал: — Слышите? Она идет!

Самое удивительное, что стариk действительно дождался того, что считал справедливостью. В одно августовское воскресенье, когда весь урожай уже был под крышей и Бытень праздновала дожинки, утраченная усадьба загорелась, и к вечеру от нее осталась лишь груда дымящихся головешек. Стариk, услышав об этом, приковылял на пожар вслед за остальными. Он стоял, и глаза его, и сердце были наполнены бушующим пламенем, он похоратывал и бормотал:

— Вот видите — пришла!

Его не могли увести, покуда все не сгорело. Придя домой, он слег и, не сказав больше ни слова, умер той же ночью со счастливой улыбкой на губах.

Прекрасная историйка, ей-богу. Но что общего у Филиппа Дастьхса, дипломированного юриста, уважаемого и не-

подкупного судьи, респектабельного человека, с помешанным стариком?

Ничего, абсолютно ничего, разве что капелька его крови.

Электромотор в сарае выдает протяжный свист, прежде чем разойдется на полную скорость и перейдет в тихое равномерное постукивание. Потом берут слово ножи соломорезки: чвах-чвах-чвах, быстрее — чвах-чвах-чвах, все быстрее и быстрее, пока не наберут темп, сообщаемый приводным ремнем. Прислушиваясь издали к этому звуку, можно подумать, что жизнь в усадьбе идет сама по себе, направляемая невидимыми гномами и не требуя человеческих рук.

Хозяин Йозеф Дастьых сидит в кабинете, в этой обычно запертой и, кроме него одного, никому не доступной комнате. Сидит на старом жестком кресле, обтянутом потемневшей кожей, в котором сиживал отец. Габриэль Дастьых договаривался здесь об аренде, учил уму-разуму приказчиков, рылся в книгах по сельскому хозяйству и строил планы, которые всегда приносили прибыль.

Все здесь осталось, как было при нем. И пресс-папье с зеленой промокательной бумагой на расшатанном письменном столе, и стойка с трубками, и застекленный ампирный шкаф с деревянными статуэтками святых, которых он насобирал по дальним деревням, и тяжелая дубовая полка с книгами, закрытая замшевой шторой, и неудобная кушетка с тройным валиком. Раньше на стене висели портреты Габриэля Дастьыха и обеих его жен, посредственные работы известного в те времена пражского живописца. Йозеф Дастьых оставил только портрет своей матери. Два других снял и поставил за кушеткой лицом к стене.

Отец приходил сюда работать, думать и отдыхать. Одному богу известно, для чего сюда приходит его сын от второго брака Йозеф. Войдет и повернет за собой ключ, оставив его в замке, чтобы никто не мог подглядывать в замочную скважину. Потом стоит спиной к двери и осматривает комнату, словно ожидая, что обнаружит в ней какого-то незваного гостя. Дышит часто, и сердце у него колотится, словно у беглеца, который в последнюю минуту вбежал в спасительное укрытие. А может быть, все наоборот. Может, эта комната кажется ему западней, которую он каждый день испытывает и все ждет, что она за ним захлопнется, чтобы больше не выпустить. Постепенно Йозеф Дастьых успокаивается. Сдвигает шляпу со лба,

потом вовсе снимает ее и бросает на кушетку, и старая шляпа падает, сухо шелестит соломка, политая несчетными дождями и пересушенная солнцем.

В резных часах с кукушкой заскрипело: они готовятся бить. Йозеф Дастьх подходит к ним и останавливает маятник. Останавливает, чтобы завести и снова пустить перед уходом. Ему нужна тишина, полная тишины, чтобы он мог слушать. Ход часов его отвлекает и внушиает ужас. По общему мнению, часы отмеряют время. Но часы — нечто большее, они — орудие дьявола, где прошлое и будущее мчатся по одной колее навстречу друг другу. Они ташат груз прошлого, который с каждым мгновением становится все тяжелее — то, что было, мне известно, а то, что придет на смену?.. И с неизменной скоростью мчатся из будущего, потому что то, что они несут оттуда, еще не имеет веса; словно это — ха-ха-ха — пустой кабаний пузырь, которому только предстоит наполниться содержимым. Никто про них этого не знает, один Йозеф Дастьх разгадал их загадку, одну из многих, о которых он размышляет здесь в одиночестве. Он знает также, что наступит момент, когда в этом механизме, где прошлое и будущее мчатся навстречу друг другу, произойдет столкновение, и это отзовется именно в нем, Йозефе Дастьхе, и тогда пустой пузырь разом наполнится и прорвется. Конечно, все то, что было, будет сокрушено в этом страшном столкновении, но угадать, что останется от пузыря, — нельзя, потому что неизвестно, насколько он будет наполнен. Йозеф Дастьх смертельно боится этой минуты, и все же его мучает безумное любопытство. Но он не хочет искушать или торопить судьбу.

Поэтому он и не носит часов. Во всем доме нет исправных часов, хозяин все испортил, так что жена и дочь вынуждены носить ручные часы. Часы идут только в этой комнате, и то тогда, когда хозяина в ней нет. Он заводит их, чтобы они пугали старика Балхана, но никогда не сверяет время. Приходит сюда — останавливает, уходя, пускает с той минуты, на которой они были остановлены. Ему хотелось доставить себе маленькое удовольствие, а вскоре он понял, что этим он сделал полезное и для себя: часы врут, все время сбиваясь, и кто знает, может, это отдалит момент катастрофы или вообще устранит ее. Хозяин посмеивается, что всех их перехитрил, кукушка кукует полночь то в три часа утра, то в десять, каждый день по-разному.

Хозяин стоит посреди комнаты, слегка втянув голову

в плечи, и слушает. Эта тишина, эта ласкающая, добрая тишина. Он не пресытится ею никогда. И ничего здесь не передвинет. Вещи отдыхают на своих местах, погруженные в себя, и, может быть, тоже прислушиваются к тишине и ждут. Снаружи слышен только ненасытный, но приглушенный хруст соломорезки, да время от времени блаженное кудахтанье кур, пьяных от солнца, или неторопливое мычание телки. Но от каждого из этих звуков тишина в комнате становится как будто еще более глубокой и дурманящей сладкой.

На дубовой полке возле письменного стола спят за тяжелой замшевой шторой книги, из которых Габриэль Дастьых черпал свою хозяйственную мудрость. А сын, сидя в отцовском кресле, держит перед собой одну из них, безразлично какую, возможно — всякий раз другую. В какой-то из этих книг скрыт ответ на вопрос, почему Габриэлю Дастьыху все удавалось, а у него все валится из рук. Но он нигде не может отыскать этого ответа.

Он читает, и фразы распадаются на слова, а слова теряются, брошенные своими спутниками. Они бродят по коридорам его мозга, словно в доме без окон, то и дело натыкаясь на двери, от которых у них нет ключа, и вопят от ужаса, взывая о свете, помощи, освобожденье. Слова умирают поодиночке, и мысли хозяина спотыкаются на бегу об их скелеты, высохшие мумии слов, в которые уже не вдохнуть жизни. Они беспомощно тащат их за собой, пока не потеряют где-нибудь или не найдут новых. Но чаще пугаются их и распадаются вместе с ними. И вот уже не слышно ничего, кроме крадущегося шелеста: хозяин, опервшись локтями о край стола, заткнув руками уши и широко раскрыв невидящие глаза, ждет, какой образ они примут сегодня. Почему у тебя погиб вот уже третий приплод поросят? Зачем тебе понадобилось сеять тмин на Сгоне? На Сгоне тмин, ха-ха. Почему пустует хлев для племенного скота? Пшеницу собираешь по зернышку, а десятки тысяч зерен у тебя сыплются между пальцев. Не удержишь! Посеял морковь на Планевой, а она сгнила. Почти четыре гектара. Люди добрые, откуда такая вонища? Это Пепек Дастьых, господин помещик, убирает морковь. С четырех гектаров.

От Планевой вонь идет —
удивляется народ.
Пепек Дастьых там с утра
гниль копает, как свинья.
Через годик на Планевой
он сгноит морковку снова.

— Цыц!

Помещик отнимает ладони от ушей и выпрямляется над столом. Голоса стихли, только кудахчат куры и соломорезка жадно хрупает дневную порцию. В странные игры играет здесь помещик. Приходит, чтобы пробуждать эти голоса и слушать их, но подчинить себе не может,— они всегда вонят, что им вздумается, и разжигают в нем смертельную ярость. Он знает, что никогда они не скажут ему ничего приятного, но хочет сопротивляться и доказать, что они не правы, или верит, что ему в один прекрасный день удастся захватить их вдохновителя. Слышал, что кричат? Не остановишь! Это они пытаются вырвать из его рук поместье, губят поросят, сжигают солнцем тмин, напускают гниль на морковь. Знаешь, почему уже двадцатый год твой сводный брат, судья Дастьых, сидит через площадь напротив и безнадежно стареет в должности, которая его недостойна? Ждет, что им это удастся. Все вокруг только и ждут, вся Бытень вытянула шеи, и глаза их горят азартом, словно они следят за схваткой, результат которой известен наперед. Слышал дразнилку, которую распевали мальчишки прошлой осенью, стоило только ему высунуть нос из дома? Им не терпится увидеть, как поместье будет вырвано из его рук, как брат пинком выгонит его со двора, как он — Пепек — будет стоять, убогий, лишенный всего, посреди бытеньской площади. Почему распадаются фразы в отцовских книгах и почему слова умирают прежде, чем он успевает их запомнить? Это все голоса. Глотают их и снова выплевывают неузнаваемо измененными. Но Дастьых, Йозеф Дастьых, не поддается им, он способен на борьбу, никто даже не представляет, как он может сопротивляться.

Он захлопывает книгу, которую пытался читать, и ставит ее на полку на свое место. Потом наклоняется и из-за самых тяжелых томов вытаскивает бутыль и сверточек. Бутылка полна золотистой жидкости, и, пока помещик несет ее, солнечный луч зажигает в ней огненные отблески. Дастьых разглядывает их, руки, опирающиеся о подлокотники старого кресла, сжимаются, он всем телом опирается на локти, вытягивается и каменеет, ягодицы уже почти не касаются сиденья. Потом напряжение отпускает, он валится в кресло; хватает бутылку, вытаскивает из нее пробку и прижимает горлышко к носу. Жадно нюхает, и от запаха, поднимающегося из нее, его бросает в дрожь. Трясущимися руками поднимает он бутылку, подносит к губам; ему остается только чуть-чуть наклонить ее

и раскрыть губы. Но помещик отворачивается, затыкает бутылку и ставит на стол. Тяжело дыша, откидывается в кресле и постепенно успокаивается; сейчас он похож на человека, который долго висел над пропастью и был спасен в тот момент, когда слабость уже разжимала его пальцы, вцепившиеся в спасительный ствол.

Соломорезка затихла, ее задыхающийся хруст сменился шлепаньем деревянных подошв прислуги и позвякиванием цепей на шеях у коров. Скотине задают корм.

Помещик не замечает этой перемены, он занялся другим. Вынул из свертка почти новые карты и тасует их все еще трясущимися руками. Несколько успокоившись, он положил карты на стол и снял две верхние, которых ждал во время всей этой тихой, но отчаянной игры. Два туза. Он не помнит, сколько или что на них поставил. Да теперь это и не важно. Помещик держит два туза, и ему не к чему смотреть, какие карты выпали его противнику. Все равно выиграл он, какая бы там ни была ставка. Прислонив тузы к бутылке с палинкой, он смотрит на них в экстазе. Он может играть, если захочет, и никто ему этого не запретит, и будет выигрывать — доказательством тому эти две карты. Предыдущие проигрыши ничего не значат, в последнее время ему каждый день в конце концов выпадают два туза, надо только играть до тех пор, пока они не выпадут. Он мог бы пить, как никто другой, мог бы ночи напролет вливать в себя этот золотой огонь и радоваться, чувствуя, как он смешивается с его кровью и горячо растекается по жилам, поднимает его, как июньское облако, высоко над землей и уносит от причитаний тех, кто в нем сомневается. Он мог бы пить, это только придавало бы ему сил и ясности голове, но кто знает, кто знает: может, это заставило бы поезд мчаться быстрей и приблизило крушенье...

Но что означает этот ежедневный мрачный обряд, во время которого символы только присутствуют, но не используются? Что он значит для помещика Дастиха? Поверим, что этот обряд служит ему лишь для того, чтобы заглянуть в лицо своим искушениям и воспротивиться им. Чтобы он мог узнать свою силу и ее границы. Или благодаря этому уверовать, что все, кто убежден в его грядущем паденье, радуются преждевременно и никогда не дождутся исполнения своих злорадных пророчеств. Так же, как он преодолевает искушение, которое золотымиискрами вырывается из нутра бутылки, так же, как ему удается взвинтить и снова задушить в себе дикую страсть игрока, мечтающего о ставке на одну карту, точно так же

он сумеет удержать и родовое наследство. Разве не течет в его жилах, смешанная с той, другой, и дастыховская кровь?

Смешанная с той, другой.

И именно к ее потаенному току прислушивается помешник, когда сидит взаперти, воюя со своими страстями и склонностями и достигая своих сокрушающих побед. Потому что все-таки кто-то этими победами действительно оглушен, но только не он, слышите — только не он. Разве он не защищает дело Дастыхов против тех, других, что крадутся в нем и хотят одержать верх? Это должен понять и его брат, который двадцать лет ждет их победы. Но он никак не может этого понять. Потому что понять способен только тот, кто, как помешник, разгадал тайну часов; только он знает, что человек может быть и нападающим, и отбивающимся, и ареной, на которой разыгрывается эта борьба.

— Хозяин!

Дед Балхан зовет его под окнами со двора. Одурманенный видениями и оглушенный голосами, которых никто другой услышать не может, помешник с трудом возвращается к действительности. Неверными движениями он складывает и заворачивает карты, хватает бутылку и прячет ее вместе со свертком за книги на полке.

— Хозяин! Хозяин, селт возьми! — Крик Балхана звучит настойчиво и отчаянно. — Магду лаздуло, говолю, хозяин, подыхает!

Не удержишь. Не удержишь!

Помешник идет к часам с кукушкой, передвигает стрелки на одиннадцать и пускает маятник. Не успел он повернуть ключ в замке, как часы зашипели, поезда опять помчались навстречу друг другу, но теперь это не суть важно. Дверца в часах распахнулась, и деревянная птица выскочила с первым «ку-ку!».

На дворе старик Балхан присел к земле и зажал ладонями уши.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПРАЗДНИК В САДУ

Играет музыка, и лучи солнца, пробравшиеся сквозь кроны деревьев, падают на траву. Корнет-а-пистон подымается на цыпочки, захлебываясь на высокой ноте,

а звук трепещет от переизбытка сладострастья, кларнет обсасывает свою мелодию, как мальчишка леденец, и, когда ожидаешь меньше всего, издевательски подхихикает, альт вкрадчив, как любовник в вечерний час, пикколо журчит и щебечет, смолкает и снова взвивается, контрабас объединяет всех — всю эту банду сумасбродов и пьяниц, а скрипка,—ах, моя скрипичка! — ты моя печаль, мое упоенье, в тебе наша песня и наши слезы. Трам-там-там, трам-там-там, та-ра-ра-ра.

Посреди сада, над бассейном, где иногда посверкивают золотистые карпы, построен помост для танцев. Доски хорошо подогнаны, гладко оструганы и навощены, на них танцуется не хуже, чем на паркете. Музыканты со своими пультами сидят в тени старого ясения. Кружки с пивом стоят у их ног, и каждую пьесу, как и положено музыкантам, они запивают изрядным глотком, а Нейтек из богадельни, которому поручено следить, чтобы кружки у них не пустовали, не забывает себя и пьет наравне с ними. Жена его помогает на кухне, а падчерица, наряженная в черное платье и белый фартучек, обносит дам сладостями. Когда Нейтек встречается с ней, девушка зажмуривает глаза, словно взглянула на что-то раскаленное добела, и потом все перед ней расплывается, как в тумане: сладости на подноссе, дорожка, посыпанная желтым песком, и сами гости, к которым она направляется. А Нейтек не успевает дойти до стойки — хватает кружку, которую ему то и дело наполняют, и пьет долго и жадно. Проклятая жажда день ото дня все сильнее.

Стойку разместили неподалеку от дома, под раскидистым каштаном, где и в самый жаркий полдень прохладная тень и сумрак и мягкая земля, тут и там покрытая холмиками мха, никогда не пересыхает. В угощенье на сегодняшнем празднике, чтобы никому не было обидно, участвуют все четыре трактира с площади. Трактирщики по очереди сменяются за стойкой, где громоздятся ведерки со льдом и бутылки, наполненные всем, что только душе угодно; сегодня они — и трактирщики, и гости, а руководство доверено Пудилу, самому старшему и уважаемому.

Бургомистр ходит среди гостей, для каждого у него находится словечко и улыбка, никто не обойден его вниманием. Он не забывает даже игроков в кегли и, оказавшись возле них, всякий раз пускает шар. Чтобы никого не обидеть, он принимает серьезный вид, но пускает шар, едва качнув в ладони, и всегда попадает в самую точку, точно в руке у него сидит черт. Похвалы и удивление он отвергает,

дескать, это же его кегельбан и он тут как рыба в воде. Но все-то знают, что в течение года бургомистр сюда и не заглянет, а содержит его в порядке только для гостей. Рудольф Нольч пошутит и идет дальше, все в саду ждут, что он остановится около них и поговорит.

Мальчишки оседлали забор у кегельбана. Сидят, свесив ноги в сад, и радуются зрелицу торжества. Время от времени хозяин посыпает к ним кого-нибудь с пригоршней лакомств, а то умерить их буйство направляется вахмистр Тлахач. Если считать и мальчишеч, то здесь собрались человек сто, но хозяин всех накормит и напоит. Ему приятно угощать такое множество людей, это поубавит его богатство, которое все прибывает, как полнокровие у толстяка.

Иногда ему приходит в голову: а что, если бы в один прекрасный день он обеднел, разорился начисто? Быть может, тогда его жизнь приобрела бы смысл. Бедняки ведь так любят жизнь, что, кажется, чем беднее человек, тем сильнее цепляется за жизнь. Бургомистр вовсе не хочет обеднеть, потому что не может представить свою жену лишенной того, чем он ее окружил. Собственно говоря, дело вовсе не в бедности и богатстве, он только хотел бы знать, что такое любовь к жизни, упоенное жизнью, когда все полно смысла и новизны. Он ходит среди гостей и думает: все эти люди живут, не задаваясь вопросом «зачем?», и хотят только одного — прожить подольше.

Сад вчера выкосили, траву убрали, чтобы не мешалась под ногами. Но в воздухе еще чувствуется ее скорбный и сладкий аромат. Стулья, скамейки и столы расставлены под деревьями на всем пространстве, и гости разместились по своему желанию. Чтобы знать, о чем они говорят, не нужно даже прислушиваться: они говорят о нынешнем урожае хлебов, о севе озимых, прикидывают, сколько соберут картофеля, обсуждают корову, которую кто-то приобрел, она становится предметом таких же долгих дебатов, как и сумма, которую кто-то другой выручил за пороссят. Из их разговоров перед глазами встает тот мир, что дан им в распоряжение и в котором они живут трудно, но покорно, упорствуя, но в большинстве своем не бунтуя; встает перед глазами череда их будней, важнее которой ничего нет и в которую мудро вставлено воскресенье, как ступенька, с которой можно увидеть, что сделано и что надлежит сделать на будущей неделе. Какая сила заключена в жизни, где одни заботы и нет места вопросам, одни обязанности и нет места сомненьям! Так живали и Ноль-

чи, но во что это выродилось? Посмотрите на бургомистра, как он шутит в кегельбане, как ходит, и мужчины переглядываются, довольные, что он у них такой молодчина. А он — то, отойдя на шаг, уже и не помнит, что говорил. Прохаживаясь среди гостей, он может подойти к кому угодно, ему безразлично, он словно кружит вокруг какого-то центра притяжения, заключенного в нем самом. Притяжения и отталкивания, — конечно, этот закон физики относится и к нему, потому что, не будь его, бургомистр уже давно бы рухнул. Но что, если в один прекрасный день притяжение победит? Достаточно ему вспомнить ту лунную ночь, когда Кате приснился ее опасный сон. Ослабела ли тогда сила отталкивания, или он зашел слишком далеко в своей игре? Если это не что-то другое, то он чуть не выдал себя. К счастью, Тлахач — добряк и примитивная личность. Наверное, удивился, но его мозг просто не в состоянии понять, что тогда происходило с бургомистром. К тому же ему нечего было бояться, бургомистр — взрослый ребенок, играет со своей мечтой только для того, чтобы как-то заполнить душевную пустоту. Он не лентяй, от работы небегает, имущество и общественные обязанности доставляют ему достаточно забот, но пустота разлита над всем, что он делает. Ее не может заполнить даже любовь к пани Катержине.

На кусочке земли, освещенном солнцем, остановился декан Бружец. Он уже где-то забыл свою шляпу, и его массивное загорелое лицо побагровело от жары. С минуту он смотрит на танцующих, потом оглядывается, к кому бы подойти, перекинуться словечком. Он — хороший пастырь, опытный и ревностный в выполнении своих обязанностей, он знает, что простым словом, сказанным к месту, он больше напомнит людям о боге, нежели долгой проповедью в костеле.

Бургомистр заметил священника и направился к нему. Они втайне симпатизируют друг другу, хотя никогда об этом не говорят. Может быть, их роднит земля, от которой оба они отторгнуты, один — своим богатством, другой — своим саном. А может, чуют снедающую обоих тоску и знают, что помочь друг другу не могут, потому что ни тот ни другой никогда не осмелится переступить границу стыдливости, разделяющую их.

Они, улыбаясь, пожимают друг другу руку.

— Благословенный денек, — говорит священник, — люблю солнечные воскресенья. Мне кажется, они больше утверждают славу господню.

Бургомистр усмехается, и священник ждет коварного, подстрекающего к спору ответа.

— Летнее солнце не кажется мне орудием божьим, тем более в воскресенье. Жарко, люди больше пьют и больше вожделеют друг к другу.

Но декан сегодня не склонен к подобным разговорам. Помост над бассейном полон танцующих, яркие платья девушек пестреют среди белых рубашек молодых людей, которые в большинстве сняли пиджаки. Отец Бружец смотрит на разгоряченные лица танцующих и чувствует, что бургомистр сказал правду. Но он не хочет видеть в ней нечто большее, чем обыденную действительность. Он пожимает плечами и отвечает:

— Это все дела житейские, господь к ним снисходителен. А вот сегодня все соблазны идут от вас. Это вы позвали людей, угощаете вином, велели играть музыке.

— А они довольны и радуются вдвойне, потому что могут повеселиться задаром.

Отец Бружец захохотал своим громким смехом, который заглушил даже музыку; несколько человек на него оглянулись и кивнули ему с веселой улыбкой или подняли стаканы в знак того, что пьют за его здоровье. Несколько сконфуженный этим, декан замолчал.

— Какой это по счету праздник? — наконец обратился он к бургомистру. — Пятнадцатый? Вы начали их устраивать сразу после женитьбы и не пропустили ни одного года.

— Да, ни одного, — отвечает ему собеседник, и, судя по всему, ему это приятно. — Мы с женой приезжали даже из-за границы, чтобы устроить это празднество.

— Хотелось бы знать, что заставляет вас неукоснительно раз в году собирать сотню людей и угощать их с такой щедростью. И почему именно в первое воскресенье после двенадцатого августа? Двенадцатое августа — день рождения вашей супруги. Это что, торжество в ее честь? Вы никогда об этом не обмолвились, и я сомневаюсь, что это знает кто-нибудь кроме меня.

— Это не увязывается с вашими представлениями обо мне?

— Я бы этого не сказал. Просто ищу причину или, если хотите, смысл.

— Объяснение будет еще проще, чем вы думаете. Во-первых, это как-то развлекает мою жену и меня, а во-вторых, раз уж я начал, то не могу перестать. Мне представляется, что люди спрашивают друг друга: «А как

в этом году? Устроит ли бургомистр праздник?» И я чувствую, что не могу обмануть их надежд.

Священник кивает, но как-то не очень убежденно.

— Что ж, может, так оно и есть.

Тут уж бургомистру не остается ничего другого, как расхохотаться в свою очередь так, что люди начали оглядываться.

— Никогда бы не подумал, что вы настолько мне не доверяете. В чем же вы подозреваете меня?

— В грехе отчужденности,— отвечал декан Бружец серьезно.— Все мы вам ужасно чужды и безразличны. Не только мы здесь, но и люди вообще. Но вы человек умный, чувствуете, как это неестественно, и хотите уверить себя и нас, что это не так. Отсюда ваша постоянная любезность и доброжелательность и ежегодное щедрое празднество.

Почти вместе с последними словами декана замолкает и музыка, но тут же с ладоней разгоряченных танцоров срываются аплодисменты, требующие продолжения. Сад отзыается разрозненными голосами и смехом, стуком сбитых кеглей и звяканьем стаканов и посуды. Корнет-а-пистон вскрикивает, как сойка в лесу, другие инструменты подхватывают, щебеча, чирикая, пуская трели и рокоча. Бургомистр вынимает из кармана своих светлых фланелевых брюк портсигар и протягивает священнику. Закутив, оба мужчины молча поглядывают, как снова завертелся круг танцующих.

— Допустим,— говорит наконец бургомистр, не глядя на священника,— что вы правы. Как бы вы, духовный отец, поступили со мной в этом случае?

— Не знаю. В вашем поведении есть и борьба, и покаяние. Даже не знаю, что вам посоветовать.

Корнет-а-пистон позволяет себе вариации — высокий звук взлетает вверх, как флаг по флагштоку, и трепещет там долго-долго. Бургомистр роняет сигарету на траву и затаптывает ее.

Эмануэль Квис появляется на сцене несколько театрально. Корнет-а-пистон еще надрывался, словно докладывая о важной персоне, в остальном же его прихода никто, кроме отца Бружеца и бургомистра, не заметил. Квис одет как всегда; ни разу за время своего пребывания в Бытни на нем не было надето ничего другого, кроме того, что было уже описано. Только шляпа сегодня чуть больше сдвинута на затылок, и рука, через которую перекинут

плащ, уперта в бок. В другой — знакомая черная трость, и весь он похож на завсегдатая пикников забытых времен, который добрался в жаркий день до спасительного трактира за городскими воротами и оглядывается, где бы поудобнее усесться.

— Смотрите-ка, — говорит декан, — вы и его позвали? Найдется ли в нашем городе еще кто-нибудь, с кем этот человек не знаком?

— Ваша правда. Недоверчивая Бытень подружилась с ним быстро. А позвал я его потому, что он по некоторым причинам интересует мою жену.

— Он и ей попался на глаза?

— Попался — точное определение, — говорит бургомистр, наблюдая за Квисом, возле которого как раз остановился Нейтек. — Он всем нам попался на глаза и возбудил любопытство. Меня осчастливили эффектом, изрядно нагнав страху.

— Страху?

— Во всяком случае напугал. Явился ко мне в ратушу в приемные часы представиться. И только мы поздоровались, он начал трястись, словно решил рассыпаться на месте. Физиономия вся сморщилась, он сразу постарел, ну просто на тысячу лет. Ловит воздух ртом, мычит что-то невразумительное, пятится, потом наткнулся на стул возле двери и плюхнулся на него. Говорю вам, я просто перепугался. Вскочил, смочил платок водой и отер ему лицо. Но стоило мне провести мокрым платком по его лицу, как оно разгладилось, будто я смыл все морщины. И дыхание выровнялось. Он отстранил мою руку, встал и извинился. Дескать, у него иногда случаются такие припадки, но они совершенно безопасны и быстро проходят. Это все от нервов. Однако ему было уже не до разговоров, и он тут же откланялся.

Декан слушает бургомистра, нахмурив брови; видимо, что-то в этой истории его смущает и не нравится, чем дальше, тем больше. Несколько раз он делает движение, будто хочет прервать рассказ, но сдерживается и выслушивает до конца.

— Вы сказали, что лицо у него состарилось на тысячу лет?

— Именно так. Поверьте, зрелище было не из приятных.

Отец Бружеек гладит подошвой траву перед собой, словно хочет на что-то решиться, но колеблется.

— Как он сумел устроить, что весь город узнал о нем,

не прошло и нескольких дней! И каждого при знакомстве чем-то удивил. Видимо, ему важно, чтоб мы не сразу о нем забыли.

— Вас он тоже удивил?

— Пожалуй. Прежде всего тем, что заказал панихиду по покойнице, которой наследовал. С того дня каждое утро приходит в костел и стоит добрый час, уставившись на алтарь.

— Значит, он человек в вашем вкусе. Достаточно стар и может проявить набожность таким образом. Что же вам в нем не нравится?

— Набожность его по меньшей мере сомнительна. Сторож в костеле наблюдал за ним. Этот человек никогда не крестится — ни когда входит, ни когда уходит. Стоит в середине нефа и неподвижно смотрит на алтарь.

Бургомистр засмеялся. Сторож, подсматривающий за кем-то из-за колонны или даже притаившись в сумерках исповедальни,— такая картина его рассмешила.

— Сторож, безусловно, человек, достойный доверия. Но вам следовало бы строго-настрого приказать ему помалкивать. Его сообщение может вызвать далеко идущие выводы, воображение Бытни разгорится, как трут. Ну какие у нас происшествия, кроме свадеб, похорон, разбитых окон в трактире да какого-нибудь там внебрачного ребенка? Через несколько дней весь город начнет шептать, что наш новый гражданин...

— Этого не случится,— прерывает священник.— Люди, конечно, на это способны, но сторож будет молчать.

— Вы правы,— говорит бургомистр серьезно,— человек способен на все. Однако мне не следует забывать, что я хозяин и должен приветствовать гостя. Вы, конечно, сами найдете местечко, где вам будет хорошо.

Бургомистр уходит, оставляя на скошенной и затоптанной траве глубокие, заметные следы, такой он сильный и тяжелый мужчина. Декан смотрит вслед и думает о том, что хотел ему рассказать, но не решился. Во второй половине дня после той странной лунной ночи, когда тень креста упала на двери дома Либуше Билой и когда он вел странный разговор с Тлахачем, в тот послебеденный час отец Бружец стоял в открытых дверях ризницы и смотрел, как сторож, маленький, высохший, плешивый, с уклончивым взглядом, подливает масла в пегасимую лампаду. Снаружи был солнечный день, и в четыре высоких узких окна в левой стене храма в главный неф лился, клубясь рябью пылинок, свет. Мир тут возносился

и повисал, и каждая из этих крошечных, пронизанных светом, танцующих частичек пыли, была его атомом. После ухода прихожан в доме божьем царили тишина и покой.

Священник на минуту поддался детской вере, что бог может выйти из дарохранительницы, чтобы проверить, в порядке ли содержат дом двое его слуг. У отца Бружея перехватило дыхание от счастья и благодарности за то, что он избрал этот путь. Выходная дверца из ризницы осталась открытой, и через нее потоком втекал запах сена с недалеких лугов, и там, где стоял отец Бружея, смешился, как бы впадая в реку, с запахами костела — духом кадила и сгоревших свечей, каменных стен и пола, старого дерева и воскресной толпы. Священник очутился на границе двух миров, которые он одинаково любил, более того, они встречались и соединялись в нем самом, кружащая сила воронки засасывала его, и, когда ему начинало казаться, что он вот-вот потеряет сознание от дурманящей сладости этого чувства, моментами даже похожего на последние мгновения жизни, его подхватывала и несла вверх мощная рука уверенности, что в этом слиянии есть смысл таинства и что это и не таинство для того, кто верит и любит так крепко и безоглядно, как он. Он оперся о притолоку, слегка одурманенный тем, что пережил, и изумленный познанием того, как мало совершается вокруг нас в течение долгих лет ожидания и какие невероятные действия могут свершаться в нас самих в течение нескольких кратких мгновений.

При этом он еще спокойно и внимательно следил за тем, что делает сторож. Тот стоял, расставив ноги на невысокой лесенке, и, держась за нее одной рукой, доливал в лампаду масло из жестяного кувшинчика. Лицо у него сморщилось и заострилось от напряжения и старания не загасить струйкой горящий фитилек и не перелить масло через край. В этот момент кто-то отворил входные двери, и сильный порыв ветра пролетел по храму. Дверца ризницы за спиной декана захлопнулась со стуком, который своды пустого нефа возвратили с гулким эхом. Лампада, подвешенная на длинном шнуре, качнулась, струя масла попала на фитилек, и негасимый огонь погас. Сияющее рубиновое нутро лампады засияла тьма, и священника, в котором еще трепетало недавнее очарование, пронзило ужасом.

Отец Бружея был человек уравновешенный, чувства в нем кипели не спеша, мысли созревали исподволь. Но

в тот момент он почувствовал, что его подхватил водоворот еще не испытанного смятения. Казалось, он должен куда-то броситься, что-то сделать, воспрепятствовать чему-то гибельному, но чему — этого он не знал. Он инстинктивно оглянулся на алтарь, и в этот момент раздался голос, разнесшийся по костелу, словно заговорила сама пустота под сводами. В одном из лучей мерцающего и кружасшегося света, идущего от окон, отец Бружец увидел кланяющуюся фигуру человека, которого сегодня все уже знают как Эмануэля Квиса. Деревенский здравый смысл победил в декане. Все это показалось ему слишком театральным, чтобы быть в каком-то смысле подлинным. К тому же верующий должен быть во всеоружии против суеверного преувеличения простого стечения обстоятельств. И для того, чтобы освободить дорогу простому и трезвому мышлению, отец Бружец с необычной для него резкостью набросился на сторожа.

— Пошевеливайтесь, не видите разве, что случилось? — И поскорее увел пришедшего в ризницу.

Рассказ бургомистра напомнил ему этот случай. Декан задумался, но сделал вид, что наблюдает за танцующими. Сопоставлять то, что слышал, с тем, что знал сам, и делать из этого какие-то выводы он не хотел. Только сказал себе, что домик возле прихода, такой хорошенъкий, уютный домик, привлекает странных пташек.

Последняя волна вальса выплеснулась через кроны деревьев и растворилась где-то на лазурной и золотой кромке горизонта. Эти белые, взлохмаченные и расплывающиеся облака, наверное, клочья пены, что остались после пьянящего разгула волн. И танцовы, как пловцы, выброшенные после долгой борьбы с прибоем, стоят, переводя дыханье, но глаза у них полны огня. Еще? Еще! Не давайте опасть уносившей нас волне, мы обессилели, но чисты, в голове ни единой страшной мысли, мы невесомы, как свет, губы наши солоны, как слезы, как морская вода, но сладость разлита во всем теле, ноги подлаиваются, и колени дрожат, но это потому, что сила волн перестала нас вздымать. Взвейте ее, корнет, контрабас, скрипка, мы забыли, кто мы, играйте, пока мы не вспомнили.

— Довольно, — говорит Лиза Дастыхова. — Мне нужно немного отдохнуться.

И прежде, чем партнер успел возразить, выскользнула из его объятий, все еще державших ее талию, и соскочила с трех ступенек помоста.

— Ты такая разгоряченная,— сказала ей мать,— не сиди, возьми жакет, погуляй немножко.

Тетя Элеонора молча подымает руку и подает ей короткий шерстяной жакет. Лида протестующе встряхивает головой и хочет отказаться. Господи, как же они умеют быть старыми и осторожными, даже тетя Элеонора, про которую говорят, что себе она спуску не дает. Но вот Лида встречается со спокойным взглядом пани Нольчовой, обращенным к ней с мягкой нежностью и восхищением. Лида проникается гордым сознанием своей юности и красоты, потому что этот взгляд как бы раскрывает ей их значение. Она чувствует, что не в силах ему сопротивляться. Он как бы просит и указывает. Господи, если вообще нечто такое существует и имеет какое-то значение, то это — дама. Посмотрите на нее, как она естественна и проста, приветлива и привлекательна и бог знает, что еще, и все — настоящее, и ни в чем ей не нужно прикидываться.

— Возьмите его, Лидушка, и, если вам не скучно, приходите потом посидеть немножко со мной.

Звук ее голоса совершенно побеждает Лиду, она быстро наклоняется, хватает руку пани Катержиной и целует ее. И прежде, чем все вокруг успевают опомниться, убегает по аллее, на бегу накидывая жакет.

— Ну, не сумасшедшая ли? — ворчит пани Дастьхова, мать Лиды, краснея от растерянности.

На щеках пани Катержиной тоже вспыхнул румянец: она изумлена и сконфужена и удивительно счастлива, что кипучая жизнь, переполняющая Лиду, коснулась именно ее таким безыскусственным проявлением симпатии.

— Она молода, так чудесно молода, что мне даже становится страшно, когда я вижу ее,— отвечает пани Нольчова взволнованно.

— Можно быть молодой, но не нужно быть сумасшедшей,— отзыается тетя Элеонора с обычной решительностью.— И если уж говорить о страхе, то признаюсь, он летает вокруг меня черной птицей, как только я подумаю о Лиде. Зачем она так красива? Красота — это не от Дастьхов. Наверное, ее принесла нам Анна. И я спрашиваю себя, что это — знак искупления или предвестник последнего удара, который будет нам нанесен?

Пани Дастьхова краснеет еще сильнее.

— Ну что за чепуха, Лени,— говорит она.— Разве мы какая-то проклятая богом семья?

Элеонора наклоняется к ней и гладит по плечу.

— Люблю твою верность, моя Андуличка. Ты отождествляешь себя с нами, вместо того чтобы схватить свою красавицу за крылышки и бежать со всех ног.

— Ах, оставь, Лени. Ты только и делаешь, что насмехаешься или запугиваешь. А вы обратили внимание, как Лида хотела было возражать, но сразу же послушалась пани Катержину?

Девическая застенчивая улыбка расцвела на лице пани Нольчовой.

— Не следует придавать этому значения. В ней такой избыток чувств, что она ищет, кого бы ими одарить.

— Иными словами, она на распутье,— заключает мадемуазель Элеонора, преследуемая безжалостным стремлением к точности,— и нам только и остается, что сказать — помоги ей, боже, и не забудь о нас.

Лида свернула на дорожку, ведущую к старой, на каменном фундаменте, беседке у садовой ограды. Она идет, опустив голову, потому что солнце бьет ей в глаза острыми иглами лучей. Дорожка посыпана песком цвета спелой пшеницы, мелким, без единого камушка, влажным изнутри после утренней поливки и просохшим только по поверхности, усеянной бесплотными монетами солнца и теней. Он мягко принимает шаги, сохраняя их отпечаток. И от радости, которая сложила крылья и как-то померкла, остался только след. Лида это чувствует и боится следующих мгновений. Она знает, что через минуту станет противна сама себе и возненавидит белый свет, будет стыдиться и мучиться тем, что сделала когда-то. И зачем только она живет, если она такая лишняя?

Ей хочется быть как тетя Элеонора — все понимать и надо всем смеяться. Чтобы не нужно было сопротивляться и отвергать, чтобы не бояться, что всякая радость умрет в ней, едва родившись. О ней говорят, что она красива, но что ей до этого? Иногда сознание красоты наполняет ее счастьем, а иной раз охватывает такая тоска, что хочется умереть. Ей хотелось бы приносить людям радость, заставлять их верить, глядя на нее, что мир может быть добре и лучше, чтобы она могла давать людям такую силу и вдохновение, какие только что внущила ей пани Катержина. Она еще не знает, чего захочет в будущем, но первое ее желание — бежать из этого города и жить там, где могут исполниться ее мечты. Стать, допустим, великой актрисой и каждый день вживаться в новые судьбы, увлекать ими всех, кто ее увидит, и давать людям забвение

повседневной жизни, которую они влачат, не ведая зачем. Еще она хотела бы забыть об ужасе, который бродит по их дому, об отце, который и страшит ее, и бесит. Что стерегут мать и тетка, каждая на свой манер, но обе одинаково бдительно, отчего отец запирается в дедовском кабинете и делает вещи, которых никто не может понять? Как мало света может быть и при солнце, как мало радости в самый веселый день, поющий скрипкой, взвивающийся корнетом, щебечущий кларнетом и птичьими голосами, в день танцующий, сытый и слегка пьяный.

Стол в беседке, на случай если кому-нибудь вздумается здесь посидеть, застелен яркой скатертью. На плетеных креслах кричащими пестрыми цветами расцвел ситец, а в окно, обращенное на запад, льется неяркий луч солнечного света. Едва Лида опустилась в одно из кресел, как поняла, что ей было необходимо. Побыть одной. Ведь она в общем-то нелюдима, и когда, как другие девушки, танцует, смеется и веселится с молодыми людьми, это только притворство. Да, она не любит людей и вообще не желает одаривать кого-то радостью. Лида закрывает глаза, мир исчез, он доносится только отдаленным, глухим бормотанием голосов, шелестом листвы и чириканьем птички на кроне старой рябины над беседкой. Глаза напряженно зажмурены, уши заткнуты указательными пальцами. Теперь мир исчез совсем, остался только слабый гул, это, наверное, время, что льется широко, бесконечно, неуклонно, да стук ее сердца, и этот тихий, тихохонький птичий голосок. Пусть так будет вечно. Сердце стучит, а птичий голосок зовет его, но оно не хочет слышать, идет себе и идет, оставайся на дереве или улетай в облака, у нас нет общего, ты — песня, свобода и любовь, а я отмеряю время и иду — раз-два, раз-два.

Лида открывает глаза. Кто-то стоит в двух шагах от входа в беседку и смотрит на нее. Лида взглядывает на него, он пугается и как будто даже хочет повернуться и убежать. Но не в силах этого сделать, и на лице у него появляется выражение отчаяния, оттого что Лида нахмурилась. Мы уже с ним встречались — он курил возле лавки на площади и исчез, когда отец Лиды проезжал мимо. Это Еник Гаразим, и даже не верится, что здоровяк, ростом в сто восемьдесят сантиметров и в груди добрых сто пять, душа общества и молодец-парень может выглядеть таким побитым, оттого что девушка взглянула на него хмуро.

— Опять следишь?

Парень понимает, что так могло показаться, ведь он смотрел на нее довольно долго, пока она сидела, зажав уши и закрыв глаза; он настолько несчастен и растерян, что даже его нарядный костюм повисает на нем тряпкой.

— Я не слежу. Просто шел-шел за тобой.

— А за мной ходить незачем.

Лида замолчала, но, по-видимому, хочет сказать что-то еще, только слова не идут с губ. Наконец, встряхнула головой, так, что волосы рассыпались, и выпалила:

— Вообще не хочу тебя видеть.

И добавляет, пожалуй, уже лишнее, но более мягко:

— Мне хотелось побывать одной.

Бежевые штиблеты топчутся по песку, над ними нерешительно колышутся растерянные штанины.

— Тогда я пойду.

Так далеко владетельная госпожа из беседки заходить не хотела. Разве минуту назад она не мечтала уйти в большой город и дарить людям радость? Она не должна злиться и на этого юношу, а сказать ему раз и навсегда, чтобы он выкинул ее из головы. Она не рождена, чтобы навеки похоронить себя в Бытни, стать женой суконщика, сидеть в его темной лавке с бриллиантовым, как у его матери, перстнем на пальце и выдирать из мозолистых ладоней деревенских жителей тяжко скопленные гроши. А у Еника никогда не хватит решимости взбунтоваться, пренебречь семейным богатством и начать жить по-своему, чтобы никто ему не указывал. Но какое право она имеет зазнаваться перед ним? Она еще только играет со своей мечтой, как когда-то играла с куклой, наряжает ее каждый день в новый наряд, но, может быть, придет время, когда она будет стыдиться даже воспоминаний об этой мечте.

Так, во всяком случае, утверждает тетя Элеонора, но это не может, не должно быть правдой.

— Садись, раз уж ты тут,— говорит она самым равнодушным тоном.

Но ее тон не отпугивает юношу. Растерянные штанины обретают жизнь, смотри, как, метнувшись, прыжок — и Еник уже в беседке и плюхнулся на скрипучее кресло напротив Лиды. Но, усевшись таким образом, он совершил все, на что в этот момент был способен. Растерянность сжала ему горло, и словно какой-то вор украл все подготовленные слова. Он мог бы, к примеру, говорить: «Лида, Лидушка», — и чувствует, что ему этого хватило бы на весь остаток дня, как обитателю Тибета его односложной молитвы. Вопрос только в том, удовлетворится ли этим

Лида. Он мог бы попытаться взять ее за руку, если бы у него так вульгарно не вспотели ладони. Так что возможностей почти не остается, и он чувствует, что лоб, там, где начинаются густые, волнистые волосы, начинает покрываться капельками пота, но Лида этого, конечно, не замечает, она откинулась в своем кресле и смотрит куда-то в зеленые, пронизанные светом глубины сада, словно его, Еника, тут и нет. Посмотрите на девчонку, никто ее этому не учил, ни с кем она об этом не говорила, но ведет себя именно так, что мужчина станет ползать перед ней на коленях или будет готов разбить себе голову об стенку. Она просто испытывает свои силы, а сам парень ей ни к чему! Эх, худо придется тому, кто задумает любить Лиду, потому что ей нужен весь человек, без остатка; ты мой, понимаешь, твои мысли и дела должны быть полны мной, словно я — плотина, над которой ты живешь, и я тоже хочу вся быть твоей, и все у меня будет только от тебя и с тобой. Что поделаешь, Еничек! Поддерни брюки, чтобы не вытянулись на коленях, поправь заутяженную складку, это такое спасительное мужское движение, оно ничего не испортит, но, может быть, привлечет к тебе внимание, а главное, успокоит. Лида подняла руку, чтобы поправить волосы, и на Еника пахнуло легким ароматом. Словно размяли пальцами листок мяты. Неудачно ты сел, парень, солнце палит прямо в затылок, от его жара можно задохнуться. Отчего это красота будит в человеке негу и жестокость одновременно? Ты мог бы смотреть на нее целыми часами, но в то же время рукам больно от стремления сжать, разорвать, избавиться от страшной, мучительной уверенности, что никогда ты не завладеешь ею настолько, чтобы поглотить ее всю. Сигареты? А что, если попытаться предложить сигарету? Портсигар — вот он.

— Не хочешь закурить?

Вы только посмотрите, как засияли у девушки глаза. Конечно, такая малышка и чтоб не курила! Сигарета приносит успокоение, напряжение сошло, и воздух стал прохладней, мы словно отдалились друг от друга, но, глядишь, отыщем другую дорожку.

— Ты сегодня вообще танцевал?

— Нет, ждал тебя, а ты танцевала то с одним, то с другим.

— И что же, тебе это мешало?

— А ты как думаешь?

— Тебе не кажется, что ты предъявляешь претензии, не имея на это никакого права?

— Предъявляю, но тебе это может быть безразлично, если ты не чувствуешь того же.

Сад перед их глазами был россыпью света и тени, а в той стороне, где танцевали, воздух между черными и позолоченными стволами, пронизанный стрелами солнца, дрожал, видимый и голубоватый. Лида вдруг почувствовала себя такой отчужденной, словно никогда не принадлежала и не могла принадлежать этому миру, и ей было бесконечно этого жаль. Кого любит в ней Еник и кто в ней мог ответить ему взаимностью? Он зовет ее Лидой. Но кто она — Лида? Иногда ей кажется, что в ней живет великое множество людей и она ищет среди них себя. Они вызывают, кричат в ней, как узники, но чего они хотят? Чтобы она отдала им свое лицо, свой голос, свои чувства и свою волю? Чтобы она в них теряла и снова обретала себя? Она кажется себе слабой, обманутой и покинутой, как ребенок в лесу; завели в лес и оставили одну. Еник, Еничек, помоги мне! Погибну, если тебя не будет со мной. Но как мне объяснить тебе это, ведь ты же не поймешь. Я пропаду в лесу, пока ты будешь стоять за прилавком и отмерять шифон, манчестер и шевиот, пока будешь толстеть, потому что перестанешь играть в теннис и какнибудь в воскресенье забренчишь на пианино супруге, — у которой будет на пальце бриллиант, унаследованный от свекрови, — один из тех дурацких фокстротов, которыми ты развлекал нас в худейовицком клубе. Тогда ты не услышишь моего голоса, который тщетно будет звать: «Еник, Еничек!»

Тут фантазия так расстроила владетельную госпожу из беседки, что по ее щеке покатилась слеза. Но это, наверное, она дала волю одному из узников, что томится в ней, и он заплакал.

Еник увидел слезу, выкатившуюся из-под ресниц и побежавшую по щеке раньше, чем Лида ее почувствовала. Он наклонился к девушке и схватил ее за руку.

— Лида, что с тобой? Я не хотел тебя обидеть.

Лида вскакивает, чтобы убежать. Но Еник встает одновременно, и она падает прямо ему на грудь. Сильные руки смыкаются вокруг нее, она вся окутана этим душным объятием и тщетно пытается защититься локтями. Но зачем противиться, если сдаться так сладостно? Руки тянутся вверх, и пальцы погружаются в густые волосы Еника и цепляются за них с силой, присущей только утопающим.

Те, что подошли в этот момент, — предательская рых-

лость дорожки заглушила звук шагов,— остановились как вкопанные и окаменели, превратившись в собственные изваяния. Отец и мать Еника — вечно в черном, словно все время идут за гробом того, что умерло в них давно, тощие, одного роста, с изрезанными острым ножом алчности лицами, поблекшими и обесцветившимися в сумерках лавки, похожие друг на друга, будто один хищный и корыстолюбивый дух вселился в два тела, опасаясь, что недостаточно наживается, будучи в одном лице. Минуту они смотрели молча, потом переглянулись, и мужчина кивнул, как будто давая свое разрешение на что-то.

— Еник,— позвала женщина голосом столь жестким, что от его звука служанок пробирает дрожь или они заявляют об уходе.

Двою в беседке на какой-то миг прильнули друг к другу еще крепче, как будто хотели спастись один в другом, потом отпрянули в стороны. У Лиды лицо пылает, у Еника страшно побледнело.

— Еник,— повторяет безжалостный голос,— хоть бы ты постыдился, раз у девицы нет стыда.

Юноша вскидывает голову, кулаки у него сжаты так, что косточки побелели. Лиза погладила тот, что к ней ближе, и прошептала:

— Еничек.

От прикосновения ее ладони и при звуке ее голоса Еник слегка расслабился, но совсем сдержаться не смог, хотя, по-видимому, понизил голос и смягчил выражения:

— Стыдно должно быть только вам. Это вы подсматриваете за мной.

Лидин гнев тоже улегся, и она уже готова увидеть все это в смешном свете, а смешное в этом есть, хотя две мрачные и зловещие фигуры, такие пугающие черные на золотом фоне песчаной дорожки, удерживают ее от этого. Сдерживает и искренность, с какой Еник кинулся в бой с родителями. Зачем? Все равно у него не хватит решимости оставить их, и она в один прекрасный день исчезнет — для него, для родителей и всей Бытни.

Фигуры на дорожке снова переглянулись, на этот раз изумленно, словно не веря тому, что слышали, и женщина опять заговорила своим безжалостным голосом. Лиза, сжимающая пальцами запястье Еника, почувствовала, как тот вздрогнул.

— Немедленно домой. Там поговорим.

Господи, как он должен был бояться ее маленьким, говорит себе Лида, в то время как Еник, принуждая себя к спокойствию, отвечает матери голосом, слегка приглушенным:

— Не делай из себя посмешище, мама. Ты же знаешь, что если я не хочу, то не обязан слушаться тебя.

Отец, молчавший все время, будто был уверен, что жена справится сама, заговорил теперь голосом вкрадчивым, каким торговцы разговаривают с заказчиками и который так противоречил его алчной физиономии:

— Думаю, что я могу тебя заставить.

Еник снова вскидывается.

— Это средство мне известно, папа. Но только один человек боится, что ты его пустишь в дело,— это ты сам. Жаль только, что вы выбрали для разговора именно это место.

— Девица могла бы проявить хотя бы столько воспитанности, чтобы удалиться и дать возможность поговорить без посторонних,— заявляет пани Гаразимова самым ледяным из всех возможных ледяных тонов своего голоса.

И тут Лида выкидывает такое, чего, ей кажется, она будет стыдиться до самой смерти. Слегка приподняв края юбки кончиками пальцев, она делает книксен и отвечает деланно сладким голосом:

— Конечно, милостивая пани.

Потом берет Еника под руку и добавляет:

— Ты меня проводишь, Еничек?

Обалден от неожиданного поворота разговора, Еник идет с Лидой нерешительно и неловко. А так как на средней из трех дорожек, идущих к беседке, стоят родители Еника, Лида избирает ту дорожку, что ведет вниз, к дому.

— Еник, останься,— выкрикивает пани Гаразимова.

Но сын идет с Лидой, хотя сознание, что происходит нечто тягостное, сковывает его все больше.

— Енда! — кричит пани Гаразимова, и в ее голосе прорываются нотки приближающихся слез или истерики. Сын останавливается и оглядывается. В тот же миг Лида отпускает его локоть и пускается бежать.

Еник стоит, как соляной столп, тупо и растерянно. Когда он решится — будет уже поздно. Дорожка перед Лидой затуманивается слезами, но она бежит все быстрее и быстрее. Прочь отсюда. Праздник для нее кончен. Он не должен был оглядываться. Должен был идти и не оглядываться. Это была только репетиция к спектаклю, который никогда не состоится, но он не смел так подвести ее.

Картежники разыщут друг друга и на Страшном суде, они не затеряются в толпе прочих грешников, а распределяясь сползутся в кучку. Если не найдется ничего другого, они настигнут карт из своих покровов, саванов, риз и их «беру прикуп,— сто и семерка,— еще одну,— масть, господа,— очко,— карты на стол!» и прочие игрецкие словечки будут звучать даже перед самым престолом божиим. Их адские муки будут не от жара в котлах, в которых им кипеть, а от невозможности собраться и составить партию.

Для них хороша любая возможность, чтобы сойтись и играть кон за коном, просто, чтобы утолить жажду, просто, чтобы выяснить, кто же сегодня первый оглядит всех свысока, потрет руки и скажет:

— Ну, как, господа?

И что за праздник, если не шуршат карты, а если уж шуршат, то пусть весь мир перевернется и станет на голову.

Вот и тут, в том углу сада, что ближе к дому, на трех столах идет игра, на двух — в марьяж, на третьем — в ферблан. В ферблан играют самые азартные — трактирщик и мясник; мясник проигрывает пару волов, трактирщик — недельную выручку, хоть ему пришло время платить долг пивовару; но это пустяки, небольшое кровопусканье,—редко случается, чтобы кто-то спустил все.

Оба трактирщика — это те, кому бургомистр доверил сегодняшнее угощение, один из погребка «Под ратушей», другой с «Уголка», мясник Малек, сосед бургомистра и его соученик по начальной школе,— все мясо для сегодняшнего пира поставил он. Четвертого игрока привел владелец трактира «Под ратушей», наверное, потому, что заведение, о чем указует и его название, в ратуше, а она — под боком у суда, и все это в сумме составляет как раз тот самый пресловутый тихий омут, в котором черти водятся. Четвертый игрок — это пан Никл, Карличек Никл, для которого карты давно перестали быть возбуждающим развлечением, превратившись в средство добывать хлеб насущный. Карличка выдворили из соседнего района, и в Бытни он остановился просто так, чтобы оглядеться, и еще потому, что человек его сорта не может пропустить никакой возможности. Карличек способен на большее, чем обыграть ротозеев в «двадцать одно» или в «зеленое поле».

Помешник Дастьх уселся между этими тремя гнездами игроков, в одном из которых, вместе с местным ветеринаром и двумя земледельцами, степенно разыгрывает

партию прикупного марьяжа его брат судья. Йозеф Дастьых сидит за своим столом в нарочитом одиночестве, к которому давно уже привыкли все, кто его знает. Время от времени, когда по саду проносится порыв ветерка, выдыхаемый наступающим вечером, у него над головой зашуршит подвешенный на проволоке, натянутой между деревьями, бумажный фонарик, скрывающий в своем нутре лампочку, и помещик, пугаясь всякий раз, поднимает к нему голову. Но даже если бы он нашел себе другой стол, это бы не помогло, потому что фонарики размещены над всеми столами и готовы загореться, как только небесные осветители выключат свой прожектор. Йозеф Дастьых пугается и вздрагивает, но, пригвожденный к своему странному позорному столбу, продолжает сидеть, размешивая и проглатывая одну чашку кофе с молоком за другой; их приносит ему Нейтек, который все время держит его в поле зрения: едва помещик допивает одну, тотчас несет новую, так как сам с собой заключил пари, сколько чашек в него влезет. Йозеф Дастьых не обращает внимания ни на что, кроме игры на соседних столах, которую он может наблюдать во всех деталях. Его хорошо сшитый выходной костюм свидетельствует, что он не какой-нибудь там мужик; сегодня он сменил свой зеленый колпак на шляпу из мягкой панамской соломки и, пряча глаза под ее широкими полями, зорко следит за братом, который сидит лицом к нему. Он наблюдает за судьей, за холодным взглядом его неподвижного лица, за этими только изредка видными глазами, прячущимися под блестящими стеклами очков, губами, которые словно лопаются, открываясь, чтобы вымолвить слово. Этому что, он может играть. Может спустить десять, двадцать, сто крон или выиграть столько же, и ему хоть бы что, речь идет, естественно, не о его кармане, это было бы смешно при той умеренной игре, которую он ведет, а о его душе, в ней никогда не вспыхнет искра азарта, страсть ставить все больше и больше.

Судье, видимо, безразлично, наблюдают за ним или нет. Он — холодный и точный игрок, никогда не допускающий ошибок, по его лицу трудно угадать, доставляет ли игра ему удовольствие. Он не зажигается, даже когда его партнеры входят в раж, и кладет карты на стол всегда спокойно, таким чисто чиновничим движением, каким кладут бумаги на подпись. Только делая ход, он позволяет себе маленьющую демонстрацию: чуть-чуть задерживает карту на полдороге, словно раздумывает, хотя при этом

никогда не берет ее назад, или,— такое тоже возможно,— как бы кому-то ее показывая — гляди, карта! Но мы приписываем судье намерения, которые, скорее всего, ему в голову не приходят.

Кто-то прошел за спиной у помещика и остановился по правую руку. Но так как здесь все время кто-нибудь снует, Йозеф Дастьых, хотя и вздрагивает всякий раз, если проходят слишком близко, старается не обращать внимания. Сейчас тоже он не хочет замечать. Настырный, однако, наклоняется и говорит, обращаясь к нему:

— Добрый день. Разрешите присесть?

Помещик чувствует, как от гнева, что кто-то не признает его права сторониться людей, волосы на затылке у него встают дыбом. Он стремительно оборачивается и смотрит прямо в лицо Эмануэлю Квису, который приветливо улыбается. Гнев Дастьыха стихает мгновенно; об этом человеке у него приятные воспоминания. Они несколько раз встречались за городом, и помещик с первого раза почувствовал симпатию к его улыбке и речам. Разве он не похвалил клевер и не сказал, что его давно интересует, кому он принадлежит, что это самое хорошее поле клевера, которое он увидел по эту сторону Бытни? Разве он не оценил его коней и не заявил, что другой такой упряжки не сыщешь в городе и его окрестностях? Разве не он подивился его ловкости в косьбе? При каждой встрече он находил словечко, которое было помещику по сердцу даже больше, чем бальзам ранам страждущего. Он оказывал на помещика настолько благотворное воздействие, что тот, выезжая в поле, искал его глазами и огорчался, когда не видел. Пожалуй, не будет излишней смелостью сказать, что он влюбился в него настолько, что мог бы доверить ему и тайну часов, и тайну голосов, которые он слышал в кабинете.

Увидев, что его потревожил, Йозеф Дастьых хотел встать в знак приветствия. Но Эмануэль Квис положил руку ему на плечо, чтобы он остался сидеть. И тут Йозеф Дастьых улыбнулся. Видеть его улыбку неприятно, потому что помещик никогда и ничему не улыбался, кроме своих одиноких мыслей. Словно кто-то всунул пальцы в уголки его губ и насилино растянул их, приподнимая. Эмануэль Квис задрожал от усилия, чтобы его лицо не отзывалось на эту улыбку и не повторило ее. Он поскорее сел, чтобы сократить комедию приветствия.

Квис с первого взгляда понял, почему помещик выбрал именно это место, и его жаждущее нутро приготовилось воспринять и упиться предстоящим удовольствием. Зачем

быть самим собой, если сегодня я могу быть тем, а завтра другим? Какой смысл иметь одну пустую, серенькую, ничем не примечательную жизнь, если я могу иметь десятки жизней? И не просто заурядных, но таких, какими они могут стать, если их подтолкнуть, выявить в них то, что они в себе прячут и подавляют. Объясняет ли это сущность Эмануэля Квиса? Именно этого он алкал и жаждал, не имея за душой ничего, что могло бы наполнить его собственную жизнь. Был ли этот человечек, проживший среди нас так недолго и повинный столь во многом, был ли он только тем, что мы о нем сказали?

Помешник отодвинул соседний стул, чтобы усадить Квиса. Дастьх сделал это угловато и неуверенно, как нечто давно забытое, чему его учили в детстве. Он чуть не опрокинул стул, ножки которого вдавились в мягкую землю. Но Квис его подхватил, прочно поставил и уселся, перекинув крылатку через спинку.

— Может быть, вы хотели пребывать в одиночестве?

— Ваше общество для меня не обременительно,— проворчал Йозеф Дастьх, и глаза его забегали, потому что такая любезность для него дело не простое.

— Это для меня честь,— отвечал Эмануэль Квис с легким поклоном, нагибая голову к рукам, сложенным на рукоятке трости.

Судья как раз не играет, и его неподвижное лицо обращено к ним, но блестящие очки скрывают глаза, и поэтому неясно, смотрит он на них или нет.

Квис послушал, как музыка, несмотря на побудительные призывы корнета к новым отчаянным атакам, уступает поле боя голосам и смеху, потом решился продолжить разговор:

— Ваш брат любит играть в карты.

Помешник сжимает кулаки, и кажется, что он вот-вот стукнет по столу и заорет. Потом ссугуливается и отвечает хрипло:

— Играет, чтобы дразнить меня.

— А зачем это ему вас дразнить? Вы вольны делать и делаете, что хотите.

— Он знает, что я дал зарок не играть, и хочет меня спровоцировать.

Эмануэль Квис наклонился вперед и заморгал глазами, потом широко их открыл. Ах, эти глаза, они как вероломные таксы, вынюхивают и рыщут не только по лицу, они копают норы в глазах человека, устремляясь вглубь, до

самого дна, где, сжавшись в комок, прячется, скуля от смертельного страха, добыча.

— Вы зареклись? При первой же встрече я понял, что в вас есть что-то особенное. Почувствовал в вас, как бы это выразиться, силу решимости. Но почему зареклись? Мне это непонятно.

На мгновение в глазах Дастьхя появляется выражение уклончивости и подозрительности, но в следующий миг все это тонет в бездонном взгляде Квиса.

— Мой дед был игрок, и он это знает. Дед по материнской линии. Мы сводные братья, у нас общий только отец.

Судья между тем снова вступил в игру и бросает карты на свой особый манер. Йозеф Дастьх наклоняется к Квису и хватает его за руку.

— Смотрите, как он ходит. Словно хочет показать мне каждую карту. «На, иди, попробуй!» Ждет, что я поддамся, начну и проиграю все, как мой покойный дед.

Эмануэль Квис сам мог бы в этот момент превратиться в таксу, которая взяла свежий след и готова от радости залиться лаем. Но его еще ждет работа, трудная, осторожная и кропотливая, как у часовщика, пока он пройдет всей спиралью тайн к самому последнему витку. Ему не придется бороться с нежеланием и недоверием, потому что помещик, наверное, впервые в жизни сгорает от желания доверить другому все, что он носит в себе и подавляет. Но к связному рассказу он не способен, мысли его, как всегда, мгновенно распадаются и блуждают,— одна в поисках другой, одна сбиваемая другой. И собеседник должен — узнавая и о поезде, который мчится по одной колее сам навстречу себе, и о пузыре, который наполнится в момент столкновения,— помогать ему многочисленными вопросами, которые, собственно, даже и не вопросы, а как бы продолжения путаных и отрывочных слов рассказчика.

Эмануэль Квис тщательно подбирает камушки по цвету и выкладывает из них всю мозаику. Он узнает удивительную историю двух людей, которые через своих дочерей проникли в род Дастьхов, чтобы воплотиться в двух внуков, рожденных от одного отца и двух разных матерей, и продолжить свою неоконченную расплюю. Сутяга, дед судьи Дастьхя, настолько безнадежно проиграл тяжбу деду помещика, что остался гол как сокол. Тщетно он вызывал к справедливости с колокольни бытеньского храма, остаток жизни он существовал на содержании из милости у зятя и дождался удовлетворения только в том, что его усадьба, захваченная соперником, выгорела дотла.

Но когда усадьба благодаря большой страховке была отстроена, победившего соперника обуяла страсть к игре. Через два года после того, как дом был отстроен, дед разорился и отправился в богадельню. Что стало с его дочерью? Оставленная женихом, которому ее красота не показалась достаточным возмещением утерянного приданого, она решила бороться против Бытни и ее зловредных пророчеств. Заделась портнихой и стала ходить в дома горожан побогаче. Поначалу дела ее шли хорошо, женщинам нравилось слушать из ее уст рассказ о падении отца и крушении ее надежд. Ее жалели, хотя этим только делали горше кусок хлеба, что давали ей заработать. Повидимому, горечь этих лет осталась в ней на весь остаток жизни и передалась ее сыну. Но покровительство бытеньских дам кончилось, как только они заметили, какое сочувствие пробуждает судьба красивой швеи у их мужей. Заказчиц убывало, двери бытеньских домов захлопывались перед ней одна за другой, плотнее, чем створки раковин. Видимо, в это время ею заинтересовался Габриэль Дастьых, отец судьи и в будущем отец поместьика. Его жена тяжко болела уже второй год, угасая день ото дня. Сплетни, крылышиками которым не подрежешь, летали по Бытни и щебетали на каждом заборе, что Габриэль Дастьых сошелся со швеей еще при жизни супруги. Но вот как-то после рождества та скончалась, а через три месяца вдовец женился на швее. Новый тесть перебрался из богадельни в дом, где на доброхотную помощь зятя жил и недавно умер его соперник. И в то время, как отец пропивал и проигрывал в карты каждый крейцер, который ему удавалось выклянчить у дочери или выручить за что-то украденное в хозяйстве, новая помещица благодаря своей красоте полностью подчинила себе стареющего Габриэля Дастьиха. Венцом ее усилий было то, что она заставила его послать сына от первого брака учиться, а поместье завещать их общему сыну Йозефу.

Это, конечно, только примитивный набросок истории, но на оттенки и тонкие нюансы у нас нет времени. Эмануэль Квис, однако, воспринимает ее во всем размахе и необычности. Разве это не раскрывает ему и судью, его пренебрежение карьерой, и смысл его ожидания в Бытни?

Йозеф Дастьих понижает голос до сиплого шепота.

— Все против меня,— сообщает он.— Все, весь город, и прежде всего — он. Все надеются, что я не сумею управлять поместьем и разорюсь. Или начну пить и играть и спущу все, как мой дед.

— Чушь,— говорит Квис.— Вы же хозяин, какого не сыщешь во всей Бытни. Вам должно удаваться все, за что бы вы ни взялись.

— Вы так считаете? — отзыается помещик страшно.— Я же имею на это право: Каждый из нас получил свое.

— Право — вещь сложная и загадочная,— отвечает Квис.— Разве вам недостаточно просто держать и не выпускать?

— Но право,— бормочет помещик,— право, это же очень важно.

— Может быть, это как раз и есть то самое право, из-за которого судились ваши деды.

— Но мой дед выиграл.

— Может быть, его это не удовлетворило. Спор-то он выиграл, но проиграл все состояние в карты. Может, он хотел доказать миру, что способен на большее. Держать в руках поместье, играть в карты и выигрывать. Одной жизни никогда не хватает на все,— я думаю, так надо смотреть на это.

— Одной жизни не хватает на все? — повторяет помещик ошеломленно и смотрит прямо перед собой остановившимся взглядом, не видя ни Эмануэля Квиса, ни сада, в котором под тенью деревьев, поглощающих солнечный свет уже только верхушками, веселье становится все более шумным.

— А как вы думаете, почему ваш брат остался в Бытни, хотя давно мог бы сидеть по меньшей мере в Худейовичах? Кто вас стережет его глазами?

Воздух под деревьями все больше насыщается синевой, так что контуры предметов и людей в этот предсумеречный час становятся агрессивно резкими. Но для помещика все это — бездонный серый туман, он клубится и вздымается.

— Тот дед?

— А кто же еще?

— Ну, а мой?

— Бывает у вас иной раз искушение начать игру в карты и пить?

— Еще бы. Но я умею это побеждать.

Квис слегка пожимает плечами и быстро осматривается. Если еще несколько минут назад люди толкали друг друга — смотрите-ка, рыбак рыбака видит издалека,— то теперь все давно позабыли о них, занятые своими развлечениями и весельем. Квис наклоняется над столом, чтобы быть поближе к собеседнику, и шепчет свистящим шепотом:

— Вот и прекрасно. Вы умеете побеждать. Но ведь вы вовсе не игрок, вы — хозяин. Неужели вы не понимаете, что мешаете тому другому, старику, завершить победу, на которую ему не хватило собственной жизни?

Серый, колышущийся туман перед глазами помещика разрывается, и в разрыв светит огромное, ослепительное солнце, но оно не страшное, наоборот, веселое, словно кто-то тебе подставил этакий пышненький задик. У собравшихся в саду мороз прошел по коже. Господи, что это? Спокойствие, уважаемые, это смеется Пепек Дастьых. Иисусе Христе, ну и смех. Он что, рехнулся?

Эмануэль Квис сжимается и скисает. Смех Дастьыха звучит у него внутри, словно проник в него не через слух, а взорвался где-то в самом центре мозга. Страшно. Кто бы поверил в такое? Если это продлится еще миг, он сам начнет смеяться, и тогда ему конец, конец всем его бессмертным шуткам, для которых он еще только подготавливает почву. Усилием, которое может быть рождено только отчаянием, он собирается с духом, поднимает под столом ногу и изо всех сил пинает помещика по косточке на щиколотке. Йозеф Дастьых вскрикивает, прервав новый приступ смеха, съеживается и, вытаращив глаза, замолкает.

— Тише! Они подумают, что вы сошли с ума.

Йозефа Дастьыха пробирает дрожь.

— Нет, нет, только не это!

— Конечно, нет, но вы не должны привлекать к себе внимание именно тогда, когда все поняли.

Помещик заговорщически поглядывает из-под широких полей шляпы.

— Думаете, кто-нибудь заметил?

— Теперь это не суть важно. Вы посмеялись и вовремя перестали. И дело с концом.

Помещик, сжав кулаки, наклоняется через стол.

— Я не могу с этим тянуть. Мне необходимо начать как можно скорей. Сейчас! Я потерял слишком много времени, потому что не понимал. И не будь вас, кто знает, чем бы все это кончилось.

Эмануэль Квис сжимает набалдашник своей прогулочной трости, чтобы как-то разрядить напряжение, которое подобно напряжению химика, греющего реторту над пламенем горелки Бенсена. Пойдет реакция или тонкое стекло лопнет, залив все едкой щелочью? Не просто быть, а жить напряженной жизнью. Не стоять — приводить в движение дела, события и людей. Не просто перевоплотиться в Йозефа Дастьыха или кого-нибудь другого, но

завладеть его жизнью, сорвать ее, как яблоко, которое скнило бы незамеченым, и насытиться его соками, блуждать и браконьерствовать в садах чужих сердец, потому что в тебе самом никогда не родилось даже зеленого дичка, даже самой мелкой страстишки. Чувствуешь, как это наполняет и ширится в тебе, захватывает почти всего, остается только слабенькая, тоненькая стеклянная перегородка, отделяющая то, что в тебя влилось, от тебя самого, словно ты уже не более чем сама жажда, чем вместилище, способное заключить в себе все, чувствуешь, как мало нужно, чтобы перегородка лопнула и тебя поглотило то, что ты хотел поглотить сам. Жаль, что не можешь ни на пядь дальше, не можешь сам воплотить ту судьбу, которую предопределил, не можешь мчать вместе с тем, что привел в движенье. Быть игроком, который первый раз поставит деньги на кон, быть пьяницей, который впервые опрокинет стопку, быть мужчиной, который впервые после бесконечно долгого воздержания положит руку на девичью грудь, быть кем угодно, в ком лопнул обруч, сдерживающий подавляемую и отрицаемую страсть. К чему мараться жизнью, если тебе довольно ее отражения, зачем быть криком, если эхо длится на несколько прекрасных мгновений дольше, чем сам крик?

Возле стола слоняется Нейтек, поглядывая, кому бы чего подать. У него тяжелая, неуверенная походка пьяницы, который близок к полному опьянению, но уже давно привык находиться в этом состоянии. Помещик протягивает руку и ловит его за локоть.

— Эй,— говорит он,— принесите мне коньяк.

В тишину, которая неожиданно пронеслась среди оживленного общества, хриплый голос Дастыха врезался и явственно прозвучал вплоть до дальних углов. Судья задержал руку и, не донеся карту до стола, взглянул на сводного брата, а так как солнце зашло и стекла очков не блестели, глаза его были видны. Люди, сидевшие за несколькими столами, оглянулись, а пани Дастыхова побледнела.

— Боже,— выдохнула она и сделала движение, будто хотела встать.

Мадемуазель Элеонора отрицательным жестом подняла руку и твердо сказала:

— Сиди!

Пани Дастыхова, словно поняв тщетность этого порыва, откидывается и замирает в глубоком кресле возле пани Катержини.

— Хорошо, Лени. Но ты же знаешь, что сказали врачи. Элеонора выпячивает нижнюю губу и отвечает:

— Конечно, но я знаю также, что в твоих силах, а что нет.

Нейтек замер на месте, там, где его остановил помешник. Неподалеку проходит его падчерица с подносом, доверху заставленным пустой посудой и рюмками, и его глаза в эту минуту не видят ничего, кроме нее. Может, он боится, что девушка споткнется и разбьет хрупкую ишу? В черном платье, в которое ее нарядили ради сегодняшнего праздника, она очень хороша, и ее привлекательность теперь заметили даже те, кто до сих пор не обращал на нее внимания. Взгляды скользят по ней, она идет среди них, как среди чертополохов, она не отвечает на них, она бы рада сжаться в комок, ей кажется, что она голая, что она у позорного столба, и от этого бедная девушка усерднее бегает и не хочет думать ни о чем, кроме обязанностей, которые на нее возложены.

— Ты на что это пялишься? — вышел из себя помешик и качнул локоть Нейтекса, как кол в заборе.— Сказано тебе — конъяк. Два конъяка.

Эмануэль Квис, от глаз которого ничему не укрыться, чувствует, как вздрогивает Нейтек, и в нем закипает злоба. На каком облаке парил ты, городской нищий, на какой дьявольской метле гарцевал, продавшийся темным желаньям? Квис задрожал вновь вспыхнувшей страстью, как охотничий пес, взявший свежий след. Что это было с Нейтеком, что с ним творилось? Но прежде, чем внутреннее зеркало Квиса могло запечатлеть только возникающий и еще туманно колышущийся образ, этот дурень Дастьх разбил его своим нетерпеливым вмешательством. На краткий миг лицо Квиса исказила злоба, которая совсем не была отражением гнева Нейтекса. Подручный буфетчика в это время освободил свою руку от пальцев помешика и задиристо вскинул подбородок.

— Слыши, не глухой.

На счастье, снова грянула музыка и говор разлетелся, как вспугнутая стая птиц, так что только с ближайших столиков могли услышать, как это отребье из богадельни чуть ли не подняло голос на помешника. Два электрических заряда, родившиеся из разных источников, миновали друг друга, чиркнули, готовые вспыхнуть ярким бенгальским огнем. Но это никак не устраивает Эмануэля Квиса.

— Ваша дочь, Нейтек,— вмешивается он раньше, чем раздраженный и растерявшийся помешик успеет решить-

ся на что-либо,— прекрасная девица. Вероятно, она могла бы принести нам коньяк, если вас это затрудняет.

Нейтек вытаращивает свои налитые кровью глаза, словно его ударили под дых. У него что-то заклокотало в горле, и он, стремительно отвернувшись, пошел тяжелым шагом пьяницы, уже научившегося балансировать на канате своего опьянения. В коридоре возле кухни он встретил Божку, свою падчерицу, которая остановилась перед ним, вся дрожа, с потупленными глазами. Нейтек прислонился спиной к стене и вцепился пальцами в штукатурку.

— Иди,— проговорил он с такой натугой, будто его душат,— отнеси два коньяка Пепеку Дастьху и этому, как его, Квису.

Девушка ушла, а он все стоял, царапая за спиной штукатурку, до крови раздирая кончики пальцев и глядя на пустую стену перед собой, словно на ней запечатлелся пылающий образ Божки. Так робко, как птичка, что сидет на карнизе, испугается чего-то за окном и упорхнет раньше, чем успеешь опомниться, так робко поставила Божка поднос с двумя рюмками перед помещиком и Квисом и исчезла за деревьями и столами. Йозеф Дастьх скорее всего ее и не заметил, его глаза прикованы к всколыхнувшейся огненной жидкости в двух рюмках на длинных тонких ножках. Он не может сдержать бурного нетерпенья, хватает рюмку толстыми, огрубевшими от работы пальцами, тоненькая ножка хрустнула, и сшибленная рюмка падает на стол в золотую лужицу коньяка. Помещик оцепенел, уставил неподвижно на свою руку, потом брезгливым движением стряхивает с ладони то, что осталось от рюмки. Его пробирает дрожь, так, что зубы стучат.

— Нельзя,— бормочет он,— нельзя. Это знамение.

Эмануэль Квис развелся. Он прекрасно понимает, что происходит с помещиком. Еще мгновение — и тот встанет и, если ему дать волю, пустится отсюда бежать. Страх, как сильная кислотная ванна, разъедает в нем решимость. Квис наклоняется через стол, хватает вторую рюмку и подает ее помещику.

— Чепуха. Просто вы слегка поторопились.— И, увидев, что Дастьх отклоняется и откидывается на спинку стула, вытаращивает глаза и рявкает:— Пейте! Или я буду считать вас сумасшедшим.

— Нет, нет,— захныкал помещик и протянул руку к рюмке. Взял ее с бесконечной осторожностью, медленно поднес к губам, но едва стекло коснулось его губ, он опрокинул рюмку одним духом.

В этот миг кто-то в доме повернул выключатель, и все лампионы в саду вспыхнули. Цветные бумажные фонарики, разрисованные цветами и птицами, льют золотистый свет, и разбитый вдребезги сумрак, который как злодей полз от стола к столу, отлетает за верхушки деревьев. Этот свет для всех присутствующих — будто живительный глоток, его приветствуют криками, смехом, аплодисментами. Для Йозефа Дастиха этот момент совпал с глотком коньяка, пробежавшим огнем по его жилам. Помещик сидит оцепенело, как человек, выпивший яд, и ждет, что с ним будет. Но едва тепло разлилось по желудку, оно перекинулось в кровь, раздробилось и капельками жара устремилось под кожу и закончило свой путь мурашками в кончиках пальцев.

Помещик тяжело поднялся,— нет, он не пьян, этого не может быть, просто он поддался впечатлению; в нем словно прорвалась какая-то плотина, прибой гонит и несет его за собой. Стул свалился на траву, он этого не заметил и, шагнув к соседнему столу, взял за плечо мясника Малека.

— Ну-ка,— сказал помещик,— пусти меня играть.

Мясник обернулся. Он добряк, но сегодня уже поднабрался, и карта ему не идет. Только что он спустил сотню. Мясник прищурился и сказал:

— А, Пепек! Так, приятель, негоже, подошел и «пусти меня!».

Помещик с трудом собирается с мыслями, он не ожидал, что будут препятствия, ему необходимо просто сесть за стол, взять карты, которые ему выпадут, и начать игру. Он видит карты в руках Карличка Никла, профессионального игрока, и все те часы, когда он разжигал свою страсть к игре только затем, чтобы доказать, что он может ей сопротивляться, вспыхнули в нем, горят и жгут так, что он совершил нечто немыслимое, если ему не позволят сесть за игру.

— Пусти меня,— повторяет он негнущимся языком,— а завтра придешь за телкой.

Эту племенную телку мясник выманивал у него уже несколько недель, но до сих пор жене помещика всякий раз удавалось ее сохранить. Малек, который хочет заполучить телку не на мясо, а для собственного завода, расплывается и становится сама любезность...

— Вот сказал так сказал! Садись, Йозеф, а я посмотрю.

Но тут наш Карличек Никл вдруг вспоминает о профессиональных предрассудках.

— Я не привык играть с чужими,— начал было он, но хозяин трактира «Под ратушей» пнул его по ноге. Игрок скривился, боль прервала ему речь, он стиснул зубы и принял это предостережение без дальнейших комментариев. Помещик не обратил внимания на этот маленький спектакль, он уселся на стул, освобожденный мясником, вынул из нагрудного кармана и положил перед собой на стол набитый бумажник. Трактирщики молча, без улыбки переглянулись, а Карличек Никл опустил глаза, будто не видел ничего, кроме карт, которые начал тасовать.

— Черт возьми, ты берешься за дело всерьез,— ахнул мясник, но помещик только ткнул пальцем в колоду карт, которую картечник протянул ему, предлагая снять.

За соседним столиком судья Дастьх встал и раскланялся со своими партнерами. Он вспомнил, что у него неотложная работа, поэтому просит прощения у господ за то, что разбивает партию, но они, безусловно, легко найдут замену. Судья направился поблагодарить хозяйку и одно пожелать доброй ночи своей невестке и сестре. Прочитав смятение в глазах пани Анны, поклонился ей со старомодной учтивостью, поцеловал руку и сказал:

— Вы сегодня прекрасно выглядите, Анна.

Судья не отвел глаз даже под пристальным взглядом мадемуазель Элеоноры и только чуть заметно пожал плечами. Он не понимает, почему он должен быть ответственным за что-то, что будет происходить в доме, откуда он был в свое время изгнан. Не знает также, почему он должен потакать женским страхам, когда ничего особенного не происходит. Он сам играл в карты целый день и тоже выпил три или четыре рюмки коньяку, и никого это не удивило. Лени надо отучаться от неприятной привычки смотреть на людей так, словно она хочет обыскать потаенные карманы их совести. Судья уходит, и все, кто случайно это заметил, говорят:

— Посмотрите-ка, судья отправился домой. С чего бы это?

Ведь все знают, что он всегда уходил одним из последних, хотя по нему никогда не было заметно, чтобы он особенно развлекался. И общее мнение было таково, что он — молодчина, кремень, человек, достойный своего звания, но избави бог стоять перед ним, если дело твое не бесспорно.

У выхода из сада судья встречает Квиса. Тот забыл где-то свою крылатку и стоит в расстегнутом сюртуке, открываящий пикейный жилет. Под гроздью фонариков,

украшающих вход со двора в сад, он кажется еще тщедушнее, чем обычно, и выглядит озабоченным и сморщенным, как выжатый и брошенный плод. Тем не менее он приветствует судью широким взмахом шляпы. Филипп Дастых кивает в ответ и пытается пройти мимо без дальних слов, но у него это почему-то не получается.

— Веселенькое местечко,— говорит он раньше, чем успевает подумать, что лучше молчать.

— Не для каждого. Вас, как вижу, оно не удержало.

— Обязанности...

Эмануэль Квис кивает.

— Хотелось бы и мне их иметь. Меня они никогда не обременяли, а без них жизнь пуста. Однако могу представить, как подчас бывает тяжело их бремя.

— Мне это не мешает. Я ведь человек одинокий.

— Как же, как же, у одиноких людей бывают одинокие мечтания.

Судья минутку молчит и задумчиво смотрит на своего собеседника. Он не может избавиться от впечатления, что разговор, начавшийся столь невинно, выходит из-под его контроля и переходит на что-то, о чем он не хотел бы слышать. Уж не лучше ли прервать его и проститься, думает он, но в конце концов говорит:

— Не знаю, что вы хотите этим сказать.

— Одинокие люди придумывают жизнь, не принимая во внимание того, что она идет своим чередом. Но иной раз случается, что воображаемое перекреивается с действительным. И что же? Это их пугает, они пытаются делать вид, будто ничего не случилось, стараются закрыть на это глаза. Придумывание чего-то, что могло бы случиться, приносит облегчение, но зрелище этого, как это воплощается в жизнь, вызывает ужас.

— Любопытно, хотя и довольно странно,— отвечает судья ослабившись.— Сожалею, но должен уйти. Доброй ночи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ ПРОГУЛКА БУРГОМИСТРА

В понедельник, через неделю после празднества в саду у бургомистра, которое закончилось без особых происшествий, если не считать нескольких заминок, которые по сию пору обсуждались в парикмахерских, лавках, тракти-

рах, в часы утренних покупок на зеленом рынке,— итак, в понедельник, через неделю, пани Катержина Нольчова отправилась в Худейовице в свой обычный ежемесячный вояж за покупками. Бургомистр, сопровождавший ее только в исключительных случаях, на этот раз остался дома.

Посещение магазинов его раздражало, а пани Катержине доставляло большое удовольствие самой делать выгодные покупки. Она отнюдь не была ни скучой, ни экономной, ей не было свойственно убогое скряжничество горожанок, но присуща та чисто женская страсть, которая находит удовлетворение, открывая источники подешевле.

А ее супругу одному не сидится дома. Утренние часы прошли быстро: час он колол дрова, принял душ, позавтракал и отправился в ратушу. Просмотрел вместе с секретарем решения муниципального совета, принятые на последнем заседании, и дела, которые назначены на рассмотрение будущего заседания, прочел и подписал все, что дал ему на подпись секретарь, поговорил с ним о подготовке к строительству нового помещения для общинной молотилки и выслушал новости с так называемой «сахарной биржи». Секретарь страдает диабетом и не пропустит случая после визита к врачу ознакомить своего патрона с увеличением или уменьшением процента сахара и сделать обзор экономической ситуации, которая этому способствовала, то есть сообщить, как он соблюдал диету в последнюю неделю, точнее, какие отступления от нее он допустил. Наверное, чтобы освежить себе голову, слегка затуманенную этим разговором, бургомистр позвал Тлахача, но неумолимый полдень поднялся на башню ратуши, выбрал из ее часов все, что они накопили, и богатырским жестом бросил на брускатку площади двенадцать сребренников. Испуганно пробудился колокол кафедрального собора, и не успел он замолкнуть, как к нему присоединился серебряный голосьок старой часовни святого Вацлава, скрытой под кронами столетних лип на третьей площади Бытии возле школы. Скорее всего, что и желудок Тлахача, необычайно чувствительный ко всем сигналам, означающим время трапезы, властно отозвался на них. Делать нечего, бургомистр вынужден был взять шляпу и идти домой, встречая на пути служанок, учеников и подростков, спешащих с кружками и кувшинами пива по домам через затихающую площадь, откуда, приблизительно на час, уйдет вся жизнь, предоставив слово солнцу и фонтану, чтобы они на покое завели свой, непонятный людям разговор.

Бургомистр приказал подать ему обед в саду, он не мог есть один в огромной пустой столовой. Он любит старый мохновский дом, но, если нет жены, все в нем его гнетет, стены перестают казаться оплотом безопасности и говорят ему: «Чужак!» Он пообедал в беседке, где ему прислуживала племянница Тлахача Маржа, всегда немногого испуганная в его присутствии. Наконец он остался один с зажженной сигаретой и чашечкой черного кофе и, ощущая сытость и ленивую удовлетворенность, сонно поглядывал, как подымается коричневатый парок над чашечкой и синеватая струйка дыма, тянувшаяся от сигареты.

Августовский ветерок дует от живиья, из раскачавшихся и разговорившихся крон деревьев вылетают, словно большие пчелы, пожелтевшие листья, до времени утратившие соки, и, кружась, опускаются на землю. Наверное, листья, поблекшие и опадающие в то время, когда миллионы их братьев еще полны сил настолько, что могут выдержать бурю, напоминают бургомистру его мертворожденного сына, живущего и взрослеющего в воображении его жены. И, как всегда, его охватывает грусть оттого, что он не способен проникнуть в ее мир. Почему они такие разные? Она, худенькая и легонькая, как пушинка, этакая принцесса Одуванчик, несет в себе силу жизни, не признающую смерти и побеждающую ее в самом чистом, хотя и воображаемом виде. Что, по сравнению с ней, несет в себе он, несмотря на свою бычью силу?

Почему, черт возьми, люди вообще так цепляются за жизнь? Взять хотя бы его секретаря. Зовется Пищик, а на вид еще щедущее, чем само это имя. Вся его жизнь — это бумаги и диеты, и все равно он ухаживает за собой с такой заботливостью, какую уделяют только новорожденному. Руки у него вечно потные, задыхается, если скажет больше трех фраз. Но страшнее всего его кадык. Говорит Пищик или молчит, кадык прыгает вверх-вниз, туда-сюда, угловатый, выпирающий из-под тонкой кожи горла. Прижать его большим пальцем — и он остановится. Все «за» и «против» уже давно и неоднократно продуманы, бургомистр разработал даже план, и не один, десятки планов, каждый отшлифованный, как бриллиант, но все это, конечно, просто забава скучающего богача. Он достаточно умен, чтобы понимать это и иронизировать над собой, но удержаться не может. Это немного по-детски и недостойно разумного человека, но ни один бездельник, говорит себе бургомистр, не может постоянно размышлять

только о порядочном и приличном. Для каждого, кто не привязан к жизни со всей страстью, постепенно все вещи утрачивают подлинное лицо, а чувства — границы. Делай дело, чтобы в очищающей купели труда омыть свои мысли и придать им новый смысл. Но это всегда так. Ты либо должен любить труд ради него самого, либо верить в него, либо он должен быть для тебя средством не умереть с голоду. Мне очень жаль, благородные дамы и господа, — бургомистр пожимает плечами перед воображаемыми слушателями, — но ни один из сих случаев ко мне применить нельзя.

Во втором часу явилась Маржа спросить, не надо ли чего, но находит беседку пустой. Она оглядывается вокруг с несколько глуповатым видом, потому что знает, что бургомистр домой не возвращался и через дом не проходил. Наверное, вышел в садовую калитку. Остались только чашка из-под кофе и загашенный в ней окурок сигареты. Маржа брезгливо выкидывает окурок, напитавшийся кофе, и складывает скатерть. Где-то по соседству играют на фортепиано: наверное, это Еник Гаразим пользуется полуценной свободой, а стариков унесли черти. Маржа готова побиться об заклад, что это так. Интересно, слушает ли его Лида Дастыхова? Он, конечно, играет для нее. Господи, вот бы потанцевать, и Маржа, уловив ритм фокстрота и сжимая в объятиях вместо партнера сложенную скатерть, хлопая туфлями, надетыми на босу ногу, топчется по половицам в свободном углу беседки.

В волны мелодии, как брошенный камень, врезается резкий женский голос:

— Еник!

Но волны проглатывают удар и беззаботно текут дальше. Голос поднимается на пол-октавы и взвизгивает, как взмах секиры:

— Еник!

Маржа перестала танцевать и прислушалась.

«Вот змеюка, — думает она о матери Еника. — Послушается он ее или нет?»

Волны еще несколько раз плеснули, потом разбежались и разбились в бешеном беге гаммы, и все затихло. Женский голос, уже победно удовлетворенный, звучит снова:

— В лавку! Два часа.

Крышка пианино с шумом захлопнулась, и Маржа вздохнула. Конец. А она бы, дай ей волю, протанцевала и подметки, и жизнь.

— Пф-пф,— слышит она за спиной и от испуга едва не роняет чашку. Девушка стремительно оборачивается, перед ней стоит старик Балхан, прозванный Кукушкой, этот сумасшедший бродяга, который благодаря Лиде нашел приют в усадьбе Дастьхов. В пиджаке с чужого плеча, он напоминает уродливого жука, щерится, моргает, в одном уголке губ висит прокуренная трубка, другим он попыхивает:— Пф-пф.

— Тыфу, тыфу, тыфу,— трижды сплевывает Маржа, чтобы от испуга у нее не выскоцила лихорадка, и вытирает фартуком уголки губ.— Вот напугали! И откуда только вы тут взялись?

— Это булгомистл,— шепелявит старик.

Ну конечно, он. Пустил его через калитку в задней стене. Идите, дедушка, пусть вам дадут поесть на кухне, а потом выпустят с той стороны дома.

От бургомистра всегда можно ждать чего-нибудь такого. Выскочил с задней стороны сада, никому ни слова. Вышел на Тржную, где гуси проводят сиесту в тени деревьев над ручьем, сидят рядком, как каравай из алебастра, спрятав головы под крыло или стоя на одной ноге. На Тржной тишина, только бродят смешанные запахи; теплый, густой дух влажной травы, постоянно оципываемой гусями, душный аромат вянущего липового цвета и умирающей листвы.

— Ку-ку, ку-ку!

Там, где Костельная улица пересекает Тржную, звонкие детские голоса выкрикивают песенку бездомной птицы. Кучка ребятишек гонит от угла старика Балхана, скачет вокруг него, вопит от восторга и кукует. Некоторые, чтобы получалось громче, прикладывают к губам сложенные лодочками ладони. А старик заткнул уши и бежит, стараясь спастись от мучителей, путается в своем слишком длинном пиджаке, тщетно соревнуясь с быстрой детских ног. Бургомистр пошел ему навстречу. Мальчишки, завидев его, перестали кричать и пустились наутек через ручей. Старик еще не заметил, что он свободен. Бежит дальше, опустив голову и заткнув пальцами уши, словно баран, мчащийся от оводов, и голова его нацелена прямо на желудок бургомистра. Бургомистр ловит его и слегка встряхивает, чтобы привести в чувство.

— Ну, ну, дедушка,— говорит он тихо,— зачем так спешить?

Старик взглянул на него и заморгал глазами. Потом понемногу высунул голову из воротника, как черепаха,

и опасливо отнимает руки от ушей. Крика не слыхать. Оглядывается — опасность исчезла. Минуту, кажется, не может в это поверить и вертит головой из стороны в сторону, так что его прогоревшая трубочка, с которой он не расстается даже в моменты наибольшего ужаса и самого отчаянного бегства, превращается в маятник под его старческим подбородком.

— Их нет?

— Убежали, — подтверждает бургомистр.

Избавившись от страха, Балхан вдруг весь закипает душающим старческим гневом. Воздух так и свистит у него в легких, как ветер в дырявом водостоке, и трубка едва не выпадает изо рта. Поймав ее в последний момент, он крутит ею возле свежайшей, кремовато-белой рубашки бургомистра. Тот чуть отступает, в то время как старик хрипит:

— Посади их в тюльму, запли их!

Рудольф Нольч поднимает руку и теребит бороду большим и указательным пальцами так, что наэлектризованные волосы потрескивают. Не то чтобы он был взъярен или растроган, просто пальцам захотелось потешиться в гуще волос. Он кладет руки на плечи Балхана и подталкивает его к калитке в стене. От деда несет конюшней и куревом, но запах этот не противен для чувствительного носа бургомистра.

— Запру, дедушка, так запру, что своих не узнают. Только понимаешь, мальчишки — они как ветер, их нигде долго не удержишь.

Он отпирает калитку в сад и вталкивает старика, который успокоился от прикосновения его руки и стал послушен, как дитя. Прежде чем захлопнуть за ним калитку, бургомистр нашаривает в кармане и вытаскивает массивный свиной кожи с золотой оправой портсигар, из которого угощает на заседаниях муниципалитета. Вынимает сигару, светло-коричневую, украшенную красным бумажным перстнем, толстую как палец индийского магараджи, и сует ее старику в ладонь.

Как только калитка за стариком захлопнулась, бургомистр снова начинает теребить бороду, чтобы обрести равновесие. Он не любит беспорядка в своей душе, и ничто ему так не противно, как подобные приливы чувствительности, которые заставляют совершать нелепые поступки. Он уже отошел на несколько шагов, а ему все кажется, что стариk плется рядом и от него несет конюшней, куревом и отчаянной беспомощностью впавшего в детство поме-

шанного старика. Вот уже тридцать лет, как дети кукуют, изводя Балхана, может, даже и сам бургомистр занимался этим в детстве, когда ему удавалось сбежать с мальчишками. Говорят, когда-то, во времена, которых бургомистр не может помнить, Балхан был самостоятельным ремесленником, мастерил деревянные башмаки и где-то здесь, на Костельной улице, у него была мастерская. В те времена деревянные башмаки носили даже зимой, набивая их соломой, и дела у него шли неплохо, но мастерская была полуподвальная, и единственное окошко, которое ее освещало и возле которого Балхан обжигал и высекал свои изделия, было на уровне тротуара. Видимо, это окно и стало для него роковым. То, что он жил в своей норе так одиноко и видел целыми днями не людей, а только их ноги, мелькавшие мимо окна, заставляло его время от времени вылезать и доказывать себе самому и всему свету, что он не хуже других. Однако он не находил другого способа, нежели где-нибудь в трактире угостить всех за свой счет, учинить склоку, разбить что-нибудь, а потом покорно возвратиться к своей работе. После таких заголовов он нередко оказывался перед судьей, который раз на пятый или шестой сказал, что пора положить предел его стремлению к разгульной жизни, и отправил его на три дня в городскую кутузку. И вот этого-то мудрого и справедливого решения судьи и этих трех дней, трех ничтожных лужиц времени, тысячи которых можно перейти и не вспоминать потом о них, оказалось достаточно, чтобы погубить человека.

Вытащенный из своей норы и засунутый в другую, Балхан с рассвета до ночи простоял на нарах, выглядывая в окно, которое, на его несчастье, выходило на улицу. Бог знает, что ему пришло в голову, может, захотелось посмеяться над людьми и показать, что ему все напочем, но он начал куковать, дразня каждого проходящего. Крикнет «ку-ку!» и спрячется, чтоб через минуту осторожно выглянуть и продолжить игру до омерзения. На другой же день под его окном начала стайками проходить молодежь и куковать ему в отместку, и хотя судья на последние сутки перевел его в камеру, выходящую во двор, Балхан уже превратился в кукушку, и судьба его была решена. По дороге домой он еще куковал в ответ на «ку-ку», которым его встречали, думая, что это веселая шутка, и считая, что он сыскал расположение всего города. Последующие дни показали, что он накликал на себя беду. Он начал злиться и отругиваться, но было поздно. Этим он только поддержи-

вал всеобщее веселье и усиливал травлю. Дети толпами прибегали куковать к его подвальной мастерской, «куку» раздавалось за его спиной, как только он выходил из дома. Не прошло и месяца, как он был сломлен. Сбежал из города, но через некоторое время был возвращен по месту жительства тихим помешанным, на весь остаток жизни став посмешищем города.

Ну, посмотрим, думает бургомистр, есть ли что-то поучительное в истории такой сокрушительно глупой, что захватывает дух? Может, только то, что не следует слишком стремиться во что бы то ни стало вылезти из норы, в которую жизнь ухитрилась нас запихнуть? Бургомистр пришел в такое расположение духа, при котором ему лучше всего было бы быть невидимым, хотя бы на то время, пока он не очутится за городом. Правда, в этот час на Костельной улице почти никого не встретишь, но все-таки каждый прохожий здоровается с ним со всей почтительностью и любезностью, потому что это ведь молодец бургомистр, который стоит того, чтобы человек выказал ему свое уважение. Бургомистр не желает покупать ничью дружбу и признание, но отвечает всем сердечно и с неизменной приветливостью: никому нет дела, какие мысли роятся в его голове, им нужен бургомистр, которым они могли бы гордиться, так пусть он у них будет.

Бургомистр доходит до места, где Костельная улица разбегается на несколько дорожек, тропинок, огибающих домик Квиса, богадельню, приходский дом и костел. В домике Квиса окна закрыты, а вдоль дорожки, выложенной белым кирпичом от калитки к дверям, тянутся цветочные гряды, ухоженные так же заботливо, как и во времена его прежней владелицы. Перед богадельней, унылой и обшарпанной, в лучах полуденного солнца носится стайка чумазых оборванных детей и две женщины, стоящие по сторонам большого корыта, стирают белье. Это жена Нейтека с дочерью, пользуясь погожим днем, выбрались со своей работой на улицу; они подрабатывают стиркой. Привалившись к стене дома, сидит Нейтек, в руках у него, как всегда, складной ножик и кусок дерева, но он ничего не делает, только смотрит перед собой остекленевшими глазами. Бургомистр поздоровался и услышал ответ хором. Нейтек очнулся и встал. Отложил дерево и нож и приподнял шапку. Но бургомистр помахал ему рукой:

— Не беспокойтесь, Нейтек. Мне ничего не нужно. Я просто прохожу мимо.

Он торопится поскорее пройти между костелом и приходским домом дальше, мимо кладбищенской стены и сада священника. Черт дернул меня пойти именно здесь, чтобы все это кололо мне глаза, думает он. Но теперь этому недолго здесь торчать, если господа советники решат принять дар неизвестного земляка из Стокгольма. Бургомистр усмехнулся. Этот стокгольмский земляк — удачная шутка, ничего не скажешь. Он поднимает руку и срывает листок с ветки бузины, нависшей над оградой приходского сада. Никто в Бытни не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь уроженец их города уехал в Стокгольм и тем более настолько разбогател там, чтобы мог пожертвовать общине новую богадельню, с проектом здания, присовокупленным к дару. Ко всему прочему, дар этот поступил от пражского адвоката и имя дарителя сохраняется в тайне. Все это было подозрительно, а главное, эти обидные подробности о нынешней богадельне, на которые не поскупился в своей приписке даритель, так что муниципалитет был в сомнении, не следует ли вообще отвергнуть этот дар. Может быть, многие деликатные души в Бытни задавались вопросом, почему бургомистр при своем богатстве уже давно не ликвидировал это позорище города, но ему ничто не было так противно, как любая демонстративность. Кто знал, что он возит на почтамт в самые Худейовице все пожертвования, присылаемые ему разными благотворительными обществами. Наверное, этого не знала даже пани Катержина. Дар неизвестного земляка разом решал многие проблемы, но бургомистр был как раз в числе тех, кто раздумывал, не отвергнуть ли его. На свете всегда найдется какая-нибудь забава. Жаль, что обычно источником ее является человеческая глупость.

Бургомистр шагает по шоссе под сенью рябин, гроздья которых уже наливаются искрящимся пурпуром, в сторону так называемых «Лесочков». Они растянулись на довольно большой площади и состоят из редких групп старых, высоких сосен, густого кустарника, еще более густого молодняка и поросли, скрытой в розовых, вечно колышущихся травах, да вырубок, заросших вперемежку вереском, брусничником и черникой.

Лесочки начинаются на песчанике, но очень скоро вступают в борьбу с торфяным болотом. По другую сторону Бытни их стискивают с двух сторон два пруда — Стельный и Калиште — и пресекают их продвижение. Пруды невелики, но вокруг них широко раскинулись болота с трясинами, среди которых отваживается растительность что

одинокая береза или ольха и где на ядовито-зеленом фоне то тут, то там чернеют сложенные груды торфа, напоминающие удаленные друг от друга могилы. Ей-богу, это больше всего похоже на кладбище, куда неохота попасть даже покойникам; утки и чайки, перелетающие с одной водной поверхности на другую, причитают на ней поглавьи, а серая цапля, которая нет-нет да вынырнет из тростников Калиште и зашагает по краю, с таким же основанием может быть просто призраком этих мест или их стражем.

А сами Лесочки — веселенькие. Солнце в них проникает со всех сторон, и ветер по ним гуляет, как хочет. Кроны высоких сосен всегда беспокойны, воронья и беличьи гнезда на них постоянно раскачиваются. Поросшие травой дорожки переплетаются и исчезают на вырубках и в порослях молодняка. Местами поблескивают глубокие, никогда не высыхающие лужи. Их теплая вода дает приют лягушкам-бродягам, отправившимся в путешествие по свету, правда, по большей части всего лишь из Калиште в Стельный и обратно. В Лесочках чередуются пересохшие прогалины с мочажинами, чавкающими при каждом шаге под сухим на вид слоем хвои.

Бывают дни, когда Лесочки, плодовитые и щедрые, звенят людскими голосами с рассвета до сумерек, здесь встретишь грибников и женщин, собирающих землянику или бруснику, но бывают дни, когда все о них словно забывают, когда, тихие и брошенные всеми, они стоят в объятиях солнца, и только порой, как судорога любви, по ним пробегает ветерок.

Сегодняшний день именно такой. После двух сухих недель грибы пропали, черника сошла, а брусника еще не поспела. Ходить в лес просто из любви к природе — на такое в будни едва ли кто соберется.

Бургомистр насвистывает, входя с шоссе в первый из Лесков, но через несколько шагов замолкает, почувствовав неуместность этого занятия и не обладая мальчишеской строптивостью и чувством противоречия. Он замедлил шаг и пошелтише по травянистой дорожке, более мягкой и податливой, чем ковры, которыми он приказал покрыть коридоры и лестницы в своем доме. Если он хотел отвлечься от своих мыслей и избавиться от их тяжести или перевести их из привычного русла, это ему удалось в полную меру уже по дороге сюда. Лесочки способны завершить и увенчать эту перемену, если бургомистр сумеет миновать их окраины, подступающие к Калиште и Стель-

ному, где и в самые ясные дни все дышит ужасом и безутешной тоской.

Бургомистр это понимает и поэтому направляется по тропинке в молодняк к вырубке, где невыкорчеванные пни были предоставлены времени и непогоде, где всегда колышущиеся фиолетовые и золотые метелки луговника скрывают от глаз крохотные сосенки, которые когда-нибудь станут лесом. Ветерок, просеянный сквозь хвою, непрестанно тянет слева и ласкает ему щеку и затылок — он прохладный, но в нем еще есть достаточно тепла, чтобы напоминать прикосновение здоровой, спокойной ладони. Бургомистр невольно останавливается и поворачивается к нему лицом. Давно он не ощущал такой радости от своего здоровья и силы, такого — ему боязно в этом признаться — удовлетворения тем, что он просто-напросто существует и ничего больше ему не надо. Лучше не вспоминать, — как давно, потому что это могло бы разбить очарование. В конце концов жизнь все-таки имеет какой-то смысл, если можно просто так, — ни с того, ни с сего, — ощутить такую нечаянную радость от нее самой.

Рудольф Нольч расправил плечи, расстегнул пиджак и выпятил грудь, прикрытую только тонким шелком рубашки, развел и согнул в локтях руки, так что мускулы тугого наполнили рукава. Видимо, есть еще для него какая-то надежда, только лучше не спрашивать, где и какая, а тихо и не проявляя нетерпения ждать. И будет лучше, если он сейчас не крикнет и не заорет, хотя он тут один и ему этого очень хочется. Он будет вести себя осмотрительно и незаметно, насколько это возможно, чтобы не спугнуть удивительную птицу, что слетела к нему сегодня. Может, она к нему привыкнет и будет прилетать чаще. А может, и сам бургомистр привыкнет к ней и многое увидит в ином свете, нежели до сих пор, от многого избавится, и, может быть, ему удастся проникнуть в мир Кати.

Над вырубкой звучит счастливый хорал насекомых, лето еще живо, и цветет вереск. Эта песня, слившаяся воедино, кажется, звучит в тебе самом, словно в тебе вибрирует туго натянутая струна, дрожащая от тысяч непрестанных ударов. Склони голову набок и прислушайся к ней. Это струна твоей собственной радости. Бургомистр прислушивается, потом удивленно поднимает голову и оглядывается вокруг. Что-то примешивается, какой-то диссонанс, так не вяжущийся с сегодняшним днем. Рудольф Нольч усмехается. Слишком ты занесся, дружи-

ще, но, как видишь, вернее, как слышишь, это уже не для тебя. Короче, тут кто-то храпит.

Следуя в направлении звука, он двинулся по тропинке дальше. Посадки, которые он минует, в правом углу вырубки смешиваются с более старшей порослью. И как раз в этом уголке есть место — несколько квадратных метров, покрытых пушистым ковром низенькой, мягкой травы, как ложе, расстеленное для каждого, кому захочется приклонить голову. Однако сумел же он выбрать прекрасное, тихое местечко для отдыха, этот человек, что тут храпит, облепленный и окруженный роем мух, как падаль. Посмотрите, в какую мерзость может превратить человека нищета. Похоже, он утратил последнюю опору под ногами, ему уже не за что ухватиться и не остается ничего другого, как пресмыкаться в пыли и грязи. Может, он встал на этот путь, чтобы доказать нам, что он на нас плюет, а в результате сам внушиает нам отвращение. Он утратил человеческий облик, а другого, который бы его куда-то определил, — не обрел. Но человек должен чему-то принадлежать. Это только мы порой думаем, что одиноки в толпе, а на самом деле не хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать связи, соединяющие нас с другими.

Голова сползла с сумки, которую он под нее сунул, храпит, выпятив горло и раскрыв рот, и от каждого всхрапа шевелятся пожелтевшие грязные усы. Не поймешь, сколько ему лет, мужчина он или старик. Лицо налилось кровью от неудобного положения и от пьянства, потому что возле сумки валяется пустая бутылка, а над мужиком, кроме запаха грязи, подымается едкий перегар алкоголя, впитанного телом. Отребье, подонок, комок грязи, который еще болтается по свету, потому что и жизнь порой любит извращенные страсти и жестокие шутки.

Ну, Рудольф Нольч, вот уж что не должно было попасться вам на пути в этот прекрасный послеобеденный час, если только в этом не заключен некий смысл, если это не должно стать точкой, завершающей все, что произошло с тобой за минуту до этого и происходит сейчас. А смысл, видимо, тот, что всем нам определены какие-то границы, которые мы не можем переступить. Стоп. Сейчас ты должен был бы повернуться и уйти. В нескольких шагах от спящего тропинка уходит в заросли молодняка и исчезает. И прогулка затянулась настолько, что разумнее всего подумать о возвращении. Да, о возвращении. Потому что разумные люди никогда не пускаются в путь, не подумав.

Но бургомистра что-то влечет, он разглядывает дальше,

чем этого требует, убогий вид человеческого обломка, нашедшего здесь приют и выпившего глоток забвения, который уносит его сейчас против течения времени и действительности в те дни, когда он был еще человеком. Взгляд бургомистра задерживается на загоревшем и потемневшем от грязи выпяченном горле, где под кожей заметны набухшие кровью жилы. Выброшенный человеческий обломок, ничего больше. Бесполезный и будящий отвращение, когда валяется где-нибудь в углу или тащится по дороге, гонимый бесцельным ветром инстинкта, побуждающего идти и жить, пока не свалившись.

Пропащий, никому не нужный и ни на что не годный. Бесполезнее жука, ползущего в траве, а кто знает, сколько он их затоптал во время своего бесцельного блуждания. А что, если смысл его жизни заключен именно в его смерти? Может быть, несчастье сделало его таким, направив как раз к этой цели, и все пути, по которым он брел, неотвратимо вели его именно к этому месту и к этой встрече? Зачем он был положен поперек тропинки, как перекладина через просеку в панских лесах, именно в ту минуту, когда ты почувствовал, что мог бы жить, как другие люди? Не был ли это порыв предчувствия и не является ли это его воплощением? Он усмехается. Кто ты такой, чтобы тебе посыпались знамения, как пророку в пустыне? Этот порыв насмешки и здравого смысла быстро проходит, и Рудольф Нольч снова скользит по спирали в глубины, которые таились в нем годами.

Разве не был послан ему именно этот обломок, от которого бог давно отвернулся, разве не был он послан ему для того, чтобы он не погубил никого, в ком еще мерцает искра надежды? Никто, пришедший ниоткуда, может исчезнуть в пустоте, ведь даже эта брошенная бутылка говорит, что он сам ищет, как избавиться от призраков совести и памяти. А ты вратами его смерти войдешь в мир, утраченный в тот день, когда родился мертвый сынок и когда в твои мысли закрался червячок: жизнь за жизнь, как акт мести судьбе и бессмысленному хозяйственчеству природы.

Разве так уж неестественно то, что ты хочешь сделать, так уж жестоко? Разве все мы не умираем только для того, чтобы освободить место другим? Если ты осмелишься на это, за тобой перестанет тянуться тень смерти и гасить краски жизни.

Солнце у бургомистра за спиной, а перед ним освещенная зелень сосновой поросли, откуда слышится птичья

перебранка, а чуть дальше — редкий лес стройных сосен с красными стволами и судорожно изогнутыми ветками, словно они подымают непомерную тяжесть. Он осторожно встал так, чтобы его тень не упала на лицо и не разбудила спящего, и начал разглядывать его долгим пытливым взглядом, которого никто не ожидал бы от человека, привыкшего идти прямо навстречу делам и людям. Ну, не бессмыслица ли? Среди бела дня и, так сказать, на открытом месте. Но Лесочки сегодня пусты и, кроме бургомистра и бродяги, в них нет других человеческих существ, если этих двух, балансирующих на грани действительного и возможного, еще можно считать человеческими существами. О поверхность тишины, затянутую, наподобие тонкого покрова, жужжанием насекомых, время от времени звякает птичий голосок, кваканье лягушек или скрип сосны, раскачиваемой ветром.

Бургомистр дивится своему спокойствию. Он всегда думал, что если подобная минута вообще наступит, волнение и ужас заставят его отказаться от совершения задуманного. И вот эта минута наступила, и я бы сказал, что сердце у него бьется даже размереннее, чем обычно. Он уже решился, готовится к свершению, взвесил все «за» и не может привести ни одного «против». Здесь лежит червяк, на которого уже кто-то наступил; если наступить еще раз, это будет только проявлением милосердия. Вот и прекрасно, только не нужно приукрашивать. Это будет убийство — назовем вещи своими именами. Важнее другое — как удастся его совершить.

План, который избрал бургомистр, отвечает его глубоко запрятанному романтизму. Довольно ребяческая попытка вовлечь в это дело вселенную и время. Посмотри, тень его передвинулась на грудь бродяги. Когда она закроет ему лицо, спящий почувствует беспокойство и начнет пробуждаться. И в тот момент, раньше, чем он откроет глаза, бургомистр кинется на него и мертвой хваткой одним движением сдавит горло и сломает шейный позвонок. Что произойдет при этом? Спящий откроет и выкатит глаза, словно желая увидеть те пределы, куда стоит только заглянуть, — и мгновенно холод смерти ударит и оледенит его и ненавистное лицо убийцы вспыхнет молнией и исчезнет навсегда подо льдом. Наверное, он еще рванется навстречу спасительным рукам жизни, но не встретит их, наверное, упрется каблуками своих рваных ботинок в землю, которая изменит ему и уйдет из-под ног. И не нужно будет ничего другого, только вытереть руки и осмотреться,

не уронил ли ты чего-нибудь, замести свои следы и вернуться через раскрытые ворота смерти в жизнь, которая сразу станет другой.

Итак, солнце определит момент, когда это все произойдет, и бургомистр сделал самого себя стрелкой, тень которой движется к нулевому часу по циферблату жизни этого человека. Бургомистр ждет наступления момента спокойно, но внимательно, он даже мог бы закурить сигарету, если бы не опасался, что бросит окурок, а потом о нем забудет или не сумеет отыскать.

Тень подымается по распахнутой груди бродяги, покрытой седеющим волосом и коростой грязи, приближаясь к горлу.

И тут происходит нечто непредвиденное. Спящий перестает храпеть, чмокаает и тяжело заглатывает сгусток сна. На шее у него выскакивает могучий кадык, ползет кверху, куда-то под самый подбородок, и опять опускается. Спокойствие бургомистра рушится с грохотом, который, если бы он только мог передаться из его мозга наружу, перепугал бы весь лес, как выстрел. Рудольф Нольч, по своему положению в роде и по накопленному богатству стоящий на верхней точке пирамиды, муж Катержиной Мохновой из Менина, элегантный и лощеный завсегдатай мировых курортов, доброжелательный, но замкнутый бургомистр Бытни, столкнулся в самом себе с тем, о чем он не имел понятия. Страшное, неизведенное бешенство овладело им. Кулаки его сжало, как судорогой, на лбу выступил пот. Доля мгновения — и он бросился бы на спящего со звериным, оглашающим окрестности ревом. Но в это время в проспиртованном горле бродяги слюна, спутав дорогу, попала в бронхи. Кашель подбросил его, посадил и минуту жестоко сотрясал. Мужик задыхается, бьет кулаками по земле, из глаз брызжут слезы, изо рта — слюна.

Кажется, нет конца переменам, которые нынче происходят в бургомистре. Бешенство отпустило, оставив его на берегу трезвости слегка оглушенного, и теперь только едкая соль жалости разбежалась в его крови и проникла в сердце.

Бродяга перестал кашлять и, обессиленный приступом и еще ошарашенный внезапным пробуждением, сидит, опираясь ладонями о землю, и хрипло дышит. Он только теперь заметил, что над ним кто-то стоит, растерянно захлопнул глазами, но тут же опамятался и насторожился. Его взгляд поднимается от башмаков к лицу и приобретает листьевое, покорное выражение профессионального нищего.

— Ваша милость,— захрипел он,— подайте бедняку.

Бургомистру теперь противно и тошно, как и всякий раз, когда он встречается с безнадежной нищетой. Сейчас он готов совершить какую-нибудь большую глупость. Наверное, он бы сделал это — бросил бедолаге тысячу или совершил какую-нибудь подобную нелепость, если бы в нем еще не визжало все то, что он только что пережил. Но он слишком ясно видит себя человеком, который хотел бы великим даром купить милость бога и прощение, хотел бы смазать следы греха притворным милосердием. Это не та роль, в которой Рудольф Нольч мог бы чувствовать себя естественно. Он лезет в карман, перебирает горсть мелочи и швыряет бродяге пятикроновую монетку, которая застряла в пальцах. Грязная рука вскидывается с неожиданной быстротой и хватает монету на лету, но осязание мгновенно сообщает, что в ладони оказалось нечто непривычно большое. И ладонь снова разжимается, чтобы показать свою добычу, при виде которой глаза бродяги зажигаются жадностью.

Он прячет монету в карман ветхих брюк и смотрит на стоящего над ним с новым интересом. Обшаривает его взглядом, который собирает и прикидывает новые возможности. Посмотрите-ка, роли переменились, и бургомистр это чувствует и полон решимости прервать игру раньше, нежели она развернется в полную силу и даст ему возможность легкого удовлетворения.

— Спасибо,— говорит бродяга сипло,— вот если бы еще и сигаретку.

Бургомистр несколько демонстративно вытаскивает свой тяжелый золотой портсигар, опустошает одну его половину и высыпает сигареты в протянутую руку. Бродяга сует одну из них в рот, но взгляд его не отрывается от руки, которая возвращает портсигар в карман. Бургомистр видит, как лицо бродяги наливается кровью, как в голове его копошится тяжелая, злая мысль, сестра той, что несколькими минутами раньше обуревала его самого. Бургомистр пытается сбить ее, рассеять раньше, чем она определится и станет жизнеспособной.

— Сколько вам лет?

Бродяга заморгал глазами. Он сбит с толку этим вопросом и голосом, в котором чувствуется сила, но напрягается, как может, чтобы собраться с мыслями и прийти к решению.

— Пятьдесят два,— бурчит он неохотно.

— И давно вы бродяжничаете?

Мужик вынимает сигарету изо рта и кладет возле себя к остальным, вытягивает губы и сплевывает далеко в сторону. Правая рука у него как бы невзначай нащупывает тяжелую, срезанную в лесу палку, целую дубину, кое-как очищенную от веток и еще покрытую корой. Рудольф Нольч спокойно следит за действиями бродяги, хотя делает вид, будто ничего не замечает, но его это зрелище не забавляет настолько, насколько могло бы и насколько ему бы хотелось. В нем поднимается тоска и презрительность, он чувствует себя виноватым в том, что пробудил в этом подонке, хотя знает, что все человеческое в нем давно потоплено в вине.

Бродяга подтягивает ногу к телу, по нему видно, как он готовит каждый свой мускул, чтобы суметь неожиданно и быстро вскочить. И как примитивно он пытается отвлечь внимание от того, к чему готовится, хотя то, что он говорит, само выдает его замысел.

— Ну и люди,— говорит он медленно, растягивая слова.— Кинут человеку gros и сразулезут рыться к нему в душу, как свиньи.

— Оставьте палку,— вдруг прерывает его бургомистр резко,— и оставайтесь сидеть, а то получите по носу.

Бургомистру не нужно кричать, в его голосе есть возможности, которыми он пользуется редко, но от которых бросает в дрожь.

Бродяга мгновенно отпускает палку, сжимается и заслоняет левой рукой лицо, словно ожидая удара. Рудольф Нольч делает шаг и нагибается за палкой, взвешивает ее в руке над головой бродяги и говорит:

— Я оставлю ее вам в конце вырубки. И обходите бытень стороной. Я извещу о вас жандармов.

И уходит, даже не думая оглянуться. Палка, замусоленная ладонями бродяги, немного липнет. Бургомистр широко размахивается и забрасывает ее на вырубку. По соседству, среди высоких деревьев, надрывается сойка. Ее крик удаляется за кроны сосен. Эта тоже любит совать нос в чужие дела.

Отец Бружец бродит по приходскому саду. Повесил сутану на какую-то щеколду, шляпу забыл в сарае и ходит в куртке из грубого льняного полотна и рубашке с расстегнутым воротом. Жатва позади, но другой урожай дозревает на деревьях. Священник постоял возле ульев, наблюдая

суету в летках. Последний, самый сладкий принос уже начался. Лето еще живо, и в лесах цветет вереск.

Ветви яблони китайки склоняются над ульями, усыпанные и отягченные уже сильно зарумянившимися мелкими плодами. Священник наклоняется и поднимает несколько паданцев, которым червяк сократил срок пребывания на родной ветке. Отец Бружец перебрасывает их в ладонях, предаваясь печальным размышлениям. Отчего это яблоко наших предков, такое красивое, душистое и такое бесконечно знакомое, по-домашнему вкусное, становится год от года мельче и мельче, как, сохраняя вкус, запах и цвет, оно уменьшается до размеров дичков, и, что ни делай, все усилия воспрепятствовать этому тщетны, словно оно хочет начисто исчезнуть из садов, со столов, из нашей жизни.

Он минует ульи и продолжает обход; лицо его обращено вверх, он изучает и оценивает урожай яблок, груш, слив. Эти края не благоприятны для фруктовых деревьев, земля бедная и очерствевшая от своей участи, небеса суровы, коварно ударяют поздние заморозки, пагубные для цветенья, но декану благодаря неусыпной заботе все же удается снимать урожай, возбуждающий удивление и зависть всех, кто собирает в своих садах корзинками, тогда как он носит коробами.

Кто-то зовет его со стороны стены, выходящей на шоссе, где сад спускается ниже уровня окрестностей. Здесь стена, изнутри достигающая трехметровой высоты, снаружи подымается едва до плеч взрослому мужчине. Это — излюбленный путь мальчишеских налетов на приходский сад, но священник, который раздает большую часть урожая, не имеет ни малейшего желания отдавать его на милость бытеньских сорванцов, и поручил охрану сада двум дьяволам в собачьей шкуре.

— Добрый день.— За стеной кто-то кланяется, приподняв шляпу.— Можно к вам?

— Вы, как всегда, желанный гость.

Бургомистр прыгает через стену и пружинисто, мягко опускается на газон. Декан идет ему навстречу.

— Вход, прошу прощения, с другой стороны. Кто прыгает через забор, указывает путь греху.

— Сегодня, кажется, я только этим и занимаюсь. Я поддался искушению и ввожу в искушение других.

Отец Бружец ведет своего гостя к стволу старого ореха, который он спилил весной. На это дерево, которое цвело и плодоносило в приходском саду до самой своей смерти,

он имел особые виды и ежедневно творил одну просительную молитву об исполнении своего плана.

Пока же орех здесь сохнет и может служить скамьей для дружеских посиделок. Бургомистр постучал по нему согнутым пальцем; он любит благородные деревья и собирает их. Он едва не забывает, зачем пришел.

— Что вы будете делать с этим орехом? Я бы его у вас купил.

— В отношении его у меня свои планы.

— Новая скамеечка для молитв?

— Нечто большее. Я подумываю о статуе патрона нашего храма. Но денег пока не хватает.

Бургомистр снимает шляпу и кладет на дерево рядом с собой.

— Неплохая идея. Договоримся со скульптором, остальное беру на себя.

Священник изумленно посмотрел на него.

— Благодарствую. Ничего подобного я от вас не ожидал. Конечно, вас это не обеднит. Но мне всегда казалось, что я вас хорошо знаю, поэтому-то меня и удивляет ваше решение.

Бургомистр вдруг развеселился и засмеялся.

— Даю слово, я еще не слыхивал благодарственной речи лучше этой. Надеюсь все же, что мое предложение не будет отвергнуто.

Отец Бружец смущается, чувствуя, что зашел слишком далеко.

— Сказал, что думал,— бормочет он.— Вас ведь не обманешь и не проведешь.

— Может быть. Но я и сам чувствую, что должен объясниться. Разве не бывает такого, что человеку требуется как-то выразить свою благодарность богу за спасение? У меня действительно не было подобного намерения, но я ухватился за представившуюся мне возможность.

Священник удрученно вздыхает.

— Слышать такое из ваших уст, это для меня слишком. Дайте сигарету, я не беру с собой, когда иду в сад.

Бургомистр вынимает золотой портсигар и, прежде чем открыть, смотрит на него в задумчивости. Когда оба закуривают и выдыхают первую затяжку, декан говорит:

— Вы сегодня были спасены?

Посетитель кивает:

— Я был спасен слюной, которая попала не в то горло в проспиртованной алкоголем глотке. Слышали вы когда-нибудь нечто более странное?

— Странность ничего не объясняет. Слюна, комар или скала, которая рушится и рассыпается в прах,— все едино. Размеры имеют значение только для нас. Но я верю, что с вами случилось что-то очень серьезное, потому что иначе вы бы сюда не пришли. На мой взгляд, сегодня вы похожи на человека, который повстречался с призраком.

— Со мной случилось нечто худшее. Я встретил самого себя.

Священник смотрит на дымок, поднимающийся к кроне яблони над их головами. Синеет, коричневеет, золотится, расплывается, исчезает. Дым. Но слова, которые будут сказаны сейчас, не исчезнут. Они будут, пока живы он и бургомистр, а может, переживут и их, запечатлевшись в памяти божьей. Отец Бружец произносит со знанием дела:

— Иногда такая встреча бывает особенно отвратительной.

— Хотел бы рассказать вам о ней. Вы — единственный человек, который может меня выслушать, и... какой вывод вы сделаете, в конце концов не важно. Я должен кому-то рассказать, чтобы быть уверенным, что со мной этого уже никогда не повторится, понимаете? Тогда я не найду в себе смелости, потому что всякий раз буду вспоминать, что об этом знает еще кто-то.

— Не знаю, что вы хотите мне рассказать, но остальное мне известно. Края, в которые вы хотите меня увлечь, кажутся неприступными только людям без веры. Этой болезнью вы еще не страдаете?

Рудольф Нольч бросает окурок сигареты на траву, но молчит.

— Как священник я обязан избавить вас от вашего бремени или помочь вам его нести. Вы хотите исповедоваться?

Бургомистр нахмурился.

— Я пришел к вам не как к священнику. Мне нужен мужчина.

— Не люблю этого разделения и с полным правом мог бы вам отказать. Но все равно, говорите.

Бургомистр начинает рассказывать, разглядывая землю у своих ног, приглушив голос, стараясь сохранить деловой тон и ничего не упустить. Священник приподнимается к нему, он опускает между коленями сомкнутые руки и, тоже устремив взгляд на траву, слушает чутким ухом исповедника, привыкшим распознавать в словах, произносимых шепотом или скороговоркой при-

знания, неудержимое удовлетворение или терзания каменьями ужаса и сожалений. Речь бургомистра лишена и того, и другого, слова выбраны так, словно читается полицейский рапорт о происшествии. Гордыня, говорит священник, жалкая печальная гордыня, которая никогда не подымется до смирения, но как знать, может, это и прекрасная гордость, которая сознает свое поражение, но не желает смаковать его и драматически взывать о пощаде. Это, конечно, не те мысли, которые должны были бы прийти в голову священнику, но бургомистр не случайно обращался к нему как к мужчине.

Воздух трепещет от жужжания пчел и шелеста листьев, раскачиваемых предвечерним ветерком, нашептывает свои сумасбродные сказки, словно осень не придет никогда. Из ручейка, протекающего через приходский сад, с лепетом и бормотаньем выбирается стадо уток и направляется по лужайке к мужчинам. Утки привыкли, что у священника для них всегда что-то припрятано в кармане: усердно подзадоривая одна другую, они полукругом обступают его ноги, ловят за рукава рубашки, щиплют за пальцы. Потом, изумленные его неподвижностью и молчанием, теряют доверие и отступают. Еще минуту они судачат о нем, обсуждая его странное поведение, потом забывают обо всем ради мухи, которая прожужжала над самыми их головами, и увлекаются своей вечерней забавой — ловлей насекомых, усаживающихся после целодневного мельтешения на стебли трав.

— Вот и все,— заключает свой рассказ Рудольф Нольч, а декан молчит еще долгую минуту, подавленный тяжестью услышанного.

— Вам была оказана милость большая, чем если бы вы были просто избавлены от смертельной опасности,— говорит он наконец.— Надеюсь, вы это сознаете?

— Я оцениваю это так же, хотя не делаю тех выводов, что и вы.

— Иных выводов быть не может, но вы не тот человек, которого можно заставить или переубедить. Думаю, вы не ждете от меня ни совета, ни утешения.

Бургомистр покачал головой.

— Пусть это вас не обижает. Мне кажется, нет таких слов, которые не пришли бы мне на ум. Но слова ничего не значат. Важнее, что теперь есть человек, который знает то же, что и я.— Бургомистр колеблется, подбирав выражение: — Допустить нечто подобное невозможно, если чувствуешь, что кто-то смотрит тебе через плечо. Теперь,

даже если я только помыслю об этом, я тут же вспомню наш разговор. Понимаете, что мне было нужно? Это погибнет, должно погибнуть, потому что не вынесет чужого взгляда.

— А о другом свидетеле вы не вспоминали? — спрашивает священник с тихим упреком.

— Пожалуй, или конечно, если хотите. И очень часто. Но он казался мне слишком далеким и, не сердитесь, слишком нечеловеческим, чтобы я мог его бояться.

Разгневанный, растерянный и опечаленный декан молча провожает своего гостя по небольшому склону через сад к калитке.

— И все же именно его вы искали, обращаясь ко мне, — говорит он, пройдя несколько шагов.

Бургомистр засмеялся искренне и громко.

— Верьте своей правде, она дает вам силы. Мне это на руку. Я переложил на ваши плечи тяжелое бремя.

Он удаляется по склону Костельной улицы, а священник смотрит ему вслед; вот, пройдя немного, он опустил голову, видимо, читая письмена своих мыслей на неровной мостовой. С низкой лавочонки у дверей богадельни встает скандалист Нейтек и исчезает в черном чреве убогой развалихи. Этот еще не простил отца Бружеека и избегает его с демонстративностью, которая будит в священнике угрызения совести и жалость, но Нейтеку от этого не легче.

С севера асфальтированное шоссе, как выстрел, бьет прямо в Бытень. Стрелка, который его нацелил, поглотила даль. В ряду деревьев чередуются березы и рябины, деревья старые и молодые, стремящиеся достичь их высоты и моши, и хиленькие прутики прошлогодней и позапрошлогодней посадки. Осенние бури избирают среди них жертвы чаще всего из числа самых мощных, и сломленные кроны рушатся, падая на асфальт или на поле. Деревья в этих краях достигают зрелости и по большей части в расцвете сил гибнут геройской смертью в борьбе со стихиями.

Подложив под себя неразлучную крылатку и опустив ноги на сухое дно кювета, заботливо очищенного от травы, спиной к солнцу, которое прошло уже три четверти своего дневного пути, опершись о покрытый глубокими морщинами ствол мощной березы, сидит Эмануэль Квис, вот уже более получаса набираясь сил и решимости, чтобы встать

и преодолеть полтора километра, которые отделяют его от Бытни. Он притащился сюда из Лесочков прямиком через болота, мокрые луга и трясины, по перешейкам более узким и муравейникам более корявым, нежели ослиный хребет. Промочил башмаки, иной раз вода набиралась в них через верх, несколько раз он спотыкался и соскальзывал со стежки, падал, ободрал колени, локти и ладони.

Он отдохнул уже от самой тяжкой усталости, и сердце, удар за ударом, замедляет свой бешеный бег, переходя на обычный темп, но лицо все еще никак не достигнет гладкой квисовской пустоты, мускулы его нет-нет да передернет и стянет гримаса страха, будто слух различает удаляющиеся, но еще слышные удары хлыста смерти или безумия. Все это время Квис не перестает трудиться, приводя в порядок свой внешний вид. Выловил из бокового кармана пиджака квадратную щеточку и отчищает с брюк и пиджака грязь, которая налипла, когда он падал на кочках. Эта деятельность позволяет ему прятать склоненное лицо под широкими полями серой шляпы и не обращать внимания на редких путников. К тому же среди них нет пешеходов, обычно сокращающих путь проселком через поля и луга, где тянутся и телеги, груженные клевером и травой для вечерней кормежки. Только шелестящий пролетающий шепот велосипедных шин время от времени проносится мимо Квиса, и один раз промчалось авто, вовлеченнное прямизной шоссе в головокружительную скорость. Это, однако, вовсе не значит, что Квис сидел среди давящей тишины пустынной местности. На ветки рябины напротив опустилась стайка скворцов и подняла истощенный крик.

Отчистив все, что сумел заметить и достать, Квис внимательно оглядел результаты своего труда. Если бы избавиться еще и от промокших ботинок, он почувствовал бы себя тем Эмануэлем Квисом, который ему нравится, внушает удовлетворение и чувство уверенности. Тем не менее он уже в силах вспомнить и размышлять, да, он может оглянуться назад без страха, что будет настигнут бичом того ужаса за спиной и окаменеет.

Почему все-таки он ему поддался? Разве это не было апофеозом всего, что он вообще надеялся встретить? Разве он не видел, как из глубин подсознания поднималось, постепенно обретая форму и образ, то самое потаенное и попираемое, что только может породить человеческая мысль и побуждение? Отчего ему показалось, что тот джинн, выпущенный из бутылки и нацелившийся на свою

жертву, как прирученный сокол, забудет о ней и переключится на него? Ведь тот, кто его выпустил, о Квисе даже не знал. Вспомни, как он был слеп, хотя и озирался вокруг с таким вниманием.

Пора было вставать и пускаться в обратный путь к Бытни хотя бы потому, что холод от мокрых ботинок становился все ощутимее. Вот и палка, она поможет подняться и поддержит при ходьбе; не на что опереться только в себе самом. Скворцы на рябине кончили свои дебаты и поднялись все разом, шумное, сверкающее черное облако, гонимое ветром суевийской спешки, которая его расшвыривает и снова сбивает во выующийся комок. Тишина над шоссе, отполированном шинами, воцаряется, замирает и шумит, как трехструйный фонтан на бытеньской площади. Эмануэль Квис прячется в своем черном сюртуке, точно ссыхаясь. Ему кажется, что он никогда не наберется сил, чтобы уйти с этого места.

Неистово мчащийся поток шоссе проносит длинный черный лимузин, который, миновав Квиса, вдруг прекращает свой полет, пронзительно взвизгнув шинами, и начинает пятиться назад, пока не останавливается перед ним. Шофер срывается со своего места, отворяет дверцу, и из машины высовывается пани Катержина. На ней костюм сурowego шелка и коричневая, слегка сдвинутая со лба шляпка, из-под которой выбиваются крутые волны ее матовых черных волос. Она выглядит молодой, свежей, изящной и возбуждающей желание, но в ее глазах, да и во всей осанке, есть та бескомпромиссная серьезность, которая гасит в мужчинах, чьи взгляды она привлекла, порыв возбуждения и заставляет смутиться, почувствовать нечто вроде почтения и нежного меланхолического воспоминания забытых дней юности. Вся слабость и вялость разом оставляют Квиса. Он встает и кланяется со старомодной учтивостью, широким жестом снимая шляпу.

— Вот неожиданная встреча,— говорит пани Катержина.— Вы присели отдохнуть или просто предаетесь размышлением?

— Отдыхаю. Старому человеку часто случается переоценить свои силы.

— Не очень-то я верю в вашу старость, во всяком случае, границы ее мне пока угадать не удалось. Садитесь, пожалуйста. Я рада, что нашла спутника хотя бы на остаток пути.

Квис поднимает свой плащ, разложенный под березой, стряхивает с него налипшие стебельки трав и, как бы

подтверждая сомнения пани Катержину, легко прыгает через кювет на шоссе. Но тут же получает наказание за свое бахвальство. Быстрое движение съело у него все накопленные силы, он побледнел, качнулся и, наверное, упал бы, если бы шофер вовремя не поймал его за плечи.

— Что случилось? — перепугалась пани Катержина, но тут же взялась за дело по-женски. — Помогите пану Квису сесть в машину и поезжайте как можно скорее к нам, — приказывает она шоферу, который смотрит на нее вопросительно и растерянно.

Усаженный в мягком уголке, Квис почти сразу же приходит в себя, как только машина набирает скорость. Сейчас он — бледный старик, лицо его все покрылось морщинами и потерялось в них, губы посинели и трясутся. Он шевелит ими и ловит слова, которые от него убегают с тихим шипением, сплющенные и бесформенные, как проткнутые мячи. Пани Катержина замечает это и приходит на помощь.

— Не напрягайтесь, пожалуйста. Мы обо всем поговорим у нас, — говорит она, нашаривая в сумочке из туленьей кожи флакон с одеколоном. Смачивает им шелковый платочек и подает его Квису. — Отрите лоб, вам станет легче.

Квис послужен. С трудом протягивает трясущуюся руку, и аромат, который он доселе воспринимал как принадлежность машины, обволакивает и встряхивает его еще наполовину помраченное сознание, сильно и мягко, волнующе и нежно. Он несколько раз глубоко вдыхает его, как человек, задохнувшийся в любовном объятии, и аромат очищает сознание и возбуждает нервы, веселит, как глоток алкоголя, подливая масла в еле мерцающий светильник и оживляет его угасающий огонек. Когда Квис отнимает платок от лица, оно уже освободилось от морщин и стало гладким, как всегда, слегка желтоватое, с красноватыми пятнами на скулах, которые кажутся румянами.

Он снова пытается заговорить, и на этот раз ему удается поймать слова и пустить их круглыми и целенькими.

— Прошу меня извинить великодушно. Послеобеденные часы сегодня у меня выдались трудные.

— Вам не в чем извиняться, — возражает пани Катержина. — От потрясений никто не застрахован. Выпьете чаю и поужинаете с нами, если пожелаете. Вот мы и дома.

Машина между тем действительно уже свернула возле трактира «У лошадки», замедлила ход и мягко затормозила перед домом Мохнов. Шофер открыл дверцу и предло-

жил Квису руку, чтобы помочь выйти, но тот ее оттолкнул и вылез из машины сам, хотя осторожно и потихонечку, потом остановился возле машины, принял свой обычный вид; левая рука в бок, через нее перекинута крылатка, правая опирается на трость, одна нога чуть выдвинута вперед. Театральная поза, в которой все напоказ, все заучено.

В большую столовую дома Мохнов Квис вошел уже не столь эффектно. Он выглядит растерянным и слегка встревоженным. Может быть, столовая угнетает его своими размерами и он чувствует себя здесь потерянным и бессильным? Он несколько раз навещал пани Катержину, но сюда его не приглашали ни разу. Несмотря на шесть высоких окон, эта комната сумрачная и холодная в дни самого жаркого лета, не спасают даже дубовые панели, покрывающие три четверти стены, и ворсистые ковры на паркете пола.

Шестой час перевел солнце на другую сторону дома, и здесь уже расползлись и уgnездились вечерние сумерки.

Посреди длинного стола, за который можно усадить две дюжины гостей, сейчас возвышается, обнимая целую охапку роз, большая ваза хрустального стекла, она вспыхивает красными искорками, беспокойные отблески пламени пляшут на стенах и забираются к самому расписному потолку. В огромном камине из красного голландского кирпича, выложенного посередине фасадной стены, горят березовые поленья из менинских лесов; и если вы захотели посидеть в этой комнате, тепло от камина будет в самый раз, хотя на дворе мягкий и нежный предвечерний час позднего лета. Можно было бы возразить, что глупо сидеть в таком негостеприимном помещении, но супруги Нольчи любят это место у камина, где им накрывают ужин на маленьком столе и где они вместе проводят остаток вечера. Погруженный в темноту простор столовой их не угнетает, он только усиливает в них ощущение того, что они одни в этом мире, отрешены от всего и необходимы друг другу.

В тот момент, когда пани Катержина со своим спутником вошла в столовую, там все выглядело так, словно последние гости покинули ее лет сто назад, и только огонь у противоположной стены еще сопротивлялся времени и законам физики. Тем не менее пани Катержина крикнула в кажущуюся пустоту спокойным и беспечным голосом:

— Рудо!

Бургомистр, который, стоя на коленях перед очагом, поправлял щипцами поленья, поднялся, и его длинная тень мелькнула среди участников суда Париса — потолок был расписан сценами из «Илиады»; он обернулся и быстрыми шагами пошел между столом и огромным буфетом навстречу жене.

— Катя!

Он наклоняется, чтобы поцеловать жене руку и делает движение, словно хочет прижать ее к себе.

— Я привела гостя,— быстро говорит она, предупреждая его.

Только тогда бургомистр замечает, что в комнате есть кто-то еще, и протягивает гостю руку.

— Добро пожаловать!

Эмануэль Квис вялым движением коснулся его протянутой руки и пробормотал какое-то извинение.

— Пан Квис,— спокойным повествовательным тоном поясняет пани Катержина,— пережил сегодня какое-то волнующее приключение, лишившее его сил. Я думаю, когда он выпьет немного чаю и спокойно посидит, ему станет легче.

— Я позабочусь об этом,— отвечает ей муж.

Он берет у Квиса из рук плащ и шляпу, кладет их на одно из свободных кресел, под руку ведет гостя к камину и усаживает в кожаное кресло. Пани Катержина в это время исчезает.

Бургомистр придвигает стоячую деревянную лампу, на ствол которой, как широкий перстень, надета круглая доска, служащая курительным столиком. Когда свет от лампы и горящих поленьев освещает вытянутые ноги Квиса, становится видно, в каком они состоянии.

— У вас ботинки мокрые,— констатирует Рудольф Нольч, потому что не может принудить себя к сочувствию этому человеку, который даже сейчас будит в нем неопределенные подозрения.— Пока жена не вернулась, я найду вам что-нибудь переобуться.

— Не беспокойтесь,— поспешило отзывается Квис.— Огня вполне достаточно. Да они уже и на солнце почти высохли.

— Но вы еще дрожите.

— Это от действия тепла. Я не подвержен простуде.— Отвечая, Квис упорно смотрит в огонь, видимо избегая взгляда бургомистра. В камине с шумным треском и небольшим взрывом искр скатывается горящее полено. Теперь и бургомистр смотрит в огонь, наблюдая за игрой

маленьких синих огоньков, которые выскакивают из трещин обуглившегося дерева и снова исчезают. Огонь в камине — хорошая штука, позволяет людям молчать и не тяготиться этим. Бургомистр думает о том, что сегодня в нем вспыхнуло, сгорело и превратилось в пепел, в котором, надо надеяться, ничто и никогда не разожжет живых искр. Беседа с отцом Бруже ком разрядила напряжение и внесла в его душу покой, и он радовался предстоящему тихому вечеру с пани Катержиной. И надо же было вдруг заявиться этому сморчку.

— Где же вы это так промокли?

Квис вздрогнул, словно от испуга, но он не поднял глаз от огня.

— Я попал в болото на лугах.

Катержина подобрала его, возвращаясь из Худейовиц. В той стороне мокрые луга только между Лесочками и шоссе, — рассуждает бургомистр и оглядывает Квиса с новым интересом. Но прежде чем он успевает прийти к какому-либо выводу или продолжить расспросы, открывается дверь, и в сопровождении Марины Тлахачовой, нагруженной подносом с закусками и чайником, из которого вырываются клубочки пара, возвращается пани Катержина.

— Наслаждались молчанием? — говорит она с улыбкой. Ей известна неприязнь мужа к Эмануэлю Квису, но она знает, как рассеять возникшее напряжение и не позволить ему перерasti в неприятное настроение.

Мужчины улыбнулись.

— Я приходил в себя, — отвечает Квис, — а любезный хозяин предоставил мне необходимый покой.

Чаепитие проходит в молчании, изредка нарушающем незначительными репликами. Если посмотреть со стороны, можно подумать, что эта троица, освещенная отблесками огня, совершает языческий обряд перед алтарем пылающего камина. Когда чайный столик был отодвинут, пани Катержина попросила у мужа сигарету.

— Наверное, я должен объясниться, — говорит Квис, обращаясь к пани Катержине. — Я напугал вас и обеспокоил.

— Извиняться не в чем, но не могу не признаться, что вы возбудили мое любопытство.

Бургомистр слегка наклоняется в кресле, наверное, чтобы было удобнее дотягиваться до пепельницы, но при этом смотрит на Квиса в упор. Без сомнения, Квис чувствует этот взгляд, но делает вид, будто поглощен

своими воспоминаниями и стремлением выразить их наилучшим образом. Бургомистр вертит сигарету в пальцах, стряхивает пепел, водит зажженным концом сигареты по дну пепельницы, но при этом все не спускает глаз с Квиса. Со стороны кажется, что он просто захвачен любопытством. Квис больше не может сопротивляться. Проснувшаяся в нем пустота жаждет, он должен напиться из этого источника, пусть даже ценой немедленной гибели. Он поднимает глаза, на миг встречаешься со взглядом бургомистра — будто в оркестре ударили в тарелки. Этого достаточно. Оба знают как раз столько, сколько в состоянии вынести в эту минуту. Бургомистр откидывается на спинку кресла и, разглядывая Афину Палладу — центральную фигуру из группы суда Париса, думает о том, как далеко осмелится зайти этот человек. Нельзя ли как-нибудь заставить его молчать? Ведь он, вне всякого сомнения, внутренне весь тряслась от бешеного страха, хотя говорить будет все равно, есть в нем что-то сильнее страха. Если бы речь шла только о тебе самом — было бы неповторимое, острое чувство ожидания под секирой, подвешенной на волоске, к которому кто-то медленно подносит зажженную свечу.

Пани Катержина спокойно, не спеша курит. Как случилось, что сегодня днем он мог совершенно забыть о ней? Почему ему не пришел на память этот единственный взгляд, которого он боится больше, чем взгляда того, о ком пытался напомнить ему отец Бруже? Неужели теперь поздно и ничего нельзя предотвратить? В какой ад после рассказа Квиса превратится их жизнь, их, которые не могли дышать и думать один без другого?

— Может быть, моя история, — начинает наконец свой рассказ Квис, обращаясь к пани Катержине, — покажется вам выдумкой, а может быть, она вас испугает. Возможно и то и другое. И если даже вы скажете, что все это — плод моего воображения, вы, наверное, будете правы, но для меня это все равно останется действительностью. Я верю, что все происходило именно так, как я увидел, хотя сейчас мне самому это начинает казаться фантастикой.

Рудольф Нольч вдруг успокаивается и впервые, после того как закурил, затягивается и выпускает дым к Афине Палладе, которая слишком высоко, чтобы обидеться на его провокацию.

Начало хорошее, думает он, скорее всего никакого прямого обвинения не будет. Знает же он, однако, с какого бока подступиться к моей жене. Было — не было. И зачем

только на месте этого бродяги не лежал он? Уж ему-то я свернул бы шею.

Пани Катержина подается вперед, теперь она действительно заинтригована.

— Рассказывайте. Не важно, что было, важно, что вы чувствовали. Правда внутри, а не вне нас.

Ее супруг беспокойно двинулся и сжал поручень кресла. Не любит он слышать таких речей из уст жены.

Первое важное заявление Квис делает повышенным от волнения голосом:

— Я видел человека, который готовился убить другого.

— Боже,— выдыхает пани Катержина.— И он это сделал?

Розоватые пятна на скулах Квиса вспыхнули, превратившись в четко обведенные красные островки на желтой коже лица и кажутся еще более неестественными, чем прежде.

— Нет, но не это важно, во всяком случае важно не настолько, как кажется на первый взгляд. Подумайте лучше о той черте, которую преступил этот человек в своем сознании. Видимо, он многие годы забавлялся, представляя себе, как было бы, если бы он своими руками отправил кого-то на тот свет. Может быть, он считал даже, что по каким-то, одному ему известным причинам он имеет на это какое-то право. Но всегда был уверен, что никогда ничего подобного не сделает и может безнаказанно предаваться этой игре воображения, так как знает свою силу и умеет остановить себя вовремя. Я рассказываю сейчас о том, чего не знаю доподлинно, о предыстории того, почему я был свидетелем, но я убежден, что иначе быть не могло. Примите в расчет, что его соблазняла сама невозможность: раз такого никогда не случится, отчего же не поиграть?

— Должно быть, это был злой человек. Мне бы, наверное, он внушал страх,— отзыается пани Катержина, и ее муж погружается в черную мглу, из которой, наверное, ему никогда не найти выхода. Осмелится ли он теперь сжать ее в объятиях или погладить по волосам?

Однако рассказчик протестующе замахал руками.

— Нет, на это так смотреть нельзя. Мне представляется, что он был как все люди, которых знаем мы с вами. Но он был несчастен. Его постиг удар, на которые щедра судьба, и он искал, кому бы его вернуть. Он хотел рассчитаться за то, что с ним поступили несправедливо. Это жестокая шутка — подстроить такое ужасное искушение,

предоставив ему возможность, которой он никогда и не думал получить и которой даже боялся. Я видел, что лежало на его пути, я ведь прошел на какую-то минуту раньше него и все понял. Это был не человек, а отребье, изъеденное грязью и алкоголем, все равно в один прекрасный день его нашли бы в придорожной канаве. Тот, о ком я рассказываю, остановился над ним и тщетно искал в нем человеческое подобие и смысл существования подобного субъекта.

— Это его не извиняет,— говорит пани Катержина, и бургомистру, наверное, приходит в голову, что благородство может иногда обернуться жестокостью, хотя он-то знает, что нет такой кары, которая смыла бы его вину. От этого его любовь к пани Катержине усиливается до отчаянной безнадежности. Но так как ему кажется, что он молчал слишком долго и что разговор, идущий так односторонне между его женой и Квисом, может в конце концов пробудить ее подозрение, собирается с духом и говорит:

— Почему вы решили, что человек, о котором вы нам рассказываете, готовился к убийству?

Рассказчик скользнул по нему взглядом, быстро отвернулся и снова смотрит на пани Катержину.

— То, что я здесь рассказываю, не сообщение для суда или полиции. Фактов у меня нет, и я уже сказал, что все можно счесть моим домыслом. Тот человек вообще ничего не делал, он просто стоял и смотрел на спящего. Все разыгралось в нем и... во мне. Вместе с ним это пережил и я, я знал, что это так, и страшно боялся. Не за того, валявшегося на земле, а за себя. Мне казалось, что его намерение относится в большей мере ко мне, нежели к тому спящему бродяге.

— Почему? — спрашивает бургомистр хрипло.— Ведь, судя по вашему рассказу, он вообще не подозревал о вашем присутствии.

Квис с досадой пожимает плечами, словно это вмешательство его раздражает.

— Мне это трудно объяснить. Знаю только, что так было... Был момент, когда он огляделся вокруг, но меня не заметил. Он не был зол, скорее, прикидывал все «за» и «против» и наконец решился. После этого начал выжидать удобного момента, не знаю какого, но тут случилось нечто, взорвавшее его спокойствие и превратившее его во взбесившегося зверя. Я чуть не сошел с ума от ужаса, потому что ощутил, как это в нем взорвалось, что еще миг — и он ринется на лежащего.

— Что же произошло? — спрашивает бургомистр, глядя на Квиса.

Рассказчик упорно избегает смотреть на него и только мотает головой.

— Не могу сказать. Видимо, во сне бродяга сделал что-то, отчего он взбесился.

— Как страшно, — говорит пани Катержина. — И чем же все это кончилось?

Квис пожимает плечами, начиная угасать по мере того, как воспоминания становятся менее волнующими.

— Именно в этот момент бродяга раскашлялся и проснулся. Согласитесь, нельзя же бросаться на человека, которого бьет кашель. Кажется, он кинул ему сигареты и ушел.

— А вы? — спрашивает пани Катержина взволнованно.

— Мне стыдно сознаться, — отвечает Квис и съеживается в кресле, — что именно тут я поддался страху и кинулся бежать, словно он гнался за мной по пятам.

Тишина на какое-то время стала главным гостем и приялась выделывать свои меланхолические фокусы. Она пробудила передовые дозоры войск, спящих в дубовых панелях, и резко хлопнули несколько выстрелов, потом пошла крушить и расшвыривать прогоревшее полено в камине, потом гудком автомобиля, проехавшего мимо закрытых окон дома, напомнила, что существует и продолжает жить иной мир, кроме того, в который погрузились трое в столовой мохновского дома.

Нахальным повадкам нового гостя первым воспротивился хозяин. Хватит с них одного чудака, который втерся сюда. Разве само по себе не жутко услышать, что ты жил не только в себе, но одновременно и в этом пигмее, в котором, кроме брюк и голоса, так мало мужского, что он кажется то переодетой старухой, то гномом? Когда-нибудь потом пораскинешь умом, чтобы разобраться, в чем тут секрет. Сейчас важнее узнать, почему он пришел рассказывать это именно тебе и твоей жене, как далеко он хочет зайти, не должно ли это быть чем-то большим, нежели триумф самолюбца, которому выпала невероятная удача.

— Человек, о котором вы нам рассказывали, — начинает он голосом, которому вернулось обычное спокойствие, — словно был, а словно и не был. Пока вы о нем рассказывали, я зряко представлял его, а теперь потерял. Однако утверждать, что он жил только в вашем воображении, я не склонен. Могли бы вы нам сказать, кто это был?

Он знает, что нанес прямой удар и напряженно смотрит в глаза противнику, которые блестят от злобы и оскорблений.

— Тот человек был таким же настоящим, как вы, и во много раз более реально существующим, чем я. Но я его не узнал. Да и узнал ли бы он себя сам? Может, он был не из здешних. Естественно, в те минуты в нем не было ничего общего с тем миром, в котором он живет.

— Безусловно,— соглашается хозяин.— Но позвольте объясниться. Я не сомневаюсь ни в едином вашем слове. Но представьте себе, однако, ужас того человека, если бы он узнал, что все с ним происшедшее одновременно переживалось и осталось спрятано в вас. С этой минуты у него не было бы покоя.

Квис съежился в кресле, будто что-то пронеслось над самой его головой, пепельная серость покрыла его лицо и поглотила красноту пятен.

Пани Катержина испуганно обратилась к нему:

— Не хотите ли чего-нибудь выпить? Рудо, прошу тебя!

Но прежде чем бургомистр успел шевельнуться, чтобы успокоить ее, Квис вырвался из когтей страха, выпрямился и почти закричал:

— Мне нечего бояться. Я рассказывал только потому, что не знаю, кто он. Если бы я его знал, я сохранил бы его тайну. Потом, неужели вы не понимаете, что он меня одарил? Он дал мне из своей жизни то, что лежало на самом ее дне, благодаря ему я пережил то, чего бы никогда не узнал в своей жизни.

Пани Катержина растерянно смотрит на мужа, но Квис вдруг теряет силы и гаснет, как лампадка, вспыхнувшая было, вобрав остатки масла, и повторяет, как эхо, самого себя:

— Я это пережил?

— Вам нужно выпить чего-нибудь покрепче чая,— вставая, говорит бургомистр.

Но Квис нащупывает свою палку, опирается на нее и поднимается почти одновременно с хозяином.

— Благодарю вас, сегодня мне нужна только постель.— Кланяется хозяйке дома.— Прошу прощения, если я вас слишком перепугал. Отнесите это за счет старческой болтливости.

Его уговаривают остаться, предлагают с гостеприимной заботливостью проводить, но он все отвергает и позволяет только, чтобы хозяин проводил его до дверей дома.

Когда двери отворились, оба были изумлены, что на улице еще день. Он стал сизым, как голубь, и с каждым взмахом крыльев у него все прибывало черных перьев, но оба мужчины чувствовали себя так, словно встали от полуночной беседы. Мимо них тек вечерний променад, а в трактирах и лавках зажигались огни. Крики стрижей мешались со смехом мальчишек и девчонок, и эти мелочи, такие теплые и близкие, казались какими-то не совсем реальными, словно они смотрели на них сквозь серую кисею. Эмануэль Квис вздрогнул и накинул на плечи плащ, и бургомистру, который как раз следил за неровным полетом нетопыря, могло показаться, будто гость пристегнул крылья, чтобы исчезнуть в сумраке. Было или не было сказано последнее слово о том, что случилось сегодня?

Когда Квис уже поднял руку к шляпе и готовился переступить за порог его дома, бургомистр заговорил снова.

— Еще один вопрос: как вы думаете, человек, о котором вы рассказали, может еще когда-нибудь встретиться со своей опасной идеей?

От разведенных рук Квиса плащ взметнуло на обе стороны.

— Не знаю. Не могу же я видеть дальше его самого. Здравый смысл сказал бы, что человек, который однажды поднялся на вершину, очень редко пытается подниматься на нее еще раз. Доброй ночи.

Плащ закрыл светлый проем двери и затем выпал из него, как картина из рамы. Бургомистр запирает дверь и стоит в темноте.

Он слышит доносящийся из кухни грохот кастрюль и пенье Марины Тлахачовой. Больше никогда, говорит он себе убежденно. Но что толку? С этим покончено, а дальше? Ведь жизнь-то продолжается. Он думает о жене, о которой совершенно забыл сегодня днем, думает о ней и о являющемся ей во сне мальчике, которого ему не увидеть. Он хочет додумать, если только то, что в нем трепещет, является мыслью, проломить стену более прочную, чем эти мохновские укрепления, существующие оберегать род от канонады времени. Тьма должна была бы развернуться и некто должен был бы к нему сойти по мостику бледного света. Но он слишком устал, усталостью, которой до сих пор не знал, так устал, что кажется — не может нести собственное тело и сердце.

ГЛАВА ПЯТАЯ НЕПРЕОДИМАЯ ЧЕРТА

В открытое окно комнаты, словно хорек в барсучью нору, врываются запахи августовского утра, изгоняя оттуда застоявшийся ночной дух. Нейтек расселся на стуле у окна, допивает остатки черного кофе (забеленная бурда хороша разве что для бабья) и курит. Чтобы попасть на свое излюбленное местечко, ему пришлось прописнуться в узкую щель между изголовьем кровати и углом стола, стоящего возле самого окошка. Здесь, у источника свежего воздуха, он любит посидеть летом, чтобы не мешать женщинам, которые и без того путаются друг у друга под ногами, когда застилают постели, подметают небольшое пространство, не заставленное мебелью, или моют посуду. Над одной из кроватей висит распятие. Его перекладины как бы сплетены из выжженных по дереву листьев, а из фарфоровых рук распятого выпадают гвоздики, и он большей частью держится на одной руке. С противоположной стены из рамки с длинными уголками, из-под треснувшего зигзагом стекла, с олеографическим благодушием взирает на его муки дева Мария. Она распахнула на груди небесно-голубые одежды, показывает овальное, карминовое сердце, увенчанное nimбом и терновым венцом и пронзенное семью одинаковыми стрелами. С иных терниев свисают капли крови, хотя стрелы не нанесли видимых ран.

С потолка над маленькой плитой, задвинутой в угол комнаты возле двери, спускается почерневшая липучка. Божка привычным движением головы уклоняется от нее, когда ставит на припечек вымытые тарелки, кружки и ложки. На Божке платье из серого ситца в мелкий темный рисунок; даже у Гаразима, пользующегося в Бытии монопольным правом, такой стоит всего три кроны метр, и фартук. Когда она наклоняется над лоханью, стоящей на низкой табуретке, ее босые ноги светятся в полумраке молочной белизной. Глядя на них поверх костлявой спины жены, которая, опустившись на корточки, протирает влажной тряпкой пол под кроватью, Нейтек сжимает свободную руку в кулак и едва не шипит, словно обжегшись, затем отворачивается, предпочитая глядеть в высокую синеву неба над домиком Квиса, в глубокую синеву августовского утра, в бесконечную глубину и безграничную ширь синевы. Тоска обручем сдавливает ему грудь. Это от жизни, в которую он втиснут, шкура оказа-

лась слишком тесной, как ни старайся, как ни рвись, ни напрягай все силы, даже если она и лопнет, другой тебе не достанется.

О какой жизни тоскует Нейтек? О такой и о другой, словами, что роятся в его голове, этого не скажешь. Ему бы родиться в другой постели... Почему человек не может выбрать себе судьбу? Он, Нейтек, выброшен в этот мир, словно блудный сын из отчего дома. Кто захватил его наследство? А тут еще какой-то долгополый мотается у его дверей и указывает, как ему жить, думает Нейтек, и ненависть к отцу Бружею вспыхивает в нем с новой силой. А ведь он, Нейтек, не бездельник какой-нибудь, не рохля. За что ни возьмется, дело спорится в руках — людей завидки берут, — но удержаться нигде не может. Всякий раз где-то глубоко в нем будто лопается пружина и пропадает ко всему интерес. Зачем продолжать, зачем вообще трудиться? Купол радости опадает, обрушивается на него, превращаясь в прах и пепел, и, чтобы не задохнуться, он бежит и пьет, пьет, пьет. Горе всему, на что он глянет, к чему прикоснется. Вещи и люди восстают друг против друга. Красота рассыпается или ускользает, она всегда не там, где он ее ищет. Разве твоя жена не была красива, когда ты в первый раз посмотрел на нее? А что от нее осталось? В этом виновен ты? А кто же в таком случае виновен в том, что раздирает тебя? Где же тот случай, который мог бы наконец изменить и направить по другим рельсам твою жизнь? Что, если он никогда тебе не представится? Где-то ведь есть красота, вечная и неизменная, да только какая дорога ведет к ней?

Вот, наверное, почему Нейтек так любит строгать ножом деревянные чурбачки; видимо, в этих фигурках он ищет образ и подобие красоты. Никто никогда не видал, чтоб из этого что-нибудь получилось. Даже если иной раз он доводит до конца начатое, то вдруг обнаруживает, что красота исчезла, спряталась куда-то вглубь, оставив лишь скорбную и насмешливую пародию. Он прячет свое творенье поглубже в карман и более на него не глядит, и лишь вечером, сидя на скамеечке перед плитой, у кучи хвороста, выждав удобный момент, он швыряет на раскаленные угли неудавшийся плод своей мечты. И глядит, как языки пламени окутывают его желто-багровым одеянием, королевской мантией погибели, а когда утихает гул огня и остается чистый жар, в котором в последний раз мелькает форма предмета, прежде чем отправиться вместе с ним в последний путь угасания, прежде чем все покроет

серая шкурка пепла, Нейтек грезит, будто видит то, что тщетно пытался найти и извлечь из дерева. Но образ рассыпается и исчезает раньше, чем Нейтек находит в себе смелость кинуться и выхватить его из огня, создавшего и уничтожившего его.

Божка делает четыре шага от плиты к окну, мимо матери, застилающей постель, и останавливается над Нейтеком:

— Допивайте, мне кружку надо вымыть.

Она говорит с ним дерзко и вызывающе и не смотрит на него, будто он для нее не более, чем этот глоток черной бурды в чашке, которым он хочет запить последнюю затяжку. Божке восемнадцать лет, она в полном расцвете и красива до ужаса. Белая и розовая, с чистой кожей и светло-каштановыми волосами, по которым достаточно несколько раз провести гребнем, чтобы они легли так, как она того захочет. В утренних лучах пронизанного солнцем света она кажется свежей, будто только что вышла из ванны, хотя Божка всего лишь ополоснула лицо и шею пригоршней воды из облупившегося рукомойника.

Нейтек единым духом, как истый пьяница, допивает кофе, но кружку из рук не выпускает. Он глядит на Божку и ловит ее взгляд. Но та отворачивается и говорит матери:

— Мама, вы мою рубаху не убирайте. Я простиру ее и положу отбеливать.

Нейтек неожиданно пускает кружку по столу, на середине стола она переворачивается и катится дальше. Божка, вскрикнув от испуга, кидается к ней и в последнюю минуту подхватывает, не дав ей упасть, а Нейтек хохочет.

— Вот тебе, другой раз не будешь дерзить. Ты должна ждать. Ишь взяла волю. Должна ждать, когда тебя позовут.

Божка вытирает краем фартука капли черной жижки со стола и, молча вскинув голову, возвращается к лохани у плиты, оставляя за собой тревожный запах, полный аромата, совсем иной, чем тот, что проникает сюда из окна.

В этот час солнце бежит по Костельной улице, оно несется вверх, катится по всей ее ширине, не отбрасывая тени. Женщины ушли к Квису, а Нейтек все сидит на своем месте у окна. Ему нужно совсем немного высунуться, чтобы увидеть, как Божка, присев на корточки, пропалывает и рыхлит цветочные грядки перед домом Квиса, и самого Квиса, который тоже сидит у открытого окна и тоже глядит на Божку. Девушка знает про обоих и работает, склонив голову, словно нет на свете ничего, кроме этих грядок и цветов, тронутых поцелуем утреннего солн-

ца, аромат которых сливается с духом влажной земли и теперь пьянит Божку и пробуждает в ней мимолетную неясную мечту, которой она не успевает ни осознать, ни облечь в форму, ибо вся она соткана из аромата, красок и перламутровой дымки, обволакивающей мир, когда тебе восемнадцать.

— Хоть бы убралась подальше, — глядя на нее, думает Нейтек, ненавидя девушку в эту минуту за все мученья, которые она доставляет ему своей юной красотой и которые он не в состоянии залить водкой. — Убиралась бы подальше, пора о себе самой позаботиться, не маленькая.

Но Нейтек знает, Божка не уходит потому, что хочет быть рядом с матерью, помочь, поддержать, где можно. Он знает, сколько сил взял у нее, отлично знает, не такой уж он трус, чтобы обманывать себя, порой ему кажется, что он отмечен страшным таинственным проклятьем, словно появился на свет для того, чтоб мстить тем, кого любит, за все, чего сам недополучил, и мученья, которые им приносит, усугубляют его собственное горе. Горе — какое? Черт побери! Да почем он знает? Просто горе, и его не угасишь ничем, ни работой, ни мукой, которую ты доставляешь себе и другим.

Но если б девчонка исчезла, одной мукой стало бы меньше. Мать он больше пальцем не тронет, охоту к этому у него навсегда отбил долгополый поп, будь он проклят, а работать она обязана, одна ли живет, с ним ли, тут уж ничего не изменишь. Так ей на роду написано — в такой уж постели она родилась.

А девчонка пускай убирается из дома. Нет ей тут места, пускай ищет свой кусок еще где-нибудь, если не по какой другой причине, так потому, что ее молочная кожа слепит ему глаза, куда бы он ни повернулся. «Нажрался, как свинья», — говорят про него люди, но не такой уж он зверь, чтоб не знать, что можно, чего нельзя. Да только тяжело ему, и если есть где бог, он должен знать, до чего же трудно все это вынести, вытерпеть.

Вспомни хотя бы ту ночь, в июне, что ли, когда псы брехали по всей Бытни. Душная ночь была, душистая, тревожная, такая светлая от лунного сияния, что казалось, будто день на дворе. Полная луна стояла аккурат над самой богадельней, и свет ее лился в окна их комнаты, будто молоко из подойника; светящееся, блестящее, сверкающее молочное сияние, желтоватое от избытка сливок. Женщины спали: жена — измученная дневной работой, а девчонка — истомленная молодостью, которая глотает

все слишком большими глотками. Нейтек не мог уснуть — сон все чаще бежит от него — и прислушивался к дыханию женщин, он ненавидел их, как только может ненавидеть бодрствующий спящего, и глядел, как этот белый поток растекается по горнице и, заполняя ее, пядь за пядью взбирается вверх по Божкиной постели, пока не заливает и ее. Девушка переносит свет спокойно, но потом, словно сопротивляясь назойливому возлюбленному, охнув, приподнимается, сбрасывает перину, слишком тяжелую для этой душной ночи, и в этом белом-пребелом свете, который вспыхивает еще ярче, отразившись от ее кожи, Нейтеку вдруг бросается в глаза ее нога, обнаженная до бедра, голая до плеча рука и грудь, выскользнувшая из выреза легкой сорочки. Божка снова погружается в глубокий сон, дыханье ее звенит в груди легким стоном. Огонь, пожирающий его поделки, никогда не являл Нейтеку ничего подобного тому, что сейчас показал этот холодный белый свет, и никакая печь не пылала таким жаром, каким заполыхала кровь при виде этого. Он пытается сопротивляться, зажмурился, но жар пробивается сквозь веки и прочно остается на сетчатке глаз. Если бы можно было лишь смотреть и благодарить луну за подаренное. Но эта сверкающая белизной красота тянется к нему и влечет его к себе. И луна тоже остановилась, и произошло нечто ужасное — лед и пламень столкнулись, пока Нейтек извивался на раскаленных простынях искушения, бег времени, промерзшего до самого дна, остановился, и мгновению суждено было длиться вечно.

Какая бессмыслица, они тут еще дышат, хотя всему давно пришел конец. Почему бьют часы? Железное яйцо, отбившее четверть двенадцатого, звонко ударившись о мостовую далекой площади, выпустило птицу эха, она испуганно заметалась над крышами, замирая на лету, потому что знала, что поднялась над миром, где уже ничего нет. Тишина растет и достигает небес. Это гранитный столб. Кто же стучит по нему с такой силой, откуда этот грохот? Нейтек слышит стук своего сердца где-то в мозгу. Он сползает с кровати на пол, опускается на колени. Кровать не скрипнула, и пол тоже его не выдаст.

Он прислушивается.

Дыханье женщины не изменилось, прерывистое быстрое дыхание его жены, сердце которой спешит оставить позади тяжелый путь, и дыхание Божки, глубокое и ровное, лишь иногда прерываемое вздохом или взволнованное сном. Но тот, кто бьет в гранитный столб, колотит все быстрее

и отчаянней, он с такой ужасающей силой убывает, и усиливает свои удары, что Нейтек, наверное, умрет, прежде чем ему удастся бесконечно медленно и осторожно проползти те два шага, которые отделяют его супружеское ложе от кровати Божки. А тот все колотит, все бьет и тогда, когда Нейтек, достигнув цели, поднимает руку, чтобы прикрыть сверкающую Божкину грудь, и так легко, как только сумеет коснуться ее, чтобы ладонь всего лишь приняла форму груди, впитала в себя и миловалась с нею вечно.

В этот момент то ли порыв прохладного воздуха, рожденный в лесах, отдыхающих после душного дня, то ли обжигающее дыхание Нейтка или возлюбленный из сна, став воинственней,— потому что почуял близость живого распаленного желания мужчины,— коснулись девичьей груди раньше, чем это успел сделать Нейтек, и вялая до той поры и обмякшая во сне грудь эта стала наливаться упругостью подавляемой страсти, проникающей в кровь сквозь щелки сна, и увенчалась маленькой твердой ягодкой. Нейтка охватила дрожь, в гранитный столб тишины теперь уже колошматит безумец. И протянутая рука тряется над этой впервые после долгих лет тщетныхисканий воплощенной мечтой. Нейтек хочет лишь притронуться к девичьей груди легко, легонько, чтобы форма ее слилась с его ладонью, вошла в нее навсегда. Они уже так близки друг к другу, что жар ладони соединяется с прохладой груди, и вероломный супруг и незадачливый отчим ощущает шелестящий дождь мелких уколов, словно тысячи холодных иголок впиваются в его грубую кожу, и тут Божка вдруг открывает глаза. Их взгляды встречаются, в обоих смятение и ужас, хотя у каждого своя причина. Инстинктивным, быстрым движением девушки натягивает на себя перину и укрывается до самого подбородка, рука Нейтка, ведомая испугом, меняет направление и устремляется к Божкиным губам, чтобы задушить вопль испуга, который — он уверен — должен вот-вот вырваться из них. Божка, как волчонок, мгновенно погружает в нее острые молодые зубы, потом отпускает и откатывается к стене, прячется под периной, словно только сейчас сообразив, что она натворила, и скрывается от удара, который должен последовать.

Нейтек с трудом душит в себе вопль боли, которая, как ни странно, вызвала ярость. Гранитный столб тишины рухнул. Нейтек этого не отметил, тем не менее остался жив. Сердце его бьется так медленно, что он не слышит его

стука, к боли, разбегающейся от прокущенной руки по всему телу, прибавляется обморочное безразличье, как бывает у человека, слетевшего с дерева в тот самый момент, когда он потянулся к последнему, самому дальнему и самому желанному яблоку.

В ту минуту, столь необходимую Нейтеку, чтобы сбрать силы и встать, луна соскользнула с Божкиной постели и осветила стену над ней и образ пресвятой богородицы. Вид тщательно выписанных капель крови, капающих из ее пронзенного сердца, напомнил Нейтеку, что и его рука наверняка кровоточит. Он осознал, что тишина изменила свой облик сильнее, она шумит теперь широко и звонко. Нейтек знает, потому он не слышит Божкиного дыхания, но почему стихли прерывистые, торопливые хрипы его жены? Он повернулся и подошел к их общему ложу. Наклонился и увидел, что женщина смотрит на него широко открытыми, неподвижными глазами. Мертвa? Да нет, ее взгляд не покрыт ледком смерти, он обжигает холодно и злобно. Нейтек никогда бы не подумал, что эта тихая добрячка, всегда все терпеливо сносившая, чем бы он ни задумал ее одарить, способна так смотреть. Его охватил страх, он поднял руку, чтобы ударить ее, хотя впервые за годы совместной жизни не мог понять причины,— видимо, чтобы отомстить ей за свое разочарование, действительное и надуманное, а вернее, чтоб защититься от того, что тянулось к нему из ее глаз. Нейткова не шевелилась, лежала не моргая и лишь смотрела и смотрела, не отводя взгляда.

Его рука так и осталась висеть в воздухе, та самая несчастная лапа, которую пометил своим рукопожатием отец Бружеек, а сегодня еще наградила печатью своих лисьих зубов и Божка. Он поднял руку, и теплая струйка крови просочилась сквозь густые волосы, покрывающие запястье.

Далеко на площади башенные часы снесли три железных яйца, и стенающие птицы взлетели, заблудились и сгинули в тишине ночи. Нейтек не мог объяснить себе, почему не слышал, когда часы пробили половину, и как случилось, что прошло столько времени с того момента, когда он сполз с кровати. Он оторвался от взгляда жены, опустил поднятую руку и поплелся к рукомойнику.

Вода и мыло высекли из раны острую боль, Нейтек зашипел и выругался, скорее удовлетворенный, чем разозленный этой болью, такой плотской и явной. Вытерев руки и обмотав правую смоченным в воде полотенцем, он

вытащил из брюк, переброшенных через спинку стула, сигарету и пробрался на свое место у окна. Курил и смотрел в белое мерцанье ночи, в котором затерялись звезды. Луна уже исчезала из вида; она соскользнула куда-то к костелу и осветила крыши и стены домов напротив.

Перед домом, из которого недавно отправилась в последний путь Либуше Била, стоял отец Бружек с этим горластым Тлахачем, они о чем-то договаривались, а может быть, бралились. Это зрелище отвлекло Нейтека и дало возможность забыть пережитое. Он так любил обоих, что охотно поймал бы на чем-нибудь недостойном, хотя и сам не мог представить, на чем именно. Но как Нейtek ни напрягал слух, он не разобрал ни слова из их разговора, хотя они говорили достаточно громко. На нижнем этаже заплакал ребенок, и плач этот отозвался в нем самом. Пришла в голову мысль одеться и уйти прочь от этих двух женщин, прочь из Бытни. Но Нейтеку неведом бродячий дух, и бескрайность пространства скорее ужасает, чем манит его, да и вообще подобное решение было бы слишком простым и все равно не позволило бы убежать от самого себя. От судьбы не избавишься, как от никчемных поделок. Нейтек снова взглянул на тех двоих перед домом Либуше Билой и увидал, что они в испуге отпрянули друг от друга. И он тоже, задрожав всем телом, поднялся и высунулся из окна. Тень от креста на костеле легла прямо на двери домика. Ему вдруг показался смешным их испуг, поп узрел, конечно, в этом знамение, а Тлахач,— Нейтек готов биться об заклад,— наверняка наложил в штаны. Тень, она и есть тень, вот с ним этой ночью луна сыграла шутку позлее. И Нейтек подумал, что крест поставлен на всем, что произошло с ним в эту ночь.

Но он ошибся.

Сейчас, когда он глядит на Божку, склонившуюся над клумбами в палисаднике Квиса, та ночь возвращается снова. И Нейтек знает, что она будет возвращаться всякий раз, когда он поглядит на девушку.

С тех пор, как случилась та история с бургомистром, прошла почти неделя, а Эмануэль Квис за это время ни разу не покинул своего жилища. Он неподвижно сидит возле маленького столика для рукodelья в бидермейерском кресле, оставшемся после Либуше Билой, и часами наблюдает тихую жизнь Костельной улицы. Нет надежного свидетельства, которое могло бы пролить свет на то, что

произошло с ним в эти дни. Возможно, он вовсе не замечал происходившего вокруг. Очень часто проходящие мимо здоровались с ним, но не получали ответа.

— Ступайте, взгляните,— говорили они,— он спит с открытыми глазами.

Лишь несколько женщин общаются с ним, на них он производит впечатление человека, с трудом сбрасывающего усталость и безразличие.

Он, видимо, действительно утомлен, но уж, во всяком случае, не безразличен и не равнодушен. Лучше предположить, что он ведет себя как человек, достигший границы, за которой находится страна, не нанесенная ни на одну карту, и прикидывает, хватит ли у него отваги перейти эту границу. Он не так одинок, как нам могло показаться. Он объединяет в себе всех тех, в глубокие тайны души которых ему удалось заглянуть и сдвинуть с места колесико, которому предстояло навсегда оставаться неподвижным. Удивительная тайная жизнь никогда не вспыхнула бы, если бы не вмешался он. Он привел ее в движенье и ныне может жить ею. Не мелкими, робкими чувствами, а страстями. Он может стать судьей Дастьхом, который уже осознал, что под жаждой справедливости кроется желание уничтожить сводного брата и вернуть родовое поместье. Он еще не предпринял ничего, чтобы подтолкнуть брата, но верит, что все пойдет само собой, а впрочем, кто знает, что он предпримет завтра, ведь человека всегда ведет вера и он согласен помочь ей там, где она сама не может пробить себе дорогу. Он может стать братом судьи Пепеком, в ком долго сдерживаемая наследственная страсть к картам прорвала последние плотины, и теперь его несет в безбрежное море безумия, где все карты станут выигрывать, а судья Дастьх покорится ему и признает рачительным хозяином, благоразумным и рассудительным. Он мог бы стать и бургомистром Нольчем, но этот вариант уже пройден, и ему не хотелось бы его повторить. Поэтому он остановился и колеблется. Ибо чувствует, что, если ему однажды открылся этот путь, он может стать каждым, кем пожелает, но только не человеком, который сам о чем-то мечтает, чего-то хочет, что-то ненавидит или любит.

Пани Нольчова, обеспокоенная состоянием Квиса, навещала его в эти дни. Она чувствовала себя ответственной за него с того самого дня, когда привезла домой и выслушала его удивительную историю. Этот человек привлекал ее и прежде, но она не могла себе объяснить почему. Это могло быть и врожденным любопытством, ведь вся

Бытень не преминула заглянуть под пикейный жилет Эмануэля Квиса, однако пани Катержина решила найти ответ на свой вопрос у него самого.

Она приходила около четырех часов пополудни в сопровождении Марины Тлахачовой, которая несла плетенную корзинку с закуской, и, подав, а несколько позже убрав за ними посуду, наслаждалась отдыхом в саду, ожидая, когда госпожа соизволит отправиться домой. Но большую часть времени Марина, естественно, ломала голову над вопросом, чем может привлекать такую даму этот в общем-то паршивый старикашка.

Но дама и старик, оба абсолютно безразличные к тому, что о них думают, сидели за маленьким столиком у окна, на глазах у всех, кому охота поглязеть на них, и вели беседы, которые всякому охота была подслушать.

В обществе пани Нольчовой Квис оживал, он становился галантным и разговорчивым, увлеченный детскими желаниями понравиться ей и снискать ее восхищение. Ему начинало казаться, что вместе с ней он движется назад, против течения времени, в те далекие годы, которые становятся все ближе его сердцу, не изведавшему собственных чувств. И чем дальше они удалялись от времени, из которого вышли, вокруг становилось все темнее, все громче гудели голоса, поднимаясь под сводами страха; они надрывались от страостей, какие только можно припомнить и прочувствовать и против которых нет заклинания, которое заглушило бы в них эхо этого страха. Эмануэля Квиса охватывал ужас, — что вдруг в этой сумятице звуков он услышит и узнает свой голос, который освободится из тьмы и помчится сам против себя. Он не может понять, что именно кроется в этой женщине, ибо оно находится в страшном противоречии со всем прочим, что он в ней предполагает, это — будто алебастровая струйка в мутном потоке, она течет, оставаясь такой же чистой. Она соткана из света и прозрачной чистоты, она — сама любовь, мир, сочувствие, светлые мечты: если смотреть вперед, а не туда, откуда приходит прошлое, пред ней простирается мост света; но она колеблется, боится взойти на него, наверное, все из-за скорбных теней, что стоят возле, словно непонятные скульптурные группы по сторонам моста. Квис в смятении, он не знает, как быть. Жизнь в таком обличье не доходит до его понимания.

Кто-то появляется в пани Катержине, приходит из дальней дали и в неоглядные дали направляется, она не одна, целая толпа следует за ней по пятам, ее ведет по-

добное столбу света сияние, но далеко впереди, за тем мостом, который и манит и отпугивает ее, будто есть кто-то еще, кого невозможно разглядеть.

Все существо Квиса проникается уважением и в то же время страхом, и бессилием, и страстным желанием жить этой жизнью, которой он не может даже понять.

Сидящая перед ним женщина — хрупкая и одновременно твердая, и в ее лице, обрамленном волнами черных волос, в лице, слегка удлиненном, но правильном, с высокими дугами бровей и прямым носом, с губами алыми, чуть припухлыми и четко очерченными, живет красота, еще не тронутая и тенью увядания. Женщина сидит прямо и свободно, положив локти на ручки кресла, говорит живо, без смущения, как научили ее в детстве.

— Мне кажется, вы здесь не многое изменили с тех пор, как переехали, — произносит пани Катержина.

— А вы здесь бывали прежде?

— Нет. Ваша предшественница была робка и не искала общества. Я сужу так лишь по расположению вещей. Чувствуется женская рука.

— Я действительно ничего не изменил, не могу себе представить, как можно было бы расставить все иначе.

— Но вы, вероятно, будете чувствовать себя здесь гостем, если не разместите вещи по-своему.

Эмануэль Квис беспокойно ерзает, словно задели его чувствительное место. Затем медленно, будто только что открыл истину, которая раньше ускользала от него, произносит:

— Я в этом не разбираюсь, я никогда этого не делал, я жил в квартирах, которые обставляли другие. И мне никогда не приходило в голову, что надо что-либо менять в обстановке. Сначала я жил в квартире своих родителей, а потом, до того момента, как приехал сюда, в меблированных комнатах.

Пани Катержина сидит какое-то время молча и думает о том, что услышала. Потом произносит с застенчивой улыбкой, которая делает ее лицо совсем девичьим.

— Извините, я, видимо, завела разговор о том, что вам неприятно. Меблированные комнаты. Не могу себе представить, чтобы кто-то добровольно прожил в них на час дольше, чем вынужден. Чем они привлекали вас?

Квис отворачивается и глядит в пространство, и отзвук чего-то, пережитого очень давно, делает эту безнадежную пустоту еще более пустой. Наконец он говорит:

— Людьми. Я надеялся таким образом увидеть их ближе и в конце концов насытиться их обществом.

— Насытиться? Обычно мы пресыщаемся их обществом чересчур быстро и мечтаем от них избавиться.

По непонятной причине Квис вдруг разволновался и выпаливает агрессивно, словно обвиняя пани Катержину в своей судьбе:

— Так считаете вы и те, кому есть чем жить.

Он машет рукой, заранее пресекая любые возможные возражения.

— Я имею в виду не деньги. Денег у меня было всегда достаточно, чтобы жить, не работая.

Он театральным жестом указывает на свою грудь:

— Но вот здесь — здесь надо иметь свой капитал.

Пани Катержина опускает голову, чтобы в ту минуту не смотреть на Квиса — вид его не отвечает ее представлениям о чувстве меры, — и разглядывает синие, карминовые и золотые цветы на чашках. Когда она снова поднимает взгляд, в глазах ее проглядывает робость и слова звучат неуверенно:

— Я вас не понимаю. Каждый несет в себе что-то, чем он живет или даже от чего умирает.

Квис взволнованно приподнимается в своем кресле и почти кричит:

— Но только не я, нет, не я!

Он снова падает в кресло и смотрит пристыженно, как мальчик, который очень старался вести себя хорошо, но не выдержал. Он умоляюще глядит на пани Нольчову.

— Извините старого человека, я позволил себе увлечься. Это обязывает меня объясниться.

— Боже мой, зачем? Я вынудила вас к этому своими неуместными вопросами. Хотя я не имею права вторгаться в вашу личную жизнь.

— Нет у меня никакой личной жизни, — отвечает Квис с каким-то упрямством и снова несколько вызывающе. — Я сказал, что обязан объясниться, но теперь вижу, насколько это трудно. Вам придется удовлетвориться простым изложением фактов, хотя описательность, даже при величайшей точности и доброй воле, не всегда полно отражает истину, а порой даже искаляет. Не знаю, право, когда это началось, видимо, таким я появился на свет. Думаю, что первое человеческое чувство — это любовь к родителям. Мне не довелось его испытать, и, вероятно, поэтому я никогда не испытал любви ни к кому. Не подумайте, будто я был извергом. По некоторым свидель-

ствам, я всегда был спокойным, даже флегматичным ребенком. Слушался своих родителей, но они были мне безразличны, как и я им, и они взаимно друг другу. Родители заботились обо мне, но без энтузиазма. Смерть отца, когда мне было десять лет, тронула меня так же мало, как тридцатью годами позже смерть матери, хотя я все это время жил с ней и никогда ее не оставлял. Я знал ее, как себя. Впрочем, знать было нечего. Я хотя бы проявлял любопытство к происходящему с другими, она же к этому была совершенно безразлична. Она пробуждалась от своего оцепенения, лишь когда возникала опасность, что я покину дом. Тогда она умела собраться с силами и развивала поразительную активность, чтобы удержать меня при себе.

Квис замолчал, чтоб перевести дух, и долил себе какао из термоса, принесенного пани Катержиной. Гостья, сраженная только что услышанным, вопреки своей обычной деликатности, произносит:

— Но это ужасно.

Квис отхлебывает какао и оживленно моргает глазками, словно ее замечание удовлетворяет его.

— Не правда ли? Может быть, я не прав, но чувствую, что на вас это произвело впечатление. Вы понятия не имеете, какого мне стоило труда отличать одно чувство от другого. Я знал их не по опыту, а, скорее, как читатель, который черпает знания о чужих краях из путевых заметок, либо как турист, который восхищается соборами, горными хребтами чужих стран или закатом солнца над морем, но не имеет ключей к тайнам их красоты. Однако я все больше и больше мечтал испытывать чувства хотя бы чужие, если не свои.

Пани Катержину вдруг охватывает головокружение, словно она заглянула в бездонную пропасть, бросила в нее камень и напрасно ожидает стука падения. Она достает платочек, смоченный одеколоном, проводит по губам и глубоко вдыхает воздух, насыщенный ароматом цветов из садика перед домом.

— Не хотите ли вы сказать, что вообще не знали никаких чувств?

Эмануэль Квис радостно задвигался на месте и, наклоняясь, оживленно закивал.

— Совершенно верно. Я не знал ни любви, ни ненависти, сочувствия или отвращения, жестокости или нежности. Сначала они привлекали мое любопытство, как других занимают жучки или цветы. Я выискивал их и изучал, словно считал лапки, лепестки, тычинки. Но я увлекся

ими, мне их недостает, потому что невозможно познать их, не испытав их власти.

— Давно ли вам их недостает?

— Пожалуй, особенно сильно я ощутил их отсутствие лишь после смерти матушки. До этого я удовлетворял свои желания и любопытство лишь от случая к случаю. Но вернемся к моей матери. Она связывает нас с тем местом, где мы сейчас находимся. Я говорил вам, что она проявляла кипучую деятельность лишь в страхе, что я оставлю ее одну. В те годы я познакомился с женщиной, которая единственная вызывала у меня большее любопытство, чем остальные. Это была моя двоюродная сестра Либуша, та, которой принадлежал этот домик. Она вбила себе в голову, что выйдет за меня замуж, и мы, вероятно, явили бы собой парочку, подобную моим родителям. Но Либуша не сумела противопоставить свою волю воле моей матери, а я ей в этом никак не помогал. Видимо, меня больше занимало само их соперничество, и я ждал, когда же оно достигнет наибольшего накала, нежели его разрешения. В конце концов Либуша рассудила ждать, пока моя мать умрет. Но она не была достаточно последовательна в этом своем решении и за год до смерти матери перебралась сюда. Полагаю, до последнего своего часа она верила, что я приеду за ней, и посыпала мне одно-два письма в год. Но за это время я сделал иные выводы и понял, что мы вдвоем не достигнем ничего иного, нежели повторения уже известной вам судьбы моих родителей. Кроме того, я должен был воплотить свои мечты познавать жизнь, а рядом с Либуше мне пришлось бы отказаться от них. В конце концов я все же приехал, слишком поздно для нее, но вовремя для себя. И вот теперь, сидя в ее кресле, я чувствую, что мы соединились с ней более крепкими узами, чем могли бы мечтать, будь она жива. Ее судьба соединяется с моей, и я могу сделать значительно больше для нашей судьбы, чем была в состоянии сделать она.

— Кажется, я начинаю понимать, отчего она всегда была так печальна, замкнута, словно постоянно кого-то ждала,— проговорила пани Катержина, и перед ее глазами возник образ женщины, бредущей по бытеньским улицам, которую всегда отделял от всех невидимый, но непреодолимый забор ее палисадника.

— Она ждала не меня,— отвечает Квис,— она ждала жизни, которую я не мог ей дать.

— Не понимаю этого. Люди не доверяли ей и суеверно считали, что она приносит несчастье. Она же любила

детей, звала их к себе, угождала. Она не могла быть плохой.

— Она была ни плохая, ни хорошая. Она искала дорогу к людям и потому стала им подозрительна.

— Ну, а вы?

Квис опять развелся, он ерзает в своем тесном кресле и наклоняется через столик к пани Катержине.

— Это уже совсем другое. Я узнал цену любопытства на самом себе и научился возбуждать его в других. Люди сближаются со мной, чтобы выведать подноготную, и тут обнаруживают, что видят лишь самих себя, словно я есть их отражение.

В тоне Квиса слышатся хвастильные нотки, пани Катержине они неприятны, но вместе с тем они принижают, умаляют значение его слов, и потому не так ужасают ее.

— За те годы я изучил целую гамму чувств и даже стал привередлив, я преуспел больше, чем рассчитывал.

— Некое ясновидение или чтение мыслей?

Тут Квис раздраженно вскакивает со своего места, семенит через всю комнатку к дивану у противоположной стены, затем возвращается к окну. Он склоняется к пани Катержине и глядит на нее, словно хочет испепелить вдруг загоревшимся взглядом.

— Неужели вы не поняли? Я не ярмарочная гадалка. Я так же мало знаю о том, что вы сейчас думаете, как этот термос или столик. Ваши мысли ускользают от меня, но я знаю — любопытство в вас сейчас смешалось с отвращением ко мне, я в состоянии переживать и чувствовать вместе с вами. Вы не понимаете неестественности моего положения? Я отвратителен сам себе, но лишь благодаря вашим ощущениям. Вы помните, я рассказывал вам о человеке в тот день, когда вы подобрали меня на Худеевицком шоссе?

Пани Нольчова, сохраняющая невозмутимость истинной дамы, привыкшей владеть любой ситуацией, оживляется, аффектированное поведение Квиса увлекает ее, и она просит:

— Садитесь, пожалуйста, и расскажите, встречались ли вы с ним еще.

Квис покорно, словно мальчишка, усаживается на свое место и отвечает поначалу хмуро и обиженно:

— Нет, и надеюсь, никогда больше не встречусь. Если такое случится, это, верно, будет мой последний час. Однако я припоминаю, что тогда сообщил вам не все

факты. Я видел, как тот человек поднял лицо к солнцу и раскинул руки, словно только что с чем-то окончательно свел счеты и потому чувствует огромное облегчение. Будто он сказал себе: «Конец! Начинаем все сначала и уже никогда не вернемся назад». Это было великое и правдивое мгновение, как и сам этот человек. Впервые я ощутил в груди такую широту, решимость и силу — это он дал мне возможность ощутить все это. Но вместе с тем я также знал: то, что он с себя сбросил, нельзя так просто затоптать. Я подумал: а что, если за этим последует продолжение? Однако я не предполагал, что оно придет так скоро. Когда я остановился возле спящего бродяги, я понял, что, должно быть, чувство это вошло в него сначала как искушение, для того чтобы он мог испытать, насколько прочна его решимость, либо убедиться, насколько эта игра ничтожна и для осуществления задуманного у него все равно никогда недостанет смелости. Но я уже жил с ним одной жизнью, и это была самая страшная игра, в какой я когда-либо принимал участие. Я хотел испытать до конца все, что может родиться в человеческом сердце.

— Вы хотите сказать, что ту мысль внущили ему вы? — в ужасе перебила его пани Катержина.

— Я не мог ее внушить, она в нем уже была. Я ведь сказал вам, что еще минутой раньше я считал, что он навсегда похоронил ее в себе. Я желал лишь одного — чтобы он понял: в человеческой душе нет черты, которую невозможно было бы переступить. И он начал ее преодолевать. Вот что было страшно. Это было больше того, что я был в состоянии вынести.

Пани Катержина отвернулась и смотрит в окно на клумбы перед домом, на улицу, где с криком носятся дети, на богадельню, вопиющее убожество которой безжалостно обнажило яркое полуденное солнце. Кто-то проходит вниз по Костельной улице и здоровается, снимая шляпу. Пани Нольчова, не глядя на прохожего за забором, кивает в ответ, она вслушивается в заключительные слова рассказа Квиса, заинтересовавшие ее. Возможно, с ней поздоровался отец Бружец, но для нее сейчас это не имеет никакого значения. Декану не по душе ее визиты к Квису, он уже заводил об этом разговор, и, хотя по существу не сказал ничего, пани Катержина почувствовала, что он не доверяет Квису и связывает с ним понятие хотя и неопределенного, но очень опасного зла. Возможно, этот милейший святой отец недалек от истины, а пани Катержина — верующая христианка, но она не из тех, кого можно переубедить,

если они на что-то решились. А впрочем, дело не в том, что думает и чего хочет отец Бружец, важно, что сказал этот старик о черте, которую нельзя перешагнуть. Она не замечает и расширенных глаз Квиса, прилипших к ней, словно щупальца спрута.

Квис ожидает напрасно; пани Катержина в достаточной мере обладает врожденной дальновидностью и не выдаст себя опрометчивым вопросом. Напротив, Квис чувствует, несмотря на испуг, что она собирает резервы своих сил, чтобы укрепиться в борьбе с ним. Она колеблется, чувствуя бездонную трясину под тонкой поверхностью цветущего луга, через который тянет ее перебежать. Одни руки ее обнимают, чтобы удержать, сильные руки, столько лет бывшие ее защитой и колыбелью, в которых она находила любовь и покой, но на другом конце луга к ней тянутся другие руки и ждут ее объятий, что остались пустыми, словно гнездо, где никогда не раздавались голодные голоса птенцов. Квис убежден — его рассказ навел пани Катержину на мысли, которых она до сих пор с величайшим трудом избегала, но какие это мысли?

Ему кажется, будто внутри у него вдруг все застыло, его охватил холод, которого не измерить никаким градусником. Холод этот не может исходить от пани Нольчовой, хотя Квис никогда в жизни не встречал человека, который в долю секунды смог бы окружить себя столь высокой стеной недоступности, — холодом потянуло из того мира, которого коснулось ее страстное желание. Квис совершил ошибку, пошел на поводу у тщеславия, единственного свойственного ему чувства, которое время от времени выходит из рамок и играет с ним злые шутки, как раз тогда, когда ему этого меньше всего нужно. Еще никогда он не заходил так далеко, как сегодня. Пани Катержина вообще была первой, кому он о себе рассказал, он открыл ей больше, чем это могло пойти на пользу его намерениям, он разрушил чары любопытства, которые влекли бы ее к нему снова и снова, пока не исполнилось бы то, чего пани Катержина так боится и так страстно желает. И все же, даже охваченный тревогой, Квис не теряет уверенности в том, что разбередил в ее душе нечто такое, что приведет ее к нему обратно и раскроет ее всю, даже если она возведет вокруг себя стены еще более высокие.

Квис ждет вопроса или реплики, которые вернут пани Нольчову к их беседе. Но гостья переводит разговор на его здоровье, дает несколько советов, которыми люди молодые могут довести старших до исступления, вспоминает о неу-

молимо бегущем времени и просит его позвать Марину. Пани Катержина прощается с Квисом бесстрастным пожатием руки, в котором Квис тщетно ищет следы прежнего интереса и участия. После ее ухода он долго сидит вялый и угасший, с лицом, старчески морщинистым, и люди, идущие по Костельной улице за отпущением грехов, ощущают в своих мыслях леденящий ветер и полагают, что старик сидит в своем кресле очень уж неподвижно, и это неспроста.

Мадемуазель Элеонора Дастьхова посетила своего брата судью. Судья наблюдал за ней с того момента, как она вышла из калитки усадьбы и направилась через площадь к зданию суда. У судьи было достаточно времени, чтобы приготовиться к визиту сестры, как он мог предположить, ничего приятного не сулящего.

И вот она сидит напротив него в старом, потертом кресле для посетителей, на месте, заведомо неудобном для каждого, кто на нем окажется. И тем не менее судья не чувствует в себе обычного присущего ему превосходства; не приходит на помощь ни мощное прикрытие — стол, заваленный бумагами, ни высокое судейское кресло, ни тень, которая закрывает его лицо, когда он сидит, привычно повернувшись спиной к окну. Такой противник, как Элеонора Дастьхова, одним своим присутствием, еще не начав разговор, разрушает традиционную стратегию судьи. Она спокойно подставляет свое бледное лицо свету, и от этого тусклая синева ее глаз лишь приобретает серый ледяной оттенок. Плоская, угловатая Элеонора никогда не была хороша собой, но успела понять это прежде, чем сей факт стал причиной ее страданий, и устроила свою жизнь соответствующим образом. У нее было достаточно большое приданое, чтоб возместить им отсутствие красоты, но она рассудила, что покупать себе мученья за такую кучу денег — плохая сделка. Ее состояние давало ей независимость, а ум, острый и ироничный, не позволял озлобляться и скорее вел к людям, чем отдалял от них. Она была женщиной до глубины души, но проявляла свою женственность лишь в той мере, в какой считала нужной. Глубоко в себе она скрывала неисчерпаемый источник нежности и доброго интереса к другим людям, и это спасало ее от клейма старой девы. Она, пожалуй, была не прочь пригодиться, но этого никто не замечал, так как носила неяркие одеяния. Большинству жителей Бытни могло даже пока-

заться, будто она постоянно ходит в одном и том же платье. Просто Элеонора избрала для себя спортивный стиль, в котором изменяла очень немногое, а ткани, из которых шила, были всегда столь же неброски, сколь хороши по качеству. Вот и сейчас она пришла в одном из таких платьев, в туфлях на низком каблуке и в плоской шляпке, ее светлые пепельные волосы, верно, не поседеют и в шестьдесят.

Судья догадывается, зачем она явилась, и смотрит в ее блеклые глаза с плохо скрываемым беспокойством. С самого детства она всегда одерживала над ним верх, хотя была на три года младше; он боялся ее насмешек и если иногда пытался поколотить, то это всегда кончалось его поражением, потому что Элеонора дралась с диким ожесточением, которого он не мог преодолеть, серьезно не покалечив ее. Мальчишеский страх перед ней живет в нем и по сей день. Элеонора это знает и держится с присущей ей беспощадностью. Она щелкает пальцем по стопке старых папок, густая пыль поднимается вверх и кружит в воздухе.

— У тебя никто не убирает, что ли?

— Здесь не салон, а контора,— ворчит судья, полагая, что этим ответом в достаточной мере отбил атаку Элеоноры.

— Ах да, я и забыла, что пыль и дела неотъемлемы друг от друга. Пока дело не покрылось пылью, оно не созрело для разрешения, не так ли?

— Старые глупые остроты.

Элеонора снова щелкает по стопке бумаг; пыль поднимается, как после невидимого взрыва, и тут от одной из них — ибо это очень старые, истлевшие от времени бумаги,— от одной из них отламывается уголок не больше мелкой монеты и, желтоватый и легкий, словно увядавший листочек, покачиваясь, опускается на пол. Элеонора отводит взгляд от лица брата и следит за колеблющимся полетом этого куска сажи, вылетевшего из горнила времени. Поэтому она не замечает беспокойства судьи, и старая папка остается для нее просто трухой и рассадником пыли. Если б Элеонора могла развязать опутывающую папку бечевку и осторожно и с брезгливостью порыться в ее утробе, то обнаружила бы там протоколы первого года судебного разбирательства той безумной тяжбы, которая дотла разорила ее дедушку по материнской линии. Зачем держит судья на столе такой хлам? Действующие лица этой истории давно исчезли за кулисами, а за ними должен наконец навсегда опуститься занавес забвения. Может

быть, судья поддерживает этими трухлявыми поленцами огонь в своем очаге? Но мадемуазель Элеонора, и счастью, видит лишь обрывок бумаги, разыгравший перед ней небольшую сценку распада и гибели всего на свете. Впрочем, Элеонора не заглядывает так далеко вперед, и это незначительное отступление сливается с темой ее разговора. Элеонора, словно не слыша ответа, заявляет:

— Боюсь, что ты и сам за эти годы насквозь пропылился, из тебя тоже необходимо основательно выбить пыль.

Судья издает невразумительное восклицание, более всего похожее на фырканье, и начинает постукивать карандашом по бювару. Элеонора бросает на карандаш косой взгляд, карандаш, не выдержав, сбивается с ритма, еще несколько раз неуверенно постукивает по бювару и падает.

— Протух ты основательно, что правда, то правда. Другие в твои годы стали по меньшей мере начальниками земских судов.

Лицо судьи багровеет от прилившей крови.

— Всем известно, что я мог уйти, и не раз, но я откался. Любовь к родному городу, пренебрежение к карьере и так далее. Я имею право устраивать свою жизнь, как мне заблагорассудится.

— Все это сказки, которые ты же распускаешь. Видимо, ты рассказываешь их и самому себе, чтобы заглушить правду. Сожалею, что лет десять — пятнадцать назад у меня не хватило мужества взять кнут и погнать тебя прочь отсюда при всем честном народе.

— Лени!

Мадемуазель Элеонора лишь вяло и небрежно машет рукой, гнев брата ее мало волнует.

— Хорош судья с теми представлениями о правосудии, которые ты сам выдумал!

— Не понимаю. Я служу закону и всегда делал лишь то, чего от меня требовал закон.

Элеонора взрывается. Она приподнимается из неудобного кресла, и серые льдины ее глаз сверкают.

— Если ты говоришь о своем служении закону, чего же ты сидишь здесь? Почему давным-давно не ушел? Зачем вообще вернулся в это гнездо? Только для того, чтобы портить себе жизнь и растреваливать сердце?

— Я доволен. Мне нигде не было бы лучше.

— Еще бы, — говорит Элеонора презрительно, — а почему бы нет? Есть и такие люди. Их счастье в том, чтоб постоянно чем-нибудь бередить свои раны и посыпать

их солью. Самый страшный враг для них тот, кто хотел бы подуть на рану или, более того, ее излечить.

Филип Дастьых пытается спрятаться от сестры за стеною неотложных дел. Он поднимается и заявляет:

— Сожалею, Лени, но нам придется перенести эту личную беседу на более подходящее время.

Глаза мадемуазель Элеоноры блестят злорадством.

— Садитесь, пан советник. Может, я пришла именно по официальному делу. Однако сомневаюсь, что это будет тебе приятнее.

Судья Дастьых сдается и с глубоким вздохом садится. Солнце за это время передвинулось и, отражаясь от полуоткрытой створки окна, светлой полосой ложится между сестрой и братом. Они смотрят один на другого сквозь границу, сотканную из сверкающих танцующих пылинок, оба — пленники своих миров, которых вдруг сблизило грустное сознание того, что они бесконечно далеки и одиноки. Они готовы пойти навстречу друг другу по канату неожиданно ожившего чувства, натянутому над пропастью лет, прожитых в отчуждении, на дне которой поблескивают валуны общих детских воспоминаний. Но они не приучены к подобной акробатике, и у обоих начинает кружиться голова еще до того, как сделан первый шаг. Судья испуганно опускает веки за стеклами своих очков и голосом, каким обычно обращается к посетителям, произносит:

— Так с чем же ты пришла, Лени?

Мадемуазель Элеонора глотает какой-то обжигающий комок, который, опускаясь все ниже, превращается в кусок льда. «Ах ты бедняга,— думает она,— оба мы бедняги, и кто-нибудь, у кого сердце помягче, заплакал бы, глядя на нас».

— Я пришла спросить, известно ли тебе, что происходит с твоим братом?

— Я не люблю, когда мне напоминают об этом сомнительном родстве,— гудит судья.

— Нравится это тебе или нет, у нас общий отец, тут уж ничего не изменишь. Хотя вы оба унаследовали больше черт от ваших разных маменек, и еще больше от их весьма удачливых папаш.

— Один из них был не только моим, но и твоим дедушкой, Лени,— замечает судья обиженно.

— Вот видишь, но тут уж я не люблю, когда мне напоминают об этом,— смеется Элеонора.— Перестанем упрекать друг друга предками. А ты не притворяйся! Тебе

отлично известно то, что известно всему городу. Пепек принялся пить и играть в карты с таким размахом, что его дед наверняка переворачивается в гробу от зависти. Что нам против этого предпринять?

Судья недвижим, он молчит. Луч отраженного света передвинулся на стену за его спиной и осветил широкие, потертые корешки сводов законов, размещенных на полке, прогнувшейся под их тяжестью. С площади за окном сюда врывается шум и такие знакомые звуки, что они уже давно слились со стуком сердца. Глубокий вздох вздыхает грудь судьи, но по глади привычных звуков стучат шаги, они приближаются, и никто не может остановить их, кроме судьи, потому что никто их не слышит.

— Не знаю, что ты задумала. Мы не можем запретить людям играть с ним в карты, а трактирщикам продавать ему вино.

Но мадемуазель Элеонора обладает тонким слухом и, даже не слыша тех шагов, ощущает их отзвук в голосе брата.

— Сдается мне, будто тебе это доставляет удовольствие.

Взгляд судьи избегает лезвий сестриных глаз.

— Не понимаю, откуда ты это взяла?

Элеонора некоторое время борется со страстным желанием наброситься на него, бить и царапать, как когда-то в детстве.

— Мы должны найти решение,— говорит она твердо,— и ты не смеешь уклоняться от своих обязанностей. Пепек ставит под угрозу не только себя. У него жена и дочь, и имение, которое надо сохранить.

— Преждевременная тревога.

— Запоздалая тревога ничего не спасет. Он проиграл все наличные деньги, все, что выручил за урожай, не оставил даже на уплату налогов. Он продал уже шесть коров, продал бы и пару коней, если бы ему не помешала Лида. Она выгнала покупателя со двора кнутом, Пепек этому не посмел воспротивиться. Теперь он ищет, где бы получить ссуду. Явился ко мне, а когда я отказалась, отправился к старому Гаразиму. Этот скупердяй все рассказал мне. «И зачем,— прикинулся он дурачком,— вашему уважаемому брату понадобились деньги? Он просил у меня тридцать тысяч под двенадцать процентов. Вы ошибаетесь,— ответил я.— У меня не банк, а ростовщиком я не занимаюсь». Пока он говорил, я думала о нашей Лиде и о его сыне. Ну, да ладно, сейчас не это важно, они сами

выйдут из положения. Пепек обратился в ссудную кассу. Просит дать ему шестьдесят тысяч под недвижимость.

— В этом никто не может ему воспрепятствовать, — произнес судья и впервые за все время разговора улыбнулся, словно это сообщение доставило ему удовольствие, — имение принадлежит ему.

— Но разве ты не видишь, как он относится к семье? — волнуется Элеонора. — Его жена хочет обратиться в суд с просьбой установить над Пепеком опеку. Я пришла посоветоваться с тобой на этот счет.

— Тысяча-другая, которые он пропил и прогулял, еще не причина, чтоб его объявили неправоспособным.

— Найдется достаточно доказательств его ненормальности. Хотя бы то, что он боится часов и, где может, останавливает их. Или фокусы, которые он устраивает у себя в кабинете. Запрется на полдня и бранится сам с собой. Я пыталась поговорить с ним, взывала к его разуму, но он ответил, что я ничего не смыслю, он играет в карты не для своего удовольствия, а чтобы доказать, что тот, кто будет играть достаточно долго, непременно выиграет. Деду это не удалось только потому, что не хватило времени. Но он, мол, обманул время, разобрался, что к чему. И теперь его час настал. Он уже будет выигрывать всегда. Тогда уж и живым и мертвым будет не до смеха, никто не посмеет сомневаться в том, что его дед умел выигрывать не только тяжбы, но все, чего бы ни пожелал. Под мертвыми, чтоб ты знал, он подразумевает нашего деда, а говоря о живых — тебя. Он отлично знает, чего ты здесь ждешь и кто этого ждет вместе с тобой.

Брат бледнеет, но продолжает улыбаться. Башня на ратуше начинает выплачивать прошедший час одиннадцатью звонками золотыми. Судья считает их про себя, обдумывая сказанное Элеонорой о времени. Нет, время невозможно обмануть или избавиться от его плодов. Время — вечно плодоносящее древо, каждую секунду отдающее свой урожай кому-нибудь иному. И кажется ему, будто он сейчас сводит счеты с теми временами, когда стоял под этим деревом, не смея даже подумать, что и его яблоко созреет. Впрочем, он этого и не ждал. Просто торчал здесь и смотрел на белые ворота усадьбы, которая выбросила его, переваривал свои думы и подавлял всякие чувства, но был всегда достаточно благоразумен, чтоб признать их нелепость. Кто сидел здесь, на месте Элеоноры, и говорил о мыслях, которые сбрасывают и трубы с крыши? Кто говорил здесь об абсолютной справедливости,

которая сразу же утрачивает свою абсолютность, если ее хоть чуть-чуть подтолкнуть? Но что, если труба сама сдвинулась с места, поддавшись идее, которая расшатывала ее основание, будто западный ветер?

Он отводит глаза от испытующего и выжидающего взгляда Элеоноры, предпочитает смотреть поверх ее головы на спинку кресла с потрескавшейся kleенкой, прибитой к полированному дереву гвоздями с большими выпуклыми шляпками. Он давно не замечает их — таков закон вещей, повседневно окружающих нас, о существовании которых нам напоминает лишь их исчезновение. И вот два гвоздика, как раз над самой головой Элеоноры, очевидно распаленные мстительным желанием, которое будит в вецах наша к ним безучастность, превращаются вдруг в пару фосфоресцирующих глаз спрута. Судья глядит на них с насмешливым вызовом, он узнает их, вспоминает, когда встретил их впервые и почему они здесь появились именно сейчас. «Довольно и глаз, — думает судья, — тело было лишь смешным дополнением к сюртуку с тремя пуговками и двубортному пикейному жилету, с этим лицом, зеркально отражающим все то, что происходит на вашем лице. Подходящий экземпляр, — думает Филип Дастьых, — из таких надо делать следователей». Если б он в самом деле сидел здесь на месте Элеоноры, то, вероятно, сказал бы: «Пан советник, позвольте сделать небольшое замечание. Намеренное бездействие при определенных обстоятельствах есть действие». В этом нет сомнения, точно так же, как нет сомнения в том, что латунные шляпки гвоздей вовсе не глаза, но судья охотнее тешит себя иллюзиями, ибо в краях, где он обитает, лучше избегать реальности. Ведь вся эта история уже не принадлежит живой жизни, хотя последний акт разыгрывается здесь. Незаконченная тяжба — нечто столь громоздкое, что может перерости рамки одной человеческой жизни; вечность отказывается принять ее, и до тех пор будет возвращать ее земным инстанциям, пока суть ее не станет размолота жерновами последнего, уже не подлежащего обжалованию, приговора. Судья уверен, что не ошибается. Доказательство простое: как иначе эта тяжба могла бы продолжаться, ведь затеявшие ее давно покинули сей мир. Он защищал проигравшего, но разве не сказала только что Элеонора, что и победитель не считает свое дело завершенным? А если б ушли они оба, он и Пепек, не достигнув разрешения, разве не возродилась бы тяжба в подобии, которого мы нынче не в силах себе представить? Лишить Пепека правоспособности? Такой

приговор не устраивает судью, хотя выглядит разумным: справедливы и человечны все, кто не может смотреть на дело глубже. Ведь Филип Дастьых уже было совсем потерял надежду, что при его жизни что-либо изменится, и вот теперь, когда дело снова сдвинулось, что же — он должен помешать ему достичь последней желанной станции?

Элеоноре надоело молчаливое ожидание и бесплодные попытки прочесть что-либо на лице брата, и она заявляет:

— О чем тут долго думать? Разве тебе не ясно, что происходит с Пепеком и что является нашей обязанностью?

Судья отрывается взгляд от латунных шляпок, притворившихся глазами, которые исповедовали его и направляли по железному пути, он снимает очки и начинает протирать их. Близорукость незамедлительно обволакивает все своей приятной туманной кисеей, размазывает лицо сестры, делая его мягким и невыразительным, и гасит холодный блеск ее глаз. Так-то оно лучше, и судья готов играть очками до конца ее визита.

— Ты придаешь слишком большое значение пьяной болтовне. Кто знает, может быть, она содержит правду, которая (судья колеблется, а затем избирает множественное число) ускользает от нас. Опираясь на свой опыт, могу сказать: для обоснования выдвинутого тобой требования этого недостаточно.

— Чепуха, — отвечает Элеонора резко. — Все, что ты сказал, чепуха. В конце концов мы найдем достаточно свидетелей, которые охотно подтвердят, что поведение Пепека ненормально. И сделают это с чистой совестью.

Судья продолжает протирать очки с тщательностью, в которой, несмотря на некоторую нарочитость, есть еще и педантизм старого холостяка, а потом вдруг поднимает лицо, оголенное и чужое без защитного заслона стекол, и заявляет с неожиданной решимостью:

— Нет, и я сделаю все, чтобы помешать, законно помешать положительному разрешению подобного требования. Этот путь не отвечает моему представлению о правосудии.

Элеонора резко и негодящее поднимается, старое кресло откатывается назад и качается.

— Что же, в таком случае, отвечает твоему представлению о правосудии?

Она швыряет в брата слова, словно камни, однако это не округлая галька, а слова грубые, насмешливые, ироничные, словно дорожный щебень.

— Чтобы имение пошло с молотка и попало в чужие руки? Чтобы Пепек превратился в городского дурачка, а его жена и дочь стали батрачками?

Но Филип Дастьых улыбается, словно видит, как в этом сером каторском сарае, провонявшем пылью и ветхостью, к нему приближается какое-то давнее видение.

— Кто сказал, что оно попадет в чужие руки и что я оставлю своих близких в позоре и нищете?

Элеонора отлично слышит все, что говорит брат, но она ждет, пока слова его упадут в ней на самое дно, и еще какое-то время прислушивается к их отзвукам, чтобы поверить сказанному. И когда отзвук поднимается в ней во всей своей страшной правде, вынося на поверхность все подозрения, которым она долгие годы отказывалась верить, она видит не бледных утопленников, а хищные призраки глубин, которые вдруг приобретают и плоть, и жизнь. И, поняв это, мадемуазель Элеонора ощущает головокружение и разом утрачивает всю свою воинственность. Она и всегда-то бледна, но сейчас, побелев до обморочной белизны, спешит хотя бы одной рукой ухватиться за стол.

— Боже мой,— шепчет она и повторяет, словно не находя иных слов: — Боже мой.

Судье, по всей видимости, безразлично потрясение сестры, он слишком занят собственными мыслями и придает ей иной смысл. Он отвечает на вопрос самому себе или кому-то, очень далекому, отвечает на вопрос, заданный давно, но остававшийся долгие годы без ответа:

— Право первородства старше всех писаных законов.

Элеонора успевает прийти в себя и обретает обычную уравновешенность. Ей будто показали ее прошлую жизнь на одной ярко освещенной картине, и она мгновенно поняла, почему все происходило именно так, а не иначе, почему и она осталась здесь, а не отправилась куда-нибудь, ведомая собственными стремлениями, в поисках приключений, почему ей всегда казалось, что кто-то поставил ее на страже и сказал: «Бди неустанно!» Она не смеет поддаваться слабости, если то, что происходит и, видимо, еще будет происходить, вызывает к ее силе. Она нагибается через стол к брату и говорит металлическим голосом, звук которого заставляет ее самое похолодеть:

— Есть на свете еще иные права, которых тебе не найти в сводах законов и, видимо, в своем сердце. Право жизни и любви, право примирения и забвенья. Ты задушил их в себе ради единственного сомнительного права, в котором тебе было отказано. Я всегда подозревала тебя

в этом но никогда не хотела этому верить. Но Пепек-то понял, зачем ты сюда приехал. Ты лег тенью на все его начинания. Все, что он делал, он делал лишь для того, чтобы убедить тебя и себя в том, что он рачительный хозяин и что он имеет на это право. И делал все плохо, потому что очень хотел делать хорошо и так боялся тебя. В конце концов он пошел по пути своего деда только для того, чтобы доказать самому себе, что не должен тебя бояться. Но я заявляю: ты упустил свое время и ждал напрасно. Я позабочусь, чтоб имение осталось Пепеку, его жене и Лиде.

Судья вжимается в спинку своего кресла, но ему не скрыться. Лицо Элеоноры приближается к нему настолько, что прорывает завесу близорукости, слова ее сыплются дождем горячих искр, он съежился, но это его не спасает, ему не удается стряхнуть их, они не отстанут, пока не извергнут на него всего своего обжигающего жара.

Избитый и обожженный, как волк, в которого швырнули горящим поленом, судья тем не менее воспрянул для возражения.

— Замолчи,— произносит он глухо, словно боится повысить голос,— ты не смеешь так говорить. Я не собираюсь лишать Анну и Лиду того, что им принадлежит. Я ведь один на свете. Речь идет только о Пепеке и обо мне, а этого тебе не понять. Это более старая тяжба, чем ты можешь себе представить.

— Старая тяжба? — повторяет Элеонора.— Что за старая тяжба?

Судья уже настолько пришел в себя, что может совладать даже со страхом перед сестрой. Он поднимается и решительно заявляет:

— Сейчас мне недосуг объяснять тебе это.

Судья, однако, не учел вероломства случая, этого разбойника с большой дороги, который любит пожинать то, чего не сеял. Кто-то стучится в дверь, которая ведет из его кабинета в коридор. Судья отвечает громко и почти весело:

— Войдите! — ожидая, что пришедший избавит его от Элеоноры.

Дверь приотворяется, и старый писарь протискивает в щель плешившую седую голову, плечи в люстриновом пиджаке и руки, держащие какие-то бумаги.

— Прошу прощения, пан судья, я полагал, что вы изволите быть один.

Больше он ничего не успевает сказать, потому что ветер, который до сей поры лишь скользил вокруг окон

кабинета, почуяв вдруг связь с открытым окном на противоположной стороне дома и прия в восторг, словно проказник, обнаруживший новую лазейку, ворвался сюда диким сквозняком. Бумаги на столе судьи взвиваются вверх, и судья, забыв, чего ожидал от вошедшего, орет:

— Убирайтесь!

Дверь с треском захлопывается и уносит писаря, ветер падает, словно обрезанный шнурок, и бумаги, утратив крылья, опускаются на пол. Филип Дастьх нагибается, чтобы собрать их, а мадемуазель Элеонора, развлекшись этой небольшой интермедией, глядит на стол, чтобы определить, какие же безобразия натворил здесь этот хулиган. И тут глаза ее обнаруживают на старой, пожелтевшей папке, которая не смогла взлететь из-за своего веса, а еще и потому, что была перевязана шпагатом, два имени, два знакомых имени. Это именно та папка, которая вызвала у нее неприязнь, когда она только вошла сюда и от которой она сбила щелчком изветшивший уголок. Именно эти имена должны были остаться навеки погребенными вместе со своими носителями. Она поднимает папку со стола, папка тоньше, чем сначала ей показалось, и слишком тонкая для того большого горя, которое скрывает в себе. Элеонора знает, что сейчас, в эту же минуту ее начнет трясти озноб, но она овладевает собой.

Судья с ворохом собранных бумаг выпрямился, он видит папку в руках сестры. Бросив собранные с пола бумаги на стол, он протягивает руку к папке:

— Дай сюда!

Элеонора отступает на шаг, в глазах у нее ужас, а в глотке крик и плач.

— Сумасшедший! — выдавливает она, всхлипнув. И вдруг, вложив остатки сил в это движение, раздирает папку пополам и швыряет к ногам судьи.— Вот тебе твоя тяжба! — И, рыдая, выскаивает из кабинета.

ГЛАВА ШЕСТАЯ ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА ПЛОЩАДЬ

Эмануэль Квис бродит по улицам, не находя покоя. Осенние дожди уже выслали первых вестников, но и те не в силах удержать его дома. Ночью прошел ливень, а сейчас моросит мелкий дождичек; зеленщики на бытеньской площади натянули над своими ларьками парусину, а охо-

чие до пересудов женщины укрываются в подворотне трактира «У лошадки». И Еник Гаразим оставил свой наблюдательный пункт на ступеньках лавки, он встал за стеклянной дверью, откуда увидит Лиду Дастьхову, если она пойдет мимо. Жизнь городка, конечно же, не замерла из-за дождя, человек, животные и земля требуют своего, просто люди двигаются быстрее и не стоят на месте, как до этого.

«И чего старику не сидится дома в такую погоду?» — спрашивают кумушки одна другую в подворотне трактира «У лошадки».

А Квис знай шагает взад и вперед по площади и не обращает внимания ни на любопытные взгляды, ни на бесцеремонные замечания, доносящиеся до него время от времени. За последние дни он постарел, это заметно не столько по его лицу, сколько по осанке и походке, которая стала еще более неуверенной. Ноги поднимаются и опускаются на мостовую, словно приводимые в движение неким механизмом, состоящим из одних шестеренок. Крылатка на нем обвисла и кажется чересчур тяжелой для его плеч, светло-серая шляпа потемнела от дождя, а лакированные туфли спрятались в слишком свободных калошах.

Для своей прогулки по площади Квис избрал как будто определенную систему. Он трижды проходит по площади туда и обратно, ненадолго исчезает в сквере у фонтана, затем появляется и снова начинает вышагивать. Возможно, это всего-навсего обыкновенная старческая прихоть, педантизм пенсионера, который вдруг начинает считать ложки супа, граммы мяса и гарнира и также шаги на прогулке. Однако настороженный взгляд Квиса избегает всех, и вместе с тем кажется, что он кого-то выискивает, но тот не появляется.

Квис, вероятно, встревожен тем, что пани Катержина Нольчова прекратила свои визиты к нему, а он, когда бы ни попытался навестить ее, слышит в ответ, что милостивой пани нет дома. Квис отлично знает, что она дома, он ощущает ее присутствие так же безошибочно, будто сидит с ней рядом и держит ее за руку. Он пока не знает, сокрушаться ему или радоваться этой неожиданной неприязни. Пани Катержина избегает его, пытаясь ускользнуть, или, потеряв уже всякую надежду, стремится преодолеть остатки нерешительности и любви к Рудольфу Нольчу?

В эти дни все дороги ведут Эмануэлю Квиса на площадь. Там обитают все те, в чью жизнь ему удалось заглянуть, чьими страстями он надеялся заполнить свою соб-

ственную пустоту. Беспокойство преследует его, не давая отдыха. Почему ничего не происходит? Он был лишь мечтателем, который позволил себе обмануться миражем, в то время как реальность была совсем иная? Подвел собачий нюх его любопытства и удалось заполнить свою душу лишь плодами собственной фантазии? И все-таки именно в эти дни случились два события, которые воскрепили его угасшие было надежды.

Первое оказалось не более плотвички, которую в иное время он бросил бы обратно в воду и тут же забыл о ней. Но в нынешнем расположении духа он ухватился за нее обеими руками и, словно шут короля Иржи, склонил слух к ее хватающему воздух рту. Второе событие, кто знает, не станет ли оно самым значительным, с чем он до сих пор столкнулся в погоне за переживаниями чужих сердец, этим строительным материалом, из которого он надеялся создать собственную душу.

Начнем, однако, по порядку, хотя в этой квисовской пустоте события набегают одно на другое, словно волны.

Вчерашняя дождливая ночь прогуливалась по бытеньским улицам, шлепая мокрыми лапками. Она все куда-то спешила, и не было ей ни конца, ни края; видно, она кружила на месте. Ветер гонялся за ней, и, когда она припускалась бежать, перепуганная и грязная, как гулящая девка, преследуемая караульными, он с хохотом отставал, давая минутную передышку. Ее тяжкие слезы скатывались с крыш, и все водосточные трубы клокотали ее всхлипами...

Гонимый своей необъяснимой тоской, Квис вышел из дома после десяти вечера. Ночь плелась рядом и все нашептывала, все нашептывала свои бредовые идеи. Квиса переполнял ее шум, и завывание ветра отдавалось в нем, как на пустом чердаке. И до того ему было тоскливо, будто он вбирал в себя тоску всех спящих жителей Бытни. Улицы были совершенно пусты, а скучные электрические фонари еле-еле обозначали дорогу, отпугивая тьму лишь от себя самих, умирающих от слабости и страха.

С башни ратуши шлепнулась четверть одиннадцатого, и ночь над ней сомкнулась без эха. Квис остановился возле освещенных окон погребка «Под ратушей», и его охватило чувство удовлетворения и уверенности. По крайней мере, тут разыгрывается одна из историй, которая началась его стараниями. Ему не надо было входить туда, он и без того точно знал, что в комнатушке за большим залом сидит помешик Дастых и играет в карты; он проигрывает

отчаянно и безнадежно и еще отчаянней и безнадежней верит, что безошибочно приближается к большому и окончательному выигрышу.

Ночь набухает шумом, яростным и напряженным; это уже не капли слез мировой скорби, это шлепают карты по столу в яростном желании выиграть. Квис выпрямляется и стоит здесь в своем плаще, как Наполеон. Какие резервы безумных надежд снова и снова брошены в бой! Сметена одна шеренга, но тут же выступает новая, с той же верой, восторгом и решимостью. Великое чувство быть игроком, страшное и гибельное. Оно подобно неугасимой жажде, растущей с каждым глотком; проигрыш и выигрыш одинаково распаляют ее, оно подобно восхождению альпиниста, сопровождаемого безумной радостью оттого, что с каждым шагом пропасть становится все бездонней, а вершина все более недосягаемой. Но вдруг Квиса охватывает настоящий ужас. Что-то шевельнулось и ворочается где-то под спудом этого наслаждения, которое будто способно питаться собой и не внимать ничему вокруг. Ты слышишь падение капель? Нет, не тех огромных, которые громко шлепаются, словно стремятся перекрыть козыри божьего гнева, а те малые, капающие ритмично — как-кап, кап-кап, — и все быстрее и быстрее, словно время вдруг взбесилось и мчится прямо на тебя.

Хватит.

Квис отворачивается и быстро уходит, дыша, как человек, в последнюю минуту успевший спрыгнуть с рельсов, по которым прямо на него мчался экспресс. Какое счастье, что эта игра подвластна ему и в любой момент он может прервать ее, будто повернув выключателем. Он прожил минуту, а может, две, а впрочем, кто знает, быть может, он чрезмерно ускорил темп ощущений и потому все произошло в нем быстрее и неудержимей, нежели в самом помещике? Он идет все дальше и уносит это ощущение, теперь оно уже лишь проекция на матовом стекле, которая раздует его плоским изображением и помимо его воли не сможет обрести плоть и увлечь его в своем водовороте.

Квис шагает дальше по площади, и шаги его сливаются с дробным шлепаньем дождливой ночи, он впускает ее в себя, ее шум и грусть, ее безудержный плач, никому не адресованный, ее безликовую, все поглощающую тьму. У трактира «На уголке», на противоположном конце площади, Квис переходит на другой тротуар. Недавняя встряска умерила его тоску, но сомнения спят недолго

и вновь начинают беспокоить его. Все происходило на самом деле или только в его мечтах?

Тут он замечает впереди тяжелую фигуру человека и сознает, что давно прислушивается к гулкому звуку шагов, не понимая, кому они принадлежат и исходят от него самого или откуда-то извне.

В нескольких метрах перед ним в намокшей шинели двигается Тлахач, недовольный нынешней погодой, но, как всегда, любовно прислушивающийся к тому, как эхо его шагов заполняет пространство пустынной площади. Проклятая служба, думает Тлахач, другие дрыхнут или отсиживаются в тепле. Но в размыщлениях полицейского нет особенной горечи, и тот, другой, шагающий следом за ним и наблюдающий за покачивающимися могучими плечами, ощущает широту этой не знающей зависти натуры, надежной и всей душой преданной службе, не развращенной сторонними мечтами, ощущает спокойствие и уравновешенность этого человека, одаренного силой и здоровьем. Бытень спит и может спать спокойно, ибо Тлахач сторожит ее сон. Это единственная гордость, которую он носит в себе, и это гордость человека, готового до последнего дыхания исполнять свой долг. А если Тлахач и ворчит на проклятую службу, то исключительно для того, чтобы привычные его остановки стали еще слаще. Душа Тлахача ничем не привлекает Квиса — обычная стоячая вода, и потрясут ее события лишь чисто внешние. Пруд, дно которого знакомо, где тебя не затянет ни в водоворот, ни в нечаянный омут. И ветру надо дуть изо всех сил, чтобы такую воду взволновать сильней, чем просто рябью.

Да, нам бы надо пожалеть усердного бытеньского полицейского, поглощенного звуками своих шагов и надеждой на стопку сливовицы в распивочной трактира «У лошадки», не подозревающего о плетущемся за ним по пятам Квисе. Он живет в мире, где нет ни сомнений, ни колебаний, в мире, четко разделенном на черное и белое. Белые это все те, кто не лезет не в свое дело, а заняты своим, а вот остальным лучше быть с Тлахачем поосторожней. Если вам придет в голову спросить у него, что такая опасность, он после долгого раздумья ответит вам, что опасны отстреливающиеся «медвежатники», хулиганы с ножами, кони, когда они понесут, и пьяные автомобилисты. Короче говоря, опасность есть вещь реальная, и ее можно ухватить за ворот, если вы способны относиться к ней хотя бы как полицейский Тлахач.

Старинные замки на лавке Гаразима, в полкилограмма каждый, те, что свернулись на ступеньке перед ее дверью, словно бездомные щенята, опасностью не являются. Самое большое — это искушение; аппетитный округлый зад нагнувшейся бабы тоже искушение, и тем не менее, взглянув на него, вы вполне уверены, что ничего не предпримете, а лишь, вздохнув, пойдете себе дальше своей дорогой. Замки Гаразима можно отнести, пожалуй, еще к размышлениям на сон грядущий, из тех самых: «Что бы я сделал, если б получил в наследство миллион или имел шапку-невидимку?» И все же во время каждого ночного обхода они останавливают Тлахача, словно протягивают на его пути веревку через дорогу, и полицейский не в состоянии двинуться дальше, покуда не нагнется, не взвесит их в руках и мысленно не высажет к ним пренебрежительного отношения.

За многие годы это вошло у него в привычку, наверное, такую же, как перед сном размять руками пальцы на ногах, утомленных целодневным хождением и стоянием. Но сегодня, с трудом нагнувшись в намокшей шинели, он чувствует к этим пузатым замкам истинное отвращение. «Хоть бы своротил их кто,— думает он,— избавил меня от них!»

— Провокация,— говорит голос за его спиной, доносящийся словно из пустоты площади.

Страж порядка выпрямляется и быстро оборачивается с ловкостью, неожиданной для человека его веса и комплекции. Дубинку он крепко сжимает в кулаке, но, увидав Квиса, приходит в замешательство и не знает, как быть дальше. Эмануэль Квис стоит под самым фонарем, свет падает на него сверху, и поля шляпы набрасывают на его лицо завесу черной тени. Свободно спадающая крылатка прячет под собой его фигуру и сбивает с толку полицейского. Что-то в памяти Тлахача сдвигается с места и поднимает какой-то обрывок полузыбкого разговора, пробужденного, очевидно, бледным светом уличного фонаря, и полицейский вздрогивает, когда воспоминание наконец соединяет когда-то оброненные бессвязные слова. Зло, которое скрывается в свете.

А все потому, что ведешь разговоры с людьми, для которых что ни слово, то проповедь. С неудовольствием вспоминает Тлахач отца Бружека. И, обеспокоенный ощущением какой-то неопределенной опасности и тем, что нечто такое вообще могло прийти ему в голову, Тлахач с трудом сглатывает слюну и делает шаг вперед, ибо он из

тех людей, которые идут навстречу тому, что их напугало. Он хрипло произносит:

— Кто вы такой и что здесь делаете?

И Квис, с наслаждением переживший все, что творилось в испуганной душе полицейского, издает свой самый глухой смешок и отвечает:

— Пан вахмистр, разве вы меня не узнали?

Тлахач с удовольствием сплюнул бы, а еще охотнее огrel бы этого гнома дубинкой, несмотря на то, что тот уже стар. Квис раздражает его, действует на нервы с той первой встречи, когда выпытывал про судью Дастьха. Заприметив старика, прогуливающегося днем по площади, Тлахач поскорее спешит отвернуться, лишь бы не видеть его дурацкой походки. И эта мразь, которую он уничтожил бы единственным чохом, еще и напугала его. И Тлахач с глубочайшим отвращением, на которое только способен, произносит:

— А, это вы, что ли?

Сказав это, он, подогреваемый яростью, уже не может сдержаться. Ему необходимо облегчить душу, довести дело до конца, даже если это будет стоить ему мундира, который для него милее всего на свете. И он продолжает тоном, на какой не отважился бы ни с одним из благородных бытеньских граждан. Ведь стариk — пришелец, о котором никому ничего не известно, хотя он и поселился в домике, полученном в наследство.

— Что это вы шатаетесь по ночам, да еще в такую погоду? В вашем возрасте в такое время давно надо лежать в постели.

Возможно, ретивый полицейский Тлахач ужаснулся бы, дознавшись, каким уродством обернулось в Эмануэле Квисе его благородное негодование. Возможно, он так ужаснулся бы, что не колеблясь пустил в ход дубинку, чтоб уберечь себя и город, в котором он был стражем порядка и безопасности.

Под прикрытием тени, падающей от полей шляпы, Квис беспомощно хватает воздух ртом, прежде чем обретает способность заговорить. Ночь, загнанная своим безуспешным бегом по кругу, проносится мимо них, и голос Квиса кажется частью ветра, который хохочет над ней в подворотнях и над крышами.

— Я пришел взглянуть на полицейского, которого дразнят чужие замки.

— Что? — спрашивает Тлахач, и воздуха в легких у него хватает лишь для того, чтобы повторить: — Что?

— Такие старые замки,— продолжает Квис.— Как легко их открыть, если не бояться.

— Да вы рехнулись,— только и может выдавать Тлахач.

— Это жестоко — провоцировать порядочных людей таким старьем. Откроешь их как-нибудь тихой ночью — и конец волнениям.

— Мне такое сроду и в голову не приходило,— орет Тлахач, но Квис уже успокоился, насытился своей игрой, он выходит из-под светового круга фонарей и исчезает, сделав всего несколько шагов, словно был лишь порождением этой дождливой ночи, вновь поглотившей его.

— Эй, вы! — орет Тлахач и хочет ринуться вслед за ним. Но потом, словно поняв никчемность своего намерения, остается стоять на месте в трудном, раздраженном и безнадежном раздумье.

Однако этого маленького происшествия Квису недостаточно для того, чтобы вернуть себе обычную уверенность, оно тут же растворяется в сомнениях. Ведь все могло быть лишь игрой фантазии, и Квис получает некоторое удовлетворение, когда назавтра Тлахач, избегая встречи с ним, загодя переходит, срезая угол, на противоположный тротуар.

Впрочем, в эти дни Квису кажется, что его все избегают. Он читает подозрение в каждом взгляде, который ему удается перехватить, вот и все, что ему удается заметить. Он кажется себе бродягой с дурной репутацией, бредущим через деревню, где его уже знают. Калитки на защелках, двери заперты, псы, подняв шерсть дыбом, скалят зубы, и лишь по колебанию занавесок можно определить, что в каждом доме за тобой внимательно следят. И ему хочется погрозить кулаком и поклясться отомстить. Пустота в Квисе ширится, она поглотила все, чем он надеялся ее заполнить, но так и не насытилась. Она вылезла из него и обрела размеры вселенной, она покрывает его стеклянным куполом, за стенами которого осталась жизнь, там растут и борются, любят и бранятся, заблуждаются и верят, теряют и обретают; он мечется в одиночестве, узник в доме без дверей, и муха его тоски летает и жужжит.

Облегчение в эти дни находит он лишь в двух местах, таких разных, с точки зрения людей: в костеле, в дневные часы, когда еще не началось вечернее богослужение, и у мохновского фонтана в сквере на площади.

Квис целый час стоит в пустом костеле, в нескольких шагах от дверей, и пустой неф храма высоко вздымаает

своды над его головой. Эта истинная, явная, полнейшая пустота принимает его, словно милосердные объятья, и нянчит в своих мягких руках. Ему кажется, что его собственная пустота в сравненье с ней становится меньше и утрачивает свое значение. Он сопоставляет их, исследует: «Я хотел бы, чтоб они слились». Ибо знает, что пустота вокруг него наполнена тем, к чему он стремится и что от него ускользает. В детстве его учили, что здесь обретается тот, к кому люди приходят сами, более того, страстно желая доверить то, что Квис пытается у них выведать. Только здесь, в этом единственном месте, обнесенном и ограниченном стенами, они сбрасывают маски, но не со своих лиц, потому что никогда не перестанут замыкаться друг перед другом, но обнажают свои сердца перед тем, в кого верят и от взгляда которого ничто не укроется; они каются и просят, дрожат и клянутся, ищут в нем прежде всего самих себя и жаждут обрести его лишь для себя. Но, ощущая, как он непостижим и неуловим для их понимания, все же пытаются заманить, поймать его, словно дети, ловящие сачком солнечного зайчика; они обнажают то, что сами скрывали от себя, хотя сомнения в них борются с вечным страхом. Все это не может исчезнуть, и Квис ежедневно в напряжении караулит здесь не менее часа, надеясь, что заполнит поселившуюся в нем пустоту и в нем зазвучит всеми регистрами оргáна некое коллективное существо, взошедшее из всего того, что люди остались здесь и что отдано властителю этого пристанища, то, что из него исходит и к нему же возвращается, а вместе с этим Квис захватит и его самого и узнает, существует ли он в действительности или возникает из желания, страха и веры. Что бы это значило для него, Квиса, если б это ему удалось, если б он завладел им и ими? Ему не нужно было бы более заполнять пустоту случайно подобранными крохами, она заполнилась бы вся целиком, была бы подобна вселенной, а поскольку он вобрал бы в себя и ее создателя, он стал бы управлять тогда своими марионетками по своему произволу.

Но звуки оргáна, который он надеется услышать, раздаются где-то очень глубоко, они сливаются, и до Квиса доносится лишь гул, подобный тому, который раздается, когда осенние воды с ревом и клокотанием несутся сквозь узкую теснину гор. Лишь один пронзительный звук отчетливо перекрывает остальные — это визгливый, стонущий звук, от которого не спасешься, даже если зальешь уши воском, отчаянно, до ужаса знакомый звук, непрестанно

сопровождающий его, куда бы он ни двинулся, это звук его собственной пустоты. Здесь он слышен громче, чем где бы то ни было, как будто кто-то завладел им, превратив в бич, и хлещет, и от каждого его удара лопается кожа. И все же Квис ежедневно выстаивает здесь свой час, отчаянно созинаясь в терпении с кем-то, на чьей стороне преимущество вечности.

Однажды, когда шершни беспокойства одолевают Квиса особенно яростно, у выхода из костела он сталкивается с отцом Бруже ком, который, как знать, может быть, появился здесь в эту минуту потому, что поддался искущению подстеречь и вывести на чистую воду необычного посетителя храма. Квис ответил на его поклон с явной неприязнью и даже не сделал попытки скрыть неудовольствие от встречи со священником. Два мира соседствуют в этом человеке, два мира, достаточно большие, чтобы каждый из них мог наполнить человеческую жизнь. Быть может, когда-то они противоборствовали, но уже давно заключили союз и сливаются, и один стал благодатной почвой для другого; это любовь к земле и ко всему, что с ней связано, и к своему призванию, которому, как считал поначалу, он, деревенский паренек, принес себя в жертву, но к которому всегда испытывал, однако, и благоговение. А под всем этим скрыто напрягает мышцы нетерпеливая, подавляемая сила борца, который не колеблясь защитил бы ученье господне собственным телом и отстоял его собственными кулаками. И сила эта — самое удивительное, что есть в отце Бруже ке, потому что в ней заключена страсть к борьбе и жажда бесконечного милосердия.

В эту минуту отец Бруже честно, как и подобает священнослужителю, пытается преодолеть отвращение и подозрение, причина которых ему не ясна. Он обращается к Квису с радушием, ему самому противным, потому что знает, насколько оно неискренно.

— Мне радостно видеть, что вы полюбили наш храм. Но почему же вы посещаете его лишь в те часы, когда здесь нет богослужений?

Квис обращает свой неподвижный взгляд на священника, чем приводит декана в негодование и смятение.

— Сюда, в это место, могут приходить все, — скрипит Квис на самых мерзких тонах своего голоса. — И я посещаю его в наиболее удобное для меня время.

Если Квис поставил перед собой задачу взбесить отца Бруже ка, то он легко достиг этого, избрав для храма божьего слово «место».

— Конечно,— отвечает священник, с трудом сдерживаясь, чтобы не зарычать и говорить спокойно,— это место доступно всем, кто надеется здесь что-то обрести. Быть может, это удастся и вам.

В глазах у Квиса промелькнул страх, и священник может предположить, что почти попал в цель, но он не в силах определить, что это за цель.

— Мне нечего тут обретать.

Священник уже не в силах подавить в себе желание сломить этого человека, заставить его говорить, заставить покориться любой ценой, пусть даже ценой озлобления или страха. Бружеек хорошо понимает, что это не по-христиански, но сейчас это сильнее его врожденной доброты и чувства справедливости.

— В таком случае кто-нибудь может обрести вас.

Квис съежился, словно желая спрятаться в своем распахнутом сюртуке. Лицо его вдруг стало землистым, но тут же обрело свой обычный цвет, с пятнами неестественного румянца на скулах, и он театрально выпятил грудь:

— Не представляю, пан священник, кто бы это мог быть, я в самом деле не представляю кто.

Священник багровеет и сжимает свои мужицкие кулачищи.

— Вам не мешало бы исповедаться.

Но тот, другой, хихикает, словно эхо в лесу.

— Искренне сожалею, что не могу доставить вам даже столь незначительного удовольствия. Мне не в чем исповедоваться. Хожу, дышу, смотрю и слушаю. Вот и все, что я могу вам о себе сказать. А вас это не удовлетворит.

Он насмешливо взвешивает каждое словечко. В гневе, охватившем священника, расплывалось обычное его красноречие, и он находит в себе силы лишь на грубый оклик:

— Семь раз в день согрешит праведный!

Но Квис уже чувствует себя победителем в этой схватке и клюет декана с мстительной откровенностью:

— В таком случае мне жаль и праведного и вас. Представить себе только, что такой добродетельный человек является на исповедь лишь раз в год. Как же может он помнить все свои прегрешения и как можете запомнить их вы, чтобы определить степень его вины? Уважайте закоренелых грешников, пан декан. Они, по крайней мере, вас не обременяют.

Тут отец Бружеек уже не смог совладать со своим благородным негодованием, лицо его багрово, глаза горят,

как у деревенского батрака, готового ринуться в драку, и, наклонившись к Квису, он хрипит:

— Стариk, время ваше может истечь в любой момент.

Квис сразу же становится пепельно-серым, физиономия его покрывается множеством морщин, он проваливается в свой сюртучок, словно плечи и грудь у него пропали, дыхание в мгновенном приступе удушья становится сиплым. Негодование декана улеглось, на смену ему приходит испуг и желание помочь.

— Боже мой, что с вами?

Он протягивает руки, чтобы подхватить и поддержать своего собеседника, но Квиса сотрясает резкая судорога, тело изгибается и снова наполняет собой одежду, морщинистая скорлупка лопается и обнажает гладкое лицо. Священника охватывает ужас при виде столь неожиданной перемены, он делает шаг назад, Квис тоже начинает пятиться, он нацеливает трость в грудь святого отца и, отступая, визгливо кричит:

— Оставьте меня! Ступайте прочь! Вы хотели меня ударить. Я знаю, вы хотели меня избить!

Первый импульс заставляет священника оглядеться вокруг, — не был ли кто свидетелем этой безумной и нелепой сцены. К счастью, она разыгралась перед самым входом, в туничке между кладбищенскими стенами и оградой приходского сада, здесь, конечно, нет ни живой души, кроме них двоих и птиц, перекликающихся в кронах деревьев. Возможно, именно полная заброшенность этого уголка повинна в том, что веряще сердце декана сокрушается от сознания, что есть тот, от кого никуда не скроешься. Отец Бружеk знает, что визгливый голос говорит правду. Да, он хотел ударить. Он не ударил бы, в этом сомнения нет, но хотел.

Квис умолк и исчез за углом. Он, вероятно, мчится с быстротой, на которую только способен, вниз по Костельной улице к своему домику. Священник отирает покрывшийся потом лоб. Зяблик, пропев часть своей песенки, опускается на ограду, но, обеспокоенный неподвижностью черной фигуры, начинает вопросительно покрикивать. Стоя на пороге костела, декан Бружеk колеблется, словно мальчишка, — пойти ли и сознаться отцу в своем проступке? Потом он с глубоким вздохом переступает порог, торопливо проходит через пустынный неф и опускается на колени перед алтарем, чтобы поведать о своей ссоре тому единственному, кому известна и внешняя ее сторона, и ее подоплека.

Лида Дастьхова остановилась на втором пролете лестницы, куда через широкие окна галереи льется яркий свет, и глубоко вдохнула запахи дома, холод старых стен и дымный дух дубовых ступеней и панелей. Ее обступило все то, что было создано, чтобы выстоять и пережить, но страх перед временем охватывает ее. Куда она бежит, куда так торопится в сердце своем, ведь ее давно уже не будет, а вещи, насмешливые вещи, к равнодушной душе которых никогда не подберешь ключей, останутся. Ах, да возможно ли, чтоб мы исчезли без следа, если так любили иль ненавидели этот мир? Чтоб над нами бестрепетно сомкнулась гладь времени и после нас не осталось даже фатаморганы, которая хотя бы иногда являлась изумленному взору тех, кто придет после?

Прижавшись к стене, Лида почти не дышит, пораженная поворотом своих мыслей и чувств. Она немного боится этого дома, но уже начинает очень любить. Если бы она так не стремилась вырваться в большой мир, то с радостью укрылась бы здесь, как это сделали бургомистр и его жена. «Потому что все те, что когда-то жили здесь,— говорит она себе, слегка при этом вздрагивая и боязливо оглядываясь,— не могут уйти отсюда совсем». Она ничуть не удивится, если встретит их именно сейчас, если они все сразу, толпой, окружат ее, и она ни чуточки их не боится.

Но тут Лида устремляется на третий этаж, где, как ей говорила Маржа Тлахачова, сейчас находится пани Нольчова. Но не врываться же туда запыхавшись, как ненормальная. Чем бы она объяснила свою поспешность? «Я боюсь лестниц в вашем доме»? И она поднимается, как полагается благовоспитанной барышне, которой очень хочется быть настоящей дамой. Она и сейчас немного играет эту роль, к которой ее принуждает обстановка,— широкая лестница с дубовыми панелями и серый плюшевый ковер, посеребренный солнцем, вызывают в ней представление, будто она поднимается по ступеням сказочного замерзшего водопада.

Пани Нольчова и в самом деле сидит в галерее, залитой теплом и солнцем. Все окна закрыты, потому что на дворе ветреный сентябрьский день, а здесь жена бургомистра сидит в легком платье, накинув на плечи лишь шелковый платок. Девушка возвращается мыслями к своей нелепой игре на лестнице, и простота и безыскусность этой женщины ее покоряют. Поколебавшись, она застывает на месте, готовая повернуться и исчезнуть, пока пани Нольчова не заметила ее присутствия; взгляд ее устремлен куда-то на

кроны деревьев перед окнами, и лицо имеет столь странное выражение, что вызывает у Лиды одновременно и страх, и сострадание. Но тут пани Катержина, почувствовав, что в комнате она не одна, отрывается взор от окна и, увидав Лиду, улыбается искренне и приветливо.

— Лидушка,— говорит она,— извините, я так задумалась, что могла и вовсе не заметить, что ко мне явилась сама молодость и радость.

Лида заливается краской смущения, а пани Катержина жестом приглашает ее сесть в кресло напротив.

— Что скажешь, Лидушка?

Девушка опускается в кресло и еще больше смущается. Никто не поверит, как трудно иногда говорить о себе, хотя мысли только этим и заняты.

— Я пришла к вам, потому что мне было невыносимо страшно.

Пани Катержина улыбается мягкой, блуждающей где-то далеко улыбкой. Ну, разве не смешно, что кто-то приходит к ней поделиться своими страхами? Такая молодая, красивая, все у нее впереди.

Если бы Лида была ее дочерью, мог бы рядом с ней расти и ее светловолосый сынок? Кто знает, быть может, он и рос бы, но являлся, наверное, лишь для того, чтобы приласкался к своей маме и не манил бы ее с собой своей грустной улыбкой, а терпеливо ждал, когда ее принесет к нему река времени.

— Вы полюбили и не знаете, кому об этом сказать?

Лида смеется, эта дама сразу становится ей еще ближе.

— Если б дело было только в этом, я бы знала, как мне поступить. Может, я и люблю одного юношу, так люблю, что едва ли буду кого-нибудь любить сильнее. Но что мне делать, если другое влечет меня еще больше?

Пани Катержина слегка бледнеет. Разве все, что сказала Лида, не точное повторение ее собственной истории? Видимо, такое происходит потому, что корни всех человеческих чувств и вообще всего, что может с нами случиться,—общие. Пани Катержине приходится заставлять себя ответить, но ее ответ кажется ей чересчур обдуманным, чтобы девушка могла поверить.

— Я не понимаю вас, Лидушка. Когда я полюбила своего мужа, для меня перестало существовать все на свете.

Лида вздыхает.

— Это было наверняка прекрасно, и я могу лишь пожелать себе того же.

Пани Катержине необходимо собрать все силы, чтобы удержаться мыслями возле этой девушки, пришедшей к ней с юной верой и надеждой, что она поможет ей разобраться. И Лида, напряженно вглядываясь в нее, понимает, что перед ней уже не та пани Катержина, что была на празднике в саду. Она стала совсем прозрачной, и, хотя по-прежнему красива и приветлива, ей кажется, что пани Катержина отдалается от нее с каждым словом. Это не холодность, и Лида верит, что пани Катержина любит ее так же, как и прежде, но что-то отделяет ее теперь от всего, что происходит вокруг.

— Что же вам мешает? — спрашивает пани Катержина, и это звучит так, словно она спрашивает самое себя.

Лида набирает в легкие воздух, как будто собирается прыгнуть в воду, и выпаливает:

— Я не могу здесь жить. У меня разрывается сердце, когда я вспомню о маме, о тете Лени и еще кое о ком, но оставаться здесь я не могу. Как подумаю, что должна прожить здесь всю свою жизнь, мне хочется убить себя.

Страстность девушки задевает в душе пани Катержину что-то такое, к чему она никогда не прикасалась. Она принуждает себя отвечать ей с улыбкой:

— Но на свете почти все места одинаковы, если живешь там постоянно. А стремление к перемене можно удовлетворить путешествуя. Ради этого нет необходимости отказаться от любви и от дома.

— Нет, — восклицает Лида порывисто, — это не все. Я просто не могу жить, как живут другие. Не знаю, сумею ли я все объяснить... Мне кажется, что я живу не одна, понимаете? Что во мне много людей и все они немы и неподвижны, пока я не позволю им говорить и двигаться; они мертвы, пока я не пробужу их к жизни. Я не могу их предать, мне кажется, что я живу лишь ими и для них.

Лида понижает голос и наклоняется к пани Катержине, словно доверяет ей величайшую тайну.

— Я хочу стать актрисой, я должна ею стать, даже если это будет стоить мне жизни.

Пани Катержина дрожит, ей холодно. Разговор с девушкой наталкивает ее на удивительные аналогии. Разве не вспомнила она в эту минуту другого человека, который тоже говорил о людях в себе? Но тот не собирался высвободить их и дать им жить для других, как эта охваченная нетерпеливой страстью девушка.

— На этом пути часто подстерегают разочарование и боль.

— Знаю,— печально отвечает Лида.— Но как мне узнать, что я ошиблась, если не решусь на это? Если я пойду и расшибусь, наверняка буду страдать не более, чем будет страдать то, что я предам в себе, оставшись здесь. Только тому юноше не надо в это впутываться.

Пани Катержина смотрит в окно на кроны деревьев, пронизанных заходящим солнцем. Листья большого каштана посреди сада привяли и отливают золотом, и солнечные стрелы, преломившись в листве, вызывают воспоминания о том, что приходит к ней все чаще. В эту минуту ее судьба сливаются воедино с судьбой девушки.

— Каждый из нас в один прекрасный день подходит к определенной черте и должен сам решить, переступить ее или нет. Что станет с нами, если переступить ее? Что ждет нас там, впереди, и что оставляем мы по эту сторону?

Лида закрывает лицо ладонями и долго сидит молча.

— Это ужасно,— произносит она наконец.— Я, наверное, никогда не отважусь.

— Быть может, эта черта вообще непреодолима? — добавляет пани Катержина.

Мы сказали, что уже стоит сентябрь? Да, в самом деле, он проносится ветрами над землей, и золотые монеты увядших листьев сыплются из его набитых карманов, перекатываются на дорогах. А то, вдруг утихнув, он превращает свои чуть задумчивые мысли в картины, сотканные из чистейшей синевы и прозрачного золота, лишь для того, чтоб доказать, что сентябрь месяц недаром зовется золотым. Он становится все спокойней и ярче по мере того, как дней его прибывает. Красиво, что и говорить! Он любуется собой и купает свое очарование в собственной зеркальной чистоте. И, конечно же, он ближе девичьим мечтам, нежели май, замутненный бродящими соками.

Нейткова, та, из богадельни, слегла. В ней что-то оборвалось, и она не в силах подняться. Сделает два шага, и тут же боль так начинает терзать ее живот, будто хочет вырвать все внутренности. Поначалу Нейтек метал на нее убийственные взгляды, но теперь время от времени поглядывает молча, словно надеясь прочесть что-то на ее измученном лице, чья красота исчезла куда-то, затерялась под сетью морщин на землистой увядшей коже, выветрилась от слез и паров соды. Нейткова знает, чего так нетерпеливо и не таясь ищет в ее лице муж, и, когда за ним захлопывается дверь, поворачивается лицом к стене и тихо, без всхлипов, плачет.

Божка работает за нее. Стряпает и прибирается дома, разносит выстиранное белье и притаскивает тюки грязного, обслуживает Квиса, а после обеда становится к корыту. Она словно ветер, эта девчонка, ничто ее не утомляет. Слезы Нейтковой становятся еще горше, когда она думает о дочери. Доченька, милая. С такими работящими руками ей нечего бояться. Если б не красота. Бедной девушке красота редко приносит счастье. Если с Нейтковой что случится, Божке надо в тот же день бежать из дома. Пусть даже придется ночевать на сеновале или в хлеву с коровами. Ведь горе, как известно, запирает мир перед бедняком на десять замков.

Пока что вниз по Костельной улице несется ветер, и Божка идет вверх навстречу ему. Время от времени он становится чересчур дерзким, и Божка противится ему с тихим смехом в душе. Это оттого, что между ветром и женщинами давняя дружба. «Ах ты такой-сякой,— говорит Божка,— можешь трепать волосы, но юбки оставь в покое и не пролей суп». Божка несет Квису обед из трактира «У лошадки». Она ждет не дождется, когда начнет у него прибираться, а Квис примется за еду. Божка с удовольствием поглядывает, как он ест суп, а потом старательно нарезает и накалывает на вилку куски жаркого с тарелки. Он ест совсем иначе, чем те, кого Божка привыкла видеть за едой. Она накрывает ему столик у окна, возле которого Квис проводит все свое время, когда бывает дома. Он кажется ей таким одиноким, словно межевоий камень на лугу, более подходящего сравнения Божка найти не может. Но ведь пан Квис вовсе не камень, хотя иногда может быть таким неподвижным. Да, это единственное, что Божке в нем не нравится,— иногда он сидит, застыv, будто ничего не видит, но глаза у него открыты и он не спит. И за едой он ведет себя так же; ест красиво, но чаще всего даже не замечает, что ест, хотя это бывают такие блюда, что Божка с удовольствием вылизала бы после него тарелку.

Действительно, у пана Квиса очень странный взгляд, и если он на вас уставится, то кажется, будто спрашивает — а что вы за человек. И вы готовы рассказать ему о себе все. Божка это могла бы сделать запросто: ей скрывать нечего. Только постыдилась бы сказать, что любит его. Так любит, будто он ее дедушка, только не такой старый, или будто он ее отец. Как прекрасно иметь такого смиренного, тихого, приветливого отца. Божка и в самом деле испытывает это чувство или только скрывает более

глубокое, которого боится? Да разве возможно, чтобы здоровая, красивая девчонка влюбилась в эдакого сморчка, неизвестно даже, кровь ли течет в его жилах? Может, это всего лишь сочувствие, наверное, она просто играет в чувство, томимая одиночеством и сердечной тоской, но молодость нередко смешивает игру и правду.

Комната благоухает айвой — паданцами, сбитыми ветром, этим самозванным садовником; айва ровными рядами разложена вдоль зеркала на комоде. Запах обеда, который Божка подала Квису, улетучивается через полуоткрытое окно. Ветер мчится вниз по Костельной улице, скользит по стенам домика Квиса, а здесь, внутри, лишь изредка колыхнет занавеску. Божка передвигается тихо, как только может, вытирает пыль и тайком поглядывает на Квиса. Она протирает зеркало и вдруг видит в нем свое отражение, поднимает руку, чтобы пригладить волнистые светлые волосы, но тут же, устыдившись, опускает ее, словно такое ей не положено, и чуть слышно вздыхает. Зеркало очень старое, и его голубоватое стекло — будто холодная гладь воды осенью, но Божкино правильное лицо, белое и румяное, отражается в нем светло, будто высвечивается каким-то скрытым источником света. И девушка, взглянув на свое лицо, всякий раз испытывает грусть, происходящую от желанья, которому нет имени. И она отворачивается от искусителя и вытирает картинки, развешанные на стенах.

Это фотографии в узких золоченых рамках, большей частью овальной формы, с петелькой из ленты наверху. На них — незнакомые пожилые люди в одежде, которую перестали носить задолго до того, как Божка появилась на свет. Среди пожилых есть только одно молодое лицо, и оно, насколько Божке известно, принадлежало хозяйке этого домика, ей было тогда столько лет, сколько сейчас Божке. Божке кажется, что между этой барыней и Эмануэлем Квисом есть какое-то сходство. В чем оно, Божка уловить не может, но сознание этого заставляет Божку вздрогнуть. Она пытается украдкой взглянуть на Квиса, но встречается с взглядом его неподвижных глаз; от испуга она краснеет, опускает ресницы и продолжает тщательно вытираять пыль, она уже знает: эти два взгляда, той барышни и Квиса, делают схожими одиночество, одиночество такое бездонное, что, кажется, в него мог бы бесследно провалиться весь мир. Жалость сжимает Божкино сердце, какая-то детская сказка всплывает в ее мыслях: «Ох ты бедняжка, если бы могла взять тебя за

руку и вывести из черного леса, где ты так одинок и где тебе, наверное, очень страшно». И тут она, сама не зная, как это могло получиться, набирается смелости и смотрит прямо в глаза, которые,— она это знает,— все еще пристально уставились на нее.

То, что Квис читает в открытом и наивном девичьем взгляде, потрясает его. Он растерянно моргает глазами, и неестественный румянец, осевший на скулах, разливается теперь по всему его лицу. Он, видимо, всегда избегал молодых людей, боясь заблудиться и утонуть в их обманчивой смятенности чувств, боясь ошибиться в оценке истинности мыслей, проносящихся под небом молодости. Есть лишь одна непреодолимая граница, которую молодость не может перейти,— это смерть. Однако он не собирался открывать в себе кладбище. Остальное для молодых лишь игра, и там, где ныне лишь пепелище, завтра может зазеленеть трава.

Но сейчас у этого старого соглядатая, рыскающего в людских душах в поисках ощущений, такое состояние, будто он нагнулся над глубоким колодцем и ощутил дурноту. Квис ясно видит самое дно и не может ошибиться, потому что от него ничего не скрыто. Взгляд девушки обнимает его мягким объятием сочувствия, и в его незамутненном зеркале Квис обнаруживает вдруг свое собственное лицо. Впервые с тех пор, как Либуша переехала в этот городок, кто-то смотрит на него, как на человека. Но Либуша-то принадлежала к его роду, и ее отношение к нему было лишь отзвуком ее собственной тоски; она искала защиты и знала, что может найти ее лишь у него. По какой же ошибке забрело к нему чувство этой девочки?

Квис уверен, что не ошибается, сердце Божки тянется к нему. Стремится к нему именно потому, что ощущает его пустоту и верит, что способно заполнить ее. Оно охвачено жалостью и наполнено желаньем помочь, подчиняться, служить и искупать. Квис приходит в такое смятение и ужас, что подумывает, не убраться ли ему из Бытни совсем. Он боится потому, что никогда не попадал в горнило столь чистого желания, и Квису кажется, что ему грозит гибель.

Нечасто два существа говорят друг другу взглядом больше, чем Божка и Квис в тот момент, когда он поднял глаза от тарелки, а она решилась взглянуть на него. Однако трепетанье его век перепугало Божку: она позволила себе слишком много, ее могут счесть бесстыдницей, при-

стающей к мужчинам. И девушка, потупив голову, исчезает в кухоньке и принимается мыть посуду.

Квис, оставшись один, снова обдумывает свое поразительное открытие. Ветер гонит по небу над Костельной улицей тучи. Захватанные и растерзанные его руками, по-разному окрашенные невидимым солнцем — белоснежные клочья ваты и серые рваные лохмотья, барабанки и прочая скотинка, вывалившаяся в небесных лужах. Ветер безжалостно подгоняет их, не давая собраться вместе, чтобы продолжить свои слезливые дела. Взгляд Квиса несетя за ними вслед, наблюдая за их непрестанным перемещением. Ах, как радует его душу бесконечная, обширная пустота. Однако мыслям безразлична эта вольность, они, словно усердные цыплята, рьяно клюют то, что им только что насыпали.

Первый испуг Квиса уплыл, быть может, вслед за одной из этих гонимых ветром туч, и он восстанавливает в мыслях то, что глянуло на него из Божкиных глаз. Непривычно ему, неудобно и все еще страшновато, будто он не приспособлен к восприятию подобных чувств. Но, постепенно сживаясь с ними, он находит в них все больше и больше удовольствия, и его охватывает такое напряженное волнение, каких он до сих пор не знал. Любовь, которая боится увидеть свое отражение, любовь, которая почти не верит в свое существование, любовь, которая никогда не решится переступить границу неясных мечтаний. Однако Квис может ее расшевелить, может придать смелости, вырвать из сна и превратить в реальность. К кому же она обращена? К нему. Ему как-то не по себе, что-то его смущает в этом, но он тщетно пытается осмыслить это в целом. Не выдержав, Квис встает и начинает ходить по комнате, от окна к дверям кухоньки, за которыми Божка позывкает посудой.

К нему! Но что это значит, в какой мере ее чувство касается его и какую роль во всем этом играет он сам? Будет ли он снова лишь вместилищем отражения этого чувства и станет побуждать и ободрять его, чтобы оно вышло за свои пределы, как бывало уже не раз? Нет, это значит, что любовь этой девушки ему нужна, чтобы любить самого себя. Замкнутый круг пустоты, которая вечно будет лишь отражать чужие поступки и, наполнившись ими, переваривать для нового бесконечного голода. Только в этой истории ты впервыеучаствуешь сам лично, здесь твоя роль значительней, чем во всех других случаях, и, если даже все это не принесет больше ничего, разве не

прекрасно увидеть себя преображенными и приукрашенным ее мечтами? Это новый мир, где ты еще не был, ты очутился в пространстве, где ни на что не можешь надеяться, оно раздвигается и проваливается, убегает вперед и назад, и невозможно разглядеть его границ.

Дверь кухоньки открывается, и Божка, опустив голову, проскользывает мимо него, чтобы убрать со столика у окна. Квис дожидается, пока девушка вернется; ему кажется неподходящим начать с ней разговор, пока она стоит перед ним с грязными тарелками и приборами. На комоде, возле зеркала, в котором Божка разглядывала себя, примостилась дубовая шкатулка, ее уголки окованы серебром, и ножки, короткие, как у таксы, из того же металла. Квис открывает ее и роется в ее аккуратно уложенном содержимом, состоящем из памятных мелочей и не слишком дорогих дамских украшений. Он вылавливает большой, в форме яйца, коралл, висящий на тонкой, как волосок, позолоченной цепочке. Квис хорошо знает, что цепочка позолоченная, потому что сам купил эту вещицу Либушке дню рождения в те времена, когда с полным безразличием ожидал, удастся ли ей все-таки вступить с ним в брак против воли его матери. Сжимая коралл в руке, он усаживается на кресло с подлокотниками кovalльному столику и зовет Божку:

— Барышня!

Он всегда обращается к ней именно так, со старческим упрямством и старомодной обходительностью, хотя девушка и ее мать долго этому противились — мать с искренним неудовольствием, Божка, хотя ей это и непривычно, — польщенно. В кухоньке испуганно звякнули посудой и наступила смущенная, напряженная тишина, видимо, девушка поспешно вытирает мокрые руки и приглаживает волосы, недоумевая — чего он от нее хочет. Наконец онаходит. Совсем не обязательно быть соглядатаем, вроде Квиса, чтобы угадать по ее лицу, с каким страхом она пытается понять, зачем ее позвали, ведь такое случилось впервые, а она все еще полна воспоминаний о своей недавней смелости.

Квиса тоже вдруг охватывает смущение, он не знает, с чего начать. Ему это странно и кажется, будто чувства девушки, перелившись в него, сразу же повели себя в нем, как дома. Впервые в жизни он не может справиться со словами, которые всегда легко и охотно служили ему, он вынужден откашляться, прежде чем заговорить, но и по-

сле этого он как будто не без труда выбирает и подыскивает слова и с трудом соединяет их.

— Только что, когда вы протирали зеркало и посмотрели на меня, вам стало (Квис колеблется чуть дольше, запнувшись перед этим словом) жаль меня? Почему?

Божка еще ниже опустила голову, алый цвет смущения пробивается сквозь ее белую и розовую кожу. Девушка ожидала вопроса, знала, что он придет. Но, подняв ресницы, она смотрит на Квиса прямо, ее глаза правдивы, полны решимости и почти детской горячности.

— Мне показалось, что вы очень одиноки.

И тут у Квиса из всех уголков его пустоты вдруг вырвался ледяной ветер. Наверное, это оттого, что перед ним бушует молодой огонь и он вдруг ощущил, какой холод носит в себе. Кто-то в нем поднимается и начинает говорить, кто-то совсем незнакомый и чужой, и Квис с удивлением слышит его слова:

— Я действительно несколько одинок. Но я был одинок всегда, и это стало привычкой.

Он говорит и чувствует, как его заливает волна грусти, и тщетно старается определить, откуда она взялась. Это Божкина грусть, она вливается в него помимо его желания, и он не может ничем помешать ей. Это его первое истинное чувство. Холод тает, как снег на скате крыши, обращенной к солнцу. Тепла прибывает, и это уже не тепло, а жар. До чего же страшно и испепеляющее подобное чувство, пусть даже это печаль по самому себе, страшно и испепеляющее для души, которая всегда была лишь отражением огня и никогда — горнилом. Он слышит Божкин голос, он словно звучит в нем самом.

— Это, наверное, ужасно. Вы, должно быть, тоскуете?

Тоскуете? О ком он может тосковать? Да, быть далеко от людей плохо, но ведь он умеет взять от них все, что ему нужно.

— Тоскую? — повторяет Квис Божкины слова и свои мысли. — Наверное, вы правы. Конечно, человеку иногда бывает тоскливо, если он постоянно один.

Квис погружается все глубже, зной и жар становятся все сильнее; он с ужасом видит, что уже не управляет игрой, и то, что проникло в него или родилось в нем, наполняется все большей решимостью вести себя по-своему. Он собирает все силы, чтобы помешать этому, он должен управлять, а не подчиняться, пока наконец снова не овладевает тем, с чем обычно лишь заигрывал:

— А вы, барышня,— говорит он,— вы не чувствуете себя одинокой? У вас есть кавалер?

Краска, которая снова прилила к Божкиным щекам, совсем иного происхождения, чем та, что бросилась ей в лицо после первого вопроса Квиса.

— Нет,— отвечает девушка тихо и добавляет еще тише: — Я их боюсь.

Глаза у Квиса от удивления открываются шире, а любопытство, если можно так выразиться, сметает одним махом все, что оставалось от прежней тревоги.

— Почему вы их боитесь?

Божка колеблется, а потом отвечает:

— Что, если мне попадется такой же, как моей мачтушке? Мне не хотелось бы повторить ее судьбу.

Квис наконец начинает понимать. Вот что влечет к нему Божку.

— Не все одинаковы,— бормочет он. Ему бы спросить еще кой о чем, но, к своему удивлению, он обнаруживает, что его слова находятся в плена смущения и не в состоянии вырваться наружу.— Наверное, это когда-нибудь к вам придет,— добавляет он уже совсем беспомощно, думая, что лучше б такой разговор никогда не начинался.

Божке не намного лучше. Она теребит фартук и не понимает, отчего ей стало так жарко и душно и нечем дышать; Божка чувствует свою беспомощность и беспомощность Квиса, они словно два человека, пытающихся дозваться друг друга через бурную реку, разделяющую их. Все, что влекло ее к Квису, становится безумным и нереальным. Она этим настолько напугана, что готова кинуться бежать, да ноги не слушаются. А зачем? Ведь она так хотела ему помочь, так верила, что каким-то образом сможет прогнать тень его одиночества, а от него она видела б лишь добро. Почему же ее охватила такая странная тоска, словно ей надо пробираться в полночь через кладбище, думает она, нет, не то, просто, наверное, ее знобит, тут вдруг взвихрился холодный ветер, разорвал пелену жара, в которую она была укутана, и проник к самому ее сердцу.

Квис чувствует перемену, произшедшую с девушкой, но не знает, к чему ее отнести. Ее тоска настолько перемешалась в нем с его собственной, что теперь он не может отличить одну от другой. Что же это с ним стряслось, для чего он начал игру, в которой не может быть просто зрителем и развлекаться? Хватит. По крайней мере, на сегодня. Пора кончать, а впрочем, он не знает, чего боится боль-

ше,— того ли, что еще будет сказано, или мгновения, когда Божка исчезнет и он останется один.

Один!

Кто выкрикнул в нем это слово и почему эхо, завывая и скуля, не устает его повторять?

Божка наконец обретает дар речи и принуждает свой язык вернуть ее в реальный мир.

— Я,— произносит она,— я, пожалуй, пойду. У менявода для посуды остынет.

Квис поднимается из-за стола, пораженный после всего происшедшего своей решимостью удержать ее возле себя, и не для одной лишь этой минуты, а так, чтобы она уже никогда от него не ушла.

— Подождите, барышня. Я хочу отблагодарить вас за вашу заботу обо мне и просить, чтобы вы приняли этот пустячик как выражение признательности.

Он протягивает руку к девушке и, пропуская тонкую цепочку между большим и указательным пальцами, дает капле коралла скатиться со своей ладони. Божка изумленно ахает и отступает на шаг, пряча руки за спину. Алая слеза висит в воздухе, словно сама по себе, ибо сумерки в комнате делают тонкую цепочку почти невидимой.

— Нет, я не могу,— выдыхает Божка.— Матушка станет спрашивать, где я взяла, а Нейтек — тот может подумать бог знает что.

— В таком случае вы ее спрячьте, и это останется между нами.

Божка все еще колеблется, вид у нее испуганный, словно она хочет убежать или расплакаться, и Квис начинает говорить что-то такое, что ему чуждо и незнакомо и от чего в нем самом кто-то начинает изумляться, кто-то заикается, а кто-то хохочет.

— Возьмите, прошу вас. Одиночество хуже всего тем, что вы лишены возможности что-то давать людям. Если вы примете эту безделушку, то снимете с меня большую тяжесть.

И Божка едва не захлебывается своим собственным сердцем, героически проглатывая его вместе со слезами, а потом подставляет ладонь, освобождая воздух от висящей в нем алой капли.

— Спасибо вам,— всхлипывает она.— Я всегда буду о вас думать.

И исчезает в кухоньке.

А Квис стоит, склонив голову набок, словно все еще

прислушивается к этому чужому, незнакомому голосу. Потом подходит и глядит на поблекшую фотографию Либуше Билой, на которой ей было приблизительно столько лет, как Божке сейчас. На шее у Либуше висит подаренная им коралловая капля, но вдруг он съеживается, будто его что-то испугало, берет свою трость, шляпу и плащ и тихо выбирается из дома.

Скрытый густым разросшимся кустарником мохновский фонтан ведет свой разговор с вечностью. Сентябрь уже обрызгал зеленую стену кровью, медью и золотом, а матовые фонарики снежноягодника воображают, будто освещают это торжество многоцветья. На квадратах каменных плит, которыми вымощен тротуар перед зданием суда, играют дети, а перед лотками зеленщиков, возле трактира «У лошадки», судачат женщины. На лотках прибавилось товару и красок; отягощенные щедротами осени, они раздались вширь и напоминают лоно мифической богини, которая витаёт над ними, расплываясь в мглистом утреннем мареве. Быть может, юбки ее сотканы из перьев лукапорея, а пояс выкован из бронзы луковичной шелухи? Поглядите на кочешки цветной капусты — это молочная белизна ее живота и грудей, а яблоки приняли форму и цвет сосков; не ищите ее взгляда — вы утонули бы в нем, но можете держать пари, что волосы ее рыжи, как пучки моркови, мы не видим ее, она слишком возвышена и слишком обширна, чтобы наш взгляд и наша фантазия могли обять ее, но мы чувствуем дыхание и аромат потайных уголков ее тела, она благоухает зрелостью плодов и лихорадочной страстью поздних цветов, дурманом увядающих листьев, вспаханной землей и диким запахом течки. Вы чувствуете, как в вас напрягается каждый мускул и нервы звенят, будто натянутые струны? Женщины у зеленных лотков вдыхают эти запахи, они беспокойны, они переминаются с ноги на ногу только для того, чтобы покачать бедрами, незаметно прогнуться, выпятить груди; от разговоров, что они ведут, то одна из них, то другая вдруг взвизгивает, будто кто-то дотронулся до ее чувствительного местечка. У многих юбка уже стала тесной в талии, потому что вот уже четвертый месяц набухает в них новая жизнь в память о той июньской ночи, когда подняли вдруг лай все бытеньские псы. Кто станет думать о вечности в такой теплый предполуденный час, когда солнце, едва пробившись сквозь утренний туман, насыщает воздух

новыми испарениями, что поднимаются к нему с лугов и полей, садов и даже с бытеньской мостовой, еще влажной от недавних дождей; кто станет думать о ней, если с каждым вдохом жизнь становится все слаше, а кровь, обжигая, бежит по жилам; кто станет думать о ней, если онаполнокровно пульсирует в тебе, как здоровое сердце? И голоса женщин и детей, и птичье пение — все это звучит громче, чем трехструйная песня мохновского фонтана, укрытого за зеленой стеной кустарника, окраиной красками сентября.

Никто не замечает этой песни, никто не внимает ей, лишь Эмануэль Квис, педантично совершающий свою прогулку по площади, через равные промежутки времени приходит сюда словно для того, чтобы подкрепить свои силы для нового пустого снования взад-вперед. Голос фонтана больше не действует на Квиса, как действовал в первый день после приезда в Бытень, когда он пытался понять его песню. Он еще позволяет ей звучать в себе, но, видимо, уже способен противиться, потому что добрался до иного ее смысла. Если на него накатывается страшная лавина времени, которая едва не захлестнула его в первый день, то теперь он научился удерживаться на берегу и не испытывать головокружения; видимо, поняв, что поддался обману и может лишь утонуть в водовороте своей фантазии, ибо времени нет, есть лишь вечность, которая вращается по кругу, вялая и равнодушная, не находя ни своего начала, ни конца. И песнь вечности, так же как песнь этого фонтана, все та же, она полна тоской, хотя и впитала в себя весь мир, и, может быть, именно потому никогда не сможет заполнить своей пустоты. Не это ли так влечет сюда Квиса?

Все дороги в эти дни упорно сворачивают на площадь. И его беспокойство становится все лихорадочней. Искр становится все больше, но трут лишь удущиво тлеет, и освобождающее пламя не желает взвиться.

Наконец, после многих дней тщательного ожидания, ему посчастливилось встретиться с бургомистром. Они столкнулись посередине площади, на полпути между мохновским домом и ратушей, потому что Квис двинулся от трактира «У лошадки» как раз в ту минуту, когда бургомистр выходил из дома.

Серая шляпа описывает знакомый полукруг, бургомистр тоже приподнимает шляпу, но, продолжая свой путь, делает еще несколько шагов, не собираясь останавливаться и начинать беседу. Однако, сочтя это прене-

брежение слишком демонстративным, так не свойственным ему, он останавливается, словно забылся в поспешности, и возвращается назад к Квису, который торопится смахнуть с лица выражение гнева. И вот они стоят посреди площади, но нет столь длинных ушей, что могли бы навостриться и с тротуара услыхать, о чем эта парочка толкует. Тем усерднее напрягаются глаза, пытаясь по жестам и выражению лиц определить содержание разговора. Однако на расстоянии кажется, что беседа протекает вежливо и гладко, видимо, это обычный обмен любезностями, по крайней мере, ничего другого по их виду предположить нельзя.

— Вы очень любезны,— говорит Эмануэль Квис голосом, все еще напряженным от подавляемой злобы.— Я хотел лишь узнать, как на самом деле поживает милостивая пани. Ваша прислуга сказала мне, что она не совсем здорова и потому не принимает.

— Что-то в этом роде,— отвечает бургомистр беззаботно, но взгляд его упирается в лицо собеседника без улыбки.— Болезнью это назвать нельзя, просто упадок сил, поэтому ей нужен покой.

Лицо бургомистра, пока он говорит, не выражает ни дружелюбия, ни вражды, но тем не менее Квис, глядя на него, не может подавить в себе страха, и он опускает взгляд на грудь собеседника.

— Весьма сожалею. Когда уважаемая пани в последний раз была у меня, вид у нее был очень бодрый.

Веселая косматая собачонка пробегает через площадь и, увидав их, останавливается, чтобы дружески повилять своим заданным вверх лохматым хвостом. Она несколько раз вызывающе тявкает, но, не получив ответа, презрительно отворачивается и, не теряя оптимизма, продолжает свой путь в поисках какого-нибудь развлечения. Бургомистр трет бороду большим и указательным пальцами с такой энергией, что Квису слышно, как потрескивают волосы. Он не торопится с ответом, видимо, не хочет об этом говорить или обдумывает, как лучше выразить свою мысль.

— Именно после визитов к вам,— произносит он наконец раздельно,— ею и овладело это странное состояние. Очевидно, ее разволнивали ваши разговоры. Не припомните ли, что могло ее так расстроить?

Квис ощущает холодное, безудержное бешенство, распирающее грудь бургомистра, и весь съеживается, как мальчишка, уличенный во лжи.

— Не могу сказать. Мы, как говорится, беседовали обо всем, о чем угодно.

Тут бургомистр, не в силах справиться со стеснением в груди, которое душил в себе столько дней, говорит такое, чего, вероятно, в другой раз не решился бы вымолвить:

— Она вам говорила о мальчике?

На долю секунды Квис теряется, но понимает вдруг, что очутился у истоков объяснения непонятного состояния пани Катержиной, тайны, которую он не мог разгадать. Все остальные чувства в нем распадаются, он поднимает голову и без страха вперяет в лицо бургомистра глаза, в которых разверзлась пропасть любопытства.

— О каком мальчике?

Возможно, Нольч уже досадует, что проговорился, он бы с радостью умолк, но его подгоняет страх за пани Катержину и стремление избавить ее от опасности, хотя, может быть, его обманула бездонная пустота Квисовых глаз и он полагает, что может швырнуть в нее все, что угодно, не опасаясь, что это когда-нибудь снова увидит свет.

— О мальчике, который родился мертвым и все-таки живет и продолжает расти.

Всякий, услышав такие слова, перепугался бы, подумав, что сильный и уравновешенный Рудольф Нольч лишился рассудка. Но Квис все понял. Теперь он знает, кто находится там, за мостом света, что значит этот мост и почему пани Катержина не отваживается перейти его и броситься в объятья, открытые ей. Он, конечно, знает, как ему вести себя, и не ошибается в человеке, которого видит перед собой. Он лишь удивленно моргает глазами и растерянно бормочет:

— Не понимаю. Совершенно не представляю, о чем вы говорите.

На углу, неподалеку от зеленных лотков, появляется полицейский Тлахач. Он стоит там, держа дубинку за спиной, выпятив живот, и по привычке слегка раскачивается, перенося вес с пяток на носки и обратно. Он глядит на них, и бургомистр даже на таком расстоянии читает в его взгляде собачью преданность, трепетную и напряженную готовность, ожидание знака, чтобы кинуться на кого угодно, кто ему будет указан. Бургомистру достаточно шевельнуть пальцем, и Тлахач примчится, готовый рьяно исполнять любое приказание. «Уведите этого человека, он угрожает общественной безопасности», — может заявить бургомистр, и Тлахач схватит Квиса, словно кошку, и, весьма вероятно, скорее потащит, нежели поведет

в полицейский участок. Это, пожалуй, подходит. Ну, а дальше? Какое обвинение можно предъявить этому сморщенному сушеному яблоку?

В том, что пани Катержина говорит во сне о какой-то непреодолимой черте, плачет, не просыпаясь, а днем, широко открыв глаза, впадает в странное оцепенение и никого вокруг не замечает? Что иногда льнет к нему в страшной тоске, будто боится, что кто-то отторгнет ее от него, а иногда глядит, словно он уходит от нее, исчезает в небозримой дали? Это был бы странный протокол, и по полицейскому вахмистру пришлось бы то и дело оттягивать пальцем ворот мундира, чтоб не так душили сомнения.

«Так-то так,— выдавил он наконец,— но при чем тут арест?»

«Я обвиняю его в том, что он пробуждает в людях то, что должно в них спать, и тем нарушает порядок, заведенный богом и людьми».

«А что он пробудил в вас, пан бургомистр?»

«Ну, оставим это,— пришлось бы ответить Нольчу,— я не хочу все валить на него, ведь и в самом деле трудно определить, где кончается его вина и начинается наша собственная».

Взгляд Нольча тяжело лежит на Квисе, и наследник Либуше Билой уже знает, что бургомистр проник в его суть и тщетны все попытки что-либо скрыть. Но Квис настолько взволнован всем, что пришлось выслушать, что это сейчас ему безразлично. Бургомистр же более не способен преодолевать отвращение, которое вызывает в нем этот человек.

— Ну, если вы на самом деле не понимаете, что я имел в виду, было бы напрасно вам это объяснять. Я вижу, в Бытни вы уже обжились.

Удивленный неожиданным поворотом, Квис кивает:

— Благодарю вас, да.

— И все-таки одному богу известно, зачем он вас сюда послал,— говорит бургомистр и, чуть приподняв шляпу на прощанье, поворачивается и уходит.

«Они приятно побеседовали,— сочли бы все, кто наблюдал их во время разговора, а завистники — более того — добавили: «И чего это бургомистр цацкается с этим пришельцем?»

Таков уж Рудольф Нольч, он может и с бродягой усесться на тротуаре, не утратив достоинства.

И если на всей площади есть человек, которого не смогла обмануть взаимная вежливость этих двух,— то это

полицейский Тлахач, в котором за те тридцать лет, что он охраняет бытеньское имущество и безопасность, выпестовались инстинкты сторожевого пса. Но что может сделать страж общественного порядка с человеком, который ничего не украл и ни об кого не обломал палку? Тем не менее полицейский Тлахач все же имеет зуб на этого субъекта в серых штанах и черном сюртуке. «Имеет зуб» — этим еще мало сказано,— полицейский ловит себя на мысли, что с той самой дождливой ночи, когда они столкнулись перед лавкой Гаразимов, он испытывает нечто похожее на страх, когда Квис переходит ему дорогу. Это удивляет и злит Тлахача, и впервые в своей жизни, отданной честному служению, он ощущает вкус ненависти. Поэтому, увидав, что простиившийся с бургомистром Квис направляется прямо к нему, Тлахач делает поворот направо и неспешно, с достоинством присоединяется к толпе женщин возле зеленщиков.

Полицейский наверняка удивился бы, узнав, сколь безошибочно оценил его поступок Квис и какую это доставило ему радость. Этот хорек идет по верному следу, он не может ошибиться. Что означает поведение Тлахача? Только то, что в его душе и сердце прорастает семечко, когда-то заброшенное и затерявшееся среди хлама, накопившегося там за пятьдесят лет. И вот росток уже пробился, и Квис с наслаждением представляет себе тот ужас, с каким Тлахач наблюдает за его ростом. Странная былинка, господа ботаники, рекомендую вашему вниманию. Не ключ-трава, а целая отмычка. Хихикающее эхо бродит в Квисе. Шутка есть соль жизни и бывает удачной очень редко. Отмычка в руках у стража вашего имущества, бытеньские граждане! Еще немного, и такое могло бы пропасть втуне.

Тлахач входит в кружок бытеньских женщин, как мельник в мукомольню. Подстегнутая его присутствием машина злозычия полным ходом перемалывает значение беседы Квиса и бургомистра. Но Квис лишает их пищи для разговора. Он неожиданно меняет намерение и устремляется прямо в середину стайки, так что сложный механизм разом останавливается и умолкает, словно кто-то швырнул в него камень. Квис, однако, направляется дальше, к торговцу фруктами, и, довольный замешательством притихших женщин, подходит к корзинам, наполненным желто-красными яблоками.

Какое-то время он присматривается, а затем протягивает свою тощую белую руку к куче яблок и выхватывает два верхних плода, самых ярких и совершен-

ных, без единого пятнышка, и кладет их в карман своего плаща, переброшенного через левую руку. Он поворачивается, чтобы уйти, и обнаруживает, что полицейский Тлахач успел выбраться из толпы женщин и стоит на тротуаре чуть поодаль, готовый, очевидно, двинуться дальше, если увидит, что Квис снова направляется к нему.

Но Квис в эту минуту уже думает не столько о полицейском, сколько об этих двух яблоках, оттягивающих его плащ. В полдень он отдаст их Божке, чтобы увидеть, как алость девичьих губ сольется с пурпуром яблока, как белые зубы пронзят его кожицу и с сочным хрустом войдут в мягкость. Воздух, который он сейчас вдыхает, становится сладостным от воспоминаний о девушке, и Божкино присутствие становится необычайно явственным. Приятно носить в себе нечто подобное, потому что эта игра — самая невинная из всех, которую он ведет в Бытни, и более остальных удовлетворяет его тщеславие. Он видит плоть, она расплывается, но как прелестно это видение, подобное цветущей яблоне или озаренному солнцем облаку на синем небе; как был бы обласкан взор, окунувшийся в прекрасное, если б не эта тихая печаль сожаления, что тянется за ней подвенечным шлейфом. Нет, он не смеет допустить, чтоб чувство ее исчезло, он должен питать его с осторожностью, уже первые шаги показали, какие подводные рифы скрываются в безобидной игре.

— Это что еще за тип? — произносит кто-то возле плеча полицейского. Глянув с высоты своего роста, Тлахач видит Карличка Никла, картежника, который играет в очко в погребке «Под ратушей». — С виду щут, смеется, как недоумок, — продолжает пан Карел Никл, которого не остановил и не смущил презрительный взгляд полицейского. Квис в эту минуту демонстрирует свою улыбку площади и направляется на свое любимое местечко возле мюнхновского фонтана. Но у Тлахача нет желания пускаться в пересуды с субчиком, о котором его предупредили жандармы, и выкладывать ему свои соображения.

— Между прочим, и вас еще тоже никто не спрашивал, кто вы такой и откуда взялись.

Карличек вздрагивает, как от укуса. Когда люди в мундире начинают говорить с ним таким тоном, он предпочитает стать покорным и поскорее убраться. Но этот полицейский вроде бы не вредный. Он несколько раз наблюдал за их игрой и делал вид, будто они играют не более чем в «черного Петра». А впрочем, кто его разберет.

Вот деревенщина — ему бы только орать на торговцев да таскать по домам уведомления, от такого всегда жди неприятностей, нашему брату с ним лучше не связываться.

— Вы можете спросить про меня у трактирщика из погребка,— заявляет Карличек открыто и бодро,— он-то меня знает.

Но с Тлахачем сегодня не сговориться. Вид Квиса, беседующего посреди площади с бургомистром, переполнил его злобой, и она до сих пор бушует в нем.

— Обойдусь без советов. Вы здесь шулерничаете. А с трактирщиком из погребка и с мясником Малеком сговорились, чтоб ободрать Пепека Дастьха. Из Худейович вас выперли с треском, так что теперь вы туда и носа не кажете. Значит, рыльце-то в пушку.

После Тлахачевых слов Карличек Никл быстренько меняет масти. Сначала он пошел с короля бубей, прикинувшись человеком, который уверен в себе и заслуживает доверия, потом в ярости, потеряв голову, чуть было не покрыл червовым тузом, но понял, что остался с трефовой семеркой на руках, которая не сулит ему ничего хорошего. Неплохо бы тряхнуть рукавом и выбросить в игру что-нибудь посолидней, но он понимает, что рукав уже пуст.

— Что я вам, чужой, что ли? — делает он последнюю попытку.— Всякому может не повезти, но люди лицемерны и справедливости от них не дождешься.

— А вы и есть чужой,— отрезает неумолимый Тлахач.— Ничего не поделаешь. Про другое я вас не спрашиваю, да только на вашем месте я бы насчет справедливости не слишком разорялся.

Горький опыт научил пана Никла угадывать, когда надо все бросить и выйти из игры, но по его собственному выражению — именно сейчас он не знает, как быть. Его оскорбленное самолюбие фыркает, словно нюхнув перца, он не в силах смириться с тем, что его может припереть к стенке и загнать в угол этот чурбан в мундире, похожий на полицейского не более, чем батрачка в деревянных башмаках — на прима-балерину. Он с радостью чем-нибудь двинул бы его и дал деру, да только человек не всегда хозяин своим желаниям и не может делать, что захочет. Карличек Никл черпает из многих источников премудрости и давно понял, что когда нельзя перепрыгнуть, надо подлезть. И, моментально приняв мину оскорбленной, всеми обиженной невинности, он льстиво молвит:

— Пан вахмистр, вы сегодня, наверное, плохо спали. Я не стою того, чтоб из-за меня так расстраиваться. Если

бы вы позволили, я пригласил бы вас на рюмочку в «Лошадку», для аппетита, тогда бы вы повеселей глядели на мир.

Надо отдать должное пану Никлу, он знал людей и мир настолько, что раскусил своего соперника, он подошел к нему, как опытный лошадник к коню, и принудил стать податливей. Одна рюмочка, как известно, не повредит, и Тлахач ей рад и любое время дня и ночи. У него уже совсем было разгладилась насупленная физиономия и стало смягчаться сердце, но, как только он посмотрел в упор на пана Никла, к которому упрямо стоял боком, размягченность его мигом улетучилась, заманчивость предложения изменила окраску, слиняла и съежилась, обернувшись несусветной наглостью. Презрительно оттопырив губы, Тлахач заявил:

— На вас и после трех рюмок не станешь глядеть веселее. Но запомните: можете себеrezаться в карты, пока на вас кто-нибудь не укажет пальцем! Мне до этого дела нет. Но сохрани вас бог обделывать здесь какие другие делишки.

Карличек Никл стоит и смотрит, как вышагивает этот дубина в своем усеянном пуговицами мундире. Напустился на него, воображает, будто Бытень — его собственность. Никл сплевывает, цыкнув правым уголком рта, и, стараясь сохранить достоинство, пускается через площадь к погребку. Тлахач между тем, восхищенный собственной персоной, забывает на некоторое время про Квиса и про то, как вчера днем, дома, пробовал, сумеет ли сделать из проволоки отмычку и открыть ею замок.

Тлахач забыл о Квисе, о Квисе могут забыть все, но Квис не забывает ни о ком. Сейчас он разыгрывает свою обычную интермедию с мохновским фонтаном, более того, он даже сел здесь сегодня, выбрав одну из двух скамеек, на которой белые потрескавшиеся буквы сообщают о том, что скамеечки пожертвовала городу бытеньская промыслово-земледельческая ссудная касса. Зяблик, задолго до Квиса захвативший в собственность этот уголок сквера, уже свыкся с его присутствием, вот он слетает на парапет фонтана и скачет, вопросительно покрикивая, опускает голову к водной глади и пьет. Эмануэлю Квису, однако, безразлична и эта птичка, и этот уголок природы, гостеприимством которого он сейчас воспользовался. Он перебирает в памяти свой разговор с бургомистром и усмехается. До чего перепуган этот человек, какая тоска в нем, какой страх. Все три струи фонтана, сливаясь, поют

в унисон о быстротечности времени, от лотков зеленщиков сюда доносится пронзительный женский смех, жизнь города разветвляется и растет в Квисе. Вот оно, то дерево, урожай с которого он будет собирать, и Квис чувствует, что близится день, когда первые плоды сами упадут в его подставленные ладони. А потом Квис отправится дальше, и нет для него остановок, как нет отдыха для этих трех поющих струй.

Кто-то идет сюда быстрыми шагами, зяблик вспархивает с испуганным криком, и Квис, выведенный из своих мечтаний, с неприязнью поднимает голову.

— Вы здесь,— заявляет помещик Дастьх не здороваясь.— Я так и думал, что найду вас именно здесь.

Квис глядит на него с нескрываемой яростью, но отвечает вполне спокойно:

— Вам, насколько я понимаю, повезло. Вы в преотличном настроении.

На Дастьхе воскресный костюм. Шляпу он слегка сдвинул на затылок и стоит перед Квисом, широко расставив ноги. Синие пьяные огоньки мелькают в болоте его глаз, но вдруг их сметает вспышка белого пламени, как будто кто-то приотворил и снова захлопнул заслонку плавильной печи. Этот мир слишком силен для Квиса и немного пугает его. Он прикрывает веки и опускает взгляд к земле.

— Я раскусил их, теперь им меня не взять,— выкрикивает Дастьх, и Квис съеживается.

— Пожалуйста, не так громко. Об этом никто не должен знать, кроме нас. Я же говорил, что у вас получится все, что вы задумаете.

Помещик заговорщически озирается и спьяна подчиняется Квису, понижая, как и он, голос.

— Мне не дали ссуду в местной кассе, но я съездил в Худейовице. Этого они не ожидали. А главное — он!

И Дастьх тычет большим пальцем через плечо в сторону суда.

— Теперь меня уже никто не остановит. Мне нужны были только деньги. Много денег, чтобы перешить невезение. Уж коли я начну выигрывать, то буду выигрывать всегда. Если бы у него были деньги, все давно было бы в порядке и я избавился бы от хлопот.— Дастьх подозрительно оглядывается вокруг и, наклонившись к Квису, страстно добавляет: — У моего деда.

Квису кажется, что его схватили железные руки и закрутили в бешено вертящемся колесе. Вот они отпустили

его, но все в нем и вокруг него продолжает кружиться и кричать: «Скажи мне, где ты, говори, где ты! Ты видишь, что время бессмысленно! Ничто в нем не тонет, ничто не исчезает, оно само течет против своего же собственного течения. Вот она, Пепекова правда о поезде, который мчится навстречу самому себе по одной и той же колее, которая тебе что-то уж слишком полюбилась. Смотри ты, пассажир, едущий зайцем, будь осторожен, успей вовремя выскоить».

Квис поднимается, опираясь на палку, расправляет грудь в своем сюртучке, вид у него при этом такой, будто он возвышается над головой помещика, хотя на самом деле достает тому лишь до подбородка.

— Ну, а теперь вам пора домой,— говорит он грубо.— Я не желаю, чтоб нас слишком часто видели вместе. Пойдут разговоры.

— Плевать мне на всех!— кричит помещик.— Я им всем покажу, кто такой Пепек Дастых.

Но, взглянув Квису в глаза, он чувствует, что голова пошла кругом, а под ногами уже разверзается черная бездна.

— Иду, иду,— бормочет он, безуспешно пытаясь приподнять шляпу, и, пошатываясь, выходит из сквера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ КОЛОКОЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ

В первую неделю августа муниципальный совет постановил принять дар неизвестного уроженца Бытни, гражданина города Стокгольма, согласившись на все его условия.

Бургомистр имел причину для веселья, шутка ему удалась, теперь ничто уже не сможет помешать начисто убрать из этого достойного города устрашающее пристанище сирых и заменить его человеческим жилищем, поддерживаемым постоянной дотацией, чтобы те, кто в нем поселятся, могли содержать его в состоянии, достойном человека. И бургомистр смеялся, хотя в последнее время ему было вовсе не до смеха по причинам, которые он скрывал от всего света еще тщательней, нежели инкогнито стокгольмского пивовара. В газете «Худейовицкий край» были опубликованы стихи бытеньского почтмейстера, озаглавленные «Что бог соединил...» и повествующие о «сердце, где любовь пылает, и льды ее не остужают...».

В том же номере была помещена заметка, сообщающая о благородном поступке неведомого дарителя и решении муниципального совета (с соответствующим ироническим комментарием о том, сколько времени длилось это заседание), в конце заметки содержалось ядовитое замечание в адрес тех, которые намного ближе городу и которые обязаны ему не только тем, что в нем родились и окончили школу, но до такого не додумались. Бургомистр узнал себя, а по стилю заметки ее автора — городского секретаря, ежедневные «биржевые новости» которого о повышении и падении сахара выслушивал столь любезно. Вы только посмотрите, этот человечишко его тоже ненавидит! Живется ему, видимо, прескверно, и лучше не станет, даже достанься ему одному вся дотация на приют. Бургомистр покраснел, вспомнив мысли, вызванные в нем секретарским кадыком. Шутка действительно удалась, но причин для смеха становилось все меньше.

Апогей наступил, когда местный любительский кружок решил дать концерт в честь неизвестного дарителя и к бургомистру обратились с просьбой быть почетным председателем на этом знаменательном культурном мероприятии. Чего же еще желать для удовлетворения своей иронии? Бургомистр оценивал свой шаг трезво. Богач развлекается. Это имело смысл, пока жизнь была однобразной и тусклой. Теперь это прошло. В его жизнь вторглась тревога. А впрочем, разве не ирония судьбы, что шутка достигла своего апогея в столь неподходящее время? Ах нет, бургомистр не собирается хныкать, он только хотел бы найти способ, как встретить опасность лицом к лицу, опасность, которая подбирается к его жене, ведь сумел же он воспротивиться всему, что угрожало ему самому.

Трезвый ум являлся идеальным оружием Нольчей. Потому-то они так и разбогатели. Быть может, в бургомистре благоразумие несколько притупилось, так как ему не пришлось пробивать себе дорогу, и тем не менее он проявлял большую умеренность, нежели половина бытеньских жителей, вместе взятых. Трезвый ум гнал его сейчас к врачам за советом, но вместе с тем он вполне отчетливо представлял себе все, что они могут ему сказать и порекомендовать. Он предложил жене на какое-то время покинуть Бытень, и пуститься в путь без плана и без цели, и переезжать из города в город, гонимые лишь импульсом, как это уже бывало с ними столько раз. В таких поездках

пани Катержина обычно расцветала. На этот раз она отказалась ехать.

— Не могу, Рудо, теперь не могу,— ответила она, внешне сохраняя свое обычное спокойствие, но он понял, что ее ужасает сама возможность отъезда.

Все же он считал своей обязанностью настаивать.

— Это было бы бегством, а я не хочу бежать.

Он знал, что стоит за ее словами, от чего она не хочет бежать, но, как обычно, лишь только они вступали на этот тонкий лед, Нольч утрачивал смелость, не отваживаясь продолжать. А впрочем, видимо, и сама пани Катержина не желала развивать эту тему. Еще боролась или уже приняла решение? Супруг частенько ловил на себе ее взгляд, как будто потемневший от печали перед разлукой с ним.

Иногда, особенно по ночам, она, отдавшись приливу любви к нему, пыталась горячностью тела спастись от своих мыслей, от того светловолосого мальчика, который все чаще, все неистовой открывал ей свои объятья. Быть может, она искала спасения в плоти, быть может, плоть сама спасалась таким образом от души, пытающейся разбить единство, быть может, Катержина возвращалась к давно утраченной вере и надеялась, что в этих отчаянных объятьях пробудится ее уснувшее лоно и росток новой жизни пробьется, чтобы помочь ей вернуться к той возлюбленной тени, что росла и зрела в ней бестелесная. Но сумерки сгоревших чувств возвращали ее к реальности и уводили еще на шаг дальше к тому единственному источнику света, который ей оставался.

Охотнее всего пани Катержина проводила теперь время в длинной застекленной галерее, которую обогревало послеполуденное сентябрьское солнце, а так как она не оставляла своего места и в пасмурные и дождливые дни, бургомистр приказал поставить здесь электрическую печку. Пани Катержина выглядывала в сад, где ветер раскачивал кроны деревьев, трепал их за вихры, в большинстве своем еще зеленые, и что было сил рвал своими хищными лапами.

Со стен галереи взирали на пани Катержину неулыбчивые, застывшие лица мохновских женщин и мужчин. Семь поколений. Похоже было, что все они, повернувшись в ее сторону, что-то приказывают ей своими неподвижными, беспощадными взглядами. Взоры их обращены на нее. Кровь их течет в ней и шумит эхом их голосов. Нет нужды вслушиваться в слова, их смысл ей понятен. Она сидит

в этом мохновском доме, неприступном как крепость, чтобы род их мог сопротивляться обстрелу времени; она родилась здесь так же, как родились здесь они, и обязана была передать эстафету жизни дальше, но споткнулась прежде, чем смогла сделать это. И тем не менее именно она остается их последней надеждой, единственным мостиком, по которому они могут перебраться через пропасть небытия. И все они указывают взглядами туда, где открывает ей свои объятия мальчик. Она обязана связать жизнь со смертью и замкнуть круг, чтобы мохновский род не излился в пустоту.

Хрупкая, решительная и прекрасная, сидит пани Катержина в застекленной галерее мохновского дома и ждет. Она не знает, когда и в какой момент случится то неведомое, чего не в силах постичь. В ней нет страха, лишь печаль, которой она, сидя вот так, в одиночестве, даже не противится.

Она слушает, как в кронах деревьев бушует ветер, и ей чудятся крики расшалившихся мальчишек. Дети играют. Дети! Рослые, сильные, красивые мальчики.

Программа концерта в честь неизвестного благотворителя после нескольких шумных собраний любительского кружка была наконец согласована и обещала стать блистательной демонстрацией всего того, что бытеньским активистам удалось пожать на культурной ниве. Предполагалось включить номера вокальные, музыкальные и танцевальные, декламацию и одноактную пьесу.

В театральном зале погребка «Под ратушей» теперь по вечерам было чрезвычайно оживленно — начались репетиции. Енику Гаразиму и Лиде Дастьховой от этого праздничного пирога достались лучшие куски. Еник сопровождал на фортепиано все вокальные и танцевальные номера, а Лиде выпала честь исполнять народные песенки Моравской Словакии и играть главную роль в пьесе. Над домом Гаразимов нависла туча, но ввиду того, что речь шла о событии, в какой-то мере чрезвычайном и торжественном, в котором принимали участие многие почтенные бытеньские семьи, а Еник вдруг проявил необычное упорство, невозможно было применить крайние меры. Главной причиной беспокойства была, конечно, эта девчонка Дастьховых.

Больше всего хлопот было с постановкой пьесы, и репетиции постоянно затягивались до глубокой ночи. Еник

в пьесе не участвовал, но торчал в зале, несмотря на то, что со своими обязанностями уже управился. Забравшись в уголок, где сложены стулья, он дымит, словно угольная яма, до тех пор, пока на сцене не появляется Лида. Тогда для него исчезает весь мир. Плохи твои дела, приятель, потому что ты своими собственными глазами видишь и своим собственным сердцем ощущаешь, что перед тобой совсем другая Лида, совсем не та, что пробегает мимо тебя по площади с сумкой для покупок или отважно отбивает посланный тобой крученым мяч в теннисе, и даже не та, которую ты сжимал в своих объятиях и осыпал поцелуями. Этой Лиды он боялся, как только она начинала петь, или декламировать, или просто играть в самой дурацкой пьеске, какую могут выбрать только бытеньские любители. Дурацкая пьеска или умная, но Лида в словесном хламе всегда находила человека и растворялась в нем, становясь новым существом, которого ты никогда до сих пор не знал и не видел.

Еник сидит, сжав руки в коленях, и до хруста стискивает их. Он догадывается о чем-то ужасном, на что всегда старался закрыть глаза. Лицо место не здесь, не там, на сцене, и вообще не в этом городе, ее мир не здесь, и если она останется в Бытни, это никому не принесет ни пользы, ни радости,— она никогда не сможет полностью отрешиться от своей мечты. Лида не изведется и не умрет с тоски — не та закваска,— она просто погребет в себе всех тех, в которых хотела вдохнуть жизнь на сцене. Скажите на милость, обыкновенный парень, у которого на уме лишь теннисная ракетка да джазовые шлягеры, а вдруг становится ясновидящим и видит вещи в их истинном свете. Ну а потом у него возникает вопрос: «А что будет с тобой, если ты уверен, что без нее тебе нету жизни? Помчишься следом за ней по свету, повиснув камнем у нее на шее, потому что толком ничего не умеешь, разве что размахивать деревянным метром, ведь твое бренчанье на фортепиано годится не более, чем для ночного заведения? Холодный свет вопроса, как это ни странно, замутил виденье, иззороздил его трещинами сомнений. Твоя влюбленность вознесла Лиду чересчур высоко. Ты видишь великую актрису, а есть лишь живая, красивая девушка, которая забила себе голову всяческими выдумками, что, впрочем, свойственно любой девушке ее возраста. Не поддавайся, Еник, сохраняй спокойствие и упорство. Чего ей мотаться по свету,— все, что ей нужно, что может понадобиться, есть в Бытни. Пугаешься тени, когда у тебя есть реальные

заботы. Разве не придется тебе приложить все силы, чтобы завоевать ее против воли своих родителей?

И вот он сидит здесь, смотрит, любит, и голова его тяжелеет от дробной щебенки мыслей. Он дождется своей минуты, и после репетиции ему будет милостиво разрешено проводить Лиду домой. И когда он будет трепетать, желать, чтоб хоть на это короткое время она принадлежала ему, только ему, Лида все еще будет не Лидой, а той, которую изображала в пьеске. Она не станет говорить ни о чем, кроме своей игры. «Ну,— скажет она,— как я сделала это, и как я произнесла то, и как я выглядела, когда переходила от столика к окну, помнишь, когда я резко повернулась?» Енику с трудом удастся сорвать несколько отчаянных поцелуев в сквере, и ему покажется, будто он целует чужую, незнакомую девчонку, которая, хотя и подставляет губы, но думает при этом о настоящем своем далеком возлюбленном. А Енику так нужна Лида! Да только он не знает слов, которыми смог бы завоевать ее и прогнать ту, другую, которая оказалась в его объятьях.

Трехструйная песня фонтана обвивает их; но это не та лента, что свяжет их навсегда, нет, девушка не слышит ни свадебного хорала, ни колыбельной, ни спокойного бега времени, освященного любовью, а только ливень будущих апплодисментов, и когда она поднимает голову, то в высоких звездах сентябрьского неба ей сияют не глаза возлюбленного, а огни городов и рамп, и даже кусты вокруг благоухают для нее ароматом тех цветов, что будут брошены к ее ногам. Вдруг ей становится страшно — от всех этих видений на нее веет холодом, и вот она уже снова маленькая и беззащитная, и ей необходимо поскорее укрыться в сильных объятиях.

— Умоляю, защити меня.

Глаза ее спешат вернуться назад из той дальней дали, куда их унесло; вернувшись, они видят перед собой лицо юноши, выбеленное сумраком ночи, едва разбавленного слабыми бытеньскими фонарями. Как мне могло такое взвестри в голову, ведь это пустые мечты и ветер развеет их, на свете есть лишь ты и я, и никогда мне от тебя не уйти. Но ничего подобного она ему, конечно, не говорит, лишь отчаянно прикасает к Енику долгим поцелуем. О, если б можно было утонуть в нем, как в вешней воде, сколь прекрасна была бы такая смерть!

Но старая курица — башня ратуши,— вдруг опомнившись, снесла спешно одно за другим три яйца, и они с отвратительным треском раскололись о мостовую, а три

черных крошечных петушка, выскочив из скорлупок, пронзительно прокричали Енику в уши: «Без четверти одиннадцать». Еник вздрагивает, а Лида сразу остывает, зная, какую картину видит он пред собой. Они выходят из сквера, пришибленные и притихшие, и, подняв головы — Лида демонстративно, чтоб Еник заметил, Еник же незаметно,— так ему, по крайней мере, кажется, чтоб Лида этого не видела,— могут лицезреть в темном окне над лавкой Гаразимов женскую фигуру, освещенную уличным фонарем. Женщина стоит неподвижно и поджидает своего сына. Все, кто возвращается с репетиции этой дорогой, прошли четверть часа назад, нет лишь его и этой девчонки. «Я просто с ума сошла,— говорит себе Лида.— Нет, не останусь здесь ни за что на свете».

— Маменька ждет тебя,— говорит она громко.

Еник умоляюще глядит на Лиду.

— Лида, я не виноват, что она такая.

— Конечно, не виноват, глупенький,— смеется Лида.

(«Я смеюсь совсем естественно»,— может отметить она про себя.) — Никто не в ответе за своих родителей. Мы их не выбирали.

Так оно и идет, Еник дома упорствует, то ссорится, то отмалчивается, требует сочувствия и грозит, мучается и сомневается, и, несмотря на все, он счастлив и желает, чтоб эти репетиции продолжались хоть до самого праздника и он мог видеть Лиду ежедневно. Но концерт намечается через две недели, уже висят афиши, и первая репетиция в костюмах назначена через девять дней.

Репетировать начали в семь, но в суете и неразберихе, когда все не так и все не на месте, окончили лишь к десяти. В половине одиннадцатого понемногу, один за другим, стали наконец расходиться, и только Лида все никак не может собраться, снимает грим, переодевается. Еник сидит на своем обычном месте возле кучи сложенных стульев, ворошит свои неизменные думы, сегодня еще более тяжелые и мучительные, чем обычно, по опустевшему залу взад и вперед тяжелыми шагами прохаживается Нейтек, он исполняет обязанности рабочего сцены и должен запереть и передать ключи трактирщику. В горле у Нейтека пересохло, и он мечтает только о рюмочке. Еника раздражают его скрипучие шаги, видимо, потому, что напоминают чей-то монотонный голос, который даже сейчас читает ему бесконечную мораль.

— Ступайте домой, Нейтек,— говорит Еник.— Я сам запру и отнесу ключи вниз.

Нейтеку повторять не нужно.

Лида появляется вскоре после его ухода. Зал теперь освещает только одна-единственная мутная лампочка, и Еник в этом ущербном свете выглядит беспомощным и одиноким. У Лиды сжимается сердце. Она идет к нему, и пустой зал поигрывает эхом ее шагов. Лиде кажется, будто она вдыхает запах пепла всех сгоревших радостей, которыми полыхали здесь эти прошедшие, короткие и до безумия прекрасные часы. Еник поднимается и устремляется ей навстречу, но она, схватив его под руку, тащит обратно к распахнутому окну, где стоит скамья, обтянутая траченным молью порыжевшим плюшем, одна из тех, на которых в торжественных случаях располагаются матроны, сопровождающие своих дочерей на танцы. За окнами — усыпанная звездами сентябрьская ночь, слабо освещенная узким серпом месяца, поднимающимся где-то далеко над лесом. Ночь безветренна и лишь вздыхает в кронах старых ясеней опустевшего сада у ратуши, словно женщина, охваченная во сне любовным томлением.

— Иди сюда, присядем на минутку, — говорит Лида, и в ее голосе, обычном Лидином голосе, дрожит тонкая натянутая струна. — Только погаси сначала лампу, ей бы только освещать путь привидениям, она меня раздражает.

Еник удивлен ее просьбой, но подчиняется беспрекословно. Он не знает, где выключатель, влезает на стул и выворачивает лампу. Тьма, хлынув из стен, затапливает зал.

Они сидят рядышком, обратив лица к звездам, держатся за руки и молчат, потому что Лида хочется молчать, а Еник боится произнести что-нибудь нелепое и потому лишь обнимает ее за талию, прижимает голову к груди и осыпает поцелуями. Теперь она ему понятна, она уже не чужая, теперь он почти уверен, что никто и ничто не отнимет ее у него, и что все страхи, лезущие в голову, когда он видит ее на сцене, лишь химеры, возникающие от избытка любви.

А Лида, прильнув к нему, приходит в отчаяние от тщетности его надежд. О, если б она могла сказать ему всю правду! Но тогда все, что происходит сейчас, рухнет под тяжестью ненужных слов. «Я не могу остаться здесь, а ты не можешь идти со мной, зачем, зачем любовь пересекла наши пути? Быть может, мы узнаем это позже. Возьми меня, я навсегда отдамся тебе, чтоб никогда тебя не потерять. Меня будут сжимать в объятьях и другие мужчины,

но я буду видеть лишь твое лицо и чувствовать лишь твои руки, твое дыхание, твое сердце, так, как чувствую их сейчас. Тебе странно, что я думаю о других, которых не знаю, именно в эту минуту? Это лишь для того, чтобы никогда не забыть тебя, чтобы из всех глаз, которые когда-либо склоняются надо мной, всегда смотрели только твои. Не замечай моего молчания и овладей мной, разве мало говорят тебе мои поцелуи и тело?»

Темнота обступает их со всех сторон, но Лида поворачивает голову к окну: глаза ее полны звезд. Какое странное место выбрала ты для брачного ложа! Скамейка, на которой восседают бытеньские матроны, ястребиным оком охраняющие честь своих дочерей. Лидина душа полна веселья, бунта, счастья и печали. Скамейка, поставленная на границе двух миров, один просачивается к ней из тьмы театрального зала, мир превращений и людей, что будут оживать, вырвавшись из ее души, толпы людей, множество жизней и судеб, а там внизу, под окном, на дне ночи — другой, едва освещенный тонким серпом луны, тонущий за далекими лесами, и Бытень, которая хочет похоронить ее под песком одинаковых дней, заточить в одной-единственной судьбе эгоистично счастливую или несчастную, всем чужую и ко всему равнодушную. Губы Еника блуждают, бродят по телу Лиды, не в состоянии остановиться, не в силах насытиться. Стиснув зубы, Лида глушит всхлип боли и вдруг сама резким движением прижимается к Енику. Так сильно я не смогу любить никого на свете, так буду навеки любить лишь тебя.

Еник, опустившись перед ней на пол, целует ей руки и колени.

— Лида, теперь ты навсегда моя!

Ее захлестывает раскаяние, ведь она не может рассказать ему правду, зачем таким странным образом обручились с ним сейчас и как предаст все его мечты и надежды, которыми он вооружился для борьбы со своими родителями. Лида прячет в его волосах лицо и плачет.

Еник испуган.

— Лида, Лидушка, не плачь. Я не хотел тебя обидеть. Ты же знаешь, что я люблю тебя и никогда не покину.

Она охотно объяснила бы ему, что он заблуждается, но боль ее так сильна, что она подавляет всхлипы, и лишь слезы текут из ее глаз. Если б только она могла предположить, как ей будет тяжело, как гадко, как плохо. Теперь она, видимо, и вправду не найдет в себе сил, чтоб настоять

на своем и уехать, и навсегда удовлетворится одной судьбой, только бы в ней жил Еник, живой и невредимый.

Часы на ратуше отбивают половину двенадцатого, когда они выходят из ворот погребка. Мохновский фонтан задерживает их возле себя, и последние поцелуи теперь почему-то имеют совсем иной вкус, чем вчера или раньше. Трехструйная песнь фонтана набрасывает петлю на Лидину шею. «Не души меня с такой силой, я не убегу. Я знаю, что вся моя решимость, вспыхнув, сгорела в объятьях Еника, и теперь я буду слушать тебя до конца своих дней. И сейчас это уже кажется мне не таким ужасным, как прежде».

Освещенная бледным светом уличного фонаря женская фигура в светлом пеньюаре торчит, как обычно, в окне над лавкой Гаразима. Еник ведет Лиду под руку и чувствует, как шаги его меняются, они уже более не легки, он весь сжался, как человек, готовящийся отражать нападение, и до боли стискивает Лидин локоть, да и женщина в окне ведет себя иначе, чем обычно,— она сдвинулась с места, распахнула окно и, когда эти двое достигли тротуара, нависла над ними.

— Еник.— Голос пани Гаразимовой скрипит приглушенно, чтобы его могли услышать лишь эти двое, но от этого он не становится более приятным.— Тебе не кажется, что ты заходишь слишком далеко? Соблюдай приличия хотя бы ты!

Лида откликается прежде, чем Еник успевает прийти в себя и ответить. Такого голоса Еник у нее никогда не слыхал, такого спокойного, милого, вежливого и вместе с тем такого насмешливого:

— Не сердитесь на него, сударыня. Нам необходимо было решить столько вопросов! Дело в том, что мы только что обручились. Не так ли, Еничек?

Еник, чуть поколебавшись, почти кричит, хрипло и вызывающе:

— Да! Мы обручились!

Окно над ними удивленно замирает, и вдруг раздается страшный скрип, будто ветер что было сил толкнул обрамы.

— Обручились? А у кого вы спросили разрешения?

— Разрешения?— высоким голосом поет Лида.— Я полагаю, друг у друга, не так ли, Еничек?

«Боже, я больше не могу! Ни слова больше! Сыграть это я смогла бы, но в жизни — не могу и не хочу!» Она прижимается к Енику, быстро целует его и опрометью

бросается прочь, лишь мостовая звенит под ее каблучками. Но слезы проворнее каблуков, они настигают ее, они льются из глаз, прежде чем Лида добегает до своей калитки.

Полицейский Тлахач совершает сегодня свой ночной обход, так сказать, с конца. Он начал там, где обычно заканчивает: от трактира, что напротив железной дороги, и теперь бредет по окраине, словно умышленно избегает центра, а в Бытни, как известно, центром является площадь. Тлахач выбрался на верхнее шоссе и увидел, что лунный серп опускается над менинскими лесами где-то за Бошильцем. Время, видимо, шло к полуночи. А впрочем, время-то ему отлично известно, потому что он слышал, как часы на ратуше отбивают каждую четверть, и свернул на узкую тропинку между приходской и кладбищенской стеной, когда они начали заколачивать гроб минувшего дня двенадцатью звонкими ударами.

Едва ли кто из бытеньских жителей выбрал бы себе такой час для прогулки по этой дороге. А Тлахач шагает беззаботно, заполняя своими плечищами всю ширину проулка. Полицейский печатает тяжелый, размеренный шаг ничуть не быстрее и не медленней, чем в любом другом месте. Но и не насвистывает, как обычно, из уважения к этим местам, как не стал бы здесь, впрочем, свистеть и днем. И вообще Тлахач солиден и спокоен, а это для него является самым главным, этим он доказывает самому себе, что не подвластен никаким вымыслам, суевериям и бабским страхам. Видимо, в этом и есть скрытый смысл сделанного им крюка во время сегодняшнего обхода, ведь это ему вовсе не вменяется в обязанность и никто его к этому не принуждал. Полицейский явно борется с чем-то, чего не схватишь за ворот, как трактирного хулигана, не тряхнешь что есть силы и не втиснешь в рамки дозволенного законом. Тлахачу необходимо убедиться в том, что он справится со всеми земными искушениями назло тем кускам проволоки, которые позякивают в правом кармане его казенной шинели.

Лунный серпик, наверное, уже утонул в Бошильце, но чем темнее становится небо, тем ярче и веселее сверкают светильники звезд. Хороша нынче ночь, ядреная и холодная, темная и спокойная. В проулке задержалось немного тепла, потому что солнце грело целый день, но если поднять руку над головой, то ощущишь, как из-за стены тянет холодом.

Полицейский шагает уверенно, не плетется и не спотыкается, белый купол божьего храма светит ему, как маяк. Тлахач слышит вздохи и шелесты, доносящиеся из крон деревьев, что высятся за обеими оградами, треск ветвей, писк ночной птицы и неустанное кваканье лягушек; слух полицейского схватывает эти звуки, но сердцу его они безразличны, и оно бьется ровно. На всем пути он не встречает ничего, что смущило бы его душу и мысль более, чем они смущены самими собой. Мало того, это короткое паломничество словно утверждает главную правду, в поисках которой ходит в эту ночь полицейский: живые и мертвые на своих местах, и нет среди них ничего такого, что недоступно твоему пониманию, такого, чего не переварит твоя немудрящая голова.

Проулок кончается, стены разбегаются, приняв в объятья небольшую площадь перед входом в костел. Полицейский останавливается, он колеблется. Он — человек верующий и даже набожный, хотя и скрывает это. Быть может, Тлахач полагает, что богохульство и сомнения более подходят настоящему мужчине, хотя и не может согласиться с этим, как человек, всегда и во всем уважающий порядок. Быть может, его искушает потребность принести богу молитву, но он сопротивляется искушению: ведь в эту минуту ему незачем и не за кого молиться. Надо признать, его скорее одолевают сомнения — как он должен поступить, проходя мимо дверей храма. Снять фуражку — неловко, перекреститься — пожалуй, слишком, и Тлахач решает откозырять. Господь бог, несомненно, поймет, что полицейский Тлахач при исполнении служебных обязанностей.

От костела к приходу дорога круто спускается под уклон, и Тлахачу приходится прилагать усилия, чтобы сохранять все тот же четкий шаг, доказывая самому себе, что он вовсе не спешит покинуть это страшное место, и поскорей оставить его позади.

У приходского дома горит первый на этой стороне фонарь, возле богадельни — второй, а дальше видны и все остальные, освещавшие склон Костельной улицы. Фонарей не много, но этим светом Бытень манит, зовет тебя к своим объятьям, желая прижать к своему сердцу. Если ты не собираешься вернуться по тропинке вдоль второй стены прихода, у тебя один путь — спуститься вниз на площадь. А почему, собственно, ты ее избегаешь? Ночь, спокойная, ядреная, холодна и темна, мертвые и живые пребывают

там, где им и положено, а городскую тьму разгоняют земные огни.

Несомненно, Тлахач собирает всю свою волю, чтобы миновать домик Квиса, и все-таки останавливается возле него.

Видимой причины для этого нет, окна темны, как и подобает окнам приличного дома после полуночи. Возможно, в их омуте горят недремлющие глаза и выслеживают каждое движение Тлахача, но полицейский их не видит. А впрочем, он стоит неподвижно. Стоит и смотрит в тяжелом и мрачном раздумье. Возможно, он вспоминает июньскую лунную ночь, когда тень креста легла на эти двери и отец Бружец рассердился на него за припадок суеверности; или другую — дождливую ночь, или проволоку в своем кармане, из которой он изготовил отмычки; одному лишь богу известно да еще Тлахачу самому, зачем было открывать этими отмычками все замки у себя дома. Чепуха! Отмычки он, конечно, выкинет, но не мешает узнать, чем дышит это чучело гороховое, что живет в домишке. Тлахач резко поворачивается и уходит, ведь и в самом деле нет причины стоять здесь и заглядывать в темные окна дома.

Склон Костельной улицы несет его вниз, шаг опять приобретает решительность, похоже, Тлахач шагает прямо к углу трактира «У лошадки». Базарная площадь встает на его пути, и он, поколебавшись, замедляет шаг. Если на то пошло, для обхода внутренней части города у него уже нет времени, а это непорядок. Базарная площадь сегодня совсем не такая, как в тот раз, когда мы повстречали здесь Тлахача и отца Бружеца. Площадь утонула во тьме, кажется, что тьма стремительно несется с той стороны, из-за ручья, где тянется сплошная стена садовых оград. А по эту сторону, где стоят жилые дома, в отчаянную схватку с темнотой вступили редкие фонари, — одинокие и слабые твердыни света, тщетно пытающиеся соединиться со своими соседями в единую цепь обороны. Видимо, поэтому и создается впечатление, что поток тьмы так безнадежно затопил все вокруг.

Тлахач поднимает лицо к небу, словно хочет задать вопрос. А небо тем временем уже совсем покернело, и в его чернильном омуте кишмя кишат золотые головастики. Это зрелище, как ни странно, не угнетает Тлахача, наоборот, успокаивает, утверждает его в сознании собственной необходимости. Он решает продолжить свой обход, чтобы утишить совесть и иметь возможность выпить рюмочку

в трактире «У лошадки». Конечно же, его путь ведет к центру рынка, где во тьме, словно одинокий утес, поднялся с глубокого дна весовой сарайчик. Тлахач обходит это ветхое строение со всех сторон, дергает ручку дверей и через разбитое окно запускает в его утробу испытующий лучик служебного фонарика. Прильнув лицом к раме, он следует взглядом за блуждающим лучом света. Помещение пусто, как обычно. Тлахач видит лишь плечо весов с передвижной гирей, столик и стулья, а в углу — пивную бутылку, которая валяется здесь с последней весенней ярмарки. В Бытни, если поискать, найдутся, конечно, места и позаброшенней, возьмите хотя бы проулок между кладбищенской оградой и стеной прихода. Но весовая так и манит к себе Тлахача, это его навязчивая идея, и если бы он когда-нибудь выпил лишку, то непременно поведал бы вам, что здесь его однажды настигнет судьба. «Кого-нибудь застукаю, а он меня и пришибет», — сказал бы он, желая придать своей профессии трагичную романтическую окраску.

Окончив осмотр, который благодаря подобным фантазиям связан с определенной толикой волнения, Тлахач может продолжить свой обход, вполне удовлетворенный тем, что и на сей раз ему удалось избежать воображаемой ловушки. Он идет по густой траве, которая скрадывает его шаги, делая их вовсе неслышными, вдоль ручья, ставшего более торопливым и говорливым после недавних дождей. Идет в темноте, достаточно, однако, прозрачной для его привычных глаз, в темноте, размытой светом нескольких худосочных фонарей. И никак не может избавиться от странного ощущения, пожалуй, даже страха, будто кто-то крадется за ним по пятам.

И он поступает так, как и пристало человеку с его характером, которому кажется, будто его поджидает опасность: он поворачивается, чтобы встретить опасность лицом к лицу, как бык встречает нападающего на него волка. Всякий раз Тлахач натыкается лишь на пустоту, и все же чувство грозящей ему опасности не покидает его.

Он останавливается и прислушивается. Тишина охватывает его и поднимается до самого неба, а потом осыпается вниз со звезд дробным дождем, и только ручей пронзает ее, словно бечевка отвеса, измеряющего глубину. До чего ж благодатная вода в этом говорливом ручье! Если б не она, тишина не выросла бы до таких ужасающих размеров. Тлахач поворачивается и посыпает луч света обратно к весовому сарайчику и, слегка стыдясь своего поступка,

прощупывает еще и тропинку, бегущую вдоль стены, по другую сторону ручья.

За ним и вокруг него одиноко и пусто. Да и кому идти следом? Неуверенность гнездится в нем самом. Он снова вспоминает декана Бружея в ту лунную ночь, когда провожал его домой и священник вел такие странные речи об опасности, таящейся в ярком свете. Может быть, он имел в виду нечто такое, чего не осветить даже самым сильным фонарем? Тлахач превозмогает искушение повернуть назад и отправиться к «Лошадке» мимо весового сарая. Тогда, миновав рынок и свернув направо на Менинскую улицу, он, чтобы достичь своей цели, неизбежно должен будет пройти через всю площадь. Да, через всю Главную площадь. Если действительно существует какая-нибудь опасность, ступай и встреть ее лицом к лицу, чтобы ты мог над ней посмеяться. Трава поглощает звуки его шагов, но вот башмаки его уже громыхают по гулкой мостовой Менинской улицы, и Тлахач облегченно вздыхает.

Как только он выходит на площадь, куранты на ратуше тут же швыряют в него два звонких камушка. Половина первого. И Тлахач, не прислушиваясь и не оглядываясь, знает, что, кроме него, здесь нет ни живой души. Даже темный островок сквера не дает о себе знать ничем, кроме знакомого пения мохновского фонтана. Пройдет еще по меньшей мере час, пока последние, самые заядлые картежники и пьяницы оставят свои прокуренные логова и начнут с шумом расползаться по домам. И все-таки Тлахач застыл в неподвижности, весь превратившись в слух. Тишина, нигде ни звука.

Так вот, значит, какие чувства испытывают теочные пташки, что отправляются в эту пору на свой ночной промысел. Но что же общего у бытеньского полицейского с жульем, что крадется в тени стен и заборов или прячется в подвалах, выжидая подходящей минуты? Полицейский идет, не опасаясь света, не прячется в полумраке, но почему-то останавливается, оглядывается и прислушивается чаще обычного. Да, но ведь это входит в его обязанности, не станем же мы упрекать его в том, что он чересчур ревностно исполняет их. Все было бы хорошо, если бы те несколько кусков толстой проволоки, которые нет-нет да и звякнут в кармане его шинели. Ведь один конец этой проволоки загнут под прямым углом и расплющен молотком. Перед усадьбой Дастьхов Тлахач останавливается и долго стоит, пытаясь отшатнуть мурашки страха, которые пробегают по его спине. Ему вдруг показалось,— из

окна на втором этаже он слышит что-то, похожее на женский плач. Но тишина смыкается над ним быстрее, чем он может убедиться, что не ошибся. Тлахач продолжает свой путь, минует аптеку и еще один дом и неумолимо приближается к лавке Гаразима. Лучше бы пологость площиади унесла его дальше и доставила к самому трактиру «У лошадки», тихой пристани егоочных походов. Но тридцать лет каждую ночь он останавливается здесь, перед лавкой Гаразима, и сегодня он тоже не в силах двинуться дальше, словно кто-то перегородил его путь шлагбаумом. Тридцать лет, из ночи в ночь он подходит к трем ступенькам у входа и, нагнувшись, взвешивает в ладонях и проверяет эти громадные замки, запирающие железные жалюзи, те самые замки, что валяются здесь, как дохлые щенята. Тридцать лет, каждую ночь, он насмехается над ними, убежденный, что ему ничего не стоит их отпереть. И тридцать лет верит, что может сколько угодно насмехаться и думать о подобной чепухе, уверенный, что никогда не сделает этого.

Тлахач стоит на краю тротуара спиной к лавке и размышляет. Нынче ночью пузатый ящик кассы, который старик Гаразим считает неприступным сейфом, набит деньгами, завтра он отнесет их в местное отделение банка. Об этом знает вся Бытень, почему же не может знать и полицейский Тлахач? А впрочем, что ему за дело до Гаразимовых денег? Пускай там стоят хоть пять касс, битком набитых деньгами. Если б только замки не валялись вот так, перед лавкой.

Тлахач уверен, что он все еще стоит в размышлении, покачиваясь, на краю тротуара, а на самом деле он уже спустился на самую нижнюю из трех ступенек и взвешивает на руке замок. Ну и что из этого? Тридцать лет он взвешивает их, держит на ладони, глубоко презирая в душе. Во всем городе не найдется человека, который поверил бы в то, что стряслось позже, ибо все жители Бытни до одного готовы дать голову на отсечение, что Тлахач — честнейший человек.

Полицейский сопит и потеет, как будто совершает богоугодную работу. Не только килограммы его хорошо откормленного тела, не только объем брюха, налипшего пивом, изнуряют его; ему пока еще не трудно нагнуться, когда надо, он достаточно подвижен, это его душа вступила в последний раунд борьбы, которая идет вот уже столько дней, и полицейский понимает, что его безукоризненная честность, сбитая с ног двойным нельсо-

ном безумного искушения, падает, обессиленная, и опрокидывается на обе лопатки. Напрасно он ходил окраинами города, напрасно испытывал свою стойкость, напрасно избегал этой площади. Все равно он взвешивает в руках один из уродливых замков и, заглянув в огромную замочную скважину, понимает, что свисток невидимого судьи уже возвестил о его поражении. Вот и куранты на ратуше отметили это тремя звонкими ударами и эхо покатилось по безлюдной площади насмешливыми аплодисментами. Он сует правую руку в карман и, внезапно охваченный лихорадочной спешкой, пропускает между своими толстыми пальцами ту самую проволоку, что с одного конца согнута и расплощена, и выбирает на ощупь самую толстую из них.

Погрузив отмычку в скважину замка, он начинает прощупывать его нутро. Все сомнения, угрызения совести и опасения в приливе давно позабытого и вновь проснувшегося профессионализма уходят в небытие. Видимо, не эти гаразимовские замки были истинной причиной преследовавшего его тридцать лет беспокойства. Ему хочется наслаждаться, словно он вернулся обратно в те годы, когда еще был учеником и подмастерьем. Потому что его пальцы, одеревеневшие от бездействия и ежедневного соприкосновения с дубинкой, обретают чувствительность и с поразительной точностью сообщают ему, что именно обнаружила отмычка в утробе замка, и сами подсказывают: «Поверни ее так, а теперь вот так, сейчас чуть потяни на себя и снова прижми, а вот теперь уже можешь поворачивать».

Замок, негодяя, что в его тайну проникли столь примитивным орудием, скрежещет, сопротивляясь и борясь, и вдруг, издав щелчок, раскрывается. Тлахач глубоко и облегченно вздыхает. Он вытаскивает замок из петель, ставит на ребро и поднимает к ближайшему фонарю, чтобы осмотреть с удовлетворением и с убийственным презрением. И лишь тут вдруг спохватывается, что, углубившись в работу, от волнения забыл и думать, что существует опасность. Но площадь по-прежнему пуста и тиха. Тлахач кладет уже раскрытый замок возле железной шторы и тут же берется за второй, зная теперь, как орудовать отмычкой, куда ставить и когда повернуть. С этим замком он разделывается без труда.

Ну, толстопузые, вот вы и стоите рядышком, а какой от вас прок? Разве я не говорил, что с вами справится обыкновенный мазурик? Тлахач испытывает такое удовлетворение от своей работы, что забывает о том, что мину-

ту назад предал свою профессию. Лавка открыта, извольте входите! Для этого нужно лишь осторожно поднять штору и проскользнуть внутрь. Тлахач готов биться об заклад, что и с кассой он провозился бы ничуть не больше, чем с замками. Но теперь его как будто кто-то спрашивает: «Ну, почему же ты не входишь? Для чего же ты тогда марался с замками?» Вопрос звучит все настойчивей, и Тлахач застывает, озадаченный возможностью, которой вовсе не предполагал. Кто может потребовать от него такого? Кто смеет подозревать, что он способен на подобную подлость? Не сам же он! Его трясет от возмущения и отвращения. Он поворачивается к лавке спиной и сплевывает.

Тлахач медленно двигается к трактиру «У лошадки», он не может идти быстрее, потому что ноги у него дрожат, а колени подламываются. О, черт, крепко же его тряхнуло! Сразу видать, подобная работенка не по нем. Но он доказал себе, что откроет замки и тогда они перестанут ему досаждать. Когда Гаразим обнаружит замки раскрытыми возле своей лавки, он спешит повесить что-нибудь понадежнее. Тлахач с удовольствием поглядел бы, как у того отвиснет челюсть или он грохнется без памяти, а потом помчится в полицию. Страх понемногу улетучивается, и Тлахач обретает доброе расположение духа. А впрочем, неплохая шутка, утром вся Бытень узнает о ней, и люди будут спрашивать, кто же догадался так разыграть старого скупердяя. Впрочем, и поделом ему!

Жаль только, что Тлахачу останется лишь сокрушенно покачивать головой, как и всем остальным, и никогда в жизни не дано будет признаться, что это дело его рук. А потом Тлахача вдруг осеняет мысль, что теперь придется до самого утра смотреть за Гаразимовой лавкой в оба, после чего он уже жадно втягивает носом воздух, размышляя, что приготовила ему трактирщица, ибо волнение и напряжение, потрясшие этой ночью его душу, переродились в его теле в волчий аппетит.

Трудно сказать, почему Тлахач не попал обратно к лавке Гаразима до четверти четвертого утра. Из «Лошадки» он выбрался около двух, и в голове у него шумело от нескольких стопок сливовицы, потому что в трактире обмывали какую-то сделку два бытеньских гражданина. Тлахач проводил советника муниципалитета, который являлся одной из участвующих в сделке сторон, до «Праж-

ского» квартала за старой святонацлавской часовней. Это путешествие, во время которого ему пришлось преодолевать буйство своего подопечного, а под конец скорее тащить его, нежели вести, в достаточной степени способствовало вытрезвлению самого Тлахача. И уж коль скоро он очутился в тех местах, которые были в ведении его коллеги по службе, то решил подвергнуть того тщательной проверке. Надежда, что он еще застает открытым трактиром, приютившийся в этом уголке, оказалась тщетной, а обманутые надежды, как известно, располагают к размышлению. Взлом Гаразимовых замков, озаряемый вспышками выпитой сливовицы, казался теперь Тлахачу препотешной и презабавнейшей шуткой, и все то время, что он провел в кругу веселых собутыльников «У лошадки», он боролся с искушением выложить им всю историю для вящего веселья. И за то, что он этого не сделал в том всеобщем хаосе разговоров и суждений, ему следовало благодарить скорее отсутствие случая, нежели свое благоразумие. Теперь, когда блуждающие огоньки алкоголя угасли и испарились, когда их синева уже никуда не манила и ничего не сулила и когда Тлахача со всех сторон обступила студеная ночь, прозябшая до самого дна, он и сам похолодел при мысли, что бы с ним стало, поддайся он порыву болтливости.

До чего же дурацкая затея с этими замками! Даже предвкушаемый утренний испуг Гаразима не в силах был избавить Тлахача от отвращения, которое вдруг охватило его. Еще не поздно, он может исправить свой безрассудный поступок. Он поддался искушению и тщетно пытается понять, как это вышло, хотя тридцать лет в мыслях своих считал затею невинной шуткой. Теперь, однако, он не может допустить, чтобы старый Гаразим поднял утром крик и обвинил Тлахача в халатном отношении к своим обязанностям.

Бег ночи остановился и застыл в предутренней тишине, нигде не тявкает даже собака, и полицейского сопровождает лишь стук его башмаков да тени, которые один фонарь посыпает другому. Фонари заигрывали и с тенью Тлахача, то вытягивая ее, то сокращая, то поворачивая вокруг него, отчего казалось, что какой-то безумец подгоняет часовую стрелку. Но Тлахачу некогда вникать в шалости фонарей, хотя в иные ночи он коротал с ними одиночество своих обходов. Тлахач торопится привести в порядок замки Гаразима. А впрочем, разве его проделка не доказательство того, что он некогда искусно владел ре-

меслом? Закрыть замки отмычкой несколько труднее, чем открыть, несмотря на то, что этот старый хлам по своему устройству не более сложен, чем щеколда на двери хлева; Тлахач загладит свою вину, и все случившееся навсегда останется тайной между ним и этой ночью.

Фонтан царит над площадью, заливая ее своей звонкой песней, светят друг другу фонари, и кажется, что в городе никто не живет. Но душа полицейского высокой стеной многолетней привычки ограждена от таких впечатлений, ею владеет одна-единственная мысль, которая неуклонно ведет его за собой. И даже кошка, что выскочила из сквера, а теперь крадется вдоль домов, чтоб проскользнуть под какие-нибудь ворота, не может отвлечь его. Просто так, по привычке, топнет он башмаком по тротуару, чтоб пугнуть ее, а впрочем, он и не смотрит на кошку.

На конец и лавка Гаразима. Замки лежат на своих местах. Тлахач с облегчением подходит ближе. Но вдруг, когда до цели остается не более полушага, он замирает. Как и подобает человеку, давно овдовевшему, он педантичен и всегда точно помнит, что и как положил. Тут кто-то побывал, сдвинул замки с места, сейчас они находятся дальше от шторы и под другим углом, а не так, как он их поставил.

Тлахач затаил дыхание, теперь он слышит лишь неистово бьющий колокол своего сердца. Пускай в нем все бунтует, но он думает о злобном гноме с Костельной улицы. Никто, кроме него, не мог заметить, что замки не в порядке, они никого больше не интересуют. Конечно, эти мертвые куски металла ничего ему не расскажут, но, замерев на месте, Тлахач стоит, широко раскрыв глаза, потому что свет для него померк! Господи боже! Не только замки! Ведь и штора сдвинута с места. Железные петли для замков уже не совпадают со своими парами, ввинченными в каменный порог. И Тлахач видит, что щель между железными шторами и землей стала шириной по меньшей мере в ладонь и сквозь нее пробивается бледный свет, сразу же расплывающийся и исчезающий в потоке света более сильного, падающего от уличного фонаря. В Тлахаче просыпается инстинкт стража порядка. Он мгновенно оценивает ситуацию. Он, Тлахач, гарантия безопасности бытеньских граждан, открыл и облегчил путь грабителю. Эта жестокая и непоправимая истина ошеломляет его лишь на мгновенья, необходимые для того, чтобы набрать полные легкие воздуха и выдохнуть его. Он уже знает, что ему делать, и не раздумывает более ни секунды.

Мысль его работает быстро и четко; он обязан искупить свою вину и не смеет допустить ошибки. Он понимает, что человек, находящийся сейчас в лавке, несомненно, выключит свет, едва только заподозрит, что поблизости кто-то есть. И потому достает свой карманный фонарик, зажигает его и, сжимая дубинку в правой руке, делает три тихих шага с тротуара на ступеньки перед лавкой. Тлахач вкладывает всю свою силу, чтобы одним рывком поднять железную штору как можно выше и ворваться в лавку, не сгибаясь, а шагая во весь рост, чтобы иметь возможность использовать растерянность и испуг того, второго. Тлахач резко вскидывает штору вверх, но она легче, чем он предполагал, ибо педантичный Гаразим не забывает смазывать пазы, и штора залпом взлетает до упора.

Страшный грохот металла разбивает ночную тишину, и она рассыпается раскатами многократного эха. Спящие в испуге вскакивают со своего ложа, но Тлахачу это неизвестно. Для него в данный момент значительно важнее обстоятельство, что стеклянные двери за железной шторой открыты и в лавке темно, как он и предполагал. Тлахач пронзает тьму белым лучом своего фонаря, нацеливая его на противоположную стену, где, как известно, у Гаразима находится несгораемая касса.

Бледный круг света обнаруживает, что дверцы кассы тоже распахнуты настежь и перед ее черной утробой сидит, скорчившись, человек, он стремительно кидается за прилавок, идущий от задней стены к дверям. Тлахач пытается нащупать его лучом света, но грабитель укрылся там и замер на месте.

В тишине поначалу слышится хотя и сдерживаемое, но тем не менее тяжелое дыхание двух людей, и вот в нее врываются топот и скрип и стук распахиваемых окон. У Тлахача, а также и у второго, неизвестного, эти звуки вызывают стремление к быстрейшему разрешению ситуации. Тот, что за прилавком, естественно, хочет поскорее, прежде чем к полицейскому придет подкрепление, выскользнуть из дверей. А Тлахач, в свою очередь, хочет расправиться с грабителем собственными силами, без посторонней помощи.

Светя фонариком и держа наготове дубинку, чтоб без задержки нанести удар, Тлахач устремляется вперед и втискивает свое массивное тело в узкое пространство между прилавком и полками, тесно забитыми штуками мануфактуры. В то же мгновение неизвестный длинным мягким прыжком кидается вперед, и полицейский, успев

заметить лишь взмах его правой руки, не успевает, однако, ни предотвратить удара, ни увернуться, потому что прилавок стесняет его движения; тела их сталкиваются, и вдруг левое плечо Тлахача пронзает жгучая боль. Он сипло вскрикивает, роняет свой фонарик, тот летит куда-то под полку, и они остаются в темноте, лишь слегка разбавленной светом, пробившимся с улицы.

Обморочная слабость пытается накинуть на шею Тлахачу свою петлю, в голове мелькает мысль, что ему так и не удалось уйти от бандитского ножа, хотя он столько раз шутя выбивал, вырывал или выкручивал их из самых разных рук. Все это происходит в доли секунды, однако слишком короткие для того, чтобы тот, другой, успел ими воспользоваться. Полицейский резко поворачивается и прижимает неизвестного своим могучим брюхом к полкам как раз в ту минуту, когда тот уже протискивается совсем близко к дверям. Тлахач мгновенно пускает в ход дубинку и достает до его затылка. Человек этот значительно ниже его ростом, и Тлахач, ухватив его за ворот пальто, привычным движением, натренированным во время улаживания трактирных ссор, напрягая последние силы, брошенные в атаку на обморочную пелену, поднимает и встряхивает его в припадке страшной ярости, распаляемой жгучей болью в левом плече, голова человека стукается о край полки, и он, обмякнув, повисает в его руке, как мокрая тряпка.

В этот момент за спиной Тлахача раздается скрип дверей, ведущих из лавки в дом Гаразима, щелкает выключатель, из лампы под потолком вырывается свет, открывая наконец Тлахачу лицо пойманного злоумышленника. Ба, да ведь это тот самый картежник, та крыса, что несколько дней назад подлизывалась к нему, пытаясь влезть в душу и завести дружбу, тот самый Карличек Никл. Мало тебе обдирать Пепека Дастьха, захотелось урвать кусок пожирнее? Ну что ж, ты свое получил, да так, что до самой смерти не забудешь,— Тлахач уже чувствует себя прокурором и всем составом суда с присяжными заседателями.

К Тлахачу обращаются взволнованные голоса, но он их не слышит. Он волочит свой бездыханный трофей в правой, все еще вытянутой вперед руке, но, добравшись до дверей, понимает, что у него хватит сил лишь чтобы спуститься по ступенькам на тротуар. Его левый рукав полон теплой влаги, она течет по ладони и капает с пальцев на землю. Но горстке людей, полуодетых, перепуганных

и встрепанных, которые сбежались к Гаразимовой лавке, Тлахач кажется воплощением бдительного и неумолимого закона. Волнение охватывает кучку людей, женщины взвизгивают. Ведь кровь ручейком бежит с левой руки полицейского, а человек в его правой руке,— о боже, да ведь он всем известен,—выглядит просто мертвецом.

Тлахач понимает, что сделал все, что мог,— еще несколько шагов, и он рухнет на землю вместе со своей ношей. Он опускает Никла на ступеньки и гудит:

— Эй, кто-нибудь, подержите его и принесите мне напиться.

А так как преступник лежит без движения и неизвестно, придет ли в себя, находится не одна пара услужливых рук, и прежде всего это, конечно, Еник Гаразим, пробравшийся за спиной полицейского и имеющий на пленника нечто вроде права собственности. Он поспешно прячет в карман какой-то небольшой черный предмет, металлически блеснувший в свете фонаря, и склоняется над безжизненным телом, лежащим на ступеньках.

— Что с ним?

— Приложился башкой об полку,— произносит полицейский медленно и трудно.— Вы его подержите за ворот, он сейчас очухается.

— У вас кровь.

— Он меня ножом пырнул, где-нибудь под прилавком валяется.

Тлахач хватается за стену, с ворчанием отказывается от протянутых к нему рук и тяжело опускается на верхнюю ступеньку рядом со своим пленником. Ощущив под своим задом нечто выпуклое и твердое, он шарит здоровой правой рукой и вытаскивает один из тех огромных замков, открыв который положил начало событиям нынешней ночи. Он взвешивает замок на ладони и с мрачным отвращением ко всему, что за последние часы пережил, глядит на него. Потом поворачивается, бросает взгляд на двери лавки, в которых восклицательным знаком торчит старший Гаразим, и заявляет:

— Это были не замки, это было искушение. Я тридцать лет ждал, когда они наконец кого-нибудь совратят.

Ночь растаяла в рассвете, и, когда женщины начали собираться около зеленных лавок перед трактиром «У лошадки», о героизме Тлахача было уже известно всей Бытни. Возбуждение все еще сотрясало город, ибо более

десяти лет здесь не случалось ничего подобного. «Вы слыхали? Если б не наш Тлахач, этот скупердяй Гаразим распостился бы со своими тысячами, а в кассе, говорят, их было около тридцати. Но Тлахач-то, братцы, каков. Наш Тлахач парень что надо, честняга и храбрец, второго такого во всей округе не сыщешь».

И граждане хвалятся друг перед другом подвигами Тлахача.

— А вы помните, как однажды он схватил вооруженного вломщика сейфов?

В свете этих подвигов героическая личность Тлахача достигает легендарного величия.

А Тлахач в это время лежит в своей комнатушке в доме экспедитора Корца, что по дороге к вокзалу, и думает бог знает о чем. От потери крови он ослабел, возможно, у него поднялась температура, в голове шумит, он то и дело впадает в полуудремоту и вновь и вновь видит перед собой сегодняшнюю ночь. Он все блуждает по бытеньским улицам и слышит за спиной шаги, но напрасно оборачивается, чтоб увидеть, кто это крадется следом; все ловит вора, но каждый раз, когда уже держит его, вдруг обнаруживает, что это тот самый мерзкий хорек Квис из дома на Костельной улице. Тлахач думает о нем больше, чем о человеке, который пырнул его ножом. Карличек Никл остается в памяти полицейского лишь как плевел, который хотел притвориться полновесным зерном, и Тлахач очень удивился бы, если б кто-нибудь сказал, что исчезновение эдакого человеческого ничтожества, которого и настоящим-то вором не назовешь и который в Бытни впервые попробовал работать на собственный страх и риск, может иметь какие-нибудь последствия и отразиться на судьбе других людей. И тем не менее Карличек Никл уже находится в предварительном заключении в Худейовицах, куда его отвезли жандармы, и его отсутствие будоражит Бытень куда больше, нежели его драматический арест.

Единственный, кто, видимо, не знает о ночном происшествии, это помещик Дастьих. Он не проснулся во время ночного переполоха, хотя все происходило совсем рядом с его домом. С той поры как он стал настойчиво добиваться своего, он все более отходит от семьи, в которой, впрочем, всегда чувствовал себя чужаком. А сейчас даже и спит уже в помещении, которое называется кабинетом и окна которого выходят во двор. К завтраку он вышел в праздничном платье, что у всех сидящих за столом отбило охоту сообщать ему новость, важность которой тут

же затмили свои собственные заботы. Праздничный наряд в этот будний день означает, что помещик собирается в Худейовице, а эти поездки пробуждают в членах семьи недобрые предчувствия и подозрения. Нетрудно догадаться, зачем он туда таскается после неудавшейся попытки достать деньги под залог в местной кассе, но даже Элеоноре, которая ездила туда, не удалось выяснить, какому процентщику отдает свое родовое имение Пепек за понюшку табака.

Первое сообщение о ночном происшествии дошло до Пепека, когда он выходил из дома. У ворот, с парой коней и плугом на телеге, стоял старый Балхан, собираясь открыть ворота и ехать в поле. Увидав проходящего мимо Дастьха, он, весело попыхивая трубкой и выпуская дым уголком рта, начал:

— Хозяин, хозяин, говолят, нынче ночью хотели Галазима обокласть!

Помещик остановился, и в его глазах блеснул интерес, щеки дрогнули, словно в улыбке, потому что он не выносил Гаразима. А особенно возненавидел с тех пор, когда тщетно пытался взять у него денег в долг. Однако в эту минуту Дастьху не суждено было ничего узнать. Как обычно, прежде чем уйти из дома, он завел и пустил в кабинете часы, и кукушка как раз в этот момент подняла крик. При первом «ку-ку» старик пригнулся к земле, заткнув руками уши, помещик удовлетворенно хохотнул и вышел со двора через боковую калитку.

Возвратился он в Бытень вскоре после полудня, в настроении веселом и воинственном, подогретом несколькими рюмками коньяку, которые он выпил в худейовицком привокзальном ресторане, и с бумажником, вследствие удачно завершенной сделки набитым тысячекроновыми купюрами. Двенадцать из ста. Но проценты не имеют никакого значения для человека, который абсолютно уверен, что хоть завтра сможет расплатиться.

Сдвинув шляпу на затылок, он широко шагает по площади, и если в этот час на улице кто-нибудь есть, они улыбаются ему вслед и понимающие перемигиваются. Пепек направляется домой, но посреди площади вдруг меняет направление и сворачивает в сквер к мохновскому фонтану. Однако не обнаруживает здесь того, кого ожидал увидеть, и это приводит его в замешательство. Такой, казалось бы, пустяк, но и этого довольно, чтобы мысли его, выбитые из седла, стали кидаться из стороны в сторону, волоча его за собой, словно напуганный конь. Дастьх

стоит и раскачивается, видимо, позабыв все, что собирался делать, как сюда попал и где находится. Трехструйная песнь фонтана тянетесь к нему, хватает своими щупальцами. Он слышит грохот, который, все усиливаясь, переходит в гул, несется в нем навстречу друг другу с двух сторон, с каждым ударом сердца все стремительней и неудержимей. О боже, неужели тот миг настал? Он разводит руки в стороны и раскрывает рот, чтобы закричать. Но, видимо, этот резкий жест и глубокий вдох приводят его в чувство, взгляду удается пробиться сквозь завихрения красных и желтых кругов в реальный и знакомый мир. Помещик делает выдох, и обильно брызнувшая слюна увлажняет его высохшие губы. Он сплевывает в водоем фонтана и, слегка пошатываясь, выходит на пустую площадь.

Гипсовая конская голова в центре арки над воротами, оповещающая весь свет, что Дастьхи искони были любителями лошадей, выкатывает на него бельма глаз, смытых дождями. Помещик сконфужен, он собирается обнажить голову, но, дотронувшись до шляпы, снова приходит в себя, вздрагивает и поспешно входит во двор.

Полуденная тишина здесь совсем иная, чем солнная тишина, затопившая площадь. Солнце еще в состоянии нагреть побеленные стены, и горячая пелена покрывает утрамбованную землю. Из распахнутых окон кухни слышен звон посуды, над стайкой кур, роющихся под навесом возле сараев, поднимается и опускается многоголосая перекличка петухов, из хлева доносится ритмичный звон цепей, когда скотина принимается облизывать свои бока. Помещик стоит за калиткой и с трудом переводит дыханье. Он не слышит ничего, кроме этих звуков, теперь к ним прибавилось еще любовное воркованье голубей; вокруг головы с жужжанием вьются мухи и усаживаются обратно на теплую стену, с которой он вспугнул их своим приходом... В его мозгу не раздается ни одного из подстрекательских голосов. Этот дом, о стену которого он опирается плечом, и все эти строения: кладовые, амбары, сарай, дровянник, хлев и конюшня — все это обширное пространство, которое они занимают здесь, все знакомо, и нет ни одного уголка, куда он не смог бы добраться в самой черной тьме и не найти безошибочно нужный предмет. Его имение. И вдруг Дастьх четко и ясно, без обычного хаоса в мыслях, понимает, что с этим местом и со всем, что к нему относится на широких просторах бытеньских полей, он связан так, что наверняка умрет, если вдруг при-

дется с этим расстаться. Вся эта необъятная ширь до последней межи на полях и лугах раскрывает ему объятья, словно хочет прижать к себе в какой-то неодолимой великой тревоге.

Он не сомневается в причинах, породивших эту тревогу, и охотно ринулся бы в эти объятья, забыв обо всем, но в эту минуту что-то всколыхнулось на дне его души, и источник света снова замутился. Нет, он не может сдаться, не может отрешиться, пока не вернет своему хозяйству то, что взял у него и чего лишил.

Он тихо бредет к дверям дома, пробирается, опасаясь, что его заметят и окликнут, заведут разговор. Но дом тих, женщины ушли по своим делам, а прислуга в кухне звонит к обеду в колокола сковородок, чугунков, блюд и тарелок. Дастих, никем не замеченный, доползает до своего кабинета и старательно запирает за собой двери.

Мертвая тишина нарушается здесь лишь запинающимся ходом часов с кукушкой; в воздухе висит тяжелый дух старья. Дастих останавливает часы и кладет на овальный стол перед кушеткой туда набитый бумажник. Он глядит на него расширенными от волнения глазами, а потом начинает раздеваться. Пытается отпереть гардероб, чтобы повесить туда свое праздничное платье, но замок никак не дотягивает один оборот, сколько он ни пытается помочь ему ключом. И тогда Дастих резко рвет на себя дверцу, гардероб с громким треском распахивается, и к ногам Дастиха падает что-то тяжелое. Он вешает одежду и только потом поднимает с пола и равнодушно кладет на стол рядом с бумажником короткое охотничье ружье. Потом переодевается в старый костюм, отворяет окно, скорее для того, чтоб двор в нужное время разбудил его своими предвечерними звуками, нежели ради свежего воздуха, и опускается на кушетку, обтянутую черной kleенкой. Он хочет выспаться перед вечером, когда,— а он знает это точно,— к нему придет наконец везенье и останется с ним навсегда.

Эмануэль Квис сидит в саду за своим домом и глядит, как Нейтек и его падчерица Божена снимают с деревьев яблоки.

Квис провел беспокойную ночь, и серая мгла дремоты то и дело заслоняет от него эту пронизанную солнцем картину; мгла густеет, обволакивая мягкой ватой все, что происходит вокруг, и птичье пение исчезает в ней, словно в страшной дали; местами мгла рассеивается, иссеченная

взглядами и звуками, но она снова и снова наплывает чередующимися волнами. Нельзя сказать, что Квис действительно дремлет, он сидит, как обычно, и если Нейтек или девушка бросают на него взгляд, им может показаться даже, что он внимательно следит за их работой. И Нейтек, когда бы ни встретился с ним глазами, испытывает к нему такое отвращение и злобу, что с великим удовольствием запустил бы яблоком в эту физиономию с глазами, похожими на вмерзшие в лужу ягоды терновника.

Квис чувствует эту ненависть, но пока не утруждает себя поисками причины. Тьма минувшей ночи расположилась в нем, словно большая черная кошка, и он напрасно пытается прочесть что-либо в мерцающих огнях ее звезд. Неуверенные шаги обходят его далеко стороной, отталкиваясь от центра притяжения, и тем не менее путь этих шагов становится все короче, пока наконец центробежная сила не иссякает и они не устремляются прямо к нему. Сегодня после полуночи он сел на свое место лицом к окну в ту самую минуту, когда под ним появился Тлахач. Впервые это ощущение явилось ему во всем своем могущество, и мертвая жизнь в нем стала наливаться соками; тридцать лет безукоризненной честности Тлахача распирали его душу. Жестокое и непримиримое чувство, а по пятам за ним тащится завывающее искушение. Он жаждал видеть, как Тлахач падет, раздавленный, обливаясь кровью собственного позора. Но мог лишь принимать то, что происходит, не более. И он, Квис, тоже натыкался на непреодолимую границу, и скрытые чувства, пробужденные к жизни, владели им точно так же, как их носители. Неугасимый фонарь честности продолжал гореть в полицейском, искушение разило в нем лишь одно стеклышико, не более, и этот глупец заткнул брешь собственным телом. Все это жило в Квисе, и он овладел им так, словно оно было делом его собственной души, ему казалось, что за эту ночь он настолько стал Тлахачем, что было несущественно, от кого будет исходить побуждение, от него ли, от Тлахача, но полицейский, не сопротивляясь, непременно станет следовать ему. Однако Квис ошибся и теперь сидит здесь в состоянии полной прострации, угасший и переполненный тлеющей злобой. Он не желает быть лишь бессильным отзывом, дрожащим от голоском чужой песни, даже если она вызвана к жизни им самим, он хочет петь эту песню и навязать ей свой мотив против воли поющего.

Мгла редеет и рассеивается, сад опять выплывает из нее, и лицо нынешнего дня склоняется над Квисом, мяг-

кое, приветливое, сияющее. Пряжа света и теней просачивается сквозь кроны деревьев, и узорчатая ткань расстилается по траве. Чарующий мир, но такой чужой и такой нереальный для существа, которое не научилось черпать ни радостей, ни печалей из своего сердца. Однако достаточно Квису взглянуть на Нейтека, который стоит на стремянке, торчащей среди ветвей яблони, и протягивает руку к ее плодам, как он начинает ощущать, сколь горяч этот слишком прохладный сентябрьский полдень. Ведь этот человек не просто обрывает яблоки. Каждый раз, когда прохладный овальный плод оказывается в его ладони, ее пронзают раскаленные острия воспоминаний о прохладе и форме иного плода, к которому он потянулся однажды лунной ночью. В этом движении руки, хватавшей желтые в красных прожилках яблоки, есть нечто, что привлекает внимание Квиса. Квис следит, как рука шарит между ветвями и листвой, как, достигнув плода, не обрывает его резким отторгающим движением, а обхватывает, оглаживает, прильнув, и лишь тогда освобожденный плод опускается в чашу, сотворенную из его пальцев и ладони. Это не пробуждает в нем никаких воспоминаний, лишь напряжение, и оно все возрастает. Квис так мало разбирается в садоводстве, что не понимает, насколько правильно обрывает Нейтек плоды и страстное поклонение желанной форме лишь совпадает с единственно правильными движениями заставить черенок оторваться от ветви, с которой его уже ничто не связывает. Однако хорьки Квисовых глаз, еще одурманенные мглой, в которой только что блуждали, взяли новый след и пошли по этому следу.

Шаг за шагом он становится все знакомей. Однажды они уже бежали по этому следу, но оставили его раньше, чем нужно, отвлеченные чем-то другим. Постойте: это так же, как и сегодня, было в саду, только золото солнца было ярче, а чернота теней гуще, тот человек замер на месте, и взгляд его медленно скользил, привлеченный каким-то определенным предметом. Все казалось простым уже тогда, но какой-то грубый окрик, будто брошенный камень, разбил зеркало, в котором начала было вырисовываться картина. Нейтек наклоняется, и протягивает Божке корзину, полную яблок, и забирает у нее пустую. Девушка направляется к домику, где в кладовке укладывает яблоки на доски, устланные сеном, но Нейтек не продолжает работу, он стоит на лестнице, опершись спиной о ствол дерева, и смотрит ей вслед неподвижными стеклянными глазами, которые видят только ее одну.

Тихий смех поднимается в Квисе где-то глубоко, будто кто-то безудержно смеется и пытается задушить свой смех, прячась под пуховиком, но, более не в силах терпеть, сбрасывает пуховик, и хохот его разносится по всему свету. «Не могу, нет, не могу сделать то единственное, чего я сделать не могу. Ведь она меня любит, и я сам люблю себя ее любовью. Не могу, это единственное, чего я не могу сделать. Я разбил бы себя в ее сердце и уже более никогда и нигде себя не нашел. Но если б я отважился на такое, моя жизнь была бы долгой и богатой, как никогда».

— Эй вы! — кричит Квис, и голос его звучит, словно сдавленное карканье вороны, попавшей головой в петлю силка.

Нейтек вздрагивает и, покачнувшись, чуть не падает с лестницы.

— Чего вам?

Квис направляется к нему медленными семенящими шажками, укутанный в свой плащ, ибо дни уже не настолько теплы, чтобы сидеть в саду в одном сюртуке. Он отталкивается от дороги своей тростью, но, подойдя к стремянке, поднимает трость и упирает в носок Нейтекова башмака.

Нейтек, который тем временем достал из кармана сигарету и закурил, хмуро встречает его взгляд. Ну что ж, хмурься не хмурься, злись сколько хочешь, но, встретившись с этими глазами, где зрачки кажутся черными дырами посреди белка, он ощущает нечто похожее на головокружение или страх.

— Ведь она вам не дочь, — говорит Квис и отстукивает каждое слово ударом палки по его грязному башмаку.

Работник задерживает дыхание, но так как это случилось в тот момент, когда он затянулся сигаретой, голова у него кружится, ему приходится ухватиться правой рукой за ветку, и дым вырывается из его груди приступом кашля.

— Что вы хотите этим сказать? — откашлявшись, спрашивает он хрипло, и покрасневшие глаза его едва не вылезают из орбит.

— Только то, что сказал, — отвечает Квис преувеличенно четко. — Она вам не дочь, — повторяет он.

И возвращается обратно к своей скамеечке.

В дверях, ведущих из кухоньки в сад, появляется Божка. Нейтек отшвыривает недокуренную сигарету в траву, поднимается на две перекладины выше, и верхняя половина его тела исчезает в кроне дерева. Девушка

чувствует, что, пока она в кладовой укладывала яблоки, в атмосфере сада что-то изменилось. Она догадывается, что могло произойти между этими двумя, бросает робкий взгляд на Квиса и видит улыбку, которая не означает ничего иного, нежели похвалу ее красоте. Вся вспыхнув от внезапного страха и смущенья, она подходит к молодой яблоньке, ветки которой изогнулись под тяжестью крупных плодов, и принимается обрывать яблоки с тех ветвей, до которых может дотянуться. Она уже собралась было опустить в корзину, стоящую у ее ног, крупное яблоко, зеленоватая с желтизной кожа которого обрызгана большими красными каплями, как Эмануэль Квис крикнул ей:

— Отведайте его.

Божка, вздрогнув, испуганно оглядывается на дерево, в кроне которого теперь скрылся уже весь Нейтек, и смущенно смеется:

— Жалко!

— Нет, нет, беритесь за него немедленно. Я хочу убедиться, что оно вам по вкусу.

В кроне дерева за Божкиной спиной ветви раздвигаются, между ними показывается голова Нейтека. Девушка, даже не оглянувшись, чувствует на себе его напряженный взгляд. Мороз пробегает по ее телу, она подносит яблоко ко рту и вгрызается в него своими крепкими белыми зубами.

— Вкусно? — спрашивает Квис и, когда девушка кивает головой, добавляет: — А как прекрасно подходит оно к вашим губам.

Квис с улыбкой поднимается, ветви яблони снова смыкаются, словно челюсти, и поглощают голову Нейтека. Квис идет к дому медленным механическим шагом, Божка перестает грызть яблоко и глядит ему вслед, и он кажется ей еще более иззявшим и одиноким, чем обычно, шаги его слишком мелки, и палкой он постукивает перед собой, словно слепец, отыскивающий дорогу. Ей хочется кинуться следом, поддержать его под руку и перелить в него избыток своей силы и молодости, приносящей ей одни лишь мученья.

Если б она только знала! Квис действительно едва разбирает дорогу, темнота снова заливает его глаза волнами, все более густыми и тяжелыми. Нейткова, которая уже пришла в себя настолько, что может делать работу полегче и моет сейчас в кухне посуду, отворяет ему двери. Он проходит мимо, словно не видит ее или не узнает. В комна-

те, где он обычно ест, Квис опускается в кресло возле окна, даже не сняв плаща и шляпы.

Пять звучных ударов вылетают из часов на ратушу и долго кружат над Бытенью. Но в Квисе они звучат дольше, звучат, словно удары гонга, открывающие представление. Он бледен, губы его дрожат, а в зрачках, черных дырах посредине белков, горячечным блеском горит темнота. Либуша, ты слышишь? Она приближается. Тише, к ним приходит жизнь. И это страшно.

Эхо пяти ударов еще парило над бытеньскими крышами, будто стая голубей, рассеянная испугом, когда Дастых очнулся от своего тяжелого послеполуденного сна. Куртка взмокла от пота, и на лбу выступили тяжелые капли, он широко раскрывает глаза, отчаянно пробиваясь в реальность и пытаясь понять, где же он, собственно, находится. Он слышит удаляющиеся голоса, но не различает слов, не способен вспомнить ни одного слова из тех, что сыпались на него только что, как раз в тот момент, когда он пробуждался от сна.

Дастых смотрит на часы с кукушкой; их маятник неподвижно висит между цепочками, отягощенными чугунными гирями. Но он почему-то слышит их быстрые, страшные шаги. Это всего лишь сон. Но шаги и голоса еще звучат, удаляясь и слабея. Пот на нем высыхает, и его начинает трясти от холода; он отирает лоб тыльной стороной ладони и ерошит свои влажные, всклокоченные волосы всеми десятью пальцами.

От площади близится грохот колес по мостовой и доказанье подков, ворота скрипят, и телега весело устремляется во двор. Высокое протяжное ржание, поднявшись, будто звук трубы, внезапно обрывается. Лошадь отфыркивается. Это кобыла, что ходит пристяжной в упряжке, радуясь, оповещает о своем возвращении домой. Он узнает ее по голосу — а еще говорят, будто он не хозяин. Сон высушил рот, от сухости дерет язык и нёбо, и нет слюны, которая увлажнила бы его пересохшую глотку. Дастых поднимается и вылавливает из-за шторы и высоких штабелей книг бутылку коньяку, опорожненную на три четверти. Кадык на горле напряжен оттого, что голова закинута назад, он дважды опускается, соскользнув под воротник, и снова поднимается вверх; помешник издает сиплый вздох и ставит бутылку на стол. И сразу же рот его наполняется слюной, он не успевает сглатывать ее, в желудке всыхивает огонь и гонит по жилам пламя, языки которого взметаются все выше и вот уже достигают мозга и бередят то,

что в нем едва тлело и передвигалось тяжко и смятенно. Помещик вспоминает все, что предшествовало его сну, и все, что он задумал; теперь он станет действовать решительно и без смущения. Он поднимает опустившиеся чуть не до пола гири, щелкает пальцем по маятнику и берет со стола тугой бумажник. Он сжимает и ласкает его в своих сильных пальцах, словно не может насытиться его неподатливой округлостью.

Мадемуазель Элеонора Дастьхова стоит на высоком пороге перед дверьми и отчитывает прислугу, которой более всего хотелось бы очутиться подальше от ее неумолимых слов и глаз. Помещик, колеблясь, останавливается в коридоре, но коньк обладает достаточной силой, чтоб гнать его навстречу любому препятствию. Дастьх пытается проскользнуть, не поздоровавшись с сестрой. Мадемуазель Элеонора при звуке его шагов поворачивается, и служанка, воспользовавшись этим обстоятельством, начинает поспешно отступать к хлеву. Элеонора дает ей скрыться и обращает все свое внимание на брата.

— Пепек, мне надо с тобой поговорить.

Повернувшись одним плечом к сестре, а другим в направлении своей цели, помещик хватается рукой за кадык, словно желая помочь горлу, вдруг сдавленному спазмой, но потом устремляется на Элеонору пьяный взгляд, горящий и смелый.

— Мне сейчас недосуг,— отвечает он хрипло и направляется к калитке.

— Пепек! — хлещет его голос сестры.

Плечи Дастьха передергиваются, шаг сбивается, но помещик резко выравнивает его и продолжает идти вперед.

Он, собственно, не так уж и спешит, стрелкам курантов еще долго ковыряться, пока они нагребут тот час, когда он сможет наконец усесться за карточный стол. Просто беспокойство подгоняет его, он хочет обеспечить себя партнерами на сегодняшний вечер, а особенно заполучить того самого, главного среди них.

Хозяин погребка «Под ратушей» спит на кушетке в маленькой комнатушке за кухней, где вечером тесная компания, не нуждающаяся в советчиках, собирается обычно для игры в карты. Помещик, не задерживаясь, проходит прямо к нему. Этот храпящий плут, который спит тут, словно невинный младенец, и отдувается так, что сотрясаются и топорщатся усы, узнав визитера, одним махом преодолевает ров недовольства столь грубым пробуждением. Его глаза, покрасневшие от сна, краснеют еще

больше, когда Дастьх взмахивает перед ним бумажником, разбухшим от тысячных ассигнаций, и требует, чтобы ему были обеспечены партнеры на сегодняшний вечер. Разве Карличек Никл не был гвоздем подготовленной им программы и разве не делил с ним трактирщик барыши, добытые ловкими пальцами шулера? Какого черта этому дураку взбрело в голову испытывать счастье у Гаразима? Мало ему было этого олуха, что ли? Ведь карманы Дастьха еще не оскудели! И глаза трактирщика наливаются кровью неудовлетворенной алчности, потому что на сегодняшней игре придется поставить крест и содержимое помещичьего бумажника на сей раз ускользнет из его рук.

Ему не приходится насиловать себя, изображая сожаление, когда он сообщает Дастьху то, что еще не дошло до его ушей. Зато новость приходится повторить несколько раз и снова все объяснять, пока тот начинает постигать случившееся во всем объеме. Весьма возможно, это сообщение потрясло Пепека Дастьха не меньше, чем потрясла бы весть о том, что у него только что скончалась жена. Дастьх оцепенел, глаза его остекленели. Трактирщика охватил ужас.

— Ну-ну, Пепек, какого черта ты так переживаешь. Не пройдет и недели, как я подберу тебе новых партнеров, да каких!

Но это слабое утешение, и оно не в силах разогнать тучи, собирающиеся в душе помещика.

— Других я не желаю. Мне нужен именно он, потому что я должен обыграть его. Для того и деньги достал.

Трактирщик, привыкший общаться с пьяничками и соглашаться с их сумасбродными затеями и речами, смущен этим отчаянным бунтом, с виду трезвого человека, против реальности, очевидной и ясной, как белый день. Пускай про Пепека говорят что угодно, но всякая дурость должна иметь свой предел.

— Где я тебе его возьму, — рявкает трактирщик бешено. — Бежать и вытащить его из кутузки?

Ему и в голову не пришло, он и предположить не мог, что в своей короткой речи обронил слово, переполнвшее чашу ярости помещика. Пепек поднялся, дрожащей рукой вернул бумажник на прежнее место и, пошатываясь, вышел за дверь.

— Я его найду, — бросил он с порога.

Председатель окружного суда уже закончил сегодняшнюю работу и предается мечтам и рассуждениям, в еретичности которых он отдает себе полный отчет, но, несмот-

ря на это, не противится им, когда Пепек без доклада вырывается в его кабинет. Помещик очутился перед ним неожиданно, словно возникнув из его мыслей, и судье необходимо приложить усилие, чтобы прийти в себя, пока брат подходит к его столу. Судья быстро снимает очки и поднимается, так как не ждет от этого визита ничего хорошего. Он глядит на брата, прищурив глаза, отчего на переносице образуется глубокая складка, и резко спрашивает:

— Кто тебя сюда впустил?

Его вопрос не достигает сознания помещика, обуревающего сумасшедшим роем идей, удравших от своего стражи.

— Почему ты его арестовал?

Судья растерян, он лихорадочно вспоминает и прикидывает в уме, пытаясь понять, чего хочет брат, и по старой привычке практика, привыкшего читать на лицах то, чего не находит в словах, снова надевает очки. Лицо брата, исаженное гневом, напряжено и озарено светом более мощного и страшного пламени, чем простое раздражение.

— Ты подстроил все это, чтобы не дать мне выиграть. Ты и твой дед.

Пепек драматическим жестом нацеливает свой толстый, корявый от работы указательный палец брату в грудь:

— Ему незачем было воровать. Это ты его подбил.

Наконец судья начинает понимать, в чем дело, и его сотрясает леденящее душу ощущение, что в бессмысленном обвинении брата есть доля правды. Это происходит, видимо, от возникшего вдруг воспоминания о том дне, когда он сидел, как и всегда, на своем месте в трактире «У лошадки», обедал и, как обычно, сдержанно беседовал с сотрапезниками, игнорируя при этом игрока, который потягивал водку у стойки бара. Разговор перешел на скверную привычку Гаразима оставлять всю выручку за несколько дней в нелепом сейфе в лавке, и судья высказал недоумение, отчего не нашелся еще предпримчивый человек, который бы проучил торговца. Человек у стойки повернулся спиной к залу, и в эту минуту символическая труба на крыше, видимо, сама по себе пришла в движение. Нет сомнения, что судья в этой истории не повинен. Не мог же он внушить этому человеку подобную мысль или предположить, что тот ухватился за его слова. Впрочем, ничего такого ему и в голову не пришло. Даже если его заподозрили в чем-то, мог ли он предвидеть все последствия поступка этого ничтожества? Ах нет, дела творятся

сами по себе, даже если мы в них не вмешиваемся, и вина того, бездеятельно выжидающего, больше всего в том, что он им никак не препятствует.

Мысли судьи проносятся по своей орбите с быстротой молнии, потому что Пепек не дает им ни плестись, ни прощупывать дорогу. Он все изрыгает свои обвинения, нацелив указательный палец в грудь брата, словно колышек для затягивания свяслла на снопе.

— Ты упрятал его в тюрьму, чтобы я не мог с ним играть! Но ты его выпустишь, или я открою правду всему городу!

Судья, конечно, рад бы избежать скандала, но он не может решить, насколько состояние Пепека достигло предела для осуществления долголетней мечты его, судьи, о справедливости. Он вспоминает, что в детстве всегда использовал превосходство над младшим братом.

— Убери руку! — приказывает он. — И слушай, что я скажу.

Пепек пугается, опускает руку вдоль тела и делает шаг назад. Судья с трудом подавляет усмешку удовлетворения.

— Твоего негодяя здесь нету. Взлом и покушение на убийство не входят в компетенцию окружных судов. Жандармы увезли его в Худейовице, и там ему воздадут по заслугам.

Глаза Пепека на некоторое время утрачивают слишком яркий блеск, это рассудок пытается переварить то, что ему сейчас подбросили, но тут же всыхивают еще ярче.

— Я найду его, куда б ты его ни упрятал! — кричит Пепек хрипло.

Тень печали и смятения падает на душу судьи. Быть может, торжество справедливости совсем близко, но лик ее столь дик и страшен, что судья не узнает ее. Надо спокойно все взвесить. Будь что будет, он не смеет шевельнуть даже пальцем, чтобы помочь ей, справедливость должна действовать сама, по своему усмотрению, усмотрению обманутого права, которое опять взяло слово, все должно решаться само собой, даже если результат будет ужасен.

— Не заносись, Пепек, — говорит он строго, — постарайся вести себя разумно.

Судья чуть наклоняет голову, чтоб еще и взглядом подчеркнуть значимость своих слов, однако блеск очков, при помощи которых он столько лет скрывал свои глаза, когда ему это было выгодно, почему-то именно в этот момент предает его и выкидывает с ним шутку, — впечатления, произведенного ею на Пепека, судья не

забудет до самой смерти. Солнечный луч, отраженный приоткрытым окном, освещает половину его головы и, оставляя вторую в тени, вытягивает его физиономию, делая ее уже и длиннее. И в довершение всего левое стекло очков преломляет луч под таким углом, что весь глаз превращается в одно огромное бельмо без зрачка. Это сходство, рожденное долей секунды лишь для того, чтобы тут же исчезнуть, вызывает в большом воображении помешника неожиданную ассоциацию.

Он опять поднимает руку с вытянутым указательным пальцем, имеющим цвет и форму моркови, но теперь нацеливает его уже не в грудь судьи, а выше. Кадык прыгает под натянутой кожей его обветренной шеи, лицо наливается кровью, рот судорожно искривляется, из глотки вырывается громкий хриплый хохот.

— Лошадиная голова! — кричит помешник, захлебываясь своим жутким весельем.— Лошадиная голова!

Первоначальный ужас и испуг судьи быстро переходят в глухую вспышку ярости.

— Замолчи, сумасшедший,— кричит он,— или я велю тебя вывести.

Помешник пугается, смех его оборвался, но какое-то время еще клокочет где-то в бронхах, так как судья уже снял очки, и помешник не знает, куда укрыться от его обнажившегося вдруг взгляда. Пепек поворачивается и выскакивает за дверь.

Отзвуки его крика и хохота долго еще слышатся здесь и после его ухода, и судья борется с желанием заткнуть уши. Судья в тяжелом раздумье подходит к окну. Что-то надо предпринять. Это, без сомнения, его долг, дело зашло слишком далеко, а сестра и невестка наверняка все еще надеются на его помощь. Но судья знает, что не сможет решиться ни на какой шаг, кроме пассивного выжидания, что не найдет в себе ни воли, ни желания помешать трубе сползать все ниже и ниже, чтобы в конце концов рухнуть с крыши вниз. Разве не ждал он этого более половины своей жизни?

Он видит, как брат сошел с тротуара и побрел наискосок через площадь к дому; плечи его сотрясаются, несомненно, он опять хохочет, об этом можно судить и по взглядам встречных, которые останавливаются и глядят ему вслед. Путь помешника пересекает сквер, и тут, прежде чем вступить в него, Дастьх оборачивается, нацеливает свой страшный палец на окно суда и орет на всю площадь:

— Лошадиная голова!

Площадь оцепенела, все, кто находится здесь, застывают на своих местах, замерев на полу шаге, а те, кто видит Пепека, поднимают взгляд по направлению его пальца. Судья отступает и скрывается в простенке между окнами, спрятавшись от любопытных, он остается невидимым и наблюдает за происходящим на улице. Люди приходят в себя, их языки принимаются за работу.

— Слыхали? Это Пепек Дастьх орет. Погодите, он сейчас выйдет из сквера. Вы только посмотрите, как он хохочет, того и гляди, шляпа свалится с головы. Здорово, видать, его прихватило.

Помещик продолжает свой путь, трясясь от смеха и не обращая внимания на провожающие его взгляды. Он доходит до калитки имения, но, прежде чем исчезнуть за ней, снимает шляпу и низко кланяется лошадиной голове над воротами.

Ни во дворе, ни в доме никто не имеет представления о только что произшедшем на площади. Никто не явился сюда с известием. Им-то что за дело? А тот единственный, кому надлежало бы это сделать, торчит у окна своего кабинета и напряженно думает. Поведение помещика меняется, едва за ним захлопывается калитка; надвинув на глаза шляпу, он пробирается вдоль стены, стараясь, как обычно, остаться незамеченным. Все работники в поле, и лишь в глубине двора, возле сараев, старый Балхан, окутанный облаком пыли, провеивает зерно решетом столь огромным, что сам мог бы в нем уместиться. Жена и сестра помещика сидят в столовой и, услыхав шаги Дастьха в коридоре, принимают его возвращение к сведению лишь в той степени, насколько оно не выходит за рамки неукоснительной заботы о том, достал ли Пепек в Худейовицах деньги и у кого.

Часы с кукушкой начинают хрипеть в тот самый момент, когда Пепек переступает порог своего кабинета, дверцы часов разлетаются, деревянная птичка высекакивает и оглушительно звонким голосом возвещает полночь, а может быть, полдень, хотя сейчас всего лишь шестой час. Старый Балхан во дворе бросает решето и опускается на землю, зажав уши руками, а здесь, в кабинете, Дастьх с улыбкой слушает сумасшедший птичий крик, потому что теперь ему все равно, идут часы или стоят. В какое-то неуловимое мгновенье, именно так, как помещик себе это всегда представлял, время пришло в движение, видимо, это случилось в ту минуту, когда хозяин погребка «Под ратушей» произнес слово «суд», нескончаемые составы

секунд ринулись с противоположных станций и помчались навстречу друг другу по той единственной колее, которая отпущена времени, движется ли оно в эту сторону или противоположную, они помчались с грохотом и ревом, было это и страшно, и весело, как любая головокружительная скорость, стрелка барометра жизни пульсировала на черте последнего деления своего циферблата, и в помещике пузырился смех, пробиваясь сквозь скрлупку земли, словно горячий источник. Катастрофа произошла, когда на него с физиономии брата глянуло лошадиное око, лишенное зрачка; иссохшая оболочка того пузыря, которую тащил поезд, мчащийся из будущего, лопнула, струя смеха пробила себе путь, и голоса, кружасие и смятенно блуждающие извилинами Дастьхова мозга, соединившись, выкрикивали ясные и отчетливые слова.

Помещик усмехается, вспоминая, как всегда боялся момента катастрофы, а она, как это ни странно, принесла ему облегчение и уверенность в себе.

Голоса властно отпугнули все сомнения и тоску. Теперь он знает, что делать, чтобы выиграть спор, завещанный ему дедом по материнской линии. Достаточно уничтожить конскую голову и вызволить своего партнера из заточения, куда она его ввергла. А часы пусть идут, пускай себе тикают, как им угодно, отсчитывают и сообщают время, которого уже нет. Теперь они не более, чем игрушка, увеселяющая слух и помогающая коротать досуг.

До женщин в столовой снова доносятся с лестницы шаги помещика, они почти не замечают этого, так бродит он по дому и по двору, пока не настанет пора засесть в трактире за карты. К ним долетает и скрип отворяемых ворот. Удивившись, что не слыхали, как проехала телега, они быстро забывают об этом и углубляются в свои заботы. Единственный человек, который видит все, что проделывает хозяин, и с изумлением следит за его поступками, это старый Балхан. Он бросает решето на кучу провеянного зерна, выбирается из облаков пыли и протирает глаза, чтоб лучше разглядеть, что такое хозяин тащит в конюшню и зачем отворял ворота. Старик взволнованно попыхивает трубкой, выпуская дым уголком рта, — ему кажется, будто помещик несет ружье.

Изумление Балхана достигает наивысшей степени, когда он видит, что хозяин, пригнувшись, выезжает из конюшни верхом на Луцке, зловредной шельме, буланой кобыле, которая всегда норовит куснуть всякого, кто ее запрягает. Хозяин сидит на ней верхом, не набросив даже

попоны, держит недоуздок одной рукой, а в другой,— у деда чуть не вываливается трубка из беззубых десен,— ей-богу, у него ружье. Луцка, почувствав свободу, идет боком и пытается взбрюкнуть, но помещик, служивший в молодости в драгунах, направляет ее уздой и сжимает коленями.

— Тёлт побели, хозяин,— бормочет дед растерянно,— что будете стлелять?

Помещик, не оборачиваясь, ударяет кобылу каблуками и выезжает из ворот.

Судья стоит на том же месте у окна, когда этот безумный наездник на танцующей и вскидывающейся на дыбы лошади появляется на площади. Его появление прохожие встречают криками, но вихрь страха, закрутив по площади, сметает их, ружье в руке всадника повергло всех в ужас, люди укрываются за крепостными валами своих домов, выглядывая оттуда, так как любопытство их не удовлетворено, ведь пока еще ничего серьезного не произошло.

Окно, у которого стоит судья, захлопнуто, но другое, за его спиной, осталось полуоткрытым, и в него проникают звуки, дополняющие цепь видений, пришедших словно из сна и кажущихся неправдоподобными в столь ярком свете солнечного дня.

Всадник борется с конем, который старается сбросить с себя непривычное бремя. Зеленая соломенная шляпа уже погибла под Луцкими задними копытами, но схватка с упрямой кобылой только распаляет помещика и зажигает в его крови молодецкое буйство. Он поднимает ружье высоко над головой и пытается улюлюкнуть, как это делают батраки, въезжая на лошадях в воду, когда собираются их купать. Но у него вырывается лишь хриплый взвизг, и эхо долго перекатывает его ледяными волнами по первым всех, кто его услыхал.

Судья провожает брата нетерпеливым пристальным взглядом: так ли выглядит конец спора, что начат ими двумя? Если это окончательный приговор, то нет сомнений в том, кто осужден. Но не забыто ли его, судьи, право первородства?

В распахнутых настежь воротах усадьбы появляется мадемуазель Элеонора, и судья недовольно хмурится. Что ей здесь надо? Она не имеет права вмешиваться в действие, приведенное в движение собственной тяжестью, чтобы решить то, что не дано было решить никому из них.

Лени, решительная и отважная, какими бывают те, кому нечего терять, повелительным жестом указывает на

землю перед собой, и ее голос, еще олее твердый и неумолимый, чем обычно, отчетливо разносится по площади.

— Пепек, немедленно слезь и ступай домой.

Но ни ее вид, ни холодный и насмешливый голос, которого до сих пор боялись оба брата, на сей раз не в состоянии умерить воинственность всадника.

— Лени,— рычит он хрипло,— я убью лошадиную голову и выиграю тяжбу. Я никогда больше не буду проигрывать. Никогда. Смотри!

И хотя Луцка не перестает пританцовывать, бить копытами и кидаться из стороны в сторону, помещик, стиснув коленями ее бока, поворачивает кобылу к воротам и, тут же вскинув обеими руками винтовку, стреляет. Площадь вздрогивает от выстрела, и гулкий отголосок его принимается гулять, громыхая, между домами, словно заблудившийся гром, и, прежде чем раздробиться и исчезнуть, эхо успевает еще поиграть с ним и превратить его в стаю лающих и завывающих псов. Пуля, отбив у гипсовой головы над воротами кусок ноздри, швыряет ее к ногам мадемуазель Элеоноры, но она, не отступив ни на шаг и не подняв над головой рук в защиту, не издает ни звука, хотя не знает, куда целился Пепек.

Луцка, испуганная выстрелом, мчится вниз по отлого- му спуску площади к трактиру «У лопадки», где стоит грузовик, полный пивных бочек. Кобыла огибает его и сворачивает направо к ратуше. Она до сих пор не избавилась от своего седока, помещика, хрипло покрикивая и размахивая винтовкой над головой, все еще держится на ее широкой спине. Более того, снова овладев недоуздком, он приостанавливает ее неукротимый бег, вступает в короткую схватку и ведет, перешуганную, укрошенную и дрожащую, вокруг сквера к зданию суда.

Площадь пустая, нигде ни души, его некому остановить. Лишь под аркой ворот дастыховской усадьбы неподвижно стоит мадемуазель Элеонора.

— Лошадиная голова, где ты? — орет Пепек.— Я разобью тебя на куски!

Наверху, воин за тем окном, сверкает глаз, пустое бельмо без зрачка. Пепек отводит затвор, чтобы выбросить стрелянную гильзу, солдат в нем еще не умер, не захлебнулся в прибои волн, захлестывающих его мозг, на этот раз Пепек целился тщательно, потому что Луцка под ним на миг угомонилась, и стреляет еще раз.

Все это время судья стоял неподвижно, он видел, что брат целился в него, и кто знает, быть может,

подсознательно повернулся к нему грудью. Он не может и не смеет вести себя иначе. Если тяжба должна быть решена ценой гибели их обоих, так тому и быть. Именно сейчас поднимается председатель верховного трибунала, надевает берет и готовится вынести окончательный, не подлежащий обжалованию приговор.

Оконное стекло над головой судьи лопнуло и разлетелось вдребезги, пуля, с жалобным свистом задев потолок, ударяется в стену позади судьи. И в эту минуту в судье что-то обрывается. Мечта об абсолютной справедливости рассыпается на мелкие части, как разбившееся вдребезги оконное стекло, а стоявший у окна неутомимый сутяга, преследуемый призраком неоконченного спора и нарушенного права первородства, повергается с пробитым сердцем.

В мгновение более короткое, нежели сама эта смерть и этот выстрел, вызвавший ее, судья осознает, что стряслось ужасное, самое страшное, что только может произойти между людьми: брат поднял ружье на брата, чтобы убить его. Он знает, как глубоко был бы сам виновен в своей смерти и в преступлении брата. Судья уже не думает ни о чем ином, в нем восстал из мертвых Дастых, любящий человеческой любовью дело, и ясные мысли, и решительные поступки.

Судья поворачивается и спешит на улицу, не замечая перепуганных лиц в комнатах, через которые он бежит. Сердце его бьется молодо. Он уцелел, чтоб принести исцеление Пепеку.

А на улице, перед зданием суда на неровной мостовой, широко раскинув руки, лежит навзничь помесчик. Ружье валяется возле, Луцки не видать. После второго выстрела она вскинулась на дыбы и избавилась от безумного всадника. У судьи при виде этой картины стынет кровь в жилах, но он не умеряет своей торопливости. На площади появляются люди; они вылезают из своих укрытий и устремляются сюда. Судья не обращает на них внимания, он опускается на колени и, подсунув ладонь под голову Пепека, нащупывает большую шишку, но ладонь остается сухой. Судья нагибается и прижимает ухо к груди брата. Тревожно, со страхом прислушивается. Сердце Пепека бьется тихо, медленно, удары далеки друг от друга, но ритмичны.

Люди смыкаются вокруг этих двоих, несколько голосов говорят одновременно, судья не внимает им и не слышит их, он подхватывает тело брата и поднимается вместе

с ним. Люди вокруг ахают от изумления. Какая нужна сила! Но судья силен силой своих лет, погибших в ненависти, и силой раскаяния. Он шагает со своей ношой медленно и тяжело, так же, как стучит сердце брата. Он минует сквер, мохновский фонтан, что без устали прядет свою трехструйную песнь о вечности, которой безразлично время, и шагает дальше, направляясь к распахнутым воротам дастыховской усадьбы. Едва ли он замечает, что кто-то шагает рядом. Это мадемуазель Элеонора.

Судья продолжает свой путь, видя перед собой лишь распахнутые ворота.

Шесть ударов на ратуше присоединяются к его шагам. Один за другим падают удары на площадь, где люди замерли и следят за этим неправдоподобным восхождением судьи к цели, к которой он стремился более половины своей жизни. Но вот часы на ратуше умолкли, и со старой святоцацлавской часовни посыпался звон колокольчиков, к ним присоединился колокол собора. Судья вспоминает о старце, звонившем в колокола справедливости, и по его лицу, застывшему от напряжения, пробегает усмешка. Колокола все еще бьют, когда судья достигает порога, которого он не переступал со дня смерти отца.

— Он жив? — спрашивает в этот момент Элеонора.

И судья лишь молча кивает, потому что все его силы ушли на то, чтобы дотащить свою ношу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ПЫЛАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

У нас нет прямых свидетельств, которыми мы могли бы подтвердить свое повествование о том, что произошло потом в имении Дастыхов, когда советник юстиции притащил сюда своего потерявшего сознание брата. Луцку привела домой Лида. Лида, к счастью, пропустила все происшедшее, потому что бродила в полях за городом и произносила перед рябинами, тополями или березами монологи, до понимания которых, быть может, дорастет лет эдак через десять. На меже спокойно паслась кобылка, а так как между нею и девушкой была старая дружба, утвержденная многочисленными кусками сахара и ломтиами хлеба, она послушно последовала за Лидой. Лида, естественно, отнеслась настороженно к тому, что Луцка, которая должна быть сейчас привязана к кормушке, гуля-

ет одна так далеко от дома, и ее беспокойство все возрастило, по мере того как, проходя по улицам, она натыкалась на группки взволнованно переговаривавшихся людей, умолкавших при виде ее. Однако никто не подошел к Лиде и не рассказал, что у них стряслось, а она ни с кем не была настолько близка, чтобы спросить самой.

Растерянный и лепечущий что-то несуразное старый Балхан первый выбежал ей навстречу, когда она, ведя Луцку, вошла во двор. Он выпускал дым уголком рта, так что брызгала слюна.

— Пф, пф. Вот она где, длянь. Сблосила его и удлала.

Лида даже не успела ни о чем спросить его — стариk приложил палец к губам и с чрезвычайно таинственным видом выловил из кармана своего длинного, не по росту, пиджака какой-то предмет. Он подошел к Лиде вплотную и раскрыл свою морщинистую грязную ладонь. На ней лежала раскрашенная птичка, в которой Лида узнала кукушку из часов в кабинете отца.

— Больше не будет куковать,— сообщил ей дед восторженным шепотом.— Я свелнул ей сею, пока все были внизу.

Когда перепуганная Лида вошла в спальню родителей, местный врач уже осматривал так и не пришедшего в сознание помешника.

— Тяжелое сотрясение мозга,— констатировал он.— Череп цел, крепкий.

На лицах всех собравшихся написан один и тот же вопрос: «Ладно, череп в порядке, ну а внутри?»

Последующие дни принесли ответ, которого никто не ожидал.

Судья вызвал из областного суда заместителя и не отлучался от постели брата. А когда Пепек приходил в себя настолько, что начинал узнавать лица и видел, что рядом сидит Филип и держит его за руку, он долго молча всматривался в это осунувшееся и подрагивающее от тревожного напряжения лицо без очков. И Пепек улыбался, глядя вполне разумным взглядом темных глаз, из которых исчезло мерцающее пламя беспокойства.

А город Бытень в это время недоумевал, что же все-таки явилось причиной этих потрясающих событий, столь неожиданно взорвавших мирное течение жизни? Событий действительно многовато для города, который десятки лет не знал более жестоких потрясений, нежели трактирные драки и кражи кур. Такое не могло случиться само по себе, решило общественное мнение и принялось выиски-

вать источник, который наслал на город этакую напасть. Нашлись такие, кто указывал прямо на домик на Костельной улице и его обитателя, хотя никто из пострадавших или просто причастных к этому никогда и никому об этом даже не намекнул. Таков уж, видимо, таинственный закон природы городов, вроде Бытни, здесь не утаишь даже мысли, которую никто никогда не высказывал вслух, не писал на бумаге и даже не насвистывал и не выстукивал пальцами по столу; она и непроизнесенная просачивается сквозь стены и несется от головы к голове и откладывает в них кукушечки яйца.

Эмануэль Квис чувствует, что эти подозрения ползают вокруг его дома; когда он сидит тихо, он слышит, как они топчутся под окнами и обнюхивают, как опускаются на крышу и долбят ее нетерпеливыми клювами. Когда он отправляется на прогулку, он видит их во взгляде любого встречного. Женщины у зеленных лотков умолкают и пялятся на него, сцепив руки на животе. Он возбуждал их любопытство с самого начала, едва появился в городе, а нынче, когда слухи становятся все ярче, приукрашенные фантазией каждого, кто разносит их, напряжение становится почти невыносимым. Мороз суеверия пробегает по спинам граждан, и они демонстрируют друг другу руки, покрытые пупырышками мурашек. Жуткие истории пробуждаются в их памяти. Они готовы верить любой чепухе, дрожать от страха и превращаться в бешеных фурий, гонимых подсознательным страхом за своих детенышей. Те из них, кто заспал после той ночи, когда в город явился Квис, осеняют себя втайне крестным знамением, встретившись с его взглядом, и сплевывают, чтоб защитить свой плод от глаза; иные в ужасе вопрошают, почему именно в эту минуту в их голове возникла та или иная мысль, о которой они даже не вспоминали на исповеди, считая ее давно умершей.

На ступеньках лавки Гаразима, которые несколько дней назад окропил своей кровью Тлахач, стоит хмурый молодой человек и курит сигарету. У него были тяжелые дни, приходилось выслушивать язвительные слова и в ответ лишь сжимать кулаки в карманах, сыновья любовь боролась в нем с любовью к девушке, которую он никогда не бросит, даже если придется идти работать в каменолому или наняться батраком. Солнце бабьего лета село на площадь и обогревает ее, словно наседка, задумавшая вывести поздних цыплят. Муки молодого человека от этого лишь усиливаются. Он терзает себя, терзается головокру-

жительно сладостными любовными воспоминаниями. Он не видел Лиду с того самого злосчастного дня. Лида перестала ходить на репетиции, и ее роль отдали другой девушке. Лида не ответила на его письма и, видимо, вовсе не выходит из дома. Еник пользуется каждой минутой, когда в лавке нет покупателей, чтобы покурить, и торчит перед лавкой, словно рыболов у реки, унылый и безутешный. Все, кто проходит мимо, знают, почему он стоит здесь, жалеют его и про себя желают счастья.

Но где ему спастись от бдительных щупальцев квисовского любопытства! И все же когда Квису удается наконец встретиться с Еником взглядом, он с изумлением обнаруживает, что лезет в сад, окруженный забором из колючей проволоки. Он видит все, что в нем есть, но схватить не может. Квис наталкивается на такое отвращение и презрение, что сжимается, как собака при виде занесенной над ней плетки. Квис ускользает от этого взгляда и останавливается в нескольких шагах спиной к Енику, чтобы в волнении и страхе уяснить себе, к чему же это он прикоснулся и почему забор из колючей проволоки, через которую пропущен электрический ток, с такой силой ударил и отбросил его от себя. Конечно же, за ним было все, чего он искал, да только оно пришло в движение без его вмешательства, обошло его, даже не заметив, гонимое быстрой кровью молодости, не знающей препяд. Свободно и независимо от чего бы то ни было кроме чувства, которое в этом возрасте есть начало и конец всего, ярко вспыхнуло в душе Еника решение противиться всему, что может ему помешать. Тебе здесь нечего предложить, тут может быть принято решение самое неожиданное и бессмысленное, ты же участвовать не будешь, на этой территории идет бой между надеждой и отчаянием, мечтой и сомнениями; бой этот идет в открытую, с поднятым забралом.

Квис сознает свое поражение. И многие другие его желания тщетны. Молодость мчится своими путями, непроходимыми для него, он понимает, что ему не у gnаться за ней.

Божка — другое дело, ее чувство к нему явилось само, словно потерявшаяся собачонка к хозяину, обманутое и завлеченное механической, кажущейся добротой, которую Квис обращает к людям, безразличным ему. Вот и все, чего он достиг, — молодая безрассудная влюбленность девушки, которая подсознательно ищет покоя, защиты и уверенности. Все прочее промчалось сквозь него, словно вихрь сквозь раскрытый настежь дом, и оставило после

себя пустоту еще более страшную и безутешную. Квис оживлял умирающие инстинкты и возвращал им силу, он выгребал глубоко запрятанные мысли и вытаскивал их на белый свет; но все кончалось тем, что он лишь беспомощно наблюдал, как они, вырвавшись, подчиняются воле, их породившей. Бургомистр, Тлахач, оба Дастьха — все они перешли черту, но, возвратившись за нее обратно, они отошли от нее еще дальше назад. Квис вызвал наводнение, но не смог превратить его в половодье, от которого нет спасения; вода опала и вернулась в свои берега, умиротворенная и еще более спокойная, чем прежде. Квис вызвал к жизни песнь, но смеет лишь слушать, как она звучит в нем. Он — всего-навсего вместилище отзыва, который умолкнет с последней нотой. Этого ему мало. Он хочет повелевать песнями, которые пробуждал к жизни, навязывать им спад и конец.

Взгляд Еника жестко и враждебно вперился в спину Квиса. Молодой Гаразим достаточно наслушался в лавке взволнованных и недоуменных намеков на роль этого стариашки в последних бытеньских событиях, последствия которых, возможно, коснутся и его. По мнению Еника, все это чепуха, но он полон такой тоски и безысходности, что облегчает себе душу, мечтая задать стариашке в случае, если слухи подтвердятся, хорошую трепку.

У дома Дастьхов стоит автомобиль, старая развалина, привыкшая глотать грязь и пыль окрестных дорог и проселков. Что доктор делает там так долго? Говорят, будто Лидин отец уже вне опасности, а что касается рассудка, то он у него даже стал яснее, чем до падения с лошади. Чего пугать себя раньше времени? Доктор известный болтун, а если ему рюмочку поднесут, то он и вовсе прирастет к стулу.

Скрипнула калитка. Вот и он. Маленький, кругленький, в руках видавший виды пузатый саквояж, соломенная шляпа сбита на затылок. Доктор оборачивается и улыбается кому-то, кто остался за калиткой и кого мы не видим. Наконец он выходит на улицу, и Еник, стоящий перед лавкой, замирает. Доктор похлопывает по плечу Лиду, что-то восклицает и семенит к своему автомобилю.

Автомобиль, такая же таращелка, как и хозяин, с грохотом трогает с места, направляясь к другим пациентам, а Лида идет в сторону аптеки. Ну, Еник, настал твой час. Чёрта ли тебе в том, что мать, терзаемая подозрениями, выйдет на улицу узнать, куда ты исчез. Но камень, на

котором он так долго стоял, прирос к его ногам, что ли, и, пока к нему возвращается способность передвигаться, Квис успевает снять свою серую шляпконку и описать ею учтивый старомодный полукруг.

— Прошу прощения, мадемуазель,— обращается он к изумленной Лиде,— но мы с вашим почтенным папенькой были добрыми друзьями. Из того, как вел себя доктор, я сделал вывод и полагаю, не ошибся, что дела вашего папеньки стали лучше.

Изумление быстро исчезает из Лидиних глаз, они становятся холодными и сосредоточенными и похожими на глаза тетушки мадемуазель Элеоноры. Выражение лица замкнутое, не пробешься, и кажется, что взгляд ее впитывается в тебя. Невероятно, что такой взгляд принадлежит девушке, столь юной и привлекательной, такой беззащитной. Квис с трудом преодолевает волнение, столкнувшись с этим новым для себя явлением. Он собирается расставить сети, но видит, что превратился из ловца в добычу, столкнувшись с таким же, а может быть, и еще более сильным, нежели его собственное, жадным любопытством, только питаемым иным источником и направленным к иной цели. Квис беспомощен, его охватывает страх.

Лидино сурое лицо расплывается вдруг в сладчайшей улыбке, и это, как ни странно, пугает Квиса еще больше.

— Не сердитесь,— отвечает она наконец нежным голоском,— что я так долго разглядывала вас. Извините меня, вы не артист?

— Нет.

— Какая жалость,— говорит Лида почти ласково, словно не замечая резкости его ответа.— Каждый раз, когда я вас вижу, мне кажется, что вы либо актер, либо были актером. Досадно, что это не так. Ведь вы смогли бы играть вся и всех на свете!

Квис уже успел опомниться и взять себя в руки. Он сознает, что девушка близка к правде, известной в этом городе только пани Катержине Нольчовой, которой он поведал ее, чтобы расположить к себе и войти в доверие. Ну что ж, почему бы в таком случае не прибегнуть к другому способу? Он даст девушке выговориться, и она сама себя выдаст.

Он скрипуче смеется и говорит:

— Мне такое и в голову не приходило. С меня всегда бывало достаточно комедий, которые передо мной разыгрывали другие.

Лида чуть бледнеет и сжимает губы, и Квис с опозданием понимает, что выбрал не те слова. Кто же, как не он, столь великолепно разыграл сцену на этой самой площади, превратив в зрителей почти всех жителей города? Лицо девушки смотрят на него строго, и есть в ее взгляде что-то презрительное. Тем не менее девушка улыбается и произносит нежно:

— Значит, я ошиблась, не так ли? Мне еще в школе говорили, что я делаю поспешные выводы.

Квис смущен и польщен.

— Не огорчайтесь,— отвечает он, и в его металлическом смехе звучат нотки благосклонного превосходства.— Это все по молодости лет.

Но глаза девушки продолжают беспокоить Квиса. Сейчас в них притаилась кошка, которая, вся подобравшись, поджидаст добычу. Квис понимает, что он все это время оборонялся, что его изучают, вместо того чтобы, по обыкновению, изучал он сам.

— А впрочем, где вам!

Лидин голос поставил капкан, прикрытый мягким мхом, и Квис снова приходит в ужас, он чувствует, что утратил нить разговора. Эта девушка для него слишком стремительна.

— Что? — кричит он, кидаясь в атаку, и, словно фехтовальщик, опрометчивым выпадом открывает грудь.

Лида использует эту возможность спокойно и не спеша.

— Так ведь это же труднее всего.— И продолжает еще медленней: — Искренне сыграть самого себя. Разве вы сумеете? Я могу себе представить, как вы сыграете ну хотя бы моего дядю или пана бургомистра. Но себя? Тут-то вам и конец, потому что играть-то вам нечего.

Квис задыхается, столько неприятностей за последние дни, он пытался жить за чужой счет, но ему не удалось, а сейчас девушка говорит ему все это буквально теми же словами, которые звучали в нем самом. Лицо Квиса становится пепельно-серым, свистящий самум времени подхватывает его, и песчинки рассекают лицо тысячами морщинок. Лида глядит на эту перемену с испугом, но без страха. Сейчас, думает она, он возьмет да и грохнется. Там стоит Еник, мы подхватим его, потащим в аптеку и дадим нюхнуть нашатыря. Но нет, все разом прекращается, морщинки исчезают, словно он прогнал их; хотелось бы мне знать, откуда они взялись, а на щеках опять расцветают фальшивые розанчики. О боже, вот шут!

Квис несколько раз стукает палкой по тротуару, словно помогая словам выходить из пересохшего горла, и наконец выдавливает шипящим полушиепотом корявые звуки:

— Вы, вы... как вы смеете, как вы смеете позволять себе такое!

Лида улыбается своей самой пленительной улыбкой, отрепетированной для очаровательной возлюбленной, и говорит:

— Я была дерзка, не так ли? Извините меня. Сама не знаю, что на меня нашло. Ведь я с вами вовсе не знакома.

На лицо Квиса выплывает примирительная улыбка, а Лида продолжает:

— Я тороплюсь за лекарством. Хочу только сказать вам, что человек должен и других вмешать в себя, чтоб уметь их сыграть. В этом ведь нет ничего оскорбительного, не так ли? Но вас это, видимо, не интересует.

Она мелодично произносит: «Всего хорошего», — и направляется мимо окаменевшего Квиса к аптеке, черные сводчатые двери которой зияют за его спиной.

«Человек должен вмешать в себя других, чтоб уметь сыграть их». Что значит — сыграть? Чепуха. Жить! Жить в разном подобии. Что за чепуху молола эта девица! Словсем не то. Кому же лучше знать, как не ему? И в довершение еще ускользнула от него. Он хотел влезть в ее оболочку, но не смог ухватить ее. Как же так, все, о чем он мечтает, ускользает от него? Ну нет, он еще им покажет, покажет им всем, что может жить в них и за их счет.

Квис стоит неподвижно; мимо него, покачиваясь, словно стадо кораблей, подхваченное бурей, стремительно проплывают дома, издалека долетают два приглушенных голоса. Он не должен их слышать и все-таки слышит.

Это Еник Гаразим воспользовался тем, что Лида остановилась с Квисом, и, заставив сдвинуться с места свои окаменевшие ноги, дотащил их до входа в аптеку, а сейчас упрекает девушку в опоздании, как будто заранее договаривался с ней о встрече.

— Зачем ты так долго с ним говоришь? Не знаешь разве, какие слухи о нем ходят?

Лида заметила этот ревнивый тон собственника, и в сердце у нее поднимается бунт и печаль. Интересно, этот молодой Гаразим, равнодушный к куче денег, что загребла его семейка, с такой сквердностью пересчитывает мельчайшие монетки ее смеха. Как прекрасна, может быть, борьба с этим, и какая жалость, что до этого никогда не дойдет.

— Мало ли что говорят и про Дастьхов, и про Гаразимов, а через пять минут станут сплетничать о нас, о том, что мы стоим здесь вдвоем!

— Мне это безразлично,— отвечает Еник резко и непоследовательно.— Лида, я так давно тебя не видел. Я уже решил утащить где-нибудь лестницу и ночью забраться к тебе в окно.

Лида смеется, а потом вдруг с горечью говорит:

— Чего же не забрался? Нам, Дастьхам, не привыкать, стыдом умываемся.

Еник краснеет, а девушка сама пугается своих слов. Ей хотелось бы стереть их, чтоб не осталось и следа, она понимает, с каким нетерпением Еник ждал ее, а теперь, дождавшись и лишь намеком дав ей понять, как измучился, как истосковался по ней, получает от нее такое. А это, быть может, последний их разговор, они в последний раз смотрят друг другу в глаза, и когда Еник станет выискивать в своей памяти эту минуту, он извлечет лишь горечь...

— Не обращай внимания, Еничек,— произносит она так мягко, что по спине у него пробегает холодная дрожь, губы мучительно сжимаются, и он делает судорожный глоток. «Так и только так я играла бы, если б мне досталась похожая роль. Это следует запомнить,— думает девушка и вдруг ужасается: — Боже мой, да ведь я действительно играла, но намерения мои были самыми добрыми, ведь я не смогла бы произнести эти слова иначе, ведь я говорила правду». И она продолжает наблюдать за собой со стороны, как точно подходит интонация к каждому слову, что скользит из ее уст в сцене, которую она играет сейчас на вечную память для себя и своего возлюбленного.

— Если кто попадет в крушение, не удивительно, что после он мелет невесть что. Ты же знаешь: мне во всей бытии никто, кроме тебя, не нужен.

— Лида, я сделаю все, что ты захочешь,— с горячностью восклицает Еник.— Пренебрегу всем и всеми. Уедем отсюда, если хочешь. Не бойся, я тебя прокормлю. Но долгого ожидания я не вынесу.

Подожди, девочка, сейчас не время реветь. Ведь и это можно сыграть — «героиня подавляет в себе слезы и ведет себя так, будто только что получила в подарок шляпку, о которой давно мечтала». Тем не менее голосок у героини подозрительно дрожит, когда она произносит:

— Еник, тебе не нужно ждать, ты только не забывай меня, мне довольно и этого.

Пока удивленный Еник пытается понять, что, собственно, означает столь неожиданное заявление, за его спиной возникает фигура, удивительно похожая на собственную тень, белеет лишь лицо. Лида знает, что тень эта не может тронуть ее, но представляет себе, как наглоухо накроет она Еника, когда ее здесь не будет, и ей становится жутко.

— Твоя маменька, Еник,— произносит она. И, проглотив последний комок горечи при виде того, как молодой человек испуганно оглядывается, Лида проскальзывает в двери аптеки.

Захлопнувшись, аптечные двери издают глубокий вздох, как человек, с трудом пришедший в себя от неожиданности. Еник и Эмануэль Квис, услыхав этот звук, одновременно оборачиваются. Взгляды их сталкиваются, у Еника еще смятенный и пристыженный, у Квиса уже вскипающий водоворотом любопытства и жаждой новых жертв. Эти глаза насмешливо и неумолимо спрашивают Еника: «А что ты сделаешь теперь?» — Квис принюхивается к нему, словно чутье легавой, распаленной запахом свежего следа, толкает его, принуждая к чему-то. Но все сейчас сосредоточилось для Еника в одном: этот стариашка подслушал их разговор с Лидой и был свидетелем его слабости и испуга перед матерью. Еник бледнеет и совершает то, чего от себя не ожидал, более того, этого не ожидал от него и сам Эмануэль Квис, жаждавший добиться от Еника чего-то определенного. Сжав кулаки, Еник устремляется к Квису и спрашивает:

— Надеюсь, вы все хорошо рассыпали?

Квис понимает, что молодого человека швырнула к нему волна ярости, которую можно легко использовать. Поклонившись, он отвечает вежливо и снисходительно:

— Благодарю вас. Мадемузель Дастьхова удивительная молодая дама, не так ли? Иногда ее трудно понять, даже если хорошо слышно, что она говорит.

Квис намерен продолжить, но Еник перебивает его. Нагнувшись к стариашке, он в бешенстве кричит:

— Хватит! Оставьте мадемузель Дастьхову в покое. Я только хотел убедиться, действительно ли вы подслушивали. И если бы не ваш возраст, я влепил бы вам пару оплеух, ищайка проклятая!

И, оставив Квиса задыхаться от бешенства, Еник направляется к лавке строптивой мальчишеской походкой, будто вернувшись в годы своих юношеских теннисных побед.

День стоит душный, каких обычно во второй половине сентября не случается. Лето подняло напоследок свой стяг на самую верхушку флагштока. Такой бунт и вызов не могут оставаться без возмездия. Но прежде чем оно пришло, устрашающий гнет низкого давления потребовал жертвы. Нейткова, которая уже более недели таскалась на работу, борясь с острыми болями в животе и в пояснице и в конце концов добитая ими, упала перед самым полуднем на каменный пол богадельни и окрошила его кровью своего нутра. Кровотечение было настолько обильным, что соседкам оставалось только ломать в отчаянии руки. Нейтек хмуро стоял среди них в каком-то мистическом ужасе; возможно, ему казалось, что это ринула кровь из всех ран, которые он нанес своей жене. Божка, обезумев от страха, кинулась за врачом. Маленький круглый доктор, к счастью, оказался дома. Он прикатил на своем дребезжащем автомобиле, раскаленном жарой и потому громыхающем больше обычного. Доктор разогнал женщин, выставил Нейтека и, оставив одну Божку, стал делать свое дело быстро и ловко, выкрикивая при этом затертыe шуточки, чтобы разогнать девичий страх и подбодрить пациентку, которую покидала жизнь столь обильной струей. Помочь ей он был не в силах, необходимо поскорее везти в больницу, и кто знает, помогут ли ей и там. Оказав первую помощь, доктор приказал нести Нейткову в машину, подсадил к ней Божку и поехал в Худейовице; он сделал это охотнее, чем можно было ожидать, так как это давало ему возможность ускользнуть от семейного обеда и попирать в отеле «Под короной».

Несчастье, поспособствовавшее чревоугодию лекаря, лишило обеда Эмануэля Квиса. В тот час, когда Нейткова рухнула на пороге богадельни, обычно приходила Божка и приносила ему обед из трактира «У лошадки». Квис, однако, этого не замечал, он вовсе не чувствовал голода. Духота сегодняшнего дня угнетает и его. Он сидит на своем обычном месте у распахнутого настежь окна, скрытый от посторонних глаз тюлевой занавеской, и смотрит неподвижным взглядом. Квис видел все, что произошло, и теперь наблюдает за Нейтеком, плюхнувшись на скамейку у входа после того, как автомобиль врача увез его жену. Сейчас он тупо сидит в этом горниле полуденного зноя, еще более усугубляемого отражающей его стеной. Небесные истопники работают на совесть, распахнутая топка выдыхает зной длинными ритмичными волнами. И струпья дряхлости и парши, пропивающие на стене

богадельни, поддаются ему и истаивают в давно исчезнувшей известке. На этой раскаленной плите жарится голова Нейтека. Алкоголь, распыленный в его крови и уже неразлучно соединенный с нею, вспыхнул синими язычками и помогает солнцу испепелять его бедный мозг, перебро-дивший на дрожжах неудовлетворенной страсти.

Духота становится все гуще, бархатные палицы бьют в колокола, атмосфера вокруг беззвучна и мучительна. Время плется по городу, как одряхлевший пес при последнем издыхании. Оцепенение удава овладело Эмануэлем Квисом. Он уперся взглядом в Нейтека, лицо которого, однако, нельзя назвать неподвижным, хотя Нейтек тоже застыл, будто слиток, вынутый из плавильной печи. Квису он кажется скорее акварельным рисунком, набросанным неверной рукой на ослепительно белом полотне, которое кто-то беспрерывно встряхивает. Сквозь изображение просвечивают клетки, с помощью которых художник надеялся сделать рисунок точнее. Но в этом уже виновна тюлевая занавеска, которой защищено окно.

Впрочем, это зрелище уже перестало привлекать внимание Квиса. Самое большее, что можно сказать: оно повисло в его сознании, как висело бы на стене комнаты, в которой находится Квис. Он знает о нем, но оно его не интересует. Квис уже давно вернулся к распахнутому перед глазами Нейтека горнилу. Это не что иное, как дверца плиты, где в языках пламени и пепле погибли тщетные надежды батрака поймать и воплотить хотя бы в дереве неуловимое видение, которое повсюду преследует его, манит и исчезает. Быть может, это воплотились муки Квиса. Нет, слишком уж оно стихийно и трудно, слишком земное, напоенное бродящими в нем соками, своей тяжестью и дикими судорогами, оно могло бы разбить глиняный, пористый сосуд, каким является душа Квиса.

Сегодня днем в это горнило чья-то свирепая рука швырнула Нейткову, которую время и бедность превратили в неудачную поделку из дерева, так похожую на одну из фигурок, вышедших из рук ее мужа, и, когда она извивалась в пламени боли и свинцовый пепел смертельной бледности покрывал ее лицо, вдруг вспыхнула и на долю секунды засверкала ее погибшая красота. Нейтек до сих пор ослеплен этим видением. Он когда-то обладал ею, она принадлежала ему, но он уничтожил ее красоту своими грубыми руками. Теперь эта красота ожила в Божкином лице.

Заупокойный псалом Нейтека настолько похож на волчий вой Квиса, что мы и сами не знаем, о ком из них говорим. Существо, лишенное жизни, жаждет жизни, и когда ему удается прилепиться к чужой, растущей из собственных корней, оно начинает понимать, что пожирает чужие мечты, еще более мучительные и напрасные.

Дом благоухает яблоками, видимо, двери кладовой, где они уложены, остались распахнутыми. Вместе с ними сюда проникает лето, аромат солнца, дождя, и ветра, и росистых садов, и удобрений — терпкий запах, сотворенный из самых сильных субстанций жизни: любви, плодородия и труда, но Квис не чувствует его. Сдавленный душными объятьями сегодняшнего дня, он видит перед собой лишь открытое жерло печи, в котором видение рассыпается, чтоб воплотиться в другое; он понимает, что умрет, если не отважится погрузить руку в этот жар и схватить последнее, добела раскаленное воплощение своей мечты.

Стойкий запах яблок вдруг вздрагивает от иного аромата, словно в неподвижной чистой воде забил со дна мутный ключ. Кто-то невидимый и неслышимый пробирается по комнате, и ты ощущаешь его присутствие лишь по беспокойному колебанию воздуха, а его естество — по иному запаху, нежели тот, который спокойно жил здесь доселе. В комнате неожиданно и настойчиво запахло айвой, разложенной вокруг зеркала на комоде.

Это и есть истинный старый дух жилища и всего, что когда-либо носила на себе его хозяйка, спящая теперь вечным сном в тени храма. Губы Квиса сжалась в тонкую линию, видимо, чтобы не выскользнуло ни одно слово из тех, которые он копит в себе.

«Тише, Либуше, ты не должна сегодня меня беспокоить. Жизнь состоит из того, что нам с тобой никогда не было дано. Я отдаю ее тебе, я украл ее у нас обоих. Она тяжелее, чем я способен поднять. Но я должен идти дальше, я должен выдержать до конца. Ты спрашиваешь, что это за белое создание, столь белоснежное, что, глядя на него, можно ослепнуть? Это та самая девочка. Не смотри удивленно, ты знаешь ее так же хорошо, как и я, ты не могла ее не заметить. Она любит меня, не правда ли, это комично? Или придумывает себе эту любовь, ведь я с ней вежлив и галантен, а она никогда не знала хорошего обращения и боится мужчин. Ты ведь тоже придумала себе любовь. Продолжаешь ли ты заблуждаться? Твоя любовь не давала мне ничего, чего я не мог бы найти

в самом себе, и мы оба отлично знаем, что это такое. Но видение этой любви сейчас настолько явственно, что могло бы изменить меня и вознаградить за все, чего я всю жизнь был лишен. И все-таки я пожертвуя ею. Слишком поздно, я не могу ждать. Мне нужно иметь все сразу и немедленно. Представь себе, во мне бушует страсть. Видишь черную лапу, что тянется к этой девушке? Эта ручища принадлежит тому типу, что там, напротив, печет свою голову на раскаленной стене. Если тебе угодно, эта лапа принадлежит и мне. Я — един в двух лицах: я и чувство, и красота, я и та ручища, которая растерзает ее. На сколько лет, длинных и бесконечных, приходится людям растягивать свою жизнь, с каким щением копят они сумму. А я получу несколько жизней всего лишь за одну-единственную минуту. Мы так мечтали стать такими, как они. Значит, будем жить за их счет, если своего счета нам не дано. Нынче мы будем теми, а завтра — этими. Разве это не даст нам больше? На, смотри, получай, бери. Разве ты вместе со мной не чувствуешь, сколько судеб, словно хлебные караави, выпекается в печи нынешнего дня? Как мы потащим все это? Мне страшно, не отходи от меня».

Запах айвы становится все тяжелей и сладче, словно кто-то открыл бутыль с эфирным маслом, запах айвы почти вытеснил первоначальный аромат, он царит здесь, тягостный и неподвижный, подобный духоте на улицах, над крышами, над всем обширным краем.

В этом половодье зноя, затопляющего округу новыми и новыми волнами, хотя солнце начинает сползать со склона дня, каменный мохновский дом является островком отрадной прохлады. Супруги Нольчовы, однако, обедают не в просторной столовой нижнего этажа; в последнее время пани Катержина предпочитает широкую галерею в западном крыле дома, где висят портреты ее предков. С той поры, как пани Катержина отказалась выходить из дома, она проводит здесь целые дни. Зеленые жалюзи спущены и отражают атаки солнца, из-под них на галерею втекает слабый запах листьев и трав, размолотый жерновами нестерпимой жары.

Вопреки духоте, от которой загустел воздух даже в тщательно затененной галерее, бургомистр отобедал с отменным аппетитом. Сейчас он стыдится этого, заметив, что жена его отказалась от всех блюд и удовлетворилась лишь малостью фруктового салата. Нольч размягчен съ-

тостью, мозг его туманят облачка дремоты, он охотно разрешил бы им сгуститься и вздрогнул бы между черным кофе и сигаретой. И вместе с тем в нем гнездится необъяснимая тревога, принуждающая его все время быть начеку. Он боится ослабить свою бдительность, хотя не в состоянии точно объяснить, от чего именно хочет уберечь свою жену.

Пани Катержина курит вторую из своих трех ежедневных сигарет и с улыбкой наблюдает борьбу мужа с дремотой.

— К чему так сопротивляться, Рудо,— молвит она.— Ступай прилиг.

Бургомистр, веки которого неудержимо смыкались, а мысли путались, превращаясь в сновидения, резко дернувшись, выпрямляется.

— Прошу прощения, но я, кажется, уподобляюсь своим предкам. Возвращаюсь к ним. Еще немного, и я уснул бы над тарелкой, как мужик.

— Нет нужды возвращаться к ним. Ведь они нас и без того никогда не оставляют. Они с нами, они в нас и помогаются своих прав так же, как мы помогаемся права жить по-своему. И вообще кто из нас может с уверенностью сказать, в какой мере мы что-нибудь решаем или делаем по-своему и в какой — по их воле.

Голос пани Нольчовой спокоен и мелодичен, как обычно, он лишь звучит слабее и отдаленнее, и ее мужу кажется, будто она говорит с ним с другого конца галереи. Сонливости после первых же ее слов как не бывало, и все страхи сразу взвились стаей вспугнутых птиц.

— Катя,— говорит он мягко,— я не люблю, когда ты говоришь такое.

Пани Катержина глядит сквозь серое облако дыма, плывущее от его сигареты в окно, и он замечает, что взгляд ее так же далек от него, как далек ее голос. Далекий и чужой. И в сердце Нольча начинает пульсировать боль, словно в больном пальце.

— Почему? Это для меня ново. Ты никогда прежде не присваивал себе права надзирать за моими мыслями.

Так, видимо, двести лет назад разговаривали Мохновы с Нольчами, мелькает в голове бургомистра. Но это его не унижает, и не оскорбляет, и даже не вызывает чувства иронии, к которой он прибегает в других случаях, чтобы снять напряжение, возникающее из-за резких расхождений или в ситуациях слишком острых. У него лишь такое ощущение, будто кто-то определил расстояние, которое

пани Катержина установила между ним и собой. Пальцы его сжимаются с такой силой, что переламывают сигару. Он бросает ее в пепельницу, наполненную водой, и говорит под змеиное шипение угасающего жара:

— Я и сейчас не посягаю, Катя. Я лишь вижу их и боюсь. Они влекут тебя куда-то, куда я не могу за тобой последовать. Я тревожусь за тебя. А за это ты не смеешь меня упрекать.

Предки слушают; их лица неподвижны, но глаза обращены к супругам, сидящим у окна. На лицах предков отражается печать времени и чувств, приданых им художниками, но никому уже не будет дано узнать, что они собой представляли, из каких составных частей они состояли и что к этому было присовокуплено, прежде чем величайший из художников придал им окончательное и неизменное подобие. Пани Катержина переводит взгляд с одного портрета на другой, и наконец он останавливается на розе в руке несчастной родственницы, которая выбрала себе смерть вместо расцветающей и медленно увядющей жизни. Наконец она произносит:

— Иногда одно в нас подавляет другое, и мы не вольны этому воспрепятствовать,— отвечает она мужу.

Бургомистр понимает смысл ее слов, и ему кажется, будто он только что услышал свой смертный приговор. Когда-то Нольчу казалось, что он и его жена в полном одиночестве плывут на острове по безлюдному океану пустоты. Но вот остров разламывается пополам, и пани Катержина отдаляется от него в этом безбрежном просторе. Нольч не собирается сдаваться без боя. Нольчи отличаются тем, что никогда не отдают того, чем однажды завладели, но сейчас дело не в этом, сейчас дело скорее в ней, чем в нем. Нольч поднимает руку и в безнадежном усилии ухватиться за якорь спасения теребит пальцами бороду. Тихий шорох и потрескивание волос слышит его жена, и улыбка освещает ее лицо, она словно услыхала знакомую мелодию. Увы, это продолжалось одно мгновение. Будто стрекозка лишь коснулась глади стоячих вод,— рубежа, скрывающего мир, недоступный нашему взору.

— Катя,— восклицает бургомистр,— ты не хочешь даже сопротивляться!

Пани Катержина отворачивается от портретов и смотрит в сад сквозь щель между оконной рамой и жалюзи, укрепленными на железной перекладине.

— Никто не в состоянии жить в постоянных сомнени-

ях. Однажды приходит решение, и тогда перевешивает что-либо одно.

Бургомистр кладет на край стола сцепленные руки и тихо, но настойчиво произносит:

— Катя, я уж столько раз просил тебя и снова прошу: давай уедем куда-нибудь, где ты сможешь рассеяться.

Катержина едва заметно качает головой.

— Нет, я не могу.

Бургомистр откидывается назад и безнадежно опускает свои сильные руки на колени. Он задыхается от отчаяния. Ему кажется, что у него хватит сил уничтожить и разрушить весь мир, если что-нибудь стряслось с его хрупкой женой, бледнеющей день ото дня и тающей на глазах. Да, обладать такой силой и быть не в состоянии уберечь ее от того, к чему она сама стремительно идет навстречу!

Посыпанная песком дорожка среди зеленых берегов газона выбегает из темно-синей тени деревьев и бронзово сверкает на солнце. Мелкая галька переливается бесчисленными споликами белых искр. Воздух, дрожащий от жары, обманывает взор, представляя ему дорожку бегущим ручьем. Ручей увлекает за собой и ослепленный солнцем взгляд пани Катержиной. Взор ее плавает по ручью, словно чайка, пока ручей не исчезает под окном, и тогда взор ее перелетает обратно к границе тени, откуда ручей берет начало. Ручеек кажется Катержине подземной рекой, берущей начало глубоко под корнями деревьев, пробившей себе дорогу из одинокого луча. Она следует за ним взором, но луч вдруг приходит в движение и устремляется ей навстречу. Под лиственным сводом, на дымный сумрак которого наброшена сетка солнечных стрел, сияет над раскинутыми руками светловолосая мальчишечья голова, и пани Катержина стремительно бежит к этому мальчику в объятья.

— Рудо,— шепчет она едва слышно, и когда бургомистр, погруженный в свои безутешные думы, поднимает глаза, он видит, что жена его лежит без сознания. Он испуган и охвачен ужасом, но действует быстро и решительно. Опрокинув содержимое графина на свой носовой платок, он смачивает побелевшее лицо жены. Он не помнит, чтобы в течение их совместной жизни пани Катержина когда-нибудь падала в обморок — лишь в самом начале их супружества, во время беременности, окончившейся теми роковыми родами. Обморок, к счастью, не глубок. Катержина делает вдох сразу же после того, как

муж дотрагивается платком до ее висков, щеки ее розовеют, и она открывает глаза. Она молча смотрит в склонившееся над ней лицо и спрашивает:

— Я потеряла сознание?

Бургомистр кивает:

— Это продолжалось недолго.

— Наверное, от духоты.

И вдруг, вспомнив все, что предшествовало ее обмороку, она уклоняется от глаз мужа и устремляет свой взгляд в окно.

В этот момент сад, пораженный первым порывом ветра, издает глубокий стон, деревья наклоняются к дому, жалюзи дребезжат и прогибаются, вихрь кружит над газоном и дорожкой пыль и опавшие листья. Весь сад словно мечется, прикованный невидимыми цепями к земле, силится оборвать их и подняться ввысь.

Эмануэль Квис на Костельной улице, в полуобморочном состоянии, слышит приближающиеся медленные, четкие шаги. Это декан Бружец возвращается домой из менинской школы, где обучает детей закону божьему. Он поднимается по знойной улице, лицо его багрово, но голова не покрыта. Он останавливается, увидев, что Нейтек сидит у дверей богадельни, словно распятый на раскаленной стене. На вокзале декану уже сообщили о беде, случившейся с Нейткой. Нейтек, неподвижный, с остановившимся взглядом и явно бесчувственный ко всему, что творится с ним или вокруг него, похож на человека, на которого обрушилась длань господня и он все не может прийти в себя после нанесенного ею удара.

Нутро Квиса сотрясает эхо злорадного хохота. «Видишь, Либуше, это тоже один из них. Смотри хорошенько, как все в нем переплелось, это бунт единоборствует с покорностью. Его единственный хозяин — господь, и все же иногда ему сдается, что хозяин действует слишком медленно или не имеет на все времени. И тогда святой отец готов действовать вместо него сам. Он уже раз пытался сделать это, будто явился свидетелем его замыслов, теперь же он боится самого себя. Может быть, ты, Либуше, знаешь об этом больше нас? Я ходил слушать его бога, но сдается мне, что вся его суть есть смятение, и это потому, что он неуловим и непостижим».

Отец Бружец спускается с тротуара и останавливается на истоптанном газоне перед Нейтеком. Он разглядывает

его лицо, налитое кровью, видную в разрезе распахнутой рубахи грудь, вздывающуюся и опадающую в сиплом дыхании. Наконец его присутствие проникает в сознание Нейтека, он начинает понимать, что здесь стоит кто-то чужой, не обитатель богадельни. Налитые кровью глаза Нейтека, полуослепшие от упорного поиска бесконечно удаленной точки действительности, вновь обретают зрение. Взгляд его встречается со спокойным взглядом священника, голова отделяется от стены, и все тело в бешенстве напрягается.

— Добрый день, Нейтек, благослови вас господь,— молвит священник и протягивает руку примирения и утешения.

Гнев Нейтека, вызванный самим присутствием отца Бружеека, взрывается яростью, помноженной на страх, ибо эта рука не только напоминает ему событие давно минувшее, но одновременно кажется ему когтями, протянувшимися к его правой руке, которую он снова и снова в бесконечных вариантах раскаленной солнцем страсти протягивал к видению, рожденному и поглощаемому багровым огнем горнила. Нейтек вскакивает и орет, голос его дрожит:

— Уберите прочь свою лапу. Кто вас звал сюда, проклятый попище! Уберите прочь свои когти или я их вам обломаю!

Продолжая орать, Нейтек отступает за угол богадельни и там вдруг пускается бежать по узкой дорожке между заборами. В окнах богадельни появляются перепуганные лица. Священник их не замечает. Он стоит, опустив голову, и рука, которую он предлагал Нейтеку, тяжело повисает вдоль тела. Эта рука вмешалась в решение божье, и теперь, когда он хотел протянуть ее страждущему, как человек человеку и как слуга божий, обязанный протягивать руку нуждающемуся в утешении, ее оттолкнули. Из темного коридора богадельни выкатился голопузый замарашка и стал дергать отца Бружеека за штаны.

— Дай картинку,— канючит он.

Священник, переложив шляпу в правую руку, ту самую, которую только что оттолкнули, гладит растрепанные вихры и роется в кармане, где у него лежит пачка открыток с изображением святых. Он раздает их в награду на уроках закона божьего. Вытащив одну из них, отец Бружеек дает ее ребенку. Это — олеография с изображением Иисуса в алом одеянии, с пастушьим посохом в руке

и агицем на коленях, с надписью: «Аз есмь пастырь добрый».

И тут происходят почти одновременно два события. Эмануэль Квис, который все это время сотрясался от сдерживающего смеха, взрывается вдруг громким хохотом.

— Вот это да, ты видела, Либуше? Он подал руку, а его отшвырнули, словно пса. — Квис хохочет, и кажется, что кто-то трясет связкой деревянных прищепок и одновременно воет в истерическом припадке. Отец Бружец, пораженный этим смехом, застывает в холодном оцепенении, а на бытеньские крыши и сады налетает новый шквал ветра. Завывающая стая врывается на улицы и гонит перед собой поднятую пыль, и кажется, будто от нее бегут невидимые стада, и далекий гул доносится топотом бесчисленных копыт, а зеленые и желтые листья, словно кузнечики, изгнанные этим губительным вихрем из своих подземных гнезд, высоко взлетают над домами.

— Моя картинка,— вскрикивает мокроносый карапуз и с плачем пускается вслед за своим сокровищем, вырванным ветром из слабеньких пальчиков. Но священник, для которого вой ветра и смеха слились воедино, потупив голову и машинально сложив руки на груди, двигается к дому, прокладывая себе путь сквозь этот дикий хаотический поток взбесившегося вдруг воздуха.

Армада облаков вывалилась на небесные поля битвы, брошены все полки осени, чтобы дать лету последний бой. В глубине черных туч мерцает черное сияние, словно где-то вспыхнули пожарами обширные пространства земли, все ближе сотрясающий грохот канонады, солнце скрылось за тучами, и сумрак, еще более страшный после недавнего сияния, нежели ночная тьма, то и дело четвертуют ослепительные вспышки небесных гаубиц. Словно пули переднего края, щелкают по бытеньским крышам крупные капли дождя и разбиваются о мостовую. Потом наступает минута затишья, и кажется, что ничего не происходит, а командующий армиями принимает рапорты своих авангардов и решает, что делать дальше. Минута удручающей тоскливой тишины, когда природа замирает в ожидании грядущего ужаса. Раскаленные крыши, камни и стены, листья, пожухлые от жары, возвращают иссушенной атмосфере первую влагу, воздух наполняется резким раздражающим запахом смоченной пыли и быстро испаряющейся воды. Атаку начинает ослепительная молния, и у лю-

дей замирает душа, от громового взрыва дребезжат оконные стекла, и небесные хляби, наконец, разверзаются лавинами дождя.

Водосточные трубы и канавки сразу переполняются, улицы во всю ширину затоплены водой, она мчится, словно реки в своих руслах. Рыночная площадь за десять минут превращается в озеро. Бытень уподобляется ковчегу, единоборствующему с расходившимися, заливающими палубу волнами.

Однако местный врач, невзирая ни на что, гонит свой драндулет обратно из Худейовиц в Бытень. Он отменно пообещал в отеле «Под короной», о чем еще и сейчас вспоминает с улыбкой, но не стал задерживаться там ни на минуту дольше, чем ему позволяло время. В приемной у него уже наверняка полно народу, а избавившись от последнего пациента, он еще вместо ужина долго будет бегать по вызовам. Кто знает, сколько их прибавилось в книге записей. И все же маленький доктор, улыбаясь, мчится вперед с семидесятикилометровой скоростью, потому что больше из своей консервной банки выжать не может. Такая езда ему по вкусу, дождь бьет в переднее стекло, старательные «дворники» задыхаются, выполняя свою бесполезную работу, шоссе превратилось в реку, а машина в моторную лодку, жаль — не видно, как в пучине бурят колеса.

— Ну что, Божка, правда, здорово? — кричит довольный доктор.

Божка улыбается, кивает головой и говорит «да», чтобы не показаться неблагодарной и невежливой, хотя ей абсолютно безразлично, что творится вокруг. У нее перед глазами взгляд матери, прощающейся с ней. Мать настолько слаба, что не может вымолвить ни слова. Божка хорошо знает, что хочет сказать она этим взглядом, о ком и о чем думает. Какие у нее будут страшные дни и еще более страшные ночи, пока мама не вернется из больницы, если, конечно, вообще вернется. Сегодня Божка как-нибудь проведет свою ночь, но завтра подыщет ночлег в другом месте.

Дождь шумит в кронах сосен. Сюда, на опушку леса в Лесочках, забрался Нейтек. Он промок до костей, и ему уже ни к чему укрываться от дождя, но все же он прижался к корявшему стволу дерева, худосочная крона которого, прореженная ветрами, не в состоянии спасти его от хлещущих потоков. Нейтек все еще не пришел в себя от безотчетного ужаса, охватившего его при виде священника,

протягивающего ему руку. Резкое охлаждение, которое приняла на себя его распаленная голова, заставляет его трястись в ознобе. Он стучит зубами и не может справиться с лихорадкой. В мозгу его, тяжелом, как глыба железа, нет ни единой мысли.

Все кругом тонет в ливне, подгоняемом вихрем; с каждым ударом грома в воздух выплескиваются новые потоки. Бытень скрылась за их свинцовой стеной. Нейтек один в целом мире, от которого остался лишь стонущий лес за спиной, перед глазами — поле, а под ногами — песчаная тропа, утоптанная немилосердным ливнем. И на самой границе видимого, на болотистой стене пустоты, словно намалеванный торопливой кистью маляра, намоченной в саже, чернеет ствол погибшей от мороза дикой груши с тремя голыми обрубками ветвей, расплывающихся на темном фоне. Этот дичок в конце распаханного поля мертв уже много лет, и никому до сих пор не пришло в голову срубить его.

Кривые ножи молний срывают шелуху дождя, обнажая исчезнувший было край. Он появляется на ослепительное мгновенье, чужой и незнакомый, словно никогда до этого не виденный, чтобы снова с сокрушительным громыханием провалиться в бездну темноты. Гремит гром. Каждый взлеск завершается детонирующим грохотом. И вдруг Нейтеку начинает казаться, будто бездна света разверзлась прямо под ним и он летит вниз вместе с рухнувшей частью мира, на которой стоял. Волосы у него встают дыбом, он захлебывается собственным дыханием и чувствует, как страшное напряжение в его теле силится разорвать его, словно сам он бомба с взрывчаткой.

Молния ударяет в мертвую грушу.

Трухлявое дерево, несмотря на потоки воды, вспыхивает и превращается в огненный столб. Раскинутые руки, голова, откинутая назад, и белое тело, прогнувшееся в страстном порыве, раскрывает Нейтеку объятья! Он никогда еще не видел свою страсть столь совершенной и прекрасной, как в этом пылающем воплощении. Его сведенное судорогой тело становится упругим, сердце бешено колотится. Он стремительно кидается навстречу своей огненной возлюбленной. Но успевает сделать один только шаг, как горящая груша с треском падает в трясину размокшей земли, издавая змеиное шипение в потоках дождя.

Нейтек спотыкается и валится ничком на мокрый

вереск. И никогда прежде не плакавший мужчина извивается, словно терзаемый на части диким зверем, кричит и сотрясается в страшных рыданьях.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЕЩЕ ОДНА ЛУННАЯ НОЧЬ

Вечер после бурного дня опустился незаметно. На улицах потянуло прохладой, разлив воды ушел в землю, только местами во впадинах мостовой еще поблескивают одинокие лужи. Все окна в Бытни открыты, чтобы выдать безжалостному врагу остатки духоты, попрятавшейся в домах. По городу бредет душистая прохлада, как поцелуй утратившей свой жар любви.

На горизонте, с востока, из черной пелены, поднимается огромная красная луна. Она поднимается быстрее, чем тьма успевает просочиться сквозь небесную твердь, и, подымаясь, становится все желтее и бледнее; луна неодолимо притягивает к себе гонимые по небу облака, напоминающие разрозненные группы войск, потерявшие своего военачальника. Они кидаются на эту сокровищницу, до краев наполненную сияющим металлом, но ветер гонит их дальше, и луна выплывает, не оскверненная их разбойниччьими набегами, чтобы продолжать свою обманную игру.

Через площадь ночным дозором проходит городской полицейский Тлахач впервые после недавнего ранения, рука его еще на черной перевязи. Когда он сегодня утром появился на улицах Бытни, люди бегали за ним, звали выпить стаканчик, сгорая от желания узнать обо всем из первоисточника и воздать хвалу его геройству. Но Тлахач избегал их, а если кому-то и удавалось ухватить его за пуговицу, то узнать от него можно было не больше, чем от рождественского карпа.

После того, что он сотворил с гаразимовскими замками, ему по-прежнему дозволено носить форму, разве этого недостаточно? Он убежден, что ему удалось заслужить это в большей мере чистосердечным признанием, нежели тем, что он поймал Карличка Никла. Только два человека в Бытни знают всю правду, и они унесут ее с собой в могилу так же, как и он. Когда они пришли его навестить, Тлахач выложил им все, как было. К его удивлению, ни бургомистр, ни отец Бружек не сочли его рассказ набором бессвязных оправданий.

Луна стоит прямо над площадью, потихоньку перебираясь за крыши на западной стороне. Еще нет десяти, но улицы как будто вымело. Полицейский остановился над лужей и наблюдает в ней, как облако-кит заглатывает круглый лик луны и мглистое тело кита светлеет, начиная золотиться по краям, но луна снова выплывает и кажется еще более ясной, светозарной и круглой, словно выкупалась в какой-то освежающей купели. Площадь, на миг погрузившаяся в полутьму, снова выступает в мягком свете. Эта игра в прятки вселяет в Тлахача беспокойство. Рана на плече почти зажила, хотя время от времени плечо пронизывает боль, словно нож снова врезается в тело, но дух Тлахача потрясен и не может обрести былого равновесия. Ему вспоминаются слова декана о том, что прячется в свете. Сегодня, приходит ему в голову, можно украсть что бы там ни было, потому что свет и темнота чередуются друг с другом.

Над крышами города проносится ветреная ночь, и луна пробивает дорогу против ее течения. Успокоительная песня фонтана звучит прерывисто, потому что ветер каждую минуту пресекает какую-то из его струек; невидимый хор деревьев в садах вздыхает и стонет; органы фронтонов то гудят, то умолкают; из концертного зала в ратуше доносятся рояль и женские голоса — там репетиция концерта в честь неизвестного, подарившего городу новую богадельню; псы сегодня беспокойны, то и дело заливаются лаем или вдруг какой-нибудь из них начинает протяжно выть. Ночи нет покоя, она куда-то спешит или убегает, страшась чего-то. Полицейский то и дело оглядывается, наверное, оттого, что на крышах постукивает расшатанная черепица. Спрятавшийся в часах на ратуше скунец превращается в азартного игрока, швыряющего широким взмахом на игорный стол ночи накопленные десять золотых, но ветер с презрительным смехом сгребает эту наперед проигранную ставку. Вскоре из дверей ратуши вываливается шумная группа мужчин и распадается с прощальными возгласами. Некоторые исчезают в освещенных дверях погребка «Под ратушей», других влечет трактир «У лошадки», а те, кто бережет денежки и боится женских упреков, расходятся по домам. Закончилось заседание муниципального совета. Один из вышедших направился через площадь — это бургомистр Нольч. Тлахач щелкает каблуками и приветствует его, приложив руку к козырьку.

— Вольно, приятель,— говорит бургомистр с улыбкой и подает руку, чем приводит Тлахача в полное смятение.—

Рад приветствовать вас при исполнении служебных обязанностей. Теперь Бытень снова стала Бытенью, граждане могут спать спокойно, раз вы охраняете их сон.

— Я не уберег их от самого себя,— отвечает Тлахач, еще не избавившийся от чувства вины.

— Тихо, Тлахач, тихо,— предостерегающе поднимает палец бургомистр.— Это похоронено, зачем воскрешать?

— Меня это будет точить до самой смерти,— возражает Тлахач упрямо.— Если уж я обманулся в себе, как мне верить другим? Это самое страшное. Хожу здесь сегодня, и все мне кажется, будто что-то должно опять случиться.

Минуту он колеблется, как бы ловя непослушную мысль и подбирая разбежавшиеся слова:

— Что-то, чего глазом не увидишь, как ни гляди.

Рудольф Нольч поднимает руку к бороде, и волосы потрескивают громче обычного.

— Это все нервы, приятель. Вы пережили большое потрясение и сегодня впервые на дежурстве.

— Нервы у меня в порядке, как всегда,— отвечает полицейский несколько оскорбленно, не уверенный в своем утверждении.— Не хотите ли вы сказать, пан бургомистр, что удар ножом сделал из меня труса?

— Боже сохрани! Вы ничуть не меньший храбрец, чем прежде. Но в ваших силах только то, что во власти человеческой.

— Если б во власти одного человека было,— отвечает полицейский взъяренно,— взять кое-кого за шиворот и выставить из города...

Мостовая, еще влажная после дневного ливня, блестит, посеребренная и отлакированная лунным светом. Бургомистр уставился на нее и медлит с ответом. Но когда поднимает глаза и видит полную луну, спешащую по небу, вдруг пробужденный страх и чувство полного бессилия подымается в нем таким бурным приливом, что ему кажется, будто в нем утонет и его разум.

— Наверно, вы правы,— говорит он наконец, и полицейский чувствует в его голосе согласие более глубокое, чем в самих словах,— но как раз этого мы и не можем.

— Скажите слово, пан бургомистр, и увидите,— восклицает Тлахач быстро.

— Мой герой,— отвечает тот с иронией, в которой уже долго не купал своих чувств и мыслей,— и мне хотелось бы сказать эти слова и хотелось бы видеть, как они претворятся в дело. Однако я все же не из сильных мира сего.

Этот порыв веселости быстро сменяется внезапным унынием, бургомистр поворачивается и без дальних слов, пожав на прощание руку полицейскому, направляется к дому. Тлахач отдает ему честь и смотрит вслед, наблюдая, как он исчезает в дверях. Что-то побуждает пойти за ним и сказать:

— Я с вами, пан бургомистр, что бы ни случилось.

Это, конечно, нелепость, так как что может грозить такому богачу в его прочном доме, однако же в конце концов и он человек, а люди должны поддерживать друг друга. И Тлахач, не понимая ясно почему, решает, что сегодня ночью он с этого тротуара перед домом бургомистра не сдвинется.

На маленьком столике у окна лежат два яблока: большое, золотисто-желтое с красными полосками яблоко пармена и сероватое, бугристое яблоко айвы. Да что говорить о красках в темноте комнаты, куда проникает только немного света, идущего от озаренной месяцем стены дома напротив! О плодах скорее рассказывает их запах. Чистый и свежий аромат бедняги пармена подавлен насыщенным, тяжелым запахом айвы, переполняющим комнату. К чему здесь эти два яблока? Кто знает. Может быть, они чем-то напоминают Квису два женских образа, два мира, между которыми он блуждает.

Это угасший, слабый человек, он сидит в кресле, обращенном к окну, и глаза его упорно смотрят на два плода. Во второй половине дня, незадолго до бури, как раз в то время, когда у пани Катержинь был обморок, с ним случился тяжелый припадок. Он задыхался, проваливаясь куда-то в глубины, где уже не различал ничего, кроме красного и желтого круженья, где слышал только темный гул потусторонних водопадов времени. Он хотел испытать это, но не хватило сил. Когда он пришел в себя, то увидел, что лежит на полу, рядом с упавшими стульями, с пеной на искусанных губах. Наверное, все произошло оттого, что весь душный день он ничего не ел, кроме нескольких яблок, это и навело его на мысль положить перед собой два плода — айву и пармен, один, пахнущий старостью прошедших времен, другой — полный свежести и жизненных соков. И вот — он ждет. Неизвестно, что принесет ему ночь, что-то в ней скрыто, но он ничего не может поделать, пока все не началось само собой. Он ослабел, кто знает, вынесет ли он то, что ему предстоит, но неугасимая жажда продолжает в нем гореть.

Он видел возвращающегося домой Нейтека, превращенного в груду промокшего тряпья. Незадолго до сумерек постучала в двери Божка, он встал и заковылял, чтобы отпереть ей. Она должна была принести ему ужин и приготовить постель на ночь. Но по дороге увидел в зеркале свое лицо, свинцово-серое, с запавшими щеками, иссеченное когтями припадка, с носом, торчащим, как на посмертной маске, с глазами, дымящимися бездонной тьмой. Испугался сам себя и решил сделать вид, что его нет дома. Дотащился до своего места у окна и стал слушать, как Божка все стучит и стучит, а потом зовет:

— Откройте, это я, Божка.

Он сидел неподвижно, обессиленный страшным открытием. Вот к нему рвется настоящая жизнь, чистая, молода, горячая, а он не может открыть ей дверь. Спрятанный сетчатой занавеской, он смотрел, как она уходит, все время оглядываясь на дом, на который в этот роковой день она возлагала робкие надежды и который на ее призыв ответил молчанием. Квису хотелось разбить запертое окно, высунуться и позвать. Иди сюда, девочка, верниесь, скользя над моей бедой, над моей пустотой и одиночеством. Не бойся, я — обломок человека, только скорлупка и никогда не был ничем больше. Я не жил, слышишь, а ведь это бесконечная мука. Я положу голову тебе на колени, усну, вдыхая твой аромат, аромат золотого пармена, румянец которого зажжен солнцем, усну, буду погружаться в сон все глубже и глубже, пока не уйду отсюда, вдохнув твой аромат, аромат молодости и жизни. Но тяжесть опустилась ему на плечи, словно кто-то оперся о них руками и прижал его к креслу. Запах айвы такой тяжелый, что просто нечем дышать.

Белая стена дома напротив то освещается, то гаснет; когда облака затягивают лик луны, ветер дует не переставая, и его гуденье напоминает шум плотины. Ты здесь, Либуше? Ах да, я знаю, что ты здесь. Пришла за своей долей добычи, но нести тяжесть ты мне не поможешь. Так это ты — моя суженая? Первая и последняя, единственный отзвук моей пустоты. Бери свою долю и уходи, откуда пришла. Наверное, уже сегодня я пойму, что такая жизнь, и научусь жить, как иные учатся игре на музыкальных инструментах, но тебе этого не дано и это нас окончательно разделит. Слышишь? Идут. Это не шум ветвей, качаемых ветром, это звучат шаги. Смотри хорошенъко, потому что ничего другого ты не можешь, а у меня еще есть надежда. Сегодня ты увидишь, на что я способен. Гово-

ришь, это чужие страсти? Я подчиню их и направлю к своей цели. Сегодня — эти. А завтра мне будут принадлежать все, слышишь, все!

Пани Катержину нет там, где она должна была бы быть, ее нет на широком ложе в спальне, затемненной тяжелыми шторами. Бургомистр находит ее гуляющей по коридору на третьем этаже. Светильники зажжены, и она, явно обрадованная его приходом, пошла ему навстречу, маленькая и хрупкая, в черном шерстяном платье. Ему показалось даже, что она совершенно пришла в себя после обморока, случившегося днем, и выглядит намного лучше, чем в последнее время. Прочитав в его взгляде упрек и опасенье, она мягко обняла его и прижалась, прежде, чем он успел их высказать. Потом подвела его к окну, и бургомистр почувствовал, что упивается ее запахом и любовью, словно впервые сжимает ее в объятиях. По пути пани Катержина потянулась к выключателю, и свет погас, не превратившись в темноту, словно от него остался бледный от света, становящийся все светлее по мере того, как привыкли глаза. Портреты Мохнов ожили в этом освещении, потому что оно тоже сродни воспоминанию, тоже заставляет время обернуться вспять и бежать против течения, и в этом потоке неразличимо смешиваются прошлое и настоящее. Бургомистр, который так и не привык к их взглядам, взвешивающим жизнь на весах последнего знания, идет, напряженный и прямой, словно ведет к алтарю невесту под сводом скрещенных мечей, каждый из которых может быть направлен в его сердце.

— Я не могла дождаться твоего возвращения, — говорит пани Катержина, когда они садятся у окна, рядом, рука об руку. — Посмотри, какая ночь. Жалко идти спать и хоть немного не порадоваться ее красе.

Луна плывет над садом, прокладывая себе путь среди бушующих волн разорванных, мчащихся туч, как сверкающий корабль. Но бургомистр ненавидит луну. Сорвал бы ее с неба, если бы мог, и запрятал в самой глубокой пропасти земли. Из головы у него не выходит прошедший день, ему хотелось бы застать жену в спальне, куда не проникает ни один из этих коварных лучей, чтобы она спала и он сторожил ее сон. Но он не решается об этом сказать, подымает ее руку и целует и тихо сидит возле, решив приспособиться к ее настроению и наслаждаться тем, что она опять ему близка, как прежде.

— Ты хороший, Рудо,— говорит пани Катержина.— Как я рада, что ты со мной в эту минуту. Все счастье, которое я знала в жизни, было потому, что ты был со мной.

И так как муж шевельнулся, обеспокоенный чем-то в ее тоне, она сжала ему руку и быстро добавила:

— Ах нет, не отвечай. Я тоже буду молчать. Будем сидеть тихо и смотреть.

Сад под окном вздыхает и кланяется, как коленопреклоненный хор кающихся грешников, бьющих земные поклоны. Орган ветра разыгрывает пронзительное «Мизерере...»¹, стекла дребезжат, как в окнах храма, о которые бьется прибой звуков, но над раскаивающейся толпой деревьев, охваченных отчаянием, на чистое, светлое небо выплыла луна и сияет победно и насмешливо. Глядя прямо в лицо этому холодному недругу, этому коварному мастеру белой магии, этой затмевающей остальных актеров ночи фальшивой и жестокой примадонне,— ревниво собирающей все восторги и бесстыдно пренебрегающей тем, что ее повадки известны всему свету,— глядя в лицо этому круглому надменному ничтожеству, бургомистр мечтает только об одном — демонстративно-пренебрежительно уйти с этого спектакля. Но он прекрасно знает, что не может встать со своего кресла, и чувствует, что его сердце наполнено больше, чем отвращением, оно сжимается в ужасе.

От скопища озаренных туч отрывается стройное облачко, напоминающее силуэт фигуры, наполовину темный, наполовину освещенный, возносящийся в свободном, безоблачном пространстве небес. Приближаясь к месяцу, он становится все светлее и светлее, начиная казаться одним из лучей белого, призрачного света. Бургомистр внимательно следит за этим очаровывающим явлением на небесной сцене и по справедливости не может не признать, что иной раз этому фокуснику действительно что-то удается. Он не решается беспокоить пани Катержину, которая кажется захваченной этим зрелищем не меньше, чем он сам. Какая-то малость пара и луч отраженного света, говорит себе бургомистр, и что могут сотворить... Тут не нужно фантазии, тут, наоборот, нужно, чтобы человек призвал все свое чувство реального, потому что иначе можно с легкостью поверить, что там какое-то живое существо. Подождем, чем все это кончится, что же будет?

¹ «Смилийся...» — начало покаянной молитвы (*лат.*).

Бургомистр следит за плывущим туманным и пронизанным светом явлением напряженно, как маленький мальчик, и почти забывает о своей жене.

Словно страж уснул в решающий момент и мимо него в городские ворота пробирается враг. С глазами, широко раскрытыми и впитавшими это половодье призрачного света, а затем и призрачное облачко-фигуру, пани Катержина переступила через порог бодрствования и вошла в сон.

Облачко плыло перед ней дальше, приобретая все более знакомые очертания. Она его узнала в первую же минуту. Волосы его светились ярче, чем бледный лунный свет, который окружал ее и его. Они шли сквозь свет, в котором не было ничего, кроме их двоих, никакого предмета, никакого существа, ничего, что делало бы эту странную местность без неба, без земли, без горизонта похожей на мир, который она знала. От сознания, что она уже давно не идет, потому что идти не по чему, ее охватило легкое, веселящее чувство опьянения. Несмотря ни на что, она все же движется. Думать об этом некогда, ее чувства и мысли поглощены сознанием, что сынок, тот, который рос и взрослев только в ее снах, теперь рядом, единственное существо в этом пустом мире света, льющегося из неведомого источника. Он идет тихо, молча, но все равно отзывается в ней всеми словами, которые она когда-либо хотела слышать из его уст. Он так близко, что она даже не уверена, не несет ли она его в себе. Она смотрит на него с жаждой матери, долго отлученной от своего дитяти, его облик, его черты — это песня, которой звучит весь этот исполненный света край. Как он похож на отца и одновременно подобен всем тем Мокнам, которых она оставила в галерее своего дома. Куда он ведет ее, куда вообще направляется в этом пространстве без дорог и сторон света? Пришел ли он за ней или она за ним, ведет ли этот путь в его небо, в его мир?

Но откуда взялась эта черная стена перед ними? Сынок прошел сквозь нее и оборачивается к ней с протянутыми руками. Что за ним — не видно. Пани Катержину охватывает безмерный ужас. Непреодолимая черта. Теперь все зависит от нее — решиться и перешагнуть. Чего, собственно, она боится, если об этом миге она мечтала столько долгих лет?

Чья-то теплая сильная ладонь сжимает ее левую руку, и тепло от нее проникает до самого ее сердца. Может быть, эта ладонь — только воспоминанье, но без нее никакая

жизнь не будет полной. Пани Катержина стоит, окаменев, словно должна оставаться навеки в этом пространстве, терзаемая страхом, разрываемая двумя страстями.

Как гул подземных вод, как разбушевавшийся орган ветра, подымаются вокруг нее голоса. Они приходят из глубин прошедших времен, карабкаются к ней по веревочной лестнице гибнущих мгновений, подымаются и сникают, передавая эстафету другим, подымаясь общей волной и кидаясь на нее. Твой час настал, Катержина. Ты — наша последняя надежда. Ты единственный мост, который соединяет нас в вечности. Мы хотим жить! Они зовут, как звала после полудня буря, завывавшая над Бытенью. Они объединились, но ей все же кажется, что она как будто знает каждого из них, хотя многие умолкли столетия назад. Видимо, она слышала их, видимо, они не умолкали в ней никогда. Давние голоса, а все не хотят смириться и замолчать. Течение жизни не желает прерваться. Этот мальчик перед тобой — последнее его звено. Подай ему руку, Катержина! Иди!

Бургомистр следит за полетом облака-херувима, словно маленький мальчик в кукольном театре. А ты все же меняешься, дружок, констатирует он иронически, скопление пара не много стоить. Дряхлеешь на глазах, видно, у тебя худо с позвоночником. Сгорбился, а это ведь изъян, которого ангелы не потерпят. Тучка, летящая перпендикулярно к земле, наплывает на луну, устроив маленькое затмение, но сама засветившись от ее сияния. Сдвигается вниз, словно отвергнутая луной и сплющенная ее светом, и когда, опустившись, оказывается под луной, ее превращение свершилось. Она расползлась, сгорбилась, напоминавшая теперь старца в широком черном плаще, а на макушке у нее белый клубок, наподобие светлой шляпы. Бургомистру вспоминается Эмануэль Квис, выходящий через калитку в воротах мохновского дома на сумеречную площадь. Мороз пробегает по коже, но бургомистр быстро приходит в себя и пытается посмеяться над этим, потому что, прошу прощения, это прекрасное доказательство того, на что способна фантазия, когда человек не держит ее в узде. Он хочет спросить пани Катержину, как ей понравилась небесная пантомима, и чувствует, что будто повеяло холодом, хотя за спиной включен электрический камин, и холод этот идет от жениной руки. Да, рука ее холодна и недвижима, и пани Катержина сидит в своем кресле неестественно прямо, с полуоткрытыми глазами, но остановившимся взглядом.

Не в первый раз в ночи полнолуния Рудольф Нольч видит жену впавшей в полуобморочный сон. На этот раз, однако, его сердце сжимает ужас более пронзительный, нежели когда-либо ранее. Прекрасный страж. Заглядевшись на игру облаков, а в это время небесная шарлатанка сыграла с ним одну из самых своих подлых шуток. Он протягивает руку и зажигает свет, чтобы хоть отчасти дать отпор проклятой силе. Веки Катержинны задрожали и закрылись совсем. Лицо белое, лунный свет подчинил его и угас на ее коже. Не побледнели и не изменили своего вида только губы — наследственная черта Мохнов. Они подобны обнаженному сердцу, лежащему на алебастровом блюде. Рудольф Нольч встает, становится между окном и женой и наклоняется над ней. Ему кажется, она не дышит: ее маленькие груди, торчащие под черной шерстяной тканью, недвижны. Он слегка сжимает ее плечи.

— Катя, слышишь? Проснись!

Он не видит ни малейшего признака того, что его зов достиг сознания пани Катержинны. Через материю, покрывающую тело жены, в его ладонь входит холод, и от этого ужас его растет. Он нежно трясет эти неподвижные мраморные плечи и, охваченный волнением и страхом, настойчиво повторяет свой призыв. Ответа нет. Ветер на минуту прекратил свою дикую прелюдию, и дом разом погрузился в глубины потусторонней тишины. Взывай о помощи — никто не ответит, подумалось бургомистру. Он оглядывается, но встречает безжалостные взгляды портретов представителей рода Мохнов, в которых появилось что-то вроде победоносной усмешки. Он просовывает свои сильные руки под легонькое тело жены и подымает ее, неподвижную, безвольную и невероятно тяжелую, и несет в спальню, чтобы спасти от этого враждебного окружения.

Пани Катержина неподвижно лежит на кровати, куда он положил ее, в черном платье и ореоле черных волос, белая, бледнее подушки, на которой поконится ее голова. Рудольф Нольч знает, что это не обморок, и не пытается испытать действие нюхательных солей и нашатыря, он только обтирает ей лоб носовым платком, смоченным в одеколоне, и не переставая зовет ее. В какое-то мгновение ее угасший лик передернулся в болезненном усилии, губы раскрылись и выпустили тихое слово, растянутое на слоги сопротивлением парализованных связок: не-мо-гу. Потом губы снова сомкнулись и лицо подернулось еще большей бледностью и стало еще неподвижней.

— Что не можешь? Катя, Катенька, слышишь меня? — зовет муж. Но его голос тонет в тяжких складках занавесок, и в тишине комнаты ему отвечает только ироническое потрескиванье дубовых панелей.

Кажется, на лице, лежащем в подушках, пропасти то последнее выражение, в котором жизнь уже никогда и ничего не изменит.

Белая башня собора то озаряется, то меркнет по мере того, как облака проносятся мимо луны. Отцу Бружееку башня видна из окна, возле которого у него скамеечка для коленопреклонений и крест. Сколько раз, глядя на эту башню из дальних деревень, раскиданных по равнине вокруг Бытни, он думал о ней, как о маяке, указывающем утлой лодочке его мыслей путь к единственной безопасной пристани. Разве она не была возведена для того, чтобы сторожить покой всего края и вносить мир и согласие во все сердца? Декан наблюдает, как ветер попеременно окружает ее то тьмой, то светом, и прислушивается к стечениям креста на ее шпиле. Он хотел бы стать таким же простым и крепким, как эта четырехгранная башня. Сомнений в нем не было никогда, но иной раз его охватывало нетерпенье оттого, что божьи предначертанья осуществляются слишком медленно, что зло слишком энергично, а добро беспомощно и нерешительно. Разве он не был за это достаточно наказан как раз сегодня после полудня? Теперь-то он знал, почему была отвергнута его рука. А ведь тому человеку так нужно было дружеское пожатие и доброе слово. Всю вторую половину дня в реве бури ему слышался смех, что раздался за его спиной; он и теперь слышится ему в вое ветра.

Отец Бружеек с головой погрузился в молитвы, но смех все время сотрясал крышу дома, и когда священник поднимал голову от сложенных молитвенно рук, он видел, как башню, светящуюся белым, словно свет этой ночи шел от нее, поглощает глухая тень, а на самом острие над крестом плывут похожие на хищников тучи.

Время от времени слышится тупой звук падения — это ударяются о землю зимние яблоки, сорванные ветром. В заботах обо всем, что доверено его попечению, он — священник и хозяин одновременно. Разве нельзя помочь? Он знает о том страже, без воли которого не упадет даже яблоко с яблони, хорошо знает и то, что не в его силах подставить грудь и задержать порывы ветра, прочесывающие его сад. Но почему завтра поутру он должен смотреть на то, что кто-то, пока он спокойно спал, прошел по горо-

ду, собирая плоды чужого труда! Тоска растет, память теряет слова молитв, отец Бружец не находит в них смысла и уверенности. Беспокойство гоняет его с молитвенной скамееки и заставляет ходить по комнате.

Он вспоминает минуту головокружительного прозрения, пережитую, когда он стоял в дверях ризницы и смотрел, как сторож доливает масло в негасимую лампаду. В воздух храма вливались запахи, тянувшиеся со склоненных лугов, и отец Бружец чувствовал, что хозяин и священник сливаются в нем в счастливом единении. Кто тогда пробудил его от мечтаний, в которых он склонялся перед стопами своего господа, кто повинен, что негасимая лампа угасла, задутая потоком воздуха? Декан, не переставая ходить, складывает ладони и начинает молиться горячо и страстно, чтобы в мыслях своих не вступить на ложную стезю. Но на зеркале воспоминаний появляется один образ за другим: вот помещик Дастьых на празднике в саду у бургомистра впервые в жизни решился играть в карты, вот собственная, так взволнованная его встреча с Квисом в костеле, вот исповедь Тлахача, признанье бургомистра и, наконец, голос народа, в котором звучит все более отчетливое подозрение. Зачем приходила пани Катержина к этому странному человеку, и отчего она с той поры занемогла и ничего определенного о ее болезни не известно? А сегодняшний день, этот смех, что еще звучит с фронтонов крыши при порывах ветра? Отцу Бружеку приходит в голову, что Божка ночует в конуре богадельни одна со своим отчимом, и тут уж он складывает ладони для новой молитвы.

И вот он даже не в состоянии хорошо объяснить, как это вышло, но он стоит перед домом, как всегда без шляпы, и ветер треплет его седые, непокорные волосы, и отец Бружец спрашивает сам себя, что он такое задумал. В руке у него зажата тяжелая палка, которую он берет с собой, отправляясь в пешие походы по деревням своего прихода, но в какой момент и почему он снял ее с крючка на стене в передней, декан припомнить не может.

Ветер дует резкими порывами, в углу между костелом и кладбищенской стеной кружится в безумной, безысходной карусели клубок опавших листьев, растрепанные тучи тянутся над крышами, и белая башня костела вздымается над ними, как неприступный сторожевой бастион божьего града. Залитая светом месяца, обшарпанная богадельня кажется почти приветливой, пока облака не бросят на нее

своих мутных теней. Передняя часть домика Йвиса прячется в полумраке.

Отец Бружеек стоит неподвижно и прислушивается. Эта ночь, наполненная гулом и завываньями, вздохами и шелестами, кажется ему единственным круговоротом, который вовлек мир в свою засасывающую воронку и тянет его на дно пропасти. И конечно, прежде всего он затянул его самого. Потому что он забыл о молитве и сжимает в руках палку. Его мысли, разгоряченные игрой воображенья, утратили деревенскую трезвость. Ему кажется, что со всех сторон он слышит крадущиеся шаги невидимого и безымянного зла. Часы на ратуше высидели три яичка, но неизвестно, какой кукушечий час их снес.

Едва вылетели звенящие птицы, как свора ветров бросилась на них и задушила с голодным завыванием. Декана охватила дрожь, проникшая до самого сердца, и он пустился в путь по склону.

Он идет в чужом мире, преображенном игрой света, тени и собственным ужасом. Останавливается у калитки домика Йвиса, над крышей которого плывет огромная белая луна, в этот момент свободная от облачных набегов. Ощущение нереальности от этого только усиливается, и одновременно у священника возникает сознание бесмысленности его предприятия, проникшее через какую-то щелочку в его мысли. Ведь не может же он войти в этот домик и замахнуться палкой на старика, который в нем живет и, наверное, сейчас спит спокойным сном. Но отец Бружеек не находит в себе решимости вернуться домой и молиться, предоставив богу то, что не во власти человеческой. Он опирается на палку, напряженно вглядываясь в окно, перед которым, он знает, часто сидит этот старик; декан все не может решить вопроса, что же все-таки явилось причиной возникшей в нем тревоги, что сыграло с ним шутку и он очутился здесь с палкой в руке почти против воли, или, во всяком случае, помимо нее. В том окне, закрытом отражением света от стены напротив, непроглядная темнота, и если священнику кажется, что она движется и клубится, то только оттого, что облака опять тянутся через лунный лик и стена за его спиной то темнеет, то снова озаряется светом. Отец Бружеек ищет свою надежную веру, которая всегда противостояла всем ударам, ищет свой деревенский здравый смысл, который никогда не поддавался обманам и галлюцинациям, но

и вера, и здравый смысл его предали. Вместо их голосов он, мнится, слышит голос, идущий из домика. Дребезжащий, старческий, повышенный голос, который словно с кем-то спорит и кричит в гневе и ужасе. Священника охватило холодным порывом страха.

Нейтек спит. Его громкий храп наполняет всю горницу. Божка сидит у окна, заткнув руками уши, чтобы хоть немного заглушить этот звук, который ее и успокаивает, и нагоняет страх. Успокаивает, свидетельствуя, что отчим действительно спит крепким сном, пугает грубой мужской силой, которая не покидает его даже в минуты каменного сна. Он напугал ее, когда промокший до костей вернулся домой. На его изможденном лице горели измученные глаза. Он избегал смотреть на нее, не спрашивал, как чувствует себя мать, попросил только, чтобы она сварила ему чай с ромом, разделся и забрался в постель.

Он налил себе большую жестянную кружку и выпил ее почти кипящее содержимое — и тут же уснул.

Божка наблюдает игру облаков с луной, и тоска забирает ее сердце, стискивая все сильнее. Она думает о матери, о ее участии, которую уготовили ей жестокие руки Нейтека. Если мать не вернется из больницы, Божка останется совсем одна на белом свете, а если вернется, будет дальше тянуться жизнь, полная вечного страха.

Она смотрит вниз на домик, что стоит напротив багадельни, и думает о его обитателе, который так же одинок и не нужен людям, как и сна. Минуту она мечтает о том, как было бы, если бы она стала хозяйкой этого домика, потом ужасается дерзости своей мечты. Наверное, он слишком привык жить один и ее присутствие было бы ему в тягость. Он ласков с ней оттого, что, наверное, другим и не может быть, а одарил ее, решив, что ей никто никогда ничего не дарил. Однажды, когда она осталась дома одна, она попробовала надеть на шею этот коралл. Он так ей был к лицу, что она вся разрумянилась, но вряд ли этот подарок принесет счастье, слишком он напоминает каплю крови, что капает из сердца девы Марии на иконке над ее постелью. Она прятала его в кармане юбки, а на ночь совала под подушку. И теперь, подумав о маленькой драгоценности, первой и единственной, которую она имела в жизни, Божка вспомнила ее подлинную владелицу, которой всегда немного побаивалась, и того, кто подарил, вспомнила также, что почему-то сегодня он не открыл

дверь на ее стук. Божка начала шарить в кармане, чтобы взглянуть, как будет выглядеть коралл в лунном свете, и полюбоваться на него. Но пальцы шарят напрасно, и когда в отчаянии она начинает ощупывать карман, то обнаруживает в нем небольшую дырку. Потеряла. Божка смотрит на месяц, глотая слезы,—жизнь не хочет дать ей никакой радости.

Нейтек тяжко повернулся в постели, перевел дух, отчего в груди у него заклокотало. Девушка окаменела от страха, но отчим снова захрапел равномерно, как и до этого. Божка говорит себе, что лучше ей пойти спать сейчас, чтобы потом не разбудить его. Она тихонько пробирается к своей постели и начинает раздеваться. Луна стоит в пустоте чистого неба прямо против окна, и половодье света заливает Божку. Девушка раздевается торопливо, стыдясь своей наготы. Ей так хочется, чтобы эта минута была позади, она так поглощена спешкой, что не заметила, как Нейтек перестал храпеть... Словно какое-то тяжкое лезвие перерезало нить сна, и его глаза зорко открылись как раз в тот момент, когда девушка в рубашке, закрывающей малую часть ее вытянутого тела, с поднятыми руками, быстро заплетающими волосы для сна, стояла, озаренная луной и видная до последней подробности, как возникшая из пылающего дерева груши фигура, что раскрыла ему свои объятья. Нейтек быстро садится, и его вздох похож на рыданье, а Божка пытается прикрыть себя руками. Так они смотрят друг на друга в безгласной тишине, и он опять читает в глазах падчерицы ужас, возбуждающий в нем ярость. На улице завывает ветреная ночь и три ветряные птицы взлетают в ней, чтобы быть сбитыми и поглощенными. Тут что-то в Нейтеке высвобождается, и он еще раз понимает, что если сейчас встанет и попытается добиться того, о чем так долго мечтал, он схватит только тень, красота погаснет в его грубых руках, как погас в болоте горящий ствол груши. Горечь неизменной судьбы наполнила его сердце знанием и отречением.

— Уходи отсюда,— говорит он хрипло.— Ты не можешь оставаться со мной. Иди сейчас же, пока тебя еще кто-нибудь пустит переночевать.

Божка сгребает в охапку свое платье и исчезает быстро, как ласка. Нейтек смотрит на двери, которые закрылись за ней, потом встает, достает с полки бутылку с остатками рома. Сует в рот горлышко, откидывает голову назад и пьет булькающими глотками. Допив, поднимает пустую

бутылку против света. Держит ее так минуту, а потом швыряет в угол над печкой. Звон разбитого стекла смешивается с хохотом ветра. Нейтек валится навзничь и лежа смотрит в потолок и чувствует, как отупение охватывает его мозг великим облегчением.

Звук разбитого стекла проникает через одинарное окно горницы и достигает слабым отзвуком слуха отца Бруже-ка. Это звучит, как одна из диких шуток ветреной ночи, как дополненье к тому, что он предполагает услышать из дома Квиса. Но священник все-таки обернулся и увидел Божку, стоящую на пороге богадельни. Она натянула на себя в сенях юбку и блузку и сейчас повязывает платок на голову и смотрит изумленно, обнаружив декана в этот час на улице и как раз перед домом, к которому простирались ее неясные надежды. Она испуганно вздрогнула, словно отец Бружец и на этом расстоянии мог прочитать на ее лице, что с ней только что случилось, и хотела лучше возвратиться или куда-нибудь убежать, где бы ее не достигли его зоркие глаза и пытливые вопросы.

— Поди сюда, девочка,— сказал священник мягко.— Куда это ты собралась так поздно?

Опустив голову, как школьница, Божка нерешительно приблизилась к нему. Священник вспомнил свои опасения относительно нее и с тоской обдумывает вопрос, который собирается задать.

— С тобой что-нибудь случилось? — спрашивает тихо.— Он тебя обидел?

Кровь бросается в лицо Божке, она поднимает голову, встречается с глазами священника решительным взглядом и почти выкрикивает:

— Нет! Прогнал меня прочь,— добавляет шепотом, опять повесив голову.

У священника такое чувство, будто он видел все, что разыгралось в тесной горнице богадельни. Подавляя желание осенить себя крестом, он говорит:

— Слава богу! Останешься пока у нас, а там будет видно.

Божка хочет поблагодарить, но тут из домика Квиса проникает звук, от которого сердце у нее забилось в самом горле, и оба они посмотрели друг на друга с немым ужасом. Это было как стон и крик одновременно, но могло быть и просто пустое завыванье ветра, который мчится над крышами.

— С ним что-то случилось,— говорит Божка, вся дрожа.— Он не открыл мне дверей, когда я принесла ему

ужин, он даже не ответил мне. Наверное, он болен. Он там совсем один. Подите помогите ему.

Она просительно складывает руки, но декан уже сам направился к калитке. Она открыта, и Божка его опережает на коротенькой дорожке к дому, повисает на ручке и колотит в дверь.

— Слышите?

Ее лицо белое, как луна, которая перевалилась через Костельную улицу и падает потихоньку за башню костела. Священник прижимает ухо к дверям и улавливает скрипучий голос Квиса, словно выходящий из горла, сжимаемого чьей-то рукой.

— Уходи отсюда, Либуше, убирайся! Все обман. Жизни не будет, только пустота. Вечная пустота.

Слова переходят в протяжный тоненький стон, потом слышится неестественный смех, потом снова скрипучий, испуганный крик:

— Уходи, Либуше, я не хочу идти с тобой!

— Кто это там с ним? — шепчет Божка. — Мне страшно.

— Нечего бояться, — отвечает священник внушительно. — Просто человек в тоске. Надо было бы побывать с ним. Но не можем же мы вышибить дверь.

Размыщение о том, как бы проникнуть в дом, успокаивает Божку.

— Может, он забыл запереть кухонную дверь? — с надеждой говорит она и тут же кидается, полная надежды, к дому. Декан за ней.

— Открыто, — объявляет Божка шепотом, исполненным воодушевления, и снова ее охватывает страх. Священник вдруг обращает внимание на то, что до сих пор сжимает палку, с которой вышел из дома. Смотрит на нее сконфуженно, втыкает ее в сырую землю грядки и входит впереди Божки в дом. Нажав ручку двери в конце прихожей, он останавливается. Тяжелый запах айвы бросается на него, словно хочет задушить. Секунду священник борется со стремлением повернуться и выйти на свежий воздух. Постепенно глаза его привыкают к темноте комнаты, слегка разреженной отражением лунного света. Голос, который только что испугал их, сейчас умолк, слышно только сиплое, неровное дыхание.

— Зажги свет, Божка, — шепчет декан. Девушка тянется и нащупывает выключатель. Едва свет от лампы под потолком залил комнату, Эмануэль Квис тяжело поднялся с кресла у окна и медленно обернулся. Одной рукой

он опирается о столик, а другой, сжатой точно в судороге, держит полураздавленное яблоко айвы.

Но лицо, которое они увидели, было смято иной, более страшной рукой — рукой, неизбежной для всех: оно было сморщено тысячью морщин, словно само время сдавило его в припадке яростного гнева за то, что оно пыталось избегнуть своей участи, или за то, что так долго склонялось над жатвой чужих судеб. Не изменились только глаза, в них тлела глубокая тьма пустоты и бездонного любопытства. Девушка прижалась к священнику и почувствовала, что и он дрожит в безотчетном страхе.

Губы на его лице шевельнулись, приоткрылись и выронили слова:

— Пришел меня бить.

Отец Бружеек густо покраснел.

— Вы сами в этом виноваты, — ответил он с трудом.

Квис тихо покачал головой, маска его лица сделала попытку хоть как-нибудь улыбнуться, и ответил:

— Теперь это не важно.

Отец Бружеек и Божка оставили за собой открытыми обе двери. Поток чистого воздуха проникает в комнату и изгоняет душный и приторный запах айвы. Прибой ветра гудит в кронах деревьев, ночь гукает, как сова. Старец глубоко вздыхает, и его взгляд останавливается где-то над головами пришедших.

— Слышиште? Уходит.

Он поднимает руку, в которой сжимал плод айвы, и медленно, с усилием раскрывает пальцы. Смятый плод со стуком падает на пол и закатывается за кушетку.

Квис закашлялся смехом.

— Ушла.

Поворачивается, словно хочет опять сесть в кресло, но тут колени у него подламываются. Он валится на пол и остается лежать, опираясь плечами и головой о кресло, движенье которого назад остановила стена. Божка вскрикнула, а отец Бружеек делает шаг вперед, но девушка опережает его, она уже опомнилась и подскочила к Квису, присела, всунула руку ему за шею и положила его голову себе на колени.

— Что с вами? Болит что-нибудь? — всхлипывая, спрашивает она.

Квис не отвечает; лицо его меняется, морщины исчезают, словно их кто-то смывает до уже знакомой гладкости, не появляются только красные пятна на щеках.

Священник приседает возле Божки и спрашивает:

— Не желаете ли вы чего-нибудь?

Квис отрицательно качает головой.

— Жизни,— выговаривает он с трудом и продолжает отрывисто: — Но это было бы для меня слишком много. Я хотел иметь жизни всех и не вынес этого.

— Человек может иметь только то, что несет в себе самом,— говорит декан сурово.

В тьме глаз у Квиса засветилась усмешка, он пытается взглянуть на Божку и выдыхает:

— Кое-что я все же уношу с собой.

Его щеки вваливаются и натягиваются так, что выступают кости лица. Губы остаются приоткрытыми, клубящаяся тьма в глазах гаснет. В комнате глубокая тишина. Ветер на улице улегся, и священнику кажется, что он слышит чьи-то удаляющиеся шаги. Где-то залаяла собака, ее лай подхватили другие. Двенадцать звенящих птиц взлетают одна за другой с башни ратуши, кружат над бытеньскими крышами и пропадают в вечности. Час двенадцатый и нулевой. Тишина, углубляясь, становится невыносимой. Потом из дальней дали отзывается свисток паровоза.

Словно только теперь поняв, что случилось, Божка разражается пронзительными причитаниями деревенской девушки.

Это та самая минута, когда в доме Мохнов открыла глаза пани Катержина и маленький районный врач, который, хлопочая над ней, уже выбился из сил и чувствовал себя беспомощным, начал радостно потирать руки.

— Наконец-то. Вот вы и здесь, с нами,— воскликнул он, словно приветствовал ее возвращение из далекого путешествия.— Ну, уж и задали вы нам жару, дорогая пани! Такой каталепсии я еще не видывал.

Пани Катержина долго, не шевелясь смотрит, будто не узнавая мира, в который вернулась. Но врач, не переставая говорить с ней, похлопывает и гладит ей руку. Бургомистр, который метался по галерее как проклятый, услышал его голос и открыл двери спальни. Пани Катержина перевела на него взгляд, сознательная улыбка осветила ее лицо, и она прошептала:

— Рудо.

Но маленький доктор бросился навстречу бургомистру с раскинутыми руками и прогнал его.

— Назад, дружище, назад,— закричал он.— Я еще не закончил осмотр вашей женушки. Ведь все это не так просто. Я позову вас, когда будет можно.

Бургомистр возвращается на галерею, но его сердце теперь поет иную песню. Он подходит к окну и думает о том, как еще минуту назад он хотел идти и убить одну личность, которую считал повинной в несчастье, случившемся с женой. Ведь с того момента, когда все это в нем поднялось, прошла какая-нибудь минута, а теперь это уже бесконечно далекое воспоминание, которому он может улыбнуться. Катя жива и будет жить. Он понял это по голосу и улыбке врача. Бургомистр смотрит на притихший сад, на листья, окропленные лунным серебром, и впервые после долгих лет это зрелице снова становится ему приятным. Часы на ратуше бьют двенадцать, и ему кажется, словно в этих звуках слышатся чьи-то удаляющиеся шаги. Луна спустилась вдали за башню храма и высветила крест на ее шпиле. Рудольфа Нольча охватил прилив благодарной набожности. Он слышит полunoчный свисток поезда, и ему кажется, что он слышит привет широкого мира, опять полного радости, веселья и жизни. Но кто-то звонит внизу у ворот, и приглушенные, взволнованные голоса разговаривают о чем-то. По лестнице бежит запыхавшаяся и озабоченная Марина Тлахачова, и бургомистр предостерегающе прижимает палец к губам, чтобы умерить ее усердие.

— Этот, из домика, ну, Квис этот, умер,— шепчет девушка прерывисто.— Дядя сказал. Доктор должен туда зайти, когда уйдет отсюда.

— Дождись его и скажи ему это сама.

Бургомистр продолжает ходить по галерее и думает о том человеке, о его смерти и о пробуждении жены. Ну, мои мысли не могли убить его, хотя, если бы это спасло Катю, я бы его не пожалел.

Двери спальни открываются, и доктор выходит важный, торжественный и веселый.

— Вот теперь все в порядке,— говорит он и берет бургомистра за оба локтя.— Вы будете папашей, дружище. Ваша жена на третьем месяце. Теперь можете ничего не бояться. Это изгонит из нее все загробные мысли.

Бургомистр входит в спальню в каком-то ослеплении.

— Катя,— говорит он, потому что в эту минуту ничего другого сказать не может. Садится возле нее на постель и берет ее за руки. Порозовевшая пани Катержина улыбается.

— Я привела его назад, Рудо, — говорит она, и муж ей кивает.

— Никогда бы не поверил, что это возможно.

— Помнишь рассказ о человеке, который солнечным днем на вырубке хотел убить? Теперь к нему никогда не вернется такая мысль.

Рудольф Нольч на минуту утрачивает дар речи. Значит, она знала об этом все время и молчала. Потом решительно вглядывается ей в глаза и говорит:

— Почему бы она вернулась? Не будет причины.

Пани Катержина садится, обнимает его и целует долгим поцелуем.

— А сейчас, Рудо, поди раздвинь эти страшные черные шторы и завтра вели их снять. Здесь теперь поселится жизнь, здесь должно быть светло.

Солнце поднялось до цифры десять, но у него не хватает тепла, чтобы прогреть холодный воздух, который струится по бытеньским улицам из полей и лесов. Солнце освещает Бытень, вымытую вчерашней бурей и выметенную ночным ветром. На лотках перед трактиром «У лошадки» спорят яркими чистыми красками овощи и фрукты. Женщины в жакетах и платочках, с руками, сложенными на животах, в большинстве вполне округлых, рассуждают о минувшей ночи. Квис возвращается в город, приобретая новую ипостась, становится его вечным гражданином. Никто из непосредственных участников ничего не рассказывал, но все в Бытни знают обо всем. Что бы стало с этим тихим городком, какой опасности он избег? Слышали, Лида Дастьхова убежала вчера ночью из города? Уехала с ночным поездом. Это рассказал Терщик, он сам подавал ей в вагон чемоданчик. Почему? Говорят, чтобы играть в театре.

Да, Лида единственная преступила запретную черту своей любви в погоне за жизнью, которая содержит больше, чем может пережить один человек. Будить дремлющие судьбы и давать их другим. Как это так? Ведь никто не может жить один, все тянутся друг к другу. А что будет с Еником Гаразимом? Подумайте, женщины, ведь он был с ней каши не сварил, коли дело такое, да и старики были против.

Полицейский Тлахач на краю тротуара раскачивается с носков на пятки, слушает эти разговоры и не говорит ни слова ни «за», ни «против». Он выглядит человеком,

который знает больше других, но утратил былую разговорчивость.

Чистая Бытень светится в осеннем солнце, как корабль, миновавший бурю. Спокойствие возвращается в ее стены.

Только жернова женских языков перемалывают зерна событий больших и малых, и мохновский фонтан посреди площади прядет свою трехструйную песню о времени, которое несет дальше и дальше, навстречу новым дням и новым событиям, даже самые тихие города на свете.

РУБЕЖ

РОМАН

ROZHRANÍ, PRAHA, 1957

Перевод Д. ГОРБОВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Впервые увидел я Вилема Габу, когда мои ученики — второклассники в Мазуром торговом училище — писали итальянское упражнение. Любопытно, что имя его возникло в уме моем даже чуть раньше, чем он сам. «Вилем Габа», — повторял я, напряженно наблюдая, как он приближается ко мне в полумраке под липами, чьи кроны, еще сохранившие листву, пропускали лишь слабый свет электрических фонарей, возносящихся на высоких мачтах.

Вилем Габа.

Это «Габа» говорило мне о сильной нижней челюсти и крепко, тяжело посаженной голове, а «Вилем» рисовало резко очерченный профиль с прямым носом, имеющий лишь одно углубление — в самом начале, у лба. Из соединения этих двух слов — имени и фамилии — получался человек, знающий, чего он хочет, и в то же время мятущийся. Я жадно ждал того момента, когда получу возможность взглянуть ему в лицо. Он выходил из двойного полумрака: полумрака моего подсознания и того, который под кронами лип, окаймляющих ночной набережную за театром, — и двойной свет должен был выдать мне его облик.

Действительность была такая: острие колокольни Святого Игнатия костела с любопытством вытянулось в синее небо, ленивое солнце наслаждалось в объятиях маленькой площади, я слышал воробышку свару на карнизе под окном и голоса мальчишек, гоняющих тряпичный мяч у глухой стены дома, залепленной афишами. Было около пяти часов дня, жизнь вокруг меня пульсировала отчетливо, сильно. Бумага шуршила под усердным бегом перьев тридцати семи учеников, скамьи скрипели, шепот блуждал по классу. Списыванье шло, как всегда на моих уроках.

Но если действительность и была такова, то она лежала за порогом моего сознания.

Что общего между ясным майским днем и ветреной октябрьской ночью? Такие удаленные друг от друга, они не могли быть друг другу помехой. В кронах деревьев на острове гудело, хрустящие диски наметаемых ветром листвьев обгоняли приближающегося Габу, фонари качались на своих высоких виселицах. Засунув руки в карманы широкого пальто, Габа остановился возле мостика, ведущего на остров, и прислонился спиной к ограде над рекой. Теперь я видел ясно лицо его, но к наружности, которую я предугадывал ранее, прибавились две резкие морщины, идущие от ноздрей к уголкам прямого рта, и глубокая ямка, делящая пополам круглый, выступающий вперед подбородок.

Я рассматривал его так внимательно, как будто он был моим собственным изображением, которое я первый раз вижу в зеркале. Мне даже стало жаль его, — что он стоит вот так, выданный мне с головой, беззащитный, в полной моей власти. По крайней мере в тот момент я был в этом уверен.

Мне казалось, что я знаю о нем решительно все. От его наружности, одежды, содержимого его карманов — до того, что совершается внутри него. Был убежден, что знаю даже и судьбу, которая движет им, готовясь выступить наружу. Но уверенности этой суждено было тут же рассыпаться в прах. Где-то в тени, отбрасываемой его высокой фигурой, скрывалось его прошлое, все, чем он когда-то был и жил. Я вздрогнул, словно мимо меня пролетел ночной ветер, шелестящий в кронах лип и раскаивающий фонари высоко над его головой. Было или не было? Вдруг он исчезнет, оставив по себе лишь смутное воспоминанье да неясное сожаление, какие оставляют в нас порой лица и предметы, увиденные мельком и снова утраченные в суете жизни.

Было или не было?

Если бы я обратил свой взгляд и внимание на класс, как это и следовало бы, световая бездна солнечного майского дня сразу проглотила бы ветреную октябрьскую ночь, а трезвые заботы учителя, попечению которого вверены основы будущих успехов тридцати семи учеников, прогнали бы призрак актера, обремененного проблематическим отчаяньем. Быть может, я на самом деле подумал тогда что-нибудь в этом роде и, кроме настойчивых укоров совести, почувствовал также полное тревоги страстное

желание отказаться от этого нового знакомства, пока не поздно. Но страх потерять его, так и не узнав, что оно мне сулит, оказался все же сильней. Вилем Габа держал меня крепче, чем я его.

Тихий смех доносился до меня из бездны, в которую провалился класс. Там что-то происходило; видимо, уже написавшие упражнение пересыпали свои тетради тем, у кого застопорилось. То есть совершили величайшее преступление, какое только можно совершить во время классной работы, ухарский поступок, о котором они будут рассказывать пожилыми бухгалтерами в потрепанных брюках, с лоснящимися локтями и лысеющим черепом, а я буду играть в этих рассказах роль дурака, которого нетрудно провести. Надо было принять меры, но я никак не мог раскачаться.

Я вынул из кармана записную книжку, на оборотных страницах которой записывал все, что казалось мне достойным внимания: обрывки мыслей, которые, когда я их потом перечитывал, заставляли меня краснеть, оказались вычурными, надуманными, как будто я сам перед собой разыгрывал мудреца, глядящего в корень вещей и человеческих поступков; эскизы сюжетов, из которых быстро улетучивалось то, что, собственно, меня в них привлекало, так что я напрасно спрашивал себя, с какой стати их записал; наблюдения над людьми и событиями, всегда неверные, ошибочные; а иной раз просто обломки фраз, которым я уже никогда не мог подобрать продолжения. Когда я теперь возвращаюсь к этой записной книжке и перелистываю ее с неослабевающим опущением стыда, мне кажется, я получаю верную картину того, что представлял собой в то время. Вечно одни замыслы и попытки, никогда не доводимые до конца. Мне уже было под сорок, а позади одни только быстро промелькнувшие станции, ни одна из которых не сохранила память обо мне хотя бы в виде разбитого окна. Впрочем, мысль о том, что я не достиг цели и прожил жизнь недотыкомкой, редко меня тревожила. Я все еще держал голову высоко, презирая окружающее и свои профессии, которых сменил порядочное количество, перед тем как стать преподавателем торгового училища. Все еще верил, что послан в мир для великих свершений.

Класс ответил на появление записной книжки испуганной тишиной. Они ужаснулись, решив, что недооценили меня, что переступили границу осторожности, что я все видел и теперь, не говоря ни слова, я возьму виновных на

заметку. До меня же перемена в их поведении почти не дошла. Я отыскал чистую страничку, но тут как раз залепетал маленький колокол на башне Войтехского костела, ссывая прихожан к поздней обедне. Его спокойное звяканье заглушило в моих ощущениях тревожные звонки трамваев, мчащихся со скоростью, придаваемой им поздним вечерним часом, по пустынной набережной, и вызвало во мне какой-то торжественный, трогательный и немного трепетный отзвук, отметивший первые шаги мои по следам Вилема Габы.

2

Я стал писать. Точнее, попробовал писать, но сейчас же бросил. В каждую фразу мою все время ломилась эта ветреная ночь и лезла на первый план, словно все дело было в ней. Верный признак того, что я не знал, в чем бывало дело. Она навязывалась, жужжала мне в уши, требовала ярких сравнений. Доказывала, что она может все — на суше, на воде и в ветвях деревьев. Это поразительное явление в ремесле писателя, что во всех затруднительных случаях, как только у тебя разваливается действие и ускользает точное выражение, так сейчас же целыми потоками хлынет лирика.

Черт бы ее побрал, эту ветреную ночь! Я ее не выдумал, она взялась неизвестно откуда, и цель ее, очевидно, состояла в том, чтобы пригнать ко мне Вилема Габу. Выполнив свою задачу, ей следовало бы отступить назад, оставшись самое большое в качестве кулисы, несколько романтической и довольно неприятной,— по крайней мере для Габы, для которого она была действительностью. Я зачеркнул все, что написал о ней,— на странице осталось незачеркнутым только имя Габы. Продолжать не имело смысла; я видел и знал слишком много сразу — время набросков еще не наступило. Не надо чересчур спешить, как это было со мной столько раз; имя Габы выступило среди забракованных строк, как подпись исключительной важности, скрепляющая нерушимый договор.

Теперь, когда я отказался от писания из-за минуты, мы могли оба друг с другом ближе познакомиться. Знакомство несколько однобокое,— не мог не заметить я,— поскольку Габа всегда будет проявлять полное безразличие к моей особе и всему, что с ней связано. И курьезней всего, что между нами — стена, отделяющая действитель-

ность от воображения. Я вспомнил физический опыт, когда игла бегает по бумаге, под которой водят магнитом. Трудно было сказать, кто из нас двоих магнит, кто — игла.

Нас опять со всех сторон обступила ночь, раззвучавшись плачущими волнами и кастаньетами увядшей листвы. Темная громада театра вздымалась над колеблющимся сиянием фонарей — к дрожащему свету звезд. Теперь я уже знал, что именно оттуда вышел Вилем Габа, одним из последних, долго спустя после того, как автомобили и трамваи развезли последних зрителей. Он разгримировывался дольше, чем другие актеры, но даже теперь не был уверен, что представляет собой его лицо: собственную его физиономию или маску, прочно к нему приставшую и слитую из всех масок, которые он когда-либо на него вызывал.

Между тем класс понял, что с моей стороны ему не грозит никакой опасности. Ученики решили, что, наоборот, я сегодня впал в одно из тех состояний, когда при мне делай хоть стойку на парте — все равно ничего не заметит. Справившись совокупными усилиями с классной работой, они занялись своими делами. Особенного шума не подымали, но смеялись и говорили вполголоса, и я твердо решил не обращать на них внимания, пока они будут держаться хоть сколько-нибудь в границах приличия. Мечта отделяла меня от них, и я замечал их проделки, слышал их голоса не больше, чем если бы лежал на просеке, а вокруг гудел бы лес и жужжали насекомые.

Сорок лет. Медленно, вдумчиво написал я имя: Вилем Габа, сорок лет. Да, он — в таком возрасте и познал все, что может человек такого рода ждать от жизни. Период борьбы — уже позади; теперь он творит свои образы с безошибочной точностью, всеми признанный, прославляемый, любимый. Что ни роль — то новый успех.

Чувствую, что такая безоблачность, ослепившая меня поначалу, не может быть одна, что где-то должны быть и тени,— а то получится слишком сусально. Но пока они не имеют еще значения. Это деталь, вопрос отделки, а я пока был бы счастлив, если б мне удалось уловить хоть контуры. Я не имею права допускать, чтоб меня сбивали с толку сомнения; они могут прийти позже и придут еще, а сейчас нужно верить — просто и твердо, как верили наши предки, когда отдаленный луч света средь ночной тьмы превращался для них в огненного мужа. Именно такой огненный муж для меня — Вилем Габа; только я не

стану от него убегать, а пойду за ним, куда бы он ни направился.

У него только что кончилась премьера «Строителя Сольнеса», и в ушах его еще шумят потоки рукоплесканий, под которые двадцать раз подымался занавес и люди неистовствовали, словно даже не собираясь уходить домой. После такого триумфа я ждал бы его где угодно, только не на пустой набережной. Безусловно, где-нибудь в этом большом городе какой-то фабрикант либо адвокат, гордый тем, что с ним на «ты» и может называть его просто по имени, созвал компанию друзей — отпраздновать новый успех Габы, и в эту минуту с возрастающим нетерпением смотрит на часы, напрягая слух, не звонит ли звонок у входной двери.

Я не люблю молодчиков, покупающих за деньги дружбу с людьми искусства; может быть, и Габа не любит их; хотя актерам нужно, чтоб их окружали, чтоб перед ними преклонялись, даже когда они не на сцене. И потом, они привыкают пить на чужие деньги за то время, когда видят око, да зуб неймет, — и эта привычка так и остается у большинства. Но предположим, что Габа заранее отказался от участия в этом чествовании. То, что в нем теперь произошло, конечно, уже некоторое время назревало и сегодня только вылилось наружу. Такая штука не может ведь свалиться на человека просто так, ни с того ни с сего; она должна в нем вырасти из разных мелких царапин, из незаметных колебаний, из минутных потерь уверенности, на которые в следующую минуту презрительно махнешь рукой, засмеешься, да еще немножко сильней прежнего выпятишь грудь. Но она все накапливается и только ждет своего мгновения, подобно тому как прибывает капля по капле судьба, как развивается болезнь, прежде чем прорваться и разметать все, чем ты до сих пор был.

Я пока не знал, как поступить. Писать или не писать об этом? О том, как все это в нем готовилось, как на него надвигалось... Или лучше начать прямо с того, как он стоит там, опершись на ограду над рекой, зная уже о размере катастрофы, и, пока в уши ему ухают сычи ветреной ночи, в сотый раз задается вопросом: «Как же теперь быть? Господи, как же быть?» И в сотый раз не находит ответа. Но это уже человек, опрокинутый взрывом, а лучше бы захватить его в самый момент взрыва. Я представляю себе, что это произошло на сегодняшней премьере, в тот самый момент, когда он говорит торжественно: «Вы — юность, Хильда!» Что-то вкрадось в эти слова, в тот способ, кото-

рым он их произнес, в звук голоса. Что-то непроизвольное, какой-то новый тон, который не проходил проверки, хоть я еще не знаю, какую роль тут сыграло его чувство профессиональной ответственности. И не то что он сделал это под влиянием какого-то внезапного неодолимого внушения свыше,— просто он был захвачен врасплох, кто-то или, вернее, что-то невзначай воспользовалось его голосом, придало этому голосу звук и окраску, от которых у всех зрителей в зале мороз пробежал по коже — что несущественно,— но которые на него самого подействовали так, словно в нем заговорил новый, незнакомый человек...

Кажется, именно тут я заметил, что в классе творится что-то необычайное. Шум усилился, как будто одни переселялись со своих парт к другим. Но я остерегся смотреть туда, а уставился на острие Святовойтехской колокольни. Мне показалось также, что я слышу какую-то возню у самой кафедры. Но я не хотел ничего знать...

Этот спектакль Габа доиграл до конца, весь во власти завладевшей им коварной силы. Успех был налицо, публика неистовствовала. Но Габа принимал эту бурю восторгов, словно заменил кого-то другого; ему все время казалось, что он должен вывести к рампе подлинного автора, но не пьесы, а своей игры. Он долго стоял потом в артистической и старался снова найти этот тон. Но ему удалось пробудить только интонации, тщательно разработанные им для этого места и для всей связки сольнесовской трагедии.

Он стал быстро, яростно разгримировываться, словно желая стереть нечто большее, чем слой румян; потом, окончив намазыванье вазелином и умывшись, принялся рассматривать свое лицо в зеркало, охваченный внезапным желанием угадать, как бы это лицо выглядело, если б не было отмечено двадцатилетием гримасничанья, избрано и видоизменено всеми личинами, которые пришлось на нем оттиснуть, если б было лицом человека, которое обработано одним только долотом его собственной жизни. До тех пор он был убежден, что нет большего богатства, как находить себя в новых и новых воплощениях, приносимых сюжетами драм, докапываться и углубляться до самого dna чувств, страстей и судеб, которые еще вчера были тебе чужды, продвигаться медленно, в течение долгих недель, изо дня в день, слово за словом, вновь и вновь переоцениваемым, жест за жестом, вновь

и вновь отвергаемым, гримаса за гримасой, вновь и вновь переделываемой и навязываемой мускулам лица с помощью усилия, более сложного, чем при работе резцом, шаг за шагом, вновь и вновь отмериваемым и взвешивающим, обдумывая даже немую позу, ритмизируя даже дыхание — так, чтобы всему насквозь пропитаться тем новым существом, чтобы стать способным пробуждать его в себе, позволяя ему ожить на те два или три часа, когда ты — только оно, даже если ты в это время зубоскалишь за кулисами в ожиданье своего выхода, а в антракте у себя в артистической наспех глотаешь сморщенную сосиску.

Этих существ в тебе всегда несколько одновременно рядом: приходят новые, оттирают их назад, но ни одно из них не исчезает, они всегда все здесь, число их растет, за эти годы образовалась целая небольшая толпа. Откуда они взялись? Вышли ли они из тебя или пришли к тебе? Захватил ты их или сам стал их добычей? Были ли они частью тебя, прежде чем ты придал им их окончательный вид, или вошли в тебя, как в пустой дом? Отчего столько раз в своей собственной жизни, стремясь выразить любовь, нежность, гнев, презрение, чувство дружбы, насмешку, ревность — вообще все, что движет каждым из нас, — ты без ошибки и промедления находил голос кого-нибудь из них, так что и свои личные чувства постоянно играл, будто находясь на сцене? Тобой ли были все эти фигуры или же ты исчез бесследно между ними? Кто нынче промолвил твоими устами, произнеся способом, в котором ты не узнал ничего из своей работы — ни тона, ни окраски, ни дрожи, — вот эту фразу: «Вы — юность, Хильда!»?

Беспорядок в классе усилился. Я несколько раз постучал обратной стороной карандаша о доску кафедры, не столько намеренно, сколько по привычке, но так как я при этом не оторвал взгляда от окна, мое предупреждение не было принято во внимание. Мне это было безразлично, потому что как раз в этот момент меня начали мучить сомнения, правильно ли ведет меня мое неопытное чувство сюжета.

Как-то так должно быть, — но что знал я об актерах, кроме того, что раз в жизни сам попробовал быть одним из них? И почему вообще я остановил свое внимание на актере? Ответа не было. Просто он был тут, и надо было так или иначе решить, что с ним делать: либо повернуться к нему спиной, либо упорно идти за ним до конца, которого пока не видно.

Обычная моя робость опять пустила в ход свои скрипучие обороты, так как я слишком хорошо знал собственную беспомощность. За что бы я ни взялся, мне никогда ничего не удавалось закончить. В комнате, где я жил у своей замужней сестры, под окном стоял старый черный дорожный сундук, с которым ездил еще покойный отец; этот сундук был битком набит сплошь одними пробами пера, рассказами, утонувшими в пространных поисках сжатости, рассуждениями, шатающимися наподобие ночного бражника, набросками и главами романов, от которых я всегда бежал, испуганный их растянутостью или вдруг убедившись в их ненужности и занятый уже чем-нибудь новым. Вспоминая этот сундук, я всякий раз видел его перед собой со страшной, осязаемой отчетливостью. Он часто снился мне по ночам. Я рылся в нем, не находя в его хаотическом содержимом одной повести, которую закончил — но, разумеется, только во сне. Или же он взлетал надо мной, падал мне на грудь и давил меня своей стокилограммовой тяжестью. Я называл его гробом, но лишь в самые светлые свои мгновения, когда ничего из себя не корчил и отваживался называть все, что до сих пор делал и чем был, настоящим именем.

В такие минуты я говорил, что ржавые зубчатые колеса робости и сомнения опять завели свою скрипучую песню, но голос вдохновения звучал сильней и заглушал ее. Откуда приходит этот голос? Я слишком хорошо знал, с каким напряжением до сих пор я додумывал, что собираюсь написать, как рылся у себя в памяти, как кропотливо старался дорисовать людей и вдуматься в случаи, которые действительно знал, как редко освобождалась моя фантазия и брала разбег, независимый от моего опыта и моей воли. Но на этот раз все с самого начала было иначе. Вилем Габа отсутствовал в моих воспоминаниях и не был вызван к жизни моими усилиями, во всяком случае, мгновенными. Не могу утверждать, что он явился результатом всех моих прежних неудачных попыток, но он был действительно порожден фантазией, причем, казалось мне, так внезапно, что я даже не мог понять, что это во мне совершается. Отсюда, видимо, та уверенность, что в Вилеме Габе я наткнулся на тему, которая не оставит меня в покое, пока я целиком не овладею ею либо окончательно поверю в то, что двадцать лет плутал и без всякой пользы убил большую часть того периода жизни, который вообще чего-то стоит.

Очень скоро мне пришлось познать в самой суровой форме, какое значение имеет для меня и моего будущего встреча с Вилемом Габой.

Пока я боролся с приступом робости, свободный полет моего воображения остановился, и я старался подтолкнуть его, чтоб оно, забыв обо всем, продолжало свою работу дальше. Вдруг в дверь громко постучали, вслед за тем она открылась, и я так брякнулся с облаков на землю, что при одном воспоминании у меня до сих пор в глазах темнеет.

На пороге встал пан Мазура, директор и владелец торгового училища, тогда шестидесятипятилетний стариk, седой, но осанистый, огромного роста и такой подвижный, будто ему еще нет пятидесяти. Я заметил, что из-под его протянутой руки, съежившись, старается заглянуть в класс школьный сторож Паноха.

Мне сразу стало ясно, что визит директора, неожиданный, как вторжение, означает что-то важное, но не мог понять, чем он вызван, так как класс не особенно шумел. Правда, теперь послышался топот поспешно возвращающихся на свои места и пальба быстро закрываемыми крышками при вставании перед директором. Я понимал, что то состояние, в каком директор застал класс, было само по себе достаточно дурно, но повод, вызвавший его внезапный приход сюда, да еще в сопровождении школьного сторожа, был, наверно, гораздо хуже. Однако я, к несчастью, не имел ни малейшего представления об истинной причине этого набега и не мог приготовиться к обороне.

В классе воцарилась тишина, нарушенная лишь скрипом половиц под моими шагами, когда я пошел навстречу директору, — таким громким, что я остановился на полдороге. Впрочем, пан Мазура не обращал на меня никакого внимания. Он искал глазами виновника или виновников не знаю чего — в этом строптивом, глядящем исподлобья сообществе. И вдруг закрыл дверь — так же быстро, как только что открыл. Видимо, его молчанье и неожиданно стремительное движение, такие странно резкие при его высоком росте и пожилом возрасте, были рассчитаны на то, чтобы произвести на класс устрашающее впечатление.

Результат получился неожиданный. Прежде всего директор чуть не прищемил голову Панохе, который все старался заглянуть из-за его спины в класс и еле успел отскочить. Вслед за тем с задних парт, где застыло несколько

неподвижных физиономий, послышалось повизгивание, в точности похожее на то, какое издает собака, когда ей отдавишь лапу. По лицам учеников пробежала легкая судорога, и все эти неотесанные юные субъекты дрогнули, подавляя приступ смеха. Мне тоже захотелось смеяться, но я во время спохватился и впал в тем большее уныние. Обрамленное белой шевелюрой лицо директора вспыхнуло.

— Мерзавцы! Всех выгоню.

Я почувствовал, что бледнею: я плохо переношу крик. Но директор скоро успокоился. Взрывы негодования и раздражения не принадлежали к его приемам воздействия. Обычно он удовлетворялся впечатлением, которое производили его могучая фигура и острый взгляд нестариковских голубых глаз из-под нависших густых бровей. Теперь он обратил этот взгляд на меня, и я выдержал его только с большим усилием и напряжением.

— Я вижу, писали итальянское упражнение...

Это прозвучало скорей как простая констатация факта, чем как вопрос, и голос леденил своим следовательским бесстрастием и холодом. Я кивнул и выдавил из себя:

— Совершенно верно, господин директор.

Старик издал нечто вроде фырканья из-под щетинистой щетки своих усов.

— Славное упражнение. Надеюсь, у всех готово?

В этом я был уверен — до того уверен, что мне это показалось даже смешным. Хотя я был очень смущен, главным образом из-за того, что понятия не имел, что, собственно, происходит и какая туча нависла над моей головой, в глазах моих, очевидно, возник признак улыбки, и это не укрылось от директора.

Положение мое ухудшилось. Пан Мазура насупился и не без жесткости промолвил:

— Велите, пожалуйста, собрать тетради.

Я сделал знак одному из учеников. Пока тот ходил от парты к парте, где друзья его еще стояли в непринужденных и непокорных позах, пробили часы на башне св. Войтеха и одновременно завопил пронзительный звонок в коридоре. Ответом ему были дружный вздох и скрип парт, хотя с виду ни один из учеников не пошевелился. Директор простер к классу открытую ладонь:

— Оставайтесь на своих местах. Мы еще не кончили.

Мне становилось все тревожней и тягостней. Я один из всех присутствующих не знал, в чем, собственно, дело. Стопа собранных тетрадей с классной работой высилась на краю кафедры. Директор подошел и открыл первую из

этих тетрадей, словно для того, чтобы просмотреть, но только подержал довольно долго перед явно невидящим взором одну и ту же страницу, грызя свой коротко подстриженный седой ус. Видимо, решал вопрос, как действовать дальше, не уронив меня слишком сильно в глазах учеников. Вдруг он шумно захлопнул тетрадь и быстро подошел к партам. Взвихренный его резким движением воздух шевельнулся приколотую спереди к кафедре бумажку, которая без этого, конечно, осталась бы вовсе незамеченной. Пан Мазура метнулся к ней. Пробежал ее и, ни слова не говоря, подал мне.

Это был двойной листок в клетку, вырванный из середины тетради, неизвестно кому принадлежащей, поскольку такие тетради были у всех учеников. На нем печатными буквами было аккуратно выведено чернилами четверостишие:

Стихоплет стихи плетет,
да бедняга слеп, как крот.
«Больно рифма хороша!»
А сам не видит ни шиша.

Мне было страшно поднять глаза. Как встретить взгляд директора и всех этих мерзавцев? Мне ужасно хотелось смеяться. Их поэт, который никогда не признается перед нами в своем авторстве, правильно охарактеризовал наши взаимоотношения, за вычетом писания стихов, этого неощутимого для них различия между глубокомысленным эпиком и лириком. Хуже было то, что творец этого памфлета, подобно народному поэту, остался скрытым в толпе, тогда как мне этот в общем невинный образчик грубого осмения, которому он меня подверг, будет поставлен в минус при подведении итогов с директором. «Чем вы, коллега, были заняты, что при вас могли подобраться к самой кафедре и приколоть к ней эту пакость?..» Почему эту записку не сорвал хотя бы тот парнишка, что собирал тетради? Он не мог. Ни директор, ни я не спускали с него глаз, пока он не вернулся на свое место.

Наконец я отважился поднять голову. Пан Мазура, снова повернувшись к классу, произнес:

— Кто из вас написал это бесстыдство и приколол его к кафедре?

Тишина. В эту минуту все лица стали похожи друг на друга как вылитые, все глаза уставились в пространство перед собой одинаково тупо, без всякого выражения.

Директор не выдержал, принял насмешливый тон, пустил в ход назидательный сарказм. По-моему, это к нему не идет, но что делать: на каждом из нас оставляет свой след оседлавшая нас на всю жизнь профессия.

— Видимо, никто. Само написалось, прилетело неизвестно откуда и само прикололось к кафедре.

Любопытно, что такого рода остроумие, обычно презираемое и осмеиваемое, произвело на большинство учеников сильное действие. Иные из этих неподвижных телячьих морд скрчились, готовые прыснуть со смеху. Но директор продолжал:

— Значит, никто.

Пауза. Потом — голос громче, речь медленней, слова произносятся с особым значением:

— А кто высовывался из окон и гримасничал?

Наконец я узнал истинную причину директорского вторжения. Дело плохо, — хуже, чем я думал. На мгновенье у меня потемнело в глазах, но в этой тьме я опять увидел Вилема Габу, подлинного виновника сегодняшних моих неприятностей. Он как раз оторвался от ограды, поворачивает и уходит быстрыми шагами человека, который принял решение и боится, как бы его вдруг что не задержало. У меня было такое чувство, что надо крикнуть, остановить его, и я лишь огромным усилием воли заставил себя вернуться к действительности, которая в этот момент была для меня черней той ночи, куда уходил от меня Габа.

— Тоже никто, — опять произнес директор после новой драматической паузы.

Как мог я унастись настолько, что все происходившее в классе для меня попросту не существовало, было мне абсолютно безразлично, и я даже боялся, как бы оно не вырвало меня хоть на мгновение из мира грез. Младший учитель — служащий, которого можно в любую минуту уволить...

— Один за всех, все за одного, — промолвил пан Мазура насмешливо. — Такая солидарность мне нравится. Постараюсь ее наградить. Так вот: если виновные не явятся ко мне в директорскую до двенадцати завтрашнего дня, все получат за сегодняшнюю работу неудовлетворительную отметку и всем в классе будет снижен один балл по поведению.

Как только прозвучал приговор, мне стало ясно, что я всем сердцем на стороне этих бездельников, хоть и предчувствовал, что они сварили мне кашу похуже той, какую предстояло расхлебывать им самим. Я не сомневался, что

среди них не найдется ни одного негодяя, который предал бы остальных, чтобы облегчить свою участь.

Теперь пан Мазура повернулся ко мне:

— Будьте любезны, коллега, пройти со мной.

Видя, что я еще держу в руках развернутый лист с четверостишием, он взял его у меня, аккуратно сложил вдвое и сунул во внутренний карман пиджака. И, догадываясь,—признавшись, совершенно правильно,—что я совсем ошелел и не могу сам сообразить, прибавил вполголоса:

— Не забудьте тетради с работой.

Я пошел за ним, зажав под мышкой эти тридцать семь тетрадей в голубой обложке. И, глядя на его покрытую черным сукном сюртука могучую спину, испытывал такое ощущение, словно иду во тьму, где никого не дозволишься на помощь.

Пан Мазура характерным стремительным движением открыл дверь и уже хотел выйти из класса. Но в этот момент с задних парт донесся басовый трубный звук шопеновского траурного марша. Директор повернулся, красный от гнева, и трубач тотчас умолк. Старый педагог, опять успокоившись, только рукой махнул и вышел.

4

Я остановился на тротуаре перед тем домом, два этажа которого занимало торговое училище пана Мазуры, и стал кусать свой собственный кулак. Мне не следовало бы здесь оставаться, наоборот — надо было шагать дальше с той же решительностью, какую я проявил в кабинете директора... если б только она не покинула меня, не успел я закрыть за собой дверь.

Шестой час вечера подливал все больше золота к нежно-серебристым тонам небосклона над маленькой Свято-войтехской площадью. Ребятишки еще гоняли тряпичный мяч и оглушительно кричали, я слышал звонки и грохот трамваев, пробегавших примерно в конце квартала, служанки в белых передниках шли уже за пивом к ужину, позвякивая кружками в проволочных сетках и звонко смеясь. А мне казалось, будто я провалился в глубокую расщелину тишины, и все эти звуки порхают высоко надо мной, скользя по ее застекленной крыше.

Почему я стоял еще здесь? Чего ждал? Может быть, потому, что с этого момента мне было безразлично, куда

идти, и я не мог выбрать направления, либо потому, что питал еще бессознательную надежду, что вдруг из ворот выбежит сторож Паноха, зашаркает своими усердными подметками и, весь извиваясь от почтения — не ко мне, а к тому, кто его послал, — пробормочет: «Господин директор просит пожаловать еще на словечко».

Не зная, что предпринять, я взглянул на войтехские часы, но память моя не отметила положения стрелок на циферблате. Синева небесного свода над колокольней напомнила мне глаза пана Мазуры, устремленные на меня иронически, с выжидающей снисходительностью, словно подсказывая мне слово, которого я так и не произнес. Теперь, когда прошло время и я имею возможность спокойно взвесить и оценить все, что произошло, я вынужден признать, что директор действовал благородно, тактично, гуманно и во всем виноват один я.

Я втянул его как владельца училища в неприятную историю, которая грозила ему серьезными последствиями. А между тем пан Мазура сумел овладеть собой и говорил спокойно, словно речь шла о чем-то, непосредственно его не касающемся. Правда, он потребовал объяснений, но, вспоминая потом этот разговор, я понял, что он неоднократно протягивал мне руку помощи и давал возможность оправдаться. Я же читал в голубых глазах его лишь неумолимость встревоженного за свои выгоды работодателя и подозревал его в том, что он решил меня уволить, предварительно хорошенько помучив и унизиив. Гадкое подозрение, оправдываемое лишь тем, что так было бы со мной не впервые...

— Поймите, коллега, что у меня есть основание просить у вас объяснений. Добрая половина этих бездельников висела на окнах, высывалась, кривлялась. Школьный сторож, которого послала ко мне преподавательница из гимназии, говорит, что они устроили целый спектакль и что вы сами, находясь на кафедре, смотрели в окно и улыбались, словно любуясь на их безобразия.

Против училища Мазуры, на другом конце маленькой площади, находилась женская гимназия. Во времена перемены по тротуару перед домом ходил сторож и следил за тем, чтобы наши ученики не делали знаков гимназисткам. А теперь вот такая оказия во время занятий, — в классе, вверенном моему надзору. Выведенная из себя преподавательница пригрозила через школьного сторожа, что дирекция гимназии доведет до сведения окружного школьного совета о нравах, царящих в нашем училище. Моя провин-

ность была бесспорна и непростительна. Я был младший преподаватель. В подобных обстоятельствах чего же мог я ждать?

Я молчал, представив себе, как подействовало бы единственное объяснение, какое я мог дать, на меня самого, будь я на месте директора. Но был момент, когда я чуть не уступил безрассудному желанию сделать это: впустить в трезвый директорский кабинет, обставленный черной мореной канцелярской мебелью стандартного фасона, Виллема Габу, решающего проблемы, совершенно чуждые всему, с чем имел дело пан Мазура за всю свою долгую жизнь и преподавательскую деятельность. Может быть, этому желанию способствовал запах ландышей, стоявших в цветочном горшке на столе директора, потому что старик любил цветы и постоянно держал какие-нибудь у себя в комнате. Эти маленькие беленькие бубенчики своим ласковым дыханием пробудили отголосок озорства в моих мыслях, вознесли меня над действительностью, облегчили ее гнет и сделали меня независимым от нее. Они подавили мой страх и придали мне хвастливой отваги. Я был вынужден достать носовой платок и отереть с губ позыв к улыбке. К счастью, директор истолковал мое движение иначе. Говорю «к счастью», потому что я никогда не простил бы себе, если б обидел его тогда своим способом держаться. Он ухватил мочку своего правого уха большим и указательным пальцами и стал теребить и мять ее, что было у него признаком замешательства.

— Коллега, — заговорил он опять, не догадываясь о том, что это название, прежде мне льстившее, теперь сердит и оскорбляет меня. — Судите сами, насколько важен этот случай. О нем можно было бы забыть, если б он остался между нами. Но он вышел за стены училища, и мы должны подумать о борьбе с последствиями. Они могут оказаться хуже, чем вам это сейчас представляется. Скажите мне хоть, как могли вы допустить нечто подобное.

Ландыши благоухали все сильней, я уже почти не слышал тихонького повизгивания страха и не сопротивлялся быстро прибывающему непонятному веселью. Вдруг я понял, на что решился Габа, когда так неожиданно оторвался от ограды над рекой и так быстро зашагал, словно боясь, как бы кто не догнал его и не остановил. Повернулся ко всему спиной. Кто знает, может быть, я еще попробую запретить ему такие сумасбродные идеи, но пока он действовал по-своему, и может быть, единственным правильным способом.

Пан Мазура не имел ни малейшего представления о том, какое многочисленное общество собралось в его на коммерческий лад обставленном и ничем не замечательном рабочем кабинете. Никогда бы не пришло ему в голову считаться с горшком ландышей как с членом общества, а о существовании Вилема Габы он и вовсе ничего не знал. Тем не менее ответ, который я решил дать, понуждаемый этими двумя собеседниками, хоть и содержал в себе лишь часть правды, подействовал на директора почти так, как если бы я сказал ему все.

— Я не заметил, что в классе происходит что-либо заслуживающее внимания, господин директор. Я немного задумался.

Директор перестал теребить мочку уха и покраснел так, что седые усы его засверкали на фоне лица, словно оскаленные зубы. Я ждал взрыва, чувствуя, как нутро мое напрягается для нелепого ответного крика, хотя такие маневры вообще мне противны. Но кровь, кинувшаяся к лицу директора, отхлынула, и пан Мазура промолвил с горькой иронией:

— И, видимо, здорово задумались. Двадцать парней у вас под носом чуть не на голове ходят, а вы ничего не видите, погрузившись в свои размышления. Что ж, всяко бывает, — только трудно сочетать это с вашими педагогическими обязанностями. Но если вы не видели, что творится у вас под носом, то преподавательница гимназии, к сожалению, видела все за версту. И это надо как-то уладить.

Я был уверен, что правильно угадал, куда метит директор. Ощущение сосания под ложечкой опять усилилось. Наглядное доказательство, что тело и душа друг с другом связаны и друг от друга зависят, хотя чаще всего одно преуспевает за счет другого. Сознание мое утверждало, что не знает страха, а желудок доказывал, что страх — тут как тут. Я наклонился немного в сторону и незаметно нюхнул запах ландышей, как скандалист, опрокидывающий стопку водки для куража. Я знал, что стоит мне закрыть глаза, я увижу перед собой спину Вилема Габы, исчезающую во мраке пустынной набережной. Приподнятые угловатые плечи его скажут мне, что человек не должен бояться, а должен идти к своей цели, не думая о последствиях. Но я уже не нуждался ни в чьих подбадриваниях. Волна восторга, поднявшаяся вместе с запахом ландышей, все несла меня, еще не достигнув высшей точки.

— Можете вы предложить мне какой-нибудь выход, чтобы нам сохранить добрую славу учреждения? Оно было всегда на самом лучшем счету, и мне было бы очень обидно, если б положение изменилось из-за... какой-то... задумчивости...

Я встал, хотя легкое головокружение шатало меня, стараясь подкосить мне ноги. Вид у меня, кажется, был сильно взволнованный, так как пан Мазура тоже встал из-за стола одновременно со мной, и на лице его можно было прочесть испуг и удивление.

— Я очень хорошо понимаю, что от меня требуется,— произнес я срывающимся голосом, которому тщетно старался придать важность и торжественность, испытываемые мной в эту минуту.— Прошу вас освободить меня от обязанностей, господин директор. Полагаю, что и для меня и для учреждения будет лучше, если я больше не появлюсь в училище.

Мне показалось, что директор в самом деле изумлен, что он ничего подобного не ожидал. Он опустил голову и некоторое время смотрел на доску стола, водя концом пальца по краю. Когда он опять взглянул на меня, в глазах его было видно сострадание.

— Но, мой друг,— медленно промолвил он,— по правде говоря, я имел в виду не это. Я хотел только предложить вам, чтобы вы сходили к этой преподавательнице, объяснили ей как-нибудь эту историю и заодно извинились.

В голове у меня пошел такой звон, словно кто начал сыпать мелкие стекляшки. После того как я встал, запах ландышей отдалился, несшая меня до тех пор волна быстро пошла на убыль, Вилем Габа исчез в безысходной, непроглядной тьме. Я стоял всеми покинутый, один как перст. Может быть, для того чтоб уверить себя, что мною движет не какая-нибудь преходящая фантазия, я ответил директору с излишней резкостью:

— Все же я полагаю, что этот выход — для вас более приемлем.

Теперь мне ясно, каким глупым и бес tactным должно было казаться мое поведение человеку, который, несмотря на мою явную провинность — притом далеко не первую, хотя самую серьезную,— проявил столько человеческой чуткости и желания уладить инцидент мирным путем. Понятно, что пан Мазура в конце концов потерял терпение. Он насупился и пожал своими крепкими плечами.

— Как вам угодно. Может быть, в самом деле это лучший выход для нас обоих и для училища.

Он тряхнул головой и произнес то, что запирало для меня двери его заведения на два замка.

— У меня было всегда такое впечатление, что вы чувствуете себя здесь не в своей тарелке и находитесь не на своем месте. Вы, безусловно, сделали ошибку, избрав профессию учителя.

Обойдя вокруг стола, он подал мне руку, взирая на меня с высоты своих могучих плеч. Взгляд его был опять полон сердечности.

— Если вам что-нибудь понадобится,— сказал он,— совет, помошь, рекомендация, просьба, когда вы будете искать что-то новое,— приходите ко мне. Я охотно сделаю все, что могу.

Сознание собственной опрометчивости привело к тому, что после всего, что произошло, я нашел его предложение оскорбительным и лицемерным. Не ответив на его искреннее рукопожатие, я признался нечто такое, что, выйдя из моих уст, изумило меня самого:

— Благодарю вас, господин директор. Я постараюсь какое-то время обходиться без работодателей.

Я вспомнил о Вилеме Габе. Он тоже больше повиновался необходимости, чем своему желанию. Напрасно старался я представить себе его так же ясно, как видел до сих пор. Его поглощала прозрачная отчетливость дня. И я в конце концов стал подчиняться ей. Я устремил взгляд на Святовитскую колокольню. Она вздымалась надо мной, вышитая темным шелком теней по голубой и золотой канве небосклона. Но, оглянувшись вокруг, я увидел лица, выражавшие простые мысли и чувства. Нет, мне еще есть куда идти. Я вспомнил товарищей

Одиссея, которые сперва наелись и только потом стали оплакивать своих мертвцев. Поужинаю дома, а там будет время продумать еще раз и под другим углом, насколько низко я пал.

На ужин я покупал себе сам, чтобы не доставлять хлопот сестре, которая над этой последней вечерней трапезой, по обычаю всех хозяек, прямо ворожила. Я с детских лет был лакомка и всегда считал эту разборчивость вкусовых ощущений спутником или даже в известном смысле дополнением к духовному развитию. Разумеется, главное было в том, чтобы повысить себе цену в собственных глазах. Иногда чревоугодие доставляло мне настоящие мучения; дело в том, что я очень редко мог его удовлетворить. Если в детстве его обуздывала моя мать, то впоследствии ограничивал мой заработок, которого на этот расход никогда не хватало. И так, выдумывая из вечера в вечер сложнейшие меню, которыми я хотел бы себя попотчевать, я оставался со всеми своими аппетитами в заколдованном кругу дешевого сыра, студня или соленой рыбы и, прежде всего, копченой колбасы.

Я стоял в колбасной, прижатый другими покупателями к прилавку, за которым вертелись пять девушек в черных платьях и белых, но засаленных передниках и шапочках,—пять девушек, от усердия красных, как тот товар, что проходит через их проворные руки... Стоял и следил за тем, как одна из них режет и отвешивает мне сто граммов зельца; при этом я думал о неуступчивости жизни и простых, но верных средствах, при помощи которых она умеет погонять своих деток, не позволяя им сходить с предназначенного ею пути.

Только что под ногами у меня взорвался подкоп, и этот взрыв разметал установившуюся преемственность моих дней, но желудок привел меня в обычный час на обычное место, не позволив мне предаваться растерянным размышлениям. Именно он и в дальнейшем не позволит мне сложить руки на коленях, заставит меня, что бы ни случилось, хлопотать о нем. Поэтому я не испытывал к нему ненависти, а, наоборот, чувствовал глубокую благодарность, хотя и с оговорками, имеющими своим источником сознание, что с теми кусками пищи, которыми я его насыщаю, я проглатываю и свои собственные силы, подобно

змее, которая пожирает сама себя. Но одна только еда доставляла мне наслаждение, которым я был не в силах пренебречь, и, вдыхая жирный, сытный запах, стоявший в магазине, глядя на стену, где, на фоне запотевших белых изразцов, висели на черных металлических прутьях блестящие связки сарделек и гирлянды сосисок, я дрожал от опасения, что вдруг не буду в состоянии питаться хотя бы так, как питался до сих пор.

У меня не было особого повода ликовать, однако настроение было такое ликующее, что мне не хватало компании, в которой я мог бы поднять стакан и выпить за свое смелое решение. Но таких приятелей не было, а присоседясь я где-нибудь к чужим, меня, кажется, мало-помалу еще больше забрала бы за сердце тоска. И тут я вдруг действительно словно впервые понял, что живу в этом большом городе уже больше пятнадцати лет, а не имею ни одного друга. Правда, я жил у сестры и зятя, но это нельзя назвать дружбой... От этой мысли в уме моем закрутился вихрь сбивчивых и путанных ощущений. Сперва мне подумалось, что я, в сущности, могу гордиться таким долгим одиночеством среди людей, которые только и делают, что поминутно бегают друг к другу, все время чего-то собираются, сидят вместе и болтают, друг перед другом выхваляются, сплетничают, чувствуя свое значение хоть в том кружке, которым себя ограничили, и черпая в этом силы, и под влиянием этого пробуя иной раз вправду чем-нибудь заняться. Но гордость эта очень скоро уступила место горечи; я тяготился своим одиночеством, испытывая одну только обиду от сознания, что мне не удалось сблизиться с людьми, с которыми я был связан в силу своей профессии. Я презирал их увлечения, бесконечно далекие от того, что для меня составляло весь смысл жизни, а они относились с презрением ко мне, считая меня немного тронутым. Теперь это их отношение казалось мне справедливым. Я был плохой чиновник, потом плохой учитель, а с другой стороны — не сумел сделать ничего, кроме как исписать груды бумаги никому не нужными пробами пера, из которых ни одной не сумел довести до конца. Гордость служила мне защитой от сознания собственной никчёмности и ничтожества; я презирал других главным образом для того, чтоб не презирать себя.

«Довольно,— сказал я сам себе.— Теперь с этим покончено. Я останусь один до тех пор, пока потребуется. В конце концов они приползут ко мне, и у меня будет друзей больше, чем нужно. А нынешний вечер я отпразд-

ную один, потому что заслуживает быть отмеченным не то, что со мной произошло, а тот вывод, который я из этого сделал. Сколько уж раз прогоняли меня с места, а я еще ни разу не отваживался на такое решение — чтобы не быть больше служащим, который связан определенными часами работы и имеет твердую перспективу получки в первый день месяца». Что ж, человек, постановивший скинуть ярмо, которое он носил почти два десятилетия — с тем единственным результатом, что он под ним постарел и измучился, так и не совершив ничего путного,— имеет основание кутнуть. Я купил в ближайшем магазине литровку пива и понес ее домой в таком победоносно-воинственном настроении, какое испытывает юнец, дерзнувший впервые зайти в трактир.

Может быть, именно в таком настроении сидел теперь на смиховском вокзале Вилем Габа,— у открытого окна ресторана с видом на пути, по которым ворчливо ползает туда и сюда кудлатый пуделек-паровоз. Но если вокруг меня дышал чудный майский вечер, напоенный благовониями, плывущими с островов на реке, музыкой, изливаемой репродукторами в открытые окна, и золотым оттенком бледнеющего неба, то Габа в это время смотрел на звездный небесный купол над черным холмом за вокзалом и видел, как ветер, хватая горсти раскаленных зерен, вылетающих из паровозной трубы, разбрасывает их во тьму. Май и октябрь далеко друг от друга, но я почувствовал, что время творится внутри нас и что, когда мы оставляем пределы своего я, власть его прекращается.

Сестра моя жила на улице под названием «На канаве», которая выходит на площадь, образуемую расширяющейся здесь, за театром, набережной. Вид этой улицы был мне знаком с тех пор, как я приехал в Прагу. И несмотря на то, что я проходил по ней каждый день, она всегда удивляла меня так, будто всякий раз изменялась за то время, пока я был в училище. Когда-то ее углубили; тротуар ее по одну сторону оказался высоко, откос был замощен, и вдоль тротуара устроили перила. Может быть, она представляла собой русло одной из проток, на которые разделялась в районе Праги Влтава, пока ее не сковали стены набережных. Теперь от той протоки осталось одно название, отражающее былую действительность. На этой улице мне было удобно жить: в двух шагах от училища, а высунувшись из окна — видно деревья острова, откуда летом целыми вечерами звучала музыка, достаточно приглушенno, чтобы только побуждать к размышлению.

Я всегда немножко задерживаюсь перед тем как войти в какой-нибудь дом. Еще мгновение, говорю я себе, прежде чем эти стены вберут и поглотят тебя. Ведь в городе ты достаточно зажат между ними и на улице... И вот я стоял с бутылкой пива в объятьях и вдыхал полной грудью воздух с реки. На деревьях дрожали зябкие крыльшки листьев, что недавно выпали из гнезд — почек; в зелени пока не было гармонии, краски еще не были подобранны и не успели закрепиться; казалось, они составлены наспех, слишком крикливы либо робки; кое-где хлорофилл только проснулся в колыбели желтизны, а в других местах уже визжал прожорливо, алчно.

Мне взгрустнулось по всему, чего я был лишен все эти заблудшие и бьющие мимо цели годы. Солнце катилось по склону Петршина, небо сверкало медью ангельских труб, ожидающих знака от невидимого дирижера, барабаны уже били, по крайней мере у меня в крови, палочки мелькали с каждым вздохом все быстрее, я видел весну, колышущуюся в девичьих бедрах и на кончиках грудей, целуемых западным ветром. Если б я был женат, участь моя была бы решена: я судорожно держался бы за какую-нибудь службу, и призраки давно перестали бы виться вокруг меня. Самое большее, я вспоминал бы о них — иногда разочарованно, иногда с улыбкой,— потому что они стали бы для меня коньком, который жена моя терпела бы, успокоенная тем, что у меня есть пристрастия, заставляющие меня сидеть дома. К счастью, я холост и могу идти куда мне вздумается, не подвергая опасности никого, кроме себя.

6

Жажда приключений имеет власть над сорокалетним мужчиной не меньше, чем над шестнадцатилетним парнишкой. Она повлияла на мое решение прежде, нежели я успел осознать ее присутствие. Ее пробудила во мне весна, а к Габе она пришла от воя ветра и от морозных звезд. Но и в нем она ждала удобного случая. Хоть он и был в отчаянии, хоть ему и казалось, что он потерпел полное кораблекрушение, крепкие цепи не давали ему повернуться ко всему спиной и бесследно пропасть. Он знал свои обязанности и понимал, что актер с таким имением не может исчезнуть, как пятак, выпавший из рваного кармана. Но, несмотря на все превратности, связанные

с его профессией, жизнь казалась ему все более однообразной или даже совсем ускользающей из рук, и желание схватить ее, чтобы зажить снова, уже по-другому,— вместе с ощущением бессмыслицы его усердной работы,— перевешивало доводы рассудка.

Я думал, что зять и сестра еще не вернулись со своей обычной вечерней прогулки, и рассчитывал убраться к себе в комнату до их возвращения. Но я упустил из виду, что разговор с паном Мазурой и шатанье по улицам отняли у меня больше часа.

Я поднялся по темной лестнице, на минуту занятый соблазнительной, хотя несколько размягчающей перспективой тихого сумерничанья, которую рисовало мне воображение. Но не успел я отпереть дверь и войти в переднюю, как узнал, что этот безумно смелый замысел сегодня не будет осуществлен.

Зять и сестра бралились.

Истинная причина этих вспышек злобы,— между прочим, довольно частых,— была, видимо, одна и та же и не имела ничего общего с непосредственным предметом ссоры. Причины этой я не знал точно, так как Ада, сестра моя, стыдясь за свой неудачный брак, никогда мне ее не сообщала. С какой стати она вышла за этого Ярду Бизека, одного из героев знаменитой Летненской футбольной команды, левого полузащитника, который проворными ногами своими выбил себе чуть не могилу, а затем карьеру страховому агента — прямо с места курьера типографии. Она познакомилась с ним в страховой кассе, где сама служила корреспонденткой, но я так и не мог понять, что эти двое могли найти друг в друге. Правда, сблизились они в ту пору, когда хавбек простился с надеждой на то, что к нему когда-нибудь еще понесется с переполненной трибуны скандированный крик тысячеголовой толпы. На вершине славы он был сражен судьбой в обличье бутсы, угодившей ему прямо в живот во время благотворительного матча с драчливой деревенской командой, в пользу которой и была устроена эта встреча. Потом он три месяца боролся с самым ловким и упорным противником, на которого ему приходилось нарываться,— боролся, дыша на ладан, с прошибованными дренажем внутренностями — увертывался и убегал с мячом жизни, страшно круглым и вероломным, причем вместо рева толпы его ободряли лишь тихие голоса сестер и врачей.

Когда он выписался из больницы, стало ясно, что он никогда уже не побежит по травянистому полю, окаймленно-

му и расчерченному известковыми линиями. Он перестал быть прославленным Ярдой и навсегда сменил яркоцветную футбольную майку на серый пиджачок чиновника низшего ранга, который вместо прежнего дружеского рукопожатия своих начальников мог теперь снискать у них благосклонную улыбку лишь при помощи муравьиного усердия.

На этом-то рубеже, когда он, измученный долгим соревнованием со смертью, многократно продленным за счет дополнительного времени, еле переводил дух, видя вокруг себя вместо глядящих на него восторженных лиц одни спины, на него и обратила внимание Ада. По-моему, она слишком поддалась чувствительности и стала жертвой своего неумения проходить мимо какого бы то ни было страданья, встреченного на пути. Бедная Ада! Ее замужество — наглядный пример того, как часто в жизни над сильным и твердым одерживает верх слабый и безвольный. Потому что Ярда Бизек, некогда удалаемый судьями с поля за слишком грубую игру, теперь, подавленный своим несчастьем, превратился в тряпку, стал думать только о своем здоровье и, сперва пассивно подчиняясь заботам Ады, потом принял хитрить, чтоб как можно шире пользоваться ими. Он растолстел, как большинство спортсменов, внезапно лишенных движения, на службе лез из кожи, стараясь выслужиться, а дома был тираном, вознаграждая себя этим за служебную покорность. Ада, уйдя после свадьбы из страховой кассы, вынуждена была отчитываться перед ним в каждом геллере. И тут проишедшая с Ярдой Бизеком перемена получила свое завершение. Из прежнего тяжеловеса вылупился скряга, преследуемый страхом потерять место и впасть в нищету. Он каждый день скрупультно отсчитывал деньги на домашние расходы, лишив Аду таким путем всего, что она любила: книг, театра, концертов. Последняя надежда, которую она связывала с замужеством, была убита после того как выяснилось, что у них не будет детей. Значит, никогда ей не воплотить того, от чего самой пришлось отказаться и к чему она тщетно старалась привести мужа.

Я остановился в темной передней, куда сле проникал слабый свет, просачивающийся сквозь матовые стекла кухонной двери. Скора доходила до меня, лишь слегка приглушенная. Они не кричали друг на друга, что было бы, может быть, лучше, потому что после горячей вспышки легче достичь примирения, а говорили лишь немного громче обычного, но колотя друг друга словами, уже не

раз применявшимися, значение и действие которых они хорошо знали. С Ярды во время ссоры сходил лак предупредительного страхового служащего, и он держался, как оголец, воспитанный на Летненской равнине. Ада, напротив, говорила медленией и тише, чем обычно, с преувеличенней точностью выражений и неестественным вниманием к грамматической правильности. Она по опыту знала, что в таком случае Ярда испытывает чувство унижения при каждом, самом простом ее слове.

— Меня этим не проймешь,— провозгласил Ярда.— Подумаешь, дама выискалась: я ведь знаю, кем был твой отец!

— Конечно, о моем отце ты больше знаешь, чем о своем,— ответила Ада с неожиданной жестокостью, намекая на внебрачное происхождение мужа.

Меня удивило, как далеко уже зашли они в своих раздорах,— особенно как отступила от своих принципов Ада, прежде такая сдержанная, так тщательно взвешивающая выражения в своих отзывах о людях. Но, несмотря на это, мне понравился ее ответ, так как в нашей семье не было ничего такого, чего приходилось бы стыдиться. Наш отец Индржих Ауст,— я был назван в честь его, так же как он — в честь своего отца,— был видным живописцем по фарфору и имел собственную, очень доходную мастерскую, пока ремеслу его не был нанесен смертельный удар дешевой фабричной продукцией. Доказательством того, как его любили в городе, откуда мы родом, служит тот факт, что, когда нам пришлось продать все, даже крышу над головой, магистрат взял его на службу в качестве курьера. Но отец очень страдал из-за перемены своего положения, так как любил свое ремесло, работая сам, своими собственными руками, руководимыми хотя и не оригинальной, но живой фантазией, и часто вплотную приближаясь к подлинному искусству. Естественно, что тень последних лет его жизни упала и на меня и на сестру,— и Ада, в одну из горьких минут, видимо, упомянула об этом при муже, который с тех пор не упускал случая коснуться ее больного места.

Услышав ответ Ады, он засмеялся.

— Промазала! — ядовито отпарировал он.— Чистый аут. Я хоть могу думать, что мой был граф, а ты знаешь, что твой был просто рассыльным.

Спор продолжался, и я стоял в передней, где мрак густел по мере того как смеркалось. У меня не было ни малейшего желания подслушивать, наслаждаясь Адиными

семейными неприятностями. Я торчал там, просто не зная как быть, потому что мог попасть к себе в комнату только через кухню. Но я даже представить себе не мог, как мне с ними поздороваться и сделать вид, будто я ведать не ведаю об их разногласиях.

Значительную часть моей нерешительности надо отнести за счет бутылки с пивом, которая пока что грелась в моих объятьях. Не будь ее, я мог бы тихонько выскользнуть и съесть свой ужин в одном из многочисленных ресторанчиков Войтехского квартала. Но прежде чем прийти к несложному заключению, что можно поставить ее где-нибудь здесь в укромном месте и удалиться без нее, мысли мои опять занялись своим делом, независимым от моих минутных потребностей и желаний.

Я боялся пошевелиться, чтобы чего-нибудь не задеть и не обнаружить своего присутствия шумом. Передняя была завалена старой рухлядью, собранной Ярдовым скряжничеством; источенные червем этажерки, вешалки, шкафчики, доставшиеся ему главным образом по наследству от матери, теснились здесь, занимая столько места, что почти не пройдешь. Где-то в этом полумраке стоял ящик с золой, о который я каждый раз спотыкался, уходя из дома.

Некоторое не поддающееся учету количество минут я пребывал в неподвижности,— так что даже перестал замечать физическое неудобство; казалось, я проваливаюсь в какие-то нижние слои сознания, где господствуют условия, мне до тех пор неизвестные. Внимательно прислушиваясь к тему, что говорят зять и сестра, я в то же время чувствовал, что все более теряю интерес к содержанию их спора, а слежу за сменой их гневных выпадов, характером выражений, звучанием и оттенками голосов, стараясь представить себе, как в тот или иной момент выглядят их лица, какими жестами подкрепляют они свои тирады. Голос сестры удалялся и приближался в довольно правильном трехдольном ритме, так как она продолжала спор, двигаясь обычным предвечерним своим маршрутом: по периметру треугольника, образуемого плитой, буфетом и столом. Кастаньеты вымываемой и складываемой посуды сопровождали речь ее, препятствуя попыткам Ярды овладеть полем боя. Голос зятя доходил все время из одного и того же места. Опливший левый полузашитник развалился, как всегда, в необъятном раскладном кресле, служившем ему постелью, когда он еще жил у матери. Быть может, виной тому атмосфера набитой старьем передней

и полумрака, в котором глаза мои остановились неподвижно на матовом стекле кухонной двери, но действительность стала уходить от меня за такую же замутненную, непрозрачную стену. Я слышал еще другую скору, помимо той, которую воспринимал слухом; мысли мои, которые с этого дня, чем бы я ни был занят, все время уносились к Вилему Габе, стараясь отыскать истинную причину его пребывания на ночной набережной, были захвачены игрой воображения, предлагавшей им приемлемые объяснения.

Скора за кулисами между режиссером «Строителя Сольнеса» и исполнителем? Почему нет? Скора эта могла быть завершением существовавшей между ними долгой напряженности, которая имела причиной вечное недовольство режиссера Габовым исполнением, его постоянные придирики и иронические замечания. Режиссер этот был, видимо, моложе Габы и пришел на сцену только недавно, но парень знал свое дело, его постановки отличались отчетливо выраженным своеобразием, и качество актерской игры под его руководством стало выше. Только Габа не хотел подчиниться, доказывая этому молокососу где только мог, что тот должен приспособляться со своим пониманием к нему, Габе, а не наоборот. Он клонил этот пока еще более или менее скрытый спор к открытому столкновению, когда можно будет поставить перед дирекцией вопрос ребром: либо я, либо этот ферт. Вилем, может быть, не имел в виду выжить его из театра, а только хотел одержать над ним верх и в дальнейшем играть по-своему.

Примерно в этом была суть спора и тех противоречий, в которых Габа все больше запутывался и которые совсем одолели его как раз нынче вечером. Габа был достаточно разумен и критичен, чтобы понимать всю основательность упреков режиссера, но долгие годы славы мешали ему признаться самому себе в чем-либо подобном.

— Вы считаете, что меня пора на свалку? — вскинулся он на режиссера.

— Наоборот,— возразил этот сопляк, представляющий из себя здоровенного детину, у которого не хватает каких-нибудь четырех-пяти сантиметров до двух метров, а плечи — как у каменотеса, и из них выбрасываются выразительными драчливыми движениями длинные руки с пудовыми кулаками на концах.— Наоборот, я убежден, что вам до этого далеко. Уже по одному тому, что вы не дали ни частицы того, что могли бы дать, если б взялись за дело по-настоящему.

— Значит, по-вашему, мне теперь надо приниматься за учение? По-вашему, я только ломаю комедию, играя на театре,— морочу голову себе, публике и критике? Удивительно, как это вы первый открыли?

— Кто-то должен быть первым. Со временем другие тоже обнаружили бы.

— Особенно если вы будете трубить эту чушь всем на свете.

— Я трубить не буду. Меня не это интересует. Я только хотел бы убедить вас, что вы можете дать много больше, чем даете. Когда я вижу вашу игру, мне всегда кажется, что вы кидаете публике свое исполнение, как собаке кидают кость. Это виртуозно, это точно, это каждый раз — образец для алчущих адептов сценического искусства. Под каждой вашей ролью можно поставить подпись: «Вот как это надо играть». Но я при этом холоден, и у меня такое впечатление, будто вы все время думаете: «Я — Вилем Габа и играю так, что все глаза таращат». Но, сударь, кто — Вилем Габа, судя по тому, как он себя подает? Человек, который знает и умеет, но не чувствует. Который признает только себя и восторгается собой, а до остальных ему дела нет. Но так не годится, сударь; так нельзя творить ни в одном искусстве, а в театре тем более. (Тут режиссер в волнении поднял у себя над головой свои длинные руки, но тотчас опять опустил их, словно испугавшись, что ставит себя перед этим старым рутинером в смешное положение.) Я хотел бы убедить вас, что театр — это драма не только на сцене, но и в актере, и что вы должны все время вновь и вновь бороться, а не только торжествовать победу на гладком месте и переодевать новое в старое, что вы уже давно умеете.

— Превосходная лекция,— насмешливо промолвил Габа.— Постараюсь запомнить ее поучительное содержание и руководствоваться им. А пока вам придется принимать меня таким, каков я есть.

— А пока я не дам вам покоя, прежде чем заставлю вас признать мою правоту,— возразил долговязый энтузиаст.— Я никогда не простила бы себе, если б не сделал все, чтоб этого добиться.

Дойдя до этого места в их перепалке, я должен отметить, что, видимо, принимал в ней слишком живое участие, может быть, даже помогая виттовой пляске режиссера, столь страстно и горячо отстаивавшего свое мнение, и, наверно, так же, как и он, переступая с ноги на ногу и пожимая плечами, потому что вдруг почувствовал, что

левой руке моей, нежно прижимавшей бутылку, стало легче, причем был тут же приведен в сознание и возвращен к действительности звоном разбитого стекла и наполнившим мои ботинки пивом.

Голоса сразу умолкли, и оторопелая тишина вытеснила последний глоток воздуха из тесной передней. Я стоял в луже пива, боясь двинуться с места, окруженный острыми осколками. Вор, забравшийся в чужой дом среди ночной тишины, и тот не может испытывать большего страха, чем я испытал в эту минуту. Этот страх был ключом из сознания, что я тут бог знает сколько времени подслушиваю разговор, не предназначенный для моих ушей, и разрастался несоразмерно моему проступку.

Дверь открылась, поток ярчайшего света хлынул из-за спины моей сестры и ослепил меня.

— Индра, что ты тут делаешь?

Я зажмурился и, беспомощно растопырив руки, наверно, имел смешной вид. Ада, не сходя с порога, наклонилась и повернула выключатель. Вместе со светом из кухни маленького тощего вымени лампочки накаливания в несколько свечей, висящей под потолком, оказалось достаточно, чтобы выявить размер катастрофы. Я напрасно искал слов объяснения и оправдания, но Ада засмеялась,— смехом, который вернул меня к дням детства, когда ей так часто приходилось досыта нахочотаться над моей неуклюжестью, прежде чем получить возможность помочь мне.

— Что ты тут натворил? Выбирайся отсюда, да смотри не порежься. Я вымету и подотру.

Так бы и кончилось это приключение шутками, легкими пинками и смехом, если бы все осталось между нами двумя. Но только я с трудом шагнул из раскиданных по полу осколков на порог, который мне уступила Ада, как наткнулся на зятя.

Ярда Бизек, высвободившись из объятий кресла, надвинулся вплотную. Он мерил меня прищуренным взглядом, и лицо его, где высокомерно напряженные черты бывшего любимца публики сочетались с одутловатой размякостью, имело выражение, как у человека, решившего раз и навсегда покончить с какой-то неприятностью.

— А, профессор! Разувайся, слышишь? А то засвишишь нам весь пол.

Ботинки мои, облитые пивом, в самом деле оставляли мокрые следы. Подавленный сознанием своей виновности, я хотел избежать спора, который Ярда старался вызвать —

хотя бы для того, чтобы доказать самому себе, что он не какая-нибудь тряпка и рохля, каким всегда себя чувствовал, особенно во время стычек с Адой. Опершись одной рукой о стену, я попробовал другой рукой скинуть промокшие ботинки. Но Ада промолвила, быть может, против своих хозяйственных принципов, наверное, согласных с требованиями Ярды:

— Не дури, Индра. Не ему за тобой убирать.

Межу тем ботинок уступил и слез с ноги. Я надеялся, что это успокоит Бизека, и он пропустит мимо ушей Адин выпад. Я страшно боялся, как бы прерванная распра их не закипела снова, и на этот раз яблоком раздора не стал бы я. Но Бизек покраснел и обрушился с удвоенной злостью — из-за того, что был унижен Адой в моем присутствии. Он презирал меня и терпел только ради того, что сумма, которую я платил ему за комнату, составляла больше половины платы за всю квартиру.

— Убирать, понятно, не стану, но не стану и терпеть, чтоб мне квартиру превращали в хлев. Как-никак — пока я здесь хозяин и мое дело — что разрешать, чего не разрешать.

Какая-нибудь добродушная шутка, может быть, могла бы обратить все это происшествие в смешное недоразумение. Но хоть я и любил шутки, однако шутить не умел, а у сестры пропадало всякое желание шутить, стоило ей только поглядеть на мужа. Но мне страшно хотелось помешать продолжению ссоры, — уж по одному тому, что я всегда ненавидел такие бессмысленные свары. Простерев умиротворяющим жестом руку с ботинком к Ярде, я промолвил:

— Все в порядке, Ярда. Не волнуйся.

Оказалось, однако, что хуже я ничего не мог придумать. Ада, выметавшая осколки из передней, при моих словах резко подняла голову, как ужаленная, и, указывая на ботинок у меня в руке, резко промолвила:

— Сейчас же обуйся, Индра, и не унижайся перед ним. Довольно того, что приходится хлебать мне.

— Ах, значит, милостивый государь передо мной унизится, если послушается и не будет следить здесь, как свинья. А шпионить и вынюхивать за дверью — это его, конечно, не унижает?

Все время, пока длилась эта ссора, меня не переставало тяготить сознание, что я, хоть и ненамеренно, подслушиваю за дверью; но теперь, когда Ярда бросил мне в лицо такое обвинение, оно возмутило меня, как подлейшая

ложь. Чувствуя внутри шипенье поднимающегося гнева, я постарался подавить его и одновременно найти ответ, который оправдал бы меня, не раздражая Бизека еще больше. Но Ада меня опередила:

— Слава богу, он родился не в такой семье, как ты, где вы дверным замком чуть мозоли себе на ушах не натирали.

— Ада, прошу тебя! — сделал я последнюю попытку смирить ожесточение боя.

Я стоял на одной ноге, опираясь босой ступней на обутую и спрятав снятый ботинок за спину. Я страдал от мысли о том, какой у меня смешной вид, но не решался ковылять к себе в комнату, исчезнув, как видимая причина свары. Мои старанья успокоить Аду не дали результатов. Сестра повернулась теперь ко мне, но, браня меня, не переставала наступать на мужа.

— О чём ты меня просишь? Почему не ответишь ему? Если я вынуждена терпеть его грубости, так с какой стати должен мириться с ними ты?

— Ни с чем он не должен мириться, — закричал Ярда. — Может сейчас же собрать пожитки и идти, откуда пришел. Я никому не позволю шпионить за мной в моем собственном доме и передо мной кичиться, будь он хоть десять раз преподаватель и твой брат. Да такой преподаватель — все равно что ничто. Нештатный, зависящий от милости хозяина. В любую минуту выставят вон, как поденщика.

В этот день Ярда Бизек обладал даром ясновидения. Уже второй раз на протяжении нескольких минут он в своей подозрительности и тупом бешенстве попадал прямо в цель — так, что меня брала дрожь. Первый раз в жизни мною овладело непреодолимое желание дать в морду. Я сжал цокрепче в руке ботинок за спиной и представил себе, как угодил бы каблуком прямо в эту толстую красную физиономию. Но ведь это была физиономия, которую моя сестра когда-то любила и, кто знает, может быть, несмотря на все обиды и разочарования, любит до сих пор. Гнев мой упал так же быстро, как поднялся, и осталось лишь спокойное желание сейчас же рассказать, что со мной сегодня было. Я знал, что не мог бы остаться здесь лишний день, если б на него не хватило моего последнего месячного жалованья. Ярда опять начал бы терзать Аду подозрением, что она мне помогает, содержит меня на его деньги.

— Ты прав, Яроушек, со штатными этого не бывает, но преподавателей в должности младшего учителя такая шту-

ка ждет на каждом шагу. Вот это самое и произошло нынче со мной. И коли оттуда выбрасывают, так почему не выбросить и отсюда? (Не знаю, по какой причине, но в ту минуту мне показалось, что будет ближе к истине говорить, что меня уволили, а не то, что я потребовал увольнения.) Не бойся, Яроушек, мне не нужно повторять два раза одно и то же, и я у тебя на шее сидеть не стал бы, даже если б ты мне не заявил так любезно, что будет лучше, если я съеду. Напомню тебе только, что за комнату я заплатил до первого числа, хоть это, может, и окажется ненужным.

Эта речь выпрямила мне спину и расправила плечи, словно я скинул с себя остаток груза, который таскал столько бесконечно долгих лет. Я повернулся и, припадая на босую ногу, со всем возможным достоинством заковылял к себе в комнату. За мною двинулась растерянная тишина, наступая мне на пятки. Мне хотелось обернуться и посмотреть, как выглядят те двое позади. Ручка двери в мою комнату была для меня тем, что ступенька лестницы для усталого пловца. Но я еще не достиг ее, как Ада взвизгнула и засмеялась напряженным, истерическим смехом:

— Ах ты неудачник! Ни на одном месте не удержишься, отовсюду тебя гонят.

Что-то глухо шлепнулось, потом как-то нелепо металлически брякнуло. Это Ада кинула на каменный пол передней сперва половую щетку, потом совок для мусора. Каблуки ее домашних туфель застучали по половицам кухни, и пружина в старом кресле у окна издала металлический стон.

— Выгнали! И отовсюду гнать будут! — всхлипывала она, съежившись в его широких объятьях.

Я мог бы обернуться и сказать, что больше никто не получит такой возможности, но обрадовался, что наконец добрался до ручки двери.

— Замолчи. Сил нет слушать это,— отозвался Ярда вполне естественным, но для него необычным тоном.

Пол заколебался от его быстрых шагов. Догнав меня, он положил мне на плечо свою тяжелую мясистую руку, легонько повернул меня к себе и, глядя примерно на среднюю пуговицу моего пиджака, промолвил:

— Индра, слушай! В сердцах чего не ляпнешь. Я же не всерьез. Погорячился. И насчет подслушивания за дверью — это, конечно, ерунда... Ну, и остальное, понятно, тоже. Можешь быть здесь как дома, даже не будь у тебя ни

копья. А когда найдешь что-нибудь подходящее — запла-тишь.

Он был страшно красный и весь вспотел, давая мне этим доказательство, что в нем до сих пор еще не заплыл жиром игрок футбольной команды, побеждавший благодаря самоотверженному взаимодействию всех, и что он еще не забыл, как выворачивают свои карманы, чтобы выручить другого из беды.

Пока он ожесточенно мял мне руку в своей влажной ладони, я боролся со своим прыгающим кадыком. Слова клокотали и свистели у меня в горле.

— Я знаю, Ярда. Ты всегда был малый что надо. Спасибо.

Я открыл дверь; Бизек втолкнул меня в нее могучим шлепком между лопатками и, с дурашливым радостным хохотом, закрыл ее за мной.

Я стоял в своей комнате, которую Ада обставила мебелью, перешедшей к нам от покойных родителей, среди вещей, интимно знакомых с тех пор, как я себя помню, и мне казалось, что я вижу их не наяву, а в каком-то давнем, грустном воспоминании. В левой руке я еще судорожно сжимал снятый ботинок, пыльный носок которого был украшен потешно ухмыляющейся рожицей — творением пивных капель. Ада на кухне затихла. Половицы заскрипели под тяжелыми шагами Бизека, щелкнул выключатель, и медленное танго, ведомое рыдающим саксофоном, всколыхнуло сумрак. Ярда, упорно отставая на полтакта, стал подсвистывать.

У меня голова должна бы пойти кругом от забот, а я о них и не думал. За ужин я сел, правда, без всякого аппетита, просто потому, что он был передо мной, но по мере того, как пища овладевала моим обонянием и вкусом, врожденная чревоугодливость мало-помалу рассеивала некоторую досаду и тяжесть, оставшиеся у меня после скандала с зятем. Между тем на кухне Ярда выключил радио, так как на острове начался вечерний концерт, а обитатели улицы «На канаве» по традиции принадлежа-ли к самым усердным его слушателям уже в силу одного того, что на это не шло ни электрической энергии, ни денег. Водворившаяся на время тишина говорила о том, что Ада, стыдясь за свою вспышку и пораженная неожи-

данной предупредительностью Ярды, ушла в спальню, чтобы избежать дальнейших разговоров.

Лишившись пива, я запил свою трапезу тепловатой водой из кувшина на умывальнике. Небо все больше темнело, первые звезды просыпались на нем и сонно помаргивали, глядя на меня. Музыка с острова становилась в сумраке шелковистой, контрапункт шагов и голосов на нижнем конце улицы приобретал плещущий оттенок и колеблющийся ритм. Крик ласточек еще падал с голо-вокружительной высоты над кровлями, но летучие мыши уже распространяли тьму из-под черных плащей своих летательных перепонок. В квартирах зажигали свет и задергивали занавески, разыгрывая на них короткие спектакли театра теней, фонарщик пробуждал лимонно-желтые газовые цветы на чугунных стволах вдоль улицы подо мной, потом вдруг сразу вспыхнула длинная лента дуговых ламп на набережной, и ночь, вызвездившая на небе и на земле, вступила в город.

Почему все-таки пришло мне в голову послать Вилема Габу на смиховский вокзал? Я, видимо, думал о бегстве, но теперь это стало мне казаться слишком патинутым и патетическим. Такие, как он, так легко не убегают. Тут нужен был бы какой-то более существенный повод, чем тот, что я до сих пор сам себе приводил. Фигура Габы заколебалась и начала расплыватьсь. Она не пропадала уже в материальнойочной тьме, а таяла во мгле размышлений. Но этого нельзя было допускать. Было бы слишком глупо и смешно позволить какому-то призраку прокрасться в мою жизнь, наделать в ней непоправимый вред, возбудить надежды, которые все устремились к нему, а потом расплыться, не оставив по себе ничего, кроме горечи, подобной похмелью.

«Габы не убегают так легко», — сказал я. Это прозвучало чрезвычайно высокомерно, как будто я только что надел судейскую шапочку и вынес приговор. Но если хочешь кого-нибудь судить, надо о нем что-то знать. Ну-ка, давайте. А то этак не годится — выпустить на сцену человека, совершенно незнакомого зрителям, и позволить ему просто так, для повышения интереса расхаживать, надвинув шляпу на лоб и подняв воротник пальто.

Так вот — кто же был, собственно, Вилем Габа? Была в нем какая-то исконная определенность, выдававшая его мне без остатка. И не мог же я допустить ее утраты: ведь она была для меня единственным, хоть и сомнительным векселем, подписанным без поручителей, — моей будущно-

стью. О возвращении к прежнему образу жизни я думал так же мало, как человек, у которого за спиной провалилась земля, где он за несколько часов перед тем кайфовал и грезил в относительной беззаботности. Габа вывел меня оттуда, Габа подвел под нее подкоп, — все Габа. И хоть это звучит в высшей степени анекдотично — мне больше не на кого было опереться в том положении, в которое он меня поставил, как опять-таки на него. А потому, если я испытывал некоторый страх перед грядущими днями, это было скорей опасение, как бы Габа не был ими поглощен, чем боязнь трудностей, а может быть — и голодовки, которые они мне сулили. Во мне крепло убеждение, что Габа — это последняя карта, подброшенная мне судьбой, с безмолвным приглашением рискнуть и поставить на нее.

Вилем Габа не должен оставаться тенью, — и мне нужно оснастить его так, чтобы в нем хватало сил для нас обоих — для него и для меня. Чтоб он был подлинней и реальней, чем люди из плоти и крови. Все дело в том, чтобы вновь его укрепить, сделать таким, каким я увидел его с первого общего взгляда, ничего не упустив, ничего не запамятовав. Если понадобится, буду складывать его камешек за камешком, как мозаичную картину, потом, может быть, опять рассыплю и нарисую в широких грубых чертах, лишенных подробностей, но дающих еще больше портретного сходства. Что могу я знать заранее? Впереди — столько дней, когда мы с ним будем только вдвоем.

Оркестр на острове умолк, репродукторы больше не давали о себе знать, освещенных окон становилось все меньше, зато ярче сияли звезды, а на нижнем конце улицы спокойный поток голосов и шагов, порой всплескивающий смехом, слабел. Похолодало, но мне хотелось еще посидеть у открытого окна. Я закутался в одеяло и продолжал слушать затихающий город. Грохот трамваев, бегущих по близкой набережной, был уже только отголоском дневной суеты — в этом нарастании тишины, что утверждалась среди гаснущих и стынивших звуков. Из трактира на углу Войтехской улицы время от времени — всякий раз, как дверь впускала или выпускала посетителей, — вырывалось хриплое пение и, пристав к распутному вою гармоники, пьяно шаталось между стен, пока не исчезало в общем успокоении.

Тишина окрылилась и отнесла меня на площадь родного города, где у отца моего была мастерская. Посредине торчит до уровня крыш моровой столб с позолоченной статуей девы Марии наверху. Вокруг его подножия

теснятся скамейки, на которых старики обсуждают жизненные явления, меряя их аршином прошлого и не понимая, что многое могло в корне измениться, между тем как они сами остались прежними.

Тут мы оба были дома — и я и Габа. На другой стороне площади, прямо против нашего дома — этот дом был невелик, кроме мастерской отца и нашей квартиры в нем еле нашлось место для единственного отцовского помощника с женой, но я его так любил, что потом, когда нас оттуда выселили, никогда не мог пройти мимо без того, чтобы у меня не щемило сердце от жалости и не сжимались кулаки от гнева, — итак, против нашего дома чернела, словно вход в какую-нибудь таинственную пещеру, дверь старозаветного купеческого торгового заведения. Широкая двойная сводчатая дверь, и над ней — гирлянда желтых деревянных лимонов с зелеными листьями. Мешки с китайскими, лесными и греческими орехами, с каштанами стояли по обе стороны этого глубокого входа, на ночь запиравшегося тяжелыми, крашенными коричневой краской створами. Это была одна из тех мелочных лавок, где вы могли достать все — от имбиря до мышиного яда, от лент до сапог, от косы до грубой холщовой рубахи, от леденцов, подвешенных на бечевках над широким прилавком, до сахарной головы размером с трехлетнего ребенка, от керосина до ржаной водки, ликера и мускатка.

Магазин этот с самого раннего детства был для меня предметом многих страстных желаний и вожделений, из которых лишь некоторые, и то редко, получали удовлетворение. Передо мной стоят, как живые, оба его владельца — муж и жена, — огромные, толстые, неповоротливые, с красными, всегда опухшими руками. Они еще отпускали товар покупателям, когда я, уже взрослым, покинул родной кров, внешне все такие же, нисколько не изменившиеся с того времени, когда мне приходилось становиться на цыпочки, чтобы достать до огромного прилавка и попросить на крейцер леденцов. Но третий, бывший с ними, исчез, прежде чем успел врезаться мне в память. Это — их единственный сын, их гордость и надежда, наследник торгового заведения. Как я узнал потом, когда стал понимать такие вещи, он бежал за какой-то актрисой и больше уже не возвращался ни к семье, ни даже в этот город. Если те двое, наняв помощника и продолжая хлопотать за бесконечным прилавком у себя в магазине, как будто в этом был еще какой-то смысл, и получали от сына или о нем какую-нибудь весточку, то никогда никому об этом

не рассказывали. Так что для всего города малый как в воду канул.

С этого начинается история Габы. Но только та женщина — мне не подходит; к тому ж это, может быть, просто бабья сплетня; ведь старики редко способны объяснить тот или иной поступок молодежи, не приплетя к этому юбки. Но после погони за юбкой юноши обычно возвращаются, подавленные и склонные к раскаянию. А Вилем Габа не вернулся, так что придется поискать мотивов более серьезных, влечения более устойчивого, страсти, растущей от каждого удовлетворения, любви, не насытимой никаким обладанием.

Я представляю его себе взъерошенным парнем, который вертится между родителями за прилавком, все время словно чувствуя себя на подмостках, неустанно стараясь позабавить их, самого себя и покупателей. Шутник, балагур, гримасник, он изображал им — в свободные минуты, когда в лавке никого не было, — наиболее видных особ из числа покупателей и горожан. Они смеялись до слез, говоря:

— Перестань, озорник, мочи нет. Прямо со смеху помрешь!

И гордились его дарованием — хотя бы потому, что оно не мешало торговле; наоборот, людей влекло к веселому парню. Когда Вилем играл в каком-нибудь любительском спектакле первого любовника, старики сидели в первом ряду и раздувались от гордости за сына. Иногда им говорили, что жаль: такой талант — и пропадает за прилавком! А они только посмеивались хитро, и им никогда в голову не приходило, чтобы невинная забава могла обернуться роковой страстью. Вилем сам прекрасно знает, что ему лучше. А это на его репутации не отразится. Мы ему такой магазин оставляем! Наш отпрыск не дурак, чтоб актером по свету шататься, когда мы его так славно устроили.

В нашем Городском клубе был зрительный зал, каким могут похвастать очень немногие города подобного размера. Вообще город наш был богатый, и доходы его притекали из обширной земледельческой области, так что никогда не могли иссякнуть. Эти два условия — наличие просторного зала с хорошо оборудованной сценой и зажиточность населения, готового в любую минуту выбросить корону на какое-нибудь развлечение, — притягивали к нам театральные труппы, которых у нас в городе за год много сменялось. И вот однажды, — скажем, во время пребывания у нас театральной и дивертисментной труппы Паласа,—

Вилем Габа, до тех пор беспечно порхавший по родному городу, неожиданно зашел за угол и скрылся из города, чтоб уж никогда не вернуться.

Если б кто-нибудь сказал ему что-либо подобное за неделю до этого, он засмеялся бы и махнул рукой, примерно так, как его родители. Он страдал романтизмом, быть может, еще больше, чем страдают им заурядные молодые люди,— так как во всем и всюду был сын своих торговцев-родителей, если не считать той крошечки фиглярства, которая черт ее знает откуда в нем взялась. Хоть он до тех пор не придавал значения своим актерским и певческим успехам, они радовали его прежде всего тем, что привлекали к нему внимание девушек. В этом городе, который я покинул в возрасте двадцати лет, не огорчали при этом ни одного сердца, кроме материинского, Вилем Габа был признанным и желанным любовником не только на сцене. Он умел все, что мне никогда не давалось. Ловко танцевал, читал вкрадчивым голосом стихи, которые ценил только с той точки зрения, как они воздействуют на девичьи чувства, пел приятным тенором, обработанным под руководством местного регента, модные песенки, бренчал на рояле фокстроты и танго, а главное — точил непринужденные, задорные, веселые баллады, как смолоду привык делать, стоя за прилавком в магазине родителей.

Надо ему отдать справедливость,— к театру он испытывал подлинное влечение и энтузиазм; хотя он удовлетворялся положением популярного среди публики любителя, со всеми возможными желательными последствиями для торгового заведения, однако врожденная основательность заставляла его как можно лучше учить свои роли. А так как упорство сочеталось в нем с дарованием, он мог дать больше, чем обычно дают любители, и даже больше, чем многие из тех странствующих комедиантов, которые делают театр своим неверным источником существования. На кого же еще могли указать те, с кем директор театра Палас посоветовался, когда попал в затруднительное положение?

Воздух, проникавший в окно, становился все холодней, и поток голосов и шагов на улице уже почти иссяк, а я все никак не мог решиться лечь спать. Мне даже не хотелось закрывать окна из боязни, как бы оконные стекла, зажмутившись, не заставили расплыться блеск звезд. Может быть, я опьянел, взглянув на них, и от этого мне стало так легко на сердце, и все, что приходило мне в голову, начало казаться более реальным, чем любая действительность.

А что Палас? Я видел его ясно, прямо перед собой, как он испуганно носится по городу, лишившись чуть не на второй день первого любовника и не имея кем его заменить. Острый припадок аппендицита или что-то в этом роде — и рухнул весь репертуар, так продуманно составленный для этого разборчивого города. В ближайшие дни предстояло сыграть еще четыре спектакля, и какой же грозил ущерб — на широкую масленицу! По счастью, Вилем знал две из этих ролей, и Палас чуть не завопил от восторга, когда прорепетировал их с ним. Это было больше, чем замена заболевшего первого любовника. И с пылом, который у него был всегда в запасе для подготовки молодежи, Палас стал проходить с Габой обе остальные роли. А что сказали на это старые родители? Это им льстило. Отец смеялся, дуя во все дудки своих вечно простуженных бронхов.

— Что ж, почему бы тебе не сыграть, Вилик, с настоящими актерами? Того и гляди еще им нос утреши.

У матери были сомнения,— женщины уж всегда осторожничают,— но старик похлопал ее по спине своей опухшей красной рукой:

— Не дури, матушка. Коли ему в восемнадцать не стрельнуло, так в двадцать один он и подавно не соблазнится. Вилик знает, что ему надо. Верно я говорю, Вильда? Ведь это ему дороже всех театров в мире.

При этом он обвел широким жестом весь огромный полутемный подвал, составлявший их гордость. Я полагаю, Вилем засмеялся совершенно так же беззаботно, потому что в ту минуту думал и чувствовал, как отец. Но одно дело — играть с любителями, и другое — с настоящими актерами, пусть даже это будут бродячие комедианты. Впрочем, труппа Паласа, хоть и небольшая, была на хорошем уровне, и в ней всегда были по крайней мере два-три актера не только по названию и профессии. Сам Палас, прежде игравший в Пльзеньском драматическом театре, был хороший актер и режиссер, и на старости лет ему доставляло все больше удовольствия обнаруживать новые таланты и, по его выражению, выニアчивать их с пеленок. Это пристрастие, имевшее источником его неугасимую любовь к театру, давало ему только то, что он лишался своих любимчиков быстрее, чем успевал их выходить. Только они вылупятся, их тотчас переманивали к себе более крупные антрепризы, все время за ними следившие.

Вилем Габа впервые столкнулся с настоящим театром и узнал, что значит иметь дело с партнерами, которые

каждую минуту знают, что говорить и делать, которые не заикаются и владеют своим голосом, лицом, жестами. Это его не обескуражило, наоборот, он приложил все усилия, чтобы не уступить им ни в чем. Свидетели его дебюта подтвердили бы, что он превзошел своей игрой незадачливого первого любовника, которого сменил просто из любопытства и юношеской жажды отличиться. После спектакля Палас подошел к нему, похлопал его по плечу и сказал:

— Отлично, молодой человек. Не ударил лицом в грязь.

При этом он посмотрел на Вилема испытующе и задумчиво, словно решая, на что еще тот способен.

На Вилема этот успех подействовал иначе, чем триумфы на любительских спектаклях. У него закружилась голова, дело ясное. Но это только одна половина правды. А другая, гораздо более существенная, заключалась в сознании, что ему никогда уже не захочется ничего другого, кроме как играть на сцене. И когда покупатели в лавке поздравляли его, в то же время спрашивая у родителей, не боятся ли они, что Вилем останется в театре, он смеялся над этим, как прежде, хотя теперь этот смех был лишь удачной актерской игрой,— тем более удачной, что в это время у него болело сердце об отце с матерью, которые так ему доверяют, даже не подозревая, что в нем творится.

Палас тогда уже знал, что у птички коготок увяз, но имел достаточно выдержки, чтобы не подходить слишком торопливо и не вспугнуть ее в последний момент. Помимо того, к его намерению завоевать Вилема примешалось неприятное чувство, когда он увидал этих двух стариков, все надежды которых на спокойную старость были связанны с их единственным сыном. Он заколебался. Но ведь до самой смерти, пожалуй, не простишь себе, что из глупой сентиментальности позволил такому таланту пропадать за торговым прилавком? И он рассудил, что лучше пусть время и обстоятельства помогут Вилему принять решение. Он обратился к родителям Габы с просьбой позволить сыну участвовать еще в нескольких спектаклях труппы — в соседнем городе, пока местная больница не вернет ему выздоровевшего первого любовника. Он апеллировал к их чувству коммерческого достоинства, требующего, чтобы покупатель получил за свои деньги хороший товар, и с помощью этой двойной лести добился своего.

Палас доказал, что знает жизнь не хуже, чем театр. После спектаклей в чужом городе, постигнув еще глубже

под руководством Паласа смысл актерской игры, дождавшись аплодисментов от людей, дотоле его совершенно не знавших, Вилем еще более утвердился в убеждении, что не может существовать без театра.

Труппа отправлялась в дальнейший путь, и Габа не вернулся домой. Ему уже исполнился двадцать один год, и он мог распоряжаться собой по своему усмотрению. Возможно, что ему пришлось отогнать призрак своих родителей, прежде чем он подписал контракт с Паласом, возможно, он обращался к ним с бесконечными оправданиями и объяснениями, как только оказывался в одиночестве, возможно, что в один прекрасный день призрак и объяснения стали действительностью, когда отец приехал за ним и дело дошло до жестокой ссоры, но все это было уже слишком поздно, так как за это время неугасимая жажда изображать другие лица и внимать восторгам зрителей, с каждым глотком все сильнее разжигаемая и наконец раскаленная добела, так овладела сыном, что он не понимал, что говорит отец, и на развалинах надежд, бывших когда-то и его надеждами, ответил с сострадательной улыбкой:

— Не могу понять, папа, что вы так волнуетесь? Ведь у вас теперь достаточно, чтобы до самой смерти ничего не делать, — а коли так, не все ли равно, что будет стоять на вывеске: Габа или Лутрин?

Так это было? Да, не могло быть иначе. Я это чувствую, знаю. Людские толки припели сюда женщину, потому что как же иначе обыватели маленького городишко могли бы постичь, что сын вдруг отказывается от богатого наследства ради котомки бродячего фигляра? Им под силу было найти объяснение только среди тех страстей, которые они знали сами, хоть и не подчинялись им настолько, чтоб власть в разврат или погибнуть.

Город уже спал, и лишь отдаленный шум плотины неустанно ткал бесконечное покрывало тишины. Нет ничего более пугающего, более устрашающее одинокого, более призрачного, чем спящий город. Дома поглотили все живое, угасшие окна их мстительно поблескивают отражениями уличных фонарей, их асфальтово-черные кровли горятся под звездами, все более высокими, все более далекими, все более холодными. Проходит ли кто по улице, — шаткий отзвук его шагов возносится над ним тенью звуков, и разрушенная тишина долго, мучительно дрожит, прежде чем успокоиться. И бодрствующий вдруг видит себя проклятым, словно его забыли в месте, всеми покинутом.

Я чувствовал, как ночь, промерзшая до костей, заползает уже под мое одеяло и жмется ко мне, словно умоляя согреть... Я дрожал, раздеваясь, чтоб наконец лечь, но голова у меня горела и шла кругом: я не мог разобрать хорошенъко, кто ж это ложится в постель после всех треволнений дня — неудачный бухгалтер и преподаватель Индржих Ауст или актер Вилем Габа?

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

— Я очень рада, что у вас — своя постель,— сказала мне пани Пашекова, когда мы с ней договаривались о сдаче мне внаем одной из двух комнат ее квартиры.— А то, знаете, бедной вдове надо всегда по возможности беречь то, чего больше не приобрести. Но сбавить в связи с этим плату не могу,— нет, нет. У меня точно высчитано, сколько комната должна дать, и я столько и должна получить.

Прежде чем мы окончательно условились, я все узнал о ее бедности, которая показалась мне в одно и то же время трогательной и странной. По ее рассказам, ей было решительно не на что жить, кроме этих двух комнат, и она не имела никаких приработков, так как ничего не умела делать. Не могла пойти ни в прислуги, ни в прачки — по непривычке к такой работе. Она — из хорошей семьи, у отца была когда-то большая шляпная мастерская в Нуслях. Она вышла за ювелира и часовщика, чей магазин в Святопетрском квартале имел прекрасное реноме. Ах нет, первого мужа фамилия не Пашек, а Костка; она два раза вдовела, счастья в жизни ей не было. Двадцать лет прожила она с ним, двадцать счастливых лет, а когда он умер, оказалось, что он не подумал о том, чтоб обеспечить своей вдове возможность жить сообразно ее положению. Оставил массу долгов, и ей удалось сохранить только часть обстановки.

Расстроившись своим рассказом, она утирала бегущие из глаз слезы. Я тем более сочувствовал ей, что она была еще недурна, ей было не больше сорока пяти лет, круглые щеки ее отличались упругостью и не имели ни единой морщины, пышная грудь, можно сказать, вздымала корсаж так, что мой взгляд все время возвращался к ней. Руки ее, обнаженные выше локтя, были, может быть,

слишком полны, но это не лишало их привлекательности. Я вздрогнул, заметив, какое направление принимают мои мысли, и в душе дал себе хороший пинок, чтобы опамятоваться. Ты хочешь сюда въехать, дурак, для того, чтобы завести шашни с какой-то вдовой, или для того, чтоб тебя оставили в покое и чтоб доказать тебе и другим, что ты способен не только прозябать, как плохой бухгалтер либо помощник учителя?

Предостерегающий голос вспоминается только после того, как действительность докажет его правоту. Не понимаю, почему мы его почти никогда не слушаем; главным образом, наверно, потому, что чувствуем себя защищеными от опасностей, которые сумели вовремя распознать.

Я сидел с пани Пашековой на кухне, куда она меня позвала, для того чтоб скрепить наем комнаты чашкой кофе с молоком. И все сомнения и колебания, овладевшие мной в ту минуту, имели источником мои усилия заставить свои мысли заняться чем-нибудь другим, кроме оценки грудей моей новой квартирной хозяйки.

Пани Пашекова говорила о своем былом благополучии с такой тоской, с какой другие говорят об ушедшей молодости, и оборудование кухни доказывало, что ей было о чем жалеть. Хотя белая окраска добротной мебели с годами пожелтела, но покрывающий ее лак до сих пор не утратил своего блеска. И чашки, из которых мы пили кофе, свидетельствовали о том, что тот, кто их выбирал, не был вынужден экономить. На стене, под полкой с цветочными горшками, выпячивал блестящее брюхо медный котелок — этот венец кухонного инвентаря и гербовый знак мещанской зажиточности, это волшебное зеркало, вызывающее грусть и печаль у прачек, служанок и разносчиц!

Я вспомнил, как мать моя прятала его в бельевой корзинке, чтоб уберечь от аукциона. Сколько других, более ценных вещей было продано вместе с нашим домом, но котелок, всегда заботливо начищенный, по-прежнему сиял в полумраке милостиво отведенной нам членами магистрата квартиры, напоминая матери о том, что она родилась в доме на центральной площади и была дочерью горожанина. Прошлое, доселе во мне дремавшее, теперь проснулось и завело свою обычную канитель. Я — сын неудачника, и собственная жизнь моя никогда не была ничем иным, как непрерывной цепью неудач.

— О чём задумались, голубчик? — нарушила пани Пашекова поток моих мыслей, расслаблявших меня и выработавших во мне за долгие годы покорность перед всем,

что ни свалится мне на голову.— Ведь вы меня не слушаете.

Я заявил, что никогда не слушал внимательней и усердней,— мне как раз не хватало поучения в том духе, что никогда не надо сдаваться, что, по утверждению народной мудрости, выраженной устами пани Пашековой, человеку никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. Подвергался ли кто-нибудь таким преследованиям судьбы, как она? Первый муж ее умер, оставил по себе лишь память банкрота. Она чувствовала, что еще молода,— и неужели жизнь ее кончена? Вышла замуж второй раз — за своего первого квартиранта. Да, его фамилия была Пашек, ответила она мне, тут же опровергнув польщенной улыбкой мою не выраженную вслух догадку, что, быть может, она была замужем и в третий раз.

Инженер Милош Пашек служил на Гарадовой фабрике сельскохозяйственных машин. Вы, наверно, заметили ее трубу. Пани Пашекова опять улыбнулась, так как этой трубы невозможно не заметить: она стоит в нижнем, восточном конце улицы «На валу», прямо посредине ее, и является одной из местных странностей, а равно и достопримечательностей, хотя это звучит уже не столь убедительно... За квартиранта пани Пашекова вышла по любви,—иначе вообще никогда ни за кого не пошла бы. По любви и из жалости. Сейчас она уже не может вспомнить, чего тогда было больше. Долго с ним, бедненьким, пожить не пришлось: он уже был так плох, когда на ней женился, что его даже в санаторий не принимали. Чахоткой болел, чем же еще. У Гарадов схватил ее, кроме работы своей не знал ничего, и до тех пор, пока мог, работал для них даже дома, в постели. Но эти господа плохо вознаградили его вдову.

Вдова. Делаю в памяти заметку, сам еще не зная зачем. Вдова. Может быть, вспомнил вдову — антрепренершу, у которой играл несколько недель, в ту пору, когда пытал счастье на поприще актера. Никогда спокойная мысль моя не увлекала меня за более пустым призраком, чем в это время. К счастью, я очень недурно играл тогда на рояле, владел скрипкой и виолончелью, мог и на кларнете сыграть в крайнем случае, и таким способом окупил потраченную на меня антрепренершей сумму, после того как стало слишком очевидно, что актера из меня никогда не выйдет.

Между двумя этими вдовами не было ничего общего, но существовала как будто еще некая третья, мне неизвестная, но рвавшаяся в мои мысли. За последние дни Вилем

Габа имел мало возможностей настойчиво напоминать мне о себе. Он меня не забывал, так же как и я его. Мы были все время вместе, но я не мог найти ни минуты свободной для разговора по душам. Вдова и плохое вознаграждение... Разве эти понятия как-нибудь связаны с ним, что я за них так ухватился? Увлекаемый потоком сообщений пани Пашековой, я пока не мог этого решить. До конца беседы, в которой, впрочем, я участвовал лишь сдержанными осторожными вопросами, эта фраза не переставала стучать в мозгу моем, как маятник часов, которые, будучи заведены, уже не требуют ваших забот в течение суток.

В чем выражалось плохое отношение владельцев фабрики к вдове такого преданного работника? Это необходимо было выяснить особенно потому, что я обнаружил очень слабое знание жизни и ее коварства. Дирекция отказалась удовлетворить ходатайство пани Пашековой о пенсии на том основании, что она не прожила с покойным полного года, как требуют правила.

...Я знала, что его дело плохо, но что он года не протянет, этого мне в голову не приходило. Как видите, любовь и жалость могут быть дурными советчиками, и в конечном счете самое твердое решение человека мало поможет, если природа задумала иное. Пани Пашекова выходила за своего второго мужа в надежде, что победит глажущую его легкие болезнь или задержит ее развитие хотя бы так, чтобы получить заслуженную награду за свою смелость и заботу об этой человеческой развалине... Вы не представляете себе, как я его кормила, как за ним ухаживала...

Мужья пани Пашековой отличались словно каким-то особым злорадством. Один задумал умереть банкротом, другой — слабый, спору нет,— несмотря на тщательный уход, не дотянул пяти месяцев до нужных двенадцати. Не то что пани Пашекова как-то сердилась на него и не чтила его память, но ведь, право, обидно, когда все твои усилия, вся преданность окажутся впустую. По крайней мере эти господа там, в дирекции, могли бы проявить больше чуткости и не торговаться с ней из-за каких-то жалких пяти месяцев. Как будто супружество измеряется временем. Ей пришлось вытерпеть больше, чем другим за десятилетия.

Я выслушал эту скорбную повесть за ароматной чашкой кофе и булочкой с маслом. Часы у меня за спиной тикали так ясно и довольно, словно на свете нет ничего

отрадней представления об утекающем времени. Отсветы на брюхе медного котелка метали в меня искоса враждебные напоминания, а когда я старался уклониться, взгляд мой всякий раз останавливался на круглом бюсте квартирной хозяйки и не хотел менять направление. Видимо, в результате разногласия между обстановкой и моими чувствами в голове у меня началась неразбериха, имевшая невразумительный исход. Я дал задаток за комнату, и, поскольку нельзя же позволить себе сожалеть о нем, мне пришлось остаться.

2

Как только я устроился у себя в комнате, так сейчас же закрепил на бумаге: «Вдова — плохое вознаграждение». Написанное, это выглядело глупо; но такие короткие заметки редко выглядят умней, побуждая вас играть на разные лады расстановкой слов. Впрочем, я пока не знал хорошенъко, что с этим делать, и потерял пропасть времени на выколачивание жалкой прибыли из иронического сопоставления этих двух понятий.

Комната вызывала во мне тревогу. Когда я ее нанимал, она мне нравилась, но теперь угнетала меня мыслью о том, что я буду проводить в ней непрерывно дни и ночи, прикованный к своей работе, либо валяясь на кровати, которая, как простодушно поведала мне пани Пашекова, была смертным ложем ее второго мужа. Над изголовьем висела его увеличенная фотография в позолоченной раме, один из углов которой был повязан траурной лентой. Безусое круглое лицо отличалось той одутловатостью, что бывает у туберкулезных, для которых вес и температура тела сделались единственным интересом в жизни. Это было простое и довольно бессодержательное лицо, которому глаза не придавали никакого характерного выражения, говоря лишь о какой-то животной жадности, непонятной, как мне казалось, в человеке тяжело больном. Я так долго старался разгадать эту физиономию, что в конце концов почувствовал к ней какое-то отвращение, и мне страшно захотелось снять ее с гвоздя и засунуть куда-нибудь за шкаф. Это выдумка, будто болезнь одухотворяет человека, — сказал я себе.—Судя по этой физиономии, она приближает его к зверям. И меня взяло зло на квартирную хозяйку, что она решила проявлять свою скорбь по умершему именно у меня. Но в то же время не было смелости

попросить, чтобы она взяла портрет к себе в комнату, где ему надлежит быть.

Шагая от сундука то к шкафу, то к столу и раскладывая свои пожитки, я чувствовал, что мне становится все тяжелей на сердце. Ловушка! Ты попал в ловушку, голубчик! Я сел, чтобы продумать это как следует. Чушь. Я защищен от всех козней не столько своей твердой волей, сколько попросту бедностью. Я не на пенсии, и если теперешний мой заработка превысит сумму квартирной платы, так ровно настолько, чтобы хватало каждый день на завтрак, обед и ужин. А она, видно, воображает невесть что. Зовет меня профессором, оттого что я проболтался о своей работе в торговом училище. Не надо вдаваться с ней ни в какие подробности; достаточно, если я буду аккуратно платить.

Не раз уж случалось мне висеть между небом голодной независимости и твердой землей регулярного заработка, но никогда еще — именно так, как теперь. Никогда еще это не происходило по моей собственной воле и с твердым решением выдержать, пусть даже есть будет нечего. Я не имел права усложнять свое положение сомнениями. Оно было не такое уж плохое, хоть и не очень заманчивое. Я сменил одного работодателя на трех — с той выгодой, что мог работать теперь дома и когда мне вздумается, сталкиваясь со своими поильцами-кормильцами только раз в неделю. Но, правда, и с той невыгодой, что мог в любое время лишиться своего рынка сбыта.

Говоря «работать, когда мне вздумается», я допустил поэтическую вольность. Я, конечно, знал, что придется гнуть спину целый день без отдыха, чтобы, по моим подсчетам, заработать хотя бы на самое необходимое.

Мне удалось договориться с редакторами двух иллюстрированных еженедельников. Я никогда бы не поверил, что это возможно, но человек, если понадобится, способен сделать больше, чем сам от себя ожидает. В мою обязанность входило переводить из итальянских газет, которыми они меня сами снабжали, статьи, фельетоны, всякие мелочи по их выбору. И мне повезло еще в одном отношении, причем и тут же застукал это счастье костяшкой пальца по нижней стороне столовой доски. Один из редакторов лишился сотрудника, излагавшего содержание популярных любовных фильмов. Он решил доверить это дело мне, очевидно, просто по той причине, что я оказался под рукой.

Я ждал многого от этой работы — не только потому, что гонорар за нее должен был в течение многих месяцев составлять основную часть моих доходов, — так как мне было обещано, что если я удачно справлюсь с одним сюжетом, мне сейчас же дадут вышивать другой (я называл это вышиванием, так как задача заключалась в выполнении заданного узора), — но еще и потому, что это раскрашивание чужих готовых сюжетов должно было подгонять меня, чтобы я скорей закончил свой.

Но, сидя в этой чужой комнате, которая должна была стать моим домом, а между тем вызывала во мне такое недоверие, я не ощущал ни капли той радости, которую с удовольствием внушил бы себе. Чем была до сих пор моя жизнь, как не мозаикой чужбинности, сложенной из наемных комнат? С тех самых пор, как ушел от матери, я нигде не чувствовал себя дома, даже когда жил у сестры. Куда я ни двинусь, чувство чужбины всюду ползло за мной, не столько из-за того, что у меня не было настоящего дома, сколько потому, что не было ничего, на что я поглядел бы или положил руку и сказал бы: «Вот это сделал ты, это твоя работа».

После всего напряжения и хлопот о том, чтобы обеспечить себе существование, я почувствовал страшную усталость. Теперь, когда я этого более или менее достиг, во мне усилился протест против того бесплодного занятия, которое должно было дать мне кусок хлеба. Ведь смысл работы не в пропитании, — в работе человек должен познавать самого себя, должен запечатлевать в ней свое лицо, а она в ответ должна переделывать его по своему образу и подобию, петь в нем с неослабевающей радостью. Я служил всегда чужим людям, и служил плохо, так как все время тосковал по работе для себя и никогда не мог ее добиться...

Так утекала эта предвечерняя пора, и правда пепрежитого мешалась в ней с ложью того, что я о нем думал. Отмирали минуты, которые никогда не вернутся, и мне казалось, будто пепел сожженных секунд растет вокруг и вот-вот меня задушит. Слишком много времени растратил я попусту, размышляя о своей участи, в которой никого не мог винить.

Усилием воли вырвавшись из этого состояния слабости, я пересел к столу, твердо решив заняться переводом рассказа из журнала, полученного от одного из редакторов, — и не вставать, пока не стемнеет. Действительно, я с первого присеста перевел строк шесть —

десять, причем чешские слова откликались итальянским мгновенно — и так легко, с такой готовностью, что я почувствовал приятное биение радости. Потом в гладко бегущий передаточный механизм попала какая-то песчинка, где-то заело, что-то вскрикнуло в пустоту и не получило ответа. И кончено. Я закурил сигарету, чтобы помочь на минуту сбившейся с толку памяти. При этом я посмотрел на листок со словами: «Вдова — плохое вознаграждение». И потонул в мечтах, прежде чем успел помешать этому.

3

Что было в этих двух словах такого, что я вдруг вспомнил о Вилеме Габе? Мне не удалось уловить какой бы то ни было связи; чуть заметная дрожь, отметившая сопоставление Габы с этими двумя понятиями, прошла, и было бы напрасно пытаться снова вызвать ее. Я опять стал бегать по всем дорогам, которые, казалось мне, были передо мной. Как насчет этой антрепренерши, такой скандальной и бесчувственно суровой в обращении с труппой? Нет, в эту сторону нет ходу. Только Паласа благодаря ей я стал видеть яснее и отчетливей, чем прежде, как бы на фоне черной стены. И он чуть не засиял белизной. Это был тоже суровый человек, но до чего же по-другому суровый. Неумолимый во время репетиций и спектаклей, он, только работа бывала окончена, якшался со своими актерами как равный с равными, ища способа загладить и у них и у себя сознание, что, кажется, всего минуту тому назад он чуть не щелкал над ними бичом. Он не оправдывался, слишком хорошо зная эту братию и понимая, что ему нельзя ни на секунду обнаруживать слабость. Но умел каждому сказать в подходящую минуту нужное слово, и улыбка его убеждала вас, что вы преодолеете все трудности. Благодаря его необычайной любви к театру все вокруг проникались уверенностью, что на свете нет ничего более важного и прекрасного. Члены его труппы никогда не жалели о том, что приняли на свои плечи ярмо этой тяжелейшей дисциплины. А так как он умел забывать о выданных авансах, если они не выходили за пределы естества, актеры покидали его только в случае незыблевой уверенности, что нашли нечто лучшее, или если на них нападала актерская дурь. Но большинство через некоторое время возвращалось обратно.

С годами таким цельным человеком стал этот старый Палас, что уже не вспоминал былых разочарований и не жалел об упущенном. Театр был его коньком и страстью, он отдавал ему все свои силы и способности, с энтузиазмом ловил и воспитывал молодых актеров, не особенно жалея, если случалось кого из них потерять, так как он знал жизнь и свойственные всем актерам черты. Казалось, в нем нет ни одной трещины, остаток пути перед ним точно прочерчен, и он спокойно пройдет его до конца. Если старость лишит его возможности разъезжать по свету, завоевывать новые города и хлопотать о своей беспокойной актерской братии, на этот случай у него имеется сумма, достаточная для того, чтобы где-то осесть и отаться приятным, лишенным горечи воспоминаниям.

Нет, нет. Стоп. Отставить! Ничего не поделаешь. Мы нашупали слабое место. Ведь он женат. Женился года три тому назад, не больше, на одной актрисе из своей труппы, моложе его по крайней мере лет на тридцать. Таким образом, он заплатил дополнительную дань своей страсти обнаруживать таланты — и своей мужской и актерской спеси, так как и в позднем возрасте выглядел скорей мужчиной, чем стариком, скорей Макбетом, чем Шейлоком или королем Лиром, и мог еще сыграть даже Францева в «Марише».

Ни один стареющий мужчина не защищен такой мудростью, которая позволила бы ему выдержать нападение молодости, принявшей облик, в котором слились красота, лукавство и дарование. Но мы не должны осуждать эту девушку, его жену. Ведь она его на самом деле любила. Вначале. Она любила театр, а он был самым прекрасным его воплощением, какое ей приходилось встречать. И бог ведает чем, но только этих молоденьких дурочек иной раз невероятно притягивает клонящаяся к закату мужская зрелость. Это было три года тому назад, то есть довольно задолго до того, как земля между ними начала проваливаться, образуя все более глубокую яму. А теперь давно уже стало ясно, какую они оба допустили ошибку, но ни тот, ни другой еще не понимали, как выбраться из сети, в которой оба запутались.

Паласу становилось жаль ее; но чем больше он чувствовал свою неспособность удержать ее по закону жизни, тем упорней за нее цеплялся, тем меньше находил в себе сил примириться с необходимостью от нее отступиться и направить ее по надлежащему пути. А она? Она начала

его ненавидеть, хоть и боролась с этим чувством, подавляя его в себе; ненавидела не только за любовь, которую он не мог давать ей в той форме, на которую она имела право, но и за то, что, научившись от него столькому, чувствовала в себе достаточно смелости, чтобы выступать на других сценах, получше его балагана. И мечтала о них больше, чем о молодых и пылких любовниках. Но была к нему привязана, и какой-то остаток уважения и любви, от которого она не могла отделаться, сострадание к нему и стыд перед столь подлым поступком мешали ей бежать от него.

А он что? Для человека, у которого такой кусок отмеченного ему пути уже за плечами, который пережил и видел, как переживают любую выдуманную и действительную страсть, не могло остаться тайной, что творится в душе его собственной жены. Но ему не хватало решимости расстаться с ней. Наоборот, он делал все возможное, чтобы ее удержать. Отзывался о ее игре довольно небрежно, выражая тревогу за нее, всячески подчеркивал, что без его твердого руководства ей не сыграть даже немую роль служанки с подносом в руках. При этом он оправдывался тем, что делает все это ради ее же пользы и что ей остается неизмеримо больший отрезок жизни, чем ему, так что он вправе без особых угрызений совести отнять у нее несколько коротких, быстролетных лет. Изменяла ли она ему? Вероятно, нет. Любовные желания сливались у нее с актерскими мечтами, а в мужской половине труппы не было ни одного, кого она ценила бы выше мужа и даже считала бы равным себе.

При таком положении дел на сцене появился Вилем Габа. Люди притягивают к себе судьбу своими руками, и собственные страсти их роют им могилу. Трудно только распознать, в чьем лице ты притянул к себе судьбу и которая из этих страстей — твой могильщик. За три года позднего Паласова супружества в труппе его сменилось столько учеников, привлеченных его страстью обнаруживать таланты, что появление еще одного не представляло ничего особенного.

Нам придется внести поправку в первоначальный взгляд, будто в решении Вилема уйти из дома и посвятить себя театру не играла никакой роли женщина. Мы не имеем права настолько пренебрегать мнением мещан только на том основании, что это мещане, и закрывать глаза на действительность. Люди меряют поступки своих ближних дедовским аршином, но и поступки наши тоже очень редко

избирают и прокладывают новые пути. Основные мотивы наших действий не меняются, мы имеем дело только с новыми вариациями. В конце концов каждый из нас — только старая погудка на новый лад, и наша жизнь и большинство наших судеб разыгрываются в каком-то невыразительном, тусклом унисоне.

Я хотел избежать женщины в начале истории Вилема, но, оказывается, она здесь все же скрывалась. Как ни обидно, а приходится согласиться с теми мудрецами из родного города. Но и они у себя за печкой располагали только одной половинкой правды, а вот теперь она целила: Вилем был слишком трезв в своих жизненных стремлениях и достаточно провинциален, чтобы женщина эта сама по себе могла заставить его отказаться от обеспеченного будущего. Но когда он уступил доводам Паласа и своему собственному влечению к театру, лицо ее осветило ему дорогу, поначалу темную и неверную.

Что это за лицо? Я дрожу, думая о нем. Мне хотелось бы, чтоб оно было полно прелести, но в красоте этой женщины есть что-то неистовое; она заставляет тебя быть все время настороже, все время готовым защищаться, все время испытывать страсть и страх; я вижу ее как Антигону и Виолетту, как Клеопатру и Джульетту, как королеву Кристину и Дездемону. После всех этих провинциальных курочек, которых так легко завоевать, но от которых гораздо трудней отделаться, первая встреча с Эвой Паласовой повергла Вилема в настоящее смятение. Тут он впервые узнал, что это такое — когда при взгляде на женщину юношей овладевает столбняк, когда у него без всякой видимой причины потеют ладони и шевелятся волосы на голове. Он краснел и начинал заикаться каждый раз, как ему случалось говорить с ней не на сцене, а в жизни. Мне кажется, что при все возраставшем отдалении между супругами, они от души забавлялись Вилемом, ожидая, что он сорвется и позволит себе какую-нибудь вольность, после чего Эва обычным способом хорошенъко осадит его и отрезвит, раз и навсегда, как всех его предшественников.

Я боюсь за Вилема — в том положении, в какое я его поставил. Так много зависит от того, как он себя поведет; по существу, теперь-то впервые должен он показать нам, какой он пробы. Но на самом деле — разве сам я вызвал это своими вздорными измышлениями? Не верней ли, что каждый из нас несет в себе свою судьбу и только сматыва-

ет с ее веретена уже заранее написанное? Как бы то ни было, Палас и жена его ошиблись в расчетах. Вилем был наделен сообразительностью прирожденных соблазнителей, предупреждающей их, когда им грозит опасность поражения. Но еще больше, чем боязнь неудачи, две вещи удерживали его от того пути, на котором ломали себе шею его предшественники. Он не хотел любовной интриги, так как был задет глубже, чем когда-либо прежде. Это пробуждение или, верней, рождение чувства не могло не иметь последствий. Оно сломило его циничное или, как он считал, мужественно-презрительное отношение к женщинам, помогавшее ему одерживать победы над своими землячками. Оно наполнило его душу покорностью, в первый и, быть может, последний раз сделав его способным видеть в любви не только себя.

Он честно боролся со своим чувством, и Палас с женой перестали улыбаться. И не только улыбаться, но и толковать. Наступил момент, когда каждому из них пришлось действовать, чтобы как-то справиться с положением. И старый Палас с ужасом заметил, как Эва, попервоначалу лишь заинтересованная пылом Вилема, начинает малопомалу разделять его. Сперва только отблеск огня танцевал на белой стене. Но прошло немного времени, и стена занялась сама. «Действительно, все обстояло именно так?» — спрашивал я себя, потому что характер Вилема в данном случае оказывался не тем, каким он представлялся мне при первой нашей встрече. Не забывайте, однако, что он был тогда почти мальчиком и не следил за собой так, как потом. Нам пришлось бы заподозрить его чувство в неискренности, если бы им не руководило свойственное молодежи рыцарство, игра в страдание, идея мучительно-го, правда, но благородного самоотречения в пользу отечески относящегося к нему учителя.

Редко случается, чтобы трое людей попадали в такое безвыходное положение, как супруги Паласы и Вилем Габа. Первый любовник Вилем и героиня Эва чуть не каждый день разыгрывали самые жгучие любовные сцены, произнося слова, которые, казалось им, рвались прямо из сердца, и их чуть не трясла лихорадка от страха, когда им надо было друг друга обнять и поцеловаться, так как оба чувствовали, как легко игра может перейти в действительность, обнаружив то, что они с таким усилием подавляли в себе и скрывали от остальных. А Палас был вынужден проходить с ними эти сцены, режиссировать, наблюдать за ними из-за кулис или даже играть в них роль то тра-

тического, то комического обманутого мужа. Своя беда не настолько ослепляла его, чтоб он не видел их беды.

Тут не было ничьей вины. Его — не больше, чем их. Он знал, что может сделать здесь так же мало, как тот, кто пытался бы закрыть руками брешь в прорванной плотине. Много решений приходило ему в голову, но он не был в состоянии остановиться ни на одном. Он мог сказать себе, что уже слишком стар, чтобы становиться между двумя молодыми людьми, которые тянутся друг к другу, или мог объявить Вилему, что тот не оправдал его ожиданий, и отослать его обратно — за прилавок. Но он любил обоих так, что не мог отказаться ни от того, ни от другого. Он сумел сделать только одно: ждать с ужасом, когда молодость заглушит в них желание быть честными.

Труппа переезжала из одного города в другой, солнце, день ото дня все более жаркое, поднималось к вершине лета, а развязка не наступала. Вилем делал огромные успехи, и старый Палас готов был скорее умереть, чем с ним расстаться. Это был не только талант, рвущийся вперед и кидающийся на все, что ему ни подсунут, — с тем же рвением Вилем стремился убедить в своей ценности кого-то еще, помимо Паласа, хотел понравиться кому-то больше, чем самому себе и зрителям. Он был новичок, нащупывающий и ищащий свое выражение, свой жест, свой голос, причем было уже несколько мгновений, когда он играл с такой совершенной уверенностью и таким искренним жаром, что старый Палас только головой качал. Он был слишком опытный театральный деятель, чтобы не понять, в чем дело, но как разберешь, сколько здесь от самого Вилема и сколько — от огня, зажженного в нем его любовной одержимостью?

До предела натянутая струна если даже не порвется, то издаст такой звук, который может оказаться неприятным для вашего слуха. Вот эти двое возвращаются за кулисы после одной из тех самых сцен с объятием и долгим поцелуем, которых требуют автор и режиссер. Обоим глаза еще туманит вскипевшая кровь, и в старом Паласе восхищение их игрой борется с сомнениями ревнивца. Чтоб заставить эти сомнения замолчать и утвердиться в лучших чувствах, он говорит:

— Черт тебя дери, Вильда. Вот это сыграно! Можно сказать, оторвал...

Вилем, кривовато улыбнувшись, спешит к себе в артис-

тическую. Но Эва останавливается и, глядя на мужа злым взглядом, тихо произносит:

— Ты уверен, что это была игра?

У старого Паласа сжимается горло, но актер в нем сохраняет верный тон и маску.

— Ты хочешь сказать, что это было слишком реалистично,— отвечает он наконец со снисходительной улыбкой.— Это молодость. Немножко кидается из одной крайности в другую. Она романтична в замысле, а в трактовке — слишком копирует действительность. Но и в том и в другом умеет быть убедительной.

И директор спокоен: ему удалось обезвредить острие, если оно вообще таилось в замечании жены. Он чуть не поздравляет себя: ловко обернулся его профессиональной ватой! Но Эва что-то слишком едко смеется:

— Насчет убедительности — это верно. О да!

И в конце концов наступил такой момент, когда лед, по которому мы до тех пор ходили более или менее безопасно, вдруг начал при каждом шаге трещать. В один прекрасный день Вилем, охваченный страхом и отчаянием, собирает все силы и попробует спастись. Он увидит руку помощи в известии, что другой труппе нужен первый любовник. И он захочет взять эту протянутую руку пока не поздно. Отыскав старого Паласа перед репетицией, он говорит ему:

— Мне кажется, я переоценил себя. Еду обратно к родителям.

Увидев их разговаривающими, Эва подходит к ним, и Вилем чувствует, что у него язык прилипает к горлани — отчасти от сознания лжи, отчасти от невозможности встретиться глазами с женой собеседника.

— Слышишь, Эва? Он хочет нас бросить. Говорит — оробел. Что ты на это скажешь?

Зрачки Эвиных глаз сузились и стали ледяными.

— Страх — плохой помощник,— промолвила она медленно и значительно.— Кто боится, тому лучше бежать.

Произнеся эти два афоризма, она повернулась на каблуках и скрылась в уборной для актрис. У Паласа опять отпала забота. Вилем отказывается от своего решения еще быстрей, чем принял его. Старый мим опять долго сидит в пустом зрительном зале, устремив взгляд в пространство. Он должен бы радоваться, что ему удалось сохранить своего любимчика.

Должен бы радоваться.

Небо давно потемнело, и над крышей напротив показалась и снова скрылась первая звезда. Я забыл об ужине, и теперь было уже поздно идти за ним. Я еще мог бы поесть где-нибудь в трактире, но это было мне не по карману. Я открыл бутылку с молоком, приготовленным на утро, набил себе рот черствой булкой и запил ее без особого удовольствия. Вечер распускался большим темным цветком, и звуки, издаваемые улицей, как-то отупело и бессильно колыхались над ним, жужжа.

Молоко оставило у меня во рту какой-то неприятный привкус, и сигарета показалась мне противной. Я выполоскал рот водой из умывальника и затем хорошенко напился этой теплой жидкости, пахнущей жестью. В желудке появилась какая-то тяжесть от этой бурды, но я постарался о нем не думать. Вернулся к столу и к дельфиньей игре звезды над домом напротив.

Стена между моей комнатой и кухней, где спала моя хозяйка, была чересчур тонкая. Мои чувства, обостренные вечерним часом и продолжительной игрой воображения, воспринимали все слишком резко. Пани Пашекова, видимо, готовилась ко сну. Я слышал каждое ее движенье, каждый вздох, по мере того как она, раздеваясь, освобождала свое роскошное тело от тесных лат бюстгальтера и пояса с подвязками. Я преследовал эти образы насмешкой, но слишком медлил расстаться с ними, и мысли мои, льющиеся к ним и равнодушные ко всему другому, упорно сопротивлялись, когда я пробовал их отогнать.

На кухне со стоном заскрипела кровать, и пани Пашекова вступила с ней в единоборство. Я встал и высунулся из окна. Почерневший в ночной тьме ствол трубы Гарадовой фабрики торчал над освещенной улицей. Прямо против меня, на тротуаре перед Народным домом, где был кинематограф, несколько молодых людей развлекались тем, что сталкивали друг друга на мостовую. Тут и там перед подъездами домов еще стояли по двое женщины с непокрытыми головами, скрестив руки на груди. От желтоватых луж света под фонарями будто веяло еще теплом угасшего солнечного дня, но западный ветерок длинными движениями успокоительно прохладной руки своей гладил меня по налитому как свинцом затылку. Звезда над крышей приманила из глубин подруг и прекратила свои водолазные проделки. Ночь расцветала, приветливая, ласковая.

Если б такую ночь перенести на театр, раскинуть ее над изящно имитированным садом! Ночные явления с красиво разбросанными мерцающими огнями производят очень сильное действие на впечатлительных зрителей. Любовная сцена в саду, над которым простерлось звездное небо... У каждого в воспоминаниях найдется какая-нибудь минутка, когда ему казалось, что сердце вселенной переселилось к нему в грудь, когда он не знал, что благоухает вокруг него — то ли девушка в его объятиях, то ли взрытая дивной ночью земля, то ли звезды цветов, откликающихся своим благоуханьем сиянию звезд. Представьте ему что-нибудь в этом роде на подмостках — и он ваш всеми фибрами своего существа. Он забыл о кулисах и душной атмосфере зала, он плывет по волнам сновиденья. Полумрак, обступивший тех двух на сцене, втянул его в себя.

Иногда человеку тяжело все видеть ясно. Лучше додуматься и довоображать. Сумрак придает тебе смелости, которой не хватает при свете. Режиссура предписывает продолжительное безмолвное объятие, но Эва слышит, как дыханье возле ее уха наполняется ее именем:

— Эва!

И ее губы раскрылись:

— Вилик!

Когда налетают такие смерчи, женщина не так легко теряет голову, как мужчина. Наоборот, природа поручила ей управлять ими. Поэтому Эва, видя, что партнер утрачивает чувство пространства и времени, слегка одернула его шепотом:

— Играйте же, глупый!

Занавес. Эти двое будут теперь ловить подходящий момент для того, чтобы сыграть главную любовную свою сцену без зрителей и аплодисментов.

Найти его было не так легко, но они вспоминали, каждый про себя, об упущеных возможностях и учились на них. Это могло совершиться уже в то время, когда старый Палас уезжал куда-нибудь подготовить переход труппы в следующий город, — если б только они знали тогда друг о друге то, что знают теперь. Но ездил раз, поедет и в другой. Труппа должна разъезжать, и директор — ее квартирмейстер.

Сечь-на-Рычной, может быть, один из самых очаровательных городков в стране, но для театральной труппы это медвежий угол, гиблое место. Уже после первых двух спектаклей паласовцы поняли, что им здесь на ночлег не заработать, не говоря уж о накладных расходах. Просто

попытка коллективного самоубийства — оставаться здесь две недели, как требовал контракт с владельцем театрального помещения. Так вот тебе твой кабальный контракт, негодяй, хвались своим трактиром, где течет со стен! Заделай в нем окна и устрой в нем конюшню. Увидишь, как у тебя начнет дохнуть породистая скотинка там, где люди должны были творить и наслаждаться искусством. Мы режем ему правду-матку в глаза, но это нам не помогает, и директору приходится ехать искать какой-то другой город — взамен, где бы с нас хоть кожу не сдирали. Но города просто так на дороге не валяются. Пять дней. Господи боже! Судьбе довольно доли секунды, чтоб вывернуть человеческую жизнь наизнанку.

Для театральной труппы Сечь-на-Рычной — медвежий угол, гиблое место, но это один из самых очаровательных городков в стране. Он расположен на скалистом утесе и висит в добрых ста метрах над уровнем реки, которая в этих местах оправдывает свое название¹. Она гудит в каменистом русле, порой даже ревет и стонет, не имея пространства, куда разлиться, особенно когда в весеннее половодье начнет разыгрывать из себя большую реку. На самой верхушке этого утеса торчит сторожевая башня Сечи, когда-то — города разбойников-рыцарей, и наиболее сохранившаяся часть ее превращена в приходский дом, где священники при помощи молитв ведут бой с призраками зла, которым в давние времена здесь был пропитан каждый камень. Хотя, возможно, и ими порой овладевает наполняющая местных жителей странная гордость кровавым и злодейским прошлым бывших хозяев Сечи.

Сечь не имеет даже площади; единственная порядочная дорога, соединяющая ее с миром, прибегает с запада через покрытую полями широкую равнину и кончается перед костелом. Вдоль нее сосредоточены лучшие сечские дома, а остальные, в большинстве своем лачуги, рассыпались по склону, образуя короткие кривые улочки, выходящие, как правило, в пустоту — на крутой обрыв к реке. Но все эти домики стоят в садиках, окруженные низкой каменной стенкой, — древних садиках с древними яблонями, грушами, сливы, так как фрукты родятся на славу на здешней как будто бы скучной почве, густо заросшей сиренью, бузиной, боярышником и жимолостью. От одних морозов до других воздух тут напоен ароматами леса, реки, садов, где всегда что-то цветет и непрерывно гулко

¹ Рычна — по-чешски — ревущая.

журчит вода. От вечного рокота текущей воды и этих благоуханий у вас иногда бывает такое чувство, будто вы ступаете не по земле, будто за вами по пятам идет сон, и если вы побежите, чтоб укрыться в действительность, улочки, выходящие в пустоту над рекой, убедят вас, что вы от него никогда не очнетесь.

Получается, как будто я ищу каких-то смягчающих обстоятельств для тех двух, но право же — зачем мне это нужно? Ведь извинительным было все, что толкало их друг к другу, и неизвинительным то, что цеплялось за них, становилось им поперек дороги. Они не нуждались ни в прикрасах, ни в кнутиках, которыми природа подгоняет нерешительных, чтобы те упали друг другу в объятия. С ними произошло бы то же самое, если б они находились в пыльном скучном равнинном городишке либо в почерневлом придатке какого-нибудь промышленного центра. Красота местности была дана им дополнительно, как особая милость, может быть, для того, чтобы вознаградить их за краткость срока, который был у них в распоряжении. Какие-нибудь пять дней... И они даже не знали, что получится пять. Могло быть всего-навсего день или два. Это казалось им даже более вероятным.

Гостиница, где они остановились, находилась, как большинство сечских домов, над обрывом, и из окна Вилемовой комнаты открывался вид на реку, когда Вилем к нему подходил, и на лужок, когда глядел в него с кровати. Черная зубчатая кайма елового леса на том берегу оторачивала нижний край занавеса, который является одновременно сценой спектакля, чьей развязки мы никогда не дождемся. Думаю, что это не было для них ободряющим зрелищем, а скорей угнетало их. Вечность, глядящая мириадами холодных глаз, слишком настойчиво напоминала о том, как мало времени им отпущено. Они только об этом и думали, лежа рядом, успокоенные после отчаянных, горьких объятий. Что будет, когда вернется Палас? Вилем первый задал этот вопрос вслух, и Эва, рядом с ним, задрожала, словно на нее вдруг пахнуло ледяным дыханием ночи.

— Я не хочу об этом думать сейчас. Не могу.

— Да ведь мы ни о чем другом не думаем, — возразил Вилем. — По крайней мере я.

— Не представляю себе, как я буду дальше с ним жить.

— Я в глаза не смогу ему глядеть.

— Скажу ему все.

— Он сам все узнает, только посмотрит на нас.

— Мы не можем прятать голову, как страус, и делать вид, будто ничего не случилось. Я бы не выдержала. Лучше всего было бы скрыться и уехать.

— Хорошо отплатил я ему за все, что он для меня сделал.

— Я заплатила ему за нас обоих,— воскликнула Эва в приливе возмущения и ненависти.— Заплатила дороже, чем приходится платить за что бы то ни было в жизни.

— Зачем ты это делала? Зачем?

Над Эвиным белым телом, распространяющим благоухание мяты и цветущих трав, склонился твердо очерченный профиль Паласа, вопреки седине презирающий страсть. В эту минуту Вилем забыл про всю свою благодарность и почувствовал, что бессмысленно унижен и ограблен прошлым Эвы. Приподнявшись над ней и впившись пальцами в ее плечи, он воскликнул:

— Я увезу тебя. Ты не должна оставаться с ним ни одного дня.

Эва, за минуту перед тем объявлявшая, что лучше всего собраться и уехать, с неожиданным резким смехом взорвала:

— А куда? Может быть, к твоим родителям — всю жизнь крупу вешать да кронки считать?

С горя и отчаяния они спорили о своей участии, потом опять бурно помирились — утолили посредством плоти боль души, вновь и вновь пробивающуюся из-под минутного притупления.

Чем все это могло кончиться? Я не хотел знать, боялся об этом думать, совершенно так же, как они. Пять дней — такой чудовищно короткий отрезок времени, хотя человек знает, что год — не намного больше. Возвращение Паласа приближалось, но что оно сулит? Его ждали с минуты на минуту, кулак старика мог ударить в дверь, за которой они обнимались, в то мгновенье, когда они праздновали одну из тех мимолетных побед над ощущением внешнего мира и своего места в нем. Но ничего такого не произошло, хоть это и мало отразилось бы на дальнейшем ходе событий.

Паласа доставил на пятый день поздно вечером местный поезд, курсирующий между Сечью и магистралью на Прагу. Погода еще накануне изменилась, и несколько гроз с сильными ливнями прошло над окрестностью. Палас с трудом одолевал последнюю часть пути — по голой равнине от вокзала до города. Он боролся с ветром, налетавшим на него тут без всякого удержанья, скользил и увязал

в грязи давно не ремонтированного большака. Немногочисленные попутчики, вышедшие из поезда вместе с ним, давно ушли вперед. Стой низких, кривых и развалистых слив, стонущих под хлестаньем ветра, был единственным его товарищем на этом тяжелом пути. Дождевые тучи валили низко над беззащитной равниной, и пасмурные сумерки быстро пропитывались тьмой. Ослепленный и оглушенный свирепыми наскоками одичалой атмосферы, Палас продвигался вперед очень медленно. Он дышал все тяжелей и часто прислонялся к стволам склоненных над дорогой слив.

Уже совсем стемнело, прежде чем он достиг окраины города, слишком слабый для того, чтобы почувствовать облегчение под защитой его стен. Он уже отдал последний грошик своих сил, и поддерживала и вела его лишь неотступная мысль о том, что, поддайся он своей слабости и упади, и он сам, и вся труппа будут унижены. Потому что весь этот провинциальный сечский мирок наверняка с наслаждением высекребет отсюда ту извращенную истину, что, мол, так уж комедианту на роду написано — оклевать, как собаке, под забором,— и вот это самое с ним и приключилось.

Перед входом в трактир «У золотой затычки», где он жил со своей труппой, он оперся о стену. Знал, что у него ужасный вид, чувствовал обнаженность костей лица и давление пустоты в глазницах, словно глазные яблоки из них давно выпали. Еще несколько раз свободно, спокойно вздохнуть, и все было бы в порядке! Но свободно дышать — невозможно. При каждом вздохе — проникающая прямо в грудь острыя боль под лопатками. В бронхах — свист и хрип. Простыл немного, ничего особенного, попал под один из этих коротких, но сильных проливней: на поезд торопился, да и спрятаться было негде. Потом сидел в поезде, промокший и потный,— ну и схватил лихорадку. Немного простыл, только и всего, но — страшное дело, как подобный пустяк может забрать власть над человеком в его возрасте.

Однако такой молодец, каким всю жизнь был Палас, умеет наскрести остатки решимости и воли там, где другой давным-давно бы оказался банкротом. Сколько раз случалось ему выступать в лихорадке, с температурой под сорок, чтоб только не менять программы, так как он по опыту знал, что ничто так не расхолаживает зрителей, как замена спектакля, хоть в афишах и оговорено право на это... А теперь — нельзя же войти в комнату таким стра-

шилищем и, сделав два шага, свалиться, — нужно сыграть роль антрепренера, вернувшегося после удачных переговоров в новом городе.

В зале трактира «У золотой затычки» обычно сидели только Паласовы актеры, — местные жители хранили верность пивной. Старик, войдя прямо с улицы, нашел в зале только Вилема и свою жену. Остальные расположились по своим комнатам, утомленные пятидневным бездейственным ожиданием, чувствуя, что им опостылел этот зал, где даже бражничанье имело горький привкус, вызывая кошмары вместо забвенья.

Над головами сидящей пары горела единственная лампочка, хилая и подслеповатая, но свет ее, слишком слабый, чтобы сразу показать влюбленным, в каком состоянии Палас, был, наоборот, вполне достаточен, чтобы объяснить старику, что происходит между ними. То, как их головы, интимно склоненные друг к другу, сразу друг от друга отпрянули в то мгновение, когда он открыл дверь, могло значить только одно.

Что же с ним? Ведь это зверство — быть того, кто находится буквально при последнем издохании. Но этот старик поднялся выше себя, горечь не захлестнула его, боль не разорвала ему сердца, отстукивавшего последние удары. Ему вдруг стало ясно, отчего он так рвался скорей обратно: он хотел знать, хотел увидеть своими глазами, хотел с этим столкнуться и не уходить, изображая блаженное неведенье. Законы драмы, очевидно, одни и те же и на сцене, и в жизни. Только третий акт подтверждает силу драматурга, только третий акт венчает исполнение актера.

Когда они встали и пошли ему навстречу, недоставало только, чтоб они держались за руки, как дети, ищащие друг у друга защиты от опасности, — так ясно говорила их поза о том, что между ними совершилось. Вилемово приветствие было смущенным, Эвино — тайно враждебным. Вилем помог ему снять пальто.

— Вы совсем промокли, — испуганно промолвил он.

— Меня застала гроза, но горячий чай с ромом исправит положение, — ответил Палас, подивившись, из какой бездонной глубины исходит его голос, как гудит и сипит. Наскоро оценил его, по старой привычке: голос неприятный, но позволяет многое сделать и, возможно, как раз подходит для теперешней моей роли...

Вилем и Эва испуганно переглянулись. Ну и пускай... Важно, что он сидит. Он знал об этом каждой частицей своего изболевшегося тела. Эта дорога с вокзала была как

бы суммой всех дорог, пройденных им до нынешнего дня. Так страшно — почувствовать вдруг усталость сразу от всех шагов, сделанных вами за всю жизнь. Тут уж вам ничего не захочется, кроме отдыха, так как вы представить себе не можете, чтобы еще куда-нибудь идти, и зачем вы вообще столько ходили... Надо только выдержать еще мгновение,—он еще не доиграл заключительной сцены.

Вилем побежал на кухню — насчет чая, чтобы не надо было ждать ленивого и нелюбезного слуги, и Палас остался наедине с женой. Он увидел в глазах ее сострадание, страх и какую-то жестокую надежду,— но, может быть, ему показалось.

— Как съездил? — спросила Эва, но, казалось, на языке у нее — другие слова, которых она не может произнести.

— Хорошо. Мы там как-нибудь возместим то, что потеряли здесь.

— Это довольно трудно.

«Это довольно трудно», — сказала она. Да, трудно улыбаться и еще гораздо трудней говорить, но, кажется, трудней всего дышать. Наконец, немного собравшись с силами, он принудил свое лицо к улыбке и язык — к разговору.

— Почему ты думаешь, Эва? Нет невозможных потерь. Во всяком случае, наши, конечно, не такие.

Поймет она, что я хочу сказать? Мгновенная игра пауз. Да или нет? Но не можем же мы выкладывать все подробно, как в какой-нибудь античной или ренессансной пьесе. Надо держаться ближе к современности. Как-нибудь так, как мы бы сами переживали и чувствовали, если б были больше людьми, чем актерами. Так, чтоб было как можно ближе к действительности и правде. Я кинул ей довольно ясный намек — и если б только мог подсказать ей ответ! Но ведь я сам не знаю его...

— Да, — сказала Эва со слабой улыбкой. — Может быть, правда — не такая. Но сейчас мы этого знать не можем.

Девочка моя, как же мне благодарить тебя? Мы хорошо сыграли, чего же больше? Потому что остальное в пьесе было бы только обязанностью, которую нам не удалось бы ничем скрасить. Получилось немножко коротко, но мы сказали друг другу, пожалуй, все, что было нужно, и на большее у меня бы уж не было сил.

— У тебя усталый вид. Тебе надо пойти лечь.

Эва искренне испугалась. В эту минуту она забыла о любовнике. Как все непонятно! Если б Палас остался

жив, она непременно убежала бы от него, но сознание, что он где-то есть на свете, и она имеет возможность к нему вернуться, все время давало бы ей ощущение уверенности и силы. А без него ей пропадать, как заблудившемуся ночью в лесу ребенку.

Он прочел это в ее глазах и благодарно ей улыбнулся. Что лучшее могла она подарить ему на прощанье?

— Успею еще отдохнуть,— промолвил он.

Но вот уже налицо Вилем с кружкой горячего чаю. Он чуть не стал у нас, к концу этой главы, излишней фигурой. Когда он ставил кружку перед Паласом, взгляды обоих встретились, и ночи любви, пережитые с Эвой, сразу запылали длинным чадным языком огня, будто целлулоидная игрушка. После них остался только нагар пристыженности и душевной боли. Да, здесь было нечто такое, чего никогда уже нельзя будет ни объяснить, ни искупить. А во взгляде Паласа было что-то вроде примиренного мановения руки.

Теперь действие быстро пошло к развязке. Ничто не могло ни задержать его, ни остановить, ни вернуть к началу, чтобы повести снова и иначе. Палас взял кружку в обе руки, так как чувствовал, что удержать в одной не хватит сил. Сначала он прихлебывал маленькими глотками, пока пересохшее нёбо и язык не привыкли к горячему, но остальное проглотил залпом. Только поставил кружку на стол,— закашлялся. Приступ длился долго. Кашель рвался из груди его с раздирающими хриплыми отголосками. Эва и Вилем стояли над ним, растерянные, испуганные. На губах у него появилась кровавая пена, на лбу выступили крупные капли пота и потекли по вискам, по щекам. Эва стала вытираять их своим носовым платком. Он почувствовал запах, подобный запаху ее дыхания, и страшная улыбка искривила его лицо. Когда приступ кашля прошел, лихорадочный румянец сбежал с его щек, и лицо стало серое, как свинец. Эва и Вилем скорей дотащили, чем довели больного до комнаты. По дороге он еще пробовал что-то сказать, но тщетно. Как только его уложили в постель, он потерял сознание. Вилем побежал за врачом. Тому оставалось только поставить диагноз и покачать головой. Палас умер на рассвете, под вой ветреной ночи, гудевшей в башне замка неподалеку, и гулкий, как рев голодного хищника, рев Рычной, вздувшейся от ливней глубоко в долине.

Я встал и взволнованно зашагал по комнате. Я полюбил этого старика. Я не мог примириться с его утратой.

Зачем он умер? Неужели только затем, чтобы те двое могли наслаждаться друг другом, не испытывая угрызений совести? Я ожесточился против них, хотя ни того, ни другого ни в чем не мог винить. Мало-помалу мне стало ясно. Жизнь Паласа была кончена, Эва с Вилемом явились в подлинном смысле ее высшей точкой. Живи он и дальше, его ждала бы их дружная ненависть, и в один не слишком далекий день они бы от него убежали. Что было бы с ним потом? Он прозябал бы где-нибудь в углу, больше ни на что не способный, питаясь горечью воспоминаний. Таким путем он одержал бы победу над ними, хотя не имел бы представления об этой победе и даже, наверно, отверг бы самую мысль о ней.

«Смерть не обязательно всегда конец,— подумал я,— она бывает и выходом». Вилем и Эва были еще слишком молоды и не успели очерстить, поэтому им не легко было через нее перешагнуть. Она легла между ними, и они при взгляде друг на друга в течение тех трех дней, пока Паласа еще не похоронили, встречали друг у друга в глазах уже не прежнее сияние, а скорее какой-то неуверенный вопрос, на который оба боялись ответить. Живому Паласу они могли идти наперекор; мертвый, он напоминал им обо всем, чем они были ему обязаны. Когда под ноющий распев дряхлого священника и гулкий хорал Рычной его покрыла земля, труппа собралась напоследок в зале трактира «У золотой затычки».

— Я думаю, что могла бы вести труппу и дальше на правах вдовы,— обратилась к ней Эва.— Но у меня нет ни охоты, ни смелости. Да вы, может быть, и не стремитесь к этому. Вам надо поискать что-нибудь новое, лучшее. Я лично именно так и поступлю.

Пообедали в последний раз все вместе, выпили несколько бутылок вина за упокой души, но в тот же день разъехались в разные стороны, торопясь как можно скорей где-нибудь еще законтрактоваться. Вечно дырявые карманы их не допускали продолжительных колебаний.

Эва замешкалась с отъездом, хоть стремилась уехать, может быть, больше, чем другие. Ей предстояло еще немало хлопот, связанных с проводами человека на тот свет. Вилем тоже остался, несмотря на то что она не находила для него ни слова, ни взгляда. Когда закрылась дверь за последним из их бывших товарищей, он подошел к ней с вопросом:

— Могу я чем-нибудь помочь тебе?

— Нет,— ответила она.— Все, что осталось, я могу устроить сама. Тебе надо было ехать с остальными.

Этот ответ поверг его в странное состояние. Он почувствовал какое-то облегчение, как будто в действительности боялся, что придется оставаться; и в то же время его охватило отчаяние, что он ее теряет.

— Ты хочешь сказать, что наши пути расходятся?

— Разве ты меньше думаешь о нем, чем я? — ответила она вопросом на вопрос.

— Кажется, я думаю только о нем и никогда не буду думать ни о ком другом,— удрученно признался он.

— Не надо говорить об этом.

Но Вилем еще оставался, ждал. Боялся ли он, что она изменит свое решение, или желал этого? То и другое чередовались в нем. Он покинул Сечь-на-Рычной только в тот день, когда оказалось, что Эва сделала это еще утром. Она исчезла не простишись, и так было действительно лучше, но в Вилеме такой отъезд ее оставил чувство унижения, от которого он так и не мог потом излечиться. А лечился он по-своему, все больше обращая свой взгляд на себя как на единственный достойный внимания предмет.

5

Я дурно спал ночью, продолжая и во сне прядь историю Габы,— правда, сбивчиво и с нелепыми отступлениями, где отразились мои блуждания по редакциям, где я превращался в Габу, а Габа в меня, где старый Палас принимал вид ворчливого редактора, поручившего мне изложение кинофильмов, где Эва появлялась с лицом моей давно забытой юношеской любви и в конце концов прижималась ко мне роскошными грудями моей новой квартирной хозяйки, где горечь любовных отказов и нищенской униженности человека, предлагающего свой труд сытым и равнодушным работодателям, сменялась чувственным возбуждением, полным ненависти к предмету, вызывающему желание. В конце концов этот беспокойный ход событий, расплывающихся, не успев прийти ни к какому завершению, вылился в картину, полную примирения и грусти. Я сижу на кухне квартиры, отведенной нам магистратом после отцовского краха, и жадно смотрю, как мать, звяня посудой, накрывает стол к завтраку. Медный котелок на стене у нее над головой стреляет в меня злорадными отражениями утреннего солнца.

Тут я был разбужен сразу обонянием, слухом и зрением. Отблеск освещенного оконного стекла забрался мне под веки, рядом в кухне звенела посуда, и оттуда шел запах кофе. Это слиянье сна и действительности вызвало во мне веселое и воинственное настроение. Впрочем, я должен был испытывать благодарность к беспокойно проведенной ночи и за нечто более существенное.

Выйдя в переднюю, с расчетом проскользнуть как можно тише, чтоб избежать встречи с хозяйкой, я увидел, что она стоит в настежь открытой двери на кухню, словно дожидаясь моего появления. На ней был цветастый капот из какой-то легкой материи, и утреннее солнце, бившее длинными лучами своими через кухонный порог, просвечивало ее так, что были видны очертания ее крепких бедер и икр. И сильно выпирающие груди, снова стянутые бюстгальтером, выступали из этого легкого одеяния больше чем наполовину, сверкая белизной. Хозяйка стояла, откинувшись назад и скрестив руки под ними,— то и другое, видимо, оттого, что ее принуждало к этому ее телосложение, но получалось, словно она преподносит мне эти перезрелые плоды своего тела, как на подносе.

Я поздоровался на ходу и направился было к двери на лестницу, но она сделала шаг и встала у меня на дороге.

— Заспались, профессор? — промолвила она притворно ласково.— Видно, первый раз почувствовали себя дома. Не угодно ли кофейку? Не хочу хвастаться, но будет повкусней, чем в кафе.

Я в этом не сомневался, так как возбуждающий запах кофе еще наполнял квартиру. Горло мое, пересохшее после полубессонной тревожной ночи, возжаждало его горячего и прохладительно-ароматного глотка. Застывшие позвонки моей шеи, так сказать, уже готовы были к кивку в знак согласия. Хозяйка, чтоб усилить соблазнительную перспективу завтрака своей собственной особой, подошла ко мне вплотную так, что одна из ее тяжелых грудей коснулась моей руки выше локтя. К аромату кофе неприятно примешался свежий запах туалетного мыла. У меня сжалось горло, в желудке шевельнулась волна отвращения. Ночь возникла в моем сознании, я снова почувствовал, как стройное девичье тело каким-то безобразным путем превращается у меня в руках в преизбыточные формы увядающей женщины. Я отступил на шаг, и хозяй-

ка тотчас поняла, что в моем колебании заключается нечто большее, чем простая стеснительность. Она смотрела на меня прищурившись, в то время как я лепетал о том, что действительно немного проспал и опаздываю на очень важное заседание и что если я сяду завтракать, так совсем на него не попаду.

— Да, вам, правда, пора, чтоб не попасть впросак,— ответила она, причем по ее голосу я понял, как у нас впредь сложатся отношения.

Заперев за собой дверь, я вздохнул свободно и сбежал вниз по лестнице, наверно, так, как Иосиф в Египте убегал от жены Потифара. Когда человеку за тридцать, его, понятно, не назовешь юношей, и если он так пугается женщины, это выглядит по меньшей мере смешно. Но я был всегда плохой ловелас и, восхищаясь женщинами и желая их, никогда не мог отделаться от страха перед ними. А перспектива стать любовником квартирной хозяйки, показавшаяся сперва соблазнительной, благодаря сну приняла настоящий свой вид и теперь внушала ужас. Сон убедительно доказал мне, что в этом споре между притягиванием и отталкиванием — перевес на стороне брезгливости.

Я стоял на улице перед домом и смотрел, как утреннее солнце беспощадно разоблачает его неопрятность и ветхость. Мне бы давно следовало бежать из этого города, где я зря потратил столько лет жизни и где никто не протянул мне руку помощи. Я не нашел здесь ни одного друга. Оставался в нем одиноким с самого приезда. И вот все-таки мне нельзя было предоставить жить по-своему, не обращая ни на кого внимания, хотя я никому не мешал и не становился поперек дороги. Зачем же сразу, только я попробовал устроить свою жизнь по своему вкусу, понадобилось совать мне под ноги такую дребедень, как сладострастные и жаждущие замужества вдовы? Я искал спокойного уголка, где бы никто не обращал на меня внимания, где я мог бы жить, уйдя в свою работу, а вон что вышло. Теперь мне придется всякий раз чуть не кнутом загонять себя в эту комнату, которая должна была быть моим домом... Но нет, милый друг, так на это смотреть — не дело. Это дешевая отговорка. Работать надо, работать при любых обстоятельствах, не покладая рук, а то потеряешь последнее, что имеешь,— то единственное, что когда-нибудь имел: самого себя.

Трудно представить себе более нелепую нору, чем редакция «Чешских лугов», которых я был сотрудником. Уже при подходе к дому, где она помещалась, вы чувствовали, что мир, находящийся за широкими воротами с узким проездом, ничем не похож на тот, где проживает вдова Пашекова, секретари суда, рабочие Гарадовой фабрики и народ обоего пола.

Соорудить мир из бумаги и желать жить в нем большинству обыкновенных людей показалось бы уродством и бессмыслицей. А здесь бумага была самой атмосферой. Она здесь валялась, громоздилась, шелестела и воняла. На цементированном дворике, окруженном с трех сторон стенами домов, а с четвертой — приземистым строением без окон, но со стеклянной крышей, в одном углу высилась груда бесформенных комков бумаги, в другом были сложены под навесом из гофрированной жести большие бумажные рулоны для ротационки, похожие на бочки, способные жестоко обмануть неопытного покупателя относительно своего содержимого, а в третьем обычно стоял пикапчик, на который прямо наваливали книги, журналы, брошюры.

Весь дом и флигель, где помещались издательство, экспедиция и редакция «Чешских лугов», постоянно вибрировали от ровного тихого гула типографских машин, казалось, вы шагаете по палубе трансокеанского парохода, мчащегося на всех парах к далекой цели. Возвышающее душу романтическое ощущение, — по крайней мере для меня, который никогда не стоял на палубе никаких пароходов, кроме влтавского, да и не буду никогда стоять, хоть до сих пор не отказался от этой мечты, как не откажусь до самой смерти, пусть даже в преклонном возрасте, ни от одного из самых безрассудных своих желаний.

Войдя во флигель, где все двери с необычайной стремительностью сами захлопывались за вашей спиной, нередко дав хорошего тумака посетителю, остановившемуся с раскрытым ртом на пороге этой страны чудес, или защемив его полу, вы обнаруживали, что помещение разделено внутри на множество стеклянных ячеек, где над американскими столами и разными конторками склонены завитые и приглаженные головы пятисоткроновых сотрудниц да разочарованных и никому на свете не доверяющих бухгалтеров. В этом аквариуме, полном пасмурного света, проса-

чивающегося сквозь мутные рифленые стекла потолков, сонные рыбы лица, на первый взгляд друг от друга неотличимые, неподвижно застыли на своих местах. Вам становилось не по себе, словно вы очутились в паноптикуме, устроенному, чтоб пугать любопытных в зеркальном зале.

Проулки между ячейками ветвились и вились, натыкаясь на разные двери. Если вам повезет, вы после короткого блуждания находите ту, к которой прибита дощечка из матового стекла с надписью черными буквами: «Редакция». На ваш стук нет ответа. Вы входите в комнату, где за двумя столами, заваленными грудой корректур, корреспонденций и читательских заметок, сидят спиной друг к другу сухопарый юноша с пессимистически сморщенной физиономией и туберкулезным оттенком лица и девица с бесцветными волосами, но круглым, по-деревенски румяным лицом и овальным задочком, наполняющим без остатка все маленькое деревянное кресло. Вас охватывает страх, внушаемый такими местами всем, кого гонит сюда самая мучительная из всех жажд — жажда видеть напечатанным под твоим собственным именем плод твоей умственной деятельности.

Ваше учтивое приветствие поглощено тишиной, и, после того как вы пролепетали свой вопрос, на вас устремляется пара глаз — с таким мертвым безразличием, что вам становится стыдно за свое собственное существование. Барышня с громким хрустом надкусывает соленый огурец и возвращается к разложенному на салфетке полднику. Юноша тыкает пальцем через плечо в сторону двери и хрипло произносит: «Туда». Чтобы ополоснуть впечатление, которое вы на него произвели, или чтоб восстановить энергию, потраченную ради вас на это слово и жест, он отпивает, скав губы, молока из мутной пивной кружки.

Вторая комната — тех же размеров, что и первая, только тут еще больше бумаги. Книги на толстых деревянных стеллажах за сдвинутыми зелеными занавесками, книги на стульях и на полу вокруг стола, заваленного стогами бумаг и журналов. Воздух синий от пыли и сигарного дыма. За столом сидит человек, спиной к двери, и в ответ на ваше приветствие над толстой фигурой его и круглой седой головой поднимается густое облако дыма, словно беззвучно грянул выстрел.

— Пожалуйста, — бурчит он, не оборачиваясь.

Вам ничего не остается, как подойти к столу.

— А, это вы?

Отсюда вы можете заключить, что у него нет возражений против вашего существования, но в то же время он не возражал бы также, если бы вы в эту минуту были где-нибудь в другом месте.

Редактор Фридрын был незлой человек, и ворчливость его являлась лишь маской, хоть и крепко приросшей к его лицу. С помощью ее он защищался от того мира, во главе которого стоял и который напирал на него, с одной стороны, неослабным потоком корреспонденций и корреспондентов, а с другой — абсурднейшими требованиями издателей. Он редактировал «Чешские луга» еще в то время, когда они были иллюстрированным еженедельником для средних слоев и помещали репродукции картин только тех мастеров, которые пользуются признанием горожан, стихи поэтов, декламируемых дочками, и рассказы писателей, читаемых женами горожан. Он был не согласен с модернизацией журнала, но добросовестно делал то, что от него требовалось, с презрением признавая, что свет меняется, и спокойно дожидаясь отставки, когда ничто больше не будет стоять между ним и единственной его страстью. Дело в том, что среди специалистов он был больше известен как выдающийся миколог, чем как редактор. Он и на людей смотрел глазами ученого-грибника, сортируя их по определенной испытанной системе, которую сам составил за долгие годы знакомства с самыми разнообразными представителями человеческого рода. И я уверен, что он всегда приходил к твердому выводу и редко ошибался.

Он умел положить человеку палец в точности на самое больное место, делая это отнюдь не ради удовольствия, а потому, что до старости сохранил веру в добрую силу дружеского предостережения. Именно он поручил мне переделку фильмов в повести, хотя я готов побиться об заклад, что подобное обогащение содержания — не его выдумка и что он лишь выполняет волю неких высших сил. Догадка моя подтвердилась, когда я принес ему готовую первую часть заказа.

Он тотчас принялся читать, очевидно, желая убедиться, стоит ли дать мне стимул к дальнейшему прогрессу либо проститься со мной старомодным учтивым поклоном. Такая уж у него была привычка: слова признания он целил сквозь зубы или облекал в одежду насмешек, — отклоняя же, был сама любезность. Читая мою пробную повествовательную обработку фильма, он все яростней пыхтел сигарой, так что порой лицо его совершенно скры-

валось в облаках дыма. У меня на сердце кошки скребли, и душа ушла в пятки. Наконец он вынул сигару изо рта и прохрипел:

— Вон вы как? Сделали из этого чуть не настоящую литературу?

Я пролепетал что-то вроде того, что старался сделать как можно лучше.

— Это что надо,— тявкнул он на меня.— Даже слишком хорошо для такой перелицовки. Как бы еще киношники на нас не обрушились за то, что они накрутили порядочную пакость, а мы из нее самым нахальным образом хорошую вещь сделали.

Он кинул рукопись на стол, на который она упала, как снежинка в сугроб, и стал молча курить, в то время как я со страхом смотрел ему в лицо.

— Ну что ж,— произнес он неожиданно, с сигарой в рту, словно убеждая сам себя.— Им полезно прочесть, что хорошо написано. Даже коли не поймут, что-нибудь да запомнятся.

Глаза мои сияли от радости. Вот человек, знающий толк в этом деле, говорит, что я могу писать. И хорошо писать. Так хорошо, что даже жалко для той задачи, которая была мне поставлена. У меня было такое чувство, что я должен наклониться и поцеловать вот эту крепкую мясистую руку.

Но он тут же накинулся на меня.

— А сами вы что? Вы — ничего?

Я не знал, что ответить.

— Нужно, чтобы кто-нибудь кнутом над нами щелкал. Верно? Не умеем быть сам себе голова. Угадал? Поденщина, работа по заказу, не по своей охоте, а? Сколько вам лет?

— Сорок.

— Так. Теперь из вас уже вряд ли что больше получится, чем вы есть. Ну, продолжайте вот это. Кончите, дам что-нибудь еще.

Насилу нашел я дорогу к выходу в лабиринте проулков, между стеклянными перегородками. Впервые я встретил человека, который щелкнул надо мной кнутом. Щелкнул и отбросил его. И теперь я должен был поднять этот кнут и щелкать сам над собой. Ни разу в жизни ни к кому не испытывал я в одно и то же время такой злости и такой благодарности. Нет ли в нем чего-то общего со старым Паласом? Да, я уверен: Палас не мог выглядеть иначе. Фридрын и директор Мазура. Это и будет Палас. Если мне удастся это соединение, получится совершенно

новое и своеобразное существо. Как в тех случаях, когда мы соединяем двух простейших. Так? Ну, господин редактор, мы еще посмотрим, можно или нельзя в сорок лет превратиться в нечто другое, чем был до сих пор.

Сказано — сделано... Но это только кажется очень легким — сел за стол и начал писать,— пока на самом деле не сядешь и не попробуешь. Над бумагой, ожидающей слов, из которых вырастет жизнь, отнимаются руки и распадаются, дробятся мысли. Из чего состояли до сих пор все фигуры и поступки, которые ты выдумывал с таким упоением? Ведь ты не мог мыслить о них иначе, как словами, хоть и не произнесенными. Почему же теперь они сопротивляются словам?

Остается только одно: заставить себя писать, будь что будет. Хоть нисколько не похоже получается на то, что ты себе представлял, а все-таки что-то. Когда уж есть какой-то фундамент, реальный кусок произведения, хоть неудачный, но все же зримый, когда ты можешь различить все корявости, все дубовые места, ощетиненные занозами нескладных выражений, все несвязные скрипучие переходы между событиями, всех марионеток, носящихся в воздухе, с лицами, нарисованными будто цветным мелком на заборе, все граммофонные мотивчики банальных фраз, ничего не говорящих о том, кто их произнес, когда перед тобой налицо хотя бы хаос вместо белого пятна, ты имеешь возможность стараться вновь и вновь внести в него какой-то порядок.

Но кто знает, может быть, сюжет долго еще не достигнет того состояния, когда надо взять в руки перо и приступить к писанию. Ты не знаешь даже, как и с чего начать. Габа потерялся, пропал у тебя среди других фигур, настойчиво домогающихся твоего внимания. Как быть, например, со старым Паласом? Ты все никак не можешь примириться с его концом. Ведь он мог умереть, даже если бы между Эвой и Вилемом ничего не было. Но все это надо как-то обосновать. Он просто спешил домой, так как узнал, что оставил тех двух слишком надолго вдвоем. Задержался против своего желания, пришлось похлопотать ради своей паствы, и, как всегда бывает, когда он был уже совсем готов, ему вдруг показалось, что нужно ехать сейчас же, не откладывая, что, промешкой он еще полдня,

уже по своей вине, это могло бы иметь непоправимые последствия. И вот он побежал под проливным дождем, чтоб не опоздать на поезд... Обоснование вышло удачней, чем я ожидал. Если добавить к этому какие-нибудь наглядные подробности, у читателя получится впечатление фатальности, он почувствует, что кто-то, против кого мы все бессильны, поиграл людьми, как куклами, и все должно было кончиться именно так. Мы сами плетем сети, в которых безнадежно запутываемся,— такой вывод сделают читатели. С той минуты, как старый Палас пустил в ход свои ухищрения, чтобы привязать к себе Вилема, и до этого несчастного бега в бурю, под проливным дождем, он все время сам рыл себе могилу.

Все в порядке. Так именно должно быть, не иначе. Конечно, обосновано, продумано,— остается только сесть и писать. Но довольно обрывка разговора, услышанного в трамвае, чтобы вся эта замысловатая постройка у тебя рухнула, и над ее развалинами снова закрутился вихрь хаоса и отчаяния. И так будет все время. Ты никогда ничего не доведешь до конца... Но, прия домой и походив по комнате, по латаной ковровой дорожке, чье существование в смысле продолжительности от моих прогулок нисколько не выигрывало, я успокоился и сказал себе: «А почему бы нет? Почему не попытаться и так? В этом ремесле только бедность лишает человека чести».

Почему бы старый Палас не мог вернуться здоровый, но снедаемый тревогой о том, что могло произойти в его отсутствие? Приезжает и видит, что проиграл. Ему довольно взглянуть на тех двух, чтобы знать, как обстоят дела. Допустим, он вернулся не вечером, а утром. И за весь день у него не было минутки, чтоб побыть наедине с женой. Она как-нибудь изловчилась, чтобы ему не попадаться,— на это у любой женщины ума хватит. Она не торопилась начать разговор, который ее ждал, к которому она подготовилась, но на который было трудно решиться. Впрочем, все оказалось легче, чем они предполагали. Палас привез радостное известие, что сечские гастроли их окончены.

— Укладываться, дети, укладываться,— зашумел он с обычной своей энергией, словно не проглотил за мгновение перед тем горькой пилюли познания.— Завтра в десять утра едем дальше.

Все были, в общем, уже готовы, но все-таки оставалось еще столько забот и хлопот с общественным и частным

скарбом, что дел хватило до вечера. Кончив укладываться, сели ужинать «У золотой затычки» и при этом вели себя, как школьники на загородной прогулке: наконец-то они покидают этот медвежий угол. Надо бы это как-нибудь отпраздновать, показать этим болванам, что на них плюют,— уезжают, нимало не огорченные их равнодушием. В трактире «Под скалой», внизу у реки, местная молодежь устроила воскресную танцульку. Пошли туда! Восторженней всех это предложение встретила Эва: тем самым отодвигался момент объяснения с Паласом.

Загородный трактир «Под скалой» был также и мельницей, и Рычна, одичалая от ливней, гудела в ее лотке, монотонно, но взволнованно контрапунктируя танцевальной музыке, исполняемой оркестром из местных каменщиков и железнодорожных служащих. Паласовские вступили в помещение, украшенное зелеными, красными, желтыми бумажными гирляндами, решивши позабавиться за счет туземцев. Заняли свободный стол и открыли оттуда огонь насмешек по танцующим. Понятное дело, горячие сечские юноши недолго терпели это, и актеришки рисковали быть избитыми и выброшенными из трактира. Старый Палас взял на себя роль посредника. Он заговорил проникновенным тоном, пустил в ход самые глубокие регистры своего голоса, и вид внушительной седой головы его исключал всякую возможность думать, будто он тоже трунит над своими слушателями.

— Уважаемое общество должно понять обоснованность раздражения моих друзей,— сказал он.— Они приехали в Сечь, полные надежды, что их искусство будет здесь по достоинству оценено, а им пришлось играть перед пустым залом. Ну, вы нас не видели, и вам жалеть не о чем. Но мы жалеем и не перестанем жалеть, что именно в Сечи не нашли друзей, каких находили до сих пор повсюду.

Ответом было пристыженное молчание; потом какой-то парикмахерский ученик, грезивший наяву и во сне о театре и кино, начал аплодировать и восторженно выкрикать. Ветер подул в другую сторону, страница перевернулась, и на оборотной стояло черным по белому, что паласовская труппа — настоящая знаменитость в своей области и участников ее надо хоть на прощанье вознаградить за то, что к ним отнеслись с таким невниманием. А тот вон холостяк с красной, даже почти ржавой физиономией имеет — немножко ниже по течению — лесопилку и мебельную фабрику. В один прекрасный день он задумал стать сеч-

ским бургомистром и с тех пор не упускает случая себя показать.

— Эй, хозяин, за этих господ и дам плачу я!

Пей, голытьба, и не трепи по свету, что в Сечи только и есть что безмозглые дураки да скряги! Может, нам и не сильно интересно ваше паясничанье,— мы люди деловые, практики, но — тряхнуть серебром можем... Молодые люди пустились в пляс с актрисами, актеры принялись занимать сечских девиц. Фабрикант подсел к столу старого Паласа: почтенному — почтенье, а люди должны дружить в зависимости от положения, занимаемого ими в том сложном здании, которым является общество.

Актрисы переходили из рук в руки: они умели лучше, чем сечские девушки, вертеться в мужских руках, когда ты держишь их в объятиях, чувствуя, будто уловил что-то из своих сновидений, какой-то аромат греха и любви, из-за которого ты готов сломать себе шею; уж они-то умели любить, и чего только не видели и не таили вот эти глаза. Актрисы переходили из рук в руки, а пани Паласова, Эва,— та была прямо нарасхват. Никому в голову не приходило, что она — жена этого седого старика; казалось, эта девочка вчера еще зубрила неправильные глаголы, а между тем то, что только угадывалось в других, от нее исходило, словно от жасминного куста — из тех, что цветут под окном зала.

Оркестр играет без отдыха, и у актерского стола — круговорот. От него то и дело кто-нибудь отбегает, чтобы выпить с господином фабрикантом, который с каждым чокается и пьет здоровье всех. На столе вино — не бог весть какое, но пить можно. Среди отбегающих — чаще других Эва. Она тяжело дышит, щеки ее пылают, словно она за чем-то гналась или от чего-то убегала. Три пары глаз, ни на мгновенье ее не отпускающих, жадно впиваются в нее, как только она становится возле стола. Она подымает стакан, произносит:

— Да здравствует Сечь и ее будущий бургомистр!

Фабрикант польщенно хрюкает, лицо его, и без того красное, наливается кровью, вот-вот лопнет,— он ловко маневрирует своим пузом и встает.

— Да здравствует красота и молодость! — галантно отвечает он.— Я не женюсь только затем, чтоб иметь возможность восхищаться ими без помех.

Старый Палас не смотрит ни на него, ни на жену; он смотрит на руки Вилема Габы, которые лежат на столе и сжались так, что суставы побелели. На, милый, кушай

на здоровье, смотри не подавись! Кто имеет больше прав сжимать кулаки, чем я, и кто чаще сжимал их? С удовольствием передал бы тебе в наследство эту участь.

— А ты, Вилик,— говорит Палас, наклоняясь к юноше,— что же ты не танцуешь?

Вилем слегка поворачивается к нему лицом, но избегает взгляда фабриканта.

— Не хочется. У меня из головы не идет, что надо бы мне ехать обратно к родителям.

Я мог бы поймать его на слове, но разве это было бы решенье? Раз она уж сорвалась, никакая сила не вернет ее обратно. Нынче один, завтра другой... И как ему ни горько, старик не может ответить иначе.

— Дело твое, но только помни: хоть от меня отойдешь, а от театра никуда не убежишь.

Вилем тоже уверен в этом, но Паласу следовало бы найти другой ответ. Ведь он узнал обо всем с первой минуты, как только вернулся и взглянул на них. Каким позором для всех троих обернулась тайна, переставшая быть ею, ежедневная ложь, неискренние улыбки, слова, выраждающие одно и скрывающие совсем другое.

Эва танцует, переходит из рук в руки, молодые люди установили к ней очередь — с ограниченным регламентом: каждому — два круга, а потом — уступи следующему.

— Ласочка,— в упоении хрипит фабрикант.— Для такой девушки я разориться согласен. Вы, милый директор, умеете выбирать лакомые кусочки для своего гарема.

— А если это моя жена? — возражает с улыбкой Палас.

Фабрикант выпучил глаза, ему кажется, что он понял: какая остроумная шутка! — и сипло хохочет.

— Ваша жена,— произносит он, наконец успокоившись.— Ну, меня не так легко провести. Понимаю: вы бы не прочь! Но возможности, дорогой мой, возможности... Я бы сам — давай бог ноги, если бы мне предложили, а ведь я лет на десять моложе вас. Любовницей — да, но женой? Ведь этак получилось бы, что наш брат сам лезет в петлю.

Трам-там-там, трам-там-там. Скрипки и виолончель, корнет-а-пистон, кларнет и флейта посыпают друг другу плавные волны мелодии вальса, контрабас раздувает их, прерывая своими признаниями. Палас видит лицо жены над плечом кавалера, лицо пылающее, с полузакрытыми глазами,— вот оно обращено к нему, а вот скрылось в повороте танца, течение подхватило и умчало его, оста-

вив лишь его образ, который больше никогда уже не пошлет ему улыбки.

Вилем встает, опираясь сжатыми кулаками на стол, у фабриканта в горле застревает пьяный остаток смеха, и брюхан испуганно отодвигается.

— Что такое? — лепечет он.

Палас кладет свою сухую старческую руку на кулак Вилема.

— С какой стати ты вмешиваешься, Вилик?

С какой стати — ты? Вилем согнулся, обмяк. Кларнет насмешливо взвизгнул и забормотал. В зале полно танцующих, и когда Вилем начинает пробираться к выходу, они его подталкивают, передавая один другому.

— Вильда,— шепчет она ему через чужое мужское плечо.

Он не отвечает, не хочет смотреть. Вот он вышел наружи, и ночь приняла его в свои холодные объятия, впилась в него влажным, благовонным поцелуем. Сад окружен низкой стенкой из плоских, наложенных друг на друга камней. Они ничем не скреплены, но стенка все-таки прочная, время утрамбовало ее, а разливы Рычной нанесли в щели между камнями ил, в котором угнездились и проросли самые разнообразные зерна. Местами на стене поселились тонкие березки, чьи корни ищут себе в этом каменном лабиринте путь к земле. Под одной из них Вилем, полусидя-полустоя, прислонился к стенке и устремил взгляд на освещенные окна трактира. В каком-нибудь полуметре под ним мчится одичалая река, музыка, выливаясь из открытых окон, падает в ее рокот и тонет в нем. Вода жадно чавкает в камнях,— этот звук наводит ужас, но Вилем почти не слышит его. Зубастая челюсть покрытой лесом горы вгрызается в звездное небо, черная, злая. Но ночь сама смыкается над долиной, словно опрокинутая темно-синяя чаша цветка, где в бездонной глубине сияет мирный свет. Цветенье беспокойного искрения сыплется из золотых пыльников звезд.

В сердце Вилема смешались горечь и восторг. Отчего жить можно, только не считаясь с другими? Держи, что схватил, не думая о последствиях. Но почему же надо бить по руке, которая тебе помогала? Он вышел в ночь и может исчезнуть в ней. Он стоит теперь на рубеже двух миров, имеющих над ним равно могучее обаяние. Прожорливый рот реки громко глотает ноту за нотой. Никогда прежде не подумал бы он, что кто-нибудь сумеет сделать ему жизнь такой тяжелой. Стоит отклониться немножко назад,

и ненасытная река поглотит его совершенно так же, как она пожирает звуки. Безвозвратно исчезнуть во тьме! Но это просто такая игра, и результат ее тот, что вдруг начинаешь бесконечно любить каждый из тех утонувших тонов, плачешь обо всем, что минуло, и каждая волна благоуханья, что веет с белого сугроба жасминового куста, заставляет быстрей бежать твою кровь, и горечь и пытка слились для тебя с красотой и желаньем,— так что ты уже не знаешь, откуда приходит одно и куда стремится другое.

В освещенном прямоугольнике трактирной двери появляется женская фигура, минуту колеблется, потом переступает порог, проходит немного в конусе света и поворачивает во тьму. Вилем узнал ее, но не окликает.

— Вилик!

Так трепетно не позовет его больше никогда ни один голос, но он не может ответить, никогда уже не сможет ответить ему. Там, внутри, сидит человек с убеленной сединами головой, знающий, что его обманули двое, которых он больше всего на свете любил, и пьяный хам объясняет ему, как глупы старики, которые женятся на молодых девушкиах. Раздается резкий хруст, словно обломилась ветка. Трудно поверить, какой шум может наделать кусок омертвленного дерева. Эва поскользнулась на нем и вскрикнула. В то же мгновенье над ней встал Вилем.

— Ты не ушиблась?

Эва выпрямляется со счастливым смехом.

— Чуть ногу не вывихнула. Что же ты не откликался?

— Зачем ты сюда пришла? Он все знает. Я вижу по его глазам.

— А ты думал, такую вещь можно скрыть? Не сегодня завтра я бы все сказала сама. Мне противна измена, я не умею лгать, а от тебя не откажусь. Где-то здесь пахнет жасмин, пойдем туда.

Трава — мокрая от росы, но Вилем снимает пиджак и кидает его на землю под нависшими ветвями жасминного куста. Эва дернула Вилема к себе в нетерпеливом объятии. Ее горячее дыхание пахнет выпитым ею вином. Она вонзает ему ногти в затылок, запускает пальцы в волосы.

— Мне надо было тебя сейчас же. Почему не позвал меня танцевать? Дурачок! Глупый ревнивец! Как будто для меня существует кто-нибудь на свете, кроме тебя. Чувствуешь, как я тебя люблю?

В двух шагах от них шумит Рычна, аккомпанируя их поцелуям насмешливым чавканьем. Но над головами у них

возносятся белые звезды жасминных цветов, а еще выше — пылающие звезды на небе. Благоуханье заливает их, — благоуханье цветущего жасмина, влажной травы, воды и их собственных тел. Чувства уже больше не способны ни к восприятию, ни к отдаче, лесенка любви не имеет ступенек выше той, на которую они вступили сейчас. И если бы им пришлось упасть в вечную тьму, — есть ради чего! Наслаждение замирает в них, как удаляющийся оркестр, но через дверь, которую Эва за собой не закрыла, в мысли их вползают отрезвление и страх.

— Нам надо вернуться. Наше отсутствие заметят.

Эва равнодушна. В ней мешаются два неприятных чувства. Ей претит мысль о возвращении к этим развеселым танцорам и бражникам, под обстрел назойливых, любопытных взглядов. И ей хочется спать.

— Иди куда хочешь, — отвечает она упрямо. — Я останусь здесь.

Этот каприз начинает его раздражать.

— Ты простудишься. Встань.

В освещенном прямоугольнике трактирной двери появляется мужская фигура. Вилем увидел ее первый и сжимает Эве руку.

— Смотри, — хрипло шепчет он. — Ищет нас.

Оркестр перестал; слышно только шум Рычной и ее чавканье меж камней ограды. Эва подымается на колени возле Вилема. У стоящего в дверях светятся белые волосы на голове, озаренные светом изнутри помещения. Выпitoе вино еще раз берет власть над нею.

— Хочет разорить гнездышко. Ну, не смешно?

Вилем зажимает ей рот ладонью, но уже поздно. Эвин резкий смех покрыл шум реки, — стоящий в дверях потрясен им. Он выпрямляется, поворачивает голову в ту сторону, — потом опять быстро отвернулся и исчез в коридоре. Вилем продолжает зажимать Эве рот, словно хочет задушить ее.

— Он услыхал. Это было жестоко.

Эва ткнула ему кулаками в грудь, освободила свое лицо от его руки.

— Беги за ним, пуганая ворона, и попроси у него прощения.

Но гнев ее скоро проходит, ею овладевает жалость. Она обнимает Вилема, прижимается лицом к его груди и плачет:

— Почему все так мерзко? Что тут плохого, что я люблю тебя? Он должен был знать, что слишком стар, чтоб

жениться на мне. Должен был удержать меня от этой дури.

Так стоят они друг против друга в сырой траве, на мокрых коленях. Вилем смотрит на звездное небо над Эвиной головой, у него сердце разрывается от боли, и сознание, что вокруг него все рушится со всех сторон, что самая жизнь, его собственная и всех остальных, непостижимо сложна и неподвластна ни нашей воле, ни какому другому из тех свойств, которыми мы наделены, сокрушает его. Он заметно изменился с того дня, как ушел из дома, но именно в данный момент его вновь перепахивает плуг неведомых замыслов, которому словно все мало.

Оставаться бы ему дома. Хлопотал бы он за прилавком, шутил бы с женщинами, рассудительно толковал бы с мужчинами, ходил бы на репетиции любительских спектаклей, на танцульки в городе и в соседних деревнях, другой раз пускался бы во все тяжкие с товарищами, играл бы им на рояле и пел модные песенки, соблазнял бы девушек, пока не защитился бы от них всех, женившись на одной из них, тщательно выбранной, обсужденной и одобренной на семейном совете. Он не узнает себя. Он чувствует иначе, чем прежде; даже Эвина любовь больше не может заполнить его. Он хочет гораздо большего, он не может назвать — чего, знает только, что это уже не имеет никакого отношения к женщинам. Он почти совсем забыл, по какой причине они стоят здесь на коленях, хотя вполне естественно в такую ночь человеку преклонить колени и молиться — если не словами и благоговением, то изумлением и покорностью либо бунтом и страстным порывом.

Эва вскочила на ноги и встала над ним. Ее поведение всегда полно неожиданных, быстрых поворотов.

— Подымайся, пойдем обратно. Я смалодушничала и поступила глупо. Теперь я знаю, что делать.

Вилем испуганно следует за ней, пробует ее удержать.

— Ты не наделаешь ерунды?

— Я не так пьяна, как ты думаешь, и для публики играю, как правило, только на сцене.

Свет, падающий из двери трактира, выхватил из темноты кусок проезжей дороги. Как только они выходят на это место, сейчас же обнаруживается, что у Эвы страшно измято платье.

— Но в таком виде тебе нельзя туда. Постой, я попробую немножко разгладить.

У нее до сих пор горят щеки, а глаза — большие, темные от расширенных зрачков. Она быстро оборачивает-

ся к нему,— коротко подстриженные волосы на мгновенье разлетаются у нее вокруг головы, но сейчас же опять ложатся.

— Можешь стыдиться за меня сколько хочешь. Я сейчас готова ради скандала надеть хоть пиджак.

Но она только проводит несколько раз ладонями по юбке, перетягивает как надо корсаж, потом умелыми пальцами поправляет сбившиеся волны волос. И, поскольку руки у нее подняты над головой, заодно уж выгибается долгим кошачьим выгибом, в котором, вновь проснувшись, замирает слабым отзвуком радость недавнего объятия. Опустив руки Вилему на плечи, она произносит будто из какой-то книги или пьесы:

— А что, все мужчины — трусы?

Она притягивает к себе Вилема, словно для того, чтоб поцеловать, но в последнее мгновенье отворачивается и со смехом бросается в коридор, ведущий к танцевальному залу. Юноша следует за ней колеблющейся походкой и останавливается в дверях; а она пробирается среди танцующих к столу, где опять уже сидит ее муж в обществе возбужденного владельца лесопилки.

Ее возвращение не осталось незамеченным; ее окружили, кое-кто даже перестал танцевать. Улыбаются, покачивают на нее головой, обмениваются многозначительными взглядами. Эва ни на кого не обращает внимания,— идет прямо к столу, будто по пустому залу. Завидев ее, владелец лесопилки повторяет ловкий маневр со своим пузом и встает, чтобы ее приветствовать. Стол перед ним слегка едет вперед, стаканы рискованно зашатались, забренчали, когда он наклонился ей навстречу, поднимая рюмку с вином.

— Вот она. Куда же это вы скрылись, осиротили нас? Я предлагаю: едем всей компанией ко мне. Устроим маленькое приватное пиршество, чтоб окончить этот счастливо начатый вечер.

Но Эва не желает удостоить его ни ответом, ни даже взглядом; она смотрит с дружеской решительностью на мужа и говорит:

— Хочу домой. Сейчас же. Я плохо себя чувствую, а завтра — рано ехать.

— Как же так, деточка? — бормочет фабрикант.— Это никуда не годится. Разве можно так бросать друзей? Едем все ко мне.

Старый Палас испуганно встает.

— Что с тобой?

Эвин смех звучит громче корнет-а-пистона, скрипки и кларнета, и Вилем чувствует, что у него мурашки побежали по спине острыми коготками. «Вот как я люблю ее», — мелькает у него в голове.

Фабрикант преувеличил, говоря о счастливо начатом вечере. Начался он нехорошо, потом на время прояснился, а теперь пришел в расстройство. Актерам не хотелось домой, но старый Палас твердо применил Эвин довод о предстоящем раннем отъезде. При оплате счета за ужин возникло новое недоразумение. Фабрикант, обманутый в своих ожиданиях, не пожелал исполнить своего обещания. Снова возникла опасность столкновения. Актеры опять стали донимать местных жителей своими колкостями, попадая в самые больные места, а те, наоборот, прибегли к обстрелу из самых тяжелых орудий. Старый Палас вытолкал свою паству за дверь и равнодушно заплатил, сколько с него требовали.

Наконец они двинулись в город. Можно было пойти удобным проселком, вьющимся вверх по лесистому склону, но они предпочли тропинку вдоль реки. Каменистая и скользкая, она еще в конце дня находилась под водой, да и теперь бурная, стремительная Рычна местами чуть не заливала ее. Высыпали на берег в воинственном возбуждении, разгоряченные ссорой с местными жителями, но тут обнаружилось, что путешествие предстоит тяжелое, в котором можно и шею сломать. Они с трудом идут по тропинке по двое, а кое-где приходится и гуськом. Спотыкаются, скользят, слышен женский визг, мужчины чертятся, цепь растянулась, каждый хлопочет о себе, только к дамам мужчины проявляют не совсем искреннюю галантность, учитывая, что без этого женский страх и неумение вовсе не дадут добраться до дома.

Вилем с Эвой идут впереди, старый Палас где-то там, сзади, замыкает шествие. Трудность пути разгоняет то раздраженное состояние, в котором актеры покидали трактир «Под скалой», пробуждая, особенно в мужчинах, радость опасности и риска, связанных с этим ночным путешествием, и заставляя их снова пережить тот подъем, который сопровождал отважные проделки их юных лет. Может быть, они поняли на мгновенье, как прекрасно, что человек всегда сохраняет в себе приобретенное им когда-то, что он не способен ничего ни потерять, ни забыть. Сердце колотится от усилий, но кровь бежит по жилам молодо, шибко. Они начинают острить, и в более легких местах вот уже слышатся мелодии сегодняшнего вечера.

Просто они чувствуют, что надо как-нибудь преодолеть гнет этой ночи и угрожающий рев реки, которая рушится, пенясь, в какой-нибудь четверти метра ниже тропинки, стараясь лизнуть им подметки. У них такое ощущение, будто они шагают на дне огромного колокола, в котором замирает отзвук давнего звона. Они полны этим. Время от времени кто-нибудь из них поскользнулся, потом встал и с трудом переводит дух; ему ясно, что он был на волосок от того, чтобы оказаться в объятиях реки, которая поглотила бы его безвозвратно.

Эва спешит первая, с легкостью ласки, не колеблясь, не пошатываясь, не спотыкаясь. Вилем еле поспевает за ней. Видно, ее погоняют какие-то мысли, оберегая ее от страха перед опасностью, или же ей нравится играть ею. Может быть, у нее кошачьи глаза, и она каждый раз знает, куда ступить,— или это ноги так уверенно сами несут ее? Вилем начинает ненавидеть ее за эту спешку и беззаботную уверенность. Ему самому нелегко преодолевать трудности такого пути, и он думает о старом Паласе, который остался сзади, и, может быть, рядом нет никого, кто подбежал бы и помог ему в опасных местах. Вилем пытается остановить Эву и поделиться с ней своим опасением.

— Не подождать ли нам остальных, чтоб идти всем вместе? — пускается он на хитрость.

— С какой стати? — возражает Эва и спешит дальше.— Успеем подождать под скалой.

— А если нам поглядеть, как он там? — ставит Вилем вопрос уже прямо, но конец фразы произносит с колебанием, потому что, став Эвиным любовником, не знает, как называть ее мужа и своего антрепренера.— Ему ведь трудней, чем нам...

— Ты рассчитываешь доставить ему удовольствие, предложив свою помощь? — говорит, усмехаясь, Эва, и Вилем со стыдом и горечью чувствует, сколько правды в ее усмешке.

Он молча идет за Эвой, стараясь думать только о дороге.

Междуд тем берег стал выше и тропа — лучше, шире. Уже недалеко до той скалы, под которой белеет домик перевозчика, а наверху со смешной угрозой целится в звезды черный ствол сечской сторожевой башни. Ком разросшегося кустарника высится перед лачугой, где царит сон,— за окнами, отражающими звезды. Эва тянет Вилема к этой цветущей ограде.

— Поцелуй меня. Хорошенько... Скорей, пока нет остальных.

Они целуются до тех пор, пока приближающиеся голоса не заглушают шум реки. Тут Эва отступает от него со словами:

— Господи, как я могу так любить тебя? Это, конечно, величайшая глупость в моей жизни, но — ничего не могу поделать. Но ты-то гордишься хоть этим, понимаешь, что это значит? Или так туп, что я для тебя — просто любовница, и только?

— Перестань городить вздор! — прикрикнул он на нее.

И в нем подымается протест и высокомерная гордость. Но это все, что им удалось сказать друг другу, так как ближайшие спутники их уже видны даже в этих потемках. Вот они подходят один за другим, с промежутками — в зависимости от того, кто как справился с трудностями пути. Они в изнеможении и ропщут; их ждет еще подъем на крутизну — mestами по лестнице, ведущей к дороге в город. Вот все уже здесь, только старого Паласа не видно. Впрочем, беспокоиться нет оснований: вполне понятно, что человеку в его возрасте на это нужно больше времени, чем для более молодых. Но все-таки неправильно было оставлять его одного, кто-то должен был с ним идти. При этом поглядывают на Эву и на Вилема. Вилем отвернулся, а Эва говорит:

— В самом деле, последние могли бы за ним посмотреть.

Последними случайно были двое супругов — она на ролях комических старух, он — стареющих бонвиванов. Оба так и вспыхнули от гнева. Заговорили, перебивая друг друга. У них у самих было довольно хлопот, чтоб сюда добраться; любопытно, кто это выдумал — идти таким дурацким путем; и нечего сваливать свои обязанности на других.

— Да все в порядке, — спокойно сказала Эва. — Сейчас он будет здесь.

Лодка перевозчика вытащена на берег, чтоб не унесло половодьем. Некоторые усаживаются на бортах, но скоро холод сгоняет их с места, лишая этого маленького комфорта. От усталости и промозглой сырости их бросает в дрожь; прошло добрых четверть часа с той минуты, как они собрались вместе, а о Паласе ни слуху, ни духу. Тогда они, невзирая на сон перевозчика, начинают в один голос аукивать, побуждая директора поторопиться. Но возгласы

остаются без ответа. Река набрасывается на них и относит их прочь, гудит, чавкает, и один только гул ее наполняет тьму вокруг кучки бродячих актеров, восходя к самым звездам. Это удивительная пьеса, в которой им еще ни разу не приходилось играть, но они уже угадывают содержание, и каждый чувствует, что ему не справиться с предназначенней ролью. Призывы их звучат все более вразброс, все слабее; женщины начинают всхлипывать. В окнах лачуги появляется свет, дверь отворилась, на пороге встал перевозчик, качая фонарем с горящей свечой. Этот человек, лучше их знающий коварство реки, на берегу которой родился и прожил всю свою жизнь, водворил между ними спокойствие. Полчаса прошло? Ну что ж, ну что ж. Не обязательно уж самое плохое. Камни скользкие,— может, вывихнул ногу либо решил лучше вернуться в тот трактир... Он им поможет искать.

С перевозчиком отправились Вилем и Эва; а остальные, испытывая некоторое злорадное удовлетворение, предложили подождать в перевозчиковой лачуге, где еле уместились. Нужно ли описывать это безнадежное ожиданье? Старого Паласа, конечно, не нашли, даже проделав весь путь до самого трактира «Под скалой», где шла музыка и пляска, хоть уже звезды начали гаснуть на бледнеющем небе; заглянули с неприятным, щемящим чувством в жасминовый куст, чья белизна в мутном рассвете стала грязно-серой; танцующие перестали танцевать, хлынули за ними из трактира и помогли им еще раз обшарить весь берег до самой Сечи. Нигде ни следа. Только желтые волны Рычны, гудя и пенясь, мчались без устали мимо них.

Не вернулся он в Сечь и лесной дорогой,— ему не суждено было вернуться ни одной из тех дорог, по которым ходят живые. Мучительной загадкой остался конец его для двоих: несчастный случай или умысел? Может быть, именно тут он решил покинуть их. Впрочем, человека так легко поскользнуться, если ему не хочется идти дальше.

Из них двоих, во всяком случае, Эва правильно поняла поступок Паласа. И не дала себя мучить. Решила воспротивиться тирании мертвого — как если бы порывала связь с живым. Быть может, ей придется воевать за свою любовь с самим Вилемом, так как он держался в точности тех принципов, какие внушил ему Палас. Все же она заставила его, после того как все розыски пропавшего оказались тщетными, уехать из Сечи вместе с ней.

Чем больше я думал об истории Эвы, Паласа и Вилема, тем больше она мне нравилась. В этом нет ничего плохого,— говорил я себе,— это не ложная гордость: человек должен полюбить свою работу, чтоб ее делать. Это была бы отличная глава в качестве образчика, и ты мог бы на ней испытать себя, прежде чем приступить к целому,— доказывал я сам себе. А если б ее слегка закруглить, получился бы рассказ. Конец можно сделать другой: любовники расходятся, так как их пугает призрак исчезнувшего,— чтобы повествование имело концовку; а где-то посредине можно бы намекнуть, что Палас действительно намеревался окончить свое существование как-нибудь в этом роде.

Эта попытка имела источником не одно только мое трудовое нетерпение. Напротив, я располагал целым десятком оправданий, доказывавших необходимость сокращения. С одной стороны, я мог привести тот факт, что у меня до сих пор нет окончательно продуманной истории Габы в целом, что как раз сечский эпизод может оказаться в ней попросту ненужным, и в конце концов его придется выпустить. Или, несколько более искренне, мог сослаться на то, что мне действительно не хватает времени для своей собственной работы. Почти весь день я кропал изложение какой-нибудь киноисторийки для «Чешских лугов», а вечером, когда усталость не позволяла больше продолжать, брался за переводы из итальянских журналов для других редакций. Оставалась, правда, еще ночь, и я — не первый и не последний — пользовался ею для работы, которой имел бы право отдавать свои свежие силы.

Кто должен был щелкнуть надо мной кнутом, кроме меня самого? «Не умеем быть сами себе голова,— сказал мне неприятно бесстрастным тоном редактор.— Поденщики, работаем для денег, не по своей охоте». А что я сказал себе, уходя, взбешенный, из редакции «Чешских лугов», на заваленном бумагой дворике?

Наконец случай представился. Нужно сказать, однако, что это произошло при обстоятельствах, для меня самых невыгодных. Моя размолвка с квартирной хозяйкой перешла в регулярные военные действия, где все преимущества были на ее стороне,— я же, не умея вести оборону или гнушаясь средств, обеспечивающих успех, был всегдабит. Началось с мелких неприятностей, которые я теперь не сумею даже перечислить. Она перестала, например,

наливать воду в кувшин на умывальнике, так что мне пришлось самому ходить и наливать — из крана на кухне. А когда я входил, она прекращала работу, если была чем-нибудь занята, и смотрела на меня, сложивши руки, пока я опять не закрывал за собой дверь. Потом обычно начинала напевать какой-нибудь мотивчик той поры, когда она еще ходила на танцульки. Стоило мне немного проспать, я мог быть уверен, что выйду из дома неумытый: она пошла делать покупки, и это тянулось у нее до одиннадцати часов вечера; а в кувшине ни капли воды, и кухня заперта.

До сих пор вижу ее, как она стоит и смотрит на меня с нескрываемой насмешкой, ожидая, когда я обнаружу в конце концов какие-нибудь признаки протеста. Я чувствовал, что она хочет вызвать перебранку, после которой я бы капитулировал и стал за ней ухаживать либо вышел бы из себя и съехал до истечения месячного срока. Я понимал, что она простить мне не может, и были минуты, когда я называл себя дураком. До сих пор соблазн и отвращение вели в душе моей перестрелку. Но я мужественно молчал — и когда она оставляла целый день играть радио, и когда стала выключать электричество в десять часов вечера. Днем я ходил писать в пустое помещение трактира в соседнем доме, а ночью работал при маленькой коптящей керосиновой лампе, которая напоминала мне те годы, когда я школьником готовил уроки.

Как только наступило первое число, я сейчас же отказался от комнаты. И при этом проявил гораздо больше трусости, чем сам ожидал от себя. Мне не хотелось идти к ней на кухню, где у нее всегда был надо мной перевес. Поэтому я улучил момент, когда она что-то искала в чулане в передней.

— Вот плата за помещение, — промолвил я, подавая ей деньги. — Пересчитайте, пожалуйста.

В открытую дверь кухни на нее падал поток света, пронизывая яркий черно-красный халат, едва прикрывавший пышную рыхлость ее тела. Она ходила в нем не так часто: нынче надела, видимо, потому, что ждала меня, — значит, еще не отказалась от своих замыслов? Кредитки зашелестили у нее в пальцах, на щеках выступили красные пятна. Деньги производили на нее завораживающее действие, но, к несчастью, текли к ней в руки далеко не в том количестве, в каком она бы желала. А мне было жаль моих денег. Я отдал их за помещение, которое, вместо того чтобы быть мне домом, стало для меня чуть не ночлежкой

почти без всяких удобств. Я хотел воспользоваться минутой, когда она занята пересчитыванием, и отказаться от комнаты. Но упустил момент. Это вечная моя беда: не умею в подходящее время произнести нужные слова.

Пани Пашекова подняла голову и улыбнулась. Она, видимо, не ожидала, что я заплачу вовремя, и теперь, успокоившись на этот счет, готова была снова начать свое заигрыванье. Не знаю, как она это устроила, только пестрый халат ее сверху раскрылся, и сжатые бюстгальтером, но разделенные резкой тенью груди выступили во всей своей полноте. От них пахнуло фиалковым запахом туалетного мыла. Пани Пашекова встала ко мне вплотную и подала мне руку, не протягивая ее слишком далеко за пределы своего бюста.

— Хорошо,— сказала она.— Все будет в порядке, профессор.

Я не сумел не заметить поданной руки. Она схватила мою правую руку, прижала ее к себе под грудь — так, что я ощущил округлую полноту, и продолжала:

— Зачем нам с вами грызться?

Изо рта у нее пахло кофе и каким-то жирным печеньем. Опять этот кофе и фиалковое туалетное мыло. Я высвободил свою руку из ее цепких пальцев и пролепетал, отступая к двери в коридор:

— Вы правы. Надеюсь, вы лучше договоритесь с новым квартирантом. Я съезжаю.

Она покраснела до полоски между грудями, и на глазах у нее выступили слезы. Тяжело дыша, она открыла рот, желая что-то сказать, наконец выкрикнула:

— Невежа!

И убежала на кухню, захлопнув за собой стеклянную дверь с такой силой, что стекло долго звенело.

Я вышел в коридор, не испытывая радости от своей бесспорной победы.

Росова пивная, помещавшаяся в соседнем доме, на углу, имела для меня то удобство, что зал ее весь день с утра до ночи был пуст. Распивочная начинала наполняться посетителями после пяти, когда кончалась работа на Гарадовой фабрике. А днем посетители заходили туда по одному, по два. Это были в большинстве одиночки-

ремесленники из околотка, забежавшие на полчасика ополоснуть горло от пыли мастерской, а мысль — от досады на то, что дела, окаянные, идут не так, как должно. Для многих эти полчасика растягивались до закрытия пивной, но если учесть, что при этом удавалось окончательно решить вопрос о шансах «Спарты» против «Славии» при встрече на будущей неделе и начисто забыть о своих неприятностях, по-моему, у нас есть основания смотреть на этих людей снисходительней, чем их супруги.

Пан Роза, владелец пивной, с удовольствием выслушивал все, что вам придет в голову болтать, и соглашался с любой точкой зрения, пока вы не начнете подкреплять ее стуком кружки об стол. Как только посетитель доходил до этого градуса, его пребыванию в пивной, так же как терпению пана Розы, приходил конец. Пан Роза не мог понять, как некоторые допускают, чтобы пиво ими до такой степени распоряжалось. Сам он выпивал одну кружку в день. Утром нальет, потом доливает, как только меньше половины останется, а совсем осушит перед тем, как погасит свет в зале и отправится ощущью в своих плетеных шлепанцах на боковую. Вообще пиво не причиняло ему вреда, а наоборот — заменяло сытную еду. Он от него не толстел, а только имел под слегка вздутым жилетом этакое излишнее чиновническое брюшко, — если же был, по его выражению, слаб на ноги, то не надо забывать, что они подвергались у него, особенно зимой, неприятным омовениям холодным воздухом всякий раз, как люди забегали в пивную с улицы.

Я уже говорил, что зал стоял целые дни пустой, если не считать одного вечера в неделю, когда какое-нибудь местное общество устраивало здесь вечеринку. Этот зал приглянулся мне в качестве рабочего кабинета, когда квартирная хозяйка пошла на меня в поход. В первый раз, когда я разложил на столе свои бумаги и спросил кофе, пан Роза пришел в полное недоумение.

Он вынул изо рта длинную трубку и разгладил концом мундштука усы по обеим сторонам красного носа. По жилету его тянулась золотая цепочка, и на ней болтался в виде брелока большой аметист. Пан Роза выглядел очень старообразным, хотя ему было только пятьдесят и в прилизанных черных волосах его не блестело ни единой серебряной нити. Мне кажется, он нарочно старался производить такое впечатление, учитывая традиционные требования, предъявляемые к наружности трактирщика, и стремясь приблизить свой внешний вид к некоему неза-

бывающему образчику, награждавшему его подзатыльниками в годы учения. Взгляд, который он в меня тогда вперил, был одновременно пытлив и вдумчив.

— Спрошу жену,— ответил он наконец, давая этим понять, что в его заведении подобного рода заказ представляет собой нечто из ряда вон выходящее.

Его долго не было, наконец он появился, неся на яйцеобразном кофейном подносе большую домашнюю кружку кофе с молоком, над которой подымались белые облачка пара. Трубку он держал в зубах: впоследствии я убедился, что он никогда не откладывает ее в сторону, прислуживая посетителям.

— Жена поделилась с вами; мы никогда не варим кофе днем для гостей. У нас нет ни сдобы, ни чего другого подходящего. Соленые рогалики доставляются только к вечеру. Она посыпает вам вот это.

На подносе возле чашки была тарелочка с краюхой хлеба, густо намазанная маслом. Краюха уже была веерообразно разрезана на ломтики; видимо, трактирщица охотно открыла бы кухмистерскую, будь «На валу» подходящие условия. Краюха эта испугала меня: она увеличивала мой расход. Но от нее нельзя было отказаться, если только я не хотел отпугнуть трактирщика.

Пан Рона сам помог мне выдвинуть мое предложение. Он охотно завязывал более тесное знакомство с посетителями, а при соответствующем желании с их стороны — даже и дружбу. Сев напротив меня, он спросил, не мешает ли мне его трубка, и промолвил:

— Вы собираетесь что-то здесь написать? Сделайте одолжение. Тут вас не обеспокоит даже мухи.

Я ответил ему, что хотел бы регулярно посещать его заведение, занимаясь вот этот угол у окна; сказал почему. Посетитель я был бы тихий, скромный, но не особенно прибыльный: вот эта вот кружка кофе — все, что мне требуется за день. Тут я немножко прихвастился, чтобы не получилось впечатления, что я нищий: я объяснил ему, что недавно решил жить только на свой писательский заработок, а начало, он сам знает, всегда самое трудное. Но, может быть, мне посчастливится написать книгу, которая захватит читателя. Будут переиздания. Десять, двадцать тысяч экземпляров, разойдясь по свету, вознаградят меня за теперешнее самоотречение. К тому же искусство требует жертв. Это совсем особое ремесло, оно не дает человеку отдыха.

Я рассчитывал немного ошеломить его такими речами и потому с нетерпением ждал, что он ответит. Пока я говорил, он внимательно смотрел на меня своими глазами пьяницы с красным белком и неопределенной, водянистой окраской зрачка. Когда я кончил, он перевел взгляд в окно и сделал несколько сильных затяжек.

— А почему не пишете дома? — спросил он наконец.

Я объяснил ему, в какую чуть не влип историю. Он кивнул.

— Хозяйки — свиньи, — объявил он. — Уж кому это знать, как не мне: ведь я служил кельнером. Выжить из дома — на то ли они еще способны!.. Ну, что ж, пишите. Тут никого нету, тихо, спокойно. Только не помните скатерть.

— Вы можете ее снимать, — предложил я.

Он подумал, потом отрицательно покачал головой.

— Да нет. В трактире стол без скатерти — не годится... Только вы с ней поосторожней.

Так стал я дневным посетителем Розовой пивной, получающим две кружки кофе и две порции хлеба с маслом — раз утром, другой раз днем. Расходы мои увеличились от этого на пять крон, мною не предусмотренных, так что мне пришлось отказаться от обеда. Я не чувствовал при этом никакого лишения: эти два куска хлеба, так добросовестно намазанные маслом, были славным возмещением за ущерб. Когда наступал обеденный час, я подымался и шел гулять.

Улица «На валу» держала окна открытыми, пока позволяла погода. В полдень запах кушаний сгущался в ней и стоял почти неподвижно, музыка из радиоприемников сливалась в единый поток, под которым беспокойным роем насекомых носился звон посуды, тарелок, ножей и вилок. Там и сям у ворот бродил ребенок, убежавший из-за стола, как только положил ложку. У одного щеки блестят чем-то жирным, у другого вокруг рта рамка из соуса или повидла.

Я представлял себе, как все эти едоки с потным лбом и затылком пыхтят над своими тарелками. Делал вид, будто испытываю отвращение. Для большинства, говорил я себе с притворной презрительностью, жизнь — сплошная жвачка и погоня за куском пищи. Кто-то должен был бы наглядно объяснить им, что они этим обжорством сокращают себе жизнь, что в них под грудами жратвы гибнет то, что важней всего для человека: способность мыслить и мечтать.

Но пора было заняться чем-то другим, помимо размышлений о неискоренимой человеческой жадности к еде, помочь духу освободиться от тирании тела с его мелочными издевками и идти своим путем. Я завернул за угол и направился к одному из боковых входов в Стромовку.

Я знал, что не должен идти на приманку кудрявой зелени, сомкнувшей надо мной свой тканый солнечным утром полог и низвергающейся подобно горному водопаду, туманиясь и сверкая вокруг черной колонны стволов. Войди я в глубь огромного сада, я потеряю там самого себя и не выйду оттуда до позднего вечера.

Я пошел по верхней дороге, окаймленной кустарником и двумя рядами диких каштанов, видом своим напоминающей подъездную аллею к замку близ моего родного города. Кроны деревьев не могли затемнить ее всю, и солнце жгло самую середину, так что рассеянные и раздробленные в пыли песчинки сверкали. Именно эта середина, белая и раскаленная, как вынутый из огня клинок, привлекала меня. Я шагал по ней с непокрытой головой, счастливый тем, что горячая солнечная ладонь давит меня, понуждая разленившуюся кровь обращаться быстрей. Я чувствовал себя в своей стихии: тепло, от которого другие бегут в тень, доставляло мне наслаждение. Я всегда мечтал о том, чтобы жить в стране, не знающей зимы; мне бы родиться где-нибудь там, на южном краю Европы, — тогда я, может быть, жил бы быстрее, стремительней, меньше спотыкался бы, путал, изнемогал; может быть, вечная ясность неба и вод очистила бы мои мысли и придала им отваги.

Параллельно главной дороге шла другая, более узкая и тенистая, со скамейками. Тут бывала своя публика даже в этот полуденный час, когда квартиры отсасывают жизнь с улиц и вялый покой лежит на предметах. Я постоянно встречал здесь двух-трех нянек с колясками, какого-нибудь рабочего, которому жена принесла обед в kleenчатой сумке, несколько девушек-канцеляристок, пообедавших где-нибудь в молочной и теперь восполняющих свой обед свежим воздухом. Всегда одни и те же лица, на одних и тех же скамейках. Редко-редко появится новый посетитель, — по большей части случайный, который уже не

встретится второй раз. Мы же, остальные, знали друг друга, как те, что ездят каждый день в одном и том же трамвае на работу. Этак полуравнодушно принимали друг друга к сведению, как бы говоря: «Знаю я тебя: ты всегда сидишь вон на той скамейке, у тебя вытерты локти и брюки на коленях и на заду, и почему-то страшно падают волосы, ими покрыт весь воротник пиджака,— а в общем — ты мне ничем не интересен».

Но как-никак мы все-таки размышляли порой друг о друге, стараясь по внешнему виду догадаться, что мы за птицы, как живем, какие тайны внутри страдания и радости.

Большая часть скамеек стояла в тени, но я находил какую-нибудь освещенную солнцем. Я сидел на ней один, полдневная жара в эту предлетнюю пору уже не манила людей, и я мог расположиться со всеми удобствами. Задрав голову, я подставлял лицо свое солнцу, и у меня было такое чувство, будто я этим насыщаюсь; я забывал о том, что другие сейчас обедают, тело мое в самом деле ничего не желало, и перед разленившейся мыслью моей тянулись взбитые облачка представлений: я давно уже перестал бороться со своим маловерием, а все время находился наверху блаженства, под розовыми пологами цветущих деревьев и твердил наизусть, как стихи запинающегося признания, слова — действительно уже написанные слова — своей повести о любви Вилема и Эвы, призрака девушки в белом платье, чье тело, сформированное из самых нежных намеков, было тем соблазнительней, чем несвязанной.

Вот прожил я на свете, сорок лет наступают на пятки неистовству моих желаний, а ничего не достигнуто, у меня нет средств на самое обычное обывательское существование в кругу семьи. Теперь оно было для меня еще недоступней, чем когда-либо. Что мог я предложить какой-нибудь девушке? Время бежит, и бывали минуты, когда меня обуревал страх, что я никогда не поспею за его бегом. Как же мог я при таких обстоятельствах позволить себе ухаживать за девушкой, как бы ни угнетало меня порой одиночество? Я берег несколько воспоминаний, — ни одной золотой монеты, сплошь мелочь одна, но они были мне дороги, потому что составляли все мои сбережения. Приятно было в них поиграть, но я не был еще настолько стар, чтобы быть ими сытым. Жизнь вновь и вновь требовала платы, а я в своей раздвоенности не знал, чем заплатить ей вперед.

Слева от меня на скамейке обычно сидела одна девушка; я не мог определить ее возраста, но ей, наверно, было больше двадцати,— скорей всего, лет под тридцать. Она приходила позже меня,— видимо, где-нибудь обедала, а потом шла сюда, провести остаток перерыва, всегда с какой-нибудь книгой из библиотеки. Если ей и случалось поглядеть в мою сторону, то в этом взгляде не было ничего, кроме простой констатации факта, что я и нынче здесь, как был накануне. Ни тени другого интереса. Это задевало мое мужское самолюбие, но я никогда не пытался как-нибудь привлечь к себе ее внимание — по мотивам, которые не уставал себе повторять. Но она мне нравилась, нравилась все больше.

Она умела так хорошо носить платье, что оно выглядело гораздо дороже, чем на самом деле. Машинистка из какой-нибудь канцелярии здесь поблизости,— говорил я себе. Я любовался ее фигурой и походкой, формой ее ног, завитками, пусть искусственными, и матовым блеском ее каштановых волос; меня бросало в дрожь, когда взгляд мой падал на ее грудь, лишь при некоторых движениях чуть резче обозначающуюся под легкой материей ситцевого платья. А на лицо ее я мог бы смотреть целыми часами. Я уже любил форму ее носа и рта, ее прямые густые брови и лицо — продолговатое, но отнюдь не узкое, немного бледное в момент прихода и понемногу розовеющее к концу отдыха. И еще — ее руки с длинными пальцами, чуткие, нервные руки с голубой сеткой жилок — белые руки, покоящиеся на захватанных переплетах книг из библиотеки. Это лицо и эти руки часто являлись передо мной во время работы, и мне приходилось насилием изгонять их из своего воображения.

Честное слово, заговорить с ней мне было бы еще немыслимей, чем с любой другой девушки,— не только потому, что она не обращала на меня внимания, а я был всегда позорно робок и нерешителен, но, главное, потому, что, глядя на нее, я особенно остро ощущал свое ничтожество и невозможность что-либо предложить ей. Весьма вероятно, я все равно не имел бы успеха, даже без всяких этих помех и препятствий, которые возвигал на своем пути, чтобы самому себе не признаваться, что никогда не решусь заговорить с ней.

Иногда ей все же приходилось поднять глаза, чтобы дать им отдохнуть и подумать о прочитанном. И тут она всегда встречала мой пристальный взгляд, который я по большей части отводил с опозданием и неохотно. Но я не

стоил даже того, чтобы она нахмурилась и дала мне понять, что мое внимание ей неприятно.

Ну, мадемузель, мысленно обращался я к ней, пожалуйста, не воображайте слишком много. Просто тут нет другого подходящего предмета, которым можно было бы заполнить свой отдых. Я — человек занятой и не имею времени гоняться за случайными знакомствами. А если уж говорить о девушках, то смею вас заверить, что вы в подметки не годитесь Эве Паласовой, например. Эва Паласова была не только красавица, но и примадонна, а Вилем Габа — глупый мальчишка. Если б он познакомился с ней сорокалетним, его жизнь и работа расцвели бы пышным цветом,— но он и так должен быть ей благодарен. Вам, страстной читательнице, было бы интересно узнать, что между ними было. Придет день, я прочту вам рассказ, представляющий собой часть Габова жизненного романа. Из этого рассказа вы узнаете, что такое любовь и в какие дебри заводит она своих последователей. Может быть, она и вас уже постигла. Она напевает нам всем как будто одну и ту же песенку, но, уверяю вас, тут есть различия — в зависимости от того, как мы сумеем услышать.

6

Так мы, видимо, и просидели бы рядом до конца лета, она — проявляя сдержанное, но непоколебимое безразличие, я — ища забвенья своей усталости и растущей печали в тихом восторге перед ее красотой. Я помогал себе всякими софистическими вымыслами. Если б ты ее совсем не интересовал, она давно уже переменила бы скамейку, чтоб избавиться от твоего назойливого взгляда. А может, она хочет тебе доказать, что ты ей так же безразличен, как дерево, на чью листву она иногда смотрит с таким удовольствием,— гласил ответ.

Но если жизнь что-нибудь уж задумала, так воспользуется любым предлогом, чтоб добиться своего. Барышня могла бы помочь жизни и человеку, столь робкому от рождения, как я,— например, уронив платочек или что-нибудь в этом роде. Но барышня не имела ни малейшего намерения помогать жизни, и той пришлось самой выходить из положения, а мне — взять на себя при этом роль понятого.

Но надо рассказать все с самого начала, как полагается, а начало тогда было положено в пивной Росы. Обычно

я уходил оттуда, как только хозяин удалится на кухню, пожелав мне приятного аппетита — перед обедом, который нигде не ждал меня. На этот раз, однако, я остался и продолжал работать. Уже с утра я отступил от обычной своей программы и, вместо того чтобы излагать очередной кинороман, принял сразу после утреннего завтрака за повествование о кончине Паласа. Озаглавил этот раздел «Третий уходит» и написал больше, чем наполовину. Может быть, все, мной тогда написанное, было сплошной ошибкой, но это не важно. Это была первая проверка, и минутами мне писалось так легко, будто кто другой шепотом подсказывал слова.

А если я увязал, то на этот раз не поддался всегдашнему своему малодушию, отпугивавшему меня от неоконченной работы: я делал новые и новые попытки продолжать, пока, отчаявшись, не нападал, как правило, в этой скале безмолвия на нужное место, которое, разверзшись, выбрасывало новый поток слов. Я бы, наверно, дописал до конца той же ночью, да у меня не хватило керосина в лампе — потому что я работал при свете лампы, с тех пор как пани Пашекова стала выключать электричество, — а в запасе не было.

Пани Рассова, властвовавшая над пивной от обеда до пяти, застала меня как раз в тот момент, когда я написал последнее слово и поставил последнюю точку и с пылающей физиономией уперся напряженными руками в стол, — в победоносной позе, словно охотник над добычей.

Маленькие глазки на пухлом лице трактирщицы заблестели от радости, что я еще тут. Стоя передо мной в длинном белом фартуке и крахмальном чепчике, маленькая, круглая, с толстыми розовыми пальцами, она была олицетворением хорошей поварихи. Казалось, ее все время сопровождает дружеское шипение растопленного жира и горячее бульканье кипящих супов. На сложенных сердечком губах ее читалась страсть к чревоугодию, а за ними беспрестанно двигался неугомонный язык, на который можно было положиться.

— Господин писатель нынче заработался, — засмеялась она, — а где-то съедят все меню, и вместо супа вам достанется пустая миска.

Во мне уже гудела разлившаяся Рычна и на подмытом берегу ее помигивал фонарь перевозчика, подобно заблудившейся и угасающей звезде. Печальный конец повести, — и ко всему еще те двое в ней разошлись, разделенные призраком мертвеца, поправшего таким путем свою

смерть... Но какая-то петушиная спесь раздувалась во мне: дописал-таки! Слышите, госпожа трактирщица? Да что там: слышишь, мир? Вот первая вещь, над которой я не обессилел, выдержал до конца. Обед готовите? Я заслуживаю банкета, какие устраивали короли по случаю победы. Все время терпел поражение, а вот теперь — победил! Не знаю, какую цену будет иметь моя победа в глазах остальных, но для меня она убедительна. Сделав широкий жест рукой, я ответил:

— Обед — пустяки, пани Росова. Как-нибудь устроится.

И в нежданном приливе общительности добавил:

— Мне без него не впервой, а вот — жив и здоров.

Я сейчас же пожалел о сказанном. Можно подумать, будто что-то выпрашиваю. Дальнейшее убедило меня, что опасения мои не напрасны.

— Что это за безобразие! — возмутилась пани Росова.— Значит, вы обедаете, когда придет в голову? Так можно разрушить здоровье. А куда же вы ходите обедать?

Я весь покраснел под ее пристальным взглядом, полным искренней заботы, и ответил, щеголяя презрением к жвачке, свойственным человеку, у которого в голове роятся проблемы поважней вопроса о том, где поесть.

— Я еще нигде не обосновался. Хожу, куда взбредет в голову.

Наклонившись ко мне через стол, пани Росова многозначительно промолвила:

— Не верю. Я еще никогда не встречала писателей, вы — первый, но кое-что о них читала. По-моему, это люди, которые слишком часто голодают, оттого что не умеют о себе позаботиться, а окружающие хлопочут о них только после их смерти.

Я внутренне засмеялся ее объяснению; да, если говорить обо мне, то я отчасти подходил к такому пониманию. Я не голодал в буквальном смысле слов, но жил впроголодь и мечтал о полных блюдах чаще, чем хотелось бы. С нетерпением ждал я, к чему она клонит.

Она продолжала очень умно, и я опять покраснел, видя, что ее доброе отношение направлено на человека, весьма мало того заслуживающего.

— Как подумаю об этом, так говорю себе, что кто-то должен заботиться о таких людях, чтоб они могли думать только о своей работе. Правда? Ведь они трудятся для нас для всех.

Я кивнул, потупившись, все сильней мучимый стыдом. В эту минуту во мне не было ни грана той спеси, что раздувала меня за мгновенье до того.

— Посудите сами,— снова начала она, тяжело дыша и сама вдруг покраснев от смущения.— Зачем вам тратить время на беготню — в поисках обедов, которые потом лягут тяжелым камнем у вас в желудке?.. Я ведь хорошо знаю, как готовят в некоторых трактирах. Зачем нарушать свой распорядок мыслями о том, куда бы нынче сходить, где малость поприличней? Обедайте у нас.

Добрая женщина, очевидно, думала, что я в состоянии платить за ее обеды так же аккуратно, как за кофе и хлеб с маслом. Надо было как-нибудь выбраться из западни, которую она мне расставила своей услужливостью.

— Но ведь вы ничего не готовите для посетителей, пани Росова. С какой же стати вам вдруг хлопотать о каком-то приблудном, вроде меня?

Она заговорила, прежде чем я кончил.

— Для посетителей не готовлю, это правда. Да нешто здесь бывают посетители, для которых можно готовить? Или для тех пятерых-шестерых служащих из Гарадки, которых я бы переманила от Понерта? (Это был трактирщик, державший там же, «На валу», только ниже, почти напротив Гарадовой фабрики, нечто вроде закусочной.) А больше никто бы сюда не стал ходить. Публика неподходящая. Мне некому готовить, кроме как самой себе да служанке. Мой еду-то еле ковыряет,— он пивом сыт. Когда мы с ним сюда приехали, я так рассчитывала завести здесь самую лучшую столовую во всем квартале. Но это уж давно. Мы уж и карточки сожгли — «Обеды, ужины и завтраки у стойки».

Это была настоящая трагедия, существование, можно сказать, бесплодное, талант, не зарытый в землю, но отвергнутый жизнью, которая гораздо больше ценностей растрачивает зря, чем использует. У этой женщины не было не только возможности готовить для посетителей, но даже никого, кто мог бы оценить ее способности. Муж, весь пропитанный пивом, ел через силу, а дура служанка уплетала что ни дай, лишь бы вдоволь. Некому было распроверять ее приготовление и похвалить ее.

Почему же мне не принять с восторгом ее предложение? Видите ли, пани Росова, единственный человек, который сумел бы напитаться вашими благами до необходимости расстегнуть жилет и пояс брюк, не в состоянии заплатить. Ваша трагедия дошла до высшей точки. Ну не

смешно ли? Я воспользовался последней отговоркой, имеющейся у меня в запасе, прежде чем оказаться совсем загнанным в угол:

— Но если вам нет смысла готовить для пяти или шести посетителей, как же я могу согласиться, чтоб вы готовили для меня одного? Нет, пани Росова, это очень любезно с вашей стороны, но я не могу принять от вас такую жертву. Кажется, я и так злоупотребляю вашей добротой.

— Это совсем другое дело. Ведь мне придется готовить ничуть не больше, чем до сих пор. Неужели вы не знаете? Коли готовишь для троих, так всегда накормишь четвертого.

Что делать? Продолжать отказываться — значит обидеть добрую женщину и лишиться последнего мирного убежища, где можно спокойно работать. Но как сказать правду?

Я промолчал. Муха путешествовала по последней странице моей повести, хоботком прокладывая себе дорогу в дебрях мной написанного и пробуя на вкус терпкие чернила самописки. Ты не один, — говорил я себе. — Это самое многие пережили до тебя, переживают теперь и еще будут переживать. Очень возможно, что и Вилем Габа в один прекрасный день тоже окажется в подобном положении. Извилист путь такого странствующего актера; почему же он не может попасть на самое дно, захлебнувшись унижениями, которыми полна жизнь бедняка? Урчащий живот — менее значительная часть этих мучений, но как выразить благодарность за подаренный кусок, который чуть не обжег глотку, переперченный состраданием. Туман расходится, события обозначаются, продвинемся еще немножко вперед.

Плохо то, что сам писатель переживает их, как свою собственную участь. Да, пожалуй, и того хуже. Там, в этой самой действительности, хоть разные задержки и рассеяния приводят к разрядке мучений, а ведь ты, сосредоточившись на главном, как того требует построение целого, должен переживать все с губительной полнотой. Мне жаль тебя, Вилем Габа, но как раз я-то и загнал тебя на этот путь! Как исхудал, бедненький, — говорит какая-нибудь квартирная хозяйка, — никогда, видно, не поест как следует, не до того. Выглядит старше своего возраста. Добрая женщина вспоминает поговорку своей матери: «Голодный, как актер». Присаживайтесь к нам за стол, сударь! Взгляды всей семьи устремлены к облаку пара, подымющемуся

из миски посреди стола. Знай уплетает, так, что за ушами трещит. Мамочка, положи молодому человеку еще кнедликов с подливкой. И вот мы ждем какой-нибудь шутки: известно ведь — актеры великие забавники.

Насколько припоминаю, Вилем, у вас дома в выдвижном ящике прилавка было особое отделение с мелочью для нищих. Вы слыши добрьми людьми, и ни один из этих субъектов, бубнящих свою просьбу либо «Отче наш», не уходил без подаяния. А по четвергам к вам являлся Пашак, всегда чистый, благообразный, в воротничке, сияющем белизной, даже при галстуке, и получал обед на кухне. Рассказывал о том, как умел пожить, пока не пришлось уйти в богадельню, показывал фотографию до-чери, которая живет в Буэнос-Айресе, уверенная, что отец на старости лет по-прежнему благоденствует. У него был свой особый способ садиться за стол и держаться за обедом. Он делал это так-то и так-то. Получалось действительно смешно. Я говорил тебе, мамочка: актеры — страшные шутники!

Мне очень жаль тебя, Вилем, но человек должен к этому привыкать, как привыкли Пашак и многие другие. В конце концов обнаружится, что это не так уж неприятно — предоставлять людям возможность сделать вам добро. Ведь при этом и вы принесли им пользу, дав почувствовать, насколько они лучше живут, чем многие другие, — чтоб они могли гордо поднять голову, почуя, какое у них доброе сердце. Так что вы с ними квиты, особенно ежели принять во внимание, что духовные ценности, во всяком случае, не уступают тем, которые потребны телу для его сохранности. В конце концов это — в первый раз, а дальше этих ощущений уже не будет. Стыдно, стыдно, Вилем. Никогда я не думал, что найду в твоих следах скрипучий шлак даже таких соображений.

— Да что же вы молчите? Может, боитесь, что я буду кормить вас какими-нибудь обедками? Или думаете, что моя стряпня не сильно хороша, коли сюда никто не ходит обедать?

— Что вы, что вы? Как это вам могло прийти в голову! Но — существуют препятствия, о которых, вы меня прощите, я не могу говорить.

Теперь хорошо бы поблагодарить за любезность и с независимым видом удалиться. Да, существуют препятствия, — разумеется, чисто личного порядка, до которых трактирщицам и никому другому на свете нет решительно никакого дела. Однако я не встал со стула, но и без того

лицо трактирщицы под белой наколкой покраснело от гнева, и одновременно желудок мой издал тонкое протестующее бурчанье.

— Не смею навязываться, сударь.

И она повернулась так стремительно, что ее крахмальный передник негодующе зашуршал.

Я вскочил.

— Пани Розова, прошу вас!

Она остановилась, надув губы, с уничтожающим взглядом.

— Умоляю вас, не сердитесь. Но я, право, не могу. Видите ли, дела мои пока что идут не так успешно, как хотелось бы, и регулярные обеды мне не по средствам.

Я весь вспотел, выжимая из себя эти слова. Лицо пани Розовой сейчас же прояснилось.

— Как я рада, что только эта причина. Да вы бы давно сказали! Так подрывать свое здоровье из-за какой-то глупой гордости! Впрочем, нет, не глупой. Мне по душе мужская гордость. Но я вам вот что скажу: нет речи о плате. И не будет, пока вы сами не заведете. А я свое получу: будет в вашей славе и моего меду капля, а вы мне подарите свою книгу. Мне больше ничего не нужно.

Так я стал нахлебником пани Розовой — в тот самый день, когда кончил первое свое произведение, после стольких начатых и недописанных.

События имеют свойство не возникать в одиночку: только произошло одно, откуда ни возьмись — за ним уже тянется другое. Иной раз можно подумать, будто они назначают друг другу свидание в тот или иной день, когда им вздумается. И поступают так независимо от того, принадлежат они к приятным, тягостным или несчастным. Это народ дружный и норовит навалиться, только чтоб было побольше сумятицы.

Дописав свой рассказ и сделавшись даровым едоком у пани Розовой, полный паровых кнедликов, грибного соуса и антрекота, а также смешанных чувств гордости своим достижением и мучительной неуверенности, не слишком ли низко я спустился по крутой лестнице человеческого достоинства, поспешил я к Стромовке, чтобы, как обычно, воспользоваться остатком обеденного перерыва. Только тут я узнал, что утром над городом прошел дождь:

промежутки между камнями мостовой были еще черны от сырости, возле тротуара в луже у засорившегося водостока плескались чумазые ребятишки. Ветер налетал слабеющими порывами, над крышами проносились обрывки туч, тень и солнце все время сменяли друг друга. Пришло одно, хочется другого. В тени казалось слишком холодно, на солнце — слишком жарко. Я дошел до рубежа, где запах мокрого камня смешивался с росным ароматом сада.

Что способен сделать кус жратвы с человеком! Теперь я выступал и чувствовал себя молодцом — совсем не таким, как вчера, когда старался заглушить мысли о еде ходьбой. Все мне было ни почем. Послушайте, да ведь это же бесмыслица, что я до сих пор не мог взглянуть в глаза встречному! Я ничего не украл, не просил милостины. Трактирщица Рогова — просто умная женщина, знающая жизнь, тонко чувствующая, облагороженная чтением, и сразу поняла, с кем имеет дело. На этого человека, — могла бы она сказать жалким маловерам, считающим кручинки в супу, — на этого человека я поставила свои обеды, которые мне некому готовить, и вот увидите — не останусь в проигрыше. Ясней ясного: придет день — и я не только положу перед ней свою книгу, но и оплачу все, что было ею отпущено. С нынешнего дня в той записной книжке — когда-то разбитой на отделы и испещренной заметками к моему роману, уже давно переставшему быть просто фикцией, хотя до сих пор мной окончена лишь одна глава, — я буду вести запись всех обедов — вплоть до момента уплаты.

В моем литературном наследии записная книжка эта подаст когда-нибудь повод для самых удивительных предположений. На основании ее будет сделан вывод, что я был чревоугодник, наслаждавшийся перечислением поглощенной снеди, но что вкусы мои были простые и не выходили за рамки меню, обычного для семьи среднего достатка... Если только я не уничтожу эту записную книжку, после того как заплачу свой долг, потому что я еще не решил, не встать ли мне в высокомерную позу по отношению ко всем этим любителям залезать в душу поэта, не замести ли за собой все следы после смерти, оставив этим людям лишь свои произведения, по которым они пускай и рисуют себе мой облик гражданина. Я не стремлюсь к тому, чтобы слезы размывали пудру и румяна на лицах дам, и не нуждаюсь в сочувствии; я был всегда молодцом, обходился без посторонней помощи и таким и останусь, пока не выйду победителем или паду побежденный. Дайте мне только

местечко, куда ногу поставить, только одну твердую точку во всей вселенной, и увидите, что я сделаю с вашим дуплистым земным шаром.

Я шел быстрыми, широкими шагами, вскинув голову, грудь колесом; каждому встречному сразу становилось ясно, что идет не кто-нибудь... Я, конечно, ждал самого главного момента, когда это заметит одно определенное лицо. Но, проходя мимо интересующей меня особы к своему обычному месту, увидел, что она еле подняла глаза от книги. На ней был голубой непромокаемый плащ, скрадывающий фигуру и, наоборот, подчеркивающий лицо, порозовевшее от свежего воздуха.

Ее неизменное равнодушие показалось мне оскорбительным. Вообще ни на что не похоже — постоянно сидеть рядом со мной и не думать о том, какой человек — твой сосед. Как по-твоему, Индржих? Этого нельзя оставить. Ты молча терпел подобное обращение, пока не определилось, что из тебя выйдет, но теперь это надо изменить. Переходим, так сказать, в атаку. Позвольте, мадемуазель, представить вам моего друга, Индржиха Ауста, писателя, — и, как в дальнейшем окажется, выдающегося. Хотелось бы знать, что вы о нем думаете. Извольте открыть свои карты, — посмотрим, чего стоит ваша любовь к литературе. Не годится вылизывать жизнь только из книг на полке: обзаведитесь-ка собственным ломтем и кушайте его с аппетитом. Мой друг в восторге от вас, и я берусь доказать, что он тоже достоин внимания. Если вы скажете «нет», мы пойдем скорей дальше и не будем вас больше беспокоить; мы уже не так молоды и слишком много видели, чтобы удовлетвориться одними взглядами, вздохами и мечтами; времени нам отпущено мало, а в жизни у нас есть дело, на которое его очень много уходит. Если же вы скажете «да», то откроете дверь к изумительным возможностям, так как мой друг — на прямом пути к единственной точке опоры во всем мироздании и решил привести земной шар в такое положение, чтобы на нем вечно была весна.

Неужели я не стою того, чтобы случай помог мне? За то время, что я сюда хожу, сколько я предоставлял ему поводов вмешаться! Как раз сейчас он мог бы воспользоваться ветром, стряхивающим последние дождевые капли с листвьев, и принести к моим ногам открытку, легко-мысленно положенную барышней рядом на скамейке. У меня наготове целая дюжина обращений, с которыми я мог бы вернуть эту открытку владелице, — они так

и кишат у меня в мозгу... Впрочем, позорно призывать на помощь случай и дожидаться какой-нибудь мелочи, которая смилиостивится над нами! Стоит только представить себе Вилема Габу,— сразу станет ясно, что лучше всего рассчитывать на свои собственные силы. Вилем всегда презирал женщин, чувствовал над ними свое превосходство (кроме одного-единственного случая), и, может быть, как раз это-то и притягивало их к нему, облегчая его задачу. Когда он разошелся с Эвой,— или, верней, когда Эва бросила его,— с ним в этом отношении получилось еще хуже. Тогда он из всего живого стал замечать только себя. Но мы в своем повествовании до этого еще не дошли и лучше не будем забегать вперед.

Барышня захлопнула книгу, достала из сумочки зеркальце и стала поправлять прическу, в общем аккуратную, несмотря на то, что плоская шапочка еле покрывала половину ее. Я мог бы описать каждое ее движение, прежде чем оно совершился,— до такой степени изучил весь церемониал ее приготовлений к уходу. Вплоть до захлопывания сумочки и легкого потягивания. В этом непроизвольном движении угадывалось мимолетное удовольствие, испытываемое телом, которое обретает нужное равновесие, на минуту ощущив самого себя через нервную изморось наслаждения. Натянув тонкую ткань одежды, мгновенно обозначились груди, и я почувствовал в ладонях нестерпимое желание охватить их овалы. Теперь она встанет, проведет рукой по юбке и плащу и только после этого пройдет мимо, оставив меня способным только на то, чтобы смотреть ей вслед, проклиная свою непреодолимую застенчивость.

Так было всегда — до сегодняшнего дня. Потому что... что сделал бы Вилем Габа? Он встал бы, снял шляпу этаким чуть надменным, снисходительным жестом и произнес легко, небрежно — не столь существенно, что именно, так как самые слова имеют гораздо меньшее значения, чем это кажется желторотым птенцам,— примерно следующее:

— Мадемуазель, разрешите представиться!

Она остановилась. Спокойные серые глаза глядели на меня без удивления, но с насмешливым любопытством.

— Вы уверены, что это будет мне приятно?

Вилема Габу такой ответ не смутил бы: прежде чем она договорила, он уже знал бы, как действовать дальше. Но у меня не было времени придумывать, что сказал бы Вилем Габа.

— Простите,— пролепетал я, испытывая неприятное

сознание, что краснею как рак,— я не имел намерения навязываться.

Она засмеялась.

— Оказывается, вас нетрудно испугать.

Я немного приободрился. Если она воображает, что надо мной можно потешаться, как над каким-нибудь сопляком, я докажу ей, что это напрасно.

— Жалею, что причинил беспокойство. Вы извините, надеюсь?

— Господи! — испуганно промолвила она.— Что же вы обиделись? Назовите скорей свою фамилию, и пусть с этим будет покончено.

В глазах ее было веселье. Она не отвергла меня,— пускай насмешничает, издевается,— но не отвергла! Замкнутый круг моего одиночества начал трещать, на сердце заиграл победный марш. Отчего нельзя тут же обнять и поцеловать ее?

— Индржих Ауст,— сказал я с легким поклоном.

— Индржих Ауст,— повторила она.— Звучит красиво. Я всегда думала, что Индржихи — смелые и ничего не боятся.

— Вы на самом деле думаете, что я такой трус?

— Да нет,— возразила она не без иронии.— В конце концов ведь решились же.

Мы вышли из сада. Она торопилась: до двух, когда ей нужно быть на работе, оставалось немного. К счастью, канцелярия адвоката, где она стучала на машинке, была не очень далеко. «Адвокат, доктор прав Борживой Лекса, защитник по уголовным делам, приемные часы 8—12 и 2—6» — было выведено черными буквами на белой квадратной табличке. Я представлял себе этого Борживоя величественным, толстобрюхим, источающим елей профессиональной учтивости, либо тощим, замкнутым, с пергаментным цветом лица и холодными глазами за неумолимыми стеклами очков. А оказывается, это был энергичный молодой человек, счастливый супруг и отец и замечательный пианист, с успехом выступавший в качестве аккомпаниатора даже на концертных эстрадах. Вот что значит создавать себе представление по книгам; а вокруг меня адвокатов не было, и дела иметь с ними мне тоже, к счастью, никогда не приходилось.

По дороге она сообщила мне, что ее зовут Ярмила, фамилия — Ситова и что она совсем старуха; ей двадцать девять лет. Я обрадовался, что не настолько уж она моложе меня, чтоб это могло внушать мне сомнения.

Я попросил свидания в тот же вечер. Дескать, нынче взошла счастливая звезда,— и нельзя этого упускать. Улицы приобрели карнавальный вид, по ним шел сумасшедший бег взапуски под звонки трамваев и гудки автомобилей, дрожащая бахрома тени, кидаемой на тротуар у наших ног жидкой кроной маленькой липы, колебалась, будто край юбки танцовщицы. Но мадемуазель Ситова в этот момент смотрела на жизнь не под тем углом зрения, что я. Услышав мою просьбу, она перестала улыбаться и молча устремила взгляд куда-то в пространство над моим плечом. Потом сказала:

— Мне в голову не приходили никакие свидания. Не будем лучше говорить об этом.

Она не шутила, не смеялась, и в глазах ее больше не было того полунасмешливого выражения, как в тот момент, когда я с ней заговорил. Вилема Габу эта внезапная перемена настроения, конечно, не застала бы врасплох. Но к черту Вилема Габу! Только что кто-то приоткрыл двери моего постылого одиночества, а теперь опять хочет захлопнуть. Это было слишком жестоко.

— Я не заслуживаю такого обращения. Вы представить себе не можете... как мне дорого знакомство с вами.

Она посмотрела на меня, как бы оценивая и восполняя прежнее впечатление. Может быть, было что-то в прошлом, что заставляло ее быть осторожной.

— Почему дорого? Ведь вы меня совсем не знаете.

— Все же больше, чем знал еще сегодня утром, — засмеялся я, но продолжал уже умоляюще: — Не отвергайте меня. Чего вы лишитесь, пожертвовав мне один вечер? Если вам не понравится, я больше не буду вас затруднять.

— Какая самоуверенность!

— Да нет. Просто — утопающий хватается за соломинку.

Она ничего не ответила. Опять устремила взгляд куда-то за мое плечо. Мне показалось, что она сейчас отрицательно покачает головой. Я быстро произнес:

— У меня во всем мире нет никого, с кем поговорить.

Она заморгала, словно ей вдруг ударило солнце в глаза. Улица непостижимым образом затихла. Стал слышен шелест листочеков липы над головой.

— Так и быть, — быстро промолвила мадемуазель Ситова. — Ждите меня в половине восьмого... Ну хоть здесь.

Она отклонила мое предложение — сесть в саду ресторана, где духовой оркестр играл попурри из опер, народных песен и обрывков танцев. Если уйти поглубже в сад, эта музыка, смягченная отдаленностью и пропущенная сквозь мелкое сито зелени, будет приятней для уха; а вблизи она ей просто невыносима. Конечно, у нее не было никаких других доводов, почему бы не сесть под темнеющий навес диких каштанов и не выпить охлажденного вина или лимонада, под рыдающий аккомпанемент корнет-а-пистона, кроме того, что она принадлежит к девушкам, гордым своей самостоятельностью, которым противна мужская привычка вечно угождать. В карман она мне не заглядывала и не могла судить о его содержании по моей одежде. Еще не дошло до того, чтобы туалет мой выдавал глубину моего падения. И бог даст — никогда не дойдет. У меня был парадный костюм, и в тот вечер я имел вид человека, выколачивающего тысячи две крон в месяц запросто. Кто, взглянув на меня, мог бы подумать, что мне отпускают обеды из милосердия? Ведь, по существу, я пошел на это только для того, чтобы не обидеть своим отказом добрую женщину. Пока что нищета обходила меня стороной,— только поглядывала на меня, облизываясь, но мне еще удавалось избежать ее грязных лап.

Солнечный луч бежал по верхушкам деревьев, а с по-темневшего газона подымалась голубоватая дымка вечера. Ветер утих; ниспадающие до самой земли пряди плакучих ив висели недвижно. Синева ясного неба, чем ближе к золотому пожару на западе, все больше отливала серебром. Предметы приобрели странную четкость, и даже самые мелкие были полны необычайной мощи. Чувствовалось, что природа горда плодами трудов своих и совершенно равнодушна к мнению индивидуумов.

Начавшись не вполне удачно, свидание и в дальнейшем не сулило особых перспектив. Мадемуазель Ситова была молчалива; получалось впечатление, что она пришла, только чтоб сдержать обещание, и жалела, что дала себя уговорить. Она почти ни разу не повернулась ко мне лицом и не поглядела мне в глаза.

Разговор замирал, и в конце концов мы продолжали молча идти рядом. Сад был еще полон гуляющих, и мне казалось, что все они понимают, в какое я попал положение, и смеются надо мной. Завидев первую свободную скамейку, я предложил сесть, рассчитывая, что, сидя

и глядя на идущих мимо, она придет в другое настроение. Она согласилась так равнодушно, что все мои надежды пошли прахом.

— Вы жалеете, что пришли? — сказал я наконец с отчаянной прямотой, видя, что все мои попытки поддержать разговор вызывают по-прежнему односложные ответы.

Она в первый раз за все время поглядела на меня, оживившись, и кивнула.

— Да, я жалею. Только не решалась сказать вам это.

— Ну, тогда зачем же навязываться? Я пойду.

В тот момент, когда я оперся о скамейку, чтобы встать и осуществить свое намерение, она положила свою холодную руку на мою.

— Не сердитесь. Я сделала ошибку, согласившись на эту встречу. Но вы отчасти сами виноваты — тем, что так настаивали. Я не сумела тогда отказать.

От мягкого, извиняющегося тона, каким это было сказано, у меня сжалось горло. Хорошо, мадемуазель, не надо напоминать мне о том, как я клянчил. Если я стал нахлебником пани Розовой, это произошло на основе взаимной договоренности и не дает еще оснований считать, будто я потерял всякое самолюбие. Я откашлялся перед тем как ответить.

— Действительно, я немного пересолил. Изобразил себя потерянным в широком мире сироткой. Но это поправимо. Недостоин — ухожу.

Она до сих пор не снимала своей руки с моей, а теперь сжала ее.

— Не вскакивайте, пожалуйста, поминутно, — сказала она, понизив голос, потому что к нашей скамейке приближалась влюбленная парочка. — Я не знаю, что мне делать. Как вам объяснить, что я отклоняю наши встречи не из-за вас? Вы заставили меня нарушить одно обещание, которое я дала сама себе, и я не могу с этим примириться.

Музыка бродила по саду, смягченная благодаря отдаленности пронзительно звучавших инструментов, прилив ее то усиливался, то ослабевал, его поглощал простор, впивали жаждущие губы древесных крон, всасывали золотистые песчаные отмели небосвода, он исчезал и катился опять — новыми волнами. Никем не управляемый хор птичьих голосов в зеленых чащобах вокруг нас брал верх над ним. На дорожке появились муж и жена — ему на вид за шестьдесят, у нее голова с проседью; они шли под ручку и разговаривали, улыбаясь друг другу. Никогда еще мрак сдиночества не казался мне таким черным, как теперь, при

взгляде на свет, сиявший в глазах двух этих стареющих людей. Мадемуазель Ситова сняла свою руку с моей, и мы молча смотрели на эту пару, удаляющуюся на фоне зоревого заката. Я оглянулся на свою спутницу: в глазах ее было отражение их сияния, но тень, подымающаяся изнутри, как разбуженное подводное течение, замутняла его.

— Этому трудно поверить, знаете ли, — сказал я. — Но все-таки возвращается какая-то надежда.

Она отвернулась и устремила взгляд в глубь открытой лужайки перед нами, похожей в этот момент на водную гладь, сомкнувшуюся и застывшую над сброшенной тишиной жизни.

— Но все-таки вам лучше уйти, как вы хотели, — промолвила она наконец, и голос ее был бесцветен, словно она несколько раз повторяла эти слова, прежде чем их произнести.

Ладно, я уйду, но прежде скажу ей кое-что. Говоря объективно, я действительно не имел никакого права становиться на ее пути, я не представлял собой ничего привлекательного для какой бы то ни было женщины, мне нечего было предложить ей, кроме своих пустых рук да желания трудиться, результатом которого явится, может быть, окончательный крах.

— Вы правы, — сказал я, — так будет лучше всего. Я сделал ошибку, заговорив с вами. Но мне вскружила голову удача: я совершил сегодня нечто такое, относительно чего был уверен, что никогда этого не осилию. И еще — узнал одного доброго человека. Это придало мне смелости. Почему я должен был все время смотреть на вас, как дети смотрят на недоступную игрушку? Меня ввела в заблуждение моя вера в то, что — бог троицы любит.

Она засмеялась так же, как днем, когда я провожал ее.

— Так я была вам нужна для «троицы»? Это надо было сразу сказать... Но, конечно, поговорки не могут изменяться из-за того, что глупая девушка что-то забрала себе в голову.

Она встала, вдруг застыдившись чего-то и покраснев, — с тем полунасмешливым выражением глаз, которое меня страшило и привлекало.

— Пойдемте.

Я пошел за ней, сбитый с толку этим неожиданным оборотом, спрашивая себя, что же такое она забрала себе в голову. Тут замешан какой-то мужчина, это ясно; женщина редко забирает себе в голову что-нибудь другое;

он ее как-то надул, соображал я, вопрос только в том, как. Может быть, со временем узнаю. Это разрасталось в бесконечную смену часов, которые нам предстоит прожить вместе. Когда речь идет о женщинах, мужским мерзостям нет границ,— говорил я себе. В этих делах даже такие мужчины, которых все считают порядочными, способны на невероятные подлости. Если она гонит меня прочь, это относится ко всем мужчинам, а не только ко мне одному — вот как надо это расценивать. И моя подорванная вера в себя снова подняла голову. Значит, я сумел-таки завоевать ее доверие.

Кусок твердой земли, на которой я стал обеими ногами сегодня днем, дописав повесть о Паласе, разрастался до размеров материка. Человеческие чувства не изменяются и не ослабевают. Мне сорок, но могло бы быть точно так же двадцать. Вот ваш материки, Ярмила. Приказывайте: какие существа мне для вас создать на нем?

Не знаю, кто из нас решил, в какую сторону идти. Может быть, мадемуазель Ситова, хотя она, скорей всего, не обращала никакого внимания на то, куда мы идем.

Мы подошли к железнодорожной насыпи, где сад кончался аллеей старых лип и некошеными газонами, на которых волновались серебристо-серые метелки и колоски расцветших трав. Место было сырое; пахло близкой рекой и горьким, волнующим запахом железной дороги.

Наши шаги загудели под аркой прохода, по гранитным стенам которого стекала вода.

— Ухните! — попросила мадемуазель Ситова.

Мы были в туннеле одни, но я послушался бы, даже если бы там было полно пешеходов. На нас с воем накинулось эхо. Мадемуазель Ситова вздрогнула, потом засмеялась. Я был вне себя от счастья. Поднес ее руку к губам и поцеловал выступающую косточку.

Мы вышли на яркий свет заходящего солнца. Я видел, как кровь бросилась ей в лицо. Видимо, я пробудил в ней какое-то неприятное воспоминание, так как она нахмурилась.

— Нам не к лицу ребячиться,— промолвила она, но голос ее прозвучал неуверенно, и в нем был оттенок просьбы.

Сойдя с дороги, ведущей к брошенной мельнице, мы пошли вдоль железнодорожного полотна — по тропинке, еще раскисшей после сегодняшнего ливня. Темно-зеленый луг спускался к каменной набережной канала. В неподвижной глади отражались, как в зеркале, краски заката

и холмы вдали за рекой, над которыми остановилось в нерешительности оранжевое солнце.

Под разбросанными на краю луга деревьями сидело несколько влюбленных парочек. Занятые собой и зреющим угасающего дня, они не обратили на нас почти никакого внимания. Нигде листочек не шелохнулся, фигуры хранили полный покой, будто изваянные. Пейзаж и люди составляли совершенно законченную картину, от которой бежал творец, потрясенный красотой, где действительность поглотила мечту.

— Вон хоть туда, — сказала мадемуазель Ситова, указывая на место под одним из деревьев, где примятая трава свидетельствовала, что там часто находят приют такие же, как мы.

Я расстелил свой старый дождевой плащ, который был у меня на руке. Она села, тщательно оправив платье и натянув юбку на колени.

— Я очень люблю широкий кругозор. Может быть, оттого что в канцелярии мой столик с машинкой стоит у стены.

— Ну конечно. Если бы проводили весь день под открытым небом, к вечеру вам хотелось бы в уголок, где не видно ничего, кроме пола.

Она засмеялась. Смеясь, она закидывала голову назад и обнажала свои мелкие белые зубы. Мне пришло в голову, что она научилась так смеяться еще девочкой, перед зеркалом, пробуя всякие штучки, чтобы сводить с ума мальчишек, и это так у нее и осталось. Но смех ее был звонкий, непринужденный.

— Ишь какой сообразительный. Давайте закурим, чтоб отогнать комаров, и расскажите мне о себе.

Она жадно затянулась, потом стала медленно выпускать дым, глядя, как он расходится в неподвижном сыром воздухе.

— Вы много курите?

— Три-четыре папиросы в день, но со страшным наслаждением. Не заминайте мою просьбу.

Так вот, сударыня, я абсолютно согласен с тем, что между нами с самого начала должна быть полная ясность. Никаких преувеличенных надежд, никаких воздушных замков. Я — не брачный обольститель и не собираюсь жениться на вас ради выгоды, пользуясь тем, что мы еще плохо друг друга знаем. Мне кажется, это как раз тот случай, когда к вину, которое ты пьешь, не надо ничего примешивать. Выдержите вы правду, мы можем стать

настоящими друзьями; а нет, так будет действительно лучше не заходить слишком далеко и не отнимать друг у друга времени...

— С чего же мне начать? С того момента, как у молодых и тогда счастливых обеспеченных супружов родился здоровый, славный мальчиконка и как он по мере роста подавал все больше надежд?

— Начните с этого. Я люблю рассказы, которые чем-то напоминают жизнь.

Черная челюсть холма за рекой все глубже вгрызаясь в солнечный пирог. Вот уже только золотая бахрома дрожит над твердым краем скалы. Я убедился, что говорить о себе неприятно только поначалу. Удивительно, как я развелся и позволил себе увлечься повествованием о своей печальной судьбе. Значит, то кротовое тырканье, каким я считал свою жизнь, имело какой-то смысл и могло представлять для кого-то интерес?

Внимание, с которым меня слушала мадемуазель Ситова, придавало мне смелости. Обхватив свои колени, она смотрела на бледнеющую полосу зари над вершинами холмов за рекой. Когда кто-нибудь рассказывает о своей жизни, другой обычно думает о своей собственной. И теперь так? Мне было радостно представлять себе, что наши жизни идут рядом хотя бы в воспоминаниях — вплоть до нынешней нашей встречи.

Почему, собственно, не нашел я в себе мужества самому прочно стать на ноги, пока был молод? Я не мог вспомнить ни одной тогдашней причины; из зеркала времени на меня смотрело только теперешнее мое лицо. Рассказ мой вряд ли мог произвести на мадемуазель Ситову хорошее впечатление. А то, что я в конце концов все-таки сделал выбор? Он мог показаться ей чистым вздором. Какой-то дармоед и бездельник, не желая быть рядовым бойцом, нашел себе благородное оправдание, но маршальский жезл превратился у него в ранце в ножик, обтачиваемый на точильном камне нужды... Но нет, со мной дело обстояло не так скверно. Жизнь сокращалась, а мечта росла, — вот как было на самом деле! И я должен был позволить, чтоб она меня поглотила, и жить дальше в полуబезумии, по-прежнему делая ставку на то, что мне не удавалось? Уж лучше было погибнуть, как двое самоубийц, связавшихся вместе, перед тем как броситься в реку.

Золотая бахрома над холмом расплылась в бледном сиянии, небосклон стал пепельно-серым, свет перестал дрожать, успокоился. Он поднялся высоко над окрестно-

стью, которая лежала в нем, подобно стране, провалившейся на дно прозрачных вод.

— Вы хотите сказать,— промолвила мадемуазель Ситова, не меняя позы,— что не могли дописать до конца ни одного рассказа? Не понимаю, отчего? Как это может быть? Если я за что принялась, так обязательно докончу. Плохо или хорошо, но дело должно быть сделано. Иначе нельзя.

Да, тут между нами была большая разница,— и не только между нами двумя, но между мной и остальными людьми. Мгновенье я испытывал чувство гордости, словно был болен тяжкой болезнью, которой до меня никто еще не болел. Но потом испугался, как бы моя собеседница не начала меня бояться и не стала опять отходить от меня.

— Нет, нет,— поспешил возразил я, радуясь, что могу похвастаться перед ней хоть каким-нибудь успехом.— Студентом и вскоре после окончания я написал и напечатал несколько рассказов. Мои затруднения начались, когда передо мной встал вопрос о профессии. Я никак не мог решиться сделать выбор. Я стремился стать хорошим, преданным делу специалистом, но не мог отказаться от своей жажды писать. И никогда не умел найти способ привести эти две потребности к согласию. Одна всегда брала у меня верх над другой, обе друг друга душили. Поэтому я все время менял профессии. Всякий раз с восторгом принимался за дело, но, скоро охладев, начинал мечтать о другом. Мне всегда казалось, что вокруг меня столько цового, которое нужно сейчас же, ну сейчас же схватить, пока оно еще наполняет меня удивлением и восторгом. И от этого я всегда разбрасывался и делал какие-то эскизы характеров и человеческих судеб, казавшихся мне необычайными в минуты упоенья, но потом, когда я начинал заниматься ими,— пошлыми и глупыми. Я видел их в своих неудачах и утешался тем, что еще найду другие, более значительные.

На железнодорожной насыпи — у нас за спиной — загудел поезд. Нам обдало затылок драконьим жаром пыхтящей машины, нас оглушило дикое шипение пара, темная пульсация поршней смешалась со стуком наших сердец, и за этим последовал ритмично топочущий марш бесконечного ряда товарных вагонов. Нам оставалось только молча смотреть, как глубинные воды атмосферы замутились и темнеют, словно в них начала откуда-то влияться черная река. Окрестность исчезла, все глубже и глубже затопляемая этим темным наводнением.

Топот колес у нас над головой производил на меня такое впечатление, будто мы въезжаем в какую-то новую страну, населенную существами незнакомого вида и обличья, которых даже невозможно себе представить. Двери ко всем неожиданностям, невероятностям и чудесам раскрывались в этом оглушительном грохоте колес, осей и буферов.

Наконец это миновало, удалилось и затихло, так что вся местность как будто опустела и замолкла, подобно сцене, покинутой актерами, над которой невидимые осветители выключают одну лампу за другой. Только занавес пока не опущен.

Я гадал, в каком месте мадемуазель Ситова снова свяжет оборванную нить, если захочет вернуться к прежнему предмету нашей беседы. Она слегка вздохнула, словно очнувшись от сна, и промолвила:

— А теперь? Как у вас идет работа теперь, когда вы, по вашим словам, повернулись ко всему спиной?

Тут я наконец получил возможность выкинуть свой козырь.

— Сегодня как раз кончил первый рассказ — за десять лет, а то и больше. Поэтому я и верил, что нынче — мой счастливый день, поэтому решился заговорить с вами. Это было примерно через час после того, как я поставил последнюю точку. Я почувствовал, что все должно мне удастся.

— И удалось,— сказала мадемуазель Ситова, смеясь.— Видите, что получается, когда человек начинает верить в себя. Вы меня убедили своими доводами, потому что, если бы кто сегодня утром мне сказал, что я вечером буду сидеть с вами у канала, я бы его на смех подняла. Мне хочется прочесть ваш рассказ.

— Это тоже будет одним из моих исполнившихся желаний. Когда я кончил рассказ, то стал мечтать о вас, как о первой своей читательнице. Но днем начал его поправлять, и он мне разонравился. Кажется, у меня нет больше ни смелости, ни охоты прочесть его вам.

— А вы дайте мне. Я в свободную минуту перепишу его для вас на машинке. Может быть, вы потом снимете с него опалу.

Пока мы говорили, на землю спустилась тьма, и когда я вынул из своего внутреннего кармана измятую рукопись, нельзя было уже прочесть ни слова. Перед тем как спрятать к себе в сумочку, моя спутница заботливо и аккуратно разгладила ее рукой у себя на колене, а у меня где-

то вокруг сердца блуждало умилиительное чувство, будто это она погладила меня самого.

Больше нельзя было там оставаться, — по крайней мере так считала мадемуазель Ситова, хотя я и не чувствовал холода, которым тянуло от воды канала и с лугов, не замечал комаров, а тьма была для меня колыбелью любовных надежд. Но пришлось подчиниться. Невозможно иметь все сразу, и разве не получил я в первый день больше, чем мог рассчитывать?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Вилем Габа был немного забыт — благодаря фактам, обогатившим мою личную жизнь. На меня не налетал вихрь романтических приключений, а действовало лишь то, что совершалось в самой повседневности: Ярмила Ситова занимала все больше места в моих мыслях, — попросту говоря, я полюбил ее; я все больше мучился мыслью о сердечном гостеприимстве пани Розовой, и страдания эти имели тот же источник: я отдал машинописный экземпляр своего первого законченного рассказа редактору Фридрыну и с трепетом ждал его приговора; и наконец приближался момент, когда надо будет съезжать от пани Пашековой, а я все еще не знал — куда. Как видите, не так уж много и решительно ничего особенного, но достаточно для того, чтобы тряский маленький поезд моего рабочего усердия сошел с рельсов. Я привел Вилема Габу на распутье и оставил его там. Или, может быть, это он оставил меня? Мне становилось страшно, как бы эта временная разлука не перешла в окончательную и моя неспособность доводить начатое до конца не была подтверждена в последней инстанции.

Поток фантазии перестал быть ключом с прежней свободой и изобилием, и напрасно старался я заставить его давать больше, чем единичные слабые струи, образующие лужицы, мало отвечающие моей усталой надежде промочить горло.

— Только так и могла кончиться любовь Вилема и Эвы, — объявила мадемуазель Ситова, когда на другой же день после нашей первой встречи отдала мне мой рассказ, переписанный на машинке.

Я представить себе не мог, как это она, работая в кабинете такого преуспевающего адвоката, где, конечно, немало переписки, сумела выкроить время, чтобы отстукать те восемь страниц на машинке, которые заняла моя беспорядочная рукопись. Только потом я узнал, что у нее дома — своя машинка и что, подстрекаемая любопытством, она села переписывать его в тот же вечер.

Когда я выразил удивление ее быстроте, она только улыбнулась в ответ и продолжала, как будто я не прерывал ее:

— Они не могли остаться вместе, хоть это и кажется мне жестоким. Под конец я не знала, кого жалеть: старика Паласа, который понял, что его жизнь кончена, или тех двух, которых он своим поступком разлучил?

— Ну, это ведь рассказ, и он должен быть как-то закончен, должен привести к какому-то выводу, поднесет ли автор этот вывод на подносе или предоставит сделать его самому читателю. Не мог ведь я закончить вещь нежным поцелуем. Любовники, целующиеся над телом мертвого мужа, оскорбили бы в людях, если вообще кто-нибудь будет это читать, чувство порядочности.

Она остановила меня порывистым жестом, и между бровями у нее легла мрачная складка.

— Больше никогда не смейте говорить мне такие вещи: если кто-нибудь будет читать! Конечно будет, вы должны этого добиться. Прежде всего вы должны сами прочесть его в перепечатанном виде, чтобы удостовериться, что пишете, во всяком случае, не хуже других.

Я улыбнулся благодарно и в то же время не без горечи, так как уверенность моя была, говоря по правде, очень мала. В эту минуту гораздо важней было для меня то, что она сказала: «Больше никогда не смейте говорить мне...» Значит, она как-то связывает меня со своим будущим?

— Но то, что вы сказали о конце своего рассказа, правильно,— продолжала она.— Вы хотели, чтобы сочувствие разделилось, и подчеркнули, что единственным и немного жестоким победителем в этой запутанной истории была жизнь. Но я бы вам посоветовала вычеркнуть в конце упоминание о том, что, быть может, Палас хотел своим уходом добиться победы.

Кровь бросилась мне в голову, глаза загорелись от восторга. Я схватил ее руку и поцеловал длинные белые пальцы, не тронутые столькими годами стуканья по клавишам машинки. Разве не поразительно, что нашелся кто-то, отнесшийся серьезно к моим попыткам,— может быть,

даже серьезней, чем я сам? Она на мгновенье оставила мне руку, озадаченная моим поступком, но потом вдруг решительно отняла.

— Мне хотелось бы знать, что это значит?

— Я хотел поблагодарить вас за то, что вы так внимательно читали.

— Слушайте, раз и навсегда выкиньте такие мысли из головы! Если еще раз произойдет что-нибудь подобное, я с вами не буду больше встречаться.

Ее решительность наполнила меня дотоле неведомым ощущением радости и силы. Я опять схватил ее руку, поцеловал ее и с воинственным видом промолвил:

— Вот я повторил свое преступление. Что будет?

— Это зависит от того, почему.

— В благодарность за то, что вы — такая прелесть и что я решился вам это сказать.

Она засмеялась, слегка порозовев. Я подумал, что она, наверно, давно не слыхала таких комплиментов, но не переставала мечтать о них.

— Это уже лучше. Но скажите: права я насчет конца рассказа?

Конечно, она была права. Меня смущало только то, что она поняла сразу, тогда как меня в этом месте все время что-то беспокоило, я не мог понять — что. Это во мне — явный недостаток, и если мне не удастся его устраниТЬ, какая может быть для меня надежда сделаться хотя бы посредственным писателем? И что будет с моей мечтой о том, чтобы стать творцом искрометной прозы, изумительных сюжетных положений, убедительных психологических характеристик, прозрачных даже в самом сложном сплетении чувств и мыслей? Хорош творец, не умеющий даже распознать, в чем его главная композиционная ошибка. У меня так и чесались руки разорвать свой сомнительный писарский опыт, ногам безумно хотелось вскочить и бежать, пока я не упаду бездыханным и не погибну. Признак истерии и бессилья, — сказал я себе; но напрасно я с этим боролся: оно проникло глубоко в самое мое существо, грозя увлечь меня с собой, подобно каменному обвалу.

Спокойный голос Ярмилы встряхнул меня, как материнская рука встряхивает закатившегося от злости ребенка.

— Что с вами?

Я очнулся с невольным чувством протеста. Насчет меня дело обстоит далеко не так плохо, и мадемуазель

Ситова права, что мне надо избавиться от такой недооценки себя. Надо, чтобы рассказ несколько дней полежал, чтобы я отошел от него на нужное расстояние и после этого сам увидел, где не ладится, как это подметила своим натренированным читательским восприятием Ярмила. Нельзя допускать, чтобы она еще раз застигла меня в такой духовной прострации; я быстро воспрянул внутренне, решив изобразить собой автора, увлеченного потоком своего бурного и пытливого воображения.

— Я думал о том, как объективней всего показать, что было дальше с этими двумя лицами — Эвой и Вилемом,— сказал я.

— Вам жаль, что они расстались?

— Это лучшее, что могло с ними произойти. Они еще не опамятались от постигшего их удара, так что не почувствовали так остро боль от своей разлуки. На самом деле они ужасались каждый про себя тем, другим,— вы понимаете, о чем я говорю. Своей разлукой они разбили зеркало, в котором видели себя слишком обнаженными. Так что вы видите — рассказ имеет счастливый конец. Но это только повествование. Действительность была гораздо печальней.

— Как же было на самом деле?

— Неужели в этом можно сомневаться? Не следовало, пожалуй, одному человеку брать бесплатно обеды у доброй трактирщицы, когда он мог и без этого обойтись, а вот брал.

— Какому человеку? — быстро спросила она.

— Знакомому одному,— ответил я, небрежно махнув рукой, но внутренне задрожав от испуга, что слишком распустил язык.— Из тех, что всему легко находят оправдание. Но я не о том хотел рассказать. Вилем и Эва не разошлись, потому что этот рассказ — часть романа, который должен продолжаться. Это роман о Вилеме, а Эва играет в нем известную роль, но не участвует до конца. Но она не может исчезнуть, пока не выполнит своего назначения. То, что происходит в рассказе,— еще недостаточно раскрывает характер Габы и предопределяет его судьбу. Если бы они разошлись, осталась бы их любовь. Но дальнейшая жизнь Габы была не похожа на жизнь человека, которому пришлось разойтись с первой своей, настоящей возлюбленной в расцвете любви.

— Так вы его действительно знали?

Что за вопрос! Конечно, я знал Габу, а то как же я мог бы о нем писать? Да, я знал о нем все — с момента первой

встречи на набережной, за театром, в октябрьскую ночь, таким роковым образом вторгшуюся в мой майский день. Теперь я уже с трудом и великим усилием вспоминаю, почему он был именно такой, каким я его узнал.

— Дело вот в чем. Габа был человек, отмеченный славой и успехом, тяжесть которых превосходила прочность фундамента. Его игре чего-то недоставало, и когда он был на вершине и все перед ним преклонялось, в его реальную жизнь втиравось что-то чужое. История прошедшего с ним перелома еще недостаточно ясна, так что я не могу ее рассказать, а, в сущности, только угадываю и должен теперь доискиваться доказательств, но знаю, что начинается она с Эвы Паласовой.

Мадемуазель Ситова засмеялась, и где-то позади нас в кустах запел дрозд. Эти звуки слились в такой радостной гармонии, что у меня сердце запрыгало.

— Не могу сказать, чтобы ваши объяснения открыли мне глаза. Что же, собственно, произошло с Эвой и Вилемом?

— Они остались вместе. Эва была не из тех, которые легко уступают, что с трудом добыли. Вспомните, как она, почти еще девочка, пленила старого Паласа. Девятнадцать и шестьдесят — потрясающее сопоставление! Но ее это не испугало. Только три года совместной жизни с Паласом показали ей, какую ошибку она совершила в юности. Прожила три года в пустыне и узнала о своей жажде, только в первый раз напившись незамутненной чистой воды. Сделала один глоток, и ничто уже не могло заставить ее отодвинуть стакан, не допив до дна, — даже смерть мужа. И кто знает, была ли она уверена, как и Вилем, что у этого стакана нет дна. Вилему хуже пришлось. Если бы старик Палас стал ревновать и бороться за жену, борьба эта, может быть, порвала бы в Вилеме узы благодарности и уважения; но то, что тот так тихо ушел, обнаружив своей смертью, что Эва была для него дороже жизни, заставило молодого актера увидеть свой поступок в резком свете, изобличающем вину. Как ни поверни, а кончина Паласа падала на его и Эвину голову. Правда, ничего уже нельзя было изменить, но тем очевидней было для него, что он пользуется смертью старика и каждым поцелуем своим вновь и вновь оскорбляет его память.

— Я вижу, что вы по-мужски несправедливы и хотите свалить большую часть вины на Эву. Но если ваш герой действительно так чувствовал, почему же он не ушел?

— Это было не так просто. Как он мог ее бросить, если в то же время видел, что они связаны друг с другом общей виновностью? Это казалось ему трусивым бегством, да и на самом деле так бы и получилось. Он не видел ни для себя, ни для Эвы никакого выхода из положения. Они должны были нести вместе то, что взвалили себе на плечи. Я, знаете, не хотел бы в то время быть в его шкуре, чувствовать на себе какое-то проклятие. Вам, может быть, случалось самой пережить или наблюдать на других такое явление, что коли беда нагрянет к человеку, так не сразу отпустит. Вспомните Вилемова отца. Он был жизнерадостный человек, какими бывают раздобревые люди, и покорно мирился со своей астмой и ревматизмом, пока при нем был Вилем, облегчавший своим балагурством его страдания. Если бы Вилем не покинул его, он, может быть, несмотря на свои немощи, прожил бы еще не один и не два года. Но бегство Вилема отняло у него любовь к жизни, и уже привычные приступы болезней,— может быть, даже не сильней прежних,— сломили его. Думаю, что, посылая за Вилемом, домашние связывали с этим большие надежды. Они рассчитывали прежде всего, что возвращение сына восстановит слабеющие силы отца, а юноша, вернувшись домой, поймет, что натворил своим бегством, и останется. К несчастью, послали совершенно неподходящего человека. Момент они не могли выбирать: он был тогда — и в Сечи, на Рычне, и там, дома — одинаково мрачный. Но они сделали ошибку, послав именно эту девушку.

Сюрприз произвел нужное действие. Мадемуазель Ситова, быстро повернувшись ко мне лицом, спросила:

— Какую девушку? В рассказе о ней не сказано ни слова.

Я самодовольно засмеялся; я испытывал в эту минуту ребяческую гордость от сознания, что умею так хорошо припомнить, но в то же время почувствовал укол разочарования, что только теперь набрел на эту девушку, тогда как ей надо было участвовать в истории Габы с самого начала, как бы ни был ее образ бледен и, по-видимому, незначителен: она была вроде часовенки у дороги, мимо которой большинство проходит, не заметив. Я думаю, и Вилем за все время своего отсутствия из дома ни разу о ней не вспомнил,— до самого того момента, когда она появилась перед ним в полутемных воротах трактира «У золотой затычки».

— Да, в рассказе о ней ничего не говорится,— сейчас

же ответил я безразличным тоном,— потому что это было не нужно. В рассказе она была бы лишней, но в романе о Габе играет кое-какую роль. Мне кажется, подлинное ее значение останется неясным, пока мы не узнаем всю историю Габы. Если же он о ней в дальнейшем забудет, мы тоже забудем ее. Ну, а если истинная ценность ее откроется ей только в воспоминаниях? Я убежден, что ни один человек никогда не входил в нашу жизнь безрезультатно,— все оставляют какую-нибудь отметку, вносят что-то такое, что, созрев, произведет свое действие. А пока она осветит нам взаимоотношения в Габовой семье и, прежде всего, образ мыслей родителей Вилема, делающий им честь. Звали ее Ганчей, что дает некоторое представление о происхождении Вилема,— поскольку об этом, по существу, ничего еще не было сказано. Ганча была воспитанницей супругов Габа и в родстве с ними не состояла. Они взяли ее из большого пригородного села, где ее родители держали лавочку, получая товар главным образом от Габов. Отец ее обучил торговому делу у них же. Но вдруг отца и мать Ганчи в течение одного месяца унесла инфлюэнза, и девочка осталась сиротой. Ей было тогда четырнадцать лет,— она была на три года моложе Вилема. Его родители относились к ней как к родной, не делая разницы между ней и собственным сыном, и никогда не давали ей почувствовать, что ее кормят из милосердия. А тихой и робкой девочке с светло-каштановыми волосами и пристальным взглядом голубых глаз такие мысли даже в голову не приходили. Всегда послушная, услужливая, она была на своем месте и на кухне у плиты, и за торговым прилавком. Можно было подумать, что все это — из благодарности за благодеяние, но она так же держалась и у своих родителей. Не отличаясь говорливостью, она в минуты общего веселья и смеха улыбалась как бы обращенной внутрь, тихой, радостной улыбкой. Послушайте, вы еще не начинаете любить ее? В моем представлении она сливалась со спокойным светом лампы, озаряющим стол после трудового дня. Этот свет должен был светить Вилему,— единственный спокойный свет, зажегшийся в самом начале его пути,— но он от него отрекся. Негодяй был за это наказан, но почему должны быть вместе с ним наказаны и мы, лишившиеся возможности любоваться красотой, одно присутствие которой радовало сердце?

— Она в самом деле была так хороша? Что же вы тогда не придумаете иначе, если вам так важно иметь ее все время перед глазами?

Мадемуазель Ситова произнесла это холодно и насмешливо. Не то Ганча была ей несимпатична, не то ее задел мой интерес к этой особе...

— Я ничего не выдумываю,— с раздражением ответил я.— Разве вы сами не видите, что все совершается, как должно? Жизнь каждого индивидуума идет по некоей программе. Самое большее, что мы можем сделать, это стараться за ней следовать.

— По программе жизни Вилема эта Ганча должна в него влюбиться?

— Ну, понятно, как же иначе? Вилем был явлением исключительным. Женщины за ним просто бегали. Они помогали ткать узор его судьбы. Вы увидите их всюду на его пути.

— И вы станете доказывать, что они были его несчастьем, тогда как именно такие люди, как Вилем, являются несчастьем для большинства женщин, которые с ним встретятся...

Мне было трудно следовать за всеми поворотами ее мысли, так как они нарушали развитие повествования о Габе. Только что она подсмеивалась над Ганчей, а теперь едко отзывается о Вилеме. Ганча, может быть, неприятна ей своим характером. Но мне пришло в голову, не прислось ли ей столкнуться с каким-нибудь Вилемом и не этим ли объясняется та опасливость, с какой она пошла на знакомство со мной?

— Вы знали кого-нибудь вроде Вилема?

Она поглядела на меня из дали воспоминаний, о которых мне ничего не было известно.

— Я еще слишком мало знаю о вашем Вилеме, чтобы могла сравнить его с кем-нибудь из знакомых. Скажу только, что если бы он женился на этой вашей Ганче, то вряд ли был бы счастливей. Такие мягкие, уступчивые девушки едва ли способны заполнить чью-нибудь жизнь.

Опять слова ее звучали воинственным упреком, но на этот раз мне показалось, будто она обращает его к самой себе. Она взглянула на свои наручные часы и встала. Краткий срок обеденного перерыва истек.

— По-моему, мужчинам вообще не нужна женская преданность; она их утомляет, надоедает им.

Она все время как будто спорила с чем-то в прошлом, ожесточенно цеплялась за некий вывод, как за единственную мыслимую правду. А у меня было так мало возможностей переубедить ее. Я был пока в положении человека,

который многое ожидает от людей и нуждается в них, но не имеет, чем заплатить.

— Я всю жизнь мучился, что у меня нет никого, кому бы я мог быть преданным, и никого, кто был бы предан мне.

— Вы забываете о себе. Где вы найдете более верного друга?

И она со смехом скрылась в доме, где ее ждали дальнейшие четыре часа над клавишами пишущей машинки, — малопривлекательная перспектива для девушки, просидевшей над ними день за днем десять своих лучших лет.

Я остался стоять на краю тротуара под листвой чахлой липки, в раздумье о том, отчего у Ярмилы вдруг так изменилось настроение, когда я ввел в повествование о Вилеме Ганчу. Может быть, Ярмила подумала, что я когда-то любил такую девушку, и женская природа заставила ее принижать эту особу в моих глазах? Но Ганча была только виденьем, была всем, чем Вилем по-мальчишески глупо пренебрег и чего мне всегда так недоставало. Мне пришло в голову, что в свое время Ярмила сама была такой Ганчей, что ее преданность была плохо оценена, и вот она, чтобы предостеречь себя, смеется над собой каждый раз, как ей грозит опасность поддаться тому, что она считает своей слабостью. Иначе — откуда та готовность, с которой она взялась переписать мой рассказ и разобралась в нем с таким вниманием и заботой? Для этого недостаточно одного любопытства, которое можно удовлетворить просто чтением.

Я попробовал представить себе, какие обстоятельства сделали ее такой, какой я ее знаю, но она превращалась у меня в Ганчу, словно я уже разучился переживать и воспринимать действительность иначе, как через посредство все более ненасытной образности.

«Оставь надежду всяк сюда входящий» — вспоминалось мне при каждом моем посещении редакции «Чешских лугов». Юноша с мрачно наспутленной физиономией неизменно кидал на меня недоверчивый взгляд, словно подозревая во мне намерение лишить его куска хлеба, и спешил запить мое присутствие, быстро отхлебнув молока из кружки, стенки которой извне были украшены

несмыываемыми засохшими каплями. Платиновая барышня с круглым задочком и деревенским румянцем на щеках разочарованно отворачивалась. Казалось странным, что на дверях нет таблички с надписью: «Вход авторам, сотрудникам, а также разносчикам и нищим воспрещен», хотя я вполне представляю себе, что авторы и сотрудники могут стать бедствием похоже разносчиков и нищих. Редактор Фридрын, восседая, как всегда, в облаке сигарного дыма, напоминающем мрачные балдахины древних богов, встретил меня с обычным ворчливым равнодушием, за которым, однако, чувствовалась доля человеческого интереса, а может быть — и целомудренно скрываемое наличие доброго сердца.

Я вручил ему конец киноромана; он перелистал рукопись, пробегая по страницам искушенным взглядом, и остановился на последней. Ее он прочел всю целиком. Потом, вынув сигару из стиснутых желтых зубов, промолвил:

— Ладно. На следующей неделе еще дам. Это все?

Взгляд его скользнул по моим рукам, в которых я, волнуясь, мял свой рассказ, потом вперился в меня поверх очков.

— Мне стыдно беспокоить вас,— нерешительно начал я.

— Давайте сюда,— буркнул он.— Я получаю жалованье за то, чтобы меня беспокоили.

Увидав под заглавием мою фамилию, он сдвинул свои косматые брови к складке над носом.

— Это ваше? Оригинальное?

Я проглотил ответ вместе с обильной слюной и молча кивнул. Уши у меня стали красными и горели огнем; я не помню, чтоб когда-нибудь был так взволнован,— с самых экзаменов на аттестат зрелости. Фридрын, восседавший в облаке сигарного дыма, казался мне грозным и неумолимым, как господь бог в день Страшного суда. Я знал: только мои реальные достижения могут за меня ходатайствовать; напрасно было бы простиранье рук, которые я на самом деле сжал между коленями, сплетя пальцы. Я жаждал, чтоб он сейчас же принялся читать и взвесил меня на беспощадных весах своего суждения.

Но мне не выпало на долю такой милости; ее, видимо, даже вовсе не было в своде законов этого нелицеприятного судьи над величайшим из человеческих сумасбродств. Зажав сигару в резцах, за отсутствием утраченных коренных, он бродил усталыми глазами по строчкам первой

страницы. Дочитав ее, стряхнул пепел на знакомый ворох, не переворачивая листа.

— Начало недурно. Через неделю дам ответ. А ведь вы, пожалуй, не захотите возвращаться к тому фильковому вздору, начав писать свое?

Я стал горячо уверять его, что сумею разграничить эти две работы и что для меня великое счастье — то доверие, которое он проявил ко мне, не зная меня. Он посмотрел на меня сквозь выпущенный клуб дыма; у меня мгновенно отнялся язык, и я, не говоря ни слова, поспешно откланялся.

Я вызвал его презрение тем, что трясусь за свой заработок? Но как же я мог пускаться в объяснения о том, что заработка этот и без того мал и что я уже успел узнать, как приятно на вкус даже тщательнейшим образом замаскированное сострадание — для человека, борющегося за последний остаток гордости и чувства собственного достоинства? Но он, конечно, не имел намерения меня обидеть, а, наоборот, хотел намекнуть, что он мне сочувствует и что я не должен слишком унижаться ради куска хлеба, и без того зарабатываемого тяжелым трудом.

Стоя на бетонированном дворике, я чувствовал, что земля у меня под ногами слегка колеблется и глухой стук печатных машин волнует воздух равномерным напряженным ритмом. Воняло машинным маслом, гарром и нестираемой типографской краской оттисков. Запах ее заменял мне соленое дыхание океана. Я уже взошел на свой морской пароход и двигался к цели, которой не умел себе представить. Как сказал редактор Фридрын? Начало неплохое? Но впереди — еще целая неделя томленья, семь долгих дней, семь раз двадцать четыре часа.

Тоска ожиданья — одна из самых тяжелых, какие только бывают на свете. Заглушайте ее чем угодно, она будет таиться за каждой вашей мыслью. В ее сумраке все вокруг делается бесцветным и тускнеет. Она стала верной подругой и Ганчи.

Ну может ли сравниться мое ожиданье с ее ожиданием, когда она в каждом, кто ни заставит дребезжать колокольчик у дверей в лавку Габов, вновь и вновь готовилась приветствовать образумившегося Вилема. Допустим, мой рассказ пойдет в корзину, — я могу сесть и написать новый,

могу писать их, сколько мне вздумается, — правда ведь? — и надеяться, что другой, третий или четвертый окажется удачным? А какая надежда была у этой девушки на то, что Вилем действительно вернется? Мне стыдно сравнивать свои внутренние страдания с ее пыткой. Перестанем же гадать о том, какие недостатки может найти неумолимый Фридрын в рассказе о Паласе, и подумаем лучше о Ганче и Вилеме. Потому что, о ком бы мы ни заговорили, речь пойдет прежде всего о нем. Для Вилема Ганча — один из ударов, наносимых нами невольно, которые возвращаются, когда замкнется жизненный круг, — чтобы поразить нас самих.

Ганчу, как сказано, послали за Вилемом, когда старик Габа заболел. Поступили вполне правильно, по крайней мере по своим понятиям, — так как не имели более сильного средства побудить Вилема вернуться. Это была пара добрых стариков. Посудите сами, как прямодушны и наивны были их сердца. Они не присматривали для сына богатой невесты, чтобы громоздить кучу собственности, а узнав неутомимую услужливость Ганчи, ее покорность, ее ум и оценив привязанность, которую она к нему ко всем без исключения питала, решили, что он женился на ней. Сын согласился с их выбором, а Ганча полюбила Вилема. Ее не отпугивало даже то, что он ухаживал иногда за другими девушками. Мать Вилема, поневоле умудренная долгим житейским опытом, объяснила ей, что пока мужчина холост, надо предоставлять ему свободу, чтоб он не рвался к ней потом, когда его заарканят. А Ганча, по натуре терпеливая, была к тому же и благоразумна. Почему же было Вилему не целовать Ганчу, всякий раз как к этому открывалась возможность, за спиной родителей? И в темном складском помещении за магазином они пережили вдвоем волнующее мгновение, когда Ганчу спас от нее самой только голос старого Габы, позвавшего сына к себе за прилавок. Одна она ни разу не усомнилась, что Вилем вернется; тоскуя, плакала втихомолку, но верила. Когда старуха Габова предложила ей поехать за Вилемом, она пустилась в путь с бьющимся сердцем, но твердо зная, что исполнит поручение, заплатив своим приемным родителям хоть часть долга: привезет Вилема им обратно. Им и — себе.

Она приехала в Сечь-на-Рычной на другое утро после той ночи, когда Эва стала любовницей Вилема. Она была так взволнована ожиданием, что вот сейчас увидит своего суженого, сожмет его руку в своей, поглядит ему в глаза,

услышит его голос, что не чувствовала усталости после длинной дороги. На небе — ни облачка, но сильно парило, предвещая к вечеру грозу и ливень. Сечь в этом зное пахла, как слишком пышный букет в маленькой комнатке. Ганча пришла в трактир «У золотой затычки», измученная жарой, но непоколебимая в своей уверенности и радостном ожиданье.

Сперва я думал, что эти два лица встретились одни в полумраке трактирных ворот, куда Ганча вызывала Вилема,— но представляется более правдоподобным, что она вовсе не застала его дома. Любовников выманило из гостиницы желание побывать среди природы и попросту жажды уединения. Бессознательно они чувствовали, что в номере гостиницы слишком пахнет домом свиданий, и пошли по лесным тропинкам — искать чистоту, которой не ощущали в себе.

А Ганча сидела в пустом помещении трактира — с бутылкой теплого лимонада, робя под насмешливыми лакейскими взглядами и не понимая, чем они вызваны. Поняла, очевидно, при появлении Вилема вместе с Эвой. Правда, сперва она видела только Вилема, а Эву восприняла как тень рядом с ним. Но тень эта быстро набирала силы, брала перевес, и Ганча почувствовала, что Вилем живет этой тенью и что она, Ганча, потеряла его навсегда. А любовнику Эвы Паласовой показалось, что он перешел из одного сна в другой, что перед ним — призраки. Что хочет от него родной дом как раз в этот момент и почему прислал он свой самый милый, но в то же время самый укоризненный зов?

Отделившись от Эвы, Вилем быстро шагнул вперед, словно для того, чтобы дать отпор какому-то нападению, о котором до сих пор не знал, откуда и в какой момент оно нагрянет. В растерянности и необъяснимой тоске он приветствовал девушку словами, которыми приветствовали у него в лавке покупателей,— старосветски простыми и душевными:

— Хвала господу богу, Ганча!

И, словно еще надеясь обмануть или отвратить судьбу в последнее мгновенье, делая вид, будто верит, что девушка приехала бог знает по какому поводу, только не за ним, прибавил:

— Откуда ты взялась и что здесь делаешь?

Тут актер Габа одержал в нем верх над волнением, испытываемым юношем Вилемом, и болезненное сжатие сердца подсказало Ганче, что с ней говорит не тот, кто

срывал ее поцелуи в полутемном коридоре габовского дома и с кем она рассталась, полная таких надежд. Вон как он спрятался от нее, обращаясь к своей спутнице:

— Это моя сестренка Ганча, воспитанница моих родителей.

Обе женщины поглядели друг на друга, и ни одна из них не кивнула другой, и глаза обеих остались неподвижны. Эва слегка вздохнула, будто с трудом подавляя чувство скуки, и промолвила:

— Я оставляю вас. Мадемуазель, видимо, хочет сообщить тебе что-то важное.

Но Вилем испуганно шагнул к ней и взял ее за локоть.

— Этого совсем не нужно. Почему же тебе нельзя смышать, что мне хочет сказать Ганча?

Да, да, Ганча здесь — просто посыльная, доставившая приказ, — она приехала только ради этого.

— Отец тяжело болен, Вилик. Тебе надо ехать домой.

У нее еще оставалась эта последняя нищенская надежда. Ведь этот парень всегда так любил родителей, особенно отца, — он не сможет оставаться равнодушным к такой просьбе. Они поедут вместе в одном вагоне, рядышком, или лучше — друг против дружки, чтоб она могла глядеть на его лицо, которого так давно не видела, потом на него нахлынут воспоминания при виде родного города, а потом примет в свои объятья отчий дом, такой теплый после холодной чужбины, и у него дрогнет сердце, и он поймет, как безнадежно пуста была жизнь старииков без него, а потом... потом наступит, может быть, миг и ее торжества над этой женщиной с ледяными голубыми глазами под точно прочерченными дугами черных бровей.

Вилем побледнел; с трудом переводя дух, он спросил:

— Что с ним?

— Приступ астмы и обострение ревматизма. Но не как всегда. У него сильные боли, и он страшно ослаб.

Ганча подошла к Вилему, подняла было руки, чтобы о чем-то просить, но уронила их, прежде чем сжать, и произнесла голосом, прерывистым от нежности и отчаяния:

— Он думает только о тебе. Ему станет легче, если он тебя увидит. Он выздоровеет.

Вилем снова испытал то состояние, столь для него характерное в подобных обстоятельствах. У него возникло чувство беззащитности, которое испытываем порой и мы, сталкиваясь со сложностью жизни. Наше решение по принципу либо — либо слишком упрощенно и не гарантирует нас от ошибок. Чувство противостояло чувству,

и взять сторону одного из них — значило погрешить против другого. Две волны тревоги столкнулись у него над головой, и он хлебнул стихии, отзывающейся смертью.

Он поглядел на Эву, ожидая от нее помощи. Она могла ведь сказать: «Поехжай, речь идет о твоем отце. А потом возвращайся».

Но Эва молчала, и напрасно Вилем пытался читать в глазах ее. Ну да, он не имеет права оставлять ее здесь одну; ведь он только первый день — ее любовник, и его место — возле нее, пока не кончится борьба с Паласом. Именно этого, конечно, она ждет от него,— и может расценить его отъезд, какими бы важными причинами он ни был вызван, как желанный повод к бегству — от их общей ответственности. Он был уверен, что правильно понял ее молчанье, и — согласился с ней. Не могла она снять с него тяжесть решения: он должен был сам разгадать свою загадку. Он принадлежал уже не дому родителей, хоть тот и казался ему в этот момент раем тишины и безмятежности, к которому он слишком легкомысленно повернулся спиной,— а Эве и ее миру, несмотря на то, что чаще, чем ему хотелось бы, чувствовал себя здесь чужим.

И он повернулся опять к Ганче, которая понимала смысл его колебаний так отчетливо, как он никогда бы от нее не ожидал. И опять увидел перед собой пару женских глаз над сжатыми губами, словно она сдерживала крик или рыданье, которое, однако, он на этот раз мог в них прочесть. Покоренный такой преданностью и просьбой тем более трогательной, что он был не в состоянии ее удовлетворить, он начал с преувеличенной резкостью, которую потом старался каждым словом смягчить:

— Я не могу вернуться. Во всяком случае, пока. Не знаю, как тебе объяснить, но ты сама уж что-нибудь дома скажешь, чтоб они на меня там не очень сердились.

Ганча почти не дрогнула, только свет ее глаз сразу изменился,— так быстро, что Вилему даже стало страшно. Слегка повернув лицо в сторону Эвы и чуть наклонившись вперед, она в одно мгновенье стала не той Ганчей, которую он знал с детства.

— Что ж вы ему не скажете? — глухо, почти шепотом промолвила она, обращаясь к Эве.— Почему не потребуйте, чтоб он ехал домой? Разве можно допустить, чтоб отец умер, не повидав сына?

Вилем шагнул было вперед, чтоб предотвратить грозящую стычку, но последняя фраза заставила его в испуге остановиться.

— Может быть, положение уж не такое плохое,— произнес он через силу.— У него часто бывали такие припадки, и он всегда поправлялся.

— Вам стоит сказать слово, и он вас послушает,— продолжала Ганча, не обращая внимания на слова Вилема.— Как совесть позволяет вам удерживать его здесь, когда его возвращение, может быть, спасло бы жизнь человеку, который существовал только ради него?

— Вы неправильно оцениваете мое положение и мое влияние на пана Габу, мадемуазель,— произнесла Эва тоном светской дамы с театральных подмостков.— Я не могу ни приказать, ни запретить ему исполнить вашу просьбу. Решение зависит только от него.

Ганчина воинственность вдруг ослабла. Пораженная этим напыщенным тоном и чопорными словами, она не знала, что делать дальше. Можно бы еще упасть на колени и заплакать, и она бы так и сделала, если б была наедине с Вилемом, не чувствуя на себе этого выжидающего и насмешливого взгляда Эвы. Зачем она так слаба и беспомощна, зачем не имеет той силы и самоуверенности, какими обладает та, другая? Ах, если б он любил ее, Ганчу, она не побоялась бы задушить эту, другую своими собственными руками. Но что могла она поделать, читая на лице его нетерпеливое желание, чтоб за ней, Ганчей, поскорей затворилась дверь? Она взяла свой чемоданчик, стоящий возле нее на лавке, и вышла, обессиленная, напоминая видом своим безропотную служаночку, без разговоров уволенную по подозрению в краже. Проходя мимо Вилема, она поглядела на него и тихо произнесла последнюю отчаянную просьбу:

— Как же я вернусь к ним без тебя, Вилик?

Но он отвернулся и устремил глаза в пепельный полумрак, над пустыми столами и стульями. Может быть, увидел на каком-нибудь из этих стульев скорченное грузное тело отца, услыхал его сиплое дыханье, прерываемое спазмами астмы. Звонок зовет за прилавок, и торговец старается превозмочь болезнь, заставить свои легкие вдыхать глубже и правильней. «Сидите, сидите, папа, я вас заменю».— «На Вилика можно положиться, мамочка: он наш...» — «Надо ехать к нему, Вилем. Ты ему обещал, что в любое время его сменишь».

Сквозняк захлопнул за Ганчей дверь трактира, словно выгоняя девушку из этого места, где она появилась, нежеланная и незваная. Задребезжали оконные стекла; этот неприятный звук мгновенно взвился вверх и некоторое

время звучал все резче, словно укоризна, но потом замер, затих.

Эва смотрела сквозь дрожащие стекла на девушку, удаляющуюся по залитой полуденным солнцем площади, равнодушную к провожающим ее взглядам. Только тут Эва почувствовала, как к наслаждению одержанной победой примешивается все больше горечи. Она провела по усталым вискам всегда такими холодными и нежными, но теперь горячими и сухими пальцами. Слегка улыбнулась Вилему, не сводившему с нее глаз, в которых была мольба снять с него бремя ответственности за такое далеко идущее решение.

— Еще не поздно, Вилем, если ты жалеешь. Ты еще можешь догнать ее и поехать с ней.

Вилему Габе казалось, что Эва каждым словом еще крепче приковывает его к себе. Он знал, что не может уехать, но оставаться было бесконечно тяжело.

4

Сложность жизни. Кто мог лучше меня понять, в какой ловушке оказался Вилем там, в Сечи-на-Рычной? Вещи, события, люди — все напирает на нас: решай так или иначе, но ты не можешь вечно стоять и топтаться на месте. Однако иной раз просто невозможно ни на что решиться.

Я не говорю, чтобы тогдашнее мое положение было так же трагично, как Вилемово, но по тягостным симптомам своим оно мало чем отличалось от него. Покажите мне другого человека, который до такой степени висел бы между небом и землей, как я. Ласковая пани Росова понемногу становилась все менее ласковой. Почему? Видимо, даже прирожденным добрякам иногда надоедает их добра, и они испытывают потребность приправить ее чем-нибудь острым. Отношение трактирщицы ко мне изменилось: пани Росова заметила, что я за обедом нетерпелив, всегда жду не дождусь момента, когда можно будет встать и уйти. Ей хотелось поболтать, чтобы как-то вознаградить себя за свое вечное одиночество, и это, по ее представлению, была бы самая скромная форма благодарности за ее услужливость и любезность. А задавшись вопросом, чем могут вызываться мое нетерпение и послеобеденная спешка, она, как женщина простая и считающаяся лишь с фактами, которые хорошо известны, ответила на него возмути-

тельно правильно: тут замешана женщина,— сообразила она и объявила мне об этом.

У меня не было причин запираться; наоборот, я даже был счастлив, что получил возможность говорить о Ярмиле с таким человеком, как пани Росова,— сердечным и, конечно, способным меня понять. Ее улыбка и киванье головой еще более поощряли меня,— я воспламенился, как юноша, полный своей первой любовью, а эта добрая женщина как бы с материнским сочувствием слушала меня. И видимо, на счет этой заботливости надо было отнести те недоверчивые вопросы, с которыми она выступила, после того как склынула первая волна захлебывающейся разговорчивости.

Но чему должен был я приписать тот факт, что с этого дня она каждый раз все больше запаздывала с обедом и уже не скрывала своей досады, когда я только проглоччу последний кусок и положу вилку, так сейчас же вставал и уходил? Ну да, это было, может быть, невежливо с моей стороны, и в моем поведении не проявлялось особого внимания к трактирщице, которой я, конечно, был обязан, но — что поделаешь, если каждая минута опоздания на полуденную встречу с Ярмилой была для меня невозвратимей всех других возможностей, когда-либо упущеных мной в своей жизни? Чем должен был я объяснять мадемуазель Ситовой эти опоздания, все учащавшиеся и становившиеся все более долгими? Она встречала насмешками мой запыхавшийся приход и мои оправдания, но насмешки эти становились мало-помалу все более едкими. Я догадывался, в какую сторону направлены ее мысли: она задается вопросом, что ж это я за чревоугодник или такой уж изголодавшийся, что мне никогда не придет в голову, оставив вилку, которой я, по ее представлению, все время тыкаю в тарелку, прибежать без обеда, чтобы только доказать, какое значение имеет для меня она. Но как мог я хоть раз прибежать без обеда, не подвергая себя опасности не только приходить без него каждый день, но — что еще хуже — потерять последнее место, где мне можно спокойно работать, до сих пор не найдя другой квартиры? С нетерпением ждал я дня, когда получу в «Чешских лугах» гонорар за размазыванье киноромана. Расплачусь с пани Росовой и освобожу ее от дальнейших хлопот. В оправдание сошлюсь хоть на сестру, только что приехавшую в Прагу.

Неужели жизнь моя всегда будет состоять сплошь из одних мелких неприятностей, которые нагромождаются

выше головы, оттого, что мне не под силу с ними справляться?

Как-то раз пани Рюсова особенно замешкалась с обедом, и, прия на Стромовку, я уже не нашел Ярмилы на обычном месте и вообще нигде, хотя пробежал весь путь от начала до конца, подумав было, что она выбрала другую скамью, чтобы припугнуть меня и наказать за опоздание. Так как до ее возвращения в канцелярию оставалось еще больше получаса, я решил, что она ушла, обидевшись на мою упорную непунктуальность. Я побежал туда, где находилась канцелярия адвоката Боржиковой Лексы, и шагал там по тротуару перед домом с возрастающим нетерпением по мере приближения стрелки к двум, томясь самыми страшными предчувствиями — после того как два пробило, а Ярмила все не появлялась.

Добрых двадцать минут боролся я со своей робостью, прежде чем решился войти в телефонную будку и вызвать ее. Я сразу узнал ее голос, и у меня гора свалилась с плеч. Однако я произнес:

— Можно попросить мадемуазель Ситову?

Одно мгновенье ответом мне было металлическое посвистывание автоматической телефонной станции, потом отозвался голос, которого, как мне показалось, я еще никогда не слыхал, — чужой, учтивый, холодный.

— К сожалению, нельзя: она сейчас у господина адвоката.

Некоторое время я стоял в этом тесном и душном пространстве, не вешая трубки, словно надеялся, что ее мрачное совиное уханье превратится на конец в любимый голос. Кто-то, открыв дверцу, спросил:

— Вы еще говорите?

Я повесил трубку и вышел. Значит, она меня больше знать не хочет? Разрыв! Ну конечно, чего ей ждать от человека, который предпочитает лучше сидеть и набивать себе брюхо, чем нетерпеливо шагать перед скамьей, дожидаясь ее появления? Что ж, хорошо, мадемуазель; если вы считаете меня таким, ничего не поделаешь.

Преисполненный гордости и терзаемый сожалением, я потащился к центру города. Довольно уж этих ошибок и бесполезной траты времени. Двадцать бесплодных годов громоздились у меня за спиной, я шагал в их тени. Я не мог больше рассчитывать, что мне когда-нибудь удастся снова собрать воедино оброненное мною на моих извилистых путях. Теперь из всех путей осталась одна только тропинка, и ее мне следовало держаться. Но как же Ярми-

ла не могла понять, в каком я положении? Столько толкуют о женской чуткости, и я был уверен, что как раз она-то и наделена ею с избытком. Как же она не догадалась, что перед ней — потерпевший кораблекрушение, делающий последнюю попытку добраться до цели на обломках, оставшихся от когда-то гордого корабля? Как не поняла, что имеет дело с голодающим, который ревниво оберегает последние остатки своего человеческого достоинства? Проклятая нужда наступает мне на пятки, тащится за мной, как паршивый пес. Значит, я уже отмечен ее знаком, коли одни без церемонии набиваются мне в благодетели, а другие отворачиваются от меня в страхе, как бы я не нарушил их безмятежный сон?

Напрасно старался я объяснить самому себе смысл моей досады на Ярмилу. Откуда ей было знать, что я живу подаяньем? Мне надо только оправдаться в ее глазах, не выдав своего теперешнего положения. Перспективы у меня были прекрасные. Некоторое время меня будет держать на поверхности гонорар за кинороманы, а если старый Фридрын напечатает мой рассказ, существование мое получит другой вид, и бедность моя приобретет другой смысл; тогда нуждаться будет уже не бездельник, ни разу в жизни не создавший ничего путного, а человек, ради своих замыслов отказывающийся от более легкого заработка. Вот как! Только что я чувствовал себя выбитым из седла, пил чашу стыда и отчаяния, а теперь опять дышу полной грудью, высоко задрал голову, и сама походка моя показывает всем, какой я молодец.

Право, дела мои идут не так уж плохо,— только не дать ничему отвлечь меня от моей единственной цели! Может быть, Ярмила на меня дуется, но в этом пока нет ничего непоправимого. Сегодня вечером я представлю ей объяснение, которого она ждет, а завтра откажусь от обедов пани Розовой. Обходился же я без них прежде, когда они ничем мне не мешали,— так неужто ради набитого брюха лишаться последней своей надежды на то, чтобы зажить по-человечески? Пережитое когда-то Ярмилой разочарование, о котором я, правда, ничего не знал, но в котором не сомневался,— вот истинная причина того, что она дает отпор малейшей небрежности, способной вкрадаться в наши отношения.

Тут для меня было много неясного; спросить ее прямо я не решался, а она была не из тех натур, которые ищут облегченья от горестей в излияниях. Размышляя о ней, я пришел к выводу, что она относится к тому разряду

женщин, которые могут любить только раз и, увидев себя обманутыми, уходят в скорлупу своих горьких воспоминаний, не желая больше слышать о любви. Мне очень хотелось бы дознаться, что именно пришлось ей пережить, хотя бы для того, чтобы установить, в какой мере возможно, зная характер человека, составить себе представление о фактах, которые этот характер сформировали. Но какое-то чародейное зелье в котелке моей фантазии превращало Ярмилу в Эву, а неизвестного Ярмилина возлюбленного в Вилема Габу. Только когда будет разрешена его проблема, дождусь я, может быть, ответа и на свою собственную. До этого все, что происходит со мной, потеряло всякое значение, и одна только эта сыщицкая задача переполнила все мое сознание.

В тот первый вечер, когда мы с ним встретились на пустынной ночной набережной, и он время от времени так мощно вторгался в майский день и в мою судьбу, я, не думая о том, что теряю собственную почву под ногами, последовал за ним на смиховский вокзал. Это была, как в конце концов обнаружилось, и для меня и для него дорога во мрак и пустоту. Знал ли он вообще, куда едет, входя в вагон ночного поезда, разбрасывающего огненные зерна по полу тьмы? Он знал о цели своего путешествия едва ли больше, чем я. Он бежал, не задаваясь вопросом — куда и не захочется ли ему когда-нибудь вернуться. Но для меня именно вопрос о его возвращении был решающим. Не мог же я допустить, чтобы человек потонул во мраке и так больше из него и не вынырнул. Не в этом был смысл фигуры Габы; он не был обречен на исчезновение, даже если в тот вечер и думал о чем-нибудь в этом роде. Может быть, отъезд этот был вызван нелепым отчаяньем, являлся бегством куда глаза глядят, — перед потоком безумного смятения, хлынувшего из его собственного нутра. Но Габа, всю жизнь колебавшийся между холодным желаниям и безотчетными порывами, по природе своей был не способен долго предаваться отчаянию. Куда ж он поехал и что с ним стало?

Я видел, как он на другой день просыпается необычайно рано, вопреки своим привычкам, — в маленьком номере провинциальной гостиницы, где мебель потрескивает, а от стен пахнет плесенью, — с головой тяжелой, как после ночного кутежа, хоть он ничего не пил, кроме кружки пива на смиховском вокзале. За окном — хмурый дождливый рассвет. Жизнь в городке и в доме только начала просыпаться.

Габа стал вспоминать, как он сюда попал и почему, он слышал поскрипыванье старой деревянной лестницы, словно по ней кто-то осторожно спускался вниз. Но осторожно или нет, только каждая ступенька невольно вздыхала, что ей не дают покоя, и словно подсчитывала, сколько по ней прошло ног за те полтораста лет, что стоит этот дом. Трактир помнил еще ломовых. Номер был просторный, со сводом. Кроме той кровати, на которой лежал Габа, напротив стояли по углам еще две. Все три были дубовые, одинаковой формы, черно-коричневые; все три — источенные червями.

Несспешно приближаясь к улице, где помещалась редакция «Чешских лугов», я понемногу замедлял шаг. Теперь, когда я уже находился у дверей, мне не оставалось ничего другого, как пройти мимо и посидеть минутку в парке перед вокзалом. Не мог я остановить поток своих мечтаний, его осталось уже совсем немного, лёт габовской истории, быть может, кончается именно в этих местах, один-единственный счастливый шаг — и я загляну в свободную страну, где лёт ее завершается под пылающим золотым кругозором, который тает в синеве. Как легко будет мне потом нашупать ее конец и доткнуть всю композицию. Мое страстное желание добраться до развязки габовских похождений удачно сочеталось с боязнью видеть редактора Фридрына. Какое значение имела для меня в данный момент судьба рассказа о Паласе, раз этот рассказ — только часть романа? Написанный, он потерял для меня ценность, которая заключалась в волнующей неуверенности. В романе я, наверно, придам ему другой вид. Но все же я не мог вовсе не испытывать тревоги о том, какую он получит оценку, и, быть может, подсознательно связывал его судьбу с судьбой всей книги.

Я выбрал скамейку, откуда было видно часы на башне вокзала, решившись оттянуть свой визит к Фридрыну до тех пор, пока не возникнет опасность, что прямо перед моим носом закроют кассу. День, широко раскинув крылья, плыл над крышами деревьев, детские голоса мешались с птичьими, шум города звучал чуть назойливей привычного бормотанья мирной домашней повседневности. Одиночество успокоило меня, и люди стали удивительно близки мне, я включил их в мир, где никому не может быть причинено обиды, я одобрял их копошенье, — и все потому, что мне не надо было ими заниматься, что они почти не становились у меня на дороге. Мечты выше действительности, друзья мои, потому что вы помышляете

только о своих заботах, а вот я пряду человеческие судьбы во славу жизни и всех вас — все равно, любите вы ее или проклинаете.

В насыщенном парами воздухе свет моросил сквозь листву деревьев, микроскопические солнечные капли, осаждаясь, создавали мягкий налет на предметах и на людях. Мы всегда так далеки друг от друга, милый Габа, обстоятельства наших жизней сближаются лишь неуверенно, окольными путями, и, едва сойдясь, тотчас разбегаются в разные стороны, словно в испуге. Я хотел бы стать тобой, чтоб мой сумбурный и бесформенный жизненный путь приобрел серьезность и выразительность. Мне приходит в голову вздорная мысль, что твои приключения вынужден рассказывать человек, который, может быть, когда-нибудь пережил страсть в своем воображении, но ни разу не имел смелости ей отаться,— господин Никто, никогда не знавший успеха и не умевший найти в болоте неудач сухой тропинки.

Моросит свет, и моросит дождь. Но тут различие более значительное, чем разница в погоде, и пасмурное октябрьское утро, право, не слишком способно прибавить кому-нибудь надежды и вывести его из лабиринта его собственной растерянности. Вилема Габу заставили так рано проснуться холод, непривычная постель, незнакомый запах комнаты и тревога, не оставлявшая его и во сне. Он ежился под тяжелой периной, которая была, правда, в чистом пододеяльнике, но полна плесени. Он лежал под ней голый, чтобы не мять единственной сорочки, бывшей на нем в момент отъезда, и у него было такое чувство, будто его обложили мокрыми компрессами. Наверно, пух в перине был влажный.

Под высоким сводчатым потолком, уже много лет не беленным, висела в страшном одиночестве единственная лампочка под тарелкой белого абажура, с одной стороны щербатой. Подвешенная на почерневшем шнуре, она напоминала восклицательный знак над тем положением, в которое поставил себя Габа. Положение смешное, но Габе было не до смеха. Из плесени поседелых стен этой комнаты выступало воспоминание обо всех других, подобных этому, трактирных убежищах, служивших ему единственным приютом за долгие годы его балаганных странствий. Какую печать наложили они на теперешнее лицо его и какие следы остались на них от лица Вилика, балагурящего за прилавком отцовского заведения?

Мы до сих пор не знаем, куда завел его безоглядный ночной побег. Но куда бежит раненый зверь? Не забудем, что область инстинктов — общая для всего живого.

Вот он встал, надел, не шнуруя, ботинки, которые забыл выставить слуге в коридор, накинул пальто вместо халата и подошел к окну. Моросило по-прежнему, но света прибавилось. Моровой столб с позолоченной статуей девы Марии наверху тускло поблескивал, пустые скамейки вокруг его подножия еще не были уbraneы на зиму, но мόро́сь осела на них крупными каплями, мокрые листья, увядшие, но не пожелтевые, лежали кучами под поредевшими и поникшими ветвями лип. Теперь узнаете его? Узнаете это место, как я? У меня колотится сердце, мне хочется вскочить со скамейки и скорей побежать туда, на вокзал, так же внезапно и необдуманно, как это сделал той октябрьской ночью Габа. Не забудьте, что мы с ним родились в одном городе. Куда же еще было ему кинуться, гонимому страхом? Здесь он уже не мог найти никого, к кому прильнуть, но, может быть, он ждал помощи и разрешения трудностей хотя бы от стен, в которых вырос.

Что другое могло сулить ему его опрометчивое посещение? Не должны ли были стены этого скучного городка сыграть роль зеркал, в которых время остановилось, и они ему покажут его прежнее лицо, первоначальный его облик, который ответит ему на вопрос, как жить дальше, чтобы снова быть самим собой, а не десятками иллюзорных существ, в которых он потерял свое лицо?

Взгляд Вилема перебегает площадь по диагонали, устремляясь к тяжелым коричневым дверным створам габовского магазина. Они еще не открывались: он так рано встал, хотя лег в два часа ночи. Глаза его мгновенье ломятся с бесконечной тоской в створы; может быть, ему кажется, что они закрылись именно перед ним,— потом он переводит свой взгляд на длинную вывеску под ними: «Целестин Лойда». Фамилия Габы стерта с лица земли в этом городе и, может быть, даже совсем исчезла из памяти жителей.

Все время моросит, площадь устрашает своей пустотой, все окна и двери закрыты, городишко не хочет просыпаться,— чувствуешь, как он в четырех стенах ежится под перинами. Это зрелище не доставляет удовольствия и не внушиает надежды. Не будь тихого скрипа половиц и дверей в доме, можно было бы подумать, что ты — один на свете, пережившем неведомую катастрофу. Какое бес-

смысленное мечтание привело тебя сюда? Длань родного дома твоего открылась и — пуста.

Через час Вилем Габа пил кофе в пустом зале, где пахло пивными опивками и остывшим табачным дымом. Три вчерашних газеты в камышовых рамках лежали на бильярде посреди зала, дожидаясь полудня, когда их должны сменить на сегодняшние, из которых местные чиновники и учителя за блюдом вареной говядины с укропной подливкой вычитают, какие за сутки произошли на белом свете перемены, между тем как ни в их собственном существовании, ни в этом городишке, где они так лениво прозябают, ничто даже не шевельнулось. Это был тот самый бильярд, на котором он учился первым своим карамболям в те годы, когда жизнь его была счастливо переполнена дружескими кутежами, ухаживанием за девушками, обслуживанием покупателей и участием в любительских спектаклях и когда ему в голову не приходила мысль о том, чтобы стать профессиональным актером.

Судомойка с тупым и обиженным выражением лица принесла ему кофе, еле взглянув. Странное было чувство — превратиться вдруг опять целиком в господина Никто — после стольких лет, когда всюду, куда бы он ни пришел, кельнеры гнули перед ним спину, а на улице и в трамвае он видел по глазам, что все его знают, и слышал, как за спиной у него шепчут его имя. Город уже проснулся, и человеческие фигуры, окрашенные дождем в черное, двигались порывисто, торопливо в серых сетях измороси. В такие дни, как сегодняшний, магазин дышал холодом и сыростью, возраставшими с появлением каждого нового покупателя, и старик Габа, истязаемый своими ревматическими суставами, еле ворочался за длинным прилавком. Тут Вилему приходилось возмещать его медлительность, поддерживая своими шутками привычную для покупателей атмосферу в магазине.

Вилем вступил в борьбу со своей памятью, подозревая, что она стерла тени, сохранив только светлое. Но в самом деле: между ним и отцом никогда не доходило до ссор. Даже в буйные годы созревания, когда родители представляют перед нами не такими, какими их видели благоговейные детские глаза.

Попробуем вернуться назад — той дорогой, по которой герой наш пришел к вчерашнему вечеру и сегодняшнему утру. Бесполезно было бы дознаваться, что с ним будет, когда он сам вернется по своим стопам, в поисках ответа на тот же вопрос, который ставим мы. Как могло случить-

ся, что он не исполнил просьбы отца и не поспешил домой, чтобы облегчить ему последние мгновенья хотя бы притворным раскаяньем? Мы оказались в тех местах, где Вилем испытал борьбу двух чувств, где, быть может, последний раз в нем дал себя знать человек, но где также он впервые призвал себе на помощь актера. С той поры этому помощнику суждено было все чаще быть призываляемым, и это длилось так долго, что он, целиком овладев положением, стал действовать вместо хозяина. Потому что там, где обыкновенный человек с трудом продвигается пядями, где совесть и природное чувство висят у него на ногах свинцовыми гирями, там актер легко ступает и пробирается, не вызывая осуждений и укоров, находя для каждого нужное слово, соответствующий тон, подходящий жест и требуемое обстоятельствами выражение лица.

Вперед или назад? Это какое-то распутье, полное неизвестности и совиных криков сомнения во тьме. Отчего я никогда не даю этой фигуры в целом? Отчего она вновь начала расплыватьсь и таять, после того как я столько раз отчетливо видел ее всю? Мы не можем идти вперед, раз он не знает, как быть дальше, и проваливается — для себя в прошлое, а для нас в пустоту, которую мы пока не знаем, чем заполнить.

Но мне в данный момент все-таки на хочется уходить с того места, на которое я его привел, вопреки так называемым законам композиции, которые будто бы требуют, чтобы мы последовательно переходили со ступеньки на ступеньку, подымаясь к вершине. Это место — моя родина, так же как и Габова; я привязан к нему любовью, тоской, гневом и ненавистью. Я тоже когда-то вернулся сюда, как Вилем, почувствовав однажды, будто всем моим замыслам, возможностям, надеждам грозит гибель, и рассчитывая получить здесь бог весть какое подкрепление. Так же как Вилем, сидел я в этой старой, отжившей свой век гостинице и глядел на площадь, где морозным утром просыпалась жизнь, близко знакомая, но в то же время непостижимо далекая и чужая. Смотрел на корни, из которых я вырос, каков есть, но сердцем чувствовал только трухлявость маленького городишко, в котором уже не мог бы жить.

Так пусть и Вилем переживает свое, как мне тогда пришлось, пусть стукнется лбом в стену, которая должна была перед ним расступиться, открыв ему доступ к ожидающим его матерински ласковым объятиям родины. Вот ползет Виктор Длак в тяжелых войлочных туфлях на

ревматически изуродованных ногах. Весь он вздут колыющеющейся водянистой полнотой, подарившей ему обвислые щеки и синие мешки под глазами. Разве не абсурд, что такой вот облысевший козий бурдюк, в котором давно выдохлось и скисло вино жизни, зовется Виктор, будто герой какого-нибудь любовного романа? Но пускай его, он еще не сдался и мужественно борется со своими скрипучими шарнирами. Легко сказать — «старый бурдюк», но кто знает, о чем такой человек думает, хоть тugo и с трудом, пока вокруг медленно утекает ночь, а он не спит, мучимый болью в костях.

Дласк прищурил выцветшие глаза, как бы разгрызая твердый орешек первого впечатления. Потом поздоровался — хрепло, но с той сердечной приветливостью, которая сразу ломала преграду между ним и его временными постояльцами. Вилем ответил на поклон, спрашивая себя, узнал ли его этот старый плут, дававший ему первые уроки игры на бильярде и заботливо следивший за его юношескими попытками в области кутежа. Дласк бросил еще несколько замечаний насчет сегодняшней дурной погоды и ее влияния на здоровье, — видимо, для того, чтобы успеть составить себе мнение о госте.

— Вы — театральный антрепренер, — объявил он без оттенка вопроса, явно не допуская мысли, чтобы это суждение могло быть опровергнуто, и тут я со злорадством вспомнил, что меня он определил как учителя в отпуске, прежде, чем я успел слово сказать. Но не думаю, чтоб я почувствовал тогда такую обиду и ощущение как бы непоправимости своей жизненной доли, какие в ту минуту овладели Габой. Этот стариk, знавший его с детства и до начала возмужалости, насчет его профессии попал, можно сказать, в точку, а самого его не узнал. Габа не обвинял в этом те двадцать лет, что в большинстве случаев изменяют до неузнаваемости даже неактерские физиономии, но испугался, как будто старый Дласк своим простым замечанием утвердил приговор об окончательной отверженности. Теперь лицо его оказалось невозвратно утраченным, растворилось в сплаве бесчисленных выдуманных лиц, из которых каждое существовало лишь тот срок, на какой он выводил его из своих мускулов, как флейтист выводит свой переходящий напев. Вместо этого лица теперь — другое, о котором трудно сказать, кому оно принадлежит, совершенно так же, как нет возможности твердо установить, кто ты есть или перед кем внутри себя отчитываешься в своей работе и поступках. В этот момент, под при-

стальным старикивским взглядом, в котором должно было блеснуть узнание, а поблескивало лишь самолюбивое удовлетворение собственной проницательностью, Вилем Габа нашел в себе силы только для попытки скрыть свое лицо или хотя бы то, что оно знаменовало, наслаждаясь ошибкой трактирщика как дешевой платой за мученье, в которое тот вил и своего яда каплю.

— Откуда вы взяли? — засмеялся он, уже войдя в роль, при помощи которой решил одурачить трактирщика.— Ничуть не бывало, мой друг. У меня фабрика суповых кореньев, а к вам я попал из-за того, что заснул в поезде и проспал пересадку.

Дласк был изумлен сильней, чем можно было ожидать. Он получил этот постоянный двор по наследству от отца, вырос и обучился в нем и очень гордился своим знанием людей, уменьем отгадывать и с первого взгляда обнаруживать, кто перед ним и чем дышит. Не было еще случая, чтоб он дал такого маxу: ведь театральный антрепренер и «суповой фабрикант» стоят на совершенно разных ступенях общественной лестницы. И вот, когда этот молодчик засмеялся и заговорил, действительно можно было подумать, что он давно уже разъезжает с чемоданчиком образцов, в качестве торговца бакалейным товаром, но старый Дласк не мог отделаться от впечатления, что лицо, которое было перед ним вначале, исчезло и вместо него ему теперь навязывается другое. Сбитый с толку, не зная, чему верить, и не желая признаться в ошибке, он зашурмотал:

— Прошу прощения. Но я готов был голову прозакладывать, что вы — театральный антрепренер. Верно, потому, что давно их не видел.

Они говорили друг с другом как бы издали, разделенные какой-то ямой, более глубокой, чем та, которую вырывает между людьми время. Габе хотелось встать, взять Дласка за его больные плечи, прижать к себе, закричать на него: «Что же это вы, старина, не узнаете своего Вилика? Помните, как я дорого платил за свое ученье на бильярде? Сколько раз помогал подновлять эти ваши древности?»

Но он продолжал в тоне супового фабриканта:

— Или сюда мало ездить стали? Чем вы не потрафили?

Старый Дласк прищурился и несколько раз чмокнул губами, напрасно стараясь затянуться погасшей сигарой.

— Не мы им,— медленно промолвил он и, как бы преодолевая отвращение к тому, что собирался сказать,— а они нам...

Вилем перевел взгляд с его лица на окно. По-прежнему моросило, под сводами галереи на той стороне площади начал копошиться народ, торговцы, загнанные туда дождем, разложили свои лотки. Как надо притворяться, слыша, что другой рассказывает легенду о твоей жизни?

— Папаша-то, лежа при смерти, ту девушки, на которой он жениться должен был, за ним послал. Ну, понятно, зря.

Что ты знаешь, стариk, и почему, думаешь, сижу я теперь здесь, когда ничего уже нельзя повернуть или изменить?

— Не приехал он ни на папины похороны, ни на мамины — как в воду канул. А был такой славный паренек, сударь, это я его на этом вот самом бильярде первому карамболю выучил,— лучше других парнишек в его годы. В папе с мамой души не чаял, а они в нем. Просто в толк взять не могу, с чего он так переменился.

— Умер, наверно,— промолвил Вилем безразличным тоном, забывая о взятой на себя роли и не отрывая глаз от окна.— В бродячей труппе — дело обычное.

— Что вы, что вы! — возразил трактирщик с такой горячностью, что даже перестал жевать свою сигару и вынул ее изо рта.— Он далеко пошел: в Национальном играл. Да вы о нем, наверно, слышали: Вилем Габа звать!

Вилем затаил дыхание, на какую-то долю секунды ошеломленный. Можно бы посмеяться, но смеяться не смейся, а вывод все-таки невеселый. Лучше всего отрицательно покачать головой, но как можно поверить, чтобы суповой фабрикант никогда не слыхал о Вилеме Габе? Отвесьте глубокий поклон вашей славе, маэстро, и продолжайте играть свою роль.

— Ну, конечно, и даже видел на сцене.

Старый Дласк встрепенулся. И вдруг порывисто наклонился над столом.

— Вы его видели? Как он играет?

В самом деле, как он играет? Ведь и в эту минуту идет игра. Что ж, играет точь-в-точь так, как вы видите, старый друг мой, играет всегда, даже когда должен был бы, когда так хотел бы только жить. Поймите, пожалуйста, что дело давно уже не в том, *как* он играет, а в том, *кто* играет-то. Но это для вас слишком сложно, вы желаете получить ясный ответ на простой вопрос. Немножко смешно и в то же время необычно требовать свидетельства, так сказать, от самого преступника. Суповой фабрикант даст вам ответ, настоящий суповой фабрикант, который забредал в театр,

очевидно, только под влиянием своей городской приятельницы. Мы не утверждаем, что он клевал там носом, но если и не скучал, то интересовался игрой на свой лад. Он расценивал ее с точки зрения супового фабриканта, который столкнулся с такими вот актерами и пришел к выводу, что на него их штучки не действуют. Мы можем себе представить, что суповой фабрикант ответил бы старому Дласку,— и он на самом деле в свое время скажет это, но пока речь идет скорее о том, откуда он взялся: порожден ли временной надобностью и в таком случае существует лишь на какой-то летучий миг, как создание совершенно новое, или выведен из галереи давно готовых образов, которые Габа носил в себе и которые — как знать, этого нам пока установить не удалось,— и составляли в совокупности все существо последнего, или же, наконец, был слиянием того и другого?

Вот как будто слишком путаное размышление, все время уводящее нас в сторону от основной прямой линии повествования, но это — Габово размышление, и мы не можем от него отмахнуться, если хотим узнать всю подноготную его затруднений, а главное — его труднообъяснимого бегства из Праги. Очень возможно, что он вернулся в родной город просто потому, что в конце концов был Вилемом Габой и никем другим. Существом незаконченным, к которому надо было еще много добавить, но — никем другим. Никто не станет утверждать, что в свои сорок лет он был совершенно таков, как в двадцать. Но у большинства из нас дело обстоит так, словно мы дорисовываем свой окончательный облик штрих за штрихом и в любую минуту можем сказать: это — я. Правда, вчера у меня еще не было таких подглазин и отсутствовала вот эта морщинка, вчера меня интересовало многое такое, что нынче мне совершенно безразлично, но все-таки это — я. С Габой дело обстоит иначе. Его облик не становился четче, — он расплывался.

Допустим, что старому Дласку размышлении посетителя показались слишком долгими и в то же время подозрительными. Торговые люди, впадающие в продолжительное раздумье и как бы уносящиеся в какой-то другой мир, всегда были ему подозрительны. Видно, у этого малого что-то не в порядке. Может, ему грозит крах? Да и суповой фабрикант ли он? У старого Дласка складывалось все более твердое убеждение, что перед ним театральный антрепренер, приехавший сюда нащупать почву и скрывающий свою подлинную профессию, чтобы лучше удостове-

риться, какие тут возможности для театра. Ну, он уж ему порасскажет, отобьет у него охоту сюда соваться, так что тот отсюда покатится, будто ему горящей пакли к заднице привязали.

— И вы на самом деле видели, как он играет? — повторил Дласк.

В эту минуту Вилему показалось, что он увидел в не-прекращающейся мороси то лицо, ради которого сюда приехал. Безбородое неузнаваемое лицо смелого юноши, не знающее колебаний и сомнений, веселое лицо балагура, от которого все ждут шутки, самонадеянное лицо местного донжуана, с которым любая здешняя девушка охотно будет гулять. Вздрогнув, он опамятаился, и тотчас на сцену вышел суповой фабрикант.

— Ну да, я же вам сказал. Вы спрашиваете, как он играет? Это не по моей части. Спрашивайте меня насчет мяса, зелени, яиц, грибов — локо, франко, франкопорт — откуда угодно и куда угодно: это моя сфера. А актеры? Смотрю на них и думаю: половина — дураки, а другая — мошенники. И в театр хожу, если придется только.

Дласк в растерянности помял свой круглый, вяло висящий нос. Суповой фабрикант выступил на этот раз так отчетливо, что догадка старика насчет театрального антрепренера опять улетучилась. К тому же его задело возмутительное безразличие самонадеянного торгаша Габе, которым старый Дласк так гордился.

— Хорошо играет, можете быть уверены, — провозгласил он гордо — в той мере, в какой это может себе позволить трактирщик, разговаривая с посетителем. — Я читаю все, что о нем пишут в газетах. Так хвалят, сударь!

— Охотно верю, — ответил Вилем самым равнодушным тоном, делая вид, что этот разговор перестал его интересовать.

Но старый Дласк, обычно очень чуткий к нежеланию посетителя продолжать беседу, на этот раз не обратил на это внимания. Вилем Габа все еще волновал здешние умы, хотя прошло уже двадцать лет с тех пор, как он уехал или, верней, скрылся, как человек, который сказал дома, что идет опустить письмо в ящик, а сам отправился в кругосветное путешествие. Исчез, не приезжал даже на похороны родителей, и теперь гремит в том огромном, волнующем городе, что зовется Прагой, который время от времени снится каждому, вызывая страстную тоску и жажду жить там. Но здесь, здесь, сударь, уход его оставил след. В то время у нас устраивались спектакли, хорошие любитель-

ские спектакли, и он играл в них первые роли, и делали полные сборы театральные труппы, и все были очень довольны. Но потом, когда Вилем бежал с одной из этих трупп,— сперва, понимаете, никто не верил, что он сбежит, все считали, что для этого он слишком хитер, вернется,— спектакли у нас кончились. Родители испугались и перестали пускать детей на репетиции, и на спектакли тоже никто ходить не стал. С тех пор так и пошло, и театральные труппы бегут от нас, как черт от ладана. Вот это я и хотел сказать, когда подумал, что вы — театральный антрепренер. Чтоб вам впросак не попасть. Но, выходит, ни к чему.

Моросит, моросит. Вилем прислушивается, глядя в окно. Город застилает от него все более густая пелена.

Откуда-то принесло ко мне пять ударов башенных часов. Боже мой, пять — а я тут сижу, мечтаю, выдумываю, хотя, кто знает, даст ли это какой-нибудь результат: сяду, захочу написать, а может, не найду ни одного словечка из тех, что сейчас так легко нижутся у меня в голове. Но не в том дело, все это известно. Важно держать себя в руках, не допускать, чтоб голова твоя играла какими-то новыми образами и, в качестве пассивного зрителя, позволяла им блуждать куда вздумается. Но в данный момент еще важней помнить, зачем я тут сижу и чего жду. Больше нельзя ни на минуту оттягивать посещение редакции — старый Фридрын может уйти.

Я встал, поглядел на вокзальные часы и зашагал взволнованно.

Мое появление в редакции «Чешских лугов» было отмечено поспешностью, вызванной боязнью опоздать. Мне пришлось постоять минуту на бетонном дворике, пока сердце и дыханье не придут в норму: я чувствовал, что не могу вымолвить слова. Я вдыхал наркотический аромат типографской краски, запах перегретого масла и расплавленного гарта, и, как всегда, усердный стук машин заставил меня взойти на корабль, плывущий по безбрежному океану восторга. Да, я отважный удалец, мир еще лежит передо мной, как лежал когда-то перед прежними конкистадорами. В углу двора стоял пикапчик, и смазка образовала под ним черную лужицу; двое в засаленных синих комбинезонах клали в кузов связки книг и журналов.

Меня возмутила бесцеремонность их обращения с таким ценным товаром. Мне захотелось указать им на это. Подумайте о том, господа, — мог бы сказать я им, — что каждая книга — это вновь созданный мир, произведение, состоящее из самых хрупких и эфирных веществ, ни одно из которых не выступает в одном и том же виде. Перед вами, — мог бы я прибавить, — человек, немного знакомый с теми трудностями, которые приходится преодолевать писателю. Индржих Ауст — рекомендую вам запомнить это имя и фамилию, так как недалеко то время, когда вы увидите их на обложке произведения, возвышающегося благодаря своим достоинствам над всеми другими. Мне не хотелось бы видеть, что вы грузите его без должного питетета. Мое почтение, господа. Индржих Ауст, прошу запомнить.

Так отчего же я им этого не сказал? Они смотрели бы мне вслед, открыв рот, и я уже не чувствовал бы на сердце такой тоски... Одна мысль об этом принесла мне облегчение. Вот вам убедительное доказательство того, что гораздо больше событий совершаются внутри, а не вне нас, в нашем воображении, а не в том мире, который мы не совсем удачно называем реальностью. Разве наш внутренний мир не так же реален, как эта бетонированная площадка двора, разве мысли приобретают реальность только после того, как мы их выскажем? Вот до чего изуродовало нас воспитание и как мы сами будем калечить тех, кто идет нам на смену! Потому что воспитание, милостивые государи, сломило в нас вместе со склонностью делать гадости также и способность отдаваться мгновенным порывам, благородным и серьезным либо легкомысленным и чувственным, и, делая сносной нашу общественную жизнь, по большей части превращает в ад нашу жизнь внутреннюю.

Служащий с грузом книг в синем брезенте на спине, согнувшись под тяжестью этого тюка в три погибели, так что ему видно только кусочек земли под ногами, задел меня своей ношней. Я опять испугался, что пришел слишком поздно и все упустил. Быстро нырнул в затхлый аквариум канцелярии, торопливо пробрался сквозь лабиринт проходников и очутился, еле переводя дух, в редакционной приемной.

В этот момент юноша чахоточного вида читал гранки какой-то корректуры, с выражением бесконечного презрения и отвращения на худом лице и с зубочисткой в зубах, которая торчала у него изо рта — непостижимо мясистого

и красного на этой бледной бескровной физиономии. Даже уголком глаза не попытался он увидеть, кто вошел. Барышня с круглым задочком, прислонив карманное зеркальце к лампе, выщипывала себе брови пинцетом, превращая их в тонкую черточку, по образцу какой-то кинозвезды. В сущности, она уже произвела все, что требовалось, оставалась только отделка. С помощью черного карандаша она выводила новые смелые арки над своими глазницами. От этого ее носик пуговкой прятался еще глубже между пухлыми подушками щек: она была похожа на встревоженную молодую сову. Увидев, кто вошел, она недовольно отвернулась и без стеснения продолжала прежнее занятие.

Я повторил свое приветствие, потому что на первое, как всегда, не получил ответа, и осведомился насчет редактора Фридрина... Чахоточный юноша (не знаю, как его зовут, и, вероятно, никогда уж не узнаю) положил перо, поглядел и с явным усилием вынул зубочистку изо рта. В глазах его, обычно равнодушных, появилось игристое выражение, которое меня испугало.

— Редактор,— медленно произнес он, выпячивая плоскую грудь и вытягивая ноги под столом,— занят срочной работой.

— Я могу прийти завтра или когда-нибудь еще,— с поспешной готовностью согласился я.— Не буду его беспокоить.

Нижняя губа юноши изобразила улыбку.

— В этом нет надобности. Редактор поручил мне разрешить вопрос с вами.

Наклонившись над столом, он подвинул пресс-папье, лежащее на небольшой стопке бумаг. Среди них я узнал рукопись своего рассказа,— да и чего другого мог я ожидать? Но почему старик Фридрих не вернул мне ее сам? Он никогда не производил на меня впечатление человека, который побоится прямых переговоров, даже самых неприятных. Наоборот, я считал его брюзгою,— правда, добродушным,— который, однако, любит потчевать других своими колкостями и насмешками.

— Вот ваш рассказ «Третий уходит»,— продолжал юноша, глядя на меня пристально и как бы с жадностью, словно давно предвкушая эту минуту, и старался теперь не упустить хотя бы частицы моего замешательства.— Редактор не сообщил мотивов ее отклонения, а просто сказал: не пойдет.

Я вспомнил, с какой преданностью Ярмила Ситова

переписывала этот рассказ на машинке, как твердо верила в его успех. Какую-то долю секунды я, может быть, даже испытывал ненависть к ней за то, что она так горячо меня уговаривала попытать счастья, но тотчас же вслед за этим почувствовал жалость к ее безрассудному доверию, более сильную, чем почувствовала бы она сама.

Я взял рукопись и поспешно сунул ее в карман пиджака.

— Ну да, ну да,— пробормотал я.— Собственно, речь шла не о том, чтобы печатать. Я просил просто так просмотреть.

Юноша пожал плечами, и нижняя губа его снова изобразила улыбку, на этот раз несколько более отчетливую.

— А вот,— продолжал он, подавая мне листок бумаги,— ордер в кассу на оплату вам гонорара за кинороман.

— Благодарю вас,— произнес я как только мог спокойно, делая отчаянные усилия восстановить утраченное равновесие.

Видимо, меня деликатно выставляли за дверь, и было бы, конечно, лучше ни о чем больше не спрашивать, с невозмутимым видом проститься и уйти. Но в моем положении необходимо было удостовериться, хотя бы ценой еще большего унижения. Барышня с круглым задочком, перестав заниматься своими бровями, взяла зеркальце и стала держать его так, чтобы ей было видно мое лицо.

— Господин редактор,— начал я сдавленным голосом, потому что был вынужден подавлять его дрожь,— последний раз говорил мне, что поручит мне сегодня какую-то новую работу.

Тогда тощий юноша перегнулся ко мне через ручку своего кресла, причем губы его сжались в черту, а лихорадочно блестящие большие карие глаза были полны презрения.

— Послушайте, неужели вы не понимаете? Я хотел избавить вас от этого, но вы сами заговорили. Старик попросту не хочет вас видеть.

Я почувствовал, как у меня внутри все обмякло и стало расплзаться. Но нет, нельзя позволить, чтобы тебя этак здорово живешь вдруг выбросили. Тут, наверно, какое-то недоразумение, которое необходимо выяснить, либо, может быть, какие-нибудь происки этого скелета, который с первой минуты — я сразу тогда почувствовал — невзлюбил меня. Надо попробовать оказать сопротивление тому или другому: ведь работа в «Чешских лугах» была для

меня единственной возможностью хоть как-то существовать.

Проводя языком по вдруг запекшимся губам, я сказал:

— Но еще во время последнего моего разговора с ним он сказал, что доволен моей работой.

Юноша оглянулся на дверь в кабинет редактора Фридрина, потом сделал мне знак.

— Наклонитесь поближе, чтобы можно было не говорить громко. Я объясню, почему с вами так получилось.

Последовав его рекомендации, я услышал резкий запах ментоловых конфет, которые он, видимо, сосал в те минуты, когда не пил молоко из своей облепленной пивной кружки.

— Я тоже не мог понять, почему стариk так неожиданно изменился. Прежде он вами нахваливаться не мог (в этот момент мясистые губы юноши как бы сами собой презрительно вытянулись). Но мне стало ясно, после того как я прочел ваш рассказ.

Он помолчал, желая проверить, какой эффект произведет на меня эта новость. Трудно измерить бездну унижения, куда я в этот момент провалился. Я заговорил только для того, чтобы что-нибудь сказать, и потому, что юноша не спускал с моего лица жадных глаз.

— Я знаю, он неудачен,— промолвил я.— Но разве это могло сразу изменить его мнение о всей моей работе?

Юноша вдруг так быстро наклонился ко мне, что наши физиономии чуть не столкнулись, и кресло его забалансировало только на двух ножках.

— Вообще-то он неплох,— поспешно возразил он.— Вовсе нет. Мы печатаем во сто раз более слабые вещи, украденные не из вторых и не из третьих, а из пятых, десятых рук.

Он остановился, словно спохватившись, что перехватил меня, и продолжал более сдержанно, с обычной своей надменностью:

— Имейте в виду: я вовсе не хочу сказать, что эта ваша вещь — бог весть какое чудо. Но в ней видна большая работа, и он должен бы пальчики себе облизать, что ему попалось что-то порядочное. Но тема, сударь, тема! Как вас угораздило дать нечто подобное именно ему?

У меня отлегло от сердца. Рассказ не плох, вовсе нет. Ярмила не ошиблась. И этот скелет, недолюбливавший меня, признает, что я над ним поработал. Но почему же в таком случае он вызвал такое негодование старого Фрид-

рына, что тот решил меня прогнать и лишить последней возможности приличного заработка?

— Вы считаете, что рассказ недостаточно нравственный? — спросил я.

— Нравственный, нравственный, — насмешливо взвизгнул юноша, но тут же, спохватившись, опасливо поглядел на дверь к Фридриху. — А та сентиментальная полуопухабщина, что мы печатаем, нравственная? Да что там, сударь. Ваш рассказ до того нравствен, что хоть в хрестоматию! Но вы угодили прямо в него. Разве вы не знали, что он сам — такой вот старый Палас, и дома у него как раз такая Эва с привеском — Вилемом? Он уверен, что вы это сделали ему назло, и никто его не разубедит, потому что об этих вещах с ним совершенно нельзя говорить.

6

Уважаемые дамы и господа, позвольте вам сказать, что я огорчен и разочарован безответственностью и недобросовестностью жизни. На моем примере вы видите, что говорить о жизни как о творце — бессмысленно; достижения, которыми она хвастает, — это не творчество, а самый грубый вид дилетантизма. Ну, скажите на милость: есть какой-нибудь план или порядок в том, как она распоряжается нашими судьбами? Я утверждаю, что ее произведения не выдержат детального разбора, при котором тотчас же обнаружится, сколько в них ослепительных, но недовершенных замыслов, хорошо задуманных, но никуда не ведущих положений, торопливых импровизаций — там, где вы ждали последовательного развития поднятой темы, сколько богатырских жестов и непринужденной эпизодической болтовни, короче говоря — гениальничанья. А случайность! Дамы и господа, случайность! Обыгрывание случайности — вот оселок, на котором можно лучше всего проверить достоинства автора, его изобретательность, способность смотреть вперед и додумывать до конца, короче говоря — чувство ответственности, честность, силу дарования и трудолюбие. Я не хочу сказать, что случайность не может быть элементом композиции в любом, даже самом серьезном произведении. Но вы все же не будете отрицать, что есть существенная разница между элементом композиции и заплатой. В этом все дело. Жизнь — старьевщик и штопальщик, жалкий и в то же время бесстыдный подражатель и эпигон, повторяющий самого себя, несколько

своих первоначальных, гениально выполненных произведений. Она не создает новых судеб, а перешивает старые, латая их при помощи случайности там и сям,— где они слишком изношены либо треснули по швам из-за непредусмотренной корявости тех, кто их наялил.

Взять хоть мой случай. Я написал рассказ; после многих лет напрасных, безрассудно растратченных и распыленных усилий успешно довожу начатое до конца. Кажется, могу, не заносясь, по совести сказать, что с успехом. Ведь рассказ понравился девушке очень начитанной и человеку, по профессии призванному судить о таких вещах. Мое собственное удовлетворение не надо принимать во внимание: я, так сказать, слишком поздно стал отцом и могу быть заподозрен в пристрастии. Но обратите внимание на то, как я заботился о сцеплении событий, как старался, чтобы каждая следующая ситуация с необходимостью вытекала из предыдущей, зарождаясь внутри нее, и так шло бы последовательно до неизбежнойвязки. Вы можете возразить, что в рассказе я привел Эву и Вильма к разрыву, так как их разделила тень Паласа, тогда как в романе собираюсь развивать их отношения дальше и еще имею на них обоих кое-какие виды. Но вы сами чувствуете неосновательность своего замечания и не заставите меня объяснять вам разницу между рассказом и романом в смысле внутренней цели. Хочу только подчеркнуть, что действовал с величайшим чувством ответственности и не пытался облегчить свою задачу.

А теперь посмотрим, как обращается со мной хваленный автор, которым честному труженику колют глаза: я имею в виду жизнь.

Она ввела случай, но, по-моему, на авось, вслепую, сама не зная, на что он ей понадобится в дальнейшем. Почему из всех, кто мог так или иначе принять участие в моей судьбе, она поставила на моем пути человека, угнетаемого той же участью, какую я изобразил в рассказе о директоре театра Паласе, или, уж коли решила обязательно свести нас двоих, зачем заставила меня пытать счастье именно с этим рассказом?.. Простите, уважаемые господа, признаюсь, я попал в весьма затруднительное положение. Расхвастался своей изобретательностью и недооценил творческой оригинальности жизни. Должен признать, что попал впросак со своими домыслами и что вижу в этом сцеплении случайностей и подробностей определенный замысел. Подлый, может быть, не особенно остроумный, но явный. В нем нет ничего нового,— это только

замаскированное повторение моей основной роковой ситуации. Кто-то, более или менее равнодушно рассматривавший наш муравейник, вдруг опять остановил свой взгляд на мне, и ему захотелось опустить палец вниз. И я был опять вышвырнут, еще не успев обогреть местечко. Ну, кому это понравится?

Я быстро шел, размахивал руками, ухмылялся и посмеивался, стараясь убедить и перетянуть на свою сторону воображаемых слушателей. Прохожие на меня оборачивались; я знал об этом, но никак не мог удержаться от этих нелепых действий. Все мы друг другу чужие, дальше друг от друга, чем звезды в холодном мировом пространстве. Царь небесный, ты видишь, что у меня во всем этом огромном городе нет ни единого человечка, с которым мне можно отвести душу! Я готов взвыть от одиночества, как собака. Но если кто подумает, будто моя песня спета, то он ошибается. Я могу выть, могу существовать, как бездомный пес, могу сгинуть, как он, но к конуре своей меня никто уже больше не привяжет.

Мною овладело задорное, легкомысленное настроение. Нет, к конуре своей никто меня уж больше не привяжет, и миску свою я буду наполнять сам,— пускай по донышку, пускай вынюхивая иной раз в ее пустоте запах вчерашней еды.

7

Когда я поднялся по склону на площадку Летненского сада, башенные часы в городе пробили один за другим шесть ударов. Поздно. Ну да. Неудача не окрыляет человека, и я плелся, как школьник, возвращающийся домой с плохими отметками. Если я теперь даже побегу, мне едва ли удастся застать Ярмилу в момент выхода из канцелярии. После небольшого колебания я все же решительно двинулся вперед. Это была странная спешка. Боязнь новым опозданием рассердить Ярмилу, и без того раздраженную моими поздними приходами на наши полдневные встречи, заставляла меня все больше ускорять шаг, а мучительный вопрос, почему старый Фридрын вернул мне рассказ, висел на ногах моих свинцовой гирей. Истина казалась мне слишком похожей на труслившую выдумку человека, который боится признать свой провал.

Задыхаясь и дрожа от волнения, появился я перед домом, где помещалась канцелярия адвоката Лексы. Часы

на водонапорной башне показывали десять минут седьмого. У меня оставалась только та надежда, что Ярмила, быть может, задержалась из-за какой-нибудь срочной работы. Я поглядел на окна третьего этажа: горящий в них отблеск заката ослепил меня. Это был единственный ответ на мою неуверенность.

У меня еще рябило в глазах от этого светового удара, как вдруг ко мне обратился какой-то паренек. Я увидел его сразу, как только пришел,— стоит, слегка покачиваясь, на краю тротуара, засунув руки в карманы,— но это не дошло до моего сознания. У летненских улиц такой вид, что представляется вполне естественным, чтоб на них к вечеру шаталось и стояло множество таких вот пареньков.

— Вы ждете Ярмилу? — спросил он меня, не здороваясь, и при этом миловидное, но бледное и худое лицо его посмеивалось. Ему могло быть немногим больше двадцати, но небрежность манер говорила о слишком ранней пресыщенности и презрении ко всему на свете. Кто же этот развязный невежа, откуда он знает меня и на каком основании присвоил себе право разговаривать со мной таким бесцеремонным тоном?

— Простите,— произнес я как можно холоднее.— С кем я имею честь?..

Юноша осклабился, широко растянув углы тонкого рта, и, вскинув голову, выфыркнул носом глухой смешок.

— Спокойно,— промолвил он с возмутительной фамильярностью.— Зачем так волноваться? Я — не конкуренция; я — Ярмилин брательник.

Он вынул руку из кармана и, снова осклабившись, протянул ее мне. Видимо, не осклабившись, он вообще не мог ни двинуться, ни произнести слова.

— Арношт Сита, коли на то пошло.

В порыве стыда и желания загладить свою холодность я стиснул его влажную руку, которая слабо ответила на мое пожатие и тотчас выскоцила из него, как только это стало возможно.

— Ауст,— поспешил ответил я.— Индржих Ауст. Я понятия не имел...

— Несущественно,— снисходительным тоном ответил молодой Сита, сделав освободившейся правой рукой неподражаемый жест, говоривший о его светском пренебрежении к таким мелочам.— Я видел раз, как вы провожали сеструху,— у меня чуть язык не отнялся. Коли она

с вами гуляет, так это самое дивное диво после изобретения радио.

Для меня представлялась возможность узнать о Ярмиле чуть больше, чем я мог извлечь из ее поведения и неясных ответов. Но я колебался; мне казалось, что я имею право только на то, чтобы ждать, пока она сама не расскажет о себе, что найдет нужным. Однако соблазн был слишком велик.

— Ваша сестра всегда была такая, если это вас удивило? — робко спросил я.

Молодой Сита слегка задвинул шляпу на затылок, потом опять надвинул ее прямо на брови. Поглядел на меня прищурившись, потом пожал плечами, словно решив, что, дескать, не важно, что он мне тут наскажет, и в конце концов все на свете не важно.

— Всегда? Нет. Но похоже — такой будет до самой смерти и так и останется в девках.

Вытолкнув кончиком языка капельку слюны между губ, он равнодушно сплюнул ее, тихонько цыркнув. Ему и хотелось и не хотелось продолжать, а я не находил в себе смелости подтолкнуть его вопросом. Но при всем своем равнодушии и прожженной многоопытности он был еще слишком молод, чтобы, начав говорить, потом самого себя одернуть и набрать воды в рот.

— Ничего тут удивительного,— снова начал он, тоном человека, хорошо знающего свет.— Налетела раз, а всегда была гордая, считала: я, мол, из другого теста... Ну и решила: с меня довольно — и точка. Пять лет хороводилась с одним типом. Он ее ловко обвел! На химика учился, а она его содержала, чтоб он с голоду не подох. Уйму деньжищ на него извела,— вспомнить обидно. Можете поверить? Даже шмотки, дура, ему покупала, чтоб он задницей не сверкал. Ну а кончил, понятное дело — визу взял.

Я поглядел на молодого Ситу с недоумением, так как последнее выражение было для меня ново. Он улыбнулся над моим слабым знанием родного языка и презрительно объяснил:

— Сбил с нее спесь, смылся.

И продолжал свое повествование. Ярмила устроила этого человека даже на работу в Злине, и он обещал на ней жениться, как только немножко там обоснуется. Девушка купила мебель на все деньги, полученные в наследство от бабки, и начала собирать документы. А когда все было готово к переезду, он прислал ей свадебное извещение:

женился там, в Злине. И даже письма не написал с объяснением.

— Это подłość! — возмущенно воскликнул я, когда молодой Сита кончил свой рассказ.

Пережитый Ярмилой жалкий и нелепый роман вызвал во мне живое сострадание к девушке. Сколько таких историй, похожих друг на друга как две капли воды, с тупым упорством создает жизнь. Меня радовало только то, что Ярмила тоже этим оскорблена.

— Прохвост, понятно,— согласился молодой Сита и тут же вспомнил свое моральное кредо.— Не хочешь жениться, больше года с девушкой не гуляй. Но у Ярмилы на этот счет, видно, свой взгляд. Как вспомню о тех тысячах, в которые этот парень ей стал, прямо зло берет. А со мной из-за каждого пятака ругается.

Тут мне вдруг пришла в голову одна мысль, и я спросил:

— Вам нужны деньги?

Говоря о Ярмиле и ее вероломном возлюбленном, молодой Сита смотрел на меня по большей части искоса, но тут устремил в упор острый рысий взгляд, словно желая проверить, куда я мечу, предлагая такой вопрос.

— Человеку всегда нужны деньги,— процидил он еще ленивей, глядя на меня все время оценивающим взглядом.— Вы думаете, я почему пришел за Ярмилой,— чтобы оберегать ее от соблазнов большого города? Для нее чем я дальше, тем лучше. Но она на улице говорчивей. Норовит, чтоб я скорей отвязался. А дома как заведет шарманку...

За подчеркнутой непринужденностью и доверительностью, с какими он открывал мне свое искусство выманивать деньги, чувствовалось напряжение. А не удастся ли и из меня сколько-нибудь выжать? Хоть сотняжку. И то ладно.

— Предположим,— медленно начал я, словно еще раздумывая, как поступить,— что ваша сестра будет сегодня не в том настроении. Сколько вам нужно?

Рысий взгляд впился в меня еще глубже. Какую рискнуть назвать цифру?

— Две сотни? — произнес он удивительно быстро, но в то же время с оттенком вопроса.

— Две сотни,— повторил я, понимая, что не должен проявлять излишнюю готовность, и — после небольшой паузы — кивнул.

Несмотря на все, что я пережил неприятного в редак-

ции «Чешских лугов», я вынес оттуда около тысячи крон — гонорар за кинороман. Я хотел было вынуть из внутреннего кармана всю пачку стокронных кредиток, которую в расстройстве чувств сунул туда с тупым равнодушием у окошка кассы. Но, заметив выжидающий взгляд молодого Ситы, в последнюю минуту одумался. Было бы большой ошибкой создать у этого молодого шалопая представление, будто в моем лице он имеет дело с человеком, который катается как сыр в масле. Отделив на ощупь в кармане две кредитки, я протянул их нетерпеливо ожидающему юноше.

Не успел он взять их в руку, как снова принял равнодушный вид, и даже больше: лицо его приобрело до некоторой степени надменное выражение. Одной рукой он сунул деньги в карман, а другую в знак благодарности приподнял к краю шляпы.

— Верну на этой неделе,— небрежно бросил он, и я с самым серьезным видом кивнул в ответ.

Видимо, прочтя в моем взгляде, что я простился со своими деньгами, но не очень об этом жалею, он вдруг развеселился и, с юношеским пылом, для меня неожиданным и свидетельствовавшим, что под внешностью лодыря, баловня и разгильдяя в нем еще не исчез добрый, сердечный малый, промолвил:

— Вы совсем не то, что тот инженер, сударь. Надеюсь, вы не расскажете Ярмиле о том, что было между нами?

— Ну, разумеется.

— Я замолвлю ей словечко за вас,— объявил молодой Сита, все более настраиваясь на дружеский лад.

А я подумал, что мне трудно было бы сделать более неудачный выбор ходатая.

— Пожалуй, лучше предоставить вашей сестре самой решить вопрос обо мне.

— По-моему, тоже,— с еще большей пылкостью согласился он.— Потому что она не любит, когда суются в ее дела. Но мне лучше рассосаться.

Он подал мне руку, попробовал даже ответить на мое пожатие и удалился — расшатанной походкой, ясней много-го другого в нем показывавшей, в каком обществе он вращается.

Я смотрел ему вслед и думал о том, что он сказал мне про свою сестру, про ее жизнь, заключенную в незыблемых пределах, как моя собственная. Возлюбленный, позволяющий себя содержать, а потом — поминай как звали,

брат — бездельник, вечно выклянчивающий денег, всякие другие семейные неприятности и ко всему этому — неудачник, который только что не помирает с голоду и не спит под мостом. Не честней ли будет сделать пол-оборота и избавить ее от своей персоны, над которой нависла туча забот?

Молодой Сита дошел до угла и уже собрался перейти улицу, как вдруг за спиной у меня послышался голос его сестры:

— Арношт!

Я обернулся одновременно с юношей и поздоровался, но Ярмила смотрела только на него.

— Привет, Ярка! — ответил молодой Сита с преувеличенной нежностью.— Я тебя ждал, но теперь мне пора. Всего!

Он помахал рукой и кинулся за трамваем, только что тронувшимся с соседней остановки. Я видел, как он вскочил на подножку с безошибочной уверенностью цветочка, выросшего на городской мостовой, и после этого мы повернулись друг к другу. Лицо Ярмилы пылало гневом, и взгляд ее растерянно блуждал. Я попробовал первый найти выход из нашего общего замешательства.

— Я не знал, что у вас есть брат,— сказал я чуть не извиняющимся тоном.— Он видел нас как-то раз вместе и заговорил со мной.

Не ответив на мою улыбку, она спросила, открывая сумочку:

— Сколько вы ему дали?

Вилем Габа, столкнувшись со старым Дласком, вышел из затруднения, взяв на себя роль супового фабриканта. Я попробовал хоть отчасти последовать его примеру.

— Как это вам могло прийти в голову?

Углы рта у нее опустились, как у брата, и лицо переполнила горечь.

— Арношт приходит ко мне, только когда ему нужны деньги. Почему он вдруг так заспешил, что даже не стал меня ждать?

Я не мог нарушить обещание, которое дал молодому Сите, не говоря уж о том, что Ярмила захотела бы во что бы то ни стало вернуть долг, наверняка превышающий обычные размеры сестринской щедрости. Я пожал плечами.

— Не знаю,— ответил я, делая попытку примирительно улыбнуться.— Может быть, постеснялся меня и предпочел уйти.

— Действительно! — промолвила она с горькой усмешкой.— Арношт страшно застенчив, особенно когда ему нужны деньги.

Хотя эпизод с Ярмилиным братом сначала произвел неприятное впечатление, он вызвал между нами разговоры, на которые мы при других обстоятельствах не решились бы, привел в ясность многое, чего мы избегали касаться, и тем самым в конечном счете содействовал нашему сближению.

Мы без устали шагали взад и вперед по красивой тихой улице с палисадниками, застроенной целиком в начале этого века. Она вела к входу в Стромовку, прямо на ту дорожку, где мы встречались днем. Но ни один из нас не предложил войти в сад, хотя большинство шедших нам навстречу и обгонявших нас были влюбленные парочки, направлявшиеся к той просторной, зеленой и благоуханной постели, которую лето постелило для бесприютных любовников. Может быть, оба мы чувствовали, что, ведя подобный разговор, не принадлежали к счастливцам, которые в такой вечер, как сегодняшний, нуждаются лишь в укромной скамеечке да благосклонном сумраке.

Наступил момент, когда я должен был сообщить Ярмиле, что Арношт рассказал мне о ней.

— Вижу, что у меня перед вами больше нет никаких тайн,— сказала она.— А это, как я читала в книгах, для женщины всегда невыгодно. Вы, наверно, смеялись, когда он рассказывал.

— Не знаю, над чем тут можно смеяться,— ответил я с тем большей горячностью, что вспомнил, как мысленно назвал ее историю пошлой и смешной.— Ваш брат тоже считает это подлостью.

— Ну, коли и Арношт тоже, дальше идти некуда. Довольно об этом. Сегодня в полдень я решила никогда больше с вами не встречаться. Видите, как я тверда в своих решениях?

— Я ничего не мог поделать. Но даю вам слово; это больше не повторится.

— А если я уже забыла?

Я быстро схватил ее за руку и встал ей поперек дороги, так что она чуть не упала ко мне на грудь.

— Не шутите, Ярмила. Я слишком готов этому верить. Я так привык всегда ждать худшего.

— А теперь придется отвыкать. Только не давите так руку.

Я ослабил пожатие, но руки не выпустил. Она позволила мне переплести ее пальцы с моими, и мы дошли так, почти все время молча и тесно прижавшись друг к другу, до самого дома, где она жила.

Улица «На косогоре» мало чем отличалась от улицы «На валу». Она тянулась вниз по склону в том же направлении, дожди и копоть объединяли дома ее с Гарадовой фабрикой тем же черно-серым налетом. На углах стояли точно такие же группы мужчин в жилетках и простоволосые женщины, и словно те же самые ласточки сновали здесь под темнеющим небосводом, и те же самые ребятишки перекрикивали их, гоняясь друг за дружкой в стремительном беге, подобном извилистому птичьему полету.

Мы остановились перед одним из самых новых домов, отличавшихся от других тем, что гипсовые гирлянды его еще не успели обветшать и обвалиться. Я уже хотел выпустить Ярмилину руку, перед тем как проститься. Но Ярмила, наоборот, сжала мою руку еще крепче и повела меня с собой.

— Идемте. Вы у нас поужинаете... Тетю, наверное, хватит удар!

Я вступил с ней в сумрачный коридор. Две толстые женщины у входа, чесавшие языки, скрестив руки под огромными грудями, неохотно расступились, давая нам дорогу. При этом они дружно и выразительно возвели глаза к небу.

Тетушка в самом деле чуть не померла со страха. Это была сестра Ярмилина отца, маленькая, добродушная старушка, очень живая и нервная; овдовев после двадцатилетнего бездетного супружества с чиновником магistrата, она долго скиталась по многочисленной родне, там нянча новорожденного, здесь занимаясь шитьем приданого для невесты, пока не обосновалась у Ярмилы. Я узнал, что Ярмила, после неудачи с замужеством, ушла из семьи, где ей было слишком тесно, сняла эту двухкомнатную квартиру, обставила ее мебелью, приобретенной для жизни с мужем, и пригласила в качестве companьонки и экономки одинокую тетушку, которой к тому времени окончательно опостылело кочевые по родным.

Тетушка приветствовала меня, стараясь соблюсти старинную учтивость; но, слишком испуганная моим неожиданным вторжением, она плохо отдавала себе отчет, что говорить, как себя держать и вообще как отнестись к моему

му визиту. Не решалась прямо на меня взглянуть, и только я коснулся ее сухой натруженной ручки, тотчас ее отдернула. Ярмилу ее победение то и дело бросало в краску. Было слишком очевидно, что посторонний, в особенностях мужского пола, в этом приюте одиноких женщин — редкое явление.

— Боже ты мой,— запричитала тетя,— что ж это ты, голубушка? Пришла так поздно, да еще с гостем! Твой-то ужин простыл. А что же я им подам?

Говоря это, она металась между нами и дверью кухни, махая руками, как испуганная курица крыльями. Ярмила, подойдя к ней, обняла ее за плечи.

— Не делай из этого проблемы,— сказала она сдержанно, но настойчиво.— Разогрей мой ужин, и мы разделим его. Завари чай, подай хлеб, масло, варенье.

Тетя тотчас угомонилась: узнала, что надо делать, и это хорошо подействовало ей на нервы. Она засмеялась удивительно звонким, почти девичьим смехом.

— Ты права. Так и сделаем.

Маленькая, легкая как птица, сразу повеселевшая, она порхнула на кухню, распространяя за собой запах айвы.

Вид Ярмилиной комнаты говорил о том, что на обстановку не пожалели денег. Мебель была полированная, темная, орехового дерева и представляла собой сочетание спальни со столовой. Большое венецианско зеркало ближе к двери и низкий туалетный столик под ним, с фланчиками, баночками, гребенками и щетками, говорили, заодно с широкой кушеткой, что Ярмила здесь и спит. Цветы в вазах на столе и на буфете выглядели так естественно, как где-нибудь на клумбе или на лугу.

— Посидите пока — ну хоть здесь,— предложила Ярмила, указывая мне на одно из двух обитых зеленым кресел, самодовольно раскинувшихся возле круглого столика.

Как только мы вошли, она сейчас же зажгла возвышающуюся над столиком стоячую лампу, и комната, залитая мягким молочным светом, предстала предо мной в самом привлекательном виде.

Я смотрел на эту комнату глазами обездоленного, который двадцать лучших лет своей жизни протрубил в комнатах, сдаваемых по найму, всегда и неизменно обставленных самым нищенским образом, всегда и неизменно дышащих атмосферой мест, в которых нет ничего вашего. Воспринимал ее наболевшими и готовыми к умилению чувствами человека, который ни разу до сих пор

в такое помещение не вступал, так как не имел ни его, ни друзей, которые могли бы позвать его к себе в подобную обстановку.

Свежий воздух здесь благоухал чистотой, цветами и тем ароматом, которым веяло на меня при каждом движении Ярмилы. Трудно было даже поверить, что так может благоухать жилище, находящееся на такой пыльной, грязной улице.

Ярмила налила мне рюмку орехового ликера, произведения тети Анны, чокнулась со мной и стала накрывать на стол. Ею тоже овладело какое-то волнение,— видимо, при мысли, что она может кого-то у себя принимать. Она раскраснелась, глаза ее блестели.

У всех у нас есть известные представления, которыми мы стараемся обогатить свою реальную жизнь и поднять ей цену. Представления, к которым мы постоянно возвращаемся, все время дополняя их новыми подробностями. Я часто садился мысленно на корабль и уезжал в дальние края, где можно зажить совершенно по-новому, гораздо лучше. Но еще чаще услаждал я свое одиночество грезами о том, как меня позовет к себе какая-нибудь красавица и мы будем с ней сидеть друг против друга в притущенном свете лампы, с каждым словом сближаясь все глубже и тесней. Скажу вам, это просто нестерпимо — переживать такое подробное осуществление своих грез. Словно над вами нависла опасность очнуться, и какой-нибудь зловещий оборот вот-вот уничтожит все чары, выставив вас на мороз отрезвления.

Ярмила побежала на кухню, а я остался сидеть, думая о том, что это неожиданное счастье, явившееся после проигрыша в «Чешских лугах», доставлено не по адресу. Встать и тихонько уйти. Так бывает: если кто долго живет собачьей жизнью, он не может понять, почему с ним вдруг поступили по-человечески. Подозревает подвох и ждет нового пинка.

Тетя Анна выглядела в белом крахмальном переднике прямо величественно. Я, еле дыша от смущения, сел за стол, на котором тарелки, стаканы и ножи с вилками отражали свет круглой висячей лампы. В присутствии двух этих женщин, благоухающих чистотой и блещущих опрятностью, я в своей одежде, которую вот уже несколько лет носил, можно сказать, не снимая, чувствовал себя бродягой, только что вытащенным из канавы.

Ужин ничем не давал почувствовать, что он состоит из остатков от обеда. На столе друг за другом появились рыба

в масле с лимоном, тушеная телятина с рисом и в заключение яблочный пирог, пахнущий сливочным маслом. Тетя Анна, по ее словам уже поужинавшая, подсела к нам с чашкой чая и оживленно болтала все время, пока мы двое более или менее молча ели. Ярмила относилась к ее разглагольствованиям с удивительной невозмутимостью, несмотря на то, что они касались главным образом лично ее и ее семейных отношений.

— Тетя,— рискнула было она остановить поток старушечьей говорливости,— неужели ты думаешь, что пану Аусту это интересно?

— Милая моя,— не обижаясь, ответила ей тетя Анна,— да как же не интересно? Назови мне другую семью, где происходило бы столько событий, как в нашей.

И с одушевлением продолжала свой рассказ о том, как Ярмилин отец по собственной вине из богатого посредника по продаже недвижимости превратился в страхового агента, который имеет лишь то, что ему удастся выманить у людей своим красноречием, а вместо надежды на загородную виллу и солидную ренту — перспективу выйти на жалкую пенсийку.

— А все карты! — воскликнула она, тыча в меня через стол костлявым кулаком, и маленькое лицо ее сморщилось в гримасе отвращения.— Кartiшки, сударь! Вообще чудо, что этот человек еще не пошел по миру и воспитал двоих детей, хотя про Арношта нельзя сказать, что он сколько-нибудь воспитан. Он унаследовал папашину страсть к картежной игре и мамину любовь к комфорту, и я все время молю бога, чтоб этот мальчишка не довел самого себя и всю свою семью до какого-нибудь страшного позора. Надеюсь, вы не играете в карты, сударь?

— Трефов от бубен не отличу,— самым серьезным тоном объявил я.

— Но знаете названия, а это уже опасно. Остерегайтесь карт: кто раз за них сел — пропал.

— У меня, может быть, еще хуже недостатки,— сказал я с улыбкой.

— Пьете?.. Ну, коли не играете в карты и не пьете, так уж хуже ничего быть не может.

Тетя Анна считала карты и вино воплощениями дьявола. Она вертелась на своем стуле, на щеках у нее выступили красные пятна, она говорила взволнованно, горячо. Ярмила уж не пыталась прерывать ее; кашала спокойно, только немножко нахмурившись. Конечно, ей было неприятно перетряхивание грязного семейного белья, но она,

видимо, решила, что раз Арношт рассказал уже сегодня часть, почему бы мне не знать и остального. Порой я чувствовал на себе ее испытующий взгляд, говоривший о желании удостовериться, какое впечатление производит на меня тетино повествование. Мне было страшно, я не знал, как себя держать, и временами тетина горячность заставляла меня улыбнуться, но при этом я с облегчением замечал, что Ярмила тоже улыбается. Тогда мне казалось, что все эти семейные дрязги не имеют к ней никакого отношения, что она избавилась от них, уйдя из дома, и теперь они ей почти безразличны. Но потом, вспомнив об Арноште, я понял, что семья еще не отвалилась от нее и сосет ее по мере надобности.

После того как мы поужинали, обе женщины стали убирать со стола. К великой моей радости, тетя Анна извинилась и попрощалась. Сердечно и словоохотливо пожелала мне доброй ночи и просила приходить. Быстрые мышиные глазки ее так и бегали по мне с любопытством. Она все никак не могла решить, куда отнести меня в ее упрощенной, но тщательно разработанной классификации человеческих натур.

— Ополосну посуду — и в постель, — сказал она. — Не могу долго сидеть вечером. И ты тоже не забывай, что сон бережет молодость и красоту, — обратилась она к Ярмиле.

Она слегка улыбнулась ласковой улыбкой, но я все же почувствовал, что замечание предназначено главным образом для меня. Что касается ее самой, то вера в сохраняющую силу сна была оправданна. Я сначала дал ей лет пятьдесят или немного больше, а между тем ей было под семьдесят.

9

Когда тетя в крахмальном переднике, которого она никогда не снимала, даже садясь за стол, прошуршала к себе в комнату, мы опять сели в кресло под стоячей лампой.

— Мне бы надлежало откланяться, чтобы не нарушать тетиной инструкции, — начал я.

— Не обращайте на нее внимания. Ей жизнь не мила без какой-нибудь заботы. В глубине души она уверена, что весь свет сошел с ума и только у нее одной сохранилась частица здравого рассудка. И она обращается с людьми, исходя из этого.

Мы потолковали еще немного о тете и ее чудачествах, о ее доброте и потребности постоянно быть кому-нибудь полезной, — толковали тем горячей, чем больше нас тревожило давящее сознание, что мы одни. Голосам нашим аккомпанировал звон посуды за тонкой стеной, отделявшей нас от кухни. А что будет, когда он смолкнет? Встану, поблагодарю и уйду. Чего еще мне ждать от этого изумительнейшего из всех вечеров? Свет электрической лампочки падает из-под абажура на лицо Ярмилы, играет изменчивыми бликами на ее волосах. Порой дыхание ее касается моей щеки, и меня кидает в дрожь от этого чуть теплого воздушного поцелуя. Боже мой, миллионы людей переживают такие минуты в конце каждого дня, а мне пришлось сорок лет ждать этого мгновения.

— Вы еще не сказали мне, что с вашим рассказом.

Я видел с самого начала, что мне не удастся допить до конца свою чашу счастья — не отравленную. Но, как ни странно, Ярмилиин вопрос не привел меня в замешательство. Мысли закрутились вихрем в голове моей, как у человека, повисшего над бездной. Все происшествие с рассказом показалось мне не стоящим одной минуты этого вечера. Я еще раньше пришел к заключению, что истинная причина, заставившая старого Фридриха вернуть мне рассказ, слишком похожа на трусливый вымысел, но тут как раз не нашел в себе мужества произнести заранее приготовленную ложь, хоть и правдоподобную, но для меня унизительную, а для Ярмилы, знающей, что мой рассказ хорош, обидную.

— Угадайте, — сказал я, стараясь выиграть время и решив согласовать свое объяснение с ответом Ярмилы.

Правда, похожая на ложь, и ложь, похожая на правду, грозили разрушить хрупкое здание этого вечера; оставалась еще ложь, способная прибавить ему прочность и красоту.

— Он принят и будет напечатан, — уверенно сказала Ярмила.

Встань и беги отсюда, мерзавец, потому что ты сейчас сделаешься не только лжецом, но и вором. Будешь красть красоту, которой наслаждался до сих пор с некоторым правом.

— А что, если отвергнут и возвращен автору? — сделал я еще одну отчаянную попытку приблизиться к правде. — Это изменило бы ваше мнение о нем и обо мне?

— Какой вздор, — порывисто возразила Ярмила. — Как это может изменить мое мнение? Но я прекрасно

знаю, что его не могли вернуть. Для этого не было никаких оснований, если только этот человек не дурак и действительно прочел его.

— Вы не должны так думать,— поспешил сказал я. Я чувствовал потребность заступиться за старого Фридрина, который до сегодняшнего дня всегда так дружески шел мне навстречу.— Это в высшей степени добросовестный редактор. Но мой рассказ не подошел ему просто потому, что не соответствует тем указаниям, в духе которых он должен вести порученный ему журнал.

— Это тоже вздор. Я знаю, какие там помещают рассказы. Скажете вы мне правду наконец? Или будете продолжать эти маневры, чтобы насытить свое новорожденное авторское тщеславие?

Тут я вспомнил бледного юношу в приемной «Чешских лугов». Разве он не был уверен, как и Ярмила, что мой рассказ удачен? И неужто это единственный журнал, куда я могу обратиться? Я имею полное право охранить нынешний вечер от последствий Фридриновой болезненной подозрительности.

— Его напечатают,— твердо заявил я,— но через некоторое время, когда дойдет очередь. У них масса рассказов. Вы не представляете, сколько люди пишут. А еще подозреваете меня в авторском тщеславии.

— Вот видите, кто был прав. А мне пришлось чуть не просить вас, чтобы вы его предложили. Теперь, надеюсь, будете немножко больше верить в себя?

Она засмеялась и подала мне руку. Я схватил эту руку, встал и заставил Ярмилу тоже подняться. Потом обнял ее и поцеловал. Она не сопротивлялась. Я стал прижимать ее к себе все сильней, надеясь в бурном приливе счастья утопить жгучее чувство стыда по поводу лжи, при помощи которой я это счастье добыл.

Ее руки, сперва свободно лежавшие на моих, поднялись вверх и крепко сомкнулись у меня на шее. Мне показалось, что я чувствую на себе иронический взгляд Вилема Габы, ожидающий, как я проведу свою первую любовную сцену. Ярмила прижалась ко мне всем телом. Плотины, при помощи которых она столько лет сдерживала свое естественное влечение, ослабли, и освобожденный поток его взбунтовал ее кровь. Ужас и блаженство смешались в моей груди. Я не мог оторваться от Ярмилиных губ, задыхаясь в подавленном вопле признания. Но хорошо знал, что теперь уж не до признаний. Я вдыхал запах Ярмилина тела, дыханья, волос, и чувство вины растворя-

лось в пьяном восторге. Если надо будет лишиться рассудка, помирать с голоду, месяцами не смыкать глаз, я пойду на все, чтобы заплатить за это мгновение и не стыдиться его.

Мы не заметили, как звон посуды умолк, но когда скрипнула и хлопнула дверь кухни, это дошло до нашего слуха и заставило нас опомниться.

Мы отскочили друг от друга и сели скорей на свои места. Ярмилины щеки пылали, и я чувствовал, что у меня в этом отношении дело обстоит нисколько не лучше. Если б сейчас вошла тетя, она сразу все поняла бы. Заслышиав мелкий топот ее шажков, пересекший прихожую, мы, несмотря на напряженное состояние, с улыбкой переглянулись. Потом совсем иначе скрипнула и хлопнула другая дверь, и Ярмила сказала:

— Тетя пошла спать. Больше не придет.

Голос ее дрожал, и казалось — замрет в тишине, вдруг наполнившей дом. Я протянул к ней руки. Мы оба одновременно встали и снова обнялись.

10

Ярмила уснула на моем плече. Я натянул одеяло на ее голую руку, но она упрямо, по-детски, не просыпаясь, опять откинула его. Только слегка нахмурилась и завертела головой, чтобы лечь поудобней. Вздохнула глубоко, и лицо ее приобрело умиротворенное, почти улыбчивое выражение. Она спала, свернувшись клубочком, уперев одно колено мне в бок, а другое положив на мои ноги, как ребенок, погрузившийся в глубокий сон после возбуждающего и утомительного дня, полного игр.

С того момента, как она отклонила мою попытку укрыть ее, я уж боялся пошевелиться; мне было неудобно и хорошо, я не согласился бы обменять свое место ни на какое другое в мире.

Блаженство наслаждения во мне притихло, но не замерло. У меня было такое ощущение, будто я сижу в лесной чаще и слышу песню, причем поющий ходит вокруг меня хотя и по далекому, но все одному и тому же кругу.

Я осторожно протянул свободную руку и нажал кнопку лампы, стоявшей на низком столике у постели. Комната погрузилась во тьму, где светилось лишь белое одеяло и на нем — немного более тускло — Ярмилина смуглая

рука. Ярмила слегка зачмокала, как ребенок во сне, невнятно пробормотала два-три слова, рука ее побродила по моей груди, но сейчас же успокоилась, и снова легкое дыханье стало прясть легкую пряжу сна.

Первый паводок тьмы устоялся, и, как будто ее тяжелые черные частицы оседали на дно, она мало-помалу просветлялась светом уличных фонарей. Я опять узнавал мебель, цветы на столе. Но вещи были колдовски лишены своей материальности, они казались мне той же природы, что полусвет, не отдававший их мне сполна, но и не отнимавший их у меня, а скорей получалось, будто на тех местах, где я их угадывал, стояли глыбы более густой тьмы, которые слишком слабый сумеречный свет был не в силах пропитать и разрушить.

Я понимал, что мне нельзя засыпать: вообразите, какую сделала бы мину и что сказала бы тетя Анна, если бы, прия утром будить Ярмилу, нашла бы нас спящих сном праведника, как мужа и жену — в объятьях друг друга. Но, как ни удивительно, мне не нужно было принуждать себя к бодрствованию мыслью об этом. Хоть я и должен был бы устать, чувства мои были напряжены и действовали алчно, жадно и как бы вразброд, так что восприятия доходили до моего сознания порознь, словно ничем между собой не связанные. Обоняние мое было полно благоуханья Ярмилы, нежность ее кожи вновь и вновь волновала меня, я прислушивался к тому, как ее дыханье подчиняет своему ритму и плавности ночную тишину, и глаза мои нежились в мягком сумраке. И тот самый сумрак, что лишал явственности материальные предметы, придавал непривычно четкие контуры моим чувствам и мыслям. Эта ночь, прекраснейшую часть которой я провел без сна в объятьях Ярмилы, наверняка обречет меня в дальнейшем на многие бессонные夜里,— по крайней мере так будет продолжаться до тех пор, пока я не выплачу за нее хотя бы то, ценой чего я без всякого права ее выманил.

Честность, друг мой, говорил я себе в ночной тишине, это краеугольный камень всякого человеческого начинания. Как же ты можешь правильно нацеливать свои произведения, если, оправдываясь ими, будешь прибегать к разным уверткам? Как можешь ты судить, допустим, Вилема Габу и беспристрастно оценивать его поступки, если не способен взглянуть ясным взглядом и без притворства — на самого себя? Искренность должна вызывать в каждом написанном тобой слове: так я сказал, и не могу иначе; в нем должно чувствоватьться: я так написал и готов

отдать жизнь за это. И совершенно неважно, будешь ли ты жить как собака или как князь, ибо таково достоинство правды, что ее бальзамическое благоухание заменит тебе все, что желают люди, чуждые стремлений к ней. Что такое твой Вилем, как не правдоискатель? Не кинулся ли он, чем-то пораженный, за каким-нибудь виденьем в темную ночь, чуя ниюхом след, неуловимый для глаза? Разве есть различие между правдой искусства и человеческой правдой? Его не должно и не может быть, ибо искусство — это великая исповедальня, где мы все возрождаемся верой в смысл нашей жизни, в общий нам всем порядок, жаждой чистоты, воплощенной в совершенную форму, в красоту, которая и есть — порядок и правда. Поэтому, друг мой, не может изменить правде тот, кто стремится создать ее в этом высшем ее виде.

Взглянем на Вилема Габу. С самого начала искусство и жизнь сплелись у него так, что ему стало казаться, будто в искусстве заключен некий трюк, с помощью которого можно перехитрить жизнь и сделать ее более легкой. С тем талантом, которым его наградила природа, он гораздо лучше чувствовал себя на зыбких подмостках провинциальной сцены, демонстрируя отличные имитации самых искренних чувств в самых фальшивых положениях, взятых якобы из жизни плохими драматургами. Но жизнь накинулась на него и осыпала его ударами отнюдь не имитированными, а самыми настоящими. Беда в том, что он и эти удары принимал как театральные. Он начал слишком рано и неподготовленным к этой великой неразберихе, которая сбила его с толку, и не всегда умел отличить настоящее от поддельного. На сцене, в качестве героя, которому угрожает некая опасность, он всегда имел наготове нужные слова, убедительное выражение лица и жест. Действительность же, напротив, слишком часто любила ставить его в тупик, требуя решения, что делать, что сказать, вообще как действовать.

Однако мелодрама, разыгравшаяся вокруг него в последние дни, была во многом похожа на некоторые из пьес, которые он так гладко разыгрывал на сцене. Родство между жизнью и выдумкой казалось таким явным, что представлялось самым легким делом — найти и в действительности нужные выражения, а при отсутствии готовых слов — хотя бы подходящий тон. Сценические герои, которых он накопил внутри себя, готовы были выскочить и защитить своего носителя от слишком беспощадных атак действительности. Он походил на волшебника, который

создал себе из камней помощников, и теперь ему нужно только произнести заклинание, чтобы в любой момент пробудить их к жизни и деятельности.

Я считаю, что он допустил первую серьезную ошибку, отвергнув просьбу Ганчи относительно возвращения к больному отцу. И не потому, что родной дом мог бы соблазнить его, снова поставить за длинный прилавок в сумрачной холодной лавке и в конце концов повести под венец с этой тихой и покорной девушкой. Сцена уже поглотила его и решила никогда не отпускать. Но он хоть рассчитался бы со своим прошлым достойно, по-человечески, дал бы ему замолкнуть в чистой скорби над естественным ходом и неизбежным концом всех человеческих дел. А теперь ему предстояло узнать, что он наделал, отослав эту девушку обратно без единого ласкового слова.

После выполнения всех формальностей, связанных со странной смертью Паласа,— тело его так и не было найдено, но в этом нет ничего необычного, так как река в тех местах хищная и редко возвращается, что захватила,— после того как все члены труппы разлетелись в разные стороны, Вилем стал терпеливо ждать, что решит Эва. Она нашла им обоим место в большой труппе Глоушека, которая, помимо драм, имела в своем репертуаре и оперетту, и небольшие оперы, насколько это позволяя ансамбль.

Вместе со всей труппой они переехали в один из малых промышленных центров, в которых теснится больше народа, чем, судя по размеру города, можно предположить на первый взгляд. Данный город расположен внутри почти правильного круга, на маленькой равнине близ невысоких гор, чьи лесистые гребни по обе стороны тонут в голубой дали. Горы эти были как будто поставлены в одно время с фабриками, для того чтобы каждый раз с субботы на воскресенье утолять тоску этого черного муравейника по более чистому воздуху и другим оттенкам, кроме цвета угля, копоти, чугуна, шлака, даже домов и почти всего, на что там ни взглянешь. В таких городах бывает очень сильна тяга к культуре,— особенно к ее редким и остро-пряным настоем. Тяга эта довела местных жителей до того, что они выстроили театр, но ее не хватило — главным образом из-за ограниченного количества душ и еще более ограниченного количества денег у них в карманах — на содержание постоянного состава. Однако театральные труппы держались здесь недели по две, делая хорошие сборы, а такие, как труппа Глоушека, могли рассчитывать даже на месяц, не опасаясь убытков.

Твердый расчет на полный месяц хороших сборов заставил антрепренера принять в состав труппы эту странную пару — не супружескую и в то же время неразлучную. Он принял ее, несмотря на то, что амплуа, на которые они претендовали, были уже заняты. Но у дальновидных директоров театров таков уж обычай: в хороших местах обязательно застраховаться. Они берут дублеров с таким же легким сердцем, с каким немного погодя выбросят их на улицу. Таково, без гарантий на продление ангажемента, было положение Эвы и Вилема, но они не имели другого выбора. Это надо учесть, чтобы понять то, что случилось дальше.

Как называется город? Горжин, Подгоржин, Рудна? Допустим, Горжин, но, может быть, я еще придумаю другое название, более подходящее. Я представляю себе, что в более счастливые времена он был расположен, можно сказать, в виде правильного круга, — с великолепным костелом в центре. Там мы нашли бы также площадь со всеми самыми красивыми и старинными зданиями, с ратушей, с бывшей епархией, так как этот город прежде действительно был епархиальным центром с городским домом горжинских помещиков и домами самых богатых горожан, до сих пор сохранившими их имена, либо названия тех эмблем, которыми они украшали фронтоны над входом — в подражание дворянским гербам. Однако, после того как к западу оттуда, на прежних пшеничных и ржаных полях, выросли пирамиды горнорудных вышек, жерла высоких труб и длинные низкие корпуса проволочных, литейных, листопрокатных и рельсопрокатных цехов, город начал выбрасывать в ту сторону разной длины и неправильной формы отроги.

Я вижу его перед собой в ту пору, когда он еще приветливо поблескивал издали путникам, переваливающим по змеистой дороге через гребни гор, и теперь, когда он, покривев и утратив свое былое спокойствие, пыхтит и гремит в лихорадке деятельности под флагами дымов, разливая ночью по небу алое зарево своих домен.

Самое подходящее место для того, что в нем должно разыграться, — право, лучшего эти двое не могли бы выбрать. Я никак не могу согласиться с тем, будто сам нарочно послал их туда, чтобы для них получилась подходящая декорация. Начало любви — в цветущем, уединенном городке на скалистой крутизне, а дальнейшее — в закопченном преддверии металлургического ада. Это пахнет романтизмом в значительной степени орнаментальным, но

ничего не могу поделать; будь что будет, а эти двое пойдут теперь одной дорогой, которую они нашли, и я отвечаю за это не больше, чем река — за свое русло.

У этого антрепренера Глоушека была неприятная привычка все время потирать руки, словно чему-то радуясь, причем кожа ладоней производила сухой шелестящий звук, от которого вас начинало знобить, главным образом, наверно, потому, что это находилось в резком несоответствии с его тучной внешностью. В звуке этом было что-то предостерегающее, как будто вы, идя по веселой лесной тропинке, вдруг услышали подозрительное шуршание у своих ног. Но те, кто впервые с Глоушеком сталкивался, в большинстве случаев не обращали на это внимания, привлеченные его большими круглыми глазами и мягкой, улыбающейся, толстощекой физиономией, больше похожей на поповскую, чем на актерскую.

— Так это вы — пани Паласова? — промолвил Глоушек медовым голосом. — Но вы совсем еще девочка. Ну да, Палас любил молодежь. Сколько раз я говорил ему, что это пристрастие не доведет до добра. Что ж, я ошибся, — кто не ошибается? А несчастный случай — ведь это был несчастный случай? — решил иначе. Теперь вы у нас будете, как в теплице: никто ни о чем не будет вас спрашивать. Впрочем, вам, может быть, лучше взять другой псевдоним?

Эва пришла в исступление, а Вилем готов был двинуть кулаком в эту улыбающуюся морду.

— Зачем же? — промолвила, заикаясь, Эва.

— Да, собственно, важных оснований нет, — ответил Глоушек, еще прибавив меду. — Я только подумал насчет ваших коллег. Чтобы не пошли толки... А впрочем — как знаете...

В конце концов он принял их на мизерное жалованье, а Эва и в самом деле решила выступить под своей девичьей фамилией — Ленцова. Низкий заработка привел к тому, что они, махнув на все рукой, завели общее хозяйство. Разве это не то, о чём они мечтали? Отныне они будут всегда вместе — и в театре, и дома, будут сообща учить роли и добывать средства к существованию.

Пока что ученье ролей отнимало у них меньше энергии, чем добыча средств к существованию. Садовники и служанки, подруги героинь и верные друзья героев не требуют особой тщательности, а вот пытаться вдвоем на ту сумму, которой едва хватает для одного, — задача, представлявшая для них иной раз настоящую головоломку. Но они

не хотели сдаваться и тратить время на бесплодные сетования, которые — они это подсознательно чувствовали — привели бы их к ссоре. Они верили, что счастье им улыбнется, — ведь в театре огромное значение имеет случай; и они усердно учили все главные роли репертуара, как будто готовились завтра же их исполнять.

Им приходилось беспрестанно чем-нибудь отвлекаться, чтобы заглушить воспоминания о старом Паласе, все время присутствовавшем на заднем плане в их мыслях. Эва ненавидела этого мертвого и упорно боролась с ним за своего возлюбленного. Она знала, что Вилем хоть и не говорит об этом, а без конца раздумывает об их общей вине. Часто она заставала его сидящим над ролью со взглядом, устремленным в пространство. При этом она никогда не позволяла себе спрашивать, о чем он думает, боясь, чтобы он в приступе неожиданной слабости и внезапной откровенности не дал ей ответа, которого она не желала слышать.

В такие минуты она отвлекала его от размышлений, заставляя рассказывать, как идет работа над ролью. Так между ними стали все чаще говорить актеры, а людям приходилось молчать.

Ярмила вздохнула из глубины сна и на мгновение вынырнула на его поверхность.

— Нет, не уходи, побудь еще, — промолвила она, но, прежде чем я успел ответить, соскользнула с моего плеча, ушла еще глубже головой в подушку и опять заснула.

Ночи влюбленных похожи друг на друга, и в то время как женщин обняться убаюкивают, на мужчин они часто действуют как возбуждающее, заставляя их мысль усиленно работать. Представляю себе, что и Вилем, вот как я сейчас, бодрствовал возле спящей Эвы, рассматривая с лица и с изнанки все, что с ним произошло за сравнительно короткое время, протекшее с тех пор, как он, считая это забавной проделкой, впервые выступил на сцене, заменив одного из исполнителей в Паласовой труппе. Я слышал стук дождя по оконному стеклу, сквозь которое он глядел во тьму, и в шуме ливня ему слышался рокот Рычной в ту последнюю ночь, когда Палас не вышел на тропинку под скалой. А вздохиет ветер, — казалось, это вздохи старого Паласа, борющегося за воздух для своих измученных легких, в чьей раздутой ткани этот воздух шипел и свистел, будто выходя из лопнувших мехов. А шаги, заставлявшие звучать мостовую на улице, напрягали его нервы до предела, — словно это кто-то бродит,

приближаясь, удаляясь и возвращаясь опять,— кто-то, с кем у него нерешенный спор,—либо чей-то посланный все никак не решится сообщить жестокую весть.

Нередко это понуждало Вилема тихо встать, одеться и уйти в сырую ночь, но, так как он этого никогда не делал, видения бессонных ночей преследовали его и днем. Палас, остановившись над ним, наблюдал с иронической улыбкой, как он старается найти забвение в работе. И в Вилеме усиливалась жажда игры. Все его смятение, вся его любовь, потрясаемая сознанием вины, потребность найти какой-то человеческий выход из путаницы и распри чувств сливались в подсознательное стремление избавиться от своего страдания словами уже написанными, фигурами уже нарисованными и ожидающими лишь того, чтоб он наполнил их своей плотью и вдохнул в них жизнь звуком своего голоса.

Он стал таить от Эвы свой труд, желая, чтобы то, что он делает, было его собственным творчеством, в котором у него будет лишь один соучастник — Палас, верней, воспоминания о его советах. Дождавшись, когда Эва пойдет делать покупки, что всегда занимало у нее много времени, он работал отчаянно, словно спасая свою жизнь. И он действительно спасал ее. Смятенье его успокаивалось, чувство вины ослабевало, отношение к Эве становилось безразличным. То, что он отдавал ей теперь, было совершенным подобием любви, но самое чувство отмерло, поглощенное образами, которые питались им, вырастали на нем и набирались сил, с каждым днем становясь реальней и правдивей своего носителя.

Чуяла ли Эва что-нибудь? Трудно сказать. Как могла она заподозрить ослабление Вилемова чувства, когда все проявления этого чувства до последней мелочи представлялись ей еще неподдельней и пламенней, чем прежде?

Это было первым величайшим и коварнейшим торжеством Вилемова актерского мастерства над человеком. Призрачные любовники, в которых он вдыхал жизнь, сливались в нем, превосходя один другого яркостью изображения любовной игры. Они вели себя так искусно, что сбивали с толку любовницу, хотя какой-то внутренний инстинкт нашептывал ей, что тут дело нечисто, и даже обманывали актрису, которая знала, что такое игра.

Круг замыкался. Когда-то человек, одолев рождавшегося в Вилеме актера, кинул его в Эвины объ-

ятия, а теперь человеку приходилось за это расплачиваться.

Я боролся с искушением рассказать Ярмиле, докуда я довел раскрытие Вилемовой судьбы: она спала слишком крепко и спокойно,— так что я не решился ее будить. К тому же, я не дошел еще до конца. Карты сданы, но игроки пока не раскрывают их. А что если окажется, что я ошибся? Поспешим, скоро начнут исчезать звезды, и рассвет велит мне скорей прочь отсюда, пока не проснулись тетя Анна и жизнь в доме.

На каком же сумеречном рубеже мы с тобой очутились, Вилем, коли почти не в состоянии отличить черное от белого?

Значит, правдой было то, что ты играл, а ложью то, что происходило в твоей жизни? Неужели удел всякого искусства в том, чтобы обман брал в нем верх над правдой? Но сейчас у нас нет времени остановиться и потолковать друг с другом об этом вопросе, который для нас обоих — вопрос жизни и смерти. Нам надо дальше, вперед.

Если в человеке созрело и таится какое-то решение, как тогда в Вилеме, жизнь найдет уж способ вывести это на свет божий. В один прекрасный день возникнет какое-нибудь разногласие между директором и первым любовником труппы. Дело, конечно, в деньгах; мы уже видели, как этот самый Глоушек умеет их зажимать. Он заупрямится, а первый любовник в отместку скажется больным. Но Глоушека это не смутит: он вызывает к себе Габу. Зашуршит сухими ладонями, засияет улыбкой. Вы, наверно, не хотите вечно играть Жанов да садовников? Вот вам подходящий случай.

Да, но случай, позабывши о Вилеме, позабыл про Эву. Когда-то за кулисами стоял старый Палас, с возрастающим ужасом и горечью следя за тем, как страсть срывает маску с воображаемых любовников и превращает игру в действительность. А теперь на его месте стоит Эва — в чепчике и переднике служанки, за весь спектакль выбежала раза два на сцену — и глазам своим не верит. Будто в кошмаре! Узнает взгляды, движения, оттенки и каденции голоса. Это Вилем последних дней их совместной жизни, Вилем, который ее тревожил и начинал даже пугать. Он скрылся сюда от нее,— все, чем он ее очаровывал и в то же время заставлял дрожать от страха, была игра, действие которой он проверял на ней. Она стоит подавленная, обездоленная, ей хочется броситься на сцену, вцепиться ему ногтями в глаза, крикнуть: «Негодяй!

Подлый мерзавец!» Он ушел от нее так далеко вперед, что, видно, уж не догнать. Эва неистовствует и то же время напрасно старается не поддаться силе его игры.

И в зрительном зале тоже поняли, что на этот раз перед ними нечто большее, чем то, к чему они привыкли. Вы только обратите внимание, как этот юноша произносит текст. Каждое слово он подает как-то особенно, словно спелый плод,— кажется, можно взять в руку и насладиться этим плодом при помощи осязания и обоняния, перед тем как съесть. А во взглядах и в каждом жесте его выражена как будто вся мука и радость любви, терзающий спор сомнений и надежд, давящая горечь отречения. Как только опустится занавес, буря рукоплесканий подымает его вновь и вновь — и после первого, и после второго, и после третьего действия.

Эва старается все это как-то перенести скрепя сердце. Улыбается, делает вид, что рада Вилемову успеху. Прикидывается, будто не понимает, что перед ней происходит, будто представления не имеет о том, что Вилем нашел выход и бежал от нее в мир превращений, где избавится от призрака вины и в конце концов раздробит свою любовь к ней в десятки любвей, каждый день по-новому замаскированных и пережитых.

Ночью после спектакля, когда ей кажется, что Вилем достаточно крепко уснул, она тихонько вылезает из постели, садится в старое кресло с ослабевшими пружинами и, подтянув колени к подбородку, ищет облегчения в слезах. Вилем просыпается, почувствовав, что боку его стало как-то легко и прохладно. Слышит Эвины всхлипывания, но не находит в себе решимости встать и подойти к ней, утешить. Лежит неподвижно, с закрытыми глазами и старается даже дышать так, будто спит. В нем просыпается жалость, но какая-то отвлеченная, будто кто читает ему пьесу с печальным концом, где идет речь о безнадежной любви. Хорошая была бы роль,— быть может, говорит он себе,— если б кто-нибудь в самом деле такую пьесу написал, но нелегко было бы ее сыграть. Страшно то, что он еще любит Эву, но чувство его движется как будто где-то вне его, не в том мире, где они с ней оба живут, а в дали, достижимой лишь для воспоминания.

Он был бы изумлен, если б узнал, из какого источника Эвины слезы. С того момента, как он выступил на сцене без нее и одержал победу, она видела в нем уже не любовника, а счастливого соперника, который обошел ее на том самом пути, по которому она учила его ходить. Не для

того убежала она из дома и отдалась театру, чтобы с первого шага похоронить свое честолюбие и надежды в объятиях любовника. Она не хочет пассивно смотреть, покорно восхищаться и радоваться его успехам: она хочет пожинать свои собственные. Палас привел бы ее к ним, самодовольно боролся бы за них, вел бы ее все выше и выше. Она знала, что это так: иначе зачем бы заставила его на ней жениться? А потом, словно какая-нибудь мещаночка, поддалась обольщению молодости, принялась играть в любовь и в бунт против старика и забыла про самое главное. Она плакала в ночной тьме, вонзая ногти в голые колени, чтобы заглушить раздирающую боль, которая заставляла ее громко кричать, колотить что-нибудь кулаками, рвать на части. Ей нужна роль,— не одна, а десятки ролей, в которых можно было бы показать, на что она способна. Ей нужна роль, и она готова на все, чтобы получить ее.

Конечно. Здесь распутье, и эти двое не могут идти дальше вместе по одной дороге. Зачем нам следить, как напряженность между ними нарастает, пока не прорвется первой дикой ссорой, во время которой Вилем не поймет как следует, в чем дело? Зачем нам любоваться, как ссоры становятся все чаще, как из-за этих ссор любовь их рассыпается прахом, как оба они с возрастающим ожесточением топчут ее, так что сами уж перестают верить, что когда-нибудь любили друг друга, и понимать, что друг в друге находили. У них уже не хватало спасительных объятий для примирения, в которых они могли бы хоть на минуту вспыхнуть очищающим, светлым огнем. Уже повелось, что они не возвращались вместе домой после спектакля, а Эва приходила позже Вилема, усталая, высокомерная, злая. В театре о чем-то перешептываются, да так громко, что это доходит до Вилема, и напоследок любовь вздымается в нем волной ревности, чтобы тотчас почти захлебнуться в отвращении. Эва и Глоушек? Нет, этого не может быть. Но он не слыхал голоса, непрестанно вызывавшего в Эве — час от часу громче и жаднее: «Мне нужна роль, и я сделаю все, чтобы получить ее».

И вот — роль, которой он еще не играл, для которой у него нет ни гримас, ни жестов, вот — еще действительность, от которой нельзя скрыться ни за одной известной ему выдуманной фигурой. Он ходит по комнате, в которую Эва все не возвращается, хотя ночь начала уже спускаться по своей звездной лестнице; шагает взад и вперед, опять вдруг обнаженно человеческий, жалкий, взлохмаченный,

и кулаки всех полузыбых угрызений бьют по нем с новой силой. Так вот это — все, ради чего старый Палас сошел с дороги в разлившуюся Рычную, все, из-за чего Вилем не захотел откликнуться на зов больного отца? Слабое утешение в том, что стариk Габа, может быть, не так уж плох, если они в Горжине уже почти два месяца, а до сих пор нет никаких других известий. Тут Вилем замечает, что за последние дни он даже перестал их ждать, поглощенный своими новыми ролями, успехами и жестокими ссорами с Эвой. И вдруг, как бы постигнув тщету всех своих надежд, он испытывает страстное желание вернуться домой,— но не за длинный прилавок в полутемном магазине, а только к отцовской руке, чтобы сжать ее и объяснить ему, что он, Вилем, всегда был и остается его сыном, хоть их пути и разошлись. Кажется, это произошло как раз в тот момент, когда он подошел к окну и, глядя на звезды, почувствовал, как из страстного желания вырастает определенное решение. На тротуаре послышались торопливые мужские шаги, зазвенел колокольчик у входной двери.

Этот колокольчик и эти шаги слышались ему, даже когда он сидел в поезде, увозившем его домой. Телеграмма с известием о смерти отца и похоронах задержалась, и Вилем, пройдя кратчайшим путем от вокзала, вышел на холм возле кладбища, когда участники печальной церемонии уже расходились. Ему подумалось, что домашние, может быть, даже хотели, чтоб он опоздал, коли пренебрег тогда просьбой отца. Кто знает, может быть, отец перед смертью сам распорядился, чтоб они не сообщали ему о совершившемся.

Он сел на корень одинокой сосны, выбежавшей из лесу на край холма, и стал смотреть, как черная змея провожавших ползет по дороге к городу. Две женщины, на которых не было ни следа белого, подобные склоненным черным стволам без ветвей, остались стоять у могилы, поддерживая друг друга. Это мать с Ганчей. Несколько мужчин в черном дожидались их поодаль, на тропинке. Какие-то родственники — не важно, кто именно. Глядя на них, Вилем чувствовал, что его опоздание на самом деле к лучшему. Потом они тоже двинулись по направлению к городу — бесконечно медленно, словно какие-то несокрушимые оковы тянули их обратно, к покинутому месту. А в это время могильщик со своим помощником, спешно принявшиесь за дело, укладывали на могилу тяжелую каменную плиту.

Кладбище опустело. Только белое облако стояло над ним,— единственное воспоминание о недавнем дожде,— на небе, головокружительно и незапятнанно синем. Облачко, подобное одинокой зреющей мысли. Омытые краски делили окрестность на площадки, из которых каждая казалась особым миром, строго ограниченным и живущим своей жизнью, без всякого внимания к другим. Удивительный, разбитый на полосы мир, удерживаемый в целостности лишь этим синим куполом, что думает свою одиночную думу,— высокий синий купол, всему чужой и далекий.

Вилем встал, пошел вниз по тропинке вдоль кладбищенской ограды. Остановился у могилы, плита которой вся утопала в букетах, венках, и долго беседовал со своими воспоминаниями. Это последний след Вилика, сумевшего еще раз вспомнить о себе, о своих поступках и путях, которые к ним привели. Он прокрался в сумерках на вокзал и уехал из родного города, где в этот приезд никто из знакомых так его и не видел. Мы даже не знаем, куда он отправился. Да он и сам этого не знал. Но в Горжин он уже не вернулся.

11

Еще один поцелуй, такой трепетный в утреннем холоде, и дверь за мной захлопнулась. Было около пяти утра; звезды уже исчезли, но улицы еще спали и в это мгновенье перед восходом солнца имели зябкий вид. Я заразился от них, и у меня самого побежали мурашки по спине. Все вокруг казалось пепельно-серым и обнищальным, так резко непохожим на красоту той страны сна вдвоем, откуда я только что вышел. Я заторопился, чтоб поскорей быть дома.

Там было еще заперто. Я позвонил, и дворничиха, недовольная, что ее так рано разбудили, пепельно-серая, как свет этого утра, открыла мне. Она выпучила глаза.

— Господи, а мы думали, что вы куда-нибудь уехали!

Тут я сообразил, что ушел из дома вчера спозаранку и только нынче утром возвращаюсь. Что ж, это, может быть, необычно, но не настолько, чтоб вызывать такое изумление. Не зная, как объяснить свое отсутствие, я только смущенно улыбнулся и, сунув в руку дворничихи более крупное вознаграждение, чем обычно полагается

за отпирание двери, хотел войти. Деньги явно смягчили ее,—однако она уступила мне дорогу как-то неохотно, словно все еще не понимая моих действий.

— Коли вы за своими вещами,—снова обратилась она ко мне, когда я уже стоял в передней,—так неужто нельзя было прийти попозже? Мой муж еще спит.

Я не понял, что она хочет сказать.

— Какие вещи? Я задержался и иду спать.

Тут и грянуло.

— Да ведь вы со вчерашнего у нас не живете,—воскликнула дворничиха, глядя на меня как на сумасшедшего.—Вчера было первое число, и пани Пашекова сказала мне: коли он не придет за своими вещами, говорит, так возьмите, мол, их пока к себе.

Снова выйдя из дома, я заметил, что труба Гарадовой фабрики уже дымится и небосклон за ней озолотился лучами восходящего солнца. Солнце всходило, но я в этом собирающемся согреть весь мир свете не знал, куда мне деваться. Это было, может быть, не столько грустно, сколько смешно; я в последние дни начисто забыл, что на носу первое число, был влюблен и грезил,—ну а теперь вот проснулся. В кармане — еле наберется восемьсот крон, из которых я великодушно хотел заплатить свой долг пани Росновой, и нет у меня ни угла, ни в ближайшее время надежды на регулярный заработок. И при этом я любил девушку, которая по многим причинам не должна была знать, какой я на самом деле нищий. Вилем Габа не вернулся в Горжин. Но я-то не могу не вернуться. Уже по одному тому, что мне некуда идти.

Солнце всходило. День обещал быть прекрасным.

Все это было, может быть, не столько грустно, сколько смешно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Солнце взметнулось над крышами. Задержалось над трубой Гарадовой фабрики, будто вышло прямо из ее черно-красного жерла,—оранжевое ядро, раскаленное выстрелом, но неспешно текущее своим предуказанным путем. Серый дымок вырвался за ним из этого вертикально поднятого дула, дополняя образ с навязчивой наглядно-

стью. Начало воинственное, но будем лучше считать его салютом или сигналом, потому что, как только солнце поднимется немного выше, труба превратится в флагшток, и дым над ним будет реять по ветру во славу трудового дня.

Я расхаживал вверх и вниз по улице «На валу», пока чудо пробуждающегося дня не завершилось этим зрелищем. Розовая заря разлилась по черным крышам, на серых стенах домов выступил приятный румянец, будто на лице грязной потаскухи нежданно расцвел девичий стыд, мостовую скрыл легкий ковер света. Я остановился лицом к востоку, словно мусульманин. Мне подступило к горлу такое же чувство умиления, как при виде бретелек рубашки, скользящих с уже обнаженных Ярмилиных плеч. Просто не верилось, что в таком повседневном явлении, повторяющемся ежедневно с самого сотворения мира, могла таиться такая сила. И я чувствовал, как она втекает в меня, смешивается с моей кровью, поглощает усталость бессонной ночи и утреннее отчаянье человека, пробудившегося от любовного сна к сознанию, что у него нет дома. День начался, сказал я себе, а каждый день — это подарок, обещание и обязательство. За работу, приятель! Найдется где-нибудь в этой чащобе, куда ты забрался, тропинка, по которой можно будет пройти немножко вперед.

Ключи скрипели во входных дверях, женщины вочных туфлях на босу ногу и с волосами, зачесанными наспех и повязанными платком выбегали на улицу, спеша за молоком и булками к завтраку. Сияние утра озаряло их глаза и лица, поцелуй солнца будил в них радость, для которой у них было мало оснований, и веру в будущее, каждый день разрушающую. Но, вдыхая свежий воздух, они снова верили обману жизни, и голоса их звучали громко и весело. Пекарский ученик в майке, с голыми руками и шеей, мчась на велосипеде вниз по улице «На валу» с полной корзиной за спиной, отчаянно затормозил перед ближайшей молочной. Вместе с воздушным вихрем мне ударил в нос запах теплых булок, и желудок мой тотчас сжался — так же проворно, как кулак в ярости. Я вошел вместе с этим учеником в молочную, выпил там пол-литра молока и съел четыре булки, еще влажные и остро пахнущие тмином. Послушал, как тараторят быстро сменяющиеся в лавочке женщины, глядя при этом с несколько презрительным состраданием, испытываемым влюбленными и счастливыми мужчинами к другим женщинам, на полные руки продавщицы и мечтая о шелковистой коже Ярмилы.

Когда я вышел из лавки, улица имела уже другой вид. Теперь ею завладели мужчины в кепках и с потрепанными портфелями под мышкой. Черный поток их тек по обоим тротуарам. Гарадова фабрика впитывала силу, без которой сник бы флаг дыма над ее трубой, перестали бы свистеть приводные ремни и остановился бы весь ее сложный механизм.

Я закурил сигарету и стал смотреть, как эта черная река течет навстречу белому потоку солнечного света. И вновь подивился немудреной, но лукавой алхимии жизни. Немножко молока, муки, солнца — и вот уж я как будто новый человек. Я чувствовал тепло в жилах и отвагу в сердце, не останавливающуюся ни перед чем на свете. Только вот этот черный, спокойно валивший поток будил во мне тоску. Он оставлял меня в стороне, как непокорную каплю, извергнутую на иссохший берег. Друзья, — говорил я себе, глядя, как они идут на свою ежедневную работу, — не заблуждайтесь на мой счет. Я никогда не шел против вас. Вы не представляете себе, как трудно человеку, когда он не может работать в артели, а делает свое дело в одиночку. Да. В одиночку, но не для себя одного. Надеюсь, друзья мои, вы поймете эту тонкую разницу: ведь она указывает место всем нам — и вам и мне.

Потом я увидал пана Каша, мужа дворничихи в том доме, где до вчерашнего дня я жил. Плотный, сильный здоровяк с могучими плечами и красной шеей работал на Гарадовой фабрике кузнецом. Вступив в общий поток, он стал удаляться точно размеренным шагом человека, проходящего этот путь каждый день уже десятки лет. Теперь — самый удобный момент поговорить с его женой насчет моих вещей, сброшенных к ней пани Пашековой на то время, пока я найду какое-нибудь пристанище.

Один, один во всем мире.

Сидя на оставшемся от отца старом деревянном сундуке в этой пустой лавке, где, кроме плиты в темном заднем углу, деревянных ширм да крюка для опускания железной шторы, не было никакого оборудования, я почти совсем забыл, что уже не имею права на это чувство.

Оно было вызвано безнадежным сиротством помещения. Дворничиха сложила сюда мои вещи, чтоб они ей не мешали в квартире.

Усевшись верхом на сундуке, я курил сигарету и старался привыкнуть к мысли, что на самом деле буду здесь жить. Когда дворничиха привела меня сюда, я вдруг испытал такое желание, порожденное, видимо, страхом перед новыми госпожами Пашковыми и жаждой иметь угол, где можно было бы работать, не будучи никому в тягость. И я спросил, нельзя ли мне снять эту лавочку и поселиться в ней. Я, кажется, уже говорил о том, как трудно найти свободную комнату в этом районе, а перспектива расстаться с ним устраивала меня теперь еще меньше, чем прежде. Кроме того, мне пришло в голову, что если на этой улице, где такой спрос на комнату, так долго нет охотников снять эту,— не будет ли цена на нее слишком высока?

Пока я объяснял дворничихе свое намерение, она смотрела на меня сперва как на сумасшедшего, а потом все с большим состраданием. В лавочке двадцать с лишним лет имел мастерскую вдовий сапожник, чей молоток перестал стучать вместе с его сердцем. С тех пор было несколько ищущих подходящего помещения, но все воротили нос, оттого что лавочка была так мала, что подошла бы разве какой-нибудь старой деве для торговли нитками, а на этой улице галантерейная торговля уже имелась.

Дворничиха, не имея права сама сдать лавочонку, направила меня к домовладельцу, имевшему мастерские за забором на соседнем, еще не застроенном участке.

Слесарь Франта Вапенка — все звали его Франтой, несмотря на то что ему шел уже седьмой десяток, — еще при жизни своей стал личностью легендарной и имел превосходные шансы войти в состав мифологических героев улицы «На валу». Он выполнял заказы для крупных строек и благодаря своей мастерской разбогател. Кроме участка, где он обосновался и жил в двухкомнатном деревянном домике, ему принадлежал тот дом, где я хотел снять лавочонку, когда-то занимаемую сапожником, и еще соседний, угловой, где помещалась Розова ресторация.

Несмотря на такой успех и все эти приобретения, Франта Вапенка оставался во всех своих поступках до мозга костей рабочим человеком. Будь тут какая-нибудь фальшивка, так на этой улице, заселенной сплошь рабочим людом, у которого на такие вещи особенно тонкий нюх, ее тотчас раскусили бы. А его считали своим, втайне гордясь тем, что вот один из них так разжился, а носа не задирает. Он ходил в кепке, более потрепанной, чем у многих из них, так как представлял собой странную смесь скрупуза, скряж-

ничающего на самом себе, с порядочным человеком, не допускающим и мысли не отдать другим того, что им полагается,—и каждый вечер заседал среди них с трубочкой под висящими седыми усами, за стаканом в Розовой пивной. Он мало рассказывал о себе, а обсуждал с ними их дела, оценивал шансы «Славии» и «Сpartы» на победу... В этих вопросах голос его имел всеми признанный вес — не благодаря его общественному положению, а потому, что оба его сына, которых он обучил своему ремеслу и сделал совладельцами мастерской, играли в первой команде «Сpartы», а иногда выдвигались даже в сборную страны. Само собой разумеется, юноши эти смотрели на жизнь не так, как он, хотя не презирали ни отца, ни среду, из которой вышли и в которой жили, а он не мешал им. Так мало-помалу слесарня его превратилась в ремонтную мастерскую автомашин, и доходы его возросли. Все трое жили дружно,— юные сыновья, влюбленные в футбол и автомобили, и вдовий папаша,— вместе хозяйничая в домике между мастерскими и споря только об одном: об участке, которого старик не хотел выпускать из своих рук, тогда как сыновья желали поставить на нем современный дом с гаражами и мастерскими в подвале.

Я застал старого Вапенку в тот момент, когда он подвязывал вьющиеся по стене домика бобы, любуясь их цветами и попыхивая трубочкой, в то время как его атлеты-сыновья копались в моторе какого-то грузовика, а из мастерских доносились визгливые звуки напильников и свист приводных ремней. Мы с ним уже встречались в Розовой пивной, где он бывал и в полдень, так что он приветствовал меня как старого знакомого.

Он сдвинул засаленную кепку со лба и резким движением сейчас же вернул ее в прежнее положение. Долго думал насчет моей просьбы; попробовал было затянуться трубкой, которая успела погаснуть и только воркующе булькала, выколотил из нее пепел, набил ее, зажег и тщательно раскурил, прежде чем пришел к какому-то итогу. Мне даже показалось, что он обо мне забыл, так как он все время смотрел на двух рабочих перед мастерской, сваривавших кислородным пламенем два железных прута. Я решил было повернуться и уйти не прощаюсь, как вдруг он поглядел на меня из-под сломанного козырька кепки и промолвил:

— Лучшего ничего не нашли?

Я объяснил ему, в каком затруднительном положении оказался из-за своей рассеянности, как уже пробовал

найти на этой улице другое помещение, но безрезультатно, и как мне не хочется уезжать из этого района. Видимо, я, сам того не зная, польстил его местному патриотизму. Потому что он вынул трубку изо рта и, постукивая чубуком по лацкану моего пиджака, произнес с каким-то особенным выражением, велеречиво и внушительно:

— Это как есть. Отсюда мало съезжают. Я и не упомню, когда съезжающих-то видел. Хоть меня взять. Я как тут обзавелся, так тридцать с лишком годков и пропортубил; и можете биться об заклад: увезут меня отсюда на погост, никуда больше. Ребята мои тут народились; и с ними, видать, как со мной будет. И так вот с каждым, кого я знаю, а тут мало таких, кого бы я не знал. Ваша правда. Не отпускает улица эта, ежели кто ей попался.

И он опять задумался, словно обнаружив нечто такое, что было все время у него на глазах, а он не замечал.

— А только сапожная-то мастерская,— снова заговорил он, как бы подойдя к концу своих раздумий и объявляя мне их причину: — Нешто она вам годится? Правда, там старый Картак жил, да ведь мне у Розовых про вас говорили, что вы были профессор, а нынче вроде бы сочинителем стали.

— Ремесло как ремесло,— ответил я, желая ему угодить и склонить его к согласию.— Я, может быть, очень хотел бы так хорошо писать книги, как Картак тачал сапоги.

Вапенка вынул трубку изо рта, сплюнул обильный плевок курильщика и презрительно засипел:

— Не больно выиграли бы. Поганый чеботарь был, от ботинок его — одни мозоли...

Спустя полчаса такой содержательной беседы, перемежаемой длинными паузами, папаша Вапенка сдал мне сапожную мастерскую за триста крон на три месяца, то есть втрое дешевле того, что я платил пани Пашековой. Когда я с ним прощался, он еще прибавил, что выбелит мне этот чулан за свой счет.

Кисть маляра не касалась этих стен по меньшей мере лет десять. После того как она вернет им белизну и чистоту, они перестанут валиться на своего узника, а будут отдавать свет, который до тех пор поглощали, и среди них сделается веселей. И кадка с мокнущими кожами, которой тут пахнет, словно она до сих пор стоит где-то в углу, перестанет пугать меня.

Между тем мое сердце сжималось от тоски, и слова «один, один во всем мире» вертелись в голове моей, как

припев песни, из которой, кроме них, я не знал ни одного слова. Что за безумие? — спрашивал я себя.— Зачем ты хочешь так играть, глупец? Ведь ты уже не один — и никогда не будешь один. Неужели непонятно? Тут не в тебе дело. Ни в данный момент, ни в дальнейшем. Кто-то живет внутри тебя, кто будет навязывать тебе свои чувства до тех пор, пока ты не выдворишь его из себя, поставив последнюю точку вслед за последним словом, которое должен сказать о нем.

Тревога росла; я сидел на ее болотистом дне, и грязные воды ее плескали надо мной. Тревога была не моя, а Вилемова. Вы ведь помните, какой это был веселый паренек — в ту пору, когда он шутил с покупателями в лавке отца, когда участвовал в любительских спектаклях, — оттого что ему нравилось передразнивать людей и оттого что это привлекало к нему девушек, — когда бренчал на рояле легкомысленные или сентиментальные песенки и под старыми ясениями, в длинной аллее, ведущей к замку, срывал поцелуи — чуть не каждый вечер у другой? Вы видели, что сделала с ним любовь и что она дала ему? Когда он покидал могилу отца, ему казалось, будто он постарел на десять лет и ему уже нечего ждать от жизни. Чувствовал, что не может вернуться домой, и не хотел больше встречаться с Эвой, но не знал, куда ехать и вообще как быть.

Самое актерство ему опротивело. Он вспоминал свои горжинские успехи, но при этом говорил себе, что из-за них еще больше запутался в лабиринте, из которого не было выхода. Чем была его тогдашняя рабочая лихорадка и игра, как не уходом от действительности? Он очищал свое чувство, загрязненное сознанием вины, тем, что переливал его в персонажи, которые надо было изображать. Переливал, но и убавлял; очищал, но и ослаблял. В конце концов оказался полон самых разнообразных его подобий, но в то же время, к удивлению своему, обнаружил, что совсем от него избавился и если еще переживает его, то как бы через чье-то посредничество. Может быть, тогда уже предчувствовал будущую свою судьбу, но пока еще не умел осознать. И потом — она больше прельщала его, чем отпугивала. Смерть отца на некоторое время оставила в нем странную склонность к потере личности, к ее распаду или раздроблению в десятки воображаемых существ, к пресловутому — не быть, а представлять, не жить, а изображать жизнь в каких-то выпяченных чертах, в каких она обычно не выступает.

Покидая отцовскую могилу, он был похож на человека, вокруг которого все вымерло. Когда-то, в то время когда Палас уговорил его вступить в труппу, ему казалось, что он пустился в путь к ясной цели. А теперь этой цели не было,— не осталось даже призрака, чтоб можно было хоть обольщаться, что ты зачем-то идешь. Он был одинок,— так одинок, как только может быть человек. Не знал, какое место предпочесть перед всеми другими, не мог вспомнить ни о ком, кто мог бы ему посоветовать, помочь или хоть ободрить его дружеским словом. Им овладело равнодушие, даже отвращение к жизни, сыгравшей с ним такую предательскую и бессмысленно жестокую шутку.

На железнодорожном узле, где кончалась местная линия, он пересел в поезд на Прагу. У него было мало денег, и путевые расходы еще больше сократили эту сумму. И бог весть, что ему там в голову придет... Там или где-нибудь еще,— это пока не важно, потом видно будет. Он уже вторую ночь не смыкал глаз и задремал, только троился поезд.

Мне легко было представить себе его полусонное состояние, сидя вот здесь, на своем сундуке, и прислонившись спиной к стене чулана, мало отличавшегося от вагонного купе. У меня тоже глаза слипались, а между тем мозг сверлило неудержимое стремление проследить как можно дальше судьбу Вилема.

Я полуспал-полудумал, но и Вилему не удавалось уснуть, несмотря на усталость. На этой грани между бдением и сном он повторял, подвергая себя ожесточенному самобичеванию, все прожитое — от своего ухода в Паласову труппу до нынешнего посещения отцовской могилы. Вновь и вновь вызывал в памяти, полуодурманенный сном, отдельные факты, стараясь с их помощью допытаться, чему он был больше подвластен — очарованию Эвы или театра либо тому и другому в равной мере.

Находясь в полусознании, он глубоко верил, что от этого сонного раздумья или раздумчивого сна зависит все его будущее. Ему надо было узнать, настоящий он актер или обязан всеми своими актерскими успехами вспышке любви, подобно тому, как иные влюбленные юноши становятся лирическими поэтами. Но, раздумывая и дремля, он заметил, что воспоминания приводят к нему пережитые мгновенья не в первоначальном их виде, а как бы проре́жиссированными и готовыми к тому, чтобы сразу выйти на подмостки. Он и сам выступал в них с необыкновенной легкостью, меняя эмоциональные мизансцены в зависимо-

сти от того, что требовалось по ходу действия. Вел себя так, что уже переставал быть Вилемом-человеком, все это пережившим, и превращался в Вилема-актера, проникающегося этими чувствами, словно исходя из готового текста.

Думаю, что в конце концов он все же уснул, так же, как и меня в этой сумрачной лавочонке одолела усталость после нынешней ночи и утреннего волнения, и я задремал, сидя на сундуке и прислонившись головой и спиной к стене. И как я, продолжая грезить о нем во сне, находил решение, ускользнувшее от меня, когда я проснулся, точно так же и он грезил о себе, играя в драмах, где пережитое им сливалось с его ролями,— играл с чудесной легкостью и убедительностью, и таким путем тоже пришел во сне к определенному решению.

С ним он проснулся, когда поезд встал на пражском вокзале.

3

Открыв глаза, я почувствовал, что у меня одеревенела шея и все тело будто изломано на колесе, вследствие неудобного положения, в котором я заснул. Время близилось к полудню. Мне пора было что-то предпринять, если я не хотел провести эту ночь на голом полу. Перерыв все у себя в сундуке, я вытащил мыло, полотенце, зубную щетку и умылся под краном, приютившимся возле печки. Когда я надел чистую рубашку, меня охватило такое ощущение свежести и радости жизни, какого я давно не испытывал. Я побежал к ближайшей телефонной будке — звонить Ярмиле и попросить у нее извинения за то, что не могу прийти нынче днем на свидание.

Еще не успев набрать номер Лексовой конторы, я уже понял, что не могу сказать правду. Как объяснить ей, почему я снял сапожную мастерскую, а не живу как люди. Это было бы только началом, а потом мало-помалу обнаружилось бы, что я за птица на самом деле и какая мне цена. Может быть, я преувеличивал отрицательное впечатление, какое это должно было на нее произвести, но во мне говорила кровь моих родителей, моего, так сказать, ремесленного рода,— потому что оба они происходили из этой среды,— и боязнь, как бы Ярмила не приняла меня за приживальщика, добивавшегося ее любви только ради материальной поддержки с ее стороны, преобладала у меня над всеми другими соображениями.

Ярмила испугалась, когда я сказал ей, в каком трудном оказался положении, и хотела сейчас же, оставив работу, прийти и как-нибудь помочь. Вот так, наверно, не думая о себе, приносила она себя в жертву и своему первому возлюбленному; оттого и брат ее тянет с нее деньги, когда ему вздумается. Поэтому она тем более не должна знать, что я переехал в мастерскую, на которую с самой смерти сапожника никто не позарился. Я успокоил ее, что занял другую комнату в том же доме и мне только нужно перевезти от сестры свою постель.

Я стоял возле телефонной будки и прислушивался к Ярмилину голосу, который звучал во мне вопреки уличному шуму. Он был не такой, как прежде. Со вчерашней ночи стал не таким. Он был мягкий и страстный и в то же время какой-то круглый и твердый благодаря внутренней силе; но тот полувозра�ающий тон, который до сих пор в нем господствовал при разговоре со мной, совершен но исчез.

Ах, если б только мне не надо было ничего от нее скрывать! Видно, в чем-то я согрешил, коли во мне такой изъян, что я в сорок лет все шатаюсь по свету, до сих пор не сделав ничего законченного и не в состоянии прокормить самого себя, не говоря о женщине, которую люблю. Кто это все время устраивает мне на дороге помехи, так что я поминутно спотыкаюсь и не знаю, как подняться? Я не лентяй и не хочу добывать себе место среди других всякими хитростями. Со всем этим надо покончить. Баста.

Дай мне, господи, полгода, полгода еще спокойных, крышу над головой да миску еды в день — и вот увидишь! Вилем Габа дойдет до конца своего пути, и книга будет дописана. И это будет хорошая книга, ручаюсь тебе, иначе повергни меня и растопчи, потому что тогда мне уже нечем будет жить. И не говори мне, что это ты меня только испытываешь, хочешь показать мне мое безумие, а если я от него избавлюсь, то смогу стать выдающимся в той или иной области и сдержать женщину, которую полюбил. Нет, я не хочу быть ничем иным, и — не сердись, Ярмила, — даже самая великая и чистая любовь не может заменить мне меня самого. Потому что это — я, хоть я двадцать лет думал, что могу быть чем-то еще, и если я отступлю, так лучше мне не жить на свете.

Хорошо, хорошо,— устало махнет рукой бог,— знаем твои песнопения: посмотрим, сколько в них правды и сколько баухальства. А пока что возьмем, к примеру, обеды у пани Розовой. Как с ними? Насколько мне извест-

но, существует некая записная книжечка, и там, помимо заметок, наблюдений и всяких замечательных мыслей, которые второй раз не придут в голову, записаны все обеды, отпущеные нам пани Розовой. Как будто дело несложное — заплатить за них, сказав спасибо, воздав должное их качеству и объяснив, почему мы больше не будем злоупотреблять предупредительностью и любезностью этой доброй женщины.

Конечно, конечно, господи. Но мне, сказать по правде, уже нечем заплатить. Поддавшись страху, как бы не очутиться на мостовой, не успев продвинуть свою работу хоть немного дальше, я снял эту мастерскую, уплатив за полгода вперед. По сто крон в месяц, а всего шестьсот. Вчера Ярмилин брат урвал у меня двести, и в итоге мне остается на жизнь меньше двухсот, а ведь я могу теперь рассчитывать на какие-нибудь пять — десять крон в неделю. Ты видишь, невозможно. Но тебе ведомо, что я не из тех, кто забывает или дает ложные обещания. Если не сегодня, то немного погодя обязательно рассчитаюсь. Я знаю свои обязанности.

Мне показалось, что где-то высоко надо мной раздался громкий, злорадный смех, и я поспешил вышел, чтобы его не слышать.

4

Почти наверняка у Вилема Габы с деньгами дело обстояло не лучше моего. В Горжине ему стало везти в последние две-три недели, когда он занял положение первого любовника. Но за эти четырнадцать дней он особенно не разбогател, даже после того как Глоушек, хоть и неохотно, повысил оплату. Он много потратил на переезды по железной дороге, так что, выйдя из вокзала наочные пражские улицы, знал, что денег у него в обрез. Того, что в кармане, хватит на два дня, — а в этом огромном городе, ошеломившем его ночью своим движением и сияющими огнями, он не знал ни души.

Он растерялся, почувствовал, что почва уходит у него из-под ног.

Но голод давал себя знать и заставил его покинуть безопасность вокзальных коридоров. Держась трамвайного пути, он пошел по озаренным улицам, где со свистом рассекали воздух авто и кишело такое множество народа, как будто до сна было еще далеко. И в то время как юная

смелость нашептывала ему, что бояться нечего, провинциал, привыкший к патриархальному укладу маленьких городов, испытывал страх. Сознание собственной заброшенности и призрачная ворожба ночи кружили ему голову. Высота домов, преувеличенная ночною тьмой, пугала его. Он крался вдоль стен.

Заведения, где можно закусить на скорую руку, были еще открыты. Он нашел прибежище в одном из них, привлеченный в равной мере и запахом еды, и стремлением избавиться от потрясающего зрелища вздыбленного в небо камня.

Но — из огня да в полымя. В кухмистерской, размером с самый большой театральный зал, в каком ему когда-либо приходилось играть, было так полно народа, что он еле пробрался вперед. Одни теснились к стойкам, другие протискивались обратно, держа на весу, над головами остальных, чашки, миски, тарелки с горячими кушаньями и напитками.

В этой толпе, где было немало гуляк, восстанавливающих потерянное равновесие глотками черного кофе перед тем как вернуться домой, и газетчиков, согревающих руки об миску с горячим супом, преобладали юноши с бледными морщинистыми лицами и жесткими взглядами и девушки, накрашенные, но равнодушные и надменные. Все они были похожи друг на друга характерным тоном и складом речи, манерой держаться, гримасой рта, взглядом, в одно и то же время быстрым и пристальным, — пляской святого Витта — в равной мере отрывистой и безудержной, словно представители одного и того же племени, отличного от остальных жителей города. Хищная армия служителей ночи.

В Вилеме проснулся актер. Поедая горячий мясной гуляш с кучей кнедликов, он жадно наблюдал этот кишащий аквариум, переполненный образчиками глубинной фауны. Сначала, как путешественник, впервые очутившийся в китайском городе, он не мог отличить одной физиономии от другой. Все казались ему на одно лицо, как слабо светящиеся рыбы яйцевидной формы. Через некоторое время, когда он, освоившись, стал различать их черты, его опять поразило то общее, что их объединяло, несмотря на различия. Можно было подумать, что тут произошел распад одного существа, которое стало жить во множестве особей, отмеченных лишь самым поверхностным несходством, но все время обнаруживающих и напоминающих, что они отлиты в одной форме.

Я без всяких церемоний наделил Вилема своими собственными впечатлениями о первых днях своего пребывания в Праге. Ну да,— а почему бы нет? Ведь этот баловень судьбы, общий склад и судьбу которого мы до сих пор не расшифровали, соединен со мной целой сетью корешков и капиллярных сосудов, гораздо более многочисленных, чем мне хотелось бы. Но, несмотря на это, мысль и чувство его стремятся не к тем целям, что мои. Я не жажду особенно разматывать этот клубок, но факт тот, что Вилем — попросту другое существо, а никак не моя ипостась или попытка материализовать то, как я хотел бы выглядеть и жить, хотя кое-что из этого могло против моей воли в него проникнуть. Наша взаимная связь — сложней связи между лицом и изнанкой, его свойства — отнюдь не простая противоположность моим, и его биография — существеннейшее выражение характера всякой личности — питается иными источниками, чем моя. Иногда мне кажется, что он начинает навязывать мне свой взгляд на вещи, немного циничный и самодовольный. Хотя именно эти качества внушают мне больше всего отвращения и противны мне и в нем.

В данный момент, однако, мы застаем его в настроении, далеком от того и другого. Он прежде всего полон тревоги и не находит в себе гордости, на которую ему можно было бы опереться. Помню, когда я первый раз попал в толчью и суматоху такой вот большой кухмистерской, мне захотелось изобразить все это в книге. Вилем испытывал желание, родственное моему. Он гравировал в своей памяти окружающие фигуры, подобные многократным повторениям одного прообраза. Придет день — он сыграет, быть может, кого-то, на них похожего, представителя их сословия, найдя его внутри себя уже наполовину созданного. И вот он теперь не только наблюдает, как эти люди ведут себя, но как будто проникается их подходом к жизни, какой-то жестокой и надменной философией, утверждающей, что на свете нет иного добра, кроме того, которое полезно тебе и которым ты можешь овладеть за счет других.

После того как Вилем вышел из кухмистерской, воспоминание детства повело его дальше вдоль трамвайного пути. Вместе подошли мы с ним к Национальному театру: я — в действительности и ясным осенним утром, он — в моей фантазии и осенней ночью с звездами, брызжущими, подобно мерцающим каплям, от ее черного чела.

Озаренное снизу светом дуговых ламп, здание театра на фоне звездного неба производило более величественное впечатление, чем днем. Вилем остановился перед ним, стараясь подавить волнение, причину и смысл которого он в ту минуту не мог себе уяснить. У него было такое ощущение, будто он встретился с каким-то живым существом, исполненным силы, притягивающей к нему человека, как магнит притягивает железные опилки и поденку манит огонь.

Вилемово актерство походило до сих пор на бестолковый авантюризм, в котором побочные обстоятельства участовали больше, чем само стремление играть, и которое поэтому могло кончиться чем угодно,— даже переходом на какое-нибудь другое занятие. Но тут он впервые почувствовал, что жизнь его,— по видимости игрушка случайности,— на самом деле имеет определенное направление, идет как должно, наполнена внутренним содержанием, а вовсе не чем-то внешним, и всегда будет стремиться только к одному: к игре на сцене. К такой игре, чтобы он попал вот сюда, куда его еще мальчиком вместе с другими школьниками привели смотреть сказку о Гонзе и принцессе Одуванчик, и он долго потом дни и ночи бредил о них. Значит, это стремление зародилось в нем уже тогда и именно здесь? Так здесь оно должно и осуществиться.

Он долго стоял перед этим каменным видением, обходил вокруг него издали, ползал вдоль его стен, касался пальцами их шероховатой поверхности и давал себе взъявленные юношеские клятвы.

Небо начало бледнеть, и первые трамваи побежали по городу, когда он повернулся и, усталый, пошел опять на вокзал.

А оттуда, милый Вилем, мы пошли уже вместе, и вряд ли ты будешь отрицать, что тут главным образом твоя вина. Не поругайся ты с режиссером, я не упустил бы пивной бутылки, и зять мой Ярда не устроил бы сцены, после которой мне не оставалось ничего другого как переехать. А на чей счет отнести тот факт, что я слетел с места младшего учителя в Мазурской торговой школе? Невезенье, можно сказать, следовало за мной по пятам с той минуты, как мы встретились. Можно насчитать изрядное

количество моих промахов и неудач, к которым и ты приложил руку.

Но я тебя не корю, потому что, как ни странно, я теперь счастливей, чем прежде. Я нашел покой в результате того, что из хаоса многих возможностей в конце концов выбрал одну-единственную и не жалею об отпавших. Это твоя работа, Вилем, я благодарен тебе, несмотря на то, что мне грозит необходимость через неделю или две положить зубы на полку. И еще я обязан тебе: ты дал мне Ярмулу. Привел меня к ней сложными путями и в конце концов ободрил меня своим примером.

Я стоял в нерешительности на протертой циновке у входа в квартиру сестры. С того дня, как уехал, я ни разу не пришел ее проводать. Звонок прозвенел, и я взволнованно ждал, что из полумрака прихожей вот-вот вынырнет лицо Ады и озарится удивлением и радостью.

Мне отворил Ярда, масленые губы которого свидетельствовали, что он встал от обеда.

Как идут здесь дела? Что изменилось за мое отсутствие? На моей памяти ни разу не было, чтобы что-нибудь заставило моего зятя оторваться от тарелки, прежде чем он не покончит с ее содержимым. В тех редких случаях, когда к нему кто-нибудь звонил, всегда отворяла Ада. Я подумал, не дошли ли супружеские разногласия до крайней точки и не сбежала ли моя сестра от Бизека. Ярда заметно похудел с тех пор, как я его видел в последний раз, и выражение лица у него стало другое, но я сразу не мог понять — какое.

Однако на лице его было написано то самое, что я ждал увидеть на Адином: неожиданность и радостное удивление. Сомнений не было: Ярде было приятно меня видеть.

— Индра?! Лапу, дружище! Откуда ты взялся? А мы уж думали, смотался из Праги.

Он сжал мою руку и, не выпуская, повел, верней, стал толкать меня на кухню.

— Идем, идем скорей! Пошамаешь с нами. Вот Ада глаза вытаращит!

Хоть он и похудел, сила в руке его осталась та же.

Ада простерла мне навстречу объятия. Притянула мою голову и поцеловала меня в губы. Потом отстринила меня и стала осматривать, как будто я вернулся после долгих лет из заморских стран. Чувство всегда было сильней ее. Можно было подумать, что она играет, но я-то хорошо знал, как она искренна. Результат осмотра успокоил ее.

— Ты выглядишь скорей истасканным, чем голодным,— засмеялась она.— Все проказничаешь?

Она говорила быстро, точно боялась, что я не дослушаю ее до конца.

— Почему так долго не давал о себе знать? Ты обедал? Да что я спрашиваю. Ведь еще с одним обедом справишься.

— Ясное дело,— откликнулся Ярда у меня за спиной.— В трактире до отвала не наешься.

Одной рукой он отобрал у меня шляпу, а другой вдавил меня в кресло за столом.

— Слушай,— сказал он Аде, которая хотела мне накрыть,— ты садись с ним, а я все принесу и подам.

Он поставил передо мной тарелку, положил нож и вилку, изображая при этом полового из третьеразрядного трактира, и налил мне супу из кастрюли на плите.

— ...жалте, почтенный.

Таким образом он прислуживал нам в продолжение всего обеда, не позволяя Аде ничего делать. В его манерах, во всей его наружности было что-то новое. Глаза его все время обращались к Аде с каким-то неуверенным — не то робким, не то нежным — выражением, словно спрашивая, довольна ли она им, хорошо ли он себя ведет и не нужно ли еще что-нибудь.

Куда девался тот Ярда Бизек, что сидел часами у окна, развалившись в вольтеровском кресле, и, ссылаясь на свои недуги, требовал, чтоб его обхаживали, чтоб расспрашивали, где у него болит и чего ему хочется? Когда я от них съезжал, супружество сестры готово было вот-вот развалиться. А теперь оно переживало вызванное какими-то непонятными причинами возрождение. Какой переворот произошел в отношениях этих двух людей за такой сравнительно недолгий срок и почему?

Последняя ночь наделила меня новой, повышенной чувствительностью в делах такого рода. Я пришел к заключению, что в Адином доме царит атмосфера нового медового месяца, охлаждаемая примиреньем и боязнью, как бы он не прервался. Когда Ярда ставил на стол второе, я взглянул на Аду, ища у нее объяснения. Но нашел лишь улыбку, смысла которой не понял.

Спросить прямо я не решался, да и возможности не имел, так как оба наперебой расспрашивали меня самого. Что случилось, что я так долго не появлялся, как я живу, правда ли, что остался без места, и если да, то как зарабатываю на жизнь?

Ну, само собой, дела идут превосходно. Разве я похож на человека, которому нечего есть? Конечно, даром не дается, зато сам себе хозяин и живу лучше прежнего. Только времени не хватает, а то — работы хоть отбавляй!

Я врал, глазом не моргнув, сам почти веря своим словам. А почему бы нет? Ведь я в самом деле работал больше прежнего, и только стеченье обстоятельств привело к тому, что другая половина моих сообщений пока не осуществилась. Пока. Потому что не забывайте: капля точит камень.

Право же, не стоило пугать их обоих своими невзгодами, нарушать с таким трудом добытый ими мир призраком истощенного субъекта, который того и гляди придет завтра к их порогу просить куска хлеба, тарелку супу и приюта хоть на одну ночь. Наоборот, мной овладело чувство гордости, мне хотелось показать им, что я — малый не промах и умею устраивать свои дела, хоть меня и не ждет получка каждое первое число.

— Читала новый кинороман в «Чешских лугах»? — спросил я у Ады, как будто считал ее страстной любительницей иллюстрированных еженедельников, хотя знал, что это далеко не так.

Она возвела глаза к небу, словно пьющая воду курица.

— За кого ты меня принимаешь? Когда же я читала этот вздор?

— А вот прочла бы то, о чем я говорю, так изменила бы свое мнение, — с возмущением возразил я. — Редактор Фридрын — а это стреляный воробей, сколько за эти годы через его руки прошло! — объявил, что он хороший, что ему жалко его у себя печатать. Так и сказал: это, говорит, настоящая литература.

— Господи, а я прозевала! — воскликнула Ада с преувеличенней досадой. — Так, значит, это ты написал? Нынче же сбегаю, куплю последний номер.

Но сейчас же стала серьезной и вперила в меня взгляд, хорошо мне понятный с юных лет, которым она меня останавливалась каждый раз, как я вдохновенно выдумывал какую-нибудь глупость и собирался ее осуществить.

— Индра, неужели это правда? — промолвила она таким тоном, что у меня кусок в горле застрял.

Ярда тоже перестал жевать и уставился на нее.

— Ты хочешь себя обмануть? — продолжала она. — Не лучше ли поступить опять куда-нибудь в канцелярию или учителем?

Я покраснел, как будто она дотронулась до больного места в моей совести. Быть может, в тайнах тайных своих мыслей я на самом деле боялся, что вдруг, потерпев неудачу и со страху признав себя побежденным, отдамся этой дешевой подделке под искусство и найду в ней утешение.

Прежде чем я успел ответить, левый полузащитник, видя, что я в трудном положении, восстал из могилы своей чиновничьей души. Энергично проглотив кусок пищи, он зафехтовал ножом с вилкой и голосом, еще хриплым от могучего усилия пищевода, воскликнул:

— Ада, это нечестно. Он бежал, а ты ему на полном ходу — подножку. Я кричу «штрафной» и протестую. Ну, скажи на милость, что плохого в его работе?

Ада повернулась к нему, легонько погладила его по щеке и ответила самым мягким тоном, на какой была способна:

— Ты, Яроушек, пожалуйста, в это не вмешивайся. Ты не понимаешь.

И левый полузащитник поступил так, что, поступи он подобным же образом при свидетелях в расцвете своей славы, это навсегда удалило бы его с поля почище бутсы, угодившей ему в живот в том роковом товарищеском матче: он положил ножик с вилкой, взял Адину руку и поцеловал ее в ладонь.

— Я ведь ему добра хочу, Ада,— сказал он, оправдываясь, но, к моему удивлению, не отказался от мысли защитить меня.— Будь с ним по справедливости: хочешь не хочешь — это твой брательник.

Верный своей прежней роли полузащитника, Ярда провел мяч вперед и завершил свою комбинацию немного прямолинейной, но чистой подачей. Мне оставалось только принять и использовать выгодное положение.

— Я знаю, Ярда, что Ада имеет в виду,— поспешил я выступить.— Но она, видно, меня не знает. Мне же надо чем-то питаться,— быстро продолжал я, не давая себя прервать.— Но мне никогда в голову не приходило навсегда связать себя с этим и успокоиться. У меня готова значительная часть романа, я кончил большой рассказ, который надо почистить, я перевожу, словом, делаю, что могу, и у меня получается... А ты советуешь мне снова стать горе-учителем, каким я был.

— Славно, Индра, хороший удар. Прямо под верхнюю штангу. Я всегда говорил, что ты молодец и себя покажешь,— зашумел Ярда, говоривший когда-то прямо об-

ратное тому, что теперь с таким воодушевлением провозглашал.

— Ты на самом деле кончил рассказ? — спросила Ада так тихо, что после Ярдова крика это показалось шепотом.

Она наклонилась ко мне, скжала мою руку, и в голосе ее послышались слезы.

— Прости.

— Ну вот, Ада,— загремел Ярда еще громче,— только не заплачь! За что он должен тебя прощать? Что ты такое сказала? Сестра ты ему или нет? Правда, Индра?

— Само собой,— ответил я, стараясь как можно лучше попасть ему в тон, чтобы его успокоить, но понимая, что Ада просит у меня прощения не за только что сказанное, а за все эти годы недоверия.

Ада опомнилась еще скорей, чем уступила своему порыву: она с детства проливала слезы чаще от бессильного гнева, чем от жалости.

— О чём рассказ? Мне хочется его прочесть. Когда его напечатают и где?

Второй раз за эти два дня мне пришлось соврать относительно этого несчастного рассказа. Но как же иначе мог я отстоять свой образ жизни и право на него?

— В «Чешских лугах»,— твердо ответил я.— Только не думай, что через неделю. Приходится ждать, когда дойдет очередь.

И для пущей правдоподобности прибавил:

— Прямо не поверишь, сколько людей пишут, пока не увидишь все это вместе.

— Но ты не робей,— сказала Ада.

Таким образом, обед прошел в беседе обо мне и моих писательских перспективах, и я, занятый разгадыванием загадки обновленного Адина супружеского счастья и взволнованный своим враньем, чуть было не забыл, зачем вообще пришел. Ярда уже убрал со стола, когда я вспомнил об этом, и так как с его уходом на службу я потерял бы благоприятную возможность, то поспешил выложить свою просьбу.

— Вы представляете себе, дети мои,— начал я притворно непринужденным и вымученно веселым тоном, так как мне всегда бывает стыдно кого-нибудь о чем-нибудь просить,— снял я на улице «На валу» этакую берлогу — прямо у домовладельца. С квартирными хозяевами иметь дело — беда, а так я смогу хоть спокойно работать. Но там, понятное дело, голые стены, и вот я хотел у вас спросить, Ада и Яроушек: не дадите ли вы мне из

всей этой рухляди, которая вам тут повернуться не дает, кровать, стол с двумя стульями и какой ни на есть шкафчик для барахла?

Ярда сейчас же кивнул в знак согласия и хотел что-то сказать, но поглядел на жену, закрыл рот и предоставил ей решать.

— По-моему, это самое разумное, что ты мог сделать,—медленно промолвила Ада, словно обдумывая свой ответ.—А из родительской мебели, конечно, можешь взять что тебе надо. Мы ту комнату, где ты жил (конец фразы она произнесла еще медленней, словно против воли), все равно будем заново обставлять.

— Чтоб ты знал, там будет свеженькая, новехонькая мебель,—не утерпел Ярда, но, снова поймав Адин взгляд, прикусил язык, хоть он у него так и чесался.

— Вы устроите там хорошую столовую или гостиную,—предположил я, но с определенным намерением услышать от того или другого объяснение.

— Ни того, ни другого,—неопределенно ответила Ада с легкой улыбкой, относившейся скорей к Ярде, чем ко мне.

Она повернулась к лоханке, в которой сложила собранную со стола посуду, и хотела налить туда горячей воды из стоявшей на плите кастрюли. Ярда сейчас же бросился к ней и не позволил.

— Сию минуту брось. Сколько раз я тебе говорил: нельзя,—напустился он на нее с неожиданной горячностью, но без того едкого сварливого тона, который я издавна знал за ним.

— Ярда, прошу тебя, только не пересаливай,—ответила Ада, наоборот, чрезвычайно насмешливо.

Но уступила и отошла немного к окну, избегая моего взгляда.

— Ничего я не пересаливаю,—промолвил Ярда в облаках поднявшегося над лоханкой пара.—Не смей трогать моих кастрюль. Это не твоя забота.

Я вспомнил про его живот, находившийся несколько месяцев в развороченном состоянии после злосчастного удара, положившего конец его футбольной карьере, и подумал, что ведь такая работа ему еще меньше подходит.

Эмалированная кастрюля громко загудела, когда бывший хавбек резким движением поставил ее на крышку угольного ящика, и Ярда, по-женски широко расставив ноги, как делают болтуны перед важным ораторским выступлением,—видимо, по примеру своей покойной матушки, обладательницы известного во всей округе грозно-

го языка,— заговорил торопливо и решительно, словно боясь, как бы его не прервали, а также для того, чтобы придать себе смелости:

— Ну, терпенья нету. Что за ерунда, Ада! Ведь это твой брательник, а не кто-нибудь. Так вот, чтоб ты знал, Индра, в этой комнате будет детская, потому что мы ждем прибавления.

Хотя все, чего я был здесь свидетелем с самого своего прихода, вело только к этому простому объяснению, я опешил, так как именно эта возможность казалась мне совершенно исключенной.

Ада с нервным смешком раздраженно промолвила:

— Можно было бы помолчать.

Но Ярда подошел к ней, обнял ее за плечи, и лицо его расплылось в простодушную, ласковую улыбку, придававшую ему почти нежный вид.

— Эх, Ада, ну к чему эти церемонии. Это ваша женская чепуха. А я бы орал на всю улицу. Ну, а уж коли приходится держать язык за зубами, так пускай хоть Индра знает. Помнишь, друг,— обратился он ко мне, не выпуская из объятия сопротивляющуюся Аду,— что доктора говорили? Будто у нас детей никогда не будет... Ан будут!

И он засмеялся глупым, счастливым смехом.

6

Пан Вапенка сдержал слово: победил снятую мной мастерскую.

Теперь, когда стены захватывали и отражали больше света, когда кое-какая меблировка вытеснила из помещения унылую пустоту, когда пол был чисто вымыт шваброй и покрыт ковром, который сестра сшила мне из двух старых, но еще не протоптанных дорожек, когда стеклянные двери на улицу, завешенные плотными белыми занавесками — тоже Адин подарок — стали похожи на обычные окна, хмурая сапожная мастерская превратилась в довольно уютную квартиру.

Говорю «довольно уютную» только для того, чтобы быть как можно более беспристрастным. Я был в восторге от своей каморки, просто влюблен в нее. И, возвращаясь туда, скажем, из овощной лавки, с картошкой и зеленью для супа, составлявшего по большей части мой обед, говорил себе: «Ну, а теперь домой», — чувствуя при этом

в груди тепло и гордость. Впервые за все время, как я ушел от матери, то есть больше чем за двадцать лет, у меня было свое жилище, где мне принадлежало без исключения все, на что ни взгляну. Пускай оно расположено на три ступени ниже уровня мостовой, пускай в нем стоит запах кадки с мокнущими кожами, как бы знаменуя присутствие долголетнего обитателя этого места, я был в нем один, никто не следил за тем, что я делаю, и не помыкал мной.

Я запер дверь на улицу и никогда ею не пользовался. Ступени к ней я загородил большим деревянным сундуком, доставшимся от отца, этой братской могилой моих неудачных литературных опытов, а к сундуку придинул стол. Иногда я поднимал голову от писания и подолгу любовался театром теней, разыгрываемым прохожими на занавесках, закрывающих стекла двери.

Улица, веселая и общительная, терлась о мой порог, она была всегда рядом, рукой подать, она пульсировала вокруг меня, даже когда я весь уходил в работу, шаги замирали ритмичным стаккато походки и сливались в плещущий шум тихого потока, время от времени рассекаемый грохотом грузовика. Дверные стекла дребезжали, пол подо мной ходил, но меня, как ни странно, этот сумасшедший гул не раздражал и не беспокоил. Наоборот, он поддерживал во мне рабочую энергию, когда она начинала ослабевать.

Конечно, мое новое жилище имело свои и даже очень значительные недостатки, но я старался не обращать на них внимания. Самый заметный из них заключался в том, что, уходя из дома или ложась спать, я должен был опускать гофрированную железную штору, словно торговец, запирающий свою лавку. А почью я часто в ужасе просыпался, разбуженный адским грохотом, будто откуда-то из непроглядной тьмы на меня рушилась целая гора железных листов: это какой-нибудь расходившийся бражник, возвращаясь домой или перекочевывая из одного трактира в другой, ахнул палкой по гофрировке.

Весь в поту, выпучив глаза смотрел я во мрак. Железная штора на дверях превращала мастерскую в склеп: ни малейшего признака света не проникало сюда с освещенной фонарями улицы. Я сидел на постели и, дрожа от холода, вдруг повеявшего от стен, старался успокоить сердцебиение. Прожив здесь уже больше недели, я ни разу еще, грубо разбуженный этим злоумышленным столпотворением, не мог сразу сообразить, где я. И мне приходилось

теребить свою одурманенную память, чтобы она мне помогла и не позволила закричать от страха.

Немного успокоившись, я подкладывал себе под спину подушки,— так, чтобы можно было сидеть,— и, натянув перину до подбородка, глазел прямо перед собой, хоть видел не больше, чем слепой от рождения. Прижмуривал веки, потому что глаза начинали болеть от упорного гляденья. Но сон, вспугнутый этим содомом и заблудившийся где-то там, в черной тьме, уже не находил ко мне дороги.

Сон где-то блуждал, но насколько более бесцельным и бессмысленным блужданьем была вся моя жизнь. Чем, например, кончилось с пани Росовой? Я хвалился, что выплачу ей все до последнего геллера, даже как будто вел какие-то точные записи, а что получилось?

На другой день после переезда в сапожную мастерскую я зашел в РОСОВ ТРАКТИР, заявил хозяину, что с нынешнего дня не буду больше злоупотреблять его любезностью, и попросил передать мою благодарность его жене. Я считал, что тем самым на некоторое время свалил эту мучительную обязанность со своих плеч. Правда, не совсем, так как свой долг пани РОСОВОЙ из мыслей не вычеркнул. Но пока мог радоваться тому, что все само собою прекрасно разрешилось просто в силу обстоятельств. Не мог же я по-прежнему писать в РОСОВОЙ пивной, имея свою квартиру. Пани РОСОВА поймет и не обидится.

Пани РОСОВА поняла не только это. Прежде всего ей пришло в голову, что мне стыдно показаться ей на глаза. И на другой день после того, как я объявил ее мужу о своем новом решении, ровно в полдень кто-то постучал ко мне во входную дверь. Решив, что это дворничиха, я равнодушно промолвил:

— Войдите!

В мастерскую вбежала статная, румянная девица с пышными волосами, любопытным вздернутым носом и дерзкими глазами. Она была в стоптанных туфлях на босу ногу, и ее голые икры и руки ярко светились в полутьме у входа. Я узнал служанку пани РОСОВОЙ. Она объявила, что вот, мол, барыня посыпает обед, и расставила на холодной плите миску с супом, кастрюльку с рисом и чем-то мясным, бутылку из-под содовой, наполненную черным кофе, глубокую и мелкую тарелку, чашку, положила нож, вилку и ложку. Посуда пусть остается у меня, как есть,— она завтрашний день придет и сменит. Оглядел мое жилище, она высказалась,— будто я спрашивал ее драгоценное мнение,— в том смысле, что, дескать, тут у меня шикарно,

уголок аккурат для женщины. Только ей бы тут было страшно, будто ее заживо похоронили.

Мне было ясно, что она делит все человечество на господ и хамов и меня относит к последним. Я ничего ей не ответил на все это, довольно сухо поблагодарил ее и дал ей корону на чай. Таким способом я остановил поток ее красноречия и в то же время внушил ей больше уважения к своей особе.

Вот тебе и — «все само собой так хорошо устроилось, просто в силу обстоятельств». Выходит, я — на том же месте. По-прежнему нахлебником пани Розовой, не имея ни мужества отказаться от ее благотворительности, ни возможности заплатить за него, превратив его в простую услугу. Но больше всего меня мучили угрызения совести, что я эту добрую женщину совершенно незаслуженно подозревал в злом умысле.

Мы никогда не видим человека целиком, говорил я себе, и поступки его не раскрывают его с той полнотой, как мы предполагаем на основании самых ярких из них. Допустим, что пани Розова в какой-то момент, подчиняясь своему природному женскому чувству, сказала себе, что не будет кормить мужчину (даже имея к нему лишь человеческий интерес) для другой женщины. Но, видимо, она тотчас передумала и решила, что не может оставить его помирать с голоду, хотя бы пришлось кормить его для другой. При всем том я для нее, конечно, не больше, чем какой-то случайный прохожий, о котором она вчера ничего не знала и который завтра опять исчезнет бог весть куда. Но это в ее глазах не имеет значения, у нее — пустота в сердце и время свободное, ей надо то и другое чем-нибудь заполнить. Но почему именно я должен предоставить ей эту возможность? Сижу, погруженный во тьму, и мучаюсь сознанием своего бессилия и неблагодарности.

Человек может жить в кредит у своей совести, так же как брать деньги в долг. Но и в том и в другом случае в один прекрасный день она его схватит за горло. Я попал в странный треугольник, созданный женщинами. Все три отдали мне лучшее, что у них есть, благодаря доверию, которое я им внушил: Ярмила — свою любовь и безграничную веру в мои способности, пани Розова — свою неутоленную потребность о ком-нибудь заботиться и, наконец, Ада — вновь проснувшуюся надежду на то, что я все-таки спасу заблудившийся член наших общих детских мечтаний. Я представляю ее себе беседующей с ребенком, которого она носит под сердцем. Она уверена, что

это будет сын. Она говорит ему: «Твой папа был забияка, ничего не боялся, и это ему чуть не стоило жизни. Не забудь захватить с собой в мир сколько-нибудь его молодой отваги. А мама твоя была мечтательницей, и мечты не дали ей добиться в жизни ничего существенного. Но и мечты тебе понадобятся, потому что, моя малюточка, у тебя есть дядя, и он укажет тебе дорогу, по которой мне очень хочется, чтоб ты пошел. Он проторит ее тебе, а ты пойдешь дальше — далеко, сыночек мой, туда, куда только может дойти существо, рожденное женщиной».

И все это я вызвал своей ложью. Мне кажется, ее уже нельзя сжить со света, раз ее шепчет материинская кровь еще не рожденному ребенку. Я солгал насчет рассказа и продолжаю лгать дальше. Сам переехал в дыру, а Ярмила сказал, будто в очень приличное помещение, снятое у милой хозяйки,— такого доброго, можно сказать, материински ласкового существа, короче говоря, у идеализированной пани Розовой. Ярмила счастлива; но почему же я не объясню ей, как обстоят мои дела? Не унижаю ли я ее, предполагая, что она не выдержала бы, узнав правду? Но я и не думаю этого. Попросту я оцениваю свой возраст, свое образование, свои способности, в которые все так охотно верят, и мне стыдно себе признаться, что я нахожусь почти на грани нищеты.

Я не любуюсь своей ложью, я ужасаюсь ей, и в то же время она довела меня до такого извращенного взгляда, что я даже начинаю почти уважать ее. Я чувствую ее над собой, как бич. Разве не сказал как-то редактор Фридрын: «Кто будет щелкать над вами бичом?» Мне кажется, что я приберегаю ее на случай, если начну опять колебаться и искать извинений для своей неспособности докончить начатое. Но теперь речь уже не только о тебе, а о тех, кто в тебя поверил. Ты занял у них — под залог лжи, так верни правдой.

Чем непроглядней была обступившая меня тьма, тем ясней видел я сам себя, тем уверенней вели себя в ней мои мысли. Ты прекрасно знаешь,— говорил я себе,— как часто обманывало тебя самое твердое твое решение и как мало помогало тебе в таких случаях твое честолюбие. Ты не столько тешил, сколько подавлял его в себе, и теперь, кто знает, может, оно из тебя уж совсем улетучилось. Посмотри на Вилема, какое он таил внутри себя ничем не укротимое честолюбие. Он не родился с ним; пока жил дома, он никогда его не испытывал. Оно стало в нем расти после того, как он стал профессиональным актером и отве-

дал успеха. В один прекрасный день оно до неразличимости смешалось для него с любовью. Это когда он подумал, что стремится к успеху только ради того, чтобы понравиться Эве. Но в Горжине оно отчасти уже избавилось от этой примеси и стало разрастаться на ее распаде, как на питательной среде. Во времяочных скитаний по Праге, где он очутился после похорон отца и не знал, куда метнуться, оно заговорило в нем полным голосом при виде вздывающегося к ночному небу зданию театра.

Он прислушался к этому повелительному голосу и понял, что все, что с ним было, должно было произойти. Не сам выбрал он свою дорогу, случайность загнала его туда, но случайность эта не была простым стечением обстоятельств. В ней угадывалась посланница судьбы. Лавка в родном городе, где он когда-то чувствовал себя таким счастливым, была ему теперь так далека, будто он только слышал о ней от других, а не хранил ее в душе как воспоминание. Теперь он хотел играть, только играть, хотя бы для этого пришлось помирать с голоду и шататься по свету, как бродяга или бездомный пес.

Сперва я думал, что Вилем той же ночью уедет из Праги, но вид театрального здания, освещенного дуговыми лампами и увенчанного звездными роями над куполом, так на него подействовал, что он сел на скамейку на набережной и оставался там, погруженный в мечты, не замечая ничего вокруг, пока холод с реки не заставил его задрожать и не прогнал оттуда. Он нашел ночлег в доме свиданий неподалеку и не успел положить голову на подушку сомнительной чистоты, как тотчас заснул.

Но спал тревожно, так как напряженные нервы не прекращали борьбы с измученным телом. В соседних номерах посетители сменялись. Их шаги, разговор, вздохи и скрип кровати проникали в Вилемов сон, превращаемый ядовитой алхимией усталости в отвратительные сновидения. Вилем в ужасе просыпался, но тотчас опять засыпал, не успев даже сообразить, где он находится. Его словно бросали из одного отделения преисподней в другое.

Он был поднят на ноги спозаранку бренчаньем наполняемых водой ведер, посвистыванием полового и перекликанием горничных. Умывшись, он почувствовал себя более свежим, чем можно было ожидать после такого беспокойного сна. Когда он вышел из отельчика, город уже весело шумел на утреннем солнце. Улицы провевало ветром, холодным — будто прямо из голубых глубей небосвода.

Несмотря на все переезды с Паласовой труппой, несмотря на пребывание в Горжине, жители которого убеждены, что город их мало чем уступает крупному центру, Вилем остался провинциалом. Он долго стоял на углу главного проспекта, не в силах насытить взгляд множеством спешащих пешеходов и мчащихся экипажей. Он не испытал страха, не захотел скрыться, не затосковал по тишине провинциальных городков. Напротив, этот быстрый, неиссякаемый поток жизни притягивал его к себе с такой же силой, с какой ночью манило здание театра. Он глядел на это кишение глазами человека, пришедшего сюда не для того, чтобы позволить этому потоку захватить его, превратив в одного из многих, что спешат вокруг, неизвестные друг другу, незначительные, безыменные, погоняемые лишь страхом перед нуждой: он хотел взять у этого города все, что тот может дать. Через несколько лет, не особенно долгих, он пойдет по этим улицам, и люди, которые теперь не замечают его, будут оборачиваться ему вслед. Ты видел? Это Вилем Габа. И каждому без дальнейших вопросов будет ясно, что значит это имя.

От голода и первого напряжения его пробрал озноб. Он позавтракал в одной из закусочных-автоматов, потом зашел в парикмахерскую, побрился. Ощущение сытости, чистоты и приличного внешнего вида,— он еще не освободился от брезгливого чувства после ночевки в доме свиданий,— придало ему смелости. Но у служебного входа в театр на него опять напала робость. На тротуаре было полно народу, как на летке улья; все время приходили и уходили. Неподалеку от Вилема остановились два молодых человека,— безусловно, актеры: он не мог ошибиться, глядя на эти лица, быстро и точно менявшие выражение в зависимости от того, о чем шла речь, слыша эти голоса, звучавшие глубокими грудными тонами и легко переходящие из одного регистра в другой. Они что-то остирили, и их громкий смех разносился далеко. Каждый из них был явно упоен собой. В нескольких шагах от них несколько молоденьких девушек, лет пятнадцати — шестнадцати, с сумками, туго набитыми учебниками и тетрадями, кидали на них восхищенные взгляды, подталкивали друг друга и сдержанно смеялись между собою.

Вилемом овладело уныние. Никогда не хватит у него силы и способностей на то, чтобы стать рядом с такими вот молодчиками. Но он тотчас подавил этот приступ слабости. Нет, он не склонится перед чужим искусством, он докажет им всем, что играет так, как им и не снилось. Ободрив себя

так глотком из колодца самонадеянности, он решил, что не позволит воздействовать на себя никаким другим впечатлениям, и вошел твердым шагом в вестибюль театра.

Главным режиссером драмы был тогда Барох. Это был пыхтящий великан добрых ста двадцати пяти килограммов весом. На облитой жиром короткой шее сиял голый красный череп без единого волоска, а в мелких ямках между блестящими подушками щек и падбровными дугами почти без бровей сидели изюминки маленьких быстрых глаз. Барох стал режиссером после того, как тучность лишила его возможности играть ведущие роли, и потому, что умел заранее подумать о подходящем для себя месте в будущем. Он был до такой степени лишен собственных взглядов, что никогда не мог прийти в столкновение с людьми, от которых зависел. Его режиссура производила впечатление великолепия, гладкости, абсолютной слаженности и такого безнадежного отсутствия чего-либо индивидуального, что говорили даже о классическом сценическом стиле, якобы им созданном. Он не умел ничего прочувствовать, ни продумать, зато умел все выведать, и по части знания мировых постановок не было, быть может, более образованного человека во всей тогдашней Европе. Всю свою изобретательность он употреблял на то, чтобы искусно и незаметно пользоваться находками своих предшественников, хотя критики его спектаклей, знающие не меньше его, могли бы сказать, из скольких источников нацежены и составлены эти поразительные сценические коктейли, после которых вместо опьянения сразу чувствуешь похмелье, как только от них встанешь. Помимо снобистского признания того факта, что вам было показано великолепное зрелище, не вполне доступное вашему пониманию, у вас возникало также подозрение, что тут что-то не так.

Актеры делились на два лагеря: одни считали Бароха чуть не гениальным художником и составляли его преданную свиту, насколько актеры вообще способны к преданности. Другие охотно столкнули бы его в люк, да еще наступили бы ему там на горло. К первым принадлежали обожаемые любимцы публики, общепризнанные величины, корифеи казенной сцены. Барох гнул перед ними спину, подлизывался к ним, проводил репетиции с изысканной любезностью, чтобы как-нибудь не задеть их самолюбия, но искуснейшим образом использовал их в своих интересах и на театре и за кулисами. А ко вторым —

актерская мелюзга, борющаяся за свое признание и возможность выдвинуться. Этих он держал в страхе. Придирался, отравлял им жизнь всеми доступными способами, которых в театре всегда великое множество, ловко скрывая свою ненависть к ним — из боязни, как бы его не раскусили, — под маской беспощадной борьбы за предельную художественную честность. Но все же этот человек понимал театр, был плоть от плоти его, жил и дышал только им. Сложность заключалась в том, что он искал лишь проторенных путей, безошибочно ведущих к успеху, и больше всего чурался экспериментирования, быть может боясь обнаружить свою неспособность сделать что-либо по-своему и за свой риск и страх.

На вопрос Вилема, можно ли видеть Бароха, швейцар посмотрел на молодого актера подозрительно.

— А вам зачем?

Вилем ответил заранее придуманной ложью: он приехал из Горжина с поручением от директора Глоушека, которое должен передать лично.

Швейцар задумался над этим ответом, покручивая седой ус. Ему, очевидно, было строго приказано следить за тем, чтобы к Бароху не проникали предприимчивые честолюбцы вроде Вилема и не отнимали у него драгоценного времени. У швейцара был наметанный глаз; он был уверен, что наверняка узнает каждого из этих любителей и бродячих комедиантов, убежденных, что они давно созрели для лучшего театра страны и главных ролей мирового репертуара.

— Какой директор — Глоушек ваш? Театральный?

Вилем готов уж был кивнуть в знак согласия. Но в последнее мгновенье уловил пренебрежительный и недоверчивый тон швейцара. Он придал лицу своему обиженное выражение и, прежде чем ответить, сумел превратиться в бойкого приказчика, когда-то наклонявшегося над прилавком в отцовском магазине.

— С какой стати! Он — директор цементного завода. Они с паном Барохом братья двоюродные или вроде того.

— С главным режиссером паном Барохом, молодой человек, — заворчал швейцар, раздраженный этим «директором цементного завода» и своей ошибкой. — Главным режиссером — обязательно, — не забывайте, с кем имеете честь...

Но Вилем добился своего и мог теперь ждать появления великого человека.

Улица уже довольно давно проснулась, а в мастерской моей была по-прежнему тьма, как будто на дворе еще царила непроглядная ночь. На тротуаре все гуще и гуще раздавался топот ног, дом дрожал от грохота колес и в то же время начинал оживать своими собственными звуками. Совки шуршали в угольных ящиках, вода журчала в канализационных трубах, двери скрипели и хлопали, на лестнице слышались голоса мужчин, уходящих на работу, и женщин, окликающих их на прощанье. Вся эта вновь очнувшаяся жизнь понуждала меня к какой-то деятельности. Я сопротивлялся. История Вилема гораздо важней, чем перевод какой-нибудь модной повести, который обеспечит меня самое большее на неделю ужином. Толкуйте себе на здоровье, что я валяюсь в постели, а вы спешите делать дело. Разве в мозгу моем меньше движения, чем в любом цеху? Кто знает, не решается ли в нем не только судьба Вилема, но и моя собственная?

Это был отчаянный шаг со стороны такого юнца — позариться на Национальный театр,— но разве лучший театр страны не нуждается в притоке новой крови, как всякий другой? Откровенно говоря, мне по душе его отвага. Человек не должен сидеть в закутке со своим уменьем и ждать, чтобы это уменье, о котором никто не знает, пробило, словно весенний росток, твердую кору человеческого равнодушия, без всяких с его стороны усилий.

Барох ввалился в театр из репетиционного зала в двенадцать, злой, красный, со шляпой в руке, хотя на улице дул холодный ветер; он был полон еще не израсходованного гнева — после спора с кем-то из молодых актеров, осмелившимся высказать свое мнение. Момент — невыгодный для Вилема, но, к несчастью, выбора не было.

— Садитесь, молодой человек, подождите, пока я приду в себя,— тявкнул Барох на Вилема, введя его в свой кабинет на третьем этаже театра.

При виде этой пыхтящей горы мяса, этих сердито бегающих глазок, этого залитого жиром красного лица у молодого актера сердце упало.

Барох скинул пиджак, снял галстук, обтер себе скомканым полотенцем шею и распахнутую грудь. При этом он, хрипя, кашляя, расхаживал между могучим письменным столом, на котором среди хаоса бумаг стояла кружка с остатками выдохшегося пива, рядом с пепельницей, оплетинившейся соломинками докуренных сигар, и боль-

шим книжным шкафом, набитым переплетенными рукописями театральных пьес. Три шага туда, три обратно,— каждый из них сопровождаемый скрипучим стоном половиц.

Свойственное Вилему бесстрашие покинуло его. С робостью следил он исподтишка за медвежьими упражнениями Бароха, боясь, как бы, не дай бог, не раздражить его, и дышал медленно, неглубоко, с отвращением, так как воздух был насыщен едким запахом пота, выделяемого этим жирным телом.

Наконец Барох успокоился, кинул полотенце на пустой умывальник и шумно, тяжело опустился в кресло у письменного стола.

— Пожалуйста. Я вас слушаю. Какая там у вас важная новость?

В неожиданно краткий миг Вилем преодолел свою скованность. По существу, о чем идет речь? О том, чтобы ему выступить в пьесе, режиссируемой более могущественным и проницательным руководителем, чем вот этот вакхический гроссмейстер режиссуры, которому в ней предоставлен лишь один эпизод. Вилем поглядел в бегающие глазки с обезоруживающей простодушной улыбкой.

— Директор Глоушек велел мне,— заговорил он приятно модулированным голосом человека, привыкшего с ходу располагать людей в свою пользу,— посетить вас и передать вам от него поклон.

Барох, в этот момент закуривавший, запыхтел так, что спичка погасла и из тонкой сигары вырвался голубой огонек.

Этот Барох многими чертами мучительно напоминал мне редактора Фридрихса, хотя производил гораздо менее приятное и более грубое впечатление и прежде всего был весь — сплошное самодовольство.

— Глоушек,— захрипел он.— Я уж почти забыл о его существовании. Гмм... Человек в своем роде замечательный, но провинциальный до мозга костей, и никогда из него ничего не выйдет, кроме бродячего комедианта. Это не брань, молодой человек, это просто факт. Выше головы не прыгнешь. Ни на дюйм.

Великий человек пришел в прекрасное настроение. Отмечая недостатки других, он сильней ощущал свою исключительность. Вилем усиленно ему поддакивал, придавая своим репликам такой оттенок, чтоб было ясно, кого он считает самым даровитым театральным деятелем. Мало-помалу оба обнаружили, что между ними есть что-то

общее: обоих гнало алчное желание во что бы то ни стало прорваться на первые места, хотя Вилем присоединял к этому изрядную долю здравого смысла и способность инстинктивно отличать дурное от хорошего.

Неожиданный оборот, который грозила принять история Вилема, так меня взволновал, что я не мог больше оставаться в постели. У меня по отношению к этому молодому актеру были совершенно другие намерения, а тут вдруг произошло нечто, вовсе им не соответствующее. Может быть, если я прерву на минуту свои мечты и вернусь к моменту встречи, то обнаружу, почему я сбился с правильного пути.

Я быстро оделся, поднял железную штору и впустил в мастерскую солнечный свет. Сбегал за бутылкой молока и булкой и, поставив молоко греться на спиртовке, обтерся весь холодной водой. Потом позавтракал. Делая все это, я усиленно размышлял над вопросом, в чем моя ошибка. Но так и не обнаружил ее. Просто я не учел того Бароха, который вылупился из разговора с Вилемом. Считал бесспорным, что он выгонит Вилема с первых же слов, а он, наоборот, почувствовал к нему симpatию.

Барох был закоренелый холостяк, человек без семьи и привязанностей, деспот, окруженный доносчиками и подхалимами, расплачивающийся услугой за услугу. Во время разговора с Вилемом ему первый раз в жизни, безраздельно отданной погоне за властью и успехом, пришло в голову, что — надо бы иметь семью, иметь сына, который вполне мог бы быть того же возраста, что Вилем. Благодаря этой поразительной мысли, заставившей Бароха довольно долго молчать, интерес его к этому смелому и смышленому юноше сильно возрос.

Они говорили о театре и прежде всего о пьесах, поставленных Барохом. Вилем, не посещавший Национального театра со школьной экскурсии в Прагу, выдавал за свои мнения хорошо спрессованную смесь из театральных отзывов, которые он жадно глотал с детских лет. Надо отдать ему справедливость, он говорил то, что действительно думал, так как на основании этих газетных статей составил себе самое лучшее мнение о постановках Бароха, и, кроме того, тут играла роль естественное желание понравиться режиссеру.

Он говорил уже с полчаса, когда Барох вдруг сообразил, что еще не знает, актер ли этот юноша и почему, собственно, он к нему пришел. Забыв свою обычную спешку, так как он на самом деле был человек очень

занятой,— он болтал по-стариковски. Но теперь спохватился и тявкнул самым грубым образом:

— А что вы делаете у Глоушека, молодой человек?
Бухгалтером работаете?

Вилем смущался и покраснел. Неужели он в самом деле выглядит заурядным конторским служащим, так что этому театральному деятелю даже в мысли не приходит, что он может быть актером?

— Я играл у него первых любовников.

— Играли? — ухватился Барох за прошедшее время.

— То есть играю.

Прежняя самоуверенность покинула Вилема, он все больше запутывался в неожиданном неловком объяснении.

— Я еще не разорвал контракта.

— Еще не разорвали контракта,— повторил Барох с многозначительным подчеркиванием, и острый взгляд его маленьких глаз скользнул по лицу Вилема.

— Я неправильно выразился,— продолжал Вилем, стараясь вернуться к прежнему тону.— У меня нет намерения разрывать. У Глоушека мне нравится.

Бароховы глазки прикрылись веками. Казалось, им внезапно овладела дремота, как бывает у толстяков. Довольно долго только его тяжелое дыхание нарушало священную тишину кабинета. Сигара, которую он держал во рту, погасла. Это его разбудило. Торжественно зажигая ее вновь, он опять поглядел на Вилема.

— У Глоушека неплохая труппа,— медленно промолвил он.— Но вы не производите впечатления человека, который не стремился бы к чему-то лучшему. Еще не пробовали?

— Не было подходящего случая. Это у меня только второй ангажемент.

Барох кивнул и продолжал молча курить. Вилем сжал влажными ладонями ручки кресла: он чувствовал, что сейчас в могучем черепе режиссера решается его судьба. Слова были уже излишни. Если Барох сейчас встанет и простится, надо будет просто уйти. Сердце его билось быстрыми, сильными ударами, так что гудело в голове. Но вдруг это прекратилось, и Вилем почувствовал гордую уверенность, что его желание исполнится, он своего достигнет.

— Я хочу вас попробовать,— промолвил Барох словно про себя.— Прочтите мне что-нибудь. Есть у вас какой-нибудь монолог? Ладно, давайте.

Меня так взволновал этот ответственный момент в жизни моего героя, что я встал из-за стола, прервав свой завтрак, и, остановившись посреди мастерской с половиной булки в руке, принялся читать знаменитый монолог Сирано, так как именно его выбрал Вилем, чтобы поразить Бароха.

Откинул шляпу прочь большую
я грациозно. Вон она...

Господи, зачем я не стал актером? Я упивался восторгом, брызжущим из этих слов, заносчивых, хвастливых, но искренних и смелых. Как скрытая в них личность вылупляется из их гладких кожурок, как она входит в меня, как я вдруг весь полон ею, словно сам уже не существую! Друзья мои, да ведь это несказанная красота — в упоении любви к чужому духу избавиться от своей изношенной души, словно от одежды с прорваными локтями, перестать быть подавленным, усталым, незадачливым, маловерным господином. Никто и превратиться в смелого юношу, искрящегося духовным светом, пылающего любовью, смеющегося над своими неудачами рыцаря чести и благородства, певца и воина со шпагой и лютней, с сердцем, полным иронии и доброты...

Я был один в пустом чулане, откуда не выветрился запах кадки с мокнущими кожами, — но представьте себе, если бы я стоял на сцене и тысячи глаз впивались бы в мою фигуру с твердой верой в мое перевоплощение... Остался ли бы я таким же, каким был перед тем? Хотел ли бы даже быть им? Находился ли бы в первоначальном своем состоянии? И не изумительна ли эта способность так забывать себя и оказываться всякий раз то тем, то другим?

Когда-то я занялся было этим ремеслом, но у меня дело не пошло. Те жалкие фигурки, которые мне удавалось создать, постоянно разваливались из-за моей беспечности, которая вылезала из них, словно грубая набивка. Теперь я впервые пережил чудо перевоплощения, — правда, не сам, а через посредство Вилема. Я стоял там как посторонний, сам себя не понимая. Я создал персонаж, и он открывает мне миры, о которых я представления не имел, а если и имел, так не умел в них войти.

Как же это, собственно, назвать, когда один выходит из другого? Хаосом или порядком? Вилем, порожденный моими представлениями и жаждой создать какое-то лицо, становится моим учителем и подчиняет меня своей воле! Заметили вы, что он устроил мне с Барохом? Я подсунул

эту высокомерную личность, этого пожирателя молодежи и идолопоклонника признанных величин только для того, чтоб он с первых же слов выставил Вилема за дверь. Но дальше произошло то, чего я никак не предвидел, но чему не мог помешать. Барох вдруг расчувствовался, что с ним редко случалось; он с изумлением заметил свое одиночество, а в этом юноше ему понравились смелый взгляд и то, что за прямым лбом его жили такое же тщеславие и такая же напористость, какие подгоняли его самого.

Однако мы должны отказаться от упоительного восторга, захватившего меня при чтении монолога Сирано. Вилем, продвинувшийся значительно дальше в сложном ремесле актера, знал, что нельзя отдаваться этому чувству под страхом выйти из роли и стать смешным, что, наоборот, если хочешь играть правдиво, надо им надежно овладеть.

Я сел слегка повесив нос, за свое теплое молоко с булками и стал напряженно следить, как развернется борьба Вилема за то, чтоб устроиться в Праге. Выразительные средства его не получили еще полного развития, но он уже избавился от дилетантских безделушек и балаганного шаржирования. За недели, проведенные в Горжине, он сберег все, чему его научил Палас, и прибавил к этому много своего, так как умел подмечать и перенимать, наблюдая игру товарищей и безошибочно отличая при этом правду от фальши.

Одно из великих правил Паласа гласило: «Не раскрывайся заранее. Ты должен действовать осторожней, чем игрок, чтоб никто не знал, какие у тебя козыри на руках, пока ты не сделал первого хода». И вот так, мягко, без подчеркивания, и в то же время ясно показывая, что здесь стоит кто-то другой, не актер, с дрожью в сердце домогающийся ангажемента, начал Вилем свой монолог Сирано и повел его с возрастающей силой, играя стихом, словом, жестом, словно фехтовальными фингами, выпадами, парадами,— так что Барох даже перестал курить и пыхтеть.

— Гим,— промычал он, когда Вилем кончил.— Что можете еще?

Вилем сыграл Ромео в сцене у балкона.

И опять наступила тишина, в которой слышалось лишь хриплое дыхание Бароха и чмоканье его толстых губ, сосущих непокорную сигару.

Вилем отчетливо слышал также биение своего сердца, но старался казаться лишь в меру взволнованным, так как притвориться совершенно равнодушным значило бы обидеть Бароха.

— Ну,— тяжкнул наконец режиссер, куда-то по направлению к окну,— ладно. Будем скромны и допустим: сыграли. Во всяком случае, похоже на это. Как по-вашему: могли бы вы начать у нас именно в роли Сирано или Ромео?

Вилем улыбнулся. Он уже знал, как держаться с этим человеком, уже чуял, что эта огромная гора мяса вовсе не так неприступна, как он представлял себе на основании бесконечных рассказов, ходивших и среди провинциальных лицедеев, уже догадался, что Барох имеет на него свои виды и что, можно сказать,— его дело в шляпе.

— Важно не как по-моему, а как по-вашему. Я знаю, что мне нужно еще много учиться, но в одном я уверен.

Вилем запнулся, как бы спохватившись, что сказал слишком много и что ему следовало бы держаться скромней. Он разыграл это так тонко, что даже старый знаток всяких актерских уловок попался на удочку.

— А именно?

Вилем с трудом подавил улыбку, довольный, что так хорошо клюнуло, что стариk задал именно тот вопрос, который ему, Вилему, был нужен и на который он имел уже готовый ответ.

— Что под вашим руководством я бы добился всего, чего вы от меня потребовали бы.

Барох продолжал курить, устремив взгляд в окно. Он привык к комплиментам и никогда не был ими сыт; человек одинокий, он возмешал ими недостаток других человеческих отношений. Знал за собой эту слабость, но не умел от нее уберечься, и актеры старшего поколения научились ею пользоваться. Он платил им той же монетой и внушал себе, что они его любят. А молодых боялся; от них он никогда не ждал ничего лестного; они принадлежали к другому миру, не к тому, в котором родился и жил он. Он был еще не стар, ему только недавно стукнуло пятьдесят, но у него было такое ощущение, словно его отделяет от них целое столетие.

Он раздумывал об этом, засунув руку за пазуху расстегнутой рубашки и поглаживая свою оплывшую, почти женскую грудь. Пальцы скользили по влажной, сальной коже, и он вдруг почувствовал отвращение к своему бесформенному телу. Оно отделяло его от мира, делало его нечувствительным к переменам вокруг, более старым, чем он был в действительности. Рука остановилась на сердце. Оно сидело глубоко под слоем жира, биение его было еле слышно. Он испугался, уж не перестало ли оно биться

совсем, но тут же почувствовал слабый удар, потом другой и так дальше, через порядочные промежутки. Медленно и лениво работала эта отучневшая мышца, утомленная ежедневной изнурительной работой, взваливаемой на нее той горой жира, которую ей приходилось питать. Бароха захлестнула волна горечи и возмущения; он хотел жить, хотел понимать, боевой дух его не допускал и мысли, чтоб его перевели на запасный путь. Теперь вот появилась возможность проникнуть в непонятное мироощущение молодых, а однажды проникнув — знать, какими овладеТЬ или по крайней мере как от них защищаться.

— Сядьте,— предложил он Вилему, который еще стоял, окончив монолог Ромео, и начинал уж думать, что Барох готовит отрицательный ответ.

Он послушался, а Барох продолжал молчать, держа одну руку неподвижно на сердце, под расстегнутой рубашкой, другую вертя между зубами погасшую сигару. Он еще колебался: его недоверие ко всему молодому было всегда сильней мимолетных соблазнов случая.

Наконец он обратил к Вилему свое темно-красное, расплывшееся от жира лицо и хрипым, вызывавшим у других желание откашляться голосом промолвил:

— Я бы с вами попробовал. Несколько гастрольных ролей для начала; не ждите ничего крупного и пока никакой особенной выгоды. Но мне хотелось бы знать, как у вас с Глоушеком? Не станет он вас преследовать за нарушение контракта?

Вилем стиснул сложенные руки между колен, так что суставы громко хрустнули. Теперь, достигнув цели, он сам этому не верил. В нем поднялся такой порыв благодарности к этому хрипящему толстяку, что он готов был поцеловать его влажную жирную руку, похожую на небольшой пасхальный кулич. И в то же время он почувствовал острую потребность рассказать ему всю правду о себе, словно надеялся раз и навсегда избавиться от всего, что оставил позади.

Он взял себя в руки и заговорил спокойно, чуть не деловым тоном, как будто сообщал беспристрастные сведения о ком-то другом. Барох слушал его с изумлением. Нет, это совершенно другое поколение, чем то, к которому принадлежал он сам, трезвое, бесчувственное. Ему никогда не удастся понять этих людей. Но тут он вспомнил, с каким жаром и молодым пылом за минуту перед тем изображал его гость Сирано и Ромео, и задался вопросом, не являются ли его признания и бесстрастный тон, кото-

рым они делаются, только новым, еще более ярким доказательством его актерских способностей. Странное чувство, похожее на страх, нашептывало Бароху, что еще не поздно, что он может послать этого юношу, откуда тот пришел, что все, что он мысленно связывал с ним в будущем, — бессмыслица и что он уж как-нибудь доживет и доборется до конца по-своему, не заботясь о том, что творится в голове у этих молокососов, и доказав им, что у него достаточно силы с ними помериться.

— Глоушек вовсе не посыпал меня к вам,— так примерно говорил Вилем.— Это я выдумал, чтобы вы меня приняли. И хотя поступил предосудительно, что мне было делать? Как может рассчитывать молодой провинциальный актер, что руководитель лучшего чешского театра станет тратить на него время? Я слышал, как Глоушек хвалился дружбой с вами, и на этом построил свой расчет. И при этом все время опасался, что Глоушек, может быть, хвастал зря.

Барох издал какой-то булькающий звук, который можно было принять как знак несогласия либо как смешок.

— Мы в самом деле были когда-то немного приятелями. Глоушек давал мне в долг, как и многим другим, обязывая нас этим к разным услугам. Он всегда был больше ростовщик, чем актер, и благодаря этому стал директором театра. Сколько он платил вам?

Вилем слегка улыбнулся.

— Об этом не стоит говорить. Я был у него всегонавсего дублером. Поступил в силу необходимости, после того как распалась Паласова труппа.

Услышав это имя, Барох оживился и поглядел на Вилема, словно обнаружив в нем нечто новое.

— Вы были у Паласа? Я сразу подумал, что прошли какую-то хорошую школу. Я играл с ним в Пльзени. Он понимал театр, как немногие. И актер и режиссер был замечательный. Кто знает, может, сидел бы на моем месте теперь. Но он был чудак.

— Это был самый лучший человек, какого я только знал,— сказал Вилем с неожиданным порывом.— Я обязан ему всем, что умею.

Барох окинул его быстрым взглядом своих маленьких глазок, но тотчас же опять устремил их в окно. Голубой дым на конце сигары колебался и расходился в разные стороны, разгоняемый его дыханием. Кожа у него опять начала покрываться потом. Он с отвращением мял

ее, чувствуя под рукой сильные, неправильные удары сердца.

Кто выжил в свое время Паласа из пльзенского театра, кто не дал ему попасть в Национальный? Все это уже старая забытая история, можно сказать, пепел, просто пепел — и вот вдруг оказывается, под ним еще столько горячих углей, которые больно жгут. Что можно было сделать, раз оба шли к одной и той же цели, а для двоих места не было? Может быть, сама судьба посыпает ему последнего Паласова ученика, чтобы на нем исправить вред, нанесенный учителю.

— Я читал о его смерти в газетах,— повернулся он к Вилему.— Это в самом деле был несчастный случай, как писали?

Вилем с невероятным усилием выдержал пытливый взгляд Бароха. И голосом, почти таким же хриплым, как у него, ответил:

— Полагаю, что именно так.

Барох сразу понял, что он не один виноват перед Паласом, что вот этот юноша скрывает вину, быть может, гораздо более тяжкую, и вдруг почувствовал, что он ему еще ближе. Паласу не везло, и жизнь его неудачно сложилась оттого, что он водил знакомство с неподходящими людьми. Неужели Барох должен был уступить ему место, сказав: «Пожалуйте, милости просим», — если был уверен, что сам сумеет сделать гораздо больше... И на этот раз снова подтвердилось, что жизнь идет навстречу не самым талантливым, а самым дельным и ни перед чем не робеющим. Барох занимает теперь самое высокое положение в чешском театре, а Палас заморил себя до смерти скитаниями по провинции. Так-то. А этот юноша как будто того же поля ягода, что и он, Барох.

Наклонив вперед тяжелую голову, он запыхтел и промолвил:

— Договорились, молодой человек. Попробую вас. Приходите завтра в половине девятого, — я скажу вам, что делать.

Вилем остался в Праге. На это я меньше всего рассчитывал. Я думал, что ему долго еще придется бродяжить по провинции, и приготовил для него всякие происшествия, которые должны были там с ним случиться, а теперь все это — лети к черту!

Ладно, пускай летит, в таких вещах не надо быть скрягой, если не хочешь самого себя заподозрить в том, что экономишь из необходимости, по нужде. Махнем побарски рукой: потеряв какой-то там эпизод, мы не разоримся, а каждый утраченный заменим десятью новыми, лучшими. Вот жест готов, а дальше — что? Но с какой стати буду я ломать себе голову над такими вопросами? Положение, в которое я привел Вилема или до которого он сам дотянулся, чревато самыми драматическими возможностями. Разве не обнаружилось, например, что с Паласом далеко еще не покончено? Это большая неожиданность. Тело доброго старика разлагается в каком-нибудь омуте Рычной, но вот на наших глазах встретились двое, сыгравших черную роль в той расправе, которую учинила над ним жизнь.

Я начал делать заметки, чтобы уловить хотя бы самые общие очертания нового этапа в биографии Габы. Когда я попробовал набросать хоть мельком портрет Бароха, мне бросилось в глаза бесспорное сходство между этим человеком и редактором Фридрыном. В Барохе Фридрыновы черты были излишне подчеркнуты; а внутренним обликом своим они лишь слегка соприкасались: у Бароха характер был тверже и воинственней, чем у Фридрина, который представлялся мне человеком вялым, не способным добиться значительного места в жизни. Барох вышел у меня злой карикатурой на Фридрина. Это меня поразило. Мне не хотелось переделывать Бароха, он останется таким как есть, потому что не может быть иным, но был ли у меня зуб на Фридрина? Он вернул мне рассказ, опубликование которого имело для меня большое значение, но я больше сердился на несчастное стеченье обстоятельств, а его извинял. В конце концов мне было жаль его, так же как Паласа, благодаря сходству их судьбы.

Эта нечаянная аналогия заставила меня прийти к выводу, что работа, совершаемая мозгом человека, выдумывающего историю, — родная сестра рудокопной работе сновидений во время глубокого сна, что она, подобно сну, выносит на поверхность чувства и порывы, которые мы подавили, прежде чем успели их осознать. Мысли, несомненно, уходят корнями в плодородную почву сновидений, для которой действия, совершаемые наяву, представляют собой лишь зерна, дающие более чистые всходы, а поэтические вымыслы — не что иное, как предохранительный клапан, доставляющий облегчение людям, которые воспринимают действительность слишком болезненно. Почек-

му, например, Вилему, как и мне, все время приходится решать: солгать или сказать правду? И почему он решился сказать правду, а я вынужден по-прежнему пребывать во лжи? Да в самом ли деле вынужден? Разве нет более честного выхода?

Я не находил для себя извинений. Просто пошел по линии наименьшего сопротивления и из трусости не постарался исправить свою ложь, хотя дрожу, как должник, при мысли о сроке уплаты по векселю. Но я не могу сказать Аде и Ярмиле: «Я наврал вам, как мальчишка, разбивший стекло». Остается одно: превратить ложь в правду, переговорив еще раз с редактором Фридрыном.

Оправдываться не стану: это не приведет к цели. Объяснение содержится в рукописи моего романа, и надо надеяться, что Фридрын сам на него натолкнется. Попрошу его, чтобы он перечел написанное мной до сих пор, так как у меня нет никого, на чей приговор я мог бы опереться в дальнейшей работе, но в то же время подчеркну, что я пришел не за тем, чтобы поколебать его решение и снова добиться его благосклонности. Ему трудно будет отказать мне в этом одолжении, а в процессе чтения он убедится, что рассказ, который так его обозлил, является органической частью целого и что я не имел намерения его оскорбить.

Я тщательно завернул нескрепленную рукопись романа и положил ее в старый портфель, в котором носил свой завтрак, когда был еще солидным служащим. Ключ от мастерской я отдал дворничихе и попросил ее открыть служанке пани Росновой, когда та принесет мне обед. Потом позвонил из автомата Ярмиле и сказал ей, что нынче в полдень я сильно запоздаю, а может быть — и вовсе не приду. В последнее время я ходил к ней после обеда пить кофе, что тетя Анна наблюдала с возрастающей тревогой, хотя продолжала притворяться приветливой.

Было около одиннадцати, когда я спускался по Летненскому косогору к мосту. Погода вдруг сильно изменилась, солнечное утро перешло в хмурый полдень с резким ветром и низкими тучами, из которых стало накрапывать. Я не успел еще дойти до редакции «Чешских лугов», как пошел дождь. Не ливень, но, видно, заладил надолго. Ветер утих, дождь сеял ровно, с тихим шумом, причмокивая от удовольствия. Стало зябко, словно каждая из этих

маленьких капель, разбившихся о мостовую, была начинена холодом.

Я спрятался в большой подворотне против входа в издательство. Здесь пахло шерстяными тканями и чугуном, так как фабричные склады выжили из этого дома обычных нанимателей. За моей спиной, в глубине двора, куда вели ворота, урчал мотор большого грузовика с каким-то товаром, укрытым брезентом. Я долго стоял там, дожидаясь подходящего момента, и все это время подворотня сотрясалась гулким пением покинутой машины. От дождя я поднял воротник пиджака и казался самому себе каким-то отверженцем. Даже воспоминание о Ярмиле было не в силах придать мне бодрости. В конце концов человека моих лет любовь женщины может радовать только при том условии, если он знает, что в состоянии быть для этой женщины опорой в жизни. А мне было невозможно даже думать об этом.

Куда я ни подамся, всюду натыкаюсь на каменную стену. Отчего мне так не везет? Разве я не работал упорно, не покладая рук, с тех пор как оставил место учителя в Мазурской торговой школе? Переводил и писал, бегал и набивался со своими талантами, до изнеможения напрягая свой мозг, чтобы создать книгу, которая с места в карьер сразу захватила бы и доказала, что я не лыком шит. А какой результат, спрашивается? Семьдесят страниц, которые я тревожно прижимаю под мышкой и о которых ничего не известно, кроме того, что десяток их в форме рассказа были возвращены мне с подозрительной мотивировкой, причем заодно я лишился источника существования.

Я испытывал странную смесь чувств. Страдал, думал о своей части и в то же время раздувался от совершенного, казалось бы, необоснованной гордости. «Валяй! — думал я. — Мне нипочем». И нарочно растреплял свою горечь, чтобы побудить себя к решительным действиям.

Дождь полил сильней, струи побежали к водостокам, мостовая зачещуилась лужами, по которым дождь принял-ся барабанить ожесточенным tremolo. Прохожие спешили, кто укрывшись под зонтом, кто уйдя головой в поднятый воротник пальто. Это был уголок, где жизнь все время мчалась вперед. Казалось, всех этих посыльных, слуг, мужчин с портфелями, все эти грузовые и легковые машины не остановит даже новый всемирный потоп. Это повергло меня в уныние. Было видно, что все они занимали твердое место и выполняют строго определенную задачу

в общем миропорядке,— только я все время вишу между небом и землей, ни с чем не связанный, никому не нужный, ни для кого не желанный. Ближние отвернулись от меня, после того как я объявил, что не хочу быть ни бухгалтером, ни журналистом, ни младшим учителем. Ну кому какое дело до того, что я вздумал писать книги? Чем я вам мешаю, господа? Конечно, сорокалетний начинающий — это по меньшей мере смешно...

Судите сами, насколько лучше в этом отношении Вилем Габа. Я выдумывал препятствия, чтобы затруднить его восхождение на вершину, а оказалось — они ему нипочем. Я отправил его и Бароху попросту для того, чтобы посмотреть, как ему обломают рога, как этот старый театральный самодержец выставит его вон за дерзкую назойливость либо за плохую игру, и уже готовил для незадачливого честолюбца в дальнейшем трудный путь, который был бы в той или иной степени отражением моих собственных бесплодных усилий. А этот стареющий лев в совершенно неуместном припадке чувствительности расстроил все мои планы. И все-таки,— порадовался я,— Вилему повезет не больше, чем мне.

Он тоже так думал. Выходя из театра, он походил некоторое время по противоположному тротуару, глядя на это здание, казавшееся ему теперь еще прекрасней и еще более похожим на виденье, готовое развеяться при первом дуновении ветра.

Как и ночью, он опять сел на скамейку против него и повторял себе до одури, что будет играть там, внутри. Так он просидел добрых два часа в состоянии тихого помешательства, упиваясь своим счастьем. Потом дал себя знать голод, вызвав мысли другого рода. Ну хорошо, он будет выступать в тех или иных маленьких ролях, видимо, в дневных спектаклях, где меньше ответственности и не приходится бояться скандала в случае неудачи. Может быть, такими выступлениями можно будет что-нибудь и заработать, хотя об этом не было речи. Но кто знает, когда они начнутся, а пока — на что он будет жить, где спать? Можно было бы вытребовать из Горжина свои чемоданы и продать что-нибудь лишнее из гардероба, но куда их вышлют, если у него нет местожительства?

Он раздумывал над своим положением без особого страха. Какой-нибудь выход должен найтись; не затем же досталась ему такая изумительная драгоценность, чтоб он немедленно ее потерял из-за того, что нечего есть и негде жить.

В этих затруднительных обстоятельствах он вспомнил об Эве: если б посоветоваться с ней; в таких вещах она была всегда сообразительней его. Он громко засмеялся, не обращая внимания на то, что несколько прохожих на него обернулись. Никогда уж больше не советоваться ему с Эвой! Только тут почувствовал он по-настоящему печаль от этой утраты. Никогда. А ведь казалось, любовь их будет вечной. Разве не ради нее погиб один из лучших людей на свете?

Жестокая бессмыслица этого факта, подтвержденная крушением того, чему Палас принес себя в жертву, навалилась на Вилема с давящей тяжестью кошмара. Он покорялся ей без сопротивления, с чувством пустоты в груди. После напряжения этих дней, а главное, последних часов, он вдруг потерял всякую веру в необходимость идти дальше тем путем, на который вступил не по своей воле, и его потянуло домой.

Он понежился этой мыслью в печальном умилении. Знал, что мать и Ганча по-прежнему ждут его и приняли бы его с распростертыми объятиями, если бы он вернулся даже больной, оборванный, вшивый. Ему есть куда вернуться, когда станет совсем плохо, но, как ни странно, именно эта уверенность убеждала его в том, что позади у него все мосты сожжены, так как он уже не тот, что был, а глубоко перепахан всем пережитым, совершенно перестроен своим влечением к театру.

Быть может, именно эти мысли о перемене, произшедшей с ним после того, как он ушел из дома, пробудили в нем воспоминания о сестре отца. Вилем только слышал о ней, но никогда ее не видел, так как она незадолго до его рождения уехала из города и его родители не поддерживали с ней отношений. Двадцатилетней девушкой, перед самой свадьбой с почтенным местным торговцем, она влюбилась в важного чиновника, уже не первой молодости, но холостого, приезжавшего тогда в наш город по праздникам. Это был человек состоятельный, единственный сын у матери-вдовы, которая души в нем не чаяла, дрожа при мысли, что он может покинуть ее ради другой женщины. Имя девушки было Станислава, но в доме Габов ее продолжали называть уменьшительным Сташа, даже после того как она возмутила всю семью, уехав с этим человеком в Прагу, поселившись там в качестве его любовницы и живя на его содержании, пока мать ее вечного жениха не умерла. Длилось это добрых двадцать лет. Непростительный грех для девушки, принадлежащей к такой

выдающейся семье, какой считали у нас в городе семью Габов! Поэтому о ней говорили только при закрытых дверях и порвали с ней все отношения. Сташа, не столько искренне, сколько из ехидства, посыпала им по семейным и большим церковным праздникам поздравления, но они не отвечали, озлобляясь при мысли, что почтальон, прежде чем прийти к ним, ходит по домам и всюду дает читать ее поздравительные открытки.

Сташа покрыла свой грех законным браком со своим долголетним возлюбленным, но после этого уж не проявляла интереса к тому, чтобы семья отнеслась к ней как к исправившейся грешнице и супруге чиновника высшего ранга. Впрочем, замужество ее длилось недолго, так как муж через три года умер, оставив ей, кроме порядочной пенсии, и значительное состояние.

Как же ее фамилия по мужу? — старался припомнить Вилем. Дома он по большей части слышал только «Сташа», и провинность ее, и самое представление о ее личности, в годы его созревания дразнившие его и тревожившие, ассоциировались в его памяти прежде всего с этим именем... Рыдлова! Станислава Рыдлова! Но как установить, где она живет в этом огромном городе?

Вид полицейского, управлявшего при помощи гимнастических вольных движений потоками транспорта на перекрестке между театром и мостом, дал ему ответ на этот вопрос. Двадцать минут спустя он уже выходил из полицейского управления с адресом Станиславы Рыдловой в кармане. Она жила на Смиловской набережной, почти напротив театра, в одном из тех величественных и надменных доходных домов, где на каждом этаже — один квартрант. При виде этого дома Вилем совсем упал духом. Он долго ходил по тротуару, прежде чем решился заглянуть в подъезд.

Красная кокосовая дорожка стекала по парадной лестнице; придерживавшие ее желтые медные прутья, отражая поток света, вызывающие блестели. У подножия лестницы стояли две большие гипсовые вазы, с которых сбегали нежные зеленые волосы аспарагуса. Выше, на площадке, были вделаны в стену друг против друга два больших хрустальных зеркала. Было прохладно, и чуть-чуть, еле заметно, чем-то приятно пахло, — трудно сказать, чем именно, но получалось впечатление, что — порядком, чистотой и богатством. Всюду царили полумрак и абсолютная тишина.

Знаете, я могу себе представить, как чувствовал себя

Вилем, ни разу до того в таких домах не бывавший, когда наконец набравшись храбрости он стал подыматься по чуть поскрипывающему ковру. Я тоже однажды шел по этому ковру — чтобы повидать человека, который должен был устроить меня на замечательное место, такое замечательное, что вопрос о моем положении в обществе был бы решен раз и навсегда, но который, заставив меня долго прождать в передней, потом велел мне передать, что, к сожалению, ничего не может для меня сделать. В эту минуту мне показалось, что я буду до самой смерти ненавидеть эти дома динамитной ненавистью; но теперь, когда я вижу в стенах подобного дома Вилема, то чувствую, что мне в них нравится и меня туда тянет.

Дом был четырехэтажный, но Вилему нужно было на второй. Здесь были только одни двери, высокие, двусторчатые, казавшиеся еще выше благодаря украшающему их сверху фризу, темно-коричневые, с ручкой, отделанной слоновой костью, и на них — медная дощечка с красиво выгравированными словами: «Станислава Рыдлова». Он нажал кнопку, и вдали отозвался еле слышный звонок.

Ему открыла самоуверенная, хитрая служанка в черном платье, белом чепчике и переднике чуть побольше носового платка. Она недоверчиво оглядела посетителя, видимо, не зная, к какому сорту его отнести.

Вилем, которому она скорее понравилась, хотел начать с какой-нибудь из тех испытанных шуточек, при помощи которых он в свое время так легко снискивал симпатию девушек, но холодный, неприступный взгляд ее тотчас вернул его к мысли о действительной причине его прихода. Он взял тон человека, знающего, что ему надо, и не имеющего желания долго разговаривать с прислугой.

— Никак нельзя, — ответила девушка на его вопрос. — У барыни гости.

Но Вилем был не робкого десятка, и через минуту девушка, уже удивленная и пробующая приветливо улыбаться, повела его через прекрасную переднюю в приемную, обставленную светло-коричневой мебелью в стиле ампир; здесь она попросила подождать, — барыня сейчас выйдет.

Бледно-зеленый шелк на креслах и сиденьях стульев, горошковая зелень гладких обоев и щебечущее многоголосье часов, которых было развезено и расставлено в комнате не меньше десятка, способствовали тому, что Вилему стало казаться, будто он очутился в забытом уютном уголке старого сада. Часы были старинные и, насколько он

мог судить, очень ценные, со знаком орла и солнца, с але-бастровыми колонками и фигурками античных богинь, некоторые с украшениями из золоченой бронзы; и все шли точно, как он убедился, переходя от одних к другим.

За спиной у него открылась дверь, и кто-то тихо вошел в комнату. Он быстро повернулся, чувствуя, что краснеет, как мальчишка, застигнутый во время какой-нибудь проказки.

В сафьяновых домашних туфлях на высоких каблуках, навстречу ему твердым шагом шла маленькая, изящно и просто одетая дама, с живыми, но сдержанными движениями, с еще девичьим станом и следами былой красоты на увядшем лице. Серебряная проседь в черных волосах не старила, а скорей украшала ее.

— Вилем Габа? — вопросительно промолвила она. — Значит, сын Вилика и мой племянник?

Вилем смущился больше, чем ожидал. Она вызывала восхищение, уважение и в то же время дразнила его творческую фантазию. Как жила эта женщина, чей голос и каждый жест свидетельствовали, что она была своя в обществе, в котором ему до сих пор никогда не приходилось бывать? Сестра его отца, его грузного, одышливого папы с красными обмороженными руками и изуродованными ревматизмом пальцами. Это казалось невероятным. А у них дома о ней слышать не хотели, — сразу лица и рты на запор, только кто невзначай произнесет ее имя.

Он постарался попасть ей в тон.

— Да, — ответил он. — Но мне сказали, что у вас гости. Могу подождать. Я не вправе вторгаться к вам прямо так, без предупреждения.

— Нет, нет, пожалуйста, — легко возразила она.

Указала ему на одно из кресел и сама села напротив.

— Это двое старых друзей. Они охотно подождут.

Вилем сразу понял: тетя не знает о смерти своего брата и рассчитывает, что разговор будет непродолжительный. Он был в затруднении, как начать. Она держалась по-прежнему равнодушно-приветливо, но в голосе ее почувствовалась горечь, когда она спросила:

— Вас прислали родители?

— Я пришел сам, — тихо промолвил Вилем, пристально глядя ей в глаза.

И, сделав короткую паузу, прибавил:

— Папу третьего дня похоронили.

Мгновенье был слышен только щебет часов. Тетя Стас

ша вперила в пространство внезапно потускневший взгляд, словно стараясь рассмотреть в дали времен лицо, которого никогда уже не увидит. Потом поднесла к губам скомканный платочек, который держала в руке, глубоко вдохнула освежающий аромат, которым он был пропитан, и деловито осведомилась:

— Скажите, что привело вас ко мне?..

Часы начали бить низкими, певучими голосами, — только не те, что в ампирной гостиной Сташи Рыдловой, а башенные, высоко над пражскими крышами, и их медленные, расплывающиеся в густом, сыром воздухе удары выгнали меня из этой приятной обстановки в подворотню, где был сильный сквозняк.

Близилось решающее мгновенье, решающее и для меня и для Вилема. Сейчас из мастерских и канцелярий хлынет народ, спешащий обедать, выйдут и служащие издательства «Чешские луга». Я бы должен сбрать всю свою образительность и отвагу, но мне не хочется думать о себе, не зная, что с Вилемом...

Скорей, скорей, надо торопиться! Ах, если б моя судьба была так же ясна, как Вилемова. Он сообщил тете Сташе о себе все, что считал нужным, а она слушала, устремив взгляд в окно за его спиной, следя, может быть, больше за историей своей собственной жизни, чем за его повествованием. Когда он кончил, она встала и протянула ему свою холеную руку с тонкими пальчиками, — девичью руку, не тронутую старостью.

— Значит, ты тоже заблудшая овца, — промолвила она, легко и непринужденно переходя на ты. — Будешь жить у меня, сколько тебе понадобится. Меня все равно гнетет одиночество. Только, боюсь, долго не выдержишь. Вокруг меня теперь уж больше воспоминаний, чем настоящей жизни.

Она замолчала, с улыбкой приложив к губам свой измятый платочек.

— Но почем знать, — может, окажусь тебе даже полезной.

Так вот примерно было дело.

Надо бы только немного углубить и развить, но в общем это — то самое...

Но вон уже барышня из редакторской приемной. Хмурился на дождь, как будто это — неприятность, которую небеса нарочно устроили ей. На ней плащик из прозрачной резины, в котором она выглядит еще пухлей, чем обычно. Поджимает лапки, ступает осторожно, словно кошка по

грязи, и круглый задочек ее при ходьбе комично покачивается за прозрачным экраном.

Никогда бы не поверил, что в издательстве работает столько народа. Видно, культура — дело нешуточное, ежели кормит такое количество ртов. В этом потоке я узнал бухгалтера и кассиршу, появился и мой бледный приятель из редакторской приемной, с лицом, наполовину ушедшем в поднятый воротник дождевого плаща. После него из сумрака ворот издательства никто не показывался.

Только тут я сообразил, что отправился к редактору Фридрыну, не имея продуманного плана. Я довольно неопределенно представлял себе, что подойду к нему на улице, когда он пойдет обедать. Но попробуйте-ка заговорить на улице с человеком, который настроен против вас и спешит домой по дождю, голодный. Я пришел к выводу, что затеял глупость, но не знал, что предпринять и как действовать иначе.

Я продолжал стоять, рассчитывая неизвестно на что и завидуя Вилему Габе, который так легко нашел выход из затруднения. Да что там — выход из затруднения! Ведь этот юноша, переступив порог квартиры Сташи Рыдловой, выиграл все свое будущее.

Двадцать пять лет очаровывала Сташа Рыдлова определенные круги пражского общества, кишевшие высокопоставленными чиновниками, крупными помещиками, большинство которых уже позабыло, как выглядят корова, директорами банков, фабрикантами, а также удачно вышедшими замуж прима-балеринами и актрисами, за которыми тянулись их друзья из числа общепризнанных деятелей искусства.

Ее связь с начальником департамента Рыдловым была всем известна и, после некоторых колебаний, признана как супружество. Впрочем, в обществе того времени господствовали во многих отношениях иные, более свободные взгляды по сравнению с прежним. Оно пришло к удобному для него убеждению, что ему чужды консерватизм и мелочность предшествующих поколений и что людям, занимающим достаточно высокое положение в обществе, чуть не все позволено. Сташа была во многом дитя своего века, но к своей связи с Рыдловым относилась серьезней, чем ее замужние приятельницы к обязательствам, налагаемым законным браком, как с удивлением обнаружили многие ее поклонники.

Мужчины слетались к ней, как мотыльки к лампе, и не прекращали своих бесплодных усилий, даже убедившись,

что им никогда не удастся проникнуть сквозь ограждающее стекло — к самому источнику света. Стася обладала таким ясным умом и таким прирожденным чувством юмора, что умела сделать их своими друзьями на всю жизнь и на те поздние сумрачные дни, когда красота начинает опадать и от всей прелести остались лишь блуждающие отголоски былых песен.

Любопытно, какую огромную роль имели для человеческого и творческого развития Вилема женщины. Не находя их на своем жизненном пути, я завидую ему. Сперва Ганча, потом Эва Паласова, а теперь эта хрупкая и энергичная тетушка, сумевшая даже свое старение превратить в процесс, полный трогательного очарования, — сохраняя большую часть своей физической и духовной гибкости, но не стирая в тщетном желании нравиться его следов со своего лица...

Два удара башенных часов, означающие половину первого, пробив над крышами домов, вернули меня к действительности. «Конец надеждам», — сказал я себе. И почти тотчас же в полуумраке ворот появилась слегка наклоненная вперед широкоплечая фигура редактора Фридрина. Он держал над собой зонт с таким видом, будто нес редкий экземпляр какого-то огромного гриба. Старый лоденовый плащ закрывал его гораздо ниже колен, на голове была помятая зеленая шляпа, — не то чтоб охотничья, но напоминающая охотничью. Отклонив зонт назад, Фридрын окинул критическим взглядом покрытый тучами небосклон — как человек, привыкший жить с природой душа в душу. Он, конечно, думал о лесах и о том, что эта влага побудит к бурной деятельности мицелий в их почве, прогретой знойным засушливым летом.

Башни вокзала вздымались неподалеку над кронами деревьев за садом в верхнем конце улицы. Он посмотрел на них; видно было, что его тянет туда. За ними — дорога в леса, где в мокром подросте блестят пестрые и мимикрично осторожные шляпки грибов. Он пожал плечами и пошел в противоположном направлении.

Выждав, пока он удалится настолько, что, оглянувшись, не увидит меня, я двинулся за ним. Сам не знал, что делаю, — просто шел и шел.

К этому времени улицы опустели: все, у кого был обеденный перерыв, уже сидели и обедали. Зачем, собственно, решил я за ним ползти, применяясь к его медленной, размеренной походке? Ведь кончится тем, что я прожду его перед домом, где он живет, потом потащусь

обратно, к редакции, и в конце концов вернусь домой в еще большем отчаянии и безнадежности.

Но произошло то, чего я не предвидел. Пройдя две улицы, Фридрын остановился перед малоприметным ресторанчиком, закрыл зонт, повертел его, чтобы стряхнуть с него воду, и вошел.

Теперь уж не припомню, сколько времени я тогда колебался, перед тем как войти за ним. Наверно, дождь заставил меня решиться на это.

Чтобы попасть в ресторанчик, надо было пройти пивной зал, как в Рюсселе трактире,— только помещение здесь было сводчатое и стены до половины обшиты темно-коричневой панелью. И в мутном свете дождливого дня, проникающего сквозь четыре не особенно широкие окна, сверкали на столах белые скатерти — величайший сюрприз для посетителя,— а над ними в узких вазах литого стекла кивали рококоисто-кудрявыми головками свежие гвоздики.

Все столики были заняты, кроме одного в темном углу, возле большого калорифера за ржавым экраном. Я направился к нему. Редактор Фридрын сидел один в противоположном углу, наискосок от меня. Он не заметил моего прихода и продолжал есть, заглядывая в раскрытую маленькую книжку, которую положил возле тарелки.

Посетителям прислуживали худой ученик с оттопыренными прозрачными ушами и взъерошенной светлой шевелюрой и старый официант в лоснящемся фраке. Лысина и грязновато-серые висящие усы подчеркивали возмущенное выражение его лица, как бы говорившее, что от этого человека требуют больше, чем в его силах. Кажется, мое появление было ему особенно досадно. Он долго делал вид, будто не видит меня, и не обращал внимания на мой зов. Наконец подошел с меню в руках и с такой физиономией, словно грозился раз и навсегда отучить меня соваться куда не просят.

Хотя подобное обращение раздражало меня, я замечал его лишь мельком. Все свое внимание я сосредоточил на редакторе Фридрыне и вопросе о том, хватит ли у меня смелости подойти к нему, когда он кончит обедать. Он ел особенно медленно, так как при этом читал.

Я считаю эти мгновения, когда мы с ним поглощали свою полдневную пищу, самыми трудными и в то же время самыми захватывающими в своей жизни. Покончив с обедом гораздо раньше Фридриха, я отказался от пива и спросил большую чашку черного кофе. Он так приятно пах, был так вкусен, и скоро действенная сила его дала себя знать участвовавшим биением сердца... Вместе с приливом крови к лицу возросла и моя отвага. Как только перед Фридрихом оказалась чашка с черным кофе и он стал торжественно закуривать сигару, я тотчас же поднялся с места.

Пока я пробирался к нему между столиками, сжимая под мышкой свою рукопись, он опять погрузился в чтение и не замечал меня до тех пор, пока я не остановился перед ним и не заговорил.

Но, уже здороваюсь, я сознавал, что голос мой звучит вызывающе.

— Разрешите на минуту подсесть к вам.

Он поднял свое тяжелое лицо и выпустил целое облако дыма, совсем окутавшись им. Серые глаза его без очков, которые он за минуту перед тем снял, прищурились и неподвижно уставились на меня, в то время как лицо еще больше побагровело. Я уже приготовился к тому, что он меня прогонит, как вдруг он ткнул перед собой сигарой, указывая мне на другой стул.

— Прошу.

Звук «р» получился у него дребезжаще-раскатистый, и сходство его с Барохом так бросилось мне в глаза, что я испугался, заподозрив себя в рабской копировке действительности. Только Барох был внутренне другой, он был великий хищник, человек, рвущийся к успеху, а этот — загнан в одиночество своей неспособностью с достаточным ожесточением драться за что бы то ни было.

Мы довольно долго молчали, глядя друг на друга, то избегая встречаться глазами, то снова вперяя друг в друга испытующий взгляд. Я не знал, как начать, все удачно придуманные фразы выскоцили у меня из памяти, но в то же время мне не хотелось показывать, что я его уж очень боюсь или привязался к нему для того, чтобы вымоловить сострадание. Ну, а он просто не хотел облегчить мне начало и теплился моей кажущейся растерянностью. Он громко прихлебывал кофе; наконец, поставив чашку, промолвил:

— Молчанье — приятное развлечение для старых дру-

зей. Но мы не настолько близки. Что, собственно, вам угодно?

Он попробовал устрашить меня насмешкой, но я, как ни странно, не струсили. В ту минуту я сам себя не понимал: ведь не было ничего легче, как вспугнуть меня. Не подействовал ли на меня пример этого дерзкого юноши Вилема, который так отважно втерся к Бароху и добился своего?

Положив рукопись, которую держал до тех пор под мышкой, перед собой на стол, я наклонился к Фридриху.

— Простите, что нарушаю ваш отдых,— сказал я самым учтивым тоном, однако без подобострастия,— но не вижу другого пути. Я полагаю, в редакции вы меня не приняли бы.

Фридрих ничего не ответил, только еще сильней задымил сигарой. Он пытался подорвать мою решимость, которую считал дерзостью, и таким образом отделаться от меня. Я в самом деле заколебался и лишь с великим усилием взял себя в руки. Я не мог, не смел так легко отступить.

— А мне так надо с вами поговорить,— удрученно продолжал я.— Прошу вас, скажите мне прямо, почему вы отказались от моих услуг?

Так как он не ответил, я продолжал говорить, теперь уже быстрей и настойчивей, стараясь как можно ярче подчеркнуть деловую сторону вопроса и не показать, какую боль он причинил мне своим поступком.

— Ведь вы сами сказали мне как-то, что довольны моей работой, прямо говорили, что я делаю ее лучше, чем она заслуживает. И вдруг узнаю, что вы не только в ней не нуждаетесь, но даже не хотите со мной разговаривать.

Он слушал, глядя в окно, но вдруг серые глаза его обратились ко мне. Я прочел в них явное желание, чтоб я убирался к черту.

— Почему вы думаете, что я обязан давать вам объяснение? Как, по-вашему, мог бы я делать свое дело, если бы каждый, кого я отстраняю, бегал за мной, вроде вас, и требовал, чтоб я оправдывался?

Он говорил, понизив голос и ворчливо, но я чувствовал, что он старается разгорячить себя и таким образом освободиться от смущения. И я знал также, что нельзя допускать, чтоб он довел себя до злобы.

— Господин редактор,— ответил я самым мирным

и рассудительным тоном, на какой в эту напряженную минуту был способен,— я хорошо понимаю, что не имею права ничего от вас требовать, но вы не представляете себе, какое значение имеет для меня ваш прямой ответ. Я уже не юноша, которому легко прийти в себя после такого отказа, как ваш. Я скажу вам всю правду о себе: у меня никогда не было для этого ни подходящего случая, ни смелости, но вам скажу. Двадцать лет я пробовал стать писателем и двадцать лет не мог закончить ни одного начатого произведения. И как раз та работа, которую вы мне доверили, доказала мне, что я в состоянии работать над вещью до тех пор, пока ее не окончу. Так я дописал первый свой рассказ после стольких напрасных попыток. Вы не поверите, сколько их было; вам никогда не пришло бы в голову, что по свету ходит человек, до такой степени одержимый своими виденьями и в то же время до такой степени неспособный воплотить их в действительность. Теперь мне это удалось, и, я уверен, только благодаря вашему содействию. И вот этот рассказ, который был для меня осуществлением двадцатилетней мечты и надежды на новую жизнь, вы вернули мне без единого слова объяснения и в конце концов даже не допустили меня к себе, хотя до этого обращались со мной так любезно. Поймите же, я прошу вас, чтобы вы мне указали причину. Ведь если рассказ просто плох, вы бы не поколебались сказать мне это.

Во все продолжение моей длинной речи Фридрын смотрел в окно, до того напоминая Бароха, что переживаемое мной казалось мне менее реальным, чем мои мысли. На оконном стекле крупинки дождя сливались в большие капли, катившиеся вниз по стеклу все быстрей и быстрей, по мере увеличения веса и размера, оставляя за собой блестящую извилистую дорожку, как будто здесь проползли маленькие улитки. Между нами бродила по скатерти муха, осматривая хлебные крошки.

Я кончил, а он все молчал. Молчал невыносимо долго, глядя на водяные капли, блуждающие во все стороны по гладкой поверхности стекла, словно кончики пальцев, пишущих на водной глади неразгаданные знаки таинственных письмен. Рука с сигарой опиралась на край стола, и тонкий столбик голубого дыма тянулся от этой длинной сигары вверх и начинал дрожать, расплываясь, поднявшись до уровня нашего дыхания. Фридрын сидел насупившись и сжав губы в упрямой гримасе. Засунув руку в разрез жилета, он держал ее на сердце,— опять бароховский жест. Может быть, он решил совсем больше

не говорить со мной и держаться так, чтобы я, растерявшись или обозлившись, ушел. Но я знал, что мне нельзя уйти, что это последнее, что я сделаю.

Вдруг, когда я уж потерял всякую надежду, он вынул руку из-за пазухи и, протянув ее по столу ко мне, нервно промолвил:

— Дайте сюда рассказ. Я погляжу еще раз.

Я стал поспешно развертывать пакет с рукописью романа, к которой я ее приложил, а Фридрын смотрел на меня, раскуривая наполовину погасшую сигару и сложив губы в полусочувственную-полупрезрительную усмешку. Я дрожащей рукой подал ему машинописную копию. Он взял и сунул в широкий карман пиджака, не глядя. Но показал тяжелым массивным подбородком на мой пакет и спросил:

— Что у вас там?

— Роман,— торопливо ответил я.— Или, верней,— начало романа, откуда взят тот рассказ, что я вам дал. Правда, в значительно измененной форме.

Мое сообщение как будто удивило его. Он словно задумался, и лицо его приобрело более мягкое, приветливое выражение.

— Так вы взялись писать роман,— протянул он, как бы еще раз оценивая значение моего предприятия и не зная, как к нему отнести. Он сделал несколько затяжек, так что на мгновенье совсем исчез из моих глаз в голубом облаке,—потом прохрипел, словно подавляя порыв какого-то неприятного чувства: — Может, мне и это прочество?

Никогда бы я не подумал, что голос его обладает некоторым регистром ласковости.

— Боюсь вас затруднять,— пробормотал я, заикаясь от волнения.

Он опять протянул руку над столом и подождал, чтоб я вложил в нее наскоро связанный сверток. Подержал его в воздухе, словно привык оценивать поступающую к нему литературу на вес.

— Сколько здесь страниц?

— Примерно семьдесят,— с готовностью ответил я.

— Семьдесят,— повторил он и, не выпуская сигары изо рта, задвигал губами, как будто подсчитывал про себя.— Получается больше ста печатных. Вы как считаете? Далеко продвинулись? Здесь третья или меньшее?

— Боюсь сказать,— ответил я растерянно.— Думаю, что около четверти, не больше.

— Гмм. Значит, большая часть работы впереди?

Я знал, что это так, и подчас думал об этом с ужасом и странным напряжением, как альпинист думает о вершине, которой, быть может, никогда не сумеет достигнуть.

Фридрын положил сигару на фарфоровую пепельницу с рекламой венгерского бренди, снял очки, словно они у него вдруг затуманились, и принялся их протирать, устремляя свои серые, теперь прищуренные глаза то на них, то на мое лицо.

— Этот ваш рассказ вывел меня из себя,— заговорил он, словно беседуя сам с собой, но все больше раздражаясь.— Вдруг на свете не оказалось места для человека только из-за того, что кто-то нашел его слишком старым и что молодые, даже делая подлости, всегда правы. Неужели нельзя найти другого решения? Разве не мог, например, этот директор театра сказать: «Ступайте ко всем чертям, голубчики: я и без вас проживу»? Представьте себе, сколько читателей может попасть в такое положение, какое вы изобразили в своем рассказе, сколько на свете старых мужей, которые по самым разнообразным причинам отравили свою спокойную старость, посадив себе на шею молодую сумасбродку, вроде вашей Эвы. Что ж, всем им топиться из-за того, что случилось то, что в таких случаях обычно бывает? Ну, я рассердился на рассказ и на автора. Мне показалось жестоким вот так открывать глаза людям, даже если они и не станут прыгать в воду, как этот ваш сумасшедший старик. Но когда я вам рассказ уже вернул, мне пришло в голову: «А почему бы нет? Почему им не взглянуть правде в глаза и, вместо того чтобы прыгать в воду или вешаться, просто сказать этой беде своей: «Ступай себе с богом своей дорогой». Разве не лучше такому человеку вспоминать о том, как он напоследок пригрелся у огонька молодости,— подумал я,— чем, не смыкая глаз от страха, караулить, как бы она не подожгла его дом?»

Он говорил медленно, делая между фразами длинные паузы, во время которых подымал очки против света и снова протирал их. Если бы бледный юноша из приемной не сказал мне, почему моя повесть так взволновала Фридрына, я бы, пожалуй, дал себя обмануть, принял бы его слова за теоретизированье осторожного редактора, опасающегося, как бы к нему на стол не посыпались протестующие письма. Но теперь я знал, что выслушиваю замаскированную исповедь.

Наконец он надел очки на нос и, глядя на меня взгядом более острым благодаря стеклам, сказал:

— Я бы вам написал, если бы не пришли.

У меня комок подкатил к горлу.

— Благодарю вас, — ответил я как только мог сдержанно. — Я никогда не думал, что мой рассказ может вызвать у вас такое недовольство и досаду. Для меня он — часть более крупного целого, и я не заметил, что сам по себе он может показаться жестоким. Может быть, правда, мне лучше взять его обратно и попробовать написать для вас другой.

— Да что вы, мой милый! — накинулся он на меня. — Теперь, когда я в нем разобрался? Это хороший рассказ и может произвести хорошее действие.

Я вспыхнул как мальчик от похвалы. Ты слышишь, Вилем? Это хороший рассказ. Может быть, я буду таким же хорошим писателем, каким ты стал актером? А может, я и теперь уже такой писатель, хотя никто не знает об этом?

Наклонившись над столом и зажав кулаки между колен, чтобы подавить свое волнение, я произнес горячо, — может быть, рассчитывая отблагодарить Фридриха своими словами:

— Прочтя роман, вы будете удивлены, чем у Вилема с Эвой кончилось.

— Осечка получилась? Да? — вскрикнул Фридрих необычайно громко, словно радуясь тому, что предвиденные последствия осуществились с железной неотвратимостью. — Иначе не могло быть. У таких, как они, обычно так получается. Жизнь не терпит мошенничества. А то что же? Принял на себя определенные обязательства, а потом наутек — только оттого, что я молодой. Поступишь нечестно с другим, поступят нечестно с тобой. Так всегда было и так должно быть.

Лицо его налилось кровью, у него был такой взбудораженный вид, словно он хватил стопку крепкого спиртного.

— Кельнер, два коньяка и две чашки черного кофе! — крикнул он. — Я вас угощаю. Надо же как-нибудь отметить, что мы наконец запели в тон, и выпить за успех вашего романа. Завтра приходите ко мне, я вам дам какую-нибудь ерунду для переложения... если вы еще интересуетесь такой работой теперь, когда чувствуете себя настоящим автором.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Можно сказать, и для меня и для Вилема настали лучшие времена. Я далеко продвинулся в повествовании о нем и все, что выдумал в бессонную ночь и на следующее утро, успел описать за пять дней. Работал без отдыха, кроме перерывов на обед и вечерних прогулок с Ярмилой. Время, на них потраченное, я наверстывал тем, что, вернувшись домой,— всегда около одиннадцати,— садился и работал до часу ночи, развивая в более широкое полотно новый маленький кинороман, полученный от редактора Фридрына. А свежие силы я отдавал только своему роману.

Вставал в семь утра, бежал за молоком и хлебом, подымал железную штору и уже в половине восьмого сидел за столом, стоявшим возле двери. Спал я мало, но в то же время не мог вспомнить, чтобы в жизни своей был когда-нибудь так здоров, силен и способен взваливать на себя такое количество работы. Помню, наоборот, каким я прежде был всегда слабым, какое чувство усталости постоянно вызывали во мне неудачи, как я никогда не умел собраться с духом и противостоять им, как жил со дня на день, отлынивая от своих служебных обязанностей, под предлогом изнеможения, вызванного бесплодными литературными попытками, а от писанья — при помощи ссылок на измотанность после целодневного каторжного труда ради заработка.

Может быть, в этом и была доля правды, но главная беда заключалась во мне,— теперь я это видел ясно. Я не мог припомнить, чтобы когда-нибудь столько работал, а мне все было мало, словно аппетит к творчеству, в прошлом никогда не получавший настоящего удовлетворения, теперь только усиливался, по мере того как я увеличивал порции пищи.

Редактор Фридрын ускорил публикацию рассказа, словно желая возместить мне обиду, причиненную прежним отказом. Я увидел свой рассказ в «Чешских лугах» утром в среду, покупая сигареты и, по своей привычке, перелистывая разложенные на столе журналы, с чем однорукий, но общительный владелец табачной лавочки добродушно мирился. До него тоже уже дошло, что я — писатель; не знаю, откуда распространился этот слух, но мои подозрения падают одновременно на пани Росову, старого Вапенку и дворничиху, которая неизменно и с абсолютной серьезностью называла меня: господин писатель.

Я был господином писателем для всех своих поставщиков: для лавочницы, для молочницы и для этого старого солдата, который был большим любителем литературы определенного рода. В своем паучьем одиночестве, в лавке еще более темной, чем моя, он внимательно прочитывал все газеты и журналы, слетавшиеся к нему на прилавок, и в Розовой пивной считался лучшим знатоком всех видов спорта, непосредственно вслед за Вапенкой, державшим первенство в вопросах футбола.

Из беллетристики табачник мой, по фамилии Пеха, читал одни только детективы и приключенческие романы из жизни Дикого Запада, что естественно для человека, мир которого раз навсегда свелся к отрезку улицы, видному из дверей лавки, к одним и тем же физиономиям у буфетной стойки, да к экскурсиям не дальше пятиминутного перехода с улицы «На валу» до стадиона «Спарты» либо «Славии». Но как ни удивительно, он один из всех моих поставщиков называл меня «маэстро», делая при этом такой нажим на букву «эм», что явно мыслил ее как заглавную.

Сеть людского доверия стягивалась вокруг меня все плотней. Пан Роза, его жена, мой домохозяин Вапенка, табачный торговец Пеха, лавочники, у которых я покупал, жители той же улицы, с которыми мне случалось иметь дело, верили, что я — писатель, достойный этого звания, так же как Вапенка — слесарь, и в этом не может быть никаких сомнений; а так как у них было слишком слабое представление об этом ремесле, с продукцией которого они сталкивались лишь случайно либо в самых курьезных образчиках, то они полагали, что это профессия мало-прибыльная, что все писатели влачат жалкое существование, вроде меня, и что они не только нищие, но и чудаки.

Безусловная вера окружающих заставляла меня сглатывать от стыда и возбуждала во мне все более настойчивое желание положить конец этому обману, хоть они, может быть, даже никогда и не узнают о моем успехе или провале.

В ту среду пан Пеха был особенно общительно настроен, так как только что прочел в газетах, что игрок «Спарты» — пан Пеха был заядлый болельщик «Спарты» и считал появление на свете «славистов» недосмотром господа бога, — что игрок «Спарты», центральный полузащитник, от которого зависел исход борьбы всей команды, уже поправился после недавней травмы и сможет участвовать в воскресном матче команд первого класса. Пан Пеха сооб-

щил мне эту великую новость, и я выслушал ее с вниманием, которое должно было убедить его, что во всех вопросах, связанных с футболом, я — его единомышленник. Быть может, желая отблагодарить меня за это и доказать, что он тоже знает свет и владеет приемами тонкого обхождения, он завел со мной разговор о литературе. Видя, как я внимательно просматриваю новый номер «Чешских лугов», он важным тоном знатока промолвил:

— В этом журнальчике другой раз подходящее тиснут. Взять, к примеру, этого самого «Человека в тени». Кинороман на двенадцатой странице. Смотрел я в Шнеловке, в киношке. Первый сорт, дух захватывает. И нужно сказать,— кто тут пишет, славно это все изображает. В киношке-то маленько вспыхах шло, не поймешь сразу. Ну, а этот коллега ваш знатно расписал — теперь все ясно.

Пан Пеха имел в виду кинороман, который был последней моей работой для «Чешских лугов», перед тем как редактор Фридрын на меня рассердился. Несмотря на все мое презрение к этой поденщине, похвала табачного торговца заставила меня покраснеть от удовольствия. Я старался выполнить работу как можно лучше, и, очевидно, мои усилия не пропали даром.

— Как подумаю,— продолжал рассуждать пан Пеха с сосредоточенным выражением ученого исследователя,— ведь вгонит в пот такое писанье. Правда, маэстро?

Мне, как всегда, стало не по себе при этом обращении, но, прежде чем я успел ответить, глазам моим открылось потрясающее зрелище, которого они ждали двадцать бесприютных и горьких лет. «Индржих Ауст» стояло на четвертой странице «Чешских лугов», над красиво выведенным заглавием «Третий уходит», являющимся одновременно вводной виньеткой. Буквы плыли по бурному речному потоку, а над ним враждебной, коварной звездой стояла ухмыляющаяся театральная маска. Сердце, как молот, загудело у меня в мозгу.

Квадратная физиономия пана Пехи, со щетиной два дня не бритой бороды, глядела на меня вопросительно из-за края журнала. С трудом опомнившись, я сообразил, что еще не ответил ему на вопрос.

— Ремесло, как всякое другое,— прибег я к общему месту.— Я беру этот номер «Лугов», пан Пеха.

Я быстро закрыл журнал и вынул из кармана десятикронку — одну из тех пяти, что у меня еще оставались. Мне хотелось попасть поскорей домой и нарадоваться на первое свое произведение, получившее наконец признание,

о котором я столько лет напрасно мечтал. Но пан Пеха никуда не торопился. Для него день в этом табачном курятнике тянулся долго и пристойная беседа была приятным развлечением. Он сгреб десятикронку и полузыдвинутый ящик стола и вынул оттуда горсть мелких. Отсчитывая сдачу, он продолжал свои размышления.

— Ваша правда,— согласился он со мной.— Только сдается мне, не каждый к этому способен, кому вздумается. Тут, как бы сказать, воображенье требуется... Сигареты — три пятьдесят, «Луга» эти — корона пятьдесят да две коробки спичек — шестьдесят. За все про все пять шестьдесят. Да сорок — это шесть, да четыре — десять. А я давно уж хочу попросить: как бы мне чего вашего почитать.

Я понял, что пан Пеха — человек недоверчивый и не может удовлетвориться сведениями, основанными на местных слухах. Когда он стрельнул последней фразой, которую произнес с самым невинным видом и как бы между прочим, мне тотчас пришло в голову, что высший совет улицы «На валу», то есть круг завсегдатаев Розовой пивной, поручил ему узнать мою подноготную и в качестве эксперта установить, как в действительности обстоит дело с моим писательством.

— Очень даже попросил бы, маэстро, ежели вас не обеспокоит,— прибавил он, чтоб не показаться назойливым, и при этом щетинистые щеки его слегка покраснели, свидетельствуя о чистоте его намерений и боязни поставить меня в затруднительное положение.

Всего неделю назад такое допытывание привело бы к тому, что пан Пеха навсегда потерял бы меня как покупателя. Но теперь... Хо-хо, теперь! Теперь я мог без стыда смотреть в глаза кому угодно. Мне уже нечего было стыдиться своей работы над кинороманами, которые помогли мне найти путь к сердцу пана Пехи и, по-видимому, многих других.

— Да вы уже читали, пан Пеха,— ответил я, стараясь говорить как можно безразличней.

Но не удержался, до такой степени меня томила жажда получить хоть немножко признания, пока настоящий успех оставался все еще далекой мечтой, и прибавил:

— И даже хвалили.

Снова открыв последний номер «Лугов», я показал ему «Человека в тени». Табачник громко свистнул, выразив этим одновременно свое изумление и восхищение. В одну секунду кредит мой поднялся у него так стремительно, как

не случалось ни с кем из тех, в кого он вперял свои бесцветные глаза, от природы наделенные свойством ничему не удивляться и все выводить на свежую воду.

— Вот это здорово,— произнес он тихим голосом, в котором слышалось глубокое удовлетворение, и снова смерил и взвесил меня хитрым взглядом.— Я всегда говорил: что-то в вас такое сидит, чего сразу не скажешь.

Он раскрыл журнал и с новым интересом проглядел страницу киноромана.

— Вольный пересказ известного кинофильма сделан Индрой Калусом,— с некоторым напряжением прочел он и опять поглядел на меня подозрительным взглядом.

— Индрой Калусом?.. А ведь ваша фамилия, коли я не путаю, как-то не так?

Кровь бросилась мне в голову. Какое возмездие за все мое прежнее вранье — быть заподозренным как раз в тот момент, когда я говорю правду и когда первый раз в жизни попробовал хоть понюхать плоды успеха! Стыдясь этой бульварной писаницы и в твердой уверенности, что имя мое будет когда-нибудь стоять над произведением, насквозь моим собственным — от первого проблеска мысли до последней точки,— я подписывал большинство своих пересказов,— в частности, подписал и данный кинороман,— девичьей фамилией матери.

Но как объяснить это пану Пехе, у которого с каждой секундой моих колебаний росла уверенность, что он уличил меня в присвоении чужой собственности?

— Это псевдоним,— объяснил я, стараясь говорить важным, поучительным тоном.— Литературное имя. Вы же знаете, писатели и поэты часто к этому прибегают. Врхлицкий, например, подписывался просто своим именем: Фрида.

Пеха склонил голову к правому плечу, выпятил подбородок и поджал нижнюю губу, что в целом должно было обозначать, что он не нуждается в моем объяснении.

— Это известно,— надменно уронил он.— В «Славии» несколько парней играли под чужим именем.

Лицо его вновь прояснилось: характер у него был доверчивый, ему была не по душе подозрительность. Он впадал в нее лишь изредка, чтоб не прослыть простофилей, которому каждый может напеть, что вздумается.

Я поспешил воспользоваться возвратом его хорошего мнения обо мне и постарался, пока не поздно, закрепить это мнение и улучшить.

— Но я, пан Пеха, в данном случае воспользовался псевдонимом, так сказать, в обратном смысле. Эти кинороманы — побочное занятие, я их делаю так, левой рукой. А вот это — настоящая моя работа, и я поставил на ней свою фамилию.

И я показал ему красивое заглавие повести «Третий уходит» на четвертой странице «Лугов».

Пан Пеха поглядел с явным удовольствием, и было заметно, что его уважение ко мне возросло. Он, видимо, все время хотел познакомиться с кем-нибудь из тех, кто выдумывает истории, помогающие ему забывать медленный ход времени и разнообразить всегда одинаковую, ни в чем не меняющуюся жизнь. И вот перед ним стоял обыкновенный и с его точки зрения довольно-таки никчёмный человек, а он, по-прежнему держась тех масштабов, которыми все время мерил меня, тем не менее расценивал это знакомство, как если б перед ним появился один из героев тех бесчисленных историй, которые он поглотил за долгие годы своего сидения в табачной лавочке.

Зачем я все это делал, зачем старался добиться приязни пана Пехи, которая не имела для меня никакого значения, зачем перед ним рисовался и ошеломлял его своим новоиспеченым авторством, прикидываясь, будто за плечами у меня целая гора законченных произведений? Конечно, прежде всего потому, что был не в силах обузданить свое ликование по поводу напечатания рассказа. И потом — наконец-то я получил возможность ответить на безмолвный вопрос улицы «На валу»: «Ну ладно: писатель. А пишет он что-нибудь?»

Пан Пеха был не из тех, кто хранит то, что узнал, про себя. Как только я уйду, известие о моем рассказе, подтверждающее, что я на самом деле писатель, а не только выдаю себя за него, разбежится от его прилавка по всей улице, а вечером будет обсуждено и одобрено в лоне Ресовой пивной, что явится фактически моим официальным признанием. Никто больше не будет сомневаться, что обо мне думать. Все будут знать, будут верить. И как циркачу, объявившему, что завтра в полдень он перейдет по канату через Влтаву, мне придется пойти и либо перейти, либо низринуться в вечное забвенье. Я нарочно сосредоточивал эту веру других в меня, чтобы черпать в ней силы, чтобы грозить ею самому себе в случае, если б сам перестал в себя верить.

— Есть, которые говорят, — заключил пан Пеха вслух безмолвную вереницу мыслей, овладевших им в связи

с моей повестью, — дескать, не похоже, что вы писатель. Теперь прикусят язычок. А я всегда знал, что-то в вас такое есть, чего нету в других. Нешто писатель, толкую им, должен как чемпион-гиревик быть, чтоб мускулы у него щупать? Можно сказать, я, маэстро, кое-чего в артистах понимаю. Здесь у нас кругом полно всяких художественных мастерских, и господа эти все ко мне за куревом ходят. Ну, все больше на книжку берут. Да это пускай. У них есть что нужно, а с меня не убудет. Вот, маэстро, я и хочу вам сказать. Ежели когда тут не так (он указал локтем на карман), так прямо безо всяких — ко мне и не будем об этом толковать, пока сами не захотите.

Это был мой первый литературный успех. Неограниченный табачный кредит у пана Пехи. Я выпел из его ароматной лавочки и как на крыльях полетел, словно только что получил первую премию на каком-нибудь конкурсе.

Стоило писать, стоило напрягаться до изнеможения ради вот этих Пехов, которые после всех моих повестей или романов, может быть, скажут только: «Ах ты, черт, кабы знать, так дал бы я ему все, что ему надоно, как брату родному». Да, потому что ведь если они испытывают братское чувство к незнакомцу, который их как-то порадовал, то, может быть, научатся испытывать его ко всем, в ком нуждаются и с кем должны вместе жить.

2

Похожие на линяющих кур, липки на улице близ Летненской водонапорной башни роняли свое рыжеватое, прежде временно увядшее листье. Блуждающие порывы ветра играли им, и оно, не имея ни мягкости, ни воздушной легкости птичьего пера, перекатывалось и кружилось, строптиво хрестело и забивалось в углы между обкладкой палисадников и домов.

Сквозь тощие кроны деревьев свободно проникал солнечный свет, отбрасывая на тротуар перввору их ветвей, напоминающую беспорядочный набросок свода, неспособного выдержать даже купол пустоты. Ветер, словно для пробы, несыпал то холодные, то теплые вздохи, подымался и опять затихал, видимо, не решаясь ни на то, ни на другое. Черный дрозд, для которого недавние дожди приготовили богатый стол, пел на башенке дома напротив, словно лето только еще должно было наступить, а не было в дей-

ствительности на исходе. У тротуара, по краю которого я ходил взад и вперед, стояла машина, чьи черные лакированные бока, словно зеркало, отражали солнце, меча ослепительные стрелы отблесков. Каждый раз, как я к ней приближался, на меня веяло теплым, как бы животным запахом.

Эта подделка под природу, созданная из ее долго утаиваемых сил и дотоле неведомых законов, малокровные липки, отравленные избытком окиси углерода, кусты в палисадниках, болезненно вытянувшиеся кверху в жажде вырваться из объятий стены, а под ними — одинокие травяные стебли в подзолистой и песчаной почве, смесь человеческих голосов и шума колес, булькающая в стремительном кипении предвечернего часа, птичье пение на коньке крыши, полицейский, делающий на перекрестке гимнастические вольные движения в ритме транспорта, колокольчик бакалейной лавки, угрюмые двери аптеки на противоположном углу, которым даже золотые буквы на стекле не могли придать улыбчивой приветливости, мельканье лиц, среди которых много девичьих, трогающих сердце мимолетным поцелуем, оставляющих за собой вспышку и угасанье желания, будто стенающий голос и эхо, все это было — город, который я любил и в котором вплоть до сегодняшнего дня чувствовал себя потерянным, напоминая сам себе голыш на дне торопливого и равнодушного течения. Это был город, из-за которого я мучился, как другие мучаются из-за несчастной любви к женщине.

Здесь, на углу перед домом, где помещалась канцелярия д-ра Лексы, я видел его в характерном целом, его магистрали, гудящие экипажами и людьми, словно горная река, голубое искрение трамвайных дуг в сети проводов, его грустные попытки вновь обручиться с природой, которую он перед этим поверг и растоптал; я слышал хорал его грохота и скрежета, его гулы, бренчанья, стуки, голоса, сирены, звонки; чувствовал его дыхание — лихорадочное, горькое, резкое; щупал его торопливый пульс, всегда бьющий тревогу; вдыхал его воздух, пьянящий как алкоголь, одних побуждающий к непрестанной деятельности, других ослабляющий терпким похмельем, от которого я и сам когда-то страдал. Город касался меня, трепетный, живой, терся об меня, как собака, встречающая хозяина.

Никогда еще до сих пор, сколько я ни проходил по нему, сколько ни шатался по его улицам, сколько ни стоял на его углах, не был я так проникнут его близостью, как в эту минуту; никогда еще не подходил он ко мне и не

шептал так вкрадчиво, что он для меня — мой дом, ласковое объятье, сердце, бьющееся в лад с моим. Я помнил его непреклонным; стены его возносились надо мною с угрозой, отнимая у меня кругозор, за пределами которого, где-то вдали, должна была протечь моя жизнь, — не та, которой я на самом деле жил, а та, которую хотел бы прожить; волны его бежали мимо, не замечая меня, его интересы не были моими; он метался, вскипал и радовался без моего участия; серые и дождливые дни превращали его для меня в тюрьму, где я угасал на соломе моей бездарности; когда солнце сиянием своим заставляло расцвествать самые облупленные и грязные его стены, я был уверен, что он цветет и чарует мое сердце только для того, чтобы надо мной посмеяться; его богатство было приготовлено не для меня, нищета его ползла за мной по пятам, устрашая меня и во сне. Он всегда казался мне запертым домом, где происходит все, в чем я с полным правом мог бы принять участие, но куда мне навсегда закрыт доступ.

Нынче тяжелые ворота впервые приоткрылись, и волна музыки и пения дошла до меня. Я начинал уже верить, что мне тоже будет позволено войти туда и сесть, как равному с равными, за установленный яствами пиршественный стол. Возможно, еще много раз потемнеет и блюда будут полны до краев пустотой, но я уже перестану подозревать, что стемнело мне в насмешку и блюда пусты оттого, что я не сумел их наполнить.

Я разорвал круг своей злой судьбы, если только тут была судьба, и чувствовал себя достаточно сильным и способным, чтоб разрешить любую задачу. Дописал раз, допишешь и в другой. Поглядите на меня, друзья. Прежде я задирал нос, так что становился противен окружающим; я делал это, потому что хотел убедить себя в своей ценности, которой тогда не ощущал. Теперь я этого уже не делаю. Я хочу, чтоб лицо мое было в уровень с вашим, — хочу быть одним из вас, вместе со всеми, — человеком со своей задачей, как вы все, но теперь уже способным сделать то, за что взялся.

Ярмила вышла из двери, солнце ослепило ее, ей пришлось зажмуриться и мгновение постоять, отвернувшись, пока не привыкла. Я принес ей подарок, которого она ждала с не меньшей тревогой, чем я сам. Но прежде чем я успел открыть рот, она сжала мою руку и промолвила:

— Я уже знаю, Индра. Прочла его сегодня по крайней мере три раза. Как отметим?

Мы поужинали жареной курицей, а потом был ореховый торт, который таял между языком и нёбом, оживив в моей памяти раннее детство, когда мои родители жили еще в своем доме и никто не подозревал, что над его кровлей собираются тучи банкротства. Этот маленький пир, устроенный Ярмилой и тетей Анной в мою честь, показался мне слишком торжественной фанфарой по поводу моей первой скромной победы, и суеверный страх еле преодоленной мною неуверенности отвечал на него раздраженным ворчаньем. Я затыкал ему рот новыми кусками, и чудодейственная химия еды вернула мне смелость и веру в себя.

Тетя Анна, чьим созданием было это кулинарное диво, накладывала мне на тарелку снова и снова, не обращая внимания на мои слабые попытки сопротивления. Сухонький пальчик ее мелькал над столом и если останавливался на миг, торча в воздухе подобно стреле, которой не дано долететь, то всякий раз целился в мою грудь. Тетя Анна в одно и то же время угождала и судила меня.

Она тоже уже прочла мой рассказ и теперь должна была сказать свое мнение. Рассказ ей понравился, об этом и говорить нечего,— объявила она,— но конец не столько разжалобил ее, сколько рассердил. Зачем я позволил, чтобы такой замечательный человек, как Палас, погиб из-за двух неблагодарных глупцов? Он не только не заслужил такой судьбы,— она даже не соответствует его характеру. Приводя свои возражения, старушка проявила такую решительность, что в конце концов даже вкус и запах орехового торта начали терять для меня всякую прелесть.

— И вообще человек кончает с собой не так легко,— объявила тетя Анна с еще большей воинственностью, на этот раз нацелив свой остренький палец в Ярмилу.— Посмотрите хоть на нее. Ей ведь круто пришлось в свое время, а ничего — выдержала.

Ярмила, до тех пор слушавшая тетинны рассуждения с безразличной и снисходительной улыбкой, тут необычайно резко запротестовала.

— Тетя,— воскликнула она,— с какой стати ты вдруг ссылаешься на меня?

Тетя Анна подскочила на стуле и так энергично махнула ручкой, что желтые хризантемы в высокой вазе закачались.

— Ладно, недотрога,— опрокинула она Ярмилину оборону и неудержимо затараторила дальше: — Могу с таким же успехом сослаться на себя. Посмотрите на меня, пан Индра. (Она называла меня, как и Ярмила, по имени, но прибавляла к нему церемонное «пан».) Муж мой за каждой юбкой бегал,— срам, да и только. Как по-вашему? Легко мне было? Сколько раз думаю: вниз головой в Влтаву, и конец. А кинулась? Вы представить себе не можете, как и внутри вас и вокруг все против этого. Нет, жизнь не пустяк. И чем ты старше, тем она тебе милей. Повидала я на своем веку, как люди кончатся! Ни одному не хотелось.

Я молча и без удовольствия проглотил последний ломтик торта. Мне не удалось найти подходящий ответ.

День уже голубел сумерками, когда мы вышли из дома. Ярмила взяла билеты на концерт в зале Сметаны,— для достойного увенчания нашего сегодняшнего празднества. Мы поспешили к трамвайной остановке — уже при загженных фонарях; но бледно светящиеся тельца их пока напоминали больше цветы, укрытые в стеклянных гнездах от вечернего холода, чем источники света.

Мы молчали. Тетина страстная защита жизни не выходила у меня из головы. Я сопоставил ее возражения с тем, что знал о редакторе Фридрыне, и мне стало ясно, что мое решение ложно. Но как же в свете этого факта выглядит все, написанное мной до сих пор о Габе?

Потом Ярмила говорила мне, что я вздыхал и тискал ей руку с такой силой, что она обнаружила на ней синяк.

Она вдруг остановилась и быстро, решительно промолвила:

— Я знаю, о чем ты думаешь, Индра. Но ты не должен теряться из-за всякого замечания, которое услышишь. Тетя права по-своему, но все-таки конец Паласа правильный. Я это чувствую. Знаю, что мне было бы больше жаль его, если б он остался жить, а они от него убежали бы, чем когда он решил умереть и дать им свободу. Тетя просто не понимает, что кто-то может зайти в тупик и не знать, как быть дальше.

Я был поражен, как точно Ярмила читает в моих мыслях и как легко удалось ей рассеять мои сомнения. У меня было такое чувство, словно мне через бездну лет, отделяющую меня от детства, говорит голос матери. «Иди и не бойся, темнота не кусается,— уговаривала она меня, посыпая в сумерки за дровами в сарай на другом конце двора.— Ступай, докажи, что ты мужчина». Не могу при-

помнить, чтобы какой-нибудь другой голос так легко и твердо восстанавливал мою веру в себя.

Когда мы пошли дальше, я поднес Ярмилину руку к губам и поцеловал ее в душистый промежуток между перчаткой и рукавом.

— Не удивляйся,— ответил я признательно и повеселев.— Тетя Анна — первый критик, который на меня напустился. Мне нужно привыкнуть.

Она прижала мою руку к себе под грудь и промолвила:

— Я так тебя люблю. Ты достигнешь всего, чего хочешь,— вот увидишь!

Из окон, кое-где еще открытых, звучало радио, игравшее бодрый марш. Мы шагали под него, как бы маршируя к какой-то уже видимой цели. Кровь бежала у меня в жилах так безумно молодо, что сердце замирало. Я чувствовал с необычайной ясностью, что из всех терзавших меня проблем остается только одна: необходимость упорно работать.

Город ластился к нам, и его острый запах — камня, сажи, пивных, плохой пищи и спертого воздуха подворотен — мешался с благоуханием Ярмилиной пудры. Он казался мне живым существом, которое шагает третьим, молчаливым, но близко знакомым и верным спутником бок о бок с нами.

На тротуарах стояли группы оживленно беседующих. Я заметил среди них пятидесятилетних говорунов, выбежавших из дома прямо в жилете, с засученными рукавами рубашки и непокрытой головой. Они чесали язык, скрестив руки на не слишком толстом животе и держась руками за голые локти. Дорогу перебегали маленькие детские фигурки в отчаянной вечерней погоне друг за дружкой. На углу улицы «На валу» несколько юношей и девушек обступили гитариста, расположившегося в живописной позе на выступе фундамента у закрытой витрины. Нестройный хор приглушенно тянул напев под спотыкающиеся аккорды инструмента.

Гармония этого осеннего вечера, в котором все, казалось, так прочно занимает свои места, так упорядочено, надежно и радостно, словно подчинено некоему извечному порядку, породила во мне твердое убеждение, что будь что будет, а я не подведу. Столько народу поверило в мой труд, и я поздоровел благодаря их доверию, как больной — в высокогорной местности.

Во время ходьбы округлый Ярмилин бок ритмично касался моего тощего бедра, напоминая мне о том, что

самый пустой угол во внутреннем мире моем теперь заполнен. Может быть, уже недолго ждать, и я заживу как другие,— человеком с ясной целью и простой участью.

Но когда мы миновали группу поющих, взгляд мой устремился к опущенной шторе на дверях моей мастерской, и ледяное дуновение действительности сжало мне сердце каменным кулаком. А Ярмила, как нарочно, остановилась и спросила:

— Ты где-то здесь живешь. Верно? Покажи мне свое окно.

Сколько времени собирался я сказать ей правду! Но только она задала свой вопрос, как я уже знал с абсолютной точностью, что никогда не решусь признаться. «Покажи мне свое окно», — просит она, а вместо окна увидит обшарпанную железную штору сапожной норы. Передо мной открывалась возможность одним жестом и двумя словами сжить со света ложь, преследовавшую меня, как навязчивая идея, — но я не сумел. Решил, что буду и дальше носить ее в себе, видел ее, так сказать, во плоти, — как она, в сущности глупая и трусливая, приобретает надо мной все большую власть, превращая меня в малодушного, который боится сказать лишнее слово, так как в нем могла бы проглянуть ее нахально улыбающаяся морда. Я представлял ее себе в виде хищного зверя, который в конце концов прогрызет-таки решетку, вырвется на свободу и, разъяренный долгим пленом, отнимет у меня Ярмилу.

— Скажи, которое? — повторила Ярмила свою просьбу.

Я показал на окно комнаты, которую снимал перед тем у пани Пашековой. К счастью, в нем было темно, — видимо, нового жильца не было дома.

— Вот, — с трудом выдавил я, так как в эту минуту на меня напал такой страх, как бы в нем вдруг не загорелся свет, что я еле мог прибавить в пояснение: — На третьем этаже. Третье слева. Но лучше пойдем скорей, а то как бы не опоздать к началу.

Я даже осип от волнения, но Ярмила не заметила моего ужаса и не обратила внимания на потопрапливанье. Она стояла и с улыбкой смотрела на окно, за которым я пережил так мало хорошего и которое в эту минуту возненавидел лютой ненавистью, словно живое существо, намеревающееся выкинуть со мной скверную штуку.

— Мне страшно хотелось бы как-нибудь к тебе заглянуть. Хоть для того, чтобы знать, как ты там живешь.

Тут страх, за мгновенье перед тем чуть меня не задувший, ослабил свою хватку и, наоборот, привел в усиленное движение мой язык.

— Я уж давно об этом думал,— принял я уверять Ярмилу,— но когда сказал квартирной хозяйке, вообще-то очень доброй женщине, то натолкнулся на полное непонимание.

— Странная хозяйка по нынешним временам,— заметила Ярмила весьма ядовитым тоном, на который порой была способна.— Прямо из старой сказки.

— Не надо ее за это осуждать,— принял я горячо оправдывать эту несуществующую особу.— Ей причинил много неприятностей предыдущий жилец, и она взяла с меня обещание никогда не водить к ней на квартиру, как она выражается, барышень.

Я еще продолжил защиту своей хозяйки, воздавая ей должное за ее заботы обо мне.

— Все это прекрасно,— прервала мой панегирик Ярмила.— Но ты, может быть, не вечно будешь жить у нее?

Я сразу понял, что немного пересолил в своих стараниях замести следы и что очень плохо разбираюсь в женских чувствах и мыслях. Она не заподозрила меня во лжи, но сейчас же начала ревновать.

Взволнованный ее выпадом, я на минуту принял свой вымысел за подлинную действительность и решил доказать, что эта женщина не имеет для меня абсолютно никакого значения.

— Я съеду от нее, как только найду что-нибудь лучше,— охотно согласился я, но тут же сообразил, что еще долго не буду в состоянии осуществить это, и прибавил уныло:— Только пока это трудно сделать, уверяю тебя.

На этом кончились разговоры о моем жилище и моя попытка избавиться от единственной лжи, которая еще стояла между мной и Ярмилой, поскольку ложь о рассказе, к счастью, отпала сама, не успев наделать бед.

Между тем мы подошли к трамвайной остановке и присоединились к группе ожидающих. Кто-то меня толкнул. Я посторонился и тут же обернулся. Коварная случайность поставила возле меня мою бывшую квартирную хозяйку, пани Пашекову, во всей материальности,— на смену того призрака, который мне с трудом удалось прогнать. Я глупо струсил, как будто имел реальное основание ее бояться.

Вовремя сообразил, что пришлось бы объяснять Ярмиле, кто это, и не стал здороваться. Довольно с меня на сегодня квартирных хозяек, выдуманных и настоящих. Пани Пашкова наградила меня взглядом, полным демонстративного презрения, не забыв при этом поморщить нос и выпятить губы. Но, заметив, что стоявшая рядом девушка — моя спутница, покраснела, как тот раз, когда обиделась на мой уход.

Я испытал злорадное торжество при мысли о молодости и красоте Ярмилы. Они явились в моих глазах возмездием за то, как бесцеремонно поступила пани Пашкова со мной и моими вещами, и еще за то, что я когда-то боролся с соблазном, слыша, как эта особа раздевается и ворочается на постели за тонкой стенкой. Она была такая смешная и тетистая, и разбухшую фигуру ее подчеркивала необычайная худоба мужчины, торчащего рядом с ней меланхолической тенью сластолюбия и сладострастия. Он был головы на две выше ее и смотрел все время прямо перед собой глубоко запавшими, грустными глазами, словно знать не зная о ней, хотя она держала его под руку. Широкое пальто падало прямыми складками с его покатых плеч — грубошерстное облачение меланхолии, наполнявшее впадины его ввалившихся щек. Готов побиться об заклад, что это был какой-нибудь бухгалтер: я много их знал, часто меняя места, и он чем-то напоминал всех, которых мне приходилось встречать.

Ярмила, не сводившая глаз с приближающегося трамвая, слава богу, не заметила моей безмолвной встречи с пани Пашковой,— встречи, которую моя бывшая квартирная хозяйка окончила тем, что демонстративно от меня отвернулась и, подняв полнолунное лицо к своему кавалеру, попросила его медово-ласковым голосом, явно предназначенным не столько для него, сколько для моих ушей:

— Карлуша, подыми воротник. Ветер сильный.

Я не расслышал брюзгливый ответ своего преемника — для меня не было сомнения, что это новый квартирант настойчивой вдовы,— но видел, как он неохотно подымает руки, чтобы исполнить ее заботливый приказ. Как ни странно, мне не было так жаль его, как должно бы; я был склонен скорей воздать хвалу судьбе за то, что она опять пошла навстречу этой ненасытной женщине, так боявшейся одиночества в постели, опять заполнила пустоту ее роскошного и щедрого объятия.

Парочка осталась на остановке: ей был нужен другой номер. Из благодарности к судьбе за то, что они не поедут

с нами, я внутренне пожелал пани Пашковой, чтоб она как можно скорей достигла своей цели.

Когда напор пробирающихся в вагон поднял меня на первую ступеньку, я опять услышал голос вдовы. На этот раз он прозвучал резче, насмешливей и громче,— с таким расчетом, чтоб его услышало как можно больше народа и прежде всего, конечно, Ярмила.

— Карлуша, ты обратил внимание на того человека, который стоял рядом со мной? Это писатель из сапожной лавки.

Я с отчаянием поглядел на Ярмилу. Отделенная от меня несколькими более напористыми пассажирами, она, к счастью, была уже дальше в вагоне и не могла слышать выпад вдовы.

Писатель из сапожной лавки. Даже грохот трамвая не мог заглушить язвительный скрип этих слов. Вечерняя спешка города звучала ими, они шипели в прибое голосов, переполняющем коридоры концертного зала, брызгали из яркого сияния огней над эстрадой, где музыканты рассаживались за своими пультами. Вынырнули даже из-под дирижерской палочки, и инструменты стали ими перекликаться и осыпать меня — в мелодических и ритмических вариациях.

Писатель из сапожной лавки.

4

Музыка еще насмехалась надо мной, ей не удавалось низринуть меня в свой поток, но черная спина дирижера, то повелительно выпрямленная, то по-кошачьи изогнутая, словно перед каким-то могучим властелином, раскачивающийся корпус, руки, взметывающиеся властным движением, после чего в оркестре подымалась буря, потом опять ласкающие мягкими, скользящими поглаживаниями спину невидимого хищника, который тотчас начиндал приятно мурлыкать, вся сложная гимнастика, казавшаяся подлинным источником этого изменчивого потока тонов, понемногу завладела моими мыслями и, как будто я был одним из подчиненных ей инструментов, дала дорогу той единственной мелодии, которую я имел право звучать.

Уверенность жестов дирижера покоряла меня сильней той музыки, что била за ними ключом. Этот человек во фраке был великий актер. Я напряженно следил за его жестикуляцией и обнаруживал в ией не только определен-

ную закономерность, но и самый замысел, заключающийся в том, чтобы захватить слушателей. Он служил творцу этой музыки, чтобы удовлетворить свое собственное честолюбие. Мертвый титан, чье творчество он передает с жгучим жаром и, конечно, после суровейшей муштры, был для него только пьедесталом, на котором он воздвиг свое собственное эфемерное величие. Я его понял: любовь его была добела раскаленной ненавистью, его преданность — необходимой изнанкой зависти. Собственный дух его мог пылать только в пламени чужого творчества!

Ярмила, которую музыка очищала точно так же, как во мне будила страстное стремление к самостоятельному деланию, противодействие силе духа, которому я должен бессильно покоряться, всунула свои пальцы в мою ладонь. Шелковистость ее кожи залила меня волной неги и жажды примирения со всем миром. Я несправедлив к этому человеку на эстраде; какое право имею я, томимый своим собственным честолюбием, обвинять другого в его избытке, я, снедаемый жаждой самостоятельного творчества, — смеяться над другим за то, что он может быть лишь отголоском чужого.

Дождик сеял со скрипок, и под ним бродил дуэт виолончелей и альтов, словно влюбленная пара под листвой аллеи, на которую он падал с унылым шелестом. Вилем Габа вышел из Дласковой гостиницы и пошел под липы, растущие вокруг морового столба посреди площади. Мелкие капли шептались с листьями над его головой. Деревья эти помнили его детство и юность; он играл под ними в шарики, гонял кубарь, мечтал о приключениях в дальних странах, а в более поздние годы обнимал за талию девушек в дразнящей густой тьме весенних ночей.

Сейчас он не может вспомнить, зачем сюда пришел. Как будто он уже старый, вся жизнь позади, и ему надо найти в прошлом что-то такое, что может это прошлое восстановить. Но он ведь знает, что далеко не так стар, чтобы хотелось сложить руки на коленях, что самая важная часть жизни еще только впереди, — та, в течение которой он должен дать отчет во всем, что приобрел из опыта, чего добился. И приехал он сюда издалека искать нечто большее, чем воспоминания: след Вилема, каким он когда-то был.

Здесь нельзя долго стоять. Кроны деревьев насквозь пропитались от непрерывного дождя, листья переворачиваются, как обремененные ладони, и большие капли падают с них, звонко плаща, на размоченную землю.

Холод лезет холодной влажной рукой Вилему под ру-
башку. Вилем подымает воротник и переходит на другую
сторону, под свод галереи.

Он ходит среди покупательниц, которые смотрят ему
вслед, гадая, кто б это мог быть, зачем сюда пришел и бро-
дит в такой дождливый день, будто неприкаянный. Им
нравится его лицо, оно представляется волнующим и та-
инственным, напоминая каждой из них возлюбленного,
который в жизни так и не встретился. Упругая, напряжен-
ная походка его как бы говорит о таящемся в нем хищни-
ке, готовом к прыжку. Это и манит и страшит. У навеса
над корзинами яблок, слив, груш и овощей полно догадок
и шепотов.

Вилем тоже оглядывается на этих женщин, думает, нет
ли среди них какой-нибудь из прежних его возлюбленных,
и порой ему в самом деле кажется, будто под маской
утекшего времени он узнает лица, над которыми склонял-
ся когда-то с волнением и счастливым смехом в сердце,
видя себя таким молодым и любимым. Тогда он еще совсем
не притворялся, а только говорил обычную ложь и сам ей
верил, потому что на самом деле любил каждую из тех
девушек, которых сжимал в объятиях, и ни одну не стре-
мился обмануть. Столько их было, и все — как одна,
только неизвестно, которая именно.

Наверно, они потом перевоплотились в Эву Паласову.
И Вилем останавливается под пустым сводом галереи
и долго, упорно думает, — думает, вспоминает, ищет.

Оркестр вскипал одним из тех бурных взрывов, и над
ним, будто взлетевшая высоко над прибоем птица, пропи-
щал насмешливый вопрос пикколо-флейты. Поспешим на
него ответить. Вернемся назад, еще, еще, — пускай сеет
дождь со скрипок или на площади моего родного города,
пускай глухо гремит судьба ударами литавр или сердца
в Вилемовой груди. Мы еще не дошли до конца дороги.

После того как Вилем исповедался своей новонайден-
ной тете в комнатке, где столько часов щебетало металли-
ческими горлышками безумную песню о времени, и оказа-
лось, что в этой маленькой подвижной женщине, не при-
знающей старости, он нашел больше чем ласковую
родственницу, охотно давшую ему приют, — на какие еще
препятствия мог он натолкнуться?

Я беспокойно заерзал на стуле, так что Ярмила даже
поглядела на меня с тревогой и сжала мне руку, чтобы
я пришел в себя. Я улыбнулся ей виновато и благодарно,
но трубы, вознесшиеся яркой фанфарой над остальными

инструментами, кричали моей радостью. Вот где причина поздней Вилемовой драмы. Если б все не шло у него так легко с самого начала, он не стоял бы, наверно, под сводом галереи на окутанной дождем площади нашего с ним родного города и не задавался отчаянным вопросом, что будет с ним дальше.

Главный режиссер Барох оказался одним из верных поклонников Сташи Рыдловой, круг которых под влиянием времени сильно поредел, но до сих пор еще не растаял. Двери ее квартиры были для него всегда открыты, он мог заходить, когда ему вздумается, и, если заставал ее дома, сесть против нее в глубокое низкое кресло, пить крепкий чай, пыхтеть, делиться с ней всем, чего не рассказал бы никому другому, и любоваться ею, как бегемот любуется стрекозой, кружящейся над его огнедышащей мордой. Он ходил сюда ради сознания, что вовсе не так еще состарился, раз Сташа выглядит все такой же свежей и непосредственной, как пятнадцать лет тому назад, когда он с ней познакомился, и ради той правды, которую имела смелость говорить ему только она. Иной раз ему так доставалось от нее, что он, пыхтя от ярости, уходил оскорбленный и не появлялся целую неделю. Это был самый долгий срок, который он мог выдержать, пребывая в ссоре с ней. И чем дальше злился, тем более укрощенным и покорным возвращался.

И вот мы уже на другой день после обеда видим его сидящим на облюбованном месте. На этот раз он поспешил на телефонный зов Сташи, чтобы скорей узнать, что хочет от него эта женщина, за все пятнадцать лет их знакомства не проявившая и нему ничего, кроме иронического интереса, отвечавшего ее потребности ставить в затруднительное положение мужчин, перед которыми преклоняется общество. Сташа, сидя, как обычно, на низком табурете без спинки, смотрела на него вопросительно, а Вилем Габа стоял, прислонившись плечом к косяку высокой двери.

— Вот вы как, молодой человек? — сердито проворчал Барох. — Не могли мне прямо сказать, какая у вас покровительница?

— А вы не думаете, друг мой, что он облегчил бы себе задачу, если б знал об этом? — промолвила Сташа обычным своим ровным, слегка насмешливым тоном.

Барох, надменно захрипев, сильно отхлебнул темнорубиновой жидкости из такой тонкой и прозрачной чашки, что было страшно, как она не треснет от его дыхания. Гнев его был показной: в глубине своего обросшего жиром

сердца он был рад, что Сташа обратилась к нему с просьбой и он в состоянии эту просьбу исполнить.

Он сделает для этого юноши, что будет можно; сделал бы и так, но теперь — с большим удовольствием. Кто знает, может, это будет не так уж трудно, и этот — как его там? Габа? — сам ему это облегчит. Он как будто создан для успеха.

Но Барох был человек осторожный и, хотя желал угодить самой дорогой своей приятельнице, решил действовать так, чтобы самому ничем не рисковать. Сперва маленькие рольки; посмотрим, как парень держится на подмостках и чем может быть нам полезен. Просто удивительно, какая в нем хищность и какой расчет, как он рвется к цели; пылко и в то же время обдуманно,— сразу видно купеческую породу. Сташа говорила, что у отца его была бакалейная торговля и должна была перейти к нему. В самом деле, бояться нечего. Этот молодой человек прямо рожден для подмостков, он ходит по ним, будто по своей наследственной лавке, не испытывая ни страха, ни смущения, словно у него кто-то сидит внутри и нашептывает ему, что и как делать.

И видна хорошая школа. «Палас с ним мучился, а я буду сливки снимать», — злорадно думает Барох, и его старое соперничество, и все одержанные им победы ожили в его сознании при взгляде на Вилема. Этот молодой человек пробудил в нем новое желание жить и работать; Барох привязался к нему, очарованный его молодым одуванчиком, разговаривал с ним целыми часами у себя в кабинете и во время своих визитов к Сташе Рыдловой, где Вилем жил, таскал его с собой на одышливые прогулки, при помочи которых боролся со своей полнотой, и в прокуренные погребки, где мог выпить ни с чем не сообразное количество вина, не пьянея.

В театре не осталась незамеченной эта непонятная дружба всемогущего главы с еще не оперившимся юнцом, о котором никто не мог толком сказать, откуда он взялся. Вилем скоро почувствовал вокруг себя пустоту; с ним никто не дружил, все глядели на него подозрительно. Старые актеры спокойно презирали его, молодые сторонились, чувствуя, что появился человек, с которым нельзя конкурировать обычными способами.

Да и действительно было трудно конкурировать, даже если бы Вилем был здесь один и не имел этой могучей поддержки. Такого первого любовника давно уже не было на подмостках главной сцены. У него это было внутри.

Дайте ему любовный текст, и слова мгновенно вспыхнут в нем. Это то самое мужское обаяние, которое испытали на себе девушки его родного города, еще когда он был юным, тот жар, что раздувала в нем любовь к Эве, жар недоуменный, подавленный и переключившийся в стремление другого рода — в дикое честолюбие, знающее один-единственный предмет любви: самого себя. Это началось у него в Горжине, а тут нашло лишь великую возможность.

Она не заставила себя долго ждать. В конце концов все вокруг поневоле признали, что Барох сделал удачный выбор. Габа имел не только идеальные для первого любовника фигуру и лицо: у него был театр внутри. Его продвижение невозможно было задержать. Начались оби-ды и дикие сцены, интриги против руководства, но Барох был слишком могуч и происки не приводили ни к чему.

Вырвавшись из плена оркестра, загремело фортиссимо. Мы как раз нуждались в чем-нибудь таком, я сжал Ярмилину руку, и она с улыбкой ответила мне тем же. Она не подозревала, что музыка захватывает меня не тем, что я слышу. Вот перед нами юноша выступает в великий поход, и это так же важно, как высший взлет этой симфонической поэмы, от которого у слушателей захватывает дух и сердце играет марш могучими ударами восторга. И у меня тоже захватывает дух, но по другой причине.

Барох был настолько же умен и опытен, насколько Палас проникновенен. Он вел своего питомца осторожно, со ступеньки на ступеньку, разжигая в публике интерес к новому первому любовнику, воплощению всех женских грез о возлюбленном — мужественном, суровом, нежном, раздвоенном, надломленном, прямолинейно резком, смотря по тому, что требовала роль, но всегда — с той подоплекой настоящей любовности, которую женщины чувствуют инстинктивно.

«Все то, чем ты никогда не был», — захотел надо мной в язвительном глиссандо кларнет. «Что касается меня, — отрезал я ему, — так я здесь не ради себя, а ради того, чтобы дать жизнь лицу, в котором это играет больше и сильней, чем во мне».

От салонных и светских пьес Вилем пробрался к психологическим драмам, а оттуда — один скачок до ролей классического репертуара. С каждой новой ролью в нем вновь разжигалось любопытство. Это уже совсем не тот человек, которого мы видели за прилавком отцовского магазина, у Паласа, в объятьях Эвы и в Горжине, не тот,

который недавно приехал в Прагу и мечтал заставить ее жителей оглядываться на него на улице.

Концертный зал огласился рукоплесканиями, словно тысячи босых ног зашлепали в диком беге по каменным торцам. Дирижер, на черной спине которого я прокручивал фильм о Вилеме, встал лицом к публике, чтобы раскланяться. Он не принимал одобрения на свой счет, разыгрывал скромность и благородство, делал вид, будто вся заслуга принадлежит оркестру, который он демонстративным жестом заставил встать. В то же время на нем было написано жадное желание собственного успеха и готовность задушить каждого, кто вздумал бы отнимать у него хоть одну пару этих плещущих рук. Нет, приятель, шалишь, я тебя раскусил.

Мы прогуливались по переполненным коридорам вокруг концертного зала. Ярмиле, раскрасневшейся, было не до разговоров: она еще блуждала в мире, в который ее увела музыка. Я был этому рад, так как понес бы чушь, если б она стала спрашивать мое мнение. Я люблю музыку, сам играл на скрипке, а позже на виолончели, но она всегда была для меня лишь толчком к усиленному мечтанию.

Наблюдая этот двойной, трущися о самого себя поток прогуливающихся, я больше думал о публике, наполнявшей коридоры во время спектаклей с участием Вилема Габы. Об этих растревоженных женщинах, которым его голос, походка, лицо, каждое движение открывали новые и новые стороны мужественности и любовности, о принимающих слегка презрительный вид мужчинах, угадывающих за его игрой смелую настойчивость, ревниво чувствующих себя задетыми всем, чем восхищался в нем женский пол и чего недостает им самим, и вынужденных признать, что в этом малом на самом деле что-то есть, что его игра волнует их, хоть и по-иному, но не меньше, чем женщин.

Стоит только раз пробить лед — и слава твоя будет расти, как поток во время весеннего таяния. Ты можешь не думать о том, куда он побежит, только старайся, чтоб не высох. Любопытно: карабкаясь на эту крутую вершину, ты был уверен, что только там тебе будет хорошо, что не будет такого места, куда бы не достал твой взгляд, что мир раскроется перед тобой, словно рука, полная даров. Но вдруг оказывается, что сидеть там неудобно, как на коньке крутой крыши либо на флюгере, в который надо судорожно вцепиться, чтобы не упасть вниз. Иной раз и молния сверкнет над самой твоей головой, так что в глазах потем-

неет после яркой вспышки, показавшей тебе, что ты сидишь не в покойном кресле.

«Игра пана Габы на вчерашней премьере была отмечена странной неуверенностью,— напишет кто-нибудь,— от которой исполнитель главной роли освободился только к концу спектакля. Мы привыкли ждать от этого актера исполнения продуманного и проработанного до последней детали и верим, что он в конце концов вырастет в звезду первой величины. Нам было бы очень жаль, если б наши надежды были обмануты, что нередко случается на нашей главной сцене».

Я отшлифовывал эту рецензию, словно мне предстояло нынче вечером написать ее об исполнении того, за чьей игрой я только что следил с пристрастием и сердечной тревогой. Я шевелил губами, повторял шепотом каждое слово и как бы взвешивал его.

Ярмила сжала мою руку и с улыбкой повернулась ко мне.

— О чем ты сам с собой разговариваешь, Индра?

Струсив, как мальчишка, застигнутый врасплох в тот момент, когда он гримасничал за спиной учителя, я поглядел на нее с виноватым видом.

— Просто так,— начал я неуверенно, но потом сказал прямо: — По-твоему, как реагировал бы Габа на благожелательную критику в тот период, когда он уже начинал греметь в Праге, но далеко еще не был уверен в себе?

— Так-то ты слушал? Одно удовольствие ходить с тобой на концерты! — промолвила с упреком Ярмила.

— Не сердись, я не виноват. Но скажи, как бы он себя повел?

— А сам не можешь себе представить? — попробовала она меня подразнить, но я сейчас же горячо возразил:

— Я знаю. Но хочу услышать от тебя, чтобы проверить, можно ли на основании того, что я о нем до сих пор написал, догадаться, как бы он в подобном случае себя вел.

— Ведь он мог измениться под влиянием своей славы?

— Конечно, но что-то должно было в нем остаться неизменным, некая основа его характера.

— Ты имеешь в виду его напористость? Это верно. Раз он что-нибудь задумал, для него не существует препятствий. Так?

Румянец, уже исчезавший на лице ее, пока мы с ней расхаживали по переполненным коридорам, вернулся под влиянием нового волнения. Я сжал ее руку в порыве благодарности, которую не мог выразить иначе. Зачем мы

в эту минуту не были одни! Равнодушные взгляды скользили по нам, прикасались к нам, исчезали, сменяясь новыми на неустанном конвейере прогуливающихся.

Ярмила, словно не заметив моего пожатия, даже наоборот, высвободив свою руку из моей, продолжала:

— Сперва он вышел бы из себя, обозлился бы. Ведь он был невероятно честолюбив, и, после того как он отведал успеха, в нем, конечно, стало расти самомнение, чванство. Но даже в гневе он был так проницателен, что разбирался, где правда. И, конечно, сказал себе, что может выиграть, только работая еще больше.

— Да, да, именно так,— в восхищении промолвил я так громко, что многие оглянулись на нас.— Имел успех и был сравнительно молод, и поэтому у него иной раз начинала кружиться голова. Но всегда ненадолго. Он относился подозрительно к успеху, доставшемуся слишком легко. Оглядываясь вокруг, он видел, что тех, с кем ему приходится иметь дело по сцене, он может, так сказать, вызвать на левую. Он играл и вживался в изображаемое лицо без всякого труда, как птица поет, но лишь в редких случаях поддавался искушению и забывал о своем недоверии к легкой работе. За его плечами был целый ряд поколений людей, знавших, что ничто даром не дается, и убежденных, что чем легче досталось, тем легче потеряется. Они сидели в нем и следили за его действиями.

— Это он; таким я его себе представляю. Но потому-то он все больше становился сам себе центром и ни с кем и ни с чем не считался. Я бы не хотела быть в него влюбленной. Я поняла бы, конечно, что нельзя верить ни одному его слову, ни одной улыбке, и это было бы ужасно.

Дробяной град электрических звонков пал на головы прогуливающихся, возвещая конец антракта. Человеческий поток внес нас в зал, и когда мы сели на свои места, Ярмила, сжав мою руку, шепнула:

— Теперь выкинь Вилема из головы и послушай со мной.

Я молча кивнул с благодарной улыбкой. Ей легко говорить «послушай со мной». Она хотела бы, чтоб мы, взявшись за руки, походили вдвоем по стране, созданной из звуков и мечтаний друг о друге. Но между мной и ею встала черная спина этого комедианта на эстраде, и как только из-под его палочки начало вырастать буйное богатство «Созревания» Сука, наши пути разошлись. Когда ее взгляд время от времени обращался ко мне, я отвечал словно заученной улыбкой.

«Я бы не хотела быть в него влюбленной», — сказала она о Вилеме и этим точно охарактеризовала проклятие, которое он приносил с собой. Какова была его частная жизнь в те годы быстрого восхождения и ненасытной жажды новых и новых успехов? Казалось бы, для личных дел у него оставалось слишком мало времени. Публика требовала его, и репертуар был составлен так, чтобы ему быть как можно чаще на сцене. У него оставалось очень немногого свободных вечеров на неделе. Но человек молодой многое выдержит. Думаю, он быстро преодолел и первоначальное недоверие, с которым его встретили коллеги по театру. Ведь он обладал удивительным, завидным свойством привлекать к себе людей, и они тянулись к нему и любили бывать в его обществе, сами не зная почему. Вообще говоря, актеры редко по-настоящему, искренне дружат между собой, может быть оттого, что кажутся один другому карикатурными отголосками друг друга. Они не могут ни сбить друг друга с толку, ни обмануть, так как каждый видит другого насквозь. Так что окружающие Вилема друзья и поклонники появлялись со стороны.

Он входил в моду, богатые буржуа звали его на свои блестящие балы или мужские пирушки, кончавшиеся дикими налетами на самые шикарные ночные притоны и самые глухие трущобы. В определенных кругах, где любят хвастать знакомством с людьми искусства, стало считаться хорошим тоном водить компанию с Вилемом Габой, угощать его, прокутить с ним ночь. Он не уклонялся от этих приглашений. Поначалу такое внимание приводило его даже в восторг, льстило ему, служа, так же как аплодисменты в театре, наглядным доказательством его растущей популярности. В конце концов он был все gröбнавсего провинциальным купеческим сыном, и, хотя семья его принадлежала к самым выдающимся в родном городе, — общество, с которым он до сих пор сталкивался, не шло ни в какое сравнение с этой средой директоров банков и фабрик, крупных землевладельцев, женских и зубных врачей, адвокатов. Но в то же время он был достаточно умен и горд, чтобы не обнаруживать перед ними, как он подымается в своих собственных глазах под влиянием их интереса к нему. Наоборот, он держался с ними на равной ноге, даже с некоторым оттенком высокомерия, сначала наигранного, но чем далее, тем более неподдельного.

Плено скрипок взвилось и запело высокими, упоительными голосами страстное желание, пыл и негу, так что

мурашки побежали по спине. Ярмилина рука сжала мою и впилась ногтями мне в ладонь. Я ответил пожатием, улыбаясь в пространство. Ну да, любовь, — знаю. Женщины тянулись к нему еще больше, чем мужчины, видевшие в нем желанного участника своих кутежей. Конечно, у него были любовницы, и это льстило его самолюбию, и ему было трудней уклоняться от любовных связей или вовремя рвать их, чем завязывать. Все эти женщины не играли существенной роли, а если играли, то лишь в том смысле, что, проходя через его руки, оставляли в его сердце все большее презрение и уверенность, что они годятся, как средство убить время, но в то же время часто скучней, чем хорошая попойка. Они не были ему безразличны, он не мог представить себе жизнь без них, но они вызывали в нем чувство разочарования, как у искателя, который не может достичь цели из-за вечных «сорвалось». Эва Паласова унесла с собой весь запас его привязанности к одной женщине и желание дышать только для нее.

Опять скрипки поднялись так высоко, что, казалось, несут не просто нестерпимо страстную, тоскующую мелодию, а какую-то мечту, готовую выйти за пределы всех понятий и представлений, — невыразимую мысль, что кружит внутри вас, когда вы видите, как в неизмеримой высоте под голубым небосводом тянутся птицы, чтобы потом уйти за горизонт.

Послушайте, это любопытно, как мало на первый взгляд нуждается в чувстве человек, преследующий единственную цель — выражать его. Он играет чувствами в мыслимых подобиях, словно вовсе потеряв способность отдаваться им в действительности. Вилем поступал с ними, как человек, который развлекается тем, что зажигает и гасит свечку. Мало-помалу он пришел к выводу, что гораздо удобней изображать их, чем испытывать на самом деле, и что в жизни не следует тратить столько сил для их выказывания, как на сцене.

Однако ему пришлось еще раз сыграть роль, к которой у него не оказалось всех нужных данных, и его испытанная уверенность в себе изменила ему. Ему уже стукнуло тридцать, когда он стал бывать в доме директора сахароварного концерна Зикмунда Гулы. Гула был один из тех крупных деятелей, стоявших на заднем плане, о которых широкой публике почти ничего не известно, но от которых в ее жизни зависит больше, чем ей желательно. Высокий, костлявый, с резкими чертами лица, небольшим, но твердым подбородком и широким гладким лбом, с аккуратно

причесанными пепельно-светлыми волосами, он производил впечатление переодетого дровосека и, видимо, на самом деле был из какой-нибудь такой семьи.

Габа сразу угадал в нем цельного человека, который всегда точно знает, чего хочет, и способен идти неуклонно к своей цели. В его лице Вилем впервые спустя долгое время встретил человека, к которому почувствовал такое же уважение, как к Паласу. Он смотрел на него с жадным любопытством художника, нашедшего такую личность, на основе которой можно было бы построить тип. Даже речь Гулы захватывала. Он говорил в одно и то же время приветливо и решительно, каждая фраза его имела характер окончательного суждения или призыва к действию, требования или едкой эпиграммы, неумолимой констатации или вызова на спор.

Когда Вилем с этим сахароваром познакомился, тому было уже пятьдесят. За пять лет перед этим от него, в последнем порыве взять от жизни что можно, сбежала жена — с известным автомобильным гонщиком, который через год ее бросил. Семья распалась. Сын Зденек, чемпион гольфа, юноша слабохарактерный, жил с матерью; дочь Анка, живая, стройная красавица с тяжелой темно-каштановой косой, ненавидевшая свою родительницу с детских лет, осталась с отцом.

Анка была девушка, в сущности, до неприличия здоровая телесно и душевно, но так как она жила в роскоши и комфорте, отцовская хищность и напористость проявлялись у нее в том взбалмошном непостоянстве, с каким она кидалась от спорта к искусству, а потом к изучению каких-нибудь абстрактных наук, впрочем, скоро ей надоевших. Был сезон, когда она чуть не выиграла женское первенство города Праги по теннису, но в следующем сезоне, рассерженная неудачей, не брала ракетку в руки. Она ездила верхом, водила машину, в каждое время года появлялась там, где люди ее круга должны быть, но никогда не выдерживала до конца и, соскучившись, убегала. Одно время руководила ассоциацией рабочих — любителей декламации, к немалому веселью отца и великому огорчению его друзей. А в конце концов организовала кружок танцев и, может быть, оттого, что танец больше всего подходил к ее кипучему темпераменту, добилась в этой области больших успехов.

Ей было двадцать три года, когда она познакомилась с Вилемом Габой, и родись она в какой-нибудь мещанской, крестьянской или рабочей среде, то уже давно была бы

замужем и водила за ручку ребенка, а то и двоих. А теперь она бегала по свету,— правда, по тому, к которому принадлежала,— дразнящая, желанная и неприступная, компанияская, остроумная, готовая кинуться в любое самое нелепое предприятие, кроме одного: связаться с возлюбленным или мужем. Вилема она завербовала в одно из тех эфемерных объединений, где встречались профессиональные работники искусства с подражателями, и затащила его, как один из ценных трофеев, в дом отца.

В первый вечер они спорили об актерской и мимической стороне современного танца. Господи, до чего эта девушка была умна! С большим трудом удалось Вилему одержать верх, хоть он и не был вполне уверен, что это у него действительно получилось. Отказавшись от предложения отвезти его обратно на автомобиле, он возвращался из Бубенечской виллы Гулов домой искрящейся морозной ночью. Воспроизводил в памяти весь свой спор с Анкой, особенно ее едкие замечания, и продлевал удовольствие от любования своими удачными ответами.

На другой день утром вспомнил все, как только проснулся, и ему стало так весело, так захотелось работать, как давно уже не хотелось. Доказать ей, что он молодец, какому на свете нет равного! Он долго боролся с искушением поднять телефонную трубку и спросить ее, как она спала, услышать ее молодой, задорный, насмешливый голос. Но он слишком привык, чтобы женщины сами за ним ухаживали, а может быть, и догадывался, что Анка по-своему из того же теста и что он только проиграет в ее глазах, если проявит к ней чересчур сильный интерес.

Он молчал, и она — ни звука. Каждый вечер его тянуло в бар, в котором, он знал, бывает Анка; мечтал встретиться хоть так, будто невзначай. Может, и она тоже на это рассчитывает,— внушал он себе. Но в этот период он репетировал Сирено — роль, относившуюся к самым его лучшим, и за которую ему пришлось, как всегда, воевать закулисными способами, так как многие коллеги его считали себя тоже вправе на нее претендовать.

Близилась премьера, и Вилем жил как монах, чтобы не подрывать своих сил несвоевременным разгулом.

Прошла неделя, другая, а он ничего не знал об Анке. Но тем упорней думал о ней, используя в то же время подавляемые чувства для своей роли. Он не имел никаких сведений о существовании реального соперника, но пьеса этого требовала, и ему довольно было к своему напряжению, своей страстной жажде и разочарованию прымыслить

только, будто все это он приносит в жертву дружбе, на которую в жизни был вообще не способен. После долгого перерыва он снова переживал пробуждение чувств, а оно, в силу обстоятельств, сталкивалось с препятствием, подобным тому, которое было в пьесе. Анка стала сливаться для него с Роксаной, он жил только ради нее, ей декламировал свои страстные признания, с помощью которых добывал сердце Роксаны для своего соперника; но это была уже не Анка, по которой еще неделю или две тому назад он напрасно вздыхал; она преобразилась, скинула свою физическую оболочку, сделалась самостоятельным существом внутри него и, уже независимо от своего телесного прообраза, врастала в то величайшее сбожествление, которому он поддавался вновь и вновь, в обожествление самого себя — благодаря силе, которую он умел придать своей игре. В суровые дни работы над новым спектаклем, когда Анка молчала, не давая о себе знать, Вилем упустил одну из величайших и последних своих возможностей: найти себя в простых человеческих отношениях.

Тогдашнее Вилемово мучение волновало меня, как будто это страдал я сам. Музыка взвилась на головокружительную высоту, Ярмилина рука сжимала мою. Как все это трудно объяснить. Я любил ее, но в ту минуту, когда она льнула ко мне, призывая меня всей силой своего сердца, я отстранился от нее, я жаждал встать, оказаться каким-то образом сразу перенесенным за свой столик в этой отвратительной берлоге, которую от нее скрыл, и — записать. Записать, скорей записать все, что я придумал, чтобы та странная сила, которая порождает мышление, была хоть отчасти поймана. Я так безумно желал этого, что всё вокруг, даже сама Ярмила, в ту минуту было мне в тягость. И, осознав это, я нимало нестыдился.

Габа увидел Гулу с дочерью только на премьере. Они сидели в первом ряду, во второй ложе направо от сцены. Анка, с тяжелой косой темных волос, сильно декольтированная, сверкая белыми плечами, вся устремлена вперед, как бы ловя каждое его слово; за ней — ярко блестящая манишка открытого смокинга Гулы. Он почти весь спектакльостоял на ногах.

После третьего акта они послали Вилему корзину цветов с Анкиной визитной карточкой и лавровый венок с карточкой Гулы. Анка аплодировала как сумасшедшая, перегнувшись через барьер ложи, но к нему в артистиче-

скую они не пошли: видимо, сочли такой визит неделикатным.

Это была премьера, каких театр давно не видел. Слышите, какие аплодисменты? Так и взрываются вновь и вновь. Кажется, никто и не думает о том, чтоб идти домой. Я поднялся и тоже стал аплодировать, но вместо взмокшего дирижера с всклокоченными волосами и размякшим воротничком рубашки увидел человека в широкополой шляпе, с огромным носом.

— Пойдем же, — сказал я Ярмиле.

Она взглянула на меня с удивлением, озадаченная внезапной переменой моего настроения.

— Что это ты так вдруг?

Я ответил с виноватым видом:

— Не сердись. У меня сейчас столько в голове, что хочется скорей домой, а то — как бы не забыть...

5

Нельзя сказать, чтобы этот вечер в честь моего первого напечатанного рассказа был особенно удачен. Я оказался порядочным негодяем, если учесть, с какой любовью Ярмила его устраивала и все подготовила, чтоб я чувствовал себя счастливым. А я постарался, чтоб он скрипел взаимным непониманием до самого конца. Она, конечно, ждала, что после концерта мы зайдем куда-нибудь в кафе, или думала даже позвать меня к себе. А я объявил, что жажду только одного: как можно скорей домой!

Мы ехали обратно в переполненном трамвае, и порой люди разделяли нас. Я казался сам себе каким-то дураком, отворачивающимся от реальной жизни ради бессмысленной мечты о ней. Но что мне было делать? Слишком много бесплодно потраченного времени пронеслось над моей головой. Хотя я страстно любил Ярмилу, сегодня я чувствовал бы себя чужим в ее объятиях и, сам обнимая ее, думал бы не о ней, а о Вилеме и Анке, либо о проклятой сапожной мастерской, которую я от нее скрыл, о ядовитом замечании пани Пашековой, о призраках нищеты, по-прежнему отделявших меня от Ярмилы, о том, что я до сих пор не имею на нее права. Мы сошли с трамвая и стали прокладывать себе дорогу сквозь ледяной ветер, дувший нам в лоб из глубины Стромовки и с Влтавской долины. На углу улицы «На валу» Ярмила остановилась и сказала:

— Не надо меня провожать. Тут два шага. Я дойду одна.

Это прозвучало так, словно она больше не хочет обо мне слышать.

— Ярмила! — с ужасом воскликнул я.— Ты на меня рассердилась?

Она придерживала шляпу, срываемую порывами ветра. Наклонив голову к правому плечу, чтобы им помешать, она ответила без улыбки:

— Рассердилась, скажу тебе прямо. Я немного разочарована. Я представляла себе сегодняшний вечер иначе.

Голос ее прервался, словно растущая сила ветра заглушила ее последние слова. Она отвернулась и ускорила шаги; я поспешил за ней, торопливо говоря:

— Ярмила, я в трамвае все время ругал себя дураком. Я сделаю, как ты захочешь.

Она не ответила, но позволила взять ее под руку, и я повел ее, как всегда. Ветер еще ухудшал мое положение, представлявшееся мне и без того отчаянным. Он принуждал нас держать свои шляпы и шагать, сильно наклонившись вперед, срывал мои слова прямо с губ, так что я не был даже уверен, слышит ли меня Ярмила. Я толковал вперемешку о Вилеме и его актерских и мужских успехах, об Анке Гуловой и ее отце, о премьере «Сирено», которая должна была стать поворотным пунктом в развитии Вилема как артиста и человека, обо всем, что мне пришло в голову на концерте, и о моем страхе перезабыть половину всего этого, если только я сейчас же не сяду и не запишу хоть в самых общих чертах.

Так мы дошли до ее дома. Она остановилась у самой двери, чтоб укрыться от ветра; я взял ее за руки.

— Ты можешь меня простить? — снова спросил я.— Давай пойдем куда-нибудь в кафе. Я готов отдать все свое писанье за полчаса с тобой.

— Какой ты вздор говоришь, — ответила она.

Она стояла на первой ступеньке лестницы, так что наши головы находились в эту минуту на одном уровне. Я чувствовал ее дыхание на своем лице, страстное желание душило меня, взяв за горло. Но даже и тут я не перестал думать о своей работе, боясь в одно и то же время, что Ярмила отправит меня домой и что она позовет меня к себе наверх.

— Ты ни в коем случае не должен оглядываться на меня, когда тебе надо работать. Если будешь так делать, я тебе скоро опостылю.

Все это было так жестоко несправедливо, но я получил по заслугам. Почему мне нельзя иметь и Ярмилу, и свою работу? Или — слишком много?

— А в конце концов окажется, — промолвил я удрученно, — что все мое бумагомарание — псу под хвост. И я буду жалеть о каждой минуте, которую мог бы провести с тобой.

Она высвободила руки из моих и стала искать в сумочке ключ от входной двери. Лицо ее заслонил край шляпы, ее тень на двери возвышалась над моей, переломленной в коленях высоким порогом. Она не ответила.

— Ярмила!

Она всунула ключ в дверь, открыла ее и, стоя уже в дверях, повернувшись ко мне, промолвила:

— Я не могла бы любить тебя, если бы ты действительно так рассуждал. Такие слова отнимают у тебя уверенность в себе. А ты должен добиться своей цели. Я не вынесла бы рядом с собой человека, о котором знала бы, что он много может и ничего не сумел. Теперь поцелуй меня и ступай, пиши. А я пойду домой и буду желать тебе ни пуха ни пера.

Я обнял ее.

— Ярмила, — взмолился я.

Она на мгновение ослабла в моих объятьях, но тотчас выскользнула и отстранила меня.

— Нет, нет. Ступай. А завтра приходи меня встретить.

Дверь за ней захлопнулась, ключ заскрежетал в замке. Я прислушался к удаляющемуся, слабеющему стуку ее высоких каблуков. Сердце мое сперва билось в их же ритме, а потом стучало уже одно в свисте ветреной ночи. «Я не вынесла бы рядом с собой человека, который много мог и ничего не сумел», — сказала Ярмила. В этом «не вынесла бы» открывалось грядущее. Она считалась со мной, верила, что мы с ней останемся вместе, и наше общее будущее вложила мне в руки. Ничто не стояло у меня на дороге, только я сам. Было ясно, что она хочет пробудить во мне смелость и настойчивость, а у меня перед такой ответственностью, наоборот, подгибалась колени. Это было слишком много для человека, который не умел позаботиться даже о самом себе.

Серпик восходящего месяца застрял над трубою Гардовой фабрики. Слегка наклонившись на сторону, он нижним концом своим оперся на край ее жерла, словно с трудом удерживаясь в этом неустойчивом положении. Редкие волокнистые тучки, растрепываемые быстрым вет-

ром, рвались о его вырезное острие. Это зрелище вызывало восторг и головокружение. Фонари качались в своих скрипучих подвесках, бросая шаткие тени. Ничто не покоилось надежно на своем месте в эту расходившуюся ночь, когда даже коньки крыши на фоне подвижного неба казались носами лодок, которые вот-вот захлестнет всепененный поток облаков. Словно город сорвался со своей древней якорной стоянки и, никем не управляемый, уносится взвихренным морем в призрачную получьму.

В жизни бывают мгновенья, когда она сразу вознаграждает вас за все удары, которыми до тех пор потчевала. Это было одно из таких мгновений. Оно подарило мне виденье, и я был счастлив, как ребенок, преобразивший стебель чертополоха в великан и собирающийся вступить с ним в борьбу. С поднятым воротником пальто, в плотно нахлобученной шляпе, дергаемый озорными руками ветра, стоял я на углу улицы «На валу», на командном мостике флагмана моих детских снов, взлет и падение пульсировали во мне, буйным ветром приключений сквозило в моем сердце. Я еще не погас, боже мой, мне еще есть чем жить и чего желать.

Мне сорок лет. А какое это имеет значение? Только то, что я не имею права тратить ни секунды из той неоценимой меры времени, которого я и так слишком много расточил зря. Труба Гарадовой фабрики вырисовывалась на посветлевшем небе черным восклицательным знаком, вечным кличем к работе, возносящимся над улицей «На валу» даже во сне. Лунный серпик оторвался от нее и плыл, как пьяный, наклонен облачным прибоем. Мне были понятны его чары, я полжизни проблуждал из-за них. Забыть обо всем и бродить в клубах сновидений, которые столько обещают тебе, никогда не исполняя обещанного. Но под месяцем торчал черный восклицательный знак, единственный недвижный предмет в зыблемом просторе этой ночи.

Я повернулся спиной к обоим — к трубе и к месяцу — и зашагал в направлении к своей мастерской. Близликий женский смех кинулся мне навстречу, и за ним побежал прерывистый басовитый хохоток. Я поднял голову, наклоненную против порывов ветра, и увидел две фигуры: круглую женскую и долговязую мужскую, стоявшие у дверей моей мастерской.

Я узнал пани Пашекову и ее Карлушу. Они смеялись, словно люди, которые так весело настроены, что готовы покатываться из-за каждого пустяка. Я думал, что моя

бывшая квартирная хозяйка, видимо, начала острить на мой счет, и Карлуша, достаточно подвыпивший, чтоб почувствовать, как безмерно возвышен он надо мной, занимая ключевую позицию, охотно разделил ее веселье. До меня донесся его урчащий голос: он как будто с величайшей серьезностью что-то прочел, и опять оба разразились неудержимым хохотом. Я стоял на противоположном тротуаре, сжимая кулаки в кармане, и ждал, когда эти двое исчерпают запас своих шуточек и пойдут домой.

Наконец они насытились, веселье их сравнительно быстро остыло на холодном ветру, и они, еще немного поурчав и визгливо похихиковав, скрылись в доме. Я побежжал скорей на ту сторону. Что они нашли смешного в обыкновенной шторе из гофрированной жести? Видимо, тут сыграло роль представление о том, как я за ней сижу, вместо прежнего чеботаря, и пишу какой-то вздор, который абсолютно никому не нужен.

Но, очутившись на краю тротуара перед своей мастерской, я увидел, что у них был повод для смеха, более существенный, чем собственные выдумки. На шторе крупными корявыми буквами было написано:

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ НЕ ПИСАТЕЛЬ,
А БУМАГОМАРАТЕЛЬ.

У меня дух захватило, словно кто двинул меня кулаком в грудь. Трудно было предполагать, что это написали они. Не может быть, чтобы старшие бухгалтера или жаждущие замужества вдовы ювелиров и инженеров носили в карманах или сумочках мел. Да и высота, на которой находилась надпись, говорила о том, что писал мальчишка. Но он выражал мнение улицы «На валу». А впрочем, чего мог я ждать? Какой еще писатель поселился бы в сапожной мастерской, кроме как тот, для которого эта надпись служила краткой и точной характеристикой?

Я потерял способность двигаться и думать. Во всяком случае, то, что происходило у меня в голове, трудно было назвать мышлением. Улица показывала на меня пальцем. Мне хотелось убежать. Сегодня это написали на моих дверях, завтра будут кричать мне вслед.

Ветер теребил меня, холод бросал в озноб. Я стиснул зубы, чтобы не стучать ими, на глаза мои навернулись жгучие слезы. Я ощутил их прежде, чем причину, их вызвавшую, и, вместе с желаньем их подавить, меня охватил бешеный гнев.

Я вынул носовой платок и принялся стирать надпись,

так что штора задребезжала. Покажу вам всем, кто я и на что гожусь! Не затем мотался я, как бездомный пес, чтобы струсить из-за какой-то насмешки...

6

Я был так оглушен своим занятием, шумом ветра и собственным гневом, что не слышал приближающихся шагов и заметил, что около меня остановился человек, только когда тот со мной заговорил:

— Что это вы тут возитесь, маэстро?

Я взглянул на него испуганно, но тотчас успокоился, узнав однорукого табачного торговца пана Пеху. До тех пор я видел его только за прилавком, где он работал сидя, и поэтому представления не имел, какой это великан. В нем было без малого два метра росту; на столбообразных ногах он нес могучее брюхо, переходившее непосредственно в горилю грудную клетку и плечи штангиста. При всем том нельзя было сказать, чтоб он был тучен: скорее — слишком мясист. Лицо его не было лицом толстяка. Широкое и довольно угловатое, оно было увенчано кепкой, этим общим отличительным знаком всех мужчин с улицы «На валу» и производило впечатление в одно и то же время задиристое и добродушное.

К счастью, в то мгновенье, когда пан Пеха около меня остановился, надпись была уже стерта и я удалял последние следы мела. Поэтому я мог надеяться, что если он не видел, что было написано на шторе, то поверит моим словам:

— Да кто-то пакость мне нарисовал.

Пан Пеха захочтал так, что железная штора с возмущением загудела.

— Пацаны,— возгласил он, адресуясь куда-то в пространство.— У меня на двери в лавку два раза в неделю, не меньше,— это самое. Да и то сказать: нешто мы-то не такие были, верно? По крайности я еще учеником и рисовал, и ножом вырезывал где попало.

Весь мир во мне и вне меня вдруг приобрел устойчивость. Пан Пеха распространял вокруг себя чувство спокойствия и безопасности, беззлобного юмора и уверенности, что все в конце концов будет как надо. Я подумал, что у меня нет оснований лгать человеку, до того уравновешенному, что это свойство переходит от него на другого, и стыдиться существа, которому, видимо, известны самые простые ответы на самые сложные вопросы.

— Пан Пеха,— промолвил я,— я сказал неправду. Это был не рисунок, а надпись. Кто-то написал на моей шторе: «Здесь живет не писатель, а бумагомаратель».

Пан Пеха некоторое время смотрел на меня с недоумением, словно стараясь взять в толк, что я ему говорю. Потом запыхтел и наклонился ко мне, прищутившись и опустив углы рта:

— Да неужто вам написали такую грубость?

Я кивнул.

— Черт возьми, кабы знать, какой это паршивец сделал, я б ему лапу оторвал.

Он взмахнул кулаком здоровой руки над моей головой, словно я был виноват, но вдруг остановил руку на полпути и удивительно легко положил ее мне на плечо. Лицо его потеряло прежнее уловатое, вызывающее выражение и расплылось в улыбке, которая перебралась и в прищуренные от ветра глаза.

— Да вы об этом не думайте, маэстро. Вам на эту пакость начхать нужно. Вот я нынче рассказ ваш об этих самых актерах прочел, штучка — во, ничего не скажешь. На мой вкус — печальная больно; ну, коли умом пораскинуть, так видно — иначе и быть не могло. Я что скажу, маэстро: спрыснуть надо! Это вот — да.

Он подхватил меня под руку своей здоровой десницей и заставил меня идти с ним.

— Я только-только от Росов, да ничего не поделаешь: нужно выпить!

Я попробовал сопротивляться. «Мне надо работать,— стал отговариваться я,— да и компания незнакомая: может, я не придуся ко двору». Меня возмущала мысль о том, что я отказался продолжить этот вечер с Ярмилой, а теперь вот придется провести остаток его в обществе забулдыг, с которыми у меня нет ничего общего. Ярмила не заснет, будет думать обо мне, о том, как мне работается. Я хотел воспротивиться дружескому насилию пана Пехи, но память, разволнившая сменой впечатлений, в этот крайне неподходящий момент выбросила на берег воспоминание, горечь которого ослабила мой отпор. Ведь еще совсем недавно я напрасно мечтал о том, чтобы сесть с кем-нибудь, согласным разделить тогдашнее мое воодушевление, и выпить за ту отвагу, с какой я навсегда отдался от своей обременительной службы.

— Пустяки это,— отклонил табачный торговец мои слабые возражения, продолжая подталкивать меня ко входу в Росову пивную.— Вы сами себе голова: чего нынче

не сделали, завтра наверстаете. И потом (тут пан Пеха повысил голос, словно провозглашая тост) надо вам своими глазами увидеть, что на всей нашей улице вы — как у себя дома. Тут вас уважают, и никто бы с тем грубианством не согласился, которое у вас на дверях написали.

— Вы хотите рассказать об этом, пан Пеха? — испугался я.

— Не такой я дурак, маэстро, — возразил он обиженно. — Это, понятно, будет между нами.

И, уже открыв дверь в пивную и вталкивая меня туда, наклонился к моему уху и шепнул:

— Я угощаю. Само собой.

Воздух, голубой от дыма и пропитанный запахом пивных опивок, ударил мне в нос, так что я опамятался и стал ясней воспринимать окружающее, только когда очутился на лавке, за угловым столом, между старым Вапенкой и паном Пехой. Конечно, и моя собственная растерянность сыграла значительную роль в столь невнятном для меня вхождении.

Там было еще пять или шесть человек, которых я знал в лицо, — в большинстве своем рабочие Гарадовой фабрики, да паровозный кочегар с темным лицом, по которому все время словно пробегали блики огня.

Пана Росу как будто не очень обрадовал наш приход. Он, не улыбаясь, стоял за стойкой, поглаживая мундштуком трубки верхнюю губу. Облысевший лоб его блестел, как латунные головки пивных кранов, и какая-то угрюмая мысль, не знаю чем вызванная, виднелась в его глазах. Это меня удивило, так как пан Роса всегда дружелюбно относился ко мне.

— Полагаю, господа, — возвестил пан Пеха в буйном приливе гостеприимства, — мы теперь спросим чего-нибудь посущественней. Надо угостить господина писателя.

Присутствующие поглядели нерешительно на грязную скатерть, и какое-то бурчанье, которое можно было принять и за согласие и за отказ, послышалось вокруг стола.

— Я за, — положил конец колебаниям и сомнениям пан Вапенка и, обращаясь к табачному торговцу, прибавил: — Напололам?

— Идет, — кивнул пан Пеха и попросил хозяина: — Ну-ка, поищи там у себя под прилавком, достань чего получше.

— Я через полчаса запираю, — объявил пан Роса угрожающе и не шевельнулся, чтоб выполнить заказ.

Его отрицательная позиция возмутила присутствующих. Они заговорили все сразу, осыпая трактирщика ожесточенными попреками. Что это за новости? Разве нельзя спустить шторы? Или, может, ему надоели посетители? Так они будут ходить в другую пивную — и вся недолга.

Но пан Рона уже откупорил бутыль сливовицы и нес ее на стол.

— Ну-ну, я ничего такого не сказал,— проворчал он примирительно.

— А лучше бы и вовсе заткнулся,— подвел итог пан Вапенка.

Это заключение, которое собутыльники одобрили кто улыбкой, кто кивком, казалось, положило конец недальновидному поведению трактирщика. Но — не тут-то было.

Когда пан Рона расставил перед гостями стопки на столе, обнаружилось, что для меня одной не хватает. Пан Пеха передвинул свою ко мне и стал ждать, чтобы хозяин исправил свой недосмотр; но тот сел в угол за стойкой и принял набивать себе трубку. Пан Пеха некоторое время задумчиво на него смотрел, и за столом все ждали, что он скажет. Но пан Пеха, видимо решив, что сочных выражений сказано уже достаточно и так как сидел на лавке с краю, сам пошел за стопкой. Доставая ее с полки за буфетом, он сказал хозяину:

— У тебя, видать, не все дома. Али втюрился?

При этих словах за столом началась настоящая пантомима. Собутыльники улыбались, подмигивали, пожимали плечами, но ни один — ни звука. Смысл этой игры от меня ускользал; я понял только, что компания что-то знала о пане Роне или о чем-то догадывалась, но не мог представить себе трактирщика, неразлучного со своей трубкой и холстинными домашними туфлями, селадоном, ищущим любовных авантюр на стороне. Я дождался поразительной разгадки, но только не в эту ночь.

Время, подгоняемое парами алкоголя, бежало быстро. С первой бутылкой было покончено, прежде чем раздался грохот опускаемых штор, и стеснение, сопровождавшее первые стопки и слова, было вспугнуто. Я не переживал такого чувства товарищества со студенческих годов. Неподдельная сердечность моих собутыльников скоро преодолела мою отшельническую робость. Сначала я подозревал, не ждут ли они подходящей минуты, когда можно будет поднять меня на смех и сделать беспомощной жертвой их шуток. Но потом убедился, что ни у кого из них

и в мыслях нет ничего подобного. Они обращались со мною по-приятельски, словно я встречался с ними уже много лет, и в то же время почтительно. Их интересовало мое ремесло писателя, они засыпали меня вопросами, и я отвечал все охотней, но тщательно следя за тем, чтобы не показаться кичливым и не возбудить их недоверия.

Они спросили меня, правда ли, что я был преподавателем и оставил это занятие ради писательства. Потом хотели знать, прибыльна ли моя профессия. Я ответил им без утайки, что пока не очень; они удивились, что я обменял синицу в руках на журавля в небе, решив, что это все-таки здорово, когда человек так упорно идет своим путем, даже не спрашивая, сколько он будет зарабатывать.

— Каждый должен делать, что его кормит, и не быть никому в тягость, — отозвался из своего угла пан Рося.

Я почувствовал, что бледнею, и если изо всех сил не возьму себя в руки, то у меня застучат зубы или я расплачусь. Неужели пан Рося узнал, что его жена посыпала мне обеды? Я встал и, опираясь на стол, промолвил, с силой подавляя дрожь голоса:

— Вы меня имеете в виду, господин трактирщик?

Но пан Пеха дружески усадил меня на место со словами:

— Не обращайте на него внимания, маэстро. А ты, — повернулся он к Росе, — нынче что-то больно язык распустил, а? Ляпни еще что — только нас и видел. И, скажу я тебе, мы тебя так распишем, что покатишься с «Вала».

Устрашенный общей враждебностью, трактирщик вынужден был вторично за короткое время нашего пиршества извиниться. Я знал, что такой вещи он мне никогда не простит, но, под влиянием выпитого и дружной поддержки со стороны собутыльников, во мне выросла гордость и зашумела своей богатырской кроной у меня в голове. Будь у меня в кармане хоть грош, я бы при всех швырнул его широким жестом пану Росе под ноги и попросил, чтоб он со своей супругой подсчитал, сколько стоили те несколько жалких обедов, которые она отпустила мне в надежный кредит. Но теперь надо было найти другой способ вправить ему мозги и заодно доказать сидящим за столом друзьям моим, что я не проходимец, существующий мирским подаянием; что, наоборот, я — лицо, обществом которого нужно дорожить и быть за него благодарным. Это сидело во мне, просилось наружу и ждало только подходящего повода.

— По моему крайнему разумению, писатель — это человек, который должен знать пропасть вещей,— объявил своим авторитетным тоном старый Вапенка, когда мы начали новую бутылку. Окинув быстрым взглядом сидящих за столом и убедившись, что слова его встречены, как всегда, полным согласием, он продолжал:

— Говорят, выдумывает. А нечто можно все выдумать! Да, сдается мне, и не нужно. Вы вот — Пеха говорит — написали об актерах. Ведь этого, надо полагать, с бухты-барахты не напишешь: тут надо знать.

— С радостью могу подтвердить, что пан Пеха очень правильно понял и оценил назначение писателя,— начал я с интригующей неторопливостью и ораторским тоном, когда глаза моих сотрапезников устремились ко мне.— Писатель должен и то и другое: и выдумывать и знать.

Под ласковым взглядом всей компании я продолжал свою речь с возрастающим воодушевлением, любясь самим собой:

— Я написал повесть об актерах, но в свое время сам был актером. Ездил со странствующей труппой, как мой герой. Я перебрал много профессий: был коммивояжером, бухгалтером, журналистом, играл в оркестре и, наконец, стал учителем итальянского языка, так как, кроме родного чешского, читаю, пишу и говорю еще на трех иностранных. И все это я делал с единственной целью: чтобы как можно больше узнать. Но суть не во мне, суть в моих героях,— это куда важней. Мне кажется, я хлопотал только ради того, чтобы как можно лучше их изобразить. Вот пан Пеха читал мой рассказ; он может подтвердить, что актер Габа, например,— человек отнюдь не заурядный. Я пишу о нем роман,— в этом рассказе показана только часть его жизненного пути.

— А, так это не конец? — прервал меня пан Пеха.— Вот славно. Господа, выпьем. За здоровье писателя и его актера!

Мы выпили, и я продолжал, пьянея не столько от алкоголя, сколько от радости, что вышел из своего одиночества и рассказываю о своей работе стольким внимательным слушателям.

— Ну, разумеется, это не конец. Этот самый Вилем Габа перебрался в Прагу, в Национальный театр, и там стал знаменит. А слава стала привлекать к нему людей, которые прежде на него даже не взглянули бы. В него стали влюбляться девушки, но он не очень обращал на них внимание. Не знаю, поймете ли вы меня, но в то время он

весь так ушел в работу, что ни о чем другом знать не хотел. А барышни эти были просто так, ведь без них мужчине трудно. Но в конце концов среди них появилась одна — и тут уж вышло не то. Это была такая женщина, — вокруг нее мужчины прямо уивались, но она ни с кем ни- ни. Да вот, нарвалась на моего актера. Девушка была из очень хорошей семьи, хоть у них там развал получился и родители ее давно жили врозь. Отец — главный директор сахароварной компании.

— Может, я его знаю, — отозвался пап Вапенка. — У одного такого в вилле слесарил, работы производил. И была это не вилла, господа, а настоящий замок. Не Гануш фамилия-то?

— Зикмундом Гулой его звать, а дочку — Анкой. Тогда у девушек ее круга мода такая была — крестным именам народный оттенок придавать.

Я поторопил свое повествование, чтобы скорей растолковать своим слушателям, что за актер и что за человек Вилем Габа и до чего не похожа на него Анка Гулова. Не ограничиваясь прошлым, я решил заглянуть дальше, в будущее, последовавшее за премьерой «Сирано», с которой начался новый этап жизненного пути Вилема. Когда я заговорил о «Сирано», пан Пеха не удержался, чтобы не показать свою образованность и начитанность.

— Это я с Вояном видел, — объявил он. — Ну, первый сорт было. И Габе вашему, видно, здорово туго пришлось, чтоб с таким силачом сравняться... Сирано этот самый, понимаете, — обратился табачник к остальным, — это господин такой, вроде д'Артагнана (он произнес так, как стояло в переводе) из «Трех мушкетеров». Удалой парень.

Я просил своих слушателей верить, что игра Габы, во всяком случае, не уступала игре его славного предшественника, и предложил выпить за успех, который он имел в этой роли.

— Вы не должны думать, — продолжал я, после того как мы это сделали, — будто Габа был случайный человек на сцене. Нет, он был актером до мозга костей, — можно сказать, воплощением самых высоких представлений об актере. Играя, он забывал о себе, весь преображался в другие лица, отыскивал их внутри себя, как свои собственные подобия, — отыскивал, но в то же время все больше терял самого себя.

Чувствуя, что становлюсь для своих друзей непонятным, я поспешил перейти к тому, что могло представить для них большую увлекательность.

Через два дня после премьеры, когда Габа, сидя у своей тети Рыдловой после обеда, наслаждался газетными отзывами, которые все в один голос превозносили его до небес, перед домом остановился автомобиль Анки Гуловой, и шофер в ливрее поднялся наверх с ее визитной карточкой, на которой она написала, не хочет ли он позавтракать с ней за городом, чтобы дать немножко отдохнуть своим нервам, испытывающим такое напряжение за последние дни.

Было странно, какое эта девушка чувствовала к нему тяготение, как она этому тяготению сопротивлялась, в дикой жажде независимости стыдясь своей слабости, и как одновременно боялась этого человека, угадывая в нем свою неотвратимую судьбу.

Котелок моего воображения кипел все более бурно, подогреваемый огоньками спиртного,— в этом я должен признаться, хоть, может, и не всем придется по вкусу. Но слушателей мой рассказ, видимо, захватил, так как они забыли о стаканах. Только пан Рона сидел в своем углу за стойкой и смотрел на меня мрачней прежнего. И это почему-то было приятно моему самолюбию, и я продолжал все более победоносно, словно ему назло.

Январский день, господа, искристый январский день, с температурой пять ниже нуля, с легким снежком на полях, низким солнцем, быстро уходящим за горизонт, и небом, голубым, как лед на горной речке или перья в крыльях зимородка. Такое небо, что голубизну свою оно проливало даже на серый бетон шоссе, брызжущее перед колесами автомобиля и в то же время ими поглощаемое. Анка отослала шофера домой и сама вела похожую на акулу приземистую машину, мотор которой алчно сопел, как свора гончих во время травли. Она ехала с предельной скоростью, такую только можно выжать из машины, молча, не сводя глаз с дороги перед собой. Она всегда ездила как сумасшедшая, но на этот раз гнала еще бешеней, срезала повороты, почти не сбавляя хода, словно желала уловить на лице своего спутника трепет страха, который сразу расколдовал бы чары, притягивавшие ее к нему.

Гнев и упоение смешались в ее сердце. Гнев на то, что она покорена, а упоение двойное: от быстрой езды и от того, что он сидит тут рядом. По-настоящему-то ей нужно было быть сейчас где-то в горах, скорей всего в Альпах, и целые дни гонять до упаду на лыжах, с одной вылазки на другую, а вечером, когда иные только выйдут на площадку перед отелем — уж валятся с ног, — танцевать:

вот, мол, какая неутомимая эта Анка Гулова, ненасытная обожательница движения. Она отказалась от нескольких приглашений, удивив своих друзей, напрасно гадавших, как это надо понимать, и осталась здесь. Придумала новую программу для своего танцевального кружка и возилась с ним до изнеможения — только чтоб перед самой собой оправдать свое затянувшееся пребывание в Праге.

Вилем удивительно тонко понял ее настроение. Он заметил, что она наклонила к себе зеркальце над рулем, чтобы видеть его лицо и следить, какое действие производит на него эта сумасшедшая езда. Она подвергала испытанию его выдержку, чтоб установить, действительно ли он такой молодец, каким кажется, или за внешностью героя в нем скрывается размазня и трус.

Не надо забывать, что Вилем в то время уже не был тем юнцом, каким мы его знали в Сечи-на-Рычной и в Горжине. Ему уже за тридцать, и юные черты его не только стали определеннее: они делались все более резкими, словно их гравировали долотом своим разные маски... Черты, как будто глубокие и определенные в состоянии покоя, но бесконечно изменчивые, как только начинали действовать регистрики во внутреннем мире Вилема, все больше уподоблявшемся коллекции грамзаписей с точным обозначением всевозможных чувств и вызываемых ими содроганий.

Но эта дикая езда отвечала чему-то в нем, что лежало еще глубже, в самых основах его существа. Это был авантюризм, жажда постоянной смены и движения, бог знает каким путем попавшая в кровь этого потомка мирных купцов. И любовь к жизни во всех ее обличьях, и богатырское равнодушие к опасности и смерти... Он умел изобразить страх смерти, подделать его до еле заметных проблемков, но данное мгновение, наоборот, требовало, чтоб он улыбался при мысли о ней, и для него не составило труда выполнить это.

Был момент, когда прямо на них выскоцил огромный автобус, до последнего мгновения невидный из-за холма, на который в этом месте взбиралась дорога, и ехавший, как и они, посредине ее. Анка в какую-то долю секунды взяла в сторону, и они разъехались с моторизованным мамонтом в двух-трех сантиметрах друг от друга. Задние колеса оказались в опасной близости к канаве, но Анка сумела выровнять машину.

— Мы были на волосок... — сказал Вилем.

Она сбавила скорость и поглядела на него, смеясь глазами.

— Вы испугались?

— Не знаю,— ответил он.— Кажется, даже не успел. Но будь я вашим отцом, я купил бы вам вместо автомобиля швейную машину.

— Закурите мне сигарету,— сказала она и еще убавила скорость.

Вилем сразу понял, о чем идет речь. Он вынул две сигареты, взял обе в рот и не спеша, старательно зажег. Она следила за движением его руки с зажигалкой в наклоненном зеркальце.

— Всыпать бы ей горячих! — заметил пан Вапенка при общем одобрении.— Нешто такую шалую можно за руль сажать. Ну, а насчет сигареты — это она ловко придумала. Тут уж не сыграешь, будь хоть какой актер! Коли струсил, обязательно лапы затрясутся — и крышка. Любопытно, чем кончилось.

— У него не затряслись, ясное дело,— ответил за меня пан Пеха.— Потому тут нарочно подстроено. А такого героя нельзя здорово живешь на пушку взять. Ну, с того момента у них все разладиться могло.

— Пан Пеха правильно говорит, уважаемые. Наш друг, можно сказать, самую подноготную разглядел. Девушка выбрала хорошую проверку, чтобы узнать, на самом ли деле Вилем такой молодец, и прямо вспыхнула от счастья, увидев, как это у него здорово получилось. Она боялась обмануться, да только отвес у нее слишком короткий был, до самого дна не доставал. Бедняжка, она представления не имела, как этой маленькой наивной уловкой разоблачила себя перед Вилемом и отдалась ему в руки.

— Выходит, он негодяй был, так надо понимать? — вмешался кочегар, чтобы показать, что он тоже в таких делах разбирается.

— Негодяй — это больно резко и не совсем верно. Вилем был слишком сложен, чтоб его можно было обозначить и исчерпать одним словом, даже самым точным и выразительным. Основным его недостатком и, как ни странно, преимуществом была все растущая любовь к самому себе. Эта девушка нравилась ему и притягивала его сильней, чем какая-либо из его прежних возлюбленных, с тех пор как он разошелся с Эвой и обосновался в Праге. Он знал все, что о ней говорят в обществе,— в тех кругах, где они оба вращались. И ему льстило, что им интересует-

ся дочь миллионера, не признающая никого достойным ее, и так хочет удостовериться, что он за человек. Из этого он заключал, что ее интерес к нему глубже, чем желание завести мимолетный флирт.

Он не стремился жениться на деньгах, которых куры не клюют у ее отца, но в конце концов ни этим обстоятельством, ни той мощью, которой обладал ее отец, нельзя было пренебрегать. После той первой поездки, окончившейся завтраком в одном из отеликов на лесной опушке, куда богатые люди заскакивали перед театром либо баром, последовало много других, во время которых оба изучали друг друга с возрастающим любопытством.

Удивительная вещь, господа, любовь такой вот девушки, которая считает себя чуждой всякого романтизма, дочерью своего века, которая внушает себе, что производит выбор спутника совершенно свободно, по собственному желанию и после тщательного размышления, хоть и делает вид, будто вовсе не имеет намерения соединиться с ним на всю жизнь. По ее мнению, она хочет быть разумным существом без предрассудков. Она выработала себе определенные представления о том, каким должен быть ее избранник,— не наивные иллюзии, а конкретные требования, нисколько не преувеличенные, которым он должен удовлетворять, чтоб она вообще могла им заинтересоваться. Она глубоко убеждена, что знает о жизни все существенное, не подозревая, что фигура ее идеального возлюбленного создана в значительной мере по образу и подобию другой идеализированной фигуры — ее отца, багровимо-го ею с детских лет... Со всеми его достоинствами, которыми она восторгается, и недостатками, в которых отдает себе полный отчет... Но она-то этого не подозревала, зато избранник — понимал прекрасно.

— А, старая волынка,— вставил пан Вапенка.— Женщины завсегда видят в нас чего нету.

— А мы очень часто стараемся поддержать их заблуждение, — ответил я.— Пока это нам не надоест и не станет в тягость. Но Вилему как раз такая игра была по вкусу. У него актерство переплескивалось в жизнь, с подмостков в действительность, из законченной драмы с известным концом — в ту драму, которая только развертывается, чей ход и развитие он мог направлять.

Он понял, что восхищает Анку в отце и что в нем оставляет ее холодной, и начал создавать для нее героя, с каждым свиданием все более приближавшегося к ее мечте.

— Я, сударь, такой, каков есть, и никто меня не заставит быть другим,— объявил пан Пеха, с трудом ворочая языком, но с тем большей запальчивостью.— По мне, актер этот ваш — мошенник.

— Не знаю, как рассуждает обманщик, но Вилем, как это ни удивительно, действовал абсолютно честно. Он был до такой степени проникнут актерством, что в нем не оставалось места ни для чего другого. Так что ему не составило труда изобразить человека, ушедшего с головой в работу и считающего все остальное пустяками, над которыми не стоит особенно задумываться. Именно в этом духе держался отец Анки — Зикмунд Гула; всем, кому приходилось иметь с ним дело, казалось, что он считает их только ступенями, на которые надо обратить внимание, чтобы не споткнуться, а как только прошел, тотчас про них забыть.

Вилем в глазах Анки был олицетворением сдержанной, пылкой, пламенной мужественности, вся сила которой устремлена в одном направлении. Он умел слушать Анку так, как взрослые слушают детей, дразня ее полушутивыми замечаниями, а когда она уже готова была расплакаться от злости, начинал говорить голосом, от которого ее бросало в дрожь, и ей приходилось брать себя в руки, чтоб не кинуться ему на шею, безумно, униженно умоляя его, чтобы он всегда был с ней так же ласков и любил, крепко любил ее.

— А как бы все-таки узнать, чем у них кончилось,— не без досады вмешался пан Пеха.— Не в обиду будь сказано, маэстро,— нельзя ли ближе к делу?

Здравствуйте! Да какой же разбор характеров, чувств и страстей, о знаток приключенческой литературы пан Пеха, возможен в повествовании, где все совершается сразу? Конечно, мне пока трудно было бы сообщить вам особенно точные подробности, это еще требует разработки, а я набрасываю перед вами, так сказать, только идейный замысел произведения. Но узнайте хоть часть того, что вам хочется.

Прошло почти два месяца, прежде чем они поцеловались. Но Анка зашла в свое чувство к Вилему так далеко, что они уже могли бы стать любовниками. Однако этот первый поцелуй был самым важным событием, которое определило раз и навсегда характер их дальнейших отношений. Он произошел при самых обыденных обстоятельствах, когда Анка одной мартовской ночью везла Габу домой на Смиховскую набережную.

В это время они уже встречались по три, а то и по четыре раза в неделю, хотя Анка предпочла бы встречаться с Вилемом каждый день, а он уклонялся от этого, только чтоб выдержать перед ней роль героя, и еще оттого, что чувствовал, с какой силой эта девушка желает его, и начинал бояться, как бы она не завладела им целиком. Она ездила встречать его у театра и подчинялась всем его желаниям в отношении того, где провести вечер.

Этот вечер прошел у них в особенно сердечном согласии, прежде всего потому, что Вилем говорил о себе, а Анка страстно и радостно слушала. Он рассказывал ей о репетируемой им роли в одной из современных светских пьес, еще пропитанных Ибсеном и пытающихся преодолеть его влияние путем иронической трактовки темы.

Я вспомнил, что слушателям моим вряд ли известно, кто такой Ибсен, но решил, что это не так уж важно. И продолжал с растущим воодушевлением, но в то же время чувствуя, что язык мой не поспевает за мыслями, так как на столе стояла уже третья бутылка, содержимое которой тоже быстро истощалось.

— Вилем играл в этой пьесе промышленного пирата, человека низкого происхождения; выбившегося из бедности, ставшего одним из хозяйственных руководителей страны и поставившего себе целью разорить своего бывшего хозяина, от которого он много натерпелся, которому был многим обязан и которого ненавидел лютой ненавистью парии. С этим сплетается любовь его к дочери этого человека, и ради нее он в конце концов щадит его и даже спасает от банкротства, находя в этом шаге, быть может, еще больше злорадного удовлетворения, чем дала бы ему гибель его бывшего шефа, так как тот будет теперь жить только по его милости.

— Это уж беспременно: такие люди норовят разорвать друг другу, как собаки,— авторитетно заметил пан Пеха.— Смотреть тошно, когда двое вот так вот сцепятся, как торговки.

Пан Пеха выбил меня на полном ходу из колеи. Мне пришлось опорожнить стопку сливовицы, чтобы собраться с мыслями и продолжать.

— Это была как раз та роль, для которой Вилем мог воспользоваться своими впечатлениями от встреч с Зикмундом Гулой и всем его окружением,— продолжал я, чтобы подойти к драматическому заключению.— Анке в тот вечер казалось, что он похож на ее отца еще больше, чем обычно, но она не стала ему это говорить. Она знала,

что такого рода мужчины хотят всегда быть исключениями. От Вилема, однако, не укрылось, что она не спускает с него глаз, жадно ловит каждое его движение и слово, и он был в восторге от того, как безраздельно роль сливалась у него с личной жизнью.

Когда Анка остановила машину перед домом на Смиковской набережной и Вилем открыл дверцу, чтобы выйти, до него донесся гул прибылой воды. Шел лед, гонимый паводком. У Вилема, как известно пану Пехе, были воспоминания, связанные с прибылой водой. Он опять сел рядом с Анкой, захлопнул дверцу и, вращая рычаг, опустил до половины оконное стекло.

— Выключите, пожалуйста, мотор и послушайте, — сказал он своей спутнице.

Обратите внимание, он даже не спросил — желают этого или нет. Анка покорно подчинилась.

Он закурил две сигареты, отдал ей одну, и они молча курили, касаясь друг друга плечами. Река гудела, льдины терлись друг о друга, о деревья на острове, о плиты набережной, шепча скрипучими голосами невероятные угрозы. Ветер мел пустые тротуары, колебал фонари на высоких мачтах, и ветви лип, еще голые и черные, беспомощно метались, пробуждая в сердце отчаянье. Из глубины за чугунной оградой веяло холодом и злобой.

Вилем слышал рев другой реки, а колышущиеся огни фонарей напомнили ему фонарь перевозчика, качавшийся над другой водной гладью, спеша на выручку к тому, кто уже в ней не нуждался. В Вилеме проснулся давно забытый страх. Выбросив резким движением недокуренную сигарету, он повернулся к Анке.

Он представил себе сперва свидание, подкрашенное игрой этих двух безумных музыкантов — ветра и разлива, захотел пробудить таящийся в девушке романтизм и, в бароховски-величественной постановке всемогущей природы, сыграть с ней любовную сцену, которую она никогда не забудет, но был застигнут врасплох припадком страха, — по его убеждению, давно забытого. Предлагая Анке остановить мотор, он вел себя еще в плане новой репетируемой им роли, но только вслушался в надрывную музыку, которая должна была быть самым сильным сценическим эффектом задуманного спектакля, как искусственная постройка его актерской выдумки зашаталась, и под ее развалинами пробудился прежний Вилем, безумно влюбленный юноша, превративший своего друга, который относился к нему, как отец.

Дорогие друзья,— тут я хотел встать, чтобы подчеркнуть важность того, что скажу, но почувствовал, что мне вряд ли поднять навалившуюся на плечи тяжесть,— дорогие друзья,— повторил я многозначительно,— тут сама судьба спасла Вилема: человеческому существу его, сильней и сильней затираемому актерским рутинерством, суждено было спастись. Может быть, в этот решительный миг к нему по расколыхавшимся льдинам, уносимым вздутой рекой, пришла с вестью освобождения тень Паласа:

— Этого я никогда не требовал, Вилик. Опомнись. Актеру нужно быть человеком больше, чем всякому другому. Он должен столько раз внутренне родиться, сколько переменил обличий.

Но этот голос если и прозвучал, то был слишком слаб, чтоб заглушить тромбоны Вилемового кичливого самолюбия, более громкие, чем гул половодья, угрожающий шорох льдин и жалобный вой ветра.

Вилем расценил его как причитанье слабости и соответствующим образом с ним поступил: оттолкнул его и прогнал. Это произошло как раз в тот момент, когда он выбросил в окошко автомобиля недокуренную сигарету и повернулся к Анке.

— Вам нравится? — спросил он ее, но таким тоном, словно ему абсолютно безразлично, что она ответит.— Marche funèbre¹ зимы и одновременно — воинственный сигнал весны.

Она постаралась засмеяться, с трудом разжав зубы, стиснутые напряженным ожиданием:

— Я не знала, что у вас такие романтические вкусы.

Это прозвучало жалобно, голос ее задрожал, как у девушки в первый раз на исповеди. Вилем ответил почти презрительно:

— По-вашему, это романтизм? Смею вас уверить, это чистой воды практицизм. Если человек хочет чего-нибудь достичь, он должен брать у природы, у людей, у всего окружающего только то, что как-то его усиливает или толкает вперед.

В эту минуту он стал ей так противен, что она готова была выскочить из машины или кинуться на него с кулаками. Значит, он и с ней встречается только ради того, что она его как-то усиливает и толкает вперед?

— Вы рассуждаете почти как мой отец,— сказала она, и он снова почувствовал, что она старается его задеть.

¹ Похоронный марш (*фр.*).

— Если не ошибаюсь,— ответил он резко и язвительно, явно намекая на то, что Зикмунд Гула выбился из низов,— вашему отцу тоже бабушка не ворожила. Мне порой кажется, что у нас с ним много общего.

Она вздрогнула от гнева, словно он обнажил какую-то тщательно скрываемую мучительную тайну. При этом она имела в виду не низкое происхождение Зикмунда Гулы, а сходство характеров этих двух людей, которые, каждый своим способом, умели превращать ее в беспомощную девочку.

— Вы... — начала она высокомерно и гневно, но испугалась и замолчала.

Он понял, что она хотела его оскорбить, и на мгновение, внутренне всплеснув руками, сжался, словно конюх, безрассудно поднявший свои глаза и мысли на принцессу. Если бы он хоть на минутку взглянул на себя, он понял бы, что в этом чувстве покорности снова сказался подлинный Вилем, купеческий сын с унаследованным от предков ощущением общественного неравенства. Вероятно, он обиженно откланялся бы и, со свойственной ему трезвой ясностью мыслей, сказал себе, что ему досталось поделом: не в свои сани не садись.

— И правильно сделал бы, — опять не выдержал — вставил свое слово пан Вапенка. — Каждый сверчок знай свой шесток. Такие амуры неравные ни почем до добра не доведут. Я так полагаю, ни к чему было этой барышне рассуждения свои наружу вытряхивать.

Пан Пеха согласился с некоронованным королем улицы «На валу». По его мнению, тут и толковать было нечего: эти барышни благородные всегда казались ему какими-то щуплыми, малахольными. Это было произнесено таким авторитетным тоном, что ни у кого не могло возникнуть сомнения: вот настоящий знаток девушек из высших слоев. Наоборот, кочегар был особенно задет за живое поведением Анки Головой. Взгляды пана Пехи и слесаря возмутили его. Разве ему не выше цена, чем всем этим франтам лощеным и лодырям, — загремел кочегар. Глаза его налились кровью, в них запыпал отблеск той печи, которую он кормил на паровозах; он стал колотить кулаком по столу.

Вопрос было не так-то легко решить. Мнения скрещивались и сшибались над залитой и усеянной пеплом скатертью, красноречие, сбивающее с толку сливовицей, нисколько не теряло от этого в изобилии. Все говорили, и никто не слушал, я с Анкой и Вилемом был забыт,

так как разговор давно уже блуждал без дороги, все глубже скрываясь под растущей грудой путаных речей. Я попробовал снова овладеть вниманием коллег, но они ничего знать не хотели.

«Мелите себе на здоровье, дурачье!» — подумал я, испытывая к ним тем большее презрение, что чувствовал себя в эту минуту униженным их гостеприимством не меньше, чем их невниманием. Но мысли мои, взвихренные совершающимся и подгоняемые сгустившимися парами алкоголя, тотчас ринулись прочь от них. Не является ли мое теперешнее положение отдаленным подобием того, в котором находился Вилем? Он тоже подозревал, что Анка хочет его покорить, и нашел себе мгновенную опору в новой роли,—опору тем более надежную, что он мог вспомнить одно явление из этой пьесы, очень сходное с тем, которое переживал в действительности. Это частое сходство между жизнью и театром приводило к тому, что ему казалось, будто он все время играет, и игра, столь близкая к сновидению, была ему дороже и желанней действительности, которую к тому же нетрудно обмануть.

В новой пьесе, в которой он исполнял роль промышленного пирата, герой был тоже оскорблен дочерью своего бывшего патрона, которая относилась к нему так, словно по-прежнему видела в нем служащего, подчиненного. Пират, уязвленный ее надменным обращением, решает молча отойти. Но в последнее мгновение вдруг спать поворачивается к ней, хватает ее и, несмотря на сопротивление, целует так, что она замирает в его объятиях и в конце концов сама начинает его целовать.

Правильно, Вилик, именно так вот и мы должны изловчиться с этой спесивой Анкой.

Вы помните, что Вилем не ответил на обидное Анкино восклицание: «Вы...» Он только посмотрел на нее,—строго в стиле своей роли,—как можно презрительней. Анка была так испугана тем, что натворила, что дошла чуть не до ясновидения. «Он разыгрывает со мной театральную сцену,—подумала она,—он всегда играет: со мной и со всеми. И я по такому шуту с ума схожу?» Не в силах сдержаться, она разразилась тонким истерическим хохотом.

Вилем сделал то, что хотел: быстро отвернулся, как будто она его ударила, и открыл дверцу машины.

У Анки смех застрял в горле. Если сейчас позволить ей выйти, она потеряет его навсегда. Она коснулась его руки, в ужасе вцепилась, будто когтями, ему в рукав.

— Вилик!..

Вокруг стола продолжалась пьяная перебранка обо всем на свете и ни о чем. Тише, вы, дурачье,— послушайте, что было дальше. Сейчас подходит к поворотному пункту первое действие драмы, а вы болтаете всякую чушь. Мысли мои спешили вперед, тащили меня за собой, я уже не поспевал за ними, и в то же время во мне поднимался никогда еще не испытанный гнев на тупость людскую, воплощением которой были для меня в данный момент мои сбутыльники.

Что в этот миг существенней страдания Анки Головой, впервые выкрикнувшей под влиянием страха любимое имя, которое она прежде столько раз произносила на тысячу самых нежных ладов — шепотом?

Вилем, не затворяя дверцы, медленно обернулся к ней. Лицо его сразу приобрело то самое выражение, которое оно получит на подмостках в момент катарсиса — в том спектакле, который у них сейчас готовится. Он не мог иначе, даже если бы изо всех сил старался. Жизнь с игрой смешались в нем до неразделимости. Он возвращал Анке того Вилема, которого с великими усилиями создал — и для нее, и для своей новой роли в пьесе.

Ни слова не говоря, он обнял ее за талию и наклонился над ней, чтобы поцеловать. Трудно, конечно, допустить, чтобы Анка прежде никогда ни с кем не целовалась. Скорей нужно думать, что она дразнила своими поцелуями страстных поклонников, до предела разжигала их желание, а потом оставляла их несытыми, разъяренными. Чувственная, физически здоровая и страстная, но в то же время гнушающаяся легких связей, она порой находила удовольствие в таких возбуждающих играх, за которыми наступало разочарование и горькое похмелье.

В тот момент, когда рот Вилема приблизился к ее губам, у нее застучали зубы, как у мучительно стыдливой шестнадцатилетней девушки при первом поцелуе. Вилем, для которого поцелуи давно стали дразнящим прологом либо профессиональной обязанностью, был до странности потрясен. Он сжал ее в объятиях, еще выдерживая роль, но не успели их губы соприкоснуться, как в нем пробудился пылкий юноша волнующе прекрасных вечеров в родном городе. Ему ударил в голову девичий аромат, аромат чистой горячей крови, напоенный цветом лип и фиалок, смятых трав и раненой земли, — аромат цветущих звездных ночей и росных утр.

Анка прильнула к нему всем телом в жгучем трепете, который сменился напряженным оцепенением, припала к его губам, как жаждущий к поверхности ручья, как ласка к шее добычи. Первый поцелуй длился без конца. Она запустила ему пальцы в волосы и, сжав его голову, не давала ему оторваться, пока взрыв наслаждения не оставил ее у него в объятиях бессильную, изнеможенную, рыдающую счастливыми и горькими слезами.

Она стала его любовницей в ту же ночь. Не могла не стать: любовь созрела в ней, как плод, отделяющийся от родной ветви в силу своей преизбыточной тяжести.

В этом пункте мой восторг, вызванный ходом повествования, не знаю почему, слился с бешенством, все время во мне кипевшим. Шатаясь, я с трудом встал и ударил обоими кулаками по столу. Этим ударом я опрокинул бутылки и скинул со стола несколько стопок, которые вдребезги разбились на кислотитовом полу.

— Довольно,— закричал я срывающимся голосом,— довольно, врали и болваны. Я метал бисер перед свиньями. Чхать я хотел на вас и на ваше идиотское угощение.

Я опять замахнулся, чтобы снести со стола решительно все. Но тут на плечи мои легли тяжелые кулаки пана Вапенки и пана Пехи, пригвоздившие меня снова к скамье. Я еще увидел над собой лицо трактирщика Росы, что-то мне хрюпло кричавшего. И это последнее, что мне запомнилось из той ночи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Против всякого ожидания, я после этой бурной ночи в Росьском трактире пережил несколько изумительно счастливых недель. Хотя слухи о бесчинстве, учиненном мной, быстро распространились по всей улице «На валу», я ничего не потерял в глазах ее обитателей. Напротив, я заметил, что они теперь кланяются мне совсем как своему, словно этим пьяным буйством я поставил себя на одну доску с ними и доказал, что я — один из них. Пан Пеха и пан Вапенка, несомненно, постарались изобразить меня столь же славным бражником, как и писателем.

О том, как я добрался тогда до дому, я узнал от пана Пехи. После небольшого скандала, кончившегося тем, что

мои собутыльники чуть не поколотили трактирщика Росу, они всей компанией отвели меня домой и, при участии дворничихи, выругавшей их за то, что они меня так напоили, раздели меня и уложили в постель, где я был разбужен на другой день после полудня упорным и все более оглушительным стуком в дверь.

На пороге появилась служанка Росов.

Я поздоровался с ней хмуро, так как даже пасмурный свет, проникший вслед за ней из внутреннего коридора, слишком резал мне глаза, воспаленные от алкоголя и табачного дыма.

Она вбежала с обычной развязностью, но в отношении неприветливи не осталась передо мной в долгу.

Она встала передо мной, выпятив живот и большую упругую грудь, и насмешливо промолвила:

— Сударь в плохом настроении? Еще не проспались? А не стоило бы им сильно разлеживаться.

Я тут же соображал. Короткий сон не успел еще выгнать винные пары из всех извилин моего мозга. Мне было непонятно, почему она так дерзко себя ведет. Она никогда не была со мной особенно любезна, но ни разу до сих пор не переступала границы кое-какой, пусть надменной вежливости.

— Что вы себе позволяете? — попробовал я прикинуть.— Я пожалуюсь вашей хозяйке.

Она пронзительно засмеялась, вследствие чего дверь в жилище дворничихи, против моей, приоткрылась. Мне было тошно, скверно, но я не мог ни на что решиться. Помню, что поднял руки к ушам, но сейчас же опустил их беспомощно, словно устыдившись этого движения. Я начал смутно догадываться, что, верно, что-то произошло, если она позволяет себе так на меня набрасываться.

— Ой, держите меня,— надрывалась она, будто не в силах справиться с обуревающим ее весельем.— Он скажет хозяйке!.. Говорите скорей, а то как бы не опоздать.

Вдруг, без всякого перехода, она перестала кобениться и, уперев руки в боки, наклонившись вперед и сощурив глаза в две черточки, крикнула мне прямо в лицо, так что я почувствовал волну ее дыхания,— да с такой ненавистью, словно платила за мои обеды из своего кармана:

— Теперь кончен! Понимаете? Конец жратве. Хозяин сказал: хватит! Крышка.

Не могу сказать, чтобы ее торжествующе возглашенная весть особенно меня потрясла. Первая моя мысль

была о пани Росовой и тех горьких минутах, которые ей пришлось пережить из-за меня и своей доброты. Я даже не заметил, как дверь напротив открылась настежь и на пороге моем появилась дворничиха. Только тень ее заставила меня заметить ее присутствие.

Служанка РОСОВ оглянулась с примирительной улыбкой, которая, однако, на полпути перешла в вызывающую усмешку.

Дворничиха, обстрелянная во многих боевых схватках, которые в этом доме, где жило больше народу, чем позволяло место, были явлением обычным, не обратила внимания ни на улыбку, ни на усмешку, а сразу бросилась в атаку.

— Что-то вы сильно расшумелись, барышня, — начала она с удивительной смесью внешней учтивости и откровенного ехидства в голосе, произнеся слово «барышня» с таким выражением, что после этого за почет не дашь ломаного гроша, — а у нас тут уши деликатные. Собирайте-ка тихонько манатки и катитесь вон.

Девушка надменно вскинула голову, собрала с плиты пустые тарелки от вчерашнего обеда, презрительно зашипела, проходя мимо меня, но очистила поле боя покорно, без всяких выпадов.

— Шлюха, — бросила ей вслед дворничиха довольно громко, так чтоб та слышала. — Спуталась с этим старым хреном.

Так просто и коротко объяснила она мне, что произошло у РОСОВ.

Я не был огорчен тем, что перестал быть вынужденным, хоть и плотно насыщаемым нахлебником пани РОСОВой. По крайней мере, избавился от обязательства, которое так меня тяготило. Но как там пани РОСОВА, лишившаяся последней радости, оставленная мужем и выданная с головой своей обидчице? Мне было жаль ее, но я не знал, чем ей помочь, кроме как сейчас же заплатить за обеды. Теперь я уже мог это сделать, не задев ее болезненной чувствительности.

Решено. Я подсчитал количество обедов, тщательно отмеченных в записной книжке, расценил их по самым высоким из существующих ресторанных цен и отправился к редактору ФРИДРЫНУ просить аванс под новую работу. Персонал редакционной приемной встретил меня с обычной неприветливостью. Барышня с кругленьким задочком почти не обратила на меня внимания, желтолицый юноша не ответил на мой поклон и только указал мне кивком

головы, чтобы я шел дальше. Вид у него был обиженный, что объяснялось, надо думать, моим новым появлением.

Фридрын восседал, как всегда, в олимпийском облаке сигарного дыма, но лицо его, обычно темно-красное, отличалось неприятной бледностью, если не считать переполненных кровью алых пятен на мякоти щек; под глазами — серые тени. Указав сигарой на стул возле стола, он молча выслушал мою просьбу. Пока я говорил, правая рука его то тянулась к сердцу, то останавливалась, не достигнув лацканы пиджака. При этом он каждый раз хмурился и сердито фыркал или отхлебывал из большой чашки черного кофе, стоявшей возле кофейника, между грудами рукописей.

Когда я кончил, он, ни слова не говоря, взял чековую книжку и заполнил один чек. Потом вынул из ящика стола пакет с моей рукописью и подал мне то и другое. Он делал все это поспешно, словно не мог дождаться, когда я наконец исчезну. Я боялся, что он меня выпроводит, не сказав ни слова о моем романе. Но тут он поглядел на меня и, выпуская слова вместе с дымом, сказал:

— Это хорошо, только поторопитесь. Надо же кончать. Наверстывать придется, мой милый. Сами были актером, что ли?

— Ездил с бродячей труппой.

— Я думал, откуда он все это взял. Что ж, мне нравится, здорово получилось! Только, по-моему, вы придаете слишком большое значение любовным делам.

Я чувствовал, что в этом пункте не надо с ним спорить, — поэтому улыбнулся, кивнул, как будто с ним согласен, и поставил вопрос, при помощи которого хотел проверить, действительно ли он положительно оценивает мое произведение:

— Вы думаете, я найду для своего романа издателя?

На мгновение в нем проснулся прежний старый Фридрын: он состроил гримасу и пустил мне дым прямо в лицо.

— Об этом я бы думал меньше всего. Допишите иувите. Только не обращайтесь к нам: мы — издательские задворки.

Он подал мне руку на прощание — честь, которой я до сих пор не удостаивался. Рука была такая холодная, что я даже почувствовал озноб. Я уже взялся за ручку двери, как вдруг он остановил меня вопросом:

— Вы когда-нибудь ходите к врачам?

Я повернулся в недоумении и страхе. В первую минуту мне показалось, что он задумал какую-нибудь злую шутку,

которая уничтожит все хорошее, что он только что мне сказал.

— Нет,— уныло ответил я,— кроме зубного, не был ни разу с детства.

— И правильно. Не ходите к ним. Это — либо дураки, либо грабители. Они здорового объяют больным, только чтоб деньги тянуть.

И он опять склонился над столом, уже забыв обо мне.

Я ушел от него растерянный. Повторял все, что он мне сказал, давал тем крохам признания, которыми он меня одарил, понемногу раствориться в моих мыслях,— нет, не раствориться, а хотел, чтобы они врезались мне в память, звучали в ней, даже когда я не буду о них думать, но в то же время не мог прийти в себя от того впечатления, которое произвели на меня его вид и последнее замечание о врачах.

Тут, конечно, нет ничего серьезного,— убеждал я самого себя,— он в том возрасте, когда люди вдруг изменяются, когда толщина неожиданно пропадает, когда попросту дает себя знать и начинает свою опустошительную работу старость. Некоторый кризис, ускоренный уходом жены, но, при всей своей жесткости, в конце концов хорошо преодолеваемый.

Это заключение, вполне правдоподобное, успокоило меня — главным образом потому, что мне так хотелось думать о более приятной стороне своего визита к Фридрыну. Я опять позволил похвале запеть птицей на ветке и поглаживал поочередно то рукопись романа, то деньги в кармане, которые позволяют мне расплатиться с пани Ресовой и жить и работать спокойно в течение ближайших недель.

Я написал на главном почтамте письмо трактирщику, где сообщил, что жена его отпускала мне обеды в кредит,—правда, без обозначения точного срока, учитывая характер моего заработка, но тем не менее твердо гарантированный, что явствует из того, что я в точности, до последнего геллера с ним рассчитываюсь. Покорно благодарю его супругу за любезность и доброту, с которыми она пошла мне навстречу, и остаюсь Индржих Ауст. Конечно, без всяких «уважающих вас», поскольку прохвост, соединившийся, в ущерб своей законной жене, с кухонной девкой, заслуживает чего угодно, только не уважения.

Покончено еще с одним тупиком, из которого я не знал

как выбраться и который испортил мне столько крови. В этом я видел подтверждение того, что положение мое непрерывно улучшается и что я нахожусь на прямом пути к цели.

2

Ближайшие дни как будто доказывали, что я не ошибся в своих расчетах. Я жил, как всегда хотел, вплоть до того, что даже не думал о том, чтобы бросить сапожническую берлогу.

Писал с утра до ночи, а случалось, и ночью, не чувствуя усталости. Мне казалось, будто я всю жизнь накапливал силы для этого момента и теперь мог тратить их, не опасаясь, что они скоро иссякнут. Хозяйство не отнимало у меня много времени. Я научился варить простой обед так, чтоб не прерывать работы. Дни казались мне головокружительно короткими, вечера поражали той быстротой, с какой они наступали.

Так прошел целый месяц, полный труда и не отмеченный никакими событиями, кроме того, что пани Пашекова вышла за своего квартиранта, а пани Росова уехала от мужа к родным в деревню. Обе эти женщины, каждая на свой лад, пробовали войти в мою жизнь, а теперь из нее исчезли. Мне казалось, что тем самым кончился некий строго ограниченный отрезок моего жизненного пути,— глава, заполненная неудачами, или что-то в этом роде. И убеждал себя, что это добрый знак и что теперь в моей жизни произойдет крутой поворот к лучшему.

Я встречался с Ярмилою каждый день в полдень и вечером. Поздняя осень с ее холодами и частым дождем сокращала наши прогулки и загоняла нас домой к Ярмиле. Добрая, ласковая осень. Я был благодарен ей за мгновения хорошей погоды, относительно которых не был уверен, что они предназначены именно мне.

Мы сидели у круглого столика под лампой; Ярмила шила, а я читал ей написанное мной за день. Когда я кончал, она втыкала иглу в материю и смотрела прямо перед собой, как бы повторяя прослушанное. Сердце мое усиленно билось; я ждал ее отзыва, как приговора. Если она просила меня прочесть ей какое-нибудь место еще раз, это значило, что что-то ей в нем не понравилось и придется большую часть вечера спорить.

Трудно сказать, почему я так держался именно за эти слабые места. Может быть, потому, что в большинстве случаев сам знал их слабость, но в первом порыве востор-

га, который вызывают в авторе только что им написанные, еще теплые от его усилий страницы, не смел их касаться, боясь развалить всю постройку. Ярмила пускалась в спор весело и рассудительно, чему я отчаянно завидовал, так как сам устремлялся с бычьей яростью на каждое возражение, которым она передо мной взмахивала. Она никогда не теряла самообладания и умела пристальным взглядом, неожиданно холодной интонацией сразу привести меня в чувство.

Я шел домой по улицам, где вздыхали обездоленные отверженцы: дождь и ветер. До сих пор я относил себя к их роду. Спокойные вечера у Ярмилы скорей терзали меня страхом, чем дурманили счастьем. Как у привыкшего к петле висельника, у меня стали подгибаться колени, когда ноги мои наконец коснулись твердой земли. Да и была ли она действительно твердой? Обрати внимание: ни ты, ни Ярмила ни разу не отважились заговорить о нашем общем будущем. Строго говоря, как ты, собственно, представляешь себе свое дальнейшее существование, даже если тебе удастся дописать и выпустить свою книгу? Я отдался решению. Там будет видно, говорил я себе. Хоть я и не так наивен, чтобы думать, что это произведение, как только я его закончу, сразу меня обогатит, но все же оно способно в корне изменить мое существование. Прежде всего, оно даст мне уверенность в завтрашнем дне, за которую я до сих пор напрасно боролся. А в спокойном состоянии можно будет найти и подходящее занятие, которое прилично оплачивалось бы и оставляло бы достаточно времени для писанья; тогда я буду верить в себя и перестану раздираться противоречием между необходимостью заработать на хлеб и делать свое дело,— буду уже знать, что́ кесарево, а что́— божье. Разве теперь меня не учит этому каждый день? Напишу одну книгу, напишу другую и буду писать дальше, до тех пор, пока твердь небесная не обрушится у меня над головой.

Так-то, приятель, нужно только одно — доделать до конца то, за что взялся. Тогда ты сможешь предстать перед Ярмилою и спросить ее, пойдет ли она за тебя, так как жизнь и творчество должны быть в равновесии, и если тебе для творчества нужны вокруг мир и спокойствие, ты должен стараться их добыть — совершенно так же, как другим приходится бежать от них, как от яда.

Одним октябрьским вечером, прямо по пословице на счет волка за дверьми, когда Ярмила с явной тревогой заговорила о том, что страшно давно не видела брата

и даже ничего не слышала о нем, молодой Сита вдруг вышел на сцену.

После нашей первой и последней встречи он изменился до неузнаваемости. Тогда это был юный лодырь с утомленным взглядом, с локтями, вытертыми о столики кафе, и лицом, осунувшимся от бессонных ночей. Теперь я еле узнал его. Физиономия у него пополнела, исчезли и презрительные бороздки, проведенные вечной гримасой от ноздрей до углов рта.

Он ввалился в комнату в коричневом зимнем пальто из оленьего меха с поясом, сопровождаемый испуганной тетей Анной, которая без умолку тараторила, мешая удивление и радостные восклицания с настойчивыми уговорами снять шубу. Арношт отметил мое присутствие многозначительным прищуром глаз.

— Привет, ребяташки,— обратился он к нам с ухарской фамильярностью,— я тут кое-чего приволок, чтоб не скучать.

Расстегнув пальто, он вытащил из карманов брюк две бутылки вина.

— Красное,— пояснил он.— Пей — и никаких!

Обнаружилось, что на нем замечательный, хотя слегка обуженный костюм из гладкой серой фланели. Ярмила окинула его внимательным, испытующим взглядом, в котором сестринское удовлетворение оттеснялось на задний план опасливой подозрительностью.

Он подал ей руку с небрежностью, обозначавшей, что мужчины его сорта не признают слишком явных проявлений чувствительности. Ярмила чуть заметно улыбнулась, видимо подумав, что не одежда делает человека и что нет на свете портного, способного сшить костюм, в который мог бы раз и навсегда облечься характер ее брата.

Предложив ему сесть, она сказала:

— Ну, рассказывай, Арношт. У тебя такой вид, будто ты выиграл в лотерею.

Он, по своему обыкновению, презрительно скривил рот, но физиономия его сияла победоносно.

— Почище того, сестричка. Больше уж не будуходить, пугать тебя. А подсчитаешь, сколько в меня втравила,— могу понемногу вернуть. Чтоб не было разговору, что брат твой скряга.

Так мало-помалу мы узнали, что Арношт, который годами шился на ипподромах, вокруг тотошников, сам стал совладельцем тотализатора. Один юноша, когда-то подобно ему исключенный из средней школы, так же как

он обожавший лошадей, карты, длинные вечера среди товарищей и страдавший непреодолимым отвращением ко всякому серьезному делу, получив кое-какое наследство, с восторгом принял Арноштovo предложение основать предприятие, отвечающее их общим вкусам.

Арношт выкладывал все это с характерным для него безразличием. Никто не должен думать, что это особенно волнует его. Но как он ни старался показать нам, будто ничто на свете не в силах нарушить его невозмутимости, радость от сознания, что в конце концов ему посчастливилось как-то стать на якорь, да еще без необходимости утруждать себя работой, чувствовалась в каждом его слове. Он пришел для того, чтобы похвастаться; и ждал полагающейся ему дани удивления и похвал.

Он дождался ее прежде всего от тети Анны. Она в нетерпении вертелась на стуле, мучимая жаждой высказать свое мнение, и, как только Арношт замолчал, шумно выдохнув дым сигареты, тонкая тетина рука так и выстремила над столом, обведя нас всех указательным пальцем.

— Это сказочно прекрасно! — воскликнула она.— Я всегда говорила: Арношт не пропадет.

Ярмила чертила ногтем по скатерти, занятая, казалось, только возникшим по ее прихоти сложным орнаментом. Тетя Анна продолжала восторженную речь о том, как хорошо и ловко устроил Арношт свою жизнь, но ни юный Сита, ни я не слушали ее, настороженные Ярмилиным молчанием. Мне казалось, я догадываюсь, о чем она думает, и по своей опрометчивой привычке уже сердился на нее, прежде чем она успела высказаться. Она не должна быть так строга к парню,— говорил я себе,— должна сказать ему что-нибудь ласковое, даже если с ним не согласна. В конце концов он нашел себе занятие по нраву, избежав опасности прийти в столкновение с законом, от чего отнюдь не был застрахован.

Арношт, перестав разыгрывать равнодушие, громко пыхтел сигаретой и смотрел в потолок. А пальцами выступивал на столе, все быстрей и быстрей, какой-то марш. Потом вдруг наклонился к Ярмиле.

— Так что? — тявкнул он.— Барышне не понравилось? А мне хоть бы хны...

Ярмила поглядела и засмеялась:

— Зачем же ты спрашиваешь? Ты знаешь, что я не в восторге, а я знаю, что тебе это все равно. Но я рада, что ты взялся за какое-то дело, хоть бы это было всего-навсего выманивание денег у людей.

— И знаю в нем толк, ты должна признать,— объявил он с прежней своей гримасой.

Он далеко не был так огорчен Ярмилиным неодобрением, как я опасался. Он гнул свою линию, а на остальное плевал. Заставил нас выпить еще раз за успех его предприятия и простился. Дескать, у него важная встреча. Притворился солидным деловым человеком, но тут же, видя, что Ярмила смеется, не выдержал и расхохотался.

При рукопожатии он всунул мне в ладонь какую-то сложенную бумажку и так долго тряс мне руку, что пришлось эту бумажку принять. Потом я обнаружил, что это — две стотысячные кроны, которые он был мне должен.

В дверях Арношт обернулся, видимо вспомнив о чем-то существенном.

— Что я хотел сказать! Если б к тебе пришел папаша, так ты в ус не дуй. Я теперь беру его на себя.

Ярмила успела с упреком крикнуть «Арношт!» уже закрытой двери.

3

Вновь и вновь вспоминаю я те несколько недель, когда изведал вкус подлинного блаженства, которое дарит нам любимый труд. Я писал, подгоняя мое сознание, что с каждой строкой приближаюсь к более великой цели, чем простое завершение книги. В каждой фразе, иногда в трудном поиске одного лишь единственного нужного слова заново проходил я весь непроторенный путь, что ведет от мечты к ее поимке и воплощению.

Гоняясь за Вилемом и всеми людьми и людишками, связанными с его судьбой, я раскрывал самого себя. Я никогда не мог разобрать, выдумываю я или только вспоминаю. Все, что мне приходило в голову, как будто каким-то образом когда-то уже было,— я только не мог припомнить, когда и как. Мне казалось, будто я расту и взрослею, словно детство мое тянулось дольше сорока лет,— сорок лет полусна, от которого я только теперь просыпаюсь и вступаю в действительность. Сорок лет я играл во что-то, чем теперь только начинаю жить.

Это может показаться смешным, но я уверен, что это правда. Есть люди, чья жизнь пролетает как сон, от которого они просыпаются в свой смертный час. И невозможно решить, счастье это или трагедия. Вот стоит человек дожд-

ливым утром на площади родного города, оглядывается по сторонам, как пришелец, и ему кажется, что он узнает все вокруг только по какому-нибудь точному описанию, сделанному другом. Жил здесь этот человек или это ему только представляется? Или он проспал двадцать последних лет своей жизни и проснулся теперь двадцатилетним юношей, размысливающим о том, что ему делать с непонятым даром жизни? Трудность состоит в том, что он сюда приехал, а до сих пор не знает зачем.

Он собирается с духом, выходит из-под свода галереи на хлещущий дождь и неуверенными шагами медленно движется к магазину, раскрывшему объятия зеленых дверных створ и украшенному вывеской с чужим, ничего не говорящим именем: «Целестин Лойда». В этом имени словно исчезло все, что он хотел бы узнать и на что не находит ответа.

Сквозь изборожденные дождем оконные стекла старого постоянного двора за его передвижением следит Виктор Дласк. Чертовски странный суповой фабрикант,— думает трактирщик, у которого после беседы с Габой осталось тревожное впечатление какого-то подвоха. Никогда еще не случалось ему так грубо ошибаться, определяя характер посетителя. Видно, постарел, поглупел... Ему и стыдно и досадно. Зрение притупилось, вот что,— старается он найти себе оправдание, не в силах допустить, чтобы тут мог оказаться недостаток его проницательности, которую он считает безошибочной; слепну так, что в конце концов ложкой в рот попадать перестану.

Но посрамляемые глаза его, сослужившие ему такую плохую службу вблизи, оказываются удивительно зоркими, когда им приходится смотреть вдаль. Не то им помогло рифленье дождя на оконных стеклах, как бы разлагающее движения идущего, не то в самих этих движениях сохранилось что-то неизменное, что-то давнее и подлинное, как самая основа личности,— только у Дласка в голове вдруг словно забрезжило: да ведь это Вилик!

Как Вилему было бы приятно, если б он в эту минуту узнал мысли своего прежнего приятеля; но, может быть, он и сам, приближаясь с большим трепетом, чем ему хотелось бы, к двери магазина, чувствует, как в нем просыпается забытый Вилик, веселый купеческий юноша, покорный сын, любитель театра, ищущий жизненного разнообразия, и вероломный любовник, полный неутомимой жаждой любви.

Дважды обходит он вокруг магазина, борясь с искушением войти внутрь, убеждая себя, что это бессмысленно,— то соблазн сильней страха, то страх превыше соблазна,— колебанье такое, как над письмом, которое, может, лучше сжечь, не распечатывая. Что получилось бы, если б он вошел? Ему кажется, что он в состоянии все это представить себе,— пережить, не пытаясь проверить. Но тогда зачем же было ездить? Может быть, только для того, чтобы убедиться в ненужности таких опытов. Ведь человек не может идти против течения времени,— ни одно из минувших мгновений не будет ему возвращено.

Колокольчик у входной двери в магазин дребезжит прежним, давно знакомым звуком, всякий раз как входит или выходит покупательница. Иди, Вилик, он зовет тебя, твое место за прилавком, которому ты изменил, за которым захлопотался до смерти твой искалеченный отец. Ах нет, эта роль никогда не будет доиграна, это тянется через всю его жизнь: он всегда кому-нибудь изменял, и чаще всего и жесточе всего — самому себе. Каждой изменой он сбрасывал с себя какое-нибудь обязательство перед людьми — ради того, чтоб еще приблизиться к той воображаемой цели, которой является он сам, он — единственный среди всех. Их — целая вереница: родители, Палас, Эва, не считая незначительных дружеских связей, устанавливаемых ради выгоды, легко завязываемых и равнодушно оставляемых после ее достижения. Ну, а Барох и Анка Гулова?

Колокольчик над дверью лавки окликает площадь хриплым, глуховатым голосом, дождь крапает с утомительной настойчивостью. Войди, Вилем! Но он все никак не решается переступить старый, истоптанный порог, на котором блестит медный четвертак, стертый и сплющенный в тонкую пластинку подметками целых поколений. Его прибили там на счастье, но было бы трудно утверждать, что он выполнил свое назначенье.

Я встал из-за стола и заметался по своей берлоге. Засев за работу с самого утра, я писал без отдыху добрых три часа с волнующим и в то же время холодным упоением, какого не знал в пору своих беспомощных попыток. Я находил слова так споро, словно кто мне их нашептывал, в то же время быстро, точно определяя их ценность и удельный вес, как вдруг одно из них заскрипело, словно песчинка в плавно работающем передаточном механизме, и не дало мне продолжать. А как только я вступил с ним в борьбу, мысли мои стали все больше удаляться и потянули меня

к тем пунктам в повествовании о Вилеме, которые оставались для меня еще не вырещенными. Видимо, тихий, монотонный шелест дождя привел к тому, что я впервые увидел Вилема, растерянно топчущегося на площади нашего с ним родного города. Он не знал, куда податься, совершенно так же как я.

Что с тобой будет, друг мой, если ты войдешь? Что с тобой будет, если решишь уйти восвояси? Он уже достаточно вымок, плечи чувствуют, что пальто стало тяжелей, водой полны поля шляпы и складка тульи. Он наклоняется, чтобы дать ей стечь.

Колокольчик магазина захрипел особенно громко и взволнованно. Вилем подымает голову, чтоб взглянуть — просто так, из любопытства, — кто выйдет, и взгляд его встречается со взглядом девушки, которая стоит в глубине сеней, натягивая на непокрытую голову капюшон непромокаемого плаща. Она — светлая шатенка, и волнистость ее волос непреложно свидетельствует о куаферном искусстве природы; голубые глаза глядят стыдливо и нежно, но в то же время с какой-то тайной страстью и силой. У Вилема прямо дух захватывает. Господи, да ведь это Ганча! Правда, волосы у нее не были волнистые, однако цвет тот же, и взгляд был стыдливый, — но все это детали, неспособные нарушить сходства.

На лице девушки удивление и растерянность. Что тут делает этот чужой, почему он стоит под дождем и почему такглядит на нее? Она зарделась и, спохватившись, бежит по тротуару — к галерее.

Не могу больше выдержать в своей берлоге, мне душно, меня тянет на вольный простор, на воздух... Как можно больше воздуха и движений, ходить и отдаваться своим мыслям, а не бегать, будто заключенный по камере, с одной неотвязной мыслью, не желающей подвинуться и дать место другим! Как это вообще можно — вдруг ввести эту девушку? В конце — вдруг новое лицо! Да еще не бог знает какое существенное. Ведь это против всех правил повествования. Что мне с ней делать? Действительно она нужна или воображение мое дало маху?

Я встал на пороге своего жилища, с шестом от железной шторы в руках, как заблудившийся фонарщик, тщетно ищущий фонарь, который нужно зажечь. Эта девушка, конечно, — дочь Ганчи, — такое сходство вряд ли возможно у кого-нибудь еще. На вид ей лет восемнадцать. Возраст подходит, если учесть, что Ганча после смерти старого Габы, конечно, не долго оставалась в девушках. Мать

Вилема безумно тосковала по покойнике и по вероломном сыне, а торговля, которая должна была перейти по наследству к Ганче, требовала твердой мужской руки. Впрочем, все это — такие незначительные подробности, которые мало что скажут нам. Но все-таки они объясняют, как эта девушка могла перебежать дорогу Вилему. Но, спрашивается, для чего?

Движимый желанием придать своим мыслям больший размах и более быстрый ход, я выбежал вон, чтоб перед уходом опустить железную штору на дверях своей лавки. До сих пор мне все никак не удавалось привыкнуть к этой мучительной операции, и каждый раз у меня было такое чувство, будто в эту минуту все население улицы «На валу» устремило на меня свои глаза, злорадно наблюдая, как я бьюсь с этим грохочущим куском гофрированной жести. Я сопротивлялся им, безотносительно к тому, действительно глядели они на меня или только в моем воображении: притворялся равнодушным, хотя у меня отнимались руки и ноги. Но на этот раз, опуская штору, я на самом деле почувствовал, что чей-то взгляд вперился в мою согнутую спину,— да так пристально, что я невольно обернулся.

На противоположном тротуаре, возле бакалейного магазина стояли четыре женщины с раскрытыми зонтами. Три — без шляп, а одна — в старой фетровой шляпе и дождевом плаще; в последней я сразу узнал тетю Анну. Она смотрела в другую сторону, так что можно было думать, что она вообще меня не заметила. Но у спутниц ее вид был напряженно отсутствующий, а губы сжаты, словно они вот только сейчас закрылись. Ко мне сразу вернулась моя подозрительность. Я с великим усилием сбросил оцепенение испуга и побежал обратно к себе.

В моей берлоге была тьма. Я по памяти поставил шест в угол у двери и добрался до ближайшего стула. Только сев на него, я заметил, как громко дышу и как быстро у меня бьется сердце. Не могло быть сомнений, что тетя Анна видела меня и отвернулась только для того, чтобы избавить и себя и меня от мучительного чувства неловкости. Совершилось самое худшее, что могло быть.

Я сидел, не двигаясь, в сплошной тьме, не находя сил подняться и зажечь свет. Улица, отделенная от меня железной шторой, шумела приглушенно, словно отдаленная река; мне казалось, я уж никогда не наберусь смелости выйти на ее свет и движение.

Повышенная чувствительность, просто глупая повы-

шенная чувствительность. Я не сделал ничего плохого, о чем не мог бы рассказать человеку, обладающему обычновенным здравым смыслом. Ложь моя имела гораздо более сложные основания, чем только стыд за то, что я не имею возможности снять квартиру лучше. Я боялся, чтоб меня не заподозрили в корыстолюбии, в паразитических намерениях. Потому что ведь известно, что люди, заведомо обеспеченные, могут попросту из скучости годами жить на счет друзей; при этом всегда находится тороватый хозяин, и никому не придет в голову заподозрить, что им нечего есть. И, наоборот, бывают такие, вроде меня, которые попросят у другого спичку, а о них уже думают: «Бедняга, ему огня нечем зажечь».

Минуту тому назад я хотел бежать из этой норы, так как в ней было тесно моим мыслям. Но появления тети Анны было довольно, чтобы спугнуть их и заставить скрыться в подполье, откуда они больше не показывались. Жуть царила в мозгу моем. Неужели я продвинулся так далеко для того, чтобы упасть без надежды подняться, когда уже до цели — рукой подать?

Я еще раз тщательно проанализировал свой страх и пришел к выводу, что боюсь больше за Ярмилу, чем за себя. Это было сложно: я боялся за себя, но — через нее. Что она сделает, если узнает, как я ее обманывал, как показывал ей вместо своего чужое окно, когда вспомнит, как ее огорчила моя похвала хозяйке, и обнаружит, что это просто выдумка? Поймет она без объяснений, чутьем, почему я лгал?

Отговорки, опять отговорки. Отчего не умею я быть настолько сильным в своей работе, чтобы не ставить ее в зависимость ни от кого, кроме меня самого? Но я не могу иначе. Я долго мучился своим одиночеством и напрасной жаждой дружбы и пришел к убеждению, что ни одного порядочного дела нельзя делать без людей, не испытывая потребности войти в сердце других и слиться с ними. Вилем Габа показал мне, к чему приходит человек, сосредоточившийся только на себе и своем честолюбии.

Как странно, что именно он, сперва считавший театр приятным развлечением, в конце концов потерял способность жить и чувствовать иначе, как через посредство своих ролей. Неужели каждый вид искусства действует, подобно паучьей самке, пожирая того, кто ему отдался.

Мы, кажется, уже говорили, что Вилем не приехал и на похороны матери, угасшей на второй или третий год после смерти старого Габы. У него не было видимого основания

для такого несыновного поступка, он тогда уже пустил прочные корни в Национальном театре и, хоть с матерью он не переписывался, Ганча, недавно вышедшая замуж, послала ему траурное сообщение.

Надо будет подробней остановиться на этом пункте, и я должен объяснить, почему Вилем никогда не писал своей матери, почему не пробовал примириться. Сперва из стыда и чувства вины, а позже последние следы сыновней любвистерло растущее безразличие, подкрепленное долгой разлукой, потребностью забыть то, о чём ему было тогда неприятно вспоминать, и углубляющимся изменением личности. Впрочем, мне, кажется, придется внести немало поправок в написанное. Блуждающая фантазия — не всегда лучший поводырь, она бывает слишком опрометчива, рвется вперед, подстрекаемая своим хорьковым характером, пренебрегает законами и порядком даже тех событий, которые сама выдумала. Она слишком расточительна и богатырски размашиста, накрываемые ею столы ломятся под тяжестью яств, словно на пиру у какого-нибудь сказочного обжоры, она вытаскивает свои глубинные тони без всякого склада и лада, удовлетворяясь главным образом количеством добычи, и наше дело разбираться в том, чем она нас так щедро одаряет.

Вилем не приехал на похороны матери, оттого что на тот день, когда ее хоронили, пришлась премьера «Пер Гюнта», где он играл заглавную роль. Уже не роль любовника, а первую настоящую большую, героическую роль, которую Барох отвоевал для него, преодолев бунт большей части труппы и сопротивление театральной дирекции. За это его ожидала в будущем поистине габовская благодарность. Вилему даже в голову не приходило попросить об отсрочке премьеры: он и без того боялся в последнюю минуту лишиться роли, с таким трудом полученной и столь выдающейся, что если она ему удастся, то откроет доступ к самым ответственным образам мировой драматургии.

Но любовь к матери не до такой степени умерла в нем, чтобы он принял это решение без искреннего прискорбия и упреков совести. Просто невероятно, до чего в жизни Вилема каждое происшествие и вся их смена и развитие клонились к тому, чтобы подлинные чувства его поглощались подобиями. Чем был для него Пер Гюнт, кроме как поэтически преувеличенной аналогией его собственной судьбы, что представляла собой жизнь этого мифического героя, как не то же самое отрешенье от всех людских обязанностей, та же неумолимая погоня за призраком

победы. Жизнь и действительность казались все более смешными и ничтожными рядом с сокрушительной, потрясающей правдой игры.

Дело, видимо, в этом, и все, кого обольстила химера искусства,— одинаково одержимы. Разве со мной самим не бывает того же самого? Вот я сижу в потемках своей ненавистной лавки, понимая, что впереди — одно из самых роковых мгновений моей жизни, и все-таки меня больше волнует судьба Вилема, чем моя собственная.

Кто знает,— говорил я себе,— может быть, ты сегодня навсегда потеряешь Ярмилу. Очнись и подумай, как бы сохранить ее, ведь каких-нибудь полчаса тому назад ты готов был поклясться, что не можешь без нее существовать. Это было ужасно. Я задрожал при мысли о возможности потерять ее, но глубже, под этим страхом, все-таки чувствовал, что окончание моей книги важней, чем эта величайшая человеческая привязанность, какая до сих пор меня посещала. Мое произведение, мое произведение! — твердил я себе, пользуясь милосердным покровом полного мрака, чтобы произнести слово, которым при других обстоятельствах не рискнул бы назвать свою работу.— Без него Ярмила все равно для меня потеряна, а с ним — кто знает? В нем ценность всего, что я еще могу ждать от жизни.

Но мрак редко способствует появлению ясных мыслей и, хоть порождает жажду света, все же не в состоянии плодотворно с ним сотрудничать. Я испугался, что если останусь в нем со своим душевным напряжением, которое все время высывало нос из-под моих раздумий, то не сумею нарисовать моего героя и его судьбу. Правда, воображение любит мрак, но тут я чувствовал, оно начинает в нем слабеть. Мне опять захотелось наружу, в сиянье дня, на улицы, пульсирующие хаотическим, а все-таки привольным ритмом.

4

Я протопал в потемках к двери и, заперев помещение, вышел на улицу. В воротах остановился и осторожно выглянул из них, словно ожидая, что тетя Анна еще стоит на противоположном тротуаре. Опасение неосновательное и обидное для этой доброй женщины, не принадлежавшей к числу тех, кто следит за другими.

Резкий ветер заставил меня надвинуть шляпу глубже на голову. Хоть это был меланхолический осенний пресле-

дователь убегающей красоты, чьи оборванные лоскутья в виде опавших листьев он гнал даже по городской мостовой, женскими юбками он шалил столь же дерзко и весело, как его весенний брат. Впрочем, дул он с такой скоростью, что в нем нельзя было почуять запах тленья, пробуждающий печаль. В нем были скорей холод и чистота приближающейся зимы. Он ободрил мою мысль и придал мне смелости.

Пан Валенка стоял в открытой калитке, придерживая пальцем крышечку трубы, и хмуро наблюдал, как его старший сын старается завести крашенный в зеленый цвет мощный мотоцикл с коляской. На повторные настойчивые нажимы стартера ногой мотор отвечал коротким злобным ворчаньем, тявканьем и вновь — тишиной. На лице старого слесаря можно было прочесть неодобрение действиям сына. Увидев меня, он с едкой улыбкой кивнул на него и отошел, явно давая мне понять, что его самого никто бы не заставил заниматься такой чушью, недостойной солидного ремесленника.

На мое приветствие он ответил особым изменением улыбки, которая сразу стала приветливой, и легким поднятием двух пальцев к засаленному и сломанному козырьку кепки.

Улица «На валу» в лице выдающегося своего представителя дружески кивнула мне и этим показала, что ее отношение ко мне нисколько не изменилось. Я принадлежу к ней, ну и — здравствуй и спокойно занимайся своим делом!

Чувство своей близости хотя бы к нескольким людям я распространял на всех, кто мне попадался навстречу. Это не была какая-то безграницная любовь к каждому без разбора, а просто сознание, что уже недалеко то время, когда я буду жить среди них, как равный среди равных. Я никогда не жаждал, чтоб на меня с удивлением оглядывались, как на Вилема Габу, а только хотел быть среди них как дома. Все, что я ни предпринимал, я делал ради того, чтобы избавиться от своего отщепенства.

От всего такого лучше подальше, а не проваливаться туда с вершин богоравности. Не грозило ли нечто подобное Вилему Габе? Анка Гулова давно заметила, что самым сильным его двигателем было честолюбие. И скоро поняла также, что любовь ее имеет для него куда меньше ценны, чем любая роль, к которой он почувствует влечение. Наконец ей стало ясно, что он все время меняется у нее перед глазами, в ее руках, у ее губ, что она никогда не бывает

уверена, кто же он и кем будет через час или минуту, и что он любит ее лишь как убедительнейшее доказательство того, что он всегда получит все, чего ему захочется.

Сначала это ее унижало и оскорбляло — тем более что она отдавала себе ясный отчет в полнейшей своей неспособности когда-нибудь освободиться от него. Но разве для нее, любовницы стихийно-ненасытной, по натуре своей авантюристической и беспокойной, не был восхитительным даром судьбы — столь изменчивый возлюбленный, словно заключающий в себе всех мужчин, о каких только мечтают женщины? Вы помните, какая это была гордая и неприступная телочка, как она бегала по свету, — тому, что создан ее окружением, — и разжигала желания — только для того, чтобы посмеяться над дураками, напрасно за ней гоняющимися?

Но что с ней сделалось? С того момента, как пальцы ее вплелись в Вилемовы волосы и прильнули к его коже, она утратила всю свою жажду независимости и, если еще бывала язвительно-насмешлива, то лишь безуспешно пытаясь скрыть этим огромность испытанного ею поражения и глубину своего рабства. «Ты мой, ты мой», — назойливо ныл в ней этот любовный припев, звука тем более умоляющее, чем ясней она сознавала, как мало принадлежит ей тот, к кому он обращен.

Она превратилась в служанку, терпеливо, наготове ожидающую, когда хозяину вздумается ее позвать. Потому что Вилем, прикрываясь своей работой, сумел сохранить всю свою свободу и уделял Анке столько времени, сколько хотел. Думаю, что это зрелище больше всего приводило в ужас Зикмунда Гулу. Поверьте, для такого энергичного дельца, который сам привык повелевать другими, не особенно приятно наблюдать, как его любимое детище, чьим умом он всегда так гордился, превращается в примитивную самочку, равнодушную ко всему, кроме своей любви. Ему было стыдно, он был вне себя от гнева, но в то же время достаточно умен, чтобы понимать, что ничего нельзя сделать.

Вот сгорбленный старик с кривыми ногами, в фуражке городского сторожа, сгребает в кучу листья, скопившиеся на повороте дороги. При этом он посвистывает, выпятив морщинистые губы. Немного дальше, не обращая внимания на холод и ветер, сидит на скамейке пожилой коренастый человек с загорелым румяным лицом. Положил газету на сырое сиденье, расстегнул пальто. Смотрит прямо перед собой тяжелым неподвижным взглядом. Чувствуя,

что он затрагивает мое воображение, но чужд тому, что там в действительности происходит. Прохожу мимо и прогоняю воспоминание о нем. Сно тревожит меня; я не знаю, что с ним делать.

Но все же сегодняшняя моя прогулка и обстановка, в которой она протекает, имеют как будто особое значение. Настроение, с ними связанное, волнующим образом не уходит у меня из памяти, сопровождает меня, как фон, на котором должно совершиться что-то очень важное. Я не впадаю в уныние, если предметы, в данный момент меня занимающие, не принадлежат к числу самых веселых. И даже все время присутствующая мысль о том, что скоро мне придется предстать перед Ярмилой с мучительнейшим признанием, не ослабляет удивительно сильной уверенности, шагающей в ногу со мной и моими мыслями.

Анка Гулова восхищает меня. В ней есть сила, даже когда кажется, что она совсем сникла, раздавленная любовью к Вилему. Весь внутренний мир этой девушки принадлежит Вилему, у нее нет других мыслей, она не может и не хочет ни о чем больше думать. Но не надо заблуждаться: это дочь Зикмунда, великого бойца и завоевателя. Она знает, что с ней, и в ужасе от этого. Такое безмерное, даже исступленное чувство обычно утомляет того, на кого оно направлено.

Она понимает, что ей нужно стать необходимой Вилему. Пользующийся таким успехом актер никогда не будет знать недостатка в раскрытиях для него объятиях. Это значило для нее — сломив свою гордость, служить его ненасытному честолюбию, раздувать это чувство, все время напоминать Вилему, что человек с его дарованием не может успокаиваться на том, чего уже достиг, а должен стремиться вперед и вперед. И Анка это делала как умела. Она отказалась от танцев, распустила свой кружок и стала Вилемовой тенью. Страстно желала, чтоб он на ней женился, но боялась, что, если это произойдет слишком рано, он почувствует себя связанным, и она потеряет его уже наверняка. Сумела при помощи разных комплиментов заставить его читать ей, а позже и проходить с ней новые роли. Таким путем она проникала все глубже в его способ мыслить и чувствовать, узнавала, чем была обольщена, что ей грозит и удастся ли ей сделаться ему необходимой, так как в этом человеке не было ничего твердого и постоянного, кроме растущей жажды успеха и неизменной радости нового и нового воплощения.

Анка познакомила Вилема с молодым режиссером и театральным Православом Гораком, который в маленьких скромных театрах пробивал дорогу новому пониманию сценического искусства. Вы его знаете? Этого плечистого парня с фигурой каменолома, с кулаками, тяжелыми, как баба для дробления щебня, и фанатическими темными глазами. Он способен сидеть равнодушно и безучастно, словно все, что говорят вокруг, совершенно его не касается, до тех пор пока не заговорили о театре. Тут он сразу меняется. Наклонит вперед свои борцовские плечи, свою голову с короткими курчавыми волосами и широким боксерским носом, свою буйную физиономию забияки, словно вот-вот бросится на того, с кем вступил в спор, и начнет подкреплять свои слова ударами.

В то время газеты начали писать о косности и отсталости первой сцены, о том, что ей оставалось совершенно чуждым новое веяние, захватившее все европейские театры. Православ Горак говорит о ней с глубокой насмешкой, изображает официальную режиссуру в карикатурном виде, доказывает, что она делает игру актера плоской и оттесняет ее на задний план бессмысленной роскошью зрелищной стороны спектакля. Он ратует за сцену и режиссуру, свободные от спесивого декоративного балласта, от злоупотребления световыми эффектами и шаржирования в игре актеров, не отвечающих по своим данным характеру изображаемого лица. Он, Православ Горак, добивается освобождения игры от всяких внешних побрякушек, хочет простейшего, человечески убедительного понимания образа, его внутренней содержательности и поэтического выражения, упрощения обстановки при помощи ясных намеков, чтоб актер выступал как можно больше вперед, искреннего личного восприятия и толкования пьесы. Авторский текст является, по его понятиям, некоей партитурой, дающей режиссеру и актерам возможность выявить свое видение мира.

Вилем внимательно слушал. Он был согласен почти со всем, что говорил Горак, и, испытывая неприятное ощущение человека, который при всех обстоятельствах ценит больше всего самого себя, отдавал себе отчет в том, что этот малый прекрасно знает, чего хочет, и при первой же возможности станет твердо проводить это в жизнь.

— Где ты взяла этого молодого человека и зачем сюда притащила? — спросил Вилем у Анки, когда гость ушел и они в большой, с роскошной простотой обставленной приемной Головых закурили на прощание.

Анка сидела в мягком провале могучего кресла, подогнув ноги под себя, свернувшись кошкой и прислонившись щекой к ручке.

— Для тебя, Вилик,— ответила она, следя из-под длинных полуопущенных ресниц, как на него подействует то, что она скажет.

Она уже не была такой прямой, до дерзости откровенной и чуждой лести, какой бывала, даже играя с той или иной новой своей жертвой. Она научилась у Вилема притворствовать и делаться, какой нужно в данный момент.

— Я подумала, что неплохо бы тебе иметь своего режиссера, который сумеет добиться, чтоб твоя игра имела резонанс, которого она заслуживает.

— Я не нуждаюсь в режиссере, который бы мне указывал, как играть,— с досадой возразил он.

Анка слезла с кресла и прыгнула к Вилему на колени.

— Глупенький мой, да ведь я ничего подобного не говорила.— Тут она ласково потерлась носом о его нос.— Но не станешь же ты отрицать, что режиссер может помочь твоему исполнению, чтоб оно получилось ярче или, по-вашему, выигрышней. А ты сам знаешь, какую холодную критику имеет Барох. Это все равно недолго продлится; ты с ним рассчитаешься.

Вилем взял ее голову в свои руки, отдал ей от себя и, глядя ей прямо в глаза, решительно промолвил:

— Никогда не сделаю ничего против Бароха, понимаешь? Я обязан ему тем, что попал в Национальный театр в таком возрасте, когда другие еще толкуются в бродячих труппах либо провинциальных театрах.

Вилем вошел в роль — которую же это из тех, что играл когда-то? — и она сама уже понесла его дальше — в тоне все более внушительном.

— Он открыл мне доступ к ролям, которых другие дожидаются полжизни и очень часто так и не дождутся. За меня он боролся с дирекцией и поссорился со всеми актерами. Теперь при нем — только я. И мне покинуть его как раз в тот момент, когда на него накинулись бульварные писаки? Да я бы плонул себе в глаза!

Анка освободилась из его рук, прижалась к нему и прильнула к его губам долгим поцелуем.

— Как ты красиво сказал! Я смотрела на тебя будто на сцене.

Он нахмурился, сделал резкое движение, словно хотел встать и сбросить ее на землю.

— Я не на сцене представлял. Это жизненно важно. Он говорил правду. В это мгновение он не представлял на сцене или, верней, не хотел представлять. Кто же произнес это его голосом, выражая на свой лад его собственные убеждения? Он порылся в памяти. Может быть, Сид, только без его пафоса и одетый в двубортный пиджак тонкого сукна работы самого известного пражского портного? Он подавил холодную дрожь, испугавшись, как человек, встретивший в коридорах своей мысли чужую. Одно дело, когда играешь по своей воле,— но почему же он играл, не желая этого, стремясь как можно серьезней выявить самого себя?

Анка затрепетала при мысли, что, быть может, зашла слишком далеко. Она припала к нему в ужасе, крепко обхватив его руками, словно боясь, что он станет бесплотным и испарится из ее объятий, как привидение, прижала его голову к своей груди и стала говорить ему прямо в его волосы. От его затылка исходил волнующий запах мужчины, в ней подымалась горячая волна желания, но в то же время ее не отпускал страх. Такова была ее любовь: даже в миг наивысшего любовного упоения ее не покидала мучительная тревога, что в эту, именно в эту минуту она обнимает его в последний раз.

— Я не это имела в виду, не сердись. Но ничего не могу поделать: когда ты говоришь, я мысленно вижу тебя на подмостках. И ты кажешься мне всегда таким же совершенным, как там.

Это была странная, ошеломляющая похвала. Вилем проглотил ее, не зная, что с ней делать. Какое совершенство видит она в нем? Или он — всегда актер и никогда не бывает самим собой? Он и хочет быть актером, делает все, чтоб каждый раз как можно тесней скиться со своей ролью,— но это, пожалуй, уже слишком. Что он — в плену своих образов или совсем в них растворился? У него не было времени решать эти вопросы, он не мог определить, хорошо это или плохо, так как Анка продолжала со все большей убедительностью, внушаемой страхом и любовью:

— Я хотела только сказать тебе, что ты преувеличиваешь, говоря об измене Бароху. Никто от тебя этого не требует. Но с какой стати из ложного чувства благодарности ставить под удар свое будущее?

Несмотря на проведенный ею утомительный вечер, Анка благоухала чистотой, будто только что вышла из ванной. Уткнувшись лицом ей в грудь, Вилем вдыхал это благоуханье,— такое родное и близкое, что он в эту мину-

ту вновь почувствовал все, что когда-то любил: отчий край, его вечера и ночи, его расплавленные летним солнцем полдни, его цветы и травы, а под ними — резкий запах земли, горных деревьев и корней, и знал, что ни одна женщина, не исключая Эвы, не была ему так дорога, как эта девушка, в которой сверхкультурная утонченность смешалась с какой-то древней простотой.

Это так? Господи боже, это должно быть так, потому что в противном случае я лучше сжил бы его со света и не написал бы о нем ни строчки. Эта девушка была искрена и женственна до последнего изгиба своих мозговых извилин, до мельчайшего ответвления нервов. Кажется, будто я сам держу ее в объятиях, чувствуя, что ни за что не выпущу.

Вот о чем думал Вилем, проклиная свое ремесло, все время ставящее между ним и ею преграду, из-за которой она на него боязливо смотрит и которую он никогда не сможет полностью преодолеть. Зачем не остался он обычным купеческим приказчиком, а она — не дочь какого-нибудь местного обывателя! Жизнь должна быть проста, чтоб ее можно было пережить в полноте, — сложность не усиливает ее, а разжижает и омертвляет.

Горячее Анкино дыхание скользило по его шее, пробуждая в нем дрожь наслаждения. Но он сохранял способность думать и внимательно ее слушать.

— Критика оценивает Горака все выше, и молодые идут за ним. Он хочет попасть в Национальный, чтобы ставить не для одних снобов, а для самой широкой публики. И ты увидишь, это ему удастся. В конце концов найдется кто-нибудь, кто ему поможет.

— Какое мне дело? — презрительно промолвил Вилем.

— Это не так просто, как ты себе представляешь, — настойчиво продолжала Анка. — Допустим, он добьется, несмотря на сопротивление Бароха, и будет считать тебя его союзником. Он создаст тебе свой круг сотрудников. Барох стар, он недолго продержится — выйдет на пенсию, и тебе надо будет опять бороться за свое положение.

Девушка права. При таких обстоятельствах его будущее может оказаться в опасности. Но он все-таки не находил в себе мужества пойти против Бароха.

— Оставим это, — сказал он порывисто и опять хотел встать.

Но Анка повисла на нем всей своей тяжестью.

— Нет, нет, прошу тебя. Нам нужно договорить. Я не могу позволить, чтоб тебя лишили хотя бы одной роли, принадлежащей тебе по праву.

Тут в комнату вошел Зикмунд Гула, уже переодевшись в шелковый халат.

— Извините,— промолвил он насмешливо,— я понятия не имел, что вы еще не наговорились. Ты, может быть, будешь добра — пересядешь? А то я не знаю, какой, в качестве отца, должен сделать вид?

— Но мне так удобно! — протянула Анка.— А ты не будь отсталым, держись просто и садись к нам. Надо вот этого упрямца научить уму-разуму.

Гула со вздохом опустился в одно из глубоких кресел, одновременно потянувшись за бутылкой с коньяком, стоявшей на круглом столике.

— Это ужасно: такая дочь без материнской охранительной руки, Вильда,— ну просто беда! Так о чем речь?

— О Гораке,— ответила Анка.

Гула опрокинул рюмку коньяку, потом сделал один-два пустых глотка, чтоб переждать ее воздействие, и заговорил:

— Здоровяк. Я люблю таких крепышей, коль у них к тому же еще и котелок варит. А этот, кажется, на самом деле способный.

Несмотря на возражения Вилема, впрочем все более слабые и неискренние, в тот же вечер был составлен план, как помочь Гораку устроиться в Национальный и в то же время осведомить его, что это делается главным образом по желанию Габы. Зикмунд Гула имел достаточно влияния, чтоб добиться принятия Горака — тем более что кандидат был одаренный, да к тому же поддержанный печатью и общественным мнением.

— Ну, выпить пока как будто не за что,— сказал под конец Гула,— но все-таки выпьем, и я пойду спать.

Быть может, главным образом чтоб заглушить мучительный, горький привкус от этого разговора и, конечно, оттого, что весь вечер Вилем ощущал воинственную и покорную преданность Анки, он совершенно неожиданно произнес нечто такое, чему спустя минуту изумлялся, может быть, больше всех присутствующих. И произнес он это голосом и тоном, которые Анка, вспоминая впоследствии, не могла приписать ни одной из ролей, в которых его видела. Очевидно, это был его подлинный голос, давно забытый голос Вилемовой молодости, немного самоуве-

ренный, но таким он был всегда, и гордый, но лишь оттого, что в нем сказывалось желание говорящего заранее оградить себя от удара, если ответ будет не такой, какого он ожидает.

— Послушай, Гула,— остановил он фабриканта, прежде чем тот успел поднести рюмку к губам.— Я знаю, за что нам выпить, только захочешь ли ты?

Зикмунд Гула поставил рюмку опять на стол, но не отнимал от нее руки. Анка на коленях у Вилема, с которых она не вставала в продолжение всего этого длинного разговора, замерла, а потом начала слегка, чуть заметно дрожать.

— Валяй,— сказал Гула обычным своим насмешливым тоном.— Мне редко случалось отказываться выпить за то, что предлагаю.

— Что бы ты сказал, если б мы с Анкой поженились?

— Господи Иисусе, Вилик! — взвизгнула Анка.

Она быстро поцеловала его в губы, соскочила с его колен, закружилась, запела было мотив какого-то модного танца, потом вдруг кинулась ничком в широкое кресло и разрыдалась.

Гула иронически улыбнулся.

— Вот тебе ответ. Мне тут как будто нечего прибавить. Засчитываю тебе в плюс, что ты спросил у меня... Ну, крошка, иди выпей — и не дури.

5

Ветер промчался по разоренным кронам деревьев, сбросив с одиноких листьев тяжелые капли. Они растеклись по мокрому песку, который тотчас их всосал. Одна из них упала мне на затылок, так как я шел наклонив голову, проскользнула за воротничок и побежала по хребту. Я выпрямился, как ужаленный. Захотелось погрозить кулаком деревьям и ветру. Что за безобразие — плевать в человека просто так, из озорства, чтоб напомнить ему, что нечего, мол, выдумывать чужие жизни, когда из-за своей собственной-то не оберешься хлопот? Не знаю, может, я и впрямь тогда погрозил, помню только, что испуганно оглянулся по сторонам,— не наблюдает ли кто за мной? И похлопал себя по спине, чтобы остановить продвижение капли и прогнать мурашки. Я никого не увидел, но разве мы знаем, кто на нас смотрит и потешается над нашим тырканьем?

С реки примчался оглушительный рев буксирного парохода, долго потом потрясавший проволглый воздух и наконец растворившийся в монотонном прибое отдаленного уличного шума. Я вынул из кармана часы. Половина одиннадцатого. В моем распоряжении было еще блаженных полтора часа до рокового срока. А мне казалось, что я прогуливаюсь чуть не полдня. Сколько совершилось событий за этот короткий промежуток времени, и сколько мне понадобится дней, чтобы их хоть в общих чертах описать.

До чего любопытно это несоответствие между реальным временем,— как будто вообще существует реальное время,— и воображаемым. Я прошел весь сад от конца до другого и теперь иду обратно. Повторяю этот маршрут еще несколько раз.

Полтора часа. Вечность разливается под поверхностью сознания. Думаю о том, о сем, отодвигая от себя напоминания — к концу прогулки.

Опять попалась группа пенсионеров. Погребальные дороги их прошлого, видимо, стоят где-то поодаль. А они собрались на террасе беседки и говорят о покойнике. Под ними катятся волны городских крыш, и одинокие шпицы башен прорывают пелену дыма. Сидящий на скамье еще тут,— он немножко изменил положение, но взгляд его по-прежнему неподвижен. Мне страшно, я спешу скорей мимо. Старик в фуражке городского сторожа уже намел целый холм мокрых листьев и теперь, опершись на грабли, пыхтит трубкой над оконченной работой.

Барох вышел из театра в такой вот день, как нынешний, с низкими тучами, дерзкими налетами ветра, короткими дождями и тянувшим по улицам дымом. И хотя погода гнала людей по домам, здесь на тротуаре, у заднего подъезда, как всегда стояли группы беседующих. Барох выкатился в расстегнутом пиджаке и пальто и с помятой шляпой в руке. Могучая голая красная голова его сияла, как медный котел в маминой кухне. Остановился на краю тротуара и стал смотреть перед собой, как человек, не знающий, куда ему идти.

С ним здоровались. Он не отвечал. На лбу и лысом темени его заблестели капли пота. Он вытащил огромный носовой платок, но, вытерев их, тотчас вздрогнул от холода, так как на их месте появилось несколько дождевых капель, вытряхнутых из туч шальным порывом ветра. Придя в себя, он направился к мостику, ведущему на остров.

Я сердито наподдал ногой катившийся поперек пути лист. Где начало и причина возникновения этой сцены? — спрашиваю я. Не мог старый толстяк вырваться из театра, в бешенстве или возбуждении, сам себя не помня, — просто так, ни с того ни с сего! Нынче утром на дирекции было решено, что режиссер Горак, осуществивший удачную постановку «Антигоны», получит постоянный ангажемент, как настаивала большая часть прессы, и ему будет поручена постановка «Макбета», то есть одной из пьес, на которые предъявлял право давности Барох.

Когда директор сообщил ему об этом, Барох сперва посерел лицом, потом покраснел так, что шеф испугался, поспешно налил стакан воды из стоявшего на столе графина и подал ему. Барох резко отстранил протянутую руку, вода выплеснулась и намочила лежавшие на столе бумаги. Директор закусил нижнюю губу, но это был человек, добившийся своего положения главным образом благодаря умению владеть своими чувствами и скрывать свои мысли, и в любом случае знал, как с кем действовать.

— Не нужно мне вашей воды, — прокричал Барох. — Меня кондрашка не так легко хватит.

Директор принял осушать облитые бумаги носовым платком, распространяющим вокруг освежительный аромат одеколона. Между тем Барох настолько опомнился от своей ярости, что сумел вернуться к обычным своим приемам обращения с представителями театрального начальства. Спохватившись, он стал помогать директору улаживать последствия катастрофы, которую сам вызвал.

— Простите, — начал он в то же время самым ласковым голосом, — но я думаю, вы поймете мое волнение. Ведь получается что-то вроде открытого покушения на мои полномочия и мой репертуар.

— Зачем вы так толкуете? — возразил директор. — Ведь мы не можем без конца противиться приливу молодых сил. А пан Горак доказал «Антигоной», что кое на что способен.

Барох запыхтел.

— Интересно, как распределятся главные роли, — сказал он. — Я ведь хорошо знаю, какая всегда поднимается свалка, когда пьеса переходит в другие руки.

Директор слабо улыбнулся.

— Свалка, правда, была, но пан Горак остановил свой выбор на пане Габе.

Барох почувствовал, как все его тучное тело прошибло потом. Он хотел было засунуть правую руку за сорочку

и прижать ее к левой стороне груди, где у него стучало торопливыми, неправильными ударами. Но, вовремя опомнившись, отказался от этого массажа, который давал ему успокоение, прогоняя щемящую боль в области сердца.

— Вилем, конечно, не принял,— выдавил он из себя наконец, как бы желая отпугнуть отрицательный ответ.

Директор заколебался. Проводя гладким и тупым лезвием разрезательного ножа по ладони левой руки, он размышлял... Он явно нездоров, а раз уж критика принялась за него, так не отстанет...

— Мне кажется, господин главный режиссер,— заговорил он медленно, с преувеличенной тщательностью выбирая выражения,— вы недостаточно информированы. Но-вашему, кто помог пану Гораку поступить к нам?

Бароху пришлось переждать судорожное сжатие сердца, прежде чем он смог ответить:

— Во всяком случае, не его заслуги.

Сжав губы в знак того, что он не согласен с приговором Бароха, но не хочет вступать в полемику, директор сказал:

— У меня достоверные сведения, что это — генеральный директор Гула, тесть Габы.

Это прозвучало как гром из ясного неба, но было истинной правдой. Вилем женился на Анке через два месяца после разговора с ее отцом. И Барох был свидетелем со стороны Вилема. Он оказал ему эту интимную дружескую услугу, когда Зикмунд Гула уже провел Горака в состав Национального театра.

6

Налетевший проливень барабанил по высокому окну Барохова кабинета, выходящему на реку, и тяжелые дождевые слезы текли по грязным стеклам. Мир, изборожденный их струйками, мир, состоящий из низких размазанных туч и безлистных древесных крон, казался безграничным и безнадежным.

Барох сидел за столом в одной рубашке, хотя в театре не топили и в комнате пахло сыростью. Скинутый галстук свисал с груды переплетенных рукописных пьес, соломинки докуренных сигар щетинились из переполненной пепельницы. Барох лишь изредка позволял прибирать здесь.

Увидев его сидящим в таком виде, Вилем сразу понял, зачем тот позвал его, и почувствовал бессильную жалость

к нему, к себе, ко всему этому безумному миру, частью которого были они оба и который называется театром. Быть может, впервые в жизни ему пришло в голову, что и здесь происходят вещи, которые — не только игра, и здесь людей могут постигать их собственные, никем не писанные драмы, и им вдруг неожиданно выпадают роли, для которых нет ни образцов, ни текста. Все же он, как всегда, попытался выйти из положения при помощи игры и взял дружеский бодрый тон, в котором они обычно друг к другу обращались при отсутствии свидетелей из театральной среды.

— Бара, — по-товарищески назвал он его сокращенно — прозвищем, несколько односторонне рисовавшим Бароха как добродушного сенбернара, — прошу вас, наденьте пиджак. Глядя на вас, становится холодно.

На лице Бароха, сидевшего с сигарой во рту и с правой рукой за пазухой, не дрогнул ни один мускул. Маленькие глазки его, обычно прячущиеся в подушках щек, словно увеличились и очеловечились. Беспокойное шныряние их исчезло, он глядел неподвижным, тяжелым взглядом — так, как смотрят люди, которым врач сообщил о неизбежном конце.

Вилему стало жутко, не потому, чтоб он боялся Бароха, а потому, что подумал, не будет ли он сам когда-нибудь сидеть вот так, как Барох или как когда-то сиживал Палас, обессиленный сознанием, что ты загнан в угол и спасения нет.

— Садись, Вилик, — промолвил Барох медленно и без обычного пыхтения.

А когда Вилем послушался и погрузился в старое кожаное кресло, он, наклонившись над столом, заваленным бумагами, спросил с жадной надеждой, что в последнюю минуту будет пощада:

— Ты правда будешь делать с Гораком «Макбета»?

— Я не понимаю, Бара, — начал Вилем, глядя просительно в эти отчаянные глаза, — что тут такого? Ведь я не первый раз играю с другими режиссерами, и вы никогда не возражали.

Правая рука Бароха за пазухой сжалась в кулак, а левой он с такой силой воткнул сигару в пепельницу, что тонкая сигара лопнула. Потом оба кулака, тяжелые, но такие мягкие, как только что вынутые из печи пасхальные куличи, глухо шлепнулись на стол. Вилем в испуге встал: ему показалось, что Барох хочет вскочить, но тот, к удивлению, остался сидеть; показалось, что он хочет

закричать, но и этого не произошло. Снова засунув руку за пазуху и откинувшись назад во вращающемся кресле на рессорах, он произнес чужим придушенным голосом:

— Ступай! Больше нам с тобой говорить не о чем.

Вилему не хотелось уходить. Какая бессмыслица — так рассориться из-за того, что рано или поздно все равно должно случиться. Почему стариk не хочет этого понять? Стоит на него взглянуть — каждому ясно, что его карьера окончена, а перед Вилемом, наоборот, долгий путь побед и успехов. Будь он умней, у них впереди была бы еще многолетняя дружба.

— Послушайте, Бара, я вам все объясню. Вы знаете, что мне приятней всего выступать под вашим руководством, но я не могу уклоняться от других. Поймите, дело идет о моем будущем, — и дайте мне вашу руку в знак доброго согласия.

В эту минуту Вилем был искренне растроган благородством своих чувств, и кто бы при этом ни присутствовал, всякий должен был бы признать, что слова его правдивы и порядочны... Конечно, если б не то обстоятельство, что он за спиной Бароха помогал Гораку устроиться в Национальный и не пришел к старику дружески договориться, после того как получил от нового режиссера предложение взять на себя роль Макбета.

В свете этих фактов протянутая правая рука его была на самом деле рукой Макбета, поданной Банко. Лысый череп Бароха покраснел так, словно кровь готова была брызнуть из пор.

— Вон!

Дверь хлопнула, и вслед за этим диким грохотом в кабинете стало нестерпимо тихо. Барох в бессильном бешенстве посмотрел вокруг ничего не узнавшими глазами. Ему хотелось бить, рвать, уничтожать все вокруг, но в то же время его вдавливали в кресло железные кулаки слабости и какого-то неведомого страха. Удушье сжимало ему горло, он не слышал ничего, кроме гулкой кувалды разбушевавшейся крови. Куда-то девался из этой большой комнаты весь воздух, словно высосанный огромным насосом. Стены сближались, норовя опрокинуться друг на друга, и снова расходились, принимая рискованные углы наклона к ходящему ходуном и куда-то убегающему полу. Скорей отсюда. Он пойдет расскажет Сташе, какой у нее племянник и какой у него был друг, скажет ей, что не знает, как быть, и она ему посоветует, что делать.

Трясущимися, неуверенными пальцами он начал застегивать сорочку, завязывать галстук. Выйдя из театра и почувствовав холодные капли дождя на своей разгоряченной голове, забыл, куда идти. Жаждал одного: дышать, только дышать.

Кривоногий старик в фуражке городского сторожа, сметавший с газонов и дорожек на острове опавшие листья, вежливо его приветствовал — в надежде, что он, как всегда, даст ему сломанную сигару, — и долго смотрел ему вслед с возрастающим удивлением, имеющим два источника: во-первых, главный режиссер совершиенно его не заметил, чего до сих пор никогда не бывало, и, во-вторых, не пошел к тому зданию, где помещались репетиционные, а повернул направо, к мысу острова, где летом, спустившись по короткой лестнице к реке, можно было взять напрокат лодку.

Старик, перестав сгребать, стал следить за действиями Бароха с таким вниманием, что не заметил, как у него погасла трубка. По обе стороны псевдobarочного входа на лестницу стояло по две скамейки, и Барох сел на одну из них. Еще больше распахнул расстегнутые пальто и пиджак, всунул правую руку за пазуху сорочки и запрокинул голову, подставив лицо под дождь. У старика, который направился к нему, отчасти прячась за широким стволом дерева, раскинувшего свою корону над центральным газоном, от волнения свистело в горле, в носу и в погасшей трубке. Но это было ничто по сравнению с тяжелым, пыхтящим, прерывистым дыханием, долетавшим от Бароха.

На близкой набережной и на мосту звенели трамваи, гудели автомобили, река, вздувшаяся после двухнедельных дождей, громко чмокала о каменное покрытие островных берегов, но старик слышал только это прерывистое и все более тяжелое, громкое, хриплое дыхание.

От дерева, к которому в конце концов пробрался старик, до Бароха оставалось всего десять шагов, когда тот вдруг оперся обеими руками о сиденье, встал, пошатываясь, протянул руки вперед, словно хотел за что-нибудь ухватиться, и опрокинулся обратно на скамейку. Рухнув без сил, перевернул ее своей тяжестью и повалился вместе с ней на землю, широко раскинув руки, ноги — торчком вверх.

Я испугался до смерти при виде шлепающего по размокшей дорожке кривоногого старика в фуражке городского сторожа, с трубкой в морщинистых губах и граблями под мышкой. Увидев его, я в ужасе стал искать

глазами человека, который сидел на скамейке, расстегнув пальто и пиджак, несмотря на леденящий ветер и временами набегающий дождь. Слава богу, его там не было, и скамейка стояла в полном порядке, на своем месте, а позади нее, посреди газона распростерло свою могучую крону дерево.

У меня немного отлегло от сердца, но ощущение ужаса не прошло. Человек не должен выдумывать событий, которые могут совершиться в любое время и нагоняют на него страх. Но утверждаю, я ничего не выдумывал, а просто как бы бесцельно играл с жизнью и смертью, и произошло то, что должно было произойти, и я ничего тут не могу изменить, сколько бы ни старался.

Тем не менее ужас не отступал от меня. Выдумывать события казалось мне теперь опасным колдовством, которым тот, кто им занимается, должен хорошо владеть, чтоб не наделать больше зла, чем добра. Я смотрел на себя, как на малоспособного ученика, своеольного и непослушного, который вызвал духов, но со страху забыл, как их прогонять. Больше не было сил оставаться в этом опустошенном поздней осенью саду, где все напоминало мне о жалком Бароховом конце. Прежде мне казалось, что не надо слишком его жалеть, но теперь я почувствовал, что, как только начну писать о нем, все, что он натворил, когда был молод и полон буйного честолюбия, отйдет в небытие, и останется человек, жестоко страдающий от одиночества, тоскующий о дружбе и жаждущий искупить хоть на одном человеке то зло, которое причинил многим другим. И вот дружба пришла, но принесла расплату вместо прощения. Горький конец, но — убеждал я себя — единственно справедливый. Барох был карьерист, — для него все средства были хороши, лишь бы добиться своего. Такие люди несут свою судьбу в самих себе. Он губил, предавал, — его предали и погубили.

Я вышел из сада, оставил позади эти газоны, такие неприятно зеленые под черными безлистными деревьями, и побрел между дощатыми изгородями спортивных площадок. Не было еще половины двенадцатого, — об этом говорили позолоченные стрелки часов на водонапорной башне. Гладко утоптанный пешеходами и размякший от дождя гаревый тротуар слегка ходил под моими ногами.

Я остановился и мгновенье глядел, как минутная стрелка неумолимо движется к шести. Есть вещи неотвратимые; и это не только смерть; они бывают и в жизни; их

надо брать такими, как они есть, поскольку мы бессильны их изменить.

Пока не нужно спешить; ведь все равно, останавливаясь ли и зевая по сторонам, прохаживаясь ли спокойно, я в конце концов окажусь перед домом, где помещается контора Борживоя Лексы.

Можно, например, зайти за сигаретами к пану Пехе, чьи речи всегда придают мне смелости, а уравновешенный взгляд на вещи ставит все на свое место. Почему бы нет? Лучше поискать простого торного пути, чем позволять, чтоб тебя мытарили нелепые сомнения. Разве ты не убедился наконец, что все идет предназначенным путем? Разве может быть правда искусства, отличная от правды жизни? Ведь угол зрения не в состоянии изменить сути вещей.

Премьера «Макбета» явилась, по существу, торжественным спектаклем в память почившего главного режиссера Бароха. Вы представляете себе ужас, охвативший Вилема перед появлением на пире призрака Банко? В уме его смерть Бароха слилась со смертью Паласа, и обе, взявшись за руки, отплясывали вокруг него трепака. Еще раз игра пропитывалась для него жизнью,— только тут брала верх жизнь. Вместо загrimированного актера в конце стола могли возникнуть те двое, обняв друг друга за шею и вперив в него неумолимый взор. Те двое — враги друг другу в жизни, объединенные его предательством в смерти.

Страшно в искусстве то, как оно высасывает жизнь, как видимость, выросшая из ее почвы, в конце концов от нее отделяется и начинает жить самостоительно, пренебрегая ею. Она сильней своего источника, и вот Вилем, испытывая подлинный страх, в то же время находит новый способ правдиво его выразить. От этой страшной правдивости его игры,— о которой не скажешь, действительно ли это только игра,— присутствующим в зале становится не по себе. Вилем охвачен безумием изобретателя, он чувствует и видит: вот так вот я бы застыл, так одеревенели бы мои движения, если б вдруг на самом деле появились те двое. А выше хохочет головокружительная уверенность: со мной уж этого не может быть, я от этого скрылся. Я знаю, как влияет страх, испытал, что он делает с человеком, и — больше ему не подвластен. Господи боже, придет день —

сыграю и свою смерть; ведь я знаю все: как любят и как неиавидят, как действует желание исполненное и неисполненное, я сам любил, а потом играл любовь,— от всего, что других терзает и доводит до гибели, я скрылся и всегда сумею скрыться — в дверцу своей игры.

Вилемова игра в «Макбете» была расценена большей частью критики как высшее достижение современного сценического искусства. Он удостоился за нее величайших общественных почестей,— ему удалось наконец взобраться на самую вершину. Громы небесные, покажите теперь мошь свою! Вот я здесь — и хотел бы знать, кто столкнет меня отсюда вниз... Не кто другой, как ты сам, мой милый! Такова цена совершенства, к тому же всегда спорного, что его можно удержать, только платя за него все больше и больше,— гораздо больше того, что ты платил, когда за него дрался.

Ах ты мышь полевая, еще не успевшая подняться на первую ступеньку той невидимой лестницы, на которой столько людей лучше тебя свернуло себе шею,— что ты знаешь об этом? Ты мучишься завистью к Вилему, которого возвел так высоко, и обдумываешь, как бы повернуть, чтоб он опять свалился. В тебе говорит страх пресмыкающегося, которое боится высоты. До сих пор не сумел подняться из пыли, а уж дрожишь,— что будет, если хоть раз всползешь на какой-нибудь холмик.

Я стоял на углу улицы, по одну сторону которой тянулись дощатые заборы спортивных площадок, а по другую — доходные дома. Заблудившиеся увядшие листья и обрывки брошенной бумаги заводили на перекрестке хоровод, тут же разгоняемый налетевшим порывом ветра. Мне хотелось взять руку к неприютному небосклону и поклясться, что я поступаю справедливо. Не могу же я прибегать к выдумкам или делать своего героя лучшим — только для того, чтобы самому казаться благородней. Я точно воспроизвожу его путь — вот и все.

После смерти Бароха, возрождающее действие которой не осуществилось, Вилем ослабил свое усилие. Сменил тихую комнату у Сташи Рыдловой на студию размером с небольшой зал в восьмикомнатной квартире на пражской стороне Влтавы, с окнами на градчанскую панораму. Современный архитектор из фаланги бывающих в доме,— хотя многочисленной, но тщательно отобранный Анкой,— обставил квартиру с продуманной простотой и целесообразностью, обошедшейся в несколько тысяч крон. Лавровые венки и другие триумфальные сувениры

были развешаны в витринах, среди которых помещались большие зеркала, расположенные так, чтобы Вилем мог следить за своими жестами и мимикой анфас, в профиль и даже наблюдать сзади свою походку, игру плеч, шеи, спины. Не было забыто и наклонно повешенное зеркало у одной из стен под потолком, показывавшее великому мастеру, как у него получается быстрый поклон, при котором он откидывает голову назад и поднимает лицо вверх — к балконам и галерее... Научная лаборатория, где актерское исполнение подвергалось строжайшему разбору, чтобы потом действовать безошибочно.

Тут мы подходим к тому периоду, следствием которого были премьера «Строителя Сольнеса» и ночной побег Вилема из Праги. Человек, закормленный похвалами и лестью, переходящий от успеха к успеху, человек, работу которого начинают превозносить прежде, чем она закончена, чьей игрой восхищаются уже заранее, человек, вечно окруженный стаей приверженцев, муж, для которого жена — не советчица, а поклоняется ему, как божеству,— такой человек, в особенности если он актер, привыкший жить в нереальном мире вымыщленных судеб, очень скоро дойдет до того, что начнет считать преходящее неизменным, а себя — верхом совершенства, которое еще можно шлифовать, но уже нет надобности отстаивать в борьбе.

Это было исполнение, выработанное путем тщательной тренировки, а не созданное с пылким трепетом и боязнью, в результате неуверенных поисков, с судорожным усилием, достигающим беспокойной полууверенности лишь в итоге целого ряда неудач, а полной уверенности — только через внезапное озарение, купленное муками отчаяния. Это было исполнение математически и геометрически точное, но сложенное холодным сознанием — я знаю, что умею,— из элементов давно известных, остуженных многократной проверкой и стершихся от продолжительного применения. Из ста сыгранных тобой образов — немножко больше или меньше, не важно,— ты уже составишь все остальные, не входящие в сотню.

— Тише, пожалуйста, маэстро занимается,— напоминает Анка прислуге, проходящей мимо двери Вилемовой студии крадучись, с затаенным дыханием. И Вилем в самом деле занимается, работает упорно и тщательно, научившись этому за долгие годы интенсивной муштры и превратив это в потребность, и таким способом обманывает сам себя. Занимается, но уже не борется, а отыскивает

в себе готовые интонации и регистры, пробует их сочетать, гармонизировать и аранжировать для новых ролей. Тут целая галерея образов, уже игранных и теперь заново прорабатываемых. Они уже не дышат страстью, не содрогаются от боли; они — уже законченные, тебе все о них известно, нужно только их взять и пополировать, подбавить им новых любопытных деталей, чтоб уверить самого себя, что все еще идешь в гору,— тогда как ты сидишь на удобном выступе, который кажется тебе вершиной,— сидишь и глядишь на жалкую муравьиную суетню вокруг, и тебе даже во сне не видится, чтобы гора за твоей спиной могла громоздиться еще дальше вверх.

Подымут ли когда-нибудь голос те сомнения, которые живут в нем и вокруг него?

Что, если он однажды, проснувшись утром после обильного возлияния по случаю премьеры,— потому что после премьер он устраивает богатые пиры, на которых председательствует наподобие какого-нибудь венецианского князя (я ошибался, полагая вначале, что его угождали богатые приятели; этот период его жизни уже миновал, теперь он сам в состоянии угождать),— так вот: если он утром, выйдя из ванной, которая просторней любой комнаты, в какой только мне приходилось жить, освеженный купаньем в воде с укрепляющими солями (на самом деле или это только моя нищенская грэза), и сядясь завтракать без всякого аппетита, вдруг скажет жене:

— Тебе не показалось вчера, что я начинаю повторяться? У меня было такое чувство, будто я уже играл это самое сто раз.

Анка встанет, обойдет стол, за которым они завтракают, гибкая, стройная, немного пополневшая против прежнего, но лишь в сладострастно колышущихся бедрах, блестящая и подтянутая в своей утренней пижаме из темно-голубого, черного или желтого креп-сатина, прыгнет к нему на колени и залепечет, водя своим носом по его свежевыбитой щеке:

— Что ты выдумываешь?! Никогда еще ты не играл так великолепно. Мне всегда кажется, что лучше уж невозможно, но ты всякий раз доказываешь обратное.

И вдруг послышится шипение какой-нибудь газетной рецензии. Вилем развернет газету, нахмурится, минуту смотрит мрачно перед собой, но Анка уж тут как тут:

— Покажи, что там за гадость.

«Игра исполнителя главной роли пана В. Габы отличалась виртуозностью и выразительностью, которую мы у этого актера давно привыкли видеть. Исполнение, совершенное в своей законченности, разработанное до последней детали, но от этого совершенства порой веяло холодом, равнодушием или усталостью».

Анка свирепеет, отбрасывает прочь газету, разлетающуюся по листам во все стороны, вскакивает и топчет их ногой.

— Какая подłość! Я выясню, кто этот писака, и устрою ему взбучку.

— Какой в этом смысл? — возражает Вилем.— А если этот человек пишет правду?

— Правду? — возмущается Анка.— Это мерзавец, который обозлился, что ты его до сих пор к себе не позвал. Ты видишь, как он сперва мажет тебя медом по губам, а потом уж начинает царапаться.

— Так позови его. Это проще, чем идти на него жаловаться, — смеется Вилем.

Ладно. Смех смехом, но укол остался, и когда Анка заявила, что позовет этого малого, он на нее раскричался: за кого, мол, она его принимает, неужто дела его так плохи, что он должен подкупать критику? И выйдет, хлопнув дверью. Укол только один — и другие рецензии загладят...

Но растет количество уколов, растет и внутреннее сопротивление им. Вилем уже привык к определенному образу жизни и способу работы, к регулярным дозам восторженного поклонения, к опиуму Анкиной любви. Прага — у его ног, эта мечта осуществилась, и, когда он выступает по улицам,— потому что он на самом деле скорей выступает, чем ходит, продвигаясь вперед своим гордым шагом, в одно и то же время легким и твердым, вышколенным шагом человека, привыкшего точно определять расстояние, чтобы каждое движение производило наилучший эффект, с головой, чуть откинутой назад, чтоб показать, что он прислушивается не к этой ничтожной суете вокруг, а к совершающемуся где-то глубоко внутри него (так ты всегда ходил, глупец, притворяясь не тем, что ты есть,— помнишь?), прохожие останавливаются, смотрят ему вслед, говорят:

— Это он!

Но уколов все больше, не забывай о них. Это только на

поверхности жизнь течет по-прежнему, и Вилему, боровшемуся и побеждавшему при помощи *видимости*, хотелось бы из этой мысли построить крепость, куда ему можно будет укрыться. Но нашелся человек, проникший в тайну его убежища. Потом число их стало увеличиваться, как было видно по тем сначала сдержанным, но малопомалу все более смелым и частым голосам, которые раздавались в печати. Режиссер Православ Горак имел то преимущество, что видел в полном смысле слова подноготную Вилема. Однако он никогда не решался выступить со своими замечаниями во время репетиции, при других актерах. Его отношение к Вилему было сложным сочетанием благодарности и сознания, что во всей труппе нет лучшего актера, да и ни в одном театре страны ему не найдешь замены.

Он пробовал подойти к Вилему в дружеских разговорах, которые вел с ним у него на квартире, делая свои осторожные комментарии под предлогом углубленного анализа. Начинал, как правило, с восхищенных похвал, лестным тоном перебирал подробности последнего Вилемова выступления и, хитро, но в то же время искренне считаясь с его болезненно-чутким самолюбием, приближался к сути дела осмотрительными обиняками.

— Вы когда-нибудь думаете о тех, для кого играете? — допустим, спрашивав Горак, сжимая между колен свои каменные кулаки, так как это вечное осторожное обижливание ему не по характеру.

— Что вы хотите сказать? — отвечает Вилем вопросом на вопрос, уже встревоженный подозрением, что этот юнец, обязанный ему своим местом в Национальном театре, подразумевает что-то менее вежливое, чем то, что говорит. — Я думаю прежде всего о себе и своей игре.

— Ну да, — кивает Горак, пряча за икры свои сжатые лапы. — Художник должен всегда исходить от себя. Но не должен забывать о тех, других. Тут неразрывный круг.

— Вы что-то очень усложняете, мой милый, — смеется Вилем, но сомнения, по-прежнему безмолвные, опять просят слова. — Скажите мне прямо, — неожиданно наступает он на Горака, — что вам не нравится в моей игре?

Горак увертывается при помощи отговорки, хотя гораздо охотней набросился бы на Вилема с грубой прямотой, которой прославился в своей боевой молодости. Но он помнит, чем обязан Вилему, и блюдет свой долг.

— Речь не о том, что нравится и не нравится,— неуверенно ворчит он и уже с большим оживлением добавляет: — Я ищу, если так можно выразиться, общий знаменатель между своим чувством театра и вашим.

Но Вилем прекрасно понимает, куда метит Горак, и если твердит себе, что этот молодой человек не ценит его дружбу, становясь день ото дня все более дерзким, если разжигает в себе искусственный гнев и дает себе слово как можно скорей поставить его на место, то делает все это лишь для того, чтобы заглушить неуверенность, которая всюду тащится за ним по пятам. Теперь он запирается у себя в комнате с зеркалами и проводит там долгие часы. Анку тревожит эта рабочая ненасытность. До сих пор не было случая, чтобы он не позволил ей присутствовать при том, как он готовит роль; часто даже сам ее звал. А тут выходит из себя всякий раз, как она решит постучаться в двери его святынища.

Не зная, что думать, чего бояться, Анка поневоле берет себя в руки и делает вид, словно ничего не изменилось. На первый взгляд действительно все как будто по-старому. Если не считать чудачества с зеркальной комнатой, Вилем относится к ней, Анке, как прежде, но она не может избавиться от ощущения, что Вилем уходит от нее не из одного образа в другой, как было до сих пор, а куда-то гораздо дальше, куда ей за ним не дойти.

Она уверена в нем, только когда он сжимает ее в объятиях. Тогда оба знают, что принадлежат друг другу, словно один из них — слепок с другого, и в Вилеме, как всегда, просыпается кто-то давно забытый и пропавший. Бродит в нем, но не может произнести ни слова его устами, не проявится ни одной отчетливой мыслью. Когда волна наслаждения упадет, Вилем лежит и прислушивается к тому, как внутри него замирают его собственные, такие знакомые шаги. Кто это был? Отчего никогда не удается заглянуть ему в лицо, отчего он никогда не задерживается и отчего всегда возвращается снова? Анкина голова покоится у Вилема на плече, и он в мучительном смятении сжимает ее в своей согнутой руке, словно хочет ее раздавить, как орех в щипцах.

Анка чует тот неведомый страх, что дает о себе знать еле заметным шелестом в конце правильных ударов его сердца, замедленных после обессиливающих любовных ласк. Вздохнув от боли в голове, причиненной Вилемовым сжатием, она прильнула к нему всем телом, обняла его руками и ногами, словно желая замкнуть его в себе,—

оградив от опасности, которую чувствует в нем, но не может распознать. В ней бушует воинственная гуловская кровь. Она дралась бы за него, если б знала, на кого надо кинуться.

— Вилем, скажи мне, что с тобой?

Вилем вздрагивает, но это, быть может, вызвано движением ее губ, прижатых к его коже.

— Что со мной может быть? Лежи спокойно и не выдумывай.

Ее чуткость пугает его. Может быть, она читает в нем, знает, что у него творится внутри? Но как это возможно, если он сам этого не знает? Он глядит, прищурившись, как глядел бы в себя, словно веря, что в те одухотворенные мгновения, когда чувства, очищенные бурей, раскрывают перед сумраком усталости просторы далеких перспектив и стеклянной прозрачности, ему удастся разглядеть лицо, уносимое вдаль знакомыми шагами.

Приглушенное рассеянное сияние струится от рампового освещения над широкой постелью в Анкиной спальне, разливается по стенам и сеет с потолка золотистый полусвет, будто в воздух поднялось облако цветния. Из него выступают лики, утонувшие луны, которые кто-то наделил выразительными чертами, избороздил глубокими линиями морщин; они скорей призрачны, чем реальны, подобно глубинным животным, выброшенным на поверхность каким-то неведомым извержением. Появляются и пропадают,— одни выступают вперед, другие теснятся вокруг них. Это та или та? Их такое множество, и все они шепчут слова, которые ты пережил и перечувствовал, но которые не были твоими.

— Вилик,— вздыхает Анка у его плеча,— мне сейчас показалось, будто ты вдруг исчез у меня из рук. Я боюсь, что ты меня разлюбишь.

Вилем смеется, и смех его звучит чуждо и слишком громко в тихой спальне. У Анки побежали мурашки по коже. Вилем это чувствует, повернулся к ней, легко поцеловал ее в лоб.

— Глупая. Вот уж действительно подходящая минута для таких опасений!

Анка выскользнула из его объятий, встала над ним голая и захватывающе прекрасная со своими широкими круглыми плечами и пылающими щеками в рамке растрепанных темных волос, озаренных золотистым сиянием, вонзила ногти в мускулы его рук и говорит приглушенным голосом, запинаясь:

— Никогда, слышишь, никогда не переставай любить меня. А то я покончу с собой.

Вилем выкручивается, ее ногти впиваются ему в кожу; он смеется:

— Пусти, пожалуйста, и не говори чепухи. Разве сегодня что-нибудь было не так?

— Не важно, что так, что не так. Знаю только, что жить не могу без тебя,— вот вся моя философия.

В темноте своей комнаты Вилем думает о ее угрозе. Она, конечно, не остановится перед тем, чтобы ее исполнить, у нее слова не расходятся с делом. Для нее не существует ничего на свете, кроме него. И как ни удивительно, гордость, переполнявшая его при этой мысли прежде, на этот раз молчит. Наоборот, ему кажется, что он какой-то ущербный, потому что никогда не чувствовал себя ни с кем до такой степени связанным. Может быть, когда-то с Эвой, но и эти отношения порвались, а из горечи, которая после них осталась, выросло его ненасытное тщеславие и себялюбие.

Но кого, собственно, он любил в себе? Это же бессмысленно и смешно.

Он не спит. В темноте к нему приходят образы, сыгравшие им и в конце концов так его заполнившие, что внутри не осталось места для него самого. В нем закипает злая ненависть к ним из-за жизни, которую он им дал и которую они у него взяли. Он думает о том, как бы ему от них избавиться и в растерянности начинает обвинять во всех своих бедах и трудностях Анку. Это в ее объятиях он так изменился и стал приходить в упадок, из-за ее чрезмерной любви и вечной лести разучился бороться и стал жить на прежде нажитое. Он бранит Анку за то, что она сегодня заманила его к себе в постель. Премьера на носу, и он, пока не был женат, в таких случаях всегда избегал иметь дело с женщинами.

Утром он встает вялый, разбитый, в крови пепел, в мыслях шлак от этой сгоревшей ночи. Позавтракав без аппетита, в одиночестве, он спешит вон из дома, пока не встала Анка,— чтоб с ней не встречаться. Наконец посреди дня лопнуло долго испытываемое терпение режиссера Горака, и между ним и Вилемом дело дошло до ссоры, о которой мы знаем. Тогда-то Горак произнес то, что Вилему показалось, будто кричит он сам:

— Вы только и думаете: я — Вилем Габа и играю так, что затмеваю всех. Но, сударь, кто такой — Вилем Габа, судя по тому, как он себя ведет? Человек, который знает

и умеет, но не чувствует. Который признает одного себя и восхищается только собой, а все остальные ему безразличны. Но так ничего не получится, сударь, так ни одно искусство не делается, а театр — меньше всего.

Вернувшись домой, Вилем заперся у себя в комнате, и там у него была такая минута, будто все вокруг закружилось в безумии. Он хотел сам справиться со своим смятением, на авансцену сознания рвался строитель Сольнес, роль которого он репетировал. Судьба этого хмурого северного персонажа сливается с его собственной,— вновь и вновь, как уже было столько раз в его жизни, игра старается поглотить в нем действительность. Этот Сольнес тоже расслаб от успехов, он тоже строил, чтоб потешить свою гордость и скрыться от преследующего его ужаса, нимало не думая об остальных, тоже трясясь от страха, как бы кто его не превзошел. Между ним и его женой легла пропасть давней вины, между Вилемом и Анкой стояли персонажи Вилемовых ролей, и каждый из этих персонажей в чем-то виноват. Которого из них любит Анка, который сыграет ей любовь, не причиняющую Вилему действительной боли, кроме мучительного чувства связаннысти, не пробуждающую в нем жажды творчества и самообновления в их улыбках?

Вилем стоит перед зеркалом и всматривается в свое лицо с жадным любопытством, как будто не изучал его каждый день черта за чертой, придавая ему самые разнообразные выражения. Смотрит на него чужими, бесстрастными глазами, убеждая себя, будто в первый раз его видит. Ему хочется знать, какую особенность наложил на это лицо один персонаж, какую другой, как они туда друг за другом вписывались, как присваивали себе и поглощали его облик, до полной его неразличимости. И каким было бы это лицо, если б он не стал актером, если б остался за отцовским прилавком, женился бы на Ганче и сделался скромным купцом, который весело шутит, быстро считает, выдумывает приветливые словечки для клиентов, а по вечерам вздыхает над своими измученными долгим стоянием ногами?

Он вспомнил отца и мать; он не похож ни на кого из них, а на одного из дядей матери, портретов которого никогда не видел. Припомнил свое собственное лицо в молодости, вынул фотографию, снятую в солнечный день перед магазином за полгода до того, как он ушел из семьи с Паласовой труппой. Куда исчезло оно в теперешней этой

паине, изрытой резко прочерченными и плавно разбегающимися бороздами? Его нет и следу. На фотографии — юноша с продолговатым лицом и крупным прямым носом, на вид смелый и, судя по улыбке, чуть-чуть лукавый, но по существу прямодушный. Лицо человека, который многое ждет от жизни и, видимо, способен этого достичь.

Зеркало возвращает ему жесткий, замутненный гордостью взгляд. Но в глубине этого взгляда мерцает что-то такое, что можно принять за отчаянье. А наружность? Сейчас она принадлежит строителю Сольнесу, потому что вот уже шесть недель как ты с великим усердием и тщательнейшей подробностью впечатываешь ее в свое лицо. Смотри, глупец! Сейчас это Сольнес, а сейчас Макбет, сейчас Пер Гюнт, а сейчас Сирано, сейчас Ромео, сейчас Францек, а сейчас, если угодно почтеннейшей публике,— хоть король Лир, Отелло либо этот проклятый Гамлет. Смейся, плачь, неистовствуй или смотри взглядом, полным грустной нежности, дикой жестокости, желания, волнуй любыми оттенками всех чувств и страстей, гримасничай, гнусная обезьяна, не имеющая за душой ничего своего!

Вилема вдруг охватывает жгучая ненависть к своему лицу. Ему хочется уничтожить его, смыть, стереть с него это мерзкое сочетание черт, покрывающее его подлинную наружность,— ту, которую он уже никогда не увидит, до самой смерти, оттого что ей не было и никогда не будет дано созреть и сложиться на свой лад. Гнев, накопившийся в нем за долгие месяцы растущих сомнений и неуверенности, в конце концов вырвался наружу. Вилем схватил со стола мраморное пресс-папье и запустил им в зеркало, перед которым стоял, прямо в то место, откуда смотрит его лицо.

Стекло треснуло и — разлетается вдребезги, несколько крупных осколков проносятся со змеиным шипом мимо его головы, чуть-чуть не попав в физиономию — так что он едва не лишился лица в буквальном смысле слова. Внезапная слабость подгибает ему колени; он оперся на стол. Что за дурацкое представление он тут разыгрывает! Сцена из какой-то бульварной драмы.

Отвращение заставляет судорожно сжаться желудок, к горлу подступает тошнота.

— Отопри, Вилик, отопри сейчас же! Ради бога, Вилик!

Анка кричит у запертых дверей студии, изо всех сил

дергая ручку... Ах, только этого недоставало. Громадным усилием воли он взял себя в руки, провел ладонями по лицу, чтобы стереть с него следы смятения и обморочной расслабленности, и двери открыл уже с улыбкой,— с той пренебрежительной улыбкой сильного человека, которую он всегда применяет по отношению к Анке.

— Все в порядке, детка,— говорит он мягким, успокаивающим тоном, обнимая ее за плечи.— Только вот я ухитрился разбить зеркало.

— Как же это так вышло? Если б ты только знал, как я испугалась и как мне стало страшно за тебя.

— Я кое-что репетировал и слишком увлекся,— нетерпеливо отвечает он.

Никогда еще она не была для него такой чужой, как в эту минуту,— чужой, далекой и противной со своей заботливостью и любовью. Еле подавив в себе это чувство, он целует ее, чтоб успокоить и в то же время — на прощанье. Ему надо пойти пройтись, нагуляться до устали, чтобы страхнуть с себя совершившееся и освободиться от призраков.

В тот вечер состоялась премьера «Строителя Сольнеса», и, как мы знаем, во втором действии он был изумлен тем новым, что проникло в его игру. Это был зов юности, но не к нему, как было с Сольнесом, который ее боялся, а в нем самом. Его собственная молодость, забытый голос отваги, надежды, радости, тревоги, грусти и стремления к чему-то, что останется для нас навсегда недоступным, но за чем нам хотелось бы вечно идти. Этот голос слышался до конца представления: он манил Вилема куда-то, куда он должен идти, влеч за кем-то, кого он должен встретить, если хочет еще жить и играть.

Горак ворвался после спектакля к нему в артистическую.

— Вот это да, дружище! Где вы все это взяли? Царь небесный, чего только я не слышал в вашем голосе! На меня прямо страх находил, что вот я тоже так состарюсь и окажется, что стою с пустыми руками. И вдруг это возвращение молодой веры. Хильда была ни при чем. Это шло не от нее, а от него. Господи, вы этого самого Ибсена по-своему дали, но — стоило того!

Вилем поглядел на него устало.

— Рад, что угодил,— ответил он со слабой улыбкой.— Вы ведь к нам? Так захватите, пожалуйста, Анку, отвезите ее домой.

В тот момент, когда мы видели, как он стоит, присло-

нившись к ограде над рекой, неподалеку от мостков на остров, он глядел на окна своей квартиры. Но домой, как мы знаем, он в ту ночь не вернулся.

Да, это было так. Сигарету, скорей! Где сигареты, чтобы нам почтить всесожжением факт укладки замкового камня в свод нашего повествования? Я стал шарить по карманам, но безрезультатно, так как докурил последнюю сигарету и кинул ее где-то возле Ганавского павильона, мечтая над городом, растянувшимся, подобно солному великану, под страшно тяжкой периной своего собственного дыма. Огляделвшись по сторонам, в надежде поскорей утолить свою жажду курева, я только тут заметил, что уже довольно давно расхаживаю перед лавочкой пана Пехи.

Я с испугом взглянул на часы, боясь, не забыл ли о времени, как забыл о месте. Без двадцати восемьми двенадцать. Меня снова поразило несоответствие в ходе времени действительного и воображаемого. Я провел своего героя через кризис, длившийся много недель, а может быть, и месяцев, а сам до сих пор не разделся даже с тем ужасным утром, в конце которого меня ждало решение, способное жестоко отразиться на моей жизни. Облегченно вздохнув, я быстро зашагал к табачной лавочке.

Пан Пеха был погружен в чтение детективного романа, убедительно доказывавшего свою широкую популярность захватанными углами и растрепанными листами. В минуты читательской одержимости, когда описываемые события, овладев им, уносили его далеко за пределы лавочки, полной запахом табака, а в эти холодные осенние дни — еще и запахом керосинок, пан Пеха не любил возвращаться к действительности, напоминавшей ему о том, что его уже не ждут впереди никакие приключения. Поэтому он взглянул на меня сумрачно, но, узнав, дружески осклабился и поздоровался даже преувеличенно сердечно, чтобы загладить свою первоначальную неприветливость. Я понял, что в нем происходит, и, так как мне тоже было не до разговоров, торопливо промолвил:

— Десяток, пан Пеха, и не отвлекайтесь. Я только загляну в газеты и сейчас же уйду. Спешу очень.

— Вы меня поняли, маэстро! — радостно воскликнул он. — Его сейчас поймают, а еще неизвестно — кто он есть. Хочу хоть к перерыву добраться.

Он схватил коробку, откуда его опытные пальцы выловили десять сигарет, смахнул деньги в полуоткрытый ящик и, кинув на меня извиняющийся взгляд, нырнул обратно — в поток событий.

Я поглядел на часы. В моем распоряжении оставалось десять минут, а до дома, где помещалась контора Лексы, всего каких-нибудь сто шагов. Я много раз вспоминал потом то мгновение, когда выпустил обратно первую живительную затяжку, беря в то же время с некоторым профессиональным равнодушием новый номер «Чешских лугов», чтобы взглянуть, сколько столбцов отвела на этот раз редакция кинороману, и с деланной пренебрежительностью скользнуть глазами по четвертой странице, где помещаются оригинальные произведения.

Вытаскивая «Чешские луга» из кучки других журналов, я поглядел на склоненную голову пана Пехи. Сыщется ли когда-нибудь читатель, который уйдет вот так вот — до полного забвения об окружающих и о себе самом — в мою книгу о Габе? Я подавил чувство зависти, на которое, впрочем, пока не имел еще никакого права, мыслью о том, что те книги, которые читает пан Пеха, привлекают внимание читателей самым вульгарным способом и, вызвав в них минутное волнение, которое быстро испаряется, оставляют после себя алкоголическую жажду новых, более сильных доз сенсации. Уже раскрыв журнал и приступая к просмотру содержания, я со стыдом подумал, что благодаря своим кинороманам сам стал таким литературным винокуром.

Но только взгляд мой перенесся с головы пана Пехи на вторую страницу «Чешских лугов», как все мои мысли сразу устремились внутрь черной рамки вокруг большой фотографии редактора Фридрына. Из нескольких строк под ней, содержащих обещание редакции дать в следующем номере подробную оценку работы своего многолетнего и заслуженного руководителя, я узнал, что Фридрын скоропостижно скончался за письменным столом в конце прошлой недели, а дата похорон говорила о том, что его вчера кремировали.

Я закрыл журнал, сунул его в карман и хрипло произнес:

— Всего доброго!

Пан Пеха еле оторвал глаза от книги.

— Уже идете, маэстро? Черт возьми, все никак не доберусь. Ну, до свидания.

Мысль о том, что мне надо торопиться, не отступила даже перед ошеломляющим известием о смерти Фридрына. Я опять поглядел на часы. Без трех минут двенадцать. Я быстро зашагал. Фридрын был мертв, а я спешил на встречу схватке, очень похожей на ту, которая вызвала его смерть.

Я не сомневался, что подлинной причиной этой смерти был уход Фридрыновой жены,— уход, вызванный им самим, как он дал мне понять в одном из разговоров. Неужели на его тогдашнее решение повлияла моя повесть о Паласе, трагический конец которой так его огорчил, что он долгое время не мог обо мне слышать? Возможно ли вообще, чтобы написанное слово так сокрушительно подействовало на судьбу человека, да еще такого, которому я стольким обязан? Лучше бы уж было вовсе не писать. Я видел Фридрынову руку, подымавшуюся к сердцу и останавливающуюся на полдороге, не окончив движения, вспоминал пепельно-серый цвет его прежде румяных щек и свинцовье тени под глазами, слышал презрительный отзыв о врачебной помощи, высказанной им последний раз при прощании. Он знал, что близок его конец,— и не испугался, не смалодушничал. Курял, наверно, свою сигару и пил черный кофе, пока железная рука смерти не схватила за горло.

А что я делал в тот день и час, когда он умер за работой? Очевидно, писал. Несколько дней прожил, не имея представления о его смерти, а между тем — мысль об этом внушала мне суеверный ужас — подготовлял мысленно такую же смерть Бароха, который был в определенном смысле и в известных пределах (прежде всего по характеру) аналогией Фридрына, так же как с другой стороны (и в значительной мере тоже по характеру) был ею и старый Палас. Я потерял последнего из трех старых друзей своих, которые, действительные или вымышленные, были мне одинаково близки. За такой короткий срок — хотелось мне прибавить,— так как меньше чем за час до того, как я узнал о смерти Фридрына,— в моем воображении скончался Барох.

Стоя спиной к дому, где помещалась контора д-ра Лексы, я дивился напору и стремительности потока жизни на главном Летненском проспекте, не уменьшенных и не ослабленных даже обеденным часом, и чувствовал себя бесконечно одиноким. Ушел первый, кто протянул мне руку помощи в моих мучительных и бесплодных усилиях выбиться,— один из тех немногих, которые вообще

интересовались мной. И я приоткрыл ему дверь в другой мир в тот самый момент, когда, по его прямому внушению, постарался доказать, что способен не только к бесплодным мечтам.

Меня охватило отчаяние. Зачем я пишу, зачем напрягаю свой мозг, если моя работа приносит другим несчастье, если она приводит только к тому, что я, сделав шаг вперед, сейчас же получаю удар, отбрасывающий меня назад, на исходные позиции? Я чувствовал себя голодным нищим, напрасно переходившим от дома к дому, которому остается теперь только одно: лежь посреди дороги и умереть. Но вслед за тем мысли мои помчались по другому направлению, слившись в одну кипучую волну,— все дни, полные судорожного метания и лихорадочной работы воображения, горькие периоды полусытости и униженности, простодушное доверие моих друзей с улицы «На валу», Фридринов протест против слабости, продиктованной страхом, Ярмилина вера, часы неустанного сурового труда. Я знал, что отступать нельзя, что я должен доделать начатое во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось голодать, просить милостыню и ходить в лохмотьях, должен — если не ради чего другого, так ради того, чтоб еще раз услышать, как во мне звучит торжественная фанфара удовлетворения и радости по поводу оконченной работы.

9

Я повернул выключатель, и желтый свет вынес мастерскую на берег из тьмы, в которой, на мой взгляд, она могла бы оставаться погруженной до скончанья века. Лампочка под щербатым абажуром свисала висельником с потолка, стены страшили своей пустотой, в полу чернели щели между расступившимися половицами, и те немногие предметы обстановки, которые у меня имелись, выглядели так, словно кто-то с презрением кинул их здесь, а сам переехал на лучшую квартиру.

— Добро пожаловать, Ярмила,— произнес я хриплым голосом — от стыда, волнения и уныния.

Ярмила остановилась на пороге и с изумлением и недоверием стала осматриваться, а я чувствовал, как с каждой секундой ее колебания отталкивающее безобразие моего жилища разрастается до чудовищных размеров. Наконец она решилась, закрыла за собой дверь и промолвила:

— Так ты здесь живешь? Но это какая-то лавка, а ты мне показывал окно на втором этаже.

— Я для того привел тебя сюда, чтобы объяснить,— ответил я.— Может быть, ты сядешь?

Она отрицательно покачала головой, но отвечая этим движением скорей на какую-то свою мысль, чем на мое предложение, так как тут же направилась к столу. Старые, рассохшиеся половицы жалобно скрипели при каждом ее шаге. Я уже привык к этому старческому сетованию, и когда сам ходил, то не слушал. Но теперь они кричали с вызывающим бесстыдством, словно изо всех сил стараясь содействовать тому, чтобы впечатление от моего жилища было как можно хуже.

Ярмила не села, а, встав за одним из стульев, оперлась руками о спинку. Расширенные зрачки ее говорили мне, что она необычайно встревожена и сбита с толку, что она пробует сама отыскать объяснение того, что видит,— прежде чем это объяснение дам я.

— И ты тут сидишь целые дни с этой лампочкой? — спросила она и вздрогнула, представив это себе, а может быть, и оттого, что ее пробрал холод, которым тянуло от сырого пола и стен.

— Нет, нет,— поспешил ответил я.— Я подымаю штору. Хочешь, сбегаю, открою?

— Не надо, не трудись. Мы сейчас пойдем.

Она смотрела во все стороны и не могла ни на чем остановить свой взгляд, да видимо — и мысли. Никогда еще не видел я ее такой растерянной; мне казалось, она старается подавить чувство отвращения и при этом боится, как бы я не заметил этого. Но, может быть, я и преувеличивал от волнения.

— Не могу понять,— снова заговорила она, обращаясь больше к себе, чем ко мне.— Почему ты здесь живешь?.. Разве нельзя было найти другой комнаты?

Внезапно страх во мне вытеснило странное раздражение. Я еле сдержал его.

— Нельзя,— ответил я.— Вспомни, что я тогда неожиданно оказался без комнаты. Ну, и взял первое, что подвернулось. Решил больше не иметь дела с квартирными хозяевами, и переезжать далеко отсюда тоже не хотелось.

Она немного задумалась над тем, что я сказал. Наконец взгляд ее упал на стоящий перед ней старый гардероб.

Обойдя стул и меня, она подошла к нему. Погладила его стенку, словно он пробудил в ней какие-то воспоминания.

— Это от родителей?

Я кивнул, не отдавая себе отчета в том, что она стоит ко мне спиной и не может видеть. Не оборачиваясь, она ответила:

— Почему ж ты раньше не сказал мне, где ты живешь? Почему только теперь и так — между прочим?

— Сегодня днем тетя Анна видела, как я опустил штору, — ответил я подавленно.

Она быстро обернулась.

— Ты хочешь сказать, что если б она не видела, ты так и не сказал бы мне правду?

Ладони мои стали влажными, у корней волос выступил пот. Я был вынужден откашляться, прежде чем ответить.

— Да. Во всяком случае, не говорил бы, пока можно скрывать или пока не удалось бы переехать.

Кровь бросилась ей в лицо; она уставилась на меня расширенными глазами, словно не узнавая или обнаружив под маской моего лица другое, о котором не знала, что и думать. Потом улыбнулась, чуть опустив углы рта, но губы ее дрожали.

— И это ты называешь доверием? Как мы оба ошиблись!

Она подняла руки к горлу, застегнула пуговицу под воротничком своего голубого дождевика и пошла к двери. Я встал ей поперек дороги и схватил ее за руки.

— Ярмила, как ты не понимаешь? Я старался забыть про это логово, как только запирал за собой дверь. Думал, что очень скоро отсюда съеду. И вообще, почему я должен был его тебе показывать?

Она промолчала, глядя в землю у наших ног. Потом устремила на меня взгляд, еще затуманиенный подавленными слезами, и промолвила:

— Может быть, ты прав. Но я просто не представляю себе, как я могу чего-то о тебе не знать.

Я хотел было обнять и прижать ее к себе, но она выставила вперед согнутые руки.

— Нет, нет, прошу тебя.

— Неужели ты не можешь меня понять и простить?

Она пристально на меня посмотрела, и я выдержал ее взгляд, хотя у меня сжалось горло от страха. Она убедилась по моим глазам и выражению лица в искренности моих слов и поведения.

— Ты должен был знать, что ты для меня важней, чем все, что у тебя есть или чего нет, — медленно промолвила она тоном глубокой укоризны, потом с неожиданной го-

рячностью прибавила: — Мне невыносима мысль, что ты останешься здесь жить.

— Постараюсь как можно скорей переехать,— ответил я без всякой уверенности, так как, наверно, вдруг вспомнил, что ведь из-за смерти Фридрына я лишусь работы в «Чешских лугах».

— Как можно скорей — это слишком поздно. Мне хочется, чтоб ты переехал сейчас же.

— Ярмила, не дури. Ты же знаешь, как это трудно.

Она отошла от меня к столу. Остановилась там, опустив голову, и стала чертить ногтем какие-то узоры на листе бумаги, приготовленном для писанья. Муха, укрывавшаяся у меня в мастерской от дождя и холода и часто разгуливавшая по столу, когда я работал, проснулась и стала летать, громко жужжа, вокруг лампочки. Дом высился над нами, затихший в этот час полдневного отдыха — только музыка по радио проникала сквозь стены, но этот многостенный фильтр смягчал ее назойливость. Она казалась мне нереальной, как и весь этот миг, когда, несмотря на все волненье, с каким я ждал, что сейчас скажет Ярмила, мысли мои начали вдруг раздваиваться, словно моя собственная участь становилась им безразличной и их потянуло вслед за Вилемом Габой. Эй, приятель, хотелось мне крикнуть ему, мое положение немногим лучше твоего; оба мы стоим перед неизвестностью, но в моих руках с тобой не может произойти никакой несправедливости, ничего такого по крайней мере, чему ты бы не был сам причиной; а скажи мне, в какой мере я действительно отвечаю за все тягости, что валятся на мою голову одна за другой — вплоть до Фридрыновой смерти и вот этой страшной минуты? Ты прожил свое, но ни разу я не дал тебе утратить человеческого достоинства, никогда ты не стоял перед женщинами, которых любил, с такими пустыми руками, как я, — до того пустыми, чтоб они не позволяли произнести самое простое и естественное на свете: «Давай поженимся, моя милая, и все будет в порядке».

В тоске я не то потоптался на месте, не то сделал шаг к Ярмиле, — уж не знаю, так как не могу вспомнить, что еще мог сказать ей, — только пол у меня под ногами заскрипел, и она поглядела на меня с какой-то напряженной серьезностью и в то же время легким оттенком смеха в глазах и на всем лице.

— Это на самом деле трудно, — медленно промолвила она, причем я понял, что она имеет в виду последние мои слова. — И мне никогда и во сне не снилось, что когда-

нибудь придется самой произнести нечто подобное. Но не приходило тебе в голову, что ты мог бы, например, переехать ко мне?

Я почувствовал, что бледнею и что у меня начинается озноб. Я сжал кулаки, так что ногти впились в ладони, и безуспешно старался привести в действие вдруг сдавшие голосовые связки. Ярмила пыталась улыбнуться, но губы ее застыли, прежде чем успели сложиться в улыбку.

— Ярмила, это жестоко,— воскликнул я наконец.— Ты знаешь, что у меня ничего нет, так зачем же принуждаешь это говорить? Я еле сам себя могу прокормить, так как же прокормлю жену? Неужели ты не понимаешь, что все: и эта берлога, и мое молчанье — вызваны одной и той же причиной.

— О господи,— вздохнула она,— ты затрудняешь мне это, как только можешь. Я же не говорю, чтоб ты меня кормил. Я сама сумею прокормиться.

Я безнадежно всплеснул руками и потряс ими перед собой.

— Но это невозможно! — крикнул я.— Ведь получилось бы, что я на содержании.

Она нахмурилась, и глубокая решительная морщина выступила у нее над переносицей. Подойдя ко мне, она взяла меня за лацканы пиджака и, слегка тряся меня, твердо промолвила:

— Этот вздор выкинь из головы. Я знаю, как ты умеешь работать,— и больше мне ничего не нужно. Придет время, твоя работа выдвинет тебя так, что ты будешь иметь достаточно для нас обоих. Но сейчас дело не в этом. Я не хочу, чтоб ты жил здесь, понимаешь? Здесь ты никогда не разделяешься с такими мыслями... Сейчас же передешь ко мне!

Но вдруг она как-то обмякла, отпустила мой пиджак, отступила на шаг от меня и прибавила, задыхаясь, но со слабой попыткой улыбнуться:

— Если ты вообще этого хочешь...

— Хочу ли я? — воскликнул я и быстро привлек ее к себе, но, обнимая, вспомнил вдруг: — А что скажет тетя Анна?

Ярмила — в первый раз за весь наш нынешний разговор — засмеялась радостным, беззаботным, счастливым смехом, словно мысль о тетином удивлении доставила ей особенное удовольствие:

— Она будет рада, что опять получит возможность заботиться о мужчине.

В тот миг, когда мы наклонились друг к другу, чтобы скрепить поцелуем наш сговор, на улице какой-то мальчишка трахнул булыжником по гофрированной шторе. Безумный металлический грохот наполнил лавку, прозвучав, как злобное ревотание дьявола, упустившего свою добычу. Ярмила отскочила от меня, закрыла ладонями уши, и лицо ее исказилось гримасой испуга и отвращения.

— Ради бога, уйдем отсюда,— сказала она.— Скорей!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Дождь перестал. С голых ветвей лип падают тяжелые капли, и почерневший от влаги песчаник морового столба тускло поблескивает. Прохожие подымают лицо к небу, где громоздятся и рвутся на части тучи,— и голоса и все звуки, быстро прибывающие, раздаются сильней. Прибывают звуки, и прибывают люди. Жизнь, выгнанная с площади кнутами дождя, опять стала смелей, вылезает из ворот, выглядывает из окон, забегала по тротуарам, загремела по проезжей части улиц, сначала неуверенно, но потом все решительней вступая в свои права.

Вилем, до сих пор стоявший под первой аркой галереи, заметил эти перемены, стряхнул воду со шляпы, вытер мокрые руки носовым платком, достал и закурил сигарету. Дым из его рта, свернувшись в парном воздухе в голубовато-серое облачко, тает и рассеивается неохотно. Вилем ждет девушку, исчезнувшую в доме под сводом, сам хоршенько не зная, зачем делает это, но, во всяком случае, для того, чтобы еще раз увидеть ее лицо и потом уже на что-то решиться.

Ему полегчало, как и всему городу, неясные надежды возникают, колышутся и расплываются, словно барабашки табачного дыма у него над головой. Их дружное воздействие вызывает в нем грустное веселье. Мысли текут, не занимая его внимания надолго. Он думает о компании, собравшейся у него вчера вечером, чтобы выпить по поводу его новой блестящей победы. О том, как росли ее нетерпение и растерянность, когда он все не приходил,— как все, и тревожней всех Анка, только разводили руками, задавая себе вопрос: «Что с ним случилось?» Он испытывал

скорей бодрящее, чем злобное удовлетворение при мысли о том, как он им всем отомстил за вечную их готовность перед ним преклоняться,— всем, не исключая Анки, которая устраивала эти торжества и собирала каждую восторженную заметку о нем. Забыл уж, видно, что сам когда-то отделил себя от всех неутолимой жаждой быть прославленным? Глубоко вдохнул редкий, влажный воздух, и знакомый запах словно опять приблизил его к той неясной цели, которая выманила его в поход. Ему кажется, будто он видит ее туманный очерк и вот-вот узреет ее самое — ясно, во плоти.

В открытых настежь воротах постоянного двора появляется трактирщик Дласк, и многие останавливаются в изумлении: старожилы не запомнят, чтобы старый Виктор когда-нибудь выходил в этот час из дома! Между четырьмя и пятью — вот его время... Но перед обедом?! Невиданно и неслыханно. И народ бросает дела, торговлю, разговоры, понять не может, куда это побрел Виктор со своими подагрическими суставами, которым вредна сырость, и плоскими ступнями. Ишь ты, ишь ты, прямо через площадь, к концу галереи — и к тому чужому, что с утра там под дождем расхаживает, а теперь стоит, будто кого дожидается.

Вилем заметил его, только услыхав его тяжелое, сиплое дыханье. Дласк остановился перед ним, опираясь на палку с резиновым наконечником, и уставился на него острым взглядом из-под сдвинутых косматых бровей. Вилем вспомнил, как обманул его, выдав себя за супового фабриканта, и ему становится немножко жаль старика. Он улыбается ему поощрительно и в то же время, по положению, какое приняли черты его лица, чувствует, что улыбается свободно, непритворно, независимо от лицедейных импульсов, беспокойно в нем мечущихся — от изумления, что их не потревожили, как бывает обычно.

— Что скажете, господин трактирщик?

И голос звучит иначе: в нем чувствуется какой-то давно не слышанный тон, какого не было у коммивояжера. Дласк заморгал, выпутил глаза, наклонился к Вилему, покраснев от усилия. Вилем перестал улыбаться; его кидают в дрожь от волнения. Что за комедию разыгрывает этот старикан? И вдруг ему начинает казаться, что его подстерегает какая-то опасность, и он не знает, как ей противостоять или скрыться от нее.

Губы Дласка несколько раз шевельнулись безрезуль-татно, но в конце концов голосовые связки его преодолели

свое онеменье, и губы превратили произведенный ими звук в слово:

— Вилик!

Это чуть-чуть больше, чем хриплый шепот,— то, что вышло из уст Дласковых губ, но Вилему кажется, что его имя раздалось на площади, словно крик. Он оглянулся в необъяснимом ужасе и видит, что женщины оглядываютя на них от ларьков на краю галереи. Правда, они делают вид, будто страшно заняты своим разговором, но по фигурам видно, что помирают от любопытства.

Чего хочет хромой Дласк от этого высокого, статного чужака, у которого такой благородный и страшный вид, словно он в одно и то же время и путешествующий под чужим именем аристократ, и бродяга, с которым не дай бог встретиться одной где-нибудь в поле? Многие из них, теперь уже матери детей-подростков, замечают в нем что-то знакомое, что-то такое, что осело в их памяти и теперь зашевелилось на дне ее, вновь забурлило в крови давно обмелевшими порогами молодого желания, вспыхнуло в чувствах, усыпленных супружеским ложем и приведенных к молчанию материнскими заботами. Был в этом городе кое-кто, о ком они мечтали, беспокойный, веселый парень, с таким голосом, от которого их кидало в дрожь, с взглядом, манящим и обещающим исполнить самое сокровенное желание,— был здесь, со всеми шутил и смеялся, многих из них обнимал и целовал под трепещущими звездами и свадебным пологом цветущих лил, вздыхающих и благовонных, как они сами,— был здесь, но вдруг будто сквозь землю провалился, ушел куда-то с актерами и теперь, говорят, гремит в этом недосягаемом городе Праге,— а был, звался Вилик. Но тот, что стоит с Дласком,— вряд ли он.

Вилем чувствует их взгляды и улыбается напряженно ожидающему лицу Виктора Дласка. Город узнал его и сказал ему об этом устами старого трактирного плута. Значит, он не до такой уж степени погиб, хоть это только первый веселый шажок, ведущий к многим другим, более трудным.

— Ну да, Вилик! — повторяет Дласк еще более хриплым голосом и подает ему руку.

Вилем схватил и сжал ее так, что старик зашипел, и под жесткой шляпой у него выступил пот, так как для подагрических суставов это слишком могучее пожатие,— которое он, однако, мужественно выдерживает, продолжая улыбаться.

— Так вы меня узнали? — тихо произносит Вилем, боясь, как бы не закричать от радости.— Но скажите, когда именно?

Дласк раздулся, как индюк, кичась своей наблюдательностью, самодовольно осклабив широкий рот.

— Когда ты шел через площадь.

Вилем упал с неба на землю.

— Значит, только потому, что я шел к нашему бывшему магазину?

— Ничуть не бывало,— вскипает Дласк, задетый за живое сомненьем Вилема в его сообразительности и попыткой недооценить ее, как будто она нуждается в таких пустячных доказательствах.— Я узнал тебя по походке. Увидал, как ты идешь; так, думаю, ходил только один человек, которого я знал: это — Вилик Габа.

Значит, в походке остался сам собой, в походке, столько раз изменяющей ради точного выявления многих образов, как служили той же цели и лицо его, руки, глаза, все тело и вся душа. Но ведь походка,— ему, как актеру, это известно лучше, чем кому-либо,— неотделимая часть личности, и раз он остался самим собой в походке...

Вилему становится веселей; он положил руку Дласку на плечо и тихонько похлопал.

— У вас острый взгляд, дяденька,— вернулся он к прежнему, юношескому обращению и, произнося это слово, услышал, что голос его звучит, как двадцать лет тому назад, как загвучал вчера на премьере «Строителя Сольнеса»,— но не легко вам это далось!

Это добавление подсказала ему профессиональная актерская гордость, за которую ему тотчас становится стыдно, и он жалеет, что плетью не выгнал ее из себя. А теперь уж ничего не выйдет: теперь она, по существу, стала частью его. Впрочем, человек не остается неизменным от рождения, жизнь переделывает его по-своему, и главное участие в этом принимает его работа.

— Я уж теперь вижу лучше вдали, чем вблизи, вот что,— сконфуженно признается Дласк, хотя смиренье не принадлежит к его характерным особенностям, и он, спохватившись, продолжает прежним хвастливым тоном: — Заморочил ты мне голову своим суповым фабрикантом,— что правда, то правда; да ведь ты, черт дери, глаза мне отвел. А только актера я в тебе с первого взгляда узнал.

— «Мордие»¹,— сказал Виктор Дласк и, кажется,

¹ Черт возьми (*искаж. фр.*).

приоткрыл этим краешек пугливо оберегаемой анонимности нашего общего места рождения, Вилем. Ну ладно, это у нас только так, с языка сорвалось, и мы еще можем взять эти слова обратно. Но это касается его, и мы не должны командовать нашими образами, Вилик, учинять над ними насилие. Не должны ни исказять их, ни поддаваться им. Они — из нас, а мы — из них. Они приходят к нам и живут в нас, как в своем родном доме, рождаются из нас и находят себе дом в других. Мы с ними живем друг в друге поочередно. Мы — не сами по себе, Вилик, а части неизвестно чего, да и сами-то — неизвестно что. Мы не существуем и не можем быть друг без друга. Вот тебе маленький символ веры на дорогу, когда ты поедешь обратно, Вилик,— как бы ладанка с прахом твоих родителей и землей, в которой они похоронены. Потому что с какой же стати ты поехал бы в свой родной город, как не только за этим?

Северный ветер дует с горных вершин, из пахучего смолистого лона лесов,— дроворубный ветер, поглаживание которого сдирает кожу и леденит до мозга костей,— но эти двое стоят там, и болтовне их, кажется, не будет конца. Беседа, которую ведет главным образом Дласк, напоминает тебе, Вилик, каким ты был, если, впрочем, на твой молодой облик не проливают нам с тобой слишком много света воспоминания, света такого же резкого, какой сейчас пробился из-за разорванных туч. Дождь прошел, и еще будет хороший день, свежий, ветреный день. Вон уже сверкнуло солнце и высекает холодное сиянье из стены.

— Ничего другого из тебя не могло выйти, милый,— решает Виктор Дласк, стуча резиновым наконечником трости по мостовой, как будто Вилем спорит.— Ты и мальчишкой комедиантом был, каждого передразнить умел, всякие стишкы да песенки помнил. Так это с тобой и выросло.

Значит, таким я был, таким и остался. Всегда входили в меня те, другие, и требовали, чтоб я показал, каковы они в своей сути.

— Но и работать, за прилавком крутиться, покупателей обслуживать за троих, это ты тоже умел,— продолжает Дласк свой монолог все тем же раздраженным, сварливым тоном, как бы заранее отводя любое Вилемово возражение. Потом остановился и с негодованием ударил палкой в мостовую, разбивая какой-то особенно твердый орешек.

— Никогда я тебя толком понять не мог,— пролаял он с сердитым ворчанием.— Был ты и фанфарон, и, опять же, примерный сын, и молодой купец на загляденье. За девками ухлестывал, и они все прощали тебе, когда ты их бросал, и по-прежнему на тебя оборачивались. Товарищу последние штаны отдал бы, но страшно нос задирал и хотел быть во всем первый.

От этой тирады Дласк закашлялся и сплюнул тяжелой старческой слюной.

— «Мордие», парень, любопытно знать, как все это у тебя там внутри — в волосья друг другу вцепилось либо мирно поладило?

Вилем смеется неуверенно, с горечью, как человек, впервые заглянувший в зеркало после долгой болезни. Да и в такое зеркало, которого не разобьешь никаким мраморным пресс-папье, а и разобьешь, так ничем не вытрешь из памяти то, что оно тебе показало.

— Видите ли, оно со временем как-то само утряслось,—отвечает он Дласку и слышит фальшивь свои слов и голоса,— он, умевший схватить и верно воспроизвести любой самый искренний тон...

Он стоит там один, расставшись с Дласком, которого стал пробирать озnob, но поневоле обещав еще раз зайти к нему. «Ну, это уладилось»,— горько думает он, глядя, как старый навозный жук в синем суконном пальто и котелке еле тащится к себе в трактир. «Последние штаны отдал бы»,— сказал Дласк. Таким ты был, но потом пришло время, когда ты готов был на убийство, чтоб только получить все, что тебе надо. Все? Нет, только возможность творить. Но другие тоже хотели работать. Пусть их делают, что умеют,— твердо отвечает сам себе Вилем и сейчас.— Вопрос не в этом. Я никогда не хотел ничего другого, кроме того, относительно чего был уверен, что умею делать это лучше всех остальных. И не в этом вопрос. Так в чем же? В той последней сорочке, которую ты забыл отдать. Ты делал все это для себя, чтоб удовлетворить свое самолюбие и гордость, и в этом была твоя ошибка. Неужели ты думаешь, что коли умеешь играть лучше других, так получил этот дар только для себя?

Что же дальше? Это все — или должно еще что-то произойти? Перелом совершился, рубеж перейден или мы до сих пор колеблемся перед его воображаемой чертой?.. Он бежал, как раненый зверь, которого инстинкт тянет в родную берлогу, и отчаянная надежда его исполнилась. Но перемена — еще только в самом начале. Он набрел на

нужное направление,— но по нему надо идти, а путь может оказаться и путем благодати, и путем суровых разочарований. Уезжая из Праги, он сам не знал, зачем едет,— чувствовал только, что жить по-прежнему не в состоянии. Может быть, даже думал, что никогда не вернется ни к Анке, ни на сцену. Так что же дальше?

2

Пальба ветра сбивает вихри дымов, не успеют те вынырнуть из труб. Они падают и разбиваются о коньки крыш. Разорванные облака тянутся по небу, и на улицах, на мостовой, на стенах домов тени сметают свет, свет прогоняет тени.

Женщины возвращаются после покупок; некоторые из них удлиняют дорогу домой, делают вид, будто им нужно остановиться еще там-сям,— только для того, чтобы пройти, как и остальные, мимо Вилема. Тащатся, поглядывая на него, и он в самом деле как будто узнает многих из них. Прячет улыбку, старается казаться равнодушным и непрступным, но это ему трудно,— как будто он в жизни своей ни разу не сыграл ни одной роли. Он счастлив, он видит свою молодость в этих лицах, которые время тоже исчертило, хотя другими карандашами и резцами, чем его лицо. Молодость проходит мимо него немного грустной процессией угасших грез, но это его собственная молодость,— не та, что пришла, чтоб напасть на Сольнеса и погубить его,— основа самого его существа, из которой, это теперь ясно ему, он не хотел бы утратить ни одной ошибки своей, ни одного греха и проступка.

Лица, лица, целый мир лиц, исписанных тем, что творится под ними. Он узнает себя в них, во всех вместе и каждом в отдельности. Его задача — быть их переводчиком, снимать с них заклятье, отделяющее их от остальных, читать тайнопись их характеров и судеб и возвращать их тем, кому они принадлежат,— каждое всем, как их общее достояние. Он гордился собой, а должен был гордиться всеми, кто ждет, чтоб он объяснил им их жизнь своим искусством. Вот так, как он сейчас переживает его, так, может быть, он когда-нибудь сыграет крушение своей гордости и рожденье той, что принадлежит всем, раненой, болезненной гордости жизни, которая хочет пройти через все, что ей суждено.

Этот вновь проснувшийся в Вилеме юноша, отмеченный шрамами сорокалетнего, взглянул с улыбкой на девушку, возвращающуюся из галереи в тот самый магазин, где он вырос.

— Ганча,— позвал он, не устояв перед соблазном, вызванным скорей воспоминанием, чем данной минутой.

Девушка остановилась в изумлении. Кровь кинулась ей в лицо, обрамленное пышной волной непокрытых волос. Она так похожа на мать, и в то же время кудрявая голова ее так напоминает Анкину, что Вилем задрожал от необычайного, нереального ощущения, будто он живет одновременно и в прошлом и в настоящем.

— Простите, я вас не знаю,— растерянно ответила девушка.

Она борется с предчувствием какой-то неведомой опасности и пустилась бы наутек, если б не сознание, что она стоит среди белого дня на площади и в двух шагах от отцовского магазина.

Вилем засмеялся и услышал смех купеческого паренька, который двадцать лет тому назад кружил голову таким девушкам, как эта.

— Вот видите, а я узнал вас с первого взгляда,— говорит он.— Ведь вас зовут Ганча?

Девушка кивает и стыдливо кутается головой в раздуваемый ветром плащ.

— Да,— неуверенно отвечает она голосом Ганчи, двадцать лет тому назад чуть не уступившей Вилемовым любовным домогательствам в кладовой за магазином.

Что, если б им тогда не помешал голос старого Габы, позвавшего Вилема за прилавок? Как бы это изменило его жизнь? У Вилема голова кружится при одной мысли об этом, подтверждая, что он не был бы счастлив, если б вышло иначе. Он еле слышит, что говорит девушка дальше.

— Но я никогда вас не видела.

Тут Вилем сжался над ее смущением.

— Я не имел намерения пугать вас,— сказал он, и его легкая улыбка вспыхнула над поразительной и полугорестной мыслью, что эта девушка могла быть его дочерью.— Я когда-то знал вашу маму, а вы похожи на нее как две капли воды.

— Это правда,— согласилась девушка и в конце концов тоже засмеялась.— Только волосы у меня как у папы. Но что же вы не зайдете, не навестите маму? — добавляет она с обезоруживающей простотой, которая говорит о том,

что она унаследовала от матери не только наружность.—
Она с папой в магазине.

Вилем отрицательно покачал головой.

— Я хотел. Но теперь, после того как увидел вас, видимо, уж не пойду.

Девушка задумывается над его словами, пристально глядя на него с каким-то новым интересом. Непонятное душевное движение обожгло ей лицо новым приливом крови. Наклонившись к Вилему, она приглушенно и взволнованно промолвила:

— Нет, вы должны к нам зайти. Я знаю, кто вы.

— Откуда вы можете знать?

— Вы — дядя Габа. У вас совсем другой вид, чем на сцене, но я вас все-таки узнала. Мы с мамой ездим смотреть каждую пьесу, в которой вы играете.

Ну не удивительно ли? Ганча, тихая Ганча с голубиным взглядом, столько лет уже замужем за другим, имеющая взрослую дочь,— какой она оказалась постоянной в своем чувстве! Я задумался о ней с грустью и жалостью, словно это и сам когда-то бросил ее, а не Вилем.

А что представляет собой ее муж,— хоть ему и нет места в нашем повествовании? Худощавый человек с меланхолическим выражением лица, аккуратный, сдержанnyй и неразговорчивый. Подле него ей приходится разить больше жизненной энергии, чем у нее есть от природы. Конечно, это был не тот человек, который мог бы вытеснить Вилема из ее памяти.

— Индра,— промолвила в этот момент у меня за спиной тетя Анна, войдя в комнату так тихо, что я не заметил.— Ты бы чего-нибудь покушал, милый. Ведь спозаранку сидишь важный, как индюк.

И поставила передо мной на тарелке две булки с маслом. Царь небесный, ну когда я прежде так завтракал? За булку я принял с большим аппетитом, потому что с тех пор, как стал питаться регулярно и сытно, мне почти все время хотелось есть.

— Сядь, тетя,— сказал я, откусывая от этого хрустящего печеного изделия, пахнувшего тмином.— Ты самая лучшая женщина на свете... Кроме Ярмилы, конечно.

— А ты болтун, как все мужчины. Некогда мне с тобой. Я обед готовлю.

Но все-таки села, аккуратно подобрав юбку и прошелестев крахмальным передником.

— Знаешь, тетя,— продолжал я,— у меня тут, в том, что я пишу, тоже выведена тетя, страшно похожая на тебя.

Я, собственно, и списал-то ее немножко с тебя. Ты не будешь возражать, что она убежала из дома с одним человеком, который женился на ней только лет пятнадцать спустя?

— Женщины все дуры и готовы за мужчин голову прозакладывать. Это ничего, что она убежала: я бы тоже так сделала, если б понадобилось.

— Очень рад, что это тебя не шокирует. Понимаешь, она была очень замечательная женщина. И в одно прекрасное утро к ней прибежит жена ее племянника, актера этого — Габы.

— Мне не надо рассказывать,— прервала тетя Анна, крутя передо мной своим худым пальцем.— Я ведь все читаю, после того как Ярмила на машинке перепишет. Должна тебе сказать, мне в голову не приходило увидеть в Сташе Рыдловой себя. Хоть я бы не огорчилась, если б была такой, как она.

— Я знаю, что ты хочешь от меня отделаться, но я тебя не отпущу, пока не доскажу. Слушай. Этот Габа как-то раз сбежал из Праги, сейчас же после нашумевшей премьеры, когда дома его ждала пропасть гостей. Можешь себе представить, что там поднялось; когда он так и не появился, даже после полуночи, и что пришлось пережить Анке. Сперва она, несмотря на страх и смятение, не утрастила гуловской рассудительности и твердости. Она обзванила по телефону всех знакомых, потом села в машину — объездила все ночные притоны и только после этого совсем впала в отчаяние. Зикмунда Гулы тогда в Праге не было, он уехал на какой-то экономический съезд за границу. И вот она, исчерпав весь свой запас соображений, правдоподобных догадок и доводов и не имея никого, кто подбавил бы ей новых, стала бегать по пустым комнатам, плакать, кусать носовые платочки, бросаться на кушетки и выть, накрыв голову подушкой. А потом — опять прислушиваться, затаив дыхание, к каждому звуку на улице, каждому шороху в квартире и в доме, бросаться на колени, молиться. Утром, в полном изнеможении, с докрасна нареванными глазами, она появилась у Сташи Рыдловой.

— Люблю таких сумасшедших, обиженных мужчин,— прервала тетя Анна.— Много их повидала. Из всей родни только ко мне и шли, когда что стряслось. И эта твоя тоже ко мне тогда прибежала, как ей тот мерзавец свадебное извещение прислал. Только она молчала. Сидит, смотрит перед собой, как мертвая, а я ей весь день о других толковала, что с той-то и с той-то было, пока она не

встала, да и говорит: «Довольно, тетя. Я знаю, что мне делать». Ей стыдно было, что она — такая глупая, не разглядела, что он за птица. Она всегда сообразительностью своей гордилась. Ну, а другие — те большей частью сами рассказывали, а я только слушала. Им всегда легче делалось, когда я так терпеливо их жалобы выслушала.

— Очень рад, что ты подтверждаешь мое описание, тетя, потому что именно так поступила и Стаса Рыдлова. Выслушав рассказ Анки о том, как Вилем за последнее время изменился, как он запирался от Анки в своей комнате, как перестал проходить с ней свои роли и как в самый день премьеры разбил зеркало, она сразу вывела Анку из заблуждения, заявив:

«Это плохо, милая, но не в том смысле, как ты думаешь. Он убежал не потому, что разлюбил тебя. Хуже. Он себя разлюбил. Иначе как же объяснить разбитое зеркало? Тут надо только ждать, и если Вилему не надо сейчас же в театр, ты пока не говори им об этом».

«А если он сделает что-нибудь над собой? — всхлипнула Анка.— Он перестал верить в себя, это ты права, тетя. Я сама это видела и старалась как-нибудь ему помочь. Но он уж не верил мне. Прежде ждал, чтоб я похвалила, а теперь за это чуть не поднимал меня на смех. Знаешь, тетя Стаса, я никогда в нем не была уверена, все время гонялась за ним, как за призраком, и никогда не знала: он это или нет? Сперва это казалось мне страшно романтичным, получалось, как будто меня любят десятки мужчин... А он любил меня, я это знаю! — воскликнула она.— Но потом я начала этого бояться. До нашего знакомства я была о себе очень высокого мнения; чего только во мне нет! Но после свадьбы пришла к выводу, что я — совсем обыкновенная девушка, такая же, как те, перед которыми прежде задирала нос. Вилик был для меня первый и последний, и если я еще чем-нибудь интересовалась, так только ради того, чтобы этим угодить ему и понравиться, либо быть ему полезной, либо просто чтоб ему не приходилось за меня краснеть».

Они сидели вдвоем в комнате, обставленной в стиле ампир,— той самой, где Стаса в первый раз приняла Вилема. Я думаю, она выбрала эту комнату в данном случае потому, что все здесь было так успокоительно: горошковая зелень стен и темная зелень обивки, строгие линии мебели, как само застывшее былое, в котором все переболело, и голоса старинных часов, щебечущих в безграничных садах времени, где листья опадают, еле успев

распуститься,—вырастут и опадут,—и шумят и поют, как дождь.

Сташа успокоительно погладила Анку своей холодной маленькой рукой по пылающему лицу. Потом, продев свой худой палец в одно из естественных колечек ее волос, промолвила:

«Все мы обыкновенные девушки, и нашему уму никогда не подняться над ихним. Они для нас первые и последние, как бы мы ни были хитры, а мы для них только одно из их мужских дел, да еще, как только прошел первый пыл, далеко не самое важное. Ты должна с этим считаться и соответственно этому действовать».

— И она права! — воскликнула тетя Анна.— Я бы ей тоже так сказала.

— Знаю, тетя Анна,— ответил я.— Я потому тебе это и рассказываю, что твой образ мыслей мне известен. Она немножко не такая, как ты, у нее была другая жизнь, но но существу вы так друг на друга похожи, что я все время вижу тебя на ее месте. Так вот, тетя. Анка взяла Сташину руку и снова прижала ее к своему лицу, потому что эти руки так приятно его охлаждали и придавали ей мужества найти в самой себе все, что нужно. Анка, вероятно, думала, что, исповедавшись таким образом, она очистится и сделает то единственное, что пока возможно, чтобы Вилем к ней вернулся.

«Я ведь делала все, что умела,—ответила она на последние слова Сташи Рыдловой.— Но это было ужасно. Иной раз я готова была закричать от стыда и унижения. Я знаю, он любил меня и, с тех пор как на мне женился, не смотрел на других женщин. Ведь он кроме как на репетиции да на спектакль без меня из дома ни на шаг. И пакутежи брал меня с собой. Он умеет пить так, что становится страшно, а потом делается то нежным, то опять жестоким, как зверь. И я ему не мешала. Наоборот, ждала, когда опьянеет. Надеялась, что он как-нибудь покажет мне, какой он в действительности. Но видела всегда только страшно сгущенный и уродливый хаос фигур, которые ему приходилось играть. Они лезли из него, как скорпионы из щелей. Иногда я представляла себе, как все их соскоблю и найду под ними то единственное лицо, о котором мечтала и которого никогда не видела. Тетя, я теперь больше не верю, что он на самом деле любил меня. Знаю, что не бегал за другими, но ведь это далеко не все. Мне казалось, что он любит меня так же, как некоторые из своих зеркал, что благодаря моей любви он еще больше любит самого себя.

И я делала все, чтоб усилить в нем это, боясь, что иначе потеряю для него цену».

Тут Анка уткнулась лицом в Стасинь колени, и та долго молча гладила ее по волосам.

«Вот тут, милая, ты допустила величайшую ошибку,— промолвила наконец она.— Вилем нуждался в том, чтобы кто-нибудь говорил ему правду. У него никого не было, кто бы делал это».

«Знаю, но я никогда не могла набраться смелости,— простонала Анка еще в Стасинь колени, но тотчас быстро подняла голову и поглядела на нее безумно расширенными зрачками.— Если б хоть после Бароховой смерти я на это отважилась... Но ты не знаешь, как он с тех пор изменился. Словно весь застыл внутри и в то же время поднялся сам над собой и над любой достижимой вершиной. По-прежнему работал как каторжный, но уж больше ничего не переживал. Я это знала, чувствовала, а сказать ему боялась. Выходила из себя, когда на это намекал какой-нибудь критик. Но он сам знал лучше меня. Сколько раз, когда я хотела поддержать его своими комплиментами, которых он прежде страстно жаждал, он смотрел на меня так, словно хотел ударить. Если б он так и сделал! Может, ему стало бы легче, и мы бы договорились. Но вместо этого он разбил зеркало, а мне показалось, будто он хотел сокрушить самого себя. Потом наступила премьера «Сольнеса», и в ней он заговорил таким голосом, какого я у него прежде никогда не слышала».

«Ты права, это был другой Вилем. Может быть, как раз тот, которого вы оба искали».

«Это было ужасно, тетя,— продолжала Анка, словно пропустив Стасиню замечание мимо ушей.— Он кричал там на сцене, как утопающий, а я понимала и — не могла к нему. Знала, что у него рушится все, что он строил в себе годами. Опять игра превратилась для него в жизнь, но не так, совсем не так, как прежде. Кто мог это чувствовать сильней, чем я? Я сходила с ума от страха, восторга и любви, рвалась к нему, но надо было сидеть и смотреть, как остальные, считавшие, что смотрят на изумительное актерское исполнение. А потом он не вернулся домой».

Анка замолчала, устремив взгляд расширенных глаз в ту даль, где исчез Вилем.

«Может быть, захотелось побывать одному,— тихо промолвила Стася, успокоительно погладив ее по обнаженной руке выше локтя.— Чтоб как-то с этим справиться».

Анка вырвалась из своего оцепенения и судорожно скжала Сташины руки.

«Этот Сольнес — вздор,— воскликнула она.— Вилем не брал на себя ничего съыше своих сил и не мог кончить катастрофой. Тетя, скажи, что не мог и что с ним ничего не случилось!»

«Ну конечно нет. Вилем не из тех, кто легко сбивается с пути, сделав какую-нибудь непоправимую глупость».

— Мне казалось тоже — нет, когда я читала,— объявила тетя Анна.— Но, милый, мне надо идти, а то вы останетесь без обеда.

— Ладно, тетя. Только вот: Сташа Рыдлова поняла, что нельзя оставлять Анку одну, и проводила ее домой. Она слушала там ее жалобы и сетования почти до вечера, когда Анка получила телеграмму. Вот и все.

— А что было в этой телеграмме? — осведомилась тетя Анна, шагнув к двери.

— Ты должна сама догадаться на основании того, что прочла и слышала, или подождать, пока будет написано.

Тетя Анна ударила меня своим костлявым кулаком в спину и сказала:

— Ах, противный! Оставлю без сладкого...

— Ради сладкого я готов на все. Если будет вкусное, после обеда расскажу, что было в телеграмме.

3

Это просто невероятно! Как получилось, что я, обитатель сапожной мастерской, невольный, униженный нахлебник пани Росовой, предмет дружеского, но обидного внимания жителей улицы «На валу», был поднят как раз в тот момент, когда воды повторного невезенья уже готовы были захлестнуть меня с головой, и перенесен в обстановку, от которой отвык с детских лет? Сиди смирно, мерзавец, не двигайся, чтоб не вспугнуть мечту и не разрушить чары.

Обе женщины наперерыв заботились о моем комфорте, но тетя Анна, несмотря на нашу с ней взаимную симпатию, по-прежнему глядела на меня с недоверием, как бы говоря: «Знаем птичку. Только выкорьмим и выходим, поминай как звали». Так что я мучился только одним: жаждой убедить их обеих в своей абсолютной честности.

Но вскоре после моего переезда к ним между мной и Ярмилой установились напряженные отношения. Причина была в том, что мы с ней оба избегали разговора о браке, хотя фактически жили как муж и жена. Ярмила не касалась этого пункта из боязни, как бы я не подумал, что она хочет заставить меня на ней жениться, а я не решался предложить ей это, чтоб не показаться негодяем, желающим жить на средства жены по праву супруга, занятого более высокими материями, чем работа для заработка.

Сейчас я уж не сумею объяснить, отчего мы двое, такие близкие, можно сказать дышащие одним дыханием и мыслящие одними мыслями, так долго не умели договориться о вопросе, казалось бы, абсолютно ясном. Я прилагал все усилия, чтобы как можно скорей уравнять свои доходы с Ярмилиными и не быть слабой стороной в союзе, остававшемся, к моему постоянному огорчению, юридически не оформленным. Бегал, рыскал — и мне посчастливилось. Очевидно, благодаря тому, что я все время напрягал свою изобретательность и обнаружил такую настойчивость, присутствия которой до сих пор в себе не подозревал.

«Чешские луга» завели постоянную рубрику «Что читать?» под редакцией бледного юноши, фамилия которого была Дрозда, и предложили мне вести ее на постоянном окладе. Далее, твердый ежемесячный доход дал мне курс итальянского языка, порученный мне главным редактором одной большой ежедневной газеты, которого я полонил. Этот курс входил в ее воскресное приложение. Наконец-то я стал зарабатывать немножко больше Ярмилы и набрался смелости, чтобы перейти в решительное наступление на неоформленность наших отношений. Но я не рискнул обратиться прямо к Ярмиле, а попросил переговорить с ней тетю Анну.

Та всплеснула своими маленькими сухими руками.

— Ну кто видел других таких двух дураков! Живут вместе два месяца как муж с женой, а я должна служить им посредником, чтоб они поженились.

Но тетино участие в этом деле дало положительный результат, хоть обе они до сих пор подшучивают над моим сватовством. Мы с Ярмилой вступили в гражданский брак одним субботним утром, вместе с тремя другими парами; нашими свидетелями были Ярда Бизек и Ярмилин брат Арношт. По окончании церемонии мы обедали в винном погребке возле Староместской ратуши, где к нам присоединились тетя Анна и моя сестра Ада, которая была

уже явно на сносях. Бывший хавбек международного класса и совладелец тотализатора скоро нашли общий язык, но Ада долго смотрела на Ярмилу, которую увидела впервые, недоверчиво и с какой-то враждебностью, вызванной сестринской ревностью. Но в конце концов не выдержала и при прощании обняла Ярмилу с несколько даже чрезмерной горячностью, как всегда, когда ей кто-нибудь действительно понравится.

Мы уехали на два дня из Праги. Перевернули лист и начали новую страницу. Нам хотелось побывать одним, чтобы никто не читал из-за наших плеч — по крайней мере ее первые строчки. И куда же нам было еще ехать, как не в мой родной город? Мы волновались, словно выступая в поход, суливший великие приключения.

Виктор Длак — не важно, так ли его звали на самом деле, — стоял у окна своей пустой гостиницы, с длиной трубкой в зубах и равнодушным взглядом человека, уже прожившего лучшие свои годы. Несмотря на это, он с мешковатой готовностью заковылял нам навстречу, напрягая зрение, чтоб угадать, кто я такой. Постояльцы не перестали интересовать его. Ярмила с трудом удержалась от смеха, увидев, что он держится именно так, как держался, устанавливая личность Вилема Габы. Узнав с явным удовольствием, что мы хотим прожить у него два дня, он велел взлохмаченной служанке показать нам комнату.

Одиночная лампочка висела на длинном пыльном шнурке под высоким сводчатым потолком, как когда-то в моей лавке, но наочных столиках стояли лампы с выцветшимишелковыми абажурами. На широких дубовых кроватях, словно перенесенных прямо из старого мещанского быта, высоко вздымались туго набитые перины и подушки с торчащими как рога углами. Пахло влагой, сыростью, но Ярмилу это, по-видимому, не беспокоило. Она вела себя, как человек, осматривающийся на месте, о котором уже много слышал.

— Здесь точь-в-точь так, как я себе представляла, — объявила она, кончив осмотр. — Ты не знаешь, как я была бы разочарована, если б оказалось иначе.

Пока мы выкладывали вещи из чемодана, вернулась взлохмаченная девушка и принялась растапливать большую изразцовую печь.

— Раньше, чем спать ляжете, тут как в бане будет, — уверила она нас.

Мы торопились, чтоб пройти по городу до того, как стемнеет, но Виктор Длак ждал нас в коридоре между

кухней и буфетом и задержал. Вынув трубку изо рта, он нацелился ею мне в грудь.

— Простите,— остановил он меня.— Я вас, кажется, знаю.

Ярмила судорожно сжала мне локоть. Улыбнувшись, я ответил, произнося фразу по-местному, нараспев:

— Правильно говорите, дядюшка.

Он выпучил глаза и открыл рот, почесывая концом мундштука в редких волосах над виском.

— «Мордие»,— выдохнул он наконец,— так вы здешний? Но кто ж такой?

— А вот, дядюшка, угадайте.

Мы прошли мимо него, но он поспешил заковыляя вслед за нами и, когда мы уже стояли в открытых воротах, задыхаясь, крикнул:

— Ауст! Индра Аустов!

— Угадал,— кинул я ему через плечо, и мы зашагали по площади, на всем пространстве которой искрилась в лучах заходящего солнца первая снежная седина.

4

— Теперь я верю, что он узнал Вилема Габу,— сказала Ярмила и прижалась ко мне.— Знаешь, Индра, тут все именно так, как ты описал. Мне кажется, будто я здесь когда-то уже была. Даже страшно становится.

Я понял из ее признанья, что она переживает каждую строчку моей книги, как переживал я сам, ища слова, отвечающие моему видению. Может быть, когда-нибудь и те, которые не знают меня, испытают над этими страницами ощущение чего-то близкого, интимно знакомого, словно я говорю им о их собственной жизни. Я не стремился ни к чему другому, ничего другого не жаждал.

— А куда же исчезли скамейки у морового столба? — разочарованно спросила Ярмила.

— Их убрали на зиму,— объяснил я.— Видишь, вон старики гуляют на солнышке?

Скамеек не было, зато у позолоченной девы Марии на моровом столбе был под нимбом большой снеговой платок. Здесь ничто не изменилось, и город, куда я когда-то вернулся в смятении сердца, город, отказавшийся тогда отвечать на мои безнадежные вопросы, теперь дружески меня приветствовал, вновь приняв тот облик, который он имел когда-то в моих детских глазах. Я восстанавливал его по

воспоминаниям, и теперь он был мне ближе и понятней. Где-то тут звучали еще отцовские шаги и мамины песенки вполголоса, и смысл жизни этих двух людей, в сущности такой печальной и бесплодной и питавшейся одной надеждой на то, что я сумею увенчать ее, был наконец разгадан в моем сердце и близился к своему совершенью.

Дребезжащий голос колокольчика у двери магазина, из которой вышел в мир Вилем Габа, взлетал над площадью.

— Видишь, Ярмила, вон там, в конце галереи, он разговаривал с Ганчей, только с молодой, с дочерью той Ганчи, которую когда-то почти любил и которой отказал, когда она приехала к нему с поручением от умирающего отца.

— А это правильно, что он не зашел навестить ее мать, когда девочка попросила его об этом?

— Конечно. Зачем ему было идти к ней? Да он вообще никуда не пошел, — думаю, и к Дласку не заходил больше. Ну, скажи сама, что за смысл было ходить смотреть, какой стала его бывшая Ганча, когда перед ним стоял ее точный слепок? И потом его испугало, что она ездит в Прагу на его спектакли. Зачем вообще ворошить то, что, конечно, давно переболело? Понимаешь, это было похоже на тихую Ганчу. Она примирилась с неизбежным, но не отреклась от своей мечты. А о чем мать мечтает, дитя всасывает это с молоком. Вилем увидел, что эта мечта горит в глазах девушки, и тут же вспомнил о своих детских мечтах. Еще совсем маленьким мальчиком он жаждал быть героем, то одним, то другим, и играл этих вычитанных и выдуманных героев один, без сверстников, в строгом уединении темной кладовой за магазином. Теперь он почувствовал, как в нем оживает этот мальчик с пламенной правдой своей игры. Разве не странно, каким удивительным способом осуществилась его мечта? Он так и не стал героем, хотя всю жизнь играл героев. В его развитии было много поворотных пунктов, когда он словно забывал, кем был перед тем, и все они в конце концов слились в один сплошной поток. Все прежнее было лишь слепыми поисками и порыванием к цели, которую он только теперь ясно увидел перед собой. Сейчас, задним числом, даже страданье, которое он причинял другим, окрасилось светом мечты, горевшей в глазах юной Ганчи. Она сказала ему, что на будущий год поедет учиться в Прагу. Отец был против, но мать поддерживала. Этому старому магазину было суждено служить гнездом для непоседливых птенцов. Из него вылетела в мир Сташа, потом он, а теперь собирается вот этот цыпленок. Мечта

вылуплялась где-то в его темных углах, и ее всегда кто-нибудь находил там.

— Я сперва думала, что у тебя насчет этой девушки и Вилема другие намерения,— сказала Ярмила.— И за это почти что на тебя сердилась. Анка столько для него сделала, что это было бы по отношению к ней страшно несправедливо. И я бы не поверила, что его перерождение было настоящим и может дать что-нибудь хорошее.

— Ты права,— ответил я.— Я сам испугался этой девушки, когда она появилась. Боялся ее, не понял сперва, при чем она здесь, а в то же время не мог убрать. Теперь мне это ясно. Она была мостком между прошлым и будущим, мгновенным явлением, в котором достигла высшей точки и завершилась перемена. Жизнь не всегда спрavedлива, но в Вилеме проснулась тяга к умиротворению. Он больше не искал приключений и новые завоевания понимал иначе, чем прежде. Ганча не была Хильдой, хотя был момент, когда я этого боялся; она была воплощением его собственной молодости, пришедшим для того, чтобы напомнить ему все, о чем он в своем долгом и извилистом пути забыл. Он уже знал, чего хочет и зачем должен дальше играть. Опять слышал свой голос и биение своего сердца, узнавал свое лицо под всеми подобиями, его покрывающими. Чувствовал новый прилив стремленья идти вперед и перевоплощаться, так как познал причину и цель и понял, что никогда больше не потерянется среди персонажей своих ролей, как в безвыходном лабиринте, что они — лишь создаваемое им увеличение и изображение того, что терпят, из-за чего мечутся, чего жаждут люди вокруг него. И все это внутри него, все внутри него. В нем воспрянула омертвела жажда работы и вместе с этим — тоска по Анке. Надо ей рассказать, что с ним произошло.

Только тут он понял, что все время, разговаривая с этой девушкой и глядя на ее волнистые волосы, вспоминал Анку. И вот как только он простился с Ганчей, так сейчас же пошел на почту и послал Анке телеграмму, чтоб она не беспокоилась, что он вечером вернется.

Мы обошли все места, связанные с моей и Вилемовой молодостью, постояли перед домом, где была мастерская моего отца, зашли в магазин, и дребезжащий колокольчик у двери возвестил наше появление. За длинным прилавком поднялись две фигуры — круглая женщина с приветливым лицом и мягким взглядом и худощавый мужчина с хмурыми глазами. Это вполне могли быть постаревшая Ганча с мужем.

Ярмила вступила с ними в разговор, пока мы покупали открытки, и узнала, что у них единственная дочь учится в Праге.

— Какая это, наверно, радость! — с живостью промолвила Ярмила, и жена, просияв, подтвердила. Но муж, вмешавшись, объявил гулко раздавшимся в помещении басом, что девушка внушает им тревогу. Пишет в газетах стихи и рассказы, а это не приведет к добру. Надо было ей остаться дома, как другие, и выйти замуж.

— Это подвох,— сказала с укоризной Ярмила, как только мы вышли из магазина.— Ты знал заранее.

А я был так удивлен этим новым совпадением действительности и мечты, что в ту минуту даже не мог вспомнить, не слышал ли на самом деле когда-нибудь об этих двух людях и их дочери. Впрочем, это было абсолютно неважно. Такого рода действительность не имела сама по себе никакого значения и приобретала его лишь в связи с историей Вилема.

Мы пошли дальше по Вилемовым стопам — вдоль липовой аллеи, ведущей к замку. Здесь дул резкий ветер с горных склонов, и голые ветви, беспомощно воздетые к темнеющему небу, на котором поблескивали первые звезды, скрипели у нас над головой.

Этим путем юношеской любви, теперь уже обок с Вилемом, все время шла Анка. Он вступил на него только ради того, чтобы чувствовать ее рядом. И все его мимолетные и ложные любви слились в ней; она изгладила из его мысли и воспоминание об Эве, исчезнувшей, а может быть, и пропавшей где-нибудь на извилистых путях бродячей труппы. Он вспомнил, что с тех пор, как узнал Анку, ни разу не желал ни одной другой женщины. Ветреный октябрьский полдень гнал по земле тени блуждающих туч и шуршал забытыми листьями в ободранных кронах лип над его головой. Воздух был насыщен вялым запахом мокрой земли и суровым смолистым дыханием горных лесов, но Вилем вдыхал аромат летних ночей, пережитых здесь, аромат молодых девичьих губ, волос и кожи, аромат лип, сена, зреющих хлебов, вспаханных полей, волнующий, жадный, буйный аромат любви — и все эти запахи складывались для него в видение Анки. Впервые на этом пути он понял, что она для него значит и чего он сам себя лишал, заставляя и ее платить дань его гордости и самолюбию фальшивой монетой притворства. Его пугала мысль, что она, может быть, не поверит родившейся в нем

жажде правды и искренности. И он торопился, словно хотел пешком добежать до дома на пражской набережной.

Мы с Ярмилой укрылись от ветра за могучим стволовом одной из лип и смотрели, как местность перед нами вплывает в гавань звездной ночи. Мы говорили, молчали и целовались, как влюбленные на свидании. В аллее было тихо и пусто, только скрип ветвей у нас над головой наполнял ее призрачной жизнью.

— Кажется, я будто слышу, как он уходит,— промолвила Ярмила.— Возвращается. Ты не представляешь, как я счастлива, что он возвращается.

— Ему не обязательно возвращаться,— ответил я.— Все, что с ним должно было произойти, уже произошло. Он мог бы погибнуть в дороге или перед самым домом, где жил и где его ждала Анка, и от этого ничуть не изменилась бы ценность его победы. Он переступил рубеж и нашел то, что искал.

— Нет, он не должен умереть,— запротестовала Ярмила.— Настоящая цена всего, что с ним было,— в том, что только наступает.

— Об этом я уже не буду писать,— возразил я.

— Не важно,— решительно ответила она.— Но читатели должны быть уверены, что это не пропало даром.

— Читатели остаются по-прежнему в сомнении,— сказал я.— И вообще, будет ли кто-нибудь это читать?

— Если ты еще раз скажешь что-нибудь подобное, так услышишь вместо Вилемовых мои удаляющиеся шаги. Ты хочешь добиться меньшего, чем он, или не так любишь меня, как он свою Анку?

Ярмила была права. Мне нельзя оказаться слабей своей фантазии. Я дописал книгу о Вилеме, и нашлось издательство, которое ее выпускает. Я теперь не тот, кем был прежде. Но это уже новая глава моей жизни.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

РАССКАЗЫ

TVÁŘI V TVÁŘ, PRAHA, 1956

ЛЕСТНИЦА ВЕСНЫ

Дудочник-волшебник проснулся и свистит.

Может, где-то с отрогов скал рушатся вспененные воды, в дикой спешке давят друг друга верткие волны, рвутся тесные объятия берегов и накатывает водополье, а может, где-то зерно, неведомой тревогой взбудораженное, очнулось и побежало в рост, голодные уста корней нашупали потаенные сосцы и сосут влагу, сок движется по клеточкам, по скрытым каморкам, где всыхивает жизнь, поднимается к ветвям, и их окаменелая чернь распускается зеленью. Флейты и дудочки в миллион переливов!

Обложные дожди и тучи, и ты, девичья тоска, — эти зыбкие границы жизни и смерти! Кто знает, каким будет этот день? Будет ли он минуту-другую печалиться или улыбаться, наступит ли вообще конец его плачу? Кто знает?

В прямоугольнике окна на пятом этаже отражаются всего лишь несколько слепых окон противоположного дома, крыша и клочок безрадостного неба. Ничто человеческое — ни дух, ни плоть — не оживит этих окон, крыша — граница мира. А что за ней?

Идут тучи-громады. Переваливают через горы и меняют свой лик, из разорванных боков хлещут струи, быстротечные летучие ливни опускают завесы. По лоснистому скату крыши съезжает солнечный лучик и падает, соскользнув с желоба, вниз, этот взбалмошный ученик, ослушавшийся своего учителя.

Напрасно мальчик держится за стол. Это лишь утлая ладья, гонимая волнами, — они то опускаются, то вздымаются.

Прочь из дома!

Что происходит с вами, тучи, когда дует ветер? Бешеная погоня сотрясает небо: превращения, слияния, зияющие расщелины, бахрома и клочья. Тротуар в тысячу глаз —

высохшие пятна с влажной оторочкой, пущенная бумажка становится птицей и летит, не ведая куда. Угол улицы — это дикий утес, о который разбивается скорость, на самой его вершине стенают сирены, под шляпами рождается страсть к полетам. Гнутся в схватке тела и взвиваются юбки — распущенные паруса вокруг неустойчивых мачт, колокола во время бури. Руки — ошалелые матросы — снуют по палубе тела: что же спасти раньше?

Когда она обернулась, ее улыбка не была стыдливой. Чуть вызывающе она поглядела на мальчика, который стоял рядом. Потом скользнула в тишину за углом. Ветер и мальчик, оба слегка присмиревшие, устремились за ней. Вместе с ней шла весна, полная безумств и обещаний.

Да будут забыты книги, чадящие мрачной тупостью, зыбкие мостики формул над пропастями, где воют потоки. Да будут забыты стальные челюсти вопросов, мерзлая тишина педантичного равнодушия.

Мальчик на ходу считает, сколько ему лет. Он с радостью променял бы ближайшие месяцы на годы, а душившую его робость — на молодецкую удаль. О, как убога юность! Щенок, скулящий у закрытой двери, ребенок, что никак не дотянется до спичечного коробка на столе.

Напрасно ты завязываешь петлю, чтобы поймать незнакомку. Все равно у тебя не хватит смелости накинуть ее. К тому же, мальчик, она прошла мимо и уже забыла о тебе. Насмешливо горды ее плечи,зывающие качаются бедра. Улицу пересекла тень. На мушкиных ножках мелкого дождя пробегает по крышам туча. Эй ты, сосунок, почему у тебя нет зонта? Зонт — это черный будуар, надежное уединение на улице: прошу вас, пани, входите!

Она ускорила шаг и на углу, чуть склонив голову, оглянулась, он бросился вдогонку — ведь углы так вероломны. Но тут же увидел ее: серым пятном она высвечивалась в черном проеме подъезда — одна нога на ступеньке, короткий миг сомнения, улыбка, и она вошла.

И вот теперь, когда все уже потеряно, мальчик вдруг на что-то решился. Запыхавшись от бега, он стоит у подъезда. Перед стеной темноты, темноты причудливой, как сон, в котором скрипят шаги, шуршит платье и кто-то уходит...

Но мальчик остается, и часами ждет. Дом растет у него на глазах, бесплотная крыша сливается с тучей, нависшей над улицей и сеющей тьму. Приходит фонарщик — он подымает шест, свет брызжет, янтарно-желтый свет, к которому слетаются мушки дождя. Кое-где в окнах дрогнули шторы. Кажется, она занимает весь дом — ходит по нему,

выглядывает в окна, там-сям постоит, говорит о нем, улыбается ему. А кто улыбается вместе с ней?

Беззвучный взрыв света взрывает темноту в подъезде. И каждый, кто выходит из дома, ударяет в колокол надежды и вызывает погребальную песнь печали. Забытое время каплями стекает с крыш, меж фонарями движутся прохожие, и длинными маятниками качаются их тени, все выше и выше карабкается мальчик по мачте тонущего корабля, пока наконец водная гладь не сомкнется над ним: немые черные ворота дома.

Почему ты возвращаешься? Сон примет тебя и снова истортнет. Гремящий поезд ночи. Тучи волнами накатывают на месяц, и он тонет в их мгле. Но даже сон тебе не дарует ее: дрожащие разномастные призраки, лица без сходства, тела без очертаний. Петушок золотой гребешок, где ты, чтоб возвестить утро, гудящую весельем станцию, выжидательные улыбки, приветственные объятия?

Мальчик очнулся от бессонной ночи. На противоположной крыше свистит черный дрозд, и ароматом весенней зари заявляет о себе день.

В бесчисленной череде прохожих идет незнакомка из вчерашнего вечера. День — это колоннада света и теней, ливня и дождика, шторма и ветерка. Путь к каждой женщины одинаково долг и одинаково короток. Вечером спираль блужданий приведет его к знакомому дому.

Дерзкие глаза прохожих угадывают тайну мальчика и улыбаются. И он, всегда такой пепельно неприметный, стоит теперь, багрово высвеченный, на посмешище всем. С каждой минутой его покидает надежда, он маячит здесь, обнаженный в своем пустом ожидании. И вновь и вновь возвращается сюда тем же шагом, каким пытался уйти.

Наконец она приходит! Кажется, улыбается, да, конечно, улыбается. И как не улыбаться ей, если он еще здесь? Когда она входит в дом, ее взгляд устремлен к нему. Неужто снова на этом кончится? С каким опозданием ноги очнулись от своей неподвижности!

Он видит, как она входит в освещенный подъезд и медленно ступает по лестнице, ее взгляд все еще обращен к нему, но она уже не улыбается, наверное, свет и расстояние стерли с лица улыбку. На лестничной площадке между двумя маршрутами она останавливается и глядит на него. Скажи, что в этих глазах, которые ты едва различаешь? Они все удаляются, склоняются над перилами, каждая ступенька — минута выжидания. Исчезла...

Мальчик входит в дом. Ставит ногу на первую ступеньку, и ему кажется, что он слышит над собой ее дыхание. Может, она стоит там и ждет. Он пересиливает свою робость, делает несколько быстрых шагов и встречается с ней взглядом.

Насмешливая улыбка дразнит и манит его. Они поднимаются медленно, соединенные взглядами, ни на ступеньку не приближаясь друг к другу. Не разрушай чары — это криком кричит в мальчике,— не надо слов, а так, молча, шаг за шагом, дверь остается открытой, и все станет ясно. Они поднимаются, этаж за этажом — ступеням нет конца. Эта лестница ведет в небо. Бесцветная бесконечность, тело теряет весомость, исчезает напряжение.

Почему она остановилась? Лицо — посеревшее, озабоченное, — застыло над ним. Может, она встревожена, как и он, утратила крылья, а ноги отказываются служить ей.

— Пани,— вырывается у мальчика, и он тянется к ее руке. Но ощущает только влажный след, оставленный на перилах. Обжигающий удар короткого смешка перехватывает его дыхание. Каблучки туфель выступают бегство, и откуда-то из глубины, куда погрузился мир, он слышит крик электрического звонка. Лестница опустела. Одиноко возносясь над развалинами всего мира, она излучает теперь удивительно ясный свет.

Лестница уходит вверх прямо, без поворотов, эта клавиатура головокружений и недоступных высот.

⟨1929⟩

ПЯТИЛЕТИЕ

К вечеру мостовая и стены еще дышали зноем жаркого дня. На островах играла музыка, по стемневшей реке скользили лодки. Дуговые лампы до времени рассветили вечерний полумрак, который на востоке постепенно переходил в ночь.

Под деревьями сумерки густели той же синевой, что пропитывала небо. Сад овевал их приятной прохладой, но после двадцати шагов в гору они уже не замечали этого. Подъем мог бы извинить их молчание, если бы они вообще нуждались в извинении. Блуждая взглядом, Карел приметил табличку на телеграфном столбе. Белая с черными цифрами 14/VI. «Четырнадцать дробь шесть,— повторил

он про себя.— Четырнадцатое шестого. Господи, какое сегодня число?» Было как раз четырнадцатое шестого. Он повернулся к жене:

— Ольга, ты забыла, что сегодня пять лет, как мы вместе?

— Я еще утром об этом вспомнила.

Ему послышался упрек в этих словах. Но голос у нее был спокойный.

— Да, пять лет,— повторила она.

Ольга перевела взгляд со своего плаща, перекинутого через плечо, на руки мужа. Он шагал, упервшись ими в бока,— так, видно, легче было подыматься в гору. Вдруг он остановился. А впрочем, к чему стоять? Поглядел, как она переложила плащ на другое плечо, и они двинулись дальше.

— Хорошо бы это как-то отметить,— сказал он.— Пять лет. Не странно ли? Удивительно, как летят годы.

— Да, конечно,— согласилась она.

Справа от них тянулся высокий травянистый склон. Низкорослые раскидистые деревья в сгущавшихся сумерках походили на пасущееся стадо. Приглушенные разговоры и короткие смешки смолкали при их приближении, а потом раздавались за спиной снова. В бесплодности слов зрели минуты опьянения, пока темнота не обращала сад в свадебное ложе.

— Хорошо бы это как-то отметить,— повторил Карел и взял Ольгу под руку.

— Да,— сказала она.— Дождаться бы кофе с мороженым.

Она шла, опустив голову,— подниматься ей было трудно. В широкий просвет между деревьями виднелся город. Ряды лампочек выхватывали очертания улиц из бесформенной массы, в которую смяла их тьма.

— Как жарко от этого плаща,— сказала она и снова переложила его на другую руку.

— Дай-ка мне.

— Да, помню, как ты всегда носил его.

Она сорвала листик с низкого куста и размяла в пальцах.

— Пять лет.

— Ольга, мы столько уже говорили об этом. Ничего не изменилось, поверь мне.

В летнем ресторане было меньше народу, чем они ожидали. Им удалось найти столик у живой изгороди. Внизу лежал город, прибитый золотыми гвоздями к покро-

ву ночи. Взгляд Ольги блуждал по закраинам города, где резко обрывались пунктирные лучи улиц, и задерживался на высоких фонарях — стражах ночных света. Карел заказал вина и кофе с мороженым.

— Стало быть, пира не будет,— сказал он, когда официант удалился.

— Карел, а что если нам разойтись?

Он рассмеялся.

— Никому не будет обидно. У нас все порознь. Я перестала б стеснять тебя.

— Ты сошла с ума, Ольга. Ты хочешь, чтобы я постоянно уверял тебя в своей любви. А я в твою — верю.

Официант подал им вина и кофе с мороженым. Карел налил в свой бокал. Вино золотилось. Свет лампы вспыхнул в нем слепящим взблеском. Напротив Карела за другим столиком сидели молодой человек с девушкой. Прижавшись друг к другу, они смотрели на город. Карел подумал, что под столом они держатся за руки.

— Если бы я ушла утром и не вернулась вечером, что бы ты почувствовал? Верно, минутную пустоту. А разве сейчас ты не испытываешь то же самое?

— Почему я должен постоянно в чем-то тебя убеждать?

— Может, я и в самом деле уйду. Не знаю. Пока мне это трудно представить.

— Помолчи лучше. Испортишь сегодняшний вечер.

— Сегодняшний. Вот именно — сегодняшний!

Она ложечкой соскребала мороженое и медленно ела, дожинаясь, пока оно растает на языке. Длинный ряд огней убегал в самый дальний конец города. Одинокая прямая улица мелких звезд. Она упиралась в темноту.

— Видишь те огни? — спросила она.

Он кивнул.

— Куда они ведут?

Он назвал ей это место. Возбуждение сошло с ее лица. Она отвела глаза от города и оглядела парк. За столом, под лампой, две пожилые супружеские пары молча и сосредоточенно играли в бридж. Она видела шеи женщин с гладкой еще кожей, их покойные продолговатые лица и сверкающие в ушах серьги...

Название места стучало у нее в голове. Все можно назвать. Все известно.

— Ольга, о чём ты думаешь?

— Никак не могу решиться,— ответила она.— Дай мне плащ.

Он стоял позади нее. Внизу расстипался город — скопления, пучки и прямые лучи огней, а в самом дальнем конце — одинокая линия звезд, уходящая в темноту.

Дрожь прошла по нему, когда он обнял Ольгу за плечи.
— Я знаю,— промолвил он.

⟨1932⟩

БЕЗ КОНЦА

Слишком быстро увяла красота жены Павла. Потом все, чем был известен ее род, прорвалось наружу: жадность, неутомимость в работе, сварливость и непримиримая злоба ко всем и вся.

Сколько же лет-то утекло с того дня, как Гаразим привел Бету в наследственную усадьбу? Три, четыре, пять?

Что ни год, окрепнув, в новой неге и красе пробуждается природа, а мужская сила к тридцати годам достигает зенита, как солнышко в полдень. В первый год было так, словно он перенес под окна розовый сад, который цвел, благоухал и неистово, до изнеможения чувств, гудел в крови медоносным, неутомимым роем.

А что сегодня? В саду и во дворе копошатся двое ребятишек; дети, рожденные в злобе и горечи, потому что оба раза роды пришли на самый разгар страды, сжигавшей до последней капли человеческие силы. Бетина красота перелилась в их лица, а в ней самой нега больше не пробудилась. Для Беты нет ни покоя ни отдыха. Вихрем юбка, мелькают ноги, голос вззвизгивает, как коса, под взмахами которой никнут травинки радости. Нет у тебя больше ни возлюбленной, ни жены — есть хозяйка.

И ты должен был бы склониться покорно и с уважением, потому что достояние твое растет. На дворе некуда ступить от кур, в хлеву на две коровы больше, в конюшне — на пару лошадей. А в батрацкой — меньше на одну служанку. Земли у тебя прибывает, а ведь это, — словно сам ты растешь и набираешь силу.

По ночам тоскливо под крышей Гаразимова дома. В темноте глаза Павла ищут Бету, ту Бету, что пришла пять лет назад и которой больше нет. Выдохся аромат розового сада. Павел Гаразим садится на постели, сжимает кулаки. В мускулы, опустошенные работой, вливается

дикая сила. В теле нет усталости, только жаркая вялость внутри. Тихо журчат два ручейка детского дыхания. Жарко и хрипло дышит жена. Все кончено. Вот она, жизнь, равнина, прямоугольник поля и отмеренные дороги.

Днем Павел Гаразим ходит мрачный. Борется с ожесточением, которое напрягает его мускулы. Наплыв ударов переходит в силу, направляющую размах косы. Если бы только он мог, ушел бы до самого горизонта, что ни шаг, то взмах косы — и так до самого края, где он сникает молча в зверином изнеможении. За спиной резкий голос Беты, отчитывающий работницу, убивает песню жаворонка. Широкое, свободное веяние ветра стягивается в петлю, которая сжимает горло.

Павел в бешенстве оборачивается:

— Тихо!

Минуту стоит тишина, потом опять оглушающий шквал слов. Павел вдруг становится тяжелым и вялым, злоба одурманивает его. Точит косу бесконечно медленными движениями и смотрит невидящими глазами на луг Носека, где уже скосили и сушат. В тумане, которым подернут его взгляд, разыгрывается что-то странное. Белая пелена ритмически колеблется и близится к нему. Павел сосредоточивает взгляд, растекшийся в бесконечности, уводит его из далей, чтобы увидеть то, что он видит. В конце перевороженного ряда сена, прямо против него стоит она, уперев ручку грабель между грудями и подняв сомкнутые руки над головой, словно стягивая платок со лба.

Рослая, в эту минуту она просто застит весь свет. Смотрит на Павла и в глазах ее прячется улыбка. От скошенных трав несет запахом смерти, и весь край колышется, опьяненный зноем. Может быть, она что-то говорит, ведь губы ее шевелятся. Павел чувствует, что ему бы надо отвернуться и бежать без оглядки. Но он делает шаг к ней и спрашивает грубо:

— Как тебя звать?
— Ружа.
— У Носеков служишь, или просто помогаешь?
— Служу. А вы — Гаразим?
— Мы соседи,— отвечает он и стремительно отворачивается.

Хоть бы ночь не приходила. Расцвеченная звездами, она пахнет, как женщина, возбужденная любовью. Собаки, чуя шаги судьбы, проходящей по опустевшей дороге, беспечно воют.

В саду за гумнами непроглядная тьма. Кроны деревьев тянутся к небу, стирая черноту туч со звездного сияния. Прохлада целует травы влажными поцелуями, в недвижном покое зреют плоды.

Но под крышей дома духота. В стенах и телях спящих заклят солнечный жар. Нить сна обрывается и придется снова, усталость тяжелее могильного камня навалилась на сознание людей. В их памяти не останется ничего из всех волнующих действ, сотканных в ночи.

Доски пола тоже стерегут сон. Нужно миновать их ловушку, неистовый скрип дерева, лишенного соков. Между деревьями один поцелуй прохлады, и мгновенно все обдает жаром твоего тела. Пес перестает брехать, трется о ноги и тихонько поскуливает.

Исполненный скорее надежды, нежели веры, Павел ждет, приникнув к планкам забора. Какая же она была красивая, когда стояла перед ним. А глаза у нее черные? Кто знает. В них больше света, чем цвета.

Но ночь проходит, а никто не появляется. Подточенное червем яблоко упало с дерева, темнота всколыхнулась, деревья тяжко и утомленно вздохнули. Павла пробирает дрожь. Он все ждет, ему все не верится, что так ничего и не произойдет, когда с ним самим творится такое.

С той ночи глаза Павла опустошают лицо Беты горше самого времени, гнут ее тело зле, чем тяжкая работа. Никогда она не будет такой безобразной, как в глазах Павла. Сюда через крышу залетает Ружин голос. Павел видит, как она мелькает за соседским забором, переходит дорогу, замечает ее в лугах. Он чует ее шаг, над ним склоняется ее лицо. Что-то должно случиться. Недаром в нем копится напряжение.

Зелень хлебов выцветает. Высоко навьюченные возы, как гигантские животные, неспешно колышутся по дорогам. Последние копны сена с самых отдаленных лугов перебираются на чердаки и сеновалы. Там, у леса, на самом стыке полей и лугов, клевера Гаразима колышут своими головками возле луга Носеков.

Когда Ружа увидела приближающегося с косой на плече Гаразима, она повернулась и тихо пошла к лесу. Грабли остались стоять, прислоненные к копне сена, коса упала в клевер. На равнине было тихо и пусто. Лес должен был все успокоить.

Ружа бледна, руки ее скрещены под грудью.

— Что вы за мной ходите?

В ее голосе страх и покорность.

Они стоят друг против друга, испуганные тем, что должно случиться. Ведь Павел пришел только, чтобы видеть и слышать ее. Глаза его иссохли, напоить их может только влага этой красоты. Но они высохнут снова, будут жаждать вновь и вновь. Слух его, истерзанный голосом Беты, ждет исцеления от голоса Ружи. И никогда он не насытится сладостью его прикосновений. Но почему красота хочет быть присвоенной, прижатой к сердцу и телу, чтобы доставлять наслаждение и не терзать?

Голова Ружи лежит на коленях у Павла. И лежать бы ей так целыми часами. За спиной глубоко вздыхает лес, тихо пролетает птица, в глазах и слезах Ружи отражаются плавающие облака.

— Не плачь, слезами горю не поможешь. Такая любовь, как у нас, всегда большое несчастье.

Слабость сковала тело Павла. Ему хотелось бы, чтобы эта минута длилась вечно. Сидеть бы вот так, когда голова девушки касается твоего тела, а руки замерли на снегу ее грудей, у всех на виду, на позор и осмейние всему свету.

Вдалеке скрипят колеса возвращающихся телег. Павел уходит крадучись. Ружа поникла. С этой минуты они будут избегать чужих глаз, отрекаться друг от друга перед светом. Если кто-нибудь скажет при Руже:

— Ну и бирюк этот Гаразим.

Она ответит:

— Я с ним даже и словом не перемолвилась.

А если скажут Павлу:

— Служанка-то у Носеков хочет быть больше хозяйки.

Он проворчit:

— Значит, надо ее выгнать.

И у обоих вдруг найдется работа.

Встречаются они в темноте в саду у Носеков. Ночь редко бывает ясной. Они прижимаются друг к другу, отдаются рукам. И Павел уходит с неутоленными глазами, а темнота следует за ними, не отпускает их и днем.

Никто не знает, почему теперь так часты ссоры в доме у Гаразимов.

Бета в суете не замечает ничего. Каторжная работа и алчность ослепили ее. Ругаться ей так же естественно, как дышать. Злоба в ней ко всему на свете, поэтому ненавидеть что-либо слишком определенное она не может. Сейчас браница батрака и служанку, теперь переругивается с мужем. Может, только этого она и ждала, только этого ей и не хватало.

Она ругается, когда плохо повешена коса, или не вымыт порог, или плохо выпечены хлеб. Для нее все дело в этом. Злоба ее, собственно, совершенно невинна. Она уже давно забыла о первых месяцах замужества и равнодушна к себе. Ведать не ведает, что ее красота лежит в прахе на земле ее поля, спит, заклятая в сберегательных книжках. Красота была только в ее облике, мимолетная, ничем не связанная с ее душой.

Гаразим избегает оставаться с Бетой наедине. Теперь, когда он встречается с Ружей, то, другое лицо так и стоит перед ним. В саду, погруженном во тьму, ему не видно лица возлюбленной, он гладит ее трепещущими пальцами, чтобы вызвать сладкое видение, а лицо Беты маячит перед его глазами. И его любовь так перемешалась с ненавистью и бешенством, что в своих объятиях он ощущает силу смерти.

Сегодня вечером лицо Ружи увлажнось под его пальцами. Может, от росы, может, от его поцелуев, так как между листьями деревьев блестят золотые звезды. Тело ее бьется в приступах дрожи. Может, от любви. Он подымает ее в объятии, зовет по имени. Она не отвечает. Жмется к нему и дрожит все сильнее, всхлипывания ее переходят в громкие рыдания.

И вдруг вырывается и убегает садом, а он стоит, онемевший, боясь ее окликнуть. Возвращается домой. Тихо, еще тише, чем всегда, переступает порог горницы и, охваченный горячей пахучей темнотой, останавливается на минуту без движения. Руки повисли вдоль тела, тяжелые кисти, пальцы набрякли. Жесткое дыхание Беты крошит темноту. Острые, колючие опилки вбиваются в мозг, разбредаются по телу.

Павел наклоняется, и его руки, тяжелые руки, вытягиваются. Они тянутся сквозь сухую, хрупкую ткань темноты медленно-медленно, пересохшая гортань не дышит, в сожженном мозгу — ни мысли.

Горячее дыхание спящей Беты овеивает его лицо. Но Павел не видит ничего, кроме горла, белого горла, которое светится, как башня костела, когда все окрест скрыто серой мглой надвигающейся бури. Он подымает согнутые в локтях руки с застывшими, скрюченными наподобие когтей пальцами. В голове бездонная неподвижность, все замерло, только горячая сушь царапает тело, словно где-то над ним простерлась бесконечная пустыня, лавина жгучего песка, шурша, затопляет Павла.

Неподвижные руки деревенеют в пространстве.

Вдруг где-то там, в бесконечном пространстве тьмы, вздымается легкий вздох, переходящий в жалобное бормотание. Ребенок шевельнулся, а потом глубоко вздохнул другой. Жена простонала в беспокойном сне, раскинула руки и, опираясь на голову, приподнялась. Теперь, именно теперь руки должны были бы, как хищные птицы, ринуться, а за ними и тело своим тяжким весом.

Ужас взорвался в сознании Павла и разметал мертвую неподвижность. Он дрогнул, руки его упали, повернулся и обратился в бегство. Скрипнули, словно выстрелили, половицы. Ворота усадьбы остались распахнутыми. Пес захлебнулся отчаянным лаем и кинулся за хозяином.

Павел бежит в ночи от того, что могло случиться. Летит, словно хочет достичь утра быстрее, чем оно настает. Он не ведает о том, что пес мчится за ним, чуть ли не тыкаясь носом в его пятки; Павлу кажется, что за ним гонится проклятье его жизни, которое вцепилось и не хочет его отпустить.

На плотине над прудом, гладь которого рябит ветер, сидит Павел. В тихом плеске волн звезды тонут и всплывают снова. На коленях у Павла лежит голова собаки. Этой ночи не надо было иметь утра.

Дубы, глубоко ушедшие корнями в плотину, ведут речь спокойным, рассудительным языком этой земли. За прудом неподвижно раскинулся лес.

В глубину неизвестности погружается все, чем ты был. Жизнь, бессильная и оскверненная, хрипя, валится в болото тьмы. Выхода нет. Что ты можешь? Бросить эту землю, с которой связан больше чем потом и кровью, и идти за призраком красоты? Красота? Ты уже видел, как она исчезает. Время, как сухой песок, впитывает ее в себя.

И все же, как бы там ни было, она всегда захватывает тебя вновь. Пусть ты все потеряешь, пусть обо всем забудешь, но без нее ты не сможешь жить никогда. Павел возвращается, исполненный странной решимости. Идет от поля к полю. Гладит колосья, в задумчивости останавливается на межах. Ночь бледнеет перед рассветом, тускнеет свет звезд. Павел идет от поля к полю, и хлеба клонятся, словно сама земля, и ее плоды узнают своего хозяина. Даже теперь, когда ему кажется, что он твердо решил, легче не становится.

Он входит в ворота с первыми лучами солнца. Идет мимо Беты, еще более чем всегда безобразной в своей злобе и неведении. Рот ее открывается, давая путь шипя-

щим злобой вопросам, когда Павел садится, чтобы в последний раз отбить косу.

Но раньше, чем она успевает что-то сказать, из-за дома Носеков разносится крик:

— Ружа, Ружа!

С минуту стоит тишина. Потом новый зов и ругань взрываются рядом и падают на двор Гаразима.

— Проклятая девка! Собрала манатки и сбежала ночью. И как назло, в самую страду!

Смертельно бледный Павел подымается, коса, звякнув, падает на землю. В рамке распахнутых ворот, подернутые дымкой ясного утра, волнятся, текут его поля. И на их сияющем просторе хохочет изможденный работой, иссущенный алчностью образ Беты.

⟨1929⟩

ПОЛЕ

Поле лежало под парами уже второй год. Земля, предоставленная сама себе, выгоняла из своего нутра всякие сорняки, семена которых когда-либо попали в нее. Упрямые и неуклюжие чертополохи торчали над путаницей разных изгоев и плебеев растительного царства, которые даже на этом кусочек земли не могли забыть своего происхождения: разрастались вширь, неудовлетворенные своей жизнью, протягивали алчные побеги, добиваясь смерти остальных.

Этот клочок земли, что был как черствая горбушка среди праздничных пирогов обширных полей, принадлежал хозяйству Носеков, в котором с сегодняшнего дня бразды правления взял молодой Бенда. Как и поле, домишко был вклиниен между усадьбами, и его соломенная крыша чернела среди чистоты серебристо-серых и ярко-красных крыш.

Старый Носек умер под осень с кружкой кофе и размоченного хлеба в руках и последней пицци во рту. Девяносто один год настолько окостенил его спину, что он остался сидеть на своей табуретке так же крепко, как если бы жил. Даже кружку не отпустил: только бороду слегка залил, когда разинул рот, чтобы выпустить отлетающую душу.

Вернувшись из костела с женой Бетой, которая с этого утра перестала быть Носековой, но еще не перестала быть

девушкой, молодой Бенда встал посреди двора и окинул взглядом все убогое хозяйство, владельцем которого стал и отныне брал в свои руки, мысленно представив себе и то, что не мог с этого места увидеть глазом.

Там, в хлеву, где были четыре стойла для скота, единственной самовластной хозяйкой жила коза с бесовскими глазами и злыми причудами нелюдимки. А в риге, от соломенной крыши до утоптанной земли, пустые колосники, в которых гуляет ветер, завывая в непогоду, как ведьмы, правящие шабаш в бурные ночи. Ему и осматривать было не нужно. Он и так знал, на котором из шести деревьев сада через два месяца из зелени и цветов останется торчать ветка, почерневшая, как рука святотатца. Под окнами притулилась покрашенная в коричневый цвет тачка. Глаза тщетно искали бы телегу. Опершись о столб, на току риги стояли два заступа, заменившие плуг.

Вот и все. Все, если не считать Беты и того поля, принадлежащего усадьбе. Но Бета в это время проскользнула мимо него, открыла дверь и скрылась в горнице.

Поглядывая на отворенную дверь, Бенда колебался. Из его тридцати трех лет двадцать три были отданы крестьянам и их полям. На свадьбах крестьянских дочек пили и гуляли целыми днями, а его обвенчали на рассвете, до утренней воскресной мессы, и он поторопился вернуться луговыми тропинками, чтобы избежать встречи с людьми, идущими к обедне.

В деревне не было более усердного бедняка. Когда он пахал, в самой твердой земле за ним оставалась борозда прямая, как мысль честного человека, и в жатву он пробивался через хлеба правильными взмахами косы, далеко за собой оставляя других косарей. Он не мог найти подручную, которая поспевала бы за ним, а когда нашел — взял ее в жены.

Бенда отвалил ногой камень, и ворота риги отворились собственным весом. Полоса света вела прямо к опорному столбу. Бенда взял один заступ, но вполоборота приостановился, быстро схватил второй и, не тратя времени на то, чтобы закрыть ворота, понес их к дому.

В дом он вошел медленно, как человек, под шапкой которого, надвинутой на лоб, зреет измена. Бета — цветок, пересаженный в серую землю будничного платья — стояла перед ним.

— Ты уже переоделась?

— Так ведь убраться надо, — ответила она. Взгляд ее пугливо скользнул мимо него к дверям.

— Ты погоди, сядь, — сказал он и потянул ее на лавку возле себя.

Она дрожала, а поскольку он все держал ее за руку, дрожь передалась и ему. Он отпустил руку, погреб ногами по полу, доски которого до сих пор ежились, в память о том, как их скребли щеткой. И вдруг растерянность его прорвалась в голосе грубом, как птичье карканье.

— Поле я так не оставлю. Два года под парами — хватит, теперь самое время зерну лечь в землю. Я всю неделю с утра до ночи в чужом поле, ты — тоже. Выходит, надо сегодня.

Она минуту сидела молча, но больше не дрожала, разве что слегка побледнела.

— Где возьмешь упряжку?

— Пойдем с заступами.

Она посидела еще немного, наклонилась вперед и сжатыми руками углубила ложбинку в юбке между коленями.

— Нынче, Еник? А что люди-то скажут?

— Языки есть, пусть мелют.

Когда они вышли из избы, звон колокола, возвестивший, что священник идет к алтарю, разносился окрест такими нежными волнами, что, умолкнув, они, казалось, еще звучали. Деревня была пуста, как перевернутый кувшин. Те несколько капель, что в нем оставались, были спрятаны от них. Тем не менее Бета надвинула платок на самые глаза.

Солнечные лучи, растворенные в тучах, наполняли пространство влажным и мягким светом. В этом освещении поле Бенды лежало, как жаба на дне колодца. Сорняки, сожженные морозом, переломанные ветрами и вымоловченные дождями, больше чем всегда напоминали кожу, разъеденную дурной болезнью.

От этого вида сердце Яна Бенды сжалось, потом взбушевавшаяся кровь потоком затопила его тело. На многих окрестных полях блестящая зелень озимых уже теряла желтоватый оттенок, на других земля, разглаженная и расчесанная бороздами, темнела, переходя из мягкой коричневы в черноту.

Он опустил заступ с плеча и оперся о него, словно от отвращения перед противной работой. Но его взгляд ушел за межи приобретенного благодаря женитьбе поля. Он мерил взглядом поля, лежавшие по соседству, оглядывал их, как курицу, в утробе которой что ни день палец хозяеки нашупывает яйцо. Такие уж это были поля. А Яну Бенде виделось дальше. Три-четыре раза в неделю окна

в деревне дребезжат от бешеного пьяного рыка их хозяина. Две пары волов уже утонули в омуте его пьянства. Кто знает, не пройдет ли сегодня или завтра в последний раз третья пара за ворота усадьбы Гаразимов? А если скот, почему бы и не земля?

Сумятица подобных представлений, охватившая его, заставляла двигаться его руки, выдиравшие сорняк. Бета сначала работала рядом с ним, потом отстала, руки ее были тяжелыми и неохочими из-за боязни высказать упрек.

Глубоко запустивший корни сорняк боролся за свою убогую жизнь и сдавался только после упорного сопротивления, но и тогда корень каждого из высохших стеблей вырывал из почвы тяжкий ком земли. Ян Бенда, наклоняясь, часто оборачивался через плечо на жену и смотрел, так ли она отрясает землю с щупальц корней, как это делает он сам.

Когда кончили это первое действие своего свадебного гулянья, распярямили болезненно согнутые спины и пошли к круглому кувшину, который пялил свое брюхо на меже в обществе двух краюх хлеба, завернутых в платок.

Ели молча, глядя каждый в другую сторону. Вокруг было пустынно, в день божий сюда никто не приходил. Невдалеке взвился жаворонок, выбросил из горлышка две трели и упал за ними к земле, как камушек, брошенный с неба.

Потом разошлись, начали вскапывать полюшко с противоположных концов. Землю переворачивали и рассекали заступом ее влажные и маслянистые комья. Работали обстоятельно, размельчая на части меньше детского кулочка, чтобы уже не бороновать. Частенько из рук Бенды на дорогу летел камень, поднятый черными крыльями проклятья. Руки молодоженов встретились у последнего невскопанного клоука земли, когда уже опускались вечерние тени.

В деревне брехали собаки и зажигались огни, возвращаясь, Ян обнял Бету, свою девушку-жену — наступало время, когда он мог позволить себе и то, другое, что привело его в избу Носеков.

И как слова любви шептал ей о том, что виделось ему, когда он оглядывал поля Гаразима, сжимающие их полюшко. Не забыл сказать и о той четверти пшеницы, самой лучшей во всей деревне, которую ему удалось припрятать от глаз хозяина, когда молотили у Ленцев, и которую он хотел засеять. Она, может быть, слушала его, а, может, думала о том, навстречу чему шла. Но недалеко от деревни и она

положила свою руку на его костлявый бок и прижалась к нему.

Яну и Бете редко случалось работать вместе. Но иногда их мысли могли ненадолго встретиться на межах их полюшка.

День между тем все рос и рос, как здоровый мальчионка, откусывал от ночи по утрам и вечерам кусок за куском и пробовал силы в веселой игре, перебрасывая солнечный мячик через все более высокий небесный свод. Озимые вытягивались, а за ними и яровые начали слизывать зелеными языками лакомства росы и солнца.

Пшеница Бенда трудилась вовсю. Сила земли, переваленная и очищенная двумя годами паров, гнала ее вверх. Когда ветры сдули цвет с ее колосьев и зерно начало наливаться, стало ясно, что в этом году в деревне не будет пшеницы лучше этой.

Урожай потихоньку допекался в огненной печииюля. Еврей Клейн из города ходил от поля к полю, оценивая на глазок все, что взросло и дозревало во славу божью.

Однажды субботним вечером Ян и Бета, возвращаясь с клевера, застигли его у своего полюшка. Далеко за ними трясясь на возе хозяин Ленц.

— Ваше поле? — спросил Клейн, снимая шляпу.— Жаль, что такое маленькое, ох, как жаль.

Он гладил золотые колосья, подрумяненные закатом, и поглядывал на Яна и Бету, молча стоявших перед ним.

— Если бы вы захотели продать, пан Бенда... — Конец предложения прошелестели в руке Клейна колосья.

— Продам тому, кто даст больше,— отрезал Ян и пошел прочь.

— Тогда, может, договоримся. Загляните к нам завтра, мы получили красивые платки.

Когда последний напевный тон голоса Клейна расплылся в тишине, Бета сказала:

— Продашь, Еник?

— Конечно.

— Хозяйка обещала мне дать мака,— сказала Бета тихо.

Торопясь принять решение, Ян семимильными шагами мчался через потоки смятения, только серпы позвякивали у него на плече. Подбросив их, так что они звякнули, как сабли, сказал категорично:

— Мак ты тоже продашь. Плевал я на пироги.

Через несколько дней на поле пришла жатва и положила в смертной истоме склонившиеся под тяжестью жизни колосья.

Жито исчезло, за ним и пшеница легла под косами. Золото текло в амбары, а тернистая ширь полей раскинулась под августовским солнцем навстречу осенним ветрам. Все это время Ян и Бета работали на чужих полях. В бешено гонке сберегали они чужой урожай перед угрозой туч, плывущих из-за горизонта, а сами тряслись от ужаса за свою малость, которая оставалась там на съедение зловредным стихиям. И вот однажды вечером, когда уже начали убирать овсы, они сжали, связали в снопы и поставили в суслоны свою пшеницу.

— Четыре, — сказал Ян, когда они кончили, словно их было нужно пересчитать. — Четыре. Я бы за них не захотел и восемь вон тех.

Он показал на поле Гаразима, где терялся в сумерках ряд пшеничных суслонов, как и их, последних неубранных во всей деревне.

— Только бы нам увезти их засухо домой, — сказала Бета и поглядела на небо.

Слегка светлевший еще закат предвещал вёдро.

После этого они два дня не видели своего урожая, потому что работали на полях с другого края деревни.

На третий день вечером они поехали за ним на хозяйствской телеге. Над глубокой ложбиной, которая вела в те места, уже светились звезды. Ян и Бета спешили погрузить урожай прежде, чем выпадет роса. Но воловья упряжка двигалась неспешно, вразвалку. Поэтому Ян и Бета то обгоняли волов, то возвращались к ним.

Наконец края ложбины выровнялись с поверхностью поля. Тихие шелесты проходили по нескошенным овсам. Суслоны на поле Гаразима, круглые и монолитные в ясной ночи, тянулись в сторону их полюшка.

Бета, которой петля дороги показалась слишком долгой, отделилась и пошла напрямик.

— Гей, Земан, гей, шевелись, — понукал Ян и стеганул правого вола по боку.

Басовитый грохот вырвался из-под колес. Обод одного из них высек красный снопик искр из камня на дороге.

— Еник!

Там, где-то между суслонов пронзительно выкрикнула Бета.

Бенда остановился.

— Еник!

Отчаянное завывание псов эхом разбежалось по полю. Бенда схватил правого вола за рог, одним толчком остановил упряжку и помчался через Гаразимово поле к своему. Ужас удлинял его прыжки. Навстречу ему несся плач Беты, потом он увидел, как она со сжатыми руками спешит к нему.

— Что случилось?

Но она не могла извлечь ни слова из горла, сдавленного рыданием. Бета повернулась и показала ему на их поле. Он дошел до него и остановился на меже. Между первым и четвертым суслоном было пусто. Тьма, как река, волны которой все подымались, хлынула на него через эту страшную дыру. Бенда долго стоял молча. Наверное, слышал колокола, хоронившие каторжный труд его свадебного утра, либо видел на дороге возле поля еврея Клейна:

— Продаете, пан Бенда?

Возле него всхлипнула Бета.

— Молчи,— крикнул он.— Молчи, черт возьми, не то врежу!

Она согнулась на меже, сунув голову в колени. Ян повернулся и пошел к телеге. Шел по Гаразимову полю от суслона к суслону. Там их стояло сорок. И не пропало ни спонника.

— Залезай наверх,— скомандовал он Бете, вернувшись. И спон за споном начал подавать ей один суслон и второй.

Потом остановился, колеблясь. Его пшеница была лучше. Гаразимовы против его спонов были как дети против взрослого мужчины. И тогда он подал ей третий суслон с чужого поля.

⟨1930⟩

У ПОРОГА

Представьте себе такое: тридцать пять лет сидит человек в вестибюле концертного зала и продает программки. Три-четыре раза в неделю, а в разгар сезона — каждый вечер. В зале билетеры этим не занимаются, чтоб не задерживать концерта, и все, конечно, устремляются к этому человеку. Вспомните, какая суматоха бывает перед началом! Примчатся люди в последнюю минуту, и каждый думает, что он единственный. Промешкали в гардеробе,

потом толкуются возле программок, а билетеры тем временем уже закрывают двери. Постучит дирижер по пульте — и в зал уже больше никому не войти. За эти десять минут до начала продавцу программок, казалось бы, потребовалось не меньше рук, чем их у индийского бога, не говоря уже о головах. Да еще изволь каждому третьему сдачу дать. И вдруг конец — как отрезало. Хотя вам-то известно, что не бывает таких резких концов. Закроешь глаза, а видение все еще стоит перед тобой какие-то доли секунды. А потом прибегают опоздавшие и выстаивают перед закрытой дверью, пока не исполнят первое сочинение до конца. Но продавец программок уже может передохнуть и, оттерев пот со лба, заняться выручкой.

Отлучиться нельзя, он обязан весь антракт просидеть на своем месте — а вдруг еще кому-то вздумается купить программку. Потом, подсчитав всю выручку, он идет к администратору или кассиру, сдает деньги и непроданные программки. Возвращается поздно — гардеробщицы и те уже одеваются. И бредет наш герой домой вслед уходящей публике.

Но что в этом такого особенного, о чём стоило бы рассказывать? Особенного — ничего, и все-таки... Представьте себе: человек сидит здесь тридцать лет, но еще ни одна нота, прозвучавшая в зале, не коснулась его слуха. Это может показаться невероятным, но речь-то идет не столько о реальности, сколько о нашем воображении и о том, чтобы начертанный образ отвечал ему.

Перед нами человек, сидящий без ведра у глубокого колодца,— кто знает, мучит ли его жажда, но какое это имеет значение? Он точно святой Петр, который так полон забот о небесных вратах, что никогда не попадет в рай. Добавим еще кое-какие детали, которые бы ярче оттеняли наш образ. Двери концертного зала столь плотно закрыты, что сквозь них не прорывается ни единого стройного звука. Это мера двоякая. С одной стороны, она защищает зал от случайных коридорных шумов, с другой — наказывает опоздавших, в отчаянии снующих у врат царства звуков, к коему отнеслись без должного уважения. Иногда, правда, вырываются оттуда раскаты *fortissimo* оркестра и удары литавр, но этот грохот так же похож на музыку, как свистящий бег приводных ремней или подземный гул моторов. В зале служат мессу, прославленную и скромную, гордую и пламенную, торжественно гремящую и смиренно шепчущую тревожные, провидческие, манящие и незабвенные тайны самым истовым верующим, служат

мессу угодные сердцу духовники и те священнослужители, что восхитили собою весь мир. Но ни одно, решительно ни одно из этих высоких свершений не коснется человека, подсчитывающего выручку, ни одна капля этих горных стремнин, ручьев, потоков и вздымающихся океанов, куда в эти минуты устремляется столько сердец, не освежит его.

Допустим, он не слышит концертов, но, может, у него есть иные пути приобщиться к этому миру — если, конечно, это нужно ему. Бывают, например, репетиции — я и о них подумал. Но в это время наш герой — в противоположном конце города. Он ведь еще где-то служит и этой вечерней продажей программок всего лишь подрабатывает. От дневной суеты у него голова идет кругом, и сама мысль уйти со службы, чтобы послушать репетицию в зале, показалась бы ему дикой. Вот и выходит, что за все эти годы музыка не коснулась этого человека. Дома у него радио и то нет. Да и к чему оно, когда он день-деньской занят, вечером продает программки, и, добираясь до дома, мечтает лишь об одном — как следует выпаться. В воскресенье спит до полудня — наверстывает упущенное за неделю; после обеда где-то бродит — хочется приобщиться еще к чему-то в этой жизни, кроме того, на что он обречен ежедневно.

А вечером — снова в вестибюле концертного зала. Теперь вы понимаете, какой глухой стеной отгородили его, как отстранили от всего, как мудро позаботились о том, чтобы никогда к этой музыке он не приобщился?

Как же быть в таком случае? Признаюсь, судьба этого человека тревожит меня, я не могу не думать о нем без горечи. Вы, пожалуй, скажете, что этого человека не существует или что он не совсем такой и что мы его просто выдумали? Но разве это имеет значение? Разве вы не чувствуете, что он нуждается в вашей помощи, что, повсюду следя за вами, просит как-то изменить его судьбу?

Возможно, музыка его вовсе не занимает, и в действительности ему совершенно безразлично, что за этими дверьми делается: проходят ли соревнования по классической борьбе или исполняется Девятая симфония. Он здесь лишь затем, чтоб за четыре сотни крон в месяц продавать программки, — и баста.

Признаться, мы махнули бы на него рукой, будь он оригиналом в своем роде. Трезвенник у винной бочки, не испытывающий соблазна проникнуть в ее тайну, не занимает нас. Но мне просто не верится, что можно годами соседствовать с духом — пусть за глухой стеной — и не

сподобиться его. Мы не говорим и о человеке, обуреваемом желанием разорвать свой заколдованный круг и проникнуть за закрытые двери. Такой давно оказался бы за ними.

Мы — о другом, о маленьком заурядном человечке, который вертится день-деньской в круговороте обязанностей и каким-то чудом все же умудряется обрести сравнительное благополучие. Он сидит у зала, музыки не слышит, но как бы дышит ее воздухом. Флюиды красоты, пусть неведомой, исходят в антрактах от публики и проникают в его кровь. Будь у нас столько же оркестров, сколько футбольных клубов, он, несомненно, болел бы за свой, если б даже никогда не слышал его. Но вот однажды это неведомое слегка коснется его, придет нежданно-негаданно, когда он будет далек от каких бы то ни было мыслей о нем,— за работой, за обедом или во сне,— и он начнет метаться по подушке, непривычно горячей, и шептать: «Когда-нибудь я доберусь до сути». Пожелаем ему дождаться своего часа! Человек уйдет на пенсию, кто-то другой займет его место. И на прощание директор оркестра, никогда раньше не замечавший его, вдруг возьмет да и скажет прочувствованно: «Приходите послушать нас, старина. Вот вам билет». И, возможно, даже слегка удивится, что «продавец программок» не только должность в перечне служащих, но реальный живой человек, и вдобавок старик.

Но наш герой счастлив, пусть и должен скрывать свое счастье и не может похвастаться им в кабачке, куда хоть изредка, да заглядывает. Тридцать лет его считали знатоком и прислушивались к его голосу, когда заходил спор о музыке и музыкантах. Перенесемся через те недолгие дни, что отделяют его от концерта и исполнены волнующего ожидания.

Судьба в ее неисчерпаемой злонамеренности могла бы даже в последнюю минуту подкинуть все, что угодно: отнять у него жизнь, навсегда приковать к постели. Но такой исход не для нас. Давайте вместе с ним переживем еще мгновения грусти и пренебрежительного удовлетворения. Вот он входит в вестибюль концертного зала. Бог ты мой, да разве может сравниться с ним тот, кто сегодня продает программки! Посмотрите только, что происходит с этим олухом, как он мечется, как все путает, как поткатится с него градом. Уж поистине он проворонит сегодня не менее двадцати крон. И этот продавец, и приветствия лукаво перемигивающихся билетеров — все это только маленькие человеческие грехи.

Нашего героя посадили у самой сцены — пусть почувствует себя еще более торжественно и независимо. Но, собственно, ради какого праздника мы собрались здесь, музыканты и слушатели? Взгляните на его губы. Видите, какая горькая гримаса затрудняет его дыхание? Сейчас дирижер взмахнет своей палочкой, ударит в скалу тишины, и родники оживут.

И все-таки, думается, наша задача неразрешима. Что станется с этим человеком, когда его подхватит поток? Не лучше ли ему вообще оставаться в неведении до конца своих дней? Благо ли это — поставить старика перед горном, к чьему дыханию он не привык? Может быть, он и поймет, как это прекрасно, но что ему делать с остатком своей жизни — озариться вдруг светом, когда до сих пор благоденствовал в сумерках?

Однако кончим на этом. Мы бьемся здесь над чужой проблемой и не в состоянии разрешить собственную. И все-таки трудно не думать о таком человеке: всю жизнь в вестибюле концертного зала у плотно закрытых дверей, не пропускающих ни одной ноты! Так что же случится, когда откроются двери и дирижер ударит в скалу тишины?

⟨1936⟩

НЕНАВИСТЬ

Сколько стоит этот дом, теплыми вечерами жители его сидят на галерее. Перед своей дверью или под окном, а если не перессорились, — собираются группками.

Я-то со всеми был в хороших отношениях: холостяк — что с меня взять, на целый день ухожу из дома, — здравствуйте и до свиданья да какая нынче погода — вот и все общение. Своего места на галерее у меня не имелось, дверь моего жилья выходила в коридор, а окно на улицу. И если захочется посидеть, — проси о гостеприимстве ближайшего соседа, пана Голеку, почтальона. Со временем мы привыкли друг к другу, и когда пан Голека сидел под окном, я без всяких просьб приносил стул и садился рядом. Я очень ценил любезность пана Голеки, потому что улица, на которую выходило мое окно, была узкая и сумрачная, а под галереей раскинулся большой двор с двумя деревьями по сторонам, за забором росло еще несколько, так что ближайший ряд домов отстоял метров на двести.

Почтальон тоже бывал доволен, что я сижу с ним, и сетовал, если я не мог прийти. Дело было не только в благосклонности, у пана Голеки имелись более серьезные причины радоваться моему присутствию. Это доказывало, что не такой уж он неуживчивый, каким считали его в доме и по соседству. Впрочем, ни с кем из них он не только не разговаривал, но даже не здоровался. Супруга его, разумеется, придерживалась того же правила. Соседи, со своей стороны, дружно над ними насмехались. И в этом доме, где на человека приходился чуть ли не квадратный метр площади, они жили, как в пустыне. А все из-за детей. У пана Голеки было трое мальчиков — Вратислав, Пршемысл и Збынек. Голека был великим патриотом, читал Тршебизского, Сватека и Герлоша, ненавидел немцев, социалистов и католическую церковь. Ребята его были тощими, болезненными и чумазыми. Каждое лето их делили между собой Летние лагеря, Красный крест и «Чешское сердце». Однако они были сорванцами, что ни день люди шли с жалобами на их озорство, и всыхивали ссоры, потому что почтальон все обвинения категорически отвергал, с жалобщиками держался агрессивно, а мальчишек никогда не наказывал.

Не мне судить, я уходил из дома рано, возвращался под вечер. Но случалось, что и мои двери были исписаны и изрисованы мелом, либо на ключе висел бумажный кулек с лошадиными яблоками, а как-то раз к моему порогу прибили гвоздем дохлую крысу. Я все это безобразие убирал, не пытаясь найти виновников, потому что больше всего любил покой. Я рассуждал, и, по-видимому, здраво, что поиски привели бы меня к пану Голеке и вечерам на галерее пришел бы конец.

Таким вечерам!

Посиживаю на низенькой табуретке, уперев вытянутые ноги о перила и покуриваю сигару. Стена приятно холодит мне спину, небо насыщается сумраком, стрижи с писком ловят свой ужин, а время от времени совсем рядом, тихо, как дух, мелькнет нетопырь. Ну, а эти два дерева передо мной, они одеты настоящей листвой, хотя и потемневшей от копоти. В общем, чувствую себя как в деревне. Минута, когда я увижу первую звездочку на потемневшем небе, является вершиной блаженства каждого вечера.

Вокруг нас приглушенно переговариваются соседи, это напоминает деревенскую площадь по окончании работ. Пан Голека курит трубку с длинным чубуком и алебастровой головкой. Одну за весь день. У него слабая грудь

и желудок служит не слишком хорошо. Сыночки его еще носятся где-то на улице. Пан Голека считает, что детям нужно предоставлять свободу, в конце концов он привил своим мальчикам такие нравственные принципы, что может во всем на них положиться.

Рассуждает он все больше о современной международной ситуации, обращается к историческим примерам и приходит к утешительному заключению, что кроме собственной разобщенности, на свете нет силы, которая была бы нам страшна. Я ему поддакиваю.

По двору, в другое крыло дома, медленно бредет мужчина. Голова его в плоской кепчинке опущена, в правой руке раскачивается голубой бидончик. У канализационной решетки, где мостовая влажная и скользкая, он делает большой крюк. Это пан Кареш, полировщик, работает он на фабрике сельскохозяйственных машин, а сейчас идет с работы в свое опустевшее гнездо. У него полгода назад отравилась жена, подмешав стрихнина в четвертинку житной водки.

Пан Голека перестает восторгаться описанием битвы у Тахова и указывает курящейся трубкой на фигуру, которая с нашего места напоминает медленно ползущего жука.

— Так ему лучше,— говорит он почти шепотом.
— Почему?

Я спрашиваю только затем, чтобы дать пану Голеке повод объяснить, но к своему ужасу вижу, что он нахмурился.

— Говорю вам, ему так лучше,— повторяет он непримиримо, словно я ему возражаю. На щеках у него выступили розовые пятна. Таким возбужденным я его еще не видел.— Вы, конечно, знали эту bestию?

Я покачал головой.

— Кого я здесь знаю, пан Голека? — как бы оправдываясь, говорю я.

Пани Карешову я, разумеется, знал, потому что жить в этом доме и не знать ее было невозможно. Да она была печально известна всему кварталу. На нее ходили смотреть как на диковинку. Не только дети, но иной раз и взрослые выкрикивали оскорблений в окончко первого этажа, возле которого она сидела в плетеном кресле, покрытом попоной. Людям доставляло удовольствие дразнить ее, слушать поток ругательств, которыми она их осыпала, и смотреть, как она в бессильном бешенстве сжимает палку с каучуковым наконечником. У пани Каре-

шовой, или, как ее называли, бабки Карешовой, или старой Карешовой, хотя никто не знал, сколько ей, собственно, лет, ноги еле ходили, она с трудом могла добрести от постели к окну и обратно. Перед уходом на работу муж варил еду на двоих и ее долю ставил перед ней на кресло.

— Разве это жизнь для человека, который работает от темна до темна, как каторжный,— говорит пан Голека, насасывая трубку с такой яростью, что в ней сипит. Мне совершенно безразличны и былой удел пана Кареша и облегчение, которое пришло к нему со смертью жены, но я киваю утвердительно. Когда кто-то начинает хулить близких, собеседник невольно подчиняется ему, хочет поставить точки над «и» и не может удержаться от вопросов.

— Она, кажется, пила,— говорю я и в ответ слышится хрюп — то ли трубки, то ли пана Голеки, с уверенностью сказать не могу.

— Пила? Слишком слабо сказано, сударь. Напивалась. Хлестала с утра до вечера. Она только и делала, что подкарауливала ребятишек, чтоб они сбегали за новой четвертинкой.

Пан Голека охвачен возмущением. Мне непонятно, как можно так разъириться из-за порочности какой-то старухи, к тому же покойной. Лучше бы мне замолчать, думаю я, но не выдерживаю и снова задаю вопрос:

— Где же она деньги-то брала на выпивку? У мужа, что ли?

— Сын присыпал,— шипит пан Голека и молча мрачно курит. Ну, теперь все, думаю я.

Стрижей становится меньше, их крики доносятся теперь с большой высоты и постепенно слабеют. Зажглась первая звезда. Она пока чуть заметна — то появится, то исчезнет.

— Это я принес ей ту телеграмму,— выпаливает неожиданно пан Голека,— я, мне выпало счастье.

Не понимая, о чем речь, я прошу его рассказать историю с телеграммой.

— Скажу вам все,— заявляет, помолчав, пан Голека.— Я ношу в себе это уже давно, и должен высказаться. У нее в Америке был сын, в котором она души не чаяла. Потому, наверное, что он не был у нее на глазах. Со своим-то стариком она не разговаривала, он с ней — тоже. Она вообще ни с кем не разговаривала, только разве что подольщалась к детям, чтобы те приносили ей водки. Уж не знаю, кем там был ее сын, только он каждый месяц посы-

лал ей через банк сколько-то там долларов, а банк выплачивал ей их в кронах. И она ухитрялась каждый месяц пропить все до геллера. Это, сударь, был дьявол, а не женщина. Я хотел ее убить, даю слово, и, наверное, убил бы, если бы не пришла та телеграмма и не убрала ее вместо меня.

После такого жутковатого признания пан Голека заикался, кашлял долго и с хрипом. Я думал о его словах. Какая нелепость! Такой щедрый, в чем только душа держится, и на тебе — замышлял убийство. Но у меня перед глазами встало выражение его лица, когда он говорил об этом, и его признание уже не казалось мне смешным и невероятным. Пан Голека перестал кашлять и продолжил осипшим голосом. Он явно спешил, он должен был кому-то довериться, но, видимо, уже начинал побаиваться, что еще пожалеет об этом.

— Она ударила Збынека по голове своей паршивой палкой.

Тут я все понял. Збынек был первенцем и любимцем почтальона. Он, видимо, питал надежды на то, что сын вытащит всю семью из убожества, оттого-то и отдал его в гимназию и принудил нежелавшего учиться мальчишку остаться на второй год в первом классе. Иной раз я встречался со Збынеком на лестнице или улице, и должен сказать, что из всей троицы он нравился мне меньше всех. Уверен, что это в его голове рождались замыслы проделок сорванцов пана Голеки.

— Почему? У нее, видно, была на это какая-то причина?

— Она тоже так думала, но я утверждаю, что нет! Болтала, будто Збынек кинул в комнату кошку с запечкой на хвосте (пан Голека засмеялся). Та, конечно, начала метаться, как бешеная, старуха подняла визг, стала звать на помощь, потому что кошка исцарапала ей ноги. Кому-то пришло к ней залезть и поймать кошку. Говорю вам, Збынек никогда бы не сделал ничего подобного, но если даже так, признайтесь, разве это не славная шутка?

Пан Голека рассмеялся снова, а я попытался представить хромую старуху, которая оказалась вдруг один на один с тварью, сбесившейся от ужаса и боли. Пан Голека был прав — шутка из ряда вон.

— Так она подстерегла Збынека, подманила к себе, дескать, пусть он принесет ей водки, а она даст ему за это пять крон. Когда мальчик, ни о чем не подозревая, отдал

бутылку и протянул руку за обещанной наградой, она поднялась со своего кресла и ударила его палкой по уху. Так ударила, что он упал с разодранным ухом и набил себе огромную шишку.

В этом месте рассказа пан Голека чуть не задохнулся. Какая-то старуха ударила его мальчика, на которого он сам никогда не поднял руки!

— Понимаете, сударь, что со мной творилось! Я две ночи глаз не сомкнул. Хотел убить эту бестию, но не мог придумать, как. А на третий день пришла телеграмма, и я ей ее отнес. Это была судьба, сударь. Она вручила месть в мои руки. Я, конечно, не знал, что в этой телеграмме, но такие бабки ведь получают телеграммы, только когда кто-то умрет. И когда я подавал телеграмму ей в окно, я сказал:

— Получите, пани Карешова. Это вам за моего мальчика. Потом отошел в сторонку, а она как заголосит, люди сбежались. Но она всех прогнала. Проклинала, ругалась, тыкала палкой. А потом заперла окошко. Вечером, когда вернулся Кареш, она была уже холодная. Телеграмма валялась на полу с ней рядом. Сноха извещала ее о смерти сына. В тот вечер я пошел и выпил пять кружек пива, чего не делал с самого дня свадьбы. Это была судьба, верите вы в это или нет, но это была судьба. Старуха не смела подымать руку на моего Збынека!

Я молчу. Пан Голека покашливает и рычит:

— Не смела, проклятая.

Я гляжу на первую звезду. Она прекрасно видна, возле нее поблескивают другие. Стрижи перестали ловить, в первом этаже играет радио, и нетопыры в своем блуждающем полете мелькают совсем близко от наших лиц.

⟨1937⟩

НАКАЗАНИЕ

— Ну, довольно! — сказал пан Пронц, владелец писчебумажного магазина, в котором вы можете приобрести все: от отрывного блокнота за крону и прописей для первоклашек до точилок, логарифмических линеек и имитации японской бумаги.

— Ну, довольно! — сказал пан Пронц, и все послушно умолкли и выжидавшие посмотрели на него, потому что

в этой компании, собирающейся по средам, пан Пронц слыл молчуном, философом и чудаком; к тому же он терпеть не мог, когда застольная беседа переходила в философию на мелком месте, вот как сейчас. Уж если заговорил пан Пронц, то можно было ожидать, что спор, в котором никто друг друга уже не слушал, примет спокойный оборот и пойдет по существу.

— Какой смысл,— продолжал пан Пронц,— разглагольствовать о таких конкретных вещах, как подзатыльник, оплеуха или пара горячих по мягкому месту? Бить или не бить вообще? Думаю, тут и рассуждать нечего. В лучшем случае вопрос можно ставить так: бить или не бить в той или иной ситуации. Конечно, нужно знать меру, чтобы не сделать из ребенка труса, который трясется в ожидании удара и закатывает истерики, или балбеса, на которого никакие наказания уже не действуют. Короче, не советую перегибать палку, но, коль уж видите, что ничего больше не остается, не бойтесь и ударить. Возможно, вы сами удивитесь, как быстро все станет на свои места. Ну вот, теперь и я расфилософствовался не хуже вашего, но в подтверждение своих слов я мог бы рассказать вам занятную историю.

Тут пана Пронца прервал самый молодой в их компании, некий пан Коте, чиновник податной инспекции или еще чего-то в этом роде, очень порядочный молодой человек, женившийся года три назад и имевший симпатичную молодую жену и здорового мальчугана. Обычно он не вмешивался в споры, предпочитая слушать мнение старших. Но речь пана Пронца так его взволновала, что он весь подался вперед и торопливо заговорил, словно боясь, что его опередят.

— Позвольте, пан Пронц, не забудьте, прошу вас, о чем вы собирались рассказать, но я по своему опыту знаю (при этих словах он, видно, осознал, насколько незначителен его опыт, и покраснел, но с тем большим рвением продолжал), что вы совершенно правы. У нас, видите ли, вышла вот какая история с нашим Здендой. Мы добивались, чтобы он сам засыпал в своей спальне. Уложим его в кроватку, поцелуем, погасим свет и уходим в соседнюю комнату. Жена чуть попозже заглянет, не раскрылся ли ребенок, а он уже сладко спит. Но вдруг, года полтора ему было, он заупрямился: нет и нет, он, мол, не останется в спальне один. Он такое вытворял, что мы просто голову потеряли. Ясное дело, мы уж его уговаривали, унимали, утешали и чего только не обещали. Но маль-

чуган — и откуда только это у них берется — словно бы почуял нашу слабость и растерянность и решил поставить нас на место раз и навсегда. Он черт знает что вытворял, орал, цеплялся за маму — ни за что не хотел ее отпускать. В конце концов он лег на спину и стал дрыгать ногами. Но тут я вспомнил всех этих милых деточек, которые катаются по тротуару да еще норовят вас лягнуть при этом, и я сказал себе: «Ну, хватит!» Я перевернул мальчишку на животик и врезал ему раза три по попке. Ребенок крякнул, у него перехватило дыхание, а жена запричитала: что ты наделал? Но я принес из ванной влажную губку, обмыл ребенку лицо, он задышал спокойнее, всхлипнул разок-другой и заснул. И, понимаете, с тех пор он у нас как шелковый, ему и в голову не приходит вытворять что-нибудь в этом духе.

— Гм,— произнес пан Пронц, но не успел он продолжить, как слово взял дирижер Малек (здесь к нему обращались «пан дирижер», однако, скорее всего, он был концертмейстером или чем-то в этом роде — лысый господин с венчиком снежно-белых волос, ежедневно гулявший по набережной между двумя и тремя часами дня, всегда без шляпы).

— Лично я никогда не стеснялся всыпать детям как следует, — сказал он, — если видел, что нет другого выхода. На них, знаете ли, находит временами, и они прямо-таки напрашиваются на взбучку, а когда получат свое, то ходят потом именинниками. Обратите внимание, иногда такой малец чует, что оплеуха уже нависает над ним, но он обязательно будет гнуть свое, пока ее не схлопочет. И только тогда он доволен. И не рассказывайте мне, будто дети озлобляются на родителей после взбучки. Я, бывало, отвешу своему девятнадцатилетнему парню затрещину, когда на него найдет дурь и никакие уговоры уже не действуют. И обычно он подходил ко мне на другой день и говорил: «Черт побери, папа, а ведь мне именно этого и нужно было. Даже полегчало...» Но иногда после такой взбучки, без которой никак было не обойтись, у тебя буквально сердце разрывается. Помню, жена оставила меня однажды дома с первым нашим ребенком. Было это в самом начале нашей супружеской жизни, мы тогда жили в Клановицах. Жена уехала в Прагу за покупками, а мне было поручено состряпать картофельный суп и гуляш — так она мне написала на бумажке. Да, господа, вот когда я понял, что за нервы должны быть у женщины, когда у нее на шее обед, уборка и вдобавок сорванец, который

всюду сует свой нос. Этот мальчишка, года два ему тогда было, не давал мне покоя, и, как я ни старался занять его чем-нибудь, он все лез к плите. Кончилось тем, что я взял лучину и стеганул его разок-другой. Ну, и этот шпингалет, видя, что некому больше пожаловаться на свою обиду, протиснулся ко мне между колен и с плачем добивался, чтобы я подул ему на «бобо», которое я сам же ему и сделал. И хотя потом ему не раз доставалось от меня по заслугам, у меня до сих пор душа не на месте, когда вспоминаю, как он жаловался мне на меня самого...

— Несомненно, с битьем никогда не следует спешить,— заявил инженер Балый, который в этом обществе представлял собой верх элегантности, вежливости и предупредительности, хотя при случае и умел отстаивать свою точку зрения с завидным упорством. — Необходимо признать его одним из средств воспитания, однако применять его следует с самой трезвой осмотрительностью и, так сказать, совершенно беспристрастно. Безусловно, родители очень часто видят в этом наиболее легкий выход из положения и бьют детей даже тогда, когда при известной рассудительности и такте дело можно было бы решить иным путем. Но, конечно, мы отдадим предпочтение воспитанию, которое может обойтись без битья и достичь тех же результатов с помощью других, более продуманных средств. Однажды мне это превосходно удалось с нашим Бертиком. Позвольте мне вкратце рассказать об этом случае, который мне кажется весьма характерным примером.

Инженер снял свои элегантные очки «пункталь» без оправы, чтобы тщательно протереть их, как он это проделывал по нескольку раз за вечер. При этом он продолжал говорить, близоруко глядываясь прищуренными глазами в сидящих за столом.

— Бертику было года четыре, когда нам порекомендовали дачу где-то за Враным на Влтаве. В один из будних дней мы отправились туда на пароходе — жена, мальчик и я. На пристани во Враном какая-то бабка продавала сладости, и, разумеется, мальчик начал их выклянчивать. Я купил ему какие-то конфеты, завернутые в станиоль, чтобы на них не попадала пыль, и мальчик тут же начал их развертывать. Я предложил ему угостить маму, но Бертик глядел на свои конфеты жадными глазами и отказался наотрез. Видите ли, господа, я признаю эгоизм, но только в отрегулированном, что ли, виде, в такой дозе, чтобы он поддерживал в человеке здоровый аппетит к жизни и стремление к успеху. Но жадность мне просто про-

тивна, она не укладывается в мои понятия о мужчине, о порядочном человеке. Итак, это был принципиальный вопрос, с которым нужно было покончить с самого начала. Однако, чем больше я мальчика уговаривал, тем упрямее он отказывался. Я понимал, что этот вопрос важен для всей его последующей жизни, что он, возможно, не сумеет разобраться в нем с первого раза и что побои только ожесточат его. И я решил действовать иначе. «Ладно,— сказал я ему,— конфеты твои, значит, ты имеешь право съесть их сам. Наверное, они покажутся тебе особенно вкусными при мысли, что маме и папе ничего не досталось». И мы ушли, а ему ничего не оставалось, как тащиться за нами следом. Мы не удостоили его даже взгляда. Это продолжалось довольно долго, но в конце концов он подбежал к нам, сжимая в кулаке кулек конфет, и они были там все до одной. «Мамочка, возьми себе половину». Жена готова была удовольствоваться одной конфеткой, как проявлением доброй воли, но я настоял, чтобы мы взяли себе именно половину. И знаете, с тех пор я не раз наблюдал со стороны: мальчик всегда делится всем, что ему достается — если есть с кем поделиться.

— Да, это в самом деле любопытно и поучительно,— проворчал пан Кланица, окружной инспектор крупного страхового общества и убежденный холостяк,— но еще любопытнее то, как все вы спешили внести свою лепту, совершенно забыв, что говорить-то собирался пан Пронц.

Тут со всех сторон посыпались поспешные извинения, но пан Пронц еще раз доказал, что недаром слывет философом и потому лишен предрассудков и пустого тщеславия. Он с улыбкой отмахивался от извинений, а на лице его было написано: «Не так уж важно, буду я рассказывать или нет, от этого мало что изменится, но если я промолчу, вам же хуже».

— Вам незачем извиняться,— сказал пан Пронц.— Разговор наш невольно наводит на воспоминания. И очень хорошо, что меня опередили другие. Мне кажется, эти рассказы пролили свет на мою собственную историю, а моему рассказу словно суждено подвести итог всему, что уже было сказано.

Пан Пронц умолк и отхлебнул пива, переводя дыхание и как бы набираясь сил перед утомительной работой. Потом задумчиво посмотрел, много ли осталось в кружке пива, и наконец заговорил:

— Начну с того, что своего родного отца я не помню. Он умер, когда мне еще и двух не было. Мать пыталась

вести дело на вдовьих правах, но в конце концов только новое замужество спасло ее от полной нищеты. Отец мой был резчиком, а это ремесло стало приходить в упадок еще при его жизни. Вторым браком мать надежно себя обеспечила, хотя я убежден, что ее выбор был продиктован чувством не меньшее, чем рассудком. Брак был удачный (я сумел оценить это позже), и в первую очередь благодаря полной противоположности характеров у матери и отчима. Если кто и мог угрожать миру в семье, то это был я. У матери был живой нрав; маленькая, стройная, подвижная, она вечно что-то делала или рассказывала, а когда собеседника у нее не было, то пела. Тарелки супа она не могла съесть, не вскочив из-за стола два-три раза.

Второй муж моей матери работал бондарем на пивоваренном заводе и имел право на пенсию, так что в этом смысле ей можно было не беспокоиться о нашем будущем, и никто не мог попрекнуть ее, что она плохо позаботилась обо мне. Отчим, да нет, лучше сказать «отец» (слово «отчим» мне так противно, что язык не поворачивается произнести его), — итак, отец был настоящим гигантом, и все в нем было тяжеловесное: медлительная походка, добродушное лицо, нерешительная речь. С первой минуты он вызывал во мне страх, и я никак не мог понять, как мать могла позволить такому человеку поселиться у нас. Я ни за что не хотел звать его отцом, разве что «дяденькой», и ему пришлось смириться с этим. Он пытался расположить меня к себе тем, что носил мне игрушки, сладости и качал меня на колене. Думаю, что вскоре это ему удалось бы (хотя в первое время, когда он сажал меня на колено, я дрожал от страха, что он раздавит и проглотит меня). Дети ведь быстро угадывают доброе сердце и добрые мысли взрослых. Но была здесь еще одна причина, которая сводила на нет наши попытки к сближению.

У моего покойного отца была сестра, к тому времени тоже вдовая, но бездетная, жила она в доме напротив. Я ходил к ней каждый день, она баловала меня как любимую собачонку и не уставала жалеть меня. Смерть брата и второй брак его жены она воспринимала как несправедливость по отношению лично к ней. Она закармливалася сладостями, называя меня несчастной сироткой, и каждый день раскладывала передо мной фотографии моего покойного отца. Она рассказывала мне, какой это был замечательный, тонкий и благородный человек, а моего второго отца она иначе как мужланом не называла. И я ей верил, потому что в этом возрасте ребенку приятно, когда его

жалеют, балуют и пичкают сладостями. Но после этого любое справедливое замечание, которое отец мне делал дома, казалось мне оскорбительной придиркой. Я привычался ненавидеть его отчасти и из детского романтизма, чтобы сохранить верность своему покойному отцу, замечательному и благородному, который благодаря тетиным рассказам все больше становился легендой. Мать это приводило в отчаяние. Она догадывалась, откуда ветер дует, но боялась воспрепятствовать моим хождениям к тете, чтобы не восстановить ее против себя, а также, очевидно, из уважения к памяти покойного. Так этот мертвый, несомненно очень хороший человек, оживая в речах своей сестры и в бредовых представлениях своего единственного сына, начинал творить зло. Отец, веривший сначала, что со временем ему удастся найти со мной общий язык, постепенно переставал обращать на меня внимание и все заботы о моем воспитании предоставил матери. К ней же адресовались и его упреки, если что в доме было не так. Если у них когда-либо были ссоры, то только из-за меня. Потому что обычно, когда отец бывал дома, ему не надоедало любоваться на свою бойкую женушку и слушать ее бесконечные разговоры. И когда во время уборки она переходила из комнаты в комнату, он двигался за ней следом, чтобы она все время была у него на глазах.

Я уже перешел в третий класс, а отношения между мной и отцом все не улучшались. Учился я хорошо, и иногда мне приходилось слышать, как он хвалится моими успехами перед соседями. С какой стати, думал я в таких случаях, я ведь не его сын. Однажды я тяжело заболел гриппом с высокой температурой, и когда я на миг очнулся от горячечного сна, то увидел, что он сидит, склонившись надо мной, и слезы текут из его глаз. Но я опять забылся, а позже, вспоминая об этом, я уверял себя, что это мне просто приснилось. Бог знает к чему бы все это привело в годы моего отрочества, если бы между нами по-прежнему не было тепла. Бог знает какую судьбу уготовил бы я себе. К счастью, к тому времени произошли два решающих события.

Тетя переехала в Табор. Перед отъездом она позвала меня к себе. Расставаясь со мной в слезах, она заставила меня поклясться, что я никогда не изменю памяти покойного отца. Меня эта клятва сильно тронула, я отнесся к ней со всей серьезностью, и на какое-то время она еще больше ухудшила мое отношение к отцу. А между тем у нее было другое предназначение, о котором я не догады-

вался. Второе важное событие, внешне ничем не связанное с первым, произошло в начале каникул. Однажды днем отец, у которого как раз была неделя отпуска, подозревал меня, подал мне что-то завернутое в газету и сказал:

— Это табличка с могилы твоего покойного отца. Она уже в очень плохом состоянии. Отнеси ее к мастеру, пусть снова вызолотит ее как следует. Отправляйся сейчас же и нигде не задерживайся. И смотри не потеряй ее.

Я взял табличку и пошел. По дороге я с обидой думал: «Неужели мой покойный отец заслужил, чтобы о табличке на его могиле заботился этот человек?» Мне это казалось невыносимым. За углом нашей улицы я увидел приятелей, которые играли в пуговицы прямо на краю тротуара. В этой игре я был признанным чемпионом, и, разумеется, в кармане у меня всегда был запас пуговиц. Равнодушно пройти мимо я не мог. Несколько раз мы меняли место игры, время, о котором я позабыл, летело над моей головой. В конце концов мы пошли играть в футбол. За этим занятием и застал меня отец.

— Ну, что сказал лакировщик? — спросил он меня.

А я и думать об этом забыл. Хуже всего было то, что я где-то оставил табличку.

— Пошли, дома разберемся, — сказал отец, и я побрел за ним очень удрученный, вспоминая о клятве, которую я дал тете.

Дома отец сказал:

— Ради забавы ты забыл о своем долге, который мы должны помнить всегда. Но еще хуже то, что ты забыл о своем родном отце. Кому еще я мог доверить табличку с его могилы, как не тебе? И вот что из этого вышло.

И он задал мне основательную трепку — впервые за то время, что он был мне отцом. Даже описать вам не могу, как я его ненавидел в эту минуту. Но позже, лежа на постели в темноте, я отчетливо понял, что мне досталось поделом. Кто изменил памяти своего отца и кто защищал ее? Наутро я подошел к нему и сказал:

— Папа (впервые в жизни я так его называл), мне жаль, что вчера так получилось. Я бы хотел как-то загладить свою вину.

Он закашлялся и отвернулся, прежде чем ответить.

— Ладно, мальчик, — сказал он, — забудем об этом. Пойдем, мы закажем новую табличку вместе.

Мы шли рука об руку, и мне было хорошо и тепло рядом с ним. Он был самым лучшим отцом для меня до конца своей жизни, но а я — не знаю, каким я был сыном,

но я искренне старался загладить все, что было между нами вначале.

Все молчали, и наконец пан Раблик, типографский фактор и известный брюзга, сказал:

— Не припомню, чтоб я читал или слышал более нравоучительный рассказ о порке. Но что-то в нем есть.

Кто-то одернул его, и опять пошли разговоры на ту же тему. Но пан Пронц молча потягивал свое пиво до самой последней кружки.

⟨1943⟩

лицом к лицу

Укрывшись в нише возле дверей, сливаясь в темноте с грязной стеной, Ира Пхач выжидал, пока смолкнут шаги ночной стражи. Было душно и тяжко. Днем над городом пронеслась гроза, и теперь еще, во втором часу ночи, тащились ей вслед клубы туч, как тянутся за войском банды мародеров. Тучи рвались к искаженному лицу молодого месяца, набрасывали и стаскивали с него темное покрывало, всякий раз оставляя открывшийся лик его более ясным, чем прежде. Уличка то выплывала на свет, то окуналась в темноту — на эту ночь нельзя было положиться: месяц мог выдать в самую роковую минуту.

Плохая ночь. Политые ливнем сады дышат ароматом, мешая его с затхлым запахом нечистот, гниющих на улице. Люди не могут уснуть, ворочаются на жарких постелях, страх тянет к ним холодные щупальца, грехи распирают и душат кошмары, похоть тискает горячими руками. Плохая ночь для человека, чей час пробил. А выбора у Иры Пхача уже нет.

Вчера, когда стемнело, он отравил сторожевую собаку ростовщика и менялы Матиаша Кронгла в саду у его дома на улице Святого Креста в Старом Месте Пражском. Постучав по садовой ограде, подманил к себе рассвирепевшее животное, а потом кинул ему за ограду кусок вареной говяжьей печени, в который спрятал белый порошок, тот, что у Розы-Мыловарки продается лишь самым надежным ребятам. Утром подкараулил шедшую с базара Анну — экономку Матиаша Кронгла. Та, как условились, прошла, не подавая вида, что они знакомы. Только прищурилась и незаметно кивнула. Собака издохла, остальное будет

в порядке. Когда Кронгл уснет, Анна выйдет из дома и оставит незапертой дверь. Какая бы ни была ночь, отступать Ире Пхачу нельзя.

Вот, мучаясь любовным томлением, заорала кошка, над крышами поплыл далекий клич ночного сторожа:

«Всякое дыхание да хвалит господа!»

Второй час ночи. Яблоко времени зреет, готовясь упасть. Воды сна поднимаются выше, в три часа они будут особенно глубоки. С грязных уличек у Святого Гаштала, сплошь забитых домами терпимости, долетает истошный крик и хриплый рев. Там драка. Тьма вздрогнула, заволновалась, отзывалась металлическим бряцанием — это патрульные со всех ног кинулись к месту происшествия. Для Иры Пхача наступило время действовать.

Он отделился от ниши, словно отпал большой кусок осыпающейся штукатурки, и, крадучись, заскользил вдоль стены. Свет полоснул по нему — и тьма снова сомкнулась. Высокая ограда между двумя домами, погруженными в глубокий сон, отделяет сад Матиаша Кронгла от грязи и мелочных забот улички Святого Креста. Притиснутый к ограде, Ира Пхач настороженно слушает темноту: не грозит ли откуда-нибудь опасность? Все тихо, — только отдаленный жестяной треск драки и крик гулящей девки, похожий на вой побитого пса. Ночь кошкой вкрадывается в Ирину грудь и мурлычет от удовольствия. Ему принадлежит этот уснувший город, слепой от темноты, в дурмане сна, страстей и пьянства, он отдан Ире в плен. Красться у стен и проникать в дома, бить, брать — вот право Иры Пхача. Подкинув на ладони ломтик, он перебросил его в сад. А когда заносил через ограду ногу, в него тоненьkim белым пальцем одного пробившегося лучика ткнул месяц. Ира выругался и исчез за оградой так быстро, словно его и впрямь с нее столкнули.

Под вековыми кронами — непроглядная темень, родящая призраки. Лишь с одного края ограды чуть белеют кочаны капусты, будто черепа на грядке. Дом в глубине — застывший сгусток в пучине тьмы. Там все как вымерло. От травы, щедро поливаемой вчера ливнем, ботинки у Иры промокли. Он поскользнулся на паданце, сбитом грозой, и пособачьи заворчал. Торчавшая ветка куста, холодная и мокрая, коснувшись Ириной голой шеи, заставила его вздрогнуть. Так, ступая с напряженной сосредоточенностью канатоходца, дошел он до двери. Она приоткрыта, легко и бесшумно подается под его рукой. Анна сделала что ей полагалось.

С минуту душегуб прислушивается, потом заходит в дом. После блуждающих по саду шелестов и свистов тишина здесь особенно подавляет. Ира слышит стук своего сердца и ухмыляется и беззвучно твердит заклинанья, призванные принести удачу. Никогда еще огромное богатство не лежало от него так близко. И поэтому Ире не по себе.

Все на его пути совпадает с подробными описаниями экономки. Где-то над крышей из туч выплыл месяц — тьма в доме сделалась не такой плотной. Ира поднимается по лестнице, на его счастье, каменной. Она ведет прямо к входу в комнату старика.

Тень пробегающего облака едва ли движется бесшумнее, чем Ира. Вот только сердце... кажется, стук его отдается в целом доме. Оно, чудится Ире, лает тут вместо собаки, которую он убрал. Если бы можно было ухватить его, задушить или пристукнуть ломиком... Никогда оно не вытворяло такого со дня, когда он в первый раз «пошел на мокрое». Белые стены оттеняют черный прямоугольник входа. Ира принимает его вызов. Набрав в грудь воздуха, задерживает дыхание и делает шаг вперед. Тьма в коридоре то сгущается, то рассеивается, месяц все колдует; сбитый с толку его отражением на стеклах окон, сыр в саду встретил мнимый рассвет жалобным криком. Ира поворачивает ручку, неслышно приотворяет дверь, не ведая, что в эту самую минуту на улице около дома появилась женщина, закутанная в темную как ночь шаль, и с ней — вооруженные мужчины.

Ира знает комнату, в которую заходит; знает, куда можно не смотреть, а куда надо сразу кидаться. План ее однажды на песчаном влтавском бережку нарисовала ему экономка Кронгла Анна. Свет месяца выбился из-под заслона туч и через три высокие окна проник сюда одновременно с Ирой. В дверях душегуб остановился, прислушался, крепко сжал ломик. Если придется пустить его в ход, Ира сделает это быстро и не задумываясь, как всегда. Слева он видит камин и перед ним тяжелый стол и стулья с прямыми спинками; тут Кронгл сидит, когда ест и когда занимается делами,— храп старика должен был доноситься справа. Но почему не слышно ни храпа, ни вздохов? Он что, не спит? Ждет, напряженно затаив дыхание, так же как и Ира? Резким, но бесшумным движением душегуб распахнул дверь.

Тут он и очутился сразу же лицом к лицу с разгадкой той неведомой тревоги, которая теснила ему грудь всю эту

ночь и заставляла исступленно колотиться сердце. На высокой кровати с уходящим вверх остроконечным изголовьем, массивным, как средина алтаря, лежал ростовщик мещанин Матиаш Кронгл. Месяц светил на его желтое лицо, на белый водоскат усов, откуда высунулся почерневший кончик языка, на выкаченные неподвижные глаза и полотняный платок, двумя тугими, словно накрахмаленными концами торчащий по обе стороны горла.

Лом валится из Ириной руки и глухо стукается об пол; душегуб этого не замечает, ноги несут его вперед, залитое месяцем лицо словно притягивает. Он уже знает, что большая шкатулка под окном возле самой кровати Кронгл-ла открыта и пуста, знает, кто его опередил и предал. Но сейчас все это отошло куда-то, потеряло цену, заслоненное желтым лицом, которое все минут, минут пальцы месяца, вылепляя из множества неуловимо изменчивых и преходящих форм одну — окончательную. Какой она будет?..

Сколько раз из-под Ириных рук выходила та странная Незнакомка, с появлением которой нет больше ни просьб, ни молений — одна тишина. И приход ее вызывал разве только ухмылку — а случалось и смех — у него и у тех, кто ходил с ним на дело. Сколько раз бывал Ира ее посланцем и посредником — но никогда не видел ее так, лицом к лицу, как сейчас. Под касанием месяца словно тает тот призрачный зыбкий и бренный состав, из которого слеплено наше земное обличье. Но потом, когда месяц исчез на минутку за проплывающим облаком — как ваятель, открывший для всех воплощение своего замысла, — черты под тонким покровом мглы проступили в последней и окончательной определенности, где ничего уже не отнимешь и ничего не придашь.

В испуге бормоча бессвязные слова молитв и заклинаний, Ира Пхач упал на колени. Месяц опять вышел и взялся за свое дело. Белизна усов опять засветилась, остекленевшие глаза засмотрелись на что-то, видимое только им, нос, узкий, горбатый и хищный, снова выдвинулся на лице. Сделай что-нибудь во спасенье души — в нее словно уже вцепились когти дьявола!..

Над изголовьем кровати старика висело черное распятие. Колена у Иры дрожали, зубы выстукивали дробь, когда он приблизился, чтобы снять его и вложить мертвому ростовщику в руку. Но окоченевые пальцы старика сжимали перину так крепко, словно и теперь еще старались выжать золото из своих ближних. Распятие можно было только положить ему на грудь. А теперь прочь от

этого места! Отсюда уже никогда не возвратится Ира на свой прежний путь.

Патрульные схватили Иру Пхача, как только он спрыгнул с ограды. Когда вязали ему руки, он и не заметил, что в тени ее стояла женщина, закутанная в темную как ночь шаль. Экономка Матиаша Кронгла Анна посмеивалась, глядя на того молодчика из стражников, с которым была в любовной связи,— посмеивалась, что так ловко все устроила. Иру Пхача забрали и отдали в руки правосудия, чтобы судить его и осудить как раз за то злодейство, которого он не совершил.

⟨1946⟩

II

НЕБЕСНАЯ КОЗА

У деда с бабкой Галоушковых была коза. А коза, как известно, рогатый и косматый мешок с безобразием. Нажнешь на меже самолучшей травы, в корыте взобьешь,— козу побалуешь. Трава пахучая, на салат похожая, поглядеть — одно удовольствие. Коза сожрет былинку, другую, остальное вокруг расшвыряет. Вскочит передними ногами в корыто и блеет, словно дьявол. Дед ухватит деревянный башмак и ну колотить по ней, как по бурдюку какому. Бабка на него злится. Бранятся старые, а коза стоит в корыте и блеет. Потом бабка доить отправляется. Уговаривает козу, похваливает.

— Козочка ты моя хорошая,— говорит она и по хребту похлопывает.— Уж такая ты у меня ладная! Вся в мамку уродилась.

Коза — ни бе ни ме. Только бородой трясет да к хозяйке тянется. Бабка доит козу, молоко в подойник течет. В сенцах дед сидит — картошку толчет. Тихо опускается вечер, благовест дрожит над крышами, картошка так и благоухает.

«Толченая картошка да кринка козьего молока — куда как хорошо! — думает дед и причмокивает.— Нешто сравнить с коровьим? Это для груди полезное».

Бабка подоила. Взяла подойник, встать думала. Коза повернулась — да толк в него. Бабка оглянувшись не успела, а молока уж полон хлев.

— Дедка! — кричит.

Прибежал старик, скинули они деревянные башмаки и давай лупить козу — он с одного боку, бабка с другого. Поели сухой картошки, повздыхали. Воды напились, спать пошли.

Наутро старуха отвалила деду здоровый ломоть хлеба, насовала сущеных яблок в карманы да пасти козу послала. Дорогой идет коза — там-сям травку пощипывает. То вскачь пустится, то постоит, хвостом повернит, помекает.

Пока дошли до пастбища, полдень уже. Дед хлебца, сущих яблок поел, лег под дерево и задремал. Проснулся, а козы и след простили. Бегает дед, кричит. Вдруг слышит, где-то коза блеет. Огляделся — она на скале стоит. И жалобно так блеет. Выругался дед, но делать нечего — полез на скалу. Только до середины долез, а коза прыг-скок — и внизу. Дед с перепугу руками всплеснул и со скалы свалился. Лежит, охает, себя щупает — как есть в синяках весь! Коза шныряет туда-сюда, кустики обгладывает. Вечером приходит бабка.

— Дед, гони козу домой.
— Гоню.

Тянет дед за веревочку — коза ни с места. Ругается старый, башмак скидывает. Бабка ходит вокруг — козу оглядывает. Скотина брюхатая, точно надутый мех в кузнице.

— Дед, коза-то дуется.
— Сама ты дуешься.

Но бабкина правда. Жалобятся старые, горюют.
— Что делать станем?

Коза блеет глухо, как из могилы.

— Давай ее домой снесем. Может, кузнец что подскажет.

Бабка хватает козу спереди, дедка — сзади. Идут, охватят. Все окрест окутывается мглой. В поле — ни души. Дед говорит:

— Не кажется тебе, что коза стала легче?
— Право слово, легче.

И все несут ее и несут.

— Бабка, я козу уж и не чую.

— И я нет.

— Давай поставим ее.

Но коза висит в воздухе. Сделалась в два раза больше, глаза выкатились, горят, точно звезды. Язык изо рта вывалился. Бабка руки ломает.

— Что ж это, господи, деется? Дед, держи ее за веревочку, чтоб не улетела.

Веревка висит, по земле волочится. Дед шасть к ней — коза вверх взмыла. Да только деду удалось-таки ухватить веревочку. Сделал шаг — натянул ее немного. Коза за ним двинулась. Пошли к деревне. Уж совсем стемнело. Идут, о камни спотыкаются. Плывет коза над головой у деда, точно огромный детский шар, бабка шепотом молится.

— Бабка, коза кверху меня тащит.
— А ты вниз тащи.

— Бабка! Бабка! Ух, коза проклятущая!

Оглянулась старуха. Видит, дед идти не может, ногами над дорогой сучит.

— Отпусти! — кричит ему.

— Не могу,— кряхтит дед.

Бабка — назад, но, пока доковыляла, дед так вознесся, что она и до ног его не могла дотянуться — что есть мочи подпрыгнула, схватилась за башмаки — они у нее в руках и остались. Упала, опрокинулась навзничь. А дед в небо летит. Старуха зовет его, плачет. Вдруг что-то лопнуло — видать, веревка порвалась. Дед на дорогу шмякнулся — аж земля задрожала.

В небе звезд — не перечесть. Зыбкий свет сеют они в темноту. Коза, огромная, черная, взмывает к ним. Малопомалу уменьшается и сливается с ночью. И несет ее ветер неведомо куда.

— Дед, может, это был сам дьявол?

— Еще чего вздумала, — сердится дед. — Дьявол не летит в небо, он сквозь землю проваливается. Раздулась, шельма, и улетела.

— Раздулась, потому что гадкой травы нажралась. Небось, заснул, а ее бросил.

Дед распаляется, башмак снимает. Бабка тоже. И с минуту на дороге только дым стоит коромыслом.

Меж тем коза плывет над лугами и лесами, над реками и стремнинами, над mestечками и деревушками, над широким родным краем. На другой день как раз в полдень проносится она над столицей. И вдруг люди замечают ее. Пешеходы останавливаются, машины тормозят, трамваи не ходят. В городе переполох.

Появляются бинокли. Люди смотрят, качают головами. Воры лазают по карманам. Человек у телескопа не успевает деньги брать. Любопытные отпихивают его, затевают с ним драку, и телескоп летит к черту. А ветер относит козу вдаль.

ВЫХОДИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК:

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ШАР НАД НАШИМ ГОРОДОМ.

ШАР, ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ ИЛИ ЧУДОВИЩЕ?

НОВЫЙ ТИП УПРАВЛЯЕМОГО ВОЗДУШНОГО КОРАБЛЯ.

Пришлось вплотную заняться изучением волнующего события.

Некоторым министрам показалось, что их кресла обратились в утлы лодочки, несомые по волнам.

Всеобщее волнение несколько улеглось после выступления изобретателя, державшего до поры до времени свое имя

в секрете. Он заявил, что совершил испытательный полет на геликоптере. Полет удался, но необходимы дальнейшие усовершенствования. Испытатель окончательно поиздиржался, поэтому просит направлять пожертвования на адреса редакций газет. На следующий день шарлатан за решеткой. Тайна остается неразгаданной, а коза уже реет над дальними странами.

На большой площади собрался народ. Развеваются флаги, люди слушают женщину, славившуюся своей добродетелью. Молодость ее давно отцвела, а добродетель осталась.

— Так вот, люди добрые, — вещает она, — если хотите попасть в рай к аллаху, голосуйте за нашу партию. Одна набожность не спасет вас. Голосуйте за нас. Не то аллах отринет вас, и шайтан...

Тут раздался страшный грохот, и собравшиеся вздрогнули. Верующие недоуменно переглядываются. Грохот не стихает и доносится откуда-то сверху. Кажется, кто-то надвое раздирает голубой шелк небосвода. Все поднимают головы. Что-то огромное и черное падает с неба. Но чем ниже оно опускается, тем становится меньше. Неразгаданное чудо проносится над головой женщины и падает на трибуну. Народ с ужасом видит, как слетает пышная прическа с головы богомолки. Ее лысый череп блестит, а перед ней на помосте чья-то волосатая бесстыжая рожа: язык черный, глаза стеклянные и над ними — рога торчком.

Одни с криком: «Шайтан!» — бросаются наутёк, другие кидаются на колени и вызывают к аллаху. Богомолка падает в обморок. Рядом с рогатым черепом светится ее голова, как маленькое солнышко.

Большой Совет расследовал дело и установил: «Это было не чудо, не дьявол, а дохлая коза». И тут же начались гонения на богохульников. Бедная женщина укрылась в монастыре. Потому что простой народ, все толкуя о ней да о козе небесной, смешал эти понятия. Время завершило дело. И вот все девушки, которые, дожив до пятидесяти, не вышли замуж, но прославились своей добродетелью, часто с опаской взглядывали на небо и убегали, заслышав разговоры о козе небесной!

А дома меж тем дед с бабкой ели толченую картошку. Водой запивали, козу вспоминали. При этом — уж так повелось — стаскивали с себя башмаки, и в их бедной, но чистой горнице только дым стоял коромыслом.

⟨1930⟩

ЛЮБИТЕЛЬ СОБАК

В душе мужчины редко умещается больше одной страсти. Пан Леон Матушка был собачником. Этим суммарно определяется его жизненная программа, национальная и религиозная принадлежность.

Кинологическое обрезание его совершилось еще во времена раннего детства. Когда он бросил собачонке дворника кусок горячей сосиски, ему только-только минуло два года. Мамаша раскричалась, и он решил забрать сосиску назад, но собачонка, почувствовав колбасное, не слушала про чумку, о которой вопила мамаша Леона, заботы о своем собачьем здоровье не оценила. С рыком цапнула Леонека за указательный пальчишко и откусила ноготь. На прогулках мальчик плелся за мамочкой, сосал палец и грыз отрастающий ноготок. А тот и перестал расти. Палец зажил сам, без него. Так это своеобразное обрезание отметило Леонека на всю жизнь как знак грядущего вероисповедания.

Когда мальчику исполнилось три годика, родители сквилились над его одиночеством и в порыве не поддающейся объяснению расточительности подарили ему сестренку и собачку. Девочка была блондинкой, щеночек — таксой. Оба они ползали по полу и делали лужицы. Муфик старался их загрести лапками, а его ровесница размазывала их пальчиками. В шестнадцать лет сестрица была цветущей девушкой, а Муфик — глубоким старцем. В восемнадцать Оленька вышла замуж, а песик сдох. Леонеку был двадцать один год, и, скучая возле престарелых родителей, он купил чистокровного сеттера. Иметь охотничье пса и не завести ружья — такая же нелепица, как купированная такса. Но охота была только сопутствующим явлением возрастающей страсти Леона к собакам.

Виллу на окраине города, в которой он жил с родителями, окружал большой сад. Там, где росли розы, поселилась парочка такс, за домом сшибала головки цветной капусты и вытаптывала шпинат сеттерша с четырьмя щенками. Перед будкой, сделанной в виде миниатюрной копии виллы, спала здоровенная овчарка, не подпускавшая к себе, а будучи спущенной с цепи — и к дому, никого, кроме Леона. В самом доме грызла неубранную обувь, теребила занавески, стягивала скатерти со столов, выцарапывала дырки в коврах, воровала на кухне и в кладовке наследника Муфика — китайская такса Митсу.

Родители Леона то покорствовали судьбе, то впадали в истерию. Радостью и гордостью отца были розы, мать выращивала овощи и лелеяла мечту о жизни в деревне. Леон, окруженный своими любимцами, чуть не каждый день должен был противостоять бранам папеньки и стенаниям маменьки. Он решительно не понимал родительских пристрастий, считая их старческой блажью. Сад, по его мнению, должен был быть травянистым и песчаным полем для игр его собак.

Когда его сеттерша заняла на выставке второе место, страсть к собакам поглотила его без остатка. Леонек прочитал все, написанное о собаках на чешском и немецком языках. Но этого ему показалось недостаточно, и он начал учить английский и французский, стал членом отечественных и чужеземных обществ кинологов, вступил в переписку с выдающимися собаководами Германии, Франции, Соединенных Штатов, Канады, Южной Африки и Австралии, а также с многочисленными журналами и написал книгу «О правильном кормлении собак». Псарня его выросла голов на двенадцать, а муки родителей — до умопомрачения. Леонек проводил опыты по скрещиванию и готовился написать фундаментальный труд, долженствующий произвести переворот во взглядах на вопросы собачьей евгеники.

Хотя ему и стукнуло двадцать пять, он еще не попался в тенета серьезного знакомства. На улице его привлекали только девушки, выгуливающие собак. Просто чудо, какое доверие он возбуждал у совершенно незнакомых псов. И девушки, индифферентные и замкнутые, частенько обманывались. Когда они видели, что собака относится к Леону как к старому знакомому, любопытство их возбуждалось и завязывался разговор. Леонек беседовал исключительно о собаках. Выспрашивал ее родословную, проверял воспитание. Если собака ему особенно нравилась, это порой вело к более короткому знакомству, которое тут же прерывалось, как только появлялась другая, заинтересовавшая его собака. Из-за этого он несколько раз становился жертвой несознательных девиц, которые внушали себе, что он в них влюблен. Но Леонек бывал терпеливым только пока ему не надоедала собака.

Родители покинули его навсегда как раз в то время, когда он занялся разведением гончих. Первым был папенька. Этот неосмотрительный старый господин, никогда по вечерам не выходивший из дома, поддался на приманку какого-то съезда и вернулся домой к полуночи. Был он

слегка навеселе и, не заботясь о том, что ноги у него заплетаются, чувствовал себя юношой. В этом приподнятом настроении он начисто забыл об овчарке, пренебрег звонком и отпер сам. Но едва приоткрыл калитку, как на него из темноты набросилось нечто черное и прижало к ограде. Это была Риго, овчарка Леона. Хмель разом слетел со старого господина, но было уже поздно. До трех часов ночи стоял он у порога собственного дома, ощущая собачью пасть возле своего горла. Пани Матушкина, беспокоенная отсутствием мужа, разбудила Леона. Невозможно описать, как он хохотал, узрев папашу в объятиях овчарки. Проснувшись поутру, он начал хохотать снова и пошел похлопать папеньку по плечу. Но этот старый младенец, никогда не знавший толку в хорошей шутке, лежал с температурой сорок один, а на следующий день отдал богу душу. Маменька, с юности читавшая романы и бывшая натурой сентиментальной, умерла от печали через неделю после его похорон.

Леонек скорбел. Теперь некому было позаботиться о его любимцах, когда он уходил в канцелярию. Он подумывал даже отказаться от места, но был недостаточно богат для этого.

И сам хозяин и псы его хирили. Псы от недостатка заботы. Леонек — потому что не мог им ее обеспечить. По размышлении зрелом он решил, что ему не остается ничего другого, как привести себе и своим собакам преданную и страстно любящую супругу. Он частенько встречал барышню с роскошной борзой. Это была элегантная и весьма привлекательная девица. А от ее борзой Леон просто не мог оторвать глаз.

Ему удалось раз-другой привлечь внимание собаки, но барышня была неприступна. Чувства его понемногу перерастали в страсть. Он безумно мечтал заглянуть в чарующие глаза и сжать в ладонях прекрасную голову борзой. Но мечты оставались мечтами, покуда ему не помог случай, этот балованный франт и сопутник судьбы. Однажды, торопясь в канцелярию, занятый мыслями о своих покинутых любимцах, Леон снова встретил барышню. Они с борзой выступали чинно, как аристократы, игнорируя окружающих. Вдруг какая-то овчарка, бежавшая навстречу, ощетинилась и с рыком кинулась на борзую. В момент клубок грозно рычащих собак замотал барышню. Перепуганная, она тщетно пыталась их растащить. Леонек кинулся, пнул нападающую, освободил борзую и поскорее увел барышню, потому что хозяин овчарки начал грозиться

с запальчивостью парня на танцульках. За углом Леонек остановился и принял заботливо осматривать борзую.

— Я вам так благодарна, — сказала барышня. — Вы даже не представляете, как я испугалась.

— Это не важно, — возразил Леон, — слава богу, собака не пострадала.

Так началось их знакомство. Виделись они ежедневно, и Леон узнал, что Эльза — девушка из хорошей семьи, придерживающаяся свободного образа мыслей и нравов, больше всего на свете обожает собак. Когда Леон поведал ей о своих мучениях, она была тронута чуть не до слез. Легкомыслие родителей, оставивших на произвол судьбы своего сына, ее возмутило. После этого она предложила его навестить. Она рассуждала правильно, что мужчины бывают чудовищно непрактичны и добиться своего труда не составит.

Встречены они были по-разному. Эльза произвела огромное впечатление на собак, непривычных к молодым девушкам, а борзая не успевала увертываться от нападающих. Овчарка, доныне признававшая одного Леона, глядя на Эльзу, махала хвостом и предупредительно подавала ей лапу. В этот возвышающий душу момент Леонек ощутил, что влюблен безумно. Когда Эльза уходила, он впервые почувствовал себя действительно благородным мужчиной и ему, как таковому, оставалось только просить ее руки.

Эльза поставила в известность родителей. Отец навел справки. Ни финансовых, ни каких-либо других возражений против Леона не было. Правда, когда жених нанес визит, папенька не сразу мог понять, чьей же руки он просит, — о ком речь, об Эльзе или о борзой. Но в конце концов выяснили и это.

К своему немалому удивлению, после свадьбы Леонек обнаружил, что помимо борзой Эльза принесла полмиллиона приданого. Леонек возмечтал еще о паре пойнтеров, удостоенных первой премии на выставке в Филадельфии, и, казалось, его супружеское счастье будет полным. Но увы! Семенем раздора, которое быстро пустило росток в рае Леонека, стала борзая. Во-первых, пес жрал. Эта тощая бестия сжириала столько, сколько овчарка, пара гончих с шестью щенками, пара сеттеров (в то время бездетных) и пара такс с двумя щенками вместе взятые. Не считая Митсу. Тот довольствовался кусочками. Во-вторых, у него была привычка лезть в постель. Не раз случалось, что он стягивал с Леонека одеяло и спал на нем сам или беспокоил их... Но оставим это. Хуже всего, что

его ненавидели все остальные собаки и в доме постоянно царили рык и свары. Любовь Леона увядала, превращаясь в ненависть. Он пинал борзую и срывал злобу на Эльзе... Его начали посещать мысли о том, как он разведется и выгонит борзую, потому что полмиллиона вполне могли растаять из-за обжорства этого исчадия, а с ними и мечта о пойнтерах. Но Эльза была ангельским созданием. Она уже пресытилась любовниками и хотела быть добродетельной супругой. Собак она любила и по-матерински заботилась о мужниной псарне. Тогда Леон нашел выход, тот самый, который находят все неудовлетворенные мужчины, не имеющие достаточно веских моральных оснований для развода. Он начал развлекаться на стороне. Бог знает как он познакомился с танцовщицей, которую обожали и содержали по крайней мере четверо покровителей. Утомленная обязанностями девушка затосковала и захотела отдохнуть душой, предавшись подлинной любви. А Леонек не мог преодолеть страсти, которую пробудили в нем два ее белошерстных кокер-спаниеля.

Женщины всегда принимали на свой счет его любовь к их собакам. Наблюдая, как Леон ласкает ее песиков, танцовщица вздыхала:

— Ах, мой милый, какой же ты робкий. Осыпаешь эти четвероногие существа ласками, которые принадлежат мне.

И она твердила, что он должен быть страстным любовником, но скоро убедилась в обратном. Эльза узнала обо всем раньше, чем это интермеццо закончилось, и Леонек был изгнан любовницей.

В глубине души Эльза, несмотря на семерых любовников, оставалась добродетельной. И это помогло ей совершенно правильно поступить с мужем.

В один прекрасный день Леонек, вернувшись из канцелярии, не услышал привычного скрежета борзой и сказал с превеликим удовлетворением:

— Динго сдох.

Но на кухонном столе лежало письмо, из которого он узнал, что Динго ушел, а с ним и Эльза. Причины были приведены. У Леонека, только вчера изгнанного танцовщицей, а сегодня оставленного борзой и супругой, было такое чувство, словно он — воздушный шарик, сорвавшийся с веревочки и летящий в небо. Однако ненадолго. Ибо вернулись старые времена, и когда он шел со службы, то еще издалека слышал такой вой своих собак, что у калитки его дома толпились люди, собирающиеся вызвать полицейского. Отношения между Леоном и соседями при-

обрели особую сердечность. За его спиной произносились такое, что его пробирал приятный озноб от предвкушения наслаждений, на которые он был бы обречен, если бы не охраняющая сила закона. Не прошло и недели, как люди, прежде вежливо здоровавшиеся, поносили его в глаза. Проученный горьким испытанием, он написал Эльзе письмо, исполненное страсти и покорности:

«Дорогая Эльза, вернись!

Ты даже не представляешь, как я страдаю. Собаки голодные, сердце мое истерзано. Никто о них не заботится. Ты знаешь, как мы тебя любим, а теперь Риго даже не замечает меня. Не жрет и чахнет. Ты не можешь быть такой бесчувственной и не взять нашей мольбе. Целую это письмо.

Твой Леонек

Р.С. Фифка его тоже облизала, оттого все так размазано».

Было бы смешно, если бы женщина, имевшая семерых любовников, не знала, как поступить с единственным мужем. Короче, Эльза вернулась. Так же незаметно, как и ушла. Между поцелуями и лаем, которыми ее приветствовали, Леон заметил, что пришла она одна.

— Где борзая? — спросил он.

— Сдохла, — ответила она и даже не покраснела.

Счастье Леона было беспредельно. И на сей раз прочно. Собаки были для него неразрывно связаны с женщиной. Новая собака — новая женщина. Но Эльза была незаурядной женой. Она была из тех мудрых женщин, которые всегда иные и умеют крепко привязать даже самых непостоянных мужчин. И вот Леонек получал то, о чем мечтал — новых собак. А Эльза имела то, что хотела. Потому что была их хозяйкой.

⟨1931⟩

ПОВАРЕННАЯ НОВЕЛЛА

Ростислав Милачек, человек свободной профессии, стихотворец и новеллист, не получивший признания, лежал на кушетке. Непосвященному это показалось бы невозможным. Пружины кушетки порвали все пугты и вышли

сквозь плюш. Поэт и новеллист лежал на своем ложе, как голый на терниях. Чуть шевельнешься — уколешься. Такая скованность в движениях позволяла глубже уйти в себя. Он слышал некий внутренний голос.

Звук был настолько явственный, что привлек внимание квартирной хозяйки. Она открыла дверь и спросила у пана писателя, что он желает.

— Ничего,— отвечал поэт.— Просто читал свое последнее стихотворение. А вы, я чувствую, варите кофе, пани Нешварова?

— Обоняние-то у вас хорошее,— сказала хозяйка.— Вам бы только доходы по вашему обонянию. Ну да мы с вами дождемся. Я — денег, а вы — кофе.

— Баба,— сказал себе пан Милачек.— Нахальная баба!

Он сел, свесив ноги. Желудок, почувствовав себя вольнее, заурчал басом.

— Подумайте, непрестанно урчит. Урчать, конечно, можно, если нет другого дела, но это не дает сосредоточиться.

Ростислав Милачек поднялся и затянул на животе пояс.

— Последняя дырка. Дальше некуда. Придется проколоть еще одну.

Он зашагал по комнате. Желудок громко отзывался на каждый его шаг.

— Урчит... Но как-то с перебоями: то рыкает, а то лепечет. Нет, в этом явно есть какая-то система. Чет, нечет. Раз, два... А,— это половицы. Одна визжит, другая вздыхает. Скверный пол. Разве может художник-творец жить в комнате с таким полом?

Дав мыслям подобное направление, пан Милачек сразу повеселел.

— Вот именно. А самые приятные слова для созидателя — «приступим к делу». Я напишу новеллу о влюбленных. Посвящение будет: «Белой лебеди с третьего этажа»... Опять урчит.

Новеллист провортерл ножом две дырки в поясе, уменьшил свой объем на одну из них и сел к столу. Он попытался вызвать в своем воображении сумерки, утопающее в багрянце заката солнце и влюбленную пару. Эвжен и Соня будут, держась за руки, идти по городскому саду, бросая тоскливы вгляды на занятые скамьи.

— Название потом,— решил он и начал описывать прекрасный летний вечер, солнце, коричневато-розовое, как зарумянившийся пирог.

Он перестал писать и мечтательно устремил взгляд в пространство.

— Пирог,— произнес он,— великолепная штука. Пироги бывают всякие. И у каждого есть свои разновидности. Лучшая из известных мне — ватрушка. Посредине на ней две изюминки, как два глазика, так и подмигивают...

Литератор вздохнул, возвратился к действительности и опять принялся за новеллу.

Он описывал солнце, поливавшее землю лучами, как струями топленого масла; храм с куполом, мерцающим, как вилок свежей цветной капусты; красновато-бурый песок, похрустывавший под ногами влюбленных, как сухарные крошки...

Представления были так живы, что опять вынудили его прерваться.

— Хорошо,— похвалил он себя.— Получается тема сон variazioni¹, последовательное развитие главной идеи. И при этом какой необычный образ! В самом деле, что больше подходит для ужина в летнее время, чем цветная капуста с сухарным соусом? Капуста рассыпается, сухарики похрустывают. Масло душисто пахнет. Назовите мне самые дорогие духи, а я все-таки буду надеяться, что, обняв белую лебедь с третьего этажа, почувствую запах топленого масла.

Следующие строки говорили о любви, пьянящей, как вино, и ручках, пухленьких и мягких, как сдобные булочки, что снова заставило новеллиста в волнении задуматься.

— Сдобная булочка. С золотистой подрумяненной корочкой — до чего ж аппетитная вещь! Различают булочки с повидлом, маком, творогом, а также с вареньем — абрикосовым, малиновым или смородиновым. Булочки могут быть с яблоками или со сливами. Отметить надо еще булочки, облитые глазурью...

У новеллиста с глухим урчанием подводило живот. Он фантазировал еще безудержнее. Нежная Сонина шея напоминала крем в вафельной трубочке, белая грудь подымалась, как порция сбитых сливок с клубникой.

Когда в последней части Эвжен, по образному выражению, «пожирал Соню влюбленным взором», Милачек лишь отчаянным усилием воли заставил себя не придать прямой смысл слову «пожирал». «Сонины щеки в любовном том-

¹ с вариациями (ит.).

лении раскраснелись, как два помидора», — и это, в свою очередь, забрало за живое автора.

— Помидоры! — воскликнул он и продолжал, разне-жась: — Их берут в пищу свежими и маринуют. Но это еще пустяки в сравнении с теми блюдами, которые из них можно приготовить. Томатная подливка, господа, — это баллада, она звучит в сопровождении кнедликов или же макарон. Ее можно есть ложкой, как суп. Эх, навернуть бы сейчас тарелки три!

Пан Милачек вздрогнул от звука собственного голоса и с опаской поглядел на дверь. Потом пригнулся к столу и одним духом дописал новеллу.

В конце ее счастье влюбленных озаряла луна, подобная серебряному блюду, до блеска вылизанному в пиру застольными друзьями.

— Вот так и у меня бывало, — вздохнул Милачек, отложив перо. — Если мне нравилось какое-нибудь ку-шанье, маме не надо было мыть за мной тарелку. То была юность, счастливая кипучая юность! Почки с рисом, гусиная печенка с луком...

Когда Ростислав Милачек нес рукопись в редакцию, его слегка шатало; он приписал это восторгам творческого вдохновения.

Редактор уже много лет страдал полным отсутствием аппетита. Едва он вспоминал, что надо бы поесть, его охватывал неудержимый приступ тошноты, и, кляня свою горькую долю, он старался не думать о пище.

Прочтя первый абзац произведения Милачека, редактор грозно икнул. Он с укоризной посмотрел на удрученного писателя и хотел было прекратить чтение. Но чувство долга одержало верх.

В начале второго абзаца на него снова напала икота. Приблизительно на середине новеллы она, однако, прекратилась, и желудок его издал странный урчащий звук. Потом в другой раз и в третий.

Редактор слушал, онемев от изумления. Более пятнадцати лет не раздавалось у него внутри подобных звуков.

— Это у вас? — обратился он к новеллисту.

— Да, но и у вас тоже, — отвечал Милачек, краснея.

— Вы говорите, и у меня тоже?!

Редактор вскочил.

— Пан Плоц! Пан Плоц!

Дверь отворилась, и вошел редакционный курьер.

— Берите сумку и бегите через дорогу за ужином. Возьмите мне...

Редактор схватил рукопись и стал водить пальцем по строчкам:

— «Губы, как середина бифштекса с кровью»... возьмите кусок говядины, но не очень прожаренный... «Грудь, белоснежная, как сбитые сливки»... и бисквиты со сливками. Бегите со всех ног. Дело идет о жизни человека!

Курьер Плоц, обалдев от такого известия, сделал было нетвердый шаг к двери, но желудок Милачека отчаянно завопил.

— Стойте! — громовым окриком остановил Плоца редактор.— Возьмите все это два раза. Теперь бегите, дело идет о жизни двух человек.

На следующий день рукопись показали специалисту, вот уже много лет старавшемуся совладать с расстроенным пищеварением редактора. Доктор, человек совершенно здоровый, три раза прерывал чтение, чтобы поесть. Через неделю он зачитывал новеллу на съезде врачей, предварительно убедившись, что ресторан клуба достаточно оснащен продовольствием.

Но еще раньше, чем магическую силу этой вещи узнали медицинские светила, ее издали как подарочную книгу миллионным тиражом с названием «Приятного аппетита». Ее перевели на все языки мира. Она действовала на всех языках безотказно. На одном только эсперанто давала осечку.

Новелла стала другом человечества и, кроме нескольких досадных случаев переедания, не принесла особого вреда.

⟨1932⟩

ПАЦИЕНТ

Незадолго до начала приема у зубного врача полно пациентов, и мысли их — о наслаждениях, которые им предстоят.

Дзинь!

Так как сюда обычно входят без звонка, все головы дружно поворачиваются к дверям. Еще один заливистый звонок.

Простоволосая женщина, сидящая у дверей, встает, чтобы открыть. События ускоряются. Не успела она взять-

ся за дверную ручку, как звонок заливается в третий раз. Дверь распахивается, и в приемную врывается вопль:

— Доктор дома?

А за ним — бледный мужчина, прижимающий руку к щеке.

— Доктор принимает?

Мужчина окидывает присутствующих безумным взглядом.

Между тем простоволосая женщина приходит в себя от ужаса, который все больше охватывает остальных.

— Ну, ясное дело, принимает, — говорит она. — Только придется вам обождать. Мы тоже ждем.

— Ждать?

Мужчина возводит глаза к небу.

— О, ждать, — всхлипывает он, когда до него доходит смысл ее слов.

Он кинулся к окну, потом опять к дверям. Наконец, пометавшись еще немного, он рухнул на единственный свободный стул у круглого столика.

Он схватился за голову и, обнаружив на ней шляпу, сдернул ее и положил на столик.

Потом он оцепенело сидел на стуле и качал головой, лелея ее в ладонях, словно больного ребенка. Но когда остальные пациенты уже решили было, что спектакль, к сожалению, кончился, он вдруг вскочил. Поклонившись господину, сидевшему напротив, он выпалил:

— Невекло!

Господин испуганно оглянулся.

— Невекло, — повторил мужчина.

Господин испугался еще больше. Он отъехал вместе со стулом от стола и обратился к соседу:

— Что за Невеклов? О чем это он, не знаете?

— Да никакой не Невеклов! Невекло — это, знаете ли, моя фамилия. Я хотел вас спросить — у меня жутко болит зуб — здесь в самом деле нужно ждать?

— Разумеется. Такой здесь порядок: сначала идут по записи, потом новые посетители. Если у вас болит зуб, вам нужно было прийти пораньше.

— Что значит «если у вас болит зуб»? Это просто дерзость, милостивый государь! Он у меня безумно болит. Я всю ночь глаз не сомкнул, всю ночь на ногах, я ему холодные компрессы, я ему теплые, я его согревал, я его ромом, я его каплями из аптеки — а он болит, мерзавец, все время болит.

И пан Невекло яростно вытаращил глаза, после чего смирился с судьбой и стал ждать.

Когда он опять поднял голову, то увидел, что приемная все еще полна народу, но все лица были новые. Он поднялся, чтобы еще раз пробежаться по приемной и осмотреть картины, как вдруг — без всякого перехода — обнаружил, что, собственно, стоит лицом к лицу с доктором.

— Пожалуйте!

— Дело в том...

— Прошу вас сюда! — И доктор нежно втолкнул пана Невекло в кабинет. Доктор выглядел очень жизнерадостно и чуть ли не игриво. Вообще казалось, что лечение зубов доставляет ему ни с чем не сравнимое удовольствие.

— Ну, с чем изволили пожаловать? — Доктор улыбался.

— У меня зуб болит.— Пан Невекло был мрачен.

— Подумать только! — отозвался доктор. Казалось, сегодня он слышит эти слова впервые.

— Но он у меня ужасно болит.— Пан Невекло помрачнел еще больше.

— Ну-ну. Давайте-ка поглядим, что это за штучка!

— Я думаю, мне лучше прийти в другой раз,— повернулся к дверям пан Невекло.

— Ну давайте хотя бы посмотрим, хорошо? — И пан Невекло был усажен в сооружение, похожее на американский электрический стул. Перед глазами у него засверкали шеренги клещей, щипцов, пинцетов, крючков, резцов, сверл и сверлышик.

Пан Невекло очень осторожно выполнил приказ. Но язык при этом высунул так, словно собирался причащаться. Что-то холодное брызнуло ему в рот и попало в дупло зуба.

Пан Невекло взвился: «Господи Иисусе!»

— Ага, это нерв,— удовлетворенно отметил доктор.— Извольте сесть.

Он взял пана Невекло за плечи и нежно втиснул его назад, в кресло. Потом отвернулся и стал перебирать инструменты на столе. При этих звуках пан Невекло схватился за голову.

— Имейте в виду, пан доктор, я нервный!

— Не волнуйтесь,— сказал доктор,— все будет хорошо.

Он как раз собирался вставить сверло. Пан Невекло выпучил глаза как безумный и схватил его за рукав:

— Пан доктор, а это не больно?

— Нет, не больно.

Сверло начало вращаться. Это было бешеное вращение, настолько быстрое, что его почти невозможно было отличить от полной неподвижности. Слышно было лишь шипение, словно готовилась к нападению разъяренная змея.

Пан Невекло поднялся.

— Пан доктор, но я же ужасно нервный.

— Спокойно, уважаемый, главное — спокойствие,— казал доктор и приблизился, чтобы опять усадить его.

И тут пан Невекло в третий раз провозгласил голосом человека, способного на все:

— Пан доктор, я нервный, я за себя не ручаюсь.

— Я знаю,— сказал врач.— Нервность — это очень плохо, это ужасная вещь. Это злейший недуг, злейший враг человечества, это его пагуба. Скольких людей она лишила куска хлеба, сжила со свету, довела до сумасшедшего дома. Собственно говоря, нервный человек все время стоит одной ногой в могиле. А теперь извольте откинуть голову и открыть рот.

Пан Невекло подчинился как автомат. Сатанинский лик доктора мелькнул перед его очами, белый халат заслонил все обморочкой мглой. Змеиное шипение приближалось к его устам. Бззз-вррр!

— Уй-юй-юй! — завопил пан Невекло, приподнявшись на локтях.

Слегка отступив, врач смотрел на него. Так художник обозревает картину, на которую только что нанес несколько удачных мазков.

Пан Невекло держался за щеку, в глазах его застыл глубокий ужас. Врач был человек энергичный, и он моментально воспользовался этим минутным умопомрачением. Не успел пан Невекло опомниться, как орудие пытки и райских наслаждений снова погрузилось в рот, который он забыл захлопнуть. Бззз-вррр.

— Уй-юй-юй! — завопил пациент на этот раз уже осмелевшим голосом.

— Да ведь еще не должно болеть,— озадаченно сказал доктор.— Я еще только чищу вам края.

— Но ежели я такой нервный, пан доктор,— опять заявил пан Невекло совершенно отчаявшимся голосом.

— Ну, придется немножко взять себя в руки, дорогой мой. Если будете умницей, мы живо с этим покончим.— Врач говорил строго и ласково. Он явно не сомневался в убедительности своих слов.

Жуткое «уй-юй-ээээ!», раздавшееся в ответ на очеред-

ную его операцию, явно превосходило все, что ему приходилось слышать от пациентов до сих пор. Он в смятении отступил и глядел на своего пациента с возрастающим страхом. Между тем пан Невекло, захваченный безграничным отчаянием своего голоса, издавал один устрашающий выкрик за другим, и в конце концов они перешли в сплошной душераздирающий вой.

Наконец врач опомнился и кинулся к пану Невекло, чтобы зажать ему рот.

— Послушайте, прошу вас, послушайте!

— Ууу! Ууу! — завывал пан Невекло.

— Послушайте, умоляю вас, опомнитесь! — заклинал его врач.

— Уууу!

— Да послушайте же! Что подумают люди?

— Ух! — закончил пан Невекло и спросил: — А вы меня больше не тронете?

— Никак нельзя! Нужно хотя бы положить мышьяк.

— Не хочу! — капризно заявил пан Невекло.

— Но это необходимо. У вас может быть воспаление надкостницы или заражение крови.

— Господи боже,— простонал пан Невекло, которому вспомнились разговоры в приемной. Он схватился за голову и какое-то время сидел совершенно раздавленный. Врач, к которому тем временем вернулось самообладание, начал готовиться к продолжению. Когда он опять попросил пана Невекло поднять голову и открыть рот, тот заявил:

— Если будет больно, я заору!

Но врач, наученный недавним опытом, работал осторожно. На лице его был написан страх перед новым взрывом голосовых связок пациента.

Пан Невекло был явно удивлен, что больше ему почему-то не кричится. Он собирался перещеголять все, что он демонстрировал доктору до сих пор. Но у него как-то не получалось. Тампон с мышьяком был вложен в дупло зуба с невероятной нежностью. Так же выполнялись и все последующие операции — пан Невекло чувствовал себя как Гаргантюа, во рту которого прогуливается принцесса, щекоча ему нёбо павлиньим пером. Предыдущая серия всплеск обессилила его. Он был спокоен, как ребенок, который наревелся до изнеможения и теперь хочет спать.

И только где-то на задворках его сознания блуждала мысль о том, что ему еще вдруг станет больно и тогда он

должен заорать. Доктору пришлось дважды сказать ему: «Прополощите рот», прежде чем до него дошло, что операция закончена и что ему не нужно больше сидеть с открытым ртом.

Когда пан Невекло встал, врач и его пациент некоторое время молча глядели друг на друга. Наконец пан Невекло выпалил:

— Пан доктор, а ведь мне не было больно.

— Ну, вот видите,— сказал доктор, которого такое окончание настроило на миролюбивый лад.

— Ей-богу, ни капельки не болело,— продолжал пациент все еще удивленно и чуть ли не со страстью. Затем он глубоко задумался.

Несколько встревоженный этим новым оборотом событий, доктор готовился произнести магическую формулу расставания.

Пан Невекло очнулся.

— Нет, ни вот столечко не болело,— произнес он нерешительно.— И я вам как на духу признаюсь, пан доктор, мне вообще не было больно, даже когда вы мне там сверлили. Пан доктор, у вас золотые руки.

— Так что же вы так вопили? — заикаясь, вымолвил доктор, ошеломленный этим признанием.

На что пан Невекло рассудительно возразил:

— Только потому, что мне было страшно и я хотел на вас подействовать, чтобы вы были поосторожнее. Но ей же богу, этого не было нужно. Потому что вы исключительно искусный и нежный.

И, сложившись вдвое в изящном поклоне, пан Невекло выплыл из кабинета.

Доктор глубоко вздохнул и подошел к зеркалу, чтобы привести себя в порядок,— у него было такое ощущение, будто он только что с кем-то подрался и нахватал оплеух. Он подтянул узел галстука и пригладил волосы. Потом повернулся к дверям в приемную и пригласил войти следующего пациента. Но глубокая тишина была ответом на его приглашение. Никто не отозвался, никто не подошел к дверям. Тогда он сам распахнул их настежь. Приемная была пуста.

Чей-то носовой платок, валявшийся на полу, и пара опрокинутых стульев свидетельствовали о том, что помещение было покинуто в панической спешке. Несколько секунд доктор неподвижно взирал на ужасающую пустоту. Потом обернулся, в два прыжка пересек кабинет и оказался у окна.

На противоположном тротуаре стояла кучка людей, мужчины и женщины, которые возбужденно размахивали руками, показывая то на его окна, то куда-то вдоль улицы.

Он поглядел в ту сторону.

Там шагал пан Невекло. Скотина! Судя по наклону его головы, он опять держался рукой за щеку.

⟨1930⟩

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Усы были отрадой Цирила Резека, пока не предали своего господина, став на его еще румяном лице лжесвидетелями старости. Волосы оставались темными, неоскверненными тем серебром, которое никого не привлекает. Цирил Резек следил за увяданием своей былой гордости и все больше впадал в уныние. Не только потому, что любил себя, но и потому, что был человеком порядка. А ведь седеющие усы становятся строптивыми. Жесткие, они топорщатся, закручиваясь наперекор направлению укладки и нарушая плавность линии. В них развивается самовлюбленность — нередкий спутник старости. Чванство заслугами. Отвращение к дисциплине. Это уже не строй, держащий равнение, а беспорядочная, смятенная толпа.

Глаза Цирила Резека, подобно птичкам-щебетуньям, по-прежнему с восторгом опускались на склоны женских бюстов. Не говоря уже о бедрах, этих колыбелях сладострастия. Нередко и они будили своим ритмом отклик в его сердце. Но в последнее время женщины словно бы его избегали.

Зеркало над умывальником в комнате пана Резека стало зеркалом исповедальным. Стоя перед ним, он изучал и взвешивал тяжесть греха, обременившего лицо без его вины. Избавиться от усов? Но тридцатилетняя давность накрепко усадила на месте это украшение, переставшее украшать. Представьте себе, что завтра с левого берега Влтавы исчезнут Градчаны...

Цирил Резек превзошел себя, отправив свой ус в последний путь. Он ощущал при этом и праздничность, и тяжесть момента. У дверей парикмахерского заведенья остановился на минуту. Лучше обдумать все еще раз. Кто

знает, не выйдет ли оттуда опозоренным, неприемлемым для чужого глаза?

Входя в парикмахерскую и усаживаясь в кресло, он был преисполнен серьезности. Ему уже обвязали вокруг шеи салфетку, а он все не снимал пенсне и не откидывал голову на кожаную спинку. Страх снова сжал его сердце. У него мелькнула мысль, что надо было бы сфотографироваться, прежде чем он расстанется с усами. Впрочем, если это его обезобразит, их можно будет отпустить снова... Тут он снял пенсне и медленно, с осторожностью положил на мраморную доску перед собой. Туман близорукости размазал в зеркале черты его лица.

— Для начала возьмите ножницы,— сказал он парикмахеру, ожидающему приказа.

— Желаете подстричь?

— Нет, сбрить.

Далеко идущий смысл этого приказа сотряс стены заведения. Пан Резек? После стольких лет? Возможно ли такое?

Но, превозмогая волнение и нерешительность, которая начинала его одолевать, Цирил Резек произнес жестко и непреклонно:

— Я же сказал!

Как-никак, он был хозяином своих усов, и если приказал — уничтожьте их, значит так тому и быть! Но уже первое поскрипывание ножниц отозвалось в его мозгу, как звук выстрелов.

Ему захотелось крикнуть: «Остановитесь!», — но было поздно. Один ус скатился по салфетке и упал наземь. Ему показалось, что он заскрежетал при этом, как проволока. За ним другой. Рим пал.

Пан Резек боялся открыть глаза. Побритый, он чувствовал себя раздетым догола. Непривычный холодок над верхней губой соединялся с ощущением жжения от бритья и одеколона. Между глаз вырос увеличившийся в объеме нос. На равнине лица, без единого охраняющего кустика, он стоял теперь, как голая женщина, застигнутая во время купания.

«Пожалуйста» парикмахера вывело его из оцепенения. Он выпрямился и открыл глаза. Бледная луна, плывущая в облаках. Его лицо. Прежде чем взять пенсне, пан Резек коснулся рукой оголившейся губы, но тут же отдернул ее, словно коснулся чего-то мерзкого. Пенсне! Пенсне! Лучше увидеть несчастье во всем его объеме.

Из глубины зеркала на него смотрел незнакомец. Он

казался молодым, но каким-то строгим. Неужели у него от носа к губам идут такие глубокие складки?

— Ну, пан Резек, теперь вы выглядите моложе лет на десять. Без комплиментов, честное слово. Но сходство! Господи, где же я видел это лицо?

— Да Вильсон! Вылитый Вильсон,— авторитетно заявил солидный господин, ожидавший очереди.

— А ведь правда! Вылитый Вильсон! Но как это может человек настолько измениться? — Физиономия парикмахера сияла упоением астронома, открывшего новую звезду. Вся парикмахерская металась, как в порывах бури. Оба подмастерья прервали работу, потому что клиенты повернулись в креслах, чтобы быть свидетелями столь невероятного преображения.

Став центром внимания, Цирил Резек с непривычки покраснел. Теперь, когда все подтвердили его сходство с президентом Вильсоном, у него не хватило смелости снова взглянуть в зеркало и убедиться, правда ли это. Он что-то бормотал, как сконфуженный писатель среди поздравляющих поклонников. Торопливо расплатился, сунул чаевые, не замечая, что дает явно больше, и выскользнул за двери, которые перед ним распахнул ученик.

На холодном воздухе ощущение пустоты на верхней губе стало еще сильней. Радость, что все так хорошо получилось, которая поначалу охватила его, была разбита вдребезги новым ужасом. У него другое лицо. Он знает это и все вокруг тоже. Как если бы он на масленицу появился в маске среди трезвых, рассудительных людей. Если он распрямится и покажет лицо, глаза всей улицы обратятся на него.

Первый робкий взгляд проник в щель между пенсне и полями шляпы. Ничего? Поднял голову. Ничего? Люди шли мимо, не обращая на него внимания.

Он начал оттаивать, и у него засвербило в горле, как от начинающегося приступа кашля. Теперь он глядел на каждого встречного, словно хотел вынудить обратить на себя внимание. Сцена в парикмахерской снова всплыла у него перед глазами. Строгое лицо в зеркале, складки от носа к уголкам губ.

«Вильсон, говорили они?»

Он торопливо повернулся к первой же витрине. Начал всматриваться, но видно было неясно. Перешел к следующей и так начал блуждать от одной витрины к другой. Твердой уверенности у него пока не было. Походить на

президента Вильсона — это же совсем неплохо. Ощущение у пана Резека было такое, словно он вдруг открыл в себе новое существо, хотя это еще надо было подтвердить. Некоторое время он испытывающее всматривался то в витрины, то в лица встречных, пока не подошел к писчебумажному магазину, стеклянные двери которого изнутри были заклеены открытками с портретами кинозвезд.

Среди лавины прекрасных рук, спин, сладких улыбок, светских гримас и ковбойских шляп он искал знакомые черты американского государственного деятеля. Его там не было. Тем не менее, он остановился у этого магазина, борясь с последним приступом нерешительности. Сказанное в парикмахерской не шло у него из головы. Что, как они его разыгрывали? Вшел.

Стройная девушка подняла голову от страниц романа.

— Чего изволите?

Прежде чем высказать свое желание, пан Резек должен был прокашляться, чтобы голос его звучал твердо.

Продавщица нашла фотографию и с улыбкой подала ее.

— Вам одну или больше?

Он попросил еще две, хотя и был человеком бережливым. Пан Резек, может, и пошутил бы, но уж очень ему не терпелось. Положив деньги на стол, он молча ждал, когда же наконец фотографии будут завернуты. Но тут продавщица, которая до сих пор бездумно показывала товар, подольше задержала взгляд на верхней открытке. Потом испытывающее подняла глаза на лицо Резека. Опять опустила их и снова уставилась на него, полная изумления.

Цирила Резека обдало жаром. Он выхватил завернутые фотографии из ее рук и выбежал из магазина.

Дома он потратил время только на то, чтобы снять шляпу, трясущимися пальцами развернуть свою добычу и, схватив одну из открыток, сделать шаг к зеркалу. Одну за другой он сравнивал его черты со своими. Общее сходство было несомненно, но имелись кое-какие мелкие различия. Волосы президента Вильсона были разделены пробором, а Цирил Резек зачесывал их назад. Он несколько раз старательно провел расческой — и разницы как не бывало. Пенсне президента Вильсона было с овальными стеклами. Пан Резек носил дорогое пенсне с круглыми стеклами марки «пункталь». Он немедленно снял его. Где-то у него было старое пенсне с точно такими же стеклами, как у Вильсона. Кинулся искать.

Обыскивал один ящик за другим. В ночном столике, в письменном столе, в гардеробе, ящике дивана. Пенсне как сквозь землю провалилось.

Он стоял над разоренными ящиками, полный ярости, возбужденный представлением утраты и сунул руку в карман. Очешник оказался там, он его нашупал. И тут вспомнил: вчера вечером, вернувшись домой, он нашел его и положил в карман. Это старое, ненужное пенсне он обещал кому-то в порыве щедрости.

Пан Резек вынул пенсне и со страхом оглядел. Оно было в порядке. Нацепил его на нос и подошел к зеркалу. Преображение свершилось. Даже тень не омрачала полностью тождества двух этих лиц — того, на фотографии, и его, в зеркале.

Он не мог оторваться от зеркала, приобретая теперь в своих собственных глазах новую, более высокую цену. Ему казалось, что вместе с лицом неизбежно должна измениться и его судьба. Фантазия, которая не находила применения в его холостяцкой жизни, теперь, возбужденная тщеславием, заработала. Не замечая комичности своих действий, он принял несколько строгих и величавых поз. И, наблюдая игру собственной персоны, почувствовал, что судьба обманула и предала его. Ему стало ясно, что он был рожден для чего-то совершенно иного.

Слава о его разительном сходстве с американским государственным мужем ширилась, как лавина. Трудно сказать, то ли сама по себе, то ли этому способствовал Цирил Резек. Знакомые привыкли обращаться к нему: «Хелло, Вильсон!» Либо говорили: «А где же Вильсон?»

Частенько случалось, что люди, с которыми он не был знаком, услышав, как обращаются к нему приятели, начинали называть его «мистер Вильсон». Он не поправлял. Да что там, это имя он слышал с большим удовольствием, чем свое собственное.

Цирил Резек нес бремя героической судьбы, столь неожиданно обрушившейся на него, и делал все возможное, чтобы выполнить задачу, которую она в своей неисповедимости на него возложила.

Начал он с того, что дорогое пенсне подарил, а старое с овальными стеклами оставил себе. Оно для него имело теперь цену, определяемую не деньгами. Вообще его бе режливость была подорвана. Сущность столь редкостную уже нельзя было облекать жалким, старым платьем. Пан Резек обзавелся двумя костюмами из дорогого английского материала. Комнату увещивал фотографиями Вильсона,

которые ему удавалось доставать. Над ними главенствовал гипсовый, под бронзу, бюст. Он стоял на полке, где прежде среди романов Леру и Леблана рдели мемуары Казановы. Что ж, у полки, как и у ее хозяина, тоже вдруг изменилось содержание.

Пан Резек стал грозой для нескольких книготорговцев, которые не могли удовлетворить его желания иметь всё, что написано об американском деятеле. Он старательно изучал свой образец и старался не отставать от него. Читая рассуждения и речи американского президента, он чувствовал, как грудь его распирает гордость. Многие пассажи он заучивал наизусть и, когда был уверен, что его никто не видит и не слышит, декламировал их с энтузиазмом студента, восхищенного стихами любимого поэта. Пан Резек пытался перенести привычки президента в свою жизнь. Приучал себя кдержанности, старался не обращать внимания на женщин, убеждая себя, что он занят мыслями серьезными и возвышенными. И хотя пан Резек был благополучным старым холостяком, жившим без особых волнений и забот, теперь ходил сдвинув брови, как человек, в голове которого мысли маршируют по дорогам, вымощенным плитами логики.

Слава о его невероятном сходстве росла. Он и сам не знал, как это случилось, но однажды на экскурсии, где было много незнакомых людей, какой-то молодой человек с испуганным лицом попросил его минутку постоять, нажал перед ним кнопку фотоаппарата и исчез раньше, чем Цирил Резек понял, в чем дело.

И вот через неделю он обнаружил свое изображение в популярном иллюстрированном журнале между разделами «Графология» и «Советы молодым супругам». А под фото прочел буквально следующее: «Пан Цирил Резек, двойник президента Вильсона и великий знаток его личности». Пораженный, взирал пан Резек на свою фотографию. Случилось нечто великое. Он перестал принадлежать себе и узкому кругу знакомых — отныне он становился личностью общественной.

В тот день, когда вышел номер иллюстрированного журнала, чрезвычайно важный для Цирила Резека, он, как и обычно по вечерам, отправился в свой трактир, для верности захватив с собой журнал. Люди ведь бывают невнимательными именно тогда, когда их внимание должно было быть удвоенным.

Но он недооценил своих друзей. Они приветствовали его, как подобает приветствовать столь замечательного мужа, и в их шутках сквозили почтение, изумление и зависть. В его честь было сыгрывано небольшое торжество. По всеобщему требованию Цирил Резек сказал речь о президенте Вильсоне.

Но когда он садился, под аплодисменты и поздравления, взгляд его упал на человека, сидящего напротив в другом конце зала.

Он был ему незнаком.

Но, черт возьми, это лицо...

Пан Резек с тоской оглянулся на соседей. Они ничего не заметили. Возможно, он слишком много выпил, и у него разыгралось воображение. Но страх не отпускал.

Ведь это могло быть попыткой низвергнуть его с места, которое он завоевал с таким трудом. Безусловно, кто-то из врагов (хотя у него таковых и не было) нашел этого человека, чтобы нежданно-негаданно произвести переворот.

Правда, незнакомец был несколько дней не брит и без пенсне, с всклокоченными волосами, но опасность все равно была.

Пан Резек представил его с приглашенными на пробор волосами, со складками, которые сейчас скрывала щетка отрастающих усов, и, конечно, в его кармане, как кинжал злодея, могло таиться пенсне. К тому же мужчина сидел один, молча, потягивая пиво.

Дело шло к полночи.

Пан Резек давно уже перестал быть центром внимания. Страх и выпитое пиво тяготили его, но он боялся встать из-за стола. Ведь эта чертовщина могла совериться в его отсутствие.

Наконец мужчина поднялся и направился к выходу. Сама судьба послала Цирилу Резеку возможность избавиться от беспокойства.

Он догнал незнакомца в маленькой прихожей, где глаз единственного светильника, воспаленный спертым воздухом, в который он вечно гляделся, распространял слабый свет.

Цирил Резек заколебался, но опасность была слишком велика. Разговор надо было завязать во что бы то ни стало. Откинув формальности, он обратился к мужчине слегка взъявленным голосом:

— Приятный вечерок, не правда ли? Жаль, что он уже прошел.

— А мне это все равно,— ответил тот нервно.

— Вы, что же, не повеселились? — Голос Цирила Резека ступал на цыпочках со всей осторожностью.

— Да нет, мне домой хочется!

— А вам нельзя?

— Нет.

Ответ поверг пана Резека в дикое смятение.

— Может, это будет неделикатно, если я спрошу вас, почему?

Теперь они стояли друг против друга.

В красноватом свете больного светильника лицо мужчины было как из страшного сна.

— Вы женаты? — спросил тот.

— Нет, то есть да, женат. Само собой,— забормотал Цирил Резек, которому казалось, что так нужно, чтобы возбудить доверие.

— Тогда вы меня поймете,— воскликнул мужчина дрожащим от подавленной страсти голосом.— Представьте себе, что у вас дома жена, дети, шлепанцы, трубка, мягкое кресло и все такое, а вы не смеете, не можете пойти домой.

— Жена вас выгнала? — спросил Цирил Резек мягко, хотя и с остатком недоверия.

— Нет! Я стою на своем! — ответил мужчина загадочно.— Я побрился, сударь, тому будет завтра три дня. Сбрив усы, потому что они седели. Ну уж и крику было, когда я пришел домой! Раньше, мол, был мужчина, а теперь сопляк. Простите, вижу вы тоже без усов, но это слова моей жены. Чтобы я отправлялся куда угодно и не возвращался, пока не отрачу усов. Раз так — значит так, решил я, и вот уже три дня как не появляюсь дома. Утром в канцелярии, после обеда на улице, а ночью — по трактирам. Растут, проклятые, еле-еле. Но я мужчина, сударь, и выстою!

— Вы больше чем мужчина,— сказал пан Резек, но это уже было, когда они рядышком сидели за столом.— Вы герой и должны выдержать. Ваша твердость делает вам честь.

Он еще долго распространялся на эту тему. Сердце его было преисполнено радости, и красноречие было цветистым, как весенний луг. Он спасен! Этот мужчина не ведал, кем он мог стать. К тому же он был упрямец и утвердить его решимость не составляло труда.

Один пан Резек знал, какая опасность его миновала. Ему дьявольски повезло. Он решил — втайне конечно,— что все равно глаз с этого человека не спустит, пока его

лицо не утонет в усах, как прибрежные скалы в волнах прибоя.

— Пейте, сударь, — говорил он. — Пейте, я плачу.

В третьем часу утра, когда звезды таяли на бледном поле небес, он тащил нового знакомца пустыми улицами в свою квартиру и бормотал:

— Ведите себя прилично, парень. Вы будете гостем президента Вильсона.

И, наклонившись к нему, шептал доверительно:

— Меня хотели устраниТЬ. Нашли якобы какого-то двойника, но я их вовремя раскусил. Весной начну политическую деятельность. Выставлю свою кандидатуру.

Это была сокровеннейшая мысль, до которой поднялось его тщеславие в последние дни.

⟨1930⟩

ЖЕРТВА

Пан Соха с младых ногтей поклонялся Идеалу. Он тщетно мечтал о прекрасных женщинах, совершенной любви и абсолютной бедности, которая, как известно, не порок, а самое святое дело: наставляет добру и очищает от эгоизма. Он презирал богатство, обожал красоту и до своих тридцати лет смеялся над соблазнами, которые упорно обходили его.

Пан Соха жил в своем особом мире. Это был мир притворства и обмана, дремучий лес ловушек с золотым оскалом и змеиным взглядом. Странной игрой судьбы к нему тянулись самые отъявленные негодия. Алчность простирала к нему свои щупальца, зависть обдавала его смрадным дыханием. Темные силы стерегли его гений и мешали ему парить под небесами. Он избегал друзей, которые завидовали ему, воевал с работодателем, напуганным его дарованием, и делал все возможное, чтобы помешать родителям объединиться против него.

Когда ему минуло тридцать, в одном частном доме на чае он встретился с девушкой примерно того же возраста. Она не была красива, но о ее приданом говорили взахлеб. Пан Соха не отходил от нее весь вечер.

— Толкуют о вашем богатстве, — сказал он ей, — но вы прежде всего очень умны.

Она благодарно улыбнулась ему.

— Много раз пытались женить меня на деньгах,— сказал он немного погодя,— но мне всегда удавалось увернуться от этого. Бог даст, всегда будет так.

Эти слова ее опечалили.

На другой день пан Соха встретился с одним из своих сомнительных друзей и мимоходом заметил:

— Поговаривают, что я сделал предложение пани Иржине. Это несусветная ложь.

— Кто это сказал?

— Я не стану никого называть, но разделаюсь с каждым, кто посмеет хоть пикнуть об этом.

Этот приятель поделился с другим, а тот доверился третьему. На следующем чае уже никто не решался сесть возле девицы Иржины.

Пан Соха все более хмурился. Интрига обступила его. После аперитива к нему подошла хозяйка дома.

— Иржина восхищена вами.

Пан Соха чувствовал, что под ним разверзается пропасть. Какой, однако, далекий путь от восхищения девушки кем-то до того момента, когда она ощущает себя им же скомпрометированной. И в самом деле, несчастье не заставило себя долго ждать.

Перед алтарем он ответил «да» только потому, что сто глаз уставились на него. Он был окружен людьми, которые сошлись для того, чтобы распорядиться его судьбой. Его свергли с высот Идеала и превратили в обычного скареду, который женится по расчету. Это было так отвратительно, что он подумывал о самоубийстве. Чтобы остаться в этой жизни, он сказал жене:

— Это недостойно, чтобы ты сама оплачивала свои счета, и тем более унизительно, чтобы ты платила еще и за меня. Я никогда не мог представить себе ничего подобного. Я раздавлен. Я невыносимо страдаю.

И эта маленькая дурнушка, бесконечно осчастливленная щепетильностью своего мужа, ответила:

— Дорогой мой, нет ничего проще. Переведем мое состояние на твое имя, и все будет прекрасно.

Но испытания пана Сохи на этом не кончились. Он с недоверием следил за своей женой. Не спускал глаз с ее родственников.

— Когда-нибудь они сойдутся и ткнут мне в лицо, что сделали меня состоятельным человеком.

И он стал раздумывать, как бы ему защититься от этого нового нависшего над ним унижения. Бесконечно страдая, он вновь прибегнул к своему испытанному оружию.

— Ходят слухи,— говорил он знакомым,— что моя жена расточительна и содержит любовника. Я приму самые энергичные меры против подлых клеветников.

Но вопреки всем его усилиям эти слухи не только упорно держались, но и ширились. Чем решительнее он с ними боролся, тем чаще они до него доходили. Он был скомпрометирован, его семейная жизнь разбита. Пан Соха нигде не мог появиться, чтобы люди не указывали на него пальцем. На него и на его жену.

Он подал несколько жалоб по поводу оскорблений личности. Но разбирательства показали, что никто ни в чем не виноват, и что этот слышал от того, а тот, в свою очередь, от другого, и что даже воробы о том чирикают на всех заборах, и только один супруг ни о чем не ведает. Но уж так повелось на свете. Репутация его жены была непоправимо погублена, и цепь страданий пана Сохи пополнилась новыми звенями.

В бракоразводной тяжбе эта бесстыдница сделала все возможное, чтобы лишить его наследства, которое ей принесла.

Только невероятными усилиями ему удалось сохранить кое-какую мелочь, но это было таким ничтожным вознаграждением за все, что ему удалось вынести!

Теперь он мечтал исчезнуть из мира и одиночеством залечить свое разочарование. Но воротился он из странствий в сопровождении женщины, хоть и красивой, но тоже богатой.

Ничто не побороло судьбы — ни расстояние, ни дальнние страны.

И, завладев красотой, он по-прежнему тщетно и безутешно мечтал о бедности, которая, как известно, не порок, а самое святое дело: наставляет добру и очищает от эгоизма.

⟨1930⟩

ВЗЯТОЧНИК

«Пан Томаш Гудра — владелец каменоломни и каменотесной мастерской» — сообщали синие буквы на белой табличке, обрамленной красной каймой. Из этого можно было заключить, что пан Томаш Гудра был патриотом. И он им был.

Но...

Вот с этого-то «но», завершенного многоточием, и начнется рассказ о том, как пан Гудра, владелец каменоломни и каменотесной мастерской, растерял свой патриотизм.

Пан Томаш Гудра всегда участвовал в торгах, и «Заготовительная контора» простым и поистине справедливым способом вела заготовку камня. Потерпев неудачу первый раз, он сказал:

— Продулся, потому что их, видать, не проведешь.

Снизил цену и проиграл. Опять сбавил цену и снова проиграл. Вычел прибыль, покрыл накладные расходы, включился в торги и снова проиграл. Конкуренты могли похвастать хотя бы одним контрактом. Все, кроме него. Пан Гудра был оскорблен. Ему казалось, что это бросает тень на его предприятие. Теперь он предложил свой товар с убытком в 20 крон на кубометре, решив про себя:

— Черт с ним!

И снова неудача.

Если кто пекарь, то и сам слегка смахивает на тесто, ну, а если уж каменотес, то — кремень-мужик.

Пан Томаш Гудра сказал:

— Если тут нет подвоха, значит эти мерзавцы отдают задаром.

И решил, что всех обскакет, если предложит кубометр лучшего гранита за бесценок.

Случай иной раз бывает мудрее всякого мудреца.

В это самое время шеф конкурирующей фирмы, придя к заключению, что жизнерадостность его супруги и бледность бухгалтера находятся в прямой зависимости, совершил необдуманный поступок: изгнал молодого человека, чем существенно повредил своей торговле, а отнюдь не супруге.

Пан Пециан, бухгалтер, представился пану Гудре и был принят. Владелец каменоломни поделился с ним своими трудностями и заявил, что в следующий раз снизит цену еще на десять крон за кубик. Пан Пециан в ответ расхохотался, ну просто зашелся от смеха. Сначала пан Гудра опешил, а потом поднял кулак, сильно смахивающий на молот каменотеса. Это вмиг успокоило пана Пециана. В беседе, которая воспоследовала, бухгалтер сообщил шефу нечто столь удивительное, что старый пан полчаса ревел как бык и что есть силы лупил по столу кулаками. Пан Пециан был джентльмен и привык к деликатному обращению. Под конец он сказал:

— Как вам будет угодно, пан шеф,— и ушел к своей конторке.

Этак через недельку пан Гудра приказал бухгалтеру:

— Пан Пециан, возьмите белый конверт, вложите в него пятитысячную и принесите мне в контору.

Бухгалтер усмехнулся, высоко поднял брови и встал из-за конторки.

— Вы все-таки решились, пан шеф? — с приятностью спросил он, кладя конверт на стол. Пан Гудра заглянул в конверт, как разбойник в магазин пистолета.

— Эти пять тысяч, пан Пециан, пока не учитывайте.

Нахлобучил шляпу и вышел из конторы. Бухгалтер в недоумении смотрел ему вслед. Потом поправил галстук, складки на брюках, запустил руку в коробку сигарет «Египет» и вернулся на свое место.

По пути в «Заготовительную контору» пан Гудра завернул в пльзенскую пивную и три винных погребка — сербский, итальянский и далматинский.

И встал, подобный глыбе из собственной каменоломни, перед ответственным референтом и тяжело, как глыба, опустился на предложенный стул. Ответственный референт был скользкий, как угорь, круглый, как мяч и, наверное, мягкий, как пуховая подушка. Поблескивали у него глаза, а стекла пенсне.

— Понимаю ваши трудности,— начал он сладко, выслушав пана Гудру,— однако помочь не могу. Более того, могу сказать, что вам и смысла не имело приходить сюда. С точки зрения официальной, подобные частные вторжения недопустимы, даже наказуемы. Очевидно, дефект надо искать в вашем товаре. Договорное управление всегда принимает наивыгоднейшее предложение.

Ответственный референт поднялся, желая кончить аудиенцию. Продолжая сидеть, пан Гудра, послушный совету бухгалтера, потянулся к карману и бухнул на стол конверт, белизна которого изнутри слегка голубела.

Ответственный референт мягко, как снежинка, опустился в кресло.

— Гм,— произнес он,— странно, что вы до сих пор ничего не добились.

Пальцы референта затопали куриными шажками по поверхности стола и несколько раз тюкнули по конверту. Конверт пододвинулся к открытому ящику, а пан Гудра не мог бы объяснить, как же это получилось.

— Это не отвечает официальной позиции,— продолжал ответственный референт строго,— но я хотел бы убе-

диться, что же является причиной ваших неудач. У вас, конечно, есть при себе новое предложение?

Пан Гудра немедля выложил его. В нем он оценивал свой гранит, словно продавал его в розницу по килограмму. Мастера-плиточника или строителя от такой цены схватили бы корчи.

Ответственный референт был очарован.

— Странно,— сказал он,— предложение настолько выгодное случается весьма редко. Вы, почтеннейший, плут, плутишка, подстроили нам славную ловушку. Но я вас перехитрю. Оставлю ваш листочек, и мы сравним. Разумеется, никаких повышений...

Голос ответственного референта был то игривым, то строгим... Пан Томаш Гудра встал.

— Значит, на этот раз я могу надеяться... — сказал он сдавленным голосом.

— Безусловно, уважаемый господин, безусловно. Надеяться всегда дозволено.

Белый конверт, балансирующий на краю стола, потерял равновесие и упал в открытый ящик.

— Стойте,— крикнул пан Гудра вскочив, наклонился через стол и вытащил конверт.

— Значит, так можно? А когда я совал вам чуть не даром, было нельзя? Ах, вы, негодяи, выходит, правда, что вы нас обдираете!

Пан Гудра не удержался. Пенсне ответственного референта отлетело к окну и разбилось.

— Советую, чтобы пошло и так, а если нет — приду еще разок...

— Я ознакомился с материалом,— сказал адвокат пану Гудре,— дело плохо. И что вам, уважаемый, взбрело в голову? Будет лучше, если одиннадцатого вы туда не явитесь.

— Нет уж, я туда явлюсь,— заявил каменотес упрямо.

— Именем республики,— заключил судья одиннадцатого октября эту веселенькую историю,— пан Томаш Гудра осуждается за попытку дать взятку чиновнику, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, к двум месяцам тюрьмы, а за нанесение легкого телесного повреждения, выразившегося в попытке напасть на ответственного референта после упомянутой неудавшейся попытки, дополнительно к двум неделям заключения. Одновременно пан Гудра приговаривается к денежному

возмещению пану ответственному референту за побои в сумме пяти тысяч крон. Если приговор не будет обжалован, он вступает в силу...

— Где этот мерзавец,— зарычал пан Гудра, когда судья дочитал приговор.— Почему он не явился? Я бы ему перед достославным судом расквасил его лживую пасть.

Адвокат противной стороны живо отозвался:

— Расширяю жалобу, присовокупив угрозы насилия, и требую, чтобы она была рассмотрена.

Адвокат пана Гудры всплеснул руками, схватил своего клиента за плечо и вытолкнул из зала суда.

⟨1928⟩

УДАРИЛО МОЛНИЕЙ

В воскресенье под святую Анну Франта Боуцку вертился с военных учений домой, в родную деревню. Было жарко, как и положено о сю пору, когда святая Маркета, размахивая серпом, зажигает рожь. Было так жарко, что, казалось, в этом нестерпимом пекле займутся сами по себе и запылают поля, постройки, земля и все живое на ней.

Франта Боуцку был так изнурен жарой, что, едва поздоровавшись с матерью, без сил опустился на лавку у стола. Скинул мундир — рубашка так и липла к телу. Кнедлики застревали в пересохшем горле, каждый кусок он запивал большими глотками молока. А пока жевал, пил и глотал, все прикидывал, хватит ли его на то, чтоб забраться на чердак по лестнице и растянуться там на сене.

Но когда, покрякивая, он стал разуваться и уже расшнуровал ботинок до третьей дырочки, заговорила мать:

— На твоем месте я б не раздевалась.

— Что так?

— Нешто ты не ночной сторож? — спросила она.

— Ну ночной, а что с того?

— На твоем месте я б оделась и пошла в нижний трактир на танцульку.

Франта, так и не вытянув шнурок из третьей дырочки, уставился на мать:

— Послушайте, мамаша,— сказал он, отчеканивая каждое слово,— вас, слушаем, не припекло солнышко? Вздор какой несет! Что мне за дело, хотя бы и сторожу, до этих танцулек? Уморился я, как собака, ноги вовсе не

мои от всей этой шагистики, а тут еще пекло такое. Пойду лягу.

Франта опять нагнулся и вытащил шнурок из третьей дырочки. Но старуха Боуцкова не теряла спокойствия. Только бороздки на ее морщинистом лице как-то задвигались, задергались, потом снова разгладились.

— Послушай, Франтишек, а куда, собственно, ты лечь собираешься? — спросила она ласково.

— Как куда? На чердак.— Франта уже начинал беспокоиться.

— Оно конечно,— продолжала старая,— ты всегда так делал. Но сейчас-то на что там ляжешь? Прямо на пол? Сена там нет, намедни свезла его за гумно просушить, потому как преть начало.

Франта только глаза таращил. Слыхано ли, чтоб сено прело в июле на чердаке? Когда свозили, сухое было, как трут,— даже крошилось. Он хотел вставить что-то, да мать снова за свое:

— На постель — тоже не выйдет. Разобрала я обе постели и вынесла с перинами в сад проветрить. И сундуки, и одежду. Моль завелась. Да ты слепой, что ли, не видишь — дом белим?

Франта уже давно забыл про ботинки и все на мать пялился. Чем дальше он слушал, тем больше голова шла кругом. Озираться стал. И впрямь в доме все вверх дном было. Потом он поднялся и, волоча за собой шнурок от ботинка, поплелся в соседнюю горницу. И там ничего-шеньки. Стены свежевыбеленные, да пол еще не отмытый — весь в известке. И правда белили! Но где ж это видано, чтоб белили в самую жатву. Он глянул на мать с растущей тревогой. Ему уж давно казалось, что с ней не все ладно. Но чтоб так сразу, как гром среди ясного неба, да еще когда его не было дома,— такого он никак не ожидал.

— Мама, что это вас угораздило? — запинаясь, спросил он.

— Да ничего, сынок, не угораздило,— спокойно ответила старая, и снова морщинки как бы заскользили на ее лице.— Соседи вон белят, и я за ними.

Франта задумался. Спятали все, что ли, за эти три недели, пока он был на учениях? Однако этот сосед Куба — хитрая бестия, палец в рот ему не клади! А пока Франта так думал, старая опять начала:

— Недели две тому, сынок, пожаловал к нам страховщик. Крутился тут, все выглядывал, а потом и говорит:

«На сколько, мать, у вас тут застраховано?» Я отвечаю: «На пятнадцать тыщ». А он мне: «Да, не больно-то много. И все у вас под соломкой, кровля в кровлю с соседями, а у них тоже с этим делом — хуже некуда. Что лето нынче жаркое будет, небось, слыхали? Оно, конечно, не обязательно у вас должно случиться. Но ежели и рядом займется, похоже, что и вас не минет». Вытаскивает он это бумагу, объясняет, подсчитывает. Я, точно бревно какое,— никак в толк не возьму. А как он показал мне, что соседи уже дело обтяпали, собралась я с силами да бегом к ним для верности. Спрашиваю: «Вы увеличили взнос?» — «Да, увеличили», — отвечают. «На сколько?» — спрашиваю, а они: «На двадцать». Бегу назад. Ежели они на двадцать, говорю, я — на двадцать пять. В общем-то, это гроши. Ну а потом ждать стала. А как соседи белить начали — и я за это взялась.

Боуцкова умолкла и смотрела на Франту с материнской нежностью. Франта стал шнуровать ботинок.

— А я так подумала,— коли ты ночной сторож, так негоже тебе аккурат сегодня дома сидеть.

Франта надел мундир и вздохнул. На пороге обернулся и говорит:

— Ну, ежели кому понадоблюсь, я в трактире пошел.

Когда Франта доплелся до трактира, солнце уже почти село. А впрочем, не совсем так. Его лучи обстреливали деревню из-за огромной тучи, наползавшей с запада. Лучи обжигали, и туча не предвещала ничего доброго.

Перед трактиром баба торговала солеными огурцами, напротив стоял мороженщик. Это было уже нечто новое. Благосостояние, которым одарила землю республика, явилось в эту деревню в образе белой тележки с мороженым. Стайка мальчишек тянулась к окнам трактира и делила выклянченные кроны между бабой с огурцами и мороженщиком в белой курточке.

В сопровождении кавалеров выходили проветриться девушки — свои страждущие сердца они охлаждали порциями мороженого, а жар страстей распаляли солеными огурцами.

В трактире было душно, как в прачечной. Пар оседал на железной лампе и каплями стекал на танцующих. Танцевали и пили в одних рубашках. Рубашки были распахнуты, обнажая волосатые крестьянские груди, по которым крупинками катился пот. Однако веселье есть веселье. И те девушки, что ставили удобство превыше всяких нарядов, кружились в одних исподних юбках.

Сосед Куба был еще совсем зеленый юнец, но сидел возле старосты. Староста приходился ему тестем, и уж кто-кто, а староста умел выбирать людей. Итак, два прохиндея сидели рядом. К тому же, староста был еще начальником пожарной охраны.

— Вот оно что,— сказал староста, завидя Франту,— домой воротился. Поди сюда, парень, выпей-ка. За ту пору, пока тебя не было, ничегошеньки в деревне не пропало.

— Ваше здоровье, папаша.— Франта сделал вид, что не понял намека.

— Что это ты, Куба, нынче в жатву белить вздумал? Куба заморгал глазами.

— Так вы тоже белите.

Франта ни слова, этак все равно ничего не выяснишь. Рядом сидел дед Гулу — не хватает еще перед ним откровенничать.

Дед Гулу безбедно живет за счет сына, которому отказал имущество. Сын боится его, сноха тоже. Батюшки ты мои, дед Гулу — барин! Сидит, бормочет что-то, подборо-док у него так и трясеется. Дед знает обо всех делах в деревне. Времени ему на это не занимать.

— То-то и оно, скажу я вам, ничего лучше вы не могли придумать. Такое пекло — уж как-нибудь высохнет. Вон ведь, все точно порох. Кабы спичку кому аль уголек из трубы — подпустили бы тут красного петуха. Не приведи господи.

И дед Гулу смеется.

Куба и Франта — ни слова, а староста передернул плечами, сидит, хмурится.

— Не страшай, дед.

— Так оно ничего, староста, ничего,— дед ему на это.— Тебе-то, кстати, что с того? Твоя-то изба под шифером... Это для тех, у кого под соломой. А такой день, как nonешний, для беды точно сотворенный. В деревне — ни души, пожарные нализались до чертиков.

Мужики сидят навострив уши. На своих местах ерзают. Сегодня — мне, завтра — тебе. Но у кого рука подымется вышвырнуть деда Гулу из трактира? Не стоит с ним заводиться.

Вдруг в зале наступает тишина. Музыка смолкла, пары не кружатся. Пожилые крестьяне подымаются — хотят взглянуть, что приключилось. Посреди зала пусто, все к стенам отодвинуто. На свободном пространстве — двое парней. Набычились, головы опущены, руки в локтях

согнуты, на руках не пальцы — когти, пляят глаза друг на друга. Всем ясно: настал час, когда будет вбит гвоздь всего вечера.

— Ты мне дал в морду? — спрашивает один. И голос у него почти ласковый, какой-то тягучий от удивления.

— И еще дам,— хмуро отрезает второй.

— Ну дай, дай,— вызывающе продолжает первый.— Только живо. Потом такое из тебя сделаю — и во сне тебе не снилось. Ну дай, только живо, пока не слопал тебя с потрохами.

В ту самую минуту, когда прозвучал этот ультиматум и стороны собрались перейти к боевым действиям, дирижер попытался было снова приманить вспугнутую голубицу мира, укрощая противников звуками скрипки, точно разъярившихся кобр. Неодобрительный гул поднялся в толпе зрителей и, чудом обернувшись летящей двухлитровой кружкой, угодил в дирижерскую скрипку.

В согнутой руке скрипача остался только гриф. Корпус скрипки щепой повис на четырех струнах.

Тем временем парень, столь училивыми вызванный на бой, собрался было оглоушить своего противника, но, не найдя его головы на месте, а ощущив всю ее тяжесть в ударе под ложечку, с удивлением шлепнулся на пол.

Стая двухлитровых кружек, увлеченных примером первой, взмыла вверх, чтобы опуститься затем где попало.

Да, престольный праздник был в самом разгаре.

Музыканты сразу же смекнули, что их миссия окончена, и бросились к открытому окну.

Решительно прозвучал приказ:

— Контрабас, вперед!

Давление изнутри было столь велико, что эту пробку выбило из окна раньше самого контрабасиста. Под окном он нашел инструмент, а в нем — кларнетиста.

Тут внезапно над всем этим содомом прокатился затяжной раскат грома, и волнистое острие молнии вырвало деревню из сумрака. На деревенской площади тяжелые капли дождя сменились резким порывом ветра. Вслед за музыкантами бросились девки. Задрав юбки выше головы, они спешили за дом — укрыться в амбаре. Иные вспыхах забыли даже, что на них одна исподняя юбка. Но вокруг — ни души. Да и кому в эдакую погодку до побочных прелестей.

Потом все смешалось. Раскаты грома и рев мужиков

в трактире. В глазах так и сверкало: от мордобоя, от двухлитровых кружек, от молний небесных.

Вдруг вся деревня дрогнула от оглушительного грохота, и со смертоносной вспышкой где-то ударила молния. Но даже после этой встряски не воцарился мир под трактирной крышей. Кулаки, застывшие было в испуге, заработали с новой силой, и бой продолжался. И лишь небо упало на землю страшным водяным смерчом.

А из опустевшей деревни, сжавшейся, поникшей перед этим диким нашествием вод, донесся вдруг странный неистовый крик. Он рос, усиливался, пока пронзительным визгом не покрыл все вокруг,— и яростный лязг листвы бури, и рык взыгравших забияк. В трактир он ворвался вместе с перекошенными женскими лицами в окнах.

— Пожар!

Веселье как рукой сняло. Франта Боуцку, позабывший к этому времени и об усталости и о том, зачем сюда вообще пожаловал, распаялся все больше и уж хотел было ввязаться в драку, но, заслышив крик, всполошился не меньше других. Правда, никто в трактире не выглядел таким испуганным, как соседский Куба.

— Чепуха какая! — вскричал он.— В такую мокроту — да чтоб загорелось.

Допил одним глотком пиво и бросился за остальными.

В дверях дед Гулу стоит — всегда под ногами болтается.

— Эй, Куба!

— Чего?

— Ну ты, брат, горазд высчитывать. Гром-то как по заказу.

Куба прошипел, наклонившись к деду:

— Молчи, старый хрыч, не то по морде съезжу.

Дождь падал уже редкими каплями, и за краем пробежавшей тучи зажглись звезды. Гроза гудела где-то вдали, но ветер дул размежленно и упорно. Посреди деревни красное полымя вздувалось к багряному небу. Хибарки Франты и Кубы стояли все в пламени. Молния как-то так ловко ударила в их соединенные фронтоны, что обе загорелись одновременно. Да, похоже на то. А потом пламя металось по чердакам, не в силах ухватиться за намокшую солому.

Объявились бидоны, шайки, кадушки. Из богадельни, что стояла напротив, приплелась бабка Чуликова с кофейником и все просила пропустить ее — она, мол, огонь

зальет. Бабы визжали, мужики носились как угорелые. Ну и дела, батюшки мои! Старая Боуцкова все рвала назад, в хибару. Мол, оставила там впопыхах сберегательную книжку, а теперь ей с сыном — хоть по миру иди! Едва удержали старуху. А когда ее в беспамятстве оттащили наконец в сторону, подошел к ней Франта и сказал:

— Мамаша, если это правда, вы и впрямь стоите, чтоб вас туда кинуть.

А она улыбнулась ему с материнской нежностью и говорит:

— Дурак ты был, дураком и остался.

И весьма выразительно сунула руку за пазуху.

А к огню и подступиться было нельзя.

Взрывом он прошиб снопы соломы, и теперь все вокруг напоминало шабаш ведьм. Огненные метелки летели в толпу и шипели, опускаясь на сырую землю. Наконец над всем этим гамом, треском огня, людскими криками и мычаньем ошалевшей скотины вознесся ясный и пронзительный звук пожарной трубы.

Драчуны из нижнего трактира, аккуратно напялив на свои шишкы каски и нацепив топорики, в полном боевом параде бросились спасать соседское имущество. Впереди всех бежал староста в своей медной каске, алеющей бликами пожара. И без устали трубил. Пожарный насос был вроде бы уже здесь. Оставалось только скинуть кошку, не знаяшую куда спрятаться со своими котятами, а там и тушить можно. (Тем временем в саду старосты двое добровольцев бились со шлангом — детишки наладили его между деревьями вместо качелей.)

Соседский Куба стоял во главе цепочки, по которой торопились к нему ведра, переходя из рук в руки. Грудью встав против огненного чудища, он спасал свое добро. Он выплескивал ушаты воды именно в те места, которые не облизал еще ни один язычок пламени.

Староста трубил и все рвался вперед. Он протиснулся сквозь толпу. Там, где опасность поднимала голову, он всегда должен быть первым. Он был старостой деревни и самым главным пожарником. А тут горит дом его дочери. Страстный зов рвался из его трубы.

Вдруг резкий звук рассыпался и прекратился. И старосты — как не бывало.

Ужас сковал движения всех гасивших пожар, зеваки в испуге открыли рты. И вдруг из того места, которое походило на большую, но мелкую лужу, а теперь, освещен-

ное заревом огня, напоминало зловещее мигающее око, вынырнула рука, сжимавшая трубу.

Мороз пробежал по спине Кубы. Он подскочил к трубе и вытащил за нее своего тестя.

Староста вылил воду из трубы, отплюнулся, отряхнулся по-собачьи.

— Эй, Куба, слыши...

— Заткнитесь и трубите! Трубите, говорю вам, что есть силы!

И Куба выступил вперед. Отблески огня плясали у него по лицу, и весь вид отвечал его голосу. А голос не предвещал ничего доброго!

Староста трубил. Трубил вовсю. Трубил так сильно, что еле на ногах держался. Но трубил.

Только никому уже до этого не было дела — ни огню, ни людям. Огонь полыхал, люди тушили. Но тушили без прежнего усердия. Эти две лачуги стояли рядом, но в отдалении от других домов. Кому какая опасность от них? А что сами сгорят дотла — это и так ясно. И потом, человек никогда не знает — угодит ли, нет ли...

Передают они, стало быть, ведра все медленнее, а губы их двигаются все быстрее — точно заведенные.

— Слыши, сосед...

— А ведь могло и случиться.

— А оно и случилось.

— А этот его искупал, а как лез туда... да к тот...

— А уж до чего разбитной.

— А эти ямы-то он под столбы к новым воротам выкопал...

— А это уж точно...

— Ох уж и Куба! Староста-то знал, за кого дочь отдавать.

А огонь все жрал и жрал, покуда ничего не осталось. Лишь под утро догорел. В обед, когда пришли в деревню жандармы, только пепелище смердело.

Дед Гулу, завидев серые мундиры, поднялся и засеменил за ними. И так трясся у него подбородок, что даже ухмылка на губах не держалась.

А там, где вчера тонул староста, уже не было ни лужи, ни ямы. Только две кучи песка светились на солнце. Одна против другой. Песка золотистого, чистого. Такого, какой на цемент идет.

Никто не рискнет утверждать, что работу изобрели именно жители Бытени или что они жить без нее не могли. Но Ферда Корец даже среди них выделялся. Отец его, умирая, сказал ему с чистой совестью: «Ферда, эта изба твоя». Но, кроме избы, ничего больше ему не досталось, потому что последнее поле пошло в приданое сестре Анне. В хлеву даже козы не осталось, кроликам вздумалось издохнуть (правда, Ферда их три дня не кормил), а голуби разлетелись по соседям. Как ни странно, изба осталась чистой, на ней не висело ни единого должка — папаша поздно покатился по наклонной плоскости и успел пропить только землю. И осталось Ферде одно-единственное: лечь посреди своей избы и достойно умереть с голоду. Приходят соседи: «Ферда, иди к нам работать. Глядишь, как-нибудь и перебьешься». Но Ферда себе думает: «Как же, держите карман шире, живоглоты! Только для того я и родился». И прямым ходом к старосте. «Староста,— говорит,— о ком еще общине заботиться, как не обо мне. Изба-то у меня есть, а прокормиться нечем. Тут недолго с пути сбиться и общину осрамить».

Староста рассмеялся и говорит: «Нам, Ферда, было бы жаль тебя лишиться. Что бы мы делали без такого устраивающего примера?» Сделали Ферду ночным сторожем. Дали ему рожок, и с наступлением сумерек стал он обходить Бытень и трубить каждый час. А получал Ферда как раз столько, чтобы и сытым не быть, и с голоду не помереть. Хорошо еще, что на каждом конце Бытени стояло по трактиру, а на площади — сразу четыре. И в каждом было вдоволь съестного на кухне и спиртного на стойке. Днем достаточно заморить червячка, зато вечером можно было подзаправиться как следует. Был, правда, у Ферды соперник по этой части — деревенский стражник,— но они старались друг другу дорогу не перебегать.

Вот я и говорю, чем не жизнь! Стоило, однако, последнему трактиру закрыться, как Корец трубил в последний раз и шел домой. Дома он вешал рожок над постелью и хранил наперегонки со всей Бытенью. До поры до времени все сходило ему с рук, потому что народ в Бытени снисходительный (пока дело не доходит до их карманов), но, к несчастью, в одну прекрасную ночь загорелся дом. И не у кого-нибудь, а у одного из первейших людей в общине. Так как на пожар никто не затрубил, домашние спаслись только чудом, а дом сгорел дотла. У Ферды

отняли рожок и с месяцем перемывали ему косточки на всех сходах, но, когда страховая касса согласилась возместить убыток, смилиостивился даже пострадавший и Ферду назначили охранять дичь. Стал Ферда полевым и лесным сторожем.

Наступили голодные времена, в трактирах воцарился новый ночной сторож, а от прогулок по лесу и в поле, правда, не надорвешься, но желудок на свежем воздухе тем более требует свое. Ферда чуть было не стал присматривать себе другое занятие, если бы вовремя не обнаружил, чем занимаются браконьеры. Сначала он очищал их силки, потом и сам стал их ставить. Вы себе даже не представляете, до чего эти зайцы глупые. Что ни день — еще один косой просится на сковородку, а то попадалось и что-нибудь покрупнее. Но в конце концов даже дичь приедается, к тому же, ее ведь еще приготовить нужно. Хорошо поесть любит всякий, но у Ферды Кореца эта любовь привела к серьезным изменениям в его жизни. Чтобы не готовить самому свою дичь, он взял в дом ту самую женщину, из-за которой пан священник перестал с ним здороваться, потому что Ферда жил с ней без венца. А чтобы не питаться одной дичью, он стал изворачиваться, выменивая эту дичь. Ну, ясное дело, пошли разговоры. И поскольку больше половины правления общины состояло в охотничьем союзе, дебаты о Ферде были более продолжительными и бурными, чем после пожара. Он еще дешево отделался — его просто выгнали. Но теперь в общине для Кореца больше не было места, а лежать и поплевывать в потолок Ферда уже не мог, потому что в доме появилась женщина. Ростом она была с воробушка, но — странное дело — эти здоровенные мужики всегда находят себе именно таких вот, а потом еще и дрожат перед ними.

Вполне возможно, что в ту пору Корец зачастил на бытеньский вокзал для того, чтобы уехать куда-нибудь подальше. Но без денег далеко не уедешь. Вот он и торчал здесь, глядя, как проносятся мимо или останавливаются поезда, пока однажды начальник станции не сказал ему: «Слушай, Ферда, поднеси чемодан этому господину». У Ферды даже дыхание перехватило при мысли, что он кому-то понадобился. Он подхватил чемодан и пошел. Домой он вернулся с двадцатью кронами в кармане и с кой-какими мыслями под захвачанной кепкой.

От вокзала до центра городка ходу минут пятнадцать с гаком. Двадцать крон — деньги хорошие, но руки ведь тоже не купленные. Корец ходил к поездам, таскал чемо-

даны и размышлял. Иногда на тебя сваливаются двое, а то и трое пассажиров, которым нужно поднести венцы. А тут и из-за одного намаешься. Что бы такое придумать? В сарае как раз стоял возок — отец, бывало, сам впряженялся в него и возил траву с лужка за домом. Ферда поширял по округе и однажды ввалился в дом с двумя барбосами, каждый ростом с годовалого теленка. Так было положено начало фирме «Фердинанд Корец, концессионированная доставка грузов», вывеска которой украсила избу Ферды. Теперь Ферда стоял на перроне в красной фурражке, порой его даже принимали за самого начальника станции. За ним, роняя слюни с широких добродушных морд, сидела его упряжка, готовая тащить тележку, окрашенную в зеленый цвет. Теперь Ферда обслуживал не только пассажиров. Бывает, что и торговцам поступают небольшие партии товара. Зачем посыпать за ними ученика или приказчика, если для этого есть Ферда. И раздобревший Ферда в красной фурражке, сдвинутой на затылок, тяжело шагал вперед-валку рядом со своей сопящей упряжкой.

Но теперь, когда люди стали говорить ему не «Ферда», а «пан Корец», уже не годилось, чтобы священник поворачивался к нему спиной. Ферда отправился к нему со своей избранной, и за неделю до светлого воскресенья сыграли свадьбу, на которую сошлось пол-Бытени. На венчании Ферда чинно стоял в черной суконной паре, но, выйдя из костела, тут же нахлобучил свою знаменитую красную фурражку. Народ только что не аплодировал и не кричал «ура».

Это случилось в ту пору, когда про Бытень пронюхали дачники. Корец живо учゅял выгоду. Он перебрался с женой в сарай во дворе, а все три комнаты сдал. Первый год у него, скажем, снимают пан советник и пан управляющий, на другой — пан директор и пан прокуррист. Вечером господа возвращаются с прогулки. Корец сидит на крыльце и уминает ужин. У ног чавкают его барбосы, каждый из своей миски. «Добрый вечер, пан Корец», — здороваются господа. Ферда утирает рукой масленые губы и отвечает: «Добрый вечер, господа. Ну и жара была сегодня». И вид у него такой, словно в этот день он перевез Ноев ковчег с горой Аарат в придачу.

⟨1941⟩

О БЕСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОМ

Общеизвестно, что мир видимый соответственно дополнен миром невидимым, хотя люди, которым по чистой лености не приходит в голову незаметно перевернуть на ладони монетку действительности, станут эту оборотную сторону отрицать. Так вот, в нашем рассказе мы попытаемся представить вам убедительное сообщение об одном таком представителе мира невидимого, сиречь о бесе художественном.

Как и большинство его сородичей, возник он из безответственной болтовни, а потом зажил самостоятельно и, не заботясь о благодарности своим создателям, устраивал им один подвох за другим. Существование его поначалу было смутным и неопределенным, но становилось все ощущимее из квартала в квартал, когда члены «Эллипса мастеров изобразительного искусства» завершали собрание союза в малостранском трактирчике.

Приятели Эмил Бартак и Ф. Ф. Картак садились друг против друга и, выразительно попыхивая трубками, заводили разговор о том, что в последнее время вытворяет эта дрянь неизвестного происхождения. Беседы их имели особую синкопическую динамику и ритм, ибо в тщедушном теле Эмила Бартака клокотала душа гоночного мотоцикла, а плечистый Ф. Ф. Картак подавал свои существенные дополнения с благоразумием и умудренностью эрратического валуна.

— Вчера, в полдень, пишу я, значит, этот кирпичный заводишко под нами, вокруг ни души, сам понимаешь, обед, так кому же и быть, как не ему. Заглядывает через плечо и все тут.

— Ты, что же, видел его? — спросил Ф. Ф. Картак.

— А ты-то сам когда-нибудь его видел? — живо возразил Бартак.— Его и вообще видеть нельзя. Просто я чувствовал, как он сопит над ухом.

— Ты стоял?

— Да.

— Выходит, он с тебя ростом. Потому что мне он сопит в ухо, когда я сижу.

— Подумать только! — обрадовался Бартак,— наконец-то мы о нем что-то узнали. Интересно, бородатый он или нет. Сколько раз я вдруг возьму да и отпрыгну назад, чтобы толкнуть или наступить ему на ногу. Так нет, никогда не удавалось.

— Кистью от него отмахиваешься, не помогает. Хоть

бы посидел на месте и не вертелся. Нет, все время топчеться за спиной и зыркает то через правое, то через левое плечо.

— Знаю, это хуже всего. То зыркнет так, то этак.

Трубка Ф. Ф. Картака превратилась в кратер вулкана перед извержением, что являлось единственным видимым признаком бурной деятельности, разыгравшейся в глубинах мысли художника. Окутанный густым облаком дыма, Ф. Ф. Картак изрек голосом пророка:

— Зыркала.

— Что?

— Зыркнет через правое плечо, зыркнет через левое плечо. Выходит — зыркала.

Эмил Бартак вскочил, сияя от восторга.

— Зыркала. Точно. У него козья бородка и сандалии.

— Сандалии и люстриновый пиджак.

Образ Зыркалы рисовался им все более зримо. Это был вертлявый мужичок-бодрячок с глумливыми глазами. Им казалось, что они могли бы его нарисовать, хотя приятели и не пытались этого сделать. Вызывало спор то, что он носит на голове: Ф. Ф. Картак рассудил, что подебрадку, но Бартак с яростью отверг это как plagiat, явно напоминающий определенную юмористическую литературу, которая слишком часто помогает себе эффектами подобного сорта. Они поразмышиляли насчет берета, но отринули и его, потому что один выдающийся член «Эллипса» мог бы увидеть в этом обидный намек. Под конец сошлись на панаме.

Зыркала обретал плоть. Члены «Эллипса» каждый квартал с волнением выслушивали известия о его новых проделках. Он бедокурил в мастерских наших приятелей и, не колеблясь, пускался за ними на пленэр. Типичной его шуткой было перемешать им кисти и тюбики с красками так, что они никогда не могли нашупать то, что им требовалось. Кисти у них вылезали, как кролики под осень, потому что домовой от скуки выдергивал из них щетину. Крышечек от тюбиков найти было невозможно. Зыркала ими баловался и куда-то закатывал.

Зыркала был способен буквально на все. К примеру, сбросил с мольберта свеженаписанную картину, конечно, красочной стороной вниз, куда-то задевал альбом как раз тогда, когда у вас появилась охота сделать набросок. Или, скажем, отправились вы на пленэр и налили в бутылку из-под содовой скипидар. Однако, стоило вам приехать на

место и взяться за дело, как откупоренная бутылка, фыркнув, начинала извергать из горлышка резвые пузырьки. Зыркала подменил бутылку. А зимой возьмет и погасит огонь в печке, и вы пробуждаетесь от рабочего вдохновения весь окоченевший, с насморком, гриппом или прострелом — это уж как повезет. Захотели вы угостить дорогих гостей, но в бутылке даже запаха сливовицы не осталось. Бесенок вылакал все до последней капли. Бывало, и чай приходилось пить пустой — паршивец лакомился сахаром, пока не съел весь, до последнего кусочка. Короче, что бы с вами ни стряслось, во всем был повинен он, Зыркала. Это он застилал вам глаза туманом, рылся в красках, водил вашей рукой как хотел, так что работа шла наスマрку, а то шепнет, ложись, мол, на диван и подумай серьезно, что делать дальше. И, само собой, тут же вас усыпит. Бартак обвинял беса и в худших проделках. Он утверждал, что Зыркала портит звонок, когда должны прийти покупатели или серьезные знатоки. Вообще-то звонок был в исправности, и даже над кнопкой написано: «Нажмите посильней». И, несмотря на это, вот уже второй месяц, как о покупателях ни слуху ни духу.

Впрочем, все перечисленное можно считать мелкими шуточками, какие устраивают все домовые, бесы или гномы. А Зыркала, между тем, наглел все больше, ставя под угрозу само творчество наших друзей. Он творил вещи просто невероятные, так что у внимавших им членов «Эллипса» мороз пробегал по коже.

— Пишу я, значит, этакий голешовицкий дворик, ну, знаешь, разобранные машины, колеса, крылья, шасси, а сзади деревянная сторожка с высокой жестянной трубой. К этой сторожке ты прислонишь, сказал я себе, красный мотоцикл. Его там, конечно, не было, но я-то его видел, потому что он как бы собирал воедино все остальное. Для верности я с мотоцикла и начну, гляжу — труба на сторожке мешает, и все тут. Так тебя здесь и не будет, говорю я. А Зыркала носится у меня за спиной. Зырк через левое плечо, зырк через правое. Без трубы, бубнит, картины не получится. Я делал вид, что знать о нем не знаю, и трубу, само собой, не писал. А он все толчется, вертится и орет мне то в одно ухо, то в другое: «Труба-то где, труба!» А я и ухом не веду. Да хоть ты лопни, наконец-то и я тебя допек! В сумерки собрал манатки и домой, чтобы свежим взглядом посмотреть и решить, что еще нужно делать. Ставлю картину на мольберт и зажигаю свет. Ну, знаете, я вам скажу! Проклятая труба красуется посередке! Это

был такой удар, что я от злости швырнул полотно за печку.

Пока все ужасались силе и зловредности Зыркалы, Ф. Ф. Картак пыхнул густым облаком дыма из кратера своей трубки и заявил:

— Это нам тоже известно. На прошлой неделе он устроил со мной нечто подобное в Глубочепах. Я присмотрел там длинный амбар. Белая стена, красная крыша и все замечательно гармонирует с шоссе внизу и контуром холма наверху. Принялся я за работу, а Зыркала мне подсказывал, что делать сейчас, а что потом. Работа у меня шла как по маслу, поэтому я его слушал. Молодец Зыркала. Я не сомневаясь делал все, что он мне советовал. Ну, теперь давай красную. Добавь красной! Он посоветовал это как раз, когда я принялся за стену. И получилась у меня вместо амбара живодерия.

Зыркала обосновался в «Эллипсе» и расширил пределы своих зловредных шуточек. Постепенно все члены союза уверились в существовании беса и каждый хотел что-то рассказать о нем на посиделках, после заседаний. Эмил Бартак и Ф. Ф. Картак не желали мириться с таким ростом популярности Зыркалы и не соглашались, что тот ответствен за любую глупость, совершенную кем-то. А когда наконец и секретарь союза заявил, что это из-за Зыркалы он не отправил каких-то там писем, оба друга возмутились. Зыркала — бес чисто художественный, — сказали они твердо, — и администрация союза его не интересует вообще.

Однажды, в зимний послеобеденный час, Ф. Ф. Картак писал в своем ателье девятый эскиз к картине «Три пруда», которая в отдаленном будущем должна была быть признанной вершиной чешского модерного пейзажа. Работа у него спорилась, он даже удивлялся, куда запропастился Зыркала. Залез куда-нибудь, паршивец, и спит, решил он, и в тот же момент раздался звонок с лестничной клетки. Картак отворил — на пороге стоял мужчина маленького роста, в котелке и пальто с каракулевым воротником, с седой козьей бородкой и нахальными глазами.

Он сразу затараторил:

— Маэстро Картак? Замечательно! Меня направил к вам секретарь «Эллипса». Я куплю у вас одну или две картины и побегу дальше. Долго не задержимся.

Гость тут же повесил пальто и шляпу и уверенно направился в мастерскую.

— У вас здесь отлично, маэстро, просто отлично. Но я еще не представился. Зыркала. Меня зовут Антонин Зыркала.

Ф. Ф. Картак задохнулся и «очень приятно» выскочило машинально. Но посетитель словно бы этого и не заметил, он уже суетился возле картин и сыпал:

— Картины отличные, сделаны основательно, хотя это так называемый модернизм, но хорошую работу я узнаю во всем. Эту, продолговатую, я бы повесил над буфетом.

— Двадцать пять тысяч,— загудел Картак по привычке, а сам думал: «Он это или не он? Нужно его выгнать или нет? Может быть, я ослышался. Ведь не могут же человека звать Зыркала?»

— Двадцать пять тысяч? Ну и ну... Впрочем, почему нет? Так, скажем, двадцать пять. А эта? Семнадцать? Превосходно, семнадцать. Завтра прибегу с денежками, а вы приготовьте картинки к отправке. Запишите: Антонин Зыркала, иногда меня именуют Фыркала и Тыркала, но уж, пожалуйста, Зыркала, фабрика зонтов в Дождевске.

Посетитель уже в прихожей, надевает пальто, напяливает котелок, двери за ним захлопываются, а Ф. Ф. Картак в изумлении остается в своей мастерской. Это был он, с козьей бородкой и глумливыми глазками, но он носит котелок, а не панаму. Зазвонил телефон, и Картак, взяв трубку, услышал на другом конце провода развеселый голос секретаря «Эллипса».

— Ну, что, был у тебя? А как его звали? Зыркала! Хахе. Зыркала. Теперь и Бартак на него полюбуется, пошел к нему.

Тут Ф. Ф. Картак понял, что стал жертвой неуместной шутки, воспыпал мстительной злой особенно от стыда за мысли, которыми еще минуту назад лъстил себе. Рванулся с быстротой мотора из ателье и помчал к Бартаку.

— Был?

— Кто?

— Зыркала.

— Он здесь. Только что сунул мне под ногу тюбик с ультрамарином. Фыркнул, как жаба.

— Не валяй дурака! — взревел Ф. Ф. Картак.— Живой Зыркала, в котелке и шубе.

— Сядь, я тебе принесу воды,— озабоченно сказал Бартак.

Прошло некоторое время, прежде чем Картак втолковал Бартаку, о чём речь, и оба приятеля сели рядышком на кровать и напряженно, как заговорщики, стали ждать. Два

громких звонка. На пороге знакомый мужчина. Картак победно смотрит на Бартака.

— Маэстро Бартак? Очень рад. Я пришел, чтобы купить какие-нибудь картины. Меня зовут Зыркала. Антонин Зыркала. А, здесь и маэстро Картак, старый знакомый.

Дальше посетитель не прошел. Бартак и Картак подошли к нему каждый со своей стороны и заговорили на два голоса, без пауз, один за другим. Но сначала каждый из них сделал: «Чур, чур меня», — и когда мужчина испуганно заморгал, продолжали в бурном темпе:

— Зыркалой изволите зваться. Антонином Зыркалой. Зонтики изволите производить. Картинки изволите покупать. (Они вели его, подхватив с двух сторон, к дверям, и Бартак их открыл.) Из художников изволите дураков делать? Котелок изволите носить. (Ф. Ф. Картак нахлобучил котелок ему на уши.)

— Козью бородку изволите носить? (Бартак сильно дернул его за бороденку.)

— Пана секретаря изволите поздравить. Вон отсюда! Чур нас, чур!

С этими заключительными восклицаниями приятели вышвырнули мужчину на лестницу и захлопнули дверь. Потом сели и начали пить за свою победу, пока снова дважды и резко не зазвонил звонок и в дверях не появился зеленый от ярости секретарь «Эллипса».

— Вы что же это, парни, натворили? Это же был самый солидный покупатель, который появился у нас в «Эллипсе» в последние годы.

Друзья сокрушенно переглянулись, и Картак изрек замогильным голосом:

— Зыркала. Его рук дело.

Остается вопрос метафизический: может ли Зыркала существовать одновременно в мире видимом и невидимом и может ли быть в одно и то же время и уважаемым промышленником и бесенком? Потому что если не может, то как же мы объясним все те беспокойства, ошибки, несчастные случаи и обмишуры, которые случились с приятелями и еще не раз случатся?

(1943)

III

СЧАСТЛИВЫЙ НОВЫЙ ГОД

Это пан Кромпик, Индра Кромпик,— не спутайте его с Кромпиком Яном, который был в свое время чемпионом по боксу в легком весе и, к сожалению, не состоял с лицом здесь упомянутым ни в родственной, ни в какой-либо другой связи. Так вот, этот пан Кромпик — такой же обыкновенный человек, как большинство из нас, значимый разве что для самого себя и еще, быть может, для своей квартирной хозяйки, пани Гачковой.

Вероятно даже, многие из вас с ним встречались. Пан Кромпик ежедневно ездил на семнадцатом от железнодорожного моста до проспекта Бельского — там выходил и исчезал в конторе. Но едва ли вы могли заметить его. Он был одним из тех скромных и тихих людей, которые не осмеливаются даже втиснуться в переполненный трамвай. Наш характер лепит нашу судьбу, и положение, которое пан Кромпик занимал на общественной лестнице, отвечало его качествам. Два года служил он мелким конторщиком, десять лет — письмоводителем и вот уже шестой год — чиновником без перспектив на повышение. Оставь надежду всяк сюда входящий!

Пан Кромпик так и не женился, и отнюдь не из эгоизма, а просто потому, что случай упорно обходил его. Трудно определить, какая доля вины падает здесь на заботливую пани Гачкову, добродушную старушку, вдову главного официала государственных дорог, которой пан Кромпик напоминал покойного мужа как своей кротостью, так и своей аккуратностью и любовью к шкубандам с маком. Оба были домоседами, с той лишь разницей, что пан Гачек занимался астрологией и составлял гороскопы, а пан Кромпик просто лежал, уткнувшись в романы, которые получал в городской библиотеке. Оба выбирались из дома раз в неделю: пан Гачек — на заседание общества астрологов, пан Кромпик — сыграть партию-другую в шахматы в одном из кафе на Карловой площади.

По всему видно, из пана Кромпика получился бы муж — одно заглядение, и ужасно жаль, что не сыскалась достаточно прозорливая девушка, которая сумела бы прозреть в нем супруга, по коему вздыхают большинство женщин. Был, однако, еще один уголок в душе Кромпика, куда не удавалось заглянуть ни его сослуживцам, ни партнерам по шахматам, ни пани Гачковой, видевшей в его читательском запое вариант безумия своего покойного мужа. Пан Кромпик был мечтателем — явный результат его страсти. В мечтах ему рисовалась жизнь, какой — он знал — никогда жить не будет. Он бродил по дальним странам, куда никогда не отправится, беседовал и дружил с такими знаменитостями, мизинца которых не стоил ни один из его знакомых, пускался в немыслимые авантюры, перестраивал свою душу, менял свой характер, презирал окружающий мир и принимал его лишь как неизбежную плату за то, что может расстаться с ним, когда ему вздумается.

Этого Кромпика не знал никто, кроме тех, кому был незнаком обычный пан Кромпик, чиновник с надеждой на повышение перед самым уходом на пенсию. И этим случайным собутыльникам — подчеркиваем, ими каждый раз были другие,— Индра Кромпик, выйдя из своих снов, являлся только дважды в год, чтобы на время запасть в их нетрезвую память.

В канун своего дня рождения, а это был последний день года, на Сильвестра, пан Кромпик, чиновник, нарушил свою уединенную жизнь и выпустил в свет Индра Кромпика, искателя приключений, который долгие годы провел в дальних странствиях и заскочил на родину подышать ее воздухом, ну, скажем, из Западной Африки, перед тем как снова отправиться в путь, ну, скажем, в Гватемалу. Он пристроился к какой-то компании, беглыми фразами завладел ее вниманием, а потом стал всех уговаривать, предлагая выпить за его счастливое возвращение, за удачу будущего путешествия, за здоровье некоего пана Кромпика, финансирующего его поездки и отмечающего как раз завтра день рождения. И, конечно, за Сильвестра, когда все люди такие милые и когда, в общем-то, все равно с кем дружить, лишь была бы охота вместе выпить.

Шел шестнадцатый год службы пана Кромпика, когда нацистский поток прорвал плотину, подточенную предательством, и затопил землю. Судьба народа глубоко вззовновала пана Кромпика — даже трудно было представить такие чувства у погруженного в себя нелюдима. И если в целом мало что изменилось в его реальной жизни, мир

его мечты перевернулся. Этот человек, не способный на геройство и созидающий, что никогда на него не отважится, страдал от своего бессилия и просто стонал, думая об этом. Он поостыл в своем обычном служебном рвении и считался одним из самых тупых учеников на принудительных курсах немецкого языка. Вот и все, на что он мог решиться, но как это было ничтожно для Индры Кромпика, скитальца, искателя приключений и героя. Он так ненавидел нацистов, что даже стал худеть от этих чрезмерных чувств, не находящих выхода. Правда, когда в присутствии началось дело с листовками, он увильнул, сказавшись больным. Кромпик заболел впервые за свою долгую службу. А к его возвращению в контору дело было уже закрыто, участники арестованы.

И, содрогаясь от стыда за свою трусость, пан Кромпик все глубже погружался в свои сны. В них находил он спасение, как пьяница — в вине. Но, пробуждаясь, ощущал все тот же неизлечимый стыд. В мечтах достигал Индра Кромпик небывалого геройства: один раз он надавал оплеух немецкому уполномоченному конторы, другой — сшиб его с лестницы, не то выбросил в окно. В своих сновидениях он, как вампир, убивал немецких солдат, захватывал тайный передатчик, взрывал железнодорожный мост, у которого ежедневно садился на семнадцатый, косил автоматом — хотя и близко его никогда не видел — марширующие колонны эсэсовцев, обращался в невидимку и, вооружившись смертоносными лучами, тайно сокрушал целые немецкие города, выводил из строя губительную машину нацизма, похищая его главарей и держа их в глухом подземелье до тех пор, пока не наступал конец войны.

Так дожил он до Сильвестра сорок первого года и отправился его праздновать, подчиняясь неодолимой силе многолетней привычки.

Действие того памятного вечера началось в ту минуту, когда пан Кромпик, почувствовав себя во власти Индры Кромпика, поспешил улизнуть из какой-то компании, заманившей его неведомо куда. Одеваясь в передней, он обнаружил целую батарею бутылок. Две — с французским коньяком — особенно прельстили его, и он сунул их в карманы пальто. Пан Кромпик выбрался в ночь, уже клонившейся к третьему предутреннему часу, тут же, рядом с домом, уселся на тротуар, открыл бутылку штопором карманного ножа и от всей души выпил за здоровье Индры Кромпика, который заметно возмужал в нем и расхрабрился. Потом поднялся, чтобы пуститься в путь, ему самому

пока еще неведомый. Город тонул в кромешной тьме, в которую врывались лишь одинокие стружки света, просочившегося из затемненных окон. Пооглядевшись, пан Кромпик понял, что очутился на берегу Влтавы, близ железнодорожного моста, и что, собственно, отсюда рукой подать до Вышеграда, где жил он. Он все размышлял о предстоящем возвращении домой и неиспользованном богатстве коньяка, как вдруг на него из тьмы вынырнули двое в военной форме. Они еле держались на ногах.

— Hier ist ein Kerl,— икнул один из них.— Sage uns, wo bekommt man etwas zu trinken¹.

— Эй,— наклонился второй к пану Кромпiku,— выпить хочется! Пошли с нами — мы платим.

— Да-да, выпить, wirklich²,— осмысленно заметил первый.

«Из Судет,— подумал пан Кромпик.— Судетские свиньи, эсэсовцы».

Трудно проследить последующий ход мыслей в захмелевшем мозгу пана Кромпика и обоих эсэсовцев. Его легче определить по результатам. А они привели к тому, что пан Кромпик очутился с этими двумя на набережной, в нише с каменной скамьей, что они вместе тянули из початой бутылки, что эсэсовцы стреляли во тьму над рекой и дали свое оружие пану Кромпiku. С той минуты, как пан Кромпик впервые в жизни спустил курок пистолета и почувствовал ответный толчок в руку, Индра Кромпик завладел его мыслями. Это Индра сунул пистолет в карман, пока эсэсовец допивал последний глоток из первой бутылки, это он подбил пана Кромпика выступить с невероятным требованием, когда говорящий по-чешски судетец стал домогаться второй бутылки.

— Скажи, что Гитлер — болван, или ни черта не получишь.

К их препирательствам второй эсэсовец только тупо прислушивался и повторял с определенными паузами:

— Ich will trinken, Hans, sag ihm, ich will trinken³.

Наконец охота выпить взяла в Гансе верх над его преданностью фюреру и принудила его произнести эту сакраментальную фразу, которую ему все время втолковывал пан Кромпик. Он должен был повторить ее еще три

¹ Здесь какой-то парень... Скажи нам, где тут можно что-нибудь выпить? (нем.)

² Действительно (нем.).

³ Я хочу пить, Ганс, скажи ему, что я хочу пить (нем.).

раза, прежде чем ему была милостиво выдана бутылка. А когда он поднес ее к губам, пан Кромпик наклонился ко второму эсэсовцу — тот сидел рядом, сжимая пистолет и тупо глядя, как приятель пьет, — и стал ему настойчиво шептать, собирая все свои слабые знания немецкого языка:

— Hörest du? Du muss ihn sofort erschiessen. Er hat den Führer verraten. Er sagte, dass der Führer ein Ochs ist. Du musst sofort erschiessen¹.

А за всеми этими уговорами он подвигал руку пьячуги, державшую пистолет, и целился в грудь первого. Трудно сказать, кто из них произвел выстрел. Ганс, который пил, ничего не замечая вокруг, издал вдруг клоочущий звук, взметнулся со скамьи и рухнул на землю. Бутылка упала вместе с ним и разлетелась вдребезги. Пан Кромпик сразу отрезвел. Он не испугался, чего следовало бы ожидать, напротив, почувствовал диковинную радость, вскочил и заплясал над поверженным врагом. Потом с усилием превозмог себя, сунул руку в карман и сжал рукоятку пистолета.

Второй эсэсовец с минуту удивленно смотрел перед собой, пытаясь понять, что же, собственно, приключилось. Потом опустился на колени перед приятелем и стал его трясти.

— Was machst du, Hans? Steh auf! Das war nur ein Witz².

Индра Кромпик столкнул пана Кромпика в пропасть невозвратимого прошлого, вытащил из кармана пистолет и прицелился в затылок стоявшего на коленях человека. Но тут же отбросил этот недостойный способ. Пнул эсэсовца в зад, крикнув ему:

— Auf!³ Будем стреляться!

Эсэсовец круто обернулся, точно вмиг отрезвел, и, не подымаясь с колен, выстрелил. Пуля, просвистев мимо головы пана Кромпика, лишь прижгла ухо. Кромпик спустил курок два раза подряд. Второй эсэсовец упал поперек Ганса.

Индра Кромпик стоял, прислушиваясь, что будет дальше. Глубокая ночная тишина поглотила выстрелы и застыла. Индра Кромпик, трезвый до мозга костей, оттащил по очереди обоих эсэсовцев к краю набережной и сбросил их

¹ Ты слышишь? Ты должен его сейчас же застрелить. Он оскорбил фюрера. Он сказал, что фюрер — болван. Ты должен его немедленно застрелить (*нем.*).

² Что ты делаешь, Ганс? Встань! Это была только шутка! (*нем.*)

³ Встань! (*нем.*)

в воду. Гладь над ними сомкнулась. Индра Кромпик, перейдя из сна в действительность, отвернулся от журчащей реки и ступил на путь, о котором сокровенно мечтал всю жизнь.

Далеко позади остались служба и пани Гачкова. Тьма приняла его, чтобы передать иному, нездешнему свету, в ту страну, где геройзм не был пустым сном.

⟨1945⟩

ОТКРЫТАЯ ДОРОГА

Парикмахер, мой миленок,
угодил в пивной бочонок.

Женщины пели не для того, чтоб работа спорилась, а для того, чтоб о ней не думать. Разговор у них иссякал очень скоро, да и был он всякий день один и тот же. Друг о друге они уже знали все, а новости, о которых стоило говорить, приходилось шептать на ухо в те неожиданно выпадавшие минуты, когда надсмотрщица, увиливая от обязанностей, исчезала в привратницкой пить кофе.

Тогда женщины высыпали к дверям дозорную, руки их останавливались, а языки начинали работать вовсю. Повторяли то, что рассказывали вчера, а, может, и сегодня, заботы-то у них не менялись, а только множились и становились все тяжелей. Говорили о том, чего не было, что, казалось, ушло в безвозвратность. Да еще о еде, об одежде, о домашнем хозяйстве, которое приходит в упадок без их присмотра, об изголодавшихся мужьях, которым они могут сварить поесть только раз в день, когда измученные этой ненавистной работой вернутся домой, о мужьях, попавших в тотальную мобилизацию, как и они сами, о мужьях, увезенных в города, которые бомбят, о мужьях, исчезнувших в пропастях тюрем и концентрационных лагерей, о днях и ночах, прожитых в страхе. Здесь были жены рабочих, служащих и мелких чиновников, бедняжки, постигнутые бесплодием, либо те, дети которых переросли возраст, для которого рейх признавал необходимой материнскую заботу.

В большом гимнастическом зале общества «Сокол», разгребленном и лишенном спортивных снарядов, стоял кислый запах ивовых прутьев. Здесь плели корзины стран-

ной формы, которые являлись предметом бесконечных рассуждений и догадок женщин, занятых их плетением.

Чаще всего они решали, что корзины будут служить упаковкой для нового вида бомб, того самого обещанного нового оружия, одним могучим ударом которого рейх собирался смети врагов, опасно близящихся к его границам.

У меня милята были,
в колбасу их изрубили...

Женщины пели хором. Тянули насмешливый мотив этой иронической баллады, придавая ей значение, которое не оставалось непонятным для толстой надсмотрщицы. Их руки и пальцы двигались при этом замедленно, с продуманной и хорошо разыгранной неловкостью. Надсмотрщица обходила ряды, держась на предсмотрильном расстоянии, и злыми глазами наблюдала за работой. Это была судетская немка, в молодости жившая в Праге в прислугах. Она давно раскусила, что неловкость эта — просто игра, но была против нее бессильна, песня раздражала ее, и она кипела злобой. Недавно надсмотрщица получила извещение, что муж ее пал в героической битве против красных. Отупевшая от тучности и оболваненная пропагандой, она не чувствовала естественной человеческой скорби, а надувалась бессмысленной спесью. Женщин, вверенных ее надзору, она ненавидела теперь вдвойне. Они ведь были той нации, которую должно стереть с лица земли, и вот, глядите, их мужья были в безопасности, в то время как мужчины высшей в мире расы гибли сотнями тысяч. И у этих женщин не было ни капли совести, чтобы прилежно работать за то, что их вообще кормят. А зачем они поют эту песенку, почему сегодня поют ее уже в третий раз?

— Цыц, суки! — крикнула она. — Хватит выть, чтоб у меня работать с толком!

Пение сразу смолкло. Но с противоположного конца длинного зала раздались одна за другой две насмешливые реплики:

— И чем ей наша песенка не нравится?

— Не иначе, у нее кого-то в колбасу изрубили!

Надсмотрщица на мгновение окаменела, прервавшийся пульс согнал кровь со щек, обычно багровых, как копченая колбаса. Потом вскинула руки над головой и начала вопить высоким, прерывающимся голосом:

— Ах вы, шлюхи, всех отправлю туда, где из вас самих колбасу сделают!

Несколько смешков пронеслось по рядам женщин, но предостерегающее шиканье более рассудительных обрушилось на них и в зародыше подавило опасность возникновения истерической потехи, которая могла плохо кончиться. Надсмотрщица выхватила из кадки пучок намоченных, еще не очищенных прутьев и, размахивая ими над спинами женщин, вдруг начавших прилежно работать, бегала по рядам и орала:

— Кто это был? Отвечайте, кто, не то всех велю арестовать!

Женщины работали, низко склонив головы, чтобы не встречаться с ней глазами. А она поливала их бешеною бранью, потом швырнула в них прутьями и выбежала, с грохотом захлопнув двери гимнастического зала.

Руки женщин сразу остановились и взгляды их, встретясь, говорили об их одинаковом отношении к произошедшему. Жена вожатого трамвая, тощая Ружена Калова, душила смех в ладонях, прижатых к губам. Кругленькая и подвижная Мария Лоудова, жена почтальона, подбежала к дверям, чтобы посмотреть, действительно ли надсмотрщица ушла, и осталась сторожить ее возвращения. Языки женщин заработали полным ходом.

И когда более смелые взяли верх над перепуганными, женщины пришли к заключению:

— Ничего, не сожрет, а отправить всех в карцер — руки коротки.

Алена Грсткова, безучастная к тому, что здесь происходило, нашла наконец время дать отдых своим рукам, измученным от холодной воды и обдирания коры с прутьев. Женщины вокруг, наверное, были добрыми, а вернее всего такими, какими бывают люди, сойдясь во множестве. Но она о них знать ничего не хотела. Она была насилию вырвана из привычного мира и брошена сюда. Жизни, которую она избрала, теперь, казалось, пришел конец. Вот уже неделя, как она здесь. Еще неделя — и ей придется навек проститься со своим инструментом. Алена была арфисткой большого оркестра, ныне распущенного, чтобы его члены могли с большей пользой трудиться для победы рейха. Алена посмотрела на размокшие кончики пальцев, в которых болезненно покалывало, покрутила запястьями, утратившими заботливо поддерживаемую подвижность и одеревеневшими теперь, как суставы прачки или каменотеса. Вечером, ложась спать, она ощущала чугунную тяжесть в руках, а суставы горели огнем. Ревматизм, самый страшный враг пианистов и всех исполнителей на

струнных инструментах, искал путь в ее тело. Как можно сравнить заботы всех этих женщин с ее бедой? Что такое для них арфистка? Старуха, поющая во дворе дрожащим голосом в сопровождении смешного инструмента, который и отдаленно не мог сравняться с шарманкой или гармонью.

Первые дни она их просто ненавидела, потому что слышала насмешливые замечания, которыми они обменивались на ее счет. А после ее уже охватил ужас от мысли, что с ней станет, если ее не освободят от этой работы. Тут общий разговор женщин о том, что сделает или не сделает надсмотрщица, прервал вскрик Ружены Каловой:

— Она здесь ревет!

Алена Грсткова плакала. Спазма ужаса отпустила и дала дорогу слезам. Женщины забыли о надсмотрщице и сбрались вокруг нее. Что это с ней, что случилось? Она среди них казалась самой слабой и беззащитной, и у них вдруг сжалось сердца. Она нуждалась в утешенье, она не могла сама нести свой страх и свое отчаянье. Безудержно рыдая, Алена подняла к ним свои измученные руки.

— Я никогда больше не смогу играть. Холодная вода изуродует мне руки.

К удивлению — для Алены Грстковой это было удивительно — ей не пришлось ничего им объяснять. Они сразу поняли ее трагедию и взмолнились так, что и дозорная у дверей забыла о своей обязанности и присоединилась к группе, которая прикидывала, как бы помочь этой несчастной.

— Если бы она, как мы, стала плести, — рассуждали некоторые, — ей бы не пришлось мочить руки, а уж мы бы постарались, чтобы она особенно не обдирала свои пальчики.

Начали советоваться, как это сделать и кого бы подсунуть на ее место. Ружена Калова предложила:

— Мне немного водички не повредит. Я к ней привыкла съязмальства. И вообще, долго ли это может продолжаться?

Алена глотала слезы и глядела на них с новой надеждой. Ее чувства и мысли были в смятении. Это было что-то новое в ее жизни. Почему они хотели помочь ей, чужой, далекой и смешной для них личности?

Надсмотрщица вошла в двери, у которых не было стражи. Сперва смутилась, чувствуя заговор, заколебалась, не лучше ли ей ретироваться за подмогой. Потом, положив руки на ключ, испробовала свою власть над ними.

— Что здесь происходит? — крикнула она.— Немедленно все по местам.

Некоторые действительно побежали к своим местам, но на полдороге остановились, видя, что другие остались, где были.

— Ей плохо,— за всех ответила Ружена Калова, указывая на Алену Грсткову.— Холодная вода ей вредит. Она музыкантша, лишится средств к существованию, если вы оставите ее на этой работе. Пусть перейдет в плетельщицы, а я буду вместо нее.

Надсмотрщица стояла не двигаясь и смотрела на нее своими злыми глазами. Какая-то мыслишка медленно созревала в ее туго работающих мозгах, хорошая мыслишка, которая приподняла в усмешке мякоть ее щек. Она пошла, усмехаясь все шире, и доковыляла до группы, собравшейся вокруг Алены.

— Музыкантша,— начала она размякшим тягучим голосом.— Ишь ты, холодная вода ей вредит. Чтоб вы знали, что мы понимаем толк в искусстве — пусть идет к плетельщицам. Но сегодня после работы она вымоет помещение. Холодной водой.

Помещение — как она назвала гимнастический зал, имело добрых двести квадратных метров. Женщины взволнованно загудели, но надсмотрщица цыкнула на них:

— Марш по местам. А то позову гестапо, они вам пропишут за бунт.

Алена Грсткова в мертвом безразличии опустила руки в кадку с прутьями. Для нее решение надсмотрщицы равнялось смертному приговору. Прежде чем она домоет этот пол, если вообще домоет, руки ее будут изувечены так, что она уже никогда не сможет коснуться своего инструмента. Работа продолжалась среди мертвыйтишины. Только прутья шелестели, да поскрипывал паркет под тяжелой поступью надсмотрщицы. Пять часов. На сегодня конец. Надсмотрщица подошла к Алена и взяла ее за подбородок, как маленьку девочку.

— За дело, малышка, и чтоб все заблестело.

И вышла из дверей.

Все дружно вздохнули, словно перед этим придерживали дыхание.

— Гиена,— сказал кто-то. Остальные молчали. Алена сидела, не двигаясь, как мертвая. Да и остальные довольно долго не двигались.

Первой опомнилась Ружена Калова:

— Ну, девчата, взялись! Пошевеливайтесь, чтоб нам не торчать здесь до ночи.

Казалось, все только и ждали этого освобождающего слова. Жизнь вернулась к ним, кадушки опрокинулись, они заговорили друг с другом.

— А где же нам взять тряпок на всех,— волновались женщины.

— Разделимся посменно.

Алена Грсткова встала:

— Но это невозможно! Как вы до этого додумались?

— Как видишь, додумались,— ответила ей Ружена.

Первые опустились на колени и начали шуровать тряпками, раньше, чем Алена собралась с мыслями. И все это ради нее, которую они даже не знали. Ее душило волнение и чувство, более сильное и раньше ей незнакомое.

Она стояла над ними и бормотала:

— Я хотела бы вам сказать, что хочу быть с вами. Навсегда. Но что же мне сделать, чтобы вы знали, что я думаю это искренне!

— А ты нам сыграешь,— ответила Ружена.— Когда эти черные уберутся, мы здесь сделаем занавес. Значит, нам понадобится и ангельская музыка. Правда, девчата?

— Само собой,— ответили ей.— Нам всех святых будет мало.

— Теперь я всегда буду играть только для вас за то, что вы сохранили мне руки. И не только за это. За что-то гораздо большее. Когда-нибудь я еще пойму, что это такое.

⟨1946⟩

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Ян Малек медленно спускался по лестнице. Казалось, он хотел еще что-то обдумать, хотя на самом деле обдумывать было нечего. Напротив, ему было крайне необходимо как можно скорее покинуть этот дом. Но человеку всегда стыдно, когда приходится бежать, даже если он сознает меру опасности и к тому же свою полную беззащитность. Его всего еще трясло от той поспешности, с какой он бросал самые нужные вещи в ручной чемоданчик. Сейчас он старался подавить в себе страх и смятение и восстановить душевное спокойствие.

Всего лишь полчаса до этого плачущий женский голос обрушил на него имена товарищей, схваченных сегодня в ночь. И почти все эти полчаса он сидел, оглушенный этим ударом, хотя и приучил себя ожидать его со дня на день, чуть ли не с часу на час. Он повторял эти имена. Это была вся группа, все до единого, кроме него.

Почему обошли именно его, а остальные четверо были схвачены? В каком месте у этих дьяволов прервалась цепь? Что заставило их остановиться? Каждая новая мысль воздвигала перед ним новую стену, лишая его сил. Он понимал, что теряет время, значившее свободу и жизнь, и все-таки не мог заставить себя действовать. Почувствовав приступ нервной слабости, он с огорчением покачал головой. Слабость — наконец слово найдено. Если она напала на него сейчас, как же он будет держать себя, встретившись с ними лицом к лицу? Он собрался с духом и стал поспешно складывать чемоданчик. Бежать — это прямая обязанность, особенно если не чувствуешь в себе достаточно сил сопротивляться. И почему, собственно, он должен им выдать себя?

Он торопился, пока не вышел на лестницу. Измена. Не окажись он бок о бок с теми четырьмя, они решат, что он предал их. Разрозненные звуки предобеденной возни проникали из квартир на лестницу. Господи! Нельзя же сдаться им добровольно: Бежать или остаться — оба варианта казались ему одинаково невозможными.

Спустившись на третий этаж, он в нерешительности остановился. Дом наполнился грубыми мужскими голосами, доносившимися снизу. Ян Малек перегнулся через перила. Говорили по-немецки — он не мог ошибиться в этих гортанных, дребезжащих звуках. В квартире привратницы резко прозвенел звонок — он всегда будил ее, когда она забывалась сном от усталости. Ян Малек услышал свое имя. Голос привратницы повторил его.

— Ян Малек? Да, на четвертом этаже.

Почему эта женщина так визжит? Несомненно, догадалась, что затевается. Ян Малек сделал несколько шагов по коридору и остановился перед дверью, которую старательно обходил целых два года. Усмехнулся, нажав кнопку под табличкой с именем А. В. Йошт. Донесся глухой шум, точно на незастланный пол посыпался струйкой горох. Ян Малек упорно нажимал кнопку и одновременно прислушивался к шагам на лестнице. Напряжение становилось каким-то обезличенным. Он как бы наблюдал за скачками, где победитель в награду получает чью-то жизнь. Шаги

раздавались уже на втором этаже, когда отворилась дверь. Малек тут же отпустил кнопку и приложил палец к губам. Альфред Виктор Йошт стоял в прихожей, освещенной скрытой лампочкой, в халате, накинутом на голое тело, и сетке, стягивавшей зализанные черные волосы. Худое, до времени увядшее лицо лоснилось после бритья — в правой руке он еще сжимал открытый флакон одеколона.

Ян Малек превозмог короткий приступ гадливости, который чуть не отбросил его назад, к лестнице, и быстро вошел, держа перед собой чемоданчик и тесня им изумленного Йошта. Шаги уже громыхали на площадке между вторым и третьим этажами. Малек поставил на пол чемоданчик и закрыл дверь. Сделал это быстро и беззвучно, с удивительной точностью.

Шаги зацокали на плитках третьего этажа, помедлили и двинулись дальше. Ян Малек не позволил себе даже вздохнуть полной грудью, а еле слышно, медленно перевел дыхание. Все это время Йошт не проронил ни слова. Между тем испуг сошел с лица, и вид сделался такой, словно он наблюдал за увлекательной игрой. Только флакон одеколона поставил на полочку под зеркалом.

Привалившись спиной к двери, Ян Малек попытался улыбнуться.

— Гестапо, — сказал он шепотом. — Пришли за мной. Я чуть не встретился с ними на лестнице.

Йошт, поджав узкие губы, промолчал. Он только запрокинул голову и, уставясь в потолок, вслушивался. Холостяцкая квартира Малека была как раз над ним, этажом выше. Они сняли эти две комнаты еще во времена их дружбы, чтобы почаше видеться. Сейчас они были дальше, чем жители разных полушарий. Приход оккупантов разъединил их.

Звонок наверху задребезжал и настойчиво продолжал звенеть с короткими паузами. Йошт, склонив голову, взглянул на Малека. Он, казалось, чему-то обрадовался. Малек поднял чемоданчик.

— Спасибо тебе. Попробую теперь проскользнуть.

Йошт усмехнулся:

— Ловко придумал. Тебя сцепают у ворот.

И, сделав жест рукой, шагнул вперед. Это должно было означать приглашение. В комнате царил утренний беспорядок. Резкое сентябрьское солнце, проникавшее сюда в открытое окно, причудливо подчеркивало весь этот хаос. Одежда была раскидана на стульях, на круглом столе стояла тарелка с большим куском шпика и ломтем дерे-

венского хлеба, удивительно белого. Граненая бутылка, доверху наполненная золотистой жидкостью, светилась, как маяк. У радиатора отопления скопились пустые бутылки с веселыми этикетками.

Йошт сгреб в охапку раскиданную одежду и бросил ее на смятую постель. Малек стоял в дверях комнаты с чемоданчиком в руке и не входил.

Над кушеткой висел цветной портрет Гитлера. Йошт проследил за взглядом Малека, подошел к кушетке, снял картину и бросил ее на пол лицом вниз. Стекло резко задребезжало, но не разбилось.

— Прошу садиться.

Малек нерешительно сел. Сидел с чемоданчиком на коленях. Йошт разливал коньяк в пузатые рюмки.

— Ну, давай пей. Это курвуазье. Вздорит тебя.

Он покачивал рюмкой и вдыхал исходивший от нее аромат.

— Не хочу. Можешь запросто меня выдать.

— Болван. Давай пей!

Малек послушался. Одним духом опрокинул в себя все содержимое рюмки и поставил ее на стол. Улыбнулся, глаза увлажнились. Когда к нему вернулось дыхание, он сказал, кивая на портрет:

— Почему он у тебя?

Йошт ткнул пальцем в потолок.

— Из-за них. Хотят его лицезреть, когда сидят здесь.

— Почему спутался с ними?

Йошт надел рубашку и стал застегивать ее снизу вверх.

— Я бесхарактерный и хочу хорошо жить.

Звонок над их головами умолк. Они услыхали спускавшиеся по лестнице шаги. Затаив дыхание, вслушивались.

— Только один,— сказал Малек.

— Идет за ключом к привратнице,— догадался Йошт.

— Пусть там пороются. И бумажки не найдут.

— Что угодно найдут, если понадобится.

Дом, удивительно притихший, слушал вместе с ними.

А с улицы долетал каждый звук, каждый голос в отдельности. Шаги возвращались. Потом было слышно, как щелкнул замок и хлопнули двери. Шаги протопали над головами.

Йошт завязывал галстук.

— Куда бежать собираешься?

— За границу.

— Место известно?

Малек пожал плечами. Он по-прежнему сидел с чемоданчиком на коленях.

— Я должен попытаться.

Потолок гудел. Там, наверху, летели на пол ящики письменного стола.

— У меня машина и разные возможности. Отвезу тебя в Словакию. С волками жить — по-волчьи выть, но я слишком долго это делал. Уже охрип.

— Я оставил им там записку с теплым приветствием, — сказал Малек.

— Начну с другого конца, может, в этом есть смысл.

Йошт оживился и снова наполнил рюмки.

— За удачную дорогу.

Малек поглядел на него сквозь поднятый бокал.

— Ты все слишком опрощаешь, — сказал он.

— Мы уже никогда не вернемся туда, откуда вышли. Когда это кончится, может, ты снова будешь редактором, я — адвокатом. Но это будем уже не мы, сидящие здесь сегодня, это будут совсем другие люди.

— Я не меняюсь. У меня нет нужды меняться.

— А я — да. Сменяю кожу. Старую постараюсь по дешевке сбагрить.

Наверху хлопнули двери. Две пары ног загремели по лестнице. Дом спрятался в тишину.

— Уходят оба, — сказал Йошт и подошел к окну.

Он не выглянул — стоял перед открытой створкой и разглаживал галстук. Противоположная сторона улицы отражалась в стекле. Он видел, как двое мужчин переходят дорогу, направляясь к углу, за которым в переулке стояла машина. Кто-то изнутри открыл дверь. Они вошли, но машина не трогалась.

Йошт вернулся к столу, вынул из ящика пистолет крупного калибра и положил перед Малеком.

— Отсюда — ни шагу. Схожу за машиной. Если что случится, пользуйся этим по своему усмотрению.

Через час он вернулся. Посвистывал, выходя из машины. Автомобиль за углом исчез. Он шагал через две ступеньки с юношеской расторопностью. Пришлось даже прислониться к дверному косяку — перевести дыхание. Сердце на такие штуки уже не годилось.

Квартира была пуста. Пистолет лежал там же, куда он его положил, на полу валялся портрет Гитлера, но уже лицом кверху. Стекло и лицо были раздавлены, точно кто-то повернулся на каблуке.

Йошт спустился на первый этаж и позвонил в квартиру привратницы. Ему открыла молодая полная женщина с заплаканными глазами. Она была перепугана до смерти.

— Я как раз подметала перед домом, когда пан Малек вышел. Он держал такой махонький чемоданчик. Глазам своим не поверила, думала — он давным-давно за горами, за долами. Где ж он пропадал, пока здесь были эти типы? И вдруг к нему подкатила машина, я не успела и глазом моргнуть, а его уже сцепали.

Йошт вернулся к себе. Придвинул пистолет, налил полную рюмку коньяку, закурил сигарету. Пил и курил — человек, который лениво о чем-то думает и не замечает времени. Сигарета кончилась раньше. Он залпом допил коньяк и с минуту стоял, еще смакуя его. Потом наклонился к портрету Гитлера, поглядел на него с усмешкой и решительно выбросил в окно. Снова сел и, будто взвешивая, подкидывал в руке пистолет. Потом вложил дуло в рот и спустил курок.

⟨1946⟩

НЕМОЙ

Утром пятого мая портной Коздер — в блаженные годы первой республики Taylor for Gentlemen¹ — долго колебался, но в конце концов уступил настояниям своего закройщика и пиджачника и разрешил ему замазать на вывеске унизительную надпись времен оккупации: «Schneider»².

Закройщик заторопился, пока мастер не передумал, но у кухонных дверей его все же успела перехватить жена Коздеры. Она втиснула ему в руку красно-белый флаг с синим клином и сказала голосом, дрожащим от слез:

— А это, Еничек, повесьте над нашей вывеской.

Фирменная вывеска портного Коздеры красовалась прямо над широким парадным входом. Стоя на стремянке посреди людского потока, более бурного, чем в иные дни, закройщик Ян Павелка прежде всего закрепил флаг, а потом макнул кисть в банку с черной краской и, насвистывая «Интернационал», веселыми взмахами кисти стал спровад-

¹ Мужской портной (англ.).

² Портной (нем.).

живать со света слово «Schneider». Он уже заканчивал, любуясь на дело своих рук, как вдруг стремглав полетел вниз. Не упал он только потому, что рука, нанесшая ему удар, держала его за пиджак, так что швы трещали. Пытаясь ухватиться за что-нибудь, он выронил кисть, а банка с краской рухнула на тротуар по ту сторону стремянки. Два эсэсовца стояли перед закройщиком, долговязые, угловатые верзилы, не старше восемнадцати, и орали что-то непонятное. Он получил два удара кулаком в лицо, а затем удар в грудь, от которого у него потемнело в глазах и который швырнул его на булыжник мостовой. Стремянка полетела следом и рассекла ему кожу на лбу.

Люди столпились вокруг с угрожающими лицами — эсэсовцы вытащили пистолеты и сняли их с предохранителей. Кучка людей быстро рассеялась. С пистолетами в руках эсэсовцы двинулись дальше.

Ян Павелка сидел с перевязанным лбом на сундучке у кухонной плиты и не отвечал на расспросы Коздеровой и на причитания мастера. С той минуты как он вернулся сюда, поддерживаемый перепуганным дворником, он не промолвил ни слова. Глядя прямо перед собой отсутствующим, застывшим взглядом, он машинально потягивал из чашки черный кофе. Когда вместо музыки по радио раздались первые тревожные призывы о помощи, он резко поднялся, поставил чашку на плиту и выбежал из дверей.

Добраться до радиостанции ему не удалось, и после долгих скитаний в поисках оружия он застрял в здании почтамта. У защитников почтамта он вызвал удивление и любопытство. Безмолвный сухопарый человек с неумело перевязанным лбом, который в ответ на все вопросы лишь показывал свой воинский билет, удостоверяющий, что он был сержантом-пулеметчиком в чехосlovakской армии.

Решили было, что он глухонемой, но когда выяснилось, что он с первого слова выполняет все, что ему говорят, люди отказались от этого предположения, но удивляться не перестали. Впрочем, им уже недосуг было интересоваться друг другом — слишком основательно и упорно наседали на них немцы. Яна Павелку направили на участок, где уже трое из защитников были ранены, а один убит. Он наблюдал за домами, откуда велся огонь, и стрелял, когда ему казалось, что он видит цель. После его выстрелов многие окна умолкали совсем, но мучительный спазм не отпускал горло закройщика. Он не видел результатов своей стрельбы.

К вечеру второго дня ручной гранатой тяжело ранило семнадцатилетнего студента промышленного училища, укрывшегося с ручным пулеметом за лестницей у одного из двух входов. Его втащили в здание только с наступлением темноты, раньше не давали немцы. Ян Павелка подхватил оружие, которое принесли вместе с раненым, и исчез прежде, чем ему успели помешать. Да и кто бы стал ему мешать? Место нужно было занять, а на такую синекуру обычно бывает мало претендентов.

Ночь была холодная, ее тягучее течение прерывалось вспышками и трескотней выстрелов. Воюющие пчелы проносились у Павелки над головой и с противным звуком впивались в стенку за его спиной. Закройщик знал, из каких окон они вылетали, но не поддавался на искушение ответить. Погребенный под глыбой своей немоты, он напряженно ждал, сам не зная чего.

На рассвете немцы открыли бешеный огонь, на который защитники не в силах были отвечать. Они подолгу отмалчивались, и, если бы не их одиночные выстрелы, Павелка мог бы подумать, что в живых остался он один. Но даже эта мысль не сдвинула бы его с места. Кто может знать, каким чудом его не смел ни один из этих стальных шквалов? Прижавшись щекой к ступеньке, он не сводил глаз с улицы. И поэтому он увидел, как они пошли.

Шесть верзил в коричневых рубашках выбрались из башни святого Индржиха. С ручными пулеметами под мышкой они двинулись гуськом посередине улицы. Они шли быстро, почти не сгибаясь. Что это было — начало атаки или разведка? Об этом Павелка не думал. Он плотнее обхватил оружие и прижал щеку к прикладу. В горле у него клокотало, как будто в нем кипел смех. Дай им подойти поближе. Еще. Бей!

Они вскидывали руки и падали на землю, исполняя гротеский танец под дребезжащую песню его пулемета. Последний из них высоко подпрыгнул и завертелся вокруг собственной оси. Теперь все они лежали и не двигались. Хватит! Смех вышиб пробку немоты. Скорчившись за ступеньками, закройщик и пиджачник Ян Павелка захлебывался смехом и бормотал, как невменяемый, каменному полу под ним, стенке, которую крошил стальной град, самому себе:

— Ты их видел, Гонза? Они больше никому не дадут в зубы!

ХОЗЯИН И СЛУГА

Жили вместе хозяин и слуга. Хозяин был достаточно важной персоной, чтобы держать прислугу, слуга был человек достаточно смирный и услужливый, чтобы быть слугой. Несколько лет назад от хозяина сбежала жена, но его это мало огорчало — ему еще лучше жилось одному в большом доме с большим садом на солнечной стороне холма. Внизу текла река, текла лениво и в то же время весело, каждый день и даже каждый час по-новому привлекательная. На самом виду, в каких-нибудь десяти минутах езды автомобилем, лежал город, из которого к хозяину исправно поступали доходы. Хозяин любил общество, и у него никогда не было недостатка в приятелях, словом и делом воздававших должное его столу и его винному погребу. Впрочем, сохранить благосклонность хозяина было нелегко: она угасала так же быстро, как и вспыхивала, ибо он удостаивал ею лишь тех, кто был ему нужен.

Слуга видел все, но молчал, как и полагается хорошему слуге. Звали его Карел, но все об этом давно забыли, потому что хозяин, который слегка карталил, решил дать ему новое имя — Ладя. И собственная жена звала его не иначе. В свое время она нанялась в этот дом кухаркой, и, так как хозяину пришлось по вкусу ее стряпня, он настоял, чтобы они с Ладей поженились. У них тогда у обоих были свои увлечения, но кто знает, что бы из этого вышло, а здесь им жилось как у Христа за пазухой. Кухарке нравилось, что над ней нет хозяйки, а слуга и представить себе не мог иной жизни.

В конце концов у этой пары родилось двое детей — такова уж природа, она не считается с пожеланиями власть имущих. Хозяин был крестным отцом первого ребенка; второму он послал подарок и дал понять, что этого, пожалуй, достаточно. Ничего не поделаешь, супругам пришлось поостеречься. Ребятишек показывали хозяину раза два в году: в день его рождения, когда они приходили с поздравлениями, и на рождество, когда хозяин становился сентиментальным и щедро одарял всех, кто пользовался его расположением. Дети привольно резвились в огромном саду, когда хозяин бывал в городе, но стоило ему вернуться домой, они неслышно прятались по углам, словно мыши. В конце концов оказалось, что лучше будет им вообще убраться из дома, и кухарка отправила их к своей матери в деревню, где один из них утонул, катаясь

на замерзшем пруду. Вот тогда-то хозяин и напомнил слуге, насколько благоразумен был его совет воздержаться от дальнейшего увеличения потомства. А слуга, человек неразумный, подверженный скрытым и несбыточным надеждам, сделал еще одну пометку на черной доске своей памяти. Ему следовало бы знать, что это занятие не для него — ведь память нужна слугам только для выполнения наказов их господ. К тому же не их дело судить поступки хозяев, не за это им платят. И слуга соблюдал эту неписаную заповедь, а если у него и было свое мнение, то он не делился им даже со своей женой.

Молчать он умел даже тогда, когда пил сверх меры.

У хозяина были свои друзья, у слуги — свои. Слуга созывал друзей во время хозяйствских отлучек из города. В подвалах было полно хорошего вина, и бедняцкая компания умела оценить его не хуже, чем хозяйские прихлебатели с их ненасытным чревом.

— Я бы много мог рассказать,— говаривал слуга в таких случаях,— а эти вот стены — еще больше моего.

Но стены молчали, а слуга никогда не шел дальше многозначительных намеков. В то время уже, пожалуй, стоило заговорить, но еще умнее было держать язык за зубами. В те черные времена, когда никто не знал, что ждет его через час, господа вертелись юлой, чтобы не лишиться своих деньжат, и многие юлили столь усердно, что денежки сами так и текли к ним. Вот так и к хозяину зачастили оккупанты, и слуга не успевал делать отметки на черной доске своей памяти. Часто ему казалось, что он не выдержит больше, что он захлебнется своей ненавистью или пойдет и совершил что-то ужасное. Он был слуга и не мог представить себе худшего греха, чем убийство своего хозяина; и еще он был человек мирный и не умел убивать. Часто, надевая куртку, сшитую по хозяйствскому заказу, синюю куртку с золотыми пуговицами, покроем похожую на камзол, он вдруг застывал, уставясь в одну точку невидящими глазами, и лоб его покрывался испариной. Он боялся своих мыслей и — не будем судить его за это — побаивался и за себя. Неистовство бессилия охватывало его тогда. Он хватался за куртку, пытаясь разорвать ее,— тщетно. Она была прочна, как панцирь, как цепь его лакейских обязанностей.

И — словно следы бессильной ярости запечатлевались на его лбу — именно в такие дни хозяин распространялся о горькой доле тех, кого призвали по тотальной мобилизации, и о том, с каким трудом ему удается уберечь слугу от

этой участи. Не будь у него влиятельных друзей среди оккупантов, кто знает, чем бы это кончилось. Только так и нужно держать себя с ними, не так ли? Быть себе на уме и выжимать из них все, что можно. Другая политика сегодня немыслима. Будем поддакивать им, если придется, и в конце концов обведем их вокруг пальца. Хозяин поучал, а слуга слушал с застывшим лицом. К счастью, слуга не обязан высказывать свое мнение. Никто и не ждет от него этого.

Хозяин был умен, в этом можно не сомневаться, ему приходилось быть умным, чтобы сохранить свое состояние в эти тяжелые времена, наступившие для города давно, еще после первой мировой войны. Стارаясь ради себя, он умел создавать видимость, будто старается ради других. Если понадобится, они в свое время расскажут, что он для них сделал. Ну а если не захотят? Смешно и думать. Все они у него под каблуком, слишком многое он о них знает.

Оккупанты приходят в гости. После нескольких рюмок они начинают пить за победу рейха. Что поделешь, хозяин поднимает бокал, снисходительно улыбаясь. *Prosit!*¹ Слуга ходит вокруг стола с каменным лицом и подливает в бокалы. Никому не нужно, чтобы и он пил за это. Хозяева спрашивают согласия своих слуг лишь в исключительных случаях. Похоже, что порой лучше быть слугой, чем хозяином.

Приходят друзья, и тоже начинают веселиться, и тоже поднимают бокалы. Да здравствует свобода и республика! Хозяин кричит «ура!» вместе с ними. Разумеется. Ведь только этого все мы и ждем. «Господа, не угодно ли послушать иностранное радио? Мне удалось сохранить свой приемник в целости». Хозяин был умен, он знал, чего можно ждать от времени и от людей. Он даже позволял подшучивать над собой и смеялся вместе с ними с высоты своего положения. Он знал, что им нужно отвести душу, забыть о своей зависимости от него. Например, они смеялись над тем, что он купил пару санских коз. Пожалуйста, смеяйтесь на здоровье. Зато он пил жирное молоко, в то время как остальным негде было раздобыть хоть немного синего снятого молока.

У хозяина появилось молоко, у слуги — новая забота и привязанность. Он пас пару этих снежно-белых дьяволиц в большом хозяйственном саду, подкармливал их по мере возможности, вычесывал, содержал в чистоте, проводил

¹ Ваше здоровье! (нем.)

с ними каждую свободную минуту, разговаривал с ними, как умеют разговаривать с животными только простые люди. Они блеяли ему в ответ, сочные листья исчезали в их ненасытных бархатистых губах.

Так и жили хозяин и слуга до того дня, когда внизу в городе раздалась стрельба, которая вскоре перекинулась и на окрестные холмы. Пришло время каждому ответить на свой вопрос: слуге — что сделать с хозяином, хозяину — что делать с самим собой.

В городе у хозяина было большое предприятие. Теперь он стал думать, как его сохранить. Слуга стоял в саду, прислушивался к раскатам стрельбы и спрашивал себя, действительно ли пришло его время. Здесь его и застали друзья — молодые рабочие и служащие, жившие поблизости. Они пробирались куда-то, крадучись вдоль стен и садовых оград. Вооружены они были до смешного плохо, но в их решимости можно было не сомневаться.

— Собирайся, — окликнули они его, — пошли с нами выкуривать швабов!

Слуга не выдержал и присоединился к ним. Они прикололи к его камзолу красно-сине-белую ленточку и надели ему на рукав красную повязку. Но оружия ему пока не досталось. Нелегкое дело взяли на себя эти безрассудные люди, ведь зачастую осажденные были вооружены лучше, чем осаждающие, но эти принялись за дело с яростью, накопившейся за шесть долгих лет. Все это время слуга думал о хозяине, и только мысль, что теперь торопиться некуда, утешала его. Сначала нужно разделаться с этими, а там придет и его черед. Деваться ему некуда. И тогда пробьет час его, слуги. Каждая пометка на черной доске его памяти станет неотвратимым обвинением. У него теперь появился пистолет (после каждого дома, очищенного от немцев, оружия у них прибывало), и он, укрывшись за столбом или за деревом, отвечал на огонь из окон; и каждый выстрел закалял его отвагу и решимость. Не будет больше господ, пела его душа с каждым выстрелом, и, может быть, не будет и слуг.

А хозяин meanwhile сидел дома у приемника, прислушивался и размышлял. Да здравствует республика и свобода! Prost! То есть ура! Он звонил повсюду. Кажется, путь к его фабрике в городе все еще свободен. Это был тот случай, когда необходимо принимать решение. Под бутылками в погребе у него был надежный тайник. Он

достал из него пистолет, трехцветный бант и кокарду с офицерской фуражки.

Служащие его предприятия собрались почти все до единого, за исключением нескольких безумцев, которые сражались где-то на улицах. Не зря ведь говорят: каков поп, таков и приход. Хозяин появился среди них неожиданно, украшенный бантом и кокардой, подобно командующему, который инспектирует один из своих фронтовых участков. Он вынул пистолет из кармана плаща и небрежно бросил его на стол.

— Ну, как здесь у вас идут дела?

Ему чуть ли не аплодировали. Но подлинная опасность только еще надвигалась на город. Бомбардировщики оккупантов загрохотали над крышами, артиллерия подавляла одну цель за другой, стальное кольцо танков сжимало город так, что стены его трещали. Хозяин сидел и прислушивался, как радио вызывает ко всем о помощи. Пистолет уже не лежал перед ним на столе, лоб его избороздили морщины. Потом появились те из его служащих, кто участвовал в бою.

— Танк проник к башне,— сообщили они,— за ним идут еще. Не знаем, удастся ли нам их сдержать. Готовьтесь здесь к обороне.

Среди служащих разгорелся спор. Защищаться или нет? Одни советовали не защищаться, не приводить оккупантов в чрезмерную ярость своим сопротивлением, другие стояли за оборону. Если они сюда доберутся, они так или иначе всех нас перебьют. Пошли к хозяину — пусть он рассудит этот спор. Но тот молчал. С отворота его пиджака исчез бант, исчезла офицерская кокарда. И пока служащие спорили, исчез и сам хозяин.

Оккупанты проникали все глубже и глубже в город. Вот уже вторые сутки почти без отдыха сражался слуга на баррикаде. Многих из тех, с кем он пришел сюда, уже не было в живых. Место здесь было скверное. Каждый патрон на счету, все страдали от голода и жажды. И слуга вспоминал о санских козах, не доенных уже два дня. Кувшин молока пригодился бы здесь не меньше, чем горсть патронов, а между тем козы маются там с переполненным выменем и некому облегчить их страдания. В окрестных садах перестрелка, пробраться домой будет нелегко.

Дом был пуст, как он и ожидал. Он ухмыльнулся: «Где-то теперь прячется хозяин?» И жена слуги ушла

куда-то в безопасное место. Из пристройки за гаражом доносилось тоскливо-двухголосое блеяние. Когда он отворил дверцу, козы бросились к нему и чуть не сбили его с ног. Он подоил их и пустил пастьись в сад. Пусть полакомятся, ведь революция же.

Он возвращался с кувшином, полным почти до краев, представляя себе, как жадно будут пить его друзья, и беспокоился о молоке больше, чем о себе.

— Halt!

Три эсэсовца вынырнули из кустов. Пожалуй, ему лучше было остановиться. Но воспоминание о баррикаде погнало его вперед. Захлебываясь, автомат пролаял свой приговор. Черная доска, подвешенная в памяти слуги, обрушилась на него, белые метки брызгами разлетелись во все стороны. Кто, когда и где найдет их, чтобы превратить в слова неопровергимого обвинения? Уходя, они пнули его ногой и злобно отшвырнули пустой кувшин. Кровь смешалась с молоком, и в этой луже лежал слуга в синем камзоле.

⟨1946⟩

СЕМЬ ТАНКОВ

Пятого мая я осталась с Аленкой одна. Муж на рассвете ушел в город. Я даже не пыталась его удержать: бывают в жизни минуты, когда жена должна унять свое сердце и замереть в тоскливом ожидании. Впрочем, я упражнялась в этом искусстве шесть долгих лет. Стоило ли вести себя иначе, когда конец уже стучался в двери?

В недобрые времена вера — самый надежный компас, и он всегда был со мной. Может быть, наивно и смешно так верить и надеяться, что все источники бодрости иссушат зной несчастий.

Я нашла для себя хороший способ избегать мрачных мыслей, не слушать зловещих нашептываний страха, умалять значительность горестных новостей. Я приучила себя старательно и размеренно выполнять любую работу по дому, словно каждый взмах моей пыльной тряпки был важным, чуть ли не решающим шагом на пути к избавлению человечества от изниуряющих его страданий, словно каждым насухо вытертым стаканом я исподволь обретала

для семьи, а может быть, и для всех частицу уверенности в благополучном, счастливом исходе.

Последние дни я не бывала в городе, но разве это меняет дело? Напряжение и томительное ожидание, которые уже начали лихорадить городские улицы, передались и к нам, на окраину, где за маленькими домиками начались поля, леса и перелески.

В одном из этих домиков живем мы. Дом невелик, всего три комнаты и кухня, но для меня это настоящий дворец, стольких лишений и мужества стоила нам его постройка. Каждый гвоздь в нем заработан потом и кровью, но меня до сих пор преследует мысль, что я не заслужила подобной роскоши, что однажды чья-то властная рука подхватит меня и швырнет в пыльный угол на галерею: живи тут, знай свое место. Да что это я разговарила? За минувшие годы на месте дома мне так часто чудились развалины, что он и на самом деле стал казаться мне призрачным, как, впрочем, и вся наша тогдашняя жизнь.

Для меня дом был не собственностью, а просто зданным свидетельством быстро промелькнувших трудных лет, лишь убежищем, где Йозеф мог спокойно работать, где каждый уголок был освещен нашей любовью, а стены звенели Аленкиным смехом. Я любила мужа, но отпускала его: пусть идет и пусть погибнет, если хоть как-то облегчит нашу общую участь. Разве другие не жертвовали большим?

Пятого мая, когда за папой захлопнулась дверь, Аленка стала передо мною и, строго глядя огромными не то голубыми, не то серо-зелеными глазами, спросила:

— С папой ничего не случится? Он вернется?

Спазма сдавила мне горло. Я с трудом перевела дыхание и не сразу нашла в себе силы посмотреть дочери прямо в лицо и ответить на вопрос. От внимания маленькой восьмилетней женщины, целиком, казалось, поглощенной своими книжками и куклами, не укрывалось ничего, хотя мы старались не говорить при ней о наших надеждах и опасениях. Беспокойство, которое этим тихим весенним утром как будто не ощущалось в нашем заброшенном предместье, охватило и ее.

— Ну что с ним может случиться? — ответила я, пытаясь улыбнуться. — Успокойся, иди-ка лучше играй.

Она покачала головой и решительно возразила:

— Никуда я не пойду. Буду тебе помогать.

— Вот и славно! Ах ты, хозяйушка, — обрадовалась

я и крепко обняла дочурку.— Папа придет, а у нас с тобой все будет сверкать.

Так, не договариваясь, мы начали игру и упрямо продолжали ее четыре последующие дня. Мы играли в генеральную уборку накануне великого праздника и болтали без умолку — так обычно болтают женщины, хлопча по дому. Мы рассказывали друг другу о соседских детях, о школьных Аленкиных подружках, об учительнице, о соседках, наконец; только об одном мы хранили молчание — о человеке, который был для нас главным в жизни и которого в эту тяжелую минуту с нами не было.

В половине первого ночи радио начало посыпать сигналы о помощи, а час спустя неподалеку от нашего квартала раздались первые выстрелы. Под откосом стояла старая фабрика, трубы которой перестали дымить задолго до войны. Фашисты использовали ее под склад. Теперь за нее шел бой. Вот одиночные выстрелы — и томительная тишина.

Снова пальба. В винтовочную стрельбу вплетается частая дробь пулеметов. Мне вспомнилось, как около месяца тому назад шофер-чех, мобилизованный на работу в Германию, клялся у мясника: «Как только начнется, поставлю на мотор бабу-заику и пойду палить прямо по Праге». Сейчас эти «бабы» давали о себе знать: захлебываясь от ярости, они посыпали вперед свои убийственные остроты.

Мы прекратили уборку и начали переносить в подвал подушки и кресла. Я устроила Аленке мягкое гнездышко, положила рядом ее любимые книжки, куклы и включила электрическую печку. Аленка не противилась. Она и виду не подала, что боится.

— Как ты думаешь, папка тоже будет драться?

— Не знаю, доченька, наверное, папа сделает как лучше.

— Будет, вот увидишь,— с глубочайшим убеждением произнесла она.— А ты за него не бойся, с ним ничего не случится.

Между тем папа будто сквозь землю провалился и не давал о себе знать. Телефон трещал непрерывно, знакомые с разных концов Праги торопились узнать, что делается у нас.

— Здесь стреляют по всей улице; говорю с вами, лежа на полу. Ну а ваш еще не возвращался?

Всякий раз, когда я снимаю трубку, у меня замирает

сердце. Аленка не отходит ни на шаг, в глазах у нее немой вопрос. Наконец часа в четыре дня в трубке раздался его голос.

— К вам пока не пройти, на каждом углу — перестрелка. Не беспокойтесь, скоро конец, город будет освобожден. На Вацлавской площади сдалась немецкая полиция в полном составе и вооружении. Мучает неизвестность, что у вас.

— Ты о нас не тревожься, папа, — успокоила отца Аленка, — мы себя в обиду не дадим.

Не успели мы повесить трубку, как в доме задрожали стекла от внезапной резкой пальбы где-то по соседству. Пригнувшись, мы выбежали в коридор. Стреляли всюду.

Во время войны немцы заняли несколько домов в нашем квартале, и теперь бой докатился до них. У калитки кто-то позвонил. Я не сразу решилась отворить. Аленка вцепилась в меня — и ужас впервые мелькнул в ее глазах. Снаружи чей-то знакомый голос произносил мое имя.

Я знала их, этих парней, что сейчас ввалились к нам в дом. Еник — сын Боушковой, хозяйки табачной лавочки, — долгие годы провел в Германии; двое его друзей — слесарь и водопроводчик — постоянно исправляли у нас всяческие неполадки; а четвертый был сын того самого мясника, у которого мы обычно покупали мясо. На шапках у них — трехцветные ленты, на рукавах — красные повязки. Двое вооружены винтовками, один — пистолетом и один — ручной гранатой.

Аленка не могла отвести от них глаз.

Из соседнего дома строчил фашистский пулемет или автомат, и ребятам никак не удавалось до него добраться. Тогда они решили воспользоваться нашей крышей. Пропала минута — и вдруг дом затрясся от мощной взрывной волны. Вернулись ребята веселые.

— Досталось сволочам. Руда оставил от них мокре место. А вы знаете, что наши захватили семь танков?

Семь танков!

Восторг морозом пробежал по спине. У нас есть даже танки. Я неустанно думала о них все последующие дни, когда после счастливого начала многое изменилось.

Больше я ничего не слышала о танках и сама никого не расспрашивала. Это были мои семь танков. Измученное воображение рисовало мне, как они защищают мою Прагу.

В нашем квартале сейчас стало спокойнее, зато чуть ниже, под откосом, у школы, где была устроена эсэсовская казарма, бой не прекращался.

Днем мы с Аленкой неслышно скользили по дому и прибирались с такой настойчивостью, точно от этого зависела судьба города. Ночью, когда Аленка засыпала, я подсаживалась к приемнику и ловила призывы о помощи, бодрые звуки походных маршей.

«Это их марш. Это они», — твердила я сама себе, и мне мерещились семь танков, которые с тяжелым лязгом появляются в самых опасных местах, отвлекая огонь врага.

«Да, да, случилось бы несчастье, большое несчастье, если бы у нас их не было, — думалось мне. — А семь танков — это уже что-нибудь да значит».

Зазвонил телефон — одна из моих приятельниц разыскивала нас среди ночи. Людям не спалось повсюду.

— Эсэсовцы на Панкraце захватывают убежища, убивают жителей. Они выкалывают детям глаза и в пустые глазницы набивают солому. Спрятать куда-нибудь вашу Аленку.

«А что же семь танков? Отчего они не пришли на подмогу?» — хочется мне крикнуть в телефон. Но я молчу. Мне чудится, что где-то в夜里 танки спешат сюда прекратить этот ужас. Почему там, на баррикадах, не смогли продержаться, пока они не подоспели? И зачем сама я брошу по дому, заглядываю во все углы, присматриваюсь к мебели и беспомощно опускаю руки?.. Нет, здесь ее не спрячешь... Отчего я в дождливый сумрак выбегаю за наш садик — на пустырь, где всю войну пролежали какие-то доски и бревна? Какая сила заставляет меня таскать их и укладывать так, чтобы между ними могла укрыться маленькая девочка?

Воцарилась глубокая ночная тишина, стрельба прекратилась; только издали, оттуда, где лежал город, порой глоухо доносились взрывы.

Тишина предательски обнажала израненное сердце. Зловещий рокот тяжелых моторов раздался на равнине, по которой протянулось шоссе.

«Это они, мои семь танков!» — ликовала я. Длинные, острые языки прожекторов прорезали тьму, лизали стены домов и озаряли туманную мглу. А потом мне стало ясно. Это возвращаются немцы, возвращаются, чтобы рассчитаться с нами.

Семь танков! Где мои семь танков, чтобы преградить путь надвигающейся смерти? Сквозь шум неприятельских грузовиков мне слышалось их громыханье. Я представляла, как они ползут, катятся во тьме, словно огромные темные валуны, о которые разбьется вражеский прибой, прихлынувший к городу.

Нет, сейчас речь не обо мне, не о Йозефе и даже не о нашей Аленке, мы все во власти случая, но город! Город нужно спасти.

Я не смыкала глаз. Ждала. Сидела, склонившись над спящей Аленкой, и прислушивалась ко всяческому шороху. Рассвет еще не брезжил, когда вдруг сворой обезумевших псов сорвались выстрелы. Судя по их силе и направлению, бой все еще шел у казармы эсэсовцев. Семь танков! Мои семь танков! Где вы? Я настороженно вслушиваюсь. Быстро светало. Аленка проснулась и уставилась на меня круглыми, расширенными от страха глазами.

— Все хорошо, девочка,— успокоила я ее.— Скоро конец.

Несколько пронзительно звонких, свистящих непривычных взрывов заглушило однообразный треск пулеметов. Удар. Еще удар. И снова тишина. Необычайно тяжелая тишина разлилась по всему простору и притаилась. А потом как-то само собой она наполнилась громом и грохотом, земля вздрогивала, сначала легко, незаметно, а потом все сильнее и сильнее.

Танки! Я прижала Аленку к себе и поразилась своему спокойствию. Если конец близок — незачем волноваться!

На улице кричали, смеялись, плакали. Я тоже вышла из дома с Аленкой на руках. За садами, на площадке, где когда-то помещался стадион, стояло семь зеленых страшил; дула их орудий были обращены вниз, на эсэсовские казармы.

Перемазанные парни, вылезшие из танков с красными звездами, обнимались с нашими соседями. Я потеряла Аленку. Кто-то выхватил ее у меня из рук. «Семь танков», — твердила я словно в бреду. В вихре радости я не сразу поняла, откуда взялось здесь угрюмое, словно окаменевшее от горя женское лицо. Женщина прошла мимо, глядя перед собой невидящими глазами. Хозяйка табачной лавочки Баушкова. Еник, ее единственный сын, погиб утром на барrikаде у казармы, наверно, последним в этот последний день войны. Мне слышался его голос: «А вы знаете, — наши захватили семь танков?»

Йозеф вернулся к вечеру. Левая рука у него была на перевязи, но глубоко запавшие глаза улыбались.

— Пустяки. Царепина. Недельку-другую — и хоть под венец.

Я показала ему на стадион, где они стояли один возле другого.

— Семь танков,— сказала я.

— Да, целых семь,— ответил он, слегка озадаченный.

И в тот момент я была не в силах объяснить ему это чудо.

⟨1946⟩

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Ян Теска попал в Поточную на склоне лета сорок пятого года. При немцах городок назывался Грюнбах или как-то в этом роде, только кому охота это вспоминать и ломать язык. Поточная — имя доброе, с почтением упоминаемое в старинных документах и еще довольно часто встречающееся в бумагах начала прошлого века. Широкое и доброе имя, как широка и добра долина, в которой она раскинулась. Западные склоны поросли еловыми лесами, на восточных волнится высокая трава тучных пастбищ. На юг долина раскрывается, как страстное девичье объятье, а на север сужается и теряется в склоне горы, за которой к границе тянутся сырье и глухие леса. Долину называют Поточной, городок — тоже, так может ли речка называться по-другому? Что-то среднее между ручьем и речкой, она низвергается в неоглядные равнины кристально чистая, то зеленоватая, то голубая, словно в ней поочередно растворяются то небо, то травы.

Там, где долина раздалась наподобие плоской сковороды, вольготно расположился городок. Текстильная фабрика, где производили камчатные ткани и тонкое полотно. Заводик, изготавливший пилы, и другой, где делалось оборудование для пекарен, несколько отлично оснащенных ремесленных мастерских, гостиница для туристов, многочисленные лавочки,— все вместе — источник благосостояния и опора бывшей власти. Опрятный, чистый городок, и ты приписал бы его гражданам, если отсчитать поколение назад, спокойную рассудительность и с трудом бы поверил, что четверо первых переселенцев целых

два дня подвергались осаде в брошенной вилле владельца текстильной фабрики и их обстреливали из пулеметов.

Ян Теска разглядывал городок. Шоссе было асфальтировано, а тротуары — из мелкой брусчатки. Возможно, это и обещало кое-что в отдаленном будущем, но почти ничего в настоящее время. Ян Теска был мостильщик. Возраст — двадцать семь лет, рост — сто восемьдесят пять сантиметров, вес — девяносто два килограмма, шея, загорелая до коричневы, каштановые, досветла выгоревшие на солнце волосы, тяжелые руки, беспомощные в минуты бездействия, медленное течение мысли, разматывающее, однако, всю ниточку до конца. Работа с камнем растит твердокаменных людей. Таким был Ян Теска.

Только колени, утратившие подвижность от постоянно стояния на них, сгибались с трудом.

В городской административной комиссии сидел мужчина с красным лицом и седой как лунь. Натянутая кожа его щек была молодой и лоснилась, но в серых глазах сквозила усталость многодневного недосыпания. Звали его Багар, Антонин Багар. Его плечи мощно раскинулись над письменным столом, на левом лацкане мятого пиджака пламенела маленькая, едва заметная пятиконечная звездочка.

Он откинулся от письменного стола, и расшатанное канцелярское кресло угрожающе заскрипело.

— Значит, вы мостильщик, — сказал он сухим, глуховатым голосом. — Но у нас здесь никаких мостильных мастерских нет.

— А кто говорил, что есть? — неспешно растягивая слова, ответил Ян Теска.

— Какую-нибудь бумаженцию вы, слушаем, не привезли? Ну, чтобы вам дали ювелирную мастерскую, фабрику игрушек или лавку колониальных товаров?

— А что, это требуется? — нахмурился Теска. — Мнесто ни лавки, ни фабрики не нужно, я в таких делах не смыслю.

Глаза у Багара оживились и прояснились пробудившимся интересом.

— Да нет, не требуется, просто все приезжают с чем-нибудь этаким, — ответил он. — Можно подумать, что в Праге полно людей, которые Поточную в глаза не видели, а знают здесь о каждом гвоздике. Там он развозил цикорий, а здесь готов взять под начало часовой завод.

Багар развеселился и широко раскинул руки, словно призывая в свидетели стены комнаты, а с ними и весь свет.

— Ну, дела! Бумаги у него нет, лавки он не хочет, потому что в торговле не смыслит. Уж не собираетесь ли вы работать?

Ян Теска нахмурился и посмотрел на свои широкие ладони, лежащие на коленях. Потом взглянул на Багара, все еще из-под нахмуренных бровей, придававших его добродушному лицу что-то комическое, и сказал:

— Вы коммунист?

— Да,— ответил Багар,— а что, вам это мешает?

— Да нет, почему же? — возразил Теска.— Я и сам перед войной был в партии, но сейчас у нас пока еще не восстановили ячейку.

Взгляд Багара стал холодным и отчужденным.

— Я это не потому говорю, что хочу оправдаться,— сказал Ян Теска и поднялся.— А потому, что вы как коммунист не должны были бы смеяться над рабочим человеком.

Багар вспыхнул и вскочил так стремительно, что кресло отлетело и ударилось об стену.

— Подождите, товарищ, что вы горячку порете,— сказал он так поспешно, что поперхнулся.— Как вам могло в голову прийти, что я над вами смеюсь? Неужто я так говорю, что меня и свои люди не понимают? Все оттого, что я целыми днями вожусь с мерзавцами, которые норовят здесь хапануть побольше и смотреться.

Они вышли на улицу вместе, вдруг проникшись взаимным доверием, словно открылись друг другу и знали один о другом все до последней капельки. Они были одного роста, и взгляды их встречались на одном уровне. Это сближало их еще больше. Багар поинтересовался, почему Теска выбрал именно Поточную. Но Теска приехал не в Поточную, а сначала в Кадань, о которой услышал кое-что в трамвае. Он хотел наконец зажить по-человечески, потому что с самого рождения жил хуже скотины. Они вчетвером теснились в одной норе — его мать, он с женой и двухлетняя дочь. У них была комнатенка в подбабской развалиюхе. С той, северной стороны, если вы, конечно, знаете те места. Один угол сочился сыростью с осени до весны, да и летом как следует не просыхал. Случалось, со стены сметали совок плесени. Маленькая от этого заполучила какую-то мокнущую сыпь. У нее на тельце высакивали такие волдыри, не меньше старой пятикроновой

монеты. Разукрасило ее, бедняжку, как картофельную лепешку.

Теска говорил отрывисто, временами помогал себе обеими руками, правой — сверху, точно прибивал тяжелым молотом, левой — снизу, словно сгребая песок под мостовую. Багар упорно смотрел перед собой и крутил пуговицу пиджака.

— Жилье,— бормотал он,— жилье — пустяки, его мы тебе где-нибудь подыщем. Для начала не особенно роскошное, лучшее-то уже поразбирали, но вот как начнется выселение немцев, тогда можно будет приглядеть получше. Но ты ведь чем-то должен жить. Есть здесь каменотесная мастерская, но это пустой номер, она и прежде-то прозябала. Постой, один здешний вырабатывал точильные бруски, а сейчас драпанул в рейх. Остались трое немцев, которые у него работали. Хочешь, возьми.

Сухой голос Багара потепел и звучал настойчиво:

— Не вороти носа, парень. Мы должны научиться все понимать и все делать сами. Их выедет целых три миллиона. Такую прореху так просто не заткнешь. Эх, жаль, ты не ткач. У нас здесь текстильная фабрика — конфетка. Тогда мы дали бы тебе один из вон тех домиков. Ими мы хотим заманить чешских ткачей. Но пока набрали только пятерых. Ну что, точильную мастерскую тоже не желаешь?

Долина здесь начала сужаться, но все еще была достаточно широкой, чтобы на ней разместились речка, шоссе, и два ряда домиков по его сторонам. Наверху водосливной плотины Поточная журчала звучную песню и падала в глубокий лоток. Белая четырехэтажная текстильная фабрика гордо посматривала на стадо одноэтажных подсобных строений. Дорога поднималась вверх, воздух становился свежее и еще прозрачней, вздохи могучих легких горного перевала ритмично вздыхались и опадали.

Ян Теска глубоко вздохнул, вздрогнул от озноба, глотнул слюну, которая вдруг набежала у него во рту, и ответил:

— Не хочу я никакой мастерской. Не по мне все это. Я бы никогда не смог заставлять людей вкалывать. Мне хочется крестьянствовать.

— Ну! Это уже кое-что,— обрадовался Багар.— Это дело, парень, мы обстряпаем в один момент. Только захочешь ли ты сам, когда увидишь. Крестьянством здесь не разживешься. Знал бы, сколько здесь народу уже пригля-

дывалось. Посмотрят, покрутят носом — и только их и видели. Картофель, хлеба плохонькие, овес, как собачья шерсть, ничего другого эта земля не родит. Зато травы, луга, — загляденье, лучше нигде не найдешь. Пойдем, увидишь сам. А ты в хозяйстве-то смыслишь?

Багар зашагал так широко и быстро, что Теска с трудом за ним поспевал. Шоссе подымалось все круче, долина сужалась, Поточная все ближе подступала к шоссе, на северном склоне лес спускался к самой реке, долина кончалась. Да, в хозяйстве Теска кое-что смыслил. С малолетства помогал матери, которая батрачила. Умел косить, мог подоить корову и даже помочь ей отелиться, знал обо всем достаточно, чтобы справиться.

— Ну вот, гляди, — Багар вдруг остановился и раскинул руки, словно раздвигал занавес перед скрытой до сей поры картиной.

Далекий, долгий и более пологий южный склон долины подымался перед ними. Белые домики с шиферными крышами стояли на нем вразброс и светились на солнце под густым покровом зелени. Теска глубоко вздохнул, в носу у него защипало, и он стал его тереть. Багар искоса бросил на него быстрый взгляд и заговорил:

— Вон тот, внизу, видишь? Там, где три ели. Мне бы и самому в нем пожить хотелось, да другие дела не пускают. Хозяин исчез, как только пришли русские. На первом этаже три большие комнаты и в мезонине одна или две. Да что я тебе буду рассказывать, пойди и посмотри сам.

От шоссе прямо к дому в высокой траве петляла дорожка. Теска шагал за быстро идущим Багаром и боролся с сомнением. Вот чертика седой, кто его разберет, что он задумал. Сам-то будто наш флаг — рожа красная, волосы белые. Сперва чуть не сожрал, а теперь вишик как разговорился, так и чешет. Поди знай, какую похлебку мне придется расхлебывать... Э, да мне все едино, меня отсюда ничто уйти не заставит.

За окнами, затянутыми паутиной, стояли цветочные горшки. В них засохшие пеларгонии, резеда, морская капуста. Теска вспомнил мать, и у него перехватило в горле.

«Брось, дурень, пусть тебя это не трогает. Цветочки разводили, а совесть им тут остаться не позволила. Букетики, канареечки, горлицы, а сами капустные грядки человечьим пеплом удобряли. Все это я выброшу, чтоб мама не пугалась. Пусть привезет свои, и окна снова расцветут».

К дверям дома вели три широких каменных ступени. Багар вытащил из кармана связку ключей и начал их подбирать. Ворчал на растянутое референта по жилью, у которого не хватило смекалки сделать на ключах номерки. Наконец замок заскрипел и двери выдохнули спертый, застоявшийся воздух, пахнувший пылью, мышиным пометом, тряпьем, чем-то отвратительным, словно здесь прокисли и протухли обедки и разило самогоном. Багар быстрым шагом вошел в широкие сени, выложенные стертыми голубыми и желтыми плитками, и отбросил ногой с дороги помятую жестянную миску, которая с грохотом откатилась к деревянной лестнице, ведущей в мезонин. Теска вошел следом, превозмогая робость, словно в любую минуту из комнаты мог выйти кто-то и спросить, что они здесь потеряли.

— Вот, получай,— сказал Багар и открыл дверь в кухню.— Ты на этот свинюшник внимания не обращай, его можно запросто ликвидировать. Главное — дом в полном порядке.

И откуда они набрали такие груды бумаги, удивлялся Ян Теска. Пол был завален бумагой, а сверху валялись ящики, вытащенные из стола и кухонного буфета, в котором стояло несколько рюмок из толстого зеленого стекла и кружек с отбитыми краями или ручками. Пара стоптанных и проношенных до дыр женских туфель валялась на неполированном деревенском стуле, на диване с ободранной обивкой разбросаны чьей-то рукой красочные олеографии святых и открытка, на которой перед веселой компанией охотников служит на задних лапах такса в очках и с трубкой в пасти. Сорванные с петель двери шкафа повисли, как пьяные, а к лавке, возле новой на вид и неповрежденной печи, прилипло донце горшка, верхнюю часть которого кто-то разбил.

Ян Теска поднял отломанную ножку стула и ткнул им в донышко, пытаясь сбросить его на пол. Но оно не двигалось с места, приkleенное к дереву лавки загадочными заплесневевшими остатками, просочившимися из него. На пустом столе, как нечто неправдоподобное, покоялась твердая старомодная черная шляпа с широкими загнутыми кверху полями. Она напоминала о деревенском воскресном дне, о последней минуте перед отходом в церковь. Ян Теска поскорее отвернулся от этого зрелища.

И в других помещениях, а было их еще два внизу и одно в мезонине, они не увидели ничего хорошего.

Развороченные постели, выпотрошенные, расшатанные шкафы, вспоротые сенники и солома, устилающая полы, обрывки поношенного платья, бумага и снова бумага, стан от швейной машины, верх которой куда-то унесли, валики для плетения кружев, напоминающие старомодные муфты, и столики на высоких стройных ножках, которые могли служить подставками для цветов.

— Говорю, не обращай на все это внимания,— повторял Багар, как домохозяин, который боится, что ему не удастся сдать квартиру.— Все, что понадобится, я предоставлю.

Но этого можно было и не говорить. У Тески руки сводило от внезапной жажды ринуться и работать, чтобы как можно скорее все прибрать. В угловой комнате четыре окна — два под фронтом, два в боковой стене. Теска вспомнил своих — жену, дочку, мать. Да они глазам своим не поверят. Им и в головы-то не приходило, что такое возможно, что в комнате, где живут люди, может быть столько света. Но Багар не дал ему размечтаться, подхватил под руку и потащил за собой. Последние двери в сенях вели в просторный, сводчатый хлев. Невычищенный навоз окаменел на бревенчатом полу серыми кругляками. В ласточкином гнезде, прилепившемся у задней стены между столбов одного стойла, гомонили птенцы. Родители пролетали через выбитое оконце. Наружные ворота были выворочены. Отсюда воры забирались в дом.

— Здесь была конюшня, а сюда спокойно может поместиться восемь коров,— сказал Багар.— Прямо не хлев, а танцевальный зал.

— Куда все подевалось?

— Подевалось, как всегда в таких случаях. С лошадьми бежал хозяин, коров разобрали соседи. Трех из них я обнаружил. Остальных якобы зарезали русские. А русские-то здесь даже не задержались,— только одна моточастьостояла полдня. Но три коровы у меня есть. Они по соседству. Тебе пока хватит.

Они стояли возле вывороченных ворот. Чистый, лазурный свод неба опускался на зеленый склон. Ветер, веющий с гор, шелестел кронами пяти кривых яблонь, обнажая зеленые яблочки. Багар крутил пуговицу пиджака и выжидающе смотрел на Теску. А тот мрачно смотрел на яблочки, которые играли в прятки в густой листве. Осенью ветер скинет их на траву, и Верка их соберет. Три коровы.

Даже если он будет сдавать максимум, все равно для нее останется кружка молока, какого она в жизни не пила. В сенях есть водопровод. Поверни кран — и польется ледяная горная вода. Ни Маржке, ни маме таскать не придется. Дом сухой. Хоть делай под ним подвал. Сухой и полный солнца.

— Вывезите ее куда-нибудь на солнышко, в сухое место,— сказал доктор о Берке,— и за неделю как рукой снимет. А ведь здесь наша чешская земля. Еще в школе мы учили, что эти горы — естественная граница чешской земли. Значит, они должны быть чешскими,— ты сам видишь и чувствуешь, что это так. Они хотели у нас их украсть, и им это почти удалось... Такие хорошие, убеждающие мысли тянулись в голове Тески, и каждая из них привязывала его новым узелком к месту, на котором он стоял. Но он все хмурился из-за той мысли, что сидела на самом дне.

— Ну, что,— сказал Багар,— куда это ты засмотрелся?

— Думаю.

— Что, братьсяя неохота?

— Да вот прикидываю, сколько может стоить этот дом. Дом и коровы, а ведь у меня и есть-то всего-навсего две руки.

Теска поднял тяжелые руки мостильщика, а Багар с облегчением рассмеялся, дернул его за правую руку и потянул к себе.

— Выходит, ты у нас капиталист. Этим ты заплатишь за все, сколько бы оно ни стоило. Идет?

— Но я сначала должен достать какую-нибудь бумагу на этот дом и вообще на все,— сказал Теска.

— Бумагу ты получишь, я ее тебе сам напишу. Не бойся, здесь на тебя никто давить не будет. Может, когда уйдут немцы, ты останешься, как кол в заборе. А потом и сам сбежишь.

Теска с улыбкой покачал головой.

— Я здесь останусь.

— Это мы скажем через год.

— Я сейчас здесь останусь.

— Как сейчас? — удивился Багар.— У тебя же в Праге жена и ребенок. Ты, небось, поедешь за ними?

— Сначала приведу все в порядок. Не везти же мне их в такой свинарник.

— Что ты тут сделаешь один? Я пришлю к тебе немцев.

— Не хочу. Не хочу быть им ни за что благодарным.

Протяжное мычание понеслось со склона. Они посмотрели. Три пестрые коровы появились над ближайшим домом. Опустив головы, они принялись пастись в высокой траве. Даже сюда доносился шелестящий звук их языков и слачный хруст разжевываемых стеблей.

— Вон та, последняя, с чепрачной спиной, будет звать тебя хозяином,— сказал Багар, и Теска глубоко вздохнул.

— Ну, мне пора за работу,— сказал он.

Повернулся и вошел в дом.

⟨1948⟩

СТАТЬИ

O PRAVDĚ UMĚNÍ A PRAVDĚ ŽIVOTA, Praha, 1960

Перевод В. КАМЕНСКОЙ

ИДЕЙНОСТЬ

Думаю, никто из современных писателей как художник не избежит необходимости определить свое отношение к коренным изменениям в обществе, участником и свидетелем которых он стал в силу своей принадлежности к той или иной нации. Пока что я не могу сказать, как именно отвечу на эти события сам, но в своей работе я всегда искал ответов на животрепещущие вопросы, выдвигаемые временем. Идейность, с моей точки зрения,—неотъемлемая часть художественного произведения. Чем более широка и общезначима, действенна и животворна идеяная база, на которой вырастает художественное произведение, тем более всеобъемлющим будет его воздействие, тем глубже будет его проникновение в жизнь. А что касается понятности... Когда-то я читал, что художник — гений общения. Но общение подразумевает взаимопонимание. Я убежден, что каждый честный художник всегда стремится к тому, чтобы его понимали.

⟨1948⟩

Даже в искусстве не бывает красоты без идеи; искусство вообще не назовешь искусством, если оно в полной мере не выражает свою эпоху. А следовательно, вопрос «как» неотделим от вечного и основополагающего «что». Если художнику неясно, что он хочет сказать, ему недостанет и движущей силы, которая побуждает задавать вопросы и стремится выразить свое познание жизни как можно лучше, а значит — в искусстве — и как можно красивее, с захватывающей новизной и увлеченностью. Если же сказать нечего, зачем вообще задаваться вопросом, как это выразить? Правда в искусстве — безусловно больше, чем одна ограниченная, вырванная из контекста целостной

жизни идейка, чем чья-то маленькая боль, маленькая вспышка ярости или муки. В искусстве всегда было и остается правдой лишь то, что явилось итогом общих переживаний, познаний и идей.

⟨1955⟩

НОВЫЙ РЕАЛИЗМ

До сих пор народность — особенно в литературе — была чем-то предосудительным. Почему? Прежде всего потому, что средства, которыми она старалась сискать заинтересованность широких читательских кругов, с художественной точки зрения, не были ни добросовестными, ни чистыми. Таким образом, задачи, которые ставит перед искусством стремление приблизиться к народу, касаются и содержания и формы. Но если меняется направленность литературы, непременно меняются и источники, которые ее до сих пор питали, а с ними, естественно, и средства выражения. Черная сюжеты из новых родников, она полностью преобразит и свой язык. Обращенная к широким кругам народа, внимательно следя за его жизнью и борьбой, за тем, как постепенно пробиваются и набирают силу ростки его мечтаний, проникая к самым корням его мышления и душевных порывов, цельных, естественных и конкретных, литература с обновленной жадностью вслушивается и в народную речь.

И потому нам кажется, что на литературном горизонте вырисовывается некий новый реализм, отнюдь не тот, какой мы подчас пытались создать, исходя из заданной программы, но реализм, складывающийся из самих изменившихся основ нашей жизни, реализм новой действительности, которая требует ясного словесного выражения, и одновременно реализм поэтический, инициативный в вопросах формы, постоянно ищущий и художественно переосмысливающий поток жизненных фактов, реализм, который должен непрестанно обновляться в чудесном кладезе творческих сил народа.

⟨1945⟩

О НАРОДНОСТИ

Далека дорога от башни из слоновой кости, еще в начале века провозглашавшейся единственным подходящим обиталищем для поэтов и художников, к жилищам, населенным обычными людьми, к стадионам, лагерям и школам, где формируется молодежь, к заводам и фабрикам, где создаются вещи, без которых нам в нашей сложной жизни уже не обойтись. Неблизкая это дорога, и все же пройти ее надо каждому художнику, осознавшему свои новые задачи, каждому, кто хочет, чтобы его слова были услышаны и со вниманием восприняты, кто считает для себя делом чести участие в созидании нового мира.

До сих пор все усилия, предпринимавшиеся в этом направлении, определялись девизом — мол, для народа необходимо что-то сделать, — девизом коварным и обманчивым, отдающим благотворительными тенденциями прошлого века. Это страшный девиз, если принять во внимание, что именно народ испокон веков создавал все для образованных людей, а также для тех, кто, пользуясь плодами его труда, благоденствовал, жил беспечально, в чистоте, наслаждаясь ароматом прекраснейших цветов духа, взращенных для них интеллигенцией; однако никто ничего для народа не сделал — лишь искони и те, и другие почитали себя его вождями, предопределенными богом и природой, а из всего, на что народ имел право, давали ему то, что одобряли сами.

Лес ненависти разделял богачей и народ, чаша недоверия выросла между народом и интеллигенцией. Но теперь речь не о богачах. Время неумолимо вышвыривает их за борт, история произнесла над ними свой приговор раньше, чем большинство их успело понять его значимость и неотвратимость. Речь сейчас идет об интеллигентах, большая часть которых вышла из народа, но забыла о своем происхождении, о том, насколько раскрыла им глаза наша эпоха — эпоха всеобщей ломки, насколько заставила понять подлинный смысл образованности и ее предназначения. И в первую очередь речь о том, смогут ли они уяснить для себя, смогут ли раз и навсегда осознать глубочайшую взаимосвязь и абсолютное единство всего человеческого творчества. Мы живем в пору брожения, вчерашние истины рухнули в течение одной ночи, а новые, как нам представляется, еще не имеют четких очертаний, словно до сей поры мы больше предчувствовали и лишь вслепую нашупывали то, что завтра станет реальностью. Но это относит-

ся лишь к тем, кто все еще не протер глаза от пыли, которая вздымается над любой великой ломкой. Брожение — пора не менее закономерная, чем созревание; кто умеет зорко смотреть вперед, должен уже в первоначальном хаосе частиц угадать кристаллические формы будущего. И кто бы тогда стал сомневаться, что мы стремимся к народному государству, народному — в самом полном смысле этого слова.

Старая истина, утверждающая, что народ — неисчерпаемый источник всякого здорового творчества, в свете этой перспективы обретает новое подобие. Для большинства деятелей искусства майский переворот был двойным освобождением: они стали свободны как верные и наиболее восприимчивые сыны своего народа и как художники, которые прежде врашивались в замкнутом круге узко личных переживаний или подбирали жалкие крохи уже исчерпавших себя идей. Следовательно, и путь их к народу будет иметь две стороны: они не только будут ему служить, ибо еще вопрос, найдется ли у них при нынешних, в корне изменившихся обстоятельствах, что дать народу, но прежде всего сами пойдут у него учиться. Они вновь будут постигать его душу, от понимания которой они в большинстве своем отошли в силу соображений, весьма далеких от ее своеобразия, вновь примутся торить заросшие тропы между народом и искусством, будут возвращаться к естественности и простоте народной речи, глубоко зондировать причины и законы жизни человеческого сообщества, — если уж прежде до изнеможения копались в нюансах души индивидуума, который, подчеркивая свою исключительность, постоянно оказывался вне бурной творческой силы национального коллектива.

⟨1945⟩

О ПОЛОЖЕНИИ ПИСАТЕЛЯ

На нашу политическую арену как важный и отныне уже постоянный определяющий фактор вступает тот общественный слой, который было принято называть «четвертым сословием». История ведет к стиранию классовых различий до полной их ликвидации, осуществляется справедливость, не измеряемая понятиями и потребностями одной социальной группы; это достигается в результате процессов, порой противоречивых, а кое в чем и болезненных, однако они ведут к конечной цели, пребывающей еще

как бы за завесой, за которой вырисовывается новое устройство жизни и в нем — облик нового человека.

В этих условиях задачи, стоящие перед писателем, вне сомнения, будут особенно трудны и ответственны. На фоне изменения правовых и нравственных воззрений на первый план с чрезвычайной остротой выступают вопросы совести; личность, ее права и обязанности получают новую направленность, ставший реальностью социализм по-новому освещает само понятие демократии. Устремленные в будущее, мы несем в себе прошлое и находимся на слиянии этих двух течений; вода замутняется, образуя круговорть в местах, где ясные цели наших общих тенденций сталкиваются с непомерными претензиями отдельных индивидуумов, которые не в силах освободиться от старых представлений о том, что такое благо и счастье. К этим разногласиям необходимо внимательно прислушиваться, чутко реагировать на скрытую в них опасность.

Роль писателя становится значительней в эпоху, когда ответственность перед обществом ведет завершающий бой с мелочными и разобщдающими привычками и представлениями, которые постепенно преодолеваются, и когда еще не ясно, какую форму обретет свобода личности в условиях ее все возрастающей связи с коллективом.

Таким образом, труд писателей в конечных своих результатах имеет и глубокое политическое значение, ибо их произведения воздействуют на образ мыслей и поведение сограждан. Путь нашего национального возрождения и нашего освобождения не менее ярко обозначен словами наших поэтов и прозаиков, чем деяниями наших политиков и борцов за свободу. Можно даже сказать, что во многом он ими предопределен. Осознавая политическое значение своих произведений, поэты и прозаики несомненно вправе требовать, чтобы к ним обращались и прислушивались также и в решении вопросов, казалось бы, чисто политических. С обостренной чуткостью размышляют писатели обо всех личных и социальных проблемах и зачастую нащупывают то, что от многих скрыто, а значит, они могут сказать много важного и как граждане, не только своими книгами участвующие в созидании нового общественного строя. Чем ближе они будут к современности во всех ее проявлениях, чем непосредственнее будут участвовать во всем происходящем, тем весомее прозвучит их слово.

Положение писателей изменилось вместе с положением всей нации. Их место теперь уже не только «в укромном уголке», где прежде в полном одиночестве они предавались раздумьям, а попеременно — то «в уголке», а то — в местах, где кипит живая работа, свершаются живые дела. Тем самым и будет достигнуто равновесие между их литературной деятельностью и жизнью, решительными и преданными сотворцами которой они хотят быть.

⟨1946⟩

* * *

Мы можем с удовлетворением отметить, что на протяжении критического трехлетия чешские писатели в подавляющем большинстве оказались достойными своей нации, остались верны своему народу, его нуждам и чаяниям. И ныне, на пороге дальнейших событий, они должны осознать, как представляют себе свою миссию в национальном сообществе, структура которого кардинально меняется, в эпоху, над своими вратами и на всех указателях начертавшую: социализм. Нет сомнения, что искусство, черпавшее и содержание, и художественные средства в христианстве, феодализме и в относительно кратком периоде капитализма, найдет все это и в социализме. Однако ни содержание, ни художественные средства не валяются просто так на улице — только нагнуться и поднять. Путь к социалистическому искусству, достойному своего великого имени, не будет прост. Но на него нам придется вступить хотя бы потому, что на него уже вступила сама жизнь. Художественное произведение, всегда выражавшее сложные взаимоотношения между творческой индивидуальностью и обществом, в котором живет творец, представляет собой в равной мере результат творческой необходимости и творческой свободы. О свободе художественного творчества ведут споры как раз те, кого пугает грандиозность задач, требующих принципиального разрыва с прежней направленностью искусства. Ибо если новое содержание и новые формы обретает жизнь нации, будет их искать и искусство — нравится это кому-то или нет. И потому представление о художнике, который должен, но не хочет, — нечто среднее между абсурдным домыслом и злым умыслом. Это значит, что вопреки смыслу жизни и искусства нам внушается представление о ху-

должнике как о безвольном существе только для того, чтобы избавить его от всех обязанностей. Точно так же нам придется пересмотреть и представление о художнике как о существе одиноком, занимающем в обществе исключительное положение или даже представляющем себя вне общества — лишь по той простой причине, что он художник. В нас еще живет ни на чем не основанный предрассудок, будто искусство возникает лишь там, где художник находится в оппозиции к обществу, в котором живет, или хотя бы внутренне его не приемлет. Разумеется, это предрассудок, потому что положение художника в буржуазном обществе возводится в правило и распространяется на все исторические периоды как извечный непреложный закон. Но ведь мы знаем великие и творчески плодотворные эпохи, когда художник жил в полном единении с обществом, выражал и претворял в произведениях общепризнанные идеи и общепринятые чувства. Художник оказывается вне общества и противопоставляет себя ему, только когда распадается объединяющая мир универсальная идея и в особенности — когда материальные интересы одного класса практически заставляют восстать всех против всех. Мятежный художник, ведущий титаническую борьбу с миром, жизнью, людьми, — типичный продукт романтизма, во всех своих проявлениях и оттенках лелеемый затем под эгидой буржуазии в течение всего XIX века — вплоть до наших дней. Очевидно, ни к чему повторять в подробностях, почему искусство оказывалось в разладе с обществом и почему этот разлад приводил к полному разобщению между ними, отчего, решая все более замкнутые задачи, искусство неудержимо скатывалось вниз по гибельной спирали пустоты и недоступности, но продолжало питать безумную надежду, что кому-то оно еще что-то говорит и что настанет день, когда оно будет понятно каждому. Ведь любой художник, даже самый сложный, хочет быть доступным, хочет, чтобы его понимали, хочет общаться с широкой аудиторией. Сейчас речь лишь о том, на каких путях он будет искать эту понятность, не изменяя самому искусству.

Не вызывает сомнений, что искусство, обращенное к грядущему, должно быть смелым, куда более смелым, чем было до сих пор, ибо ему предстоит покончить со многими предрассудками, в плена которых оно очутилось из-за неразрешимых противоречий своего общественного положения. В противном случае ему грозит опасность — даже оставаясь искусством, стать искусством никому не нуж-

ным, искусством ни для кого и ни за чем, а в тот далекий день, когда оно надеется стать понятным, ему уже не к кому будет обращаться, потому что человечество в своем мироощущении продвинется на многие километры вперед от условий, в которых оно вырастало. Полагаю, эти условия должны вселять в чешских писателей больше надежд, чем опасений, и прежде всего предоставляют им возможность создать искусство в полном смысле слова национальное, опирающееся на всемирно признанные идеи социализма, но целиком вытекающее из потребностей и стремлений, труда и борьбы, мечтаний и усилий их собственного народа. Именно в этом и путь к подлинно всемирному признанию. Многие второстепенные идеи, волнующие и движущие искусство народов Запада, на мой взгляд, в наших условиях автоматически утрачивают свое значение. Ибо на Западе народы и искусство еще борются с господством своих буржуазных классов, а мы окончательно от них освободились, и в будущем нам предстоит лишь противостоять заграничной реакции. Социализм — это фундамент, на который мы все будем теперь опираться. И если наш народ самоотверженно включился в созидание социализма, в осуществление и обеспечение его основ, то мы, писатели, никак не можем стоять в стороне. Искусство зреет долго, но оно требует и постоянных, неотступных усилий. Вот наша сегодняшняя программа: обогатить искусство социализмом, обогатить социализм правдой искусства, ибо и то и другое — лишь два различных понятия, в равной мере означающих жизнь, радость, счастье. Необходимо, чтобы и художник — в особенности поэт и прозаик — ощущал социализм и им жил. Ощущал не как одну из множества политических доктрин, служащую предметом повседневного торга и сделок, а как единственно возможный идеальный и нравственный строй жизни, лучше которого мы до сих пор не знаем, и воспринимал и помогал строить его как храм человечности, на башне которого по утрам поет петух — наше незатухающее стремление к красоте, гармонии и миру.

Если мы будем именно так смотреть на социализм, мы поймем, что он представляет собой достаточно широкую базу для художника любого склада. Ведь речь идет вовсе не о том, чтобы искусство при социализме стало однобоким, чтобы мы возвращали тощий бамбуковый росток: мы хотим вырастить древо с буйной кроной и множеством плодов. Это значит, что в будущем писатель должен стать деятельным участником жизни своего народа, должен

чутко прислушиваться ко всем переменам, которые будут совершаться в национальном сообществе, сам должен активно в них участвовать, должен научиться видеть культуру в ее целостности, а не как ряд одиночных явлений. Таким должен стать его путь к народу, из которого он вышел и к которому будет возвращаться в своих произведениях,— сам — семя будущего, брошенное в урожайную почву.

⟨1948⟩

* * *

Если трудовой народ предъявляет к себе **самые высокие требования**, чтобы решить величайшие задачи строительства социализма, он наверняка имеет право требовать и от художников, чтобы те, по меньшей мере, шли с ним в ногу. Задача, которую писатели при этом должны решать, не проста и требует от каждого напряжения всех сил. Само по себе служение идеи — вещь нелегкая, усвоение до самых глубин ведущих идей эпохи — задача невероятно трудная, в особенности если ты еще обременен прошлым. Выполнение такой задачи требует преданности общему делу, усердия и воодушевления, нетерпимости к старому и любви к новому миру. К такой задаче нельзя подходить поверхностно, результаты твоих трудов выдадут тебя с головой, народ распознает фальшив и просто тебе не поверит. Присмотрись к себе, дружище, изучи себя. Никто не требует от тебя самокопания в духе прежних приемов психологического анализа. Важно лишь, чтобы ты сам проверил, насколько готов к тому великому сражению, каким всегда было и тем более остается сейчас **всякое подлинно художественное произведение**. Во что бы то ни стало ты должен найти в себе знак равенства между жизнью и идеей. Если не будешь жить идеей своего времени, тебе не достанет сил и выразить ее. Самая значительная, самая насущная тема не поможет тебе, если в своем сознании ты не добьешься абсолютной ясности, эта тема все равно развалится под твоими руками, поблекнет и превратится в труп, но прежде всего выдаст твою неискренность.

⟨1952⟩

В ЦЕНТРЕ ЛИТЕРАТУРЫ — ЧЕЛОВЕК

В последнее время все чаще спрашивают, будет ли еще литература заниматься частной жизнью человека или станет по преимуществу литературой политической — очевидно, имеется в виду, что литература в первую очередь будет интересоваться человеком как фигурой чисто политической, то есть как носителем четко выраженных политических идей, будет изображать его борьбу за осуществление этих идей. Однако истина не в такой расчлененной постановке вопроса, а в неразрывном единстве обеих его сторон. *Прежде всего* именно человек всегда будет центром и основой литературного произведения, а человек, разумеется, состоит не из одних только идей и не выступает лишь как их носитель, однако идеи пронизывают всю его жизнь и не могут не определять ее. Если меняются формы нашей общественной жизни, что-то неизбежно меняется и в нас, и беспокоящие нас проблемы, бесспорно, будут отличаться от проблем, беспокоивших тех, кто жил до первой мировой войны. В значительной мере это подсказывает и нашим писателям подход к материалу. Даже если мы, к примеру, станем пользоваться приемами психологического анализа, мы будем делать это иным способом и с иной целью, чем делали раньше, и не станем обнажать душевые процессы отдельного индивида, не покажем его вне связи с окружающей жизнью. Наш подход неизбежно будет скорее обобщенным, нежели аналитическим, ибо в нас глубже проникло коллективное сознание и мы ощущаем себя частицей целого даже там, где, как нам кажется, действуем из самых внутренних и чисто личных побуждений. И если не в этом освобождение индивидуума от мрачного плена, когда он сам себе представлялся замкнутым миром и без конца копался в себе, словно его заперли в комнате без окон и дверей, то я, право же, не знаю, в чем еще такое освобождение искать.

⟨1946⟩

* * *

Нашей целью (и другой цели у политики быть не может, если она не хочет вновь утратить свою общезначимость и общепризнанность) является максимум человеческого счастья, какого только можно достигнуть. При таких

предпосылках — а мы стремимся именно к тому, чтобы они воплотились в реальность, — исчезают многие причины разногласий, основанных на противопоставлении политики и искусства, в частности — литературы.

С определенного момента у них единый объект — человек. А значит, провидческая роль литературы не исчезает, литература не попадает в рабскую зависимость от политики, наоборот, она обретает еще большую значимость и широту. Концепция политического деятеля направлена на достижение реальных предпосылок человеческого счастья, поэт же будет искать отражение происходящего в человеческой душе, будет измерять глубину перемен, сложность взаимоотношений, ибо в грядущем должен появиться человек более развитый, нежели прежний индивид, замурованный в самом себе и снедаемый своими предельно узкими интересами; поэт постарается уловить в зеркале этот меняющийся лик и в глубине отражения найти человека будущего. Спор, который велся на съезде молодых об этой новой функции искусства, довольно долго вертелся вокруг того, должно ли искусство довольствоваться познанием человека, каков он есть в данный момент, или оно способно, не опасаясь разойтись с уже познанной истиной, помогать человеку в его стремлении к совершенству. И как раз самые молодые участники съезда требовали от литературы, чтобы она взяла на себя эту боевую задачу.

Я бы сказал, что искусство может взять на себя какие угодно обязательства, если его творцы осознают их как необходимость, знают, что иного пути нет и быть не может. Требование, высказанное самыми молодыми участниками съезда, — это кredo, в котором угадываются идеи и чувства, охватившие ныне и увлекающие в едином потоке весь мир, борющийся за свое будущее, а это представляется мне исходной точкой, куда более надежной и содружественной, чем те, на которые опирались в своих завоеваниях прежние художественные направления. Важна лишь мера убежденности и честности тех, кто отталкивается от этой исходной точки, ибо новое направление таит в себе две великие опасности, два яда, разящих искусство наповал: утопичность и дидактизм. Но с другой стороны, такой путь открывает столь далеко идущие возможности и перспективы, что нужно найти в себе смелость и вступить на него. Поскольку для искусства речь идет о человеке, значит, речь идет обо всем, что есть мы и что составляет наш мир. А это достаточно большая ставка, ради которой стоило

начать игру. Некоторым слишком боязливым натурам кажется, будто они ставят на кон утрату собственного «я», но следует спросить себя, не чрезмерно ли сузился наш взгляд, ограниченный лишь современным состоянием искусства. Конечной его целью была форма. Заглядевшись, точно Нарцисс, на ее красоту, оно подчас забывало спросить: форма — но чего? Новое искусство, которое намерено разорвать эти слишком тесные путы и искать свое предназначение в новом содержании и новой тематике, одновременно должно обрести достаточно убедительную и вытекающую из этого содержания новую форму, чтобы не перестать быть искусством, то есть высочайшим и совершеннейшим выражением познанной истины. Если искусство будет искать и найдет свое выражение в том, что станет максимально понятным, ему обеспечена полная победа. Ибо в борьбе за нового человека новое искусство должно отринуть все, от чего избавился сам человек.

⟨1948⟩

О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

Когда молодой поэт задает вопрос, нужно ли учиться у классиков или у их продолжателей, это звучит так — если вообще оставить в стороне его не слишком отчетливое представление о классиках,— словно он испрашивает соизволения не обременять себя лишним образованием и знаниями. Он не хочет взять в толк, что для подобных ограничений поистине не найти разумного довода, если, конечно, в его вопросе не кроется желание послать к чертам всех поэтов, начиная с последних десятилетий прошлого века, и в особенности ныне здравствующих, дабы очистить простор для его собственного таланта. Но ведь ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин никогда не пытались обойтись минимумом знаний, не старались держаться на почтительном расстоянии, скажем, от философов-идеалистов из опасения заразиться их примером. Наоборот, каждому известно, что последнее столетие не знало более образованных людей, что они сумели разбить идеалистическое мировоззрение именно потому, что досконально его изучили, и что только благодаря высочайшей образованности им удалось предсказать человечеству пути его развития.

В каверзном вопросе молодого поэта скрывается опасный умысел. Его формулировка заранее подсказывает

предполагаемый ответ, обнаруживая его собственное плохо скрытое желание, и толкает нас к краю пропасти, откуда только шаг до падения. Разве можем мы ограничиться Толстым и разве Горький, Фадеев, Шолохов или Николай Островский уже ничего не могут нам сказать? Разве после Божены Немцовой и Яна Неруды или даже после Сладека и Сватоплuka Чеха наступила полнейшая пустота? Разве ничего для нас не значит слово Волькера, С. К. Неймана, Ольбрахта, Марии Майеровой, Пуймановой и многих других чешских писателей? Вопрос молодого поэта — это вопрос, оправдывающий его собственное пораженчество. Писателя эпохи построения социализма нам стараются представить как человека, довольствующегося кругом образованности, ограниченной известными пределами, неведомо кем установленными. Но писатели в странах народной демократии — отнюдь не люди с шорами на глазах; наоборот, они помогают создавать новые формы жизни, активно участвуют в труде и борьбе народа, их творчество должно указывать народу путь, облегчать и ускорять во многом болезненный процесс перестройки. Следовательно, писатели — и в особенности молодые — не могут допустить пробелов в образовании, пробелов произвольного, никем не установленного объема.

⟨1951⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

СВИДЕТЕЛЬ

«За «Светом тьмы», — вспоминал Вацлав Ржезач, — последовал роман «Свидетель». Я заканчивал его в период гейдрихиады»¹.

«Гейдрихиада» — период самого жестокого террора нацистов, начавшегося с момента вступления на пост «имперского протектора» Чехии и Моравии Рейнхарда Гейдриха (27 сентября 1941 года) и достигшего высшей точки после успешного покушения на него, осуществленного участниками Сопротивления (27 мая 1942 года). За время действия введенного после этого осадного положения свыше трех тысяч человек было арестовано, 1357 человек — расстреляно (в их числе выдающийся писатель-коммунист Владислав Ванчура). Гитлеровцы сравняли с землей деревни Лидице и Лежаки, все их мужское население расстреляли, женщин отправили в концлагеря, а детей — на «перевоспитание» в Германию. Такова была атмосфера, в которой появился роман «Свидетель» (издательство «Франтишек Боровы», в ноябре 1942 года).

По словам старшего сына писателя, до начала работы над «Свидетелем» Ржезач пробовал писать биографический роман о чешском художнике Петре Яне Брандле (1668—1735). Между описанием так называемой эпохи «тьмы» (эпохи католической контрреформации, габсбургского абсолютизма и германизации Чехии) и художественным воспроизведением атмосферы гитлеровской оккупации была прямая связь.

«Как в «Свете тьмы» предзнаменованием гитлеровского зла была крыса, — рассказывал В. Ржезач, — так здесь оно символизировано мрачной фигурой Квиса, человека-бестии, лишенного собственной личной

¹ A. Skýpala. Beseda s Václavem Řezáčem. Panorama, 1950, č. 10, s. 57.

жизни, фигурой, которая олицетворяет здесь Гитлера, высвободителя зла. А вся Бытень со своей пивной идиллией и мелкобуржуазным потребительским благополучием — это мещанская Германия, которая именно благодаря этим особенностям так легко стала послушным орудием гитлеровской военной агрессии и террора. На этот роман было израсходовано много труда и усилий, хотя я считаю его самой сомнительной из своих книг. Но она помогала мне в самые трудные минуты высоко держать голову. Я стремился дать книге наилучшую словесную оснастку, чтобы чешский читатель почувствовал красоту родного языка. Положительным, светлым персонажем в этом романе является южночешский пейзаж. Природа играет здесь большую роль, роль одной из ведущих драматических фигур. В то время, когда убили Ванчуру, когда вокруг меня неистовствовал кошмар арестов и казней, я таким путем устанавливал контакт с чешским читателем...»¹

В «Свидетеle» получает развитие намеченный в «Свете тьмы» мотив манипулирования людьми, скрытой игры ими, подобной действиям кукловода, дергающего за ниточки и заставляющего марионеток послушно подчиняться его воле. Фигура старого человекенавистника Эмануэля Квиса, способного проникать в чужую душу, угадывать самые тайные помыслы и неизменно направлять их в дурную, гибельную сторону, в этом смысле близка образу Карела из предыдущего романа. Квис побуждает обитателей Бытни, которая одним напоминает Собеслав, другим — Ломницу-над-Лужицей, перешагивать границу, отделяющую долг и преступление, благо и зло, жизнь и смерть. Лишенный какой бы то ни было духовной самостоятельности, Квис живет созерцанием и «сопреживанием» чужих драм, им же спровоцированных. Во многом он похож на сказочного волшебника, выпускающего на волю злых духов. Эта сказочная символика, а также контраст фантастического гротеска и изображения застойного быта провинции заставляет вспомнить повесть чешского поэта, прозаика и драматурга Виктора Дыка «Крысолов» (1915), на основе которой чешский режиссер-коммунист Э. Ф. Буриан создал в 1940 году замечательный антифашистский спектакль. Крысолову удается вывести свои жертвы из города. В романе Ржезача «актеры», чьими судьбами пытается играть Квис, выходят из повиновения, а сам он умирает, не выдержав тяжести чужих судеб, на которых привык паразитировать. Так же, как в детской сказочной повести Ржезача «Заколдованное наследство» (1939), узурпатор всесилен лишь до тех пор, пока не встречает решительного сопротивления. И если герцога Густава сокрушил смелый мальчик Вит, то волю Квиса первой сломила юная Лида Дастьхова.

Необычное содержание и необычная художественная форма романа Ржезача побуждала некоторых критиков отнести его к числу произведений экзистенциализма. Такую точку зрения высказал, например,

¹ A. Skýpala. Beseda s Václavom Řezáčem, s. 57.

Ф. Гетц¹. Однако, по свидетельству близких, Ржезач познакомился с идеями экзистенциализма лишь после войны (в 1946—1947 годах он купил два тома «Дорог свободы» Ж. П. Сартра, но не прочел и 50 страниц,— книга показалась ему настолько скучной, что он бросил чтение). Впоследствии тот же Ф. Гетц справедливо писал о «реалистической основе» «Свидетеля», хотя и подчеркивал, что это реализм не описательный, а поэтический: «Ржезач — поэт, каждое наблюденное явление он воспринимает в личной перспективе и пропускает через свое разбушевавшееся нутро, которое высвечивает реальность, истолковывает и понимает ее индивидуальный и общественный смысл. Но как раз в ту же минуту фактами овладевает его фантазия и превращает их в магическую реальность»².

Другой чешский критик — А. М. Пиша — столь же обоснованно предостерегал против упрощенного истолкования «многозначного смысла» романа и подчеркивал, что сознание опасности, грозящей персонажам со стороны Квиса, «мобилизует все положительные силы их существа»³.

«Поэтический» или «магический» реализм «Свидетеля» — этой фантасмагорической притчи о бессилии даже гиперболизированного зла, заставляет вспомнить о романе Владислава Ванчуры «Пекарь Ян Марготул» (1924), притче о бессилии абстрактного добра в хищническом мире. Так же, как у Ванчуры, мы находим здесь гротескный групповой портрет провинциального мещанства. Стиль Ванчуры напоминает сама насыщенная метафоричность «Свидетеля». Сходной была и творческая позиция обоих писателей, что видно из рукописных текстов их публичных литературных выступлений начала 40-х годов. Подобно Ванчуре, Ржезач считает, что проза должна «вернуться к своим основам, к человеку и его поступкам, к людям и их лицам, к концентрированной форме, к действию архитектурно построенному, драматически завязанному в узлы и заостренному»⁴. «Действие,— писал он,— один из самых могучих формальных элементов прозы, но роман предпоследнего времени отказался от него в ущерб себе. О чем мы должны теперь заботиться в прозе? О том, чтобы достигать поэтического эффекта фигурами персонажей и действием, чтобы герои наших романов вновь совершали поступки и говорили, а не теряли себя и свой облик в безысходных лабиринтах анатомирования своего внутреннего мира»⁵. Эти высказывания очень важны для правильного понимания ржезачевской психологической прозы. Это был своеобразный эпический психологизм, психологизм писателя, который,

¹ F. Götz. Obraz člověka v Řezáčově románu. Národní osvobození, 29.V.1946, s. 4.

² F. Götz. Václav Řezáč. Praha, 1957, s. 95.

³ A. M. Piša. Doslov. In: V. Řezáč. Svědek. Praha, 1956, s. 309.

⁴ V. Řezáč. O pravdě umění a pravdě života. Praha, 1960, s. 15.

⁵ Там же, s. 23.

обнажая глубинные, подчас подсознательные побуждения героев, в то же время отрицательно относился к роману, который тонет в лиризме и «неподвижных водах интроспекции», который превратился «в лабораторное исследование внутреннего мира», в «самоцельный словесный эксперимент» или тщетно ищет выход в «натуралистическом описании подсознательных состояний и снов».

По контрасту, «Свидетеля» противопоставляли роману Яна Дрды «Городок на ладони» (1940) — юмористической картине чешского провинциального городка в предгрозовой июль 1914 года. Друг и соратник Ржезача любовался здесь золотыми старыми временами, безвозвратно ушедшими в прошлое и теперь уже казавшимися идиллическими. Автор был исполнен оптимистической веры в торжество добра и благородства, в силу своих героев, которые одолели минувшую мировую войну и одолеют новую. В одной из рецензий «Свидетель» Ржезача был назван «Городком на ладони» изнутри¹.

Стр. 12. ...*земского суда в Праге...* — то есть суда исторической земли Чехии (другими землями чешской короны были Моравия и Силезия); соответствующее территориально-административное деление сохранялось и в буржуазной Чехословакии.

Стр. 14. ...*была, наподобие Жозефины Богарне, изображена...* — Имеется в виду изображение первой жены Наполеона Бонапарта Жозефины Богарне (1763—1814) на картине французского художника Пьера Поля Прюдона (1758—1823) «Портрет императрицы Жозефины в Мальмезоне» (1805, Лувр).

Стр. 31. *Либуше, Кази* — дочери легендарного чешского воеводы Крока; третьью дочь звали Шарка.

Стр. 106. *Принцесса Одуванчик* — героиня одноименной пьесы-сказки (издана и поставлена в 1897 г.) чешского драматурга, поэта и режиссера Ярослава Квапила (1865—1950).

Стр. 145. ...*в бидермейерском кресле...* — *Бидермейер* — художественное направление в Германии и Австрии (ок. 1815—1848), ориентировавшееся на потребности и вкусы бюргерства, приспособливавшее к ним в оформлении интерьера и мебели особенности стиля ампир.

Стр. 167. ...*словно шут короля Иржи...* — Речь идет о Яне Палечке (ум. ок. 1470), шуте чешского короля Иржи из Подебрад (1420—1471).

Стр. 202. *Моравская Словакия* — историческая область в юго-восточной Моравии, славящаяся своеобразными бытовыми традициями и фольклором.

¹ K. Milotová. «Městečko na dlani» zevnitř. Venkov, 29.II.1942, s. 8.

РУБЕЖ

В романе Ржезача «Свидетель» зловещей гротескно-символической фигуре Квиса противостоит начинаящая актриса Лида Дастьхова, которая покидает родной город, чтобы прожить на сцене много жизней, «пробуждать спящие судьбы и давать их другим», ибо «никто не может жить в одиночестве и все мы тоскуем друг о друге». Коллизия Квис — Лида по-новому переосмысливается в романе «Рубеж», который вышел в издательстве «Франтишек Боровы» в 1944 году. Писатель Индржих Ауст, создающий на сороковом году жизни свой первый роман («Посев ветра» вышел, когда Ржезачу было 34 года), и главный герой этого романа — актер Вилем Габа противостоят друг другу и вместе с тем тесно связаны.

В «Рубеже» подробно исследуется проблема соотношения личного опыта и художественного вымысла в писательском труде и соотношение творческой индивидуальности и перевоплощения в труде актера. Автор приходит к парадоксальному выводу: и в том и в другом случае для сохранения индивидуальности художнику необходимо думать о тех, для кого он творит, необходим постоянный контакт с людьми и жизнью.

«Рубеж» означает ревизию моей предшествующей творческой работы, — утверждал Ржезач. — Я попытался по-своему сказать, что такое искусство, как оно рождается и что должно давать людям. Я высказал в романе то, что чувствовал: художник не может творить в одиночестве, он связан с историческими координатами эпохи, в которую живет, и творит для национального коллектива. Этот взгляд я иллюстрировал на восходящей линии актера, индивидуалистически замкнутого в себе, и на восходящей линии писателя, который осознает предназначение своего таланта»¹.

Тема «актерства», подспудно звучавшая и в более ранних произведениях Ржезача (особенно явственно в «Свете тьмы» и в «Свидетеле»), возникла в его творчестве не случайно. Интерес к театру зародился у Ржезача еще в молодости. Его мать была уборщицей в пражском Национальном театре, и он каждый день мог смотреть спектакли. В книжный магазин Й. Р. Вилимека, находившийся напротив Национального театра, в обеденный перерыв заглядывали актеры, и будущий писатель, который нередко помогал здесь матери, в живом общении с ними набирался знаний о театре. В конце 20-х — начале 30-х годов он пишет многочисленные театральные рецензии для журналов «Эва», «Чески свет», «Живот Умелецке беседы».

Роман «Рубеж» писался в 1942—1943 годах.

¹ Václav Řezáč o svém novém románu. Lidové noviny, 6.V.1951, s. 4.

Поэт Борис Слуцкий, побывавший вскоре после смерти писателя в его семье, рассказывает: «Рубеж» был написан в комнатке, единственное окно которой глядело на соседний особняк. Хозяин особняка был увезен в концлагерь, хозяйка покончила жизнь самоубийством, их единственный сын пропал без вести. Дом занял офицер-эсэсовец. Приземистый черный столик писателя с пишущей машинкой — Ржезач не любил ручки и карандаша — стоял возле окна. Десятки раз в день писатель видел фашиста, его гостей и челядинцев. Большая часть соседних домов была занята немцами. Это обстоятельство тоже нужно помнить, читая роман.

Убранство комнатки — самое простое. На стене — портрет какого-то безвестного арлекина. Может быть, он напоминал Ржезачу его героя Виллема Габу. Несколько полок с книгами. Вдова писателя показала мне, какие книги стояли на полках в годы оккупации. Среди них: чешские классики, читимый Ржезачем Анатоль Франс, многотомный Достоевский, Чехов, «Война и мир» (толстовскую эпопею Ржезач неоднократно называл своей самой любимой книгой в мировой литературе) и несколько советских книг, в том числе Эренбург.

Фашисты ни разу не переступили порог дома писателя. Однако ждали их — каждую минуту. <...> У Ржезача были основания опасаться ареста — он состоял на крепкой заметке у гестапо по линии своих левых убеждений и связи с коммунистами. Немцам было достаточно хотя бы покопаться в книгах писателя, чтобы понять, на чьей стороне его сочувствие. Однако Ржезач не отказался от любимых книг.

Как писался «Рубеж»?

Ржезач вставал около восьми часов, торопливо съедал свою долю картошки (в семье ее называли картофельным рагу) — это была обычная пища голодных пражан, выкуривал сигарету и садился за машинку.

На далекой окраине Праги, где жили Ржезачи, очень тихо. Несколько часов писатель выступкивал текст — почти без черновиков. Потом шел на литературную поденщину на киностудию. Там он зарабатывал на хлеб и картошку для себя и семьи. <...>

Возвращался поздно вечером и снова садился за машинку — до глубокой ночи. Спал мало. Когда роман был закончен и издан, Ржезач заболел от первого переутомления¹.

Роман создавался уже в ту пору, когда победы Советской Армии вселяли в сердца чехов надежду на освобождение.

В образе Ауста немало черт самого Ржезача. Но был у этого персонажа и другой прототип — коллега Ржезача по статистическому управлению, писатель-неудачник, у которого дома в большом корытекопились

¹ Слуцкий Б. Как был написан «Рубеж». — В кн.: В. Ржезач. Рубеж. М., ГИХЛ, 1962, с. 6—7.

ненапечатанные рукописи прозы и стихов; публиковал же он развлекательные «кинороманы». Первый набросок «Рубежа» и был написан как пародийный детектив в духе романов известного чешского юмориста Карела Полачека. Вилем Габа имеет некоторое «портретное сходство» с выдающимся чешским актером Зденеком Штепанеком (1896—1968).

«Двойничество» Индржиха Ауста и Вилема Габы напоминает «двойничество» двух артистов — Иржи Есениуса и Яна Веселого — в романе Ивана Ольбрахта «Удивительная дружба актера Есениуса» (1919). Синтез гуманистического рационализма и страстного, стихийного бунтарства — таков конечный итог этого романа. Критик Богумил Новак писал, что в чешской литературе только роман Ольбрахта с такой же, как у Ржезача, наглядностью и конкретностьюставил «проблему художественного и нравственного возрождения актера». Но у Есениуса был великий оппонент и соперник, который «в конце концов вынудил его мобилизовать в себе все, что в нем как в человеке и художнике было истинно великого и сильного». У Вилема Габы своего Веселого не оказалось¹.

Как роман о создании романа «Рубеж» сопоставлялся в критике с романом А. Жида «Фальшивомонетчики» (1925). Чешский литературовед и критик Иржи Опелик в результате детального сравнения книги Ржезача с произведениями Ольбрахта и Жида приходит к выводу, что если с «Удивительной дружбой актера Есениуса» «Рубеж» связан как идеей необходимости для художника вырваться из индивидуалистической изоляции к людям, так и образом Габы, в котором как бы объединились ольбрахтовские Есениус и Веселы, то по отношению к «Фальшивомонетчикам» здесь можно говорить лишь о тематическом совпадении: произведения Ржезача и Жида противоположны по концепции и не совпадают ни в одном из существенных моментов, характерных для системы их образов и композиционной структуры². В самом деле, в то время как Ржезач доказывает, что между правдой жизни и правдой искусства нет противоречия, Жид утверждает: «Уклад — это я, художник...», действительность для него — всего-навсего «пластический материал», а творческий процесс — «борьба между фактами, предлагаемыми действительностью, и действительностью идеальной». Впрочем, по свидетельству близких, Ржезач вообще прочел роман Жида уже только после написания своей книги.

В машинописном тексте романа, хранящемся в Литературном архиве Музея национальной письменности в Праге, есть кусок, сокращен-

¹ B. Novák. Václav Řezáč. *Rozhraní*. *Kritický měsíčník*, 1945, č. 1, s. 27—31.

² J. Opelek. Ke genezi Řezáčova «Rozhraní». *Sborník vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura*, VI, 1959, s. 101—109.

ный автором из композиционных соображений, но важный для понимания диалектики актерского творчества и общей концепции романа:

«Старый Палас рассказал ему все об экономности движений и мимики, свободной, расчлененной речи, техника игры не представляла для него больших трудностей, потому что играть всегда означало для него мгновенное перевоплощение. Стоило ему сесть за текст роли и начать чтение, как он исчезал, ощущая, как новое существо овладевает его телом и мыслями. Как ты ходил, дружище? Он встает из-за стола и делает несколько шагов. Так? Нет. Тут еще остается какая-то половинчатость, образ только проклевывается, ты чувствуешь, как он тебя наполняет, но все еще не знаешь, чего он от тебя хочет, что собой представляет. Ты должен предложить ему свой голос и свое тело, но это уже не должны быть твой голос и твое тело, ты не можешь ходить, как ходил вчера, когда играл кого-то другого, не можешь двигаться, как движешься ты сам, если ты вообще еще остаешься самим собой. Как это необычно! Был ли в тебе этот образ, или этот текст лишь вызвал его к жизни и только теперь он вошел в тебя — из этих слов? Разве вообще возможно, чтобы нечто столь сложное, как живой, действующий, страдающий, волнуемый страстями и желаниями человек, был зачарован в слова, которые расплываются и исчезают, едва ты их произнес, и если ты произнес их наедине с самим собой, они не оставляют по себе и такого следа, какой оставляет растаявшая снежинка? Что тут вообще происходит? Допустим, эти слова прочтет кто-нибудь другой, он произнесет их вслух — и ничего не случится. Возможно, он будет ощущать, а возможно — и знать, что они заключают, но не будет в силах выявить скрытый в них образ. Значит, это в тебе и в них одновременно слова обручаются с чем-то, что без них никогда не пробудилось бы к жизни, но все же было в тебе, хоть и спало глубоким сном. Разве не поразительно, что ты можешь вновь и вновь меняться, что тебе дано жить столько раз, насколько хватает твоих сил, что ты не только Вилик Габа, веселый молодой купчик, чьи шутки и комедиантство привлекали клиентов и давали новые силы больному отцу, тот Вилик Габа, чей голос извлекал из стишков и песенок затаенный смысл, заставляя сердца девушек биться в упоении, и действовал на них так, что по коже пробегали мураски страсти... Кто же ты — только Вилик Габа или нечто большее?

Ты можешь быть кем пожелаешь. Жизнь множится и разрастается, и порой тебе кажется, словно ты носишь в себе души всех людей — то упрямых деревенских парней, в которых любовь поет как жаворонок и сопит словно бык, то надломленных молодых горожан, раздвоенных из-за дурной наследственности, связанных условностями и бичуемых страстями, давно утратившими свою первоначальную чистоту. Просто невероятно, сколько разных подобий, окрасок, оттенков, силы и слабости могут иметь одно и то же человеческое чувство, одна страсть, одно желание, одна черта, как они переплетаются и проникают друг в друга, как вздо-

рят между собой, как одно поглощает или усиливает другое, как они умеют потрясать душу своего несчастного владельца.

Правильно, подать сюда тромбоны, пусть протрубят лихорадку молодого духа, захваченного ощущением своих возможностей, которые кажутся ему бесконечными <...> Виллем понял, что в обстановке, куда он попал, ничто не дастся ему легко, хоть и стоит за его плечами Барох. Для него важно было не просто удержаться и просуществовать, он хотел стать первым среди первых. Но если в нем было всепожирающее честолюбие, которое порой мучило его до боли, его жажда работать была абсолютно чиста от подобных наносов. Пустившись однажды в путь за какой-нибудь целью, он, как и его деревенские и купеческие предки, не давал себе ни отдыха, ни послабления. Работа его захватывала и пьянила, однако ради нее самой он не забывал устремлять взгляд к желаемому. Он хотел создать нечто совершенное, но главным образом для того, чтобы добиться полного успеха.

Порой ему приходило в голову, что он лишь слуга чужого духа, лишь инструмент, на котором кто-то играет свою мелодию. Эта мысль наполняла его такой яростью, что он готов был закричать и разорвать свою роль на куски. Но нет, это было не так. Авторы могли придумывать что угодно, но не будь его и ему подобных, их представления остались бы всего-навсего представлениями — немыми, слепыми, глухими, хромыми тенями, лишенными дыхания жизни. Эти образы были в нем, и слова только позволяли им ожить. Разве он не трудился над ними как скульптор, добывающий подобие своей идеи из бесформенной глыбы? Разве не видел он ясно, чего хочет, и не борлся с неподатливой материей выражения, подчас не менее твердой, чем гранит?

Просто удивительно, как легко поддавались ему эти образы целиком, как с самого начала он весь проникался ими, но с какой осторожностью, с каким упорством приходилось ему пробиваться к ним потом, точно отстраняя лепесток за лепестком, чтобы проникнуть в закрытый бутон розы, в его таинственную сердцевину. Он уже знал способ, как сыграть персонаж, чтобы он получился и понравился зрителю. Но, как ни странно, не хотел играть своих персонажей, он хотел ими быть. Некто неумолимо строгий сидел в нем и ничего не прощал, не давал ни отдыха, ни облегчения, не терпел обходных путей. Возможно, это была тень старого Паласа, или сам он проникался этой тенью. Он мечтал об успехе, но ради уверенности, что действительно добился его, он должен был убедиться: сделано все, что в его силах».

Если в романе «Как две капли воды» В. Незвал, увлеченный «Надей» А. Бретона, утверждал магическую роль подсознания и случайности как основу творческого процесса, К. Чапек в романе «Метеор» и В. Ржезач в авторской исповеди Индржиха Ауста (в явной полемике с Незвалом, фрейдизмом и сюрреализмом) подчеркивают закономерность, то есть глубокую жизненную и внутреннюю обоснованность художественного вымысла. И для писателя в романе Чапека «Метеор», и для

Индржиха Ауста жизнь персонажа, завладевшего их мыслями,— это загадка, которую нужно разгадать. В их сознании герой романа — первоначально некий «пациент Икс», лишь постепенно обретающий реальность. Но Ржезач идет в раскрытии творческого процесса дальше, чем Чапек. Он показывает диалектическую взаимосвязь, взаимовлияние биографии писателя и биографии героя. В процессе художественного творчества писатель углубляет собственное понимание жизни. Так же как Чапек, Ржезач приходит к выводу, что назначение искусства — выражать общечеловеческое в человеке.

В конце романа Габа (а вместе с ним и Ауст, и Ржезач) размышляют: «Лица, лица, целый мир лиц, исписанных тем, что творится под ними. Он узнает себя в них, во всех вместе и в каждом в отдельности. Его задача — быть их переводчиком, снимать с них заклятье, отделяющее их от остальных, читать тайнопись их характеров и судеб и возвращать их тем, кому они принадлежат,— каждое всем как их общее достояние». (У Чапека мы читаем: «Нет больше одного лишь «я»: есть «мы» — люди; мы можем объясняться на многих языках, звучащих в нас. Теперь мы можем уважать человека за то, что он не такой, как мы, и понимать его, потому что равны ему. Братство и разнообразие!»)

«Я хотел показать творчество,— говорил Ржезач,— как составную часть жизни всех людей, которым художник обязан его возникновением. Вся книга — это, собственно, открытая дверь в рабочий кабинет писателя, это творчество на глазах общественности. На обоих фигурах — писателе и актере — книга показывает взаимосвязь жизни и искусства, помогающую человеку, освобождающую его»¹.

Так же как романы, составляющие трилогию Чапека, «Свет тьмы», «Свидетель» и «Рубеж» — это произведения, внутренне связанные и последовательно развивающие единую художественную концепцию. Система «доказательств», развертываемых в этом романном цикле, образует диалектическую триаду: обречена всякая попытка манипулировать, «играть» судьбами других людей (тезис); нельзя наполнить собственную пустую душу такой «игрой», чужим жизненным содержанием (антитезис); в художественном перевоплощении, в творческой «игре» (актерской и писательской) можно сохранить собственную индивидуальность, лишь подчиняя свое творчество служению другим людям, лишь оплотворяясь общением с ними, лишь творчески сгорая ради них (синтез). В несколько ином ракурсе видит эту связь И. Опелик, который первым отметил сходство между трилогиями Чапека и Ржезача: «В «Свете тьмы» Ржезач доказывал, что глубочайшее падение во власть чувства неполноценности, являющегося здесь основной темой книги, вызвано амузыкальностью, тупостью и безразличием к какому бы то ни было художественному творчеству; при этом центральная идея романа помога-

¹ A. Skýpala. Beseda s Václavem Řezáčem, s. 57.

ет понять, что как раз стремление к богатству, денежный интерес умертвляет художественное чутье. В «Свидетеле» Ржезач методом параболы и символики изобразил писателя и его отношение к созданным им фигурам; внутреннее богатство художника, его заселенность многими людьми и судьбами показываются здесь одновременно и как проклятие; это происходит в том случае, если художник не участвует всем своим существом в жизни: тогда он не играет и не преображает, а только зеркально отражает и свидетельствует. В «Рубеже» Ржезач вновь исследовал взаимоотношение жизни и искусства: *rius* — жизнь, искусство — *posteriorius*, причем условием его жизненной активности становится тесная связь художника с людьми; яркий свет автор бросил на сам процесс возникновения литературного произведения¹.

Итак, оба писателя, Чапек и Ржезач, основываясь на разном жизненном материале, приходят к сходным выводам. Но в том творческом диалоге, завершением которого явился «Рубеж», мы слышим и голос Ванчуры. Он ощущается не только в метафорической смелости, в той «могучей силе освобожденного и очищенного слова», которую так ценил в произведениях Ванчуры Ржезач². Ржезач утверждает в своем романе ванчурское, антиромантическое понимание писательского труда, как труда, подобного труду рабочего; так же, как Ванчура, он убежден, что основа эпики — действие и человеческие характеры.

Вступая в литературу, Ржезач не хотел быть похожим ни на Чапека, ни на Ванчуру. Он действительно внес в чешскую прозу свою, совершенно оригинальную струю. Тем не менее, творчество его можно рассматривать как синтез тех поисков прозы межвоенного двадцатилетия, которые означенены именами Ольбрахта, Чапека, Ванчуры и Я. Гавличка (ему Ржезач наиболее близок в «Свете тьмы» и «Свидетеле»).

Ржезач сознавал, что «Рубеж» был отправной точкой для его творчества после освобождения Чехословакии Советской Армией. Вместе с тем он полагал, что «Свет тьмы», «Свидетель» и «Рубеж» означают разрыв с основной линией его творческих исканий 30-х годов. В частности, недостатком «Рубежа» он считал то, что его нельзя было «точно поместить во времени и пространстве»³.

Во второй половине 50-х — начале 60-х годов чешское литературоведение в лице М. Носека, Ф. Бурианека, Ф. Гетца, И. Опелика раскрыло внутреннюю связь трилогии с предшествующим и последующим творчеством Ржезача. Существенную роль в «реабилитации» трилогии сыграло советское литературоведение (прежде всего И. А. Бернштейн).

¹ J. Opeřík. *Obyčejný život čili deukalion*. In: *Struktura a smysl literárního díla*. Praha, 1966, s. 149—150.

² V. Řezáč. *O pravdě umění a pravdě života*, s. 34.

³ A. Skýpala. *Beseda s Václavem Řezáčem*, s. 57.

Стр. 291. *Огненный муж* — персонаж чешских народных поверий, огненный скелет.

Стр. 292. «*Строитель Сольнес*» (1892) — драма Г. Ибсена.

Стр. 308. ...*смиховский вокзал*... — Смихов — промышленный район Праги на левом берегу р. Влтавы.

...за театром... — Имеется в виду пражский Национальный театр, первая сцена Чехии (официально открыт в 1883 г.), где ставились оперные и драматические спектакли.

Стр. 309. *Петршин* — холм в Праге на левом берегу р. Влтавы, где разбиты общественные сады.

Стр. 310. ...*Летненской футбольной команды*... — Летна — плоская возвышенность на левом берегу р. Влтавы в черте Праги; на ней расположены стадионы ряда футбольных клубов (самыми популярными из них в описываемое время были «Славия» и «Спарта»).

Стр. 320. ...на острове начался вечерний концерт.— Имеется в виду Славянский остров на р. Влтаве в центре Праги, где находится здание с концертными и выставочными залами.

Стр. 322. *Моровой столб* — колонна, устанавливаемая в благодарность за избавление от чумы.

Стр. 329. *Нусле* — окраинный район Праги.

Стр. 337. «*Мариша*» (1894) — реалистическая сельская драма чешских писателей Вилема (1862—1912) и Алоиса (1861—1925) Мрштиков.

Стр. 339. *Антигона* — героиня одноименной трагедии древнегреческого драматурга Софокла (ок. 496—406 гг. до н. э.). *Виолетта* — героиня пьесы французского писателя Александра Дюма-сына (1824—1895) «Дама с камелиями» (1852). *Кристина* — героиня одноименной исторической драмы (1903) шведского драматурга Юхана Августа Стриндберга (1849—1913), Кристина Августа (1626—1689) — королева Швеции в 1632—1654 гг. (самостоятельно правила с 1644 г.).

Стр. 343. *Народный дом* — здание социал-демократической, затем коммунистической партии; в настоящее время здесь находится музей В. И. Ленина.

Стр. 380. *Стромовка* — парк в Праге; ныне часть его — Парк культуры и отдыха им. Ю. Фучика.

Стр. 411. «*Оставь надежду всяк сюда входящий*» — надпись над вратами ада (по «Божественной комедии» Данте).

Стр. 443. *Злин* — город в Южной Моравии, с 1950 г. — г. Готвальдов.

Стр. 481. ...*сказку о Гонзэ и принцессе Одуванчике*... — См. примеч. к с. 106.

Стр. 529. *Врхлицкий Ярослав* (наст. имя Эмиль Фрида; 1853—1912) — чешский поэт, писатель.

Стр. 548. *Сук Йозеф* (1874—1935) — чешский композитор; «*Созревание*» (1912—1917) — симфоническое сочинение.

Стр. 552. ...из *Бубенечской виллы*... — Бубенеч — район на окраине

Праги, в годы буржуазной Чехословацкой республики здесь находились виллы богачей.

Стр. 565. *Воян* Эдуард (1853—1920) — выдающийся чешский актер, крупнейший мастер психологического реализма.

Стр. 599. *Сид* — герой одноименной трагикомедии французского драматурга Пьера Корнеля (1606—1684).

Стр. 611. ...на пражской стороне Влтавы, с окнами на градчанскую панораму.— То есть на правом берегу р. Влтавы, где находились древние районы Праги — Старе Место и Нове Место. На противоположном берегу высится пражский Град (Кремль) и примыкающий к нему район Градчаны.

Стр. 622. *Ганавский павильон* — известный ресторан на Летненской возвышенности в Праге.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Книга рассказов Вацлава Ржезача «Лицом к лицу» впервые вышла в издательстве «Чехословацкий писатель» в 1956 году, уже после смерти автора. Рассказы эти составили двенадцатый том Собрания сочинений Ржезача. Том не представлял всего новеллистического наследия писателя. Подчас Ржезач писал рассказы для заработка и потому далеко не все написанное в этом жанре включил в свое собрание сочинений. Книга охватывает период с 1928 по 1948 год и разбита на три раздела.

«В первый,— как было сказано в издательской аннотации,— включены рассказы, которые, независимо от своей темы, несут следы пристального внимания к психологии отдельной личности или какому-либо частному социальному явлению. Вторая часть содержит рассказы, в которых преобладает элемент юмора или сатиры, и наконец, третий раздел уже целиком посвящен высоко актуальным темам недавнего прошлого — периоду оккупации и нашему освобождению Советской Армией. Заключительный рассказ этого раздела «Первый день» уже открывает перспективу созидательных усилий нашей страны и ее народа»¹.

Большинство рассказов было опубликовано в чешской периодике (журналы «Эва», «Живот», «Светозор», «Чески свет», «Озвены домова а света», «Добры ден», газеты «Венков», «Народни освобозени», «Лидо-ве новинны», «Година», «Праце»), иногда по несколько раз. Лишь единичные рассказы печатались по рукописи.

Ржезач говорил, что одинаково хорошо знает и любит как деревню, так и город. Критика выделила его ранние сельские рассказы («Без конца», «Поле»), сравнивая их с новеллами из книги Ярослава Кра-

¹ V. Řezáč. *Tváři v tvář*. Praha, 1956 (Záložka).

тохвила «Деревня» (1924), вошедшей в золотой фонд чешской прозы XX века. Фамилия Гаразим, которая появится позднее в романе Ржезача «Свидетель», недаром фигурирует в обоих рассказах. Перед нами явно наброски более широкого эпического полотна. В «городских» рассказах 30-х годов критика отметила тенденцию к глубокому проникновению в психологию, «мастерское знание «диалектики души» (Ф. Бурианек), которое предвещало появление таких романов, как «Свет тьмы» и «Свидетель» («Ненависть», «Наказание», «Преображение»), и тенденцию к сатирическому изображению мещанства («Жертва», «Взяточник», «Бездельник Корец»). В последнем из этих рассказов действие происходит в городке Бытень, и это говорит, что перед нами один из подготовительных эскизов к «Свидетелю». Некоторые рассказы предвосхищают формальные приемы будущих романов (например в рассказе «У порога», как и в романе «Рубеж», автор совместно с читателем размышляет о возможной судьбе героя).

Подчас в основе рассказа лежал реальный факт. Так, по свидетельству младшего сына писателя, у героев рассказа «О бесе художественном» были реальные прототипы: Эмил Бартак — это известный чешский художник Камил Лготак, Ф. Ф. Картак — не менее известный пейзажист Вацлав Войтех Новак, а секретарь общества «Эллипс» — знаток вин и автор книги о них Франтишек Чебиш. Реального прототипа имел и Ян Теска из рассказа «Первый день». Это был любимый соученик Ржезача по начальной школе. Его фамилию писатель собирался использовать и в незаконченном романе «Старый дом».

И. Опелик справедливо отмечал художественную неравноценность рассказов Ржезача, вошедших в сборник «Лицом к лицу»¹. Наряду с такими замечательными рассказами, как «Пятилетие», «У порога», «На перепутье», «Семь танков», здесь есть рассказы малозначительные и малоудачные. Однако можно согласиться с Ф. Бурианеком, который писал: «Рассказы Ржезача — зеркало большого эпического таланта, большого человеческого опыта и большой художественной зрелости»².

Стр. 676. Тршебицкий Вацлав Бенеш (1849—1884), *Сватек Йозеф* (1835—1897), Герлош Иржи Карел (1802—1849) — чешские прозаики, авторы исторических произведений с патриотической тенденцией.

Летние лагеря устраивались в буржуазной Чехословакии для детей бедняков различными благотворительными организациями; «Чешское

¹ J. O p e l í k. Povidky Václava Řezáče. Host do domu, 1956, č. 9, s. 407—408.

² F. B u r i á n e k. Povídkový odkaz Václava Řezáče. Literární noviny, 14.VII.1956, s. 4.

сердце» (1917—1950) — одна из таких организаций, созданная по инициативе писательницы Ружены Свободовой.

Стр. 677. *Битва у Тахова*. — В 1427 г. гуситские войска под предводительством Прокопа Голлого разбили здесь крестоносцев.

Стр. 688. *Старе Место Пражске* — то есть район Старе Место (Старый Город) в Праге.

Стр. 696. ...о козе небесной... — Небесными козами в Чехии называют женщинин-богомолов.

Стр. 712. *Градчаны*. — См. примеч. к с. 611.

Стр. 717. *Леру Гастон* (1868—1927), *Леблан Морис* (1864—1925) — французские писатели, авторы детективных романов.

Стр. 722. *Синий, белый, красный* — цвета чехословацкого флага.

Стр. 737. *Малостранский* — то есть расположенный в старинном районе Праги Мала Страна.

Стр. 738. *Подебрадка* — вид головного убора (назван в честь короля Иржи из Подебрад — см. примеч. к с. 167).

Стр. 739. *Голешовицкий*. — Голешовице — окраинный район Праги.

Стр. 740. *Глубочепы* — пригород Праги.

Стр. 743. *Шкубанки* — здесь: картофельные клёцки.

Стр. 744. ...нацистский поток прорвал плотину, подточенную предательством, и затопил землю. — Гитлеровские войска оккупировали чешские земли 15 марта 1939 г.

Стр. 746. *Вышеград* — скала на правом берегу р. Влтавы в черте Праги, где когда-то находился королевский замок; ныне — примыкающий к ней район.

Судеты — пограничные горные районы на западе Чехословакии, населенные немцами; значительная часть их поддалась фашистской националистической агитации, в 30-е годы и во время второй мировой войны они были гитлеровской опорой в Чехии.

Стр. 748. *«Сокол»* — чешская патриотическая спортивная организация, основанная в 1862 г. Мирославом Тыришем.

Стр. 758. *Пятого мая...* — 5 мая 1945 г. началось Пражское восстание против фашистских оккупантов.

Первая Республика. — «Первой Республикой» стали называть Чехословакию периода с 1918 г. (с момента создания ее 28 октября 1918 г.) до сентября 1938 г. (когда было подписано так называемое мюнхенское соглашение, предусматривавшее, в частности, отторжение судетской области и передачу ее Германии).

Красно-белый флаг с синим клином — чехословацкий флаг.

Стр. 759. ...по радио раздались первые тревожные призывы о помоши... — Пражское радио, захваченное 5 мая повстанцами, обратилось с призывом к союзническим войскам освободить и спасти Прагу.

Стр. 760. *Гонза* — уменьшительное от имени Ян.

Стр. 770. *Панкрац* — здесь: район Праги.

Стр. 774. *Подбабский*. — Подбаба — район Праги.

СТАТЬИ

Под названием «Правда искусства и правда жизни» в 1960 году в издательстве «Чехословацкий писатель» вышел небольшой сборник литературно-критических, театральных, культурно-эстетических статей и высказываний Вацлава Ржезача, составленный И. Опеликом.

Идейность. — Ответ В. Ржезача на анкету «Чешское искусство идет с народом» («Праце», 11.IV, 1948) и отрывок из его статьи «В завершение дискуссии о фильме» («Литерарни новини», 1955, № 41).

Новый реализм. — Отрывок из статьи «За новый реализм» («Праце», 2.VI, 1945).

О народности. — Статья В. Ржезача «Мастера искусства ищут путь к народу» («Руде право», 8.VI, 1945).

Стр. 786. ...*майский переворот*... — Имеется в виду Пражское восстание 5—9 мая 1945 г., освобождение Чехословакии Советской Армией и установление народно-демократического строя.

О положении писателя. — Отрывок из статьи В. Ржезача «Писательский парламент» («Праце», 16.VI, 1946) и отрывок из его статьи «Задачи писателей» («Ческословенске эпиштолы», 1948, № 4—5).

Стр. 788. ...*критического трехлетия*... — Имеется в виду трехлетие между майскими событиями 1945 г. и февральскими событиями 1948 г., когда народные массы под руководством коммунистической партии дали отпор попытке реакционного переворота и тем самым завершили перерастание национально-демократической революции в социалистическую.

В центре литературы — человек. — Отрывок из выступления В. Ржезача на Первом съезде чешских писателей 20.VI.1946 (опубликовано в сборнике материалов съезда «Итоги и перспективы», 1948) и отрывок из статьи «За нового человека» («Свободне новини», 21.III, 1948).

Стр. 793. ...на съезде молодых... — Речь идет о съезде молодых писателей в Добржише 13—18 марта 1948 г.

Стр. 794. ...*современным состоянием искусства*. — Имеется в виду состояние чешского искусства во второй половине 30-х — начале 40-х гг.

О культурном наследии. — Отрывок из неустановленного выступления в 1951 г. Опубликован в сборнике «О правде искусства и правде жизни» по рукописному тексту из личного архива писателя.

Стр. 795. *Божена Немцова* (1820—1862) — одна из основоположниц чешской прозы XIX в., автор известной повести «Бабушка» (1855); *Ян Неруда* (1834—1891) — чешский поэт, прозаик, публицист, драматург, литературный критик, определивший становление чешской литературы

на путях реализма; *Сладек Йозеф Вацлав* (1845—1912) — чешский поэт, переводчик, многолетний редактор журнала «Люмир»; *Сватоплук Чех* (1846—1908) — чешский поэт и прозаик, выразитель демократических и национально-освободительных настроений. *Волькер Иржи* (1900—1924) — чешский пролетарский поэт, прозаик, драматург. *С. К. Нейман* — Станислав Костка Нейман (1875—1947) — чешский революционный поэт, прозаик, критик, публицист, один из ветеранов Коммунистической партии Чехословакии. *Ольбрахт Иван* (1882—1952) — чешский писатель, один из основателей КПЧ и зачинателей социалистического реализма в чешской литературе. *Майерова Мария* (1882—1967) — чешская писательница, представительница социалистического реализма в чешской прозе; *Пуйманова Мария* (1893—1958) — выдающаяся чешская писательница, автор трилогии «Жизнь против смерти» (1937—1952).

O. Малевич

СОДЕРЖАНИЕ

СВИДЕТЕЛЬ

Роман

Перевод Н. Замошкой (главы первая — четвертая и девятая) и В. Петровой (главы пятая — восьмая)

Глава первая. Лунная ночь	7
Глава вторая. Братья	44
Глава третья. Праздник в саду	73
Глава четвертая. Послеобеденная прогулка бургомистра	104
Глава пятая. Непреклонная черта	138
Глава шестая. Все дороги ведут на площадь	165
Глава седьмая. Колокола справедливости	199
Глава восьмая. Пылающее дерево	241
Глава девятая. Еще одна лунная ночь	263

РУБЕЖ

Роман

Перевод Д. Горбова

Глава первая	287
Глава вторая	329
Глава третья	356
Глава четвертая	403
Глава пятая	468
Глава шестая	525
Глава седьмая	577
Глава восьмая	630

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

I

** Лестница весны. <i>Перевод Н. Шульгиной</i>	653
** Пятилетие. <i>Перевод Н. Шульгиной</i>	656
* Без конца. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	659
* Поле. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	665
** У порога. <i>Перевод Н. Шульгиной</i>	671
* Ненависть. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	675
** Наказание. <i>Перевод Ю. Преснякова</i>	680
** Лицом к лицу. <i>Перевод Е. Элькинд</i>	688

II

** Небесная коза. <i>Перевод Н. Шульгиной</i>	693
* Любитель собак. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	697
** Поваренная книга. <i>Перевод Е. Элькинд</i>	702
** Пациент. <i>Перевод Ю. Преснякова</i>	706
* Преображение. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	712
** Жертва. <i>Перевод Н. Шульгиной</i>	720
* Взяточник. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	722
** Ударило молнией. <i>Перевод Н. Шульгиной</i>	726
** Бездельник Корец. <i>Перевод Ю. Преснякова</i>	734
* О бесе художественном. <i>Перевод Н. Замошкойной</i> . . .	737

III

** Счастливый Новый год. <i>Перевод Н. Шульгиной</i> . . .	743
* Открытая дорога. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	748
** На перепутье. <i>Перевод Н. Шульгиной</i>	753
** Немой. <i>Перевод Ю. Преснякова</i>	758
** Хозяин и слуга. <i>Перевод Ю. Преснякова</i>	761
** Семь танков. <i>Перевод В. Мартемьяновой</i>	766
* День первый. <i>Перевод Н. Замошкойной</i>	772

*** СТАТЬИ**

Перевод В. Каменской

Идейность	783
Новый реализм	784
О народности	785
О положении писателя	786
В центре литературы — человек	792
О культурном наследии	794
Примечания. О. Малевич	796

Ржезач В.

P 48 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3. Свидетель; Рубеж: Романы; Лицом к лицу: Рассказы; Статьи. Пер. с чеш. / Сост. И. Ивановой, В. Мартемьяновой; Примеч. О. Малевича.— М.: Худож. лит., 1987.— 815 с.

В третий том Собрания сочинений чешского писателя В. Ржезача (1901—1956) вошли два романа: «Свидетель» (1942), в котором писатель разоблачает мещанство как почву для развития фашизма, и «Рубеж» (1944), где автор ставит вопрос о проблеме ответственности и долге художника перед народом. В том включены рассказы 20—40-х годов, отражающие пафос антифашистской борьбы, подъем народных масс в послевоенной Чехословакии, просто юмористические, психологические зарисовки и статьи писателя о творчестве, об искусстве.

**P 4703000000—340
028(01)—87 подписанное**

ББК 84.4Че

ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 3-Х ТОМАХ**

Том 3

Редакторы И. Иванова, Т. Кустова

Художественный редактор Т. Самигулин

Технические редакторы Е. Ионова и Г. Такташова

Корректоры Н. Пехтерева, О. Левина

ИБ № 4786

Сдано в набор 02.03.87. Подписано в печать 03.11.87. Формат 84×108¹/32. Бумага тип. № 1. Печать высокая. Усл. печ. л. 42,84. Усл. кр.-отт. 42,84. Уч.-изд. л. 49,31. Тираж 100 000 экз. Изд. № V-2219. Заказ № 873. Цена 4 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманный, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.







5
4
3
2
1

2
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249